С.М.СОЛОВЬЕВ
ИСТОРИЯ РОССИИ
XIV

С. М. СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

XIV

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

С. М. СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН



В ПЯТНАДЦАТИ КНИГАХ

Издательство
социально-экономической
литературы
«МЫСЛЬ»
МОСКВА

С. М. СОЛОВЬЕВ

ИСТОРИЯ РОССИИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

КНИГА XIV

(ТОМА 27-28)

Издательство
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
литературы
«МЫСЛЬ»

МОСКВА 1965

9 (С) 1
С 60

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАНИЯ
доктор исторических наук
Л. В. ЧЕРЕПНИН



ИСТОРИЯ РОССИИ
В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Текст 27 тома
«Истории России с древнейших времен»
подготовлен к печати
М. А. РАХМАТУЛЛИНЫМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

1766 и первая половина 1767 года

Меры против медленного исполнения указов. — Беспорядки в новой коллегии Экономии. — Медленное решение дел в Юстиц-коллегии. — Дело Жуковых, Шулепниковой, Бестужева-Рюмина, кн. Григория Шаховского. — Губернаторские распоряжения. — Волнение в Москве. — Губернатор и купцы в Астрахани. — Брянские купцы и генерал Медем. — Окончание дубровинского дела в Орле. — Нравы на окраинах. — Крестьянские побеги и возмущения. — Бродяжничество и разбои. — Похождения Каменьщикова. — Сибирские инородцы. — Сибирский губернатор Чичерин и магистрат. — Присоединение Алеутских островов. — Церковные имения в Малороссии. — Выбор киевского войта. — Спор запорожцев с Военною коллегиею. — Слободская губерния. — Сопротивление лифляндского рыцарства в доставлении ведомостей о хлебном урожае. — Затруднения по поводу немецких колонистов. — Финансовые меры. — Среднеазиатская торговля. — Содержание Московского университета. — Окончание «Наказа»; мнения о нем, собираемые императрицею. — Манифест о комиссии для сочинения проекта нового Уложения. — Переезд двора в Москву. — Движение в прибалтийских областях и Малороссии по поводу выбора депутатов в комиссию. — Путешествие Екатерины. — Отзыв ее в Сенате об этом путешествии. — Продолжение крестьянских волнений. — Секта между однодворцами. — Перемены в областях. — Деятельность новгородского губернатора Сиверса. — Приближение времени открытия комиссии. — Обзор «Наказа». — Изменения в нем.

Мы видели, как Петр Великий сердился на Сенат за то, что, решив что-нибудь, не заботились о приведении в исполнение решенного; лет через 50 Екатерина II должна была среди Сената повторить требование Петра. 31 марта императрица присутствовала в Сенате; читали доклад о штрафовании судебных мест за неисполнение указов и за нескорое распоряжение. Екатерина приказала дополнить: «Репортовать как о сделанном определении, так и о действительном исполнении указа». Когда читали о штрафовании посланных из судебных мест, если поступят в противность инструкции и будут обижать кого-либо, императрица велела прибавить: «Оных, следуя по воинскому процессу, наказывать в силу

указов». В конце прошлого года Екатерина обратила внимание Сената на беспорядки в новой коллегии Экономии, и Сенат по этому поводу издал наставления всем коллегиям [1], но беспорядки в коллегии Экономии не прекратились: один из ее членов, Позняков, подал в Сенат просьбу, что просился перед праздником в отпуск на 29 дней в Петербург (коллегия Экономии, как и многие другие, находилась в Москве), но отпуска не получил по разногласию между членами коллегии; по этому случаю Сенат сделал внушение, что в последний раз напоминает членам, чтоб они перестали ссориться и не оказывали упорства президенту, как произошло и в деле Познякова: президент подписал отпуск, а вице-президент и два асессора по ничтожным основаниям не подписали; в октябре прошлого года императрица уже сделала коллегии материнское увещание, но члены ее все продолжают несогласие. Императрица на этот раз не хотела более дожидаться и в том же заседании 31 марта объявила, что если не взять к поправлению коллегии Экономии надлежащих мер, то неминуемые последуют в ней всякие упущения, которые, чем далее, тем труднее будет исправить, и поэтому приказала, чтобы Сенат тех членов коллегии, которые просятся в отставку, отставил скорее, а прочих перевел в другие учреждения и на место их представил кандидатов; президенту князю Гагарину велела присутствовать в Сенате, причем отозвалась с похвалою о его честности и усердии [2].

Юстиц-коллегия подала любопытное донесение, что в ней нерешенных дел, начавшихся с 1712 года, состоит 6027 да, сверх того, явились еще неразобранные дела [3]. Резким примером медленности в решении дел уголовных могло бы служить знаменитое дело Жуковых, но здесь медленность происходила не от присутственных мест. Мы упоминали о громадном деле пензенского воеводы Жукова, подпавшего под суд по обвинению в насилиях и взятках. Но кроме того, в 1754 году началось страшное уголовное дело вследствие убийства жены его и пятнадцатилетней дочери, живших в Москве; виновником злодейства был родной сын Жукова с женою и тещею, а исполнителями — крепостные люди. Императрица Елисавета была так поражена злодеянием, что никак не могла окончательно решить участь преступников: смертную казнь она отменила, но подвергнуть Жуковых наказанию наравне с обыкновенными убийцами представлялось нарушением правды. Дело не было решено и преемниками Елисаветы до 1766 года, когда Екатерина обратилась за советом к архиереям Димитрию новгородскому, Иннокентию псковскому и Гавриилу тверскому, которые представили, что хотя по древнейшему обычаю православной церкви монархи христианские сохраняли правосудие в народах по законам, от них же установленным, и казнь таким злодеям состояла в

воле и власти их, однако по истинному христианству прежде всего пеклись они о соблюдении душ погибающих от вечной муки, потому что церковь божия ожидает истинного обращения к вере Христовой и прямого покаяния от самых злодеев отчаянных. Тогда императрица велела предать Жуковых церковному покаянию, но перед всем народом по обряду, назначенному для произведения самого сильного впечатления. Обряд совершался в Москве четыре раза в продолжение Великого поста 1766 года: в четвертое и пятое воскресенье, в четверг пятой недели и в Лазареву субботу — в четырех церквах: в Успенском соборе, у Петра и Павла на Новой Басманной, у св. Параскевы на Пятницкой и у Николы Явленного на Арбате, т. е. в центре и в трех концах Москвы. В назначенный день перед обеднею преступники в сопровождении священника и военной команды шли к одной из означенных церквей в длинных посконных рубашках, босые, в цепях, с распущенными волосами, с зажженными восковыми свечами в руках. Их останавливали у церковных дверей и читали манифест: «Учиненное убийство в 1754 году матери и сестры своей родной бывшим в нашей лейб-гвардии Преображенского полка каптенармусом Алексеем Жуковым с женою его Варварою Николаевою, по отце Полтевых, и сообщниками их столь страшное злодейство, что не токмо в христианских народах, но и между идолопоклонниками и без всякого закона живущими людьми почитается чрезъестественное. Мы довольно ведаем, сколь ужасное сие преступление поразило человеколюбивое сердце покойной тетки нашей императрицы Елисаветы Петровны. Но как такое окаянное дело, в целых веках редко случающееся, неведомыми судьбами божиими по сие время не решилось, а перед немногим только временем подано нам от Сената нашего докладом и между тем некоторые участвующие яко орудие в сем убийстве уже померли, главные же самые убийцы живые на земле остаются в тюремном заключении, то сие самое столь долговременное продолжение их жизни наипаче привело нас в размышление, угоднее ли богу будет лишением живота по законам строжайшим сих злодеев наказать и яко прямо отступивших от веры Христовой и от закона естественного истребить или, ведав их преступление отчаянное, соблюсти души их от вечной муки истинным к богу покаянием без нарушения нашего правосудия и без соблазна народного, оставя дни и живот их в руки всевышнего судьи, на собственное совестное раскаяние и всечасное их сокрушение». Затем следует известие об обращении к архиереям и проч. По прочтении манифеста преступники на коленях должны были читать покаянную молитву, нарочно для них сочиненную, а во время обедни, также стоя на коленях, должны были просить всех входящих и выходящих помолиться о них;

во время обедни дьякон говорил особую ектению о кающихся, священник говорил проповедь о покаянии убийц. По окончании этого покаяния Алексей Жуков сослан был в Соловки, а жена его в Далмацкий монастырь в Сибири на покаяние[4].

С 1758 года тянулось дело вдовы геодезиста Щулепникова, подозревавшейся в убийстве мужа. Сенат подал доклад, что хотя Щулепникова и не винится, но по обстоятельствам дела и кроме оговора состоит подозрительною и по закону надобно ее пытать, но так как она дворянская дочь и дворянская жена, то Сенат не может назначить пытку без высочайшего указа. Но мы видели, что Екатерина постоянно противодействовала пытке; и потому она написала решение, что так как Щулепникова имеет за себя закон, запрещающий верить показаниям против того, кто привел преступника, а Щулепникову оговаривают люди, на которых она указала как на убийц мужа, то она освобождается от пытки, а вместо того должна быть заключена на год в монастырь или в тюрьму, где никто не может ее видеть, кроме священника, который должен уговаривать ее признаться, причем судьи должны допрашивать ее каждые четыре месяца и сравнивать ее допросные речи с прежними. Если она признается в течение этого времени или откроется более доказательств преступления или невинности, то до́лжно поступить по законам. Если она не признается в течение года, то совершенно освобождается[5]. Астраханская губернская канцелярия донесла, что по указу 763 года в приписных городах пыток чинить не велено, но так как приписной город Саратов от Астрахани в 700 верстах, то канцелярия просит, не повелено ли будет производить пытки в Саратове. Сенат приказал: в силу именного указа 764 года стараться, не возя колодников в губернские города, оканчивать дела в указанный срок без пыток[6].

В это же время Екатерина должна была решить трудное и неприятное дело. Знаменитый граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин имел единственного сына, поведением которого имел полное право быть крайне недовольным. Неудовольствие было давнее, что мы имели уже случай видеть в письме Бестужева к императрице Елисавете; несмотря на то, благодаря значению отца сын быстро поднялся по служебной лестнице, был уже давно генералом, исполнял важные поручения; но теперь, перед самою смертью, старик обратился к Екатерине с просьбой о наказании непокорного сына по решению верховной власти, без суда ссылкою в монастырь. Сначала императрица решительно отказала в просьбе. «Просили вы меня, — отвечала она Бестужеву, — о наказании вашего сына, которого поступки, конечно, всякого похуления достойны. Но кому исправление сына более принадлежит, как не отцу его? Родительская ваша власть, законами утвержденная, ни чинами, ни летами вашего сына не нарушается,

кольми паче когда он и службою еще никакою не обязан. Он погрешил перед вами, раздражая дурным своим поведением вас, а перед женою неприличною и жестокою его с нею поступкою. В обоих случаях могут обвинить и наказать его государственные узаконения, если к порядочному правосудию вы прибегнете. А предо мною и отечеством не сделал он такого преступления, за которое б не только наказать его ссылкою и хлебом и водою на долгое время, как вы просите и что у нас вместо смерти употребляется, но чтоб и чинов его лишить, которых отнюдь при том великом наказании оставить при нем неможно. Тем меньше мне дозволить может справедливость послать с ним в заточение невинного штаб-офицера с командою. Следовательно, на ваше письмо я ничего более сказать не могу, как только то, что я об вас жалею и что как вы за непослушание его имеете отцовское к наказанию, так и жена к разводу с ним право, которое в подлежащих местах законным порядком употребить можете, если захотите».

Но через неделю Екатерина переменила свое решение; подействовало ли на нее новое письмо Бестужева или советы других лиц — неизвестно, только она написала старику: «Прошение ваше справедливо. Непорядочное поведение сына вашего заслуживает родительский ваш гнев и такое исправление, какое вы в письме своем изображаете. К настоятелю Свирского монастыря будет о приеме его писано с тем конногвардии унтер-офицером, который с командою препроводить его туда пошлется. Но как действительно не может ваш сын во время содержания его под началом надевать пожалованных ему для вас знаков чести, тоже чином своим величаться, то и можете вы как кавалерии, так и ключ удержать у себя до тех пор, доколе заблагорассудите в монастыре его оставить, а и чином по сие время ему именоваться запрещено будет, содержание ему в монастыре такое предписать вы можете, какое с неистовою его жизнью, должным наказанием и вашим человеколюбием и отцовским сердцем сходно». И четырех месяцев не пробыл Андрей Бестужев в монастыре, как отец его умер, и тогда Сенат получил именной указ: «По смерти графа Алексея Бестужева-Рюмина родные племянники его, князья Волконские, просили нас, чтобы оставшего по нем имения сыну его за развратною и неистовою его жизнью не отдавать, а определить к оному опекунов». Поэтому императрица приказала Сенату определить опекунов князей Волконских и еще двух сторонних заслуженных и честных персон, дабы крестьяне от разорения были сбережены; доходы с имения опекуны должны были делить на две равные части: одна шла на прожиток графу Андрею Бестужеву-Рюмину, а из другой уплачивать его и отцовские долги; когда же все долги уплачены будут, тогда все доходы

должны отдаваться графу Андрею, который освобождается из монастыря со внушением, чтоб жил смирно и добропорядочно, где пожелает, кроме своих деревень[7].

Взяточничество вызвало новую меру со стороны правительства. В конце года Сенат получил именной указ распубликовать во всем государстве об учиненных наказаниях за взятки и лихоимство. В указе говорилось: «Многократно в народе печатными указами было повторяемо, что взятки и мздоприимство развращают правосудие и утесняют бедствующих. Сей вкоренившийся на суде порок при восшествии нашем на престол перво всего понудил нас манифестом объявить в народе наше матернее увещание, дабы те, которые заражены еще сею страстию, отправляя суд так, как дело божее, воздержались от такого зла, а в случае их преступления и за тем нашим увещанием не ожидали бы более нашего помилования. Но к чрезмерному нашему сожалению, открылось, что и после того нашего увещания нашлися еще такие, которые мздоприимствовали в утеснение многим и в повреждение нашего интереса; а что паче всего, будучи сами начальствующие и одолженные собою представлять образ хранения законов подчиненным своим, те самые преступниками учинилися и их в то же зло завели». Распубликованы вины и наказания 39 человек, причастных к делу о взятках по винокурению в Белгородской губернии; здесь во главе преступников поставлен правящий губернаторскую должность князь Григорий Шаховской и губернаторский товарищ Безобразов[8]. О Шаховском состоялась такая высочайшая резолюция: «Кн. Григорий Шаховской, бывши губернатором, за свои законам противные поступки подлежал всякому наказанию, а именно: 1) в том, что, имеючи жалование, коснулся взяткам; 2) слабым своим смотрением учинился во всем дурным примером для подчиненных и тем вовлек их в преступление; 3) через неискоренение корчемства нанес немалый ущерб казне; 4) а что еще паче всего умножает его преступление, все сие учинено им после милостивого указа 1762 года, следовательно, и наказанию подлежит образцовому, а именно: лишив его всех чинов и доверенности, соединенной с оными, которым он учинил себя недостойным, что ему и объявить; а в рассуждении заслуг, усердия и ревности к службе дяди его князя Якова Шаховского повелеваем, сие наказание отменив, обратить оное ему в четырехлетнюю ссылку в его деревню, и впредь не определять его ни к каким делам, и притом ко двору ему не ездить, и в Белгородскую губернию не въезжать»[9].

Белгородский губернатор был наказан за «слабое смотрение»; оренбургский губернатор князь Путятин отличился уже слишком сильным смотрением: он донес Сенату, что за неисправности в делах Исецкой провинциальной канцелярии

сменил всех чиновников и на их место определил других. Сенат счел возможным выйти из затруднения, приказавши на место отрешенных вместе с определенными от губернатора представить от герольдии кандидатов [10]. Сенат получил также любопытную челобитную от полковника и Казанской губернии губернаторского товарища князя Вадбольского, который просил о перемещении его в Галицкую провинцию в воеводы по согласному в том с ним желанию этой провинции воеводы статского советника Кудрявцева, просившего о переводе его губернаторским товарищем в Казань, причем казанский губернатор объявил, что в таком перемещении никакого затруднения и остановки в делах быть не может. Сенат приказал обождать резолюциею, ибо от архангельского губернатора, под ведением которого находилась Галицкая провинция, представление о Кудрявцеве еще не прислано, но потом Сенат велел переместить [11]. Лучший из губернаторов, самый деятельный и просвещенный, Сиверс позволял себе иногда поступки, которые Сенат не мог совершенно одобрить. Так, он донес, что в бытность его в Олонце открылось похищение из тамошней воеводской канцелярии более чем на 6300 рублей, которые он *для скорости* взыскал с воеводы Жеребцова и с похитителей, расходчика и счетчика; воеводу Жеребцова и секретаря Литвинова, хотя со стороны первого умысла не оказалось, а последний недавно при канцелярии находился, за их несмотрение от должности отрешил, а настоящих похитителей велел держать под караулом, описав их имение. Сенат одобрил распоряжение Сиверса, но предписал, что так как из донесения не видно, чтоб от воеводы и секретаря были взяты письменные ответы, без которых дела решить и от должностей отставить их нельзя, то пусть губернатор возьмет от них эти письменные ответы с признанием и, рассмотря, представит в Сенат с своим мнением, равно как и о других [12].

Из донесений императрице генерал-полицеймейстера Чичерина узнаем, что в Петербурге по 1 января 1766 года было жителей мужского пола 39 456, женского — 24 613, итого — 64 069 человек; к первому января 1767 оставалось: мужчин — 42 338, женщин — 24 980, всего — 67 318. Относительно Москвы мы не имеем таких известий. Московский губернатор Юшков доносил, что по вступлении его в управление губерниею от бывшего губернатора Жеребцова в росписном списке показано: нерешенных дел только с 756 года 1215, счетов — 23, а Ревизион-коллегия требует их до 800; доимки разных сборов явилось 1 543 724 рубля, да в архиве дел множество, которые все не описаны, а хотя несколько и описывано, но опись делана была только вчерне, без описи же, сколько и еще есть нерешенных дел, узнать и требуемых счетов сочинить нельзя: текущих дел бывает немало, так как Московская губерния имеет в ведомстве своем 50 городов и более

двух миллионов душ. Для исправления всех этих дел положено при губернаторе два товарища, три секретаря, 31 служитель, на канцелярские расходы отпускается 400 рублей; да в розыскной экспедиции 2 члена, 18 служителей, на расходы отпускается 100 рублей. В 1766 году при свидетельстве денег подушного сбора у трех счетчиков на этот только один год не явилось с небольшим 3000 рублей; счетчики признались в воровстве этой суммы и других денег в прежние годы и показали на асессора и секретаря [13].

Главнокомандующий в Москве граф Солтыков донес о небывалом со времен царя Алексея происшествии в древней столице. «Мною прежде донесено, — писал фельдмаршал, — коим образом здесь, в Москве, не токмо воровства, грабежей, но и разбоев весьма умножилось и пойманные воры и разбойники, из которых некоторые, быв и прежде в приводе, но по произведенным над ними пыткам паки освобождены, объявляют пристани свои в Покровской, Преображенской и тому подобных слободах. В подтверждение явный на сих днях пример последовал. 18 сего месяца (марта) по требованию Мануфактур-коллегии с присланною от оной военною и полицейскою командою посланы были регистратор и приказные служители в село Покровское, в дом крестьянина и купца Дмитриева, для выемки и описи неуказной фабрики и при описи той фабрики нашли как станы, так и сделанные на оных тафты, ленты и прочие товары, что, все опечатав, вышли из того дома вон; но в то ж самое время множество незнаемых людей вооруженною рукою, с дубьем и кольями напали на команду с такой запальчивостью, что многие из десятских и солдат почти до полусмерти прибиты, из коих некоторые едва ль ожить могут, причем и сам управитель (дворцовый села) бит же». Императрица, получив это донесение, очень рассердилась, послала генерал-полицеймейстера Чичерина исследовать дело и в конце собственноручного проекта письма к Солтыкову написала: «Что прежде сего когда на Москве чернь не бунтовала, то искони бе сборище было в селе Рубцове, которое царь Михаил Федорович переименовал Покровское». Чичерин донес, что вся беда стала от сенатского курьера, без которого чернь не поднялась бы [14].

Из Астрахани Сенат получил челобитную от старшины первостатейного купечества Ивана Большова Телепнева: по приказу губернатора Бекетова велено было купцам первой и второй гильдии явиться в магистрат, из которого он, Телепнев, соперниками своими бургомистрами Скворцовым и Волковойновым и прочими отведен был в дом к губернатору. Бекетов, выслав его вон, отдал к подписке заготовленное на него, Телепнева, письмо, будто бы Телепнев бесчестил губернатора в предложении своем, поданном магистрату. Соперн-

ники его были в соглашении с губернатором, а так как последний произносил против Телепнева страшные угрозы, то и прочие купцы, испугавшись, принуждены были подписываться под письмом, причем некоторые, вероятно, и не знают, что в нем написано; после этого губернатор держит его больше месяца безвинно под караулом, чем нанес большой вред его торговле. Он, Телепнев, опасается, что на него пересланы будут в высшее правительство напрасные обвинения, тогда как дело было так: губернатор предписал брать новые, противузаконные сборы с рыбных промышленников; он, Телепнев, по должности своей подал против этого голос в магистрате, причем советовал просить письменно губернатора об отмене новой тягости, а если отмены не будет, то представить Сенату; но члены магистрата вместо этого отослали губернатору подлинное предложение Телепнева; тогда Бекетов и сочинил на него бумагу и дал к подписи всему купечеству. В заключение Телепнев просил освободить его от губернаторской команды, дабы Бекетов не мог его заслать безвинно в безвестные места. Сенат решил в Астраханскую губернскую канцелярию послать указ освободить Телепнева из-под караула, если он не обвиняется ни в чем другом, кроме означенного в его челобитной [15].

Брянские купцы жаловались в Главный магистрат на обиды от генерал-майора Медема. Главный магистрат дал знать об этом командующему Севскою дивизиею генерал-поручику фон Штофельну, который поручил следствие генерал-майору Маслову с штаб- и обер-офицерами. Следователи донесли: 1) Медем у брянских купцов Семыкина и Некрасова взял безденежно 200 бревен, а у старосты Преженцова — корову; 2) купцы — Климов по щекам и плетьми, Чамов палкою, Преженцов по щекам — биты. Медему велено за взятое заплатить деньги, а битых за увечье и бесчестие удовольствовать по Уложенью [16]. Мы упоминали об орловских смутах, о борьбе купеческих партий, партии Дубровиных с партиею Кузнецовых [17]; теперь это дело кончилось: Дмитрий Дубровин и сын его Михайла приговорены были к наказанию плетьми и ссылке в Оренбург; но по указу императрицы вместо этого велено было только взять с них штрафа по 1000 рублей с каждого на Московский воспитательный дом, впредь их в судьи магистратские не определять и выслать обоих из Орла на десять лет; Андрея Дубровина вместо наказания плетьми выслать из Орла с подпискою на пять лет, взыскать с него штраф на Московский воспитательный дом 100 рублей. Оказалось, что все раздоры между орловским купечеством произошли единственно от непорядочного содержания бывшего за Дубровиным винного откупа [18].

В Белеве постигла воеводу небывалая беда, но не вследствие столкновения с купцами. В день коронации асессор

Бунин с товарищами напал на воеводу Каштелинского; полковник квартирующего в Белеве Воронежского полка Олсуфьев зазвал Каштелинского к себе с обнадеживанием, что в его квартире он будет безопасен, а между тем отдал его в руки врагов, и крик несчастного воеводы был заглушен барабанным боем [19]. Относительно нравов в отдаленных областях любопытное дело производилось в воронежской консистории: елецкий помещик поручик Опухтин женился на своей дворовой девице, а потом выдал ее замуж за кузнеца. На следствии Опухтин показывал: венчан ли на той своей крепостной, за пьянством и ипохондрическою болезнию не упомнит. Синод велел увещевать Опухтина, чтоб взял жену свою от кузнеца и жил с нею, как с законною своею женою; если увещания не помогут, то пусть Воронежская губернская канцелярия учинит ему понуждение; если же он и тут останется непреклонен, то послать его в монастырь на покаяние, а жене дать приличную часть из имения его на пропитание. Сенат приказал подтвердить об исполнении этого синодского решения. Другой случай: тамбовский прокурор Жилин подал в Сенат челобитную с жалобою на обиду от попов Никольской церкви в Тамбове. Во время обедни с великим невежеством принуждали они его или оставить бывшую у него в руках трость, или выйти вон. Он подал на попов челобитную в тамбовскую духовную консисторию, но челобитная возвращена ему с надписью, что уже по данному от помянутых попов в канцелярию доношению от преосвященного велено произвести обо всем следствие немедленно. Прокурор объяснял Сенату, что все это произошло единственно по злобе на него тамбовского епископа, который и в келью свою ему входить запретил. Сенат приказал сообщить в Синод, что такое происшествие во время божественной службы очень неприлично и соблазнительно и потому Сенат рассуждает, что надобно изыскать в этом деле самую истину и с виновными поступить по законам; св. Синод благоволит назначить от себя к этому следствию депутата, а от Сената определен будет тамбовский воеводский товарищ; Сенат приказал равномерно же объяснить св. Синоду, что и поступок тамбовского епископа в запрещении прокурору Жилину входить в архиерейские кельи сколько неприличен духовному чину, столько же и чести прокурора предосудителен» [20].

Но не в этих явлениях, как бы они ни были странны, крылась опасность. Коллежский советник Шиловский подал челобитную о побегах крестьян своих из сельца Лешина Московского уезда: эти беглые под видом вышедших из Польши принимались в малороссийские раскольничьи слободы, откуда, подъезжая, подговаривали и остальных его крестьян к бегству. Дворяне разных уездов в Новгородской губернии били челом, что имеют свои деревни в смежности с Лифляндиею и Эстляндиею, куда их крестьяне не только одни, но и це-

лыми семьями убегают и от тамошних помещиков и мызников в невозвратное укрывательство их и передерживание получают под свое поселение земли. Сенат приказал: указ 1754 года о недержании беглых, переведя на немецкий и финский языки, публиковать в балтийских провинциях. Повторялись известия о побегах, повторялись известия о бунтах крестьянских. Воронежский губернатор донес: на железных заводах князя Петра Ив. Репнина (обер-шталмейстера), Липских, Боренских и Козминских мастеровые и рабочие все согласно объявили, что работы исправлять отреклись; чтоб привести остальных в чувство, губернатор велел двоих наказать плетьми; но и после того как наказанные, так и прочие остались при своем объявлении, не обнаруживая относительно наказания никакого сопротивления, поэтому губернатор без сенатского повеления к наказанию такого великого числа людей приступить не мог. Сенат велел 10 человек высечь кнутом и сослать на Нерчинские заводы; других, которые приходили скопом к Воронежской губернской канцелярии, наказать публично плетьми. Темниковского уезда, села Архангельского, четверо крестьян подали челобитную, что от тяжких оброков помещика Еникеева пришли в убожество, причем говорили, что по указу 1766 года определено за тяжкими от помещиков оброками крестьян отписывать на государыню; Еникеев показал, что крестьяне его Архангельского села, в том числе и челобитчики, приходили нарядным делом в дом его, дворовых людей били, жену его бранили, грозили убить до смерти и от послушания отказались. Послана была против них команда, но крестьяне бросали в нее каменьями и, собравши со всего мира денег до 300 рублей, отправили челобитчиков. Из показаний этих челобитчиков обнаружилось, что оброк и работы вовсе не тяжкие, и потому челобитчиков наказали плетьми. Из Воронежской губернии пришло новое известие: возмутились крестьяне из малороссиян (черкасы) в имениях фельдмаршала Бутурлина и графа Воронцова, генерал-поручика Сафонова, полковника кн. Трубецкого и Алексея Плохово, от подданства господам своим отказались, чинят противности, непорядки и озорничества. Восстание охватило и смежные места Белгородской губернии. Императрица приказала: объявить восставшим слободам, чтобы непременно вошли в послушание тем, которые называют их своими, а между тем Сенат дожен приказать рассмотреть где следует, правильно ли этими малороссийскими слободами кто владеет, потому что в тех местах малороссияне обыкновенно не живут да и подобные беспокойства без причины не бывают, и, не исследовав этой причины, все, что ни будет сделано, прямо зла не искоренит, следовательно, искры, противные тишине государственной, оставит. Сенат поручил дело воронежскому губернатору Маслову, который через два

месяца донес, что малороссияне, несмотря на увещания, единогласно объявили, что за владельцами быть не хотят, а желают быть государственными крестьянами. Сенат решил подать доклад: так как черкасами высочайший указ презрен и так как нужно при самом начале искоренять малейшее сопротивление власти в толь подлом роде людей, то не угодно ли будет черкас усмирить воинскими командами, зачинщиков наказать на теле, а между тем о землях, состоящих под поселением этих черкас, Вотчинной коллегии сделать скорее рассмотрение[21]. Доклад был утвержден, и Сенат донес, что малороссияне воинскими командами усмирены в присутствии губернатора и обязаны подписками быть им по-прежнему в повиновении помещикам, но с тем, как они изъясняли: если кто из них в тех слободах жить не захочет, то вольно переходить в другое место[22]. В той же Воронежской губернии, в Тамбовском уезде, взбунтовались крестьяне в вотчине Фролова-Багреева, в селе Васильевском, Русская Поляна тож дрались с посланною против них командою, схватили и закололи поручика, переранили солдат; к ним на помощь пришло множество и волостных крестьян. Побежали только тогда, когда солдаты из ружья убили одного мужика; разбежались в лес[23]. Мы видели, что темниковские крестьяне встали против помещика, возбужденные слухом о каком-то освободительном указе. Сенат счел нужным публиковать, что такого указа никогда не бывало, и потому разгласителей ловить и поступать с ними по указам без малейшего послабления[24].

Сиверс писал Екатерине: «Число бродяг так увеличивается, что тюрьмы ими переполнены как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег. Если бы их брать в рекруты, то и барин, и слуга испугались бы: первый стал бы человеколюбивее, а другой послушнее. Не помнящие родства, люди незаконного происхождения увеличивают рассадник воров. Так называемые цыгане заражают страну; они платят некоторым титулованным господам хороший оброк, бродят повсюду и живут, обманывая простоватого крестьянина. Есть указ, отсылающий их в Украйну, но и здесь найдены лазейки для его обхода. Ружье или Оренбург были бы для них лучше. Их надобно вдруг захватить, чтоб не ушли в Польшу»[25]. Сиверс пропустил еще одну причину бродяжничества: клинский воевода доносил, что крестьяне по недостатку хлеба питаются, примешивая к ржаной и яровой муке пивной дроб и другие масляные из коноплей и льна избоины и мякину, впредь же за недородом хлеба некоторые обыватели будут довольствоваться уже не хлебом, а мякиною. Звенигородский воевода доносил, что некоторые крестьяне покупали рожь в Москве и в украинских городах, продавая скотину, яровой хлеб и платье, и к ржаной муке примешивают отруби и мякину. Из Можайского, Бежецкого

и Рузского уезда приходили те же известия с прибавкою, что крестьяне разбрелись просить милостыню. Сенат велел помещикам под опасением штрафа ссужать крестьян хлебом как на пищу, так и на семена; то же предписано и Дворцовой канцелярии. Последняя донесла, что она распорядилась не собирать с крестьян дворцовых доходов, кроме государственных сборов, снабдить же их хлебом она не находит средства за неимением его в наличности в дворцовых волостях. Сенат приказал рекомендовать Дворцовой канцелярии, чтоб она старалась завести в дворцовых волостях запасные магазины [26].

Бродяга при известных условиях переходил в разбойника; разбойничество являлось по-прежнему в форме ушкуйничества по восточным рекам, протекавшим по областям малолюдным. Алаторская провинциальная канцелярия извещала, что 10 мая пополуночи в 3 часу в вотчину графини Солтыковой под село Поромзино-Городище приехало на двух лодках воровских людей человек до 20 с 4 пушками, с ружьями, тесаками, бердышами и рогатинами, зажгли это село вдруг местах в десяти, отчего сгорело с лишком 400 дворов, четырех человек до смерти убили, многих перерадили, прибили. При чтении этого донесения в Сенате сенатор Суворов и обер-секретарь Ермолаев объявили полученные ими частные письма, что и в других местах той же провинции оказались разбойники в малолюдных шайках. Сенат приказал нарядить для их поимки 120 человек волжских козаков [27]. Казанский губернатор Квашнин-Самарин доносил о появившейся по Суре реке разбойнической вооруженной шайке, которая в Пензенском уезде разбила и разграбила винокуренный завод княгини Голицыной в селе Таском, людей била смертно; выжгла и разграбила село Шукшу той же кн. Голицыной, людей перепытали и пережгли; в Саранском уезде, в вотчине Акинфиева, в селе Степановском, разбили и пограбили помещичьи и крестьянские дворы и винокуренный завод; плывущие по реке Суре в Астрахань с подрядным вином графа Андрея Шувалова суда разбили, деньги пограбили, печатные паспорты у работников побрали. Со степи от города Саратова приехали в Кутино Зимовье, Пензенского уезда, человек 60 верхами, с ружьями, копьями и пистолетами, называли себя козаками и говорили, что если кто из обывателей станет их ловить или поднимет тревогу, то побьют всех до смерти; ранили пехотного солдата, прокололи копьем голову лежащему в колыбели младенцу и, забравши силою по дворам хлеб, уехали. Сенат объявил, что в рассуждении недостатка там воинских чинов не надеется желаемого успеха в скором искоренении злодеев: инвалидные роты составлены из престарелых и раненых, определенные же при канцеляриях в штатное число всегда находятся в караулах и на других службах, притом

они все бесконные, поэтому Сенат предлагал употребить донских и волжских козаков[28]. Таким образом, Сенат признавался, что в случае какой-нибудь опасности для Восточной Украины средства охранения ее совершенно недостаточны.

А признаки опасности не переставали обнаруживаться, и такой опасности, для уничтожения которой нельзя было полагаться на козаков. В 1761 году козак Каменьщиков, живший в Чебаркульской крепости, явился в Троицкую крепость с доносом на старшин Яицкого войска, что они собирали с козаков деньги, сперва по 2 рубля, в другой раз по 37 копеек, в третий по $10^1/_2$ копейки, что наряжали козаков для провожания провианта неволею; донос на сотника и капрала, что давали козакам порох с обвесом от каждого фунта по четверти. Донос был принят, но, прежде чем началось следствие, прошло года два. Между тем старшины, проведав о доносе, начали притеснять Каменьщикова; тот из Чебаркульской крепости уехал без паспорта в Челябинскую крепость, где его за это посадили под караул на 33 недели. В 1763 году взяли его наконец в Троицкую крепость к следствию по его доносу, потом отпустили домой, в 1764 году опять позвали в Троицкую крепость для слушания экстрактов из дела, после чего жил он на свободе месяцев семь, как вдруг взяли его и высекли трижды плетьми за держание у себя суеверной и волшебной тетради, за то, что стрелял по козаку из ружья пулею, и за то, что прибил козака по щекам. После наказания посадили под караул скованного. Тут принял он намерение донесть в Петербург, в Сенат, что дело его следовано несправедливо. В бытность в Троицкой крепости не раз прихаживал к нему Исецкой провинции, Окуневской слободы, государственный крестьянин Семен Телминов и говорил: «Возьми и меня с собою в Петербург, у нас есть нужда в Питере просить, что татары у нас завладели нашими крепостными землями». Каменьщиков ушел из тюрьмы, воспользовавшись тем, что, запнувшись за что-то, упал и железа на нем переломились. Из Троицкой крепости он пошел прямо в Коевское село, где Телминов обещал его дожидаться. Пришедши в село, он сказал первому встречному мужику, чтоб велел Телминову приезжать к нему в бор по Чебаркульской дороге. Телминов не заставил себя ждать, привез с собою и брата. Каменьщиков сказал Телминову: «Поезжай ты в Далматов монастырь к крестьянину Кузьме Мерзлякову и дожидайся меня у него». Из Далматова монастыря все трое поехали в деревню Буткинскую на озере того же имени, где велели собраться крестьянам, и Каменьщиков говорил им: «Ну, ребята, я иду в Питер, и вы прикладывайте к Семенову (Телминов) выбору руки», на что они и согласились; а потом, пробыв в деревне три дня, поехали верхами в принадлежавшее Демидову село Охлупневское для того, что, когда Каменьщиков был еще

в Троицкой крепости, демидовский приписной к заводам крестьянин Василий Качалов сказывал ему, что демидовские приказчики их разоряют и потребляют в несносные работы, а все это происходит от крестьянина Ивана Таскаева и других 15 человек: по их наушничеству много крестьян уже и до смерти побито и перестреляно и много домов пограблено. Каменьщикову стало жаль этих крестьян, и он захотел этим ушникам отомстить, чтоб они вперед Демидовым не ябедничали. Для этого призвал он к себе сотника и сказал о себе, что он курьер сенатский Михайла Резцов, послан с указом из Сената для исследования о крестьянских обидах и разорениях, причем приказал сотскому, чтоб он привел к нему Таскаева и писаря Шишкина. Когда сотский привел их к нему, то он их спрашивал: «Для чего вы пишете и наушничаете Демидову на мир крещеный, будто крестьяне противятся, на работу не ходят?» Таскаев и Шишкин отвечали: «Виноваты, об этом писали, писали на 40 человек». Тогда Каменьщиков приказал сотскому собрать крестьян из других деревень; собралось их человек 400, и многие жаловались на Таскаева, Шишкина и других крестьян, которые брали с миру взятки; Каменьщиков спросил и этих обидчиков, и все они повинились, что брали взятки. После этих допросов Каменьщиков велел крестьянам сечь плетьми всех обвиненных, начиная с Таскаева, что и было исполнено; потом велел наказанных посадить под караул и пожитки их запечатать. Затем призвал священника и велел ему приводить жалобщиков к присяге, что подлинно они терпели от приказчиков обиды, а Шишкина заставил написать в Сенат от всех крестьян челобитную, которую обещал им доставить в Петербург в Сенат; но о чем писал Шишкин, о том Каменьщиков не знал, потому что читать скорописного не умел. В то время как он таким образом распоряжался, крестьяне дали ему знать, что из Шадринска едет схватить его 40 человек команды Каменьщиков, взяв с собою братьев Телминовых да двух крестьян для провожания, поехал в Чебаркульскую крепость, где хотел взять жену и сына; но жена и сын уже ехали к нему, и он встретил их на дороге. Вместе с ними отправился он в Петербург; дорога шла мимо Чебаркульской крепости, невдалеке от которой в степи ходили его три лошади; он взял лошадей с собою и, не заезжая в свой дом, поехал по Казанской дороге. В Казанском уезде остановился он в деревне Починках, откуда ходил в село Урахчи в Петров день к обедне и, видя там мало богомольцев, сказал священнику: «Для чего в такой торжественный день мало людей? Знать, здешние помещики упражняются только в одних забавах». На другой день был он опять в той же церкви у обедни, где видел уже несравненно больше народа. Когда он возвратился в деревню Починки, то ближние помещики звали его к себе на вечер

посидеть, но он отказался; а ночью прибежал к нему помещичий человек Федор и объявил, что эти помещики хотят его схватить и убить, едут с пушкою. Каменьщиков, приняв этого Федора по просьбе его в свою партию, ушел в лес, из которого видел, как помещики со множеством крестьян, с ружьями и пушками оступили деревню и, не найдя его, разошлись. После этого отправился он далее и доехал до Петербурга без всяких приключений; здесь жил он долго близ Невского монастыря, сказываясь оренбургским вахмистром Бахметьевским, а крестьян и слугу Федора называл своими крепостными. Наконец полиция обратила на него внимание и схватила его, когда он шел в Сенат. Так рассказывал сам Каменьщиков о своих похождениях при допросе; но в Оренбургской губернской канцелярии дознались, что Каменьщиков, будучи еще до побега в Исецкой провинции, разглашал, будто император Петр III жив и находится вместе с Волковым в Троицкой крепости, на них-то он, Каменьщиков, и надеется. Спрошенный об этом, Каменьщиков показал, что разглашал о Петре III по уверению козака Конона Белянина. Каменьщикова приговорили к жестокому наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке на Нерчинские заводы в тягчайшую работу навеки. Белянина за его выдумку высекли плетьми[29].

Похождения Каменьщикова вскрывают нам состояние известной части народонаселения, именно русских заводских крестьян в странах приуральских. О состоянии ясачного народонаселения в Западной Сибири мы можем иметь понятие из донесений тамошнего губернатора Дениса Чичерина, одного из самых видных и деятельных губернаторов екатерининского времени. В одном из донесений своих Чичерин описывает, какие мучительства, разорения и грабительства претерпел бедный, безгласный ясачный народ от заводских управителей Кругликова и Мельникова: юрты их жгли, самих мучили, скот и хлеб грабили. Наряжено было следствие; управители изобличены, признались, обязались заплатить за все пограбленное и истребленное, многим уже и заплатили. Главный командир Колывано-Воскресенских заводов Порошин действовал согласно с губернатором, подтверждал управителям указами, чтоб шли к ответу и удовлетворяли обиженных. Но потом управители, видя, что по следствию придется им заплатить очень много, бежали в Барнаул и подали Порошину донесение с оправданием своих поступков. Порошин нашел их показания справедливыми и отправил их на прежние места. Обнадежившись, что главный командир, независимый от губернатора, стал за них, управители увеличили свое озорничество, по выражению Чичерина: в Кузнецке управитель Мельников во всем своем ведомстве запретил, чтоб зимою никто не смел принимать ясачных в свои домы, и они принуждены были сидеть в юртах безвыездно; Кругликов

запретил продавать татарам хлеб и целую зиму морил их голодом. Разоренные вконец этими управителями, томские и кузнецкие ясачные разбежались в дикие, отдаленные леса. Чичерин переписывался об этом с Порошиным около двух лет; Порошин постоянно утверждал, что Мельников и Кругликов правы. Наконец Чичерин велел забрать виновных в комиссию, учрежденную для раскладки ясака; но Кругликов, собрав 200 мужиков своего ведомства, перебил посланных из комиссии, причем сам командовал, сидя на лошади с обнаженною шпагою; то же сделал и Мельников; и оба ушли в Барнаул. Чичерин прописывал, в чем состояли притеснения ясачным: если ясачные распахали сколько-нибудь десятин земли и при этом не подарили управителей, то лишаются этой земли под предлогом размножения хлебопашества на заводах, хотя заводскому крестьянину не только пахать там, и быть на том месте надобности не будет. Ясачные в своих промыслах ведут такую пунктуальную экономию, что по разделении урочищ по юртам всякий знает в своем определенном месте бобровые, лисьи и соболиные гнезда и всегда старается так вести свой промысел и доставать столько зверей, чем бы он мог ясак заплатить и пропитаться год, а больше отнюдь не убивает и накрепко хранит гнезда, чтоб не разорить и не истребить заводу; управители, выведывая такие места или знатные рыбные ловли, тотчас назначают их на поселение русским, и ясачные принуждены отдать управителям последнее, чтоб только этого не делали. Управители, писал Чичерин, ведя происхождение свое от рядовых козаков, подлейшего в Сибири народа, имеют чины сибирского дворянина и, получая жалованья от 10 до 15 рублей в год, имеют от 400 до 500 лошадей и множество всякого скота и богатства. При чтении этого доношения в Сенате сенатор Олсуфьев объявил, что императрица уже знает о поступках Кругликова и Мельникова и уже послан указ Порошину об отрешении их и отсылке к сибирскому губернатору [30].

Если и в городах Европейской России продолжалось старое зло, притеснения бедным купцам от богатых и от самих членов магистратских, то легко понять, что в отдаленной Сибири это зло было еще сильнее. Чичерин вздумал было самовластно отрешать магистратских членов, виновных в его глазах, но из Петербурга ему было запрещено такое превышение власти. Он не мог удержаться, чтоб не пожаловаться на это императрице в своем доношении: «Множество является от бедного купечества жалоб на великие притеснения и разорения от богатых купцов, особенно когда бедные в своих обидах подают прошения в магистраты и ратуши; тогда в силу закона определяется суд по форме, который продолжается многие годы, бедные должны жить безотлучно в городе до окончания дела, которое, однако, оканчивается не в их пользу,

потому что сами они не могут вести его по незнанию, адвоката же нанять не на что, а богатые между тем пронырствами своими длят дело и отводят и бедных окончательно разоряют. Но этого еще мало: как скоро бедный притеснениями и обидами выведен будет из терпения и подаст челобитную, то ответчик, надеясь на знатность свою и пронырство, где-нибудь поймает его и бьет; обиженный вторично должен подать прошение, вторично ему суд по форме, вторично его бьют. Некоторые из присутствующих не только бедных не защищают, но и сами во многих им разорениях и обидах изобличены. за что мною отрешены и определены на их место другие, и тем. хотя и в отдаленных местах, несколько страху наведено; но напоследок ободрились, так как указом в. и. в-ства отрешать магистратских членов мне запрещено»[31].

В то же время Чичерин доносил об открытии и приведении в подданство шести Алеутских островов. «Сие приобретение, — отвечала ему Екатерина (2 марта), — мне весьма приятно. Что бы купцу Толстых обещали пожалованные от меня прежде вышедшей из такого морского вояжа компании привилегии и выделенную у него из собранного с оных островов ясака десятую часть ему возвратить, оное я апробую, и прикажите то самым делом исполнить; тако ж козаков Васютинского и Лазарева для поощрения их произведите в тамошние дворяне. Дай бог, чтоб они и предприемлемый ими нынешнею весною вояж окончили благополучно и с добрым успехом! Желала бы я знать, не слыхали ли они от жителей оных островов, были ли когда там прежде их европейцы и какие, и не видали ли они там какого разбитого европейского судна. Из присланных от вас с оных островов вещей сучок дерева почитают здесь многие за морскую траву, которая, сказывают, обыкновенно так растет, хотя и кажется окаменелою; плетенные из травы мешки, также из рыбьих жил нитки и костяные уды сделаны гораздо искусно, а боб я приказала посадить, и увидим, какое из оного произращение будет. А что вы приказали тех народов платья и всякие куриозные вещи, також и одного из жителей тамошних вывезти, то хотя я любопытна все то видеть, однако ж подтвердите, чтоб при том никакой неволи и ни малейшего принуждения употреблено не было, разве кто добровольно сам согласится с ними ехать. С последнею реляциею вашею присланные птичьи меха я получила; они весьма изрядны, если бы лучше выделаны и прибраны были; здесь за такой мех просят из лавки 60 рублей, какой от вас прислан в полтора рубля; из одного из ваших мехов посылаю при сем шитую здесь муфту, которая вам и образцом служить может, как их подбирать надлежит. Здешние щеголихи носят фалбалы и опушки на платье из мехов; не худо, если бы вы такие, а особливо которые попестрее, прибрать приказали и сюда прислали; а ежели вы не

знаете, что такое фалбала, то спросите у хозяйки вашей, она вам в том наставление даст. Промышленникам подтвердите, чтоб они ласково и без малейшего притеснения и обмана обходились с новыми их собратьями, тех островов жителями»[32].

В то время как императрица переписывалась с сибирским губернатором об Алеутских островах, она должна была внимательно следить за явлениями на противоположной, Юго-Западной Украйне, в Киеве, Запорожье и Слободской губернии. Мы видели, что в Малороссии монастыри и архиерейские дома продолжали еще владеть населенными землями, и видели, как Екатерина заботилась о скорейшем уравнении Малой России с Великою в этом отношении. В 1763 году Синод получил предложение от своего обер-прокурора Мелиссино: «Ее и. в-ство избавить соизволила духовный чин от суеты мирской и от того зазрения, в котором он долголетно находился, обращаясь в мирских попечениях. Св. Синод опытом уже самим удостоверился о блаженстве своем под державою православной своей монархини и не соизволит ли за долг звания своего принять и просить ее и. в-ство, дабы она ту же матернюю свою щедроту изливала и на духовный в Малороссии живущий чин. Ему ведомо нестроение, происходящее между духовными в Малой России единственно по причине управляемых ими самими имений духовных: епархии с монастырями, а монастыри с церквами в беспрестанных и долголетних тяжбах судовых находятся, а потому и сами власти во взаимной вражде между собою пребывают, все же духовные недвижимые имения с имениями мирских владельцев нескончаемые процессы ведут, и как власти по временам с места на место переходят, то судовые хлопоты даже до того простираются, что архиерей, произведенный из архимандрита, на себя, бывшего прежде архимандрита, противные и порицательные подает челобитные, чему особливо примеры находятся между кафедрою Киевскою и Печерским монастырем. Архиереи, архимандриты, игумены и игумены содержат в своих маетностях монахов городничими, т. е. управителями, которые своим развратным житием беспримерные соблазны мирским людям подают и, произведя ссоры с мирскими помещиками, сами в поездах предводительствуют дракам, а иногда и смертоубийству». Синод 15 сентября подал доклад, в желаемом смысле подтверждая известия о беспорядках, например: «И ныне Гамалеевского монастыря архимандрит Давид по одному своему монастырю тяжебных дел до 100 объявляет»[33].

Киев был занят выбором войта. При императрице Анне в 1735 году выборный войт был заменен коронным, войт Войнич был определен именным указом; но при Елисавете в 1753 году позволено было магистрату выбрать войта, и был избран Сычевский из гренадеров лейб-компании. В описываемое время

у этого Сычевского начались распри с магистратом, и 20 февраля 1766 года императрица послала киевскому губернатору Глебову указ, что надобно выбрать в Киевский магистрат нового войта, а Сычевского по окончании его дела, если оправдается, определить на другое место для спокойствия того же магистрата. «Извольте магистрату приказать, — писала Екатерина, — выбор сделать по их привилегиям четырех кандидатов; а мы вам рекомендуем внушить им от себя, чтоб четвертым кандидатом поставили Киевской губернской канцелярии прокурора Пивоварова». Глебов внушал, но, несмотря на его внушения, Пивоваров избран не был, и киевский оберкомендант Ельчанинов в рапорте Глебову писал, что его уверяли, будто перед выборами призываны были в ратушу старшие и через писаря Давыдовского запрещено им было подавать голоса за Пивоварова и за кого бы то ни было из великороссиян, в противном случае чиновник будет лишен чина, а мещанин выгнан из города. 23 марта Глебов был назначен сенатором, и на его место приехал генерал-аншеф Воейков, который начал тем, что собрал магистрат и все привилегированное мещанство, избирающее войта, и перед ними изорвал их прежний выбор, приказавши собраться для новых выборов. В назначенный день, 3 августа, генерал-губернатор поехал сам на выборы. После обыкновенных переговоров между избирателями встал один магистратский член и объявил имена новых четырех кандидатов для общего всего собрания рассуждения; но едва только он успел назвать имена, как со всех сторон послышались голоса, что выбором довольны. Эти кандидаты были: Пивоваров, секретарь графа Григория Орлова Григорий Козицкий, находящийся при великом князе наследнике камердинером Андриевский и Киевского магистрата медовый шафар Дмитрович [34].

А в Петербурге в Военной коллегии граф Захар Чернышев должен был вести спор с запорожцами, которые жаловались, что у них отняли землю. «Ваше сиятельство, — писали запорожцы, — при заседании прошлого года августа месяца объявлять изволили, что Новосербии отданные земли войску паки возвратятся, а на поселение оных и прочих на другой стороне Днепра от Орели по границу 1714 года, с турками учиненную, возьмется, но ныне слышно, яко не только по ту границу, но по самую речку Самарь взять в войско земли вознамерились, что следует с немалым войску утиском, разорением и крайним недовольством, потому если будет по Самаре с одной стороны Новороссийской губернии поселение и крепости, а с другой — запорожцы, то, сверх того, что поселенцы новороссийские воровством и насильным отнятием леса и прочего запорожских козаков разорять и обижать, в крепостях стоящие великороссийские команды воровства, разбои, смертные убийства чинить будут, а унять их от того ни-

какими мерами будет невозможно, отчего не только беспрерывные командам затруднения, но под случай и междоусобство следовать может. Войско Запорожское будет иметь недовольство, ибо Самарь с землями дана ему королями польскими и утверждена государями российскими и из запорожских рук никогда не отходила. Много там козачьих жилищ, бросить их — нестерпимое разорение. Ненадежно, чтоб хан допустил заводить крепости на своих глазах. Не лучше ли сделать так: строить крепости, начав снизу речки Орели, отсюда по рекам Торцам к Луганчику: здесь от турок и крымцев никаких помех не будет, при тех крепостях слободы и деревни заводить легко, ибо Орель и прочие впадающие в нее речки лесом и водою довольны; и потому быть между запорожцами и Новороссийскою губерниею межою от Днепра до Азовского моря границе 1714 года, а с другой стороны — Днепру; а всего бы лучше и Орель с землею оставить при Запорожье, не отбирать у войска земель, ибо оно с ними под Российскую державу пришло добровольно и, только на оных довольствуясь, служит всероссийскому престолу на всем своем коште; оставить без нарушения их старинных привилегий, требуя от оных одной только верности, обережения границ и всякой службы к защищению российского отечества, к чему они всегда состоятельны были и могут быть, видя монаршую к себе в том милость». Ответ последовал такой: вместо земли между Орла и Самары возвращено будет Войску Запорожскому вся бывшая Новая Сербия, кроме положенной от оной на барьер от Днепра на 20 верст. По сю сторону Самары в крепостях учреждены гарнизоны, а между ними в редутах и около оных поселены будут регулярные гусарские и козацкие полки, коих от воровства строгою военною дисциплиною удержать можно. Чтоб состоящие в крепостях команды чинили воровство, разбои и смертоубийство, показано напрасно и напротив доказать можно, что от самих запорожцев подобные нахальства часто происходили. Если дойдет до междоусобия, то виноваты будут командиры и будут за то наказаны. Чтоб Самара с землями от королей польских запорожцам дана, заподлинно утверждать нельзя, и кажется вероятнее, что оное от российских государей отдано взамен отшедших к Польше козацких жилищ, и то не одному запорожскому, а всему с Хмельницким вышедшему войску; но в 708 году, когда запорожцы, взбунтовавшись, перешли на татарские границы, до 714 счислялась сия река в российских границах, а после уступлена туркам, и, хотя запорожцы под российское владение возвратились и сперва на речке Каменке, а потом в Сече поселились, только уступленная туркам земля более завоевана российским оружием и возвращена по мирному трактату 730 года. После этого турецкого мира на устье Самары учреждена была сотня Полтавского

полка, которая в 745 году по сенатскому указу уничтожена, а жители Богородицкой слободы оставлены под ведомством самарского ретраншемента, запорожцы же, усиливаясь на Самаре, насильно отнимали у жителей леса и угодья, делали беспрестанно всякие нахальства и принудили их наконец перейти в запорожское новоселье, однако ж и поныне от Китайгородской и Орлянской сотни выборные козаки с подпомочниками между речек Самары и Орели домами живут, да и во время войны Самара защищаема была регулярным войском, а запорожцев для закрытия оной ни одного не было. Запорожских жилищ там едва ли десятая доля против малороссийских, да и тем вольно оставаться при своих землях под новороссийским правом, как и прочим там живущим. Река Орел лесом по большей части скудна и по сю сторону уже почти заселена, а на Орльчике по сю же сторону земля отдана Петром Великим Кочубеям, так что по переселении Елисаветградской провинции жителей земли с угодьями не будет достаточно. А в Бахмутской провинции земля по большей части бесплодная. Напротив чего, у запорожцев по малолюдству их большая часть хлебородной земли и сенокосов без употребления и есть такие зимовники, что верст от 15 до 20 землею владеют. Новосербия от Буга, не доходя до Днепра за 20 верст, яко земля, оставленная на барьер для всяких случаев, отдается Запорожскому Войску во владение с тем, чтоб на оной селить по своим правам только неженатых; а если позволить им селить женатых, то не без сомнения, что они столь много земли требуют для того, чтоб, приманивая к себе малороссийский народ, тем как Малороссию, так и Слободскую и Новороссийскую губернию опустошать. А во время войны сих людей, рассеянных по степям, и всею армиею защитить возможности не будет. Под Российскую державу Войско Запорожское отдалось не одно само собою, но по тогдашним обстоятельствам с Хмельницким обще со всею Малороссиею и только от поляков российским войском обороняемо было. Службу оное войско исправляет не совсем на своем коште, да и то только не в большом числе [35].

Между сенаторами было мнение, что в административном строе Малороссии могут предстоять основные изменения, предполагалась и возможность назначения нового генерал-губернатора. Это видно из решения Сената по поводу донесения Румянцева о сокращении сроков, положенных для апелляции на нижние суды к вышним. Сенат определил: так как теперь еще неизвестно, останется ли Малороссия при прежних своих основаниях, или по определению туда нового генерал-губернатора последуют и новые установления, то Сенат и не находит нужным делать между тем в правах малороссийских какие-либо перемены или пополнения, и потому означенное донесение оставить без резолюции до того

времени, пока Сенат о воле ее и. в-ства касательно Малороссии точнее известен будет [36].

Перемены начались уже подле Малороссии, в Новой Слободской губернии. Мы видели, что в докладе сенаторов кн. Шаховского, Панина и Олсуфьева было указано на неравномерность тяжестей, которые несло тамошнее народонаселение [37], вследствие чего и введен был общий оклад. По поводу этого нововведения слободской губернатор Щербинин доносил: «Не скрою, что из такого множества людей все считали общий оклад облегчением; некоторые довольны, а другие жалуются, что им стало хуже, именно те, которые ничего не платили и жили под покровительством какого-нибудь начальника или каким-нибудь случаем успевали увертываться от платежа и содержания козака, консистенции, и работать, таким, конечно, тяжелее. Переход жителей с места на место всеми принятыми мерами теперь, кажется, задержан, разве что весна покажет, ибо здешний народ по большей части переходит весною и осенью». Против этого императрица написала: «Когда Малороссия будет приведена в порядок, то, надеюсь, и то пресечется» [38].

В то время как надеялись, что общие государственные меры получат силу и в Южной степной Украйне, представлявшейся страною безнарядною, Сенат был изумлен сопротивлением мере важной и разумной, сопротивлением, оказавшимся в той окраине, где всего менее, по-видимому, можно было ожидать его. Сделано было общее распоряжение, чтоб изо всех областей доставлялись в Сенат ведомости о хлебном урожае, и вдруг получается мемориал от лифляндского генерал-губернатора Броуна с представлением препятствий, какие лифляндское рыцарство находит в исполнении этого предписания. Сенат приказал отвечать, что, вникнув с полным вниманием в представленные от лифляндского рыцарства резоны и затруднения к сочинению ведомостей о ежегодном тамошнем хлебном урожае, он отнюдь не находит их основательными; без таких ведомостей никакое благоучрежденное государство обойтись не может, и потому господину генерал-губернатору безо всякой отмены те хлебные ведомости, благоучрежденным образом непременно в свое время собирая, присылать в Прав. Сенат [39].

Немецкие колонисты, вызванные для поселения в Юго-Восточной Украйне, уже начали затруднять правительство. Канцелярия опекунства иностранных обратилась к Сенату с просьбою о помощи, не зная, что делать, ибо немцев нахлынуло такое множество, что недостает рабочих людей, леса и других материалов для скорой постройки им домов. Сенат отвечал, что вместо деревянных домов нельзя ли делать мазанки; а больше всего, по мнению Сената, надобно было избегать вредного наряда с уездов крестьян к работам:

это может произвести в старых жителях крайнее негодование и ропот, разорить целые села и деревни, и потому надобно исправляться наймом вольных работников. Сенат по заочности не может в таком деле ничем распорядиться, а рекомендует канцелярии отправить на место поселения искусного человека с полною доверенностию, чтоб это лицо не переписывалось о всяком деле с главною командою, распоряжалось бы поселением и сносилось с ближними губернаторами и воеводами[40]. Через несколько месяцев после этого последовал указ о прекращении выхода иностранных поселенцев в Россию впредь до обзаведения выехавших уже[41].

В этом указе, между прочим, говорилось и об отягощении казны вследствие приезда слишком большого количества колонистов; не хотели увеличивать издержек на колонизацию, которые были определены в 200 000 рублей на год. Доходы в 1766 году несколько увеличились; их было 23 708 401 рубль, тогда как в 1765 году было 22 715 389 рублей; но и расходы также увеличились: их было в 1766 году 22 991 793 рубля, тогда как в 1765 году было 22 468 535 рублей. Заметное увеличение расходов произошло на коллегию Иностранных дел, именно 101 655 рублей, тогда как в два предыдущих года издерживалось по 42 353 рубля; чрезвычайные расходы в 1766 году простирались до 1 315 338 рублей, тогда как в 1765 году их было только 654 416, но зато в 1764 году они доходили до 1 696 600 рублей[42].

20 января в присутствии императрицы в Сенате читан был доклад о новом учреждении по дворянским банкам. Екатерина указала: иметь по этому делу конференцию с генералом Бецким и другими, не приметят ли они каких потребных к тому учреждению пополнений или соображений; между тем мыслить, не лучше ль будет то учреждение, как интересующее всю партикулярную публику, за полгода прежде, чем в самое действие вступить может, публике дать знать напечатанием его, не называя докладом, а назвав прожектом, с тем, что если кто из партикулярных людей что к лучшему объявить захотел, то б присылали письменные о том объявления, хотя б не означая своих имен: тогда в прочности его надежнее приступить будет можно. 17 марта императрица также присутствовала в Сенате, и шло рассуждение также о финансовой мере, именно о наложении на французскую водку новой пошлины с будущего года. Екатерина решила: наложением пошлины обождать, пока в Комиссии о коммерции сделано будет общее положение о пошлинах на все товары. Но в то же время сильно беспокоило корчемство русскою водкою. Сенат сделал секретный вопрос новгородскому и смоленскому губернаторам, каким образом прекратить корчемство со стороны Лифляндии и Польши. Сиверс отвечал, что хотя точных мер принять против этого нельзя, ибо лаком-

ство к вину и собственная прибыль будут поощрять к корчемству, однако он не оставил при всех случаях открыто и под рукою наведываться от воевод, дворян и нижних чинов людей и от самих корчемников, недавно пойманных под самым Новгородом, каким образом производится корчемство: почти все ему объявили, что они покупают вино в бочках и анкерках не только из дворянских корчем, но покупают и разменивают у крестьян хлеб на вино, крестьяне этот хлеб опять употребляют на винокурение и так продолжают беспрерывный торг. Сиверс представлял, не угодно ли будет Сенату приказать лифляндскому генерал-губернатору, чтоб он не только подтвердил всем живущим на границе дворянам смотреть как можно внимательнее за своими крестьянами, но и умножил нынешнее денежное наказание за корчемство или по меньшей мере предостерег дворян, что их умышленное нерадение может повредить их привилегиям. От такого подтверждения и страха, по словам Сиверса, может произойти немалая прибыль в Новгородской и Псковской провинциях, ибо смело можно утверждать, что не менее 30 000 ведер входит в Россию через корчемство. Сенат определил: обязать подписками пограничных жителей не продавать вина иначе как по мелочам. Относительно винных откупов Сенат получил следующие известия: Воронежская губерния была взята за 161 200 рублей; Белгородская — за 116 000; Смоленская — за 45 200; Оренбургская — за 121 200; Астраханская — за 215 000; Московская провинция, кроме Москвы, с уездом — за 128 000; Калужская губерния, кроме города Мещовска, — за 64 000; провинции Московской губернии — Юрьевская, Суздальская, Тульская, Владимирская, Углицкая, Костромская, Рязанская, Переяславская — за 410 000; Устюжна Железопольская — за 9800; Свияжская провинция, Казанской губернии, — за 42 500.

Все еще тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцев, у которых пограблено было вино солдатами 28 июня 1762 года. Сенат подал императрице доклад, чтоб купцу Медеру с товарищи вместо расхищенных у них вин зачесть пошлину с их товаров. Но Екатерина написала на докладе: «1) В сем докладе не видно, свидетельствовано ли, чтоб у сих погребщиков в тот день столько выпито было, и о разграблении сих погребов. 2) Так как казна не приказала грабить, то и справедливости не вижу; если просят из милосердия, то расчеты не надобны. 3) Пример кабацких откупщиков к сему служить не может, понеже целость сбора зависит от их целости». Сенат, делать нечего, приказал предложить дело вновь к слушанию. Это слушание происходило не ранее 27 ноября, и Сенат решил оную высочайшую резолюцию тем просителям объявить.

Для усиления торговли с Среднею Азией Сенат отменил прежнее постановление, что вымениваемое в Оренбурге и Троицке у азиатцев золото и серебро купцы непременно должны отдавать в казну на монетные дворы, ибо для купцов это тягостно и отнимается у них охота к вымену на товары свои денег, а так как цена золота и серебра повысилась, то приносящим эти металлы на монетные дворы выдавать за золото вместо прежних 2 рублей 75 копеек за золотник по три рубля и за серебро вместо $19^1/_2$ копеек по $20^1/_2$ копеек, производя плату наличными деньгами безо всякого удержания и проволочек, ибо Волков, бывший оренбургский губернатор, доносил, что единственное средство заставить купцов приносить металлы на монетный двор — это выдавать им сейчас же готовыми деньгами: всякий из них скорее согласится, писал Волков, вынеивать баранов, топить сало и не иметь с канцеляриями дела, чем серебром и золотом навязать себе на шею хлопоты.

Поступление значительных доходов с бывших монастырских имений вводило Сенат в искушение обращать эти доходы на возможно большее число статей; но так как эти статьи ограничивались содержанием духовенства и богоугодных учреждений, то иногда Сенат позволял себе смешные натяжки. До сих пор на содержание Московского университета 20 000 рублей отпускалось из винных доходов; Сенат представил, нельзя ли и эти деньги и остальные 15 000 рублей, отпускавшиеся из Штатс-конторы, опускать из доходов коллегии Экономии, ибо «в сем училище главное научение производится о настоящем познании душевных добродетелей и ко исправлению нравов на богоугодное и обществу полезное употребление». Но императрица с таким взглядом Сената на университет не согласилась и приказала по-прежнему отпускать на него деньги из винных доходов [43].

В 1766 году Екатерина окончила свой законодательный труд, посредством которого хотела перенести в Россию просветительные идеи, выработанные европейскою наукой. Мы видели, что об этом труде знали приближенные к императрице люди, знали и так называемые философы во Франции. В описываемом году императрица потребовала мнения о своем труде от некоторых лиц. Из этих мнений особенно замечательны для нас мнения старого, умного, опытного служаки Баскакова и знаменитого писателя Сумарокова. Баскаков не мог согласиться на совершенное уничтожение пытки и написал: «Не благоволено ль будет прибавить: *Кроме необходимых случаев,* которые надобно означить именно». Баскаков представлял один из таких случаев: разбойник, погубив хозяев дома, вынес такую вещь, которую ему одному вынести никак было нельзя, и между тем утверждает, что товарищей у него не было. Екатерина заметила на это:

«О сем слышать неможно; и казус не казус, где человечество страждет». Но вообще Екатерина была довольна замечаниями Баскакова и написала: «Все его примечания умны». Иначе отнеслась она к замечаниям Сумарокова, который написал их с обычным своим пылом и скоростию, причем положения, сами по себе верные, приводились вовсе некстати и способны были только раздражить; например, Сумароков вооружился против решения большинством голосов. «Большинство голосов истины не утверждает, — писал он, — утверждает мнение великий разум и беспристрастие». Екатерина заметила: «Большинство истину не утверждает, а только показывает желание большинства». Сумароков продолжал: «Ежели кто за недозволенным отсутствием голоса своего лишится, так не он, но общество пострадет, ежели полезное его мнение не примется после». — «И всякий, следовательно, всякое дело остановит, и выйдет хаос», — замечает императрица. *Сумароков:* «Законов с умствованием народа соглашать не надобно, ибо у честных людей все умствование — нагая истина, а законы предписывают борющим истину». *Екатерина:* «Есть законы, ведущие к добру, есть наказывающие преступления». *Сумароков:* «Умеренности правосудие не терпит, а требует надлежащей меры, а не строгости и не кротости». *Екатерина:* «Изображение (т. е. воображение) в поэте работает, а связи в мыслях понять ему тяжело». *Сумароков:* «Вместо наших училищей, и особливо вместо Кадетского корпуса, потребны великие и всею Европою почитаемые авторы, а особливо несравненный Монтескиу, но и в нем многое критике подлежит, о чем против его и писано». *Екатерина:* «Многие критиковали Монтескиу, не разумея его; я вижу, что и я сей жребий с ним разделю». *Сумароков:* «Вольность и короне, и народу больше приносит пользы, чем неволя». *Екатерина:* «О сем довольно много говорено (т. е. в «Наказе»)». *Сумароков:* «Но своевольство еще и неволи вреднее». *Екатерина:* «Нигде не найдете похвалы первому». *Сумароков:* «Между крепостного и невольника разность: один привязан к земле, а другой — к помещику». *Екатерина:* «Как это сказать можно? Отверзите очи!» *Сумароков:* «Господин должен быть судья — это правда; но иное дело быть господином, а иное — тираном, а добрые господа — все судьи слугам своим; и отдать это лучше на совесть господам, нежели на совесть слугам». *Екатерина:* «Бог знает, разве по чинам качества считать». *Сумароков:* «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя: скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян, и будет ужасное несогласие между помещиков и крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки; непрестанная будет в государ-

стве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах («и бывают зарезаны отчасти от своих», заметила Екатерина), вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища, ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них. Примечено, что помещики крестьян, а крестьяне помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет». *Екатерина:* «И иметь не может в нынешнем состоянии». *Сумароков:* «Продавать людей, как скотину, не должно; но где же брать, когда крестьяне будут вольны? И только будут к опустошению деревень: холопей набери, а как скоро чему-нибудь его научишь, так он и отойдет к знатному господину, ибо там ему больше жалованья, а дворяне учат людей своих брить, волосы убирать, кушанье варить и проч. И так всяк будет тратить деньги на других, выучивая. Малороссийский подлый народ от сей воли почти несносен». Обо всех замечаниях Сумарокова Екатерина заметила вообще: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает, чтоб быть хорошим законодавцем; он связи довольной в мыслях не имеет, чтоб критиковать цепь, и для того привязывается к наружности кольцев, составляющей (составляющих) цепь, и находит, что здесь или там ошибки есть, которых пороков он бы оставил, если б понял связь. Две возможности в сем деле суть: возможность в рассуждении законодавца и возможность в рассуждении подданных, или, лучше сказать, тех, для которых законы делаются; часто прямая истина в рассуждении сих возможностей должна употребляема быть так, чтоб она сама себе вреда не нанесла и более от добра отвращение, нежели привлечение, не сделала»[44].

14 декабря того же года был издан манифест. «Ныне, — говорила в нем императрица, — истекает пятый год, как бог един и любезное отечество чрез избранных своих вручил нам скипетр сей державы для спасения империи от очевидной погибели. Мы со дня восшествия нашего на престол до сего дня единственный предмет имели и пред самим богом обязанными себя почитали исполнить то, что мы в манифесте 6 дня июля 1762 года императорским нашим словом наиторжественнейше обещали, чтобы просить бога денно и нощно, да поможет нам подняти скипетр в соблюдение нашего православного закона, в укрепление и защищение любезного отечества, в сохранение правосудия, в искоренение зла и всяких неправд и утеснений, и, наконец, чтоб узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного отечества в своей силе и надлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка. Для достижения сих предметов мы предписали себе со всевозможным прилежанием входить

в каждое доходившее до нас дело и слушать всякие до нас достигшие жалобы, дабы узнать, с одной стороны, недостатки, и с другой — каким бы лучшим способом достигнуть желаемого и обещанного конца. Мы в первые три года узнали, что великое помешательство в суде и расправе, следовательно, и в правосудии составляет недостаток во многих случаях узаконений, в других же великое число оных по разным временам выданных также несовершенное различие между непременными и временными законами; а паче всего, что чрез долгое время и частые перемены разум, в котором прежние гражданские узаконения составлены были, ныне многим совсем неизвестен сделался; притом же и страстные толки часто затмевали прямой разум многих законов; сверх того, еще умножила затруднения разница тогдашних времен и обычаев, не сходных вовсе с нынешними, кои последние суть основания и следствие великих предприятий премудрого государя деда нашего императора Петра Первого».

Упомянув о попытках своих предшественников к составлению Уложения, Екатерина продолжает: «Но как все вышепомянутые намерения остались без желаемого успеха, то мы, усмотря все те же предками нашими примеченные неудобства, начали сами готовить «Наказ», по которому должны поступать те, кому от нас повелено будет сочинить проект нового Уложения. И понеже наше первое желание есть видеть наш народ столь счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастье и довольствие могут на сей земле простираться; для того, дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа, повелеваем прислать из нашего Сената и Синода, из трех первых и изо всех прочих как коллегий, так и канцелярий, кроме губернских и воеводских, также изо всех уездов и городов нашей империи в первостоличный наш город Москву депутатов полгода после дня обнародования в каждом месте сего манифеста. Выбрав каждое место депутатов, даст им от себя наставление и полномочие. Сих депутатов, коим особливые выгоды от нас даны будут и кои распущены быть имеют по нашему усмотрению, мы созываем не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они быть имеют в комиссию, которой дадим наказ и обряд управления для заготовления проекта нового Уложения» [45]. В *положении,* присоединенном к манифесту, заключались подробности относительно выборов: от каждого уезда, где есть дворянство, должно было выслать по одному депутату; от жителей каждого города — по одному; от однодворцев каждой провинции — по одному; от пахотных солдат и разных служб служивых людей и прочих, ландмилицию содержащих, от каждой провинции — по одному депутату; от государственных крестьян из каждой провинции — по одному;

от некочующих инородцев, какого бы они закона ни были, крещеных или некрещеных, от каждого народа с каждой провинции — по одному депутату; определение числа депутатов от козацких войск и от Войска Запорожского возложено на высших командиров их. Депутаты должны быть не моложе 25 лет; они получали жалованье от правительства (дворяне — по 400 рублей, городовые — по 122, прочие все — по 37 рублей), навсегда освобождались от смертной казни, пыток, телесного наказания и конфискации имения; обидевший депутата наказывался вдвое против обыкновенного. Избрание депутатов должно было производиться баллотировкою по большинству голосов. Каждый депутат получал от своих избирателей полномочие и наказ о нуждах и требованиях их общества, сочиненный по выбору пятью избирателями. Дворяне каждого уезда прежде избрания депутата должны выбрать себе предводителя на два года. Этот предводитель, носящий титул *почтенного,* в своем уезде при собрании дворянства везде имеет первое место; под его председательством прежде всего происходит выбор депутата. Точно так же горожане выбирают прежде городского голову также на два года, и он носит титул *степенного.* Как дворянский предводитель, так и городской голова не должны быть моложе 30 лет.

19 декабря в Сенате слушан был указ об учреждении комиссии для сочинения проекта нового Уложения. По выслушании постановлено: Сенат считает за должность принести ее имп. в-ству признание и благодарение за столь беспримерное о всех своих верноподданных монаршее попечение. На другой день Бецкий представил модель монумента Екатерине с указанием места на площади против нового Зимнего дворца [46].

Депутаты должны были съехаться в Москву в конце июля 1767 года, но двор отправлялся туда в начале года, и вместе с ним переезжали в старую столицу Сенат, Синод и находившиеся в Петербурге коллегии, как бывало во времена Петра Великого и Елисаветы. Императрица намеревалась также совершить путешествие на восток по Волге до самой Астрахани; западная окраина, прибалтийские области были посещены; желалось увидеть любопытный край, где Россия и Европа сходились с Азиею, юная цивилизация сталкивалась со старым варварством, где боролось так много разнообразных элементов, откуда приходили известия о великих богатствах страны, об опасных движениях народа.

Сенат переехал в Москву в феврале 1767 года, и одним из первых его дел здесь было ассигнование на первый год 200 000 рублей на жалованье депутатам в комиссию для сочинения проекта нового Уложения. Выборы этих депутатов происходили повсюду спокойно и правильно; ошибки немед-

ленно исправлялись; только с двух украйн, западной и южной, из прибалтийских областей и из Малороссии приходили странные известия. Эстляндский генерал-губернатор генерал-фельдмаршал принц Гольштейн-Бек донес Сенату, что собрание эстляндского дворянства должность предводителя поручило без баллотировки риттершафт-гауптману фон Ульриху, по предложению которого назначено для выбора в депутаты с каждого уезда по 4 человека кандидатов, и выборы происходили единственно из этих четырех особ, а не из всего общества; кроме того, баллы клались не самими избирателями, но по приказанию того же гауптмана секретарем, почему избран в депутаты сам гауптман с таким от бывших при выборе лиц представлением, что если он в Москву отправится, то должность предводителя будет отправлять брат его ландрат Ульрих. Так как это все было сделано совершенно вопреки высочайше утвержденному обряду, то Сенат определил: производство эстляндского дворянства в выборе предводителя и депутата уничтожить и произвести новые выборы. Но губернатор не распорядился исполнением сенатского указа, а прислал в Сенат запросы относительно производства выборов, принимая на себя ответственность в сделанном. Тогда определено: прежние погрешности Сенат приписывал не столько губернатору, сколько эстляндскому дворянству, и губернатору оставалось загладить этот проступок точным исполнением приказанного; но вопреки ожиданию Сенат с немалым удивлением теперь видит, что генерал-губернатор, оправдывая дворянство, прежний непорядок не только приписывает одному себе, но и настаивает, что иначе нельзя было сделать, и требует разъяснения того, о чем имеет точное указание, которое так ясно, что никакого недостатка в нем нет, и напечатано оно на других иностранных языках, следовательно, непонимание его не только знающему, но и не знающему силы русского языка извинением служить не может, тем меньше ему, губернатору. Ему никак не следовало допускать дворянство к этому делу примешивать свои обыкновения и к таким неосновательным, не на законах, а на частных обычаях основанным объяснениям присоединять еще никакого внимания не заслуживающее, будто бы не отыскали такого просторного дома, в котором бы эстляндское дворянство могло поместиться для выбора предводителя и депутатов. В Петербурге и Москве из первейших чинов люди, у кого такие выборы назначены не были, за честь себе почитали оказывать усердие, отдавая на такое время свои домы.

Лифляндский генерал-губернатор Броун дал знать Сенату, что лифляндские дворяне находящихся в Лифляндии и действительно там имеющих свои деревни к баллотированию в товарищество не приняли потому единственно, что они в лифляндском дворянстве не состоят; хотя генерал-губернатор

и предлагал им и таких из общества своего не исключать, но они оказались непреклонны. Сенат решил доложить императрице: так как настоящий случай выбора и присылки депутатов есть дело чрезвычайное и беспримерное и вступать в разбирательство споров рыцарства с земством было б неуместно и причинило бы остановку в должном исполнении высочайшей воли, то иметь участие в выборе всем тем, которые в звании дворянском, действительно владеют там своими собственными деревнями, не различая, кто тамошний природный, кто русский и из другого государства выезжий или в другом уезде живущий дворянин; из этого исключать только разночинцев. Екатерина написала на докладе: «Как манифест издан для блага всех верноподданных, то и им следовать пятому пункту дворянского обряда о выборе депутата». (В этом пятом пункте говорится: выбирать дворянского депутата может всякий дворянин, действительно владеющий своим имением в том уезде.) Города Пернау и Дерпт подали просьбу о своих изнеможениях, по которым не находятся в состоянии выбрать депутатов из своих жителей; городская казна отягощена великими долгами, не из чего дать на содержание депутатов и помогать оставшимся их семействам. Сенат решил поступить по точной силе и разуму манифеста [47].

В Малороссии по поводу манифеста 14 декабря Румянцев издал циркуляр: «Отвечая должности звания моего, не в предложение точных мер, но в совет вам сие мое мнение подаю: примите вы все с радостью сей подаваемый вам случай к достижению общенародного благоденствия, пользуйтесь им прямо и сделайте из него употребление таково, каковое бы вам в потомстве вашем честь и похвалу делало; обращайте все ваши примечания на общенародное добро, в котором одинакое (частное) наше (т. е. добро) токмо прямо и заключаться может; отдаляйте все то, что только блестит нам нашею собственною маловременною корыстию; пройдите с вниманием течение минувших времен; разыщите рачительно все причины, вредившие общему вашему благоденствию и силе законов, приведшие суды в медленность и судей в разновидные рассуждения, а некоторых и на злоупотребления, препятствовавшие вашим домостроительствам и в вотчинном хозяйстве, уничтожившие весь порядок гражданского упражнения, в торге и промысле, наведшие отвращения поселянам не только к земледельству и скотоводству как главным земли здешней промыслам, понудившие или повод подавшие удаляться жилищ своих и имуществ; помышляйте всегда, что в основании всех государственных законов принимаемо быть должно по страхе божием честь и слава государская и достодолжное наше к ним подданство и благосостояние государственное во всех обширных оного частях, а за

первое законное правило доставлять всем и всякому в тишине и покое пользоваться плодами трудов и упражнения его, в чем прямо вольность в добродетельном разуме и заключается. Избирайте между вами предводителя и депутата таковых, кои бы все свойства, прописанные в обряде, имели, и о общенародных отягощениях, нуждах и недостатках, а не своих собственных помышляли, и чужды бы были пороков тех, от коих главное неустройство везде взяло свое начало, т. е. лихоимство, презрение своего ближнего и неистовство на своего подчиненного, явитеся вы прямыми соревнователями прочих провинций».

Циркуляр не произвел вполне того действия, какого бы хотелось Румянцеву. От 2 марта 1767 года он жаловался императрице: «Новый проект Уложения не производит здесь во многих больших такого действа и признания вашего импер. в-ства благоволения, не переменяет наклонности их, ни рассуждение. Многие истинно вошли во вкус своевольства до того, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольностей, отзывы же у всех одни: зачем бы нам там и быть? Наши законы весьма хороши, а буде депутатом быть, конечно, уже надобно, только разве б искать прав и привилегий подтверждения. Термины обыкновенного их совета, которые они простому народу (который подлинно добр), пользуясь его простотой, внушают и всегда в голову кладут, что о вольности и о правах как о первоначальном всем искать надлежит; но, однако же, в разделе и в объяснении сих вольностей и прав входить отнюдь за благо не рассуждают. Осмеливаюсь просить о всемилостивейшей резолюции на мои поднесенные планы, а особо о полицейских комиссарских и магистратских учреждениях, без которых дела здешние дойдут истинно до крайнего повреждения и все даваемые указы остаются и оставаться будут без всякого исполнения; плач и вопль народный и насилие властелинское до крайности умножилися: один коллежский обряд, который по здешним смешанным военным, гражданским, и земским и обращенным везде в собственную корысть делам едва и храниться может, весьма недостаточен привесть их все, и особливо людей, в желаемое состояние. Примечено и то здесь стало, что многие ободрили себя прямо как можно держаться старины. Одни города и простой народ признают публично милосердие вашего импер. в-ства чрез введенные некоторые от меня порядки за полезные для них, но тут же жалуются, что самые их начальники, кольми паче больше расплодившееся здесь шляхетство, им в том всеми силами препятствуют».

На это Екатерина отвечала (17 апреля): «Что вы пишете, что намерение о сочинении проекта нового Уложения во многих у вас больших не производит желаемого действия

и что многие вошли во вкус своевольства до того, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольности, то я надеюсь, что вы употребите такие меры, которые не познавающих собственной своей и общественной пользы степенями приведут наконец к познанию оной. Нет нужды, кажется, некоторое принуждение или усильные увещания употреблять и в том, чтоб для избрания депутатов к сочинению проекта непременно все явились, и довольно, когда некоторое число, хотя малое, для выбору явятся, тем наипаче, что города, как вы пишете, уже публично признают некоторые введенные от вас порядки за полезные для них, следовательно, мещане оных городов не преминут дать от себя депутатов, а потому кажется и надежно, что они в прошениях своих, конечно, не оставят упомянуть о прежде бывших злоупотреблениях».

Но Румянцев продолжал сообщать неприятные известия: «Вельможи, старшины и мнимое шляхетство везде разно толковали о манифесте. Иные говорили, что сие все до них не следует; другие, ослепленные любовью к своей землице, думали, что (их) как ученых и правных людей созывают токмо для совета и сочинения нового Уложения для великороссиян; не хотели сии превращенные из ничего собою и большею частью через деньги, отнятие чужих земель, а иногда по женам в дворяне и слышать, чтобы сидеть с мещанами, считая сие быть предосудительным чести своей, именуючи всегда граждан мужиками, и в самом деле старалися при сем случае уничтожить их вовсе из звания, уничтожа без того же уже все их права и привилегии и присвоя себе в городах власть беспредельную и владения большие. Ваше императорское величество характер мой терпеливый и неборзкий знать изволите, но недоставало моего терпения сим вралям далее попущать или инако с ними объясняться, и взял тон прямо начальничества и, заставя молчать, толковал им, что депутаты от них требуются так, как и от всех провинций. Чтобы между мещанами все городские жители в собраниях находились, послал из Новгорода Северского циркулярные ордеры и там, начав 5 числа марта, продолжал сии выборы в Стародубе 14, в Чернигове — 29 с достодолжным безмолвием и тишиною. Не обошлось без того, однако, ни одно собрание, чтоб кто-либо в начале оного не встал, укоряя другого не быть шляхтичем, а таковой раздраженный имел готовую генеалогию всем самознатнейшим вельможам, обыкновенно начиная род их вести или от мещанина, или от жида; уличаемо было, что и по нескольку раз свои имена некоторые по надобностям и обстоятельствам меняли; нередко смертное убийство и другие бесчестные пороки тут примешивались. Я им, подтверждая молчание и тишину по силе обрядов, всегда на то отвечал, что до их фамилий, пород и пороков надлежит, то я

как матрикулий, так и о поведениях их никакого сведения не имею. Но как скоро доходило до выбора депутатов и сочинения особливо наказа, тут открывалось повсюду прямое и им свойственное везде искание и желание: везде согласно закричали и зачали тем, чтобы права, вольности и обыкновения им утверждены были, поборы бы все оставлены, войска выведены, шляхетство от взятия пошлин уволено; некоторые же, бывшие особливо в администрации гетманских экономий, отзывались, чтоб настоять и неотступно просить гетмана по-прежнему. Мне хотя мешаться прямо не надлежало, но как в Стародубе, так и в Чернигове выбранные предводителями судья земский Искрицкий и судья отставной генеральный Безбородко восчувствовали в первенстве, хотя между ровными скоро от несогласия их отягощения и просили меня, чтоб я им помог привесть их в согласие, а особливо Безбородко, который с помощью сына своего, во всю мою бытность здесь и в Петербурге целый год при мне находившегося, собранию ими представленные пункты мне показали, где увещевали они собратию свою явиться непостыдно в собрание изо всех частей государства. Я им говорил: вы хотите просить 1) о утверждении прав, которых вы до учинения земских и градских судов, т. е. по 763 год, почти и в употреблении не имели, а ныне с трудом и не в точной их силе по разным и весьма противным свойствам крестьянства и шляхетства польского с малороссийским наводите, и тем самым безгласные люди, а паче козаки, все имущество свое тратят. 2) О преимуществах и вольностях, которые по статьям Богдана Хмельницкого весьма благоразумно и на всякий чин отдельно — особо шляхте, особо духовным, особо войску козацкому, особо земству — от государей подтверждены; но вы, все то наруша, сделали почти одно звание шляхетства и всякого беглеца-крестьянина, женившегося токмо на козацкой девке, принимаете в достоинство шляхетское, а такого ж шляхтича или козака часто без судов, а иногда по судам, но не всегда по законам делаете крестьянином, следственно, вам о дворянстве, до того сие достоинство повредившем, едва ль и отзываться осмелиться можно ль. 3) О снятии податей дело, до вас нимало не касающееся, здешних крестьян, по собственному их признанию, отягощающее, и которые по статьям Богдана Хмельницкого государю точно дань давать повинны, а владельцам по некоторым других гетманов статьям и то по грамотам данным только вольные приносы принимать, сено и дрова приготовлять дозволено. И так вы сею просьбою хотите переменить свойство совсем здешнего крестьянина и тем отважно касаетеся права, государям точно принадлежащего. 4) О выводе войск, необходимых для внутренней и внешней безопасности, подвергаете себя разным трудным ответам и объяснениям».

О выборах депутатов и наказах им в разных местностях Румянцев писал: «В Сечи Запорожской полковник Милорадович препорученное ему дело со всею благопристойностью окончил. Генеральный обозный Кочубей, отправленный для выборов в Полтаву, ко мне партикулярно пишет, что он с великим трудом и там едва мог склонить чиновничество к заседанию с градскими жителями. Премьер-майор Стремоухов, для того ж определенный в Прилуках, рапортует, что по первому от него объявлению никто в собрание из градских жителей не пошел, отозвались прямо, что не будут; а по получении моего циркулярного ордера дали свои голоса на других и одного по большинству сих отзывов также не бывшего в собрании и не лучшего приятеля городским обрядам, полкового писаря, выбрали депутатом. Я сей выбор уничтожил. Ваше император. величество не может представить, до какого степени и почти равного коварность и своевольство здесь дошли; в сих пунктах бывшие в чужих краях, равно здесь родившимся и нигде не бывалым ослеплены. Страннее всего, что эта небольшая частица людей инако не отзывается, что они из всего света отличные люди и что нет их сильнее, нет их храбрее, нет их умнее и нигде ничего хорошего, ничего полезного и ничего прямо свободного, чтоб им годиться могло, и все, что у них есть, то лучше всего. Мне показалось при сем случае не бесполезно разделить их интересы с козацкими: я велел для того на основании обряда о выборе однодворцев и пехотных солдат от всякого полка выбрать по одному депутату и, в Чернигове будучи, сам оного выбирал и видел наказ, от общества ему данный, где хотя по простоте появляются некоторые излишности, однако между тем и почти прямое исковое прошение на старшин и на чиновников их в несносных им причиненных обидах и разорениях. Козаков умышленно ради того в шляхетское достоинство сами собою произвели, чтоб, позывая их, по их простоте и незнанию права несносные убытки и разорения делать, показывая тем народу, что было то только на первый случай, как они обыкновенно отзываются, и что все навсегда в их руках останется по-прежнему. Малороссийская коллегия везде почти нарядила по доносам и жалобам следствия; но великороссийские члены (коллегии) часто иногда в том обмануты бывают и по незнанию людей, и по рекомендациям своих сочленов определяют следовать дела самых главных иногда в том соучастников. Не худо б через гвардии офицеров учредить комиссии в исследовании всех непорядков, завладениях государственных имений и насильствах: этим пресекутся все сумасбродства, фальшивые и им несвойственные республиканские мысли и ограничится размножающееся здесь вредное государству вельможество и шляхетство. Я в Стародубе и Чернигове больше 300 жалоб получил: большая часть оных

в насильном отнятии земель, угодий и других имуществ, в убийствах и несправедливых судах и волокитах. В отсутствии отдаленном генерал-губернатора определить (дóлжно) главного командира, к которому б здешнее начальство и чиновничество весьма надобное подобострастие и послушание имели, а коллежское правление они ни во что не ставят. Например, коллегия требовала и по сенатскому еще указу, чтоб владельцы, кому от бывшего гетмана деревни даны, какие они с них получают доходы, точно показали; некоторые на то отвечали, что они, кроме осьми или десяти яиц с двора в год, ничего не получают, хотя известно, что в случаях ранговых деревень расположения до 14 рублев с двора тяглого за правильный оклад здесь же определяется».

В Чернигове выбрали депутатом заочно генерального есаула Ивана Михайловича Скоропадского, о котором Румянцев писал, что он «при всех науках и в чужих краях обращениях остался козаком». По старанию предводителя Безбородко написан был депутату такой наказ от избирателей: 1) просят об изменении некоторых глав Литовского статута как несогласных с настоящим временем, например если шляхтич убьет простого человека, то наказывается только отсечением руки и очень малым платежом денег; сей закон может быть терпим в Польше, где все бедные и особливо достоинства шляхетского не приобретшие стенают под игом порабощения и мучительства. 2) К отвращению сомнительств о породе каждого из шляхетства и к пресечению впредь простородным похищать без заслуг преимущества шляхетские да будет угодно ее импер. величеству всех тех, которые сами или предки их в чинах военных и штатских малороссийских верно служили и служат, указав, написать в список шляхетства и обще с составившимися здесь российскими знатными фамилиями, тако ж с получившими сие достоинство от королей польских и от царей всероссийских принять в общество дворян российских. 3) По отсутствию средств к воспитанию учредить в Малой России дворянский корпус, а для высших наук университет и академии, также женское училище. 4) Нет у нас другого воинства, кроме козаков, в начальство над которыми определяемые по причине непорядочного не по старшинству и заслугам, но общим выбором и усмотрением властей произвождения коснеют в одних чинах и, видя часто незаслуженных, похищающих пред ними первые места, приходят в оплошность; для сего просят, чтоб козаки в лучшем и порядочнейшем виде к службе устроены были, а шляхетство, начиная в таковых полках служить от нижних чинов, учинять себя достойными охранителями империи. 5) Для разбирания шляхетских споров учредить в первой инстанции суды земские, где судей выбирать бы нам между собою. 6) Не ограничивать выбор предводителя только на

два года, но возобновлять сей выбор и впредь. 7) Чтоб никому, кроме внесенных в шляхетский список, не было позволено покупать у нас деревень, мельниц, земель и всяких угодий, пока покупающий от предводителя и всего шляхетства в сообщество наше принят не будет. 8) Принять меры для уничтожения притеснений, делаемых войсками жителям. 9) Чтоб войска ставились по городам, а не по деревням. 10) Учредить в Малороссии государственный банк». Безбородко никак не мог провести одного пункта: просить об ограничении власти дворян над крестьянами. Не были ему благодарны и за внесенные в наказ пункты. Румянцев писал: «Безбородка за этот наказ и сына его возненавидели и в бытность первого здесь (в Глухове) явно его презирали и нарекали быть недоброжелателем отчизны, а депутат Скоропадский ему при первом свидании объявил, что он его наказ ему же и сдаст в Москве, он-де для него так темен, что его едва и разуметь можно».

Шляхетство Нежинского и Батуринского поветов подали челобитную: «Повелеть вольными голосами купно с войском Сечи Запорожской изобрать гетмана». Румянцев писал: «Я выбор депутата (Долинского) уничтожил и от предводителя (Тарнавиота) требовал рапорта, кто был первым виновником глупого предложения о выборе гетмана вместе с Сечью и не было ли об этом переписки с Сечью. Но они в последнем явились мне прямо ослушны, а в первом взялись все отвечать, что они все вдруг вздумали».

Екатерина продолжала смотреть на эти явления гораздо спокойнее, чем Румянцев. Она отвечала ему (3 мая): «Из писем ваших усмотрела я препятствия, кои в вашем месте встречали известный манифест 14 декабря 1766. Однако ж я их почитаю за весьма маловажные, а только они означают умоначертания прежних времен, кои несомненно исчезнут, понеже ни вы, ни я не дадим им никакого уважения тут, где они не сходственны с общим добром; и только единственно надлежит требовать, чтоб исполняли по предписанному, как и все прочие верные подданные, из числа коих ни они себя, ни мы их исключить не можем. Итак, тон начальничества, который вы принуждены были употребить, весьма приличен был. Хотя бы тот или другой уезд недельные просьбы, как Стародубовский, в наказ свой и внес, то надеяться можно, что самим депутатам их при действительном заседании в комиссии стыдно будет перед прочими сильно стараться о таких пунктах, кои многолюдным собранием в посмеяние несомненно обращены будут, тем наипаче, когда возле одного вздором наполненного наказа прочтут другой, умеренный, как-то черниговский, в котором множество находится пунктов, кои честь делают сочинителям оного. Пункты козацких наказов многим спеси сбавят» [48].

Одною из причин смуты при выборе головы и сочинений наказов в малороссийских городах было то, что в том и другом должны были участвовать одинаково все жители города, а мы знаем, какая рознь господствовала между мещанами и так называемым шляхетством и козаками еще с времен Хмельницкого. В Прилуках шляхетство и козаки отказались производить выборы вместе с мещанами, считая это для себя унизительным. В Лубнах старшина и чиновники не допустили мещан до сочинения наказа, потому что мещане хотели внести в него жалобу на козаков и чиновников, которые занимались в Лубнах разными промыслами, не неся за то никаких повинностей, завладели городскою землею, порабощали горожан и проч.[49]

Об одном из малороссийских происшествий, случившихся по поводу выбора в депутаты, доведено было до сведения Сената. «В исполнение всевысочайшего манифеста о выборе депутатов в комиссию составления нового проекта Уложения, — писал Румянцев, — с самого моего туда прибытия в надлежащих по оному распоряжениях хотя и встречались мне многие и неожидаемые трудности, но поныне удавалось мне еще, все оные преодолевая, приводить в прямое всего выполнение, а настоящий поступок полку Нежинского некоторых владельцев есть вовсе свойства противного и прямо являющего отзыв древних тамошних умствований, о которых я Прав. Сенату в должности своей почел сделать доношение. Полку Нежинского в поветах Нежинском и Батуринском шляхетство по расписанию моему в назначенное к выбору предводителя и депутата время имели собрание и на основании обряда выбрали прежде в предводители, а потом и в депутаты судью земского Лаврентия Селецкого, и о таковом выборе избранный в предводители отставной полковник Тарнавиот определенному при том быть начальником полковнику нежинскому Разумовскому сообщил письменно, о чем и я Сенату репортовал. И не дав ему полномочия, ниже сочиня наказ, самовольно разъехались, отложа все сие на целый месяц, а потом на срок, собою положенный, съехавшись, приступили к сочинению наказов и коснулись вместо объяснения своих нужд и отягощений рассуждать о сделанных обещаниях ее импер. величества предков в сохранении их всегда при их правах и вольностях непременно и вносить особливо даваемые грамоты и указы Петра Великого во времена, бедственнейшие для сей земли, и между тем, что будто без гетмана крайняя нужда и опасение всей Малороссии состоит, а причитая быть все только одно и тягостию, что государственными там узаконениями сделано, а расположение войска наиглавнейшею, и чтобы выбор гетмана будто на прежнем основании обще с Запорожскою Сечью им сделать дозволено было. Тогда часть благожелательных своему оте-

честву, в числе некоторых и депутат Селецкий не из последних противоречил в том, однако ж, не обратили тех первых кривотолков на лучшие мысли; но они, пребыв в своем упорстве, а на сих озлобясь, отважились нарушить в то же время сделанную доверенность первому их депутату Селецкому, со дня его выбора единственно уже под ее имп. в-ства протекциею состоящему, и, затеяв, будто Селецкий, во-первых, требовал на содержание свое денег, а во-вторых, советовал следовать черниговского шляхетства наказу, и пользуясь простотою предводителя Тарнавиота, заставили его прямо в противность обряда другого депутата выбрать, и именно подкомория Григорья Долинского, нерассудных их просьб и желания первого между ними виновника. Я, получа о том известие от вышеупомянутых благонамеренных дворян о толь худых поступках их собратий, испрошением дозволения отправить им выбранного под присягою их первого депутата Селецкого в комиссию, дабы они прошением в истинных своих нуждах и недостатках оправдать могли пред ее имп. в-ством непорочную свою к ней верность, требовал ответа от предводителя как в самовластном и в нарушении обряда сделанном выборе другого депутата, так и о именовании ему предлагателя соединения с Сечей Запорожской в рассуждении гетманского выбора, и увещевая о отправлении Селецкого. Но не произвело мое увещевание никакого действа». Сенат приказал: 1) первому выбору Селецкого остаться во всей силе и затем вторичный выбор Долинского уничтожить. 2) Предводитель Тарнавиот в рассуждении того, что он приступил к тому, как сам генерал-губернатор представляет, единственно по своей простоте от дальнейшего штрафа освобождается, и единственно отрешить его от должности и выбрать на его место другого предводителя. 3) Зачинщиков прописанного непорядка, кои побудили приступить к другому противозаконному выбору, и тех, кои с ними были в согласии, за оказанное генерал-губернатору ослушание отослать: воинских — на военный, а гражданских и неслужащих — на гражданский суд [50].

В Погаре городским головою был выбран Денис Привалов, который и велел собраться всем жителям города для избрания депутата; но многие «из воинского звания и разночинцы» на выборы не пошли; и когда Привалов начал вести дело с одними мещанами и пришел в магистрат с пятью членами, избранными для написания наказа, то войт Панас со шляхетством выгнал их из магистрата. Когда в другой раз Привалов с мещанами хотел идти в магистрат для прочтения наказа, то Панас запер магистрат и их туда не пустил. Привалов, однако, настоял на исполнении указа и собрал жителей Погара в магистрат для слушания наказа. Два дня читали наказ спокойно, но на третий Панас стал

толковать, что не надобно слушать новизны и склоняться к ней, не надобно смотреть ни на какие сторонние страхи, что новизне перед стариною во многом стыдно и показаться, новизна того, что́ в старину сделано, поправить не может, и наустил бывшего прежде войтом в Погаре Песоцкого, его сына, земского писаря войтовского товарища Соболевского, священникова сына Сороку, сыновей бывшего мещанина Джури и прочих чиновников, бывших прежде мещанами, казаков-урядников и некоторых мещан вооружиться против наказа, сочиненного для вручения депутату. Они стали шуметь, порицая тех пять человек, которые были выбраны для сочинения наказа, желая сами быть выбранными, но это им не удалось; когда же Привалов повестил всем гражданам собраться для слушания и подписи наказа, то противники объявили, что они уже послали к генерал-губернатору просьбу, чтоб выбрать другого голову, а Привалова отставить и до получения резолюции слушаться Привалова не будут. В просьбе своей они писали, что Привалов был выбран по большей части мещанами самыми простыми и неграмотными, голова он был «недостаточный», сам собою, без ведома горожан принялся за сочинение наказа, в магистрате шумел, бранился и многих исключал из общества, к сочинению наказа выбрал людей, которые и простого письма написать не умеют. Но они не дождались благоприятной для себя резолюции. Румянцев послал в Погар члена Малороссийской коллегии кн. Мещерского исследовать дело; посланный произвел следствие, отыскал неблагонамеренные письма Панаса к стародубскому полковому писарю Косачу, вследствие чего Румянцев донес Сенату о сумасбродстве Панаса, который, «стараясь своим велеречием и мнимым патриотическим усердием и твердостью к старине простосердечной будто наклонять, и в самом деле умышлял, исключая некоторые пункты, для себя токмо полезные, вперять отвращение ко всякой перемене, касаясь толковать и рассуждать дерзостно прямо, коль в сочинении новых законов мало пользы ожидать надлежит». Сенат приказал: генерал-губернатору над Панасом произвести суд и, чего он по законам достоин будет, представить с мнением в Сенат[51].

О Запорожье Румянцев писал, что там полковник Милорадович «препорученное ему дело со всею благопристойностию окончил». Но в том же 1767 году из Сечи пришел сильный донос. Доносил Войска Запорожского низового полковой старшина Павел Савицкий на кошевого атамана Кальнишевского: когда в 1766 году в октябре кошевой приехал домой от Румянцева, то, запершись в своей спальне, начал говорить своему писарю: «Как видно, нечего надеяться от них, а надобно отписать к турецкому императору и, выбрав в войске добрых 20 человек, послать с прошением принять под

турецкое покровительство; а в войско напишем, чтоб все в готовности и исправности были к походу; напишем, что если великороссийская регулярная или гусарская какая-либо команда в запорожские дачи войдет, то чтоб ни одного человека не впустили в границу, а если б стали насильно входить в дачи запорожские, то поступили бы с ними как с неприятелями». «Писали ль к турецкому императору или нет, сказать не могу, — доносил Савицкий, — а в войско точно моею рукою сперва через полковника Антона Красовского в прошлом 1766 году в августе месяце, а потом через есаула в октябре писали, чтоб все в готовности были к походу против России и не пропускали б в свою границу ни за чем ни одного русского»[52]. На этот раз донос остался без следствий.

На восточной украйне относительно комиссии сделано было особенное любопытное распоряжение: оренбургскому губернатору Путятину Сенат писал указ, чтоб он отправляющимся из его губернии в комиссию депутатам сообщил подробные сведения и объяснения о разных способах, касающихся восстановления в губернии его безопасности от колеблющегося народа магометанского закона[53]. Наконец, из далекой Сибири по поводу комиссии пришло известие веселого свойства. Сибирский губернатор Денис Чичерин писал брату своему генерал-полицеймейстеру Николаю Чичерину: «Поехали от меня два принца, получившие диплом на княжество от царя Годунова: один — Обдорский, а другой — Куновацкий Березовского ведомства, кочующие к самому Северному океану по устьям реки Оби. Выезд их по силе манифеста о депутатах, однако ж, ни нужд, ни поверенности — ничего при себе не имеют, а только меня спросили: ездит ли государыня по улицам, и как им сказано, что изволит выезжать, то, упав в ноги, просили, чтоб я их, конечно, отправил. Желание их в том, чтоб в проезд увидеть государыню. И повезли в подарок 6 лисиц черных и дипломы с собой повезли ж объявить у вас: пущай знают, что мы князья, а не подлые. Не могу, братец, изъяснить, сколько здешние дикие народы искренности и верности имеют к государыне и как освящают все то, где указ императрицы Екатерины Алексеевны написан; и так принужден, когда в дикие улусы указы пишу, прописывать высочайшее имя. Как туда дойдет, сходятся великими толпами с женами и детьми, целуют губами и лбом написанное имя и маленьких детей прикладывают; и тот день, когда в указе им имя государынино упомянется, великое торжество — вот что сделала милость государынина учреждением поясачной комиссии, что они спокойнейшею жизнию доставлены. Вы найдете в сих моих принцах двух дикеньких зверьков, странных видом, странных и одеянием. По именному указу велено их, ежели полный ясак заплатят без доимки, дарить. Почему и подарил я их по

сукну; и сделали себе платье своим покроем; знаю, как пойдут в Москве по улицам, запрут проезд, и дядьку с ними я послал. Как государыня изволит обо всех подробностях любопытствовать, то, кажется, не излишнее вам при случае об них донесть, может быть, не будет ли соизволение их видеть. Я за своих принцев ручаюсь, что не ударят себя лицом в грязь, фигуру сделают при дворе не хуже французских, а особливо танцевать и песни петь не итальянцам вашим чета; впрочем, братец, пожалуй их, приласкай и не оставь, особливо квартерою их снабди, по их дикости не могут найтить места»[54].

В то время когда из всех концов России собирались ехать в Москву выбранные депутаты для комиссии о новом Уложении, сочинительница наказа путешествовала по Азии, как она любила выражаться в письмах к своим западноевропейским друзьям-философам. В конце апреля Екатерина выехала из Москвы, давши генерал-рекетмейстеру Козлову приказание: «Во время моего отсюда отсутствия продолжайте почасту ходить по коллегиям, дабы те порядки пока не пришли в упадок, которые, мы слава богу, хотя с трудом завели». 29 апреля она приехала в Тверь, где 2 мая села на суда и отправилась по Волге. 7 мая, не доезжая устьев Мологи, путешественники целый день задержаны были сильным противным и холодным ветром. На другой день Екатерина писала Панину, оставшемуся в Москве с великим князем: «Сегодня идем всячески и с нарочитым успехом, хотя погода и противна; только лихо дойти до устья Мологи: там уже река вдвое шире и меньше вьется. Мы все здоровы, и в гошпитале лишь 5 человек больных, хотя в моей свите близко двух тысяч человек всякого звания». 9 мая Екатерина приехала в Ярославль и на другой день писала Панину: «Собираюсь ехать на разные фабрики. Чужестранные министры все здесь в полном удовольствии. Изволь-ка мне прислать дела, я весьма праздно живу»[55]. В Ярославле в это время шло трудное для разбора и неприятное дело по поводу столкновения крупного купечества с мелким. К приезду императрицы купцов уговорили подать ей следующую просьбу: «Бьют челом ярославские первостатейные, и среднестатейные, и мелкостатейные купцы. Известно вашему имп. в-ству по прошениям здешнего среднестатейного купечества на первостатейных купцов, бывших в присутствии в магистрате, и старших с товарищи здесь следствие, и оттого между нами умножающиеся ссоры и междоусобия, и что оные угрожают нашему городу совершенным разорением. Мы являемся целым городом перед священное вашего имп. в-ства лицо. От междоусобия нашего недостойны не только таковой милости, ниже воззреть на ваше имп. в-ство. Угрызает же нас совесть, что мы высочайшего присутствия вашего имп. в-ства не употребляем

в свою пользу и упадший наш город от несогласия между собою не обновим и воскресим примирением. Чего ради, собравшись в старшинский дом все наличное здешнего города всех статей купечество, в присутствии г. генерал-полицеймейстера Ник. Ив. Чичерина согласились между собою без малейшего от кого-либо принуждения единодушно учинить мир с истинным раскаянием, с таким между собою договором: первостатейным купцам взнесть в казну подушных денег за все ярославское купечество 10 000 рублей; они же должны заплатить просителям — среднестатейным купцам за проезды и другие убытки по следственному делу 1500 рублей да на разные канцелярские расходы по тому следствию 500 рублей. А со среднестатейных состоящую на них с 759 по 764 год за неплатеж подушных и других поборов доимку 2019 рублев собрать, а с тех среднестатейных, которые пришли в упадок, той доимки не взыскивать»[56]. Екатерина осталась недовольна ярославским воеводою Кочетовым и велела Сенату заменить его другим, выставив в указе причину, что Кочетов «по нерасторопности своей должность свою исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством»[57].

Дворяне разных уездов съехались в Ярославль со своими новыми предводителями и представлялись императрице в архиерейской трапезе. «Все это имело очень приличный вид», — писала Екатерина. Костромское дворянство прислало двоих депутатов просить высокую путешественницу остановиться в их городе, «кои то исполнили весьма изрядным комплиментом». Прием в Костроме особенно понравился Екатерине, которая писала Панину 15 мая: «Завтра поеду отселе, а иноплеменников (дипломатический корпус) отпущу к Москве. Они вам скажут, как здесь я принята была. Я их всех не единожды видела в слезах от народной радости, а И. Гр. Чернышев весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения».

Свое пребывание в Нижнем Новгороде Екатерина ознаменовала утверждением устава купеческой компании, «понеже купцы Нижнего Новгорода по разным злоключениям пришли в упадок, по собственному их признанию, того для захотела ныне во время прибытия в сей город дать повод к поправлению сего падшего города. Как известно, что все почти купцы малые имеют капиталы, а по той причине не могут расторговаться, то составить им компанию» и проч. В Ярославле Екатерина осталась недовольна воеводою, а в Нижнем — архиереем, о котором писала к новгородскому митрополиту Дмитрию Сеченову: «Здешний преосвященный, кажется, человек слабый, но по старости еще бодр, и видно, что он выбирает также людей слабых и таких, кои или сами весьма вольны, или таких опять, кои мало его слушают, а по

большей части все простяки. Притом во всем здешнем духовенстве примечается дух гонения. Сия же епархия кажется весьма достойна особливого примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число иноверных и раскольников: итак, кажется, нужнее всего здесь иметь священство просвещенное учением, нрава кроткого и доброго жития, кои бы тихостию, проповедию и беспорочностию добронравного учения подкрепляли во всяком случае евангельское слово. Противное сему поведение было приметно, которое здесь для примера опишу: в дворцовом селе Городце, где мне случилось быть на освящении церкви, в находящемся близ того села Федоровском монастыре, умалчивая о том, что игумен так стар, что насилу служить может, и что монахи так мало его почитают, что громко с бранью наставляли, как ему служить, что и действительно он худо знал, еще приходские городецкие священники подали мне челобитную, чтоб сделано было рассмотрение о их пропитании, прописывая, будто лишились они всех прихожан за запискою оных в раскол. Приехав сюда, требовала я справки, много ли прибыло по ревизии оных, и нашла, что действительно много; потом пришли к Елагину того села раскольники и говорили ему, что священники с ними обходятся, как с басурманами, и если у кого родится младенец и пошлют по священника, то сей, гнушаясь их, не хочет ни молитвы давать, ни крестить младенца, о чем Елагин здешнему преосвященному донес, дабы послал приказания к священникам о молитвах и крещении младенцев. Из сего, кажется, заключить можно, сколь много огорчения в духах друг против друга, что не поспешествует тому спокойствию между гражданами, кое благоразумие старается везде установить; вашему же преосвященству известно, сколько кротость пастыря все сие прекратить может, ибо в вашей епархии и в тверской очевидные примеры сему. Итак, прошу ваше преосвященство иметь бдение, дабы в сей Нижегородской епархии при случае ваканции было весьма осторожно поступлено в выборе персоны, ибо один человек слабостью и несмотрением иногда то испортит, что насилу в 20 лет поправить можно. Все сие пишу в крайней откровенности и доверенности к вашему преосвященству, желая все видеть к благу устроено, наипаче сию важную часть».

Касательно впечатления, какое произвел тогдашний Нижний Новгород на Екатерину, любопытно письмо ее к Панину от 22 мая: «Сей город ситуациею прекрасен, а строением мерзок, только поправится вскоре, ибо мне одной надобно строить как соляные и винные магазины, так губернаторский дом, канцелярию и архив, что все или на боку лежит, или близко того; также корона близко 20 тысяч в год платит найма для поклажи соли и вина». А после из Чебоксар писала: «Чебоксар для меня во всем лучше Нижнего Нов-

города». Зато Казань, куда приехали 26 мая, произвела самое благоприятное впечатление: «Мы нашли город, который всячески может слыть столицею большого царства; прием мне отменный; нам отменной он кажется, кои четвертую неделю видим везде равную радость, а здесь еще отличнее. Если б дозволили, они бы себя вместо ковра постлали, и в одном месте по дороге мужики свечи давали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали. Кутухтой быть здесь недолго; однако, выключая сего эксцесса, везде весьма чинно все происходит; здесь триумфальные ворота такие, как я еще лучше не видала. Я живу здесь в купеческом каменном доме: девять покоев анфиладою, все шелком обитые; кресла и канапеи вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними». В другом письме Екатерина говорит: «Отселе выехать нельзя: столько разных объектов, достойных взгляду, idée же на десять лет здесь собрать можно. Это особое царство, и только здесь можно видеть, что́ такое громадное предприятие нашего законодательства и как существующие законы мало соответствуют положению империи вообще. Они извели народу бесчисленного, которого состояние шло по сих пор к исчезанию, а не к умножению; таково же и с имуществом оного поступлено». Видно, что во время путешествия Екатерину постоянно занимала мысль о наказе и предстоящей комиссии, и занимала не без некоторого беспокойства насчет успеха предприятия, к чему путешествие, виденное и слышанное во время его могло подавать поводы. Она писала Вольтеру из Казани: «Эти законы, о которых так много было речей, собственно говоря, еще не сочинены, и кто может отвечать за их доброкачественность? Конечно, не мы, а потомство будет в состоянии решить этот вопрос. Представьте, что они должны служить для Азии и для Европы, и какое различие в климате, людях, обычаях и самих понятиях! Вот я и в Азии; мне хотелось посмотреть ее собственными глазами. В этом городе 20 разных народов, вовсе не похожих друг на друга. И однако, им надобно сшить платье, которое на всех на них одинаково хорошо бы сидело. Можно легко найти общие правила, но подробности? И какие подробности? Это почти все равно, что создать целый мир, соединить части, оградить и проч.»[58]

И в Казани, как и в Нижнем, не обошлось без неприятности со стороны духовенства: два монаха Печерского казанского монастыря подали императрице жалобу на архимандрита, что он не дает им сполна положенного по штатам. Екатерина велела препроводить просьбу их к архиерею, чтоб разобрал дело и подтвердил по всей епархии не удерживать жалованья, причем написала: «А сим монахам в вину того ставить не велите, что они прибегли ко мне с прошением, поставя то им в простоту, как и я оный поступок их почи-

таю»[59]. Рассказали и неприятное из недавней старины. По осмотре развалин Болгар Екатерина писала Панину: «Все, что тут ни осталось, построено из плиты очень хорошей. Сему один гонитель, казанский архиерей Лука, при покойной императрице Елисавете Петровне позавидовал и много разломал, а из иных построил церковь, погреба и под монастырь занял, хотя Петра I указ есть, чтоб не вредить и не ломать сию древность».

Страна и состояние жителей по Волге от Казани произвели самое благоприятное впечатление. «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят и никто не жалуется и нужду не терпит. Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали; по лесам же везде вишни и розаны дикие, а леса иного нет, как дуб и липа; земля такая черная, как в других местах в садах на грядах не видят. Одним словом, сии люди богом избалованы; я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, что себе представить можешь, и я не знаю, в чем бы они имели нужду: все есть и все дешево».

В противоположность Казани Симбирск произвел самое неприятное впечатление: «Город самый скаредный, и все домы, кроме того, в котором я стою, в конфискации, и так мой город у меня же; я не очень знаю, схоже ли то с здравым рассуждением и не полезнее ли повернуть людям их домы, нежели сии лучинки иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтоб деньги были возвращены, домы по-пустому не сгнили и люди не приведены были вовсе в истребление, а недоимка по соли и вину только в сто семь тысяч рублей, к чему послужила как кража, так и разные несчастливые приключения». Из Симбирска Екатерина дала также любопытный указ. Казанский татарин Уразметев показал, что он сбирал с казанских татар деньги для подарка тамошнему губернатору. По закону дело должно было перенести в другую губернию, и Юстиц-коллегия распорядилась, чтоб татары подали свою челобитную в Оренбургской губернской канцелярии. Дело доведено было до сведения императрицы в Симбирске, и она написала: «Сего я не понимаю, а заключаю только, что сие учинено от небрежения или от неимения карты, а потому и от незнания расстояния мест; чего ради повелеваем о показании Уразметева исследовать Казанской адмиралтейской конторе, а прежнее определение Юстиц-коллегии о челобитьи тем татарам по сему делу в Оренбургской губернской канцелярии, миновав ближайшее место, т. е. Нижегородскую губернскую канцелярию, уничтожить и ей подтвердить, чтоб она впредь в таких случаях справлялась с картою, дабы за напрасным проездом от такого несмотрения челобитчики не

претерпевали отягощения и убытков, о чем нужно и в другие правительства дать знать, ибо мы по дороге имели случай подобные сему определения видеть»[60].

Из Симбирска Екатерина сухим путем возвратилась в Москву, жалея о спокойном плавании на галерах. Из Мурома от 12 июня она писала Панину: «Я на досуге сделаю вам короткое описание того, что́ приметила дорогою. Где чернозем и лучшие произращения, как-то: Симбирская провинция и половина Алатырской, там люди ленивы и верст по 15 пусты, не населены, а земли не разработаны. От Алатыря до Арзамаса и от сего места до муромских лесов земли час от часу хуже, селения чаще и ни пяди земли нет, коя бы не была разработана, и хлеб лучше, нежели в первых сих местах, и нигде голоду нет»[61].

По возвращении в Москву 22 июня Екатерина присутствовала в Сенате и сообщила сенаторам записку, что во время путешествия из Москвы в Казань и обратно по всей дороге подано было ей больше 600 челобитен и из них не нашлось ни одной на воевод и на управление вообще, ни одной жалобы на взятки[62], была одна, и то по частной обиде, а не по делу или должности. Большая часть просьб подана была помещичьими крестьянами и заключала жалобы на тяжкие поборы от помещиков; все эти просьбы были возвращены с подтверждением, чтоб впредь таких не подавали. Были просьбы от пахотных солдат и новокрещен на завладение их землями и в недостатке земель, из чего видно, что в тамошних местах, а именно в Нижегородской и Казанской губерниях, большая нужда в межевании; а чтобы в земле подлинно был недостаток, этого по частным известиям не видно, ибо везде почти втрое против того, что́ могут разрабатывать. Императрица выразила удовольствие, что, так как ни на одно правительственное лицо жалоб не было, значит, правосудие находится в хорошем состоянии, правители и судьи ведут дело бескорыстно. Наконец, Екатерина объявила, что в Нижегородской губернии, по ее усмотрению, между иноверными народами происходят большие споры и междоусобия о землях и потому ей было бы весьма угодно, если б происходящее теперь межевание, чем скорее, тем лучше, перенесено было в эту губернию.

Большая часть просьб была подана помещичьими крестьянами; просьбы были возвращены челобитчикам; но в Сенат с начала года постоянно приходили известия о крестьянских восстаниях. Волнение на Липских заводах продолжалось. Воронежский губернатор Маслов доносил, что он спрашивал поверенного мастеровых людей Куприанова и пятерых мастеровых и Куприанов показал, что об обидах объявит реестрами и ведомостями, и когда губернатор сам приехал на место для следствия, в Сокольск, то 30 человек

мастеровых объявили, что обо всех обидах и недостатках действительно поданы ведомости Куприанову; тот подал реестры и ведомости, но в них не означено, в какие годы и какими прикащиками нанесены обиды и сделаны недоплаты, причем Куприанов сказал, что об этом объявят мастеровые сами; но таких мастеровых было много, губернатору оставаться в Сокольске долее было нельзя, и он послал указ к правящему воеводскую должность в Романове асессору Мелехову ехать на заводы и производить допросы. Но Мелехов дал знать, что ни один работник к допросу не пошел, говоря, что они послали к императрице с просьбою. Сенат велел послать указ, что работники как бунтовщики подлежат наижесточайшей смертной казни и десятеро из них уже публично наказаны и сосланы; несмотря на то, мастеровые все еще пребывают в заблуждении. Сенат приказывает им войти в безмолвственное повиновение под страхом жестокого наказания[63]. Измайловского полка сержант Собакин подал императрице прошение, что крепостные отца его Шуйского уезда, села Телешова, и других помещиков крестьяне, приехав разбоем в дом его в это село, мать его зарезали, а отца, бивши мучительски, оставили едва жива[64]. Старались предупредить волнения заводских крестьян на востоке: в начале 1767 года учреждена комиссия на Нерчинских серебряных заводах для исследования о причиненных обидах, побоях и взятках с приписных к тем заводам крестьян асессором Кологривовым и шихмейстером Павлуцким с товарищи, также о прежде бывших и вновь оказавшихся там похищениях казенного серебра. Вслед за тем Сенат подал императрице доклад по делу Казанской губернской канцелярии о лихоимственных взятках бывшего в Казани у подушного сбора асессора Макулова с приписных к заводам крестьян. Оказалось, что дело производимо было канцеляриею очень слабо и с законами несходно, медленно; губернатор, несмотря на явность преступления, дал обвиненным присягу, и они, не помня суда божия, присягнули, что взяток не брали; Сенат признал Макулова и товарищей его подозрительными и клятвопреступниками. Екатерина написала на докладе: «Губернатору учинить напоминание, чтоб впредь в подобных случаях осторожнее поступал, а асессора Макулова и прочих по причине той, что Сенат их подозрительными признал, отреша от дел, впредь не определять». Мы упоминали о восстании крестьян Фролова-Багреева; когда они ушли в лес, то пойманы были из них только два человека, которые показали, что их к бунту склоняли провинциальной канцелярии подьячий Дулов, а за ним села Васильевского священник с детьми. Канцелярия, писал Фролов-Багреев, производит над этими двумя злодеями следствие очень медленно, как видно, делает Дулову поноровку. Сенат приказал написать воронежскому

губернатору, чтоб следствие немедленно было окончено. В провинции Переяславля-Залесского пронесся слух, что находящиеся в этой провинции помещичьи деревни будут отписаны в казну и оброки с них будут собираться такие же, как и с монастырских крестьян. Кашинского уезда помещиков Олсуфьевых крестьяне подали императрице просьбу об освобождении их от помещиков. Воевода по именному указу объявил им, чтоб они оставались по-прежнему в должном послушании, на что крестьяне все единогласно отвечали, что у помещиков своих в послушании быть не хотят. Сенат приказал отправить против них воинскую команду Но, несмотря на повторительные запрещения, подали императрице просьбы крестьяне помещиков Леонтьева, Лопухиных и Толстой. Екатерина велела просителей отослать в Сенат, но вместе прислала туда и указ: так как подобных просьб от крестьянства на помещиков подавалось и прежде немалое число, то ее императ. величество сомневается, чтоб оказующееся от крестьянства на владельцев своих неудовольствие не размножилось и не произвело бы вредных следствий, поэтому Сенату повелевает в предупреждение такого зла придумать благопристойные средства. Сенат приговорил донести императрице, что он считает самым удобным средством обнародовать печатным указом, чтоб крестьяне и дворовые люди отнюдь не отваживались на помещиков своих бить челом, кроме изображенных в Уложенье и прежних указах дел, а дерзнувшие подвергнут себя публично наказанию кнутом; указ этот читать во всех церквах; присланных теперь крестьян отослать в Московскую губернскую канцелярию и там велеть их допросить под пристрастием, кто им челобитные писал и сочинял; на кого покажут, тех сыскивать и, забрав под караул, рапортовать Сенату; потом немедленно помянутых крестьян одну половину, разделя по нескольку человек, наказать в Москве на разных площадях плетьми в торговый день с барабанным боем публично и отдать обратно помещикам, а другую половину наказать таким же образом в их жилищах при собрании прочих крестьян для предупреждения сим примером подобных преступлений. Но так как Сенат, рассматривая источник зла, находит, что может иногда и чрез меру строгий и нерассудительный поступок помещиков в рассуждении своих крестьян подать последним повод и достаточную, по их мнению, причину к таким челобитьям, то рассудил поручить некоторым из господ сенаторов переговорить с помещиками этих челобитчиков секретно о причине неудовольствия их крестьян, и чтоб они старались пользоваться правом господства, последуя человеколюбию и принимая в рассуждение силы крестьянские в обложении их работами и оброками Это поручение на себя приняли: князь Мих. Никит. Волконский взялся переговорить с поручиком

Степаном Лопухиным, граф Роман Лар. Воронцов — с полковником Абрамом Лопухиным, князь Александр Алекс. Вяземский — с генеральшею Анною Толстою, Петр Ив. Панин — с генерал-аншефом Леонтьевым [65].

Между однодворцами происходило движение особого рода: Козловского уезда, Алешинского стана, села Жидиловки, 26 человек однодворцев обоего пола, Тамбовского уезда, села Горелого, церковник один да села Лысых гор шесть человек однодворцев вступили в секту, положили: веровать по православному, как и в символе веры, но поклоняться св. Троице не телом, а духом истинным, образов не принимать, в крест не веровать, а почитать крест, т. е. слово господне, за которое господь распят, крестного знамения на себе не изображать, в церковь не ходить: в таинствах нет спасения, ибо преподаются священниками недостойными, пьяницами, сквернословцами, людьми сварливыми; иметь церковь нерукотворенную, соборную апостольскую, собрание святых, исповедоваться у священника, которого сами изберут, посвященного богом и слово приемлющего от уст божиих. Когда сектанты содержались в Воронеже, то семь человек однодворцев сами явились в консисторию и объявили, что они также сектанты, прося, чтоб их присоединили к своим. На допросе скрыли происхождение своей секты и учителей; только один однодворец, Жерноклев, показал, что в 1765 году ездил к гореловскому церковнику Кирилле Петрову для научения божественному писанию, где нашел 8 человек однодворцев, и один из них, Побирахин, сидел в переднем углу, а прочие стояли и пели 14-ю главу пророчества Захария и псалмы; Побирахин толковал им петое и говорил, что не должно поклоняться образам, должно поклоняться человеку, созданному по образу и подобию божию, вследствие чего все поклонялись Побирахину, называя его радостью. Участь сектантов была решена так: мужчин велено отдать в военную службу, детей — в гарнизонные школы, откуда разместить по полкам; женщин оставить при мужьях наравне с другими солдатскими женами, а вдов и девиц раздать по однодворцам и крестьянам в работницы. По следствию сектантов оказалось много [66].

Мы видели, как следственная комиссия окончила свое дело о пыскорском архимандрите Иусте, какие вопиющие дела нашла она в богатом монастыре. Сенат, рассмотрев доклад комиссии, нашел, что хотя обвинения и преувеличены, однако Иуст и другие монахи и мирские служители достойны наказания за самовольное перестраивание монастыря и растрату монастырской денежной суммы, также и за другие поступки. Но прежде приговора все обстоятельства дела были сообщены Синоду, который один имел право снять духовный чин. Синод отвечал, что он, сообразуясь с милостивыми

указами императрицы, не признал Иуста и других духовных лиц ни одного достойным лишения духовного чина, тем менее какого-либо другого наказания или денежного взыскания в рассуждении, что они уже и прежде за те их вины от Синода духовным образом наказываемы и смиряемы были, и теперь Синод может присудить только некоторых к понижению чинов. Сенат признал для себя невозможным приступить к осуждению людей, оправданных Синодом, и решил представить доклад императрице [67].

Относительно областного управления в первой половине 1767 года были замечательны следующие явления. Казанский губернатор донес, что помещики Сызранского уезда и Сызранский магистрат просят об определении к ним в воеводы капитана Ивана Дмитриева, который и определен им, губернатором, но Сенат уже назначил другого. Кадомские помещики подали челобитную об отрешении воеводы их Метлина и служителей воеводской канцелярии; Сенат приказал передать дело воронежскому губернатору. Комиссия о коммерции прислала в Сенат доношение, в котором прописывала частное известие, что оренбургский губернаторский товарищ Муравьев просит о переводе его из того места в другое; а напротив того, стат. сов. Рычков просит об определении его на место. Комиссия на основании этого частного известия представляла Сенату, не благоволено ль будет Муравьева перевесть в другое место, а в Оренбург губернаторским товарищем определить Рычкова как знатока тамошней коммерции, доказательством чего служат поступившие от него в комиссию письменные примечания. Сенат оскорбился таким вмешательством комиссии в назначение высших должностных лиц и приказал: доношение комиссии отослать ей назад с таким объявлением, что хотя и желание Муравьева быть в другом месте в Сенат представлено уже и вступило, однако по нему решения еще не последовало, и так как определение в губернаторские товарищи поручено императрицею в исключительное усмотрение и попечение Сената, то и надобно дождаться, пока от него последует сходное с государственною пользою решение, что Комиссии о коммерции нимало не принадлежит; что же касается отзыва ее о знании Рычковым коммерческих дел, то об этом сообщить герольдии для сведения о том при случае, когда этот Рычков представлен будет для определения к каким-либо делам.

Еще в 1764 году (11 октября) с целью сократить расходы на жалованье воеводам и канцеляристам велено было губернаторам рассмотреть каждому в своей губернии положенные в штаты города и, которые имеют уезды, заключающие не свыше 10 000 душ, такие приписать по удобству к другим городам или же, соединя 2, 3 и 4 таких уезда вместе, приписать к одному городу, наблюдая, чтоб вновь учрежденная

Воеводская канцелярия была в середине всего соединенного уезда и чтоб такие уезды по соединении не превосходили 30 000 душ; сделать такое расписание, чтоб каждое жительство по возможности приписано было в уезд к ближайшему городу, чтоб никто из жителей не имел напрасного затруднения за всякими делами и нуждами ходить в дальний город. Только теперь, в 1767 году, Сенат мог рассмотреть губернаторские донесения и решил поднести доклад о таких распоряжениях: 1) в Московской губернии в Юрьеве Польском по малости уезда (27 811 душ) провинциальному правлению не быть, а только воеводскому, приписав этот город к провинции Переяславля Залесского, причем из бывшей Юрьевской провинции города Шую и Лух причислить к Суздальской провинции по близости; город Борисов переименовать в слободу; в Звенигороде за малостью поселения воеводскому правлению не быть, а учредить комиссарство. Рязанской провинции в городах Сапожке, Печерниках и Гремячеве воеводскому правлению не быть, в Сапожке учредить комиссарство, а в других никакому правлению не быть, приписать Печерники к Пронску, а Гремячев к Михайлову; Тульской провинции в Дедилове и Богородицке никакому правлению не быть. Кинешму с уездом исключить из Ярославской провинции и приписать к Костромской. Калужской провинции в городе Одоеве учредить комиссарство и приписать его к Тульской провинции. 2) В Новгородской губернии переименовать городами село Валдай и Осташковскую слободу; в городе Олонце вместо воеводского быть провинциальному управлению, также и в Петрозаводске; Псковской провинции в Заволчье и Ржеве Пустой воеводское правление уничтожить и приписать к Великолуцкой провинции; Тверской провинции Зубцов приписать к Вязьме, Смоленской губернии. 3) В городах Белгородской губернии — Карпове, Судже, Миропольи, Чугуеве, Салтове и Новом Осколе — по малости уездов (в самом большом Салтовском только 15 000 душ) вместо воевод учредить комиссарство, а в Яблонове никакому правлению не быть, приписать его к Короче; Севской провинции в Путивле и Трубчевске учредить комиссарство. 4) Воронежской губернии в Павловске по многолюдству учредить воеводское управление, в Орлове вместо воеводы комиссарство, так же как в Романове, Сокольске и Добром, и т. д.

Из губернаторов особенною деятельностию по-прежнему отличался новгородский Сиверс. 19 января в присутствии императрицы читали в Сенате донесение Сиверса об объезде им губернии. Губернатор доносил, между прочим, о соединении каналом реки Ковжи с Вытегрою и чрез них Белого моря с Онежским озером; решено: для снятия этих мест и положения на план ассигновать губернатору 500 рублей; утверждено его предложение о съемке на план Архангель-

ской дороги и проведении ее прямыми линиями, отчего много сократится настоящая дорога от Петербурга до Архангельска. Сиверс предлагал учредить в Вольном экономическом обществе премию примерно в 1000 рублей для выдачи тому, кто первый из Новгородской губернии представит несколько кулей каменного угля, признанного годным. Сенат согласился. Сиверс просил также, чтоб позволено было ему выписать из Швеции ученого-ботаника и минералога, который бы поехал с ним для обзора губернии и освидетельствовал горы, разделяющие воды Балтийского, Белого и Каспийского морей; определено: обнадежить губернатора, что если выписанный им из Швеции ученый своими изысканиями окажет полезные обществу плоды, то без награждения оставлен не будет. Сиверс требовал учреждения банка в Новгороде; определено отвечать: примется в рассмотрение, когда государству будет возможность распространить банковые учреждения и для купечеств других губернских городов, кроме столиц. Не переставая заботиться об участи крестьян, Сиверс писал в Сенат, что «по незнанию грамоте тем более они достойны сожаления», и, чтоб побудить крестьян учиться грамоте, указывал, по его мнению, надежное средство: умеющих грамоте не брать в рекруты. Сенат определил: об этом рассуждать в комиссии об Уложении[68].

Время собрания этой знаменитой комиссии приближалось. Екатерина хотела выслушать мнения русских людей о существующих законах и о средствах исправить то, что казалось им дурным; но в то же время она, считая себя представительницею европейского образования, давала им свод мнений, добытых наукою, о возможно лучшем устройстве человеческих обществ, не скрывая, что желанное ею устройство должно соответствовать настоящим потребностям страны и народа, «умоначертанию» последнего, и, таким образом, предполагая заранее для теоретических выводов практические ограничения.

«Наказ» освящен молитвою, предпосланною ему: «Господи боже мой! вонми ми и вразуми мя, да сотворю суд людем твоим по закону святому твоему судити в правду». Законы должны соответствовать состоянию народа, твердил автор «Наказа»; но при этом, естественно, рождался вопрос: состояние русского народа таково ли, что выводы, сделанные европейскою наукою, могут быть полезным указанием при составлении Уложения для него? Решая этот вопрос утвердительно, Екатерина провозглашает, что русский народ есть народ европейский; то, что придавало ему черты неевропейского народа, было временное и случайное, а то, что надобно было принять в расчет как существенное, было европейское и требовало для своего утверждения и развития помощи европейской науки. Это положение подтверждается историею:

«Россия есть европейская держава. Доказательство сему следующее: перемены, которые в России предприял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал».

Что касается правительственной формы, то первое условие страны, её чрезвычайная обширность, требовало самодержавия: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе, власть не может действовать сходно с пространством толь великого государства. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых, награждала медление, отдаленностью мест причиняемое. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно. Но давно уже вошло в общее сознание, что европейские государства отличаются от азиатских свободою в отношении подданных к правительствам, и потому надобно было определить эту свободу в государстве самодержавном. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства и государя. Но от сея славы происходит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, который в державах сих может произвести столько же великих дел и столько споспешествовати благополучию подданных, как и самая вольность. Надобно в уме себе точно и ясно представити: что есть вольность? Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют, и, ежели бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже больше вольности не было, ибо и другие имели бы равным образом сию власть. В государстве вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принужденным делать то, чего хотеть не должно. Государственная вольность в гражданине есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственною наслаждается безопасностью, и, чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам. Сие равенство требует хорошего установления, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжание имеющих и обращать себе в собственную пользу чины и звания, порученные им только как правительствующим особам государства».

Установление взгляда на уголовные преступления и наказания, разумеется, должно было занимать видное место

в «Наказе», ибо наука, которой Екатерина была здесь представительницею, особенно послужила человечеству в этом отношении, хотя нельзя забывать, что русские люди уже были приготовлены к этой перемене в царствование государыни, отменившей смертную казнь. «Испытайте со вниманием, — говорит «Наказ», — вину всех послаблений, увидите, что она происходит от ненаказания преступлений, а не от умеренности наказаний. Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет бесчестие, в наказании преступления заключающееся. И если где сыщется такая область, в которой бы стыд не был следствием казни, то сему причиною мучительское владение, которое налагало то же наказание на людей беззаконных и добродетельных. А ежели другая найдется страна, где люди инако не воздерживаются от пороков как только суровыми казнями, опять ведайте, что сие проистекает от насильства правления, которое установило сии казни за малые погрешности. Часто законодавец, хотящий уврачевати зло, не мыслит более ни о чем, как о сем уврачевании; очи его взирают на сей только предлог и не смотрят на худые оттуда следствия. Когда зло единожды уврачевано, тогда мы не видим более ничего, кроме суровости законодавца; но порок в общенародии остается от жестокости сей произросший, умы народа испортились: они приобыкли к насильству». Мы видели, как русские люди постоянно и горько жаловались на медленность в решении судных дел, происходившую от разных причин: и от недостатков законодательства, и от недостаточности судебного персонала, и от необразованности и безнравственности судей. Отсюда с легкой руки Посошкова начали ставить в образец турецкое правосудие по его скорости, и такие отзывы слышались не в одной России, но и на западе Европы, где судебная волокита также выводила из терпения. Автор «Наказа» счел необходимым вооружиться против этих похвал турецкому правосудию, указать различие между азиатским произволом и европейскою законностью. «Слышно часто, что в Европе говорят: надлежало бы, чтобы правосудие было отправляемо так, как в турецкой земле. Посему нет никакого во всей подсолнечной народа, кроме в глубочайшем невежестве погруженного, который бы толь ясное понятие имел о вещи такой, которую знать людям нужнее всего на свете. В турецких странах, где очень мало смотрят на стяжания, на жизнь и на честь подданных, оканчивают скоро все распри таким или иным образом. Способов, как оныя кончить, у них не разбирают, лишь бы только распри были кончены. Паша, внезапно ставши просвещенным, велит по своему мечтанию палками по пятам бить имеющих тяжбу и отпускает их домой. А в государствах, умеренность наблю-

дающих, где и самого меньшего гражданина жизнь, имение и честь в уважение принимается, не отъемлют ни у кого чести, ниже имения прежде, нежели учинено будет долгое и строгое изыскание истины; не лишают никого жизни, разве когда само отечество против оныя восстанет; но и отечество ни на чью жизнь не восстает инако, как дозволив ему прежде все возможные способы защищать оную».

Мы видели, что Екатерина давно уже вооружалась против заключения человека, преступление которого не доказано[69]. В «Наказе» она предписывает большую осторожность относительно арестования подозрительного человека: «Брать под стражу есть наказание, которое от всех других наказаний тем разнится, что оно по необходимости предшествует судебному объявлению преступления. Однако ж наказание сие не может быть наложено, кроме в таком случае, когда вероятно, что гражданин во преступление впал. Чего ради закон должен точно определить те знаки, по которым можно взять под стражу обвиняемого и которые подвергали бы его сему наказанию и словесным допросам, кои также суть некоторый род наказания, например: глас народа, который его винит; побег его; признание, учиненное им вне суда; свидетельство сообщника, бывшего с ним в том преступлении; угрозы и известная вражда между обвиняемым и обиженным; самое действие преступления и другие подобные знаки довольную могут подать причину, чтобы взять гражданина под стражу. Но сии доказательства должны быть определены законом, а не судьями, которых приговоры всегда противоборствуют гражданской вольности, если они не выведены на какой бы то ни было случай из общего правила, в Уложении находящегося. Взять человека под стражу не что иное есть, как хранить опасно особу гражданина обвиняемого, доколе учинится известно, виноват ли он или невиновен. Итак, содержание под стражею должно длиться сколь возможно меньше и быть так снисходительно, коль можно. Приговоры судей должны быть народу ведомы, так как и доказательство преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, что он живет под защитою законов».

Уже в царствование Елисаветы мы заметили стремление ограничить пытку; Екатерина продолжала борьбу против этого страшного и твердо укоренившегося способа судебного доказательства; только раз, и то в сильном волнении, по поводу шлюссельбургского дела она готова была дать судьям волю употребить пытку. По поводу волнения, произведенного известным мнением барона Черкасова[70], Екатерина писала кн. Вяземскому: «Приехал ко мне Черкасов и сказывал мне, что целым собранием на него жаловаться хотят мне. Я его голос видела, и в нем иного не написано, как то, что ему

чистое и нелицемерное усердие диктовало. А как, с другой стороны, чужестранные недоброжелательных дворов министры по городу рассеевают, что я сама в сем деле заставляю собрание для закрывательства истины комедию играть, сверх того, и у нас уже партии действуют, того ради повеле-ваю вам впредь более не присоветовать, ни отговаривать от пыток, но дайте большинству голосов совершенную волю»[71]. Но после этого случая Екатерина опять постоянно высказывалась против пытки и в ответе Баскакову, как мы видели, не допускала в ее пользу никакого обстоятельства. Так же решительно она выражается против нее и в «Наказе»: «Употребление пытки противно здравому рассуждению; само человечество вопиет против оныя и требует, чтоб она была вовсе уничтожена. Человека не можно почитать виноватым прежде приговора судейского, и законы не могут лишать его защиты своей прежде, нежели доказано будет, что он нарушил оные. Чего ради, какое право может кому дати власть налагати наказание на гражданина в то время, когда еще сомнительно, прав ли он или виноват. Не очень трудно заключениями дойти к сему сорассуждению: преступление или есть известное, или нет; ежели оно известно, то не до́лжно преступника наказывать инако как положенным в законе наказанием; итак, пытка не нужна; если преступление неизвестно, так не до́лжно мучить обвиняемого по той причине, что не подлежит невинного мучить и что по законам тот невинен, чье преступление не доказано. Обвиняемый, терпящий пытку, не властен над собою в том, чтоб он мог говорити правду. Чувствование боли может возрасти до такой степени, что, совсем овладев всею душою, не оставит ей больше никакой свободы производить какое-либо ей приличное действие, кроме как в то же самое мгновение ока предпринять самый кратчайший путь, коим бы от той боли избавиться. Тогда и невинный закричит, что он виноват, лишь бы только мучить его перестали. И то же средство, употребленное для различения невинных от виноватых, истребит всю между ними разность; и судьи будут также неизвестны, виноватого ли они имеют пред собою или невинного, как и были прежде начатия сего пристрастного распроса. По сему пытка есть надежное средство осудить невинного, имеющего слабое сложение, и оправдать беззаконного, на силы и крепость свою уповающего».

В «Наказе» поставлен был вопрос: смертная казнь полезна ли и нужна ли в обществе для сохранения безопасности и доброго порядка? И ответ был дан такой: «Опыты свидетельствуют, что частое употребление казней никогда людей не сделало лучшими; чего для если я докажу, что в обыкновенном состоянии общества смерть гражданина не полезна,

не нужна, то я преодолею восстающих противу человечества. Я здесь говорю: в обыкновенном общества состоянии, ибо смерть гражданина может в одном только случае быть потребна, сиречь, когда он, лишен будучи вольности, имеет еще способ и силу, могущую возмутить народное спокойствие. Случай сей не может нигде иметь места, кроме когда народ теряет или возвращает свою вольность или во время безначалия, когда самые беспорядки заступают место законов. А при спокойном царствовании законов и под образом правления, соединенными всего народа желаниями утвержденным, в государстве, противу внешних неприятелей защищенном и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, т. е силою своею и вкоренившимся мнением во гражданах, где вся власть в руках самодержца, в таком государстве не может в том быть никакой нужды, чтоб отнимати жизнь у гражданина Двадцать лет государствования императрицы Елисаветы Петровны подают отцам народов пример к подражанию изящнейший, нежели самые блистательные завоевания».

При заботе о прочности и славе самодержавия императрицу должны были особенно тяготить свидетельства из времен не очень давних о злоупотреблениях по делам оскорбления величества; дело Волынского, как дело вопиющее, было в устах лучших людей; в свежей памяти была знаменитая тайная канцелярия, где пытались и приговаривались к жестоким наказаниям люди простые, в нетрезвом виде проговорившиеся о каком-нибудь слухе, рассказавшие какое-нибудь предание, сказку о царственном лице, давно уже умершем. Екатерина не могла не посвятить в «Наказе» нескольких статей указанию средств, как предотвратить эти злоупотребления: «Все законы должны составлены быть из слов ясных и кратких; однако нет между ними никаких, которых бы сочинение касалось больше до безопасности граждан, как законы, принадлежащие ко преступлению в оскорблении величества. Слова, совокупленные с действием, принимают на себя естество того действия; таким образом, человек, пришедший, например, на место народного собрания увещевать подданных к возмущению, будет виновен в оскорблении величества потому, что слова совокуплены с действием и заимствуют нечто от оного. В сем случае не за слова наказуют, но за произведенное действие, при котором слова были употреблены. Слова не вменяются никогда во преступление, разве оные приуготовляют, или соединяются, или последуют действию беззаконному. Все превращает и опровергает, кто делает из слов преступление, смертной казни достойное. Ничто не делает преступление в оскорблении величества больше зависящим от толка и воли другого, как когда нескромные слова бывают оного содержанием; разговоры столько

подвержены истолкованиям, толь великое различие между нескромностью и злобою и толь малая разнота между выражениями, от нескромности и злобы употребляемыми, что закон никоим образом не может слов подвергнуть смертной казни, по крайней мере не означивши точно тех слов, которые он сей казни подвергает. И так слова не составляют вещи, подлежащей преступлению; часто они не значат ничего сами по себе, но по голосу, каким оные выговаривают; часто, пересказывая те же самые слова, не дают им того же смысла, сей смысл зависит от связи, соединяющей оные с другими вещьми. Иногда молчание выражает больше, нежели все разговоры. Нет ничего, что бы в себе столь двойного смысла замыкало, как все сие. Так как же из сего делать преступление толь великое, каково оскорбление величества, и наказывать за слова так, как за самое действие? Я чрез сие не хочу уменьшить негодования, которое должно иметь на желающих опорочить славу своего государя, но могу сказать, что простое исправительное наказание приличествует лучше в сих случаях, нежели обвинение в оскорблении величества, всегда страшное и самой невинности. Письма суть вещь, не так скоро проходящая, как слова, но когда они не приуготовляют ко преступлению оскорбления величества, то и они не могут быть вещью, содержащею в себе преступление в оскорблении величества. Запрещают в самодержавных государствах сочинения очень язвительные, но оные делаются предметом, подлежащим градскому чиноправлению, а не преступлением; и весьма беречься надобно изыскания о сем далече распространять, представляя себе ту опасность, что умы почувствуют притеснение и угнетение, а сие ничего иного не произведет, как невежество, опровергнет дарование разума человеческого и охоту писать отнимет».

В статье, приложенной к «Наказу», под заглавием «Правила весьма важные и нужные», указывается на необходимость веротерпимости: «В толь великом государстве, распространяющем свое владение над толь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих граждан был порок — запрещение или недозволение их различных вер. И нет подлинно иного средства, кроме разумного иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою не отвергаемого, которым бы можно всех заблудших овец паки привести к истинному верных стаду. Гонение человеческое умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца».

В начале года, еще до отъезда в Москву, Екатерина писала Даламберу, что «Наказ» вовсе не похож на то, что она хотела ему послать: «Я зачеркнула, разорвала и сожгла больше половины, и бог весть, что станется с остальным»[72],

Когда депутаты съехались в Москву, императрица, находясь в Коломенском дворце, назначила «разных персон вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный «Наказ». Тут при каждой статье родились прения. Императрица дала им чернить и вымарать все, что хотели. Они более половины из того, что писано было ею, помарали, и остался «Наказ», яко оный напечатан». До нас дошел отрывок черновой рукописи «Наказа», именно о крепостных крестьянах, и мы можем, сравнив его с печатным, видеть, как распоряжались эти разные персоны, вельми разномыслящие. В отрывке читаем: «Два рода покорностей: одна существенная, другая личная, т. е. крестьянство и холопство. Существенная привязывает, так сказать, крестьян к участку земли, им данной. Такие рабы были у германцев. Они не служили в должностях при домах господских, а давали господину своему известное количество хлеба, скота, домашнего рукоделия и проч., и далее их рабство не простиралося. Такая служба и теперь введена в Венгрии, в Чешской земле и во многих местах Нижней Германии. Личная служба или холопство сопряжено с услужением в доме и принадлежит больше к лицу. Великое злоупотребление есть, когда оно в одно время и личное, и существенное». Все это в печатном «Наказе» выпущено, и оставлено только следующее за приведенными статьями место: «Какого бы рода покорство ни было, надлежит, чтобы законы гражданские, с одной стороны, злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны, предостерегали бы опасности, могущие оттуда произойти».

Далее в отрывке идут статьи: «Всякий человек должен иметь пищу и одежду по своему состоянию, и сие надлежит определить законом. Законы должны и о том иметь попечение, чтоб рабы и в старости и в болезнях не были оставлены. Один из кесарей римских узаконил рабам, оставленным во время их болезни от господ своих, быть свободными, когда выздоровеют. Сей закон утверждал рабам свободу; но надлежало бы еще утвердить законом и сохранение их жизни. Когда закон дозволяет господину наказывать своего раба жестоким образом, то сие право должен он употреблять как судья, а не как господин. Желательно, чтоб можно было законом предписать в производстве сего порядок, по которому бы не оставалось ни малого подозрения в учиненном рабу насилии. Когда в Риме запрещено было отцам лишать жизни детей своих, тогда правительство делало детям наказание, какое отец хотел предписать. Благоразумно было бы, если бы в рассуждении господина и раба подобное введено было употребление. В российской Финляндии выбранные семь или осмь крестьян во всяком погосте составляют суд, в котором судят о всех преступлениях. С пользою подобный способ можно бы употребить для уменьшения домашней

суровости помещиков или слуг, ими посылаемых на управление деревень их беспредельное, что часто разорительно деревням и народу и вредно государству, когда удрученные от них крестьяне принуждены бывают неволею бежать из своего отечества. Есть государство, где никто не может быть осужден инако как 12 особами, ему равными, — закон, который может воспрепятствовать сильно всякому мучительству господ, дворян, хозяев и проч. Есть положение в ломбардских законах, которое во всех родах правления полезно быть может: если господин насилует жену или дочь своего раба, то вся семья оного будет от рабства освобождена — средство к предупреждению и укрощению невоздержанности господ».

Все это в изданном «Наказе» пропущено; за приведенною статьею, начинающеюся словами: «Какого бы рода покорство ни было», прямо следует статья: «Несчастливо то правление, в котором принуждены установляти жестокие законы», статья, не имеющая здесь смысла без дополнения, выпущенного в изданном «Наказе» и сохранившегося в отрывке: «Причина сему, что повиновение сделалось несносным игом, так необходимо надлежало и наказание за ослушание увеличить или сомневаться о верности. Благоразумно предостерегаться, сколь возможно, от того несчастия, чтоб не сделать законы страшные и ужасные. Для того что рабы и у римлян не могли полагать упования на законы, то и законы не могли на них иметь упования. Но какой то народ, в котором гражданские законы противоборствуют праву естественному? Был у греков закон, по которому рабы, жестокостью господ своих убежденные (?), могли требовать, чтоб они другому были проданы. В последние времена был подобный закон и в Риме: господин, раздраженный против своего раба, и раб, огорченный против господина своего, должны быть друг от друга разлучены. Сей закон служил к безопасности хозяина и раба».

За этим пропуском следует в печатном «Наказе» статья, одинаковая с находящеюся в отрывке: «Петр I узаконил в 1722 году, чтоб безумные и подданных своих мучащие были под смотрением опекунов. По первой статье сего указа чинится исполнение, а последняя для чего без действа осталася, неизвестно. Не до́лжно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных. Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества», но тут выпущена в печатном «Наказе» вторая половина фразы: «.. и привесть их в такое состояние, чтоб они могли купить сами себе свободу». Пропущено и следующее: «Могут еще законы определить уреченное время службы; в законе Моисеевом ограничена на шесть лет служба рабов. Можно также установить, чтоб на волю отпущенного человека уже более не

крепить никому, из чего еще та польза государственная выйдет, что нечувствительно умножится число мещан в малых городах. Также можно уврачевать зло сие при самом оного корени. Великое число рабов находится при отправлении разных должностей, им поручаемых и уже от земледелия бесповоротно отлученных: перенести некоторую часть званий на людей свободных, например, торговлю, мореплавание, художество; чрез то уменьшится число рабов. Надлежит, чтоб законы гражданские определили точно, что́ рабы должны заплатить за освобождение своему господину, или чтоб уговор об освобождении определил точно сей их долг вместо законов». Затем в изданном «Наказе» говорится: «Окончим все сие, повторяя правило то, что правление весьма сходственное с естеством есть то, которого частное расположение соответствует лучше расположению народа, ради которого оно учреждается. Причем, однако, весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих; не узнав же сих причин, законами упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойство одних и других от того зависит».

Несколько статей о крестьянских отношениях помещено автором «Наказа» и в главе о размножении народа в государстве: «Весьма бы нужно было предписать помещикам законом, чтоб они с большим рассмотрением располагали свои поборы и те бы поборы брали, которые менее мужика отлучают от его дома и семейства: тем бы распространилось больше земледелие и число бы народа в государстве умножилось Где люди не для иного чего убоги, как только что живут под тяжкими законами и земли свои почитают не столько за основание к содержанию своему, как за подлог (предлог) к удручению, в таких местах народ не размножается. Они сами для себя не имеют пропитания: так как им можно подумать от оного уделить еще своему потомству? Они не могут сами в своих болезнях надлежащим пользоваться присмотром; так как же им можно воспитывати твари, находящиеся в беспрерывной болезни, т. е. во младенчестве. Они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обращение; боятся богатыми казаться; боятся, чтоб богатство не навлекло на них гонения и притеснений. Многие, пользуясь удобностью говорить, но не будучи в силах испытать в тонкость о том, о чем говорят, сказывают: чем в большем подданные живут убожестве, тем многочисленнее их семьи. Также и то: чем большие на них положены дани, тем больше приходят они в состояние платить оные. Сии суть два мудрования, которые всегда пагубу наносили и всегда будут причинять погибель самодержавным государствам». В главе «О рукоделии и торговле» опять затрагивается вопрос о кре-

стьянах: «Не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного. Сие основано на правиле весьма простом, всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит, и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет»[73].

«Наказ» в этом сокращенном виде был напечатан 30 июля 1767 года; но и в таком виде перевод его был запрещен во Франции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

Комиссия об Уложении. 1767—1768 годы

30 июля назначено было днем открытия комиссии об Уложении. Депутаты, которых к этому времени приехало в Москву до 460 человек, собрались в Чудов монастырь в 7 часов утра. Прежде них приехал туда главный распорядитель князь Вяземский, незадолго перед тем утвержденный в должности генерал-прокурора.

В 10 часу выехала из головинского дворца Екатерина с большой торжественностью, в императорской мантии, с малою короною на голове; карета была запряжена осьмью лошадьми. Впереди ехали придворные в 16 парадных экипажах. За каретою императрицы следовал взвод кавалергардов под командою своего шефа графа Григор. Григ. Орлова. За кавалергардами ехал в карете великий князь Павел Петрович. Когда императрица приехала в Успенский собор, двинулись туда депутаты по два в ряд под предводительством генерал-прокурора, державшего в руке маршальский жезл. Впереди шли депутаты от правительственных мест, потом от дворянства, от городов, от однодворцев и прочих старых служб служивых людей, наконец из поселян; в сословиях старшинство между депутатами соблюдалось по губерниям, расписанным в таком порядке: Московская, Киевская, Петербургская, Новгородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Иркутская, Смоленская, Эстляндская, Лифляндская, Выборгская, Нижегородская, Малороссийская, Слободско-Украинская, Воронежская, Белогородская, Архангельская, Оренбургская и Новороссийская; лично же старшинство между депутатами наблюдалось по времени их прибытия в Москву и внесения в депутатский список. Депутаты христианской веры вошли в собор, иноверцы остались вне храма. По окончании службы императрица отправилась в Кремлевский дворец, а депутаты стали подписывать присягу, в которой

клялись «приложить чистосердечное старание в великом деле сочинения проекта нового Уложения, соответствуя доверенности избирателей, чтоб сие дело начато и окончено было в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия рода человеческого, из которых правил все правосудие истекает». Присягавший просил бога, чтоб «ниспослал ему силу отвратить сердце и помышление от слепоты, происходящей от пристрастия, собственныя корысти, дружбы, вражды и ненавистные зависти, из коих страстей родиться бы могла суровость в мыслях и жестокость в советах».

После подписания присяги депутаты отправились во дворец, в аудиенц-залу, где Екатерина стояла на тронном возвышении, имея по правую сторону стол, покрытый красным бархатом, где лежали наказ комиссии, обряд управления комиссиею и генерал-прокурорский наказ. По левую сторону трона стоял великий князь с правительственными лицами, придворными и министрами иностранными, по правую — знатнейшие дамы; на второй ступени тронного возвышения стоял вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын.

Когда генерал-прокурор представил императрице депутатов, депутат от Синода, новгородский митрополит Димитрий (Сеченов), начал речь, в которой искусно вывел законодательное преемство Екатерины от Юстиниана: «Прославлялася иногда Древняя Греция, прославлялся Рим своими законодателями; но к полной их славе недоставало того, что не просвещены были евангельским учением, которое есть всякого нравоучения претвердым основанием; но ты, сим светом путеводима, из источников истины христианския почерпаеши воду животную. Были и в христианских греческих государях, кои славу законодателей получили, но течению вещей по неизвестным божиим судьбам переменившуся (вследствие турецкого нашествия), сила законов сама собою перестала. Но в сих судьбах печальных усматриваем мы судьбу, для нас благоприятную, ибо по перенесении с Востока к нам веры и право законодательства яко наследственно тебе препоручено от того, который и настоящая потребно править и будущая полезно устрояет». Когда митрополит кончил, вице-канцлер от имени императрицы обратился к депутатам с речью, в которой приглашал их приступить к своему великому делу: «Начинайте сие великое дело и помните при каждой строке оного, что вы имеете случай себе, ближнему вашему и вашим потомкам показать, сколь велико было ваше радение о общем добре, о блаженстве рода человеческого, о вселении в сердце людское добронравия и человеколюбия, о тишине, спокойствии, безопасности каждого и блаженстве любезных сограждан ваших. Вы имеете случай прославить себя и ваш век и приобресть себе почтение и благодарность будущих веков.

От вас ожидают примера все подсолнечные народы; очи их на вас обращены. Слава ваша в ваших руках, и путь к оной вам открыт; от согласия вашего во всех сих полезных отечеству делах зависеть будет и совершенность оныя».

На другой день, 31 июля, с семи часов утра депутаты начали собираться в Грановитой палате; в 10 часов по приглашению генерал-прокурора сели по местам в числе 428 человек. Приступили к избранию маршала; больше всех голосов получил вяземский дворянский депутат граф Ив. Григор. Орлов (278 избирательных и 150 неизбирательных), за ним брат его копорский депутат граф Григорий Григорьевич (228 и 200), потом волоколамский депутат граф Захар Григор. Чернышев (179 и 249), костромской депутат Александр Ильич Бибиков (165 и 262), орловский депутат граф Федор Григор. Орлов (159 и 269), депутат от Сената князь Мих. Никит. Волконский (147 и 254), московский депутат Петр Ив. Панин (137 и 296). Трех первых кандидатов должно было представить императрице на утверждение; но когда генеральный прокурор объявил собранию, что большинство голосов пало на двоих Орловых — Ивана и Григория, то последний встал и просил собрание уволить его от должности маршала за множеством дел, возложенных на него императрицею. Собрание согласилось; следующий за ним кандидат, граф Чернышев, также просил об увольнении, но собрание не согласилось, и потому представлены были трое: граф Иван Орлов, граф Чернышев и Бибиков. 3 августа, во втором заседании комиссии, объявлено было собственноручное решение Екатерины: «Как граф Орлов нас просил о увольнении, а граф Чернышев обязан многими делами, то быть предводителем костромскому депутату Александру Бибикову». По прочтении этого решения генерал-прокурор передал Бибикову свой жезл, и началось чтение «Наказа», который, по словам дневной записки, был слушан с восхищением, многие плакали, особенно когда читались слова: «Боже сохрани, чтоб после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ. Намерение законов наших было бы не исполнено: несчастие, до которого я дожить не желаю». В пятом заседании, 9 августа, депутаты стали говорить: «Что сделать для государыни, благодеющей своим подданным и служащей примером всем монархам? Чем изъявить, сколь много ей обязаны все счастливые народы, ею управляемые?» Остановились на мысли поднести Екатерине титул премудрой и великой матери отечества.

12 августа после обедни — это было воскресенье — императрица приняла депутатов во дворце, и маршал Бибиков говорил ей речь, которая оканчивалась так: «Став делами твоими удивление света, будешь «Наказом» твоим наставление обладателей и благодетельница рода человеческого. Потому

весь человеческий род и долженствовал бы предстать здесь с нами и принести вашему имп. в-ству имя матери народов, яко долг, тебе принадлежащий. Но как во всеобщем благополучии мы первенствуем и первые сим долгом обязуемся, то первая Россия в лице избранных депутатов, предстоя пред престолом твоим, приносяще сердца любовию, верностию и благодарностию исполненныя. Воззри на усердие их как на жертву, единые тебя достойную! Благоволи, великая государыня, да украшаемся мы пред светом сим нам славным титлом, что обладает нами Екатерина Великая, премудрая мать отечества. Соизволи, всемилостивейшая государыня, принять титло как приношение всех верных твоих подданных и, приемля оное, возвеличь наше название. Свет нам последует и наречет тебя матерью народов. Сей есть глас благодарственный торжествующей России! Боже сотвори, да будет сей глас— глас вселенной!» Вице-канцлер отвечал, что императрица «с удовольствием принимает изображенную депутатами чувствительность, тем более что оная благодарность ясно предвещает ту горячность, которую они самим делом намерены показать свету исполнением в «Наказе» предписанных правил». Относительно принятия предлагаемого титула ответила сама императрица: «О званиях же, кои вы желаете, чтоб я от вас приняла, — на сие ответствую: 1) на *великая* — о моих делах оставляю времени и потомкам беспристрастно судить; 2) *премудрая* — никак себя таковою назвать не могу, ибо един бог премудр, и 3) *матери отечества* — любить богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимою от них есть мое желание».

Последующие заседания были посвящены избранию членов в три особые комиссии: дирекционную, экспедиционную и комиссию разбора депутатских наказов. Дирекционная должна была составить прочие частные комиссии для разных отраслей законодательства (юстиции, вотчинных дел, торговли и т. д.) и выбрать в них членов из полного собрания депутатов по баллотировке. Дирекционная комиссия следила за ходом работ в частных комиссиях посредством еженедельных меморий, получаемых ею от каждой комиссии: если из этих меморий усматривалось уклонение от правил, то дирекционная комиссия направляла уклонившуюся комиссию на должный путь. Каждая частная комиссия, окончив свой труд, вносила его в дирекционную комиссию, которая должна была смотреть, согласен ли он с «Наказом» императрицы, нет ли несходства одной части с другой и все ли части клонятся к сохранению целости империи чрез добронравие, народное благополучие и человеколюбивые законы. Экспедиционная комиссия наблюдала, чтоб труды всех других комиссий изложены были по правилам языка и слога. Она отвечала за то, что не нашла и не оставила речей и слов двоякого смысла,

темных, неопределенных и невразумительных. Эта комиссия была необходима, ибо мысль русских людей по недавности знакомства с наукою с великими усилиями вращалась в новом мире политических и юридических понятий и отношений, что отражалось в речи, тяжелой, неправильной и темной. Комиссия о разборе депутатских наказов должна была разобрать наказы и проекты по их содержанию и выписки из них представить полному собранию комиссии, которая с своими замечаниями отсылала их в дирекционную комиссию.

С восьмого заседания в комиссии началось чтение депутатских наказов, из которых прочитано и обсуждено 12 в пятнадцати заседаниях. Затем приступлено было к чтению и обсуждению законов о правах дворянства. Прежде окончания рассуждения об этом предмете перешли к законам о купечестве, а затем к лифляндским и эстляндским привилегиям. Этим кончились заседания комиссии в Москве 14 декабря 1767 года. В следующем 1768 году они возобновились уже в Петербурге, 18 февраля: начали читать и обсуждать законы, относящиеся к юстиции. 10 июля возвратились к рассуждениям о дворянских правах, ибо маршал Бибиков объявил, что из дирекционной комиссии прислан проект правил благородных, составленный комиссиею о государственных родах. Обсуждение этого проекта заняло много времени. В декабре 1768 года комиссия покончила свою деятельность обсуждением законов о поместьях и вотчинах.

Екатерина хотела слышать откровенные голоса различных состояний русского народа, хотела познакомиться, по тогдашнему выражению, с *умоначертанием* народным, в среду которого хотела провести начала, выработанные современною мыслию, современною наукою; хотела познакомиться с умоначертанием народа, чтобы испытать почву прежде, чем сеять, испробовать, что возможно, на что будет отклик и чего еще нельзя начинать. Для нее был здесь интерес практический; для нас, потомства, здесь интерес неменьший — исторический. Собрались вместе для обсуждения сообща дел высшего интереса представители разных сословий. Это было собрание чинов, и потому мы должны ожидать в каждом из них стремления определить отношения к другим сословиям в пользу своего, тем более что депутат получил от своих избирателей наказ в этом смысле и считал своим долгом оправдать доверие избирателей. Сословие дворянское при этом представило двойственность, разделение на две стороны: людей старых и людей новых родов или фамилий. Древняя Россия не знала высшего благородного сословия, не было никакой сословной связи, никакого равенства и общности прав между людьми, стоявшими на высших ступенях служебной лестницы и стоящими на низших ее ступенях, между боярами, окольничими и «худыми детишками боярскими»,

хотя две черты были всем им общие: обязанность военной службы, что указывало на тождество их с дружиною первых князей, и право получать вознаграждение за службу в виде земельного участка или поместья, иногда превращавшегося из временного в вечное владение или отчину. Несмотря на отсутствие представления о высшем благородном сословии, несмотря на пропасть, которая разделяла боярина от сына боярского, все эти люди как люди военные, ставя себя выше людей, занимающихся мирными промыслами, считали себя только как воинов, настоящими людьми, мужами, а тех считали меньшими людьми и называли их уменьшительно мужиками. В конце XVI века произошло важное осложнение отношений: все эти землевладельцы, помещики и вотчинники получают для своих земель крепостное народонаселение и по отношению к многочисленному классу народа получают новое значение, значение господ, которое имели прежде только по отношению к холопям. Здесь было положено начало выделения землевладельцев и вместе крестьяновладельцев как господ из остального народонаселения, не имеющего права иметь в своем владении крестьян, положено было начало *господскому* сословию, высшему, благородному. Крепостные крестьяне были *господские* крестьяне; явилась привилегия, явилось и привилегированное сословие. В таком положении застало дело петровское преобразование. Новое время по самому характеру своему требовало для всего точнейших определений; высшее привилегированное сословие должно было получить одно общее название, тем более что так было там, откуда шел пример, образец, — в Западной Европе; но откуда было взять название? Обратились к ближайшему одноплеменному народу польскому и взяли у него на время название *шляхта*. Потом мало-помалу это название стало вытесняться своим старинным — дворянство. Сначала это название не могло быть усвоено потому, что была еще свежа память о том времени, когда слово «дворяне» означало только один известный разряд военных людей, когда боярин или окольничий не разделался бы дешево с тем, кто бы оскорбил его честь, назвавши его дворянином; но когда бояре и окольничие исчезли, название «дворяне» как почетнейшее для массы землевладельцев осталось и начало делаться названием сословным для всех господ, всех землевладельцев, имеющих право владеть крестьянами.

Но в новой России между дворянами скоро должно было обнаружиться различие, поведшее к неприязни. В древней России право владеть землею и потом соединенное с этим правом право владеть крестьянами принадлежало военным людям, и право это в их среде между различными разрядами их не могло подвергаться никакому прекословию как истекавшее из необходимых государственных отношений, иначе

немыслимых: бедное государство не могло давать другого вознаграждения за службу, кроме земли, и потом должно было прикрепить к этой земле и работников. Столкновения по служебно-родовому старшинству и чести выражались в местничестве. Но в новой России вследствие новых потребностей произошли явления, подавшие повод к особого рода столкновениям. Во-первых, явилось постоянное войско с правом выслуги для рядового солдата в офицеры, а офицерство давало вход в сословие благородных, господ, дворян; господин видел, как его крестьянин, или *его человек,* сданный в солдаты, становился равным ему и даже выше его; случалось, что крестьянин опережал господина по службе, господин оставался солдатом, а крестьянин проходил офицерские чины и был начальником прежнего господина. Во-вторых, в силу естественного развития подле службы военной явилась гражданская; люди низкого происхождения дослуживались по гражданской службе до чина, дававшего доступ в дворянское сословие; на деньги, нажитые на службе, и нажитые всяким способом, покупали населенные земли, становились рядом с старинными господами и часто затемняли их своим богатством. Военный человек, обязанный трудною и опасною службою, сильно оскорблялся, видя наравне с собою и выше себя человека худородного, нажившегося неизвестно как или известно как на легкой, покойной службе. Наконец, преобразовательная эпоха выдвинула новые потребности, государство земледельческое становилось хотя несколько мануфактурным; начали учреждаться необходимые заводы и фабрики, но в малонаселенной стране на них нельзя было управиться вольнонаемным трудом, и те же побуждения, которые заставили для содержания военных людей прикрепить крестьянина к земле, заставляют теперь прикреплять крестьян к фабрике, заводу; и подле господ, военных людей, владеющих крестьянами, являются фабриканты и заводчики, также господа, также владеющие крестьянами, хотя иные сами из разбогатевших торговлею крестьян. Новое оскорбление для старинных господ, военных людей.

И вот в Грановитой палате слышатся голоса против закона Петра Великого, по которому дослужившийся до известных чинов тем самым становился дворянином. Говорит депутат от ярославского дворянства князь Мих. Мих. Щербатов, скоро обративший на себя внимание собрания своею начитанностью, литературною обработкою своих речей и жаром, с каким произносил их. Один из противников его сделал об нем такой отзыв: «Я заметил, что в мнениях, поданных г. депутатом князем Михаилом Щербатовым, он очень редко основывается на прежних узаконениях, и эти мнения он подкрепляет весьма разумными рассуждениями, которыми он отменно одарен от бога». Щербатов говорил: «Обстоятель-

ства времени и разные случаи принудили Петра Великого сделать для нашего же благополучия такие положения, которые ныне от изменения нравов не только не полезны, но скорее могут быть вредны Означенные законы содержат в себе правило, по которому каждый дослужившийся до офицерского чина почитается дворянином и дети его уже должны быть помещены в дворянский список. Такое преимущество дослужившимся до офицерского чина по тогдашним обстоятельствам было необходимо для понуждения дворян вступать в службу; но ныне, когда уже видим, что российское дворянство по единой любви к отечеству и славе и по усердию к своим монархам достаточно наклонно и к службе, и к наукам, то кажется, что право, сравнивающее это сословие со всяким, кто бы каким бы то ни было образом ни достиг офицерского чина, до́лжно отменить. Один государь по своему соизволению может награждать этим правом за важные услуги не только того, кто окажется достойным, но и его потомство. Известно, что первое различие между состояниями произошло от личной доблести некоторых лиц из народа. Потомки их равномерно отличались от других, оказывая услуги тем обществам, которых они были членами. Итак, первым объяснением имени дворянина будет то, что он такой гражданин, которого при самом его рождении отечество, как бы принимая в свои объятия, ему говорит: ты родился от добродетельных предков; ты, не сделавший еще ничего мне полезного, уже имеешь знатный чин дворянина; поэтому ты более, чем другие, должен показать мне и твою добродетель, и твое усердие. Тебя обязывают к тому данные законами моими права, предшествовавшие твоим заслугам, тебя побуждают к тому дела твоих предков, подражай им в добродетели и будешь мне угоден. Рожденный в таком положении, воспитанный в таких мыслях человек не будет ли употреблять сугубые усилия, дабы сделаться достойным имени своего и звания? Одно это имя и припоминание о славных делах своих предков довольно сильно, чтобы побудить благородных людей ко всяким великим подвигам. Эта политика у римлян столь далеко простиралась, что они приписывали начало знатных родов своим героям, о чем, по свидетельству блаженного Августина, знаменитый римский писатель Варрон говорил, что для государства весьма полезно, чтобы знаменитые люди почитали себя происшедшими от героев, хотя это и неправда, но уже одна мысль о таком происхождении может побудить их предпринимать и оканчивать величайшие дела. Самый естественный рассудок убеждает нас, как то признают и все лучшие писатели, что честь и слава наиболее действуют в дворянском сословии, поэтому сии качества имеют большее влияние на тех, которые почти с самого рождения своего слышат о знатных делах своих предков, видят их изображе-

ния, вспоминают те подвиги, какими они прославлялись, чем на тех, которые, смотря на отцов своих, дослужившихся до первых офицерских чинов по старшинству службы или по происка́м, а не по отличным заслугам, не видят ничего такого, что могло бы его скло́нить к славным делам, а имена предков их уже скрываются во тьме. Не могу при сем случае не припомнить мнения знаменитого наукою и своим знанием в законах барона Пуффендорфа, который говорит: обыкновенно чины сами собою не дают дворянства, но государь дает титул дворянина, кому заблагорассудит, и проч. Осмелюсь еще присовокупить, что право, по которому каждый разночинец, получивший только офицерский чин, поступает в дворянское достоинство без рассмотрения его поступков или мыслей, может быть поводом ко многим злоупотреблениям. Такие люди, дабы дослужиться до офицерского чина и чрез то приобрести звание дворянина, зная, что это зависит от власти каждого командира, не откажутся льстить его страстям и употреблять другие низкие способы для снискания его благоволения, что, конечно, послужит ко вреду нравов их самих и их начальников. Достигши до офицерского чина и видя себя дворянином, эти люди уже теряют побуждение к достижению высших чинов, а только желают приобрести себе имение, приискивают все пути, не отвергают ни единого, оттого порождается мздоимство, похищения и всякое подобное им зло. Однако же я нисколько не думаю лишать людей, какого бы они ни были звания, тех преимуществ, которые даются как награда достоинству, и полагаю весьма справедливым награждать его, где бы то ни оказалось; но чтобы награждалось только действительное достоинство, и притом от такого лица, которое одно имеет несомненное право награждать так, чтобы награждение распространялось и на потомство Лицо это есть монарх».

Другие депутаты повторяли те же мысли, дополняя их подробностями. Депутат ржево-володимирского дворянства Игнатьев говорил: «Многие из подьяческих, посадских и прочих подобного рода людей, вышедшие в штатские и обер-офицерские чины и находящиеся в разных статских должностях, покупают большие деревни, размножают фабрики и заводы, а чрез то делают подрыв природному дворянству в покупке деревень. Когда дворянин, занимающийся хлебопашеством и трудом своим приобретя деньги, пожелает купить по соседству деревни по цене умеренной, то некоторые не из дворян, имея бо́льшие суммы, возвышают на них цену втрое и более, и деревни эти оставляют за собою. Таким образом, дворянин, лишаясь средств увеличить свое имение, впадает в недостаток, и деревни его, которыми он прежде владел, приходят в упадок. Мое мнение, чтобы запретить пользоваться правом дворянства и покупать деревни тем, которые не из дворян

достигнут службою штаб- и обер-офицерских чинов. Некоторые из сих последних могут сказать: если им не будет дозволено пользоваться правом дворянства и покупать деревни, то каким способом они, по отставке от службы и не получая жалованья, будут снискивать себе пропитание? На это им следует отвечать, что те деньги, на которые они могли бы купить деревни, пусть отдают в рост и, получая с своего капитала проценты, ими довольствуются как бы доходом с деревень». Депутат обоянского дворянства Глазов говорил: «Многие, находясь в военной службе, в гвардии, во флоте, в артиллерии и в полевых полках, давали о себе сведения, что они происходят из дворян, и показывали за собою деревни, которых никогда не имели, ибо знали, что в военной службе верных справок о том не делалось. По таким-то их несправедливым показаниям они производились в чины. Находящиеся в статской службе поступали подобным же образом. Сверх того, многие присоединяли себя к другим дворянским фамилиям, доставляя о себе по происках из Разрядного приказа справки, по которым можно было бы прибрать одну фамилию к другой; потом, отыскав кого-либо из той дворянской фамилии самого последнего человека, мота и нехранителя чести своего звания, уговаривали его ту справку подписать с засвидетельствованием, что те отыскивающие дворянство действительно происходят из дворян и состоят с ними в близком родстве, хотя настоящая фамилия их и не знает и никогда причесть их в свой род не может. Однако же через это многие получали себе чины и покупали деревни. В нынешнее время в полках осталось весьма малое число дворян; большею же частию теперь служат в них люди, подобные тем, о которых я выше объяснил».

Мнения эти не остались без возражений. Дворянский депутат Изюмской провинции Зарудный говорил: «Как многотрудна во флоте и как тяжела в сухопутной армии служба, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен; не знающим этого могут рассказать все там послужившие и ныне служащие о тех неимоверных трудах, которые они понесли в бывших турецких и прусских походах и сражениях. Из этих рассказов можно удостовериться, что полученные ими чины и дворянское достоинство нелегко им достались. Что же касается до статской службы, то и она для исправления дел как внутри отечества, так и при сношениях с иностранными державами необходимо нужна, полезна и небезтрудна. Следовательно, думать об отнятии дворянского достоинства, заслуженного многотрудною и полезною отечеству военною службою, понесенными трудами, претерпенными ранами и даже лишением жизни, равным образом приобретенного ежечасными трудами и честностью по статской службе, думать, говорю, об отнятии достоинства у тех, кому

оно уже пожаловано и утверждено, мне кажется, несовместно ни с общею дворянства пользою, ни с тем благоденствием, о котором всемилостивейшая наша государыня изволит прилагать попечение, ни с тем наставлением, которое ее в-ство преподала в своем «Наказе», т. е. взаимно делать друг другу добро сколько возможно. Такая мысль скорее может быть отнесена к самолюбию, ибо подающие мнения об ограничении способов достигать дворянства высказывают через то желание, чтобы им одним и им подобным пользоваться дворянством, а прочих, какого бы они достоинства, честности и верности к своему монарху и отечеству ни были и каких бы заслуг ни оказали, лишить этого преимущества навсегда». Депутат Днепровского пикинерного полка Козельский говорил: «Ежели предки российских дворян начало своего достоинства получали чрез награждение по своим заслугам за верность и добродетель, а не чрез знатность рода, то потомки их не должны бы умалять и презирать офицерские чины. Ежели те лица, которые со времени государя Петра Великого и по его узаконениям заслужили обер-офицерские чины, хотя были и незнатного происхождения, но только добронравного воспитания, и потом в нынешнее уже время показали себя искусными в военных делах, в приведении в отличный порядок подчиненных им солдат, ежели такие лица неоспоримо достойны почитаться за настоящих дворян, то они должны пользоваться и всеми дворянскими преимуществами. Нет сомнения, что достоинство сие драгоценно; но кому оно было дороже, предкам ли, которые сами его заслужили, или их потомкам? Если же, как некоторые того желают, умножится одно только старинное дворянство и пренебрежено будет вновь пожалованное, то, по мнению моему, это послужит в подрыв государственной службе, ибо прочие, недворянские сословия, не видя себе равного с дворянами за службу возмездия, будут служить принужденно, без всякой ревности и любви к отечеству. Не имея в виду заслужить в своем же отечестве отличного достоинства, они сделаются как бы не сынами отечества. О воспитании же своем, о науках и о добродетелях не будут иметь повода прилагать какое-либо старание. И какое же будет в государственных делах благосостояние и в обществе спокойствие, когда вместо взаимного человеколюбия от такого явного небрежения к ближнему умножится ненависть и вражда? Дворянство, умножив высокомерие своего достоинства, будет пренебрегать служащими как по гражданской, так и по военной части. Вместо исправления нравов вселится гордость и презрение к ближнему». По словам депутата Терского семейного войска Миронова, «достоинство дворянское не рождается от природы, но приобретается добродетелью и заслугами своему отечеству. Могут ли гг. российские дворяне сказать о своих предках, что все они

родились от дворян? Я, напротив полагаю, что в России более найдется таких, которые за воинские дела и другие добродетели получили это достоинство».

Надобно было защищаться. Особенно задели слова, что предки людей, выставляющих теперь свое древнее происхождение, были люди незнатного происхождения и выслужили свою честь. Начал говорить самый ревностный защитник прав древних фамилий князь Мих. Мих. Щербатов, начал говорить «с крайним движением духа», дрожащим голосом: «Депутат Днепровского пикинерного полка в мнении своем говорит, что все древние российские дворянские фамилии произошли от низких родов и что теперь эти древние дворяне по надменности своей не желают допустить в свое звание людей, того достойных. Весьма удивляюсь, что этот г. депутат укоряет подлым началом древние российские фамилии, тогда как не только одна Россия, но и вся вселенная может быть свидетелем противного. К опровержению его слов мне довольно указать на исторические события. Одни российские дворяне имеют свое начало от великого князя Рюрика и потом по нисходящей линии от великого князя Владимира; другие выехавшие знатные люди берут начало свое от коронованных глав; многие фамилии хотя и не ведут рода своего от владетельных особ, но произошли от весьма знатных людей, которые, выехавши в службу к великим князьям россиискиим, считают несколько столетий своей древности и у нас украсили себя знаменитыми заслугами отечеству. Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия слышать нарекания подлости на такие роды, которые в непрерывное течение многих веков оказали ей свои услуги? Как не вспомнит она пролитую кровь сих достойнейших мужей! Будь мне свидетелем, дражайшее отечество, в услугах, тебе оказанных верными твоими сынами — дворянами древних фамилий! Вы будьте мне свидетели, самые те места, где мы для нашего благополучия собраны! Не вы ли были во власти хищных рук? Вы, божественные храмы, не были ли посрамлены от иноверцев? Кто же в гибели твоей, Россия, подал тебе руку помощи? То верные твои чада, древние российские дворяне! Они, оставя все и жертвуя своею жизнью, они тебя освободили от чуждого ига, они приобрели тебе прежнюю вольность. Мне мнится, что зрю еще текущую кровь достойных сих мужей и напоминающую их потомкам то же исполнить и так же жертвовать своею жизнию отечеству, как они учинили. Вот первое право требования дворян древних родов, чтобы никто с ними без высочайшей власти не был сравнен. Но они не затворяют надменностию врата для доблести, а хотят, чтоб желающие войти к ним в собратство удостоились того истинною добродетелью, которую бы сам монарх увенчал дворянским званием».

Депутат михайловского дворянства Семен Нарышкин старался разъяснить, какое, по его мнению, должно быть постановлено различие между офицерством и дворянством. Произведение в офицерские чины служит наградою доброго поведения в нижних чинах, а возведение в дворянство — наградою отменных заслуг отечеству. Нарышкин высказал и отношение дворянства к владению крестьянами: «Достоинство дворянское считается у нас чем-то священным, отличающим одного человека от прочих. Оно дает ему и его потомкам право владеть себе подобными и заботиться об их благосостоянии». Но защитники закона Петра Великого, «такого великого законодателя», не уступали, и один из них, депутат города Рузы Смирнов, предложил ограничить наследственность дворянства: «Так как ранги и чины получаются не по наследству, но по заслугам отечеству и вместе с лицом, их заслужившим, и умирают, то, чтобы наследники не могли пользоваться чужими трудами без своих заслуг, чтобы не возродилось в них нерадение самим заслуживать чины, наконец, чтобы они у других заслуживающих награждения не отнимали одобрения и надежды получить чины, заслуженные их предками, но для усиления в потомках ревности к службе, для отвращения уныния, нерадения и отчаяния и для ободрения людей самого низшего состояния к достижению высшей степени чести, считаю небесполезным предложить сделать постановление, чтобы дворянство и преимущество оного не доставалось по наследству, но чтобы всякий старался достигать его по заслугам. Возвышение в звании дворянина и отнятие этого достоинства может быть произведено следующим образом: 1) Всякий, невзирая ни на какой род, может быть за свои заслуги пожалован дворянином с принадлежащими к сему званию преимуществами, начиная с первой ступени заслуженной им чести, например с обер-офицерства. 2) Всякий такой дворянин, равно как и все прочие дворяне, должен подлежать тем же законам, которым подлежат и другие люди. И ежели кто-либо из дворян сделает проступок, то по мере его важности лишать его не только дворянства, но и других принадлежащих честному гражданину преимуществ. 3) Что же касается до потомков дворян, то полагаю, что лишить их вовсе этого достоинства, не принимая в уважение заслуг их предков, было бы несправедливо и неодобрительно, но и совсем оставить его по наследству в вечное потомство будет и того несправедливее по вышеизложенным причинам. 4) Следовательно, по заслугам и чину всякого надлежало бы распространить его дворянство на несколько колен, так, например, для штаб- и обер-офицеров довольно было бы, если он сам будет дворянин, его дети и внуки. Для чинов генеральских распространить дворянское достоинство на их правнуков и так далее. 5) Если какое лицо в последнем колене не

окажет должной ревности и само не возобновит своего дворянства, то детей его лишать сего звания. 6) Или же когда потомок на несколько чинов отступит от своего предка, заслужившего дворянство, на столько степеней и наследство дворянства будет уменьшено от его потомков. 7) Чрез это небрежение о себе потомков будет изгнано, а вместе с тем у недворян отчаяние, леность и неминуемое о себе нерадение искоренится, и во всяком лице возродится ревность сделать себя полезным членом отечеству и своему потомству. Наконец, благородство наше должно образовать одно тело, не разорванное на разные противоборствующие одна другой части, но составленное и соединенное из всех граждан, стремящихся к единой цели, предусмотренной премудрою нашею монархинею, которой желание есть не возвысить одних, а других обратить в ничто, но всех без изъятия учинить, сколько возможно по человечеству, благополучнейшими в свете».

Владение деревнями, крестьянами, *господство* в собственном смысле было то дорогое право, которым старые дворяне особенно не хотели делиться с новыми, выслужившимися недавно шпагою или пером; тем с большим нерасположением старые, да и новые дворяне смотрели на людей, которые не выслуживали дворянство ничем, не принадлежали к этому сословию и, несмотря на то, пользовались драгоценным правом иметь деревни, владеть крепостными крестьянами: то были заводчики и фабриканты. В наказе от ярославского дворянства депутату своему кн. Мих. Мих. Щербатову говорилось: «Указом Петра Великого для побуждения русского купечества заводить фабрики позволено было ему под фабрики и заводы покупать деревни; купцы не только воспользовались этим правом, но, распространяя его далее надлежащего, и в далеких от их деревень местах покупали деревни, что не только не соответствует намерениям Петра Великого, но и разрушает их тем, что фабриканты и заводчики, видя себя владельцами многих деревень, стали пренебрегать фабриками, а пользоваться и помещичьими доходами, а которые действительно купили деревни для фабрик и заводов, те забрали из деревень всех людей в работу на фабрики и заводы, и за такую малую плату, что насилу дневное пропитание иметь могут. Этим полагается препятствие умножению народа, земледелие оскудевает и самих крестьян так мучит работами, что они часто бунты производят. Поэтому не угодно ли будет купленные купцами деревни у них взять, распорядясь так, чтоб их в убытке не оставить; а которые фабрики будут впредь заводиться, тем сделать надлежащее определение: работников, мастеров по числу работы и величины завода иметь, а прочие работники были бы наемные; это может принудить фабрикантов и заводчиков усерднее стараться о

приведении в лучшее состояние русских фабрик и о производстве русскими товарами торговли; а дворянство через большую циркуляцию денег приобретет себе пользу, когда его крестьяне в междурабочую пору будут ходить к купцам работать на фабрики и заводы.

Старые дворяне при стремлении своем удержать землевладение при себе не могли не вспомнить о майорате, и в наказ московского дворянства депутату Петру Ив. Панину внесена статья: «Чтобы, сообразуясь с прочими в Европе благоучрежденными христианскими государствами, исходатайствовано было каждому владельцу право часть собственного движимого и недвижимого имения определять по благоизобретению в нераздельное наследство, кому пожелает, с предписанием порядка, как ему переходить из колена в колено. Наш прежний закон заимствовал нечто из примеров в некоторых европейских землях, но он устоять не мог, потому, конечно, что им воля владельцев была стеснена в самые узкие пределы предписанием отдавать хотя по собственному избранию, но всегда одному все свое недвижимое как самое важное в России дворянское имение». Наказ дворян Михайловского уезда депутату своему сенатору Мельгунову в избежание раздела деревень на части и происходящего отсюда чересполосного владения требует, чтоб в каждой деревне или селе, когда по крепостям принадлежащая земля каждому владельцу особо отмежевана будет, те части, также и целые деревни и села по этому отмежеванию с тою землею оставались навсегда неделимыми, следовательно, в продажу, в заклад, в приданое и наследство по тому отмежеванию целою деревнею во владение переходили. В наказе дворян Переяславля Залесского генералу Ступишину говорилось: «Мнилось бы быть полезно для сохранения фамилий и домов, если бы позволено было, кто сам пожелает, при себе или при конце своем одну или сколько деревень похочет в фамилию отказать».

Но гораздо громче высказались дворяне о необходимости составления из себя областных корпусов и о праве участия в областных судах и управлении. Дворяне Боровского уезда написали в наказе депутату своему Голохвастову, чтобы дворянам было позволено каждые два года иметь съезд в своем уезде и на нем рассуждать и рассматривать, все ли в уезде исполняется по законам, не бывает ли кому притеснения от судебных мест, от квартирующих и проходящих полков или от кого бы то ни было, и если усмотрят какие-нибудь беззаконные действия и притеснения дворянам и крестьянству, то чрез избранного депутата представлять в Сенат. В том же собрании избирать дворянам между собою ландрата и от всякого стана или дистрикта дистриктного комиссара. Ландрату дистриктные комиссары, а им все дворяне и крестьяне, не исключая дворцовых волостей и вотчин, находящихся в

ведомстве коллегии Экономии, должны быть послушны. Ландрат ведет суд и расправу в мелких делах не свыше 25 рублей; комиссары же должны, где произойдет нарушение закона, немедленно освидетельствовать и представить ландрату, который разбор чинит и судит, основываясь на этом осмотре. Если в уезде произойдет разбой, то дистриктный комиссар немедленно должен собрать дворян с их людьми и крестьянами и стараться переловить разбойников, давши знать об этом ландрату и другим комиссарам, которые также все меры употребят к поимке разбойников, и пойманные отсылаются в воеводскую канцелярию. Так же поступают ландраты и комиссары, когда проведают о корчемстве. Комиссар провожает проходящие полки, смотрит, чтоб они были довольствованы, обывателям же никаких обид не было. По прошествии двух лет ландрат собирает дворян и объявляет им, что в эти два года происходило в уезде, отдавая таким образом отчет в своем управлении. Собрание избирает другого ландрата и комиссаров, причем могут быть переизбраны и прежние. Если ландрат или комиссар отправлял свою должность непорядочно, то судить его по смене собранию и по большинству голосов, наказывать денежным штрафом, которые деньги отсылаются в воспитательный дом; денежному же взысканию подвергаются и те дворяне, которые ландрату и комиссарам будут непослушны. Ландрат должен быть во всем опекуном своего уезда и защищать его. Костромское дворянство просило об учреждении земских судов по выбору дворянства из дворян же, живущих в отставке; судьи эти должны производить скорый суд и расправу в случающихся между дворянами ссорах за владение землями, порубку лесов, пожин хлеба, перекос сена, в крестьянских драках, в захвате лошадей и скота. Кроме того, должны содержать в порядке дороги, распоряжаться помещением воинских команд, определять опеку к малолетним или безумным дворянам и наблюдать за нею. Козельское дворянство в наказе депутату своему графу Брюсу просило: «Воеводы определяются в города из Прав. Сената; а к их должности принадлежащих качеств за многим числом определяемых в воеводы лиц Сенату знать нельзя; то не соблаговолено ли будет отдать выбор воеводы дворянам, чтобы они выбирали из своих товарищей погодно». Михайловское дворянство просило поручить суд между дворянами, их людьми и крестьянами в малых делах, не более 10 рублей, дворянскому предводителю с четырьмя помощниками. Судисловское дворянство просило об учреждении словесного суда из судьи и четырех помощников по дворянскому выбору, чтобы дворяне не терпели убытка и приказной волокиты, ибо из дворян много таких, которые приказных порядков не знают, а другие и грамоте вовсе не умеют, поверенных же за скудостью представить не в состоянии, особенно

вдовы и сироты; то же судисловское дворянство просило и о выборе воевод дворянами из своих. Ярославское дворянство просило, чтоб дворяне избирали из себя воеводских товарищей; всякий челобитчик должен был прежде начатия дела явиться к такому воеводскому товарищу, который обязан был стараться о примирении соперников; если же не успеет, то обязан был наблюдать, чтоб волокиты истцам и ответчикам в суде не было. В наказе владимирского дворянства говорилось: «Стряпчие люди господские правые дела своими вымыслами затмевают, а неправые разными происками через справки и неприличными к делу выписками указов и прочими непорядками проволакивают; взяв с противной стороны деньги, за делами хождения совсем не имеют, почему доверители их бывают обвинены; так не приказано ли будет таких как обществу вредных людей совсем от дела отрешать и в суды не пускать, а вместо их определять из дворян, освидетельствовавши в Сенате их достоинство и знание». Клинское дворянство просило о праве избирать на три года дворянского начальника для каждого уезда; к этому начальнику дворяне обращаются с жалобами, приняв которые, начальник призывает просителя и его соперника и требует у них, чтоб они в помощь ему для рассмотрения их дела дали из своих уездных дворян по одному человеку с подпискою, что они им верят. Когда эти поверенные будут представлены с обеих сторон, то начальник, присягнув, вместе с ними разбирает дело третейским судом. Дворянский начальник должен заботиться о делах дворян своего уезда, производящихся в воеводской канцелярии; наконец, должен охранять окружные межи. Дворянство каждого уезда имеет в Москве своего выборного на год депутата, который в Вотчинной коллегии и в прочих судебных местах заботится о всех делах дворян своего уезда, чтоб они как можно скорее были решены. Эти депутаты находятся под покровительством государственного депутата, которым должно быть лицо первого или второго класса. Дворянство Перемышльского и Воротынского уездов полагало, что прокурор должен назначаться по дворянскому выбору. Алексинское дворянство просило в каждом уезде учредить судей по выбору из дворянства вместо воевод и товарища их; в случае же какого-нибудь сомнительного дела судья дает знать предводителю и тот решает дело в общем собрании дворянства. Дмитровское дворянство просило о праве выбирать земских судей, которые должны были прекращать в самоскорейшем времени все между помещиками и между крестьянами ссоры и споры без письменного производства.

Старые дворяне, вооружась против легкого достижения дворянства худородными людьми, выставляли между преимуществами своими лучшее воспитание, высшее образование. Но средства дать детям своим такое образование далеко не

для всех из них были доступны, и потому они просят об учреждении училищ Депутат кашинского дворянства Кожин говорил· «Хотя в С.-Петербурге и существует шляхетский кадетский корпус, но по множеству в государстве дворянства одного такого учреждения недостаточно. Притом же многие молодые люди вышли уже из тех лет, которые назначены для поступления в новоучрежденный корпус, а недостаток порядочных учителей совершенно препятствует давать дома добронравное и приличное дворянскому званию воспитание; но как дворянство обязано служить ее и. в-ству и отечеству, то мы просим о повелении учредить в Москве шляхетский кадетский корпус на основании указа 1731 года. Для содержания этого корпуса возобновить сбор со вступающих в брак: не имеющие благородства должны платить за каждый брак по 50 копеек; все же благородные, владеющие вотчинами, должны получить от Камер-коллегии билеты с означением, сколько за кем состоит душ, и такие должны заплатить при вступлении в брак со ста душ по 2 рубля, а те, у которых менее ста душ, от десяти — по 1 рублю; не имеющие недвижимого имения, но служащие на жалованьи должны внести с каждых ста рублей по рублю». Депутат серпейского дворянства граф Александр Строганов заметил, что учредить в Москве училища для бедных дворян надобно, но предлагаемый побор для него несправедлив: он противоречит статьям «Наказа», предлагающим выгоды и поощрения для вступления в брак. Побор, отягощая брачующихся, будет препятствовать размножению народа; притом всякий налог на общество должен служить к пользе всего того общества, а не одной его части. Поэтому училище должно содержать на иждивении одних дворян; всякий помещик, имеющий более 200 душ, должен платить известную сумму ежегодно, принимать же в корпус детей только тех дворян, у которых менее 200 душ; могут помещать в него своих детей и такие, у которых более 200 душ, но на своем содержании. Костромское дворянство в наказе своему депутату просило: «Многие бедные дворяне не в состоянии не только детей своих пристойно воспитать и обучать нужным дворянину наукам, но по крайнему убожеству и довезти в государственные школы по отдаленности не могут, отчего дети вырастают в невежестве и лености и не только становятся неспособными к службе, но и ни малейшего вида дворянского в жизни и поведении своем не имеют. Для сохранения таких на пользу государству, для воспитания и обучения их грамоте и первым основаниям математики и чужестранных языков, особенно же для приличного воспитания, учредить по губернским и провинциальным городам школы или семинарии». Тульское дворянство просило об учреждении в провинциальных городах небольших гимназий из одного профессора и двух помощников. Московское дворянство просило об

учреждении в Москве кадетского корпуса для молодых дворян и двух училищ для воспитания дворянских девиц, одного для малолетних, а другого для взрослых; содержание этих училищ дворянство брало на себя. Дворянство серпуховское, тарусское и оболенское просило об учреждении опекунов для малолетних дворян и об учреждении в городах школ для бедных дворян, также для приказных и купеческих детей, где учить русской грамоте, арифметике, геометрии, немецкому и французскому языкам. Образование дворян должно было давать им служебные права: дворянство города Опочки просило избавить дворян навсегда от солдатства и унтер-офицерства, чтоб каждый дворянин, обученный хорошо читать и писать по-русски, арифметике, геометрии, несколько русской географии, вступал в службу прямо обер-офицером; те же дворяне, которые обучены будут на своем коште разным наукам и иностранным языкам, художествам и экзерциям, награждались подпоруческими и поруческими чинами.

Дворянство требовало для себя исключительного права владеть крестьянами; купцы требовали себе исключительного права производить торговлю. Депутат от купечества Рыбной слободы (Рыбинска) Алексей Попов говорил: «Вместо ожидаемого поправления мы с крайним прискорбием усматриваем из поданных в комиссию многими господами депутатами мнений, что русскому купечеству готовится большое отягощение, как будто оно вовсе не нужно для государства. Вместо того чтобы в силу указов императора Петра Великого утвердить за купечеством их права и вольности и другим всякого звания людям строжайше запретить вести торговлю, чрез что натурально купечество могло бы достичь большого благосостояния, помянутые господа депутаты, напротив того, предлагают ко вреду купечества, чтобы как благородному дворянству, так и крестьянам предоставлено было пользоваться купеческим правом наряду с купцами. Эти господа депутаты домогаются, чтобы купцам запрещено было иметь всякие фабрики и минеральные заводы. В основание такого распоряжения они ставят, что будто содержание купцами фабрик и заводов не приносит пользы обществу и что гораздо полезнее будет, ежели владение оными предоставлено отставным и живущим в деревнях дворянам. К этому они еще предлагают, чтобы крестьяне, привозящие в города свои произведения, имели право продавать их в розницу. Итак, если все это будет утверждено, то купечество неминуемо придет в разорение, а с этим и торговля может прийти в совершенный упадок. Ибо хотя ныне крестьянам и разночинцам и запрещено по закону торговать, но, несмотря на это, купцы терпят от них много обид и препятствий. Что же будет тогда, когда законом всякому дозволено будет торговать?» Попов требовал: «Предоставить купцам право устраивать фабрики и заводы,

покупать к ним крестьян для исправления потребных работ, но без излишества, а по числу находящихся на них станов и печей; покупать земли, сколько нужно под фабрики, заводы и под население рабочих при них людей. Дворянству не дозволять торговать и ни у кого, ни под каким видом, покупать купеческое право, ибо дворянство имеет свое собственное право, заключающее в себе большие преимущества, и носить драгоценное дворянское имя. Поэтому входить в такие коммерческие занятия, как, например, фабричные, заводские и разные торговые промыслы, дворянам по их званию несвойственно. Им следует предоставить продажу только того, что производится в их вотчинах по их хозяйству, не дозволяя ничего скупать у других. Благородному русскому дворянину надлежит иметь старание о приведении в лучшее состояние земледелия их крестьян и смотреть, чтобы последние обрабатывали свою землю с прилежанием и усердием. Теперь в России многие земледельцы вместо того, чтобы оставаться при своем жребии и умножать хлебопашество, покидают вовсе земледелие и вступают в торговые дела, но по незнанию своему тонкости коммерческих оборотов некоторые из этих земледельцев, проторговавшись, приходят в банкротство и, не заплатя купцам деньги за товары, у них забранные, скрываются из городов, но к хлебопашеству не обращаются. От сего происходит тот вред, что земледельцы, оставшиеся в деревнях, платят за них подушные и оброчные деньги и чрез то приходят в бедность. Для устранения такого неблагоприятного положения не будет ли признано нужным повелеть земледельцам для пользы всего государства заниматься единственно хлебопашеством, а ни в какую торговлю не вступать. Если нужно, чтобы русское купечество приносило государству полезные плоды, то непременно должно запретить торговать другим всякого звания людям». За право дворян иметь фабрики и заводы заступился князь Мих. Мих. Щербатов. Он начал с положения, что «государство тогда становится прочно, когда оно утверждается на знатных и достаточных фамилиях как на твердых и непоколебимых столпах, которые не могли бы снести тяжести обширного здания, если бы были слабы, невзирая на свою многочисленность. Действительно, мы видим, что величие французского и испанского государств основано на знатных родах. Рассмотрим самую сущность заводов и фабрик. Принадлежность минеральных заводов, для которых руды родятся в земле и переделываются чрез огонь, не должна ли составлять без исключения купцов одно из дворянских прав, ибо владение землею должно принадлежать одним дворянам. Неужели желание господина депутата Рыбной слободы заключается в том, чтобы купцам, лишив дворян способов к приобретению какой-либо прибыли, сделаться откупщиками всех произведений в России и устанав-

ливать цену как опым, так и самим работникам? Что касается покупки земель под фабрики, то мне кажется неоспоримым, что купцам нужно это позволить, но не более как такое количество, какое завод каждого из них может содержать. Хотя, с одной стороны, работники необходимо нужны для фабрик, но если принять во внимание число пахарей в России, то, конечно, не только не следует допускать, чтобы дворяне, продавая людей для фабрик, отнимали их от земли, но, напротив, должно всемерно стараться о размножении земледельцев. Теперь, если рассмотреть самое употребление и жизнь этих работников, то увидим, что, кроме небольшого числа мастеров, которые для того, чтобы не показывали своего мастерства посторонним, содержатся почти как невольники, кроме, говорю, этих мастеров, прочие находятся в весьма худом состоянии как относительно их содержания, так и нравственности. Самый этот столичный город (Москва) может свидетельствовать о распутном состоянии сих людей».

За торговлю крестьян говорил депутат от черносошных олонецких крестьян Вонифатьев: «Некоторые депутаты в мнениях своих пишут, что крестьяне для торговли удаляются от домов своих и не брегут хлебопашеством. На это могу представить, что крестьяне отлучаются от домов своих не для одних только торгов, а большею частию для добывания разными промыслами и работами денег на уплату государственных податей. Притом же обыкновенно отлучаются те из крестьян, которых семьи состоят из пяти и шести человек: один или двое бывают в отлучке, а другие остаются при земледелии. Всякие честные люди заботятся о том деле, к которому приставлены; такие же, которые о себе не радеют, думаю, и во всех родах найдутся». Но купцы продолжали настаивать, что крестьяне должны заниматься только земледелием, иначе происходит дороговизна; депутат от города Серпейска Глинков говорил: «Число крестьян простирается до 7 миллионов; если выключить малолетних, престарелых, умерших, отданных в рекруты и находящихся в услужении у помещиков, то годных для возделывания земли едва может остаться половина, из которой, без сомнения, найдется торгующих и пребывающих в разных отлучках едва ли не половина, и затем занимающихся хлебопашеством останется весьма малое число. От этого значительное количество пашенной земли остается впусте, а внутри России рождается дороговизна. Нужно постановить, чтоб крестьяне, ездя по разным местам, не скупали товаров и не продавали их в городах, на ярмарках и торжках под видом своего рукоделия. Крестьянин всякий харч для себя и корм для лошади может достать с своего двора, а купец должен это купить». Говоря об исключительном праве для купцов иметь фабрики, тот же Глинков представлял разницу при заведении фабрики купцом и помещиком:

«Когда купец строит фабрику, то все окрестные крестьяне от нее довольствуются. Они продают лес, лубья, тес и т. п., нанимаются к постройкам, получая за то большую плату, и тут же продают произведения своей земли. Чрез это они делаются исправными в платеже государственных податей и господских оброков. Когда же фабрика выстроится, то крестьянам приносится еще большая выгода: они нанимаются для привоза на нее из дальних мест всякого рода материалов, также и произведения фабрики развозят для продажи по разным местам. Другие фабрики строятся помещиками, которые для этого употребляют своих крестьян. Они начинают с того, что назначают с каждого двора привезти потребное количество леса, лубья, дору и тесу; и всякий крестьянин, оставя хлебопашество, должен с плачем ехать и поставить то, что с него назначено. После того их принуждают строить безденежно и на своем хлебе. По постройке такой фабрики их же заставляют работать на ней тоже безденежно. Это особенно случается тогда, когда владелец той фабрики для ее устройства войдет в долг, между тем как вести фабрику секрета не знает».

По поводу этих споров любопытное мнение высказал депутат от Коммерц-коллегии Меженинов: «Некоторые господа депутаты рассуждали о том, дворянам или купцам свойственнее держать фабрики и заводы и не будет ли честному имени дворянскому такая торговля постыдна. Рассуждать об этом, казалось бы, совершенно напрасно. Пускай бы все искали своей пользы, и в этом нет никакого никому стыда; только бы один другому не делал помешательства. Всего бы лучше было, если бы дворяне заводили такие фабрики, каких еще не существует в России. Но наш русский народ в этом случае подобен птицам, которые, найдя кусок хлеба, до тех пор одна у другой его отнимают, пока, раскроша все самые мелкие крупинки, смешают их с песком или землею и совсем растеряют. Назад тому с небольшим лет двадцать, дворяне, узнав, что от парусных полотен получается большая прибыль, и не сообразив, что таких фабрик уже устроено было очень много, так что фабриканты почти не знали, куда им деваться со своими полотнами (но каким же образом получалась большая прибыль, прельстившая дворян?), стали также заводить такие фабрики и до тех пор не увидели своей ошибки, пока вконец от них не разорились. То же самое начали ныне делать с солдатскими сукнами. Едва только бедные суконные фабриканты после многолетних стараний и огромных затрат для устройства своих фабрик начали получать плоды трудов своих, как дворяне, позавидовав тому, такие же фабрики стали заводить и этим отняли у прежних фабрикантов всякую надежду на прибыль. Поэтому-то, как кажется, и не надобно позволять дворянам устраивать фабрики и заводы, чтоб они

из ревности один против другого и неумеренным производством не только старых фабрикантов, но и сами себя не разоряли, а чрез то и земледелие, которое нужно всякой фабрике, не оставили. Железных заводов уже заведено так много, что за расходом домашним и за отпуском в чужие края год от году залеживается значительное количество железа. На что бы, кажется, прибавлять еще худые заводы, когда и хороших весьма много? Разве для искоренения лесов, чтобы потомки наши вместо дров топили соломою».

Тот же Меженинов указал на разные явления, от которых происходит вред торговле, большой убыток купцам: 1) Извощики, забравши от хозяев большую часть договоренных денег, не довезя под разными предлогами взятых товаров до назначенного по договору места, складывают их на дороге у своих сообщников-крестьян, живущих по тем трактам, и у них берут недоплаченные хозяевами деньги в таком количестве, в каком вздумают потребовать. Крестьяне, принявши товары на сохранение, расхитив немалую их часть, не отдают хозяевам остальных до тех пор, пока последние не заплатят им все то, чего они потребуют как за сбережение товаров, так и за отданные извощикам деньги. Таким образом, бедные купцы сверх значительного убытка остаются еще в ответственности за недовоз тех товаров к пристани и за неисполнение контрактов. Между тем купцы не имеют никаких способов к отвращению этого убытка, ибо такого большого числа подвод, сколько им бывает нужно, с письменными обязательствами или с поручительством набрать весьма трудно и некогда. 2) Когда плывущие по рекам с товарами суда повредятся или встретят надобность облегчить себя за мелководьем, то владельцы прибрежных земель не позволяют выгружаться на берега свои без платы и притом еще не допускают к работе сторонних людей, принуждают брать их крестьян, которые требуют большую цену. 3) Те же владельцы не допускают тяги судов хозяйскими лошадьми, для того чтоб у них нанимали лошадей за непомерную плату.

Депутат города Яранска Антонов темными красками изобразил положение купца вообще: «Положено купцу за бесчестье платить первой гильдии по семи, второй по шести и третьей по пяти рублей человеку. Поэтому купечество находится в крайнем пренебрежении и опасности, ибо купцам нередко случается выносить не только бесчестие, но иногда жестокие побои и увечье от разного рода людей, которые не удерживаются никаким препятствием и опасением взыскания. Хотя некоторые из купечества и могли бы отыскать по суду удовлетворения за обиду, но только из этого им никакой пользы быть не может, кроме потери времени и убытков, потому что судебное производство и постановление решения не может быть менее полугода; но когда и кончится такое дело,

то, хотя бы то был и первой гильдии купец, получит за бесчестье семь рублей; а между тем за то время, в которое надобно иметь хождение за делом, он потеряет несравненно более в своих торговых оборотах и, сверх того, будет находиться в большой опасности потерпеть отмщение ругательством и побоями, как это и бывает на самом деле». Антонов требовал увеличения платы за бесчестье купцам. Депутат от города Кронштадта Рыбников говорил, что русское купечество находится в совершенно другом состоянии, чем купцы других европейских государств. Русское купечество не имеет ни надлежащей свободы, ни достаточных привилегий и несет службу при казенных сборах. Депутат города Серпейска Глинков считал нужным дать шпаги фабрикантам и купцам первой гильдии, потому что они сверх обыкновенного своего платежа платят еще за бедных от десяти до пятнадцати душ и больше, также при портах ведут торг с иностранными купцами. «Немцы же, видя русского купца без шпаги, оказывают ему пренебрежение, а особливо на бирже. Когда иностранный купец стоит с русским, то кажется, как будто он стоит с своим слугою и обращается с ним свысока».

На жалобы купцов кн. Мих. Мих. Щербатов отвечал нападкою на их собственное нерадение: «Отвечали ли русские купцы попечениям Петра Великого; учредили ли они конторы в других государствах; имеют ли корреспондентов для получения сведений, какие куда надобятся товары и в каком количестве; посылали ли детей своих учиться торговле? Нет! Они ничего этого не сделали. Поэтому напрасно жалуются, будто бы крестьяне и прочие разночинцы отнимают у купцов все способы к торговле. Вся внешняя торговля остается у них в руках. И не стыдно ли нам, здесь собранным россиянам, слышать, что гамбургцы и голландцы, будучи отдаленнее от Ледяного моря, чем мы от Колы, на 15 или на 18 градусов по прямой линии, кроме обхода Норвегии приходят бить китов и получают себе прибыль почти у наших берегов, несмотря на то что вооружение судов и договоры с матросами обходятся им весьма дорого. Как же было бы прибыльно русским купцам предпринять такой торг и по близости места, и по дешевизне найма матросов, и по дешевизне дров для перетопки сала. Вот истинные ключи богатства купцов! Пусть они обратятся к ним и тогда увидят, что действительная польза отечества сопряжена с их обогащением». О поведении богатых купцов, для которых требовались шпаги, симбирский депутат Ларионов сообщил такие известия: «Некоторые коронные поверенные, имея у себя в услужении купцов и насчитывая на них беззаконно большие суммы денег, держат их, как будто за самые важные дела, в подземельных тюрьмах по осьми месяцев и более скованными, стращают телесным наказанием и никого к ним не допускают, что известно и

Камер-коллегии. У купечества европейских государств и даже в странах азиатских прикащики почитаются как дети. Поэтому я предлагаю внести в закон, чтобы богатый купец, имеющий у себя в найме прикащиков из купечества, не только не мог мучительски поступать, но и делать что-либо злое. Если же у них произойдет такой спор в счетах, то повелено было бы разбирать его магистрату».

Из требований государственных или черносошных крестьян общим было улучшение суда. «Мы, — писали крестьяне Казанского уезда, — как народ безгласный и несведущий в законах, продавая последнее, нанимаем для хождения по делам поверенных, а эти поверенные как челобитчика, так и ответчика обманывают и разоряют; кроме того, по этим делам собираются свидетели, требуется много справок, и оттого дела тянутся, челобитчик и ответчик разоряются и доходят до того, что бывают не в состоянии не только платить государственные подати, но и пропитать себя». Они просили, чтоб в делах не свыше 30 рублей, кроме воровских, дозволено было им судиться между собою и для того выбирать им из себя достойного человека. Другие требовали, чтоб разбирательство домашних ссор, незначительных дел по долгам, о разделе сенокосов было предоставлено их старостам. Депутат новокрещеных вотяков Иванов предлагал дать крестьянам право судиться словесным судом в делах не свыше 30 рублей и для того самим крестьянам выбирать в каждой сотне по одному судье, которому предоставить право виновных по закону наказывать и тяжущихся мирить. Иванов считал неудобным определять в судьи к крестьянам дворян или чиновников на жалованьи, потому что эти дворяне или комиссары поступают по своим обычаям: требуют подвод, съестных припасов и прочего; крестьянин же спорить не смеет, а ежели и станет что-нибудь говорить, то они начинают его бить за то, будто он говорит неучтиво. Когда депутат от Ревизион-коллегии Карташов выразил мнение, что надобно ограничить известными правилами рубку леса, ловлю зверей и птиц, то депутат черносошных крестьян Архангельской губернии Чупров заметил: «Если ловлю дозволить во всякое время, то зверей и птиц не убавится, а если запретить, то не прибавится, потому что уменьшение и умножение состоит во власти всемогущего бога».

Голосов крепостных крестьян не было слышно, от них не было депутатов. Мы видели, как изменена была первоначальная редакция «Наказа» императрицы в тех статьях, где говорилось о крепостных крестьянах. Между статьями депутатских наказов от правительственных мест встречаем одну статью, относящуюся к облегчению участи крепостных, статью о учинении закона, как поступать в случае того, когда от побой помещиков случится людям смерть. По поводу

вопроса о беглых депутат козловского дворянства Коробьин как на причину бегства указал жестокое обхождение помещиков с крестьянами, указал на слишком большие оброки, указал на случаи, когда задолжавшие помещики отдают крестьян для зарабатывания денег на уплату одних процентов и таким образом отлучают их от земледелия; указал случаи, когда помещики отнимали у крестьян добытое трудом имущество. Ссылаясь на статьи «Наказа» императрицы, Коробьин предлагал ограничить власть помещиков над имением крестьян. 18 голосов было подано против Коробьина и только три за него; указывали на невозможность разделить два права: оставить у помещиков власть над лицом и отнять ее над имением этого лица. Мы видели, что дворяне требовали для себя исключительного права владеть людьми как главного своего права, права быть господами. Но купцы требовали и себе этого права, выставляя необходимость. Депутат города Яранска Антонов говорил: «По существующим законам купечество не имеет права покупать крепостных дворовых людей и владеть ими, тогда как купцам настоит крайняя надобность их иметь. Купечество нанимает крестьян за большие деньги; но таких вольнонаемных людей очень мало, и по большей части это такие люди, которые имеют крайнюю нужду в деньгах и отдаются в наем с тем, чтоб им выдано было вперед нужное количество денег, которые они будут заживать; но многие из них, не заработав этих денег, убегают от хозяев. Да и когда живут у хозяев, зная, что они некрепостные, и потому не имея никакого страха, своевольничают и доставляют хозяевам много хлопот, ибо надобно на них жаловаться в суде, что разорительно и ведет к потере времени. На таких наемников купечество ни в чем не может положиться, и когда надобно отправить товары или переслать деньги, то наемников употребить на это дело нельзя, и хозяева бывают принуждены, оставя свои крайние надобности, ехать сами или отложить отправление товаров и денег под страхом потерять доверие». Депутат от города Серпейска Глинков говорил: «К фабрикам непременно надобно определить указное число крепостных людей, потому что мастера должны быть крепостные, и в случае смерти одного из них надобно заблаговременно иметь на его место другого, ибо когда я обучу чужого и открою ему секрет, то он может отойти к другому фабриканту или требовать таких больших денег, каких фабрика заплатить не в состоянии. Полезно постановить, чтоб купечеству первой гильдии покупать крепостных работников от трех до пяти душ, ибо купечество, торгующее в портах, хотя и нанимает прикащиков для принятия и отпуска товаров, но часто эти прикащики, собрав деньги, не приходят к расчету. Купцы, не имея возможности оставить своего торга, лишены способов преследовать их и с ними су-

диться и от этого принуждены бывают терпеть убытки. Они нанимают к себе в дом для прислуги помещичьих крестьян, которые редко бывают исправными слугами, по большей части оказываются ленивцами, а многие из них приводят воров в дома своих хозяев».

Требования купцов, разумеется, встретили сильные возражения со стороны дворян, стоявших за принцип, что право владеть людьми, быть господами принадлежит им одним. Князь Мих. Мих. Щербатов говорил: «Дворянство есть нарицание в чести, различающее от прочих тех, кои оным украшены (слова «Наказа»), и все права и преимущества дворянского сословия должны истекать из этого начального правила. Это название обязывает дворян служить отечеству и государю с особливым усердием и для того воспитанием своим стараться приготовить себя быть способными к такой службе и к управлению другими подданными своего монарха. Чрез это они приобретают, между прочим, право иметь деревни и рабов, дабы, научась с младенчества управлять своими деревнями, они были тем способнее к управлению частями империи и по своим обстоятельствам знали все нужды разных родов людей государства. В «Наказе» изображено, что в городах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. И так ясно оказывается, что мещане, между которыми считаются и купцы, должны иметь вышеписаные упражнения и производить их самолично, а не чрез невольных людей. Но требуемое для купцов право сделает неволю низшего рода людей еще более чувствительною тем, что они по продаже их принуждены будут служить таким людям, которых они недавно видели себе равными. Обратим взоры наши на человечество и устыдимся одной мысли дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотами и поодиночке был продаваем. Мы люди, и подвластные нам крестьяне суть подобные нам. Разность случаев возвела нас на степень властителей над ними, однако мы не должны забывать, что и они суть равное нам создание. Но с этим неоспоримым правилом будет ли сходствовать такой поступок, когда господин единственно для своего прибытка возьмет от родителей кого-либо мужского или женского пола и подобно скотине продаст его другому. От одного этого изображения вся кровь во мне волнуется, и я, конечно, не сомневаюсь, что почтенная комиссия узаконит запрещение продавать людей поодиночке без земли. Мне удивительно, будто наемные люди не столь верны своим господам, как собственные Это похоже на то, как если бы кто сказал, что охотнее работают по неволе, чем по склонности. Вольный человек, если мне служит, и особенно долгое время, служит независимо от жалованья, по усердию, а в невольника я и проникнуть не могу, усерден ли он ко мне или нет.

И как можно сказать, чтобы без таких невольных людей купцам невозможно обойтись, когда видим целую Европу, где никто невольных людей не имеет, однако никто не жалуется ни на невозможность обойтись без них, ни на недостаток усердия вольных». В заключение кн. Щербатов говорил: «Крестьян в подушном окладе считается теперь около 7 миллионов пяти сот тысяч; дворян, духовенства, купцов, военных, всякого звания людей и чужестранцев можно положить до одного миллиона. Если положить самое большое число, то нельзя думать, чтобы между крестьянами было более четырех миллионов душ работников. Из этого числа надобно выключить людей, находящихся в службе у своих господ, приписанных к фабрикам, безземельных, ходящих на необходимые работы, как-то: плотников, каменщиков, кирпичников и проч. Все они могут простираться до семи сот тысяч. Если выключим это число из четырех миллионов, то действительных земледельцев будет три миллиона триста тысяч человек, следовательно, каждый пахарь должен приготовить хлеба с лишком на пять человек. Если же дозволить купцам покупать себе людей и положить, что из 20 000 каждый купит себе по две семьи, то чрез это убавится еще 40 000 пахарей».

Но купцы не тронулись этими доводами, не отстали от своих требований. Козаки требовали также права иметь крепостных людей. Наконец, потребовало этого права и духовенство!

Такое решение вопроса о крепостном состоянии выборными русской земли в половине прошлого века происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической. Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царственным положением, искупавшим всякие другие политические и общественные неудобства, правом, которым потому не хотелось делиться со многими и, таким образом, ронять его цену. Право было так драгоценно, положение так почетно и выгодно, что и лучшие люди закрывали глаза на страшные злоупотребления, которые естественно и необходимо истекали из этого права и положения. Представления, которые должны были мало-помалу подорвать ценность этого права и положения в глазах лучших людей, только еще начинали и очень слабо начинали проникать в общество; то было представление научное о государстве, о высшей власти и отношении ее к подданным, отношении, непохожем на отношение помещика к крепостным и отнимавшем у последнего царственный колорит; потом представление о рабстве как печати варварского общества, представление, оскорбительное для людей, имеющих притязания на образованность; представление о народности, о чести и славе народной, состоящих не в том, чтоб всех бить и угнетать, а в содействии тому, чтобы как можно меньше били и угнетали. Чтобы все эти

представления, усиливаемые все более и более европейскою жизнью народов, сообща и распространением просвещения мало-помалу подкопали представление о высокости права владеть рабами, для этого нужно было пройти еще веку.

Кроме означенной неразвитости благоприятному решению вопроса о крепостных крестьянах могущественно препятствовала неразвитость экономическая. С начала нашей истории мы замечаем в России явление, ведущее ко многим очень печальным последствиям, — это несоответствие обширности страны с количеством народонаселения. Небольшое народонаселение разбрасывается в обширной стране, все более и более увеличивающейся пустынями. Рук недостает для дела, и никакое дело не спорится при отсутствии деятельности сообща. Земля дешева, работник дорог, его едва стает на удовлетворение первых нужд общества, о промышленном развитии нечего и думать по недостатку рук, государство осуждено оставаться земледельческим, сельским, бедным. Работник дорог, его приманивают и переманивают; наконец, чтоб небогатый служилый человек имел на своей земле постоянного работника, которого бы не мог переманить от него богатый сосед, работника прикрепляют к земле. Крепостной работник бежит, его продолжают переманивать, укрывать, засылать подальше, где бы его не нашли; владельцы бежавших вопят, требуя помощи правительства в поимке беглых, и Россия представляет любопытное зрелище гоньбы за человеком, за рабочею силою, стремления приобрести, поймать, усадить, прикрепить работника. Русское общество живет в том периоде, где рабство составляет обычное явление. Общество вышло из первоначального быта, когда каждая семья или род удовлетворяли всем своим неприхотливым потребностям, и не достигло еще цивилизации, разделения труда, условливаемых значительным народонаселениям. Человеку в таком обществе важнее всего иметь в своем обладании живую, разумную силу, которая бы избавляла его от работы, начавшей при появлении сословий считаться низкою. При экономической неразвитости хозяйство каждой отдельной семьи должно удовлетворять почти всем ее потребностям, и это удовлетворение всего удобнее происходит посредством рабов; чем более около человека живых разумных сил, находящихся в полной от него зависимости, тем он самостоятельнее, независимее, сильнее, знатнее; право владеть такими силами становится самым дорогим правом. В таком положении находилась Россия, когда осознанная необходимость вывести ее из бедности, беспомощности земледельческого государства повела к преобразованию, имевшему целью ослабить односторонность земледельческого характера торговым и промышленным развитием. Но явление, которое было так выпукло в древней России, перешло и в новую, государство

было бедно людьми; и, когда явились фабрики, заводы, мореплавание, для всего этого понадобились постоянные крепостные работники, вольных негде было взять, и к фабрикам, заводам прикрепляют крестьян, как в XVI веке прикрепили их к земле. Еще прежде мы приводили любопытную просьбу хозяина корабля, чтоб ему оставили крепостных матросов: он их с малолетства выучил трудному ремеслу, если у него их отнимут, то он не найдет вольнонаемных, никакой вольный человек не согласится идти на такое трудное занятие, учиться ему, и надобно было бросать корабль, морскую торговлю, столь выгодную для государства. Купцы требуют крепостных работников, прикащиков, ссылаясь на то, что на вольных положиться нельзя. Дворяне, желающие оставить право владеть людьми исключительно за собою, теоретически победоносно опровергают причины, приводимые купцами, но практически последние были правы: вольнонаемным трудом пробавиться было нельзя, не было выбора между вольными людьми, их было очень мало, надобно было брать кого попало. Притом, рассматривая какое-нибудь явление в известное время в известном обществе, надобно обращать внимание на все другие окружающие явления, на состояние правосудия и администрации: с своим человеком не было суда, а с вольным суд; но при слове «суд» вздрагивал русский человек XVIII века. Недаром же в «Русской Правде» было постановлено, что вольный человек, пошедший в ключники к другому, тем самым становится холопом его, вольный ключник не допускался. Заявления купцов в комиссии об Уложении, что на вольного прикащика положиться нельзя, указывают, что условия, в которых появилась «Русская Правда», не совсем еще исчезли и во времена комиссии об Уложении, в которой от дворянства, купечества и духовенства послышался этот дружный и страшно печальный крик: *«Рабов!»*

Разумеется, этот крик должен был прежде всего смутить автора «Наказа»[74], хотя Екатерина была уже к нему приготовлена, что доказывает изменение первоначальной редакции «Наказа». Положения «Наказа» были добрые семена; но, прежде чем посеять их, Екатерина хотела испытать почву, для чего и собраны были депутаты отовсюду; для освобождения крепостных почва оказалась совершенно неудобною, и Екатерина предоставила времени удобрение почвы посредством нравственно-политического развития народа.

Кн. Григ. Григ. Орлов, по свидетельству Екатерины, был в восторге от положений «Наказа»; он был выбран депутатом от копорского дворянства, но не хотел или не мог провести в своем наказе требования освобождения крестьян. Копорский наказ ограничивается относительно крестьян требованием: «За нужное находим учредить училища как для русских, так и для чухонских детей, дабы знанием закона хотя мало по-

править нравы их. На сей конец, видится, можно учредить при церквах школы, в которые крестьянские дети от 7 до 12 лет в зимнее время для обучения грамоте и первых оснований закона за умеренную плату ходить могут». Того же требовало и ямбургское дворянство. Наказ псковского дворянства особенно распространяется о печальном состоянии крестьян: «К чему приступить ни вознамеримся, во всем находим земледельцев и беднейших всегдашних трудников разорение и тягость. По надобности и по ненадобности всякого звания люди во всякое время ездят на подводах, обирая у крестьян лошадей без разбора; а в случае у которых бедняков нет или пала, или, что случается завсегда, замучена в гоньбах, то нещадно их же наказывают, изъясняя, что на дороге не стоять. Каково же претерпение бедному пахарю? Что не на чем везти, за то бьют! А не вспахав землю и не посеяв семян, не имеет ожидать, чем себя и семейство свое питать. Солдат, стоящий у крестьянина на квартире, есть господин, а бедный земледелец из страха исполняет всякие приказания. Хотя сам не имеет что́ есть с семейством, а служивому последнее отдать не отказывается. Когда солдату надобно в караул, или в команду, или за провиантом идти, хозяин безденежно служит в подводчиках с лошадью. Часто случается, что солдаты, сделавши к хозяину приметки, бьют его и до конца разоряют». Мы видели, как патетически князь Мих. Мих. Щербатов, настаивая, чтоб купцы не могли получить крепостных людей, говорил против продажи крестьян в одиночку. Против одиночной продажи восставали и другие депутаты, повторяя слова Петра Великого, что такая продажа нигде не ведется. Но нашелся депутат, который защищал одиночную продажу. Депутат от дворян Курмышского уезда Алфимов говорил: «Между дворянством есть весьма немало, которые имеют за собой не более двух или трех крестьянских семей, а другие и того меньше. Между тем какой-нибудь из этих дворян по обстоятельствам задолжает такую сумму, которую не иначе может уплатить как продажею из своих крестьян одного человека, и этим он сохраняет остальное свое имение, лишась одной, а не десяти душ или более, составляющих одну семью. Даже между крестьянами и достаточных дворян есть в некоторых семействах нерадивые и склонные к преступлениям. Таким людям удаление от семей служит наказанием и удерживает их от дурных поступков».

Объяснением отрицательного решения вопроса о крестьянской свободе и собственности служит судьба этого вопроса в Вольном экономическом обществе. Еще в конце 1765 года неизвестная особа (это была сама императрица) обратилась в Общество с вопросом, что полезнее для земледелия, когда земля находится в единичном или в общем родовом владении, причем вопрошающий склонялся в пользу первого. От-

вета не было. В следующем году императрица, также под именем неизвестной особы, прислала новый вопрос: «В чем состоит собственность земледельца, в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общенародной иметь может?» При этом приложено было 1000 червонных в награду за более удовлетворительное решение вопроса, на издержки издания сочинения и проч. Общество публиковало о задаче, предложив за решение ее награду во 100 червонных и медаль в 25 червонных. Но еще прежде, чем присланы были ответы, нетерпеливый Сумароков уже прислал в Общество возражение на самую задачу. «Задача, — писал он, — до изъяснения решена быть не может; например, когда спросится: потребно ли дворянину уметь писать по-русски, так должно примолвить: российскому дворянину, ибо дворянин английский может обойтись без русской грамоты, так и о крестьянах: свободному ли крестьянину или крепостному? А прежде надобно спросить: потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность, или потребна клетка, и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно для крестьянина, а другое — ради дворянина; теперь осталось решить, что потребнее ради общего блаженства; а потом, ежели вольность крестьянам лучше укрепления, надобно уже решить задачу объявленную. На сие все скажут общества сыны, да и рабы общества сами, что из двух худ лучшее не иметь крестьянам земли собственной, да и нельзя, ибо земли все собственные дворянские; так еще спрос: должны ли дворяне крестьянам отдавать купленные, жалованные, наследственные и прочие земли, когда они не хотят, и могут ли в России землями владеть крестьяне, ибо то право дворян? Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не его, а ему что останется? Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит». Заявление Сумарокова сдано было в архив.

К сроку, назначенному на 1 ноября 1767 года, прислано было 120 ответов да после срока 40; сочинения были на языках русском, французском, немецком и латинском, всего больше на немецком. Лучшим признано единогласно сочинение Беарде де Лабей (Beardé de l'Abaye), члена Дижонской академии; но теперь явился вопрос, печатать ли эти сочинения и на каком языке. Положили перевести сочинения на русский язык и представить императрице на одобрение. Екатерина одобрила перевод, объявила, что в сочинении не находит ничего, чего нельзя было бы напечатать, но все же предоставляет Обществу решить вопрос о напечатании. В Обще-

стве оказалось только три голоса за напечатание и 13 против. Но потом некоторые члены прислали письменные мнения, причем двое Орловых, Григорий и Владимир, прислали мнение, что надобно напечатать на французском и русском языках, барон Черкасов объявил себя против напечатания, а генерал-прокурор кн. Вяземский отозвался неспособностью решить дело по незнанию французского языка, хотя сочинение уже было переведено на русский. Граф Роман Воронцов прислал мнение, что сочинение достойно напечатания и публика, пользуясь им, может получить добрые плоды; за напечатание же были графы Чернышевы, Захар и Иван, новгородский губернатор Сиверс и Теплов. Таким образом, за напечатание набралось 11 голосов, и против оставалось 16. Большинство было против, но то были вельможи сильные, особенно Орловы, сама императрица была за напечатание. Решили дело меньшинством голосов на том основании, что «тем российским господам, правящим важнейшими в государстве должностями, которые письменно сообщили свое мнение, чтобы напечатать помянутую пиесу, приличествует лучше и превосходнее, нежели прочим, рассуждать о такой материи, которая касается больше до политической, нежели до экономической задачи». Беарде в своем сочинении решает вопрос так, что крестьянин должен быть свободен и должен владеть землею; освобождать крестьян до́лжно постепенно. Кроме сочинения Беарде, удостоенного первостепенной награды, еще пять сочинений признаны достойными наград второстепенных, и в их числе одно русское — Поленова.

От духовенства не было депутатов из различных местностей, оно представлялось депутатами от Синода. Частная комиссия приписала духовенство к среднему роду людей. Синод протестовал, объявляя, что все духовенство, как белое, так и черное, должно составлять особый класс и одно с другим соединено так тесно, что отдельно существовать не могут; по мнению Синода, духовные должны были иметь одинакие права с благородными. Частная комиссия отвечала, что, не вступая в права церковные, она руководилась мирским взглядом, положила духовенство в одном разряде с учеными как учителей народных. Но и относительно включения ученых в средний род людей Академия наук заявила, что их нельзя подвергать поголовно подати и рекрутскому набору, ибо если ученые не будут иметь больших выгод перед ремесленниками и купцами, то нет надежды, чтоб науки в России возросли. Вообще об этом среднем роде людей имели смутное понятие, хотя много о нем толковали. Сама императрица старалась уяснить представления об этом предмете историею и положением французского tiers-état[75]. Членами комиссии о разделении родов государственных жителей были князь Александр Голицын, граф Федор Орлов, граф Яков Брюс, барон

Унгерн-Штернберг, Николай Свешников. В заседании 19 сентября Орлов предложил разделить комиссию на три части: первая должна заниматься дворянством, которое он разделил на четыре степени: князь, граф, барон, дворянин; вторая — средним родом или мещанством, здесь восемь степеней: бедное духовенство, ученые, художники, ремесленники, купцы, приказные люди, разночинцы, вольные; третья — крестьянами, между которыми две степени: свободные и крепостные. Предложение Орлова было принято.

Относительно духовенства в материалах комиссии находятся некоторые любопытные предложения, например: о вступлении всяким чинам в духовные чины, а из духовных — в светские и об освобождении священников от неприличных работ, о пострижении желающих в монахи беспрепятственно, о содержании на пристойном основании церковного причта и об определении ему жалованья, о нетребовании священниками за церковные требы сверх указного количества денег, о дозволении священно- и церковнослужителям, купечеству и разного звания людям покупать крестьян и дворовых людей; подле предложения о запрещении духовному чину покупать земли встречается предложение о возвращении архиерейским домам и монастырям отошедших от них хлебопашенных земель — это предложение шло от городских жителей. В наказе от дворян Крапивенского уезда говорилось: «Просим при всех церквах быть ученым священникам на довольном денежном жалованьи для проповеди и утверждения во исповедании веры закона божия и во отвращение злых дел, также и в знании законов в. и. в-ства; а где есть церковные земли, то их продать; дьячкам и пономарям обучать крестьянских мужска пола детей от семи лет грамоте и писать на содержании отцов их, от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет». Предлагалось, чтоб архиереи требовали от священников аттестатов о поведении, данных прихожанами за подписью; и, у кого такого аттестата не будет, тот лишался сана. Встречаем также любопытное предложение об уменьшении числа праздничных дней и о свободном отправлении службы божией других законов людям.

Как надобно было ожидать, в комиссии послышались сильные жалобы на состояние правосудия. Дворяне жаловались: на духовных мы должны просить у епархиального начальства, на фабрикантов — в Мануфактур-коллегии, на заводчиков — в Берг-коллегии, на купцов — в магистратах, на ямщиков — в Ямском приказе; не повелено ли будет всем судиться равно во всех судебных местах? О богоненавистном по делам лихоимстве и проклятом лакомстве просить, не позволено ли будет во всех местах господ присутствующих, секретарей и приказных служителей обязать присягою, чтоб

они ко взяткам не касались; виновного во взяточничестве, как бы мала взятка ни была, подвергать натуральной смертной казни. Депутат от галицких дворян Лермонтов говорил против Юстиц-коллегии: «От бесчисленного множества дел в означенной коллегии и ее конторе редкий челобитчик, не понеся большого убытка, может получить удовлетворение в законный срок. Известно всему собранию, что в Юстиц-коллегии и ее конторе от переноса дел больше пользуются ябедники. Они проволакивают время, приводят челобитчиков в изнеможение и в крайнее разорение. Бывает еще и то, что коллегия, продержав дело немалое время, отсылает его для решения в другие судебные места». Лермонтов предлагал уничтожить Юстиц-коллегию и из губернской канцелярии переносить дело прямо в Сенат; губернским, провинциальным и воеводским канцеляриям решать дела непременно через полгода. Депутат от ростовских дворян Языков говорил: «Почитаю излишним изъяснять в подробности все обстоятельства, которые происходят в судных делах от выдумок ябедников и стряпчих. К этому надобно прибавить поговорку: не бойся суда, а бойся судьи. Не благоволено ли будет постановить, чтобы решение суда производимо было по одной только челобитной истца и по письменному объяснению ответчика, которому дана будет копия с поданного на него челобитья и срок для справки и написания ответа». Депутат от Малороссийской коллегии Натальин предлагал, чтоб во всех судебных местах быть с истцовой и ответчиковой стороны присяжным адвокатам состояния честного, знающим законы и которые были бы в обер-офицерских чинах. К этому депутат от дворян Бахмутского гусарского полка Рашкович прибавил, чтоб стряпчими в судебные места принимать таких, которые обучались юриспруденции в Академии наук, были экзаменованы и приведены к присяге. Депутат от дворян Гороховецкого уезда Протасов предлагал учреждение мировых судей по примеру Англии и Голландии. Но если были сильные жалобы на судей, что они волочат дела по 10 лет, не каждый день все приходят в присутствие, рапортуясь больными, а между тем ездят в гости или куда-нибудь, то были и защитники судей, складывавшие вину медленности на самих тяжущихся: истец и ответчик под разными предлогами сами отсрочивают ход своего дела; во время производства ябедническими и коварными вымыслами объявляют подозрение на некоторых присутствующих, а иногда и на всех; не имеют за своим делом хождения, не представляют на производство дел гербовой бумаги.

Мы видели, как сильно автор «Наказа» вооружался против пытки, как и прежде указами вводились ее ограничения; но в частных наказах встречаем требования уничтожить эти нововведения, эти ограничения. Так, в наказе дворян Верей-

ского уезда говорилось: «Не соизволено ли будет приводным разбойникам и татям по прежним узаконениям для большого страха и всеконечного пресечения злодейств производить в губернских, провинциальных и приписных канцеляриях без увещаний пытки, потому что без того никакого злодеяния искоренить и в страх злодеев привести нельзя. Многие воры, пойманные и приведенные с поличным в краже, только того поличного и винятся, а прежние воровства скрывают». В наказе кинешемского дворянства указывалось на умножение воровства и разбоев именно от того, что запрещено было производить пытки в приписных городах. Суздальское дворянство в своем наказе жаловалось на уничтожение смертной казни и ограничение пыток, ибо «некоторые, не видя смертоубийцам достойного истязания и казни, чинят не токмо посторонним, но люди и крестьяне своим помещикам и помещицам смертные убийства, и мучительные притом поругания, и разбои, и грабежи, и такое воровство время от времени умножается». Дворянство наказывает своему депутату просить защиты и таковым злодеям приумножить истязания и по делам их достойного воздаяния. В наказе крапивенского дворянства говорилось: «Для скорейшего решения, а злодеев искоренения в страх другим не повелено ль будет по-прежнему быть в уездных городах розыскам и экзекуциям; а увещания отменить для того, что подлый народ неучен и не знающий закона и от увещевания истины не объявит, от чего умножилось разных злодеев; а повелено б было по-прежнему разыскивать». В некоторых наказах требовалось ограничение телесного наказания, пыток и смертной казни в сословном смысле, избавления от них одних только дворян. На это депутаты от городов заявили: «Законы те истинные, которые основаны на правде и согласны с священным и естественным законом, священный же и естественный законы весьма не терпят лицеприятий и не смотрят на лицо, но единственно на правду. Вор всегда вор, хотя подлый, хотя благородный, разве по тому только имеют различие, что подлый не столько понимать может важность греха и преступления от неведения божиего и государева законов, как благородный, сведущий и то и другое; да и благородство натурально тогда только есть, когда с честью своею согласные дела производит, следовательно, когда он (благородный) какое подлое сделает злодейство, то тотчас врожденная мысль и вопиет, что он жесточайшему еще наказанию подлежит, нежели подлый, который часто, выключая неведение, и от крайней нужды преступает. Россия имеет в себе по власти божией от века монархическое, а не аристократическое владение, и как подлый, так и благородный — словом, всякого рода и достоинства люди, все равно подданнейшие рабы всемилостивейшей государыни».

Требовали пыток и жестоких наказаний ворам и разбойникам, жаловались на умножение их числа и в то же время прямо указывали на главный источник зла, который, однако, всеми силами старались сохранить. «Просим, — говорили дворяне, — изыскать надежнейшие способы и издать новые законы к искоренению воров и разбойников и тем избавить нас от чинимого теми злодеями всему обществу вреда, которому по большей части бывают виною беглые разного звания люди; а наиболее есть самый корень того зла держатели и укрыватели беглых. Просим об искоренении разбойников, воров, грабителей и всякого рода злодеев, ибо опасение от оных препятствует весьма много дворянству иметь приезд и жительство в деревнях своих, а от сего самого упадает и от часу уменьшается деревенская экономия; живущие же в деревнях или по нужде, или за неимением другого пристанища принуждены иметь для охранения себя и дома дворовых людей на своем запасном хлебе более надлежащего числа, чрез что и сами разоряются, и уменьшают число крестьян и пахарей. А хотя об истреблении воров и разбойников узаконение и есть, но помощи мало, ибо о нарядах надлежащих команд для сыска и поимки злодеев делаются распоряжения столь медленно, что злодеи успевают, разграбя многих, уйти на такой же промысел в другие места и уезды; дворянам же и крестьянам ловить оных злодеев опасно, трудно и почти невозможно, ибо когда оные злодеи, коим-либо образом пойманные, в город привожены бывают, то или на расписки выпускаются, или за неимением настоящего караула сами из тюрем уходят и мучительным образом отмщают дворянам и крестьянам, о них донесшим или их изымавшим».

Независимо от жалоб на воровство и разбои в дворянских наказах сильные жалобы на бегство и укрывание крестьян: «О беглых людях и крестьянах от многих лет строжайшими указами запрещено принимать и держать, но ничто не удерживает от принимания и держания и поныне. От многих дворян крепостные их женки и вдовы и от мужей жены и девки, чиня у своих господ многим дорогим вещам и деньгам кражи, уходят и в побеге выходят замуж за солдат, слыша, что о возвращении их точного узаконения нет, отчего бедные дворяне несут великие убытки, а паче досады и ругательства от своих крепостных рабов, а другие, на то взирая, к побегу имеют большое поползновение. Бегают по близости за границу в Польшу, ибо всем русским крестьянам известны польские обычаи, что всякий имеет винную и соляную продажу и что набора рекрутского не бывает, равно и сборов для платежа казенных податей. Прельщаемые этим здешние крестьяне без всякого от владельцев своих отягощения беспрестанно туда бегают не только одиночками или семьями, но и целыми деревнями со своим имуществом и при

побегах помещиков своих явно грабят и разоряют, другие тайно обкрадывают. Некоторые, собирая там разбойнические немалые партии, явно приходя оттуда в Россию, разбивают и грабят крестьянские и помещичьи дома и возвращаются опять в свое убежище, где их польские владельцы охотно принимают, отбирая у них ту добычу. Жиды по нескольку русских беглецов имеют у себя в услужении. Вышедшие из Польши беглые помещичьи крестьяне по указу 1763 года и поселившиеся на пустых землях по польской границе оказались в подговоре как пограничных, так и живущих от границы верст за 200 крестьян, в проводе их со всеми семействами в Польшу, в пристанодержании воров и разбойников и в подводе злодейских партий для разорения здешних жителей. Другие бегают внутрь государства. Многие бегают в Чухонщину и Лифляндию, что для беглецов и близко, и свободно, ибо ни застав, ни форпостов нет, выдачи же оттуда беглых почти никогда не бывает, сыскивать же их и ловить совсем невозможно,особливо незнатным или небогатым, ибо хотя кто знает и подлинно, где живет беглый его человек, но если для сыска и поимки пошлет кого или поедет сам, то прежде потеряет без вести себя, нежели возвратит беглого. Во время рекрутских наборов, как скоро крестьяне о том узнают, то все годные в рекруты уходят в Польшу и шатаются там, пока набор кончится. По исчислению за польскою границею Смоленской губернии крестьян обоего пола более 50 000 находится в бегах».

Кроме беглых дворяне указывали и на других виновников воровства: «Воровство происходит по большей части от множества безместных церковников, которые в духовном правлении числятся при отцах, но сами отцы, по крайней мере многие, церковной земли имеют очень мало, детей человека по два, по три и больше, а доходу на них никакого нет, к работе же, как известно, этот род ленив; так не повелено ли будет безместных церковников определять в солдаты, а негодных — в подушный оклад». Наконец, дворяне вооружались против цыган, «которые, бродя по всему государству, обманывая народ разными способами, без всякого казне и обществу плода поедают труд земледельцев».

Относительно финансовых вопросов клинские дворяне предложили сложить подушный сбор с крестьян, «яко по земледельству их первое благополучие государству доставляющих», а взамен наложить или прибавить цены на вино, пиво, чай, кофе, сахар, виноградные вина, табак, карты, дуги и кареты, псовую охоту, платье с золотом и серебром и другие служащие для роскоши предметы, а затем на паспорты вольным рабочим людям и на пеньку; если и тут сумма не сравняется с подушною, то наложить на соль, ибо «хотя соль в пропитании и нужна, однако лучше ее купить дороже доб-

ровольно, нежели подушные деньги платить неисправно и за то видеть земледельцев в тюремном изнурении».

Дворяне некоторых уездов просили о заведении запасных хлебных магазинов; указывали, что учрежденных в Москве и Петербурге государственных банков недостаточно, надобность в займе денег существует одинаково и для живущих в отдаленности от обеих столиц, и потому просили об учреждении банков в губерниях и провинциях по числу живущего в них дворянства. Калужские, медынские и тульские дворяне писали в своем наказе, что у них и в других провинциях лес почти весь перевелся и остальной час от часу уменьшается, отчего жители в строевом лесе и дровах терпят нужду, почему просили в подобных местах запретить строение металлических и винных заводов, которые изводят множество леса, особенно же около Москвы верст за 200 и больше. На недостаток леса жаловались и псковские дворяне, прося запретить отпускать леса морем за границу. Романовские дворяне высказались против охоты, потому что охотники, собираясь в большом числе, на лошадях, со множеством собак ездят в чужие дачи без позволения, ломая изгороди, скачут по хлебу, по лугам и травят скот; а когда какой-нибудь крестьянин осмелится выговорить о своей обиде, то за такую будто бы неучтивость охотники его бьют. Дворяне просили все охоты ограничить по примеру немецких государств, чтоб охотник без билета от владельца в чужую дачу не въезжал.

Относительно окраины являлись особые условия и особые требования. За Уральскими горами оказались сибирские дворяне, которые объявили, что происходят от людей, пришедших или присланных в Сибирь для покорения тамошних народов и несших тяжкую службу. Потомки завоевателей Сибири просили теперь, чтоб им дано было потомственное дворянство и надел землею, для обрабатывания которой дать людей и позволить приобретать их покупкою. Против этого требования, как легко догадаться, восстал ревностный защитник прав старых дворянских родов князь Мих. Мих. Щербатов; по его словам, сибирский дворянин не есть состояние, но чин, который и от отца к сыну не переходит, но одно сходство названий не может быть основательною причиною присоединения сибирских дворян к правам и преимуществам знатного шляхетского сословия, и потому, чтобы сибирские дворяне, как пожалованные в это звание губернаторами, не могли быть смешиваемы с действительным дворянством, они должны быть лишены имени дворянина.

Об Оренбургской губернии прислал в комиссию представление губернатор ее князь Путятин. Область этой губернии была исстари дикою и короне принадлежащею, и находящиеся на ней угодья отдаваемы были из оброков или ясака разным народам: чувашам, черемисам, татарам и, большею

частию, башкирцам. Неплюев вместе с уфимским вице-губернатором Аксаковым представил Сенату, чтоб из Оренбурга чрез Сакмарский городок к Казани проложить прямую новую дорогу и поселить на ней сходцев из внутренних русских местностей; дорога эта населена и теперь называется Московскою, поселенцы на ней обревизованы и положены в подушный оклад. Потом по предложению того же Неплюева было постановлено раздавать пустые земли за службу находившимся при Оренбургской комиссии офицерам и статским чинам. Наконец, Неплюев переселил в свою губернию с Закамской линии служивших там смольнян, присылаемых из разных губерний крестьян, также отставных драгун и солдат. Но после Неплюева пространство, изобилие и безопасность земель, предоставленных к поселению великороссийским людям, возбудили великое желание в дворянах, иноверцах и новокрещенах владеть ими, и начали эти земли похищать вымышленным способом. Во-первых, помещики, получившие землю при Неплюеве за службу, облакомясь первыми дачами, начали покупать земли у башкирцев, не справляясь, имеют ли продавцы на то право: только б был башкирец и им продал, писали в крепостях обширнейшие округа, верст по двести и больше. Накупив большие округа и не будучи в состоянии их населить, стали продавать другим, и такие подложные покупки доведены до того, что одни и те же земли проданы от разных башкирцев в разные руки. Уфимская провинциальная канцелярия надлежащего смотрения за этим не имела, писала крепости без справок, имеют ли продавцы на них жалованные грамоты. Таких ложно захваченных земель много лежит еще впусте; у некоторых же помещиков по ненасытным этим захватам произошли большие споры и судные дела, а из того последовали многие неустройства и напрасная гибель лесов, хлебов и покосов; в желаемом же и прямом поселении относительно домостроительства, хлебопашества, скотоводства, сбережения лесов и во всем мирном и добром желании никакого успеха не видно и безнадежно, ибо им учиться и перенимать добра не от кого: большая часть иноверцы и новокрещены перешли не все от тесноты в прежних местах жительства, но некоторые от воровства и лени, особенно новокрещеные татары, из которых ни один добровольно креститься не пожелал, а крестились, будучи приведены за воровство к пытке и казни; чуваши пришли, чтоб не жить им в христианском благочестии, а быть свободно в суеверии и идолопоклонстве, а некрещеные татары, чтоб быть поближе к своей братии иноверцам-татарам.

Мы видели, какие следствия имел указ о выборе депутатов в Малороссии и областях прибалтийских; видели также, что Екатерина не смущалась упорством, какое в некоторых малороссийских местностях было выставлено для сохранения

и восстановления старины и особности, с которыми правительство уже порешило; она предполагала, что подле наказов с требованиями восстановления гетманства будут наказы, которые уяснят для правительства положение страны, что действительно и случилось. В наказах малороссийского шляхетства встречаем просьбы об уравнении малороссийских воинских и статских чинов в классах с великороссийскими, просьбы об учреждении для малороссийского шляхетства герольдии, потому что дворянские дипломы во время войн утратились и многие малороссийские роды присвоили себе шляхетское достоинство неправильно. Подобно великороссийскому дворянству и малороссийское просит об оставлении шляхетского предводителя навсегда для обеспечения интересов сословия, просит позволения выбирать судей из своей среды и о словесном суде, просит об учреждении университета в Переяславле или другом каком месте, кадетского корпуса и воспитательного дома для благородных девиц, об учреждении банка, об устранении тягостей при военном постое.

С представлением о старой Малороссии необходимо соединяется представление о козачестве. Мы видели, что в Малороссии во время ее освобождения от польского владычества при Хмельницком произошел переворот в землевладении: прежние землевладельцы были истреблены или изгнаны, на первом плане явилось войско — козаки с своею выборною старшиною от сотника до гетмана. Страна, как обыкновенно бывает при таких военных занятиях, получила военное устройство, военное управление. Простой воин-козак стал свободным землевладельцем; военная или козацкая старшина стали правителями страны и начали пользоваться своим положением для приобретения как можно больших выгод, большого земельного имущества, начали стремиться к приобретению того высшего положения, которое они называли шляхетским, начали теснить свободных землевладельцев, козаков, отнимать у них земли. Из записки Теплова мы знаем, как это делалось [76]; в Малороссии сохранилась память о тех временах, когда многие козаки за кружку водки продавали свои земли, потому что с ними была соединена обязанность военной службы. Таким образом, в Малороссии в XVII и XVIII веках происходил тот же процесс исчезновения мелких свободных землевладельцев, какой происходил на Западе в меровингскую и карловингскую эпохи, и как здесь, так и там правительство употребляло все усилия для воспрепятствования этому исчезновению свободных людей, непосредственно от него зависевших, переходу их под власть богатых землевладельцев и правительственных лиц. Козаки, не умея постоянно и сплоченно блюсти за своими интересами, не умея помочь беде, сильно жаловались на старшину за ее аристократические стремления, тогда как эти сотники и полковники, обогатив-

шиеся всякими средствами и старавшиеся выделить себя и свои фамилии из среды козаков, величающие себя шляхетством, были такие же козаки, выбранные козаками в свои должности, и всякий козак как вольный землевладелец и воин считал себя также шляхтичем. Сначала, в XVII веке, как мы видели, неудовольствие козаков на новые отношения, вводимые старшиною, вели к сильным волнениям, причем Запорожье, стоя за демократическое начало, за первоначальное равенство, всегда поддерживало козаков; но в XVIII веке, несмотря на поддержку императорского правительства, которое, впрочем, не находило никакой помощи в козаках, старшина брала верх; козаки продавали ей свои земли, шли в мужики и умели только жаловаться и толковать о старом добром времени, когда они выбирали гетманов, позабывая, что все эти гетманы заботились только о своих интересах, а вовсе не о козацких. И теперь некоторые козаки потребовали гетмана по старине; вообще требовали восстановления старого права избрания вольными голосами между собою старшины, тогда как никто у них этого права не отнимал; требовали сравнения с шляхетством; просили, чтоб никто их земель не покупал. В наказе черниговских козаков говорилось: «Ясно из привилегий, данных королями польскими, что козаки отправляли военную службу во всяком благополучии и легкости, ибо имели за собою достаточные пашни, сенокосы, леса, мельницы и всякие угодья; а теперь вследствие насилия владельцев и всякого звания старшин козачьих и духовных монастырских владельцев лишились земель своих; сотники и сотенные старшины неоседлые по вступлении в свою должность тотчас ищут козачьей земли, прежде всего на постройку жилых изб, просторного двора, а потом ко дворам скупают у козаков угрозами и ласкательством пашни, леса, сенные покосы и всякие лучшие места и всякими способами козаков притесняют, на частные свои работы употребляют; иные козаки от великих тягостей, побоев и угроз старшинских покидают семейство и дворы и уходят в безвестные места; другие козаки закрепощены и несут общие с мужиками тягости».

Таким образом, в Малороссии имел важное значение запутанный вопрос о козацких землях, которыми овладело так называемое шляхетство, как на восточной украйне был запутанный вопрос о башкирских землях. Малороссийское шляхетство, руководясь идеями, бывшими в ходу в высших кругах, было не прочь ввести некоторые гуманные изменения в своем старом кодексе, в Литовском статуте, отменить, например, закон, по которому шляхтич, убивший простого человека, наказывается только отсечением руки и небольшою денежною пенею, ибо «этот закон, — говорится в черниговском наказе, — может быть терпим в Польше, где все бедные, особенно же не приобретшие шляхетского достоинства, сте-

нают под игом порабощения и мучительства». Но относительно купленных им козачьих земель шляхетство просило императрицу утвердить их за ним навсегда, по своей особенной материнской к нему щедрости; какое же постановление по этому предмету будет издано на будущее время, шляхетство обещает его соблюдать.

После переворота, произведенного восстанием Хмельницкого и присоединением Малороссии к Великой России, мы нашли малороссийские города в постоянном, сильном неудовольствии на военное управление, встречались с постоянными жалобами горожан на притеснявшую и обиравшую их козацкую старшину, причем они просили введения к ним великороссийских воевод, хотя, как мы знаем, последние далеко не отличались мягкими и бескорыстными отношениями к управляемому народонаселению. Наказы, привезенные депутатами в комиссию об Уложении, вскрывают перед нами то же печальное состояние малороссийских городов, вскрывают их крайнюю бедность, которая зависела сколько от войскового управления страною, столько же от ее положения, очень невыгодного для торговой деятельности, от господствовавшего изначала в Украйне военно-земледельческого быта с обычным следствием этого господства — неразвитостью в торговом и промышленном отношении, наконец, от характера малороссийского народа, несклонного к торговой деятельности, так что до сих пор большинство торговых людей здесь состоит из великороссиян. Наказы представляют нам малороссийский город отставшим в развитии от великороссийского, представляют такие явления, какие существовали в великороссийских городах в XVII веке.

Как жители великороссийских городов в своих наказах просили об удержании и развитии городского самоуправления, данного Петром Великим, так жители городов малороссийских просят о сохранении у них старинных форм городского самоуправления, известных под именем Магдебургского права, которое бесспорно послужило для Петра Великого образцом при введении городского самоуправления в Великой России. Но одни формы еще ничего не значат. Формы благодетельны и крепки, когда являются результатом самостоятельного внутреннего развития; и на данные извне приносят пользу, если находят достаточное содержание. Бедные малочисленные горожане в Малороссии не могли посредством денег удовлетворять необходимым требованиям государства, должны были удовлетворять им натурою, собственноручною работою, отчего терпели страшную тягость, разорялись окончательно и, чтоб отбыть от тягости, разбегались или закладывались за богатых и сильных людей, отчего оставшимся становилось еще тягостнее, — явления, с которыми мы так хорошо знакомы в великороссийских городах XVII века,

явления, необходимые там, где государственные потребности развиваются неодновременно и не в одинаковой степени с экономическим развитием народа, будет ли то общество еще молодое, неразвившееся, как наша Россия XVII и XVIII века, или общество уже одряхлевшее, как Римская империя во время ее распадения.

28 февраля 1768 года Румянцев писал императрице: «Я имел случай с уволенными на время и опять уже отъехавшими некоторыми депутатами видеться и нашел их во всех их развращенных мыслях непременно пребывающих. Скоропадский — всех прочих руководитель, ибо возмечтал выбранным быть гетманом. Часть здесь людей таких, кои слепо сим невежам следуют, немала. Но я осмеливаюсь уверить, что когда токмо таковые и ему подобные, которые очень замечены, останутся без действия и дел, а, напротив, благонамеренные и сею болезнию самовладства и независимости не зараженные вашего и. в-ства милостию отличатся и войдут в чины и дела, правительства ж и служба получат прямые для себя уставы, то и те как великое всегда желание к чинам, особливо к жалованию, имеющие скоро переменят мысли и поступки» [77]. Екатерина отвечала: «Что вы пишете о Скоропадском, то весьма справедливо: он здесь ведет себя, как волк, и ни с кем из наших знаться не хочет». Во многих наказах было выражено желание собрать деньги для воздвигнутия памятника Екатерине. Относительно сбора денег на памятник в Малороссии императрица писала Румянцеву: «Если деньги на монумент еще не собраны, то, пожалуй, помешкайте оных собрать, ибо сии издержки народные не нужны, а за доброе их намерение скажите им спасибо пристойным образом» [78].

Румянцев писал о малороссийских депутатах, приезжавших на побывку домой: «Тщеславились они здесь много тем, что лифляндцы им единонамеренны в удерживании старых своих прав и вольностей». В заседании комиссии 2 октября 1767 года депутат эстляндский Вирского Крейса от дворянства Ренненкампф подал представление, чтобы в проекте нового Уложения упомянуто было о эстляндском дворянстве, дабы ему в преимуществах своих в силу их всевысочайше конфирмованных привилегий неотменно остаться. Такое же представление подал депутат лифляндского дворянства Эстницкого уезда Вильбоа; к ним присоединились и другие лифляндские и эстляндские депутаты. Но в заседании 22 ноября депутат любимского дворянства Толмачов представил, что надобно иметь в виду общее благо, и так как Сенату известны недостатки лифляндских и эстляндских прав и от незнания этих особенных прав происходят преступления между пограничными жителями, то необходимо составить общие законы для всех подданных ее и. в-ства. К мнению Толма-

чова присоединилось чрезвычайно много дворянских депутатов. В заседании 27 ноября депутат новосильского дворянства Шишков произнес такую речь: «Постановляемые ныне законы должны быть в завоеванных губерниях те же самые, которые и у нас будут. Под этим условием, я полагаю, равенство всех государственных сборов и доходов. Поэтому должность присланных от означенных губерний господ депутатов должна заключаться в том, чтобы к общей всех пользе единодушно с нами стараться рассуждать и думать. Законы же для рижского рыцарства, в XV и XVI веках написанные под титулом божиею и папы Николая милостию, ныне не могут быть его правами, ибо у них нет уже ни стола архиепископского, на который описывались дворянские недвижимые имения, ни такого неприятеля, с которым бы рижское рыцарство могло постановлять войну и мир. Капитуляция, оружием вынужденная, не есть отличная выслуга пленника, но великодушие победителя. Поэтому не сделает ли больше чести означенным губерниям, если они будут называться не завоеванными, но одного с нами общества равными гражданами; а это иначе быть не может как только тогда, когда они будут находиться под одними с нами законами».

Вильбоа возражал и Толмачову, и Шишкову. На мнение первого сказал, что право и привилегии лифляндские вполне соответствуют расположению живущего под ними народа. Доказанное их в продолжение долгого времени сходство с верою, климатом и обычаями этого народа, также непринужденное лифляндских жителей им последование более всего побудили его, Вильбоа, просить, дабы права и привилегии лифляндского дворянства для неизменного их сохранения помещены были в новом Уложении. Потом Вильбоа упомянул о верном соблюдении присяги лифляндцами, что доказано усердною их службою, бездоимочною уплатою податей и несением общих тягостей. Нет нужды, чтобы для всех вообще подданных ее и. в-ства все законы были равные. Относительно мнения Шишкова Вильбоа сказал, что оно более походит на мнение самовластного и не терпящего прекословия учреждения, чем на умеренное и скромное мнение, свойственное собранию депутатов; Шишков особенно заметил привилегию архиепископа Сильвестра 1449 года, начинающуюся словами: «Божиею и папы Николая милостию», и обратил ее в смех, что, может быть, и доставило ему удовольствие; но он не сделал бы этого публично, если б прочел со вниманием 32-ю статью «Наказа» императрицы («Великое благополучие для человека быти в таких обстоятельствах, что, когда страсти его вперяют в него мысли быти злым, он, однако, считает себе за полезное не быти злым»); что сохранение со стороны победителя капитуляции, которая есть договор с двух сторон, более доказывает правосудие государя. Но возражения со

стороны русских депутатов не прекратились. Депутат города Романова Демидов заметил, что древних привилегий лифляндских в подлиннике не находится. Кромский депутат от дворянства Похвиснев заявил, что все народы, находящиеся под российскою державою, должны управляться одинаковыми законами, ибо такое единство содействует славе и могуществу империи. Казанский депутат от дворянства Ясинов сказал: «Ежели кто сверх всякого чаяния при нынешнем столь полезном установлении новых законов пожелает остаться при старых правах, то он как ищущий только себе, а не обществу пользы нарушит должность честного гражданина в отношении своей собратии. Сверх того, весьма странно слышать, что Лифляндия и Эстляндия, так давно уже покоренные под Российскую державу, судятся и поныне чужими правами, установленными от государей, которые до этих областей никакого дела не имеют». На это возражал депутат лифляндского земства фон Блумен: «Многие гг. депутаты представили, чтобы впредь для всех частей этой обширной империи составить одинаковые законы и чтобы для этого лифляндские привилегии не принимать в уважение, как будто без такого уничтожения привилегий всех немецких земель не может быть устроено обещанное новым законодательством благосостояние России. Помянутые господа депутаты посягают на власть премудрой нашей государыни, которая конфирмовала те привилегии, а ныне по изъявленному ими желанию должна их уничтожать, и, так сказать, трогают тех великих императоров, которые прежде их утверждали».

Но «премудрая государыня» не была довольна остзейскими депутатами. «Господа лифляндцы, — писала Екатерина Румянцеву, — от коих мы ожидали примерное поведение как в просвещении, так и в вежливости, не соответствовали нашему ожиданию: они сначала просили и требовали, чтоб их законы были по материям читаны рядом с нашими; но, когда оных стали читать, а депутаты об их законах начали говорить так, как и о прочих узаконениях, тогда они не только тех депутатов, но и всю комиссию попрекали, что будто они присваивают себе власть, коей комиссии не дано; одним словом, я ожидала то, что они закричат громко «дело и слово» на всю комиссию; наконец, когда увидали, что великое число соблазняется их поведением, тогда все корпусом лифляндцы подписали и подали в комиссии голос, что им не надобно и не хотят ни дополнение, ни перемену в их законах. На сие один из наших принес в комиссию выписку из двадцати или более челобитен лифляндских как дворян, так и городов, где корпусом просят в разных годах от время завоевания с 1710 года и последующих, чтоб законы их были дополнены, ибо они весьма недостаточны и отяготительны в иных случаях для них. Сей человек присовокупил к тому, что он желает ведать,

челобитию ли верить или поданному голосу гг. депутатов. Сим на Москве окончились заседания комиссии, а здесь (в Петербурге) ныне читают юстицкие законы; итак, еще не знаем, как господа лифляндцы из противоречащего поступка выпутаются» [79]. Они хотели выпутаться тем, что подали проект уложения для себя. Екатерина рассмотрела проект и сделала на него некоторые любопытные замечания с явным неудовольствием, например: «Когда комиссия о сочинении проекта нового Уложения будет рассматривать прежние о той материи проекты, тогда и в Лифляндии сделанный проект, если он по вышнему повелению сочинен, рассмотрится; если же не по повелению сделан, то надлежит оный проект отослать в ту комиссию, где проекты велено подать. Старое обыкновение сих господ, где видят, что по прихотям их исполниться трудно, тут стараются обратить учреждение всякое в тяжебное дело или процесс. Сему по рижской коммерц-комиссии ежедневные примеры были, однако ни в одном пункте им не удалось сей замашки. А прежде сего бывало, где у них слова недостаточны, тут деньгами сыпали: город Рига один по 60 000 рублей в год на то определял, и, когда они прислали сюда депутата для исходатайствования перемены в торговом уставе 1765, тогда он снабжен был 13 000 червонных, которых в целости привез назад, ибо нашлось, что никто не в силе был оного переменить. Сей же их новый, сочиненный городом очень противен. Я ничего конфирмовать не буду, что не в силе обряда мне поднесется. Они подданные Российской империи, а я не лифляндская императрица, но всероссийская». На просьбу о восстановлении академии для остзейского края императрица заметила: «О восстановлении академии их скоро согласиться можно; но тут тот крючок, что будут требовать гааки (земельные участки) те, кои тогда даны были той академии, а гааки или разжалованы (розданы), или на аренде под именем коронных; а если согласятся города или дворяне оный (университет) содержать, то недолго восстановить, они без того в чужие края своих детей посылают; в противном случае они в российские училища присылать могут оных, и везде для них места оставлены» [80].

Мы видели, что в комиссии вследствие столкновения различных интересов были горячие споры, но эти споры велись в границах умеренности. Исключением был следующий случай. В пятнадцатое заседание обоянский депутат от дворянства Глазов вздумал было резко выражаться против мнений депутата от однодворцев и депутата от черносошных крестьян, но был остановлен маршалом, и насчет его поступка состоялось такое определение, которое должно было отнять охоту у всякого другого делать подобные выходки. В дневной записке помещен был такой отзыв о мнении Глазова: «Хотя сие возражение состоит из 23 больших страниц, однако

трудно найти в нем единый порядочный период; везде мысли спутаны и темны, каждое почти выражение неприлично; но его недостатки кажутся нечувствительны пред прочими непристойностями, которыми избыточествует оное сочинение. Депутат обоянский бранит без малейшего смягчения депутата елецкого, развратное ему приписывает мнение, поносит всех черносошных крестьян; наконец, ругает каргопольский (крестьянский) наказ и говорит, что надлежит его сжечь, а депутата каргопольского от черносошных крестьян, который истину всему предпочет, доказал, что в последнем чине можно думать благородно, желает он лишить депутатского знака и всех депутатских выгод. Конечно, таковому странному возражению свойственно было произвесть смех, соблазн и негодование, что и совершилось; но маршал остановил чтение на 9 странице, зане в собрании надлежащее благочиние могло бы совсем быть нарушено». Когда этот отзыв был прочитан, маршал объявил, что такие оскорбительные слова и изъяснения противны XV статье обряда, где предписывается депутата, который обидит в собрании другого депутата, наказывать пенею или исключением временным или навсегда; на этом основании маршал потребовал у комиссии мнения, что следует сделать с депутатом от обоянского дворянства. Решение было выражено таким образом: «Комиссия о сочинении проекта нового Уложения, выслушав большую часть возражения депутата обоянского от дворянства Мих. Глазова на голос депутата елецкого от однодворцев Мих. Давыдова, рассудила, что сие возражение, язвительными словами и бранью преисполненное, нарушает все обществом принятые правила благочиния и справедливости, ибо не токмо в оном сказано, что депутат Давыдов имеет гордыню, что он мыслил превратно, но и то без малейшей причины упомянуто, что всем черносошным депутатам почаще подлежит вынимать из карманов зерцало, по которому вразумляемся, будто их поведение до сего времени небеспорочно; наконец, депутат обоянский осмеливается предписывать строжайшие наказания, когда он судить не имеет права: каргопольский наказ предает огню, того же уезда депутата (которого беспристрастный поступок вящей похвалы достоин) желает лишить депутатского знака и всех депутатских выгод. Уважая все сии обстоятельства и следуя 15-му пункту обряда, комиссия определила: возвратить с выговором депутату обоянскому вышепомянутое его возражение, взять с него пять рублей пени да при всем собрании просить ему у обиженных прощения» [81]. Кроме этого случая некоторые депутаты вне комиссии позволили себе странность, происходившую от непонимания своих обязанностей: они позволили себе подписывать на свое имя вместо других подаваемые в Сенат челобитные и доношения и ходотайствовали за них в Сенате. Сенат велел через комиссию

запретить им это[82]. Депутат, выбранный от приписных к Гороблагодатским заводам крестьян, Ермаков за взятые им со своих избирателей себе на прогоны по три копейки с души и за прочие преступления лишен депутатского звания с отобранием золотого депутатского знака и комисского наказа, оставлен в прежнем звании, но впредь запрещено его выбирать к каким-либо важным государственным делам. Таков был приговор Сената. Императрица приписала: «А что принадлежит взыскания собранных им денег, то оные взыскать с него тогда, когда сами крестьяне оных требовать будут, ибо они столько же не имели должности слушать его приказов, сколько он давать им оные приказы»[83].

Екатерина имела право быть недовольною некоторыми отдельными явлениями; но не могла не признать, что общая цель, с какою она созвала комиссию, была достигнута. «Комиссия Уложения, — говорит она в одной из своих записок, — быв в собрании, подала мне свет и сведение о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно. Она все части закона собрала и разобрала по материям и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поехали в армию. Наказ комиссии ввел единство в правило и в рассуждения не в пример более прежнего. Стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по оной поступать».

Екатерина имела право приписывать своему «Наказу» такое просветительное и воспитательное значение для народа. Депутаты, созванные изо всех мест, из разных сословий, слышали «Наказ», пользовались им, утверждались на его словах в своих мнениях и спорах, но дальнейшее пользование им было ограничено. В сентябре 1767 года Сенат определил по предложению генерал-прокурора разослать экземпляры «Наказа» в высшие учреждения, в департаменты Сената, коллегии и конторы их, в Судный приказ, в канцелярию Конфискации, но исключил губернские, провинциальные и воеводские канцелярии; да и относительно высших учреждений в указе говорится, «чтоб экземпляры «Наказа» содержаны были единственно для сведения одних тех мест присутствующих и чтоб оные никому из нижних канцелярских служителей, ни из посторонних не только для списывания, но ниже для прочтения даваны были, для чего и иметь их всегда на судейских столах при зерцалах» Присутствующие в этих высших учреждениях должны были читать «Наказ» в свободное от текущих дел время, т е по субботам, но при этом чтении могли находиться кроме них только секретари и протоколисты[84]. Таким образом, «Наказ» был доступен только старшим и составлял запрещенную книгу для младших; о нем сделано постановление, подобное тому, какое сделано в

латинской церкви относительно св писания. Найдено, что сочинение самодержавной государыни, и прошедшее через строгую цензуру подданных, все еще содержит в себе аксиомы, способные разрушить стены, по выражению Никиты Ив. Панина. Объяснение такому распоряжению мы найдем в сенатском указе по поводу дворовых людей и крестьян генерала Леонтьева, генеральши Толстой, бригадира Олсуфьева и подполковника Лопухина с братьями. Эти дворовые люди и крестьяне подали императрице челобитную на своих господ. «Из обстоятельств сего дела усматривается, — говорит указ, — что таковые преступления большею частию происходят от разглашения злонамеренных людей, рассевающих вымышленные ими *слухи о перемене законов* и собирающих под сим видом с крестьян поборы, обнадеживая оных исходатайствовать им разные пользы и выгоды, которые вместо того теми поборами корыстуются сами, а бедных и не знающих законов крестьян, отвратя их от должного помещикам повиновения, приводят в разорение и в крайнее несчастие» [85].

При самом начале заседаний комиссии об Уложении, в августе 1767 года, Сенату было доложено о возмущении заводских крестьян. Мы видели, что исследование об общем почти восстании заводских крестьян на северо-востоке, порученное сначала кн. Вяземскому, потом Бибикову, было окончено, восставшие были усмирены, более виновные наказаны, также наказаны и заводские прикащики, уличенные в притеснениях крестьянам, должная последним заработная плата, удержанная прикащиками, взыскана, введено лучшее против прежнего и различное по различию местности распределение работ. Но неудовольствие не могло прекратиться, ибо отношения в существе остались прежние; подобные исследования при всей благонамеренности следователей представляли чрезвычайные затруднения, и мы теперь, отдаленные с лишком веком от событий, при обсуждении результатов этих исследований должны быть очень осторожны. Для образца приведем показания крестьян, жаловавшихся на демидовских прикащиков. *Первый* показал: «В прошлом 59 году, когда не упомню, нарядчик ударил меня безвинно по голове поленом один раз, я упал и едва очувствовался, а более никакого битья не было». *Второй* показал: «Били меня безвинно прикащик и его сын саженью немилостиво» *Третий*: «Стегал меня батожьем за то, что на работу из дому приехал не на срок». *Четвертый*: «В заводской работе я не бывал, и никто меня не бивал». *Пятый*: «При перекличке опоздал и отметили в нетчики, и за то прикащик стегал меня кнутьем не весьма душевредно, но посредственно». *Шестой*: «Сын приказчика налагал поденную работу чрезвычайную, которую сработать невозможно, и за то стегал меня батожьем немилостивно один раз, а более того никто не бивал, и посторонних свидетелей

не было». *Седьмой*: «Прикащик бил меня палками смертельно и изломал об меня две палки, а более того никто не бивал». *Восьмой*: «Прикащик сказал, будто приездом опоздал, и стегал меня батожьем весьма душевредно, так что несколько дней наклоняться не мог». *Девятый*: «Не поверя моей болезни, прикащик стегал меня батожьем нещадно, от которого стеганья наиболее занемог и лежал с неделю». *Десятый*: «Стегал меня плетьми весьма жестоко и приговаривал, чтоб знать грозу демидовскую». Некоторые показывали, что лежали по 4 и по 8 недель больные от побоев. Показывали, что бывали смертные случаи от побоев. Но какие были средства удостовериться в правде показаний? Обвиняемые запирались, запирались и на пытке, отстраняя свидетелей, тех же заводских крестьян как свидетелей пристрастных; выкапывание трупов и медицинское свидетельство было тогда невозможно, и судья решал по своим соображениям, могла ли приключиться смерть от показываемых побоев, и если решал, что не могла, то какие мы имеем средства обвинять его в решении неправильном, в потачке притеснителям? Признаем за русскими людьми, жившими сто лет тому назад, большую опытность в этих вещах, чем какую имеем мы, к великому нашему счастию; признаем, если хотим быть сами справедливы и беспристрастны, что жалоба на побои, весьма душевредные, не могла производить на них такого сильного впечатления, какое производит теперь на нас: вспомним, что телесные наказания в самых тяжелых формах были в общем употреблении, считались необходимыми, еще наше поколение помнит истязания детей в школах, истязания вполне «душевредные»; что же было за сто лет? Вспомним, что в это время только начали раздаваться голоса некоторых достойных пастырей церкви против ужасных истязаний, которым подвергалось духовенство в монастырях; все эти душевредности встречались по всей России везде, где только сильный, власть имеющий приходил в столкновение с слабым, игумен с простым монахом, учитель с учеником, господин с слугою, хозяин с работником, договорим: отец с сыном. Возбуждение уголовного преследования против прикащиков за жестокие наказания заводских крестьян заставило бы скольких людей переглянуться и поднять вопль, ибо и они должны были подвергнуться такому же преследованию. Явление не было одиноким, выходящим из ряду.

В доказательство затруднительности положения кн. Вяземского и Бибикова, затруднительности, которой подвергается и позднейший исследователь этих печальных явлений, приведем следующий случай. Много было жалоб на демидовского прикащика прапорщика Кулалеева. Вяземский нашел в нем человека с нечистою совестью, взяточника и удалил его от заведования приписными крестьянами, но уголовному

наказанию он не подвергся, хотя была жалоба, что он в 1760 году крестьянина Алексеева, будучи в Дуброве, неведомо за что изрубил саблею до смерти. Кулалеев отвечал на обвинение следующее: «Села Котловки крестьянин Летков пришел ко мне и объявил, что, отрезав на реке Каме паром, переехали воровские люди на горную сторону. Я, собрав села Котловки крестьян, разослал их для поиску воровских людей, а сам поехал с другими крестьянами и в лесу встретил неведомо каких людей ночью; стали их ловить, один из них бросился на меня с топором и порубил мою лошадь, а я порубил его по плечу тесаком; порубленный побежал, крестьянин Таланов его догнал; он Таланова сшиб с ног; я побежал за ним пешком, нагнал; он бросился на меня с топором, а я, обороняясь, порубил ему ногу, отчего он упал и тут же на месте умер. Между тем пойманы были товарищи убитого, беглые заводские крестьяне, которые объявили, что убитый тоже беглый заводской крестьянин Михайла Алексеев Болонкин. Кулалеева оправдали [86]. Наконец, затруднительное положение следователей увеличивалось еще тем, что одни крестьяне восставали, а другие оставались спокойными и отправляли свои работы, и восставшие вооружались против них, силою заставляя их принимать свою сторону.

Но если положение Вяземского и Бибикова было крайне затруднительно, если мы не имеем никакого права требовать от них, чтоб они поступали по понятиям и условиям не своего времени, а нашего, а потому не признавать их заслуги, то, с другой стороны, мы должны признать, что их распоряжениями зло совершенно прекращено быть не могло. О средстве коренного исцеления болезни вопрос был задан Екатериною: нет ли возможности заменить приписных крестьян вольнонаемными рабочими? Понятно, что ответ был отрицательный, потому что если бы эта возможность существовала, то крепостное право исчезло бы на всем протяжении России; при сохранении же обязательных отношений работника к хозяину никакие определения отношений не могли принести всей желаемой пользы, даже при условии постоянного строгого надзора и всегда справедливого, беспристрастного решения споров; но возможно ли было требовать этих условий на отдаленных окраинах при известном печальном состоянии правосудия? Заводские крестьяне хотели вовсе не того, что́ им дали, они не хотели более сносного определения обязательных отношений, они хотели полного увольнения от заводских работ, ибо их положение было самым тяжким видом крепостного права. Крестьянин-земледелец, какого бы корыстолюбивого и жестокого господина или прикащика судьба ему ни послала, все же оставался на своем месте при своих обычных занятиях, тогда как заводская работа была по преимуществу работа «невольная, рабская», по выраже-

нию самих крестьян. К заводам приписывались крестьяне, жившие от них в очень дальнем расстоянии, в расстоянии нескольких сот верст, и должны были являться в срок, должны были тратиться, разоряться для этих переходов и в случае запаздывания должны были готовиться к наказанию, к побоям от прикащика, более или менее *душевредным*, смотря по характеру и расположению последнего. Кроме того, хозяин или прикащик стремились извлечь всевозможную выгоду из работника, находившегося совершенно в их руках, прижать его, недоплатить, заставить проработать лишнее, продать ему дорогою ценою необходимые предметы. Все это не могло приучить крестьянина к заводским работам, и постоянным его желанием было освободиться от них; мы видели, что первые сильные крестьянские восстания при Елисавете были восстания заводских крестьян; мы должны ждать, что они не прекратятся и после усмирения их в первые годы екатерининского царствования.

Летом 1767 года пришли в непослушание крестьяне, приписные к Юговским горным заводам графа Ив. Чернышева, заводчика Походяшина и покойного канцлера Воронцова. Соликамская воеводская канцелярия нашла, что виновником был премьер-майор Дервецкий, который приказал крестьянам ходить на одни соляные заводы. Сенат для усмирения крестьян велел ехать с военною командою генерал-майору и главному командиру над Гороблагодатскими и Кемскими заводами Ирману. В октябре месяце пришел рапорт канцелярии Главного правления заводов об упорствах и отбывательствах от работ крестьян, приписных к Аннинскому заводу гр. Чернышева Соликамского и Чердынского уездов; канцелярия писала, что никакой надежды к утишению восстания нет и она обратилась за помощью к казанскому губернатору. В том же месяце подали просьбу в Сенат содержатель рязанской игольной фабрики Рюмин и компаньон его бригадир князь Килдишев, что Мануфактур-коллегия освободила их крепостных людей, содержавшихся по обвинению в непослушании, отчего на их фабрике произошло еще бóльшее неповиновение и озорничество; челобитчики писали, чтоб велено было усмирить крестьян военною командою. Сенат велел послать команду и приказал дать знать коллегии, что она поступила весьма неблагорассудительно и неосторожно, освободивши означенных крепостных людей без всякого удовольствия их владельцу, сделав распоряжение, чтоб их употреблять только на игольной фабрике, а не посылать на железный завод для тяги проволоки. Коллегия отвечала, что она отослала крестьян в исполнение указа не держать долго колодников, поручив Рязанской губернской канцелярии рассмотрение дела о их виновности; что же касается распоряжения ее ходить крестьянам только на игольную фабрику, то иначе произошла

бы смута: игольная фабрика подведомственная ей, а железный завод — Берг-коллегии. В конце года Ирман донес, что возмутившиеся крестьяне пришли в послушание и обязались идти на заводские работы, кроме 37 человек деревни Бурдаковой, приписных к Пыскорскому заводу. Сенат приказал: рекомендовать Ирману *секретно* поступать в этом случае с такой умеренностью, чтоб крестьяне не могли иметь предлога к возмущению. Рязанская губернская канцелярия донесла, что крестьяне игольной фабрики Рюмина за учиненные ими противности наказаны кто кнутом, кто плетьми и тем в должное послушание приведены Вследствие донесения воронежского губернатора о противностях липецких рабочих Сенат приказал: так как по делу видно, что непослушание заводских рабочих бо́льшею частию произошло и теперь происходит от притеснения управителями кн. Репнина, то последнему дать знать секретно, чтоб он без нарушения собственной пользы постарался принять заблаговременно такие меры, благодаря которым рабочие не имели бы прямых причин к жалобам, а для большего успокоения отрешил бы нынешних своих управителей и определил других, если только от этого не произойдет заводам его какого вреда [87].

В то самое время, как в комиссии, созванной из всех концов России для подания императрице «света и сведения» о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно, в то самое время, как в этой комиссии разные сословия наперерыв требовали себе права иметь крепостных людей, государыня подписывала приговор над явлением, которое показывало, до чего может доводить крепостное право, отдававши человека во власть другого человека. И это явление произошло в среде тех людей, которые в комиссии предъявляли свое исключительное право иметь крепостных людей, управление ими выставляя как школу, как приготовление к высшим правительственным должностям, причем указывали на свои большие средства нравственные, на свое образование. Оказалось, что ужасное явление могло быть продолжительно именно в среде этих людей, потому что в их среде могло находить долгую безнаказанность.

Жена ротмистра конной гвардии Глеба Солтыкова Дарья Николаева, овдовевши 25 лет, получила в управление населенные имения, толпу крепостных слуг и в этом управлении развила чудовищную жестокость: собственными руками она била без милости своих слуг и служанок чем попало, припекала им уши разожженными щипцами, обливала кипятком. По ее приказу били, секли дворовых мужчин и женщин, забивали и засекали до смерти, и все за маловажные вины по хозяйству. Злость Солтыковой, усиливаясь по мере терзания несчастных жертв, доходила до бешенства «Бейте до смерти, — кричала она наказывавшим, — я сама в ответе и ни-

кого не боюсь, хотя от вотчин своих отстать готова. Никто ничего сделать мне не может!» Сознание безнаказанности, возможности по родственным связям и богатству запугать и задарить судей разнуздывало Солтыкову, и, действительно, более шести лет жалобы на нее крепостных оставались без последствий, жалобщиков наказывали и отсылали назад к госпоже, которая говорила им: «Вы мне ничего не сделаете; сколько вам ни доносить, мне ничего не сделают и меня на вас не променяют». Наконец в 1762 году дошла до Екатерины жалоба, что с 1756 года Солтыковой погублено уже душ со сто. Жалоба переслана была в Юстиц-коллегию; началось следствие. В конце 1763 года коллегия представила, что Солтыкову, «яко оказавшуюся в смертных убийствах весьма подозрительною, во изыскании истины надлежит пытать». Мы видели, какую борьбу вела Екатерина против пытки. И тут она не хотела ее допустить, как средство, вовсе не ведущее к изысканию истины, и приказала: «Объявить Солтыковой, что все обстоятельства оного дела и многих людей свидетельство доводят ее до пытки, что с нею действительно и последует, если она не принесет чистосердечного признания. Между тем определить к ней искусного, честного жития и в божественном писании знающего священника на месяц, который бы увещевал ее к признанию, и если от сего еще не почувствует она в совести своей угрызения, то чтоб он приготовил ее к неизбежной пытке, а потом показать ей жестокость розыска приговоренным к тому преступником, и если еще и тогда чистосердечия от нее не будет, то представить ее и. в-ству, не объявляя ей о том последнем представлении, и ожидать указа».

Эти средства не помогли: Солтыкова ни в чем не призналась. Екатерина и тут не хотела употребить пытки. Сделан был повальный обыск, который указал на убийства; по этим указаниям подняты были дела о Салтыковой в Полицмейстерской канцелярии, Сыскном приказе и Тайной конторе, решенные в пользу Солтыковой по взяточничеству присутствующих. Люди Солтыковой обвиняли ее в убийстве 75 человек обоего пола; Юстиц-коллегия по рассмотрении дел обвинила ее положительно в убийстве 38 человек и оставила в подозрении относительно убийства 26 человек. В октябре 1768 года последовал высочайший указ Сенату: «Рассмотрев поданный нам от Сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог восприничествовать в столь разные времена и того великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она особливо пред многими другими убийцами в

свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему Сенату: 1) Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтоб она ни от кого никогда, ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. 2) Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую (т. е. главную, Красную) площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в Юстиц-коллегии сентенцию с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами: «Мучительница и душегубица». 3) Когда она выстоит целый час на сем поносительном зрелище, то чтоб лишить ее злую душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой смердящее ее тело предать промыслу творца всех тварей, приказать, заключа в железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там подле которой ни есть церкви посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой по смерть ее содержать таким образом, чтоб она ни откуда света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую (монашескую) подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь». Салтыкова была заключена в Ивановском монастыре; в 1779 году наказание смягчено: ее перевели из подземелья в каменную пристройку к церкви с окном. В 1801 году Салтыкова умерла, и до сих пор еще в народе живет память об ужасной Салтычихе [88].

Также без пыток особенная комиссия производила дело о ливенском помещике поручике Мишкове, который между прочим обвинен был в четверократной посылке нарядным разбойническим образом крестьян своих, однодворцев и малороссиян в дом однодворца Писарева; в двух приездах и сам он, Мишков, был, грабил пожитки Писарева и дом его совершенно разорил, а самого захватил в дом к себе, и по приказу его Писарев сечен батожьем; потом Мишков приказал однодворцу Пыхтину, беглому, крывшемуся у него крестьянину Никифорову да солдату Медведеву, напоя их пьяными, переломить Писареву обухом ноги, что ими и сделано, а сам Мишков выколол ему глаза сапожным шилом, от чего Писарев чрез девять дней и умер. Приказал однодворцам Жиляеву и Пыхтину живущего в доме его однодворца Енина убить до смерти, что ими исполнено, и проч. [89] Вдова тайного советника Мария Ефремова за смертное убийство

крепостной своей девки предана церковному покаянию [90]. Какое было обращение с крестьянами серпейского помещика отставного гвардии поручика Шеншина, неизвестно; только ночью приехали к нему в дом неведомые люди с ружьями и рогатинами, дом разбили, его, жену и старосту умертвили; в этом убийстве оказались собственные крестьяне Шеншина [91].

В 1768 году казанский губернатор донес об усилившихся в Симбирском уезде разбоях и смертоубийствах, причем представлял о малолюдстве тамошних гарнизонов и надобности прислать еще военных команд. Сенат приказал: хотя и нарядить команды, но они не поспеют, а зимнее время и без команд разбойников разгонит, и потому послал указ губернатору, чтоб они во время их зимнего укрывательства самими обывателями и находящимися там командами были переловлены. Так как видно, что крестьяне и помещичьи служители при нападении разбойников на домы господ и их самих не дают им никакого отпора, несмотря на то что превосходят многолюдством иногда во сто крат, убегая и укрываясь, предают неповинную жизнь господ на жертву свирепости и алчности разбойников, для того обнародовать печатным указом, что если впредь крестьяне и служители, невзирая на свое многолюдство, отпора давать не будут, то без должного за то денежного и телесного наказания не останутся. А чтоб показать первое действие указа, к казанскому губернатору написать, чтоб во всех местах его ведомства, где произошли разбои и смертоубийства, приказать исследовать, и, если где найдется, что крестьяне по одной своей холодности, а иногда и по злости помещиков своих не защищали, в таком случае поступить с виноватыми по законам [92]. Московский главнокомандующий граф Солтыков писал императрице, что в Москве и около нее воровство и разбои сильно умножились [93].

Мы видели, что депутаты в комиссии об Уложении приписывали разбои беглым крепостным. Мы видели также, что помещики пограничных областей жаловались на бегство крестьян их в остзейские провинции. Но жалобы были обоюдные. Новгородский губернатор Сиверс представил Сенату доклад, что остзейские дворяне жаловались ему на невыдачу им их беглых из Новгородской губернии, преимущественно из Псковской провинции, хотя они точно знают о местах их укрывательства; все затруднение происходит оттого, что беглых без суда взять нельзя, и если беглые из Лифляндии и Эстляндии примут веру греческого исповедания, то их уже к старым помещикам не возвращают, а крепят за кого пожелают из русских. По мнению Сиверса, надобно было бы с обеих сторон выдавать беглых без суда, невзирая на то что приняли греческую веру, ибо в Лифляндии и теперь уже столько построено греческих церквей, что каждому приняв-

шему это исповедание недалеко сходить в город или к полковым церквам.

Сиверс подал Сенату также любопытный доклад о состоянии городов своей губернии: «Город Псков по своему красивому и очень удобному для торговли положению мог бы быть в другом состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов для выражения моих чувств о разорении этого города; скажу одно, что он так же несчастлив, как и Великий Новгород, и страдает тою же чахоткою. Как в одном, так и другом почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось. Во всех городах моей губернии со второй по третью ревизию число жителей умножилось до седьмой, а в некоторых, где порядок и нравы добрые, до пятой и до четвертой части против прежнего; только в Новгороде и Пскове целая треть убыла. В Пскове через 150 лет почти ни одного посадского жителя не останется. Способы к устранению этого зла: 1) Увеличение числа купцов переводом их из пригородов. 2) Включение в купечество или в цехи всех государственных и экономических крестьян, которые живут в городе и подгородных слободах. 3) Вывод одного полка в другой город, ибо почти невероятно, что в одном месте, где 450 душ купечества, квартируют два пехотных полка. 4) Учреждение банка для уничтожения разорительных займов у нарвских контор. Каменный дом провинциальной канцелярии в Пскове развалился, и я уже третьего года приказал канцелярию из него вывесть в обывательский. Воеводского двора совсем нет, и воевода живет в таком ветхом обывательском доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Я нашел изрядную гарнизонную школу, построенную комендантом. Город Остров — сущая деревня, имеет около 120 душ купечества; в воеводском доме только сороки да вороны живут, ни площади, ни лавок не нашел. В Холме я внезапно вошел в соляной амбар и велел считать кули с солью; по запискам значилось в наличности около 7000 пудов, а оказалось только около тысячи, остальные были в раздаче почти всему посаду до священников заимообразно. В Холме более 700 душ, и только один умеет писать. Торопец — лучший город во всей Новгородской губернии. Хотя торопчане имеют дурную славу, что много товаров провозят без пошлины, однако доходы ближних таможен доказывают, что некоторые, и лучшие из них, поступают как добрые люди. Торгуют преимущественно шелковыми товарами, которые закупают на ярмарках в Кенигсберге, Данциге, Бреславле и Лейпциге, а некоторые отправляют лен и пеньку в Петербург. Едва один купец успел построить каменный дом, как полковник вступившего в город полка занял его как лучший в городе, а хозяин остался жить в старом деревянном, после чего

никто уже другого каменного дома не заложил. Между воеводскою канцелярией и магистратом я нашел великие несогласия и в обоих местах более челобитчиков, чем в какомлибо другом городе. Воеводский дом так ветх, что в нем жить нельзя, и канцелярия не лучше. Острога или тюрьмы совсем нет, а колодников ставят попеременно по домам разночинцев взамен постоя, чего нигде я не видал и не слыхал. Ржев Володимеров может спорить с Торопцом, одно худо, что между жителями капитальных людей мало, вредят своей торговле, занимая большие капиталы у англичан и других за весьма высокие проценты. У них великие споры с разночинцами, особливо с пушкарями старых служб и с ямщиками о землях. Вкоренившийся здесь раскол — порок сему городу Хуже всех городов Белозерск. Я нигде не находил, чтоб магистрат был действительно таким городским опекуном, как в Торжке. Тверскою канцелярией я был доволен, кроме великого числа колодников; я заметил из ведомостей, что всегда две трети колодников ржевитяне, точно то же и в магистрате. Купцы как сами без воспитания были, так и детей своих теперь не воспитывают. Торговля их производится без всякого порядка, редко с запискою, без книг и почти без счетов. Между ними нет доверия, которое составляет дух коммерции. Главнейший вред купечеству, кажется, от подушного оклада; вместо подушных денег можно положить каждый город в особый оклад одной круглой суммы, а сей оклад собирать с имения и с торгу каждого горожанина Еще бы сему роду людей дало лучшие мысли, если бы по уголовным делам их от розысков избавить. О крестьянстве я должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид». Для дворян Сиверс требовал выборной службы в погостах для полицейского надзора, также службы в звании уездных комиссаров. Об упадке дворянских родов вследствие раздела имений Сиверс говорит: «Я был в одной деревне, где в 15 избах крестьянских нашлись 17 помещиков, и весь народ, который я нашел на жнитве хлеба, был благородный» [94].

Относительно духовенства произошло любопытное явление в Тамбове. Тамбовский купец Александр Попов подал в Синод челобитную за рукоприкладством 106 человек, духовных и светских лиц: просили о переводе находившегося прежде в Тамбове и переведенного в Устюг епископа Пахомия опять назад в Тамбов на место нынешнего епископа Феодосия, переведенного из Устюга; и Синод, найдя, что в челобитной не выставлено никакой законной причины, сообщил Сенату, что он сделал определение о духовных лицах, подписавших челобитную, а светских предает на рассмотрение Сената; при этом Синод сообщал, что Пахомий уже переведен из Устюга в Москву за старостию и слабостию. Сенат

отрешил от должностей тамбовского, нижнеломовского и верхнеломовского воевод и воеводских товарищей, приложивших руки к челобитной Епископ Феодосий по этому поводу доносил, что духовенство побуждаемо было к рукоприкладству тамбовским купцом Расторгуевым, который зазывал священников к себе и поил допьяна [95].

В церкви в описываемое время произошел еще любопытный случай: известный владелец медеплавильных и железных заводов, пожалованный званием директора этих заводов, Петр Осокин записал себя в раскол с женою, двумя малолетними приемышами и с некоторыми дворовыми людьми. Сенат приговорил его к лишению директорского чина и написанию в двойной подушный оклад Императрица написала на докладе Сената: «Как мне самой в проезд мой по Волге случалось видеть сего человека, который лет 80 от роду и слеп, и хотя весьма добродетельным человеком слывет, но в рассуждении его старости и дряхлости едва ли в совершенной памяти, то надлежит взять от него ответ, знает ли он подлинно о сей записке его в раскол и не воспользовался ли иногда кто его старостью и слепотою, а из того ответа можно будет лучшее заключение сделать о его судьбине» [96].

Сибирский губернатор Денис Чичерин доносил, как производится обращение в христианство иноверцев его губернии: «Проповедники отправлялись сначала на коште и подводах иноверцев, но так как теперь это им запрещено, то они изыскали способ ездить в отдаленные иноверческие жилища на подводах живущих по тракту церковных причетников. К иноверцам, живущим близ города большими деревнями, они не заезжают, и во всю бытность мою ни один из этих жителей не окрещен; стараются они пробраться в отдаленные и дикие места, где проповедуют на русском языке таким людям, которые не слыхивали, как по-русски говорят, и увещевают к крещению всегда тех, у которых больше пожитку видят. Обольстя награждением, напоя пьяных или напугавши, крестят, а как при крещении действуют, того неизвестно. Перекрестя, отъезжают в другие места на лошадях и на издержках новокрещеного, оставив ему написанный на бумаге символ веры, который этот христианин безумно почитает божеством, а, что в нем написано, не знает. Через год и больше проповедник возвращается для свидетельства новых христиан, и тут великие привязки делаются. В посты привозят с собою посуду, намазанную молоком или маслом, лошадиные кости, обвиняют в отступничестве от веры христианской, пугают жестокими наказаниями и чрез то грабят бесчеловечно; если же кто не дает, тех берут с собою и на их же подводах и коште, забивши в колодки, везут по другим жилищам. Кто побогаче, к таким в потаенных местах ставят болванов, а потом сами же и сыскивают. Священники этих дел сами ре-

шить не могут, отсылают в высший суд, где происходит долголетнее разбирательство. Другой способ к грабительству: придут к новокрещеному и, если узнают, что был покойник и погребен без священника или младенец некрещен, привязываются, зачем долго не крещен, зачем без священника погребен. Тогда как священник по отдаленности только в несколько лет раз может приехать; точно так же и венчаться в церковь ездить не могут, венчаются по домам, а это служит главным источником взяточничества, привязываются, кричат о поругании веры, и, если кто не откупится, должен ехать от 300 до 400 верст. Священник приезжает исповедовать· отец духовный по-инородчески, сын духовный по-русски ни слова не знают, одна только пожива священникам. Этот беспорядок может быть пресечен только определением в сибирскую митрополию человека, который бы мог в эти дела благоразумно вникать, и хотя крещение инородцев до́лжно продолжать, однако в таких только местах, где по близости церкви есть, и учредить школы для образования священников из инородцев, а в отдаленных местах проповедь и крещение до времени оставить»

Вследствие этого донесения составлена была комиссия из новгородского митрополита Димитрия, псковского епископа Иннокентия и Теплова. Они подали доклад сменить тобольского митрополита Павла как за нерадение, так и по другим жалобам, избрать нового, лучшего и дать ему от Синода инструкцию относительно проповеди: 1) Слово божие должно быть проповедуемо из одного Евангелия, деяний и посланий апостольских, не отягощая разума обращенных преданиями св. отец, кроме самых нужнейших, каков символ веры. 2) Три обязанности проповедника: учить, увещевать, напоминать; повеление, угроза и строгое с утеснением взыскание есть насилие совести и злочестие. 3) Не до́лжно давать воли проповедникам ездить, куда захотят Архиерей сочиняет план страны, где и какие обитают язычники, выбирает проповедников благонравных, особенно некорыстолюбивых, трезвых, разумных и кротких, и распределяет время и места, когда и куда им отправляться. Начинать до́лжно с ближних к городу мест, дабы мало-помалу вера расширялась Новообращенных не принуждать к таким преданиям церковным, которые могут быть неудобоносимы для непривычных; проповедники должны отдавать отчет архиерею. 4) Проповедник должен иметь вид человека, не по указу присланного, но добровольно пришедшего; проповедники отнюдь не должны прямой веры пополнять суеверием, рассказами о ложных чудесах и откровениях. Проповедники не должны ничего брать, кроме пищи повседневной, и за ту платить 5) Если проповедник языка инородческого не разумеет, то должен употреблять толмача, а впредь принимать из обращенных в семинарии с тем, чтоб

они никогда своего языка не забывали, или лучше и завести учение инородческих языков [97].

Из восточной степной украйны пришло известие, что киргизы собираются напасть на кочующих около Хивы трухменцев; русское пограничное начальство встревожилось, боясь, чтоб киргизы, переменя намерение, не напали на калмыков, и послало предупредить калмыцкого наместника ханства, послало и в саратовскую контору Опекунства иностранных, боясь за немецкие колонии на луговом берегу Волги. Екатерина написала: «Вовсе сии люди, кои сие пишут, карту не знают: яицкие козаки покрывают калмык, а калмыки поселения — и так по пустому людей тревожат. Зри карту. Все сие похоже на малороссийские известия, откудова неоднократно рапортовано, что король прусский едет брать непобедимого города Киева» [98].

Самозванство не прекращалось. В 1769 году беглый солдат Мамыкин на дороге в Астрахань разглашал, что Петр III жив, примет опять царство и будет льготить крестьян [99].

О Петре III толковали и на Астраханской дороге, и около Петербурга. При изложении дела Батурина [100] мы видели, что приговор о нем не был исполнен при Елисавете. При Петре III Сенат хотел сослать его в Нерчинск на работу, но император велел оставить его в Шлюссельбурге и давать лучшее содержание. В 1768 году солдат Сорокин, придя к другому солдату, Ушакову, вынул из кармана две бумажки и говорил: «Я был в Шлюшине (Шлюссельбурге) у одного колодника, который называл себя полковником, у Иоасафа Андреевича Батурина; он отдал мне эти две бумажки и просил, чтоб я одну маленькую подал государыне, а другую Петру Федоровичу, и говорил мне Батурин, что ежели я эти две бумажки подам, то мне будет великое награждение. Ушаков, развернув сперва большую бумажку и увидя, что она писана к бывшему государю, говорил Сорокину: «Пустое, ведь он давно уже умер; ведь ты помнишь, еще мы были в походе, так там это было уже известно, что он подлинно умер». Но Сорокин отвечал: «Нет, брат, Батурин знает планеты; смотря в окошко из казармы на небо, указывал государеву планету и говорил, что он жив и теперь гуляет, а чрез год или два сюда придет». Ушаков взял обе записки и маленькую искал случая подать императрице, случая не находилось, и однажды, подравшись пьяный с хозяином квартиры, выронил обе записки на пол; они были подобраны и представлены куда следовало. Ушаков показал о приведенном разговоре с Сорокиным, а тот прибавил: «Батурин рассказывал караульным, что он хотел Петра Федоровича возвести на престол. Караульные говорили ему: если ты такую услугу Петру Федоровичу оказал, так для чего он тебя, пока жив был, отсюда не освободил? Батурин отвечал: врете вы, государь не умер, а жив, поехал гулять,

а меня здесь оставил под видом; я по планетам знаю, что он жив, планету вижу, и увидите, что он года через два в Россию возвратится». Сорокин признался, что взял бумажки от Батурина, чтоб одну подать государыне, а другую Петру Федоровичу, когда тот приедет в Россию После этих открытий Батурина признали за лучшее удалить в Камчатку; но мы еще должны будем упомянуть о нем впоследствии.

В том же 1768 году лекарь Лебедев донес, что восемнадцатилетний адъютант Опочинин, сын генерал-майора, выдавал себя сыном английского короля и императрицы Елисаветы и составлял заговор свергнуть Екатерину с престола и возвести великого князя Павла Петровича, истребив Орловых, между которыми Екатерина будто бы хочет поделить Россию. Опочинин объявил, что мысль о происхождении внушил ему корнет Батюшков, который говорил: «Сказывала мне покойная бабушка Анна Пребышевская, что когда был здесь английский посол, то в его свите был под именем кавалера посольства сам король английский». Батюшков оговорил конной гвардии берейтора Штейгерса, который будто намеревался с товарищами возвести на престол великого князя, который знает о их намерении чрез Панина; Штейгерс приглашал Батюшкова быть участником заговора и уговаривал приглашать других; Батюшков и пригласил майора Патрикеева и Опочинина. Батюшков, по показанию Опочинина, говорил: «Федор Хитров хотел было свергнуть государыню, да не удалось; сослали его в деревню, да и Захара Григорьича (Чернышова) к этому делу примешали, за что и отставку ему дали, но после, видно, он выправился, и так приняли его в службу по-прежнему; да даром, что он выправился, он нашей партии будет, потому что он не Григория Петровича сын, а сын Петра Великого». Батюшков во всем признался. Штейгерс все сложил на Батюшкова, который говорил: «Больше мне досадно на графов Орловых, что они не помнят милости отца моего и сестру мою Кропотову выгнали из дворца, а меня против воли моей отставили от службы». Батюшков признался, что первый начал говорить о намерении своем произвести такой же переворот, какой произвели Орловы. Преступление Батюшкова приписано пьянству и умопомешательству, он приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в Мангазею с производством ему по 2 копейки в день на содержание, а когда будет в здравом уме, то заставлять работать; Опочинина по молодости лет, также во внимание к раскаянию его и службе отцовской, послать тем же чином в гарнизон на линию [101].

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

1766, 1767, 1768 годы

Борьба с Польшею за диссидентов — Разрыв с Турциею — Сношения с европейскими державами во время этих событий

В то время как Восточная Россия в лице своих депутатов слушала «Наказ» и рассуждала о средствах улучшать свой быт, народонаселение России Западной с трепетом ожидало окончания борьбы, поднятой в Польше решением той же составительницы «Наказа» не успокаиваться до тех пор, пока русские люди «придут в законное положение по правам и справедливости». Таким образом, и здесь и там задача была одинаковая и разрешалась одновременно, но разными способами.

Мы видели, что диссидентское дело порывало старую связь между русским двором и князьями Чарторыйскими, которые издавна считались главами русской партии в Польше.

2 января 1766 года Репнин писал Панину: «Во время бытности на охоте имел я случай говорить с его величеством о духе владычества князей Чарторыйских и о необходимой нужде, чтоб он наконец старался сам господином быть, а не вечно б в зависимости их остался. О сей материи я столько уже к в. высокоп-ству писал, что стыдно мне почти то же все повторять, видя бесплодность и неосновательность всех чинимых мне королем обещаний; и так не смею я, зная его слабость, и сам веру им подавать, а доношу вам оное не с уверением, что оно исполнится, но более как известие. Его величество в вышепомянутом разговоре меня всячески уверял, что он меры возьмет, дабы из зависимости своих дядьев выйти, и что он уже им самим прямо объявил намерение свое иметь директную переписку во всех воеводствах с главными там живущими знатными людьми, дабы чрез них иметь картину состояния и дел каждой провинции и чтоб к нему прямо адресовались те, которые в провинциальные чины произво-

диться желают, и генерально все, кои от него какую-либо милость получить хотят, а не чрез них бы князей Чарторыйских тех милостей просили, как то по сю пору делается. Сей поступок, конечно бы, вскоре подрыв силе Чарторыйских сделал и партизанов их к королю привлек в надежде получения от него разных милостей, но твердость его в сих случаях так мала, что я не смею надеяться, чтоб он подлинно сей поступок в действие произвел, ибо, по несчастию, он себе в голову ту надежду забрал, что он своих дядьев резонами и ласкою убедит и приведет в те границы, в коих подданным быть надлежит; они ж, имея интерес, его в когтях держат, чтоб самовластными быть, конечно, от сего добровольно не отступят, которое я не оставил его величеству прямо и неоднократно уже доносить. Слабость его столь удивительна, что не узнают его пред тем, как он партикулярным был человеком, и заподлинно мне стороною известно, что сам Ржевуский в крайней конфиденции с удивлением отзывался, что он его пред прежним узнать совсем не может, и если бы думал, что он так слаб будет, то бы присоветовать ему сие высочайшее достоинство на себя не принимать; Ржевуский же стал усерден к нашему высочайшему двору, чтоб не мог более того быть, хотя б действительно и подданный наш был, и в том же самом виде всячески старается и к прусскому королю в доброе поведение здешний двор привесть, дабы здесь всегда потолику с ним в дружбе были, поколику он с нами в дружеских обязательствах находиться будет. И об сем я с королем в разговоре говорил, который утверждал, что король прусский николи благосостояния и некоторого активитета Польше не пожелает; а я ему, напротив, изъяснял, что король прусский на то согласится, если Польша захочет ему доказать, что благосостояние ее ему полезно быть может чрез союз с нею, в котором она по многим вещам ему помощью быть может, все сие, разумеется, поколь и сколько прусский король с нами дружески пребудет. Наконец, и в сем разговоре его в-ство мне обещал все то учинить, что за полезно и нужно России покажется, уверяя, что он, конечно, от нашей системы никогда нимало не отступит. Не знаю, твердо ль останется его в-ство в вышеписаных намерениях. В совершенной его к нам преданности и в его прямодушии я нимало не сомневаюсь и почти за оные отвечать осмеливаюсь, но слабость его против дядьев несказанно велика, а они всегда дела замешивают и замешивать будут, дабы тем навсегда нужными королю быть».

Охлаждением между русским двором и Чарторыйскими хотела пользоваться враждебная фамилии партия и стала заискивать расположения державы, могуществом которой была сокрушена Великий казначей коронный граф Вессель уверял Репнина, что воевода киевский, епископ краковский,

гетман польный, воевода краковский, маршал надворный, коронный и многие другие желают только одного — быть в русской партии независимо от короля, что они не войдут ни в какое обязательство с другими иностранными дворами, если русский двор возьмет их в свое покровительство; но Россия за то должна защищать их твердо и сильно против Чарторыйских, и прежде всего на будущем сейме должна разрушиться генеральная конфедерация, на которую главным образом опирается партия Чарторыйских. Вессель просил Репнина как можно скорее дать ему ответ, чтоб им заранее принять меры к будущим сеймикам, если будут обнадежены русским покровительством. Репнин отвечал ласково, но в общих выражениях, что русский двор никогда не отказывает людям, которые с истинным усердием прибегают к его покровительству, и что правосудие и соблюдение польских прав всегда руководили политикою России; касательно же решительного ответа Репнин просил подождать и дать ему время подумать и снестись с своим двором. Извещая об этом разговоре с Весселем, Репнин писал Панину: «Если *паче всякого чаяния* найдемся мы в той самой крайности, чтоб особо партию свою собирать независимо от короля, то оное без большой трудности учинить можно будет по великому числу недовольных здешних магнатов и в том случае надобно будет и письменно их обязать, дабы не так легко они, как прежние наши здешние друзья, на все стороны вертелись. Признаюсь же, что с наичувствительнейшим оскорблением о сем способе говорю, ибо оный нанесет несказанное неудовольствие королю, который, конечно, предан нам, но на сию преданность, по несчастию, считать неможно по чрезмерной его слабости, коей мы столько уже доказательств имели».

Репнин напрасно употребил выражение *«паче всякого чаяния»*. Необходимость противодействовать Чарторыйским, опираясь на людей, им враждебных, была очевидна для успеха диссидентского дела. Конисский все жил в Варшаве, добиваясь управы; Репнин подал в его пользу два мемориала польскому министерству, что сделал, заметив, что министерство не хочет оказать ему удовлетворения, а виновником этого нежелания оказывался Чарторыйский, канцлер литовский: он настаивал, что в этом деле не нужно издавать королевского универсала, а надобно только разослать министерские письма по униатским епископам, чтоб они не притесняли более греческого исповедания. Но известно было, что подобные письма не имели никакого действия; тот же Чарторыйский сопротивлялся конфирмации привилегий православным. Король, который прежде хотел дать Конисскому полное удовлетворение, стал колебаться.

Ввиду этих колебаний короля, которые в Петербурге приписывались Чарторыйским, Панин писал Репнину, что пред-

ложение Потоцких вступить в непосредственную связь с Россиею заслуживает полного внимания; из поступков фамилии нельзя не заключить, что она мало думает об удовлетворении русских требований, особенно по диссидентскому и пограничному делам, что фамилия думает об одном, как бы руководить королем, обращать все в свою пользу и располагать делами по своим мыслям и интересам. Теперь приходит время, когда король может доказать на деле, как далеко он намерен способствовать видам и намерениям императрицы: диссидентское дело, будучи нераздельно соединено с благосостоянием наших единоверных и потому интересуя в высшей степени достоинство ее величества, будет служить нам в этом случае прямым опытом искренности его польского величества или слабости, в которой он останется пред своими дядьями Если предположить первое, то необходимо предположить разрыв между королем и князьями Чарторыйскими, следовательно, надобно заранее стараться, во-первых, доставить ему другую опору и, во-вторых, показать Чарторыйским, как много они могут потерять, лишась русского покровительства. Если же король останется в руках фамилии, в зависимости от нее, то нам нужно иметь другие орудия, посредством которых можно было бы достигнуть желаемого. «Поэтому, — оканчивал Панин, — рекомендую вам привязать к нашим интересам фамилию Потоцких».

Репнин постоянно толковал о преданности и слабости короля; это могло возбудить подозрение, не оказывает ли сам посол некоторой слабости вследствие своей преданности Станиславу-Августу, и решили на помощь Репнину послать человека, который по своему характеру, казалось, способен был с достаточною силою высказать требования своего двора, и если не заставить короля и Чарторыйских исполнить эти требования, то по крайней мере привести в ясность отношения: то был известный уже нам Сальдерн. Мы познакомились с голштинцем Сальдерном в царствование Петра III, когда он, нося звание конференц-советника, назначен был уполномоченным на Берлинский конгресс по датским делам. В это время он выставлял себя человеком, вполне преданным Пруссии, а после 28 июня 1762 года мы видим его заведывающим голштинскими делами и человеком, очень близким к Панину, который называл его своим другом. Сальдерн умел подделываться к сильным людям, принимая горячо к сердцу их интересы, усваивая и развивая их любимые мысли. Так, он заявил себя пред Паниным горячим поклонником любимых мыслей его о северном аккорде и об уступке Голштинии в пользу короля датского. Но Сальдерн не пренебрегал и другими средствами для приобретения благосклонности сильных людей: так, в письмах к Панину он называл его своим отцом и покровителем, говорил о своей невыразимой радости при

виде подписи Панина, о небесном чувстве, какое он испытывал, находясь в присутствии Панина. Но этот человек, как обыкновенно бывает, спешил вознаградить себя, когда был не в присутствии сильного, а сам был сильным; тут он давал всю волю своей раздражительной природе; и люди, обязанные иметь с ним дело, не испытывали в его присутствии небесного чувства.

Сальдерн отправился в Варшаву и от 17 апреля писал Панину, сколько труда принял он, стараясь направить на настоящий путь короля и членов различных партий. Сальдерн выражал надежду, что король по серьезному тону, с каким он, Сальдерн, представил ему страшную будущность, сделается осторожным в своем поведении, постоянным в своих принципах, раз признанных верными, и твердым в их проведении. Король дал ему обещание не даваться в руки своим дядьям, но в то же время признал необходимым обуздывать и своих родных братьев и друзей, которые действуют против Чарторыйских. Сальдерн передавал и ответ Чарторыйских на его представления и требования, делая которые он употреблял то ласку, то угрозы. «Мы до сих пор думали, — говорили Чарторыйские, — что король, будучи молод, нерешителен и недоверчив к своим собственным средствам, нуждается, по крайней мере для внутренних дел, в нас, своих старых друзьях и родственниках, как руководителях, и мы думаем, что такой взгляд наш и справедлив, и умерен, когда мы видим, что король, окружив себя новыми друзьями и молодыми людьми, слепо предался их идеям и советам. Мы часто имели случай противиться людям, которых принципы нам подозрительны и которых советы вредят истинным интересам короля и отечества. Наши лета, наше положение и благоразумие не позволяют нам добиваться презренного титула королевских фаворитов. Пусть он имеет сердечных друзей и фаворитов сколько ему угодно, пусть раздает им места, осыпает богатствами и благодеяниями всякого рода, лишь бы только это было не противно законам; пусть он с ними забавляется: смешно было бы для нас этим оскорбляться. Но когда мы видим, что эти молодые люди ослеплены фавором и поддерживаются средствами, которые они употребляют для возбуждения чувственности и безрассудства короля, то мы считаем своею обязанностью противиться им, хотя нам никогда не приходит в голову образовывать особую партию или отделить свой интерес от истинных интересов короля и нации. Но как скоро мы увидим, что наши представления будут бесполезны и зло так сильно, что будет иметь влияние на настоящее и будущее, то мы готовы покинуть государственную деятельность и оставаться спокойными зрителями. Мы убеждены, что такое решение и такое поведение не может понравиться русскому двору, ибо рано или поздно, и особенно на будущем

сейме, вся вина может пасть на нас: интриги и хитрости наших завистников и врагов никогда не перестанут портить дела с целью увеличить обвинения против нас».

Передавая эти речи Чарторыйских, Сальдерн писал: «Если князья захотят искренне удалиться от дел, то найдется средство успеть во всем и без них, хотя это и несколько замедлит дело, но если они захотят удалиться не одни, а увлекут за собою и всех своих сторонников и сделают это вовсе не вовремя и с горечью, то зло будет неминуемо и поведение их испортит все на будущем сейме, как на прошлом сейме испорчено было диссидентское дело, которому они не хотели добросовестно помогать. Мне кажется, надобно теперь их щадить и держать при делах до тех пор, пока не обнаружится их поведение на будущем сейме; если их поведение окажется дурным, то можно будет принять свои меры и предосторожности».

Репнин писал Панину, что пребывание Сальдерна в Варшаве было для него благодеянием, и расхваливал изо всех сил деятельность Сальдерна; но из его слов выходило, что Сальдерн, несмотря на все свое усердие, не мог ничего сделать; поэтому Репнин был вполне оправдан и действительно должен был восхищаться присылкою Сальдерна и его неутомимою деятельностью. «Осмелюсь сказать, — писал Репнин, — что если пребывание Сальдерна не исправит поведения здешнего двора, то уже ничто на свете его не исправит. Не было дня, в который бы он не говорил королю самых резких вещей насчет непоследовательности и слабости его поведения; точно так же поступал он и с князьями Чарторыйскими, чтоб положить предел их безмерному честолюбию и дать им понять, какие печальные следствия будет иметь их неисправимость. Он подобно мне льстил себя надеждою, что можно их помирить с королем и его братьями; но это оказалось совершенно невозможным. Г. Сальдерн со всех сторон получил много обещаний и прекрасных слов; время покажет, что из этого выйдет, ибо, зная чрезвычайную слабость короля, я не могу надеяться, чтоб он когда-нибудь сделался тверд, точно так как не могу поручиться, чтоб дядья снова им не овладели».

А между тем король решился прямо действовать в Петербурге мимо Репнина, для чего придумал отправить туда графа Ржевуского, человека, считавшегося совершенно преданным России. Репнин узнал, что Ржевускому предписано домогаться вывода русских войск из польских владений, особенно по настоянию князя Михаила Чарторыйского. Репнин в разговоре с Ржевуским упомянул об этом, не делая вида, что наверное знает об инструкции. Ржевуский признался, что действительно имеет такое повеление. Тогда Репнин с удивленным видом сказал ему, что ведь это противоречит тем

мнениям, с которыми и он, Ржевуский, был согласен, именно, что войска нужны для обуздания нации и для побуждения ее к исполнению требований по диссидентскому делу. Ржевуский отвечал, что все это так, но что король делает только вид, не будучи в силах противиться представлениям своего министерства, которое основывается на просьбах, присланных из всех уголков Польши. Репнин писал по этому случаю Панину: «Желая полного успеха на будущем сейме, совершенною надеждою, однако ж, льститься не смею; в случае же неудачи думаю, что нужно будет ввести наши войска в деревни противников нашим намерениям, чтоб уменьшить их гордость, упрямство и кредит в земле, ибо когда партизаны увидят, что шефы их не могли себя оградить от сего поступка, то натурально от них отставать станут, не имея надежды, чтоб они их более себя спасти могли. Я чрез сие разумею двух стариков Чарторыйских, которые одни в нынешних обстоятельствах наши дела сделать и испортить могут, тогда ж уже по обстоятельствам увидим, если дела против желаний наших решатся, каким образом оное исправить, чрезвычайным ли сеймом, новою ли конфедерациею или другим каким образом». Екатерина написала Панину на этом донесении: «Я думаю, что и сих стариков склонить можно действовать по нашим желаниям на будущем сейме; поговорите о сем со мной».

Панин отвечал, что императрица одобряет все сделанное Репниным вместе с Сальдерном, и предписывал Репнину: присматривая с крайнею осторожностью за поступками Чарторыйских и восстановляя по возможности согласие между ними и королевскими креатурами для приближающегося сейма и успеха диссидентского дела, в то же самое время тайно привлекать к себе Потоцких и других противников фамилии ввиду того же диссидентского дела, внушать им по секрету, что так как это дело касается близко славы императрицы и пользы их отечества, то содействием ему они приобретут благоволение императрицы, а следовательно, и могущественное влияние в делах Польши. Потом Панин предписывал не допускать никакого французского министра к сеймовым делам.

Если все усилия с русской стороны клонились к тому, чтоб на будущем сейме провести с успехом диссидентское дело, то не дремали и враги этого дела. Масальские, до сих пор такие ревностные приверженцы России, теперь объявили себя в Литве злыми врагами диссидентов, и Репнин распорядился отправлением к ним офицера с увещанием удержаться, если не хотят подвергнуться каким-нибудь неприятностям. В собственной Польше врагом диссидентского дела явился краковский епископ Солтык, который в письме своем к королю прямо хвалился, что на будущем сейме употребит все усилия, чтоб диссиденты не получили никаких прав. «Я ду-

маю, — писал Репнин Панину в конце июля, — я думаю, что сие ему даром пройти не долженствует, если мы не хотим поляков к дерзости приучить и повод дать слова наши не почитать, не подкрепляя их делами». Репнин просил позволения ввести до сейма русские войска в деревни Солтыка. «Который образец, — писал он, — конечно, приведет в почтение наши здесь требования, и всякий будет остерегаться им перечить, а между тем сие движение войск приблизит их к Варшаве, что и всем будущим в Варшаве на сейме в некоторое обуздание служить станет. Я рассуждаю, что в Литве нужно несколько войска оставить також для образца над Масальскими, если они тоже свои развратные поступки продолжать будут».

Панин отвечал, что императрица соизволила на это представление. При этом Репнину приказывалось прямо объявлять всем, что диссидентское дело нераздельно соединено с благосостоянием республики или с весьма дурными последствиями для тех, которые будут ему препятствовать. Императрица дружбу и доброжелательство свое к существенным польским интересам поставит в зависимость от того положения, в какое будут поставлены диссиденты на сейме. Какие следствия будет иметь препятствие успеху диссидентского дела, это легко можно видеть из того, чему подвергнутся Масальские и Солтык; а если они и единомышленники их не исправятся после этого первого поучения, то могут быть уверены, что на границах стоит 40 000 войска, которое тотчас будет введено в Польшу и Литву, расставлено по деревням противников и содержано на их иждивении, потому что императрица считает диссидентское дело интересующим и собственную ее славу, и прямое благо республики и непременно желает достигнуть его успеха всеми возможными способами, даже самыми сильными, дабы истребить препятствия в самом их источнике, т. е. в имениях и лицах тех людей, которые, возбуждая волнения и беспокойства, становятся этим самыми сущими злодеями своего отечества.

Станислав-Август писал совершенно другое Ржевускому в Петербург. «Чем более я думаю, — писал король, — тем более нахожу дурною мысль провести диссидентское дело с помощью оружия. Во-первых, чтоб сделать меру действительною, надобно выставить большое войско; во-вторых, когда дела поведутся таким образом, то они станут для меня семенем Равальяков, а для диссидентов породят Варфоломеевскую ночь... Диссидентское дело трудно, но не невозможно; ради бога, чтоб не было русского войска в Польше, чтоб не было фраз, доказывающих иностранное господство». В то же время Чарторыйские отправили к Панину письмо, наполненное жалобами на короля и на Репнина. «Признаемся, — писали Чарторыйские, — что с величайшим прискорбием

видим мы исчезновение наших лучших надежд, исчезновение средств, дарованных, казалось, провидением для того, чтоб вывести Польшу из глубины зол, в которые она была погружена. Вместо счастливого будущего мы теперь предвидим одну смуту, если король будет окружен постоянно молодежью, которая без опытности и системы руководствуется одними страстями, портя самые важные дела по самым мелким побуждениям, не разбирая средств для приобретения королевской благосклонности, всякими хитростями злоупотребляет ежедневно умом и сердцем короля, раздражает его, делает раздражительным относительно тех, которые могли бы обратить его к постоянной системе. Люди, окружающие короля, никогда бы не посмели действовать так открыто и смело, если б они не льстили себя поддержкою России вследствие публичного, самого явного покровительства и приема, которые оказывает им ежедневно князь-посол, и вследствие удаления, которое он оказывает нам без всякого прикрытия. Мы принуждены вам сказать, что такое поведение князя Репнина перевернуло мысли большей части нашего народа, заставило думать, что одни дружеские связи и забавы вашего племянника не могли бы внушить ему такого пристрастия, если бы политическая система России была этому противна. Перспектива будущего сейма приводит нас в ужас. Императрица, конечно, хочет добра Польше и хочет дать нам доказательства этого желания своего, настаивая на диссидентское дело; ни один образованный поляк вместе с нами не сомневается в важности этого предмета для пользы страны; но подобные дела во всякое время подвержены народным предубеждениям, должны быть ведены искусными руками; тут надобно употреблять не чуждую силу, всегда унизительную для народа, а кротость, искусство приобретать доверие и уважение каждого значительного лица в государстве. Несмотря на наши усилия и намерения императрицы, дело, без сомнения, не удастся, если самые главные пружины кротости и убеждения не будут употреблены искусно и настойчиво. Ни императрица, ни вы не будете свидетелями наших действий, и легко будет нас обвинять за 200 лье. Если люди, идущие к одной цели, не могут устроить между собою точного соглашения и не помогают взаимно друг другу, то при лучших намерениях успех невозможен. Но какое может быть соглашение, когда нет доверия, а доверия к нам нет в сердце князя Репнина, хотя мы не пренебрегли ничем для его приобретения с самого приезда князя сюда. Мы с удовольствием увидали бы возрождение этого доверия благодаря вашим внушениям».

Панин сообщил Репнину копию этого письма и копию ответа своего на него: в самых мягких и красивых выражениях было поставлено Чарторыйским на вид, что императрица

имела полное право заподозрить их поведение во время коронационного сейма: иностранные дворы давали знать, что они, Чарторыйские, меньше всего помогали диссидентскому делу, и, действительно, удаление их с сейма подтверждало эти известия. Если князь Репнин примешал сюда еще какую-нибудь личность, то он будет остановлен, но императрица требует, чтоб они содействовали как следует достижению ее целей, а этих целей три: союз России с Польшею, восстановление прав диссидентов и определение границ. На диссидентское дело императрица смотрит как на пробу, по которой она узнает их расположение. Единственное время, в которое это дело может пройти путем кротости, есть время будущего сейма: тут-то они должны показать свою преданность к императрице и к отечеству, содействуя успеху дела мудростью своих советов, своим значением в государстве и своею опытностью. Что же касается определения границ между Россиею и Польшею, то императрица поднимает этот вопрос вовсе не с целью увеличения своих владений, но с тем, чтоб пограничные жители вышли наконец из этого первобытного состояния людей, которые не знают, ни что твое, ни что мое, и которые сохраняют свою собственность только путем силы и насилия. Когда границы будут установлены, то ничто не помешает тесному союзу между обоими государствами.

Репнину Панин писал, чтоб он, возвращая Чарторыйским свою доверенность и уверяя их в желании русского двора видеть короля предпочитающим их советы советам молодых людей, стремящихся к достижению своих частных целей, в то же время прямо дал им выразуметь, что императрица видит в короле неумеренное стремление к его собственному интересу, т. е. к некоторому распространению его власти, что будет тревожить людей, любящих свободу, и возбуждать недоверие соседей. Если б возник вопрос об умножении войск республики, то Репнин должен рассуждать пред Чарторыйскими, что они, как старики умные и искусные, должны знать, что увеличение военных сил происходит или во время войны с слабыми соседями, или во время упадка последних; но Польша относительно своих соседей не находится ни в том, ни в другом положении и, конечно, не захочет начать войну с целью увеличения своего войска. Поэтому у нее нет другого средства к возвращению себе силы, кроме союза с державами, которых собственная политическая надобность потребовала бы и ее усиления. Репнин должен был обходиться с Чарторыйскими ласковее, ибо, как ни рассуждать, все же фамилия Чарторыйских должна служить лучшим орудием при успешном окончании наших дел с Польшею: ее главы, канцлер литовский и воевода русский, имеют, бесспорно, больше всех других искусства и средств по своему кредиту; кроме

них, не из кого выбрать человека, кому бы можно вверить руководство дел и составление новой партии.

«Конечно, — отвечал Репнин от 21 августа, — содействие князей Чарторыйских на будущем сейме необходимо не потому, чтоб можно было полагаться на их прямодушное усердие, но потому, что кредит их очень велик, и хотя сердце у них дурное, но головы здоровее, чем у кого-либо в этой земле. Изъяснения их к в. высокопр-ству не все справедливы, как, например, насчет королевского поведения. Я вполне согласен, что слабости и порывистости в нем чрезвычайно много, но не могу согласиться, чтоб какое-нибудь, хотя маловажное, дело сделано было без их ведома; что же касается до моих отношений, то, конечно, не одни забавы были причиною моего удаления от них, но их двоедушие и неблагодарность к нашему двору. Поведение их по получении вашего письма не переменилось, все по-прежнему ограничивалось холодною учтивостью: видно, они ожидали, чтоб я сделал первый шаг; я его сделал».

Репнин отправился к воеводе русскому с уверением о возвращении ему доверенности и благоволения императрицы в надежде, что его усердие и преданность будут вполне соответствовать этой милости. Чарторыйский отвечал уверениями в своем усердии, преданности и благодарности. После взаимных комплиментов приступили к делу. Репнин просил воеводу открыть все способы, которые могут вести к успеху в диссидентском деле; воевода отвечал уверениями в своем усердии, но за успех дела не поручился. «Кто же первый станет говорить об этом на сейме? — спросил Чарторыйский. — Я по крайней мере сделать этого не осмелюсь». Репнина сильно оскорбили эти слова; он указал воеводе на важность следствий неудачи дела и прибавил, что если главные будут остерегаться открыто содействовать успеху дела, то меньшие, конечно, не станут о нем говорить. Чарторыйский отвечал, что все свои границы имеет. Потом Репнин начал говорить о возмутительных разглашениях Масальских, епископа краковского и недавно присоединившегося к нему епископа каменецкого Красинского, спросил, не находит ли он полезным расположить по их деревням русские войска. Чарторыйский отвечал, что такой поступок встревожит, оскорбит и отвратит всех от русской стороны и может совершенно разрушить сейм. Чарторыйский прибавил, что, по его мнению, полезно вовсе вывести русские войска во время сейма, ибо потом войска всегда могут возвратиться. Репнин заметил, что так как конфедерация еще существует, то существует и причина, приведшая русские войска в Польшу. Репнин окончил свое донесение об этом разговоре так: «Остается теперь видеть праводушие и усердие их поступков на сейме; и если на оном ласкою и приветствием желанного конца не получим, то, кроме силы,

доходить до оного способов уже не остается». Екатерина заметила: «Если они дали ему слово, то сдержат его».

21 августа Репнин писал Панину, что в Великой Польше все главные обещали поддерживать диссидентов, но препятствовали друзья одного из Чарторыйских, епископа познанского; и, когда Репнин стал жаловаться на это воеводе русскому, тот отвечал, что ничего не знает, не получал от брата никаких известий. Репнин оканчивал письмо словами: «Истинно исполнение сего дела столь тяжело, столь запутанно и столь трудно, что я часто в отчаяние прихожу». Екатерина, защищая опять старших Чарторыйских, написала о познанском епископе: «Это дурак, которого братья никогда не в состоянии направить на путь истинный: шуты имеют на него больше влияния».

Репнин писал о Солтыке, что он сносится с иностранными государями, требуя их помощи в диссидентском деле, что по его влиянию на краковском сеймике католическая шляхта выгнала всех диссидентов; а Солтык писал к графу Григ. Григ. Орлову, что он нимало диссидентов не притесняет, но Репнин в разговоре с его поверенным грозил ему, епископу, Сибирью и секвестром его имений. Репнин оправдывался, что никогда ничего подобного не говорил, относительно же диссидентов слался на их депутата Гольца, который отправлялся в Петербург и мог там заявить, что нет несправедливости, какой бы не позволил себе против них епископ краковский, и что ни в одной епархии так свирепо с ними не поступают.

Относительно Чарторыйских Репнина лучше всего оправдала депеша Станислава-Августа к Ржевускому в Петербург. «Вы знаете, — писал король, — что я давно уже и постоянно требовал у дядей своих, чтоб они объяснили мне свои распоряжения относительно сеймиков, из боязни, чтоб их поверенные и мои по незнанию не противодействовали друг другу. Вы были свидетелем, как они всегда отклоняли это объяснение, и вот именно случилось то, чего я боялся: на многих сеймиках выборы произошли двойные. Для меня важно, чтоб г. Панин знал об этом заранее, иначе дядья мои скажут русскому правительству, что дело не удалось вследствие моего нежелания войти с ними в соглашение и дать им достаточно влияния. Для меня и для дел важно, чтоб они узнали от других, а не от меня (т. е. чтоб императрица велела им написать), что Россия будет стараться об ослаблении их влияния как в стране, так и у меня, если они не станут мне помогать и доставлять мне во всем удовольствие, вместо того чтоб мне противодействовать, как теперь. Я вам поручаю это как дело чрезвычайной важности. Попросите г. Панина моим именем, чтоб он это сделал, и как можно скорее; мне бы не хотелось начинать сейма без этого внуше-

ния моим дядьям. Князь Репнин обходится теперь с ними как нельзя лучше».

Внушение было сделано. 10 сентября Панин написал Чарторыйским, чтоб они не щадили никакой заботы, никакого труда для успеха диссидентского дела, ибо здесь представляется решительный случай показать им свои намерения. «Не скрою от вас, — писал Панин, — что одно ваше равнодушие в этом деле и в других, относительно которых императрица знает и одобряет расположение короля, уничтожит в принципе все добро, которое ожидалось от революции, и событие, на которое смотрели как на источник счастья для вашего отечества, произведет только ряд неприятностей для него, для короля и лично для вас».

Сделано было внушение Чарторыйским, но должно было также сделать и сильное внушение королю. От 1 сентября Репнин донес, что король прислал к нему проект постановления о диссидентах для будущего сейма, и в этом проекте он, Репнин, нашел много вредных и неприличных вещей, ибо, что в нем говорится в пользу диссидентов, то говорится глухо, в общих выражениях, а противное подробно и ясно выражено; не упомянуто вовсе о диссидентских церквах, о сохранении их навсегда с принадлежащими к ним имениями, с позволением поправлять их и перестраивать; не изъяснены религиозные права, обеспеченные договорами, тогда как здесь надобен ясный закон ввиду ябед со стороны польского католического духовенства и значительной части народа; наконец, в проект внесено, чтоб диссиденты никогда не были допускаемы к правительственным должностям и гражданским чинам. По настоянию Репнина Чарторыйский, канцлер литовский, взялся переделать проект, который, однако, без переделки уже был отправлен в Петербург к Ржевускому для показания Панину. Репнин писал последнему: «Думаю, прожект в некоторое удивление ваше высокопр-ство привел».

Следствием этого удивления было письмо Панина к Репнину от 18 сентября. «Поручаю вам, — писал Панин, — дать почувствовать королю, что при тесной дружбе и искренней доверенности государи так между собою не обходятся, как его польское в-ство поступил, что заставляет подозревать желания беспредельные, недостаток искреннего доверия и стремление выигрывать время, проводить нас пестрыми словами и двоякими обнадеживаниями, а между тем достигать только собственных своих односторонних видов. Такое поведение, обнаруживаясь все более и более, может наконец принудить здешний двор разрушить генеральную конфедерацию и соединиться с теми, которые хотят поставить сейм в обыкновенный законный порядок, дабы, уничтоживши на нем большинство голосов, заградить королю все пути усиливать себя далее к нашему предосуждению. Тогда нам удобнее будет составить

конфедерацию из диссидентов и чрез нее действовать вооруженною рукою. Новомодные польского двора друзья и приятели именно тут помогут: пока они будут льстить королю и собираться защищать его, мы успеем кончить все и решить навеки жребий наших ложных друзей, которые будут раскаиваться в своей неблагодарности, да поздно. Прусский король крепко у нас домогается прекращения генеральной конфедерации, и потому польский король должен поставить себе за необходимое правило, что, не приведя наших дел к желаемому императрицею концу, нельзя ему и помышлять ни о какой для себя новой пользе, не только стремиться к ней самым делом. Государыня императрица проникает уже все тонкости польского двора; и теперь она чувствительно тронута и оскорблена новою его хитростью, сшитою белыми нитками, ибо в то самое время, когда манили нас надеждою достижения всего желаемого, когда прислан был проект определения на сейме свободного отправления диссидентских религий, не дождавшись ответа императрицы, который один должен был положить меру, захотели озадачить нас другим проектом сеймовой конституции, которая наглым образом, торжественно и навеки отвергает то, о чем ея в-ство больше всего старается. Из такого оскорбительного двоедушия императрица может заключить одно: что хотели предупредить формальное с нашей стороны требование гражданских прав для диссидентов. Надобно вам непременно держаться правила, чтоб до приведения диссидентского дела в полное течение король ничего важного в пользу своих видов получить не мог и, таким образом, до окончания дела оставался у нас в уезде, тем более что теперь и его собственное и дядей его отвращение к восстановлению диссидентов в гражданских правах начинает открываться уже явным образом; но императрица никогда не отступит от этого требования. Старайтесь всеми мерами собрать к себе как можно больше диссидентов, в том числе и из наших единоверных, если между ними есть способные люди; обходясь с лучшими из тех и других откровенно, приготовляйте и ободряйте их надеждою сильного покровительства императрицы, пусть они подадут промеморию королю и сейму, в которой бы как вольные граждане требовали восстановления своих прав».

В Петербурге непременно хотели введения диссидентов в гражданские права; в Варшаве никто не имел никакой надежды достигнуть этого обыкновенным, мирным образом. Король писал Ржевускому: «Приказания, данные Репнину, ввести диссидентов и в законодательную деятельность республики, суть громовые удары для страны и для меня лично. Если есть какая-нибудь человеческая возможность, внушите императрице, что корона, которую она мне доставила, сделается для меня одеждою Несса: я сгорю в ней, и конец мой

будет ужасен. Ясно предвижу предстоящий мне страшный выбор, если императрица будет настаивать на своих приказаниях: или я должен буду отказаться от ее дружбы, столь дорогой моему сердцу и столь необходимой для моего царствования и для моего государства, или я должен буду явиться изменником моему отечеству. Если Россия непременно захочет ввести диссидентов в законодательство, то пусть их будет немного, 10 или 12, все же это будет 10 или 12 вождей законно существующей партии, смотрящей на государство и правительство польское как на врага, против которого она должна необходимо и постоянно искать помощи извне. Я знаю, что это дело может мне стоить короны и жизни, я это знаю, но повторяю, что не могу изменить отечеству. Если в императрице осталось малейшее чувство благосклонности ко мне, то есть еще время. Она может дать приказания Репнину, что если сейм уступит диссидентам в других их требованиях, но исключит их из законодательства, то чтоб он не двигал войск, находящихся в Литве, и чтоб не вводились новые войска во владения республики. Сила может все — я это знаю; но разве употребляют силу против тех, которых любят, чтоб принудить их к тому, на что они смотрят как на величайшее несчастье. Я не мог решиться написать это прямо императрице; я побоялся, чтоб мое надорванное сердце и чрезвычайное волнение моего духа не внесли в мое письмо таких слов, которые вместо смягчения могли бы раздражить ее. Но вы делайте, что можете. Погибнуть — ничего не значит, но погибнуть от руки столь дорогой — ужасно».

Репнин также ужасался. «Повеления, данные по диссидентскому делу, ужасны, — писал он Панину, — истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти ни малой надежды, кроме единственной силы, исполнить волю всемилостивейшей государыни касательно до гражданских диссидентских преимуществ». Но Екатерина не ужаснулась и велела отвечать Станиславу-Августу, что решительно не понимает, каким это образом диссиденты, допущенные к законодательной деятельности, будут вследствие этого более враждебно относиться к государству и правительству польскому, чем относятся теперь; не может понять, каким образом король считает себя изменником отечеству за то, чего требует справедливость, что́ составит его славу и твердое благо государства. «Если король так смотрит на это дело, — заключила Екатерина, — то мне остается вечное и чувствительное сожаление о том, что я могла обмануться в дружбе короля, в образе его мыслей и чувств».

Репнин продолжал повторять прежние известия: «Другого в склонности публики в диссидентском деле донести не могу, как то же, что и прежде доносил: все против введения диссидентов в гражданские чины, слышать не хотят, чтоб они

могли быть на сеймах земскими послами, и много таких безумных и беспутно-отчаянных голов, которые говорят, что лучше до крайности дойти и потерпеть совершенное разорение от русских войск, чем согласиться на это». Репнин объявил королю, что Россия требует всех гражданских прав для диссидентов, исключая одного права — быть сенаторами и гетманами; но если Россию заставят силою достигнуть этого, то, может быть, тогда она не согласится и на это исключение. «Но ведь нацию нельзя к этому уговорить!» — возражал король. «Воля ее и. в. непременна и во всей точности исполнена будет», — отвечал Репнин. Король всячески его *оборачивал* и выспрашивал, подлинно ли это последнее слово с русской стороны, подлинно ли русские войска вступят в Польшу, если диссидентское дело не пройдет на сейме. Репнин уверял, что подлинно. Тогда король спросил его: «Можете ли вы мне поручиться, что, если все требуемое вами будет исполнено, императрица будет совершенно довольна и далее этого дела не поведет?» Репнин отвечал, что может поручиться. Чарторыйские говорили, что не видят почти способа заставить нацию исполнить желание России, но будут стараться об этом по возможности, не отвечая за успех, который выше их сил.

19 сентября Репнин вместе с министрами прусским, датским и английским отправился к примасу, у которого собралось все польское министерство. Представители четырех держав объявили о соглашении между своими дворами действовать в защиту диссидентов, вследствие чего они, посланники, формально требуют восстановления диссидентов во всех древних правах и вольностях и просят заранее донести об этом его величеству. Примас отвечал, что исполнит их желание, а король на днях соберет всех присутствующих сенаторов для объявления им об этом. «Фанатизм, — доносил Репнин, — усиливается в такой степени, что начинают меня избегать, как некогда избегали отлученных от церкви; за столом пьют за здоровье защитников католической религии, причем разгоряченные головы клянутся скорее погибнуть, чем допустить какое-нибудь улучшение в положении диссидентов; а со стороны диссидентов никого еще до сих пор здесь нет, чем я очень недоволен, — нерадение непростительное! Я ко многим писал и ответы имею, что будут, а между тем не едут».

Скоро Репнин должен был донести в Петербург, что отношения определились: король и Чарторыйские прямо объявили, что не согласны на введение диссидентов не только в управление, но и в гражданские чины, готовы хлопотать только об одной терпимости. Репнин отвечал Чарторыйским, что если так, то он введет русские войска в деревни епископов краковского и виленского, чтоб из этого примера и другие увидели, что ожидает противников диссидентского дела. Чарторыйские сказали на это, что будут терпеть разорения и

все бедствия, но русским требованиям по этому делу удовлетворить не могут.

Угрозу нужно было исполнить, и 24 сентября Репнин писал в Петербург: «Я решился к генерал-майору Солтыкову от сего ж числа повеление послать вступить с своим корпусом в деревни епископов краковского и виленского, питаясь на их коште, ибо ничего уже хуже по диссидентскому делу быть не может, как то, что есть, а может быть, сей поступок импрессию сделает и что-либо поправит. Никакой надежды нет без употребления силы в сем деле предуспеть: и так на нее одну остается уповать, ибо не только часть сейма сему делу противна будет, но и все головой, когда сверх всего духовенства и его инфлюенций присовокупляются к противникам король, князья Чарторыйские и их партизаны, что уже в себе все и заключает». На это донесение императрица отвечала рескриптом от 6 октября, что, если на сейме диссидентское дело не будет доведено до формальной с ним, послом, и с диссидентами негоциации, из которой бы резонабельных плодов ожидать было можно, и если опять потерю всякой надежды должно будет приписать одному коварству стариков Чарторыйских, в таком случае, определя с разборчивостью положение дел, употребить все старание к разрыву генеральной конфедерации и сейма, потому что Чарторыйские посредством конфедерации, при которой дела решаются большинством голосов, хотели провести преобразования. В самом начале до́лжно прямо адресоваться к тем из соперников фамилии Чарторыйских, которые приобретенному ею в делах перевесу наиболее завидуют. *Нельзя сомневаться,* чтоб такой в мнениях наших оборот не произвел важной в духах перемены и чтобы многие из соперников князей Чарторыйских, кои теперь диссидентскому делу противны, не обратились на лучшие по оному мысли».

Но Репнин сильно сомневался и, прежде чем употребить насилие и окончательно разрывать с Чарторыйскими, попытался в последний раз уладить дело, уступив часть русских требований. Видя «струны, столь туго натянутые, что необходимо совсем порваться должны», он подал королю от себя совет, чтоб он для избежания важных последствий предложил императрице ввести диссидентов в одни гражданские чины с исключением прав быть земскими послами на сеймах. Король, по-видимому, принял совет и через несколько времени показал Репнину свое письмо к императрице; но в этом письме он предлагал одну религиозную терпимость с исключением диссидентов из всех гражданских чинов. «Этого я не советовал», — сказал изумленный посол. «А другого я не могу представить», — отвечал король. Репнин рассердился. «Ее и. в-ство, — сказал он, — всегда будет желать благосостояния Польской республики; но в тех, которые будут противиться

диссидентскому делу, она видит злодеев этой самой республике, ее спокойствию и злодеев своей собственной особы; из этого ясно, как будет поступлено с этими людьми; и я начну с епископов краковского и виленского как первых противников дела и возмутителей здешнего покоя». «Вы меня этим только оскорбите и нанесете мне вред», — сказал король. «Очень жаль, если так, — отвечал Репнин, — но я должен наконец дать почувствовать на деле гнев ее и. в-ства тем людям, которые пренебрегают собственным благосостоянием». Этим разговор и кончился.

«Причин сопротивления князей Чарторыйских я не могу понять, — писал Репнин Панину, — каким образом они решаются испытывать все бедственные следствия, не имея, по моему рассуждению, никакой надежды противиться нашей силе? Мысль о сопротивлении может запасть только в ветреные головы, которые в отчаянии думают найти твердость. Что же касается диссидентской конфедерации, к которой надобно будет прибегнуть в крайности, то гг. Гольцы оказывают к ней склонность и отвечают за прочих диссидентских вождей, но требуют не только войска в тех местах, где будет образовываться конфедерация, но и денег для привлечения и содержания при себе бедного дворянства, которое собственными средствами сделать этого не в состоянии. Конфедерация должна составиться вдруг в один день в четырех местах: в польской Пруссии, в Великой Польше, в Малой Польше и Литве, к которой присоединятся и греки (т. е. православные). Русского войска здесь три батальона, две гренадерские роты куринского полка, один полк карабинер и полк чугуевских козаков. Формального сопротивления и этим войскам я не ожидаю, но отвечать не смею за фанатизм частных людей, соединенный с безрассудным бешенством и пьянством, которым нельзя положить правил. Диссидентов я здесь собрал сколько возможно больше, и подано от них будет прошение; только от всех греков подпишется под ним один белорусский архиерей, ибо никого из них здесь нет, да, по несчастию, и привезти некого: почти все греческое дворянство в такой бедности, что сами землю пашут. Что же касается приискания в случае нужды других вождей нашей партии, то, признаюсь, это дело очень трудное, и теперь ни одного способного человека к этому не вижу, ибо из противников фамилии все сколько-нибудь значительные люди, будучи преданы Австрии и Франции, были нам всегда противны, а теперь еще более противятся по диссидентскому делу».

Между тем король и Чарторыйские спешили провести на сейме важные для них преобразования. В самых первых числах октября на сейме прочтен был проект, представленный от короля и министерства по соглашению с Чарторыйскими и их партиею, проект о порядке решения на сейме финансовых дел.

В проекте было сказано, что все финансовые дела должны всегда решаться большинством голосов, не исключая из финансовых дел и наложения новых податей. Репнин вместе с Бенуа отправился к Чарторыйским и потребовал точного обозначения дел, подлежащих такому решению. По мнению Репнина и его прусского товарища, под этими делами надобно было разуметь только порядочное и выгодное распоряжение определенными уже доходами, а не наложение новых податей, ибо это дело не внутреннего распоряжения, а дело государственное, которое должно подлежать единогласному решению на сейме. Чарторыйские возражали, что и наложение новых податей есть дело финансовое, следовательно, принадлежит к разряду тех дел, которые на созывательном сейме отнесены к делам казначейской комиссии. Репнин отвечал, что Россия и Пруссия не могут согласиться на такое толкование. Начался спор, и канцлер литовский, разгорячась, сказал, что поляки имеют право делать у себя такие постановления, какие им заблагорассудятся. «Вы властны, — отвечал Репнин, — делать у себя все, что хотите; а мы властны принимать только то, что мы хотим; вы можете свой проект подписать и внести в конституцию нынешнего сейма; но в исполнении, конечно, встретите сопротивление с нашей стороны, ибо мы по соседству должны наблюдать, чтоб форма здешнего правления не была изменена». «Я бы лучше желал видеть республику уже совершенно завоеванную, чем в такой зависимости», — сказал Чарторыйский. «На созывательном сейме, — продолжал Репнин, — положено, чтоб дела по военной комиссии, как и казначейские, решались также большинством голосов; так вы, пожалуй, станете толковать, что вам можно большинством голосов провести умножение войска?» «Конечно, так», — отвечал Чарторыйский. «Нет, не так, — сказал Репнин, — такое толкование противно вашей главной вольности, заключающейся в liberum veto, уничтожение которой позволить мы не можем; увеличение доходов и войск суть главнейшие пункты в государственных делах». «Мы, — говорил Чарторыйский, — не намерены теперь умножать войско, чтоб не возбудить сомнения в соседях». «Излишние доходы, — сказал Репнин, — возбуждают такое же сомнение, ибо только этим путем можно достигнуть умножения войска».

От Чарторыйских Репнин отправился к королю, который толковал то же самое, что и дядья. Это заставило Репнина дать знать противной двору партии, что Россия и Пруссия никак не согласны на королевский проект и желают, чтоб единогласие и liberum veto оставались во всей силе. Екатерина заметила на донесении Репнина: «Не худо нас ищут обманывать, но по сему поведению не останутся в выигрыше».

Но в диссидентском деле в Петербурге позволили полякам иметь некоторый выигрыш. 2 октября Панин писал Репнину:

«Видя крайнее напряжение дел, я так в короткое время другого сделать не мог, как по усильным убеждениям графа Ржевуского чем ни есть без потеряния времени отозваться, ему сказал моею собственною идеею для приведения дела как-нибудь к переговорам и в негоциацию, что надобно необходимо, чтоб с польской стороны нам представлено было средством к тому допущение наших единоверных и диссидентов в достоинстве дворянском хотя к одним чинам земским, оставляя в молчании все те чины, которые по существу своему составляют государственное правительство и лежислацию». Репнин отвечал, что уже от него было внушение, чтоб хотя в одни земские чины диссиденты были допущены; но все поляки против этого и говорят только об одной терпимости. Солтык говорил на сейме: «Мы должны начинать с основания, на котором единственно зиждутся наши права, вольности, благосостояние; это основание — вера святая римская католическая. Горсть наших сограждан, отказывая в послушании уставам республики, обвиняет нас в насилиях, преследованиях, в нарушении прав и вольностей своих, обвиняет не перед королем своим, не перед чинами республики, не перед судьями, законом установленными, нет, несет свои жалобы далеко за границу; изложением неосновательных претензий сыскивает соседнюю помощь, возбуждает на правительственные в республике лица страшные угрозы, целому отечеству бесчисленные затруднения. Дети приносят соседям жалобы на собственную мать! Свидетельствуюсь богом, что противиться их претензиям заставляет меня ни месть, ни частная к кому-либо ненависть, ни фанатизм, но обязанность доброго католика, епископа и верного своему отечеству и королю сенатора. Католик, я у самих диссидентов учусь ревности по вере предков моих: если они осмеливаются распространять только терпимые у нас секты, то как же я буду стыдиться или бояться защищать господствующую религию в свободном государстве? Как епископ, чувствую обязанность защищать Христовых овец от заразы еретических учений; как сенатор, соблюдаю присягу советовать республике и королю одно полезное, отвращать вредное. Будучи убежден, что единство религиозное существенно полезно каждому благоустроенному государству, разность же одноправных религий бесконечно вредна, не могу без измены отечеству и королю позволить на увеличение диссидентских прав. Если б я увидел отворенные для диссидентов двери в Сенат, избу посольскую, в трибуналы, то заслонил бы я им эти двери собственным телом — пусть бы стоптали меня. Если б я увидел место, приготовленное для постройки иноверного храма, то лег бы на это место — пусть бы на моей голове заложили краеугольный камень здания». В заключение Солтык прочел проект сеймового постановления, чтобы впредь ни на одном сейме никто

не смел возбуждать диссидентского вопроса под страхом жестокого наказания.

В то же время Солтык рассевал слухи, что получил приятное и ласковое письмо от графа Григорья Орлова и что в диссидентском деле русские требования вовсе не так тверды. «Я уверен в противном, — писал Репнин, — и этим утверждаюсь только в том правиле, что поляк и лжец суть синонимы. Должен я по ревности к службе донесть, что употребление силы час от часу нужнее становится не только для проведения диссидентского дела, но и для прекращения всех затеваемых ухваток; надобно определить формальным трактатом или гарантиею границы всем этим государственным материям и силу liberum veto; польские законы к тому недостаточны, потому что они их на всяком сейме могут переменять; а нам необходимо нужно все эти ухватки однажды навсегда уничтожить, если не хотим иметь беспокойных, а со временем и опасных соседей». Затруднительность положения и проистекавшее отсюда раздражение заставили Репнина сделать следующее признание: «Я с оскорбительным признанием должен донести, что все здешнего двора замашки происходят от попущения нашего на созывательном сейме и что новость моя в делах в то время хотя малою частию тому причиною, ибо, высоко уважая тогда проницательность и знание покойного графа Кейзерлинга, я совершенно полагался на них и предавался его воле; а он, как теперь, к сожалению, видно, обманут был двоедушием наших друзей и двуречными конституциями того сейма».

11 октября Репнин имел разговор с королем в третьем доме. Станислав-Август, укоряя посла за сопротивление его решению большинством голосов финансовых и военных дел, спросил: «Куда же девалась та надежда, которую вы подавали, чтоб Польшу привести в лучшее пред нынешним состояние, когда вы приступом к этому ставите невозможное диссидентское дело?» Репнин отвечал, что в проведении диссидентского дела невозможности не видится, а что надежда на поправление польских дел там же, где и прежде была, т. е. надобно вести дело по соглашению с соседями, положа границы всему, а беспредельно из полного кроить никто не дозволяет, не желая терпеть вреда, что служит первым правилом во всех политических системах.

В Петербурге также хорошо сознавали ошибку, ошибку не одного Кейзерлинга и Репнина; поняли, что, в то время когда хотели Чарторыйских и Понятовского употребить орудиями для достижения своих целей, те старались употребить Россию, русскую силу и влияние орудиями для достижения своих целей, для изменения польской конституции; поэтому теперь раздражению против *лукавых* князей Чарторыйских не

было границ, хотя еще очень недавно их щадили. Панин писал Репнину, что прежде всего необходимо сообща с прусским послом разорвать генеральную конфедерацию для отнятия силы у Чарторыйских; Панин предписывал, чтобы во всех декларациях Репнина и диссидентов король был пощажен и вся вина складывалась на Чарторыйских. В именном рескрипте императрицы Репнину говорилось: «Все их с нами обращение было коварное, которым они искали токмо по ступеням нечувствительным образом схватить то, в чем теперь обнажились, думая, может быть, что единожды ими сделанное нас не подвигнет на действительное того разрушение. Повторяем вам прежнее наше повеление о скорейшем разрыве генеральной конфедерации и всего сейма, дабы и племянник, и дядья осязательно видеть могли, что мы не даемся лукавству их в обман, но паче, познав неблагодарность их, хотим следствия ее обратить к собственному их посрамлению и вреду». Король просил у Репнина выдачи 50 000 рублей, назначенных ему в субсидию, но Репнин отвечал, что по переменившимся обстоятельствам не может выдать денег без получения нового указа от своего двора. По этому поводу в рескрипте говорилось: «Мы одобряем ответ ваш королю и приказываем объявить этому государю именем нашим, что мы с крайним удивлением видим неожиданную перемену в его поведении; мы видим теперь тщету всех его обещаний, которые были делаемы не для того, чтоб быть исполненными, но для того одного, чтоб внезапно схватить то, что ему надобно для односторонней своей пользы. Пусть он сам рассудит, может ли такое намерение и такое поведение побудить нас помогать ему; мы сами против себя погрешили бы, если бы дали ему в руки новые способы против самих себя. Мы не можем довольно надивиться, каким образом он мог так слепо отдаться в руки лукавых дядей своих, которые все его поступки обращают в собственную пользу, чтобы только сохранить и утвердить навсегда в руках своих полное над ним и над всеми делами господство. Самим Чарторыйским можете нашим именем сказать: пусть им кажется хитро придумано, что они, составив заговор против национальной вольности, положили уничтожить ее постепенно, цепляясь от одного к другому слову своих конституций; но в том они, конечно, не успели и не успеют, чтоб мы не проникли в их лукавство. Мы давно начали его чувствовать, но хотели до самой крайности убедить их своим чистосердечием и откровенностью. Мы знаем совершенно сущность и важность затеваемого ими введения большинства голосов в делах первого государственного предмета, составляющего общую вольность и политику. Суетно им было ласкать себя надеждою, что могут, схватя этот предмет таким образом при настоящей конфедерации, скорее ополчиться против нас по диссидент-

скому делу. Нет, не против нас можно было принимать им такие коварные меры, ибо каждый сосед Польши легко согласится, чтоб все ее правительство было составлено из диссидентов, а не согласится, чтоб в ней подати, налоги и умножение военной силы зависело от 40 или 50 креатур Чарторыйских. А когда мы раз получили такое представление о их коварном предприятии, то им легко понять, как заставит нас ему противодействовать интерес нашей империи, собственный наш долг и достоинство и то бескорыстное и постоянное попечение, которое мы имеем об истинной пользе Польской республики и о твердом благосостоянии каждого ее члена».

Пересылая Репнину этот рескрипт, Панин писал ему: «Настало теперь время явно прервать нам всякую связь с князьями Чарторыйскими и представить их свету коварными людьми, в скрытных видах и намерениях которых мы никогда не хотели участвовать; настоящую конфедерацию разрушить необходимо, конечно, с тем чтоб под ее развалинами погребсти все те новости, которые введены были Чарторыйскими в управление Польского государства. Ожидаю нетерпеливо от вас курьера с известием, что далее произошло по сему делу, какие и с каким успехом были вновь ваши подвиги и в каком положении между тем остается дело о диссидентах. Прости, мой друг, боже помоги тебе! Описывай ко мне пространее разговоры и рассуждения с каждым из новых людей, с которыми вы станете вступать в связь, их разум, характер, положение, дабы мне можно было самому их узнавать».

Но в то время как в Петербурге с таким гневом относились к Чарторыйским, Репнин писал, что родные братья королевские, обер-камергер и генерал, поддерживают в Станиславе-Августе нерасположение к диссидентскому делу гораздо сильнее, чем дядья его Чарторыйские; а в дальнейших донесениях посол уведомлял, что заводит новую связь с Чарторыйскими для достижения предписанных ему целей, следуя, как он выражался, той дороге, которую сами Чарторыйские дали своими сомнениями и неудовольствиями на короля, его братьев и на их партию. Король и его братья объявили, что скорее погибнут, чем отступят от продолжения конфедерации и от сохранения большинства голосов по финансовым и военным делам, а Чарторыйские поступили совершенно иначе. Видя невозможность провести преобразования не только вследствие сопротивления России и Пруссии, но и вследствие сопротивления большинства поляков, а с другой стороны, желая показать русской императрице свою преданность, желая показать, что они готовы служить ей во всем, что возможно, они отказались от проведения большинства голосов по известным делам. Вот почему Репнин и переменил свои отзывы о Чарторыйских. От 3 ноября он писал: «Главные

члены противной двору партии — из короны епископ краковский (Солтык), а из Литвы епископ виленский с отцом (Мосальские), но зависимых от себя людей никого не имеют или по крайней мере очень мало. Теперь они соединены одним неудовольствием и упорством против двора, чем я, сколько возможно, и пользуюсь в своих предприятиях. Характер первого (Солтыка) тщеславный, спесивый и наглый, а второго (Мосальского) тихий, но коварный, основания ж прочного ни в том, ни в другом нет. Время покажет, кого нам можно будет избрать вождями нашей партии, ибо теперь диссидентское дело всех отвращает от нас, а между тем думаю, что Чарторыйских менажировать надлежит».

Наконец, и король объявил Репнину, что отступается от большинства голосов, наивно переспрашивая несколько раз, действительно ли со стороны России будет употреблена немедленно сила, если бы польское правительство само не отказалось от большинства голосов. Разумеется, Репнин отвечал утвердительно. Потом Станислав-Август начал говорить, как бы он желал восстановить доверенность и совершенное согласие между Россиею и Польшею, которые несчастными обстоятельствами теперь нарушены. Репнин отвечал, что всякий угождает тому, в ком имеет нужду, и другого способа нет для приобретения дружбы. Король спросил, выступят ли русские войска из польских владений после сейма. Репнин отвечал, что еще диссидентское дело может задержать старые войска и новые привести. Король повторил прежнее, что хотя внутренно убежден в надобности ввести диссидентов в гражданские чины, но представления об этом никому сделать не смеет. Действительно, конференции министерства с епископами по диссидентскому делу не вели ни к чему. Тщетно Репнин толковал, что пункт светских прав диссидентов духовенства не касается; король объявил ему, что без епископов дела решить нельзя. (Против донесения об этом Репнина Екатерина написала: «Надобно бы постараться подкупить несколько епископов: они привыкли копить червонцы».) Канцлер литовский сообщал Репнину, что министерство считает нужным назначить комиссию для разбора диссидентских претензий и епископы на это согласны. Но Репнин понял, что этим хотят только затянуть дело, и отвечал, что комиссии может подлежать разбор только судебных дел, например какие церкви отнять у диссидентов и т. п., но что касается прав церковных и светских, то об этом должен быть дан решительный ответ на нынешнем же сейме. Между тем Репнин писал Панину, чтоб тот ласково отозвался к графу Ржевускому, и, если можно, и к самим Чарторыйским, и маршалу коронному князю Любомирскому за содействие их в деле уничтожения большинства голосов и разрыва конфедерации, причем особенно выставлял заслугу князя Адама

Чарторыйского, служившего главным орудием к склонению стариков на сторону посла. Большинство голосов было уничтожено в сеймовом заседании 11 ноября. Репнин по этому случаю писал Панину, чтоб тот поздравил его с успехом дела. «Признаюсь, — писал он, — я очень доволен, исправив то, что было испорчено на конвокационном сейме». Екатерина приписала: «И я также поздравляю его с этим».

Но в то же время Репнин давал знать о трудности диссидентского дела: «Успех его не в силах короля и Чарторыйских. Лучшее доказательство тому — уничтожение большинства голосов, проведенное ими. Неоспоримо, что это дело было им гораздо дороже и нужнее, но, видя разверстую пропасть, они сами разделали то, что им было всего драгоценнее. Так они поступили бы и с диссидентским делом, если б могли, тем более что относились к нему гораздо холоднее, чем к первому. Энтузиазм и сумасбродство, зародившиеся от внушений духовенства и от нежелания разделить с диссидентами коронные выгоды, чрезвычайны. Король в таком унынии, что изобразить нельзя. Когда я подошел к нему поблагодарить за содействие при уничтожении большинства голосов, то он вдруг при всей публике горько заплакал и ничего не был в состоянии отвечать. Такая горесть доказывает, как он был привязан к этому делу; если он его уничтожил, то исполнил бы наши желания и по диссидентскому делу, если б только мог». Король горевал, а Чарторыйские увивались около Репнина, выставляя свою преданность к России, прося о возвращении прежней милости и наговаривая на короля. «Канцлер литовский со мною изъяснился, — писал Репнин, — что король час от часу более к ним недоверия имеет, так как несогласие их умножилось в сем последнем сейме чрез противность, которую они ему в угодность нам показали и в чем король не иначе согласился как по необходимости. Канцлер прибавил, что, уверясь в согласии, хотя принужденном, королевском, нужно будет учредить все пункты нового союза (с Россиею), которым они весьма желают убавить требования королевские, коим он во многом лишности дает».

Сейм кончился 19 ноября: увеличено было жалованье войску, постановлено учредить военное училище, но требование держав в пользу диссидентов осталось без всякого удовлетворения. Вся Варшава с нетерпением ждала курьера из Петербурга с ответом на решения сейма, и Репнин умолял Панина, чтоб ответ был прислан как можно скорее. «Поспешность весьма нужна к скрытности и успеху диссидентского дела, если мы оное начинать хотим», — писал он.

«Достоинство наше и истинные вверенной нам от бога империи интересы требуют привести единожды к желаемому окончанию толь явно и торжественно начатое дело», — был ответ Екатерины. Дело могло быть кончено только диссидент-

скою конфедерациею. Диссидентов нужно было поддержать русским войском, но в Петербурге хотели при этом попытаться, «не удастся ли, разделив вконец короля с князьями Чарторыйскими, присвоить их себе и, поставя их шефами нашей из их собственной тогда составляемой партии, достигнуть желаемого с меньшим трудом и с меньшими хлопотами». Так писал Панин Репнину. По его мнению, Чарторыйские, будучи самыми знатными и богатыми людьми в Польше, больше всех должны бояться междоусобной войны, и так как они недовольны племянником своим королем, то им можно предложить единственный способ избежать всех предстоящих бед — созвание чрезвычайного сейма, на котором должно удовлетворить диссидентским требованиям и установить под ручательством России форму правительства с вольностию голосов для обуздания властолюбия польских королей и их наперсников. Панин требовал также от Репнина, чтоб он попытался, нельзя ли кроме диссидентской конфедерации поднять еще другие, нельзя ли побудить гетманов, и особенно графа Браницкого по известному его тщеславному характеру, приступить к общим с Россиею мерам. Каков бы ни был ответ князей Чарторыйских, Панин писал, что с русской стороны уже решительно определены меры крайности, войска к походу уже готовы и в исходе февраля будущего 1767 года действительно вступят в польские границы, направляясь тремя корпусами на Сендомир, Слуцк и Торн [102]. Еще в июле английский посланник в Петербурге Макартней доносил своему двору о словах Панина, ему сказанных: «Я скорее пожертвую 50 000 человек и брошу все, чем допущу неуспех в польских делах» [103].

По-видимому в деле диссидентском Россия действовала заодно с союзницею своею Пруссиею; но в действительности Фридрих II, кроме терпимости, не хотел доставлять диссидентам никаких других выгод, во-первых, потому, что не хотел давать России посредством полноправия православных большого влияния на польские дела; во-вторых, предвидел большие затруднения, вмешательство католических держав, войну. Фридрих писал Бенуа: «Держите в совершенном секрете, что в сущности я не буду огорчен, если диссидентское дело не удастся. Вы этого не обнаруживайте перед русскими, делайте вид, как будто я очень сержусь, что все труды, употребленные для успеха этого дела, пропали даром. Было бы хорошо и выгодно, если б вы заставляли известных людей работать против диссидентского дела, если только можно это делать тайком, чтоб никто никак не мог бы проведать, откуда это идет. Князю Репнину скажите учтиво от меня: я уверен, что намерения императрицы клонятся к спокойствию и миру, но я льщусь надеждою, что она не слишком далеко будет вести диссидентское дело и не воспламенит новой

войны по такому ничтожному поводу; я готов присоединить свои дружественные представления и декларации к русским по этому делу, но не могу решиться на меры насильственные, которые могут повредить общественному спокойствию». Бенуа поддерживал в короле мысль, что осуществить русские намерения относительно диссидентов невозможно. Он писал: «Поляки начинают усматривать, что они принуждены будут уступить силе; но они говорят в один голос, что русские войска не навсегда же останутся в Польше и, как только они выйдут, можно найти средство сделать положение диссидентов в тысячу раз хуже, чем оно теперь, что их истребят или выгонят. Католики уже обязывают друг друга секретно к этому».

Кроме польских дел Фридрих II был очень недоволен русским кабинетом за то, что тот навязывал ему свою северную систему, союз северных держав в противоположность союзу южных: Франции, Австрии, Испании. Особенно он был недоволен тем, что Россия хотела включить в этот союз и Саксонию, существования которой он не мог переносить равнодушно. В апреле граф Сольмс подал ноту: «Его в-ство король прусский, полагая неоспоримым, что система государств, соединенных фамильным договором (Австрия, Франция, Испания), может сделаться опасною для спокойствия Европы, счел бы очень полезным принять в русско-прусский союз всех государей, которые предложат действовать вместе с Россиею и Пруссиею против намерений домов бурбонского и австрийского. Но его величеству прусскому кажется, что по настоящему положению дел мало государств и государей расположено войти в эти виды: Саксония в полной зависимости от венского двора; Бавария связана с Австриею посредством брака императора; духовные курфюрсты преданы австрийскому двору, потому что обыкновенно избираются из австрийских фамилий; курфюрст пфальцский зависит от Франции; английский король как курфюрст ганноверский имеет собственную партию; герцог брауншвейгский предан Англии; гессенцы ждут, кто им больше заплатит; сомнительно, чтоб Голландская республика захотела вмешаться в это дело вследствие обширной торговли, которую город Амстердам ведет с Францией; датчане не в состоянии действовать, разве дадут им хорошие субсидии; что же касается шведов, то по известному положению их рассчитывать на них нельзя; его величество заключает, что одна только Польша может соединить свои интересы с интересами русско-прусскими». Сольмсу Фридрих писал: «Я вижу, что вы не вполне входите в виды моей политики: русский союз для меня достаточен, ибо, если бы даже я не получал отсюда никакой помощи во время войны, все же я выигрываю то, что Россия, будучи моею союзницею, не объявит себя против меня, и этого для меня достаточно.

Что же касается англичан, то они должны теперь опасаться французов и испанцев; заключить с ними союз — значит впутаться в новую войну, от которой Пруссия не может получить никакой выгоды, тогда как если я останусь в союзе с Россиею, то никто меня не тронет и я сохраню мир. Вот общие идеи, от которых мне вовсе не желательно удалиться, и я могу согласиться на союз с Англиею только под условием, что этот союз не обяжет меня ни к чему, что́ бы могло нарушить спокойствие в Германии».

Но в Петербурге непременно хотели удалить Фридриха от этих идей. Чтоб склонить прусского короля к северной системе, Панин отправил к нему Сальдерна, к которому король был очень благосклонен со времен Петра III. Сальдерн должен был заехать в Берлин по дороге из Польши в Данию под предлогом уведомления короля о ходе польских дел, особенно о ходе таможенного дела, которое интересовало Фридриха более, чем диссидентское. Король назначил 8 мая для приема Сальдерна. В этот день Сальдерн вместе с Фалькенштейном отправились в Шарлотенбург. Вошедши в королевский кабинет, Сальдерн нашел Фридриха II стоящим посредине и начал свою речь: «Ее импер. в-ство всероссийское приказало мне уверить ваше в-ство в своем безграничном уважении (de son estime sans bornes) и в своей непоколебимой дружбе (á toute épreuve), равно как отдать вам отчет, в каком расположении я нашел короля и республику Польскую относительно Пруссии, особенно же изложить вам ее виды касательно многих вопросов, важных для вашего в-ства и для нее». — «Я очень чувствителен, — отвечал король, — к этому новому уверению в дружбе со стороны императрицы. Я ничего так не желаю, как сохранения этой дружбы; теперь без церемонии пофилософствуем и пополитиканствуем». Сказавши это, Фридрих начал ходить по комнате, в которой едва можно было сделать шесть шагов вперед. Сальдерн хотел было оставаться на ногах посредине кабинета, но король велел ему ходить с собою. «Ну как же расположены ко мне в Польше?» — спросил Фридрих. Сальдерн отвечал, что король и все министерство расположены как нельзя лучше, и в доказательство представил, что главная таможня приведена в бездействие, а на будущем сейме будет совершенно уничтожена. Король улыбнулся и сказал: «Вы скоро обделали это дело в Польше, но для меня все равно». Сальдерн отвечал, что, по его мнению, Польша не могла оказать большего уважения к совету императрицы и к желанию его величества. «Это смотря по тому, как дело растолкуешь», — сказал король и распространился о том, что надобно непременно оставить Польшу в том же положении, в каком она теперь, что никогда не выйдет ничего хорошего из какой-нибудь существенной перемены, что надобно думать о будущем; хотя

нынешнего короля и нечего бояться, но соседи должны иметь правилом, что всякая перемена в форме республики может быть вредною в будущем. «Кстати, — сказал Фридрих, — у вас еще думают позволить полякам уничтожить liberum veto?» Сальдерн покраснел и отвечал: «Государь, у нас об этом никогда не думали». — «Как никогда не думали?» — сказал Фридрих. «Смею уверить в. в-ство, — отвечал Сальдерн, стараясь сохранить как можно более спокойствия, — смею уверить ваше в-ство, что ни императрица, ни ее министерство никогда серьезно не думали о позволении полякам уничтожить это знаменитое слово. Если министерство императрицы об этом вопросе и о других тогдашних польских желаниях говорило по секрету с министром вашего в-ства, то это делалось в твердом намерении оказать вашему в-ству величайшее доверие, не скрывать от вас решительно ничего из предложений, делаемых тогда поляками, и единственно для того, чтоб знать виды и мысли вашего в-ства по такому важному вопросу». — «Если так, то это другое дело», — сказал король. Затем он вошел в длинное рассуждение о том, что Россия и Пруссия не имеют нужды ни в каком другом союзе, кроме своего, и что он не желает ни с кем быть в союзе, кроме России. Сальдерн высказал противное мнение, что Россия и Пруссия имеют нужду в приступлении к их союзу других держав для утверждения северной системы, совершенно независимой, что это единственное средство обеспечить себя от чуждых распрей и оказать услугу другим государствам, которые, естественно, должны бояться страшного союза австрийского и бурбонского домов. Тут Фридрих прервал Сальдерна: «Я вам сказал, что нам нечего бояться этого союза, который вам кажется так страшен, потому что это голь, у которой нет ничего денег (ce sont des gueux)». Сальдерн продолжал выставлять необходимость северной системы, в которую, естественно, войдут государства активные и пассивные. Цель этой системы, говорил он, сохранение мира на долгое время для удержания равновесия в Европе, для поддержания целости прусской монархии, столь полезной и необходимой. «Все это хорошо и прекрасно, — заметил король, — но что вы хотите сказать этими вашими государствами, активными и пассивными?» Сальдерн отвечал, что на севере три активных государства — Россия, Пруссия и Великобритания. Фридрих засмеялся: «Великобритания? Считайте ее за ничто в настоящее время! Король — самый слабый человек в мире; он меняет своих министров, как меняет рубашки. В чем вы можете положиться на великобританское министерство? Разве вы не знаете, что министерство уже переменилось, что герцог Графтон оставил свое место; может быть, его заменит граф Эгмонт, самый горячий приверженец австрийского дома. Прошу не рассчитывать на Англию». Сальдерн отвечал, что если

теперь нельзя рассчитывать на Англию, то придет время, когда британское правительство примет другой вид; притом кроме Дании и Швеции, где французское влияние, впрочем, значительно ослабело, надобно было бы обратить внимание на Германию, на государей Гессена, Брауншвейга и Саксонии, на которых можно смотреть как на силы пассивные.

При этих словах глаза Фридриха засверкали. «Саксония! — сказал он. — Как можно на нее рассчитывать? Саксония в тесной связи с Австриею и бурбонским домом! Есть ли возможность иметь такую идею? Скажите, пожалуйста, есть у вас эмиссары саксонского двора, которые внушают вам такие химеры?» — «Чувства императрицы, — отвечал Сальдерн, — руководимые мудростью и человеколюбием, никогда не изменялись средствами незаконными или подозрительными; императрица считала возможным вполне открыться вашему в-ству, особенно в случае, где дело шло о видах, совершенно согласных с тесным союзом, существующим между Россиею и Пруссиею, союзом, который должен внушать другим государствам столько же уважения, сколько и доверия. Императрица думала, что самое верное и действительное средство сделать русско-прусский союз основою благосостояния и спокойствия Севера — это обходиться дружелюбно и снисходительно с слабейшими государствами, внушить им таким образом доверие и вследствие доверия привлечь к союзу, сопровождаемому миром и спокойствием; моя государыня предполагала, что Саксония поспешит отторгнуться от многоразличных интересов Австрии, как скоро она найдет возможным сделать это безопасно». Фридрих слушал все это, уставив глаза на пол кабинета, потом сказал: «Вы упомянули о дружелюбии и снисходительности; это до вас не касается. Дайте мне управляться с саксонцами, потому что тут дело идет о моих интересах».

13 мая Сальдерн имел второй разговор с Фридрихом в том же кабинете в Шарлотенбурге. Разговор продолжался три часа. «Хотите, — начал король, — мы обозрим все государства и всех государей Европы и посмотрим, одинаково ли мы думаем. Начнем с Австрии, которая находится в печальном положении относительно финансов: ее долг должен простираться до 230 миллионов флоринов». — «Но, говорят, войска австрийские находятся в очень хорошем состоянии», — заметил Сальдерн. «Это больше на словах, чем на деле, — отвечал король, — генералам платят наполовину звонкою монетою, наполовину бумажками; я австрийцев нисколько не боюсь. Они покинут свои старые предубеждения против меня. Нынешний император мне друг, я это знаю наверное. Он мне благодарен за то, что я не согласился на уступку Тосканы в пользу его брата. Это хороший государь, миролюбивый и ненавидит французов. Он не впутается никогда в опасные и

двуличневые намерения. Я вам за это отвечаю». — «Осмелюсь выразить сомнение, — сказал Сальдерн, — может ли австрийский дом так легко позабыть потерю Силезии; рано или поздно австрийцы могут поддаться искушению возобновить свои права». — «Что будет, то будет, — отвечал король, — но австрийцы дважды подумают, прежде чем это сделают». — «Это правда, — заметил Сальдерн, — австрийцы не раз подумают, прежде чем начнут дело в четвертый раз; но есть средства, которые заставят никогда об этом не думать». — «Какие это средства?» — спросил король. «Средства самые простые, — отвечал Сальдерн, — ваше в-ство, находясь в союзе с Россиею, должны вместе с нею установить северную систему с единственною целью охранения мира и спокойствия, должны приобресть себе друзей по примеру императрицы и заставить этим саму Россию и других друзей блюсти за сохранением целости Прусской монархии». — «Это слишком для меня сложно, — сказал Фридрих, — я нуждаюсь только в одном русском союзе и не хочу других». — «Все это хорошо для настоящей минуты, но надобно подумать и о будущем, — возразил Сальдерн, — особенно когда Россия, несмотря на сознание своего могущества, никогда не пренебрежет кроткими средствами для приобретения себе друзей, для отстранения недоверия, для привлечения к себе государей, принужденных страхом входить в союзы с другими державами, которые внушают им зависть относительно русско-прусского союза и этим увеличивают число своих друзей». — «Я уверен, что нам завидуют, — сказал король, — но какое нам до этого дело? Я вам повторяю, что ни Австрия, ни Франция, ни Испания не могут причинить нам ни малейшего беспокойства. Кто, по-вашему, захотел бы к ним присоединиться и увеличить число их друзей?» Сальдерн отвечал тихим голосом: «Государства, быть может незначительные по силе, и все государи германские».

Король разразился хохотом. «Нет денег, нет и немца», — сказал он (Point d'argent, point d'Allemand). Потом Фридрих с большим красноречием, по словам Сальдерна, распространился о состоянии Испании и Франции с целью доказать, что союзники Австрии и бурбонский дом так слабы, что их бояться нечего. Франция, по словам Фридриха, в десять лет не могла поправить своих финансов. Заключением речи служила мысль, что для России и Пруссии лучше всего не заботиться ни о каком другом союзе, крепко держаться вместе и *смеяться* над всем остальным.

«Все это, — сказал Сальдерн, — совершенно справедливо для настоящей минуты, но нет ручательства за будущее; пусть Семилетняя война уничтожила финансы союзников для настоящего времени, но у них остались еще средства. Не предполагая, что новая война может возгореться в течение

десяти лет, я обязан уверить ваше в-ство, что императрица, моя государыня, смотрит как на дело чрезвычайной важности и необходимости для спокойствия Европы в настоящем и будущем соединить весь Север в одну систему; что императрица имеет решительную склонность доказать Европе, что путь кротости и умеренности есть самый способный для возрождения доверия между всеми государями, могущими найти свою выгоду присоединиться к этой системе; что интересы России и Пруссии, постоянно нераздельные, найдут здесь самое сильное утверждение; что Россия смотрит на этот план как на самое верное и единственное средство сохранить русскую и прусскую монархию во всей их целости, и эта целость служит естественным основанием русско-прусского союза. Государь, столь уважаемый, столь победоносный, столь обремененный славою, как ваше высочество, находит пути к доброму успеху, проложенные и приготовленные благостию и кротостию моей государыни. Успехи героев всегда облегчатся умением приобретать расположение людей и народов».

«Все же я не вижу причин, — отвечал король, — зачем торопиться с таким сложным планом. Признаюсь вам, что я не люблю иметь дело с англичанами как по причине слабости их настоящего правления, так особенно из боязни, что у них скоро будет война с Франциею и Испаниею». Сальдерн заметил, что для заключения союзов самое благоприятное время теперь, когда вся Европа в глубоком мире; что те самые причины, которые заставили австрийский и бурбонский дома соединиться и установить южную систему, заставляют северные державы обеспечить себя заранее подобным же союзом. «Сольмс пишет, — сказал король, — что у вас думают о возможности соглашения между Австриею и Франциею насчет раздела Баварии в случае смерти ее курфюрста. Признаюсь откровенно, что я этому не верю». Сальдерн заметил, что по всем вероятностям австрийский дом не разделил бы своих итальянских владений в пользу эрцгерцога Леопольда, если б Франция не польстила ему другими надеждами. Король отвечал: «Нет, не верю, невозможно! — потом вдруг перешел к Голландии: — Но вы лучшего мнения о республике купцов, чем я. Я их слишком хорошо знаю. Торговля — это их бог, это их все. Штатгалтер не даст им никогда ни твердости, ни возвышенности духа, который они давно потеряли, и в последний раз потеряли не в битве при Фонтенэ». Сальдерн заметил, что хотя обширность их торговли заставляет их быть осторожными в политических делах Европы, однако верно одно, что особа штатгалтера обыкновенно давала гораздо более силы республике. «Правда, — отвечал король, — но подождем следствий штатгалтерства». — «Только в ожидании не пропустить бы время», — сказал Сальдерн. Король опять вдруг переменил разговор и сказал: «Относительно Дании и Швеции

я понимаю, что вы можете сделать все, что вам угодно. Но надобно иметь деньги. Если бы вы могли заставить англичан дать денег! У вас ведь союз с датчанами, так заставьте англичан дать им субсидии. Конечно, для этого нужен труд Геркулеса». Сказавши это, Фридрих наклонился к Сальдерну и прошептал ему на ухо, как будто были свидетели разговора: «Англичане — дрянь! (Les Angliais sont des miserables!)» Сальдерн запел свое: «Чтобы заставить англичан платить субсидии, надобно показать им установление твердой северной системы, в которой они найдут свои выгоды». — «Это pia desideria, — отвечал король, — вы об них слишком хорошего мнения, я их знаю лучше, чем вы. Швеция в таком же положении, как и Дания. Союз между Швециею и Англиею служит лучшим доказательством, что англичане не хотят ничего делать. Правда, что Россия много сделала до сих пор, и верно, что для уничтожения французского влияния она будет принуждена продолжать идти по той же дороге, если хочет получить выгоду из начатого. Впрочем, Швеция не заслуживает, чтоб ее считали в числе государств. Эта нация так глубоко упала, что благоразумные шведы сами в этом признаются. Что касается Польши, то я буду согласен на все, что́ императрица сделает в отношении ее. Я желаю, чтоб доходы короля увеличились, ибо надобно же чем-нибудь ему жить. Но я вас прошу усердно, чтоб не было никакой перемены в польской конституции: все это будет вредно». Сальдерн стал уверять короля, что императрица никогда не думала ни о какой существенной перемене в форме польского правления и больше всех будет блюсти, чтоб законы республики никогда не нарушались. Но при этом Сальдерн просил Фридриха обратить внимание на то, что для России очень важно, чтоб Польша в отношении к Турции заменила для нее Австрию, которая вследствие прусского союза удалилась от России. Король с внимательным видом спросил: «Но как вы хотите это сделать?» Сальдерн отвечал, что он наверное не знает *как,* но думает, что самое верное средство к тому восстановить диссидентские права и дать королю несколько силы на основании pacta conventa, дабы маленькое польское войско было дисциплинировано приличным образом и могло в случае нужды оказать пользу. «Оба пункта чрезвычайно трудно исполнить», — сказал на это король. «Я не нахожу здесь трудностей, — заметил Сальдерн, — в Польше можно сделать еще много хороших вещей». — «Я это очень хорошо знаю, — сказал король, — но надобно оставить ее в летаргии». — «Летаргия, — отвечал Сальдерн, — хороша и даже необходима там, где поляки могут вредить соседям. Но есть случаи, в которых государство становится совершенно бесполезным, если не дать ему некоторой силы, чтоб доставлять помощь союзникам. Россия и Пруссия в состоянии задавить каждую минуту

поляков, если бы они захотели употребить во зло эту данную им на время силу». — «Признаюсь, я не знаю этих случаев, о которых вы говорите», — сказал король. «А вот, например, случай, — отвечал Сальдерн, — в мою бытность в Польше я нашел короля и всех канцлеров расположенными уничтожить сейчас же главную таможню, но по недостатку силы и деятельности и король со всем своим добрым расположением, и его министры с своими лучшими намерениями могли дать только обещание хлопотать об уничтожении таможни на будущем сейме. Учреждение постоянного совета в Польше между сеймами в это двухгодичное время бездействия было бы полезно и Польше, и соседям ее». — «Это мне кажется делом разумным, — сказал король, — но, прежде чем позволить, надобно все это хорошенько взвесить».

После этого король начал говорить об отъезде Сальдерна в Копенгаген. Тот, заметив, что король хочет от него отделаться, а между тем ничего не сказал о Саксонии, решился спросить его, что же ему передать императрице относительно желания ее, чтоб с прусской стороны были смягчены соседние отношения к Саксонии. «Правда, я забыл, — отвечал король, потом прошелся два раза по кабинету и начал: — Саксонцы — злой народ. Они хотят овладеть всею торговлею, на что я не могу смотреть равнодушно. Мои подданные страдают от этого. Наши комиссары теперь в конференции по этому делу. Надобно дать мне свободу сделаться с ними, как выгоднее для моей страны». Сальдерн сказал на это, что императрица с восторгом увидит, что его величество желает кротостию убедить Саксонию, что всего лучше для нее отстать совершенно от Австрии. Король с некоторым раздражением сказал: «Оставьте меня действовать; я буду еще отвечать нынешним вечером». Сальдерн поклонился и больше не спрашивал о Саксонии, заметив, что эта струна очень неприятна для короля.

Фридрих перестал говорить о политике и начал делать вопросы о великом князе, о его здоровье, о его способностях, потом вдруг спросил: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказали, что она работает больше меня. Правда, у нее меньше развлечений, чем у меня. Я слишком занят военным делом; вы не можете поверить, как здесь малейшая безделица меня тревожит». — «Государь, — отвечал Сальдерн, — привычки превращаются в страсти. Что же касается императрицы, то она работает много и, быть может, слишком много для своего здоровья». — «Ах! — сказал Фридрих. — Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей». Сальдерн не сказал ни слова о *столь деликатной материи* Фридрих, смотря на него пристально, начал: «Много дорог, которые ведут к бессмертной славе; императрица на

большой дороге к ней, верно». Говоря это, он все не спускал глаз с Сальдерна. Тот понял, что королю хочется слышать что-нибудь от него и сказал: «Конечно, императрица утвердит счастье своего народа и значительной части рода человеческого. У нее обширные виды, которые обнимают прошедшее, настоящее и будущее. Она любит живущих, не забывая о потомстве». — «Это много, это достойно ее», — заметил король и покончил разговор [104].

Разговор этот страшно раздражил Фридриха, и весь гнев пал на несчастного Сальдерна, который имел неосторожность явиться с неприятными предложениями и еще поддерживать их: вместо прежней благосклонности Фридрих возненавидел Сальдерна. «Петербургский двор, — говорит Фридрих в своих записках, — петербургский двор, недовольный поведением польского короля и еще более поведением Чарторыйских, его дядей, которые им управляли, послал в Варшаву некоего Сальдерна, чтоб понаблюсти за ними и сделать им приличные внушения, заставить их вести себя с большею умеренностию и благоразумием. Из Варшавы этот дипломат приехал в Берлин, снабженный обширными проектами; граф Панин составил их и носился с ними по своему тщеславию. Сальдерн, не имевший ни приличных манер, ни тонкости разума, принял тон римского диктатора, чтоб заставить короля согласиться на присоединение Англии, Швеции, Дании и Саксонии к петербургскому договору. Так как этот проект был совершенно противен интересам Пруссии, то король не мог его принять. Как в самом деле думать, что король войдет в соглашение с Англиею после всего того, что он испытал от нее? Помощь Швеции, Дании, Саксонии равнялась нулю, потому что нельзя было их привести в движение иначе как большими субсидиями; и, кроме того, так как они были бы соединены с Россиею, то король должен был бы с ними делиться влиянием, какое он надеялся приобрести в этой стране. Поэтому надобно было их удалить вовремя, тем более что не следует размножать существа без нужды. Все эти причины заставили короля отклонить предложения Сальдерна. Этот министр рассердился, считая себя претором Попилием и принимая его величество за Антиоха, царя сирийского; он хотел предписывать законы государю; король, который не считал себя Антиохом, отпустил министра со всевозможным хладнокровием, уверяя его, что будет всегда другом России, но никогда не будет ее рабом» [105].

Известие о разговоре Фридриха с Сальдерном и что оба разговаривавшие расстались недовольными достигло Вены. Бенуа доносил Фридриху: из разговоров Ларош, агента господаря молдавского, видно, что в Австрии не потеряли надежды взять верх в России, посредством подарков привлечь на свою сторону графа Чернышева и, наконец, удалить импе-

ратрицу от короля прусского, ибо замечается некоторое охлаждение с ее стороны к Фридриху вследствие отказа Сальдерну на многие предложения, сделанные этим министром. Но Сольмс успокоил короля на этот счет: он писал, что нерасположение, которое Екатерина питала всегда к Марии-Терезии, пробуждается теперь вследствие подозрения, что венгро-богемская королева по католической ревности препятствует планам русской императрицы в Польше. Но Фридрих долго не мог успокоиться после предложений Сальдерна. Сюда присоединились еще другие причины раздражения: заступничество России за Саксонию; перезыв знаменитого математика Эйлера из Берлинской академии в Петербургскую, чего Фридрих вовсе не хотел; неудовольствие, выраженное Россиею на то, что Фридрих возвысил цену за почтовую пересылку; наконец, невнимание русского двора к его представлениям по диссидентскому делу. По поводу почтового дела он писал Сольмсу: «Мне страшно начинает наскучивать иго, которое хотят на меня наложить; я с удовольствием буду в союзе с русскими, но, пока глаза мои не закроются, я не буду их рабом. Можете это сказать всякому, кто захочет слушать. Я остаюсь того мнения, что русский союз мне пригоднее всякого другого. На этом основании я простер свою податливость к проектам императрицы так далеко, как ни один союзник этого не делал. Но теперь я переменюсь или сдержусь вследствие наглости, с какою эти господа хотят предписывать мне законы в моем собственном управлении; я вам объявляю мою неизменную волю, что я никогда не потерплю, чтоб в России сделали этот первый шаг; пусть будет, что угодно богу. Вы видите, как они трактуют Швецию и Польшу; а я, прирожденный самодержец и будучи таким до сих пор, подклонюсь под иго государства, с которым я в союзе, но которому я не подчинен? Нет, никогда этого не будет! Пока мои глаза не закрылись, я буду охранять свою независимость; а если эти господа хотят меня поработить, то лучше рассориться с ними нынче, чем завтра. Позволить раз, то Россия станет вмешиваться в мои мельчайшие дела, захочет решать все и трактовать меня, как турки трактуют валашского господаря».

Относительно диссидентского дела король не переставал твердить, что надобно удовольствоваться религиозною свободою, а доставление диссидентам равных прав с католиками — это такой вздор, из-за которого не стоит производить таких сильных движений. Фридрих продолжал также изъявлять опасения насчет вмешательства Австрии. Но относительно Австрии Сольмс услыхал от Панина любопытное заявление, причем Панин просил Сольмса принять его слова как исходящие из уст самой императрицы: «Если венский двор захочет воевать, то императрица вовсе этого не боится;

она готова вести эту войну таким образом, что Австрия может раскаяться. Если Австрия вмешается в польские дела под предлогом защиты католицизма, то Россия поднимет в Венгрии и других областях австрийских всех некатоликов»[106].

Кроме Австрии в польские дела могла вмешаться Турция. Мы видели, с какою радостию императрица узнала о возможности исполнить давнее желание русского правительства, желание иметь консула в Крыму. Легко понять, что необходимость отозвать Никифорова вследствие известного происшествия должна была причинить большое огорчение в Петербурге; и Обрезков получил приказание хлопотать изо всех сил, чтоб позволено было прислать в Крым нового консула. Но все старания были напрасны. Порта представляла, что присутствие русского консула в Крыму невозможно по причине крайнего сопротивления этому бахчисарайского духовенства и Порта не может принудить хана принять консула, потому что хан — самовластный господин во внутренних делах, да если бы и решилась принудить, то пользы от этого не будет, ибо хан и особенно духовенство найдут средства подкопаться и под нового консула, причем могут произойти неприятности для обоих дворов. Панин заметил на донесении Обрезкова об ответе Порты: «Сие последнее от турок примечание имеет, конечно, разумное основание, да и притом видно, что они тут без притворства и без злых намерений добросердечно вверяются представлениям хана крымского. Мне же видится: и теперь, как прежде, нет большой нужды их насильствовать, а надобно настоять, что когда от нас яко от соседственной державы консул не принимается, то уже мы не можем, не сумневаясь об их искренности к себе, видеть, что хан крымский содержит при себе консула французской державы, которая другого интереса, кроме каверз между соседей, там не имеет, о чем к Обрезкову и прежде писано было, но, к удивлению, он не упоминает, учинил ли он из того какое употребление или для чего не учинил». Императрица прибавила: «Прибавьте к сему, что если французского консула терпеть для каверз, то в нашем нужда для опровержения оных, а то поссорят легко, как то видно из ханского рапорта о Моздоке, где, я чаю, никогда столь пушек не бывало, о чем я требовать буду обстоятельного рапорта, и людей столько нет, как надобно для стольких орудий».

С другой стороны, запорожцы жаловались, что татары вырубали леса, находившиеся в их дачах, и приближают свои поселения к русским границам. Обрезков спрашивал, надобно ли требовать от Порты удовлетворения на основании известной статьи мирного договора, в которой говорилось: если произойдет что-нибудь такое, о чем не упомянуто в договоре, то немедленно с обеих сторон искать способа уничтожить вред. Обрезков прибавил, что турки пользуются этою статьею

во всяких случаях, часто вовсе не идущих к делу. Панин заметил: «Да и без самой крайности лучше не поступать, чтоб тем не подать больше повода туркам яко крайним и гордым невеждам во всех своих ничем не обузданных прихотях прибегать к тому же артикулу и требовать новых обязательств и постановлений. Сколь же в существе приближение тех поселений и настоящая вырубка лесов утесняет и вредит наших запорожцев, в том на их жалобы с точностью полагаться нельзя, ибо при приношении оных обыкновенно все увеличивается беспредельно, особливо от такого грубого народа, каковы запорожцы; чего ради надлежит прежде доставить себе посылкою на место для осмотра верного человека точное и надежное известие, по которому бы можно было рассудить и определить, что будет полезнее, сократить ли селения, поелику они вправду велики и важны для нас, или же не узаконять привычки туркам требовать от нас взаимно на все новых постановлений». Екатерина заметила с своей стороны: «Посылка нарочного верного человека весьма нужна, понеже я и о том еще сомневаюсь, есть ли там окроме кустарника, а о лесе я не слыхивала» [107].

Но эти мелкие столкновения не предвещали важных последствий; столкновения по поводу польских дел трудно было предвидеть. Более заслуживающими внимания казались события, происходившие в противоположной стороне.

В Стокгольме Остерман хлопотал о скорейшем заключении договора у Швеции с Англиею. «Никто больше сенатора Руденшильта, — писал он, — против принятия английского трактата не спорил. Весьма нужно было бы его отрешить, ибо он, можно сказать, как полоумный, с запальчивостию защищает в Сенате французский интерес; жаль только, что нельзя его одного от других двух известных отделить, ибо тогда его низвержение легче могло бы совершиться».

Благонамеренные хлопотали также о скорейшем совершении брака между наследником шведского престола принцем Густавом и датскою принцессою; король, королева и французская партия не хотели этого брака, тем сильнее, следовательно, должен был сочувствовать ему Остерман. С другой стороны, датский посланник Шак упрашивал его содействовать этому браку, клянясь, что датский двор относительно шведского сейма будет действовать совершенно согласно с Россиею. Панин «в крайнюю конфиденцию» сообщил Остерману, что датский двор достаточно удовольствовал Россию. «Так как, — писал Панин, — вы получили в свои руки главный наш вид дирекции дел между нашими соседями, Швециею и Даниею, то вам не остается ничего другого, как свадебное дело привести к скорейшему окончанию и тем им обеим доказать, что поверхность ее и. в. служит и впредь служить будет им к большему обнадеживанию в утверждении

покоя и тишины. Вы можете еще больше подкрепить положенное между нашими друзьями намерение, чтобы государственные чины потребовали от короля только назначения времени свадьбы, выставив, что брак уже дело решенное торжественным договором между шведским и датским дворами. Если б вожди нашей партии пожелали, чтоб вы с своей стороны отозвались прямо к кронпринцу об этой свадьбе, то и это можно исполнить таким образом: сказать ему, что ее и. в., оставляя его при его собственной склонности в таком деликатном деле, признает его полезным как для него самого, так и для Швеции и потому желает, чтоб оно явилось согласным с склонностию его высочества».

Издержав до 10 000 шведских плотов, Остерман добился, что в секретном комитете последовало решение в пользу заключения английского договора. Остерман торжествовал, что французский посол и его сообщники Ферзен и Синклер ошиблись в своей надежде подкупить секретный комитет. Но Остерман просил вождей своей партии, чтоб они нимало не полагались на свое торжество в секретном комитете и были бы осторожны, потому что французская партия надеется получить новую денежную силу от испанского двора, да и королева обнаруживает чрезвычайное против прежнего спокойствие, следовательно, в этой тихой воде заключается какой-нибудь потаенный замысел.

Трактат с Англиею был заключен, и брачное дело улажено, хотя в ночь на 24 февраля была прибита к столбу записка, что теперь настало время всем истинным патриотам собраться и не допустить Россию и Данию наложить на Швецию иго, причем ни в вождях, ни в деньгах недостатка не будет. В Петербурге сильно тяготились продолжением шведского сейма, на который тратилось много русских денег; но Остерман требовал новых сумм и в апреле получил 100 000 рублей для окончания сейма согласно с русскими желаниями. Но кроме того, Швеция считала на России недоплаченные субсидии, и *благонамеренные* внушали Остерману, нельзя ли заплатить этот долг хлебом, именно в продолжение шести лет отпускать хлеба на 50 000 рублей. На донесении об этом Остермана Екатерина написала Панину: «Никита Иванович, нынешний год у нас у самих недостаток. Готовый бывшей в прошлом году в Риге хлеб я отдала в магазейн в военной».

Между тем ненависть короля и королевы к русской партии доходила до высшей степени: на собрании при дворе они не хотели смотреть на сенатора Калинга и не велели приглашать его к ужину за то, что он получил русский Андреевский орден; кронпринц также от него отворачивался, но потом дал знать некоторым из благонамеренных, чтоб не думали, что он ими недоволен, а поступал так по отношению к одному только Калингу, которым отец его недоволен. Один из благо-

намеренных заметил принцу, что такое поведение может произвести народное охлаждение к нему, и потому чтоб не изволил следовать примеру своей родительницы. Принц отвечал, что королева действительно изволила выбрать опасную для себя дорогу. Остерман подозревал, что королевою была избрана еще другая дорога для достижения своих целей: в мае вспыхнул крестьянский бунт в Вестерготской провинции, и Остерман указывал признаки, по которым можно было догадываться, что французская партия здесь небезучастна и что бунт может послужить средством к восстановлению самодержавия. Остерман обратился к датскому посланнику Шаку, и тот объявил ему, что в подобном случае уполномочен действовать с ним заодно; но прусский посланник Кокцей, утверждая, что его двор против восстановления самодержавия, не изъявлял, однако, готовности действовать заодно с Остерманом, а говорил только, что, по его мнению, дело до этого не дойдет. Екатерина заметила на это: «Однако одна секретная статья договора обязывает его величество прусское действовать с нами сообща, чтоб не было сделано ничего против формы (шведского правительства) 1720». Остерман продолжал присылать известия об усилении бунта и о целях его: разглашали, что бунтовщики намерены идти в Стокгольм, перебить дворянство, низвергнуть короля за слабость его правления и возвести на престол кронпринца, давши ему самодержавную власть. Шел другой слух, что восставшие хотят только уничтожить самовольное правление государственных чинов и придать больше власти той особе, которой эта власть принадлежит. Этот последний слух Остерман признавал вероятным, ибо думал, что в возмущении есть Синклерова игра. Главный возмутитель крестьянин Гофман был пойман, и смута утихла, но учреждение суда над Гофманом подало повод к новой борьбе партий на сейме. *Благонамеренные* хотели по закону учредить комиссию из трех чинов; французская партия стала сильно этому противодействовать, боясь, что противники, теперь сильнейшие, воспользуются случаем для личных преследований. «Я не в состоянии изложить, — писал Остерман, — все угрозы, нахальства и вооружения противной стороны, чтоб не допустить до учреждения комиссии. В продолжение всего сейма ни в какое время мне не были так нужны деньги, как в этом критическом случае». Наконец, граф Ферзен, видя, что сила на стороне противников, вошел в сношения с главами русской партии, согласился не препятствовать учреждению комиссии, с тем чтоб не было личных преследований. С другой стороны, французский посол несколько раз заводил с Остерманом речь об этом «в образе партикулярной откровенности», причем Остерман уверял его, что как прежде, так и теперь употребит все способы к недопущению личных преследований, если только Бретейль

уговорит своих друзей пресечь свои «наглости». Посол уверил, что «наглостей» не будет. Король и особенно королева были сильно раздражены всем этим, на благонамеренных и смотреть не хотели, да и вождями французской партии не очень были довольны, ибо королева непременно хотела, чтоб они до последней крайности противодействовали учреждению комиссии.

В половине июля Остерман прислал в Петербург известие, что французское министерство приняло совершенно новую систему относительно Швеции: оно не хочет более зависеть ни от какой шведской партии, которая может подвергаться постоянной опасности низвержения и потому не может дать постоянного обеспечения делу, ею поддерживаемому; и потому во Франции решено произвести коренную перемену в форме шведского правительства, именно восстановить самодержавие. Со введением самодержавия очень может быть, что короля нельзя будет заставить действовать согласно с видами Франции, но это будущее и только возможное зло предпочтительнее верной тирании настоящей системы, которая заставляет зависеть от партии. Для исполнения этого решения ожидается только план, который должен прислать Бретейль из Стокгольма. Пересылая это известие, полученное от английского посланника, Остерман писал Панину: «Я не думаю, чтоб на этом же сейме хотели привести в исполнение этот вредный план, разве как-нибудь нечаянно, да и то сомнительно; но по всем моим достоверным известиям легко статься может, что французский посол, лаская здешний двор таким приятным будущим, старается все более и более утвердить свое влияние над королем и королевою и между тем с своею шайкою будет вселять в нацию ненависть к настоящей форме правления, разбрасывая для этого в провинциях и деньги. А что Синклер действительно намерен содействовать такому плану, можно видеть из следующего. После пиров, бывших в деревнях у Германсона и Ландингсгаузена, Синклер настоял, чтоб граф Ферзен с своими креатурами отменил для своей партии название *шляп*, потому что это название стало противно народу, а вместо того новая партия назвалась бы *земскою*. Ферзен сначала спорил, потом согласился. «Называйте, как хотите, — сказал он, — лишь бы только мы избавились от тиранства настоящей господствующей партии». Тут же решено внушать народу, как Россия вместе с Даниею и Англиею подкупили половину шведской нации, чтоб управлять Швециею как своею провинциею. Англия для сбыта своих мануфактурных произведений разорила шведских знатных купцов; а Россия с Даниею низвергли прежнее министерство, которое так сильно заботилось о шведской независимости. Они хотят напечатать в этом смысле книжку и рассеять по провинциям. Для уничтожения такого злого умысла я с на-

шими приятелями согласился, чтоб они с своей стороны печатно изложили свои действия на пользу государства и весь вред, какой получила Швеция от Франции с самого начала своего союза с нею».

В августе Остерман уведомил, что конституция, составленная благонамеренными согласно с желаниями России, прошла беспрепятственно в большой депутации сейма. Панин написал на донесении: «Сие дело то, которое решит навсегда твердость полезной для России шведской формы правительства и которого предки в. в-ства достигнуть не могли никогда, хотя все наши прежние о Швеции беспокойства, кои иногда и действительно нас вооружали, главнейше оное в виду имели». Но Екатерина прибавила: «Предоставляю себе вас поздравить, когда все чины согласятся на то». Конституция прошла в полном собрании чинов; точно определены были границы между тремя властями; государственные чины не должны были впредь вмешиваться в назначение чинов и должностей; но если и король три раза отвергнет представление Сената, то представляемый кандидат определяется и без королевского согласия; назначение юстиции канцлера предоставлено было, однако, государственным чинам от одного до другого сейма, «потому что, — писал Остерман, — настоящий юстиции канцлер Стокенстрем — французская креатура, и если б он остался по-прежнему на своем месте, то по званию своему мог бы многим из благонамеренных отомстить и воспрепятствовать исполнению принятых на этом сейме мер». Постановлено, что вперед никакое объяснение, прибавка или поправка в фундаментальных законах не может произойти на том сейме, на котором будет представлена, остается проектом к будущему сейму. Этот пункт Остерману труднее всего было провести, потому что он лишал противную партию возможности отменить конституцию на будущем сейме.

Король и королева отплатили благонамеренным по случаю свадьбы кронпринца. Остерман уведомлял свой двор об особенном отличии, оказанном их величествами всей французской шайке, и явном пренебрежении всех благонамеренных, особенно ландмаршала, на которого король, королева и кронпринц не хотели и смотреть, не только говорить с ним, и, когда ландмаршал приветствовал кронпринца именем Сената и государственных чинов, тот не удостоил его ответом. Королева старалась показать, что очень довольна браком, и ласкала молодую невестку, чтоб совершенно *обсадить* ее французскими креатурами, по выражению Остермана, и удалить от нее всех благонамеренных. Французскому и испанскому послам оказано было особенное отличие, особенно первому.

Несмотря на торжество благонамеренных на последнем сейме, Остерман в начале ноября переслал Панину тревожные известия. Противная партия употребляла все средства,

чтоб заставить собрать новый чрезвычайный сейм; ее члены рассуждали об этом сейме как о деле несомненном, и когда благонамеренные доказывали им, что вновь сделанные финансовые распоряжения отстраняют совершенно надобность чрезвычайного сейма, то отвечали со смехом, что у них есть способ и мимо финансов привести Сенат в такое затруднение, что он необходимо должен будет прибегнуть к созванию чрезвычайного сейма. Остерман узнал наконец, в чем должен состоять этот способ: король, придравшись к какому-нибудь спору своему с Сенатом, должен был объявить последнему, что, видя себя до такой степени ослабленным в своих преимуществах, не намерен больше вступать в Сенат и мешаться в какое-нибудь дело, для этого требует созвания чрезвычайного сейма, а между тем намерен удалиться в уединение. Екатерина написала на донесении: «Ну так бог с ним». Французская партия надеялась, что по собрании сейма государственные чины из жалости не только не допустят короля сложить правление, но возвратят ему все отнятые у него права и преимущества и дадут ему их еще больше, чем он прежде имел. Тут Екатерина написала: «В жалость привести cela est bien commun (очень пóшло)».

Король отказался подписать новую конституцию, жалуясь на ограничение своей власти [108].

Чем упорнее была борьба России с Францией в Швеции, тем важнее были для петербургского двора отношения датские. Эти отношения были очень благоприятны, но Дания не могла быть покойна, пока не улажено было окончательно голштинское дело, пока русские государи владели Голштинией. Дания была покойна при Елисавете, но что грозило ей при Петре III? Теперь она успокоилась с восшествием на престол Екатерины; но кто мог поручиться, что Павел не взглянет на голштинские отношения так же, как смотрел на них отец его. Панин по этому поводу подал следующий доклад: «Составление особливой в Севере общей системы есть и должно быть первым предметом настоящей российской политики. Но пока малое Голстинское княжество пребудет в нынешнем положении своем, до тех пор не может никогда прочный быть в Севере покой, следовательно, ниже состояться в нем такая независимая от посторонних держав система, которая бы одна все равновесие в Европе содержала. Не может и не будет никогда Дания с беспредельною доверенностью полагаться на Россию, доколе по голстинским делам хотя малый вид камня претыкания оставаться еще будет. До того времени будет, конечно, Дания придерживаться Франции и Австрии и по их дудкам напрягать струны свои, дабы у сих дворов всякий раз, когда голстинские притязания тронуты будут, искать себе опоры и ими ограждаться. Верно будут Франция и Австрия сами всегда стараться продолжать сей камень претыка-

ния, чтоб способом оного удерживать всегда Данию в той зависимости, в которой она у них доныне была. Если потому нужно, чтоб особливая в Севере система достигнула когда-либо совершенства своего, время теперь положить оной основание. Малолетство его и-ского высочества великого князя может ныне служить к учинению о всех распрях запасной сделки, и, когда оная от ее и. величества предварительно постановлена, а потом по достижении его и. высочеством совершеннолетства действительно в исполнение приведена будет, без ошибки уже почти можно сказать, что ныне же и положится прямое начало тому знатному в Севере политическому зданию, которое я поставляю за выгодное и полезное отечеству. Правда, Петр Великий почитал за первый политики своей предмет и в самом деле употреблял к тому все свои подвиги, чтоб сделать для России какое ни есть в Германии приобретение, но время и обстоятельства переменяют правила. Петр Великий, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтоб уравнять оный державам второго класса, которые наиболее взаимствуют инфлюенцию свою в генеральных европейских делах от сочленства в германском корпусе, ибо, будучи там между множеством малых князей сильнейшие, могут они по имперским, с генеральными европейскими делами толь много связанным играть отличную роль, коего бы инако существительною своею силою никогда достигнуть не могли. В сем намерении помышлял и старался он предуготовить путь к присоединению герцогства Голстинского, сколь оно само по себе ни мало, под державу Российскую, дабы сим способом получить в Немецкой империи голос и пользоваться оным по течению дел и по интересам собственной своей для распространения знатности, силы и инфлюенции ее, кои тогда трудами его возрастать только начинали. В последовавшие потом времена хотя слава и важность отечества нашего очевидно выходила уже из толь тесных пределов, приобретая, напротив того, сами по себе совершенное с первыми в Европе державами равенство, однако затверделое предубеждение, которое от венского двора для приведения нас в некоторую от себя по германским делам зависимость натурально всеми силами всегда подкрепляемо было, оставалось еще непременно во всей своей силе и руководствовало отчасти всеми нашими предприятиями; но ныне под мудрою и благословенною державою ее и. в-ства, когда Россия не только у всей Европы в совершенное сама по себе почтение приведена, но и когда уже действительное и твердое отчасти положено основание собственной нашей независимой системы, которою толь славно и счастливо произведен новый выбор короля польского, должно нам не о том помышлять, чтоб искать дел для утверждения знатности своей, но чтоб паче руководствовать делами и сохранять собою покой и

тишину империи своей, чему, по собственному ее и. в-ства признанию и удостоверению, ничто столь много способствовать не может, как составление под предводительством России общего северных держав между собою соединения и союза. Умалчивая о всех других к сему предмету относительных обстоятельствах, нахожу я только приметить, что Голштиния, хотя ею и навсегда Дания к союзу с нами привлечена быть может, сама в себе по состоянию своему в рассуждении России и ее ныне в Европе основанной силы и знатности отнюдь не может за важное приобретение почитаема быть, а толь меньше польза общего северного союза равняться когда-либо с выгодою действительного ее владения. Польза от союза очевидная, существительная и неоспоримая, а выгода от владения исчезает совершенно, если только прямо вообразить себе малость с отдаленным от России неудобным положением той части герцогства Голстинского, которая принадлежит великому князю. Надобно здесь приметить: Дания предлагала в прошлые времена на обмен за великокняжескую долю Голстинии графства Ольденбургское и Дельменгорстское. Такое предложение противно весьма истинным началам российской политики. Толь великая империя, которой сила ныне совершенно уже утверждена, не будет, конечно, никогда иметь нужды брать в обмен толь бедные землицы. Неприлично державе Российской иметь в Германии такие крохи и в смущенном Германской империи корпусе то от австрийского дома ленное господство, поверхность или же и одни прицепки имперского надворного суда сносить, то с сильнейшими соседями вступать в бездельные о границах хлопоты и в соперничество о власти и юрисдикции. По настоящим российской политики правилам не надобно ей к истинному ее приращению ни одной пядени земли в Германии. Славнее для нас ничего там не иметь, а вместо того сильными нашими союзами, особливо же общим северным, делать всегда перевес как в Европе, так наипаче в Немецкой империи при всяком там случае. Сих ради причин представленный Данией обмен графств Ольденбургского и Дельменгорстского имел бы для Российской империи к тому единственно служить, чтобы обратить оный в пользу и справедливое удовлетворение родственникам и ленным свойственникам е. и. в-ства великого князя» [109].

Екатерина согласилась с этим мнением, и Сальдерн, как мы видели, отправился в Данию и Голштинию для улажения этого дела, но не в качестве посланника, которым был сначала Корф, а потом генерал Философов.

В первом донесении своем от 4 января Корф уведомил о кончине короля Фридриха V, которому наследовал Христиан VII. Вначале все осталось по-старому: главным влиятельным лицом при покойном короле был обер-маршал граф

Молтке; новый король утвердил его во всех чинах и должностях; но говорили, что королева, бабка молодого Христиана VII, будет иметь на него большое влияние. «Следовательно, — прибавлял Корф, — будущего жребия многих здесь особ еще узнать нельзя». 27 марта умер и сам Корф. На его место был назначен генерал-майор Философов; но до его приезда секретарь посольства барон Ферзен должен был уведомлять Панина о событиях при копенгагенском дворе. От 8 июля он уведомил его, что граф Молтке должен был отказаться от всех своих должностей, потому что в прошедшее царствование не угодил старой королеве.

Философов приехал в Копенгаген только в конце года. От Сальдерна Философов узнал, что датский двор находится в печальном положении, единственный человек, с которым можно вести дело, — это Бернсторф, но и тот непрочен на своем месте, и Сальдерн уже хлопотал о его поддержке. «Я уже здесь две недели, — писал Философов, — а товарищ мой и более, но никто, ни сам король, ни министры его, не только ни в какие объяснения с нами не вступали, но когда мы их хотели серьезно затронуть, то из ответов их можно было видеть совершенное их незнание. Почему и кажется, что необходимость требует для достижения всех желанных нами полезностей от сего двора г. Бернсторфа всеми силами подкреплять как единственный дальновидный инструмент, могущий нам содействовать; и хотя по внушениям товарища моего и по сделанным от меня в том подтверждениям доверенность королевская к г. Бернсторфу совершенно возвратилась, но так как чрезвычайное и беспримерное легкомыслие королевское и его ежедневно изменяющееся обращение со всеми без изъятия не позволяют твердо полагаться на настоящее его обращение с Бернсторфом, то нахожу нужным предварительно уведомить, что в случае падения г. Бернсторфа, если бы другие средства и внушения наши чрез других к восстановлению его значения были недостаточны, думаем самому королю доброю манерою сказать, что если он при переговорах не всю свою доверенность на г. Бернсторфа возлагать будет, то мы будем принуждены остановить переговоры и требовать новых повелений от своего двора, ибо знаем, что наша государыня рассчитывала на большой успех переговоров, имея в виду известные способности г. Бернсторфа» [110].

Еще прежде Корфа умер в Лондоне старик Гросс и был заменен графом Алексеем Мусиным-Пушкиным, но до приезда последнего делами заведовал племянник покойного советник посольства Гросс. По поводу все еще тянувшегося дела о заключении торгового и союзного договоров между Россиею и Англиею Гросс писал Панину, что при настоящем положении дел в Англии эта держава может только очень слабо содейст-

вовать установлению прочной системы на Севере. Настоящие министры затруднены на каждом шагу и каждую минуту подвергаются опасности лишиться своих мест, между ними нет согласия, и они не пользуются доверием ни короля, ни народа. По словам английских историков, «превосходные намерения и по большей части превосходные меры управления лорда Рокингама были недостаточны для отвращения зла, происходившего от личных недостатков лорда Рокингама. От неимения великого контролирующего центра вся система подвергалась расстройству»[111]. Наконец ожидаемая перемена произошла: знаменитый Питт, лорд Чатам, вступил в министерство. Между тем лорд Макартней подавал Панину одну за другой плаксивые записки, умоляя не останавливать заключения торгового договора, хотя, как мы видели, в Англию уже дано было знать о его заключении[112].

Дело остановилось на одной статье: в русской редакции относительно новых постановлений о торговле говорилось, что английские купцы извлекут из этих новых постановлений те же выгоды, как и подданные императрицы. Англичане же требовали, чтобы эта статья была выражена так: «Новое постановление никаким образом не стеснит и не ограничит торговли английских купцов в России, не изменит ее направления и природы». Императорский кабинет не соглашался на это изменение. Панин внимательно выслушивал речи Макартнея, все его доказательства и отвечал: «Я вижу, что у нас никогда не будет торгового договора». Макартней подал записку. «В нашей стране, — писал он Панину, — интересы политические и торговые не могут быть разделены; на торговле основано могущество Англии, и неужели вы из-за одной формальности захотите показать перед целым светом неуважение, питаемое вами к этой основе нашего величия. Возможно ли кому-нибудь поверить, чтобы заявление, какого мы требуем, могло повредить достоинству императрицы. Ее и. в-ство обладает не только героическими добродетелями, но также кротостию и умеренностью и не откажет в особенной благосклонности, на которую король, мой государь, будет смотреть как на оказанную ему лично. Постоянная цель английской политики состоит в том, чтобы угождать императрице. Чтобы угодить императрице, король послал министра в Стокгольм, несмотря на оскорбление, ему там нанесенное; по требованию русского интереса он забыл оскорбление. Чтобы угодить императрице, он дружится с ее друзьями: так, недавно он сделал предложение королю датскому. Чтобы угодить императрице, он снова посылает министра к берлинскому двору: министру этому приказано содействовать во всем русским интересам. Если императрица останется неумолимою, то что я должен донести моему государю? Что она предпочитает один пунктик (un punctilio) не только горячему желанию

короля приобресть ее дружбу, но и счастью рода человеческого, ибо установление северной системы упрочит не только спокойствие и счастье нашего века, но и отдаленного потомства. Разве мало еще нам унижения от императрицы вследствие ее повторительных отказов? Неужели она не захочет нас поднять и явиться столь же великою своим снисхождением, как и вниманием к поддержке своего значения и достоинства? Мы питаем к ней полное доверие, мы удовольствовались бы и словесным обещанием с ее стороны; но кто поручится, что все русские государи будут похожи на нее и что ее жизнь будет так же бесконечна, как и ее слава? Умоляю вас обратить внимание на различие между конституциею Англии и конституциею вашей великой и страшной империи, на тонкие границы, которые у нас разделяют власть государя от привилегий народа. Если бы, к нашему счастью, ваше пр-ство были министром в Англии, то вы бы вникли в гений нашей конституции и прощали бы нам наши недостатки, снисходили бы к нашим слабостям; ваш высокий ум проник бы в тайны нашей политики, и вы увидали бы, что́ мы можем сделать и чего не смеем сделать. Разве я не знаю, чем мы обязаны способностям человека, который умел успокоить и шведские предрассудки, и датскую зависть и сделать Россию решительницею судеб Севера? И вот в ту самую минуту, когда блестящее будущее открылось нашим глазам, когда одной ничтожной уступки с вашей стороны достаточно для окончательного прославления царствования императрицы и мудрости ваших советов, из-за чистой формальности (ничтожной для России и необходимой для нас) вы покинете эту великую систему, которая держит в нерешительном положении всю Европу, систему прекраснейшую, какую политический гений когда-либо придумывал и которая соделает век Екатерины самым блестящим веком в летописях мира. Неужели вы захотите из-за сущей безделицы упустить случай подчинить Великобританию вашим идеям, заставить ее присоединиться к вашим союзникам и действовать под вашим руководством?»

«Когда трудились над возобновлением торгового договора, — отвечал Панин, — то главною нашею мыслью было установление самой точной взаимности. Британский устав (Акт мореплавания) полагает границы участию иностранцев в английской торговле. Надобно было внести статью, которая бы служила противовесием этому акту; вот почему мы оставили за собою право сделать впоследствии такое внутреннее распоряжение, которое бы служило для ободрения и распространения русского мореплавания, право, которого нельзя у нас отрицать без явной несправедливости, без посягновения на независимость нашего правительства. Чем же станет после того независимое правительство, если у него отнимется власть делать что ему угодно внутри государства? Конституция, уже

действующая, может ли быть священнее свободы установить подобную конституцию, когда она будет признана выгодною? Государство стало бы предписывать законы другому, если бы сказало ему: у нас есть уставы, из которых давно уже мы извлекаем большие выгоды; у вас еще нет подобных; настоящий порядок вещей в нашу пользу, поддержим его во всей ненарушимости! Торговля может быть основанием английской политики; но торговля не уничтожается потому только, что нет договора, определяющего ее условия. Наши взаимные нужды, существуя постоянно одинокими, установят различие, которое мы взаимно постановим между русскими и английскими подданными и подданными других держав и поддержим во всей силе политические отношения, нас соединяющие. Затруднение, встреченное при ратификации торгового договора, не может произвести никакой перемены в отношениях между императрицею и королем, никакого нарушения системы, которую оба двора имеют в виду для спокойствия Севера. Союзный договор точно так же предполагает совершенное единство интересов, как и договор торговый. Препятствие, встреченное при заключении торгового договора, не должно отнимать у нас дух; наоборот, мы должны с большим жаром стремиться к заключению союза, который возвестит Европе, что никакое препятствие не может порознить политическую систему России от политической системы Великобритании. Мы первые докажем это тем, как будет поступаемо с английскими купцами в России без договора; этим обхождением мы покажем, что умеем отличать друзей своих» [113].

По поводу этой неудачной для себя борьбы Макартней писал своему министерству: «Я должен заметить, что оба государства находятся в заблуждении относительно друг друга. В Петербурге воображают, что лондонский двор может заставить британскую нацию усвоить его идеи так же легко, как русская императрица может заставить своих подданных повиноваться ее указу. Хотя я употреблял необыкновенные усилия, чтобы объяснить им разницу между обоими правительствами, они не умеют или не хотят понять ее. Наша ошибка на их счет состоит в том, что мы смотрим на них как на народ образованный и обращаемся с ними так, тогда как они вовсе не заслуживают этого названия, и смело скажу, что Тибетское государство или владения попа Ивана имеют на него такое же право. Ни один из здешних министров не понимает по-латыни и немногие обладают начальными литературными сведениями. Гордость — дитя невежества, и потому не удивительно, если действия здешнего двора иногда отзываются высокомерием и тщеславием. Приводить Гроция и Пуффендорфа петербургским министрам все равно что толковать константинопольскому дивану о Кларке и Тиллотсоне. Мне говорили, что обычные формы сношений, употреб-

ляющиеся при других дворах, при здешнем введены только в нынешнее царствование. И Панин, и вице-канцлер — оба уверяли меня, что во времена императрицы Елисаветы Бестужев подписывал все трактаты, конвенции и декларации без полномочия от государыни. Понятно, что международное право не может сделать больших успехов в стране, где нет ничего похожего на университет. Так как они варвары и невежды во всем том, что способствует умственному развитию и ведет к открытиям, то я мало опасаюсь их успехов в торговле и мореплавании. Как дети, они прельщаются каждою новою идеею, преследуют ее некоторое время и потом покидают, когда в их воображении является другая. Постановления Петра Первого 1718 года основаны на нашем Акте мореплавания; но, думаю, ни одна морская держава не почувствовала никакого вреда от них. Их жар к морскому делу так скоро простыл, что при Петре II князь Долгорукий издал указ, которым останавливалось даже кораблестроение. При императрице Анне они опять переменили мнение и возобновили прежнюю систему; несмотря на то, все их последние коммерческие предприятия сопровождались убытками, неудачами и стыдом. Их упорство в настоящем случае происходит чисто от высокомерия, и гораздо труднее переломить русского в деле гордости, чем в деле интереса. По моему крайнему разумению, совершенно невозможно уговорить их на уступку нашему требованию, и потому я думаю, что надобно ратифицировать договор, ибо иначе мы можем многое потерять».

Когда иностранный посланник начинал сильно бранить Россию и русских, именно упрекать их в варварстве и невежестве, то это обыкновенно было признаком, что русский двор сумел охранить свое достоинство и свои интересы. Будучи сердит на Панина, Макартней с удовольствием извещал свое министерство об ослаблении его влияния, передавал, что Панин страстно влюбился в графиню Строганову, дочь бывшего канцлера Воронцова, которая ищет развода со своим мужем. Вследствие своей несчастной страсти Панин стал небрежен и рассеян, дела остановились, а сам он теряет уважение общества, которое не может простить такого увлечения человеку его лет и положения; враги указывают на дурной пример, подаваемый министром и, главное, воспитателем наследника престола; под врагами Панина прежде всего разумелись Орловы; главными же друзьями Панина по отъезде Сальдерна оставались Чернышевы. Но к несчастию для Макартнея, эти отношения нисколько не изменяли дела о торговом договоре, и он должен был подписать его в той форме, в какой требовал Панин.

Торговый договор был заключен; оставалось заключить союзный; и в Англии охотно заключили бы его: здесь нравилась северная система, противоположная южной; но по-прež-

нему существовал камень преткновения: Англия никак не соглашалась включить Турцию в случай союза, т. е. обязаться помогать России и против нее. Макартней в начале 1767 года писал своему министерству, что остается одна надежда на уступку со стороны русского двора: если вследствие неудовольствия в Швеции или волнения в Польше Франция примет явно сторону первой, а Австрия сторону второй, то обстоятельства могут сделать для России английский союз необходимым [114]. По-видимому, ожидания Макартнея сбывались: в Польше обнаружились волнения. В начале 1767 года Репнин спрашивал Панина, надобно ли восстановлять диссидентов во всех старых правах их, за исключением только должности великих гетманов; надобно ли ограничить число диссидентских депутатов на сеймах или дать им полное равенство с католическою шляхтою. Панин отвечал, что надобно представлять дело полякам различно, смотря по тому, кто будет у него об нем спрашивать Людям равнодушным, не принадлежащим ни к какой партии, надобно отвечать, что диссидентское дело двойное по природе своей, церковное и гражданское, почему и русские требования разделяются надвое. По отношению к церковной стороне дела истина несомненная и признанная даже на последнем сейме самим польским духовенством, что диссиденты утеснены против законов и правды, и потому мы требуем уничтожения вкоренившихся злоупотреблений и установления для них на будущее время полной свободы общественного богослужения. Что же касается прав гражданских, то мы с самого начала представляли их предметом переговоров, следовательно, намерение наше было покончить дело полюбовно, на разумных условиях. Мы не изменяем наших намерений и теперь (хотя дело доведено до крайности упорством польского двора), если противная партия, признав свои ошибки и желая избежать опасностей, грозящих республике, станет вести это дело с нами откровенно и полюбовно. Если искренне захотят сохранить спокойствие отечества, то диссиденты не станут делать излишних требований и удовольствуются средством, которое бы могло обеспечить им известное равенство с своими согражданами. Но с теми, которые, будучи недовольны двором, стали бы искать покровительства ее и. в., составили бы особую партию и захотели бы даже образовать конфедерацию в полной форме, с такими надобно держать другую речь, надобно внушать им, что ее и в. вовсе не имеет вредных намерений против католической религии, напротив, дозволяет ей преимущества пред другими исповеданиями. Мы охотно соглашаемся на то, чтобы католики пользовались исключительно важнейшими должностями в государстве, например должностями великих гетманов и министров; также чтобы они составляли большинство в законодательстве и судебном управлении,

определивши число диссидентских депутатов на сейме и в судах. При таких преимуществах католики могут оставаться спокойными и безопасными со стороны диссидентов; кроме того, раздача должностей и милостей будет зависеть единственно от короля-католика, а можно ли предположить без оскорбления здравого смысла, чтобы тут диссиденты не только взяли верх, но и могли соперничать с католиками? «Излишним считаю рекомендовать в. с-ству, — писал Панин, — чтобы вы этими и подобными изъяснениями приучали поляков смотреть с большим равнодушием на то, что будет нами предприниматься в пользу диссидентов, ибо в самом деле если только мечта фанатизма и предубеждения будет у них вынута из глаз, то не могут они сами не признать, что восстановление диссидентов в правах возвратит законную целость поврежденной их конституции, утвердит тишину их отечества, истребив корень взаимной вражды и ненависти, и доставит католической религии не путем насилия, но добровольным согласием других исповеданий в роды родов характер господствующей религии, каковой характер в противном случае таким же насилием и так же легко может быть у нее отнят, как она его себе присвоила и теперь присваивает». К этому ответу Панин присоединил собственноручный постскрипт: «Все предписанное прозорливостью умеряемо быть должно; сокращение некоторое в равенстве исполнения веры и гражданских прав диссидентам полагается для предупреждения больших замешательств и для скорейшего окончания одними нами сего дела с утверждением себе нового права инфлюенции в правительстве польском, а восстановление того равенства сколько возможно остается навсегда основанием нашего интереса, и потому сии два предмета всегда должны быть согласуемы между собою».

Для окончательного определения отношений к Чарторыйским Панин писал им, чтобы они решительно ему отвечали, согласны ли они содействовать видам России относительно диссидентов. Чарторыйские отвечали уклончиво, уверяя в своем неизменном желании видеть отечество в тесном союзе с Россиею, в своей преданности особе императрицы. Репнин сказал им, что их письмо отличается неопределенностью, что нечего толковать о своих добрых намерениях, надобно доказать их на деле, поступая так, как мы хотим «Вы представляете опасности от диссидентской конфедерации для самих диссидентов, а не говорите, как же сделать иначе. Опасность будет грозить не диссидентам, а тем, которые позволят себе причинить какое-нибудь насилие диссидентам, потому что Россия отомстит страшно обидчикам. Вы не говорите ни слова, будете ли действовать согласно с нами на будущем сейме, чтобы привести к желанному концу диссидентское дело во всей его полноте. Вы внушаете в своем письме, что

надобно доставить Польше какие-нибудь выгоды для облегчения диссидентского дела; пожалуйста, говорите ясно, потому что мы не хотим терять времени в переговорах». Чарторыйские отвечали, что они не могут сами взяться вести диссидентское дело, ни предложить какое-либо средство для его успешного окончания. Во время разговора у одного из Чарторыйских вырвались слова, что скорее выгонят диссидентов из Польши, чем согласятся допустить их к занятию должностей. Репнин сказал на это: «Те же самые государства, которые просят теперь о восстановлении диссидентских прав, придут и вооруженною рукою потребуют возвращения всех диссидентских имений и скорее перевернут всю Польшу, чем откажутся от своих требований». Репнин показал ответ Чарторыйских диссидентским вождям и спросил, когда они будут готовы со своей конфедерацией. Те назначили 9 марта ст. ст. текущего года, и Репнин дал знать в Петербург об этом сроке, чтобы к тому времени русские войска были готовы вступить в Польшу. С другой стороны, вполне предавшийся Репнину референдарий коронный Подоский отправился в объезд по главным противникам *фамилии*, к Потоцкому, Оссолинскому, Мнишку, к епископам Солтыку и Красинскому, испытать их расположение, обещать покровительство России, посредством которого они могут взять верх над Чарторыйскими, если только согласятся содействовать диссидентскому делу. «Подоский — лицо духовное, — писал Репнин, — но он вовсе не фанатик и думает гораздо больше о благах мира сего, чем о венце мученическом; это человек ловкий и очень разумный. Он будет уговаривать вельмож написать коллективное письмо к императрице с просьбою своим высоким покровительством восстановить законы, нарушенные в настоящее царствование, и обеспечить их силу навсегда. Он будет уговаривать их составить конфедерацию, как скоро наши войска войдут в Польшу, ибо эти войска будут их защищать». Тот же Подоский написал к находившемуся в изгнании князю Радзивилу с приглашением пристать к русской стороне.

Велась переписка с Чарторыйскими; вследствие неудовлетворительности их ответа обратились к их врагам; о короле как будто забыли, к нему не обращались ни с какими вопросами и внушениями. В конце января Станислав-Август решился сам затронуть Репнина о политике и сделал к серьезному разговору шуточный и не очень благопристойный приступ. «Французская актриса Клерон, — начал король, — предлагает мне свои услуги, и я хочу ими воспользоваться; но беспокойства нынешнего года не помешают ли удовольствиям?» Репнин отвечал, что удивляется, как его величество серьезные дела мешает с такими мелочами. Но король продолжал разговор об актрисе и кончил вопросом: «Не пойдете

ли вы на нас войною?» Репнин отвечал, что это зависит от них, потому что война бывает там, где есть сопротивление; кто же не сопротивляется ни прямо, ни происками у других, но, видя и право, и силу в соединении, старается им удовлетворить *добрым манером*, смотря с терпением на подвиги их, тот не может опасаться войны. «Мое мнение то же самое, — сказал на это король, — уверяю вас, что не хочу ни прямо, ни стороной противиться России в случае вступления ваших войск сюда; но кроме этого что вы мне присоветуете еще делать?» — «Удовлетворить нашим требованиям, — отвечал Репнин, — если это удовлетворение будет соединено с осторожным и благоразумным поведением, то в. в-ство непременно достигнете прежней дружбы с Россиею».

Вожди диссидентов, взявши у Репнина 20 000 червонных, сдержали слово, ему данное. К назначенному сроку, в марте месяце, образовалась конфедерация из протестантов в Торне, маршалом которой был граф фон Гольц; в то же время образовалась другая конфедерация в Слуцке под маршальством генерала Грабовского; к ней принадлежали православные Новогрудка и других соседних областей. Переговоры с Радзивилом, ведшиеся посредством саксонского агента Алоэ, кончились успешно. Радзивилу обещано было позволение возвратиться в отечество с восстановлением во всех правах и в прежнем значении, но под условиями: действовать в интересах русской императрицы, особенно поддерживать ее намерения относительно диссидентов, не притеснять их в своих имениях, возвратить им их церкви, выдавать русских перебежчиков, вести себя благоразумно. Последнее условие считалось необходимым, потому что знаменитый вельможа, особенно под веселый час (а эти часы были не редки), позволял себе дикие выходки. Радзивил был в восторге от русских предложений и 28 февраля из Дрездена отвечал Репнину, что, проникнутый чувством самой живой признательности к императрице за предлагаемое покровительство, покорный ее великодушной воле для блага республики и всех добрых патриотов, провозглашает и обещает, что будет всегда держаться русской партии, что приказания, которые угодно будет русскому двору дать ему, будут приняты всегда с уважением и покорностью и что он будет исполнять их без малейшего сопротивления, прямого или косвенного. Чтобы не оставить никакого сомнения насчет своих поступков, чтобы не дать врагам ни малейшей возможности чернить его и в знак покровительства императрицы Радзивил просил, чтобы при нем постоянно находился русский чиновник, который бы давал ему непосредственно знать о намерениях императрицы. В заключение Радзивил обещал содействовать успеху диссидентского дела всеми силами и в тех размерах, какие русский двор заблагорассудит дать этому делу.

Возвратился из своего объезда и Подоский; он донес, что Потоцкий, Оссолинский, Вельгурский, Солтык и некоторые другие согласны коллективным письмом просить покровительства императрицы и потом образовать под этим покровительством конфедерацию и провести диссидентское дело по желанию России, но хотят прежде всего видеться с русским послом. Репнин дал им знать, чтобы приезжали в Варшаву не позднее 10 апреля н. ст. «Кажется, сие начало столь хорошо, сколь желать было можно, — писал Репнин Панину, — однако я, быв уже здесь столько раз каждым особо обманут, за успех отвечать совсем не смею и стараться не упущу оный верным сделать». Разрыв русского двора с Чарторыйскими, неподатливость короля в диссидентском деле, движение русских войск в польские владения возбудили в принце Карле саксонском надежду на важные перемены в Польше, которыми он мог воспользоваться. Агент Карла Алоэ получил от него приказание сблизиться с Репниным и во всем сообразоваться с его желаниями. Это было выгодно для русского посла, потому что Алоэ был в сношениях со всею старою саксонскою партией, с которою теперь Репнин хотел действовать заодно. Мы видели, что через Алоэ велись переговоры с Радзивилом; при помощи Алоэ и Подоского Репнин составил проект литовской католической конфедерации, кроме коронной.

Когда образовалась диссидентская конфедерация и было обнародовано, что она находится под покровительством России, Репнин объявил Чарторыйским, что они теперь свободнее могут помочь ему, ибо фанатическое ослепление должно уменьшиться вследствие обнародованного им письма, в котором изложены намерения России, не имеющие ничего вредного для Польши, для католицизма. Чарторыйские отвечали, что будут содействовать ему по возможности, будут стараться и сами об уменьшении фанатизма и рады будут успеху в этом деле. Когда Репнин сказал им, что должны приехать к королю депутаты диссидентской конфедерации, то Чарторыйские начали просить, чтобы этого не было: этот поступок, по их словам, не заключал в себе никакой важности, ибо король не может дать никакого решения делу, один только сейм может это сделать; королю это может быть только крайне вредно, давши повод к развращенным толкованиям противников дела. Конфедерация, пока она не генеральная и не одобрена во всех воеводствах, не может почитаться законною, и король не имеет права принимать от нее депутатов. «Вижу, — писал Репнин, — что Чарторыйские стараются ужиматься и сколь можно менее всем открываться, боясь явно как нам противиться, так и согласие на сие оказать». Но он не мог им ничего сказать вдруг на их представления против присылки диссидентских депутатов; он снесся с конфедератами, и те отвечали, что для них необходимо принятие коро-

лем их депутатов, отказ в этом принятии будет знаком презрения к их конфедерации, такой отказ можно сделать только злодеям республики.

В двадцатых числах марта собрался в Варшаве сенатский совет, где читаны были декларации русского и прусского послов относительно диссидентов и акт диссидентской конфедерации. Совет кончился тем, что решили вызвать всех сенаторов для полного совета к 25 мая. По этому поводу Репнин писал: «Его величество, говоря со мною о сем, внушил мне вскользь, что нарочно он срок сего сенатского совета до вышеупомянутого дня отложил, дабы дать время нашим войскам более в землю вступить и по нужным местам расположиться, а далее же не вижу я, чтобы он подавался с нами согласно действовать, а уверяет только по-прежнему, что ничего против наших мер не предпримет; Чарторыйские же хотя в том же уверяют, а притом что и содействовать нам будут по возможности, но оную они всегда коротко ограничивают, а между тем по-прежнему принятию диссидентских депутатов упорствуют, отвращая от того и короля, который сам и на то бы склонился, если бы не удерживали, что он мне несколько и выразуметь дал. Я еще с твердостью о сем с Чарторыйскими изъяснюся». Станислав Понятовский высказал свой взгляд на ход диссидентского дела в письме к Жоффрэн: «В диссидентском деле императрица запросила слишком много, а сейм в слишком многом отказал». Это писал он в самом конце 1766 года, а в марте 1767 писал: «Не спешите осуждать меня, терпение, и я оправдаюсь. Терпение и мужество (?) — вот мой девиз. Буря приближается и будет страшная. С минуты на минуту я жду известия, что русские войска входят в мои владения. Я вам не скажу, что я сделаю: это невозможно, вы слишком далеко; я вам скажу только, что стараюсь сохранить голову очень холодную и повторяю себе пятьдесят раз в день, что бегать за славой — глупость». Относительно Чарторыйских писал: «Аттик и Цицерон (Чарторыйские), видя себя в затруднительном положении между Компасом (Екатериною) и Площадью (общественным мнением), захотели на свое трудное место поставить Телемака (короля) своими советами, которые погубили бы его перед тем и перед другою. Тут Телемак сказал самому себе: служить общественному мнению есть известный род обязанности; но служить истинному благу государства есть обязанность более священная. Счастье, когда можно их согласить; когда же нельзя, надобно держаться последнего. Телемак, который, отказываясь до сих пор постоянно от собственного мнения, видел много раз, что было бы лучше ему следовать, поневоле решается для избежания поставленных ему ков следовать с этих пор собственному мнению и уже начинает видеть выгоду этого».

4 апреля Репнин уведомлял, что дело католической конфедерации в Литве идет хорошо благодаря деятельности графа Бростовского, старосты Быстрицкого, зятя князя Радзивила; но посол жаловался на коронных панов, которые своею медленностью и трусостью не дают делу движения в Польше. «Ваше высокопр-ство, — писал он Панину, — я думаю, часто считаете, что я слишком горяч; но я желаю истинно, чтобы ангел на моем месте был, уверен быв, что и тот бы терпение потерял с таковыми шильниками. Вам известно, что многие из здешних противных (двору и Чарторыйским) магнатов желали сюда съехаться, чтобы со мной видеться и решительные меры принять по настоящим делам, но, кроме воеводы Волынского, который сына своего прислал, и кроме подскарбия коронного Весселя, который сам приехал, никто из сих господ не бывал, сказавшись все больными. Ясно я вижу, что они отваливаются, желая чужими руками жар загребать и пристать, только когда дело будет уже сделано, представляя себе в своих химерах, что наш двор с здешними скрытно согласны, а только наружность противную имеют, и, провождая свое время в подобных сновидениях, сколь я ни стараюсь их истреблять; то же во лжи и в трусостях ежечасных: противные, боясь дворской и чарторыйской партии, а сии последние, боясь противной, и в страхе своем, который питают и умножают пустыми выдумками, только кричат и жалуются на правление и двор, а пошевелиться от раболепства не смеют. Таково есть сложение польской нации, из чего можете заключить, сколь приятно с ними дело иметь и сколь возможно на них полагаться».

Но, изливая свою досаду в письмах к Панину, Репнин не складывал рук: он привлек к себе крайчего коронного графа Потоцкого, человека молодого, но надежного по основательности своей и богатого, и отправил его побуждать магнатов приехать в Варшаву для свидания; тот же Потоцкий должен был приготовить актеров конфедерации, по выражению Репнина, в Галиции. Маршалом генеральной коронной конфедерации посол намеревался сделать самого князя Радзивила «для пугалища» Чарторыйским, для избежания убытков, потому что он сам себя содержать станет, и для ясного доказательства противной двору партии, что русский двор с польским никакого согласия не имеет; а чтобы Радзивил не наделал шалостей, то Репнин хотел приставить к нему полковника Кара с командой под видом прикрытия конфедерации, собственно же для того, чтобы держать маршала ее в руках. При этом надобно было покончить с делом принятия диссидентских депутатов королем. Репнин призвал к себе пана Огродского, управлявшего королевским кабинетом, и потребовал немедленного и прямого ответа на вопрос, примет ли король диссидентских депутатов или нет. Посол кончил свой

разговор с Огродским словами: «Если король и министерство не захотят депутатов с пристойностью принять, то его величество рискнет лишиться дружбы нашей всемилостивейшей государыни». Слова эти произвели волшебное действие: Огродский возвратился с ответом, что «король, уважая дружбу ее и. в-ства и всегда желая доказывать свою к ней преданность, хотя совет его и противился, намерен, однако, принять депутатов диссидентских». Этот прием происходил 28 апреля н. ст. После предъявления своих желаний депутаты были допущены к королевской руке, что́ было знаком утверждения законности диссидентской конфедерации.

Наконец в конце апреля Репнин дождался приезда в Варшаву воеводы киевского Потоцкого, епископа каменецкого Красинского и маршала надворного Мнишка. Двое первых ревностно принялись за сочинение католических конфедераций, Мнишек сам поехал в воеводство Познаньское и Калишское для того же сочинения. Репнин все это время находился в «муке родин», по его выражению, потому что с магнатами было много хлопот, много было увещаний, ласок, споров и брани; всякий хотел иметь главное руководство делом, завидуя друг другу. Наконец Репнин принужден был прямо сказать им, чтоб «никто из них не льстился владеть им и делом, что он сам один хочет им руководствовать, а кому это не нравится, с тем никакого дела иметь не хочет». «Сей короткий ответ, — доносил Репнин, — кажется, их всех в границы привел и ревность их междоусобную утушил. Теперь надеюсь, что все пройдет порядочно. Между прочим, замашки были у сих новых приезжих, чтоб короля совсем с престола свергнуть; но я им строгое поручение против сего дал и все сии замыслы тотчас искоренил; и он (король) в великой горести и унынии духа легкомыслие свое увидел, но видит, что сие раскаяние пришло к нему несколько поздно. Я признаюсь, что не без жалости на его горесть смотрю: заведен он был или мошенниками, или вертопрашно горячими головами, и вина его главная от них произошла. Приласкайте его несколько».

Когда разнесся слух, что будет образована католическая конфедерация, король начал всячески уговаривать Репнина отстать от этого намерения. Тот отвечал ему, что русский двор без этого уже не может обойтись, чтоб не зависеть более от одной воли князей Чарторыйских на будущем сейме; не желает полагаться единственно на обещания, а хочет быть уверенным в успехе. Король возразил, что успех и без того верен при виде силы, которая употребляется с русской стороны. «Так не угодно ли вам, — отвечал Репнин, — заранее письменно поручиться не только за диссидентское дело, но и за то, чтоб форма правления республики осталась во всей своей силе на прежнем основании и что для утверждения

этого будут просить ручательства императрицы в непоколебимости прав, законов и вольностей республики». Это заставило короля замолчать против конфедерации, и он стал просить только, чтоб Репнин сообщил ему, в чем будет состоять акт конфедерации. Репнин отвечал, что первым делом конфедерации будет восстановление диссидентов в их правах, вторым — испрошение покровительства и помощи императрицы для охранения древней формы правления и ручательства за вечную ее твердость; князь Радзивил будет возвращен в отечество и получит во владение все свои имения; что же касается его, короля, то против его достоинства ничего не будет сделано, конфедерация отзовется о его особе с надлежащим почтением. «А для чего князь Радзивил будет маршалом конфедерации?» — спросил король. «Для того, — отвечал Репнин, — что я более уверен в его зависимости от нас, чем в зависимости всякого другого; я желаю иметь людей послушных, а не ждать из чужих рук исполнения моих собственных дел, тогда как я уже столько раз был обманут ложными обещаниями». Король начал было говорить против пункта ручательства императрицы за конституцию, но Репнин сказал, что это главный пункт Станислав-Август кончил разговор обещанием, что будет смотреть на все это хотя с горестью, но тихо и терпеливо, на что Репнин сказал, что таким поведением он опять приобретет короткость и дружбу императрицы. После этого объяснения с королем является к Репнину Чарторыйский, воевода русский: «Конфедерации начинаются, обстоятельства такие деликатные; не знаю, как вести себя с фамилией и приятелями; боюсь, чтобы по незнанию не сделать чего-нибудь неприятного императорскому двору, которому мы так преданы». «Знаю силу твоих слов», — подумал Репнин и отвечал: «Конфедерации эти делаются против вредных новостей, введенных в правление; делаются против нарушения древних законов и формы правительственной, согласны, следовательно, с полезными видами ее и. в-ства насчет республики здешней; а сверх того, так как эти конфедерации прибегают к покровительству императрицы и ручательства ее просят для непоколебимого сохранения прав республики и вольностей, то это высочайшее покровительство им и следует с утверждением по их желанию на все века, формы здешнего правления и преимуществ каждого. Но так как великодушие и человеколюбие суть основания справедливого поведения ее и. в-ства, вследствие того и не должны эти конфедерации никого силою принуждать к соединению с ними, а только тех злодеями почитать будут, которые против них действовать дерзнут. Поэтому вы, господа, совершенно вольны пристать к конфедерациям или нет, оставаясь покойными и нейтральными зрителями». Чарторыйский рассыпался в благодарности, превозносил умеренность русского прави-

тельства, нежелание употреблять силу и в заключение предлагал свои услуги, сколько может их оказать. Но услуги Чарторыйского могли только теперь затруднить Репнина· опять сближаться с Чарторыйскими значило удалить всех новых приверженцев, которые потому только и перешли на русскую сторону, что Репнин разладил с *фамилиею*.

Репнин, принужденный прибегнуть к такому сильному средству, как конфедерация, хлопотал, однако, как бы предотвратить беспорядки, потрясения, бывшие обыкновенным следствием конфедерации. По старому обычаю, как скоро конфедерация образовывалась и получала признание, то вдруг все прежние власти переставали действовать; все подчинялось верховной воле сконфедерованной шляхты; король, Сенат, все сановники и суды должны были отдавать ей отчет. Репнин этого не хотел: «Понеже напрасно б и короля тем оскорбил, ибо по нашим видам оное не нужно, а только б дало более власти конфедерации, отмщевая прежние дела по внутренним судам, несправедливости делать. Сверх того, запретив все юрисдикции, запретили б чрез то и комиссии скарбовую и военную, а их поправка хотя точно нужна, но и совершенное испровержение, мне кажется, не авантажно. и так держусь, сколь возможно, и противлюсь сему закрытию юрисдикций, а между тем пользуюсь сим же, угодность и приятство тем делаю королю, которого для переду в преданности я хочу соблюсть к нашему двору, находя за полезное, чтобы не всегда здесь с употреблением силы все делать Сверх же того, должен я и в том по справедливости признаться, что его величество, не входя явным образом в содействование с нами, противностей, однако ж, никаких не делает, и хотя с оскорблением иногда и с натуральною просьбой, чтоб друзей его сберегали, но все почти по внутренним здесь моим мерам к исполнению допускает и удерживает преданных себе от безрассудной горячности».

Скоро представился случай королю доказать свое послушание. В июне умер примас королевства. Для Репнина было очень важно, чтоб это место было занято преданным России человеком, и он остановился в своем выборе на известном референдаре коронном графе Подоском, «который более всех ему служил». Королю не нравился Подоский, бывший всегда его противником; притом Станислав-Август прочил это место брату своему аббату Понятовскому; несмотря на то, услыша от Репнина, что согласием на возведение Подоского в примасы он, король, покажет опыт своей дружбы и преданности к императрице, Станислав-Август не стал противоречить. «Сие возвышение Подоского в примасы, — писал Репнин, — великое преумножение нашей инфлюенции здесь сделает. Он открытым образом мне предан был и как секретарь мой во всех настоящих обстоятельствах работал; чрез его же

возвышение увидит нация вся, сколь мы великолепно награждаем тех, кои нам прямо усердно служат. Увидит она, что можно совершенно полную доверенность иметь к покровительству нашего высочайшего двора, когда в самое сочинение столь оскорбительной королю конфедерации не мог он отказать первый чин в государстве тому точно, который в угодность России главным и начальным работником в том был. Преданность сего графа Подоского не может нам сомнительна быть, ибо он человек твердый, разумный и видящий ясно, что он головой оным всем нам должен, и что, не быв пред сим в нашей партии, не имел он ничего, даже ни надежды быть ни самым последним епископом: столь двор ему всегда противен был! Одним словом, могу я по сущей справедливости донести, что совершенно ему верю и что весьма важно сие есть дело для приращения нашего здесь кредита».

От 11 июня Репнин получил известия с радомской конфедерации от находившегося там с русским войском полковника Кара. 10-е число назначено было днем избрания маршала конфедерации, и Кару дали знать, что избранный маршал должен дать присягу в верности всем пунктам акта конфедерации. Кар, не зная обрядов, соблюдаемых при конфедерациях, думал, что так и быть должно, тем более что и референдарь Подоский утверждал его в этом мнении. Но князь Радзивил начал спорить, говоря, что он не примет на себя маршальского звания, прежде чем не увидит самого акта конфедерации, и сказал Кару, чтоб был осторожен: их обманут, если Кар не велит прежде всего прочесть акт конфедерации. «Тут, — говорил Радзивил, — есть какое-нибудь мошенничество». Действительно, при открытии заседания друзья воеводы киевского Потоцкого по его приказанию стали кричать «Не позволяем!» на каждый пункт акта конфедерации, приказывая переправлять. Когда же начали читать о диссидентах, то едва позволили окончить статью. Кар подошел к воеводе киевскому и маршалу Мнишку и сказал, чтоб это собрание сочтено было недействительным, и если они хотят переписывать акт конфедерации, то пусть знают, что он их к этому не допустит, и если нужда потребует, то употребит в дело все войска, находившиеся в его команде. Собрание разошлось. Кар объявил также киевскому воеводе, что покровительство императрицы их конфедерации обещано с тем условием, чтобы она направляла все их действия чрез своего посла, пребывающего в Варшаве, и чтобы в Радоме был обнародован точно такой же акт конфедерации, как и в Литве, слово в слово. Потоцкий отвечал очень сухо, что будет об этом стараться, хотя не имеет никакой надежды на успех; но если в акте конфедерации впишется неудовольствие против короля, то он отвечает за успех всего остального. На это Кар отвечал, что ему, Потоцкому, непристойно заключать

договоры с русским двором, и если он не хочет приступить к делу, как от него требуют, то очень хорошо сделает, когда уедет из Радома. Кар оканчивал свое письмо об этом к Репнину словами: «Не знаю, как возблагодарить за комиссию, мне порученную от в. с-ства быть при конфедерации. С утра до вечера или лгу, или бранюсь; да что хуже всего — слов много, а дело не делается». Дело сделалось 12 июня: маршалом конфедерации был выбран князь Радзивил, и требуемый акт был подписан.

В Радоме дело уладилось, но в Варшаве встретились препятствия относительно Подоского. 14 июня был у короля папский нунций. Станислав-Август объявил ему, что дал слово возвести в достоинство примаса того, кого пожелает русская императрица, и так как из слов кн. Репнина видно, что ее выбор должен пасть на референдаря Подоского, то он, король, предупреждает об этом нунция, чтобы при римском дворе не затевали споров относительно посвящения, ибо он, король, делая это в угодность державе, которой всем обязан, должен к ней же прибегнуть с просьбою о защите от таких оскорбительных его достоинству замашек. Нунций отвечал, что при римском дворе не могут спокойно видеть главою польского духовенства человека, который был так расположен в пользу диссидентов, и папа откажет ему в посвящении.

Между тем успех при составлении конфедерации подал повод к усилению русских требований относительно диссидентов. Репнин получил приказание добиваться возможнейшего приближения диссидентов к равенству с католиками, причем Панин писал ему: «Вы достигли бы самого верха славы, если бы на будущем сейме успели достигнуть того, чтоб тогда же наш белорусский архиерей посажен был в Сенат с рекомендациею и советом королю от республики, чтобы несколько первых вакантных сенаторских мест было роздано диссидентам. Я чувствую и понимаю все те трудности, с которыми должно быть соединено исполнение такого намерения, да и самый недостаток персональных качеств нашего белорусского архиерея уже, думаю, довольно будет в том препятствовать, и потому, конечно, я не имею намерения это вам предписать, а только хотел как другу моему открыть мысль свою». Панин писал и о Чарторыйских: «Когда дела к окончанию приходить будут, тогда не оставите вы приложить всевозможное старание о совершенном их исключении из трактования с вами и о лишении их всякого влияния в правительстве, чтобы не только они сами и вся Польша, но и посторонние дворы могли увериться, что они, господа Чарторыйские, сами по себе ничего не значат, и если прежде имели столько силы, то единственно вследствие покровительства нашего двора». Относительно Подоского Репнин должен был внушить нунцию, что если римский двор вздумает в этом деле идти наперелом русскому,

то скорее подвергнет свою религию в Польше тем неудобствам, которые теперь так несправедливо и лукаво приписываются нам ненавистниками нашими.

По поводу столкновения с римским двором в деле Подоского Репнин имел любопытный разговор с королем. «Если папа откажется прислать буллу, как бывали прежде примеры, и обнародует причины своего отказа, то что вы мне посоветуете тогда сделать?» — спрашивал Станислав-Август посла. «Создать синод и этим способом утвердить Подоского примасом», — отвечал Репнин. Так передает этот ответ Понятовский; Репнин же утверждает, что сказал: «Мы найдем какое-нибудь средство для поддержания нашего дела, например созвание синода». На это король сказал: «Думаете ли вы, князь, что хотя один епископ послушается моего призыва в синод? Думаете ли вы, что они все не увидят в этом поступке освобождение из-под власти папы, подобное происшедшему в Англии при Генрихе VIII?» *Репнин:* «А я знаю, что здешнее духовенство очень недовольно римским игом, и это будет удобным случаем для освобождения польской церкви». Это королевская редакция, а, по утверждению самого Репнина, он сказал: «Из духовенства одни будут за, другие против, как всегда, и часть духовенства очень недовольна римским игом, которое они, быть может, захотели бы стрясти совершенно при этом удобном случае». *Король:* «Князь! Эти самые попы, которые иногда ворчат, когда их обдирают в Риме, сильно будут действовать за Рим, когда он заговорит громко и серьезно, потому что попы не могут забыть, что, как скоро подчинение папе будет отстранено, их могущество, богатство, значение будет зависеть только от доброго расположения светской власти. Да и сами светские люди станут за Рим, как только он поднимет тревогу». *Репнин:* «Э! Не подписывали разве они конфедераций, где признают обиды диссидентам, хотя нунций произнес трескучую речь против диссидентов на последнем сейме?» *Король*: «Да, конфедерации были подписаны столь легкомысленными или столь невежественными, что их могли уверить, будто они подписывают совершенно противное содержанию акта конфедерации: так, большое число подписывали, прибавляя, что желают поддержания конституции 1717 года против диссидентов. Нунций произнес трескучую речь на сейме, правда, но он же по указу от своего двора рекомендовал всем епископам величайшее благоразумие, да и после сейма почти внушалось со стороны Рима, что надобно покориться обстоятельствам. Но если Рим примет другой тон, как я начинаю думать по отзывам нунция, человека, впрочем, столь благоразумного и умеренного, то эти самые люди, которые до сих пор подчинялись вашему руководству, ударят так же быстро в противоположную сторону. Если надобно будет ввести Подоского в Сенат

со штыками, если вам для него нужно будет пролить здесь кровь, то ведь Польша и я заплатим за это. Вот что заставляет задуматься, по крайней мере меня. Но и вы не можете быть равнодушны при мысли, что́ если папа обратится с жаром и шумом к другим дворам и даст делу оборот религиозный и политический».

Но Репнин остался непреклонен; он отвечал, что до кровопролития не дойдет, что другие дворы не станут действовать из фанатизма, и если они не вмешиваются в диссидентское дело, то тем менее вмешаются в дело назначения примаса. Действительно, король, не желая этого назначения, преувеличивал его опасность, чтобы застращать Репнина. Римский двор уступил обстоятельствам, и Подоский сделался примасом. Король, по крайней мере в письмах к маменьке Жоффрэн, смотрел спокойно на готовящиеся события. «Конфедерация так называемых недовольных почти окончена во всем королевстве, — писал он. — Конфедераты были бы очень затруднены или пристыжены, если бы их заставили с точностью исчислить, чем они недовольны. Но так как надобно искать добра в самом зле, то плодом этой лихорадки государства, когда она минется, будет для меня то, что, узнавши легкомыслие большинства, безнравственность вождей, черную неблагодарность многих из них, добродетель и мудрость добрых граждан, я буду в состоянии ценить людей по их настоящей стоимости. Всякое царствование имеет свой кризис, как всякий человек подвергается оспе, ведь все больше или меньше рябы; я выйду очень ряб после этой оспы, но, раз избавившись, я буду иметь более надежды на долговечие. Мне до́лжно вполне испытать горе, беспокойство, досаду, молчание, иногда более тяжкое, чем все остальное... Не отчаивайтесь, потому что я не отчаиваюсь. Я достигну пристани, с трудом, без сомнения, и не без потери, но достигну. Мое отчаяние было бы подлостью и величайшим злом для государства».

Диссидентская и католическая конфедерации были образованы, но предстояло провести дело на чрезвычайном сейме. Король согласился на два главных пункта: на ручательство императрицы за польскую конституцию и на восстановление диссидентов; король заставил всех своих друзей подписать конфедерацию; подписал ее и молодой князь Адам Чарторыйский и согласился быть послом на сейме, — это было важно, ибо старики Чарторыйские не могли потом кричать, что господствующую религию ниспровергли без них, и обратить в свою пользу народный фанатизм. Наконец, назначено было к императрице посольство с изъявлением благодарности от сконфедерованной республики, оно состояло из четырех членов: стражника литовского Поцея, кухмистра литовского Вельгурского, крайчего коронного Потоцкого и старосты сендомирского Оссолинского. Уведомляя Панина об этом по-

сольстве, Репнин писал: «Первый связан с воеводою киевским; второй предан Мнишку, его мытарливой жене и епископу краковскому, следовательно, от обоих могут быть замыслы ограничить диссидентское восстановление и вредные внушения насчет короля; третий человек добрый; четвертый хотя молод, но проворен и также противник короля, притом имеет обязательство жениться на дочери воеводы киевского. Почему изволите усмотреть, что злым и шиканским их внушениям веры подавать неможно, а в наружности, впрочем, прошу покорнейше с отменною ласкою их принимать. В инструкции, данной посланникам, уже они торговлю некоторую затевают и мнения свои о перемене в комиссиях и в прочих вещах изъясняют. Не без тягости же было удержать, чтобы таким образом в письме к ее и. в-ству конфедерация о диссидентах отозвалась. Сей пункт, приближаясь к решению, час от часу начинает затрудняться, и я принужден был употребить много способов, чтобы сие удержать. Тоже несколько затруднения было и в прошении ручательства ее и. в-ства, в котором они начинают одумываться; однако ж я не упущу, сколь возможно, все сии развратные замыслы в ничто обращать, лишь бы только мочи моей к тому достало».

«Сей пункт (т. е. диссидентский), приближаясь к решению, час от часу начинает затрудняться», — писал Репнин. Действительно, затруднение обнаружилось на сеймиках, служивших приготовлением к чрезвычайному сейму, необходимому по смутному состоянию республики. На сеймике познаньском чуть не изрубили Гуровского и графа Понинского, которые очень усердно проводили русское дело; спас их граф Апраксин, окруживший сборище своим отрядом. Репнин боялся, чтобы на сейме дело не дошло до пушек, хотя и надеялся иметь большинство на своей стороне. Огонь раздували Солтык, епископ краковский; Потоцкий, воевода киевский; Мнишек, маршалок надворный, и Браницкий, великий гетман коронный. Репнин запретил на сеймиках читать циркулярные письма, но означенные господа напечатали свои послания. «Повторяю, — писал Репнин Панину от 17 августа, — что если хотим мы успеха в диссидентском деле на будущем сейме, то необходимо надобно будет епископа краковского и подобных фанатиков забрать под караул, а инак с ними никаким образом не совладеем. Я за внутренность здешнюю могу отвечать, что, кроме страха и трепета, здесь оное другого движения никакого не произведет; а в то не мешаюсь, какое в наружности сие действие сделает и что по сему последует в соседственных с здешним государством державах».

Затруднения Репнина увеличивались медленностью почты: 14 августа Панин отвечал на его депеши от 14 июля. В этом ответе Панин излагал главное правило относительно диссидентов: «Надобно совершить диссидентское дело не для рас-

пространения в Польше нашей и протестантской вер, но для приобретения себе посредством наших единоверцев и протестантов однажды навсегда твердой и надежной партии с законным правом участвовать во всех польских делах не по одному теперь испрашиваемому республикою ручательству ее и. в-ства в целости конституции польской, но и вследствие покровительства диссидентам, которое мы себе присваиваем на вечные времена: как слабейшая часть в будущем правительстве польском диссиденты будут иметь возможность удерживаться в нем только с нашею помощью. Протестантская религия, обуздывая суеверия и сокращая власть духовенства, легко может излишним своим в Польше распространением вывесть поляков из невежества, в котором они теперь большею частью погружены, и освобождением от невежества довести их по ступеням до учреждения новых порядков, которые, сосредоточивая в одно место всю внутреннюю польскую силу и приведя ее в большую пред нынешним действительность, могли бы скоро обратиться в предосуждение России, покровительницы протестантов в настоящее время и главной соперницы в будущее, ибо между политическими обществами ни злоба за претерпенный вред, ни благодарность за одолжение места иметь не могут. Относительно наших единоверцев этого неудобства быть не может; но, с другой стороны, излишне усиливая их, так, чтобы они сами собою, независимо от нас, могли держаться в республике и разделять ее правление, подвергаем мы себя неудобству в рассуждении и без того столь частых и великих побегов, которые тогда еще более усилятся при свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа; тогда можно будет опасаться и насчет наших пограничных провинций, сходных с Польшею нравами и обычаями народа. Король требует, чтобы четыре епархии, отступившие в унию, оставлены были непоколебимо в нынешнем их состоянии. Это требование само по себе согласно с нашим главным правилом и потому не могло бы встретить с нашей стороны препятствия; но всего лучше будет оставить их со всею униею как на сейме, так и в будущем трактате в полном и неприкосновенном молчании, как такую секту, которая ни с тем, ни с другим исповеданием прямо соединенною считаться не может. Диссиденты, конечно, будут вас мучить, чтобы все беспредельно для них исполнилось, особливо касательно свободного возвращения из католического в их законы; но на это вам предписаны нами политические правила, и им вы можете говорить, что в этом деле находятся непреодолимые трудности, что мы никогда не имели намерения заводить войну для пропаганды их религий. Впрочем, мне кажется, поляков необходимо надобно будет стращать не только словами, но и прямым делом, располагая войска на содержание по деревням упрямых и обманщиков.

Я думаю, что и самого короля еще не надобно совершенно выводить из страха потери престола». Согласно с этим Панин разрешил Репнину в крайней нужде брать под караул тех, кто наиболее будет противиться успеху обоих дел — диссидентского и ручательства императрицы за конституцию.

Тучи сгущались. Прежний папский нунций уехал в Вену; преемник его Дурини по своему коварному характеру не обещал Репнину ничего доброго: он повел себя интриганом и фанатиком. Папа Климент XIII прислал послание против диссидентского дела; на копии этого послания, пересланной Репниным Панину, написано рукою Екатерины: «Куда папа горазд сказки сказывать!» Но что были сказки в России, тому с благоговением внимали в Польше. У Солтыка 15 секретарей день и ночь писали его пастырские послания. «Любезнейшие сыны, пастырству нашему порученные! — гласили послания. — Упражняйтесь во всякого рода добрых делах, взывайте с сокрушением духа к трону милосердия, чтобы ниспослал духа св. на сейм для утверждения веры св. католической, для мужественного отпора претензиям диссидентов, для сохранения основных прав вольности. Чтобы во все продолжение сейма во всех костелах ежедневно происходило молебствие пред св. тайнами с пением св. боже». В этом послании Солтык является перед нами как епископ католический; но в письме к одному из приятелей своих, Вельгурскому, он является как политик. «Императрица, — пишет он, — домогается двух вещей: генерального поручительства за конституцию и восстановления диссидентов. Гарантировал король польский курляндские вольности, утвердил привилегии земель прусских, и чрез это обе страны привлечены были в зависимость от республики Главное средство отбиться от гарантии — это поднять вопрос. что Турция не позволит. Что касается диссидентов, то покой нации зависит от того, чтобы диссиденты, а именно неуниаты, не были ни в Сенате, ни в министерстве; довольно будет припомнить, что в России есть 30 фамилий, которые ведут род свой из Польши, а раздача достоинств в Польше находится во власти императрицы русской; так хорошо ли будет, когда Сенат московский перенесен будет в Польшу, а нас передвинут в Сибирь? Главная политика польских недовольных должна состоять в продлении сейма для того: 1) чтобы конфедерация пришла в совершенство; 2) чтоб иностранным дворам дать время для переговоров; 3) чтоб курфюрст саксонский пришел в совершеннолетие; 4) чтобы лучше изъясниться с двором петербургским чрез наших посланников, а не чрез того деспота (Репнин); 5) для слабости (здоровья) короля прусского: если бы умер, то что бы помешало саксонскому войску войти в Польшу?»

Враги действовали сильно, союзник — слабо 24 августа Репнин писал Панину: «Должен я донести, что хотя Бенуа не

отрекается по наружности поступать со мною согласно, но мне кажется, что их двор желает успеха диссидентскому делу не так сильно, как наш. Может быть, причина этому скрывается в некоторой ревности, что прусский король играет здесь роль подчиненную, а не равную с нами. Не худо было бы, думаю, не принося никаких жалоб на слабое содействие Бенуа, несколько увериться в берлинском дворе и попринудить его».

Приехал в Варшаву поручик Азанчевский и рассказал, каких сцен он вместе с ротмистром Солеманом был свидетелем на сеймике подольском в Каменце. Когда стали читать письмо от Репнина, то подняли непристойный шум и смех. Ржевуский, староста долинский, кричал, что тот будет проклят, который не присягнет в том, чтобы не допускать диссидентов до свободного отправления их богослужения, и что он, Ржевуский, скорее даст изрубить себя в мелкие куски, чем позволит какое-нибудь улучшение в положении диссидентов. К маршалу на стол бросили записку, в которой говорилось, будто переяславский архимандрит писал в пограничные местечки к униатским попам, чтобы были под его властию. Услыхав это, поляки, бывшие на сеймике, стали бранить Солемана и Азанчевского сквернымн словами, и маршал дал знать русским офицерам, чтобы вышли, не ручаясь за их безопасность. Репнин велел генерал-майору Кречетникову ввести козаков в деревни шляхты, шумевшей на каменецком сеймике.

Но эти явления не опечалили бы так Репнина, если бы он не узнал о двоедушии вождей католической конфедерации, а узнал он это из вскрытой переписки Солтыка с Вельгурским, который был отправлен в числе послов конфедерации к императрице. Посол узнал, что и прежний верный секретарь его новый примас Подоский стакнулся с Солтыком, Красинским (епископом каменецким), Мнишком, Потоцким (воеводою киевским) и подскарбием Весселем; но, действуя заодно, эти люди приезжали к Репнину и бог знает что наговаривали друг на друга. «Изволите видеть, — писал Репнин Панину, — с сколь честными людьми я дело имею и сколь приятны должны быть мои обороты и поведение; истинно боюсь, чтобы самому, в сем ремесле с ними обращаясь, мошенником наконец не сделаться». Но главным мучителем посла был все тот же Солтык. «Истинно, — писал он, — я ему от себя бы что ни есть подарил, чтобы он отсель куда-нибудь провалился: надоел уж мне смертельно».

Знатные люди хитрили, пуская вперед менее знатных. Из последних сильнее всех волновался и волновал других шляхтич Чацкий, и Репнин велел его арестовать. По этому поводу приехал к нему Солтык и начал сперва речь о диссидентах вопросом: чего же наконец русский двор для них желает? Репнин отвечал, чтобы диссиденты восстановлены были во

всех своих прежних правах, а так как всякий знает, что прежде диссиденты были в полном равенстве с католиками, следовательно, и теперь должны быть в таком же. Солтык возражал, что они прежде пользовались этим равенством не по правам, а вследствие насилия. Потом перешел к аресту Чацкого. «Мы народ вольный, — говорил он, — и, следовательно, властны так говорить и поступать, как хотим, и запретить нам этого никто права не имеет; а императрица уверила нас своими декларациями, что будет вольность нашу оберегать». — «Высочайший наш двор, — отвечал Репнин, — конечно, вольность польскую всегда защищать и подкреплять будет; но надобно различить вольность от возмутительных поступков, а г. Чацкий виновен в последних, и все те, которые также вознамерятся возмущать внутренний покой, подвергнутся той же участи, ибо республика сама просила покровительства ее и. в-ства». — «Мы не подданные ваши», — возражал Солтык. «Правда, — отвечал Репнин, — но соседство, союз и самое желание республики понуждают императрицу иметь попечение о здешней тишине, удерживая тех, которые намерены ее нарушить». — «Мы рады умереть за свою вольность», — продолжал Солтык. «Вольность и возмущение — две вещи разные, — отвечал Репнин, — и если кто из вас задумает заводить смуту против отечества своего и его покровительницы, то пусть вооружаются, чтоб скорее могли получить достойную награду за такой поступок, но я советую прежде внимательно осмотреться». Этим разговор кончился. Репнин поручил Подоскому внушить Солтыку, что если он и на будущем сейме станет вести себя так же, как на прошедшем, то с ним может случиться то же, что и с Чацким, ибо против императрицы российской он не знатнее Чацкого, разве ему окажут тот почет, что никогда его из заключения не выпустят. Но Солтык отвечал Подоскому, что не станет молчать, когда интерес религии потребует защиты. «Он (Солтык) в своем сумасбродстве не из тех людей, которых угрозами или разореньем обратить можно, — писал Репнин Панину, — действительно, надобно над ним исполнить в самой крайности то, что примас ему от меня говорил. Сокрушит он меня своим непреодолимым упорством против диссидентского дела. Я уже ему стороной внушал, чтоб он не ездил на сейм, если не хочет участвовать в восстановлении диссидентов и если не может удержаться, чтоб не говорить против них». Относительно Подоского Репнин писал: «Зная, что новый примас желает сыскать хороший соболий мех, прошу прислать ко мне такой, если заблагорассудите, чтоб я мог его ему отдать от имени нашего двора, ибо, конечно, его надобно ласкать и удерживать, что надеюсь совершенно исполнить, хотя депеши епископа краковского и выставляют его нашим недоброжелателем; но Солтык часто и много в своих пустых за-

мыслах лжи употребляет, а я начинаю усматривать, что примас стал от него удаляться».

В начале сентября Репнин придвинул к Варшаве русские войска, которые расположились в 3, 4 и 5 милях от столицы; третий гренадерский полк вступил в самую Варшаву, и несколько чугуевских козаков расположены были лагерем в саду дома, где жил русский посол. Для удобнейшей доставки пропитания Репнин расположил в окрестностях Варшавы небольшие отряды, а именно: против Закрочима по сю сторону Вислы — один, между Равою и Варшавою — другой, у местечка Гуры на Висле — третий, против Гур на другом берегу реки — четвертый и при соединении Буга с Наревом по сю сторону этих рек — пятый, так что отряды эти в один марш могли окружить Варшаву и пресечь все выходы, даже и водяные. Солтык кричал, что против этих сил у него скоро будет 60 000 польского войска. «Но это войско, — писал Репнин, — находится только в его пустой голове. Сумасбродство его описать нельзя; оно доходит до того, что в своих безмозглых рассуждениях он толковал примасу о сицилийской вечерне против русских. В горячешном бреду он сам на себя клеплет, и лишнее». Репнин не раз писал Панину, что из всех Чарторыйских один молодой князь Адам, генерал земель подольских, отличается привязанностью к России; но другое прочтено было в перехваченных письмах Солтыка к Вельгурскому: по словам Солтыка, князь Адам говорил своим приятелям, что не может надивиться трусости своего отца, который, имея такие обширные владения, столько денег и значения в народе, не употребит их для уничтожения московского владычества во имя веры и вольности. О себе Солтык писал: «Князь Репнин всем говорит, что сделает меня герцогом сибирским. Я спросил у примаса, вправду ли он это говорит или только стращает, но получил в ответ, что, кажется, вправду, будучи подущаем самим королем, который внушает: если мы предводителя партии не спрячем, то труд наш в пользу диссидентов успеха иметь не будет. Мы с примасом и с прочими рассуждаем, каким образом они меня возьмут и куда запровадят. Здесь под караулом содержать не будут, потому что от патриотов и черни может произойти мятеж. В Москву и Сибирь не пошлют: князь Репнин будет бояться, чтоб там я не донес обо всем подробно императрице. Всего скорее запровадят меня в какой-нибудь угол и будут за мною и моими людьми присматривать, чтоб я не писал и ни о чем ни с кем не говорил». «Здешнего фанатизма, — писал Репнин, — не могу достаточно изобразить. Женщины молебствуют ежедневно о спасении погибающей веры; монахи и попы в своих проповедях говорят согласно с повелениями епископов краковского и киевского и внушают фанатизм всюду, где могут. Нунций, не довольствуясь тем, что киевский

епископ напечатал папское послание в польском переводе, напечатал его и в латинском подлиннике, распространяя по всей публике. Когда в публичных садах и на гуляниях встречаются диссиденты, то женщины, которые здесь имеют большую силу, тотчас же уезжают как из мест, осквернённых присутствием еретиков; одним словом, в публике такое раздражение, что если б я не знал трусливого характера народа, то каждый час ждал бы какого-нибудь отчаянного поступка, но хотя я не ожидаю никакой явной попытки, однако может произойти какое-нибудь потаенное злодейство. Мы доведем бедного короля до того, что его зарежут».

Но опасности не было ни для кого, происходили только поддразнивания. Солтык дал знать Репнину, что желает войти с ним в соглашение, ручаясь за всех епископов и за всю свою партию. Репнин отвечал, что в формальные переговоры он может войти только с теми, кто по своему чину в республике имеет на то право; епископ же краковский и все епископы этого права не имеют; если же он хочет по-приятельски договориться, то пусть приезжает сам безо всяких церемоний; но прежде всего надобно согласиться в самом главном, а именно чтоб диссиденты были уравнены в правах с католиками, без чего ни в какие договоры вступать нельзя. В ответ на это Солтык запел свою старую песню, что скорее тело свое на рассечение даст, скорее умрет со всеми своими приятелями, чем позволит на уравнение диссидентов с католиками. Желая показать, что готов подвергнуться участи, какою грозил ему Репнин, он стал готовить подарки для тех, кто придет брать его под стражу, так что, по словам Репнина, комната его стала похожа на нюренбургскую лавку. Несмотря на то, Солтык опять дал знать Репнину, что берется уговорить всех ревностных католиков дать удовлетворение диссидентам, если русский посол позволит ему продолжать прежнее поведение для сохранения кредита в своей партии. Репнин отвечал ему через Подоского, что никак не может на это согласиться: или епископ не понимает, что такое поведение может причинить только вред делу и такое непонимание не делает чести его голове, или он хитрит, чтоб, испортив дело, после вывернуться и всю вину сложить на других, выставляя на вид, что внутренне согласен был с ним, послом. «Я прошу епископа, — закончил Репнин, — чтоб он и словами, и поступками, прямодушно и явно действовал в пользу совершенного равенства диссидентов с католиками».

Православные требовали, чтоб епископ белорусский получил место в Сенате; но король требовал, чтобы вместе с православным епископом вошли в Сенат и два униатских. Панин не согласился на это. «Хотя, — писал он Репнину, — помещение в Сенате двух епископов униатских и согласно отчасти в существе своем с вышеположенным главным правилом (что-

бы не иметь в виду распространения других вероисповеданий в ущерб католицизму), однако в рассуждении настоящих обстоятельств это было бы предосудительно для славы ее и. в-ства. Не может ли такое помещение униатских епископов показаться свету нарочно сделанным в досаду ее в-ства, когда, напротив, само состояние дел требует, чтоб все ее желания были исполнены». Панин не соглашался и на то требование Станислава-Августа, чтоб назначено было наказание отступникам от католической господствующей религии. Панина затрудняло то, что издавна позволено было униатам переходить в православие, и потому «надобно, — писал он, — сохранить пред глазами публики непорочность наших намерений, касающихся нашей собственной веры». Репнин не соглашался с мнением Панина. «Я прихожу в сомнение, — писал он, — не в самом ли деле вы намерены стараться о присоединении униатов к православию? Если же нет и если вы держитесь того мнения, что распространение здесь греческого и диссидентских законов для интересов России вредно, то для чего ж бы не позволить этих двух пунктов, которыми нацию здесь успокоим и себе приобретем навсегда уверенность, что эти законы не распространяются более, чем сколько надобно для наших интересов. Особливо эта предосторожность нужна против униатов, ибо из них могут скоро найтись такие, которые захотят обратиться к нашему закону; чрез это увеличится число беглых от нас, да и такой огонь здесь в нации загорится, что истинно трудно будет потушить; тогда в самом деле ежечасно надобно будет ожидать сицилийских вечерен, да не знаю, и чужестранные дворы останутся ли при таких событиях в покое, приписав их желанию нашему нечувствительно овладеть Польшею. Напротив того, если дозволим помянутые пункты, то вторым пунктом докажем всему свету, что не имеем намерения распространять здесь наше и диссидентские исповедания; а первым пунктом докажем, что мы удерживаем здесь равенство религий и стараемся, чтоб никто по причине веры не терпел притеснений».

Кроме того, затруднения Репнина увеличивались положением православных русских в государстве, где представительство принадлежало одной шляхте, а гонения истребили православных шляхтичей или оставили самых бедных и неспособных по воспитанию занимать видные места. Панин согласился на желание короля, чтоб число диссидентов в Сенате и сейме было с точностью определено; Панин соглашался на это, тем более что без точного определения числа королю-католику и шляхте католической, составляющей большинство, легко будет вовсе удалять диссидентов. Но диссиденты подали просьбу не вводить их в правительственные должности определенным числом, ибо они не в состоянии будут выносить этих должностей; православное же дворянство не могло выставить

ни одного человека, которого можно было бы назначить в какую-нибудь должность. «Я, — писал Репнин, — уже несколько времени ищу и нарочных рассылаю, чтоб ко мне привезли кого-нибудь хотя несколько способного, но до сих пор никого не нашел, ибо все они сами землю пашут и безо всякого воспитания». Конисский по своему происхождению не мог быть сенатором и потому должен был оставить белорусскую епархию, если бы с званием белорусского архиерея соединилось звание сенаторское. Репнин писал: «Чрез епископа белорусского я писал во все здешние места нашего исповедания, есть ли между нашими монахами дворяне польские на тот случай, если будет определено, что епископ белорусский получит сенаторское достоинство; но не надеюсь, чтоб такие нашлись, или очень их мало; а с другой стороны, настоящий епископ белорусский (Конисский) думает, что в нашей Малороссии между монахами есть польские дворяне, и потому покорнейше прошу там об этом осведомиться, есть ли такие люди и каковы они, потому что их качества должны соответствовать сенаторскому достоинству».

От 21 сентября Репнин уже уведомил Панина о *сумятице* в Варшаве. Начался крик в публике, что сейма нельзя держать в присутствии русских войск. Репнин уговорился с маршалом конфедераций и с самим королем, чтоб конфедерация издала манифест, в котором бы русские войска объявлены были дружескими и помощными вольности народной; кроме того, Репнин требовал постановления конфедерации, чтоб уничтожены были все присяги, данные на сеймиках земскими послами в противность смыслу акта конфедерации, или бы послы, давшие эти присяги, как выбранные неправильно не могли принимать участие в деятельности сейма. Конфедерация не хотела сделать ни того, ни другого, причем главным крикуном был шляхтич Кожуховский. Репнин велел взять его под стражу, но потом выпустил. Как только узнали, что Кожуховский на свободе, так папский нунций явился к нему с визитом, а за ним поляки толпами, обожая его как героя и мученика, добиваясь его портретов. Репнин велел ему сказать, чтоб ехал в свои деревни, если не хочет вторично попасть под караул. Кожуховский не поехал добровольно и был отвезен в деревню под караулом.

23 сентября должен был начаться сейм. В этот день, когда послы съехались у князя Радзивила, чтоб вместе отправиться на первое заседание, приезжает нунций и начинает говорить, что вера погибает, что их долг защищать ее до последней капли крови, а не допускать до уравнения с прочими религиями; именем папским объявил он, чтоб никак не соглашались на назначение от республики уполномоченных для переговоров с русским послом, ибо следствием будет необходимо гибель веры. Собрание было сильно наэлектризовано. Самые

спокойные рыдали, другие же клялись громко, что готовы погибнуть за веру; меньшинство, в котором были король, примас, маршалы обеих конфедераций и до 50 послов, не знали, что делать, как начать сейм, опасаясь резни при самом его открытии. В самый разгар этих сцен вдруг является в собрание Репнин. Несколько умеренных депутатов выбежали к нему навстречу с увещаниями, чтоб возвратился, иначе они ни за что не отвечают; но Репнин не принял их советов и вошел прямо в середину толпы, которая встретила его криком, что все готовы умереть за веру. «Перестаньте кричать! — сказал громко Репнин. — А будете продолжать шуметь, то я тоже заведу шум и мой шум будет сильнее вашего». Тут оправились и маршалы конфедераций, стали уговаривать депутатов, и те перестали кричать. Когда тишина водворилась, Репнин начал: «Я приехал только с визитом к князю Радзивилу, а не трактовать с вами, потому что никто из вас этой чести иметь не может, не будучи уполномочен от республики; но частным образом, по-приятельски скажу вам, что удивляюсь и сожалею, видя вас в таком возмутительном состоянии: вы позабыли, сколько имеете доказательств доброжелательства ее и. в-ства, позабыли, что только под ее покровительством могли вы сконфедероваться для сохранения своей вольности и прав». Тут речь Репнина была прервана криком: «Мы соединились также и для сохранения закона католического!» В другой раз объявил Репнин, чтобы перестали шуметь, иначе сам шуметь станет, и, когда крики утихли, продолжал: «Никто не отнимает у вас права иметь ревность к своему закону, эта ревность, конечно, похвальна; но разве кто хочет нарушать права римского вероисповедания? Если вы подлинно верны своему закону, то должны исполнять его справедливые предписания, чтоб никому в вере принуждения не делать, быть непоколебимыми в сохранении обязательств и в отдании справедливости каждому. Если хотите жить в добром соседстве с Россией и пользоваться покровительством ее и. в-ства, то соблюдайте договоры. Только одни возмутители, которые в смуте хотят приобресть себе значение, толкуют вам, что восстановление диссидентов касается католической религии и может ей вредить; в действительности это дело только гражданское, а не духовное и должно быть рассмотрено с уважениями политическими в силу обязательств республики. Вспомните, как вы составили свои конфедерации, какие акты при этом обнародовали, и можете ли вы думать, чтоб политическая система Российской империи в три месяца переменилась?» Ответа на эту речь не было, но раздались крики: «Освободить Кожуховского!» — «Если станете кричать, — отвечал Репнин, — ничего не сделаю; криком у меня ничего не возьмете, просите тихим, учтивым, порядочным образом, и тогда, может быть, сделаю вам удовольствие». Подошел

Радзивил и стал просить учтиво о Кожуховском; Репнин обещал и немедленно исполнил обещание.

Сейм начался, и ничто не показывало, что он может кончиться к удовольствию русского посла. Никак не соглашались отправить к Репнину полномочных для переговоров о диссидентском деле, кричали, что эти делегаты веру к погибели приведут. «Фанатическое упорство нации я не могу достаточно изъяснить, — писал Репнин. — Я почти с каждым особо переговорил, и все отвечали одно, что не имеют сил противиться; большая же часть объявила, что готовы лишиться всего имения и умереть, а на равенство с диссидентами не согласятся; иные говорили мне это со слезами. Сколько я ни работаю, сколько увещаний и строгости ни употребляю, сколько мне король, Радзивил, Бростовский, примас и подскарбий ни помогают, никакого успеха нет, и предвижу, к несчастью, что должен буду дойти до самых крайностей». Видя, что уполномоченных для переговоров сейм прислать не хочет, Репнин хотел предложить на сейме, чтоб присланы были к нему делегаты спросить, что императрица желает для диссидентов. Если б и на это не согласились, то не оставалось другого средства, как послать на сейм для прочтения мемориал и просить решительного ответа. Репнин хотел действовать сообща с иностранными министрами, поддерживавшими вместе с Россиею диссидентское дело. Главным между ними был прусский министр Бенуа; но Репнину дали знать, что Бенуа под рукою препятствует успеху диссидентского дела, уверяя, что русские только грозят, а никогда угроз своих не исполнят да и король прусский не выдаст поляков; особенно Бенуа хлопотал, чтоб не была принята русская гарантия. Также под рукой тихо, но усердно работали против гарантии Чарторыйские, видаясь по ночам с краковским епископом. Со стороны Чарторыйских особенно сильно действовал против России князь Любомирский, великий маршалок коронный, но также под рукою. Старики Чарторыйские под проклятием и лишением наследства запретили молодому князю Адаму быть делегатом для переговоров с Репниным о диссидентском деле.

Сеймовское заседание 1 октября началось речью епископа киевского, который в своих выходках против диссидентов дошел до того, что вольность, утвержденную законом, называл дьявольскою и невольностию правоверных; потом начал жаловаться на арест Кожуховского и, обратясь к королю, требовал, чтоб тот не на словах только, а на деле показал свое правоверие Король отвечал, что кроме усердия к вере католической он обязан еще иметь попечение о благополучии отечества; напомнил об обязательствах, в которые сама нация вступила чрез конфедерацию и посольство, отправленное к императрице; указал на вред, который произойдет, если

этих обязательств не исполнить, и в заключение потребовал, чтобы прочтен был приговор конфедераций. Когда этот приговор был прочтен, то начался страшный шум, со всех сторон крики: «Кто подписал грамоту?» На это отвечал секретарь конфедерации, что подписали маршалы по приговору соединенной генеральной конфедерации. Тут поднялся Солтык: «Вся конфедерация и сочинявшие ее отроду кредитивных грамот не читывали и, верно, грамоте не умеют, если такую грамоту подписали; впрочем, — продолжал Солтык, — я этому не удивляюсь, потому что конфедерация принуждена была к тому силою абсолютной державы; но мы теперь можем и должны все ею ко вреду Польши сделанное уничтожить, в том числе и эту грамоту как противную религии и вольности; вольность наша нарушена совершенно взятием под арест Чацкого и Кожуховского; надобно послать к русскому послу делегатов от сейма с требованием письменного ответа, по чьему повелению он так поступал и имел ли на то инструкцию. Прежде получения ответа от Репнина и прежде освобождения Чацкого не позволяю ничего ни делать, ни говорить на сейме. Согласны ли все на это?» Большая часть послов закричали: «Согласны!» Опять король начал тихую речь: «Сами не знаете, чего хотите: такая делегация оскорбит достоинство самой императрицы; вместо всего этого надобно прилежно рассмотреть поданный при начале сейма князем Радзивилом проект, сличить его с актом конфедерации и с грамотою, отправленною к императрице; для этого я даю времени до 16 июля этого месяца». Заседание кончилось.

Узнавши об этих событиях, Репнин почел необходимым покончить с Солтыком. Во вторник 2 октября у краковского епископа собралось провинциальное заседание Малой Польши. Тут хозяин говорил еще сильнее, чем на сейме, против диссидентов и гарантии и объявил, что сейма нельзя продолжать далее двух дней, будущей пятницы и субботы, потому что обыкновенный двухнедельный срок для чрезвычайных сеймов этими двумя днями закончится. Еще сильнее Солтыка говорил воевода краковский, Венцеслав Ржевуский, за ним архиепископ львовский и епископ киевский Залуский. Вся провинция была согласна с ними, исключая одного маркиза Велепольского, краковского земского посла, который тщетно противился этим решениям: никто его не слушал. Князь Чарторыйский, воевода русский, был тут же и прямо противился гарантии, но о диссидентах и продолжении сейма говорил меж зубов.

Когда заседание кончилось и все разъехались, Солтык поехал ужинать к маршалу Мнишку; узнав здесь, что команда, отправленная Репниным, уже дожидается его на обратном пути, он расположился ночевать у Мнишка; тогда полковник Игельстром вошел в дом к Мнишку и арестовал Сол-

тыка, оттуда отправился к Залускому, захватил его, а между тем подполковник Штакельберг забрал Ржевуского и сына его Северина, старосту долинского. Все захваченные были отправлены с достаточным конвоем в Вильну, к генерал-поручику Нумерсу, которому приказано было содержать их с довольством и не оскорблять ничем. На третий день после арестов явились к Репнину делегаты, по одному сенатору из каждой провинции, с просьбою, чтоб арестованным была возвращена свобода и чтоб остальные депутаты получили ручательство за свою безопасность. «Арестованных не выпущу, — отвечал Репнин, — потому что они заслужили свою участь; я не отдаю никому отчета в моих поступках, кроме одной моей государыни, и, если хотите, можете обратиться прямо к ней с своею просьбой. По всемилостивейшему обещанию ее и. в-ства преимущество и безопасность каждого члена республики будут свято соблюдаемы, если вы в свою очередь будете свято сохранять свои обязательства, заключающиеся в последних актах конфедерации и в грамоте, отправленной к ее и. в-ству с посольством всей сконфедерованной республики, если земские послы поступать будут в силу данных им от сеймиков инструкций».

Страх сделал свое дело. Составили проект полномочия, назначили и полномочных для переговоров с Репниным; Репнин, предлагая сеймовой депутации отсрочить сейм до 1 февраля, говорил: «Кто будет противиться проекту акта лимитации сеймовой, с тем я буду поступать как с врагом императрицы, и подвергнется он той же участи, какую испытал Солтык со товарищами; кибитки уже готовы!» Сейм был отсрочен. «Страх, происшедший от взятия епископа краковского и прочих его товарищей, сие произвел, — писал Репнин от 8 октября. — Я принужден был в словах на всех оный страх распространить, особливо на Чарторыйских, отзываясь громко, что я их заберу, если еще противности сему проекту увижу, зная довольно, что они против того интригуют. Таковыми отзывами в трепет всех и их такой привел, что ни одного голоса не было на сейме против сего проекта и что Чарторыйские, не смея уже ничего отказывать, приказали князю Адаму принять на себя делегацию».

Король не без удовольствия мог видеть, как враги его обманулись в своих надеждах, составив конфедерацию. Благодаря своему поведению в последнее время, податливости в диссидентском деле он снова сблизился с Репниным и получил надежду провести свое любимое дело, именно ограничение liberum veto. Репнин согласился ему в этом содействовать; но вопрос был слишком деликатен; посол не решился прямо поддерживать желание короля у Панина; он ловко предложил дело в виде вопроса, затронув в Панине самую нежную струну — систему Северного союза. «Король желает,—

писал Репнин, — чтоб было определено. какие вопросы должны решаться единогласно и какие большинством голосов. Если, ваше сиятельство, намерены что впредь из Польши сделать для приумножения какого-либо Северному союзу, то сие истолкование с осторожностью, кажется, позволить можно употребить, т. е. выговоря и оставя навек под либерум вето главные материи, сочиняющие форму здешнего правления, как-то, например: чтобы в вольных сеймах не инако учреждаемо как единогласием умножение податей, прибавление войск, заключение всяких трактатов, объявление войны и мира, власть гражданских и всяких государственных чинов, ход и цена монеты и иные таковые важные, а прочие до внутреннего порядка принадлежащие, кажется, можно предать без опасности многогласию (большинству голосов), ибо без того порядка здесь не будет, а без порядка неможно будет употребить Польшу ни во что, если намерении какие вы насчет ее имеете». Но против этих слов в письме Репнина находится заметка не Панина, а самой Екатерины, обращенная к Панину: «Вспомните, сколько сие есть опасно, ибо не всегда можно сказать, для чего разрывались сеймы; сверх того, сие противоречит вовсе последнему вашему письму к кня. Ре.» «Если же, — продолжал Репнин, — не намерены вы ничего из Польши делать, а оставить оную в ее беспорядке и замешательстве бесконечном, то на истолкование сего закона соглашаться не надлежит, а отвечать прямо его польскому величеству, что того позволить нельзя, понеже мы намерены законы удерживать, а не разрушать. Еще король говорил мне, что в недостатках своих на меня сошлется в письме своем к вашему с-ству; я ж о сем по справедливости могу сказать, что жалко и прискорбно на его нищету смотреть, до того сие дошло, что клочками червонных по 500 и по тысяче занимают для того, что иногда дневного пропитания почти не имеют да, по несчастию, и кредиту головой нет». Раздражение Репнина против подданных Станислава-Августа высказалось в отзыве его о послах конфедерации, бывших при русском дворе. «Если вы, — писал он Панину, — по своей обыкновенной учтивости и милости хоть мало попустите, то они вам смертельно надоедят таковыми безмозглыми и бесконечными проектами, которые не будут иметь ни начала, ни конца, ибо все поляки — такая тварь, что, сколь скоро их из страха выпустишь, столь скоро они и из границ всех тотчас выдут».

Панин потребовал, чтоб Репнин привел диссидентов в полное равенство с католиками и в неограниченном числе, и Репнин отвечал, что льстится сделать это безопасно. «Сами наши партизаны, — писал он, — уверяли всех, что они льстят диссидентам для получения нашего покровительства, но после не позволят уступить им правительственных должностей или

вообще каких-нибудь важных выгод; только нужные дела посредством конфедерации переделают, а диссидентскому делу столько поставят препятствий, что мы принуждены будем от него отступиться. Так они и действительно тайком поступали; но я заранее знал и теперь почти уверить могу, что они совершенно ошибутся и диссиденты будут приведены в равенство с католиками. Повторяю, что с последними управлюсь без шума, одним только строгим видом, но прошу посланникам у вас перья ошибить, без чего они, ободряя своих сообщников, такие вздоры станут сюда писать, что здесь их взбаламутят и взбунтуют. Чарторыйские совершенно уже от короля удалились и, конечно, влияния на дела иметь не будут; совершенное же их искоренение считаю противным нашим интересам. Не надобно давать им перевеса над нашею партиею, но нужно оставить их пугалами, посредством которых будем крепче держать в руках своих настоящих сторонников; а если эти наши сторонники не будут иметь никакого страха внутри страны, то захотят, как Чарторыйские, независимо от нас быть господами».

Репнин сдержал свои обещания насчет диссидентского дела. Комиссия, назначенная для окончательного его решения, постановила следующее: все диссиденты шляхетского происхождения уравниваются с католическою шляхтой во всех политических правах, но королем может быть только католик, и религия католическая остается господствующею. Брак между католиками и диссидентами дозволяется; из детей, рожденных от смешанных браков, сыновья остаются в религии отца, дочери — в религии матери, если только в брачном договоре не будет на этот счет особенных условий. Все церковные распри между католиками и диссидентами решаются смешанным судом, состоящим наполовину из католиков и наполовину из диссидентов. Диссиденты могут строить новые церкви и заводить школы, они имеют свои консистории и созывают синоды для дел церковных; всякий и не принадлежащий к католическому исповеданию может приобретать индигенат в Польше.

Оставался другой вопрос — об уничтожении всего того, что было сделано в царствование Станислава-Августа для конституционных реформ; и мы видели уже, как Репнину не хотелось огорчать короля совершенным уничтожением всех этих попыток. Посол продолжал выставлять услуги, оказанные королем России в последнее время, старался показать, что нет никакой нужды приносить Станислава-Августа в жертву врагам его, которые вовсе не сильны, и что конфедерация не имеет той важности, какую ей приписывают ее посланники в Москве: стоит только удовлетворить троих или четверых вождей, и все успокоится. Репнин представлял, что интересы императрицы требуют *уважать* короля, доказать ему, что с

ее дружбою тесно соединено его благополучие, приобресть его полную доверенность и прямую привязанность; приверженный к России король не будет отказывать ее посланнику в просьбах о награждении людей, преданных России, и таким образом легко будет составить себе сильную партию. Но как привязать к себе короля, как составить себе партию из лучших, достойнейших людей? Король и лучшие люди желают ограничения liberum veto. «Если вы, — писал Репнин Панину, — намерены дать Польше какую-нибудь, хотя малую, состоятельность для употребления ее когда-нибудь против турок, то нужно позволить внутренний порядок, ибо без него никакой и самой малой услуги или пользы мы от нее иметь не будем, потому что сумятица и беспорядок в гражданстве и во всех частях в таком градусе, что более быть не могут. Если желаете, чтобы по-прежнему все без исключения вопросы решались на сеймах единогласно и чтоб чрез liberum veto сеймы, как и прежде, разрывались, то и это исполню. Сила наша в настоящее время все может. Но осмелюсь представить, что этим не только не утвердим доверенности нации к нам и наше здесь влияние, напротив, совсем их разрушим, оставя рану в сердцах всех разумных и достойных людей, которые желают разделения законов (на государственные, проходящие единогласием, и внутренние, принимаемые по большинству голосов), а на этих людей одних надеяться можно, они одни только по своему разуму могут стоять в челе народа; следовательно, оскорбим мы большую часть нации, если подвергнем ее прежнему беспорядку чрез совершенное разрывание сеймов, и этим докажем всей нации, что мы желаем одного — видеть ее в порабощении и смутах. Это произведет крайнее недоверие к нам и, следовательно, будет препятствовать собрать независимую ни от кого, кроме нас, партию надежных и достойных людей, на характер которых и влияние в народе мы могли бы полагаться. Если же соберем партию из людей, которые не пользуются уважением в народе, то они нам будут только в тягость, а пользы не принесут, и будем принуждены все делать единственно силой, а при таком способе действия нет никакой возможности иметь свою независимую партию. Какая слава составить счастие целого народа, позволив ему выйти из беспорядка и анархии! Я верю в возможность соединения политики с человеколюбием; я льстился быть исполнителем намерений императрицы и вместе содействовать счастию народа, у которого имею честь быть представителем». Прочтя это донесение, Екатерина написала Панину: «Никита Иванович, вы можете приказать ответы заготовить в силе того, на чем мы согласились, ибо лишь бы остался нам способ иметь пользу от либерум вотум, то для чего бы не дозволить пользоваться соседам некоторым нам индиферентным порядком, который еще и нам

иногда может в пользу оборотиться». Вследствие этого относительно сеймовой формы было постановлено, что в первые три недели будут решаться только экономические вопросы, и решаться большинством голосов; все же государственные дела будут решаться в последние три недели единогласием [115].

Мы видели, что союзнику, прусскому королю, очень не нравилось настаивание России на проведении диссидентского дела; но как он ни раздражался, как ни толковал, что русская императрица не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела Польши, как ни толковал, что соседи Польши должны иметь в виду, чтоб в ней не было никакой перемены, а Россия, проводя диссидентское дело, производит этим самым перемену, все же русский союз был для него необходим; без этого союза Пруссия была одинока и слаба. Когда министр Финкенштейн представлял Фридриху, что нельзя далее следовать за русскими в польских делах, то он отвечал: «А если бы они были в союзе с Австрией, то мы должны были бы сносить терпеливо все, что бы им ни вздумалось сделать в Польше». Фридриху самому не хотелось идти далеко за Россиею в диссидентском деле, и обстоятельства помогли ему заключить с Россиею новый договор, в котором он складывал на Россию заботу и ответственность в дальнейшем ведении диссидентского дела военными средствами. Известия о вооружениях Австрии побудили русский двор подписать в апреле 1767 года такой договор с Пруссиею: Россия брала на себя защиту диссидентских прав вооруженною рукою, а прусский король обязывался поддерживать эти права только сильными и дружескими внушениями; если же австрийцы вторгнутся в Польшу и нападут на русские войска, то король обязывался сделать диверсию нападением на австрийские владения, за что императрица обещала ему соответственное вознаграждение. Последнее обязательство Фридриху легко было взять на себя, ибо он рассчитывал, что известие о заключении такого договора между Россиею и Пруссиею удержит Австрию от вмешательства в польские дела и войны не будет.

Фридрих писал Сольмсу: «Я посылаю шпионов и эмиссаров почти во все австрийские провинции, чтоб проникнуть намерения австрийского двора, и, кроме того, я жду двух эпох, которые должны показать, что выйдет из тамошних военных приготовлений. Первая эпоха будет, когда образуется новая конфедерация и русские войска вступят в Польшу. Вторая эпоха, когда соберется в Польше новый сейм; что если он станет просить покровительства Австрии?» [116] Но дело объяснялось просто: Австрия боялась, чтоб и у нее не поднялся диссидентский вопрос.

Князь Дмитрий Голицын из Вены уведомил императрицу о военных приготовлениях Австрии и объяснил причину их тем, что венский двор, узнав о вступлении в Польшу значи-

тельного числа русских войск, опасается волнений среди собственных подданных неримского исповедания, не вздумали бы и они по примеру польских диссидентов требовать возвращения отнятых у них прав; потом Голицын уведомил об опасениях венского двора, чтоб под диссидентским делом не скрывалось другого намерения, чтоб Россия и Пруссия не согласились относительно завладения некоторою частию польских земель, и в таком случае Австрия будет непременно действовать вооруженною рукою, чтоб помешать этому намерению; что же касается собственно диссидентского дела, то хотя оно и неприятно австрийскому двору, однако он не станет действовать в Польше вооруженною рукою [117].

Более опасности было в Турции.

В январе Обрезков доносил, что недоброжелатели русского двора всеми их силами и разумением подущают Порту вступиться за поляков, сообщая ей все то, что может оправдать поведение последних, сообщили даже и *ехидную* речь папского нунция, произнесенную на последнем сейме; они доказывают Порте неосновательность претензий русского двора на право вмешиваться во внутренние дела Польши, при этом горячим сообщником их является крымский хан. Сначала Порта положила смотреть равнодушно на польские дела и послала хану запрещение в них вмешиваться; но хан снова прислал донесение, что самые знатные поляки ввиду притеснений от русской императрицы за несогласие удовлетворить ее требованиям в делах веры вознамерились просить Порту о защите и покровительстве и объявили своему королю, что если он согласится на требования русской императрицы, то они непременно лишат его престола. Французский и австрийский послы сейчас явились с прежними представлениями, что Польша — государство независимое и претензии России и Пруссии относительно веры в ней противны ее вольности, претензии эти разделят Польшу надвое и причинят беспокойство соседям. Интернунций прибавил, что его двор не будет смотреть на это покойно. Порта решила ожидать прямых представлений от самих поляков. Обрезков, уведомляя об этом Панина, просил, чтоб при вступлении русских войск в Польшу начальствующим дан был строгий приказ не приближать к турецким границам никакого отряда, даже самого малочисленного.

От 2 апреля Обрезков уведомил Панина, что австрийский и французский послы сделали Порте письменное представление, что русский двор старается уничтожить польскую вольность и древние уставы республики и делает это с таким самовластием, как будто распоряжается в собственном государстве; таких поступков со стороны России никто не ожидал, тем более что Порта манифестами своими французскому, австрийскому и другим дворам объявила, что никак не потерпит повреждения вольности и древних уставов польских.

Вследствие таких объявлений Порта для поддержания собственного достоинства должна соединиться с их дворами и принять меры для защиты польской вольности и для безопасности собственных границ. Русский двор так смело распоряжается в Польше, надеясь на союз с прусским королем; несмотря, однако, на это, дворы австрийский и французский не будут смотреть равнодушно на происходящее в Польше. Для противодействия этой записке Обрезков подал Порте свою, в которой доказывал права диссидентов и права русской императрицы защищать их; сообщил также декларацию Екатерины польскому правительству, в которой утверждалось, что она при этой защите не имеет никаких корыстных видов. Порта отвечала Обрезкову, что ей непонятно, как русский двор может интересоваться диссидентским делом до такой степени, что ввел в Польшу свое войско; если это дело имеет связь с статьями договора, то можно бы вести его чрез уполномоченного, не вводя войска в области чужой державы. Быть может, есть другие причины этого введения, и известны ли они резиденту? Хотя в декларации императрицы изъяснено, что ее величество незавидлива и нежелательна завладеть польскими землями, однако некоторые противники не перестают утверждать, что введение войска под предлогом защиты диссидентов, собственно, имеет в виду овладение польскими землями. Ясно видно, что русский двор такого обмана не сделает; но так как дело не стоит того, чтоб из-за него вводить войско, то невольно возбуждается сомнение, и если настоящая причина такого поступка русского двора резиденту неизвестна, то желательно, чтоб он испросил у двора своего изъяснения.

«Диссидентское дело очень важно, ибо основано на статье торжественного договора, — отвечал Обрезков. — Целые пятьдесят лет русские министры, находящиеся в Варшаве, беспрестанно домогались прекращения гонений на диссидентов, и все понапрасну; мирные средства были все истощены, и потому введено войско; и это сделано не для притеснения чьего-либо, а единственно для охранения республики от междоусобной и неизбежной войны».

Лето прошло спокойно. Но в октябре молдавский господарь донес Порте, что в Подолию, поблизости к турецким границам, вступило большое русское войско с осадною артиллериею и бомбами, и тогда же получены были три письма из Польши: одно — от киевского воеводы Потоцкого, другое — от Солтыка, третье — от каменского епископа Красинского. Во всех трех письмах говорилось одно: что Порте уже известно, с которого времени Польское королевство терпит притеснения от русских войск и каким образом эти войска препятствуют естественному течению вольности и действиям древних уставов королевства. После бога Польша не имеет

другой надежды получить помощь, как от Порты, на нее прямые сыны отечества возлагают все свое упование и надеются найти безопасное убежище в близости границ турецких. Покорнейше умоляют они Порту приказать крымскому хану и другим пограничным начальникам подать притесненным руку помощи. Эти письма сильно встревожили Порту и повели к образованию двух партий. Министерство продолжало утверждать, что надобно смотреть равнодушно на действия русских в Польше; но другие влиятельные лица, и особенно духовенство, стали говорить, что не в интересе Порты терпеть такое долговременное господство России в Польше. Обрезков деньгами привел в действие разные потаенные пружины и довел до того, что ему сделан был запрос насчет донесений молдавского господаря, которые, разумеется, он мог легко опровергнуть. Его ответ снова успокоил Порту, которая не удостоила ответом Потоцкого, Солтыка и Красинского, а хану предписала не принимать никакого участия в польских смутах и только дать знать полякам, что Порта не потерпит приближения русских войск к своим границам, но чтоб и поляки остерегались производить беспокойство в ее границах. Но в конце октября Порта начала опять беспокоиться вследствие известий о ходе сейма, об арестах Солтыка с товарищами и вследствие ропота многих на нерадение правительства, позволяющего занятие Польши русскими войсками. Вследствие этого беспокойства хотинский гарнизон велено было усилить Французский посол подал записку, в которой говорилось, что Польша и равновесие Европы находятся в опасности, что Россия еще со времен Петра Великого стремится к уничтожению в Польше liberum veto; Петр не успел достигнуть своего намерения и оставил эту идею в наследство своим преемникам. По смерти короля Августа III русский двор возвел известными средствами на польский престол свою креатуру и возжег усобицу между поляками для своих выгод, наполнивши страну своими войсками. Порта в собственных интересах не может быть равнодушна, и единственное средство для нее к отвращению зла — это заключение союза между нею и Франциею Хан прислал татарина, только что возвратившегося из Варшавы, с вестями, что Россия совершенно привела Польшу в свою зависимость, так что это королевство должно почитать погибшим, если Порта не поспешит спасти его; что Россия, окончив по своему желанию настоящие дела, вынудит у поляков уступку областей, лежащих в турецком соседстве, и для этого сорокатысячное русское войско останется в Польше на неопределенное время; что князь Репнин принудил республику наложить на поляков новую подать для содержания русского войска и обложил этим войском Варшаву так, что съестные припасы не впускаются в город без его билетов; что поляки желают, чтоб

Порта прислала какого-нибудь агу в Варшаву под предлогом поздравления короля: ага этот должен препятствовать на сейме успеху вредных русских предприятий. В Константинополе не подвергали критике подобных известий, не спрашивали, мог ли крымский татарин быть хорошим наблюдателем варшавских событий и привезти одни верные вести. Великий визирь, как только татарин кончил свои россказни, закричал: «Кто этого ожидал? Слушай после того русские уверения! Как теперь донести это государю? Непременно дела должны запутаться!» Начались советы, долго рассуждали, наконец положили: прежде чем принять какое-нибудь решение, потребовать у Обрезкова разъяснения дела, и если это разъяснение окажется неудовлетворительным, то Порта объявит себя защитницею вольности и прав Польши и отправит туда посланника.

3 декабря Обрезков имел тайную конференцию с рейс-эфенди. Разговор продолжался четыре часа; Обрезков, по его словам, «всякий пункт в своем месте очистил и объяснил таким образом, что рейс-эфенди казался о истине быть уверенным и довольным». Рейс-эфенди сказал: «Если вы меня уверяете в том, что Россия не имеет намерения увеличить свои владения на счет Польши, то взаимно и я вас обнадеживаю, что Порта до окончательного решения польских дел не будет обращать внимания ни на какие подущения, происки и клеветы, в бесчисленном количестве до нее доходящие; Порта не сделает никакого поступка, который мог бы еще более затруднить польские дела или отдалить их окончательное решение; но Порта обещает это с одним условием, что русские войска по окончании всех дел должны выступить из Польши в 15 или много в 20 дней и, кроме того, чтобы были освобождены все арестованные». Обрезков, не видя, по его словам, в предложениях турецкого министра ничего несправедливого и неразумного, согласился на эти два условия [118].

Такая же борьба между русским и французским послами шла на севере, в Швеции. Швеция приняла предложение России высказаться в пользу польских диссидентов-протестантов, несмотря на сопротивление французской партии, которая говорила, что диссидентская конфедерация есть простое возмущение, которого поддерживать не следует. Для поддержания русской партии, которая настояла на отказе от французских субсидий, надобно было доставить Швеции английские субсидии, но Англия не соглашалась платить их. Императрица по этому поводу написала для Панина на депеше Остермана: «Все на нас они (англичане) валят, и истинно сердиться хочется, что они столь слабо и слепо поступают. Дайте г. Макартнею сие почувствовать; чрез подобные поступки мало приобретут себе уважения». А между тем Остерман доносил, что французский посланник Бретейль имеет частые тайные сви-

дания с королевой в комнате фрейлины Горн. Бретейль отправлялся к фрейлине под видом простого визита, но встречал тут королеву, которая приходила скрытым ходом из своих внутренних покоев. Король имел частное свидание с французским послом и посланником испанским в деревне камергера графа Делагарди, куда король пригласил их для охоты на оленей; свита была небольшая — одни французские креатуры; а незадолго перед тем французский посол видался с королем в арсенале вследствие как будто нечаянной встречи. Остерман кончил свою переписку этого года с Паниным известием о средствах, которые употреблял шведский двор, чтобы воспрепятствовать стокгольмскому обществу, особенно молодежи, собираться у русского посла: как скоро двор узнавал, что у Остермана званый ужин, немедленно рассылались приглашения знатным особам, мужчинам и женщинам, то к королю, то к наследному принцу. На святках Остерман дал бал; при дворе в тот же вечер назначен был розыгрыш лотереи; тогда приглашенные Остерманом гости объявили ему, что приедут к нему к ужину после лотереи; но когда при дворе узнали об этом, то вместо лотереи назначен был бал, продолжавшийся и после ужина. «Я мог бы избежать этих неприятностей прекращением званых вечеров, — писал Остерман, — но, зная, что король и королева нарочно поступают так для усиления своей партии, для отнятия у меня способа привлекать молодых людей к нашим видам и прямо об этом объявляют, говоря, что не привыкли зависеть в своих забавах от русского ига, я думаю продолжать до самого Великого поста угощения и балы, дабы, не имея возможности иметь избранных, угощать в своем доме хотя оглашенных». Панин заметил на письме: «Всегда была сия политика у французских партизанов, и всегда с успехом» [119].

Генерал Философов доносил в марте из Копенгагена, что барон Бернсторф по секрету сообщил ему о переводе из Франции 500 000 ливров в Швецию к Бретейлю для подкрепления французской партии, что по получении этих денег Бретейль имел два свидания с королевою в комнатах ее камер-фрейлины, но что между королевою и послом происходили частые несогласия относительно употребления этих денег. Говоря об этом, Бернсторф заметил, что эти слабые попытки нисколько не воскресят убитой французской партии и никакие интриги не будут в состоянии довести до созвания чрезвычайного сейма. Философов поставил на вид необходимость для России и Дании, преимущественно для последней, действовать в Швеции в неразрывном союзе, необходимость для Дании не искать себе там других друзей, кроме приверженцев России. Бернсторф отвечал, что хотя их министр в Стокгольме Шак уже снабжен особым повелением на этот счет, но это повеление еще ему будет подтверждено, и даже просил Филосо-

фова назначить сроки для исполнения этого предписания (в подлиннике: «и отдает мне на волю термины избрания предписать»). «Я, — доносил Философов, — оставил на воле сего благоразумного и совершенно преданного вашему в-ству министра новый подтвердительный указ королевский Шаку отправить, чтобы оный во всем согласно с графом Остерманом содействовал».

Но этому благоразумному и совершенно преданному России министру грозила большая опасность, которую Философов вместе с Сальдерном должны были предотвращать. Сальдерн писал Панину в январе о своем разговоре с министрами английским и прусским, которые прямо стали приглашать его к содействию в низвержении Бернсторфа. Сальдерн в ответ расхохотался и сказал: «Разве вы, любезнейшие мои господа, здесь для того, чтобы низвергать датское министерство? По крайней мере я здесь не для того». Те замолчали, и прусский министр не возобновлял разговора; но английский начал опять, и Сальдерн дал ему дружески почувствовать всю смешную сторону этого предложения. Прусский министр Боркен, по словам Сальдерна, был известный интриган, человек злобный и лжец. Бернсторф объявил Сальдерну, что Боркен часто внушал королю пагубные мысли, что он, Бернсторф, считает его человеком опасным. Сальдерн начал наблюдать, разведывать и вследствие этих разведываний сообщил Панину, что́ Фридрих II говорил английскому министру в Берлине Митчелю; король говорил, что он недоволен посольством Сальдерна к нему и хочет жаловаться на Сальдерна Панину, что он смотрит на Сальдерна как на человека, помешанного на своей Северной системе, а что он, король, считает эту систему вредною для Великобритании и Пруссии. Сальдерн сообщал, что Митчель, преданный безгранично прусскому королю и помешанный на необходимости самого тесного союза между Пруссиею и Англиею, внушает лондонскому кабинету, что слишком тесный союз между Россиею и Даниею, над которым работает Сальдерн, даст перевес России; надобно, чтобы Англия соединилась с Пруссиею, чтобы помешать России сделаться центральным и главным государством на Севере. Русским министрам в Копенгагене надобно было противодействовать движениям Пруссии и Англии; для этого надобно было поддержать Бернсторфа, надобно было действовать на короля. Король, по отзывам Сальдерна и Философова, был очень дурно воспитан. Он был неглуп, имел сведения, но был слишком жив, слишком легок и потому непоследователен в своих действиях. Притом естественно для человека, освободившегося от рабства, заблудиться на свободе, которая так близко граничит с своеволием. Король видит себя выше законов, которых природы и силы он не знает; он не доверяет, удаляется от министров отца своего и презирает придворную

молодежь, которая все ниже его по способностям. Сальдерн сообщил Панину свое убеждение, что король будет иметь доверие к Бернсторфу, не имея к нему дружбы. «Король, — писал Сальдерн, — любит поговорить и часто разговаривает со мною; я не скрываю от него истины, когда нахожу удобный случай ее проповедовать. Французский министр бесится, а прусский кусает себе губы, потому что прежде он пользовался этим преимуществом».

22 февраля является к Сальдерну и Философову Бернсторф и с ужасом объявляет по секрету, что король предпринял произвести большие перемены в войске, отнимает главное управление военным департаментом у зятя своего принца гессенского и поручает фельдмаршалу С. Жермэну; почти все прежние члены этого департамента будут сменены, и полковник граф Герц получит департамент кавалерии; но своевольный и бесчестный характер Герца пугает его, Бернсторфа: он посредством интриг может овладеть королевским сердцем и довести государя до жестоких поступков; этот самый Герц старался склонить короля к совершенному изгнанию принца гессенского из государства, в этом он не успел, но все же принц удаляется штатгалтером в Шлезвиг. Русские министры заметили Бернсторфу, что под принца гессенского подкопался Герц не один, а вместе с прусским посланником Боркеном. Но замечание, разумеется, не уменьшило опасений Бернсторфа, который высказал свое отчаяние, что внутренними средствами нельзя предотвратить эту ужасную бурю. Тогда русские министры предложили ему себя орудиями для отстранения таких неприятных обстоятельств, они готовы именем императрицы ходатайствовать у короля за принца гессенского, и в случае если король не согласится исполнить их просьбы, то пригрозить ему разрывом с Россиею. Бернсторф отвечал, что русские министры — единственные существа, которые могут подействовать на короля. Не медля нимало, Сальдерн послал просить аудиенции под предлогом, что, выздоровевши, он хочет поблагодарить короля за частые осведомления его величества о ходе болезни Король назначил час, и Сальдерн «по известному своему дару убедительно говорить» (слова Философова) успел показать королю весь вред, могущий произойти от удаления принца гессенского, так что король тут же переменил намерение удалить принца в Шлезвиг. Восхищенный Бернсторф называл Сальдерна и Философова ангелами-хранителями Дании. Можно было выхлопотать только оставление принца гессенского в Копенгагене, но военным министром стал С. Жермэн, с которым Философов и Сальдерн должны были бороться для поддержания преданных себе людей.

В самом конце августа месяца Бернсторф тайно, чрез третье лицо, дал знать Философову, что король по внушениям

С. Жермэна согласился принять в свою службу прусского посланника Боркена, и если русский министр не заставит короля именем императрицы отменить это решение, то падение министерства неминуемо. Философов немедленно потребовал аудиенции и прямо объявил, что Боркен противен императорскому двору, а если он будет принят в датскую службу, то союзный договор между Россиею и Даниею никогда не будет подписан. Аудиенция продолжалась до трех часов; король оправдывал себя, уверял, что ему и в голову никогда не приходило сделать что-либо противное императрице, что фельдмаршал С. Жермэн ни в какие политические дела не мешается и никаких внушений ему никогда не делал. Тогда Философов потребовал торжественного обещания, что король никогда не примет Боркена в свою службу и никогда не приблизит Герца к своей особе. Король отвечал, что он никогда и не хотел этого делать; но Философов настаивал, чтобы он дал обещание и вперед никогда этого не делать; наконец король дал обещание в этих словах: «Наиторжественнейше королевским своим словом ее величеству обязуюсь Боркена никогда в свою службу не принимать и Герца к своей особе не приближать и притом прошу императрицу употребить сильное содействие к тому, чтобы прусский король скорее отозвал Боркена от датского двора». Выходя с аудиенции, Философов сказал королю: «Оставляю в. в. в уверенности, что данное вами обещание будет всегда для в. в. священно и ненарушимо». — «Призываю небо в свидетели, — отвечал король, — что обещание это почитаю столь же для себя обязательным, как и подписанный договор». «И, несмотря на все это, — писал Философов Панину, — легкомысленный нрав короля и усиление противной партии внушают мне опасение, что все может перемениться, настоящее министерство падет и наши переговоры будут разорваны. Настоящее министерство крайне робко; оно не только не смеет делать королю сильных представлений, но даже боится показать наималейший вид своего согласия со мною; исключая одного конференциального дня в неделю, я по просьбе Бернсторфа принужден избегать свиданий с ним и все сообщения и мнения получаю от него чрез статского советника Шумахера. Напротив того, С. Жермэн отважно делает королю свои внушения и тем берет верх над остальными министрами». Бернсторф дал знать Философову, что к союзному договору между Россиею и Даниею необходимо прибавить сепаратную статью, в которой бы король обязался никогда Боркена в свою службу не принимать и Герца к своей особе не приближать. Императрица написала Панину по этому поводу: «Надобно так сделать, чтоб прусский король отозвал Борка. Правда, что секретный артикул будет странен и не сделает чести королю датскому».

Философов известил императрицу о выражениях глубочайшей благодарности со стороны Бернсторфа по поводу получения торжественного королевского обещания; он обвинял министров в робости, короля — в легкомыслии. Но Сальдерн в письме своем к Панину в конце года старался оправдать короля и сильно обвинить министров в неблагодарности, хотя Философов удовлетворительно объяснял их поведение тою же робостью. «Мы сделали невозможное, — писал Сальдерн, — не только для удаления грозившей опасности, но и для отыскания дороги к сердцу короля, чтобы сделать постоянным и твердым все то, что им сделано не вследствие страха и насилия, но по убеждению и добровольно. Король — молодой человек, чрезвычайно живой и страстный, склонный к удовольствиям не по темпераменту, но из какого-то легкомыслия и из желания узнать все собственным опытом. Он достоин сожаления. Он хочет добра, лишь бы ему оставили его маленькие дурачества. Он хочет добра не на словах только, видно, что он делает добро. Несчастие в том, что ни один из его министров не обладает его доверием; но большее несчастие в том, что ни один из них не дает себе труда снискать его уважение и доверие, получить доступ к его сердцу, которое непременно будет послушно, если министры немного более будут применяться к фантазиям государя и будут иметь более ловкости в приобретении его доверия. Таково мое мнение. Оно основано на собственном опыте: я знаю, что, польстя немного его самолюбию, можно взять над ним власть, надобно дать вид, как будто он действует по собственной воле и по собственному разумению. Но я не могу умолчать, что здешние министры, поддерживаемые нами, оказываются неблагодарными. Ни один из них не поблагодарил нас приличным образом за нашу ревность к их пользе, тогда как мы первые их поздравили с их торжеством. Ни один не отдал нам потом визита; едва граф Бернсторф со своим обычным двоедушием сделал нам в третьем месте знак рукою, что знает, чем нам обязан, а граф Ревентлау, человек грубый и тщеславный, не обнаружил к нам ни малейшей признательности» [120].

Датским посланником при русском дворе был Ассебург, который выставляется как друг Панина и приверженец Пруссии. Генрих Шерлей, заведовавший делами английского посольства в России по отъезде Макартнея, отзывался об Ассебурге, что его скорее надобно считать министром прусского, чем датского двора. Это была дурная рекомендация перед английским министерством, которое приписывало Фридриху II все неблагоприятные внушения в России относительно Англии, что было и справедливо, как мы знаем. Совершенно справедливо писал Шерлей своему двору об отношениях прусского короля к России: «Я убежден, что он не вхо-

дит искренне в виды этого двора; что он вовсе не приверженец Северной системы; что одна необходимость (союз Австрии, его естественного врага, с бурбонским домом) может заставить его искать убежища под покровительством России; что если бы он мог действовать открыто с безопасностью для себя, то он немедленно составил бы сильную оппозицию намерениям императрицы; что он с большим неудовольствием смотрит на быстроту, с какою она увеличивает свою власть и значение. Стоит внимательно наблюдать его поведение в Константинополе, Польше, Дании и России, чтобы видеть, как он боится России, а вовсе не предан ее интересам; хотя он не станет объявлять себя открыто, а действует только под рукою, однако он делает все возможное, чтобы только помешать успеху панинской системы. Нет сомнения, что с великою досадою увидал бы он союз между нашим королем и императрицею». Это справедливо, но странно было бы предполагать, как это делали англичане, что Россия по внушениям Фридриха II не соглашается заключать союза с Англиею с исключением Турции из случая союза. Екатерина хотела прежде всего мира, сильно тяготилась смутами польскими и шведскими, тем менее могла желать войны с Турциею. Будучи убеждена, что Австрия и особенно Франция не упускают случая делать Порте враждебные внушения против России, Екатерина хотела, чтобы Англия, напротив того, употребляла все усилия для удержания турок от войны, что та непременно и делала бы из собственного интереса, если бы по союзному договору обязалась помогать России в случае нападения турок на последнюю. Вот почему и Шерлей слышал от Панина прежнее, что с исключением Турции союз заключен не будет.

И Шерлей также внимательно следил за судьбою Панина. От 9 мая 1767 года до нас дошла любопытная записочка Бецкого к Екатерине, где выражается сильное нерасположение к Панину, сильное неудовольствие на его важное значение. «Вижу, что у вашего величества Никитка — велик человек, кланяться ему поеду сегодня, то же и другим присоветую»[121]. От конца того же мая Шерлей пишет своему министерству, что зависть Орловых к Панину вспыхнула с новою силою, что они ищут его погибели, употребляют все средства, чтобы очернить его в глазах императрицы. Внушают, что нельзя в одном лице соединить и надзор за воспитанием великого князя, и заведование иностранными делами, необходимо Панина назначить канцлером, а воспитание наследника поручить другому лицу, и указывали на Ив. Ив. Шувалова; но удаление Панина из дворца будет знаком его падения. Екатерина противится, старается мирить Панина с Орловым; и, к счастью Панина, опасно заболевает граф Алексей Орлов: если и останется жив, то будет принужден ехать лечиться за границу, а без него Григорий Орлов ничего не сделает[122].

В начале 1768 года в Петербурге могли думать, что тяжелое польское дело окончено «Теперь для нас настало время спокойствия», — сказал Панин Сольмсу [123]. И в Варшаве король опять стал думать о преобразованиях. В конце февраля (5 марта н. с.) Станислав-Август писал императрице: «Так как все сделалось в Польше по вашему желанию, то все полезные Польше установления и все личные выгоды, мною полученные, составляют новое право на мою благодарность к в. и. в. Я признаю эти права и всегда буду признавать их так же открыто, как содействую исполнению ваших желаний. Неизменная прямота моего характера в то же время предписывает мне беспрестанно возобновлять пред в. в. настоятельные просьбы относительно предметов, которые, по моему убеждению, необходимы для счастья Польши. Оставьте мне надежду, что вы будете соглашаться на них постепенно, что от вас я получу рано или поздно эти бесценные блага». — «Радуюсь, — отвечала Екатерина, — что я помогла республике получить конституцию, постоянную, неизменную и выгодную для всех сословий».

Радость императрицы, что дана была «постоянная, неизменная» конституция, могла показать, что ему трудно надеяться на содействие России в изменении этой конституции, по крайней мере в существенных ее частях. В Петербурге прежде всего хотели докончить дело, показать, что нельзя безнаказанно быть ложными друзьями России. В Петербурге увидали ясно, что Чарторыйские и под их влиянием король хотели употребить Россию орудием для изменения конституции и, когда русский двор в надежде на преданность к себе *русской* партии захотел употребить Чарторыйских орудиями для достижения своих целей, те отказались помогать, что сочтено было вероломством. Отношения к фамилии таким образом определились, и на будущее считали необходимым освободить короля и страну совершенно от влияния Чарторыйских. Приехавший из Москвы в самом конце 1767 года полковник Игельстром передал Репнину желание Панина, чтобы старший Чарторыйский, великий канцлер литовский, был *выжит* из министерства. Репнин охотно взялся за дело и через разные каналы, между прочим через дочь старика воеводину виленскую, сделал ему внушение, чтобы на старости лет не дожидался несчастий, какие могут с ним случиться, а заранее добровольно сложил бы с себя свой чин, в противном случае он потеряет этот чин вследствие суда конфедерации по обвинению в возмущении отечества интригами. Вся фамилия, не исключая и короля, сильно встревожилась угрозами Репнина, потому что осуждение судом конфедерации считалось очень позорным. Король сказал Репнину, что он просит императрицу не допускать до этого суда и не класть пятна на его ближайшего родственника. Репнин с суровым

видом отвечал, что донесет об этом императрице, но не может между тем остановить исполнения полученных им предписаний подкреплять конфедерацию в ее действиях. Тогда все Чарторыйские начали старика уговаривать, чтобы предупредил несчастье сложением своего чина; но старик отвечал, что скорее подвергнется суду и осуждению, чем изъявит робость. «Итак, не знаю, — писал Репнин, — удастся ли мне его застращать и через то из министерства выпихнуть; коль же нет, то сделаю вид, что на них сжалился и что е. и. в. из единственного милосердия до сего поступка повелела не допускать». Потом Репнин донес, что Чарторыйский согласен лучше претерпеть всевозможные бедствия, чем сложить свой чин, ибо последнее действие могло бы иметь вид признания, что он достоин какого-либо наказания. Но и терпеть какие-нибудь бедствия старику также не нравилось, и потому он дал знать Репнину, что не только он, но и брат его, воевода русский, тотчас после сейма отправятся из Варшавы в свои деревни и более ни в какие дела мешаться не станут, желая окончить остающееся им время жизни в совершенном спокойствии и тишине. Репнин высказывал по этому поводу такое мнение, что, унизив уже достаточно этих стариков, лучше оставить их в покое, иначе совершенным их падением могут слишком подняться их противники и выйти из русской зависимости, как вышли из нее сами Чарторыйские, будучи возвышены чрез меру покойным графом Кейзерлингом, слишком полагавшимся на их преданность. Императрица согласилась оставить Чарторыйских в покое.

Но в то же время Репнин получил неприятное письмо из Константинополя от Обрезкова, в котором тот уведомлял его о своем обещании, данном Порте, что русские войска немедленно выйдут из Польши по окончании диссидентского дела и все захваченные будут освобождены. «Признаюсь, — писал Репнин Панину, — что меня менее удивила неумеренность Порты в ее требованиях, чем робкая уступчивость г. Обрезкова, который еще этим и доволен, будто успехом. Не министр теперь говорит в. сиятельству, а солдат: мне кажется, принимать такие обязательства и давать такие обещания можно, только проигравши несколько сражений. Что же касается освобождения известных арестантов, то никак нельзя выпустить епископа краковского, ибо вся публика стала бы смотреть на него как на бога, он привел бы в ненависть всех других и возвысил свое значение на развалинах их значения Конфедерацию или сейм, где большинство сумасбродных фанатиков, нельзя довести до того, чтобы они судили Солтыка как преступника и лишили достоинства, ибо на таких судей стали бы смотреть в народе как на богоотступников, а к народу я причисляю и три четверти шляхты. Для удовлетворения требованиям Порты я не вижу другого средства, как

объявить, что епископ краковский умер, и заслать его на веки веков туда, откуда вести бы не было, что он жив. Если в. в-ству покажется это немилосердым, то осмелюсь представить, что еще немилосерднее было бы, выпустя его, отнять значение у людей, нам служивших, навести на них ненависть и всю землю привести в замешательство; наконец, если б внимание наше было отвлечено, то и все диссидентское дело будет подвергнуто опасности. Точно то же я должен сказать и о гетмане польном графе Ржевуском, который заражен неумеренным честолюбием и страстию к интригам, по знатности своего чина будет опасен, будет обожаем и наших приверженцев приведет в презрение, ненависть и *бескредитицу*. Двоих остальных можно выпустить по окончании сейма: епископ киевский — враль, не пользующийся никаким уважением, а молодой граф Ржевуский, староста долинский, сам по себе не имеет значения, к дерзостям подучал его отец». Относительно выхода войск Репнин считал изнурительным для них зимний поход; считал также неудобным вывести все войска: осенью будет ординарный сейм и перед ним сеймики; чтобы католики, отдохнув, не затеяли чего-нибудь против диссидентов!

Панин в своем ответе соглашался, что «Обрезков поступил с излишнею и неуместною податливостью», но объяснял это его болезненным состоянием. «Но теперь, — продолжал Панин, — когда дело сделано и нельзя пособить ему без новых хлопот, надобно для развязания так дурно затянутого узла сделать по крайней мере наружное доказательство к исполнению обещанного, ибо, помазав турецкое министерство по губам, можем выиграть время, которое на все в свете лучший поправитель». По мнению Панина, нужно было возвратить войска в мае месяце, а некоторые отряды отправить и зимою, по крайней мере ближайшим к турецкой границе войскам объявить поход тотчас по окончании сейма. Удерживать войска до осени невозможно как по отношению к Турции, так и по отношению ко всем другим державам, ибо оправдать этого нечем. «Я, — писал Панин, — открою в. сиятельству по моей к вам беспредельной доверенности, что не время еще доходить нам с Портою до разрыва».

Репнин должен был признать справедливость этого внушения, когда папский нунций в самых резких выражениях подал протест против всего сделанного с начала настоящего сейма. «Я знаю здешнюю нацию, — писал Репнин, — и не сумневаюсь, что как скоро протест рассеется в публике, то большая часть поляков придет в робость, уныние, а может быть, и в совершенное отчаяние, а малая часть разумных людей, смотрящая на протест с настоящей точки зрения, не осмелится и слово молвить против него. Наконец, я опасаюсь того, что нунций пред самым сеймовым утверждением всего постанов-

ленного вдруг объявит отлучение от церкви всем тем, кто решится на это утверждение: тогда все отступятся от диссидентского дела и я не буду знать, как поступить в таких обстоятельствах». Панин советовал послу внушать полякам, как протест нунция оскорбителен для республики, ибо порочит, чернит и злословит торжественные ее узаконения, в которых она никому не должна отдавать отчета. «Натяните, — писал Панин, — все струны для убеждения короля, министерства и всей конфедерации дать папе пространный и сильный ответ в этом смысле, чтобы не делал он вперед подобных попыток и вы могли бы свободно окончить все наши дела. Не жалейте тут ни обещаний, ни подкупов, ибо оба этих средства не могут быть употреблены в лучшем случае; уверьте короля и всех, что если исполнят они это наше желание, то могут наверное рассчитывать на покровительство ее и. в-ства. Но так как легко статься может, что рассуждения и доказательства ничего не помогут, то вы можете арестовать тех, которые на сейме будут наиболее противиться подтверждению договоров, постановленных делегацией, или нарочно протягивать время для обременения нас новыми хлопотами. Что же касается ватиканского грома, который может поразить и рассыпать целое наше здание в пользу диссидентов, рекомендую вам употребить деньги, ласки, угрозы и всевозможные меры вообще, чтобы привести короля и магнатов к единодушному и одинаковому с вами взгляду на эту опасность, и если она действительно будет настоять, то объявить нунция возмутителем тишины, клеветником и нарушителем народных прав, ибо он опорочивает то, что республика по самодержавной своей власти узаконяет у себя и в чем уговаривается с дружескою соседнею державою; либо засадите его в собственном доме таким образом, чтобы он ни с кем сообщаться и акта отлучения обнародовать не мог; или же, что еще короче и приличнее, постарайтесь вывезть его из границ республики под хорошим присмотром, продолжая сие путешествие, во время которого сейм мог бы утвердить все дела. Если же вам удастся прежде отлучения покончить сеймовые дела, то, кажется, нечего уже будет более заботиться об отвращении отлучений, можно будет оставить собственному рассуждению поляков, будут ли они этим отлучением извергнуты в ад или нет. Весьма нужно вам ободрять и приводить короля и примаса к тому, чтобы они в своих ответах папе внушили ему, что не то теперь время, когда папы управляли делами по своей прихоти; что он неуместною своею горячностью может нанести католической вере вместо пользы большой вред, вывести Польшу из настоящего повиновения римскому престолу; что мы, имея теперь в Польше столько способов и силы всем управлять, можем вследствие его непристойных поступков решиться на истребление там папской власти и на установление независимой

иерархии. Можно внушить королю и примасу, что собственная их честь и достоинство республики требуют от них этой твердости, иначе, допустив эту первую попытку папы, они ввергнут себя в крайнее порабощение и тьму невежества, в то время когда все другие католики очищают себя от этой заразы».

Репнин не считал возможным принять относительно нунция меры, предлагаемые Паниным. «Нунций поуспокоился, — писал он, — я доволен тем, что протест его забыт в публике; действовать против этого протеста чрез сейм или конфедерацию и подумать нельзя, разве употребить пушечные выстрелы, но и тут только всех разогнали бы, а цели не достигли. Еще менее можно надеяться, чтобы здешнее правительство задержало нунция в его доме или выслало за границу; все скорее помрут, чем решатся на это».

23 февраля Репнин уведомил Панина, что сейм кончился, трактат с Россиею, два отдельных акта и все постановленное между делегацией и им, Репниным, утверждено, вследствие чего русским войскам велено выступить к своим границам. В трактате, подписанном 13/24 февраля, говорилось: «А как яснейшая Речь Посполитая для вечной твердости всему тому, что ею ныне в собственную пользу узаконено, наиторжественнейшим образом рекламировала и теперь еще рекламирует высокую ее и. в-ства всероссийской гарантию на конституцию, форму правления, вольность и законы свои, то ее и. в-ство в удовлетворение желаниям и дружеской доверенности яснейшей Речи Посполитой торжественно гарантирует ей сим трактатом в вечные времена конституцию, форму правления, вольность и законы ее, обещая свято и обязуясь за себя и преемников своих удерживать, сохранять и защищать яснейшую Речь Посполитую польскую в неприкосновенной их целости». Акт сепаратный содержал в себе вольности и преимущества греков ориентальных, неунитов и диссидентов; вера католическая получает титул *господствующей;* король и королева должны быть непременно римскими католиками; переход от римско-католической церкви в иную веру есть уголовное преступление; все пункты против греков-неунитов и диссидентов, находящиеся в конфедерациях и конституциях, отвергаются; церкви греческие неунитские и костелы диссидентские, кладбища, школы, госпитали и всякие строения, церквам и духовенству принадлежащие, вольно чинить, а в случае обветшания и пожара вновь строить, не испрашивая позволения; и отправляют в тех церквах богослужение с публичными ходами, не делая, однако, препятствия римскому богослужению и процессиям. Епископ мстиславский, оршанский, могилевский под именем епископа белорусского управляет своею епархиею, как римские епископы управляют своими без всякого препятствия Неуниты и диссиденты имеют право заводить типографии и

печатать в них богослужебные книги, с тем, однако, чтоб не печатали книг еретических и в спорных пунктах язвительных и остростию стиля наполненных изражений оберегались. Браки между людьми разной веры позволяются; дети от таких браков — сыновья воспитываются в вере отцовской, а дочери в материнской, но дворянству позволяется делать по этому предмету договор перед браком. Греки-неуниты и диссиденты не принуждаются к празднованию католических праздников и к участию в католических процессиях. Все церкви и монастыри, неправильно отобранные у греков-неунитов, должны быть им возвращены. Для суда в обидах религиозных учреждается обосторонний суд из 17 лиц: 8 светских римско-католической веры и 8 диссидентов или греков-неунитов, а 17-й — епископ белорусский. Так как равенство дворянское есть основание вольности польской и надежнейшим подкреплением прав отечества, то грекам-неунитам и диссидентам возвращаются все давние права и преимущества, объявляются они способными ко всем чинам, достоинствам сенаторским и министерским, урядам коронным и земским, должностям трибунальским и комиссарским, посольствам заграничным и сеймовым, к получению награждений от короля — одним словом, возвращается грекам-неунитам и диссидентам совершенный активитет как в гражданских, так и в воинских чинах; также вера не может быть препятствием людям неунитской и диссидентской религии к приобретению индигената и дворянства.

Но в постскрипте к тому же письму, в котором извещал об окончании сейма и утверждении договора, Репнин поместил известие о движении недовольных в староствe Бар, хотя и высказывал сомнение в верности этого известия. 4 марта Репнин даже изложил Панину состояние польских дел в успокоительном виде: иностранного влияния нет более в Польше; австрийцы и французы никакой партии не имеют; король прусский также, потому что оскорбил всю землю мариенвердерскою таможней, а пограничные польские области оскорбляет беспрестанно разными притеснениями и грубою наглостью своих военных командиров относительно прусских беглых и насильственной вербовки. Следовательно, один только фанатизм может произвести возмущение на первое время, пока не привыкнут видеть диссидентов в равенстве с католиками и не увидят, что никакого зла из диссидентской вольности не происходит. «Я, — писал Панин, — старался так вести дела, чтобы, награждая по возможности наших приверженцев, как можно менее оскорблять и противных, дабы не вкоренить в сердцах ненависти и жажды мщения; я защищал и противных, когда на них делались несправедливые нападки, желая ясно показать, что императрица покровительствует справедливости и всей нации, а не одной партии; это старание мое выразилось в спокойствии, в каком я удержал конфедерацию».

Но вслед за тем Репнин прислал уже верное известие о конфедерации, составленной недовольными в Баре. По мнению Репнина, России нельзя было оставить без внимания этого явления: «Трактат, вновь заключенный, и ручательство ее и. в., многим трудом Российской империи добытое, оставим ли мы теперь без действия, и не коснулось бы то до чести, достоинства и славы России, если бы мы при самом заключении сего трактата смотрели спокойно на предприятия, чинящиеся против всех сих наших положений? Приняв участие в настоящих новых возмущениях, никаким образом не можем мы вывесть отсюда наших войск, напротив, должны употребить их в дело, из чего может произойти привязка Порты, которой обещан их возврат в Россию; турки еще более будут иметь предлогов, если мы, преследуя возмутителей, будем доходить до турецких границ, и возмутители, узнав нашу осторожность относительно турок, всегда будут держаться их границ; следовательно, нам надобно быть готовыми и к тому, чтобы не побежать со стыдом от турок или татар, если б они вздумали нам делать предписания, запрещая приближаться к их границам. Знаю я, что некстати бы нам напрасно заводить с турками хлопоты; но если они внутренно враждебных намерений против нас не имеют, то предлогов к разрыву искать не станут, успокоятся уверениями, которые можно им сделать от нашего двора. Если же они этим не удовольствуются и будут искать предлогов к разрыву, то лучше их предупредить, нежели еще более возгордить чрезвычайными уважениями к их прихотям».

Надобно было прежде всего попробовать успокоить турок мирными уверениями, и Панин взялся написать письмо визирю. Императрица писала по этому случаю: «С помощью божиею сей раз туча мимо пройдет, лишь бы вы скорее отправили письмо ваше к визирю; пожалуй, не мешкайте; если же вы нужно находите взять еще в Украине какие ни есть меры, показующие хороший контенанс, то о том поговорите со мной при первом свидании; но мне кажется, два корпуса графа Румянцева достаточны к тому». Панин совершенно соглашался с Репниным в необходимости действовать против Барской конфедерации. «Необходимо, — писал он, — рассыпать собирающуюся в Баре тучу, прежде нежели она в земле распространится или же возможет привесть которую ни есть из соседних держав, а особливо Порту, в искушение подкрепить ее для испровержения воздвигнутого нами на сейме здания». Вследствие неизвестности условий, при каких составилась Барская конфедерация, Панин отказывался дать Репнину наставление, как против нее действовать, и уполномочивал посла употреблять те меры, какие он на месте найдет лучшими, не списываясь с ним.

Условия скоро стали известны. Подкоморий розанский Красинский, брат епископа каменецкого, вместе с Иосифом Пулавским, известным адвокатом, захватили город Бар, принадлежавший князю Любомирскому, и подняли там знамя восстания за веру и свободу. Монах Марк из Бердичевского монастыря с крестом в руках ходил по местечкам и селам, проповедуя необходимость приступить к конфедерации. В Галиции образовалась другая конфедерация под предводительством Иоахима Потоцкого, подчашего литовского; Рожевский провозгласил конфедерацию в Люблине. Но восстание не могло получить народного характера: громкие слова *вера* и *свобода* не производили впечатления на большинство и католического польского народонаселения. Трудно было подниматься за веру, полагаясь только на слова какого-нибудь отца Марка, не видя, кто и как утесняет веру; трудно было подниматься за свободу, которою пользовалась одна шляхта, и пользовалась ею для того, чтобы составлять конфедерации то против одного, то против другого, приглашая на помощь чужие войска, а теперь хотели поднять конфедерацию для вытеснения этих войск, провозглашая их врагами свободы; но в чем состояла эта враждебность, понять было очень трудно. Поведение конфедератов никак не было способно возбудить сочувствие к ним в народе. Их шайки рассыпались по стране, захватывали казенные деньги, грабили друга и недруга, католика и диссидента, духовного и светского. Награбивши денег, шайки эти убегали в Венгрию или Силезию. Страшная смута и рознь стали господствовать повсюду: брат не доверял брату; у каждого были свои виды, свои интриги, никому не было дела до отечества; один брат писал громоносные манифесты против русских и соединялся с конфедератами, другой — заключал контракты с русскими, брался поставлять в их магазины съестные припасы. Между конфедератами особого рода удалью отличался ротмистр Хлебовский: встретив на дороге нищего, жида или какого бы то ни было пешехода, сейчас повесит на первом дереве, так что, говорят современники-поляки, русским не нужно было проводников: они могли настигать конфедератов по телам повешенных. Терпя поражения от русских, шайки не уменьшались, потому что плата хорошая, корму вдоволь, и притом дарового. Разврат, полная власть над жителями страны, унижения самых знатных панов пред конфедератами, которые недавно были их слугами, — все это тянуло под знамена конфедерации всякую голь, дворовую служню, горожан и крестьян, которые не хотели работать. За несколько часов страху, испытанного при встрече с русскими и в бегстве от них, достаточною наградой было роскошное гулянье по стране в одежде защитника веры и вольности.

От 2 апреля Репнин писал, что в Баре поляки «продолжают на прежнем основании свое беспутство, держася все турецких границ, и везде подобная ферментация есть, примечая то из разных со всех сторон известий и видя, что единый страх наших войск, здесь находящихся, удерживает их в тишине против собственного желания и что только выступления оных ожидают для открытия всего пламени фанатизма, которое внутренно их уже жжет». «Еще прежде, 27 марта, Сенат решил просить всероссийскую императрицу как поруку за свободу, законы и права республики обратить свои войска, находившиеся в Польше, на укрощение мятежников. Войска двинулись. Подполковник Ливен с одним батальоном подошел к Люблину и зажег его; духовенство, вышедши из города, просило Ливена о пощаде, но, в то время как велись между ними переговоры, конфедераты ушли в другие ворота. Ливен дал наконец духовенству сутки срока для склонения горожан и конфедератов к сдаче, не догадываясь, что последних уже нет в городе. Рассерженный такою оплошностью Ливена, Репнин послал на его место полковника Кара. В Гнезне полковник Бурман задавил восстание в самом начале. Главным начальником войск, действовавших против Барской конфедерации, был генерал-майор Кречетников; отряженный им генерал-майор Подгоричани подошел к старому Константинову, спешил свой конный отряд и велел ему идти на приступ, но принужден был отступить, видя невозможность действовать с одними карабинами против пушек; он умолял Кречетникова прислать ему пехоты и артиллерии. «Ибо, — писал он,— с сим малым конным моим деташементом ничего им сделать неможно, но можно потерять людей, тоже полковую казну, а сверх того, честь и славу; неприятель вокруг, и отовсюду опасность; шляхтичи и обыватели во всем с ними согласны и доброжелательны и их шпионы, а ваше пр-ство почитали ни за что их; труда своего не щажу, и таких трудов, и в прусской войне будучи, как ныне, не имел, что и одной минуты спокойной нет и все кони денно и ночно оседланы стоят». Репнин уверял Панина, что отдельные командиры преувеличивают опасность, веря польским разглашениям, тогда как поляки каждую вещь увеличивают вдесятеро. «Не могу себе представить, — писал Репнин, — чтобы и десять тысяч поляков могли когда-нибудь стоять против тысячи человек наших войск, если только они порядочно предводительствованы будут; но то, однако ж, совершенно правда, что все мелкое и среднее дворянство, кроме больших господ, попами и монахами на фанатизм подвигнуто, и, следственно, внутренне с возмутителями все согласно, из чего натурально само собой и то происходит, что везде скрытным образом им помогают, снабжая их также скрытно, чем каждый может». Екатерина, прочитав донесения Репнина и военных начальников, написала Панину: «Снеситесь с

гр. Чернышевым; я целый день с утра с самого и до сего часа проводила в чтении сих пьес и думаю, что г.-м. Подгаричанинов нас от хлопот скоро избавит, ибо и слава, и храбрость, и искусство в нем есть; жаль же, жаль, что ему не удалось гусарами одними взять Константинов, ибо сей лавровый венец украсил бы его седую голову».

Сам Кречетников писал Репнину, что его беспокоит одно только — малочисленность находившегося при нем войска. В мае Репнин писал, что дело становится час от часу серьезнее, и предлагал, не сочтется ли полезным отправить его самого, Репнина, с корпусом войска на место восстания, потому что он знаком с поляками лучше, чем другие генералы. Екатерина написала: «Я не хочу рисковать его персоною, а думаю, что Подгоричани с бунтовщиками управится, особливо когда увериться можем, что ни турки, ни татары им не помогают». Действительно, скоро пришло известие, что Подгоричани около Хмельника, в Подольском воеводстве, разбил значительный отряд конфедератов. Но, извещая об этом, Репнин прибавлял: «Не думаю, чтобы этим хлопоты были совсем кончены». Хлопоты не кончились и удачным делом полковника Вейсмана, который загнал за Днестр конфедератов, находившихся под начальством Потоцкого, подчашего литовского. В Варшаве понимали, что хлопоты для России не оканчиваются, а только начинаются, и стали неохотно исполнять требования Репнина. Так, когда он представил, что правительство польское не может оставаться равнодушным зрителем борьбы русских войск с конфедератами, тем более что последние овладевают крепостями и захватывают коронные войска, то военная комиссия не без спору приняла решение отправить против конфедератов коронное войско и генерального регментаря; и люблинский кастелян Мощинский, протестовавший против этого решения, немедленно сложил с себя звание военного комиссара. Репнин именем Панина просил короля дать орден Белого Орла двоим лицам, которых Станислав считал себе враждебными. Король не согласился; тогда Репнин написал Панину любопытное письмо: «Не надобно сие оставлять, дабы он не привык свою волю иметь, а коль смею вашему с-ству сказать, то и вы у меня его несколько испортили. Он заключал из ваших писем и ласковых поступков против Псарского (польского резидента в Петербурге), что вы милосерды и что он вас ужалобит, что я только один черт, который с ним жестокосердно поступаю по моему собственному нраву, а не по повелениям. Я нарочно отказался от сего дела, чтобы сие поправить и чтобы дать случай и вам побранить путем г. Псарского, сказав ему, что вы примечаете, что король препятства всегда изыскивает, когда идет дело удовольствие какое нам сделать, и что, следовательно, и у нас он також препятства встречать будет, когда чего ни пожелает,

и мы постараемся ему доказать, что ему более в нас нужды, нежели нам в нем. После чего я отвечаю, что здесь, сведавши об сем поучении, все сделают и мой королишка поправится».

Станиславу-Августу очень не нравилась конфедерация; но он еще не терял духа. «Вы, без сомнения, думали, — писал он Жоффрэн, — что вместе с сеймом кончились в Польше все дрязги; но вот начинается новая конфедерация в Подолии, в соседстве турок и татар, которых она хочет вооружить на защиту католической религии и для уничтожения всего того, что постановлено на сейме в пользу диссидентов. Но кровь мусульманская не хочет проливаться за крест, а государи христианские не хотят ссориться с Россиею из-за этой конфедерации, к которой я послал вашего друга Макрановского внушить вождям, что они навлекут несчастие на самих себя, а быть может, и на всю страну, если успеют вызвать к деятельности беспокойство недовольных, из которых меньшая братия поднимется за религию, а большие — для того, чтобы половить еще рыбы в мутной воде. Относительно целой страны эта искра не произведет пожара. Однако очень скучно жить постоянно с пожарною трубою в руках и ходить всегда по теплому пеплу. Ах, мама! Трудная и печальная комиссия быть королем польским! Но терпенье! Хорошее время наступит». Маменька отвечала, что Макрановский сделает возможное добро, но это все зависит от сильных мер компаса (Екатерины).

Сильные меры были необходимы, потому что конфедерация образовалась в соседстве с Турциею.

Обрезков писал Репнину из Константинополя, что для сохранения добрых отношений к Порте необходимо скорее кончить дело с конфедератами. По этому поводу Репнин писал Панину в начале июня: «Примечание Обрезкова справедливо. Я довольно сие рекомендовал ген.-майору Кречетникову, но и известия уже от него весьма давно никакого не имею. Последние известия ко мне были от 12 мая, следственно, тому уже три недели времени, а курьеры оттуда ездят в четвертый день. В сих же последних его письмах писал он, что через три дня вступит со всем своим корпусом в наступательные действия против возмутителей, желая начать с местечка Прилуки, а после идти к Винницам и далее; но для чего с тех пор ничего не делает и для какой причины я от него известий не имею, об этом ничего сказать не могу, а знаю только, что сие несказанную вредность в делах причиняет». Репнин особенно беспокоился, чтобы борьба с конфедератами не протянулась до будущих сеймов, ибо на них «вся земля запылает барским огнем и надобно будет для его потушения ввести вдвое более войска». Беспокоило Репнина также известие, что Кречетников мимо его сносится с Петербургом, отчего может произойти «несказанная разладица».

Наконец приехал курьер, пробывший 12 дней в дороге, и привез известия, что Кречетников занят осадою Бердичевского монастыря и так много истратил зарядов, что принужден был послать за новыми в Киев. Репнин сердился, называл эти предприятия необдуманными и писал Панину: «Из письма Кречетникова довольно усмотрите, что он запутался и обробел, не зная, как дела кончить, и боясь уже и сам отчаянного нападения возмутителей. Сами рассудите, какую надежду я имею на такого человека, у которого голова свернулася. Если упования я какое имею, то на прибытие к нему Кара, Игельстрома и Прозоровского, но не знаю, станет ли он их советов слушаться, ибо иногда робкие и нерассудительные головы к тому ж бывают и упрямые. Плоды медленности умножаются, ежечасно рождаются новые возмущения, которых предупредить нельзя, ибо нельзя по всей Польше войска иметь. Великопольская конфедерация, бывшая под предводительством Рыдзинского, разогнана полковником Бурманом на силезских границах; но в ночь на 14 июня получил я известие из Кракова, что там составлена конфедерация; наши войска не успели ее предупредить, пришли на другой день. Таким образом, для Кракова отделен отряд войска, чем обнажается средина Польши, воеводство Сандомирское, часть русского (Галиции) и окрестные страны; здесь нет уже нашего войска, ибо не смею обнажить окрестности Варшавы, чтобы здесь под носом такого ж возмущения не последовало. Ферментация везде генеральная». Репнин требовал, чтобы русские войска, находившиеся в Литве, вступили в Польшу, а в Литву отправлены были новые полки, причем просил прислать генералов искусных, твердых, несребролюбивых, любящих порядок службы и славу ее.

Кречетников взял Бердичев, Подгоричани разбил сильный отряд конфедератов, шедший на помощь Бердичеву, ген.-майор граф Апраксин взял Бар штурмом, князь Прозоровский поразил конфедератов у Брод. Но Репнин не утешался и продолжал обвинять Кречетникова в неискусстве, в корыстолюбии. В июне барские конфедераты были все рассеяны; Кармелит Марк попался в плен и отвезен в Киев; но зато образовалась конфедерация в Саноке. Репнин продолжал настаивать на отнятие команды у Кречетникова; он послал полковника Кара в Петербург, чтобы тот мог рассказать Панину о положении дел и «мерзком поведении» Кречетникова. «Точных доказательств, — писал Репнин, — нет, по коим бы я сам решился команду у него отнять; но сомнения столь велики и столь генеральны, что необходимо его отозвать для чести службы и имени российского. Корыстолюбие и нажиток его так явны, что несколько обозов с награбленным в Россию, сказывают, отправил и еще готовыми имеет к отправлению. Все поляки и русские даже в его передней незатворенным

ртом его вором называют. Никто из его подкомандующих служить под ним не хочет; все меня просят, чтоб от него взяты были, боясь, говорят, под судом быть за его воровство, которому подобного никто не слыхивал. В движениях своих как рак тащился по миле и по полумиле на день: бог знает, от недоброжелательства ли или от робости и нерасторопности. Кто грабит, тот натурально и взятки берет, а вследствие оных и поступает. Многие уверяют, будто б он от воеводы киевского знатную сумму взял, и вам уж довольно известно, что сей воевода и плут, и недоброжелатель. Наконец, кладут насчет Кречетникова, будто б он отзывался, что все здесь на последнем сейме сделанное мной одним сделано, а государыня о том и не знает. Я от многих поляков сие слышал, а наконец, и полковники Кар и Игельстром, возвратясь от Кречетникова, тоже мне подтвердили, что и там тот же слух на его счет в земле разглашается. Прошу для чести отечества и нашей службы, отзовите сего человека, хотя бы и никого на его место не прислали, а сверх того, есть и в земле у нас довольно достойных генералов: ген.-поручики Салтыков, Бибиков, ген.-майоры Мих. Львов. Измайлов, князь Юрий Влад. Долгорукий».

По поводу посылки Кара в Петербург Станислав-Август писал туда своему резиденту Псарскому (7/18 июля): «Первая цель посылки Кара — донесение о всех злоупотреблениях генерала Кречетникова; вторая — представить бедственное положение и недостаток, в которых я нахожусь вследствие того, что серьезно содействовал видам России. Имею основание думать, что по примеру Игельстрома Кар потребует вашего свидетельства против Кречетникова, так вы не должны в нем отказывать. Дайте мне знать, какие главные покровители Кречетникова в России, и постарайтесь разведать, какие будут разговоры Кара не только о моих делах и делах Польши вообще, но, в частности, о самом князе Репнине, так как я имею много оснований думать., что кн. Репнин ошибается, считая Кара неизменным себе другом. Быть может, впрочем, отзывы Кара о Репнине были только хитростью, чтобы заставить открыться тех, которым он говорил о нем дурно. Все же верно, что здесь Кара боятся вообще как человека опасного и двоедушного, тогда как Игельстрома считают человеком прямым. Несколько раз и еще недавно Кар настойчиво просил меня, чтобы я позабыл о колких отзывах его против меня, сделанных год тому назад. Я отвечал, что пусть на деле докажет свою преданность ко мне и тем заслужит мою признательность. В то же время я ему сказал, что если Кречетников заслужил жалобы, поднятые против него целою Польшею, то не менее верно, что его пример испортил множество русских офицеров и солдат, дурное поведение которых служит столько же к ожесточению поляков, сколько

фанатизм и патриотизм. С другой стороны, я должен вам сказать, что сами диссиденты сильно желают, чтоб императрица согласилась на уменьшение их прав: они видят, как ежедневно усиливается против них злоба»[124].

От 20 июля Репнин писал, что в Серадском воеводстве завелись разбойники, или конфедераты, что, по его словам, было все равно. «Их, — писал Репнин, — гоняет майор Древиц, но везде растянуться не может. Новое еще возмущение сделано в Гостинице, 12 только миль от Варшавы; конфедератов только 50 человек, и нет ни одного, у которого хотя б на палец земли было. Предводитель их Держановский, человек, который во всех четырех частях света мошенничал и везде, думаю, петлю заслужил. Известия воеводы лифляндского дают думать, что есть в Литве ферментация; но лекарства я на сие не знаю, кроме пушек и ружей, который рецепт и генералу Нумерсу предпишу. Истинно, кажется, сам черт здесь на всех поехал, ибо подлинно ферментация здесь во всех провинциях генеральна. Слава богу, что не вдруг все загорается: не знали бы мы здесь тогда, куда оборотиться».

И в августе те же известия: «Везде ферментация продолжается». Краков, в котором засели конфедераты, был взят штурмом генералами графом Апраксиным и князем Прозоровским; несмотря на то что город был взят штурмом, солдаты не ограбили ни одного дома, ни одного человека, вели себя, как на ученье. Кречетников по настоянию Репнина был сменен князем Прозоровским. 19 июля Екатерина писала Румянцеву: «Общий вопль от злых и добрых по всей Польше противу недозволенного и всю славу военной службы развращающего, как и делам весьма вредного поведения нашего ген.-майора Кречетникова вынуждает из нас такие меры, которые во всяком другом случае были б претительны нашей природной склонности и статским правилам. Сей генерал, по-видимому, вышед совсем из пределов должности и уважения к славе нашего оружия и ослепясь мерзким и презрительным корыстолюбием, производит, как сказывают, такие себе нажиточные грабежи на тамошней земле, что уже многие обозы с пограбленным оттуда выслал. Мы за нужное нашли отозвать его от команды»[125]. Но и после этого Репнин писал: «Стараться я, конечно, всячески буду о восстановлении спокойствия, но, к несчастью, не все так идет, как желается». *Ферментация* распространилась по всей Белоруссии. Чарторыйские начали заговаривать с Репниным о необходимости изменить постановления о диссидентах и гарантии; король толковал о том же. «Я сам знаю, — писал Репнин, — что волнения прекратятся, если мы отступимся от этих двух пунктов; но дороже бы сия тишина была куплена, нежели она стоит», и потому он сделал королю самый короткий и ясный отказ.

Между тем ферментация в Литве высказалась конфедерациями в Бресте и Ковне. Первая в конце сентября была совершенно разбита полковником Гротенгельмом и капитаном Анрепом; ковенские конфедераты рассыпались в Жмуди, разгласивши, что разъехались по домам, а начальники их — Медекша, Косаковский и Швейковский — ушли к Тильзиту. Ген.-майор Измайлов, имея надобность во время преследования конфедератов подойти к Несвижу, местопребыванию кн. Радзивила, дал знать об этом последнему и получил в ответ, чтобы не нападал на конфедератов близ Несвижа, потому что он, Радзивил, не может быть равнодушным свидетелем пролития крови сограждан своих, и если битва произойдет подле его зáмка, то он выведет свое войско. Тот же Радзивил принял к себе в Несвиж повстанцев Ошмянского повета, преследуемых русским войском, и в оправдательном письме к Репнину объявлял, что он при этом не имел намерения воевать с русскими, напротив, оказал им услугу, уговоривши повстанцев исполнить требование Измайлова отстать от конфедерации, за что Измайлов обещал совершенную безопасность их имений; принял же конфедератов к себе в Несвиж, потому что был обязан это сделать, не мог смотреть на пролитие братской крови, будучи членом народа, в котором господствуют вольность и равенство; конфедераты же восстали, будучи побуждаемы ревностью к своей вере, а эта ревность должна быть у всякого в крови.

В конце октября Репнин так описывал состояние дел в Польше: «Дерзость и наглость возмутителей во всех частях умножается, а в Великой Польше ежедневно грабежи делаются и час от часу разные вновь партии сих грабителей показываются. Доходов государственных ни одного злотого, почитай, сюда не допускают, почты перехватывают, всех спокойно живущих в земле грабят; наши ж войска сколько за сим ветром ни гоняются, но догнать не могут и только понапрасну мучатся. Сейма никакой возможности не было держать, имея только человек 30 земских послов, которые сюда приехали. Духи не только уныли, но, можно сказать, умерли. И по законам невозможно сейма держать, понеже из Литвы ни один земский посол не приехал. Королю месяца через два опять есть нечего будет, ибо доходы везде разграблены и к нему не доходят». Слово *опять* означает то, что Репнин уже выдал Понятовскому значительную сумму денег на прокормление.

Ген. Измайлов доносил, что мстиславские повстанцы объявили желание отстать от конфедерации и готовы дать *рецессы,* или письменные акты, об этом; императрица написала на донесении Измайлова: «Назавтра сих рецессов они сделаются теми же возмутителями; а если б схватя да в Сибирь на поселение, то б уменьшилося бы число их».

От 1 декабря пришло известие, что майор Древиц в Великой Польше разбил тамошнего главного возмутителя Малчевского; в отряде его было 600 человек, из которых было убито с лишком 200 человек, и взято 9 пушек. Но Репнин к этому известию прибавил обычный припев: «Все сии неоднократные поучения без действия, однако ж, остаются, особливо в Великой Польше, где множество разных малых возмутительных партий, которые везде, где наших войск нет, грабят и всякие насильства делают». Сильно раздражили Репнина и предписания из Петербурга насчет военных действий. От 9 декабря он писал Панину: «Военные повеления сюда таковые даются, что никаким образом их исполнить невозможно, ибо они противоречущие; а оными, я вижу, что ищут не только разорения здешних дел с низвержением короля, несмотря на бесславие и вредные следствия, которые от сего для нас последуют, но и стараются все здесь так запутать, слагая все на ответ мой и Салтыкова, чтоб после нас как жертву во всем выставить и виноватыми сделать. Рассудите, можно ли сие исполнить: требуют, чтоб Прозоровский был удержан в Полонном, т. е. под носом у неприятеля, который висит на границах и вступления которого ежедневно ожидаем, чтоб магазины сделаны были не только в Полонном и по дороге от Киева и Чернигова, но и впереди, в самой Подолии, а с тем повелевается и на ответ Салтыкова кладется, чтоб его войска в совершенно безопасном и спокойном месте были, когда они одни могут и магазейны прикрыть, и Прозоровского подкрепить, который без сего и оставаться в своем месте без страха погибнуть со всем корпусом не может; магазейны ж еще меньше могут заготовляться, если наших войск в тех местах не будет для их сбережения; а если турки войдут, то каким образом Салтыкову и мне отвечать за безопасность и спокойность тех войск, особливо быв они в слабом числе. Мы оба, представляя наше мнение по сей позиции, требовали решительных повелений с точным назначением, где именно стать. Но сего решения не сделано, а отдано на наше рассуждение и ответ с кондициями безопасности, покойности и исправления всего вышеписаного; одним словом, я бы лучше хотел с ротою гусар быть первым против всей армии турецкой, нежели здесь в моем месте со всеми сими шиканами. Салтыков, чувствуя все оное, уже ко мне писал, чтоб отступить, боясь, чтоб не погибнуть от всех оных привязок, да и пенять ему неможно, что он тулится, видя весь сей манеж. Прошу бога для постараться конец сему сделать и велеть что ни есть решительное сказать, требуя возможного и чтобы само с собой не противоречило. Изволите увидеть, какая здесь сумятица заводится от нашего неустройства, а я только прошу вас как милостивца, выведите меня

из сей галеры; равным образом прошу, чтоб не я имел комиссию назначать места магазейнов».

Мы видели, как огорчало Репнина известие об обещании, данном Обрезковым в Константинополе, что русские войска немедленно по окончании сейма будут выведены из Польши и арестованные возвращены из ссылки. Панин, хотя в мягких выражениях, дал, однако, знать Обрезкову, как это обещание может повести к большим затруднениям. Обрезков находился в «трепетании», по его выражению, что Репнин напишет императрице о невозможности исполнить обещание, данное Порте, и умолял Панина войти в его положение между молотом и наковальнею и приказать Репнину дать хотя видимый знак исполнения обещания, удалить, например, хотя несколько отрядов от Варшавы. А между тем каждые трое суток через молдавских курьеров Порта получала из Польши известия, что сейм отсрочивается вследствие новых затруднений, происходящих от князя Репнина, который вымогает новые условия, предосудительные Польше, и многие поляки, предпочитая покинуть отечество, чем согласиться на эти условия и сносить горделивые и властительные поступки русского посла, уже удалились из Польши. Порта по этим вестям решила усилить войска на границе, и на замечания Обрезкова, что этим вестям нельзя верить, рейс-эфенди с досадою отвечал, что честь и интересы Турции не позволяют ей более равнодушно смотреть на такое продолжительное властвование русского двора в Польше. Притом по свойству турецкого народа султан и министры его иногда принуждены делать и то, чего не хотят. Легко понять, в какое «трепетание» пришел Обрезков, когда получил от Репнина известие о Барской конфедерации. Рейс-эфенди объявил ему, что хотя конфедераты и обратились к Порте с просьбою о помощи, но она не намерена помогать таким «шильникам», которые, будучи лишены посторонней помощи, сами собою разбегутся, и потому нет никакой нужды удерживать русские войска в Польше, ибо переговоры между Россиею и Польшею совершенно кончены; шайка бродяг не может воспрепятствовать исполнению договора; притом такие суматохи могут в Польше часто случаться: нельзя же держать там постоянно русское войско! Наконец, Порта никак не может стерпеть, чтоб русские войска напали на конфедератов вблизи ее границ, не потому, чтоб она хотела их защищать или ободрять, но потому, что весть о битве произведет сильное волнение в турецком народе. И последнее распоряжение Порты о наряде военных людей в Хотин, Бендеры и Очаков сделано единственно для того, чтоб дать черни что жевать и тем зажать рты, удержать от порицаний султана и министерства беспечностию и робостию. Обрезков отвечал, что напрасно Порта считает Барскую конфедерацию столь ничтожною; конфедера-

ция в своем манифесте прямо восстает против договора, заключенного между Россиею и Польшею, следовательно, если она будет иметь успех, то русские войска если бы и вышли, то должны возвратиться по обязательству поруки и для того, чтоб восстановить нарушенный договор, в чем ни Порта, ни какая другая держава помешать России не имеет права. Если Порта прямо желает видеть восстановление тишины в Польше и вывод из нее русских войск, то лучший способ для этого — позволить русским войскам искать возмутителей и неподалеку от границ турецких. Но рейс-эфенди никак на это не соглашался, утверждая, что конфедерация исчезнет, как скоро восставшие лишатся надежды на помощь Порты, и требовал, чтоб Обрезков дал снова обещание насчет вывода русских войск из Польши. Но на этот раз Обрезков решительно отказался дать обещание; и после двухчасового спора рейс-эфенди сказал, что русские войска пусть усмиряют конфедератов, только бы не приближались к турецким границам и усмирение это происходило как можно легче, без шума. Зная, что улемы настаивают на вмешательстве Порты в польские дела на основании религиозного требования не отвергать притесненных, просящих помощи, Обрезков счел нужным дать рейс-эфенди 3000 червонных, вследствие чего отправлен был крымскому хану указ внушить французскому консулу, чтоб не вмешивался в политические дела, и дать знать вождям Барской конфедерации, чтоб не надеялись на помощь ни из Крыма, ни из Турции и спешили прекратить свое восстание; заготовлен был и другой указ хану — о высылке из Крыма французского консула Тотта.

Весна и начало лета прошли спокойно, но от 7 июля Обрезков уведомил о сообщении Порты, что значительный козацкий отряд, преследуя польских мятежников, въехал в Балту, село, принадлежащее хану крымскому, лежащее на самой польской границе, причем, истребляя конфедератов, убили несколько татар, молдаван и турок; потом те же козаки дошли до другой ханской вотчины, Дубоссар, потребовали от управляющего выдачи конфедератов и, не получив удовлетворения, сожгли Дубоссары, причем погибло до 1800 человек татар, молдаван и турок[126]. Как же это случилось, какие это были козаки?

29 февраля Георгий Конисский писал Екатерине: «Народ здешнего Польского государства, веру греко-российскую содержащий, получив ныне действительное покровительство, премудрым промыслом, ревностным тщанием и беспримерною щедротою в. и. в-ства совершенное, приносит в. в-ству чрез меня, подданника вашего, всеусерднейшее и всепреданнейшее благодарение. Он в нынешней, состояния своего чрез полтора века желанной, но никогда нечаянной перемене не инако себя почитает, как себя почитал древний Израиль, сво-

бодившися от египетской тесноты, как христианство первое, отдохнувши после гонения языческого, как старая Россия, невозбранно служити богу начавши по своем просвещении; затем молит он бога со слезами, не от тесноты уже духа, но от избытка в нем радости проливающимися, дабы в. и. в-ство дело Моисеево, дело Константина и Елены, дело Владимира и Ольги, совершавшую в здравии присноцветущем, в мире и всех в. в-ства богоугодных и христианству преполезных намерений преспеянии долголетну сохранил так ко утверждению сего, что совершилося, яко и ко избавлению тех, которые и зде еще, и по другим местам, ослабы не получивши, к в. и. в-ству на сие от бога посланной, со стенанием очи возводят. Притом прошу всеподданнейше высочайшим в. в-ства указом повелеть кому надлежит, дабы, заимствуя от исполнения ревности и усердия в. в-ства по вере святой, чинено было надлежащее старательство во исполнение всего того, что ныне трактатом в пользу защищенных постановлено, и в особенности чтоб не слабо защищены были тые, которые до подписания на сейме трактата учинили уже переход из униатского или римского исповедания в нашу веру по-прежнему» [127].

Из последних слов этого письма мы узнаем, что в начале 1768 года были еще люди, страдавшие от гонения на православие, узнаем также, что были люди, которые недавно перешли из унии и даже из католицизма в православие *по-прежнему,* т. е были приневолены отступить от православия и теперь в него возвращались; их преимущественно просил защитить Конисский, ибо по последнему договору отпадение от господствующего исповедания считалось делом уголовным. События на так называемой Украйне объясняют нам эти слова Конисского.

В этой Украйне, на берегах реки Роси и Тясмины, где древняя Русь так долго боролась с половцами и другими разноименными варварами, полукочевыми, полуоседлыми, где в XVII веке сталкивались Россия, Польша и Турция и козаки переходили то к той, то к другой, то к третьей; в Украйне, которая по Прутскому договору объявлена была пустынею для избежания столкновений, в описываемое время по общему характеру всех украйн опять сталкивались разнородные элементы Она населялась сходцами из ближайших стран, русскими крестьянами, православными и униатами. Униатское духовенство стремилось подчинить себе православных, выжить их духовенство, но встретило себе противников: в дебрях на правом берегу Днепра виднелись в разных местах православные монастыри, а монахи всегда способнее к борьбе, чем рассеянное и потому слабое белое духовенство Тут же недалеко было Запорожье, и Украйна была известна как любимая страна гайдамаков, степных рыцарей, страш-

ных разбойников, но в которых русский православный человек всегда видел прежде всего непримиримых врагов ляхам, жидам и униатам.

Сильное религиозное движение обнаружилось в Украйне с тех пор, как был поднят знаменитый диссидентский вопрос. В то время как в других русских областях, принадлежавших Речи Посполитой, униженная православная шляхта, лишенная всяких средств представительства, сама пахала землю, а горожане и крестьяне, загнанные, привыкшие сносить всякого рода притеснения, ждали избавления от сильной руки монархии всероссийской, распоряжавшейся через своего князя — посла в Варшаве, на Украйне по самому характеру страны и народонаселения православие не могло сохранять такого страдательного положения, особенно когда явился человек, около которого можно было сосредоточиться. Таким человеком явился монах, игумен Мотренинского монастыря Мелхиседек. Чтоб дать порядок и силу православия на Украйне, он связал тамошнее народонаселение в церковном отношении с ближайшею, Переяславскою епископиею, стал деятельным посредником между переяславским епископом Гервасием и его паствою на другом, западном берегу Днепра, в Польше или Египте, по выражению Конисского. Найдя точку опоры в русском архиерее, Мелхиседек не хотел ограничиваться страдательным положением, начал явную борьбу с униатами, стал отводить от них украинское народонаселение, распространять православие на счет унии, утверждать его построением церквей и большим порядком между духовенством. Мелхиседек побывал и в Петербурге, и в Варшаве с обычными жалобами на притеснения, с обычными просьбами о заступничестве. Панин сказал ему: «Будьте надежны, что к пользе всех чрез преосвященного белорусского Георгия сделается». Но украинские униаты не хотели, чтоб Мелхиседек и православные были надежны. Деятельность Мелхиседека, явная борьба, им поднятая, отбивание прихожан — все это возбудило страшную злобу униатского духовенства, которую разделяли польские чиновники, ибо тот же фанатизм, на который жаловался Репнин в Варшаве, господствовал и на Украйне, только здесь по местным условиям с большей разнузданностью. Начались явные нашествия униатов на православных, грабежи, истязания. Так как Мотренинский монастырь был центром движения, туда крестьяне приводили своих униатских священников присягать «на благочестие», что в глазах униатов и католиков было бунтом; так как мотренинский игумен был главным виновником этого, то злоба преимущественно обрушилась на него: его обвинили в подстрекательствах к бунту, в обращении униатских священников в православие; Мелхиседека схватили и долго держали в оковах в самом тяжком заключении, из которого

ему удалось уйти каким-то таинственным способом в Переяславль.

В начале 1768 года, когда в Варшаве провозглашалось равенство греков-неунитов с католиками, Гервасий писал Конисскому, что на Украйне униаты продолжают свои мучительства бьют и мучат православный народ и священство, потому что ниоткуда не видят страха; насчитывали за последнее время 86 насильственных случаев; известия из Варшавы о восстановлении диссидентских прав поднимали страшную злобу в униатах, которым представлялось, что скоро им будет месть от православных; ругаясь над православным священником, обрезывая ему волосы и бороду, один чиновник говорил: «Я теперь тебя стригу, а ты, может быть, шкуру будешь с меня лупить»[128]. Униаты пророчили себе месть, и месть пришла.

Князья Любомирские, маршалок великий коронный и брат его воевода любельский, заставили третьего Любомирского, слабоумного пьяницу, подстолия литовского, владельца огромных имений, передать торжественным актом эти имения своим детям, причем ему самому и жене его выговорена была ежегодная значительная сумма из доходов. Так как дети Любомирского были малолетние, то назначены были опекуны. Но эта сделка не нравилась Сосновскому, писарю литовскому, любовнику княгини Любомирской, обманутому в надежде составить себе состояние. Он стал наговаривать княгине, чтобы выкрала мужа из Варшавы и пусть он опять примет имения в свое заведование: тогда она будет управлять слабоумным мужем и его имением, а не фамилия Любомирского и не опекуны. Княгиня взбунтовала мужа, выкрала его из Варшавы и привезла на контракты в Львов в 1768 году. Здесь люди совестливые не входили с ним ни в какие сношения; но наехали игроки из Варшавы, обыграли Любомирского и заставили заплатить карточный долг имениями под видом покупки. Но покупщики очень хорошо знали, что дело не обойдется легко, что опекуны детей Любомирского не впустят их ни в одно имение. Надобно было найти людей, которые, получив полномочие от Любомирского, приняли бы на себя обязанность бороться с опекунами и ввести во владение покупщиков. Такие люди нашлись: два шляхтича — Бобровский и Волынецкий.

Бобровский отправился комиссаром в имение Любомирского Побереже; но его никто там не хотел слушать, едва ушел поздорову, потому что один из опекунов, Швейковский, узнав о львовских проделках, разослал по всем имениям приказы, чтоб никто из управляющих не смел слушать Бобровского и Волынецкого, какие бы бумаги от князя Любомирского они ни показывали. Бобровский, выгнанный из Побережа, снесся с Волынецким, и оба решили ехать в другое

имение Любомирского, Смиляньщизну, и поднять здесь крестьян обещанием уничтожения унии. Чтоб иметь помощь и с другой стороны, они отправились в Бар к Пулавскому, маршалку конфедерации, с просьбою, чтобы признал их советниками конфедерации и дал свои бланкеты для написания разных приказов его именем, за что обещали ему доставить для конфедерации тысячу вооруженных козаков. Пулавский легко согласился на их желание. Получивши бланкеты, Бобровский и Волынецкий с торжеством поехали в Смилу, укрепленный замок Любомирского. Но ворота заперты, пускать не велено; управляющего Вонжа нет дома, но отлично распоряжается всем его жена; в за́мке 50 козаков гарнизона, пороху и всяких запасов много. «Муж мой не знает никаких комиссаров князя Любомирского, кроме опекунов молодых князей», — велит жена управляющего отвечать Бобровскому и Волынецкому на их требования отворить за́мок и на их угрозы. Тогда комиссары обращаются к козакам, живущим на землях в имении, и уговаривают их атаковать за́мок, но гарнизонные козаки отбивают нападение. Бобровский и Волынецкий придумывают средство: велят схватить жен и детей гарнизонных козаков и ставят их в первую линию козаков, идущих на вторичный штурм. Но и это средство не помогло: гарнизонные козаки стреляют, несмотря на то что от их пуль падают их жены и дети. Видя такой страшный грех, козаки не пошли на штурм и отказались повиноваться комиссарам. Бобровский и Волынецкий, которые за несколько дней перед тем обещали им ратовать за православие, теперь начали им грозить, что придет Барская конфедерация, истребит их всех до одного человека и псы будут лизать их кровь за их непослушание. Угроза не подействовала: козаки не шли штурмовать за́мок. Тогда Бобровский и Волынецкий решились ехать в Бар и, чтоб исполнить обещание, данное Пулавскому, велели начальнику козаков Тымберскому ехать за ними туда же со всеми козаками. Тымберский не смел ослушаться приказа, написанного от имени маршалка конфедерации (на бланкете Пулавского), и повел козаков вслед за комиссарами.

Тымберский был человек огромного роста и толщины, тяжко ему было ехать верхом, и коню было тяжко везти его; стал просить Бобровского и Волынецкого, чтоб позволили ему сойти с лошади и пересесть на телегу. Те позволили. Но как скоро Тымберский переселился на телегу, козацкие старшины, сотники, атаманы, есаулы остановили ее и обступили Тымберского с вопросом: «Куда нас ведешь, пан полковник?» — «Приказ имею от маршалка конфедерации Барской явиться с вами в Бар», — отвечал тот. «Если хочешь, пан полковник, — сказала старшина, — то ступай себе в Бар один, — и, обратившись к козакам, крикнули: «Молодцы! За

нами домой, в Смиляньщизну!» И след простыл; Бобровский, Волынецкий и Тымберский поскакали одни в Бар, боясь за собою погони козацкой.

Вспомним, что Волынецкий грозил козакам и крестьянам приходом войск конфедерации, которые истребят их всех. Как нарочно, через несколько дней разнесся слух, что идут две польские хоругви, ведут пойманных на разбое гайдамаков, чтобы сажать их на кол на месте преступления, в Смиляньщизне. Козаки, боясь, что это войско прислано для их наказания за покинутие Бобровского и Волынецкого, стали перебегать за русскую границу, за Днепр под Переяславлем, где их пускали и с лошадьми, оставляя только оружие их при рогатках.

Между посаженными на кол гайдамаками находился родной племянник игумена, эконома переяславского архиерея; этот игумен, раздраженный позорною смертию племянника, стал уговаривать бывших в то время в Переяславле на богомолье запорожцев и главного между ними Железняка, чтоб они подняли с поляками войну за веру, потому что поляки устроили Барскую конфедерацию против православной веры. Для сильнейшего убеждения игумен показал Железняку на пергаменте указ императрицы подниматься против поляков за веру: титул был написан золотыми буквами, подпись и печать подделаны. Железняк отвечал игумену, что с несколькими сотнями запорожцев он не может начать этого дела; тогда игумен сказал ему: «А вот недалеко при рогатках много беглых козаков, которые убежали от войск конфедерации, потому что поляки хотели их всех истребить; уговорись с этими козаками и ступайте в Польшу, режьте ляхов и жидов; все крестьяне и козаки будут за вас».

Железняк пошел к козакам, показал им поддельный указ императрицы, и все вместе вторгнулись за Днепр, поднимая крестьян и козаков, истребляя ляхов и жидов. На деревьях висели вместе поляк, жид и собака с надписью: «Лях, жид, собака — вера однака».

Так рассказывает о происхождении гайдамацкого бунта поляк-современник, слышавший подробности от людей, самых близких к событию. При начале своего рассказа он говорит: «Это дело имело вид, как будто бы произошло по наущению русского правительства, но в самом деле поводы были другие» [129].

Репнина сильно раздосадовал гайдамацкий бунт. Он указывал на переяславского архиерея Гервасия и мотренинского игумена Мелхиседека как на «некоторую причину» волнения, особенно вооружался против Мелхиседека. Мы знаем, как он относился к распространению православия на счет унии и католицизма, как он защищал проект введения униатских архиереев в Сенат, и потому он не мог отнестись благо-

приятно к действительности Гервасия и Мелхиседека против унии. Репнин требовал, чтоб все православные польских областей были отданы в ведомство епископа белорусского, которого чрез это можно вывести из нищеты, предосудительной для достоинства православного закона.

Но удивительно беспристрастно и правдиво отнесся к явлению король Станислав-Август в письме к Жоффрэн: «Несколько фанатиков стали грозить крестьянам нашей Украйны всевозможными бедствиями, если они не перестанут быть греками-неуниатами и не обратятся в греков-униатов, т. е. не перестанут объяснять троицу, как объясняют ее в Петербурге, и не начнут объяснять ее по римскому способу. Судите, могут ли несчастные крестьяне тут понимать что-нибудь? Но этого было достаточно, чтоб возмутить их, а восстание этих людей не шутка! Их много, они вооружены и свирепы, когда возмутятся. Они теперь побивают своих господ с женами и детьми, католических священников и жидов. Уже тысячи человек побито. Бунт распространяется быстро, потому что фанатизм религиозный соединяется у них с жаждою воли. Фанатизм греческий и рабский борется огнем и мечом против фанатизма католического и шляхетского. Верно одно, что без Барской конфедерации этого нового несчастия не было бы».

Бунт ширился, обхватил Смиляньщизну, грозил Умани, принадлежавшей киевскому воеводе Потоцкому. У Потоцкого главным управителем здесь был Младанович, а кассиром — Рогашевский. Управляющий и кассир посылали тайком жидов к воеводе наговаривать друг на друга. Для разбора, кто из них прав, кто виноват, Потоцкий отправил в Умань пана Цесельского, который рассказал Младановичу и Рогашевскому, какие доносы на них были сделаны воеводе. Те, вместо того чтобы заподозрить друг друга, заподозрили сотника Гонту, которого любил Потоцкий и поручил ему заселение слобод, почему Гонта и ездил часто к воеводе. Управляющий и кассир стали мстить Гонте, потребовали 100 злотых за сотничество, — и это в то время, когда козацкий бунт кипел по соседству.

Пришло требование от Барской конфедерации, чтоб выслали в Бар всю милицию и козаков воеводы киевского. Но воевода распорядился иначе: он велел Цесельскому забрать всех козаков и поставить их на степи над рекою Синюхою, составлявшей границу с Россиею, а к Пулавскому написал, что вместо козаков, которые не будут охотно биться с русскими, он приказал сформировать из шляхты конную и пешую милицию и отослать с трехмесячным жалованьем и провиантом в Бар. Цесельский, Младанович и Рогашевский, чтобы не истощать казны воеводской сформированием милиции, назначили на этот предмет чрезвычайный побор с коза-

ков, — и все это, когда козацкий бунт кипел по соседству и уманьские козаки стояли в степи на Синюхе под начальством сотников Дуска, Гонты и Яремы, готовые союзники для Железняка.

Одни жиды чуяли беду и явились к Цесельскому с представлениями, что надобно остерегаться Гонты, тем более что он теперь главный: Дуска умер в степи. Жиды говорили, что Гонта, наверное, сносится с Железняком, что есть слух, будто Гонта уже предлагал Дуску соединиться с Железняком, но будто тот отвечал: «Семь недель будете пановать, а семь лет будут вас вешать и четвертовать».

Напуганный жидами, Цесельский послал приказ Гонте немедленно явиться в Умань. Тот прискакал и был сейчас же закован в кандалы, а на другой день уже вели его на площадь под виселицу. Но с счастливой руки Хмельницкого козацких богатырей все спасали женщины. И тут взмолилась за Гонту жена полковника Обуха: «Оставьте в живых, я за него ручаюсь». Тронулся Цесельский просьбами пани Обуховой и отпустил Гонту опять в стан на Синюху начальствовать козаками! Жиды увидали, что судьба их в руках того, кого они подвели было под виселицу; они наклали брыки сукнами и разными материями, собрали денег и отвезли Гонте с поклоном: «Батюшка, защити нас». Гонта сказал жидам: «Выхлопочите у пана Цесельского мне приказание выступить против Железняка». Жиды выхлопотали приказ, но Цесельский велел троим полковникам принять начальство над козаками. Эта мера не помогла; на дороге Гонта объявил полковникам: «Можете, ваша милость, ехать теперь себе прочь, мы в вас уже не нуждаемся». Полковники убрались поскорее в Умань, а Гонта соединился с Железняком. Скоро вся толпа явилась под Уманью, в ближнем лесу разостлали ковер, на котором уселись Железняк с Гонтою, козаки составили круг и какой-то подьячий читал фальшивый манифест русской императрицы. Потом началась попойка и шла всю ночь.

В за́мке Уманьском уже не было больше Цесельского: он исчез; главное начальство перешло к Младановичу. К нему явился комендант Ленарт и объявил, что пьяные козаки ночуют на фольварке и что их ничего не стоит вырезать, сделавши вылазку из за́мка. Но Младанович никак на это не решился; он созвал жидов, велел им нагрузить брыки дорогими материями и везти к Железняку и Гонте в подарок с просьбою о капитуляции. Гонта и Железняк, пьяные, приняли подарки с удовольствием, но переговоры отложили до утра.

Действительно, утром на другой день оба предводителя со всею старшиной подъехали верхами к городским воротам, перед которыми был мост, переброшенный через глубо-

кий ров. Комендант Ленарт велел зарядить картечью четыре пушки; но Младанович и Рогашевский, увидавши это, закричали: «Что вы делаете? Вы нас всех погубите!» Шляхта полегла на пушках и отогнала артиллеристов, а между тем Младанович спешил окончить переговоры с Железняком; положили: 1) козаки не будут резать католиков, шляхту и поляков вообще, имения их не тронут; 2) в жидах и их имении козаки вольны. По заключении капитуляции все поляки пошли в костел, а козаки ворвались в город и начали резать жидов; потом, когда все жиды были перерезаны, добрались до милиции, назначенной в Бар; покончив с нею, пошли к костелу и начали вытаскивать оттуда мужчин, женщин, детей и бить; некоторых женщин, которые понравились, взяли за себя замуж и детей усыновляли. Младанович и Рогашевский погибли от Гонты, весь город был устлан трупами, глубокий колодезь на рынке наполнился убитыми детьми. Крестьяне по селам в это время били жидов, вязали посессоров и шляхту и привозили в Умань, где пьяные козаки убивали их.

После этих подвигов Гонта провозгласил себя воеводою брацлавским, а Железняк — киевским и разослали в разные стороны отряды резать шляхту и жидов. Но Железняк и Гонта недолго навоеводствовали: они были схвачены по распоряжению генерала Кречетникова; гайдамацкий бунт потух; но следствия его обнаружились неожиданным образом. Один из разосланных Железняком и Гонтою гайдамацких отрядов, под начальством сотника Шилы, направился к Балте, пограничному местечку, которое речка Кодыма отделяла от татарского местечка Галты. Балта славилась своими ярмарками, на которые приводили лошадей, рогатый скот, овец; для закупки лошадей приезжали ремонтеры из Пруссии и Саксонии. Местечко богатело от этих ярмарок; в нем жило много жидов, греков, армян, турок и татар; было кого порезать гайдамакам, было что пограбить. Шила со своим отрядом явился в Балту и начал тем, что поколол всех жидов; потом, прожив дня четыре спокойно, собрал свое войско и вышел из Балты. Увидав, что этим все кончилось, турки в Балте подняли крик и вместе с жидами перешли с татарской стороны на польскую; одни пошли на гору в погоню за гайдамаками, другие начали бить православных, сербов и русских, грабить товары и зажгли предместье. Шила, услыхав, что турки и жиды напали на православных, возвратился, прогнал неприятелей на татарскую сторону, перешел вслед за ними в Галту и все здесь разорил и пограбил. На другой день битва возобновилась нападением турок, которые опять были прогнаны в Галту. После этого гайдамаки помирились с турками и много отдали им назад из пограбленного. Но как скоро Шила выступил в другой раз из Балты, турки и жиды явились опять в местечке, начали ругать христиан, многих

постреляли и порубили, церкви ограбили. Вслед за басурманами явились конфедераты, и православным стало нелегче; каждый день поляки *ревизовали христиан,* били и убивали до смерти. Православные обратились с просьбою о защите к русскому полковнику Гурьеву и в просьбе рассказали, как было дело. Просьба оканчивалась так: «Конфедераты очень хотят, чтобы нас теперь переловить и погубить; того ради просим не оставить нас и показать над нами жалость, просим нам, бедным, дать конвой, чтобы мы могли все свое забрать. К сему доношению подписалось целое братство наше купеческое, греческое».

Порта так была взволнована известием о балтском событии, что Обрезков едва успел удержать от немедленного объявления войны уверениями, что дело произошло вопреки намерениям императрицы, которая даст Порте полное удовлетворение. Впрочем, Порта дала приказание придвинуться к границам двадцатитысячному корпусу войска. Обрезков писал, что хотя Порта и не намерена теперь разорвать мир, но нельзя поручиться, что она не будет принуждена начать войну, «последуя народной нерассудной и опрометчивой склонности». 11 июля рейс-эфенди потребовал у Обрезкова отдаления от турецких границ всяких русских войск и совершенного очищения от них всей Подолии. Между тем слухи о происшествии в Балте и Дубоссарах оказывались ложными; Обрезков представил Порте верное известие, что взбунтовавшиеся украинские мужики вместе с гайдамаками напали на принадлежавшую хану деревню Галту, лежащую на Буге против русского Орловского форпоста, причем выставлял на вид, что Россия не обязана отвечать за всяких разбойников. Но машина, по выражению Обрезкова, уже была приведена в движение, и Порта не в силах была ее вдруг остановить. Она продолжала требовать очищения Подолии и в таком случае обещала выслать из своих областей всех укрывшихся там конфедератов и принудить их успокоиться. Обрезков повторял о возможности войны, выставляя на вид, что турецкое правление больше походит на республиканское, чем на самовластное. Министерство уверено, что Россия не требует от Польши ничего такого, что было бы противно интересам Порты, но публика с некоторыми головами, длиннейшие и седые бороды имеющими, иначе думает.

25 августа сменен был великий визирь, «человек благонамеренный и миролюбивый». Обрезков опасался, что скоро последует и смена рейс-эфенди. «Чрез это, — писал он, — я лучших орудий совсем лишусь. Если Россия одну или две кампании останется при оборонительной войне поблизости границ своих и этим заставит турок претерпеть все трудности походов, то несомненно приведет скоро Порту в рас-

каяние, особенно если русские полководцы будут следовать правилу принца Евгения, который обыкновенно старался избегать генеральных сражений в начале кампаний, давал их в конце, ибо турки сперва обыкновенно горячи и храбры, но от трудов скоро приходят в уныние и робость, да часто и бунтуют».

Обрезков в своем затруднительном положении просил мудрых советов у Панина; Панин полагался на искусство и усердие Обрезкова, в помощь ему он отправил письмо к визирю, наполненное заявлениями миролюбия с русской стороны; отправил перехваченную депешу Тотта герцогу Шуазелю, из которой открывалось, что балтский начальник Якуб был подкуплен Тоттом для посылки ложного донесения Порте. «Намерения ее и. в-ства, — писал Панин, — соединять в изъяснениях наших с турками ласку с твердостью и, показывая им, с одной стороны, всю возможную готовность к их желаниям, не уступить — с другой, прихотям их там, где интересованы польза дел и достоинство короны. Для придания в нужном случае словам вашим у турецкого министерства большей силы лестным блеском золота изволили ее и. в. повелеть отправить к вам 70 000 рублей».

В начале сентября Обрезков писал, что визирь сменен по причине его старости и вялости и на место его назначен кутаисский паша, который, по слухам, человек наглый и грубый. Войны желает только один султан и простой народ; а министры и духовенство против войны. В Константинополе убеждены, что Россия нарочно проволакивает польские дела, чтобы иметь предлог постоянно держать в Польше свое войско, поэтому и не старается истребить конфедерации, действуя малым числом войск, над которыми нет ни одного знатного генерала. Немалый ропот между турками и на то, что польский король и республика совершенно безгласны, распоряжается всем один русский посол, из чего ясно видно, что Россия самовластно господствует в Польше, и это больше всего раздражает султана.

Следствия этого раздражения скоро оказались. 14 сентября сменен был рейс-эфенди. 25 числа Обрезков был позван на аудиенцию к новому визирю При входе в приемную комнату он нашел ее наполненною множеством людей разных чинов, и, когда сел на табурет и начал поздравительную речь, визирь прервал ее словами: «Вот до чего ты довел дело!» — и начал читать бумагу, дрожа от злости. В бумаге говорилось: «Польша долженствовала быть вольною державою, но она угнетена войском, жители ее сильно изнуряются и бесчеловечно умерщвляются На Днестре потоплены барки, принадлежащие подданным Порты. Балта и Дубоссары разграблены, и в них множество турок побито. Киевский губернатор вместо удовлетворения гордо отвечал

хану, что все сделано гайдамаками, тогда как подлинно известно, что все сделано русскими подданными. Ты уверил, что войска из Польши будут выведены, но они и теперь там. Ты заявил, что их в Польше не более 7000 и без артиллерии, а теперь их там больше 20 000 и с пушками. Поэтому ты, изменник, отвечай в двух словах: обязываешься ли, что все войска из Польши выведутся, или хочешь видеть войну?» Обрезков отвечал, что по окончании всех дел русские войска совершенно очистят Польшу, в чем он обязывается и прусский посланник поручится. Визирь велел ему выйти в другую комнату; после двухчасового ожидания пришел к нему переводчик Порты и объявил: «Ты должен обязаться также, что русский двор отречется от гарантии всего постановленного на последнем сейме и от защиты диссидентов, оставит Польшу при совершенной ее вольности». Обрезков отвечал, что об этом никогда речи не было и потому он не может знать мнений своего двора; но если Порте угодно, то пусть даст свои требования на письме и он отошлет их к своему двору и сообщит Порте немедленно ответ. Переводчик пошел к визирю и возвратился с объявлением, чтобы Обрезков дал сейчас же требуемое обязательство, иначе будет война. Обрезков ответил, что дать обязательство не в его власти. Чрез несколько времени вошел церемониймейстер и объявил аресты Обрезкову и одиннадцати другим членам посольства. Обрезкова посадили на лошадь, провезли через весь город между многочисленными толпами народа и посадили в подземельный погреб одной башни, куда свет проникал через маленькое окно Заточники провели здесь сутки, и когда комендант донес, что они не могут и трех суток вытерпеть такого заключения по причине сырости и духоты, то их перевели в две маленькие избушки, в которые свет проходил через двери и небольшие окна, находящиеся в потолке Представления английского посла и прусского посланника об освобождении Обрезкова остались без действия. Несмотря, однако, на заключение, Обрезков находил возможность с помощью английского посла пересылать Панину известия о состоянии дел в Константинополе и советы, как вести войну: так, он советовал, несмотря на предубеждение новейших полководцев против рогаток и пик, не оставлять их в войне с турками. В декабре Обрезков притворился отчаянно больным, подкупил лекарей и коменданта и был переведен в лучшее помещение.

Почти в тех же словах, как и Обрезков, передавал своему двору известия о константинопольских событиях прусский посланник Зегелин, который тщетно старался предотвратить войну. Фридрих не желал ее, потому что по союзному договору должен был в случае нападения турок на Россию помогать последней не войском, а деньгами. Он сердился, тол-

ковал, что Россия сама виновата в польских смутах, зачем так далеко вела диссидентское дело. В сентябре он писал Екатерине, что если русские войска не подойдут близко к турецкой границе, то Порта будет спокойно смотреть на поражение конфедератов, но, чтобы нанести им это поражение, надобно иметь побольше войск в Польше. Панин предложил, не может ли Фридрих ввести свое войско в Польшу, но король отказал, ссылаясь на договор: если Россия одна не может сладить с конфедератами, то должна с ними уладиться. Князь Долгорукий, рассуждая с графом Финкенштейном об аресте Обрезкова, указывал на версальский двор как на главного подстрекателя в этом деле; но Финкенштейн отвечал, что, по мнению его государя, и венский двор принимал здесь участие, и вот основание: когда в Вене получено было известие о свержении старого визиря, то австрийский министр в Константинополе получил прибавку жалованья [130].

Князь Дмитр. Мих. Голицын писал из Вены о *с. ромном* поведении тамошнего двора относительно польских волнений. В августе месяце по поводу взятия Кракова русскими войсками Кауниц имел разговор с кн. Голицыным, объявив наперед, что говорит с ним не как с министром, а как с частным человеком. «По моему мнению, — говорил Кауниц, — не надобно теперь строго поступать с зачинщиками конфедерации, чтоб не умножить в Польше число огорченных людей. Теперь издалека поднимается неприятная туча, и было бы очень недурно, если бы поскорее постарались отвратить ее установлением всех дел в Польше, удовлетворительным для разномыслящих поляков» [131]. Эти внушения показывали ясно, как были довольны в Вене затруднительным положением России.

Во Франции скромности не соблюдали. Герцог Шуазель повсюду явно действовал против России. Барская конфедерация возбуждала в нем надежду начать снова успешную борьбу с Россиею в Польше; он успел раздражить Турцию, которая объявила войну России; он готовил последней удар в Швеции; старался разорвать союз России с Пруссиею и сблизить последнюю с Австриею. При этом Шуазель не щадил и мелких средств для выражения своей ненависти к молодой державе, которая осмелилась обширностью политической роли соперничать с старою Францией, осмелилась создавать какую-то северную систему в противоположность южной, созданной Франциею. В грамотах, присылаемых от французского правительства к русскому, вдруг исчезло прилагательное *императорское* при существительном *величество,* и на вопрос русского министерства, что это значит, получен ответ, что выражение «majesté impériale» не согласно с духом языка, что французские короли, принимая титул *вели-*

чества и не прибавляя к нему никакого эпитета, не могут давать этого эпитета никакому другому коронованному лицу. Екатерина написала на донесении об этом русского министра во Франции кн. Голицына: «Противу же регулам языка российского не принимать грамоты без надлежащей титулатуры». Грамоты перестали приниматься, и князь Голицын был заменен поверенным в делах Хотинским, которому герцог Шуазель прямо объявил: «Мы не уступим». — «И мы также не уступим», — отвечал Хотинский. Хотинский из слов Шуазеля не мог не заметить его вражды к бывшему министру кн. Голицыну; Шуазель сказал ему о Голицыне: «Он писал к своему двору много ложного о здешних делах; мы в точности знаем, что в Петербурге говорится, как будто бы это говорилось в Париже» [132].

Успех французской дипломатии в Турции заставлял русский двор удвоить свое внимание в Швеции. Остерман начал год просьбою о присылке 26 000 рублей для ободрения и усиления благонамеренных. «После удара, нанесенного французской партии на последнем сейме, — писал Остерман, — следовало бы ожидать большей тишины и меньшего распространения французских мыслей; и действительно, французская партия, по-видимому, стала тише, но под рукою не переставала внушать народу превратные мысли; приметив потом, что миролюбивая партия, полагаясь на поверхность в Сенате и справедливость своего дела, находится в некотором бездействии, эта партия, соединясь с придворною, теперь стала смелее прежнего и высказывает явно надежду достигнуть своей цели. Ее поддерживают следующие обстоятельства: 1) двор обратил все свое влияние в пользу французских видов; 2) члены всех высших и провинциальных учреждений подкрепляют виды двора и шляп; 3) французские деньги на нужные расходы; 4) двор оказывает милости членам французской партии, производит их в чины, дает должности, награждает орденами, а, напротив, при всяком удобном случае старается унизить достоинство Сената, истолковать в дурную сторону распоряжения государственных чинов, усилить всеобщее неудовольствие. Шпионы рассеяны повсюду; эмиссары во всех местах разглашают злые вести, возбуждают негодование, ставят партии колпаков в вину, что тяжкие налоги установлены вследствие непринятия 12 миллионов ливров, которые Франция приготовила для Швеции; подают надежду в облегчении податей, если соберется сейм; толкуют, что Швеция находится под русским игом; стращают малодушных людей немилостию двора, закупают дворянские полномочия, лишают сбора казенных доходов; отсоветывают народу платить подати, подавая надежду, что сейм освободит их от этого. Цель всех движений — созвать чрезвычайный сейм, переменить образ правления и установленную систему

внешних отношений. Такое положение Швеции требует самой скорой помощи».

Король решился сделать беспримерный шаг, объявил в Сенате о необходимости созвать чрезвычайный сейм, ибо не видел со стороны Сената никаких мер для предупреждения разорения страны. Сенат не согласился, и король объявил, что за следствия этого несогласия складывает всю ответственность на Сенат. Остерман писал, что главным, хотя и тайным, двигателем королевского предложения был наследный принц. После этого вожди партии шляп публично в купеческих лавках объявляли, что целое королевство разорилось вконец. Донося об этом, Остерман писал, что теперь время и с русской стороны начать свои операции, именно издавать сочинения членов партии колпаков в опровержение брошюр противной партии, которые ежедневно сыплются на публику. При таком положении дел легко понять, какое впечатление производили в Швеции известия о Барской конфедерации и столкновениях России с Турциею: *шляпы* торжествовали, *колпаки* приходили в уныние. В октябре при дворе толковали о неминуемой войне у России с Портою, о перемене в системе короля прусского, о присоединении короля датского опять к французским видам, ибо ему указывают возможность овладеть Голштиниею в то время, как Россия будет занята турецкою войною. Наследный принц был ревностным распространителем этих слухов. В ноябре Иностранная коллегия представила в Сенат мнение, что для сохранения шведского кредита в Константинополе необходимо предписать шведскому посланнику там Целсингу не мешаться ни малейшим образом в несогласие России с Портою; но Сенат не согласился с этим мнением, представляя, что таким отстранением себя Швеция возбудит только напрасное подозрение с той или другой стороны, и положено предписать Целсингу принимать меры для успокоения Порты, согласуясь в своих действиях с министрами других союзных держав. Но король подал письменный голос, что Швеция в настоящем случае должна действовать так, чтобы не утратить дружбы ни с Россиею, ни с Турциею.

Между тем в Стокгольм приехал новый французский посол, граф де Модэн, сменивший Бретейля. Остерман узнал, что его кредитивная грамота написана иначе, чем прежние, именно в ней ни слова не упомянуто о сохранении дружбы со шведскою державою или нациею, но единственно с королем. Согласно с этим Модэн только раз был у заведовавшего иностранными делами сенатора барона Фризендорфа, а вместо того в собраниях при дворе публично имел постоянные продолжительные разговоры с королевою. Содержание этих разговоров открылось, когда король снова поднял в Сенате вопрос о необходимости созвания чрезвычайного сейма, прибавив, что если сенаторы и теперь на это не согласятся, то он

откажется от управления государством, ибо он не может выносить вопля страждущих. Испуганные сенаторы согласились. «Благонамеренные, — писал Остерман, — меня просили повергнуть их всемилостивейшему ее и. в-ства покровительству и испросить ее в настоящем их пагубном состоянии неоставлении для сохранения их вольности», обещая всеми силами сопротивляться насилию, которое им делается. Вожди противной партии удерживались от разговоров о переменах в конституции, но агенты их повсюду кричали, что лучше быть под властью короля и руководством разумного Сената, чем под русским игом. Король объявлял, что он особенно не склонен ни к какой партии, заботится только о всеобщем благосостоянии, но кронпринц говорил, что он роялистской партии [133].

В Дании французская партия была слаба; но сам король вздумал путешествовать, будет во Франции, может подчиниться тамошним внушениям. В феврале Философов дал знать Панину, что король объявил внезапно свое намерение предпринять продолжительное путешествие по Европе. Философов писал по этому случаю: «Получит ли пользу этот молодой и невообразимо легкомысленный государь от своего путешествия, время покажет; но до́лжно опасаться, что, будучи столь склонным к своевольным поступкам, не убережется он от справедливых нареканий, предосудительных его чести и славе». Король отправился путешествовать, а Философов — в Ахен лечиться, но в июне прервал свое лечение и отправился в Нейс, чтобы повидаться с ехавшим чрез этот город королем или, лучше сказать, с Бернсторфом. Он нашел последнего в большом унынии. «Правда, — говорил Бернсторф, — король до сих пор не сделал никакого своевольного поступка, но зато и не извлек никакой пользы из своего путешествия; везде скучал, нигде не хотел видеть ничего любопытного; если для приличия и должен был что-нибудь осматривать, то делал это без всякой охоты, не обращая внимания на делаемые ему объяснения; единственное удовольствие находил в том, чтобы быть наедине со своим фаворитом графом Голком. Фаворит старается мне вредить; между королем и фаворитом условлено путешествие сократить и, побывав в Париже, возвратиться домой осенью или в начале зимы. Ежечасно я должен опасаться еще более безрассудных предприятий от двух таких легкомысленных молодых людей, и признаюсь, что во все мое семнадцатилетнее министерское правление никогда не находился я в таком затруднительном положении, и не знаю, как сохранить свою собственную славу и честь своего государя».

Философов получил приказание сопровождать датского короля в его путешествии, был с ним в Англии, потом во Франции, откуда в октябре писал Панину: «Я сделал визит

герцогу Шуазелю, но не был им принят и не слыхал ни слова ни от одного француза. Французский двор смотрит ненавистными глазами на всех русских и старается испускать свой яд всевозможными средствами, разными пасквилями и разглашениями против всех наших поступков и предприятий и против освященной особы нашей государыни». Но если французы не говорили ни слова с русскими, то говорили много с датчанами. Шуазель убеждал Бернсторфа разорвать союз с Россиею и соединиться с Франциею, которая не откажет платить Дании субсидии вдвое против прежнего. Бернсторф отвечал, что союз с Россиею необходим по положению Дании и для прекращения распрей с голштинским домом. После этого разговора повели нападение на самого короля. Шуазель был у него наедине два раза и возбуждал насчет властолюбивых замыслов России, поставляя на вид дела польские; но король постоянно перебивал его речь разговорами о погоде и других подобных предметах, так что герцог расстался с ним очень недовольным. Обратились к фавориту и здесь получили успех: фаворит убедил короля, не сказавши никому ни слова дать всегдашний доступ в свои покои приставленному к нему от французского двора герцогу Дюрасу, чего не имел граф Бернсторф. Так как прямо поправить дело было нельзя, то Философову оставалось убедить короля, чтобы он то же самое право дал Бернсторфу и барону Шимельману, человеку, преданному России.

Когда турки объявили войну России, то во Франции перестали уже ограничиваться пасквилями. Епископ каменецкий Красинский, приезжавший в Версаль «бросить Польшу в объятия Франции», как он выражался, отправился в Саксонию, получив от французского двора 200 000 ливров и обещание, что в зиму эта сумма будет увеличена до трех миллионов. Красинский, не въезжая в Польшу, должен был чрез своих эмиссаров помогать низвержению короля Станислава, составлению генеральной конфедерации, выбору в короли принца Конде или саксонского принца Альберта, причем новоизбранный король должен жениться на австрийской эрцгерцогине. Во Франции набирались офицеры для отправления к разным польским конфедерациям для обучения повстанцев военному искусству [134].

Вражда Франции давала большое значение отношениям к Англии, этой постоянной сопернице Франции. Узнав, что в Англии вместо министра второго ранга, как до сих пор было, назначен в Россию посол, в Петербурге сделано было также соответственное распоряжение: вместо полномочного министра статского советника Мусина-Пушкина назначен был послом генерал-поручик граф Иван Чернышев. В инструкции новому послу говорилось: «Принятые нами правила по содержанию собственных наших интересов в независимо-

сти приводят нас в такое положение, что те дворы, которые привыкли господствовать над интересами других областей, наполняются против нас завистью, другие же по натуральному из того резону могут тверже полагаться на дружбу нашу и союз, тем более что империя наша таких раздробленных и разнообразных интересов как в самой Германии, так и во всей христианской Европе не имеет, каковы интересы других главных держав; почему можно заключать, что прочие дворы, которые ни интереса, ни склонности не имеют заводить себя в дальние хлопоты, а состояние их, однако, требует некоторого ближайшего соединения с державами, перевес в своих руках имеющими, могут по обстоятельствам предпочтительнее склоняться к политической системе нашей империи».

Но этой перемене в значении английского министра были рады и потому, что могли отозвать Мусина-Пушкина, которого считали неспособным. По поводу донесения Мусина-Пушкина, которое начиналось так: «Неотступными почти домогательствами достал я наконец записку о побудительных причинах прибавочной пошлины на некоторые из благословенной в. и. в-ства империи вывозимые сюда полотна». По поводу этого донесения Панин написал: «Министерство и реляции сего министра составлены только из великих слов, как: благословенная империя, богатая казна и сему подобных, а не основаны на деле. С лишком 30 лет, как английский парламент старался и много раз покушался сие столь для здешних фабрик и торговли предосудительные пошлины на российские полотна и холстину наложить, однако же через старания здешних разных министров, при лондонском дворе находящихся, оное до сих пор актом узаконено не было. Теперь же, когда сие дело последним парламентом вновь начато было, не токмо благовременного представления во отвращение оного не учинено, но и на здешний вопрос, чего ради оное в свое время предупреждено не было, ответствовано, что на то отсюдова особливых указов не было, которых, однако же, ни ожидать благовременно неможно, ни требовать нужды не было. Само собою разумеется, что всякий министр обязан интерес своего двора без инструкции предостерегать, и если бы он читал министерскую архиву своих предместников, то б довольно нашел в оной правил своего в сем случае поведения».

Чернышев отправился к своему посту через Пруссию и в Потсдаме представлялся Фридриху II, который говорил с ним о польских, турецких и английских делах. Относительно польских дел король спросил, хорошо ли в России знают обо всем, что происходит в Польше; и Чернышеву показалось, что он в этом сомневается. «Я думаю, — говорил Фридрих, — что вся Польша по частям скоро будет сконфедерована;

все это дело больших господ, которые боятся открыто вступить в конфедерацию и подпускают туда своих креатур; неприятно, что это долго протянется, хотя я уверен, что когда-нибудь кончится по вашему желанию. Конечно, есть причина сомневаться, чтоб турки вмешались в это дело, но и рассчитывать на них много нельзя, тем более что их сильно подстрекают другие державы; и потому мое мнение — кончить польское дело как можно скорее, а этого нельзя сделать иначе как посылкою туда еще войска тысяч до 15 и послать в Литву, чтобы не возбудить зависти у турок. Я не сумневаюсь, что русское войско и в том числе, в каком оно теперь, могло бы с успехом вести дела, если бы в одном месте было; но противники рассеяны, нельзя за ними угоняться. Я по соседству знаю все их неудовольствия; самое главное неудовольствие происходит за наложенную на последнем сейме в пользу короля какую-то ничтожную подать, до 6 или 7 сот тысяч, и за отнятие власти у больших чинов». Король раза три повторил, что надобно послать больше войска в Польшу; и когда Чернышев заметил, что войска уже прибавлено, то Фридрих отвечал: «Мало!» Граф Финкенштейн, разговаривая с Чернышевым об Англии, сказал: «Англичане теперь твердо следуют Бютовой системе, чтоб не вступать ни в какие обязательства с твердою землею. Я не понимаю, какую имеем и мы все нужду входить в обязательство с ними и мешаться в ссоры их с Франциею? Пускай обессиливают они друг друга; мы должны наблюдать только то, чтобы было сохранено равновесие».

Но когда Чернышев приехал в Англию, то управлявший северным департаментом лорд Рошфор стал уверять его в своем искреннем и усердном желании провести к концу дело о союзе между Россиею и Англиею: этот союз он почитает полезным вообще, и особенно полезным в том отношении, что обуздает горделивую интриганку Францию. Но такое объявление имело личные основания: Рошфор был страшно раздражен против Франции. Он был перед тем послом в Париже; когда французы заняли Корсику, английское правительство поручило ему заявить французскому о неправильности этого поступка, могущего иметь дурные следствия, на что Англия спокойно смотреть не может. Рошфор сделал это заявление в такой форме, что герцог Шуазель сказал ему: «Когда объявляют войну, то делают это с большею учтивостью», — и послал на Рошфора жалобу английскому министерству, которое отвечало, что не приказывало ему делать подобного заявления.

Но как ни уверял Рошфор в своей ненависти к Франции и преданности России, как ни объявлял, что в совете королевском исправляет более должность русского посла, чем английского министра, Чернышев не мог убедить его в необ-

ходимости дать субсидию Швеции и этим потрясти там французское влияние. Все в этом согласны, что надобно дать субсидию; и сумма субсидии невелика, говорил Рошфор, но что же делать, когда у нас решено не давать субсидий в мирное время и когда члены настоящего министерства, будучи в оппозиции, настаивали на это решение. После объявления турками войны Англия предложила свое посредничество в восстановлении мира. Чернышев отвечал, что не время теперь говорить о посредничестве, императрица ожидает от Англии одной услуги, чтобы она нас обеспечила и охранила от другого неприятеля, а для этого вернейший способ — заключение со шведами субсидного трактата; думать о посредничестве было бы не согласно с достоинством императрицы, так страшно оскорбленной в лице своего министра Обрезкова. Рошфор сообщил Чернышеву донесения английского посла в Вене лорда Стормонта, который между прочим описывал свой разговор с Мариею-Терезиею; она прямо выразилась о войне русско-турецкой, что это пламя тем для нее беспокойнее и опаснее, что оно загорелось в ее соседстве. «Я не скрываю, — сказала императрица, — что не могу желать успеха туркам по многим причинам и не ожидаю этого успеха; я сильно жалею, что турок вывели из их бездействия. Думаю, что если бы русская императрица захотела, то было бы еще время воспрепятствовать войне, снизойдя на некоторые уступки в том, что было сделано в Польше на последнем сейме. Но через кого начать дело? Через вас нельзя по тесной вашей дружбе с Россиею, через меня нельзя по тесной моей дружбе с Франциею. Через кого же? А я бы охотно взялась сделать все, что бы от меня ни потребовали. Я была против избрания Понятовского в короли; но раз я его признала, то уже сменять не хочу». Кауниц поклялся Стормонту честью, что австрийцы нимало не участвовали и не участвуют в поднятии турок против России, что это было бы совершенно противно системе Марии-Терезии и его, что слух об австрийских интригах в Константинополе распустил прусский посланник [135].

Французы побудили Порту к объявлению войны; те же самые французы заставят и Швецию воевать с Россиею, если возьмут решительный верх в Стокгольме. Что может быть опаснее войны шведской в соединении с польскою и турецкою? Поэтому не удивительно, что в Петербурге решились употребить все средства, чтобы не допустить в Швеции торжества французской партии, которое должно было иметь следствием ниспровержение настоящей конституции. Решились в переговорах об английском союзе отказаться от главного требования, служившего постоянным препятствием заключению договора, решились отказаться от требования, чтобы Турция была включена в случай союза, и вместо того

настаивать на требовании, чтобы Англия заключила субсидный трактат со Швециею.

Преемник Макартнея лорд Каткарт приехал в Петербург только в августе 1768 года. Панин произвел на него очень благоприятное впечатление. «Я редко видел человека, — писал он, — с которым мог бы вести дело более приятно, безопасно и выгодно». Сильное впечатление произвела на него Екатерина, о которой он мог отозваться только стихами Виргилия о Дидоне (Talis erat Dido et. c.). Он писал, что императрица по превосходству своего ума не может опасаться никого и ничего, что все идет превосходно. В Англии заподозрили, что лорд несколько увлекается, и указали ему опасности для Дидоны; указали, что она от важных внутренних вопросов отвлекается внешними делами; указали на неудовлетворительное положение дел в Польше, что Франция открыто стремится возбудить неудовольствие Порты и переменить конституцию в Швеции.

С русской стороны скоро приступили к делу. Сальдерн, недавно возвратившийся в Петербург, дал знать Каткарту, что статья о союзе против Турции будет выпущена из договора и будет заменена статьею о субсидиях Швеции. «Значит, мы должны купить союз с Россиею?» — сказал Каткарт. «Нет, — отвечал Сальдерн, — императрица покупает ваш союз, давая вам даром систему, приобретенную с издержками, и требуя только, чтобы вы помогали поддерживать ее; кроме денег, истраченных императрицею в Швеции и Польше при избрании короля и на поддержку диссидентов, она будет продолжать тратить денег гораздо больше, чем вы». Каткарт понял и написал своему министерству, что, по его мнению, можно принять статью. Но ему отвечали, что он должен говорить в Петербурге то же, что говорили Чернышеву в Лондоне: Англии чрезвычайно трудно изменить своему правилу — не платить субсидий в мирное время [136].

Разрыв с Турциею отодвинул на некоторое время все другие дела на задний план.

ДОПОЛНЕНИЯ

1) *Письмо Н. И. Панина к Гервасию, епископу переяславскому, 2 сент. 1768 года*[1].

Вашему прео-ству не может быть безызвестно, что бывшее в польской украйне возмущение обывателей нашего православного исповедания, которое войсками е. и. в. только что усмирено, начинает вновь разгораться и что те обыватели дерзают на самые ужасные крайности. Я не скрою еще от вас, что дошедшие ко двору е. в. известия гласят, будто все сии беспорядки происходят отчасти от послабления и попущения в. прео-ства яко епархиального того краю пастыря и особливо по проискам матренинского игумна Мелхиседека, о беспокойном нраве коего мы здесь довольно и предовольно уже сведомы, и что вы еще в настоящей сумятице изволили разных духовных от мест их отрешить и других к оным определить, людей нескромных и содействующих общему нестроению. Ваше прео-ство можете сами себе представить, что сии известия не могут быть приятны двору е. и. в.; но я не смею подумать, чтобы вы добровольно и умышленно захотели подвигнуть на себя праведный ее гнев, и для того, не подавая веры всему тому, что на собственный ваш счет приписывается, хочу только по истинному моему почтению к сану вашему, равно как и по долгу звания моего, благовременно и благонамеренно остеречь вас, чтобы ваше прео-ство не только не изволили ни сами собою, ни чрез подчиненных ваших входить в настоящее волнение единоверных наших в польской Украйне, но чтобы паче яко духовный их пастырь старались всеми силами уговаривать, увещевать и приводить их к скорейшему пресечению оных и к совершенному покорению

[1] АВПР, Сношения России с Польшей, 1768 г., оп. 79/6, д. 438. См. также Сб. РИО, т. 87, стр. 159—161.

верховной своей власти, т. е. законам Речи Посполитой польской, которые ее и. в. толь торжественно и свято на последнем варшавском сейме в вечные времена гарантировать изволила; толкуя им ясно и внятно для собственного их спасения от предстоящих инако неизбежных бедствий, что всякое в Польше от обывателей, какой бы они веры ни были, возмущение, нарушая беспосредственно тишину народную и помянутые всемилостивейшею нашею государынею гарантированные законы, повреждает само собою и независимо ни от каких посторонних уважений высочайшее ее в-ства достоинство; что единоверные наши, приводя сами себя в сие положение и принуждая оным е. и. в. лишить их высочайшего своего покровительства, которое для них и для самой православной церкви столь полезно было и впредь быть может, обращают напротив и навлекают на себя всю тягость праведного ее восчувствования; что они в первое свое волнение видели оному печальные для себя следствия, когда войска е. и. в. военною рукою против их действовать стали и когда взятые оною все без изъятия отдаваны были на казнь польскому суду, которого строгость долженствовала бы их устрашить; что теперь, если они немедленно не уймутся и не возвратятся в домы и места свои с тем уже, чтобы, единожды раскаявшись, жить спокойно в тишине и в повиновении законам и властям отечества своего, в таком случае неминуемо подвергнут себя новым бедам и новым напастям, ибо войска е. и. в., оставляя всякое другое упражнение, тотчас на них поведены будут, когда с успокоением их неразлучно соединено собственное е. в. высочайшее достоинство; и что напоследок, следуя ныне воле и намерениям е. и. в. яко единой и надежной своей покровительнице, могут они еще загладить вину свою и сделаться опять достойными всемилостивейшего ее покровительства.

2) *Из письма князя Репнина к графу Н. И. Панину 8 февраля 1768 года*[1]. Прилагаю я при сем копии с указа из Военной коллегии к генерал-поручику Веймарну и с письма к нему ж от гр. Захара Григорьича (Чернышева). Нету истинно способа с усердием служить. Ген. Веймарн по справедливости весьма оскорблен концом сего указа. Если не изволит его сиятельство, чтобы генерал-поручик, командующий особым корпусом, рассуждал об тех корпусах войск, кои в соседстве его находятся, то и неможно от него требовать рассудительного поведения, а, кажется, государыня не за то (?) нас генералами делает, чтобы мы далее носу не глядели и не видали; вина ж ген. Веймарна вся в том состоит, что он, видя невозможность свой корпус соединить в случае нужды, представлял на том же точно основании, как и я к

[1] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 79/6, 1766 г., д. 925, л. 1—2.

в. с-ству писал, чтобы ему позволено из Литвы войска сюда приближать, а что на их место могут вступить из Смоленска или из Риги. Можно б его с-ству на сие не согласиться, но не было нужды, кажется, заслуженному генералу запрещать мыслить, ибо и без заказу, мне видится, невеликое множество людей в сем упражняются. Мне кажется, что коль всем государыня изволит на себя брать труд присутствовать в военном совете, то б стоили того уважения особых корпусов командиры, чтоб их доношения туда представляемы были и оттоль бы приказывалось, что к ним писать. Чрез сие б она сама соизволила увидать подлинное состояние всего и недостатки каждого и оные скорее б повелела исправлять как мать общая всех своих подданных, а не тех только, которые при лице ее имеют счастье находиться.

3) *Из письма князя Владимира Долгорукого из Берлина к графу Н. И. Панину 19 июля 1768 года*[1].

На сих днях приходил ко мне человек и старался чрез меня проведать, может ли надеяться наследный принц прусский, ежели прибежище будет иметь к всемилост. государыне получить от нее взаймы до 300 000 талеров, кои заплачены будут по вступлении его на престол, и для верной надежды, что сия сумма тогда заплачена будет, принц Генрих, брат королевский, по его высочеству поручится и с ним подпишет.

4) *Отрывок из письма Сальдерна к Панину для образца*[2]: Berlin le 29 d'Auril 1766: «Il est impossible et il est en vain, mon digne Protecteur, de vous dire de quelle joie inexprimable mon coeur a été penetré au moment que j'ai vu Votre signature, cette main si cherie. L'apostille que V. E. a écrit en main propre, a excité toute ma sensibilité. Ce sentiment vif et celeste que j'ai si souvent senti à Vos cotés! Que j'ai beni le moment que Votre coeur a pensé à moi!» *В другом письме Сальдерн обращается к Панину со словами*[3]: «Monseigneur, mon Pere et mon Protecteur!»

5) *Письмо Екатерины II Фридриху II, 14 октября 1757 года*[4]: «En conformité des desirs de V. M. j'ai fait remettre aujourd'huit à son ministre le C-te de Solms la traduction allemende de l'instruction, que j'ai donné pour la reformation des lois de la Russie. V. M. n'y trouvera rien de nouveau, rien qu'elle ne sache; Elle verra que j'ai fait comme le corbeau de la fable qui se fit un habit des plumes du paon. Il n'y a dans cette pièce de moi que l'arrangement des matieres et par ci

---

[1] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 74/6, 1768 г., д. 175, л. 64—64 об.

[2] Там же, Сношения России с Данией, оп. 53/5, д. 193, л. 13.

[3] Там же, л. 2.

[4] ЦГАДА, Гос. архив, разряд IV, д. 130, л. 61—62.

par là une ligne, un mot: si on rassemblait, tout ce que j'y ai ajouté, jé ne crois pas qu'il y eu au dela de deux on trois feuolles. La plus grande partie est tireé de l'Esprit des Lois du pres, du Montesquieu et du traité des delits et des peines du marquis Beccaria. Je dois prévenir V. M. de deux choses, l'une qu'elle trouvera differens endroit qui lui paraitront peut être singuliers, je la prie de se souvenir que j'ai due m'accomoder souvent au present et cependant ne point fermer le chemin a'un avenir plus favorable. L'autre que la langue russe est beaucoup plus énergique et plus riche en expressions que l'Allemand et en inversions que le Francois, preuve de cela c'est que dans la traduction l'on a souvent été obligé de paraphraser ce qui avait été dit avec un seul mot en Russe et separer ce qui ne fait, pour ainsi dire, qu'un trait de plume. Qui ont reproché a'cette derniere langue de manquer de termes ou se sont trompés ou n'ont point su cette langue».

ПРИМЕЧАНИЯ к 27 тому

[1] История России, XXVI, 133 [1].
[2] Журналы Сената, 9 января и 31 марта [2].
[3] Там же, 19 октября [3].
[4] Пол. собр. зак., № 12 600 [4]. — Победоносцева — Исторические исследования и статьи, стр. 269—324 [5].
[5] Сборн. Русск. истор. общ., X, 98 [6].
[6] Журналы Сената, 15 декабря [7].
[7] Сбор. Русск. истор. общ., X, 59, 60, 88 [8].
[8] Пол. собр. зак., № 12781 [9].
[9] Высочайшая резолюция в таком виде находится в бумагах Госуд. архива [10], но в Пол. собр. законов она напечатана иначе [11].
[10] Журналы Сената, 14 июля [12].
[11] Там же, 3 февраля [13].
[12] Там же, 11 января [14].
[13] Доклад Чичерина [15] и Юшкова в Государ. архиве [16].
[14] Дело в Государ. архиве [17].
[15] Журналы Сената, 23 января [18].
[16] Там же, 29 марта [19].
[17] История России, XXV, 269 [20].

---

[1] См. т. 26, стр. 415—416 настоящего издания.
[2] Центральный государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. 248, Сенат, кн. 3720, л. 8 об — 9 об., 36—38; кн. 3722, л. 324—324 об, 329—331.
[3] Там же, кн. 3729, л. 378—378 об.
[4] Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ), т. XVII, СПб., 1830, № 12600 (здесь и далее — собрание 1-е).
[5] *К. П. Победоносцев.* Исторические исследования и статьи, СПб., 1876, стр. 269—325.
[6] Сборник Русского исторического общества (далее — Сб. РИО), т. 10, СПб., 1872, стр. 98—100.
[7] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3731, л. 308.
[8] Сб. РИО, т. 10, стр. 59—61, 88—89.
[9] ПСЗ, т. XVII, № 12781.
[10] Резолюция не выявлена. Материалы по данному делу см. ЦГАДА, ф. 304, Следственные комиссии по административным, уголовным и другим преступлениям, оп. 2, д. 1—100.
[11] См. ПСЗ, т. XVII, № 12781.
[12] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3726, л. 239—239 об.
[13] Там же, кн. 3721, л. 23 об — 24.
[14] Там же, кн. 3720, л. 54—55 об., 68—70 об.
[15] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 481, ч. I, л. 158; ч. II, л. 155.
[16] Там же, д. 564, л. 5—7, 9—11.
[17] Там же, д. 563а.
[18] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3720, л. 192 об — 193, 204—207.
[19] Там же, кн. 3722, л. 267 об — 268, 277 — 278 об.
[20] См. т. 25, стр. 218—220 настоящего издания.

[18] Журналы Сената, 23 октября [1].
[19] Там же, 22 ноября [2].
[20] Там же, 6 апреля, 19 сентября [3].
[21] Там же, 23 января, 8 февраля, 21 февраля, 6 и 21 июля, 18 августа, 27 октября [4].
[22] Доклад в Государ. архиве [5].
[23] Журналы Сената, 16 ноября [6].
[24] Пол. собр. зак., № 12633 [7].
[25] Московск. архив мин. иностр. д. [8]
[26] Журналы Сената, 5 и 18 мая [9].
[27] Там же, 22 июня [10].
[28] Госуд. архив [11].
[29] Там же [12].
[30] Журналы Сената, 13 декабря [13].
[31] Государ. архив [14].
[32] Пол. собр. зак., № 12589 [15].
[33] Государ. архив [16].
[34] Там же [17]
[35] Там же [18].
[36] Журналы Сената, 11 декабря [19].
[37] История России, XXVI, 50 [20].
[38] Государ. архив [21].
[39] Журналы Сената, 22 мая [22].
[40] Там же, 2 августа [23].
[41] Там же, 14 ноября [24]; Пол. собр. зак., № 12793 [25].
[42] Сборн. Рус. истор. общ., V, 227, 229 [26].
[43] Журналы Сената, 20 января, 13 и 17 марта, 27 июля, 22 и 27 ноября [27]; Пол. собр. зак., № 12576 [28].
[44] Моя статья «Рассказы из русской истории XVIII столетия» в «Русском вестнике», т. XXXV, 319—322 [29]; Сборник Русск. истор. общ., X, 75 [30].

---

[1] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3729, л. 470 об. — 471 об.
[2] Там же, кн. 3730, л. 237 об. — 239.
[3] Там же, кн. 3723, л. 98 об. — 99; кн. 3728, л. 190—191.
[4] Там же, кн. 3720, л. 193 — 193 об.,208—211; кн. 3721, л. 114, 381 об. — 384 об., 404—409; кн. 3726, л. 157 — 157 об.,363 об. — 364, 384; кн. 3727, л. 256 — 256 об., 259; кн. 3729, л. 558 — 560 об., 586—587 об.
[5] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 649.
[6] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3730, л. 186—198.
[7] ПСЗ, т. XVII, № 12633.
[8] ЦГАДА, ф. 168, Сношения русских государей с правительственными местами и с должностными лицами по внутренним делам, д. 101, л.3 об. — 4.
[9] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3724, л. 118 — 118 об., 125 — 129 об.,302 — 302 об., 310 — 311.
[10] Там же, кн. 3725, л. 229 — 229 об., 239 — 239 об.
[11] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 720, л.42 — 43 об., 50 — 54 об.
[12] Там же, разряд VI, д. 405.
[13] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3731, л. 240 — 241 об., 256—261.
[14] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XXIV, д. 34; д. 35, л. 48—51.
[15] ПСЗ, т. XVII, № 12589.
[16] Не найдено.
[17] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 741.
[18] Там же, разряд XIII, д. 80, л. 1 — 7 об.
[19] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3731, л. 171.
[20] См. т. 26, стр. 349 настоящего издания.
[21] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 939, л. 17—18.
[22] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3724, л. 327 об. — 328, 337 — 339 об.
[23] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3727, л. 7 об. — 11 об., 18 — 26 об.
[24] Там же, кн. 3730, л. 157 об.
[25] ПСЗ, т. XVII, № 12793.
[26] Сб. РИО, т. 5, СПб., 1870, стр. 226—229.
[27] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3720, л. 166 — 166 об., 172 — 172 об.; кн. 3722, л. 1 об., 5. 11, 12 об. — 14, 26 — 28 об., 104, 105 — 105 об., 112, 115; кн. 3726, л. 465 об. — 467, 481 — 486; кн. 3730, л. 250—255, 276 — 276 об., 285 — 286 об.
[28] ПСЗ, т. XVII, № 12576.
[29] *С. М. Соловьев.* Рассказы из русской истории XVIII столетия. «Русский вестник», т. XXXV, М., 1861, стр. 319—322.
[30] Сб. РИО, т. 10, стр. 75—87.

[45] Пол. собр. зак., № 12801 [1].
[46] Журналы Сената, 19 и 20 декабря [2].
[47] Журналы Сената, 16 и 23 апреля 1767 года [3]. Доклад об эстляндских выборах в Государ. архиве [4].
[48] Переписка в Государств. [5] и в Москов. иностр. д. архивах [6].
[49] Авсеенко — Малороссия в 1767 году, стр. 16 и след [7].
[50] Журналы Сената, 13 июня 1767 года [8].
[51] Там же, 2 августа [9].
[52] В Государ. архиве [10].
[53] Журналы Сената, 23 июля [11].
[54] Письмо в Государ. архиве, от 9 июля 1767 [12].
[55] Сборник Русск. истор. общ., X [13].
[56] Челобитная в Государ. архиве [14].
[57] Журналы Сената, 11 июля [15].
[58] Сборн. Рус. истор. общ., X [16].
[59] Государ. архив [17].
[60] Журналы Сената, 12 июня [18].
[61] Сборн. Рус. истор. общ., X [19].
[62] А жалоба казанских татар на сбор для подарка губернатору? [20].
[63] Журналы Сената, 10 января [21].
[64] Государ. архив [22].
[65] Журналы Сената, 19 января, 20, 22, 26 марта, 17 мая, 11 июля [23].
[66] Государ. архив [24].
[67] Журналы Сената, 9 января [25].
[68] Там же, 19 января, 1, 2, 20 марта, 31 мая, 15 и 21 июня [26].
[69] История России, XXVI, 235 [27].
[70] Там же, стр. 17 [28].
[71] Осмнадцатый век, III, 365 [29].
[72] Сборник Русск. истор. общ., X, 167 [30].
[73] Пол. собр. зак., № 12949 [31]. Сборник Русск. истор. общ., X, 152 [32].

---

[1] ПСЗ, т. XVII, № 12801.
[2] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3731, л. 344—345, 355 — 356 об., 372—374.
[3] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3769, л. 17 об. — 21, 112 — 112 об., 124 — 124 об.
[4] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 874.
[5] Там же, разряд XIII, д. 76, л. 29—30; д. 83, л. 1—12.
[6] См. Сочинения императрицы Екатерины II. Изд. А. Смирдина, т. III, СПб., 1850, стр. 192—193.
[7] *В. Г. Авсеенко.* Малороссия в 1767 году, Киев, 1864, стр. 16 и след.
[8] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3771, л. 109, 112—123.
[9] Там же, кн. 3773, л. 35 об. — 36, 40—41.
[10] ЦГАДА, Гос. архив, разряд VII, оп. 2, д. 2234.
[11] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3772, л. 317.
[12] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XXIV, д. 35, л. 123—124.
[13] Сб. РИО, т. 10, стр. 188—189.
[14] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 1010.
[15] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3772, л. 127 об. — 128.
[16] Сб. РИО, т. 10, стр. 190—206.
[17] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVIII, д. 229.
[18] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3771, л. 92, 100.
[19] Сб. РИО, т. 10, стр. 211—212.
[20] См. стр. 53—54 настоящего тома и прим. 60.
[21] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3766, л. 70—71 об., 92 — 95 об.
[22] ЦГАДА, Гос. архив, разряд X, д. 106; см. также Сб. РИО, т. 10, стр. 178—179.
[23] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3766, л. 266 об. — 267, 282; кн. 3768, л. 150, 151 об. — 152, 158—159, 162, 225 — 225 об., 235—236, 276 об. — 277, 279—280; кн. 3770, л. 243 — 243 об., 248 — 248 об.; кн. 3772, л. 124 — 127 об., 129—132.
[24] ЦГАДА, Гос. архив, разряд VII, оп. 2, д. 2287.
[25] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3766, л. 43 — 44 об., 51—54.
[26] Там же, кн. 3766, л. 260—266, 275—281; кн. 3768, л. 5—7, 12—17, 25 об. — 26, 98—100; кн. 3770, л. 434 об., 439—445; кн. 3771, л. 125—127, 129—172, 258 об. — 259 об., 274—275.
[27] См. т. 26, стр. 496—497 настоящего издания.
[28] Там же, стр. 322—323.
[29] Осмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым, кн. III. М., 1869, стр. 365.
[30] Сб. РИО, т. 10, стр. 167.
[31] ПСЗ, т. XVIII, СПб., 1830, № 12949.
[32] Сб. РИО, т. 10, стр. 152 и след.

[74] От Екатерины остались разные строки, выражавшие неудовольствие ее по поводу взглядов членов комиссии на крепостных людей: «Естьли крепостного нельзя признать персоною, след., он не человек; но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиною делано». — Собственноруч. в Госуд. архиве [1].

[75] Там же [1]. Du Tiers-Etat. Le Tiers-Etat était composé de bourgeois notables, deputés des villes pour representer le peuple dans l'essemblées. Tiers-Etat ou troisieme ordre composé de magistrats municipaux, des notables bourgeois. Le Tiers-Etat, compose du peuple, était alors presque tout serf. Les souverains l'eleverent par degrés en l'admettant aux charges. Tiers-Etat composé des bourgeois representés par les deputés des villes. Quelques personnes peu au fait des principes de cette matiere, croyent que toute la robe indistinctement doit etre comprise dans le Tiers-Etat ce qui est une erreur facile à refuter. Il est vrai que les gens de robe, qui ne sont pas nobles soit de naissance out autrement, ne peuveut etre placés que dans le Tiers-Etat; mais ceux qui jouissent du titre et des prerogatives de noblesse soit d'extraction ou en vertu de quelque office auquel la noblesse est attaschée ou en vertu de lettres particulieres d'annoblissement, no doivent point etre confondus dans le Tiers-Etat: ou ne peut leur contester le droit d'etre compris dans l'ordre ou Etat de la noblesse de meme que les autres nobles de quelque profession qu'ils soyent et de quelque cause que procede leur noblesse.

[76] История России, т. XXVI, стр. 40 [2].

[77] Письмо в Государ. архиве [3].

[78] В Москов. архиве мин. ин. д. [4]

[79] Там же [5].

[80] Сборн. Русск. истор. общ., X, 272 [6].

[81] Документы, относящиеся к деятельности комиссии, находятся в Архиве Второго отделения собств. е. и. в. канцелярии [7], и часть их издана Русским историч. обществом (Историч. сведения о екатерининской комиссии для соч. проекта нового Уложения, Д. Поленова) [8]. — О малороссийских наказах см. «Малороссия в 1767 году», соч. Авсеенко [9]. — Перечень пунктов, поданных депутатами в комиссию, помещен мною в статье: «Рассказы из русской истории XVIII века». 1767 год, напечат. в «Русском вестнике», т. XXXV[10]. Вот этот перечень: от депутатов правительственных мест: 1) О вступлении всяким чинам в духовные чины, а из духовных в светские и освобождение священников от неприличных работ. 2) Об обучении детей катехизису, об учреждении по городам училищ для юношества и о непринимании в домы учителей и учительниц несвидетельствованных. 3) О покупке крепостных людей священникам и прочим церковным причетникам. 4) О уменьшении свободных дней от работ. 5) О учинении закона, как поступать в случае того, когда от побой помещиков случится людям смерть. 6) Об истреблении женщин, ведущих жизнь распутную. 7) О запрещении кулачных боев. 8) О нестрелянии из ружей и из других машин внутри жильев и о неношении никакого оружия подлому народу при себе. 9) Об учинении монашеских недвижимых имений коронными и об установлении к пропитанию их (т. е. монахов) и к содержанию церквей доходов. 10) Об установлении закона к приведению разного звания народа в содружество. 11) О пресечении роскошей. 12) Об учинении закона о беглых людях и крестьянах

---

[1] См. ЦГАДА, Гос. архив, разряд X, дела за соответствующие годы.
[2] См. т. 26, стр. 340 и след. настоящего издания.
[3] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XIII, д. 83, л. 73 — 74 об.
[4] См. «Северный архив», ч. 1, СПб., 1822, стр. 34—37, 144—146; см. также «Сочинения императрицы Екатерины II», т. III, стр. 195—196.
[5] «Сочинения императрицы Екатерины II», т. III, стр. 195—196.
[6] Сб. РИО, т. 10, стр. 272—274.
[7] См. ЦГАДА, ф. 342, Кодификационная комиссия, дела за соответствующие годы.
[8] См. Сб. РИО, т. 4, 8, 14, 32, 36, 43, 68, 93, 107, 115, 123, 134. 144, СПб., 1869—1914.
[9] *В. Г. Авсеенко.* Малороссия в 1767 году.
[10] *С. М. Соловьев.* Рассказы из русской истории XVIII столетия, стр. 331—336.

и о взыскании за держание и владение их одних и с землями. 13) О неопределении никого в козаки и о бытии всем, кто где приписан. 14) Об отдаче должников за долги для зарабатывания партикулярным людям в случае неприема для отсылки на каторгу. 15) О ревизии и отличении граждан добродетельных. 16) О публикации от полиции о всех происходящих новостях. 17) О квадратных деньгах. 18) О непропуске на заставах в города нищих. 19) О необученных и скорых лошадях, чтоб на оных внутри городов не ездить. 20) О неимении форейторам и верховым кнутов и плетей. 21) Об учреждении в городах публичных мест для увеселения обывателей.

Дворянство представило: 1) об имении при церквах ученых священников на жалованьи; о продаже церковных земель и чтоб причетники обучали крестьянских детей грамоте; 2) о уравнении малороссийских чинов с великороссийскими; 3) об учинении закона об отдаче деревень на аренду; 4) о продаже дворянству экономических деревень; 5) о даче и продаже дворянам засек, диких полей и разных служб служилых людей земель; 6) о заведении в городах особых слобод для полков и о выводе их из уездов; 7) об учреждении по городам для дворянского юношества школ; 8) об учреждении по городам банков; 9) хлебных казенных магазинов; 10) аптек и лекарей; 11) о бытии по городам цехам и фабрикам; 12) о запрещении на выгонных городовых землях сеять хлеб; 13) о позволении крестьянам в городах торговать продуктами их в розницу; 14) о позволении крестьянам подрядов; 15) о бытии крестьянам у купцов повереными в лавках и в питейных домах в одно зимнее время, а в летнее чтоб возвращались к земледелию; 16) о не сборе с крестьянства подвод, а вместо того об учреждении почтовых станов; 17) о ненаряжении крестьян на караулы и работы; 18) об умножении крестьянского бесчестия (т. е. платы за бесчестье) и об умножении суммы оных (т. е. суммы платежа), кои пожелают быть в купечестве, и о незаписке в посад по женам их; 19) о сборе в одних местах вместо фуража деньгами, а в других, где будет потребно, вместо подушных денег провиантом и фуражом; 20) о сложении с одних хлебопашцев подушных денег; 21) о поселении по уездам и городам иностранных колонистов, от коих бы крестьянство получало наставительный пример к лучшему домостройству; 22) о непереходе черкас с места на место; 23) о бытии отданных в рекруты женам у помещиков в послушании; 24) об истреблении для соблюдения лесов железных, стекольных, сжения золы и прочих заводов; 25) о выборе воевод и товарищей баллотированием из дворян своего уезда; 26) о запрещении тем, коим дворянским правом пользоваться не велено, иметь хутора, хлебопашество, мельницы; 27) о постановлении ко удержанию крепостных женок и девок от побегов строжайшего закона; 28) о произведении по-прежнему в городах ворам, и разбойникам, и смертоубийцам указных пыток.

Городские жители подали: 1) об утверждении в благочестии христианской веры; о предписании в законе, каким образом сохранить тайны божии, когда церковь во время службы внезапно загорится; о нечинении в церкви божией во время службы смятения; 2) о свободном отправлении службы божией других законов людям; 3) о пострижении желающих в монашеский чин; 4) о штрафе с неисповедавшихся; 5) о построении церквей божиих и о писании на всякие церковные вещи контрактов без взятия пошлин; 6) о пожаловании в построенные церкви на иконостасы и на украшения оных денежной суммы; 7) о содержании на пристойном основании церковного причта и об определении тому жалованья; 8) о нетребовании священникам сверх указанного числа за церковные требы; 9) об учреждении вновь по городам присутственных мест; об учреждении вновь городского суда, как в других государствах заведено; 10) о бытии в городах полиции в ведомстве магистратов и ратуш; 11) о подтверждении магдебургского права; о подтверждении козакам шляхетского права и об оставлении их при прежней должности козачей; 12) о выборе на всегдашнее время вообще всеми гражданами головы; 13) о выборе из купечества особливых депутатов и о дозволении оным входить во все присутственные места по делам купеческим; 14) о праве и преимуществе российского купечества и о неназывании оного непристойными словами и дозволении первостатейным носить шпаги; 15) об учреждении по

городам для купеческой коммерции и размножения торгов Государственного банка, 16) о пресечении роскошей и о невыписывании в Россию никаких иностранных вещей, 17) об уничтожении сочиняющейся ныне по душам ревизии и о бытии оной по-прежнему по дворам, 18) о выключке из подушного оклада дворян, детей боярских, купечества и разного звания людей и увольнении от рекрутского набора, 19) о снятии с подсуседков (в Малороссии) рублевого оклада и о расположении оного на тяглых и земли имеющих людей, 20) об учреждении цехов, 21) об уничтожении в Малороссии пограничных таможен, 22) о неотдаче в монополии никаких промыслов и товаров, 23) о нечинении военнослужащим людям купечеству никаких обид и побой и о платеже им за забранные у купцов товары денег, 24) о нечинении купечеству от крестьянства в уездах никаких обид и за чужие долги грабительств, 25) об учреждении вместо формальных кратких словесных, также и третейских судов для всяких случающихся между купечеством с разночинцами дел; 26) о правосудии и скорейшем решении дел во всех присутственных местах по просьбам от купечества, 27) о запрещении присутствующим слушания и подписывания дел на домах, 28) об уменьшении судов и о штрафе судей, 29) о незабирании насильно к суду в присутственные места градских жителей без учиненных повесток, 30) об учинении запрещения, чтобы никто не дерзал ругать иноверных законов, 31) о покупке священно- и церковнослужителям, купечеству и разного звания людям крестьян и дворовых людей; 32) о запрещении духовному чину в покупке земель, 33) об отдаче архиерейскому дому с монастырями отшедших от них хлебопашенных земель, 34) об учреждении в городах академий, университетов и школ и обучении в оных разным языкам купеческих и разночинских детей и сирот, 35) об учреждении на казенном содержании больниц и сиропитательных домов, об умножении по городам аптек, докторов, лекарей и повивальных бабок, 36) о выборе малороссийскому народу гетмана и старшин вольными голосами и о бытии козакам судимым от оных старшин, 37) о непринуждении купечества к бритию бород и ношению немецкого платья, 38) о выводе раскольников, живущих по городам между православными, в рассуждении чинимого ими в обществе соблазна и неотправления гражданских служб и о поселении оных в особых местах, 39) о позволении возвратившимся из Польши и Турции раскольничьим попам, монахам и монахиням в часовнях и церквах отправлять службы по старинным книгам, 40) о небытии в городах особой сыскной команды и о препоручении оной магистратам

Однодворцы и хлебопашцы просили 1) об определении для наук и наставления богоугодных дел духовных, а для утверждения благосостояния и знания законов и добрых поведениев — светских учителей, 2) о постройке для квартирования полков при городах штатных дворов и светлиц, 3) о защите от проходящих полковых служителей, 4) о непосылке в уезд находящихся при городах служилых людей с указами для публикования оных и о рассылке их для того по церквам из духовных правлений, 5) о выборе судей всем обществом всего уезда и определении в присутственных местах для скорого отправления дел уездных жителей особливых членов, 6) о бытии для дел от стороны судящихся депутатам в заседании в присутственных местах, 7) об уменьшении пятилетнего срока воеводства и о перемене воевод и секретарей по просьбе уездных жителей, 8) о выводе из малороссийских городов российских воевод, 9) о притеснениях однодворцам и прочим народам от присутственных мест и от самих присутствующих, 10) о притеснениях, чинимых однодворцам и ясачным от дворян и их крестьян, 11) о словесных судах, об определении для разбирательства между обывателями дел командиров или старшин по выбору из них же и о небытии им ни по каким делам, кроме подушного оклада, ведомым в присутственных местах

[82] Журналы Сената 1768 года, 23 апреля [1].

[83] Там же, 25 августа [2]

---

[1] ЦГАДА ф 248 Сенат кн 3806 л 381

[2] Там же, кн 3808, л 100

[84] Пол. собр. зак., № 12977, 13107 [1].
[85] Там же, № 12966 [2]
[86] Дела комиссии о заводских крестьянах в Архиве м. юстиции [3].
[87] Журналы Сената 1767 года, 21 августа, 3 и 4 октября, 12 ноября, 1768 года, 5 мая, 27 августа [4]
[88] Русская Старина 1874 года, № 7 [5]
[89] Дело в Госуд. архиве [6]
[90] Журналы Сената 1768 года, 4 июля [7].
[91] Там же 1767 года, 27 сентября [8].
[92] Там же 1768 года, 5 сентября [9].
[93] Госуд. архив, письмо от 16 ноября 1768 года [10].
[94] Там же [11].
[95] Журналы Сената 1768 года, 17 сентября [12].
[96] Там же 1767 года, 12 ноября [13]
[97] Государ. архив [14]
[98] Москов. архив мин. иностр. д. [15]
[99] Дело в Государ. архиве [16]
[100] История России [17].
[101] Государ. архив [18].
[102] Дела польские 1766 года [19]
[103] Сборн. Русск. истор. общ., XII, 272 [20]
[104] Дела прусские 1766 года [21]
[105] Mémoires de Fréderic II, II, 321 [22]
[106] Forschungen zur deutschen Geschichte, IX, 1 [23].
[107] Дела турецкие 1766 года [24]
[108] Дела шведские 1766 года
[109] Москов. архив мин. ин. д. [25]
[110] Там же, дела датские 1766 года [26]
[111] Mahon — History of England, V, 161 (лейпцигск. изд.) [27].
[112] История России, XXVI, 202 [28].
[113] Дела английские 1766 года [29].

---

[1] ПСЗ, т. XVIII, № 12977, 13107
[2] Там же, № 12966
[3] Не найдено
[4] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3773, л. 278 об. — 279 об.; кн. 3775, л. 14 об. — 15 об., 47—48, кн. 3776, л. 119 — 119 об., 134 — 135 об., кн. 3807, л. 6, 13; кн. 3808, л. 113—114.
[5] *Г. И. Студенкин.* Салтычиха. — «Русская старина» № 7, СПб., 1874, стр. 497—548.
[6] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XXII, д. 58
[7] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3808, л. 19
[8] Там же, кн. 3774, л. 375
[9] Там же, кн. 3809, л. 30 об. — 31 об.
[10] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVI, д. 562, л. 93 об.
[11] Там же, д. 785, л. 89—156
[12] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3809, л. 79, 94—96
[13] Там же, кн. 3776, л. 118 — 118 об., 129 — 131 об.
[14] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XVIII, д. 237
[15] Не найдено
[16] ЦГАДА, Гос. архив, разряд VII, оп. 2, д. 2241
[17] См. т. 23, стр. 169—171 настоящего издания
[18] ЦГАДА, Гос. архив, разряд VI, д. 377, л. 103—148, д. 408
[19] Архив внешней политики России (далее — АВПР), Сношения России с Польшей, оп. 79/6, 1766 г., д. 67, 68, 155, 156, 380—384, 877—890, 893, 899, 1381
К примечаниям 102—110, 113—120, 126, 130—135, см. также Сб. РИО, т. 57, СПб., 1887, стр. 432—562, т. 67, СПб., 1889, т. 87, СПб., 1893, стр. 1—285
[20] Сб. РИО, т. 12, СПб., 1873, стр. 272
[21] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 74/6, 1766 г., д. 56, 162—165, 168, 576, 577
[22] Memoires de Frederic II roi de Prusse écrits en français par lui même, t. II, Paris, 1866, p. 321—322
[23] Forschungen zur deutschen Geschichte, Bd. IX, Gottingen, 1869, S. 182
[24] АВПР. Сношения России с Турцией, оп. 89/8, 1766 г., д. 393—404, 407
[25] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 53/5, 1765 г., д. 66, л. 1—12
[26] Там же, 1766 г., д. 69а, 71, 182, 185—189, 192, 193, 586
[27] *Lord Mahon.* History of England from the peace of Utrecht to the peace of Versailles 1713—1783, vol. V. Leipzig, 1853, p. 154
[28] См. т. 26, стр. 470 настоящего издания
[29] АВПР, Сношения России с Англией, оп. 35/6, 1766 г., д. 52, 53, 176—184.

[114] Сборник Русск. истор. общества, XII, 241—292 [1].
[115] Дела польские 1767 года [2].
[116] Дела прусские 1767 года [3].
[117] Дела австрийские 1767 года [4].
[118] Дела турецкие 1767 года [5].
[119] Дела шведские 1767 года.
[120] Дела датские того же года [6].
[121] В Госуд. архиве [7].
[122] Сборн. Русск. истор. общ., XII, 292 и след [8]
[123] Max Duncker — Aus der Zeit Friedrichs des Gross. et c. 162 [9].
[124] Моск. архив мин. ин. д. [10]
[125] Государ. архив [11].
[126] Дела польские [12] и турецкие 1768 года [13].— Pamiętniki do panowania Augusta III i pierwszych lat Stanisl. Augusta [14].
[127] Москов. архив мин. иностр. дел [15].
[128] Материалы для истории православия в Западной Украине — Архив Юго-Западной России, I, II [16].
[129] Pamiętnik do historyi polskiej Adama Moszczynskiego, 126 [17].
[130] Дела прусские 1768 года [18].—Max Dunker—Aus der Zeit et. c. [19]
[131] Дела австрийские 1768 года [20].
[132] Дела французские того же года [21].
[133] Дела шведские 1768 года.
[134] Дела датские того же года [22].
[135] Дела английские того же года [23].
[136] Сборн. Русск. истор. общ., XII, 343 и след. [24]

---

[1] Сб. РИО, т. 12, стр. 241—300.
[2] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 79/6, 1767 г., д. 157—159, 407, 409—415, 417—419, 431—433, 903—917, 1384.
[3] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 74/1, 1767 г., д. 1, 5, 6; оп. 74/6, 1767 г., д. 169 — 174, 579.
[4] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 32/6, 1767 г., д. 461, 462, 465, 467.
[5] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 89/8, 1767 г., д. 408—417.
[6] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 53/5, 1767 г., д. 203—208, 210.
[7] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XI, д. 983, л. 14; см. также «Русский архив» № 1, М., 1865, стб. 773.
[8] Сб. РИО, т. XII, стр. 300 и след.
[9] *Max Duncker.* Aus der Zeit Friedrichs des Grossen und Friedrich Wilhelms III, Leipzig, 1876, S. 162.
[10] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XV, д. 160, л. 9—24 об.
[11] См. Сб. РИО, т. 87, стр. 121—122.
[12] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 79/6, 1768 г., д. 74, 78, 445—448, 922—941, 944, 945, 1391.
[13] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 89/8, 1768 г., д. 419—434.
[14] Pamiętniki do panowania Augusta III i pierwszych lat Stanisława Augusta przez nieznajomego autora. Wydana z rękopismu przez *Edwarda Raczyńskiego*, t. 1—3, Poznan, 1840.
[15] ЦГАДА, ф. 168, Сношения русских государей с правительственными местами и с должностными лицами по внутренним делам, д. 104, л. 1.
[16] Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII столетии. — «Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов», ч. 1, т. II—III, Киев, 1864.
[17] *Adam Moszczeński.* Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego, Warszawa, 1905, str. 99.
[18] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 74/1, 1768 г., д. 4; оп. 74/6, 1768 г., д. 175—178, 181, 182, 581, 582.
[19] *Max Duncker.* Aus der Zeit Friedrichs des Grossen und Friedrich Wilhelms III, S. 113—265.
[20] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 32/6, 1768 г., д. 471, 472; д. 473, л. 82—87 об.; д. 477.
[21] АВПР, Сношения России с Францией, оп. 93/6, 1768 г., д. 73, 235—243.
[22] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 53/5, 1768 г., д. 214, 215, 217—221.
[23] АВПР, Сношения России с Англией, оп. 35/6, 1768 г., д. 199—209.
[24] Сб. РИО, т. 12, стр. 343 и след.



ИСТОРИЯ РОССИИ
В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Текст 28 тома
«Истории России с древнейших времен»
подготовлен к печати
Н. В. СИНИЦЫНОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

Конец 1768 и 1769 год

Привитие оспы императрице и наследнику престола; торжество по этому случаю. — Известие о разрыве мира турками; письма Екатерины по этому случаю к Салтыкову и И. Г. Чернышеву. — Учреждение Совета. — Приготовления к войне. — Назначение кн. А. М. Голицына и гр. Румянцева главнокомандующими двух действующих армий — Предложение Орлова об экспедиции в Средиземное море. — Эмиссары к христианскому народонаселению Балканского полуострова. — Усиленный набор. — Учреждение ассигнационного банка. — Учреждение ордена св. Георгия — Нападение крымских татар. — Действия Первой армии. — Отозвание кн. Голицына и назначение на его место Румянцева, а главнокомандующим Второю армиею — гр. П И. Панина. — Занятие Хотина и дунайских княжеств — Утверждение на берегах Азовского моря. — Строение кораблей там. — Помощь грузинским владельцам. — Действия на Кубани — Весть о движении магометанского народонаселения в России и меры для его предупреждения. — Порта старается склонить запорожцев к измене. — План отвлечения татар от Порты, составленный в Петербурге. — Морская экспедиция к берегам Греции. — Гр. Алексею Орлову поручено руководить восстанием турецких христиан. — Воззвание к ним. — Отношения к Черной Горе. — Стефан Малый. — Сношения с Венециею. — Пребывание кн. Юрия Долгорукого на Черной Горе. — Сношения с Паоли. Переписка Екатерины с Бельке и Вольгером по поводу войны. — Отношения к Польше; смена Репнина Волконским. — Продление союза между Россиею и Пруссиею. — Намерение Австрии сблизиться с Пруссиею, чтобы сдержать Россию. — Свидание императора Иосифа с Фридрихом II в Нейссе. — Отношения к Франции, Дании, Швеции и Англии.

В начале октября 1768 года двор и высшее общество в С.-Петербурге были чем-то озабочены; с иностранцами не говорили о важном предмете, который всех занимал; но проведать о нем было нетрудно: императрица была намерена привить себе и наследнику престола оспу. Страшный бич давно уже опустошал Европу, не щадя никого; средств против него не было у науки. Наконец придумано предохранительное средство: прививание оспенного яда. Но легко понять, какое впечатление было произведено этим средством на большинство: брать яд от больного, вносить его в здоровый

организм! Медики вопили против безумной новизны, вопили против нее проповедники с кафедр церковных. Но средство своею действительностию приобретало все более и более доверия, и Екатерина решилась собственным примером уничтожить колебание русской публики и предохранить свой народ от страшного бедствия. Побуждения свои она всего лучше объясняет в письме к Фридриху II, который был против привития оспы. «С детства, — пишет императрица, — меня приучили к ужасу перед оспою, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом, целые пять месяцев была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностию подобного положения, что считала слабостию не выйти из него. Мне советовали привить оспу сыну. Я отвечала, что было бы позорно не начать с самой себя, и как ввести оспопрививание, не подавши примера? Я стала изучать предмет, решившись избрать сторону, наименее опасную. Оставаться всю жизнь в действительной опасности с тысячами людей или предпочесть меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное». Выписан был из Англии искусный доктор Димсдаль, у которого из 6000 подвергшихся оспопрививанию умер только один трехлетний ребенок. 12 октября 1768 года императрица привила себе оспу, и ее примеру немедленно последовало множество знати. «Весь Петербург, — писала Екатерина, — хочет прививать себе оспу, и те, которые привили, чувствуют себя хорошо. Я была очень удивлена, увидавши после операции, что гора родила мышь; я говорила: стоило же кричать против этого и мешать людям спасать свою жизнь такими пустяками! Я не ложилась в постель ни на минуту и принимала людей каждый день. Генерал-фельдцейгмейстер граф Орлов, этот герой, подобный древним римлянам лучших времен республики по храбрости и великодушию, привил себе оспу и на другой день после операции отправился на охоту в страшный снег»[1]. Через неделю привита была оспа великому князю.

22 ноября Сенат, депутаты комиссии нового Уложения и члены всех присутственных мест собрались в соборную церковь Рождества богородицы (Казанский собор), где после обедни читан был сенатский указ, которым на будущие годы 21 ноября устанавливалось по всей России торжество в память привития себе оспы императрицею и великим князем, в память «великодушного, знаменитого и беспримерного подвига». По прочтении указа и по выслушании молебна сенаторы, депутаты комиссии и члены коллегий и канцелярий от-

правились во дворец благодарить государыню и поздравить с выздоровлением, причем старший сенатор граф Кирилл Разумовский говорил речь: «Прими, всемилостивейшая императрица, из уст наших усерднейше приносимое тебе от всего народа поздравление о исцелении твоей собственной особы и твоего вселюбезнейшего сына и наследника. Прими и благодарение чистосердечное за спасение на будущие времена бесчисленных твоих рабов. Всякий возраст и обоего пола род человеческий объемлет твои ныне стопы, почитая в тебе божию ко спасению своему посредницу, и, твоим примером научася, призовет бога в помощь, да исцелеет он и дом его от неминуемой язвы посредством врачевания, тобой ныне оживотворенного». Екатерина отвечала: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, оного страшася, оставалися в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы. Вы можете уверены быть, что ныне и паче усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого особо».

От комиссии Уложения говорил речь депутат Гавриил, епископ тверской: «Ваше намерение, чтобы законодательством привесть Россию к такому совершенству, дабы российский народ, сколько возможно по человечеству, в свете благополучнейшим и паче всех справедливостию процветающим был. Ваши премудрые предписания, руководящие нас к тому, наполняют нас отменным к в. и. в-ству усердием, любовию и благоговением. Ваше умножающееся благополучие жизнь вашу делает нам драгоценною; но при всем том едино еще оставалось, что нас смущало, опасность той язвы, которую климат сей делает всем общею; в. и. в-ство, желая совершить и утвердить наше блаженство, наше смущение своим великодушием утишили и, приняв на себя опыт опасный, опасность нашу отвратили». Екатерина отвечала, что с удовольствием принимает поздравление депутатов и не сомневается в их искренности, ибо ежедневно видит, с какою ревностию и усердием трудятся они в порученном им деле; они могут ожидать всегдашних знаков ее благоволения, ибо она смотрит на их труды как на полезнейшие для всех и каждого[2]. Семилетнему младенцу Александру Маркоку, от которого взята была оспенная материя для императрицы, пожаловано было дворянское достоинство, причем он из Маркока переименован был Оспенным. Димсдаль пожалован бароном, лейб-медиком, действительным статским советником и ежегодною пенсиею в 500 фунтов стерлингов за то, что как самой императрице и великому князю, так и множеству жителей столицы «весьма попечительно, искусно и счастливо прививал оспу и разрушил

для пользы всенародной гидру предубеждения относительно к сей поныне толь бедственной болезни»[3].

Но среди этих торжеств, поздравлений императрица была сильно озабочена турецкою войною, совершенно неожиданною, к которой Россия вовсе не была готова. Екатерина писала в Москву графу Петру Семенов. Салтыкову: «Возвратясь первого числа ноября из Царского Села, где я имела оспу, во время которой запрещено было производить дела, нашла я здесь полученное известие о заарестовании моего резидента Обрезкова в Цареграде, каковой поступок не инако мог принят быть как объявление войны; итак, нашла я за необходимое приказать нашему войску собираться в назначенные места, команды же я поручила двум старшим генералам, т. е. главной армии князю Голицыну, а другой — графу Румянцеву; дай боже первому счастье отцовское[4], а другому также всякое благополучие! Если б я турок боялась, так мой выбор пал неизменно на лаврами покрытого фельдмаршала Салтыкова; но в рассуждении великих беспокойствий сей войны я рассудила от обременения поберечь лета сего именитого воина, без того довольно имеющего славы. Я совершенно уверена, что, на кого из моих генералов ни пал бы мой выбор, всякий бы лучше был соперника визиря, которого неприятель нарядил. На начинающего бог! Бог же видит, что не я зачала; не первый раз России побеждать врагов; опасных побеждала и не в таких обстоятельствах, как ныне находится; так и ныне от божеского милосердия и храбрости его народа сего добра ожидать». В письмах Екатерины за границу к графу И. Григ. Чернышеву выражается то же одушевление и надежда на успех: «Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал; я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором; надобно было тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не давать туркам кричать. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства не маленькие, и Екатерина II иногда строит всякого рода испанские зáмки; и вот ничто ее не стесняет, и вот разбудили спавшего кота, и вот он бросится за мышами, и вот вы кой-что увидите, и вот об нас будут говорить, и вот мы зададим звон, какого не ожидали, и вот турки будут побиты»[5].

Первою мыслию Екатерины после получения известия о разрыве было восстановление елисаветинской конференции, о чем она объявила Панину. Мы знаем, как относился он к елисаветинской конференции, в восстановлении которой видел конец своей власти и влияния. Но Екатерина не любила медлить в подобных обстоятельствах; она пишет ему: «Прошу

вас мне сказать по совести, кого вы думаете лучше посадить в Совет, о котором мы говорили. Напишите хотя теперь на цидулке»[6]. Как быть? От Совета не отделаться! По крайней мере пусть он не будет так похож на елисаветинскую конференцию, не будет постоянным. Кого посадить? Не назвать Григория Орлова — явно показать свою враждебность и возбудить против себя неприятное чувство в государыне; да хотя бы и не назвать, все же назначат; надобно назвать и обставить его другими так, чтоб не был опасен. Панин отвечает: «Я обязан в. в-ству прямодушно сказать, что от сегодня до завтра никак невозможно вдруг учредить непременный Совет или конференцию для течения дел и их отправления, да и сие на первый год истинно не нужно, а может быть затруднительно в рассуждении скорости времени, ибо на такое основание много дней пройти может в едином распоряжении обряда, по которому вести дела и их отправление. Итак, на единый завтрашний день не изволите ль, в. и. в-ство, назначить в своих покоях чрезвычайное собрание, каковы в царствование ваше уже бывали и каковы и прежде при предках ваших бывали по всяким чрезвычайным происшествиям, да и в самое время непременного кабинета импер. Анны I. А на сих основаниях и по сущей непорочности души моей во всех ее мыслях пред вами приемлю смелость представить нужду настоящего Совета в следующих персонах, чтоб они, рассуждая между собою, согласили разные предметы дел и постановили пред очами в. в-ства план первому на то движению, а именно граф Григорий Григорьевич (Орлов) по особливой доверенности к нему и его такой же должной привязанности к славе, пользе и спокойствию в. величества, как и по его главному управлению Артиллерийским корпусом». Потом Панин называет графа Захара Чернышева по его месту в Военной коллегии, генералов, которые могут быть назначены главнокомандующими, генерал-прокурора князя Вяземского для финансов, себя, Панина, и вице-канцлера князя Голицына, в заключение говорит: «И наконец, не соизволите ль указать тут же призвать фельдмаршала графа Разумовского, хотя бы сие только было в рассуждении знатности первого вашего класса, чем импрессия, особливо у других дворов, еще важнее и решительнее будет, ибо по обращению его при дворе его считают в доверенности у в. в-ства, а тем самым тем более удостоверятся о согласии и единодушии предпринятых мер вследствие держащегося совета»[7].

4 ноября в 10 часов поутру по особливому ее и. в-ства повелению собрались ко двору назначенные накануне лица: граф Разумовский, князь Александр Мих. Голицын (генерал-аншеф), граф Никита Ив. Панин, граф Захар Григ. Чернышев, граф Петр Ив. Панин, князь Михаил Никит. Волконский, князь Александр Мих. Голицын (вице-канцлер), граф

Григорий Григ. Орлов, князь Вяземский. Их ввели в особо назначенную для Совета комнату, куда явилась сама императрица и начала заседание словами: «По причине поведения турок, о чем граф Н. И. Панин изъяснит, я принуждена иметь войну с Портой; но ныне вас собрала для требования от вас рассуждения к формированию плана: 1) какой образ войны вести; 2) где быть сборному месту; 3) какие взять предосторожности в рассуждении прочих границ империи. В подробности время не дозволяет входить; оные оставить исполнительным местам, как-то: Военной коллегии по ее делам, Иностранной по ее делам. Граф З. Г. Чернышев объявит вам, в каком распределении теперь войска наши находятся и краткое известие о действиях наших войск в прежнюю войну. Денежные способы, если кто примыслит с меньшим народным отягощением, то имеет оные объявить, ибо они впредь годятся, а на теперешние случаи исправиться можно».

Когда императрица кончила, граф Н. И. Панин стал читать изложение событий, поведших к войне: выходило, что Россия не упустила ни одного случая уничтожить все недоразумения мирным образом, что Порта — зачинщица войны. После Панина граф Чернышев прочел изложение войны России с Турцией при императрице Анне, в заключение объявил, в каком состоянии находится теперь войско и в каких местах расположено.

По вопросу о предосторожностях относительно других границ империи Панин утверждал, что по отношениям к Швеции нет никакой опасности с финляндской стороны; можно оставить одни гарнизоны в крепостях. Но Чернышев утверждал, что надо бы оставить на севере несколько полков по причине близости к границе столичного города. С эстляндской стороны положили оставить полка два; с лифляндской — два полка кирасир и три полка пехоты; с смоленской — два полка пехотных и три конных; для защиты астраханских границ перевесть из Оренбурга два полка. Но Чернышев вспомнил о частых тревожных вестях с востока, с Поволжья и предложил, что для внутреннего спокойствия нужно оставить один драгунский полк в Симбирске; Екатерина прибавила, что нельзя ли употребить для этой же цели отряд из казанских татар. В Москве бывали всегда три полка; положили оставить только два полка и сделать рассмотрение о убавке караулов.

На вопрос, какую вести войну, собрание единогласно объявило, что надобно вести войну наступательную; говорили, что надо бы предупредить неприятеля. Тут Орлов сделал неожиданное предложение: «Когда начинать войну, то надлежит иметь цель, на какой конец оная приведена быть может, а ежели инако, то не лучше ли изыскивать другой способ к избежанию». Панин был, видимо, смущен этим предложением

своего противника, тем более что Орлов, как хорошо знали, заявлял мнения императрицы, а если и свои, то с ее согласия. Панин отвечал не на вопрос. «Желательно, — сказал он, — чтоб война могла кончиться скоро; к этому способ, собравши все силы, наступать на неприятеля и тем привести его в порабощение». Орлов заметил на это, что вдруг решительного дела сделать нельзя. «Надобно стараться,— отвечал Панин, — войско неприятельское изнурять и тем принудить, дабы оно такое же произвело действие в столице к миру, как оно требовало войны».

Положили разделить армию на три части: на корпус наступательный до 80 000 человек; оборонительный, или украинский, до 40 000 и обсервационный от 12 до 15 000. В конце заседания Орлов предложил послать в виде вояжа в Средиземное море несколько судов и оттуда сделать диверсию неприятелю, но чтоб это было сделано с согласия английского двора. Это предложение было оставлено до будущего рассуждения.

Через день, 6 ноября, другое заседание Совета. При чтении журнала прошедшего заседания переменили: с лифляндской стороны вместо трех пехотных полков оставили только два. Относительно операционного плана положили: если турки вместе с польскими конфедератами пойдут в Польшу в левую сторону, то командующему русским наступательным корпусом довольствоваться удалением от генерального сражения и распорядиться так, чтоб привести в безопасность свои границы, также прикрывать часть Польши и особенно Литву, чтоб этим не только сохранить свои силы, но доставить безопасность и находящимся в Польше друзьям, а неприятеля, проводя маршами до осени, привести в изнурение, не обращая внимания на то, что он разорит часть Польши; стараться выставлять ему всевозможные препятствия в подвозе съестных припасов при возвращении его к своим границам и при удобном случае воспользоваться его изнеможением. Если же турки замедлят вступлением в Польшу, то поскорее взять Каменец и, устроя магазины, стать около этой крепости; если же окажется, что турецкого войска немного и можно взять над ним верх, то овладеть Хотином.

В это заседание Екатерина уже сама предложила на обсуждение вопрос Орлова о цели войны в такой форме: «К какому концу вести войну и в случае наших авантажей какие выгоды за полезнее положить?» Отвечали, что при заключении мира надобно выговорить свободу мореплавания на Черном море и для этого еще во время войны стараться об учреждении порта и крепости; а со стороны Польши установить такие границы, которые бы никогда не нарушали спокойствие. В этом же заседании назначены были старшие генералы: для наступательного войска — князь Александр Мих.

Голицын, для оборонительного — граф Румянцев. Голицын, находившийся тут, на коленях благодарил за оказываемую ему доверенность. В этом назначении Голицына видели торжество Чернышева, которому таким образом удалось удалить нелюбимых генералов: Петра Ив. Панина вовсе, а Румянцева на второй план.

Мы видели, что в первом же заседании своем Совет обратился к истории для уяснения дела, к последней войне турецкой. В третьем заседании, 12 ноября, генерал-прокурор опять обратился к мерам, какие были приняты в 1737 году относительно продовольствия армии; а граф Петр Ив. Панин предложил, что надобно составить историческое описание последней турецкой войны. После этого императрица спросила: «Если кто что придумал для пользы настоящих дел, то может свое предложить». Тут объяснилось, зачем в первое заседание Орлов спрашивал о цели войны, зачем во второе сама Екатерина повторила вопрос: Орлов стал читать свое мнение «об экспедиции в Средиземное море». После разных рассуждений об этом мнении положили: отправить в Морею, к далматам, в Грузию и ко всем народам нашего закона, живущим в турецких областях, для разглашения, что Россия принуждена вести войну с турками за закон; а к черногорцам для того послать, что если экспедиция состоится, то по положению земли их можно иметь в ней безопасное пристанище. Вице-канцлер представил список народов, желающих по единоверию быть под властию России. План был составлен на основании известий, привезенных с места разными эмиссарами. Еще в 1763 году, когда со стороны Турции начала грозить опасность вследствие вмешательства ее в польские дела, граф Григорий Орлов отправил к *спартанскому народу* двоих греков — Мануила Саро и артиллерийского офицера Папазули. Саро возвратился из своей поездки в мае 1765 года и привез известие, что спартанский народ христианского закона и греческого исповедания, и хотя живет в турецких владениях, но туркам не подчинен и их не боится, даже воюет с ними; живет между горами и в таких местах крепких, что туркам и подступиться к нему едва возможно. Как скоро греки услыхали от Саро предложение, чтоб в случае войны России с турками восстали против последних, то старшины, или капитаны, Трупаки, Дмитряки, Кумудуро, Мавромихали, Фока и другие созвали большое собрание и объявили, что против турок как неприятелей православной христианской веры рады стоять с немалою силою, причем один грек, Бинаки, богатый и почтенный *дворянин,* говорил в собрании, что он поднимет и лакедемонов, турецких подданных, только б быть им под покровительством русской государыни. Есть еще народ вольный греческий, область большая, называемая Каромиро; капитаны ее Стафа, Букувало, Макрипули, Жудро

и другие по своему православию в турецком подданстве быть не хотят, поднимутся против турок с великою радостию и могут к себе пригласить множество других греков. Есть также провинция Химара, народ в ней вольный, называемый Малой Эльбании (говорит и по-гречески), турку никогда не покорялся, закона православного греческого, в состоянии воевать против турка с немалою силою, из этого народа король неаполитанский содержит целый полк. В этих областях Саро и Папазули были сами и обнадежены их жителями, что если у России с турками будет война, то они все единодушно встанут против Порты и могут соединиться все в одном месте, потому что расстояние между этими областями не более 150 верст. «По моему усердию, — писал Саро, — смею представить о том, чтоб отправить в Средиземное море против турок 10 российских военных кораблей и на них нагрузить пушек довольное число: завидевши их, греки бросились бы на соединение с русскими; у греков есть свои немалые суда, но их надобно снабдить пушками; сами же греки — народ смелый и храбрый». Орлов дал Саро свидетельство за собственноручною подписью: «Сим свидетельствую, что Мануил Саро был от меня посылан с комиссиею в турецкую область 1763 года и исправлял там ему порученное дело добропорядочно». Для исправления того же дела в дунайские области ездил болгарин Каразин.

Английский посланник Каткарт в донесениях своему двору оставил описание разговора своего с одним из этих эмиссаров, который рассказывал, что сначала императрица и министры нашли проект сопряженным с большими затруднениями, но потом принялись за него с большим жаром. В Морее, по словам эмиссара, много гаваней, много мореплавателей, мало турок и предосторожности. Греки жаждут свободы, и небольшая помощь даст им возможность добыть ее, а укреплением Коринфского перешейка сохранить ее. Албания, Эпир, Занте, Кефалония и соседние острова последуют примеру Мореи. Кандии восстать трудно: на ней много турецких крепостей; но можно укрепить один или два острова в архипелаге и тем воспрепятствовать снабжению Константинополя съестными припасами через Дарданеллы. У греков большие основания ненавидеть турецкое правительство, но они предпочитали его державам римско-католического исповедания, ибо турки отличаются большею терпимостию; греки никогда не захотели бы принадлежать Австрии и ненавидят Францию. С обычною страстностию Екатерина занялась блестящим предприятием и начала близким людям высказывать свои надежды. Чрез четыре дня после решения Совета об экспедиции в Средиземное море Екатерина писала Ив. Григ. Чернышеву: «Я так расщекотала наших морских по их ремеслу, что они огневые стали, а для чего, завтра скажу;

если хочешь, сам догадайся. Я на сей час сама за них взялася, и, если бог велит, увидишь чудеса». Чрез несколько времени писала: «У меня в отменном попечении ныне флот, и я истинно его так употреблю, если бог велит, как он еще не был; а я уже нарядила, не скажу куда, а матросы пьяные по улице сказывают: в Азовет идем»[8].

Борьбе дано было широкое основание, широкие размеры. Надобно было подумать о средствах. Полки стягивались на юг, обнажались другие границы, обнажались внутренние области, опасное Поволжье. 16 ноября фельдмаршал Салтыков писал императрице: «В Москве и около оной воровство, разбоев весьма умножается; ныне полки выступили, особливо конной команды никакой не осталось, и разъездов быть не из чего»[9]. Екатерина отвечала: «Призовите к себе знатнейших из разных в Москве частей жителей и, с ними поставя на мере, каким образом для спокойствия их самих учредить как конную, так и пешую команду для полиции на собственном всех содержании, и ко мне немедленно пришлите. А как известно, что многие из московских жителей имеют при себе множество людей, в том числе и гусар, то неможно ли, из оных составя команду, учредить в городе патрули и, вооружив оных, отдать в ведомство полиции»[10].

Но надобно было подумать об усилении в случае нужды действующей армии, о пополнении убыли в ней; 8 октября 1768 года велено было произвести со всего государства рекрутский набор 300 душ по одному; 14 ноября состоял указ произвести еще такой же набор[11]. Положено было также взять в солдаты незанятых сыновей священнослужительских и причетнических. Сделано было вычисление: церквей в России в наличности 17 518, при них священно- и церковнослужителей должно быть 78 651 человек; а теперь налицо 66 025, следовательно, недостает 12 627; напротив того, при священно- и церковнослужителях находится детей, к церквам не определенных, от 20 лет и выше 5916, от 15 до 20 лет — 6501, от 15 лет и ниже — 57 870, а всего — 70 287 человек; безместных священников и дьяконов — 1472, дьячков, пономарей и сторожей — 1565. На этом основании Сенат доложил, не угодно ли будет взять от 15 до 40 лет четвертую часть, а три части остаются для церквей, да из безместных, наказанных и запрещенных церковнослужителей — половину; семинаристов, которых считается 4905, не брать. Императрица согласилась[12].

Наконец, ввиду финансовых затруднений, вызванных турецкою войною, решились на меру, которой никак не хотели принять в царствование Елисаветы, приняли было при Петре III и отменили в начале царствования Екатерины. В заседании Совета 17 ноября генерал-прокурор читал об учреждении вместо денег ассигнаций. 29 декабря издан был манифест: «В толь обширной империи, какова есть Россия,

неможно, кажется, довольно подать способов к обращению денег, от которого много зависят благоденствие народа и цветущее состояние торговли. Правда, что одно пространство земель империи нашей есть уже некое препятствие совершенству того обращения; однако каждое благоразумное правление в таковом случае обязано преодолевать, ежели возможно, естественные затруднения. Удостоверились мы, что тягость медной монеты, одобряющая ее собственную цену, отягощает ее ж и обращение; во-вторых, что дальний перевоз всякой монеты многим неудобностям подвержен, и, наконец, третие, увидели мы, что великий есть недостаток в том, что нет еще в России по примеру разных европейских областей таких учрежденных мест, которые б чинили надлежащие денег обороты и переводили бы всюду частных людей капиталы без малейшего замедления и согласно с пользою каждого. Ежедневный опыт являет, какие собрали плоды многие государства от таковых установлений, по большей части банками именуемых. Ибо сверх сказанных уже выгод приносят они еще ту полезность, что выдаваемые в публику из тех мест на разные суммы печатные с подписанием обязательства разных именований средством их кредита добровольно между народа употребляются так, как наличная монета, не имея, однако ж, сопряженных с нею тягостей в перевозках и трудностей в сбережении их, знатно облегчают самым делом обращения денег. Итак, с 1 января будущего 1769 года установляются здесь, в С.-Петербурге и в Москве, под покровительством нашим два банка для вымена государственных ассигнаций, которых выдаваемо будет из разных правительств и казенных мест, от нас к тому означенных, столько, а не более, как в вышесказанных банках капитала наличного будет состоять. Сим государственным ассигнациям иметь обращение во всей империи нашей наравне с ходячею монетою, чего для все правительства и казенные места должны принимать те ассигнации во все государственные сборы за наличные деньги без малейшего затруднения. Сверх того, повелеваем, чтоб все частные люди, которые будут впредь чинить денежные платежи в казенные сборы, взносили бы неотменно в числе каждых 500 рублей государственную ассигнацию в 25 рублей. Каждый из частных людей может всегда, когда похощет, обратить те свои ассигнации в наличные деньги, представя из оных московскую в Московском банке, а санкт-петербургскую — в Санкт-Петербургском. Сим банкам мы предписали такие правила, по которым они платеж производить должны без малейшего замедления и потеряния времени. Мы императорским нашим словом торжественно объявляем за нас и преемников престола нашего, что по тем государственным ассигнациям всегда исправная и верная последует выдача денег требующим оную из банков» [13].

На все время войны с Турциею положено было брать ежегодно с Лифляндии и острова Эзеля по 100 000 талеров, а с Эстляндии — по 50 000 [14]. Ввиду сокращения расходов императрица написала в Сенат собственноручно: «Работу на Балтийском порте остановить, а о каторжных сделать рассмотрение, дабы они праздны не были» Сенат велел распределить их в другие места [15]. В 1768 году военные издержки простирались до 1 250 000 [16].

Но Екатерина не хотела ограничиться одними материальными средствами. Воспитанница Монтескье должна была приписывать важное значение чувству чести при русской правительственной форме, должна была считать своею обязанностью возбуждать и поддерживать это чувство как источник доблестей и потому установила орден св. Георгия за военные подвиги.

С 1769 года Совет получил характер постоянного учреждения. Этот год должен был представить поверку всех его распоряжений. Можно было думать, что до весны не будет никакого столкновения с неприятелем; но 15 января крымский хан Крым-Гирей с большим войском (с лишком 70 000 человек) перешел русскую границу у местечка Орла, намереваясь с главными силами вторгнуться в Елисаветградскую провинцию, а оттуда в Польшу, где ждали его конфедераты; они указывали ему и дорогу. Татары, встреченные пушечными выстрелами в Елисаветграде, не решились брать эту крепость, а рассеялись для опустошения и сожжения окрестных селений; та же участь постигла и польские владения, когда явились туда союзники конфедератов. Опустошив, по обычаю, земли и врагов, и друзей, крымские разбойники, довольные ясырем, ушли за Днестр; и хан отправился в Константинополь, повез султану в подарок пленных женщин. Из Елисаветградской провинции было уведено более 1000 человек пленных, много скота, сожжено в ней было более 1000 домов. Другой татарский отряд пробрался к Бахмуту и опустошил также окрестности; отсюда выведено было пленных около 800 человек. Но это было последнее в нашей истории татарское нашествие!

Русская наступательная армия должна была не допускать турок войти в Польшу. 15 апреля она перешла Днестр по направлению к Хотину. Ее действия начались удачно; но князь Голицын не решился осаждать Хотина по недостатку артиллерии и продовольствия, потому что вся Молдавия была страшно опустошена турками. 21 апреля русское войско отступило от Хотина, турки напали на обоз, но были прогнаны с большим уроном. 24 апреля кн. Голицын перешел обратно Днестр [17].

Известие о своих движениях он прислал в Петербург с корнетом графом Минихом, который позволил себе рассказы-

вать, что дела идут нехорошо около Хотина. Екатерина позвала к себе Миниха, разговаривала с ним более двух часов и написала Панину (3 мая): «Как я более двух часов разговаривала с графом Минихом, то я приметила столько étourderie (взбалмошности), как и лжей, из его речей. Итак, прошу ни о чем не судить прежде вашего сюда в Совет завтра приезда; тогда усмотрите из реляции кн. Голицына, что дело не так, как Миних врал»[18]. Нам неизвестно, что «врал» Миних, но обратный переход Голицына через Днестр говорил сам по себе очень громко; и 6 мая написан был ему рескрипт: «Чем меньше по первой вашей реляции о столь успешном разбитии неприятеля мы ожидать могли так скорого и неприятного тому оборота, толь с большим удивлением не находим мы в вашей реляции подробного описания причин, кои, несумненно, вас в такую крайность поставили, чтоб назавтра выпустить из своих рук одержанную славу отверстия первой кампании и весь приобретенный авантаж над неприятелем. Как наша совершенная доверенность к вам и ко всему нашему генералитету нимало тут не претерпевает, то мы и восхотели вам только предписать, чтоб вы собрали военный совет и изыскали какое-либо вторичное над неприятелем предприятие, заменяющее вновь какою-либо приобретаемою славою оружия нашего и пользою в последовании сей кампании настоящее неприятное приключение вашего так скорого назад возвращения, подающего в публике повод к разным истолкованиям». Голицын оправдывался, что «не взял Хотина вследствие затруднений, которые надобно было преодолевать приступом и знатною потерею людей, на что он без высочайшего соизволения отважиться не смел. Принужден же был тотчас же обратно переправиться на сю сторону Днестра тем, что нельзя было оставаться на той стороне, не подвергая малочисленной армии очевидному изнурению и опасности быть подавлену от неприятеля с разных сторон, а особливо не имея от гр. Румянцева никакого уведомления и ответа на письма, что́ он в сем случае с своей стороны для облегчения мне и для разделения неприятельских сил предпримет. Необходимость заставляет податься еще и отсюда (от реки Калуса) к ближним магазинам в Польшу. О сожжении дунайского моста и тамошнего магазина не упустил я старания прилагать, но к сему предприятию никого и ни за какие деньги сыскать не мог, не мог для сего и легкого корпуса войск отделить, не отдавая оный совсем на жертву»[19]. Но когда в Совете 18 мая прочтена была реляция кн. Голицына от 3 мая, в которой он извещал, что перевел все войска на эту сторону Днестра, мосты снял, пехоту поставил в лагерь и конницу расположил по кантонир-квартирам, то императрица объявила, что главнокомандующему надобно сделать некоторые наставления. Голицыну написан был рескрипт: «Всемерно

слава оружия нашего требует отмены в настоящей вашей позиции, ибо дело не в том состоит, чтоб держаться только заготовленных магазинов на первый случай, а надобно упреждать неприятеля и отнюдь не допускать его до приобретения себе в пользу тех выгод, кои мы сами пред ним выиграть и удобно сохранить можем. Повторяем вам желание наше, и со славою ружия, и с истинною пользою отечества согласное, чтоб вы употребили сие примечание в пользу и к концу кампании, переходя со всею армиею на тамошний берег Днестра, пошли прямо на неприятеля и, всячески его притесняя, принуждали не только к поспешному за Дунай возвращению, но и изыскивали случай окончить кампанию с одержанием победы, дабы тем еще вернее Молдавию очистить и доставить себе свободу к покорению Хотина, следовательно, и к занятию зимних квартир на самом Днестре»[20].

Скопление турецких войск у Хотина и попытка турок переправиться за Днестр заставили Голицына двинуться снова в июне к этой реке. 200 000 переправившихся турок были прогнаны назад ген.-майором кн. Прозоровским. Сам Голицын переправился во второй раз за Днестр в первых числах июля, блистательно отбил нападение многочисленного неприятеля и обложил Хотин, гарнизон которого находился в отчаянном положении по недостатку продовольствия и тесноте, производившей повальные болезни. Великий визирь Магомет Эмин-паша, хотевший прежде вторгнуться в Новую Россию, узнавши об опасном положении Хотина, решился двинуться к нему на помощь и отрядил наперед крымского хана с 40 000 татар. 22 июля хан напал на русские войска под Хотином, но был отражен с большим уроном и поспешно отступил. Но 25 числа показалось турецкое войско, отправленное визирем под начальством Али Молдаванджи-паши, который соединился с ханом и шел к Хотину в числе более 100 000 человек; за Молдаванджи-пашою ждали самого визиря. На военном совете 1 августа решено было опять отступить за Днестр.

Это вторичное возвращение из-за Днестра произвело сильное раздражение в Петербурге, тем более что в продолжение июля получались от Голицына постоянные донесения об успехах, и от 20 июля Екатерина писала ему: «Изо всех ваших реляций от самого дня перехода вашего чрез Днестр я с удовольствием усмотрела продолжающиеся успехи ваши и разбитие разных неприятельских корпусов, с чем вас от всего сердца поздравляю, за что мы вчерашнего дня всевышнему принесли должное благодарение при пушечной пальбе». От 4 августа писала: «Из реляции вашей от 23 я усмотрела, что прошедший к Хотину сеьурс нашими несравненными войсками разбит. Храбрым нашим гусарам, которых вы столько хвалите, скажите мое удовольствие и спасибо. Козакам напо-

минайте прежние храбрые поступки сих легких войск в прошедших войнах, должность и присягу их и великие милости, кои они за то получили от предков наших, и те, кои они от нас ожидать имеют. Я не скучаю вашим пред Хотином пребыванием и рассуждаю, что иного предприятия вам сделать не должно, как взять город с меньшею и возможною потерею, а если визирь пожалует к вам, то, призвав бога в помощь, бить его»[21].

Но какое же было произведено впечатление известием, что отступили, не бившись не только с визирем, но и с передовою его ратью? Мы видели, что Голицын прямо жаловался на Румянцева; Румянцев с своей стороны писал кн. Мих. Ник Волконскому: «Вам уповательно не безызвестно, что во всех операциях я должен содействовать с кн. Александром Михайловичем; но он своими сокровенными движениями совсем приводит меня в недоумение или, лучше сказать, делает меня слепым, который ощупью достигать должен до прямого его предмета, а паче предпринятая им хотинская блокада, которая в рассуждении положения неприятельского весьма опасна и чтоб ему во вред обратиться не могла; я ж, будучи совсем неизвестен, к чему клонится его предприятие, сколько б ни желал в пользу его сделать какие-либо движения, но по причине сей неизвестности безо всякого действия остаться принужден»[22]. Неудача Голицына, естественно, доставляла выигрыш дела Румянцеву. 13 августа в Совете граф Чернышев объявил, что императрица «соизволила рассудить для некоторых обстоятельств генерала князя Голицына от армии сюда призвать; генералу графу Румянцеву принять от него команду, а генерала графа Панина (Петра Ив.) назначить командиром над Второю армией». Близкие к Паниным люди были недовольны тем, что главнокомандующим Первою армиею был назначен Румянцев, а не Петр Панин; говорили, что последний был бы гораздо способнее для наступательного движения, для одушевления армии, тогда как Румянцев слишком методичен и в то же время так искусно владеет пером, что будет очень трудно высылать ему приказания: он всегда сумеет отписаться. Назначение Румянцева приписывали интригам женщин: матери его графини Румянцевой и сестры графини Брюс[23]. В рескрипте Голицыну было сказано: «Всемилостивейше рассудили мы за благо по теперешним обстоятельствам отозвать вас от армии ко двору нашему для персональных с вами переговоров». Побуждение выяснилось в рескрипте Румянцеву: «Обстоятельства, в коих я поручаю вам команду над Первою армиею, требуют с моей стороны некоторых объяснений. Армия, перешед реку Днестр 2 ч. августа, по недостатку в фураже, несумненно, подала повод неприятелю, хотя без причины, возгордиться. Но я надеюсь от вашего искусства и военной поворотливости, что вы

недолго дозволите неприятелю пользоваться таким пустым тщеславием тогда, когда вы имеете под вашею командою армию, коя уже действительно в пять месяцев шесть раз обратила в бег беспорядочную толпу бесчисленного неприятеля, но наипаче стараться будете всячески возвратить не токмо оставленного авантажа, но еще и не упустите нам приобрести новые»[24].

Но Голицын прежде своего отъезда из армии успел отнять у турок побуждение к «пустому тщеславию». 29 августа Али Молдаванджи-паша, перейдя Днестр, напал на русское войско у Каменца, но был разбит, потерпев большой урон. Русские перешли в наступление и 6 сентября нанесли туркам новое поражение на Днестре, после чего неприятель покинул Хотин и поспешно удалился к Яссам; пустой Хотин был занят русскими 10 сентября; 18 сентября Голицын оставил армию, над которою принял начальство Румянцев. 26-го генерал-поручик Эльмпт вступил в Яссы и привел жителей к присяге императрице всероссийской. «Яссы взяты, — писала Екатерина Бибикову, — визирь ушел за Дунай, и только с ним тысяч до пяти; партия наша пошла в Бухарест; от Хотина до Ясс считается до 20 000 турецких мертвых лошадей, кои лежат по дороге. Новая молдаванская княгиня вам кланяется. Вся Молдавия учинила нам присягу и скота всем досыта»[25].

Новая молдавская княгиня жаждала блистательных успехов, движения наступательного. Получивши известие о некотором успехе нового главнокомандующего Второю армиею графа Петра Панина, она писала брату его графу Никите: «Я тем наипаче радуюсь, что все сие сделалось от храброго наступления; пора нам менее уважать уничтожения достойную толпу»[26]. Голицын был отозван за медленность, осторожность, излишнее, как казалось, уважение уничтожения достойной толпы. Тем неприятнее было для Екатерины получать донесения от нового главнокомандующего Первою армиею с жалобами на трудности. Она всеми силами старалась подстрекать самолюбие Румянцева, выставляя на вид, что все теперь в его руках, ему не нужно более сообразоваться с чужими движениями, война принимает широкие размеры, Турции грозит беда и с востока, и с запада; Европа с удивлением и страхом смотрит на потрясение оттоманского могущества; усилением требований Екатерина хотела усилить деятельность полководца, ласкательно внушая ему, что он может преодолеть все затруднения, что она считает его к этому способным. Екатерина писала Румянцеву: «Флот наш (отправленный в Средиземное море) дошел благополучно до Копенгагена. Князь Долгоруков доехал до Черногории, где великие делаются приготовления к нападению на турок; граф же Алексей Григорьевич Орлов уверяет, что он надежду имеет поставить на ноги до 40 000 человек и что он пишет

нарочно меньше, нежели иметь может. Три порта нам открыты. Я послала по Синявина, чтоб его скорее поставить в состояние начать чего ни на есть с своею экскадрою. Грузинцы выступят: Гераклий с 30, Соломон с 20 000. Итак, если все сие удастся и бог благословит вас, то великие дела увидим в нашем веку и турецкая громада подвержена будет некоторому потрясению. Еще имею известие, что некоторый бей египетский прислал в Венецию, дабы себе открыть сношения с нами; он от турок давно уже отложился, и имеет в своих руках порты, и торгует хлебом, и дает награждения тем, кои ему привозят известия, что мы побиваем турок. Сие пишу вам для того, чтоб вы усмотреть могли обстоятельства дел наших и как об нас думают и потому лучше устроить могли на вас положенную часть оных. На нас Европа смотрит. Что вы нашли людей утружденными, о том сожалею и надеюсь, что вашим попечением они придут в скором времени в прежнее состояние. Как все теперь в ваших руках, то не сомневаюсь, что вы и возьмете такие меры, кои отвратят неудобства и приведут все ваши предприятия в желаемое положение. Я совершенно внимаю все трудности, кои вы описываете, но я не сомневаюсь, что ваше усердие и благоразумие всякие препятствия преодолевать будет, в чем совершенную надежду на вас имею. За присланный ко мне прекрасный кинжал благодарствую. Добыча двух господарей еще лучше. Прошу при случае прислать самого визиря или, если бог даст, и самого султанского величества» [27].

И Бухарест был занят русскими войсками: его занял известный нам Каразин при помощи валахского вельможи Кантакузина, с которым у него уже давно был уговор действовать вместе для освобождения христиан от турок. Господари молдавский и валашский были в плену; но над нижним течением Днестра, столь важным теперь в стратегическом и политическом отношениях, господствовала сильная крепость Бендеры. 21 сентября в Совете Екатерина объявила: «Как может статься, во сто лет не случится подобной нынешней оказии, то, кажется, оною воспользоваться и надлежит, и для того, предвидится, нужно, отделя корпус от Первой армии и от Второй, велеть оному прямо идти с довольным числом осадной артиллерии к Бендерам брать оную крепость, пока оборонить ее некому». К Румянцеву Екатерина писала в октябре: «Что касается до будущей кампании, предварительно скажу вам мысли, кои бродят в моей голове и коих я еще не утвердила вовсе. Будущая кампания, кажется, должна производиться на Дунае, так как нынешней положено было происходить на Днестре. Если б же нынешняя осень нам доставила Бендеры, то половина, кажется, уже бы сделана была» [28]. Бендеры не были взяты в 1769 году; но другие части обширного плана выполнялись, несмотря на все затруднения.

Первым делом в самом начале года было занятие Азова и Таганрога, занятие беспрепятственное, потому что турки при объявлении войны не позаботились укрепиться в этих местах. Иначе распорядилась Екатерина; она предписала: «Сначала сделать укрепление в Азове для обороны от нечаянного нападения, а потом и настоящее и всю прочую работу без потеряния времени и с поспешностию производить». Но укреплений было мало; главною мыслию Екатерины было устройство флотилии на Азовском море, и она отдалась этой мысли со всей своей страстностию, что видно из переписки ее с контр-адмиралом Синявиным, которому поручено было устройство флотилии. Переписка эта очень напоминает переписку Петра Великого о любимом его деле. «Алексей Наумович! — писала Екатерина Синявину в мае, — посылаю вам гостинцы — три чертежа, которые до тамошних мест принадлежат: 1) разные виды берегов Черного моря, даже до Царяграда; 2) Азовское море; 3) корабль, на Воронеже деланный и на воду там же спущенный. Оные, я думаю, будут вам приятны и, может быть, еще, сверх того, и полезны. Пожалуй, дайте мне знать, ловко ли по реке Миюс плыть лесу в Троицкое, что на Таганроге, и ваше о том рассуждение, также есть ли по Миюсу годные леса к корабельному строению. Я чаще с вами в мыслях, нежели к вам пишу. Пожалуй, дайте мне знать, как нововыдумленные суда, по вашему мнению, могут быть на воде и сколько надобно, например, времени, чтоб на море выходить могли». Еще сильнее забота Екатерины об азовском флоте выразилась в записке ее, читанной в заседании Совета 5 ноября: «Мое мнение есть, чтоб таганрогскую гавань отдать в ведомство Синявину с тем, чтобы ее поставил в такое состояние, чтобы она могла служить как к убежищу судам, так и для построения судов, а наипаче галер и других по тому месту способных судов. Я ему дам на то и на другое на первый случай 200 000 рублев, а с ним условиться надобно о заведении там адмиралтейского департамента и служителей по мере тамошней морской силы. В реке Доне же никакой способности нету по ее мелям к построению или, лучше сказать, к плаванию вниз судов. Главный предмет — будущий год на Азовском море, кажется, быть должен для закрытия новозаведенных крепостей, чтоб сделать нападения на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостцами, дабы зунд Черного моря чрез то получить в свои руки, и тогда нашим судам способно будет крейсировать до самого Цареградского канала и до устья Дуная. Если же грузинцы овладеют краем того же Черного моря, то нашим судам в случае противной погоды одно важное прибежище прибавится. Итак, прошу, если Совет с вышеписанным согласен, прилежно входить в представления Синявина и сего ревностного начальника снабдевать всем, в чем только он может иметь нужду и надобность, чем и меня

весьма одолжите, ибо донская экспедиция есть дитя, кое у матери своей крепко на сердце лежит».

«Если грузинцы овладеют краем Черного моря». Имеретинский владелец, или царь, как у нас привыкли называть, Соломон еще с 1755 года боролся с турками за независимость, и боролся довольно удачно, пока не нашел врагов в собственных вельможах, которые с помощию турок выгнали Соломона и возвели на престол двоюродного брата его Теймураза. В исходе 1766 года Соломон прислал императрице просьбу дать ему убежище в России вместе с некоторыми князьями и дворянами или заступиться за него при Порте. И то и другое было тогда отклонено из опасения повредить мирным отношениям к Турции. Несмотря на то, Соломон, загнанный в горы, отправил в 1768 году кутаисского митрополита Максима в Петербург с просьбою о помощи; но еще до получения ответа из России ему удалось взять верх над врагами и схватить соперника своего Теймураза. Так как теперь церемониться с турками было не нужно более, то императрица решила отправить к Соломону небольшой воинский отряд, могший показать имеретинцам все преимущества порядочного войска, послать четыре пушки, два единорога и 50 000 денег. От ноября 1768 года дошла до нас любопытная записка, показывающая, как занимало Екатерину Закавказье; императрица переслала в Иностранную коллегию следующие вопросы: «1) По какой причине выезжал сюда отец Ираклия (царя грузинского)? 2) Нет ли в коллегии карты исправнее печатной и вернее и как грузинские владения лежат и к каким соседные? 3) Имеют ли грузинские владетели морские порты на Каспийском или Черном море? 4) Тифлис стоит на одних картах на Черном, а на других на Каспийском море, а в иных и в среде земли. О всем сем, в коллегии Иностранных дел выправяся, прислать ко мне. NB. Несколько времени тому, как был слух, что Ираклий принял католицкий закон; имеется ли о сем подлинное известие?» Панин писал Соломону, чтоб он постарался уговорить грузинского (карталинского и кахетинского) царя Ираклия действовать вместе против турок. Соломон сам отправился к Ираклию в Тифлис, и оба царя отправили в Петербург знатных послов с объявлением своей готовности вступить в войну с турками; а между тем осенью 1769 года Екатерина назначила действовать в Грузии против турок известного нам графа Тотлебена, который умолил императрицу принять его снова в русскую службу; Тотлебен, двинувшись из Моздока, перешел Кавказские горы долинами Терека и Арагвы и расположился на зимних квартирах в Грузии [29].

Но гораздо ближе к русским границам, по Кубани, в Кабарде надобно было иметь дело с народами магометанскими и подданными Порты. Против них двинулся отряд под

начальством генерал-майора Медема; главная сила, направленная к Кубани, состояла из калмыков, выступивших под начальством своего наместника ханства Уба́ши. Война началась нападением кубанцев на калмыков в апреле 1769 года, причем кубанцы потерпели сильное поражение. После этого кабардинцы начали покоряться. Медему отправлен был указ: «На реляцию вашу о склонившихся в подданство кабардинцах следующая вам резолюция: конечно, нужно возможное иметь старание к утверждению в том сего народа. Настоящее время, в которое они имеют страх от здешних войск, к тому самое удобное, чтобы их, подобно как диких зверей, начать к рукам приобучать и вместо того, что поныне терзались они подозрением, будто тщатся их притеснить, дать им понять, что здесь весьма будут удовольствованы, если они, оставаясь по-прежнему совершенно в собственной своей воле в рассуждении внутреннего своего обращения, вообще потолику служить будут, поколику их состояние и обстоятельство дозволят. Испросили они ныне у вас себе офицера сами, чтоб был их опекуном; без сомнения, приведены они к тому настоящею только нуждою, имея, может быть, намерение по миновании такой его от себя отпустить. Но чтоб они и впредь всегда здешнего человека иметь у себя из доброй воли согласились и тем самым в лучшее повиновение приведены быть могли без видимого их вольности умаления, зависит от того, чтоб при первом случае определенный к ним всю пользу такого распоряжения восчувствовать им дал ласковыми своими поступками, и действительным старанием по их делам, на справедливости основанным, и внятным излишних их требований изъяснением. Преграда между ними и нами поныне служит — принимание в наших пограничных местах беглых их холопей. По заведении в Моздоке селения, видя, они, что холопи их возымели большую удобность от них бегать, удалились от сего места, переселясь ближе к турецким подданным, а сим только соседством вкрался в них разврат и действовать стали внушения крымские. У кабардинцев христианских невольников, т. е. грузинцев и армян, очень мало, сами пленить их не хотят, получают от крымских торговцев негольниками. Сравнивая потерю нескольких христиан со спасением многих, нельзя предпочесть (принятие невольников) нужному теперь кабардинцам в деле их холопей послаблению, и потому надобно удержаться принимать их невольников без изъятия, пока будущие обстоятельства случай подать могут к новым полезнейшим положениям». В июле Медем, соединившись с калмыками, нанес новое сильное поражение неприязненным народцам на Кубани; о результатах поражения можно судить по тому, что победителям досталось 30 000 скота. Екатерина так же внимательно следила и за этими движениями. Сохранилась собственноручная записка ее

к графу Никите Панину: «Здесь находится покойного Бековича сын, тот, который женат на Тефкелева дочери; он хотя и обер-офицером, но в магометанском законе. Я знаю, что он не очень далек, но думаю, чтобы не худо было вам с ним спознаться и усмотреть, неможно ли его употребить с пользою в рассуждении кабардинских дел: все те горские князья ему родня, и он нам верен и человек смирный и зажиточный, и все его имения в России». Часть калмыков пошла в поход на Кубань, другая часть находилась в Первой армии; и Екатерине представился вопрос, не могут ли киргизы воспользоваться этим обстоятельством и напасть на оставшихся калмыков. Она пишет Панину: «Вопрос: после построения на нынешнем урочище Оренбурга были примеры, чтоб киргиз-касаки обижали калмыков? Когда и как? Прикажите выправиться о сем. Если обиды были, то наши карты весьма неправильны, ибо по картам луговые кочевья калмык от киргиз-касак покрыты яицкими и орскими крепостями. Все сие одно с моей стороны любопытство о ясности положения тамошних мест»[30].

В то время когда хотели воспользоваться влиянием знатного и богатого магометанина, русского подданного для привлечения на свою сторону жителей Кабарды, в то время как намерены были организовать в широких размерах восстание христиан и в Грузии, и в Греции против мусульманских притеснителей, — в это время получили известие, что происходит движение среди магометанского народонаселения, подвластного России. Отсюда естественная мысль — отнять предлог к подобным движениям уничтожением всех прежних стеснительных мер для магометан; выставляя печальное положение христиан в турецких владениях, не желали, чтобы что-нибудь подобное было указано в положении магометан — русских подданных. Таким образом, кроме принципа веротерпимости, который проповедовался Екатериною вследствие сочувствия господствовавшему философскому направлению, и политические причины, борьба с Турциею, должны были вести к тем льготам относительно магометан, которые мы видим в царствование Екатерины. Оренбургский и сибирский губернаторы получили именной указ, где говорилось, что коллегия Иностранных дел извещена о переписке с крымским ханом магометан Оренбургской и Казанской губерний, имеющих намерение перейти к нему вследствие притеснений их веры. Сибирский губернатор Чичерин по этому случаю писал императрице: «Невозможно, чтоб жители Сибирской губернии магометанского закона по такой великой дальности могли бы предпринять когда-нибудь то, чего им никакими мерами исполнить неможно; к тому же осмеливаюсь уверить, что они всесовершенно в. и. в-ству верные подданные, а особливо при нынешнем распоряжении сбору вновь ясака вашего и. в-ства

милостию беспримерно пожалованы и спокойною жизнию доставлены. Что же принадлежит до притеснения их закону, в том не могу донесть, чтобы они не имели; проповедники слова божия главные в том участники, а особливо их семейства, которых там размножилось Я желал бы, чтоб народы, приносящие пользу обществу, так размножились, как сии живущие под покровительством властей их: разъезжая для проповеди, великие притеснения, обиды и разорения народу делают. И хотя в пресечение того все предосторожности с моей стороны употреблены, но как с духовными управлениями только на промемориях сражаться должно, никакого к прекращению успеха не вижу, а чтоб в том польза была приведением в христианский закон, тому быть неможно, потому что проповедники по-иноверчески, а иноверцы по-русски ни единого слова не разумеют». Чичерин требовал: 1) бесполезных сих проповедников отменить, а прежде указать учредить школы, чтобы сии проповедники могли изъясняться языками тех народов, кому они проповедуют, а чтоб до совершения того они не выезжали на проповедь; 2) выезжающим бухарцам и ташкентцам дозволить жить по городам беспрепятственно; 3) по неотступным ко мне прошениям от жителей о строении им мечетей позволить им это; если мечетей мало, то они не приносят никакой пользы; если много, то не приносят казне убытку и обществу вреда; если по-прежнему распределить мечети по числу душ, то вследствие разбросанности магометан на обширных пространствах будет им великое отягощение[31]. Это донесение ставило императрицу в затруднительное положение: с одной стороны, по принципу и по обстоятельствам желалось сделать всевозможное облегчение; с другой стороны, остановка, хотя временная, христианской проповеди могла возбудить толки, каких Екатерина никак не хотела допустить о своих отношениях к церкви. Она отвечала Чичерину: «Повелеваем: 1) каким образом проповедникам поступать с иноверцами, в губернии вашей находящимися, о том имеете вы переговорить с преосвященным тобольским, ибо ему при отправлении его отсюда о том наставление от Синода дано[32]; 2) выезжающим бухарцам и ташкентцам быть на таком основании, как об них грамоты нашего деда Петра Первого гласят; 3) строение мечетей для сих иноверных предаем мы в совершенное ваше рассмотрение, в чем вы никому, кроме нас самих, и ответа давать не будете. Мы надеемся, однако ж, что сие дозволение вами чинено будет на основании резолюции государей-царей Иоанна и Петра Алексеевичей» (чтоб мечети не были близки к православным церквам и не строить их посреди жилищ христианских) [33].

Магометане — русские подданные, по известиям Иностранной коллегии, сносились с крымским ханом. Но, как видно, с самого начала, тотчас по объявлении Турциею войны в уме

Екатерины уже была мысль отторгнуть Крым от Турции не с тем, однако, чтоб присоединить его к России, а сделать независимым. В протоколах Совета 6 ноября 1768 года мы уже находим следующее: «Ее и. в-ство изволила повелеть, чтобы, выбрав самых надежных и зажиточных казанских татар, четыре человека послать в Крым»[34]. Порта предупредила: она прислала к запорожцам склонять их на свою сторону, грозя в противном случае истреблением. Но запорожцы дали знать в Петербург и о предложениях, и о том, что Порта получила отказ с их стороны. По этому поводу Румянцев писал императрице: «Многие случаи довольно меня вразумляют разбирать свойство запорожских козаков, которые настоящим воспоследованием ищут превознестись в том всегда ими воображаемом уважении, что одно их войско толь важно для защиты границ, сколь и прелестно другим державам. Не вмещается то в моем понятии, как бы мог султан такого эмиссария отправить прямо и явно к сему войску, не имевши никаких предуверений или поводу, которого народное право подвергает участи самого злейшего преступника и коего в показание своей подданнической верности кошевому атаману подлежало бы самого средствами прикрытыми представить генерал-губернатору в Киев и тем самым пресечь дальние покушения. Но сего злодея кошевой рапортует к Воейкову (киевскому губернатору), что чрез несколько дней с письмом ответным к султану отпустит. А я и не могу вообразить, какую можно бы переписку в сей материи продолжать подданному с неприятелем, которая при нынешних обстоятельствах столько подозрительна, сколько и предосуждения сделать может высочайшим интересам в. в-ства по рассуждению, что Войско Запорожское не одноземцы, но всяких наций составляют народы»[35]. Но при «нынешних обстоятельствах» именно не считали удобным потребовать от запорожцев ответа относительно нарушения подданнических отношений. Их похвалили за то, что они прислали в Петербург прелестные письма, и велели, наоборот, склонять татар оставить турецкое подданство.

Были ли со стороны запорожцев подобные попытки, мы не знаем; если и были, то действия не произвели. 16 октября 1769 года главнокомандующему Второю армиею графу Петру Панину написан был рескрипт: «Мы заблагорассудили сделать испытание, не можно ли будет Крым и все татарские народы поколебать в верности к Порте внушением им мыслей к составлению у себя независимого правительства. Сочинена здесь форма письма от вашего имени к хану крымскому. Письмо в Крым удобнее всего отправить через татарских пленников. Ежели крымские начальники к вам не отзовутся, в таком случае остается возбудить сообща в татарах внимание через рассеяние копий с письма по разным

местам, чем по малой мере разврат в татарах от разномыслия произойти может»[36].

Более надежды на успех должны были иметь в поднятии против Порты подвластного ей христианского народонаселения. Для этого решено было отправить эскадру в Средиземное море; но это необычное дело для русского флота, вовсе не находившегося в удовлетворительном положении, как было недавно засвидетельствовано самою Екатериною, представило большие затруднения: в три года флот не мог очень заметно поправиться, ибо в 1765 году, по словам императрицы, не было ни флота, ни моряков[37]. Эскадра должна была состоять из семи линейных кораблей, одного фрегата, одного бомбардирского, четырех пинок, двух пакеботов; на кораблях должны были отправиться десять рот, по 25 человек в каждой; но ружей положено отправить от трех до четырех тысяч, тысячу карабинов и 500 драгунских ружей в предположении, что оружие понадобится для союзников; пушек положено отправить до 30. Начальником эскадры был назначен адмирал Григ. Андр. Спиридов, который получил такую инструкцию: «Отнюдь не останавливать и не осматривать никаких христианских торговых судов, но оказывать им всякую помощь и приязнь, особливо датским, прусским и аглинским. На походе представится вам первою Дания: можете на нее совершенно надежны быть, ибо мы находимся с датским королем в теснейшем союзе. За Даниею следует Голландия, с которою находимся в добром согласии, и гавани ее, конечно, будут для вас отворены. В рассуждении Англии обстоятельства гораздо деликатнее. С одной стороны, она находится с нами в тесной дружбе и согласных интересах по общим европейским делам на твердой земле, но, с другой стороны, по образу политических начал правления ее и по превосходству морских ее сил легко статься может, что она из свойственной ей от того жалузии ко всяким посторонним морским предприятиям, и на вашу экспедицию с внутреннею завистию, по крайней мере с особливым вниманием, взирать будет. Но вы можете твердо надеяться, что англичане вам в гаванях своих явных препятствий делать не будут, но иногда под рукою или другими казистыми предлогами препоны полагать устремятся. С Бурбонскими домами, Франциею, Испаниею и Неаполем имеем мы только наружное согласие, и можно без ошибки полагать, что они нам и оружию нашему добра не желают; но нельзя и того ожидать, чтоб они плаванию вашему явно сопротивляться стали; гавани их, кроме крайней нужды, обегать надобно. От мальтийского ордена по самой инструкции его имеете право ожидать всякой помощи; должны представить магистру, не рассудит ли он, соединя суда свои с вашею эскадрою, воспользоваться случаем в разделении с нами столь великого подвига и славы».

В апреле Екатерина еще держала в тайне цель предприятия; 17 числа этого месяца она писала Чернышеву: «Обещаете мне приискивать мною желаемого литейщика чугунных пушек, за что, барин, тебе спасибо, а хотя бы он несколько и дорог был, что же делать? Лишь бы он безошибочнее лил пушки, нежели наши, кои льют сто, а годятся много что десять. Барин, барин! Много мне пушек надобно: я турецкую империю подпаливаю с четырех углов; не знаю, загорится ли и сгорит ли; но то ведаю, что со времени начатия их не было еще употреблено противу их тольких хлопот и забот. Армия моя теперь под Хотином, и я с часу на час жду известия, что Хотин взят или же нас прогнали. Много мы каши заварили, кому-то вкусно будет. У меня армия на Кубани, армия, действующая против турок, армия против безмозглых поляков, со Швециею готова драться, да еще три суматохи in petto, коих показывать не смею. Пришли, если достать можешь без огласки, морскую карту Средиземного моря и архипелага, а впрочем, молись богу, все бог исправит. Прощай, будь здоров да молчи про сие письмо»[38].

Но чем больше возлагалось надежды на впечатление, какое должно было произвесть появление русской эскадры на турецких водах, тем больше раздражения и огорчения испытывали от ее неудовлетворительного состояния и происходившей отсюда медленности плавания. 26 июля флот отплыл от Кронштадта. В августе корабль новейшей постройки «Святослав» возвратили в Ревель от Готланда по неспособности к дальнейшему плаванию вследствие плохой постройки. В Совете 7 сентября в присутствии императрицы адмирал Мордвинов и контр-адмирал Ельфинстон, который должен был следовать за Спиридовым, рассматривали чертеж корабля «Святослав» для открытия причины его недостатков. Решено исправить его как можно скорее. Долго плыл Спиридов до Копенгагена, долго стояли на тамошнем рейде. Он оправдывался собственными болезненными припадками. Екатерина в ответном рескрипте жалела о них, но указывала на медленность плавания до Копенгагена и долгую остановку там, на умножение больных во флоте, на то, что при отплытии из Копенгагена осталось на берегу немало русских моряков; императрица требовала строжайшей дисциплины[39]. Русский посланник в Копенгагене генерал Философов писал в Петербург: «По несчастию, наши мореплаватели в таком невежестве и в таком слабом порядке, что контр-адмирал весьма большие трудности в негодованиях, роптаниях и в беспрестанных ссылках от офицеров на регламент находит, а больше всего с огорчением видит, что желание большей части офицеров к возврату, а не к продолжению экспедиции клонится и что беспрестанно делаемые ему в том представления о неточности судов и тому подобном единственно из

сего предмета происходят, и из того тот вред происходит, что нижние служители и весь экипаж теряют бодрственную надежду, столь нужную при толь трудной экспедиции». Философов собрал капитанов и объявил им, что они препоручены в полную власть контр-адмирала.

Эту же потерю «бодрственной надежды» нашел в русских моряках и граф Иван Григ. Чернышев, когда эскадра прибыла в Англию; но Чернышев в своем донесении представил дело не в таком уже печальном виде и, главное, объяснил причины неудовлетворительного состояния эскадры, остановившейся в устье Гумбера, в 20 милях от Гулля. «Не так худо, — писал Чернышев Панину, — нашел я все сделанные адмиралом распорядки, как слышал, но опять и не так, чтоб оные лучше быть не могли. Ну да уже что же делать, быть так! Более всего неприятно мне было его видеть самого несколько в унылости, отчего и подчиненные были также невеселы, что я ободрением его и хвалою всего того, что уже сделал, ибо поправить было неможно, разговором с матросами и солдатами, объездом на все корабли сколько можно поправить старался. Унылость его произошла от встретившихся препон в плавании, которые то ускорить не дозволили, чему главная причина — великое множество больных, ибо число оных простирается до 700 человек, с слабыми же и более 800, однако умирает благостию божиею мало, ибо со времени отправления на всей эскадре, состоящей более 5000, умерло с 40 человек. Все по большей части больны поносами и флюсфиберами, чему и удивляться не должно, ибо 1) половина экипажа состоит из рекрут, которые жительство близ Москвы имели, в числе коих, конечно, половина таких, которые несколько месяцев, как только соху покинули и не токмо к морю, и к качке судна, но и к пище нимало привычки не сделали; 2) изнурены были при вооружении флота великими работами и употреблением малой предосторожности в мешании вышедших больных из госпиталя с здоровыми рекрутами, отчего последние все почти по очереди перехворали; 3) от излишнего экипажа великая теснота на кораблях. От стояния на якоре и от употребления зелени и свежего мяса оправляться уже начинают». Из Портсмута Чернышев писал: «Осмотрел как корабль № 2, так и пакебот «Летучий». Нашел я их в очень хорошем состоянии, чистотою же и порядочным содержанием команды, конечно, заслужили они ту похвалу, которую им все генералы делают. Смотрителей приезжает великое множество, в том числе много и из Лондона нарочно за тем туда ездили, в числе последних был и дюк кумберландский. Люди хороши, очень много старых матросов, а которые и есть из рекрут, но все города Архангельского, все обмундированы, веселы и здоровы. Неужели сие не окажет справедливость деланного представления при сочинении ин-

струкции комиссии морских флотов, с чем и вы тогда согласились и которая высочайшей апробации удостоилась, и не утвердит сделанного тогда положения, чтоб флот конплектовать ежегодно независимо от генерального рекрутского набора, взяв за неоспоримое основание, что рекрут за матроза сочтен быть не может, пока несколько кампаний на море не сделает; одни архангелогородцы к тому только способны. С 1700 года флот стоит России более 100 000 000 рублей, и что за то имеем? Буде не ничего, то очень мало. Ежели бы все соответствовало мудрому и щедрому монархини нашей при отправлении сей эскадры попечению, что́ бы оная сделать не могла? Но с прискорбностию, стыдом, горестью и досадою сказать до́лжно, что в исполнителях не совсем то видно, а все, кажется, так должно было, как при отправлении Степ. Фед. Апраксина в армию в 1756 году, чтобы только с рук сжить. Приемом английского народа довольно нахвалиться неможно: столь много ласки, учтивости и угощения им делают. Русские медные деньги они по той цене, по которой у нас ходят, берут, не с тем, однако ж, чтоб за монету почитали, но за медали, служащие эпоком бытия в здешних портах российского флота» [40].

Но как бы то ни было, Екатерина не могла выносить медленности Спиридова и написала ему: «С крайнейшим прискорбием вижу я медленность, с которою вы идете с эскадрою, вам вверенною, и что вы в разных местах мешкаете бог весть для чего, хотя весь успех вам вверенного дела и зависит от проворства исполнения. Слышу я, хотя вы о том ко мне и не пишете, что и больных у вас много; рассудите сами, не от мешкания ли вашего сие происходит? Когда вы в пути съедите всю провизию да половина людей помрет, тогда вся экспедиция ваша оборотится в стыд и бесславие ваше и мое, хотя я ни иждивения, ни труда, ни всего того, что я придумать могла, не жалела для снабжения вас всем, что только споспешествовать могло к желаемому успеху. Прошу вас для самого бога, соберите силы душевные и не допустите до посрамления пред всем светом. Вся Европа на вас и вашу экспедицию смотрит... Бога для не останавливайтесь и не вздумайте зимовать, окроме вам определенного места» [41].

Это определенное место было Морея. Мы видели [42], что после опасной болезни граф Алексей Орлов должен был для окончательного излечения отправиться в южные страны; он поехал за границу вместе с братом Федором под именем Острововых и надолго остался в Италии. В то время как брат его Григорий в Петербурге предлагал поднимать христианское народонаселение Турции, Алексей Орлов прислал императрице представление, не соблаговолит ли она «употребить его в службе отечества вместе с православными греческими и славянскими народами»; а брату Григорию писал

из Венеции: «Я здесь нашел много людей единоверных, которые желают быть под командою нашею и служить в теперешнем случае против турков. Да известия есть многие, что вся Гора Черная, также и около лежащие места, которые принадлежат оттоманскому владению, нашего закона за оружие принимаются, о чем я уведомляю, и если я что могу в том случае сделать и это будет надобно. А по моему мнению, это другого сделать бы не могло, чтобы внутри зажечь столь сильный огонь и помешательства делать как в привозе провианта, так и армию (т. е. турецкую) разделить. И если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых из-под ига тяжкого, которое они терпят. И скажу так, как в грамоте государь Петр Первый сказал: а их, неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песчаные на прежние их жилища. А тут опять заведется благочестие, и скажем: слава богу нашему всемогущему! Труда же для меня, по-видимому, как мне кажется, очень мало стоить будет привесть этот народ против турчан и чтоб они у меня в послушании были. Они храбры, любят меня и товарищей моих много за единоверие; все повеленное мною хотят делать. Выступайте с одного конца, а я бы с другого зачал. Так мое мнение, ежели это только надобно будет к чему-нибудь, то должно будет сделать по примеру государя Петра Первого, послать к ним грамоту от двора ласковую с хорошим, надежным и искусным человеком. Беречься же, как возможно, цесарского двора: сколько мне самому приметить удалось и по разговорам со мною во многих случаях с разными видеть мог, что они нам величайшие неприятели. Також я посылал разговаривать и между людьми простыми, и купцами, то все, можно сказать, желают победы над нашими войсками; а никто, я чаю, столь много не завидует нам, как они великости и славе нашего народа». Екатерина отвечала ему 29 января: «Мы сами уже по предложению брата вашего помышляли об учинении неприятелю чувствительной диверсии со стороны Греции как на твердой ее земле, так и на островах архипелага, а теперь, получа от вас ближайшие известия о действительной тамошних народов склонности к восстанию против Порты, и паче еще утверждаемся в сем мнении; а потому, будучи совершенно надежны в вашей к нам верности, в способности вашей и в горячем искании быть отечеству полезным сыном и гражданином, охотно соизволяем мы по собственному вашему желанию поручить и вверить вам приготовление, распоряжение и руководство всего сего подвига». Тут же императрица уведомляла Орлова, какие лица отправлены для поднятия христиан Балканского полуострова: в Черногорию — полковник Эздемирович и поручик Белич: первый давно служил в России, выведши в новую Сербию значительное число своих зем-

ляков с семействами, второй приехал недавно в послах от черногорского преобразователя Степана Малого с просьбою о помощи против турок. «Мы, — писала Екатерина, — рассудили употребить в пользу приезд Белича и сделать его орудием дела нашего». В Албанию к тамошнему старшине Буковалу и маинскому старшине Мавромихали отправлен был венецианский грек Петушин, который уже несколько лет тому назад привозил от них в Петербург письма с выражениями готовности служить России. Известный подполковник Назар Каразин отправился в дунайские княжества и другие внутренние области турецкие. Относительно способа действия Екатерина писала Орлову: «Прежде всего надобно принять за неоспоримую истину и за непременное начало всего дела, что восстание каждого народа порознь и прежде, нежели смежные оному приготовлены и подвигнуты будут к равному в одно время или по крайней мере весьма скоро после поднятию оружия, не может для нас быть полезно, ибо никоторый из них сам по себе столько не силен, чтоб иное что произвесть мог, кроме одного набега и, так сказать, мимоходного на оном опустошения частицы ближней земли; следовательно же, всякий такой набег, не нанося неприятелю чувствительного ущерба, а еще менее причиняя ему какую-либо для нас полезную диверсию, в чем одном прямая наша цель быть долженствует, послужил бы только к открытию туркам глаз и к поспешному ограждению себя нужными и достаточными осторожностями противу дальнейших покушений, ибо им всемерно легче будет упредить распаление одной искры, нежели после противиться и утушать целое, в силу пришедшее пламя. На сем основании и да будет первым и верховным вашим попечением приводить все тамошние народы или большую их часть в тесное между собою единомыслие и согласие видов, а приведя их к оным ясным убеждениям собственно их взаимной пользы и надеждою общего всех освобождения от несносного ига неверных, особливо же равною всех православных христиан обязанностию защищать св. церковь и самое благочестие, распорядить все ваши меры и приготовления в непроницаемой тайне таким образом, чтобы принятие оружия, сколько возможно, везде в одно время или вскоре одного народа за другим, а с оным и на неприятеля с разных сторон большими и соединенными силами, а не малыми и рассыпанными каждого народа кучами вдруг нечаянное нападение последовать могло с положенным наперед намерением, куда и как продолжать дальнейшие действия и где основать надежный себе пласдарм, без чего, кажется, никак обойтиться неможно как для запасения воюющим нужного пропитания, так и для надежного иногда убежища от нашествия превосходных сил». Орлов должен был распространить между христианским народонаселением

Турции следующее воззвание: «Божиею милостию мы, Екатерина II и проч., объявляем всем греческим и славянским народам православного исповедания, как на твердой земле, так и на островах архипелага обитающим. Крайнего сожаления достойно состояние древностию и благочестием знаменитых сих народов, в каком они ныне находятся под игом Порты Оттоманской. Свойственная туркам лютость и ненависть их к христианству, законом магометанским преданная, стремятся совокупно ввергать в бездну злоключений в рассуждении души и тела христиан, живущих не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве уже, ибо злочестие агарян, не зная другого себе обуздания, кроме страха, не находило по сю пору никакого. Порта Оттоманская по обыкновенной ей злобе к православной церкви нашей, видя старания, употребляемые за веру и закон наш, который мы тщились в Польше привести в утвержденные трактатами древние его преимущества, кои по временам у него насильно похищены были, дыша мщением, презрев все права народные и самую истину, за то только одно по свойственному ей вероломству, разруша заключенный с нашею империею вечный мир, начала несправедливейшую и без всякой законной причины противу нас войну и тем убедила и нас ныне употребить дарованное нам от бога оружие. И сие есть то самое время, в которое христиане, под игом ее стенящие, еще большее почувствуют угнетение .. Соображая горестное благочестивых сих сыновей церкви божия состояние, приемлем мы ныне во всемилостивейшее рассуждение и желаем, сколько возможно, избавлению их в отраде споспешествовать. Остается только, чтоб при производимых нашими армиями военных действиях и они сами содействовать потщились Увещеваем всех их вообще и каждый особенно полезными для них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться к свержению ига и к приведению себя по-прежнему в независимость, ополчаясь, где и когда будет удобно, против общего всего христианства врага и стараясь возможный вред ему причинять и чрез то общему благому делу воспособствовать и собственному своему жребию, которого прочность и на предбудущие времена свято и ненарушимо утвердится при заключении с Портою Оттоманскою мира, когда высокомерный неприятель принужден будет искать оного от нас. Наше удовольствие будет величайшее видеть христианские области, из поносного порабощения избавляемые, и народы, руководством нашим вступающие в следы своих предков, к чему мы и впредь все средства подавать не отречемся, дозволяя им наше покровительство и милость для сохранения всех тех выгодностей, которые они своим храбрым подвигом в сей нашей войне с вероломным неприятелем одержат»[43].

Воззвание было обращено к грекам и славянам Балканского полуострова. Из последних в России более других были известны черногорцы, с которыми происходили частые сношения, особенно при Петре Великом и его дочери Елисавете; мы видели, что на них преимущественно указывал Алекс. Орлов. В конце царствования Елисаветы отправлен был в Черногорию советник Пучков и повез 15 000 рублей; он должен был объявить тамошним начальным людям, что если черногорцы учредят между собою порядок и согласие, снабдят себя воинскими орудиями, введут регулярное войско и добрую дисциплину, то и впредь ежегодно будет им посылаться по 15 000 рублей. Пучков должен был вручить грамоту и деньги митрополиту Савве в присутствии некоторых светских начальников и разведать о настоящем состоянии тамошнего народа, о его усердии к России и может ли он быть ей полезен; также узнать, доходило ли народу жалованье, отправляемое из Петербурга с приезжавшими туда черногорскими архиереями. Пучков возвратился в 1760 году и донес Иностранной коллегии, что черногорцы находятся в крайнем беспорядке, не имеют никаких у себя добрых учреждений, законов и обычаев, живут в междоусобии и вражде, начальству своему непослушны; а начальство печется не об их пользе, а только о собственной корысти: так, архиерей Василий старался всякими хитростями и обманами выманить у него, Пучкова, привезенные им деньги и для показания своего мнимого кредита приводил к нему самых простых людей, называя одного князем, другого боярином, третьего боярским сыном. Начальники черногорские мало или почти ничего не толковали о России, а русские деньги расходились по немногим рукам между начальническими родственниками. Правосудия на Черной Горе не знают, ибо каждый дому и фамилии своей высший судья и властелин, в ссорах управляются поединками, друг друга режут и застреливают, а потом убегают в другие области; сильные фамилии притесняют слабые; если убийца имеет многочисленную фамилию, то и дома живет покойно, а потом с помощию денег мирятся. Примирителями бывают архиереи с прочими, которые и сами при таких случаях не преминут попользоваться, а иногда между воюющими и огонь раздувать не откажутся Черногорцы вообще очень непостоянны, склонны к грабежам и наполнены самовольством. В догматах веры народ этот нимало не сведущ, ограничивается крестообразным поклонением и содержанием постов. Пучков, однако, закончил свое донесение тем, что хотя черногорцы — народ дикий, но «добрым предводительством и нравоучительным наставлением можно из него со временем (хотя и с трудом) нечто доброе сделать, к чему никто более способствовать не может, как их два архиерея, так называемые черногорские повелители, с

тою токмо кондициею, чтоб архиерей Василий, от естества человек неспокойный, невместно честолюбивый, сребролюбивый и возмутительный клеветник, между ими не был».

В 1762 году, уже при Екатерине, приехали в Петербург черногорцы Николай и Иван Петровичи и подали за руками архиереев своих Саввы и Василия Петровичей грамоту, в которой заключались просьбы о позволении архиерею Василию приехать в Россию, об освобождении Черной Горы от турецкого ига, об указе, каким образом поступать черногорцам с своими неприятелями — рагузинцами, которые клевещут на них Порте. Иностранная коллегия, основываясь на донесении Пучкова, подала императрице доклад, что пока в Черногории не будет установлен порядок, а установить его трудно, то от этого народа никакой пользы для России ожидать нельзя, кроме лишних хлопот и охлаждения с турецким двором и Венецианскою республикою, и потому коллегия рассудила отправить присланных обратно с письмом от канцлера к черногорским архиереям; в этом письме говорилось, чтоб черногорский народ пребывал в тишине и покое и не подавал ни туркам, ни другим соседям своим повода к вражде; архиерею Василию приехать в Россию нельзя, потому что его присутствие нужно в отечестве. Вместе с письмом Петровичи повезли две золотые медали на коронацию Екатерины и сто золотых жетонов. Несмотря, однако, на письмо, в 1765 году архиерей Василий Петрович явился в третий раз в Петербург под предлогом поздравления императрицы с восшествием на престол. По обычаю, он просил вспомоществования на возобновление церквей, просил снабдить его ризницею и митрою; но ризница, митра и 500 рублей денег отправлены были митрополиту Савве, потому что Василий умер в Петербурге в марте 1766 года.

Отношения, видимо, охладились; Екатерина прямо выражалась, что Иностранная коллегия с черногорцами в ссоре; а между тем явилась новая причина к неудовольствию.

В 1768 году получены были странные вести, вследствие которых пограничным губернаторам разослан был циркуляр, где говорилось, что в Черногории явился обманщик Степан Малый, который выдает себя за императора Петра III: «Сей обманщик, не довольствуясь тем, что нашел себе прибежище и шайку у черногорцев, с которою начал уже грабить купеческие караваны, вздумал распространить свой умысел рассылкою от себя в разные стороны эмиссаров». Из собранных с разных сторон сведений узнали, что в конце 1766 года на Черную Гору из Боснии пришел человек, называвшийся Степаном Малым; он выдавал себя за лекаря и лечил раненых; но между тем при всяком удобном случае говорил тоном вдохновенного пророка о необходимости перемены нравов и обычаев в Черногории, о необходимости боль-

шей чистоты семейной, о необходимости вывести из употребления родовую кровавую месть. В это время на Черной Горе находился русский офицер, приехавший туда с вещами, оставшимися после умершего в Петербурге черногорского митрополита Василия; с этим офицером Степан сблизился и часто разговаривал; вследствие этих разговоров у него родилась мысль выдать себя за русского императора Петра III, чтоб могущественным обаянием этого имени заставить черногорцев ввести у себя преобразования, необходимые для успешнейшей борьбы с турками. В 1767 году Степан отправился с Черной Горы в Бокка да Каттаро и работал там в каменщиках; тут уговаривал он одного из товарищей, каменщика, чтоб шел в Россию и отнес туда его письмо; потом перешел в местечко Майну, где стал жить в работниках у тамошнего обывателя Марка Вуковича Бовара, у которого вылечил раненого брата. И здесь стали слышать от него таинственные речи: «Когда господь бог восхощет, то я сделаю, что никто из вас не будет носить никакого оружия». В народе пошли толки, что Степан Малый не простой человек; рассказывали, как он посылал каменщика в Россию, плакал, увидя в одном монастыре портрет Петра III, хотя, по некоторым известиям, сначала он выдавал себя за Ивана Антоновича, спасшегося от смерти; вспоминали, что при своих увещаниях произносил слова «Недалеко до государя»; говорили, что когда однажды кто-то облокотился на него, то он сказал: «Если б ты знал, на кого ты облокачиваешься, то бежал бы от него как от огня». Между тем разнесся слух, что русский император Петр III жив и странствует в азиатских областях; нашлись люди, которые указывали на сходство Степана Малого с портретом Петра III; и вдруг почти все начали признавать его действительно за Петра. К Малому отправились старики и от имени митрополита Саввы и народного собрания стали заклинать его, чтоб сказал, кто он. Малый отвечал: «Когда вы истинного бога познаете и сделаете общее и вечное между собою примирение, так чтоб никакого не было и впредь между вами несогласия и кровопролития, тогда узнаете вы, кто таков Степан Малый». После этого он потребовал к себе митрополита и упрекал его за то, что позволяет народу жить по-зверски; потребовал, чтоб митрополит собрал всех черногорцев и установил между ними общее и вечное примирение, чтоб они взаимно простили друг другу все обиды и впредь обиженный искал бы судом себе удовлетворения, а не мстил бы сам собою. 1 октября созвано было народное собрание; начинает говорить Марко Тамович из Майны, сопровождавший покойного епископа Василия в Россию, и уверяет, что Степан Малый — настоящий Петр III, которого он знал в Петербурге. Когда узнали о требованиях мнимого российского императора, то собрание согласилось на

общее примирение до весны 1768 года, именно до нового собрания, назначенного на Юрьев день. Малый рассердился, узнав, что народ уклонился от вечного примирения, отложил решение с лишком на полгода. Он говорил старикам, объявившим ему решение собрания: «Кто у кого отнял жену, должен ее возвратить; прогнавший от себя жену и женившийся на другой должен принять первую и отослать вторую. Если таким образом учредите вы поступки ваши, то не будете оставлены от бога и от российского двора». 8 октября созвано было новое собрание, где установили начало всеобщего и вечного замирения; все поклялись не возобновлять усобиц, выбрали воеводу Станишича, и старшины опять отправились в Майну объявить об этом Степану. На этот раз Малый встретил их во главе вооруженного отряда, с обнаженною саблею и благодарил за послушание его советам. Старшины пали на колена, величая его царем и умоляя открыться. Малый отвечал: «Услышите вы, черногорцы, и другие соседние народы глас бога вышнего и славу св. Иерусалима. Я не сам собою пришел сюда, но послан от бога, которого таков глас слышал: восстань, иди и трудись, я тебе помогать буду». В заключение Малый обещал сделать черногорцев счастливыми навсегда. С тех пор в церквах поминали императора Петра Федоровича, супругу его Екатерину и наследника великого князя Павла Петровича. Владыка Савва признал Малого Петром III; потом, видя, что вся власть переходит от него к последнему, начал было противодействовать ему, но скоро опять примирился. Наружность Малого описывалась так: на вид ему с лишком 30 лет, сухощав, росту среднего, лицо белое, продолговатое, волосы светлорусые, лоб широковыпуклый, глаза малые, впалые, серые, быстрые, нос длинный, тонковатый, рот большой, голос женский; кроме сербского языка Малый говорил по-немецки, по-французски и по-итальянски.

Черногорский монах Софроний Плевкович, приехавший в Киев, рассказывал, что Степан в Майне жил у Марко Вуковича сначала как юродивый, а потом открылся ему, что он Петр III, но не хочет называться этим именем, а будет называться Степаном Малым. Марко, услыхав это, пал пред ним на колена и целовал ему ноги; после этого Степан призвал митрополита и старшин и также объявил себя Петром III, прибавив, что если они не будут его слушаться, то прекращено будет им денежное пособие, идущее из России. Софроний рассказывал, что Малый начал устраивать регулярное войско, обучил его военным упражнениям. Он призвал к себе его, Софрония, и просил идти к императору Иосифу в Вену, и когда Софроний спросил, кто он таков, то Степан отвечал: «На что тебе испытывать такую великую тайну, будь доволен тем, что ты слышишь, что я Степан Малый; я послан не от цесаря, ни от царя, но от самого гос-

пода бога Саваофа для спасения рода христианского, потому что уже девять лет, как турки моим хлебом питаются». Софроний должен был просить в Вене военных кораблей и войска. В Глаце Софрония задержали, допросили и объявили ему, чтоб ехал назад, император войска на помощь Малому послать не может. Не смея пробираться по турецким владениям, Софроний поехал в Россию. Относительно наружности самозванца Софроний к приведенному выше описанию прибавил: нижняя губа толстая и отвислая, усы черные, небольшие, волосы темнорусые, побит несколько оспою, весь лоб обвязан полотном, чтоб закрыть две большие жилы. По свидетельству Софрония, Малый знал много языков: кроме сербского итальянский, турецкий, немецкий, французский, английский, греческий и несколько арабский. Императрица по поводу Степана Малого писала графу Алексею Орлову: «Ген.-майор Подгоричани подозревает не без основания, что Степан Малый тот самый итальянец Вандини, который в канцелярии опекунства здесь дело имел и, обманув здесь, выманя алмазы у греческого купца и заложа оные, денег взял и сам ускакал. Подгоричани говорит, что описание фигуры и лица одного и другого совсем сходны, а только Вандини не был ряб, а другой ряб, и с Подгоричаниным писано, что, приехав в Черногорию, Степан в оспе лежал и так ряб ныне, хотя в Петербурге не был таков» [44].

Сначала Софронием хотели воспользоваться, отправить его на Черную Гору, чтоб он поднимал тамошних жителей вместе с Степаном Малым против турок, уговоривши Степана бросить самозванство. Уже написана была инструкция Софронию; но потом передумали, и на инструкции находим надпись, что она не состоялась. Софроний отправился на флоте с адмиралом Спиридовым. Граф Алексей Орлов писал императрице, что он не может одобрить выбора лиц, отправленных для поднятия турецких христиан; Екатерина отвечала ему: «Весьма надежна, что все сделается по желаниям нашим и прославимся в сей век, спасая многие тысячи под варварским игом страдающих единоверных наших. Что же все сие не так скоро исполниться может, как ваше и мое желание бы было, то сие не диво, но в естестве сего великого затея, и весьма похваляю вас, что вы начали так, как ко мне пишете. Что же вы не хвалите тех, кои отселе разосланы были, то в оправдание сего ныне некоторым образом неосторожного поступка я вам скажу, что почти с самого начала войны, когда граф Григорий Григорьевич подал проекты о посылании флота в Средиземное море, думано было, как бы тех народов, с кем вы теперь порядком дело имеете, склонить и приготовить в нашу сторону; с черногорцами же Иностранная коллегия почиталась в ссоре. Признаться же должно, что в самое то время множество греков, сербин и прочие едино-

верные авантурьеры начали соваться ко многим с планами, с проектами, с переговорами, и между ними, так сказать, брошенный подполковник Эздемирович по чину, по летам и по тому, что он уже заслугу ту имел перед собою, что в прежнее время несколько сот разных народов вывез на поселение в Новороссию, казался лучшим; и как вступили с ним в разговоры и переговоры, и наскакал Ефим Белич, и стал с ним на одной квартире, и, по сказкам Эздемировича, ему открылся, что он прислан от Степана Малого. Сей от нас писанным к черногорцам в прошлых летах публичным манифестом объявлен обманщиком; но как его описывали там весьма сильным, то вздумали его /Белича/ употребить, запретя ему обман; с тем и Эздемирович, и Белич, не имев кого лучше, и отправлены были; я думаю, что и грек Петушин в подобном казусе, то есть лучше его не нашли»[45].

Софрония не отправили в Черногорию, боясь, как видно, увеличить им число «авантурьеров». Но и выбор Иностранной коллегии оказался неудачным. Еще летом 1768 года отправлен был советник русского посольства в Вене Мерк на Черную Гору с увещательною грамотою к тамошним жителям, чтоб не верили самозванцу. От 9 августа Мерк прислал донесение, что ехать на Черную Гору, не подвергая себя смерти, никак не мог, ибо черногорцы необыкновенно привязаны к Малому. Екатерина написала на его донесении: «Если б капитан гвардии был послан с грамотою к черногорцам, то бы письмо несумненно отдано было; но сей претонский политик возвратился с ней, не сделав, окроме преострые размышления; я советую его из Вены отозвать, ибо видно, что он способность великую имеет здесь употребленну быть в важнейших делах, а там на него изойдет лишь лишняя коллегии издержка»[46]. На Черную Гору с грамотою, возбуждавшею христиан против турок, с порохом и свинцом отправился генерал-майор кн. Юрий Владимир. Долгорукий под именем купца Барышникова. Но для удобства сношений с Черною Горою нужно было соглашение с Венецианскою республикою. С первого раза казалось, что Венецию, исстари враждебную к Порте, нетрудно привлечь на русскую сторону; но Венеция не была уже прежняя отважная владычица южных морей; это был разлагавшийся труп. Венецианское правительство боялось всякого движения, ибо всякое движение могло болезненно потрясти и даже разрушить дряхлое государственное тело. Венеция боялась всех и всего, боялась Турции, Сардинии, Австрии, теперь сильно боялась России, боялась движения, вносимого последнею в славяно-греческий мир, боялась потому восстания своих славянских и греческих подданных. С 1768 года русским поверенным в делах при Венецианской республике был маркиз Маруцци. Он должен был внушать венецианскому правительству, как

ему выгодно вступить в союз с Россиею против общего врага, что все завоевания достанутся Венеции, потому что Россия их не хочет и не может иметь в такой дали. Но Маруцци писал Панину, что венециане страшно боятся турок: все войны с последними были гибельны для республики; Россия далеко, не может подать помощи. Маруцци достиг одного: Сенат постановил открыть черногорцам сообщение с морем. Относительно Черной Горы Маруцци писал, что владыка Савва — главный виновник смуты и кредита Степана Малого, который уверяет, что настоящая война России с Портою начата единственно из-за него, что его хотят сделать владетелем страны между Скутари и Рагузою. В сентябре 1769 года Маруцци переслал в Россию известие, что кн. Долгорукий успел проникнуть на Черную Гору, захватил Степана Малого и потребовал от проведитора каттарского позволение провезти самозванца чрез венецианские владения для отсылки в Россию; проведитор обратился к Сенату, и тот велел пропустить; при этом Маруцци писал, что венецианское правительство обрадовалось аресту Малого.

Но оно не радовалось другим известиям: оно узнало, что граф Орлов во время бытности своей в Венеции пригласил славян, венецианских подданных, для вооружения корсарских кораблей против турок и что эти корабли снаряжаются для Ливорны. Венецианское правительство очень рассердилось, боясь, что это поссорит его с турками. Каттарский проведитор извещал Сенат, что кн. Долгорукий поднимает греков, и особенно подданных Порты; проведитор подозревал тайные сношения Долгорукого и с греками, подданными республики, ибо каждый день дезертировали солдаты из венецианских полков; дезертиры шли на Черную Гору, где им давали по 15 солидов на день кроме пропитания; при этом не обращали никакого внимания на дезертиров из итальянцев, а принимали только славян. Проведитор доносил, что Долгорукий хвалится скорым прибытием русской эскадры, советует подданным Порты жить спокойно и платить дань, дожидаясь удобного времени для восстания, что на Черной Горе работают постоянно над зарядами. Проведитор думал, что венецианские области будут в большой опасности, когда появится русская эскадра; он указывал на многие селения, затронутые русским духом, на большое число людей, виновных в тайных волнениях. По получении этих известий в Сенате один из членов объявил, что надобно внимательно заняться делом, а не дожидаться того времени, когда уже не будет более возможности избрать выгоднейшую сторону; русская эскадра скоро появится на венецианских водах, все гавани республики открыты, не укреплены, русским кораблям нетрудно будет войти в Каттарский канал; черногорцы с прибытием эскадры станут еще смелее; надобно заранее

подумать о войске, о флоте, о финансах, ибо все это находится в печальном положении. Надобно подождать, отвечали ему, что́ напишет венецианский посланник, поехавший в Моравию для переговоров с Кауницом; не дождавшись ответа Кауница, нельзя принять никакого решения; положение, действительно, критическое, но надобно знать мнение венского двора. Ответ венского оракула пришел. Когда венецианский посланник объявил Кауницу о черногорских событиях и о решении своего Сената не пускать в гавани республики иностранных военных кораблей, то Кауниц отвечал, что Австрия и герцог тосканский будут поступать точно так же. Тогда Сенат положил усилить флот.

В октябре Орлов вызвал Маруцци в Пизу для переговоров о черногорских делах и поручил ему выхлопотать у венецианского правительства позволение ездить русским офицерам на Черную Гору чрез владения республики. Но по возвращении из Пизы Маруцци нашел письмо кн. Долгорукого из Анконы, в котором тот извещал, что непостоянный характер черногорцев и их варварские нравы заставили его покинуть Черную Гору, передавши начальство Степану Малому![47]

Долгорукий увидал в первый раз Малого 2 августа, когда находился в монастыре Бурчеле. Малый приехал к нему верхом на лошади с конвоем из нескольких черногорцев; но пусть Долгорукий сам расскажет о впечатлении, какое произвел на него самозванец: «Разговоры его, поступки и обращения заставили заключать об нем, что он в лице вздорного комедианта представлял ветреного или совсем сумасбродного бродягу. Росту он среднего, лицом бел и гладок, волоса светло-черные, кудрявые, зачесаны назад, лет тридцати пяти, одет в шелковое белой тафты платье, длинное по примеру греческого, на голове скуфья красного сукна, с левого плеча лежит тонкая позолоченная цепь, а на ней под правою рукою висит икона в шитом футляре величиною с русский рубль, в руках носит обыкновенный турецкий обушок, голос имеет тонкий наподобие женского, в речах скор, и выговорка по большей части бошняцкая, разговоры имел темные и ветреные, из которых, кроме пустоши, ничего заключать неможно, хотя черногорцы и почитают его за пророческое красноречие со страхом и покорностию. По большой части курил он трубку, запивая стаканом водки с водою, без чего не может он жить по затверделой привычке». Когда Долгорукий отправился в Цетинье, то на дороге получил от владыки письмо, что Степан Малый, проезжая некоторые села, возмущает их; тогда Долгорукий послал губернатору приказание взять самозванца под арест и привести в Цетинский монастырь. По словам Долгорукого, главное и наследственное достоинство на Черной Горе имел губернатор, который, однако,

по беспорядочному самовольству не значил ничего, и в это время губернатором был молодой человек 20 лет.

6 августа после обедни стал собираться народ на Цетинском поле. В собрании прочитана была грамота владыки, в которой изобличалось слепое мнение черногорцев о Степане Малом; называя последнего обманщиком, льстецом и бродягою, владыка увещевал черногорцев, чтоб отстали от самозванца и старались исправить свою погрешность верностию и усердием к российскому императорскому двору. По выслушании грамоты губернатор и прочие начальные люди просили Долгорукого дать письменное объявление о самозванце за своею рукою и печатью, и Долгорукий дал заявление, что Степан — самозванец, неизвестный в России; это заявление было прочтено народу, который выслушал его спокойно; после обеда прочтена грамота императрицы и народ приведен к присяге, причем розданы были вино и деньги. Но на другой день, 7 числа, в пятом часу утра Долгорукий разбужен был шумом и волнением: явился Степан Малый, и народ со всех сторон бежал к нему. Долгорукий вышел, велел народу разойтись, а Степана взять и отвести в тюрьму, что и было исполнено; народ, который сначала бежал к Степану, теперь вдруг стал кричать, чтобы его повесили; и Долгорукому стоило большого труда успокоить толпу. В допросе Малый объявил, что он турецкий подданный, боснийский уроженец, вышел из Боснии в малолетстве, скитался по многим государствам, наконец пришел на Черную Гору.

Заключением самозванца в тюрьму не кончились затруднения Долгорукого. Нравы и обычаи черногорцев были до такой степени противоположны понятиям и привычкам Долгорукого, что он не имел никакой возможности или уменья уладиться с ними; и нет ничего удивительного, что на всей Черной Горе он нашел только одного человека, которого мог понимать и который мог его понимать; и этот человек был Степан Малый, точно так же не сочувствовавший черногорскому быту и стремившийся преобразовать его по образцам, виденным в чужих краях; но Степан умел обращаться с черногорцами, стал действовать на их религиозное чувство, приобрел влияние, как пророк; он вздумал было тронуть другую сильную струну для приобретения авторитета, возбудивши в народе мысль, что таинственный преобразователь и пророк есть не кто иной, как русский император, возбудивши только мысль, ибо он имел осторожность не объявлять себя прямо от себя и торжественно, что он Петр III; но эта игра в самозванство довела его до тюрьмы и чуть было не довела до виселицы. В тюрьме он просидел недолго. Долгорукий, отчаявшись сделать что-нибудь на Черной Горе, проклиная дикие нравы тамошнего народа, покинул его, но перед отъездом освободил Малого, взявши с него клятву в верности

и усердии к России, надевши на него мундир русского офицера и поручивши ему главное распоряжение на Черной Горе[48]. Впоследствии Малый, ослепший, погиб от измены.

Маруцци было поручено также войти в сношения с Паоли, который, после того как французы заняли Корсику, купив ее у генуэзцев, поднял знамя восстания на острове для свержения французского господства. Екатерина хотела воспользоваться этою борьбою, поддержать ее, поддержать Паоли, приобрести в нем полезного союзника при открывшихся видах на Средиземное море и вместе заплатить герцогу Шуазелю за услугу, оказанную им России поднятием против нее Турции. «Я нынче всякое утро молюся: спаси, господи, корсиканца из рук нечестивых французов», — писала Екатерина к Ив. Чернышеву. На письмо Маруцци Паоли отвечал (от 21 марта), чтоб ему лучше объяснена была связь между русскими и корсиканскими интересами; в разговоре с посланным от Маруцци Паоли объявил желание получить от России помощь военными кораблями; «с 12 кораблями и с моим сухопутным войском, — говорил он, — я берусь прогнать французов с Корсики». Но сношения с Паоли должны были скоро прекратиться: покинутый своими, он должен был бежать из Корсики[49]. Эта маленькая неудача не могла уменьшить надежд, которые возлагались на появление русской эскадры в Средиземном море; Маруцци писал Панину: «Флот в Средиземном море даст нам возможность помочь всем грекам, которые поднимут оружие, он их ободрит; он может захватывать турецкие корабли, идущие с хлебом из Египта в Константинополь; и так как турецкий флот в плохом состоянии, то русскому не трудно будет проникнуть до Константинополя; но это должно быть сделано в первую кампанию, прежде чем турки будут иметь возможность поправить свой флот»[50]. После этого легко понять, почему медленность эскадры так раздражала Екатерину, почему она писала такие письма Спиридову. Точно такое же раздражающее действие производила на нее медленность сухопутной армии, когда та была под начальством кн. Голицына, ее возвращение назад из-за Днестра. Не надобно забывать, что удача в предприятиях, особенно когда еще не прошло и десяти лет царствования, имела для Екатерины гораздо большее значение, чем для государей, занимавших престол обыкновенным образом. Внутри блестящий законодательный труд и преодоление всех враждебных движений, извне успех в Польше подняли славу русской императрицы, дали ей значение женщины необыкновенной. Но вот враги сумели возбудить сильное препятствие, поднять против России две войны; как выйдет теперь из затруднений Екатерина, которую уже начали называть Великою? Неуспех покажет, что этим названием поспешили, приобре-

тенное значение исчезнет извне и внутри; и здесь и там, особенно здесь, это исчезновение может повести к самым печальным последствиям. Тяжелое время провела Екатерина до осени. Торжество врагов было невыносимо; французские газеты преувеличивали русские неудачи, торжествовали мнимые победы турок и татар; им вторила Кельнская газета. «Пойдем бодро вперед!» — писала Екатерина с детства близкой к ней госпоже Бельке. «Пойдем бодро вперед! — поговорка, с которою я провела одинаково и хорошие, и худые годы и вот прожила целых сорок лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым?» Описавши поражения турок под Хотином, Екатерина продолжает: «Азов и Таганрог заняты; и тот и другой были срыты в 1739 году при посредничестве Франции; а я их восстановила без посредничества. С тех пор как начали работать над этими городами, не видали ни одного неприятеля; после зимы господа татары потеряли аппетит к набегам на нас, ибо во время трех попыток не нашли нигде доступа благодаря распоряжениям генерала Румянцева; и хотя в Константинополе палили из пушек по случаю успехов хана и Кельнская газета, составляемая папским нунцием и французским министром, убила у нас 70 000 человек в Новой Сербии, которая, с вашего позволения, называется Новою Россиею, однако верно то, что этот поход стоил жизни хану, которого Порта велела отравить вместе с пятью самыми знатными мурзами, приписывая злонамеренности невозможность проникнуть в наши пределы. Комедия пальбы из пушек в Константинополе была сыграна для ободрения войска, не оказывавшего большого желания выступить в поход». В июне Екатерина писала Вольтеру: «Не все ваши соотечественники думают обо мне одинаково с вами. Я знаю, как они любят убеждать себя, что мне невозможно сделать что-либо хорошее, как они ломают себе голову, чтоб убедить в том других, и горе их прислужникам, которые осмелятся думать иначе. Так как моя слава не зависит от них, но от моих принципов и действий, то я утешаюсь в их порицаниях и прощаю им как добрая христианка. Вы мне говорите, что думаете одинаково со мною о разных моих делах и ими интересуетесь. Так да будет же вам известно, что моя прекрасная саратовская колония считает уже 29 000 жителей и на зло Кельнской газете вовсе не боится татарских, турецких и других набегов; что в каждом кантоне церкви его исповедания; что там мирно обрабатывают поля и тридцать лет не будут платить никаких податей. Впрочем, наши подати вообще так умеренны, что в России нет крестьянина, который бы не ел курицы, когда захочет, и что с некоторого времени он предпочитает индеек курам; что вывоз хлеба, позволенный с некоторыми ограничениями во избежание злоупотреблений без стеснения тор-

говли, поднявши цены на хлеб, дает земледельцу такие средства, что земледелие усиливается год от году; народонаселение в последние семь лет также увеличилось на 10 процентов. Правда, у нас война; но уже давно Россия занимается этим ремеслом и из каждой войны выходит более цветущею, чем была при ее начале. Наши законы идут своим чередом, над ними работают потихоньку. Правда, что они теперь на втором плане, но от этого ничего не потеряют. С начала войны я привела к концу два предприятия: построила Азов и Таганрог, где гавань, начатая и разрушенная Петром I. По вашему желанию турки разбиты 19 и 21 апреля. Мне кажется, что начало игры порядочное. Можно сказать, что разум человеческий все один и тот же. Смешной смысл крестовых походов не помешал польскому духовенству под влиянием папского нунция проповедовать крестовый поход против меня, и эти безумные самозванные конфедераты для опустошения собственных провинций, обещанных ими Порте, одною рукою взяли крест, а другою подписали союз с турками. Зачем? Затем, чтобы помешать четверти польского народонаселения пользоваться правами гражданина» [51].

Этот договор, о котором говорит императрица, содержит в себе следующие условия: союз заключается оборонительный и наступательный; Польша выставляет 100 000 войска, Порта — 200 000. Границы остаются по Карловицкому миру; но Польша уступает Порте Киевскую область, а сама возьмет за это от России Смоленск, Стародуб, Чернигов и Ливонию. Польша в благодарность за настоящие услуги охотно уступает Порте всех крестьян русской веры, преимущественно в местах, где начались бунты, даже всех диссидентов, их жен, детей и все имущество, исключая начальников бунта, которых республика предоставляет себе судить и наказать. Порта не будет запрещать своим подданным селиться в Украйне и Подолии, не исключая и мусульман. Екатерина могла бы также сообщить Вольтеру известие о приеме великим визирем одного из конфедератских вождей, Иоахима Потоцкого. Будучи приглашен на военный совет, Потоцкий объявил, что именем республики просит Порту дать ему некоторое число войск под команду, с которыми он выгонит из Польши русских и всех их сообщников и приведет республику в прежнюю вольность, какою должна она пользоваться по договору Карловицкому. Услыхав слово «Карловицкий», визирь вспылил и сказал переводчику: «Передай этой собаке, чтоб он не называл больше Карловица; нет больше договоров карловицких, которые ими сломаны; по закону, кто соединяется с нашими неприятелями, тот сам становится нашим неприятелем. Всесильный мой самодержец, прибежище королей, раздаватель корон, не слуга этим собакам и не имеет в них нужды для предводительствования

нашими войсками. А если он (Потоцкий) хочет, чтоб я послал его с сераскиром, то пусть трет лоб свой о землю и целует мои ноги; и ему как прибегшему к нам не будет обиды; а по вступлении нашем в Польшу над всеми теми, которые с петлею на шее поддадутся, будет милосердие, а на прочих меч за то, что соединились с русскими. Великий султан не хочет ничего знать о их проклятой вольности, потерянной ими, и чтоб они шли к дьяволу вместе с русскими!» Потоцкий с кротостию отвечал, что будет во всем служить сераскиру и соединит конфедератов под его властию. Визирь успокоился этим ответом и сказал ему: «Так говори, а не обманывай нас! — и, обратясь к одному из пашей, сказал: — Если поляки примут веру магометанскую, то мы им поможем охотно» [52].

Турки не могли помочь полякам, и последним не было нужды принимать магометанскую веру. Но сначала объявление турками войны России произвело магическое действие в Польше: немедленно поднялись головы, и фантазия разыгралась. Расслабленное тело, которое не могло ничего сделать само для себя, ждало спасения только от чужой помощи и наконец дождалось. Мечтали, что Турциею дело не ограничится, составится европейская коалиция: против России вооружатся Франция, Австрия, Пруссия, Саксония, Швеция, Дания и даже Англия; Россия будет побеждена, Россия должна будет отказаться от всего сделанного ею в Польше. Поднял голову и полный представитель тогдашней Польши король Станислав-Август. Блестящий поклонник идей века, с широкими и теоретически правильными политическими взглядами, с стремлением пересоздать Польшу, дать ей *активное* значение среди других держав, Станислав-Август страдал крайнею слабостию воли, совершенною неспособностию к почину движения, к принятию какого-нибудь твердого решения. Человек, желавший дать активное значение Польше, сам подобно своим соотечественникам отличался совершенною пассивностию; отсюда привычка ждать спасения не от собственной воли и энергии, а от обстоятельств, привычка отстраняться и складывать руки при затруднениях, вера, постоянно им выражаемая, что настанут сами собой счастливые дни, которыми он воспользуется, чтоб совершить что-нибудь замечательное; судьба недаром подняла его так высоко, судьба все сделает — фатализм, отличающий слабых людей, слабые народы.

И на первых порах могло показаться, что Польша с своим королем были правы: в Петербурге не с полною твердостию было выдержано искушение турецкой войны, обнаружилось колебание и некоторая перемена системы относительно Польши, сделана была ошибка, заставившая поляков еще выше поднять головы и выставить сопротивление, хотя и

страдательное, но тем не менее затруднявшее и раздражавшее. Как обыкновенно бывает, при затруднительном положении ввиду двух войн, при неприготовленности к ним стали искать, кого бы обвинить в этом затруднении, на ком сорвать сердце; на ком же больше, как не на человеке, управлявшем внешними делами? Панин должен был готовиться к буре. Он раздражил поляков, раздражил Австрию и Францию, следствием чего было поднятие Турции; он переменил старую, мудрую систему, по которой Россия была в постоянном союзе с Австриею, союзе самом естественном, доставлявшем постоянное обеспечение от турок; придумал какую-то северную систему, которая никак не ладилась; заключил тесный союз с Пруссией, но прусский король может ли оказать против турок такую помощь, какую бы оказала Австрия по своему географическому положению, а, главное, при австрийском союзе и турецкой войны никогда бы не было: Порта не осмелилась бы вооружиться против двух империй. Разумеется, все эти нарекания должны были немедленно же появиться в устах врагов Панина, врагов сильных, Орлова, Чернышева, к которым примыкали люди и менее значительные, но составлявшие громкий хор. Сольмс писал своему королю, что говорят об удалении Панина, виноватого в настоящем затруднительном положении государства [53]. Английский посланник Каткарт доносил своему двору, что Панин с очень немногими друзьями должен выдерживать напор французской и австрийской партий. По мнению Каткарта, Панину нельзя было устоять против потока. Против Панина были Орлов, Чернышев, Разумовский, оба Голицына — вице-канцлер и генерал, все недовольные новою системою, покинутием австрийского союза [54].

Движения против Панина выразились в Совете. 14 ноября князь Мих. Никит. Волконский предложил свое мнение, что «все теперь делаются приготовления внутри государства, а о внешних неизвестно, и тем осмеливается спросить: есть ли при нынешнем случае такие союзники, на которых бы можно во время нужды положиться, да и притом обстоятельства ныне в Польше он почитает больше вредными, нежели полезными для России. К чему граф Г. Г. Орлов спрашивал изъяснения причин, какие привели Польшу восстать против России, на что граф Н. И. Панин изъяснил все те причины и притом объявлял, какие из того вышли замешательства. После сего сделан был вопрос, что неможно ли изыскать каких-нибудь средств для усмирения и восстановления покоя в Польше и для приведения оной на свою сторону. На сие граф Н. И. Панин читал декларацию, посланную в Польшу проектом для восстановления тишины, на которую ожидает ответа; и на все вышеописанное происходили разные политические рассуждения» [55].

Екатерина поддержала Панина. Не могла она уступить раздражению, явившемуся вследствие малодушия, робости при первом неблагоприятном обстоятельстве, и выдать человека, который действовал с полного ее согласия; не могла она признать, что политическая система ее царствования оказалась несостоятельною, признать превосходство системы предшествовавшей. Но, поддержав Панина, она уступила относительно человека, действовавшего в Варшаве, она пожертвовала Репниным, на которого приходили жалобы, что он поступал слишком круто, раздражал поляков. Решено было отозвать Репнина, заменив его человеком более мягким; сделана была уступка полякам.

Мы видели, что сам Репнин просил Панина отозвать его из Польши, сравнивая свое положение с положением каторжника [56]. С одной стороны, он был недоволен военными распоряжениями в Петербурге, с другой — его сильно раздражало то, что поляки вследствие турецкой войны подняли головы и стали требовать, чтоб он разделал то дело, которое он устроил с такими усилиями. А тут еще на него возлагается новое трудное поручение. Для успешного ведения войны с Портою, для недопущения турок ворваться в Польшу для соединения с конфедератами, для русского войска важно было занять две польские крепости, Замосць и Каменец-Подольский, особенно последний. В Совете 8 декабря было сделано предложение о Каменце, что если эту крепость взять основанием кампании, то надобно употребить средство к ее занятию. Гр. Орлов представил, что, сколько известно, Каменец так укреплен природою, что силою взять его нельзя, 50 000 человек ничего не в состоянии сделать, если бы даже в крепости было только 1000 человек гарнизона. Граф Петр Панин говорил, что если эту крепость силою взять нельзя, то надобно стараться получить ее военною стратагемою; и наконец решено было «всевозможные иметь старания о занятии оной крепости». Сохранилась по этому поводу собственноручная записка императрицы: «Мне кажется, послать надлежит курьера с ордером к Прозоровскому и к Салтыкову, чтоб они старались занимать Каменца куплею, или финтою, или иным образом, лишь бы не опрошами или формальною осадою, коей никак неможно и не должно делать» [57]. Замосць находился в частном владении у Замойского, который был женат на сестре королевской; поэтому Репнин частным образом обратился к брату короля обер-камергеру Понятовскому, не может ли король написать партикулярно своему родственнику, чтоб тот не препятствовал русским войскам к занятию Замосця. Но король, вместо того чтоб отвечать частным же образом, собрал министров и объявил им, что русские хотят занять Замосць. Вследствие этого Репнину была прислана нота, что министерство его величества и

республики за долг поставляет просить не занимать Замосця. Репнин не принял ноты, ответив, что он не требовал ничего относительно этой крепости, а великому канцлеру коронному Млодзеевскому заметил, что русские войска призваны польским правительством для успокоения страны; на каком же основании не давать им выгод, одинаких с выгодами польских войск? Когда же Репнин стал пенять королю, зачем он не сделал различие между поступком *конфидентной откровенности* и *министериальным,* то Станислав-Август прямо сказал: «Не сделай я так, ведь вы бы заняли Замосць». Репнин отвечал также прямо, что занятие Замосця необходимо для безопасности Варшавы в случае татарского набега и что таким поступком король не удержит его от занятия крепости: «Я ее займу, хотя бы и с огнем». — «Это занятие очень важно, — продолжал король, — стоит только начать». — «Не разумеете ли вы Каменец?» — спросил Репнин. «Именно», — отвечал король. Тут Репнин сказал ему: «Мы из Польши в турецкие границы не выйдем, прежде нежели не будем иметь в руках Каменец для учреждения там нашего магазина и пласдарма; итак, если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а в турецких границах, то отдавайте нам Каменец. Как ваше величество теперь с дядюшками? Рассуждали ли о настоящих обстоятельствах?» Король несколько смутился и отвечал: «Они со мною по-прежнему холодны; что же касается настоящих обстоятельств, то они говорят, что нужно посредничество чужестранных держав и что нация может успокоиться только в том случае, когда Россия отступится от гарантии и диссидентского дела, когда диссидентам уступлена будет только свобода вероисповедания и заградится доступ в судебные места и на сеймы». — «Это лекарство хуже болезни, и, конечно, мы его не употребим, — отвечал Репнин, — вам, другу России, обязанному ей престолом, не годится уничтожать общего дела; вы должны продолжать свою преданность к России, особенно когда видите, что все стараются свергнуть вас с престола, что и на Россию-то все сердятся за то, что мы поддерживаем вас на престоле». — «Я бы охотно свое место оставил, — отвечал король, — если бы мог скоро успокоить свое отечество и доставить нации то, чего она так желает, т. е. уничтожения русской гарантии и диссидентского дела».

В совете королевском громко раздавались враждебные России голоса. Маршал коронный, князь Любомирский и граф Замойский от своего имени и от имени Чарторыйских предложили, что войско правительства польского, назначенное под начальством молодого Браницкого действовать против конфедератов, должно немедленно распустить по непременным квартирам; иначе русские подговорят его на свою сторону и употребят против турок, а из этого султан мо-

жет заключить, что Польша заодно с Россиею, против Турции. Любомирский с товарищами сильно восставали против последнего сенатского решения просить у России помощи против конфедератов. Браницкий противился распущению войска, говорил, что это произведет неудовольствие в народе и возбудит подозрение в русском правительстве; но Замойский продолжал настаивать на распущении войска и требовал, чтоб на будущее время принята была такая система: не отказывать прямо России в ее требованиях, но постоянно находить невозможности в их исполнении, льстить, но ничего не делать; королю нисколько не вмешиваться в настоящие волнения, нейти против нации, не вооружаться и против турок, но выжидать, какой оборот примут дела. Король все время молчал; совет Замойского приходился как нельзя больше ему по душе в главных своих чертах, но он был на стороне Браницкого насчет нераспущения войска. Наконец положили войска не распускать, но запретить ему приближаться к русским границам; позволено ему требовать русской помощи и соглашать с русскими войсками свои движения только против бунтующих крестьян, но вместе с русскими нигде не быть, не показывать, что польское правительство заодно с русским.

Понятно, что при таких решениях не было никакой надежды получить от поляков Каменец. Зная, что король снова сблизился с Чарторыйскими, Репнин обратился к ним, выставляя необходимость занятия Каменца русским войском. Чарторыйские отвечали: «Лучше подвергнуть весь тот край совершенному опустошению, чем подать туркам причину к объявлению нам войны, тем более что еще неверно, обратятся ли турки к польским границам; да хотя бы и этих причин не было, то отдать Каменец не патриотично». Репнин спросил их: «Что, по вашему мнению, для вас выгоднее, чтобы Россия или Порта взяла верх в настоящей войне? От решения этого вопроса должно зависеть все ваше поведение». — «Ни то, ни другое, — отвечали Чарторыйские, — нам всего выгоднее не путаться нисколько в это дело». — «Достоинство вашей короны страдает от презрительных отзывов Порты на ваш счет», — сказал Репнин. «Где нет бытия, там нет и достоинства, мы все потеряли», — отвечали Чарторыйские; и литовский канцлер примолвил: «Il vaut mieux ne rien faire, que de faire des riens».

Репнин обратился к королю — те же ответы. Репнин представил ему, что он глядит не своими глазами и что никогда еще не было ему такой нужды находиться в самом полном согласии с Россиею, потому что она одна может спасти его от падения, которое ему готовит Порта, Франция и большая часть поляков. «Все это я очень хорошо вижу, — отвечал король, — но есть такой период бедствий, в который уж ника-

кая опасность нечувствительна; я теперь именно в этом периоде и потому отдаю свой жребий во власть событиям». — «Умоляю ваше величество подумать, — сказал на это Репнин, — теперь у вас еще есть хотя малая армия, а в марте месяце и той заплатить будет нечем; тогда если бы вы и захотели на что-нибудь решиться и к нам приступить, то уже будет не с кем». — «Я, кажется, доказал свое усердие, — отвечал король, — потеряв вследствие этого усердия весь кредит в своей нации и дошедши до бессилия, которого мне в вину поставить нельзя». — «Конечно, — сказал Репнин, — прошедшая ваша дружба забыта не будет, но надобно ее продолжать; а как скоро вы ее прекратите, то и все кончится». — «Если ее и. в-ство, — отвечал король, — даст мне возможность быть ей полезным, согласясь отступить совершенно от гарантии и частию от диссидентского дела, даст мне чрез это способы возвратить к себе любовь и доверенность моих подданных, то я докажу действительным образом, что нет человека преданнее меня ее и. в-ству; но если она этого не сделает, то я хотя и останусь ее другом, но в совершенном бездействии и небытии». Репнин заметил на это, что императрица не может отступить от своих прав без унижения своего достоинства. Когда король повторил также решительный отказ относительно сдачи Каменца, то Репнин кончил разговор словами, чтоб король пенял во всем на себя. Русские будут уметь взять предосторожности, какие им нужны. В начале 1769 года в разговоре с Репниным король повел речь о возможности своего близкого падения. Репнин заметил ему, что всегда неприятно сходить с престола, а быть согнану и стыдно. «Меня, конечно, не сгонят, — отвечал король, — я умру, давши себя застрелить в своем дворце, а места своего не покину, буду здесь защищаться». — «Лучше бы не дожидаться такой крайности, — возразил Репнин, — славнее было бы умереть в поле, а не в своей комнате; я сам пойду к вам в адъютанты, если только вы примете это мужественное намерение и соедините свои силы с нашими; слава и счастье сами не приходят, а надобно идти к ним навстречу, искать их». — «В моем положении нельзя думать о славе, — отвечал король, — выше славы поставлю свой долг, а долг запрещает мне переменить свое поведение».

В Петербурге хотели, чтоб король прямо соединился с Россиею, примкнувши к конфедерации, которая бы составилась при русской помощи для поддержания постановлений последнего сейма. Но Бенуа писал своему двору в начале 1769 года: «В Петербурге сильно ошибаются, воображая, что Россия имеет еще партию в Польше; здесь всякий согласится со мною, что от самого знатного вельможи до последнего нищего — все смертельно ненавидят все московское»[58]. Станислав-Август был согласен с Бенуа и потому

в разговоре с Репниным 9 декабря 1768 года спросил его: «Чего вы от нас хотите?» *Репнин:* Чтоб вы подтянули пружины своего правления для воспрепятствования вашему полному уничтожению. *Король*: То есть вы хотите сейма или конфедерации, которым вы потом скажете: если вы не успокоитесь, то мы будем смотреть на вас как на нарушителей договора; и вы нас принудите, как на последнем сейме, принять вредные для нас решения. *Репнин*: У нас нет этого намерения; но если бы мы так поступили, то вам бы следовало сказать тогда *«нет»,* сказать с мужеством, истинно патриотическим; тогда бы открылось, что мы посягаем действительно на вашу независимость и национальное главенство; тогда вы имели бы основание призвать на помощь Австрию и Францию; тогда бы наступил для вас настоящий момент революции. *Король*: Зачем решаться нам на такой риск, когда мы его предвидим? *Репнин:* Но зачем его предполагать? *Король:* Прошедшее нас научает. Князь Репнин честный человек, но посол пользуется всем; он искушает души продажные и честолюбивые; он стращает патриотов. *Репнин*: Итак, вы не соберете ни сейма, ни конфедерации в продолжение 20 лет, если дела будут находиться в настоящем положении; так зачем же мне быть здесь, если никто не может и не хочет ничего делать? Лучше меня отозвать и прислать другого. *Король:* Лучше ничего не делать, чем дурно делать. Вы, кн. Репнин, лично заставили меня страдать больше, чем кто-либо в мире; но я уверен, что вы не можете меня ненавидеть и презирать; поэтому я не выиграю ничего от вашего отозвания. Король кончил уверением, что ни один поляк не вступит ни в какие соглашения без улучшения условий [59].

По поводу этих условий Станислав-Август писал императрице (от 26 января н. с. 1769 г.): «Желая сделать меня королем, в. в., конечно, подразумевали при этом, что я должен исполнять обязанности королевские; поэтому я обязан и в отношении к в. в. точно так же, как и в отношении к своему отечеству, представить вам верную картину состояния Польши. Я обязан это сделать, особенно после требования, сделанного мне русским послом от вашего имени, образовать конфедерацию. В то время как моя прямота и мой патриотизм заставляли меня ежедневно и настойчиво указывать русскому послу во всем делавшемся здесь то, что я находил противным благу Польши, моему собственному и даже вашему, я никогда не старался поднимать против вас врагов, ни вступать ни в какую политическую связь без вашего ведома, как другие, в пользу которых требовали от меня уступчивости, самой вредной для меня и для моего государства [60]. Я не раскаиваюсь в моем поведении, потому что оно сохранило мне титул испытанного вашего друга; но оно причиною удаления и даже отвращения, питаемого ко

мне большею частию моего народа, ибо, не зная всех возражений моих против того, что кажется ему притеснением, он считает меня виновником этого притеснения. Многие магнаты, чтоб оправдать себя пред массою граждан в предпринятом ими из личных видов, нашли полезным для себя уверять, что я желал гарантии и равенства диссидентов с католиками, тогда как в. в. вполне известно, как я сильно желал, чтоб вы не хотели этих двух вещей, и как я отказался взять на себя их проведение. Все конфедерации, уничтоженные силою оружия, и все конфедерации, которые рождаются каждый день, несмотря на постоянные поражения, доказывают всеобщность неудовольствия. Это неудовольствие обнаружится зараз повсюду, если я теперь составлю конфедерацию, основанием которой не будет уничтожение гарантии и ограничение статьи о диссидентах. Смею уверить в. в., что вместо оказания вам услуги я только увеличу этим существующие затруднения. В самой Варшаве и тридцать человек не подпишутся добровольно на такую конфедерацию. Такое ничтожное число возбудит презрение в провинциях и придаст им дух сопротивляться столь бессильной попытке столицы и короля. Если я для увеличения числа подписей употреблю силу, то это укрепит убеждение народного большинства, что я действую против его желания и интересов и что я объявляю себя его врагом. Когда два года тому назад я указывал на величайшую трудность, которую встретит диссидентское дело, приписали другим побуждениям то, что было только следствием моего знакомства с образом мыслей моих соотечественников. События меня оправдали. Я не изменил правде с самого начала, как не изменил преданности в. в-ству до конца. От вас зависит и для вас важно умирить Польшу, возвратить мне любовь моего народа и чрез это сделаться для вас существенно полезным».

«Было бы неслыханным делом, — отвечала Екатерина, — если бы я добровольно согласилась покинуть то, что можно у меня отнять только силою оружия. Чем более сознаю я обязанности моего положения, чем более я старалась выполнить их в диссидентском деле, тем более я буду виновата, если покину его. Умиротворение Польши и собственная ваша безопасность тесно связаны с успехом моего оружия. Один бог дает победу, но так как он требует от людей усилий, бодрствования и твердости, которые одни могут ее приготовить, то я не пренебрегу ничем для этого приготовления». Этот ответ был от 26 марта; а 31 марта Екатерина уже подписала инструкцию новому послу в Варшаве князю Михаилу Никит. Волконскому. Перемена посла необходимо предвещала новый способ действия. Перемена посла, каким бы путем ни дошли до убеждения в ее надобности, была

ошибкою. Князь Репнин был именно человек, необходимый в Польше в описываемое время. Он отлично знал страну, знал людей и умел обходиться с ними. Пред началом каждого дела он соображал его трудности, выпукло ставил на вид все могущие произойти неблагоприятные последствия; но как скоро убеждался в необходимости действовать или получал решительное приказание от своего двора, то принимался за дело, и уже ни шага назад, ни малейшего колебания. Репнина могли ненавидеть; но его не могли не уважать; при том характере, которым отличалось большинство польских деятелей, именно был нужен человек, которого бы уважали, которого бы боялись, как Репнина. Перемена посла естественно и необходимо возбуждала в поляках мысль, что русский двор готов отказаться от сделанного Репниным и для сохранения приличия отзывает последнего, желая сложить на него вину, показать, что он действовал не так, как ему предписывалось.

«Польша, — говорилось в инструкции Волконскому, — Польша находится в крайнем нестроении и с тенью только бездушного правительства, которое, однако, надобно вам удерживать и ободрять, ибо оно как ни бесплодно теперь для подкрепления наших дел, тем не менее нужно для одной репрезентации и для центра, из которого бы, по крайней мере со временем, можно было подать некоторое оживотворение всему корпусу республики, особливо когда войска наши одержат верх над неустроенными турецкими силами и не допустят их в эту первую кампанию утвердиться в пределах польских, ибо тогда с лучшею надеждою можно будет опять приняться за польские дела и поставить их в желаемое положение для поспешествования войны нашей с турками. Вследствие того поручаем мы вам употреблять все силы и способы к удержанию в публике сей тени польского правительства при короле и при министерстве республики, стараясь придавать ему если не внутренно, то хотя с одной наружной стороны большую верность и почтение в нации, а их самих укреплять и ободрять сильнейшим нашим покровительством, дабы не унывали и не пренебрегали в унынии всеми средствами к спасению отечества.

Мы имеем причину быть довольными нынешними поступками и мыслями короля, а потому и надобно уже вам будет обходиться с ним откровенно и советоваться об общих ваших подвигах к скорейшему успокоению нации и восстановления в ней порядка, так как в этом теперь до времени состоит главная и единственная цель всех ваших негоциаций. Король, конечно, для собственной пользы готов будет содействовать трудам и успехам вашим и не отречется следовать советам вашим в раздаче зависящих от него награждений. Нам самим нужно, чтоб король мог войти в

большую любовь у нации своей, к чему он по ограниченной власти своей не имеет других надежнейших способов, кроме раздачи чинов и наград».

Волконский должен был руководиться шестью *генеральными* правилами: 1) удерживать польское правительство хотя в одной наружности; 2) изыскивать удобнейшие средства к успокоению Польши; 3) сохранять диссидентское дело в полной его силе и во всем пространстве; 4) утверждать русскую гарантию относительно целости владений республики и неизменяемости постановлений последнего сейма; 5) не допускать поляков до соединения с турками; 6) охранять безопасность короля на престоле. Относительно второго правила замечено, что для успокоения Польши императрица не пожалеет ни труда, ни денег, если цели можно достигнуть без уничтожения гарантии. Волконский должен был стращать магнатов, что если умеренность русского двора не произведет должного впечатления, то обратится огонь и меч не на одних только явных возмутителей, но и на тех, которые скрытно их поджигают. Относительно диссидентского дела Волконский должен был грозить, что им интересуется не одна Россия, но и все протестантские державы, и если вмешаются в него католические державы, то произойдет бедственная для всего христианства война, во время которой католицизм может быть совершенно уничтожен в Польше. Впрочем, послу была указана возможность уступки по диссидентскому делу: «Не входя и не участвуя никак в модификации постановленных диссидентам преимуществ, умалчивать о тех уступках, которые иногда они сами между собою сделать согласятся для скорейшего успокоения и примирения со своими соотчичами».

22 мая Волконский приехал в Варшаву. Он начал дело с того, на чем остановился Репнин, т. е. с Каменца. Король объявил ему, что крепость не будет отдана в руки турок и в случае нападения с их стороны ей приказано будет защищаться. «Полагаясь на слова в. в., — отвечал Волконский, — я буду требовать от польского правительства формального обнадеживания». — «Требуйте», — сказал король. Волконский препроводил в министерство проект ноты, в которой требовал обнадеживания, что гарнизону каменецкому приказано будет защищаться от турок, не сдаваться и принять необходимые для обороны меры с помощию и заодно с русскими войсками. Министерство прислало проект ответа, что каменецкому коменданту приказано защищаться в случае нападения и не впускать в крепость никакого войска, не зависящего от республики. Тщетно Волконский настаивал, чтобы в ответе было именно сказано «защищаться против турок», хотя и с выпуском слов «с помощию русских войск

и заодно с ними»; поляки не согласились, и Волконский решился не посылать ноты.

Число конфедератов увеличивалось; сообщение Варшавы с главною русскою армиею пресеклось. Видя, что с таким малочисленным русским войском, какое находилось в Польше, нельзя ее успокоить, и зная, что повстанцы стягиваются к Варшаве для нападения на нее, Волконский послал приказание идти к этому городу графу Апраксину из Познани и генерал-майору Чарторыйскому из Торна; но посол не знал, дойдут ли его приказания по назначению вследствие перерыва сообщений; при прибытии Апраксина и Чарторыйского число русского войска в Варшаве должно было простираться до 4000 человек. Король уверял Волконского в неизменной преданности своей к императрице, но относительно успокоения волнений повторял, что этого достигнуть нельзя без уступки в гарантии и диссидентском деле; впрочем, и об этом говорил нерешительно, ничего не обещая и ни в чем не отказывая. Волконский повторял, что уступки никакой не будет и нечего об ней говорить как о средстве к успокоению нации, которая, видя, что правительство остается в небытии, приходит от этого все в бóльшую дерзость. Волконский заметил, что король совершенно зависит от дядей своих и без них ничего начать не смеет. «Впрочем, — прибавляет посол, — правда и то, что он сам собою ни малейшего кредита не имеет и предпринять ничего не в состоянии». Чарторыйские пели ту же песню о гарантии и диссидентах; а примас говорил, что Польша не может быть счастлива под королем Пястом, что Станислава-Августа нация ненавидит и без его свержения нет средства ее успокоить. Волконский отвечал ему, чтоб позабыл об этом и думать, Россия не допустит ниспровержения собственного своего дела. Но примас остался при своем мнении и говорил: «Я чистосердечно открыл, как я думаю, а впрочем, исполню все то, что мне будет приказано императрицею». — «Изо всех моих с здешними магнатами разговоров, — писал Волконский, — приметил я, что они не хотят ни за что приниматься в ожидании оборота дел наших с турками. Двор и министерство нас чуждаются и показывают пред народом, что никакого сообщения и согласия с нами не имеют, и в самом деле отнюдь мне ничего не сообщают и ни о чем не сносятся».

Волконский смутился; его пугала мысль, что при первой неудаче русского оружия в войне с турками в Польше образуется генеральная конфедерация. В это время, в конце июня, виленский епископ Масальский и воевода поморский граф Флемминг предложили ему проект конфедерации. И эти доброжелатели необходимым условием своей деятельности предположили уступки России в гарантии и дисси-

дентском деле, но представили способ благовидный, именно чтоб вся польская нация обратилась к императрице с просьбою об этой уступке, причем Масальский и Флемминг требовали, чтоб Россия не препятствовала умножению польского войска. Скоро явилось двое других доброжелателей: первый — молодой граф Браницкий, сын известного гетмана, второй — кухмистр коронный граф Понинский, издавна считавшийся преданным России. Они теперь составили проект конфедерации, для успеха которой требовали от России обязательства уступить Польше Бессарабию и Молдавию, если русское войско отнимет эти страны у Турции. Этот Браницкий, как известно, назначен был начальником коронных войск, которые должны были действовать против конфедератов, бывших под начальством Биржинского; Браницкий должен был действовать вместе с полковником князем Голицыным; и так как в польской казне денег не было, то Волконский дал 3000 червонных для отправления этого войска. Но мы видели, что решено было не позволять польскому правительственному войску действовать вместе с русскими; и странно, как Волконский не знал об этом решении из донесений своего предшественника. Не успел Браницкий дойти до Бреста Литовского, как получил приказание немедленно возвратиться со своим корпусом в Варшаву, после чего король прислал за Волконским и объявил ему, что, к сожалению, не мог поступить иначе, не может и объяснить о причине своего поступка. Из 3000 червонных Браницкий издержал 600, которые, таким образом, пропали даром. «После сего образца, — писал Волконский Панину, — сами изволите заключить, сколь постоянно здешнее поведение и какую надежду можно полагать на все клятвы и уверения, кои как ветер переменяются». Разговаривая с кн. Чарторыйским, литовским канцлером, Волконский сообщил ему, что повстанцы собираются в Ловиче и около Варшавы. На это Чарторыйский сухо отвечал, что, может быть, составят они генеральную конфедерацию, и когда Волконский спросил, что же они, Чарторыйские, станут делать в таком случае, ибо генеральная конфедерация будет против короля, следовательно, и против них самих и разорит Польшу, то получил ответ: «Мы не знаем, что с нами будет, а Польша останется всегда Польшею». Тут пришел воевода русский; Волконский спросил у него, какое он сделал распоряжение относительно польских войск, находящихся в Варшаве. Чарторыйский отвечал, что на эти войска надеяться нельзя, ибо они сами говорят, что драться с конфедератами не станут.

26 июля король позвал Волконского обедать и после обеда начал разговор обычными уверениями в преданности своей императрице, а кончил вопросом: не лучше ли союзный трактат и всю последнюю конституцию уничтожить, а на

место их сочинить новый трактат? Волконский отвечал, что такие мысли надобно выкинуть из головы, что Россия никогда от трактата не отступит, ибо гарантии просила от императрицы республика чрез торжественное посольство и трактат поставлен на основании этой просьбы. «Все это было сделано силою», — сказал король. «Неправда! — отвечал Волконский, — такое торжественное посольство не могло быть принужденное». И в то же время король обратился к Волконскому с просьбою, не может ли он помочь ему в крайней бедности, ссудить тысяч до десяти червонных, ибо доходы его все побраны конфедератами и ему почти есть нечего. Волконский дал ему 5000, да прежде у Репнина взял он 13 000 червонных. Станислав-Август просил, чтоб эту ссуду содержать в тайне, стыдясь и боясь, чтоб не сказали, что он подкуплен Россиею. Спустя немного времени король попросил еще 5000 червонных, без чего был бы принужден распустить свою гвардию. Волконский дал деньги, зная, что эта гвардия ждет первого случая пристать к мятежникам, и случай этот представится, когда король распустит ее по невозможности платить жалованье. В то же время король чрез резидента своего в Петербурге Псарского обратился прямо к императрице с просьбою помочь ему деньгами; Екатерина утвердила выдачу 10 000 червонных, сделанную Волконским, отзываясь, что при настоящих огромных издержках русского двора она не может оказать большей помощи.

Относительно плана конфедерации, предложенного виленским епископом Масальским, Панин уведомил Волконского, что «сей затейливый прелат то единое в голове имеет, чтоб каким-нибудь образом допущену и приведену быть в состояние средством и помощию нашею, не отваживая ни в чем своей персоны, заиграть собственную свою ролю, которая бы ему оставляла свободу, по усматриваемым им самим переменным обстоятельствам обращаться во все стороны, так как он по особливой своей легкомысленности оказывался и при всех прошедших делах». Панин уведомлял, что Масальский присылал в Петербург эмиссаров, аббата Бодо и полковника С. Лё, которые привозили предложение составить конфедерацию в Литве. С. Лё отправлен был из Петербурга с ответом, чтоб Масальский переговаривал обо всем с Волконским; а Бодо остался и сделал новые предложения — сойтись с Франциею и вместе с нею восстановить спокойствие в Польше. Панин внушал Волконскому, что Масальского нельзя ставить в чело предприятия, а надобно действовать так, чтоб при движении других благонамеренных и менее его суетно надменных патриотов Масальский шел вместе с этим движением. Гораздо более нравилось в Петербурге предложение Понинского и Браницкого, потому что оба считались людьми испытанной верности. При этом Панин обращал внимание

Волконского на данную ему возможность уступки в диссидентском деле: «Надобно, чтоб сами диссиденты добровольно вошли в точное рассмотрение, сохранение всех на последнем сейме приобретенных прав стоит ли того, чтоб покупать его междоусобной войной и своим совершенным разорением; не лучше ли пожертвовать частию выгод для восстановления общей тишины и для обеспечения другой части тех самых выгод. Но слава и достоинство ее и. в. не дозволяют, чтоб внушение о нужде и пользе такого поступка шло от нас; надобно, чтоб диссиденты сами на то попали или же по крайней мере вами чрез третье лицо весьма нечувствительным и искусным образом доведены были». В Петербурге соглашались и на требование Понинского и Браницкого относительно присоединения Молдавии к Польше: присоединение Молдавии к России не считалось полезным, а отдаленность ее от русских границ обременит собственно русскую защиту; тогда как присоединение ее к Польше упрочит влияние России в последней: молдаваны православного исповедания, дворянство их составляет особый корпус, который при соединении с Польшей должен выговорить себе под русским покровительством совершенно одинакие права с польским шляхетством. Кроме того, считалось выгодным в настоящую минуту, если бы новая конфедерация, имея в виду обладание Молдавией, вступила с Россиею в явные обязательства против турок и отдала ей Каменец в полное распоряжение на все время войны.

Но польские дела зависели именно от хода этой войны. Когда в августе пришло известие, что русские дела идут плохо, то Чарторыйский, воевода русский, объявил Волконскому: «Не как послу, но как моему старому другу откроюсь чистосердечно, что, кто здесь будет сильнее, того сторону и примем; я отсюда, из Варшавы не поеду, а королю себя спасать надобно; вы здесь не так сильны, чтоб могли нас защитить».

В сентябре пришли в Варшаву вести о разбитии турок русскими и занятии Хотина, вести эти были встречены неприятно; и разнесся слух, что хотят созвать Сенат. Волконский потребовал свидания у короля и получил отказ под предлогом недосуга; посол поехал во дворец в обычный день, в воскресенье, и успел вступить в разговор с королем; Станислав, не объявляя ничего точного о совете, начал старую песню о необходимости менажировать нацию. Ничего не добившись здесь, Волконский отправился к воеводе русскому под видом посещения, потому что тот был болен. Чарторыйский сказал, что созвание Сената — необходимое дело для них, им надобно оправдаться пред нацией; конфедераты, считая их русскими приверженцами, разоряют их деревни. Волконский на расставаньи сказал ему, что раскаются они, если следствия совета будут противны России,

а при другом свидании сказал прямо, что Чарторыйские ответят всем своим имением. От короля Волконский услыхал старые жалобы, что его ненавидят единственно из-за России, что он открыл против себя злодейский замысел, которого виновники ему известны, но не хотел назвать их по именам. На слова Волконского, что Россия может избавить его от этих врагов, король отвечал, что оставляет дело до удобнейшего времени, но по всем этим причинам должен он показать нации, что все возможное сделано им в ее пользу. Волконский внушал ему, что не только мнимая нация, каковым именем он называет конфедератов, но и никто на свете не удержит его на престоле, если он своим поведением принудит Россию свергнуть его. Король отвечал, что не ожидает этого от императрицы, а, будучи поляком, против отчизны ничего предпринять не может. Примас на том основании, что Чарторыйские навезли в Варшаву сенаторов своей партии и потому будут иметь большинство голосов на своей стороне, почитал за лучшее совсем не ездить в Совет и приятелей своих к тому же уговорить, а потом, смотря по результату Совета, выдать протест, что Совет незаконный, ибо рассуждал он о государственных делах, которых решение принадлежит всей республике. Совет, который Волконский называет диваном, кончился 25 сентября и обнаружил последствия отозвания Репнина. Сенаторы постановили: послать к русскому двору с жалобами на князя Репнина, что заключил договор насильственно; в Англию послать с просьбою, чтоб ее министр в Константинополе извинил короля и республику Польскую, что они мира с Портою не разрывали и что все происшедшее было сделано насильно Россиею; королю предоставлено право отправить послов ко всем дворам, к которым заблагорассудит, с такими же жалобами. «Мне кажется, — писал Волконский, — пришло уже время усмирить Чарторыйских; видя, что мы даже и в критических обстоятельствах их щадили, они не только не отстают от своего намерения сделать из Польши активную державу и быть при этом орудиями, но и сильнее прежнего приготовляют к тому способы, стараясь уничтожить последний договор как непреоборимую к тому препону. Королем так овладели, что он без них шагу ступить не может. Слабость его непомерна, и при всей слабости замыслы быть сильным и властным в государстве также непомерны; зная же, что мы до этого не допустим, идет против нас, а Чарторыйские ему натолковали, что мы никогда не свергнем его с престола. Я осмелюсь представить свое мнение, не полезно ли было бы постращать короля от вас, что мы решились, если он не исправится, свергнуть его с престола; а так как Чарторыйские уверяют его, что прусский король не допустит до этого низвержения, то не худо бы склонить и прусского

короля сделать подобный же отзыв; а непременно надобно принять скорые меры против сумасбродства Чарторыйских и французских интриг». Но кроме необходимости пострашать короля Волконский представлял еще необходимость конфедерации, которая бы действовала в русских видах, и требовал для нее 300 000 рублей. «Если это начинать, — писал он, — то непременно в ноябре, чтоб до весны к концу можно было привести».

Если Волконский в петербургском Совете поднимал вопрос о Польше нарочно для того, чтоб призвать к ответу Панина и Репнина; если принял место последнего в Варшаве с уверенностию, что противоположным поведением сумеет поправить дело, испорченное Репниным, то теперь он был сильно наказан за это, будучи принужден принять поведение и тон Репнина, принужденный оправдывать своего предшественника.

1 октября Волконский сообщил Панину о своем разговоре с королем. «Не стыдно ли вашему величеству, — говорил посол, — приписывать насилиям князя Репнина все сделанное на последнем сейме, когда вы знаете, что все это одобрено императрицею, да зачем же вы сами с сеймом ратифицировали дело. Пусть частные люди боялись какого-нибудь насилия от князя Репнина, на которое, впрочем, он бы не мог решиться без позволения своего двора; но ваше величество чего боялись? Ведь вас князь Репнин не взял бы. Притом, для чего вы молчали до сих пор? А теперь, когда особенно должны быть благодарны России за избавление от турок и от своих внутренних злодеев, вы вздумали заводить с нею разрыв, жалуясь на князя Репнина, требуя вывода русских войск, которые одни поддерживают вас на престоле, и посылая министров к таким дворам, которые стараются вас погубить; до сих пор вы называли конфедератов фанатиками, а теперь сами говорите их языком, будто вера и вольность потрясены в Польше нами. Оставляю на собственное рассуждение вашего величества, что́ наш двор должен заключить о вашем поведении и какие могут из того произойти для вас следствия; я скажу только, что те, которые ведут вас в эту бездну, не будут в состоянии избавить вас из нее, и вы раскаетесь, но, может быть, поздно». Король сначала остолбенел, но потом, оправившись, начал уверять в своей преданности к императрице и закончил по обыкновению заявлением, что, как поляк, должен был доказать нации попечение свое о ее благоденствии. Волконский заметил после этого, что король не унывает, но веселее и довольнее прежнего; и когда посол повторил ему представления свои о погибели, в которую ведут его Чарторыйские, и прибавил, что и прусский король советует ему чрез Бенуа держаться России и поэтому не может быть доволен настоящим его по-

ведением, то король на это ничего не отвечал, а только, улыбнувшись, пошел прочь. Чарторыйские же явно перед всеми отзывались, что они никогда на такой твердой ноге не были, как теперь; когда же им говорили, что Россия не поблагодарит их, то воевода русский отвечал: «Правда, что первый удар может быть для нас очень чувствителен, но время все успокоит». Они сами были уверены и сторонников своих уверяли, что прусский король вовсе не истинный друг России. Король начал громко говорить против России, а главный крикун между королевскими советниками вице-канцлер Борх проповедовал везде, что последнее сенатское совещание есть самое счастливое событие для Польши и составляет эпоху в национальном благополучии. Однажды епископ куявский заметил Борху, что они и себя губят, и других в погибель влекут, действуя явно против России, от которой одной Польша может ожидать помощи; особенно безрассудно раздражать Россию теперь, когда она взяла верх над турками. Борх отвечал, что России бояться нечего; хотя она и победила турок в эту кампанию, то, конечно, будет побеждена в будущую; да если бы этого и не случилось, то вся Европа, чтобы воспрепятствовать усилению России, вступится за Польшу, особенно Австрия, которая, верно, не будет смотреть сложа руки на победы русских над турками и вступится за Польшу; Борх прибавил, что Россия, имея силу в руках, не посмеет, однако, тронуть ни их лично, ни имений их, ибо до сих пор ничего им не делает.

В это время Станислав-Август писал Жоффрэн: «Есть люди, которые засвидетельствуют, что в раннем детстве у меня было предчувствие великого возвышения. Ставши королем, я сказал: увидите, что скоро меня постигнут страшные беды. Все, что я ни предприму, будет испорчено и наполовину разрушено; но я переживу беду, снова построю, выплыву наконец, и та же надежда оживляет мое сердце и теперь, хотя нахожусь в величайшем затруднении. Мои дела идут страшно дурно, но я говорю: теперь бог должен меня вывесть из беды, в ожидании чего будем исполнять свою обязанность. И я исполнил свою обязанность, подписавши сенатское решение, по которому назначено торжественное посольство для принесения русской императрице жалобы на все то, что делалось здесь в продолжение двух с половиною лет против моей воли человеком, который действовал ее именем, но, как видно, давал ей ложные сведения. Я не должен предполагать, чтоб императрица могла рассердиться на меня за это; но если она осердится, то я пострадаю за этих самых конфедератов, которые разоряют мои владения, похищают мои доходы, и некоторые стремятся отнять у меня корону и даже жизнь. Но нет нужды; мужество и терпение, и все это кончится хорошо». Примас рассказывал Волконскому, что

король отправил француза С. Поля в Версаль в качестве своего агента; в мемориале, который повез С. Поль, говорилось, что король объявит себя против России, если Франция возьмет его под свое покровительство; мемориал этот был подан Шуазелю, вследствие чего и началась настоящая суматоха. Волконский не отвечал за правду этого известия, тем более что примас не любил короля; но Подоский уверял, что знает о деле чрез верный канал, и обещал доставить копию с мемориала.

Панин писал Волконскому, что примаса надобно держать в железных рукавицах. Разумеется, что Россия составляет его единственную надежду, и потому он ей предан, но, с другой стороны, он душою и сердцем предан саксонскому дому. Понятно, что в Петербурге были очень недовольны сенатским совещанием; положено было не допускать князя Огинского, назначенного к отправлению в Петербург с жалобами на князя Репнина; и Панин писал Станиславу-Августу два письма — от имени императрицы и своего с теми же представлениями, какие делал ему изустно и Волконский. Между тем деньги на благонамеренную конфедерацию были приготовлены. Панин писал Волконскому, что императрица считает необходимым привлечь короля к этой конфедерации и к России, но старики Чарторыйские должны быть исключены и все их значение в народе должно быть уничтожено вместе с надеждою восстановления этого значения когда-либо впредь. Надобно привлечь Мнишка и Потоцких, но нельзя позволить им низвергнуть короля. В случае же крайности, если бы Станислав-Август легкомыслием, непостоянством и безрассудностию делался невозможным на престоле, то необходимо, чтоб низвержение произведено было Россиею, чтоб новый король был Пяст и возведен также Россиею, чтоб Франция не могла показать свету, что русское дело возведения Понятовского не могло быть прочно, не могло устоять против подкопов Франции по недостатку внутренних сил самой России. Так необходимо поступать и вследствие соглашений с Пруссиею, и вследствие того, что русское влияние в Польше подвергнется сильной опасности вследствие возведения на престол саксонского курфирста, ибо Саксония по положению своему между соперницами Австриею и Пруссиею и по отношениям к Франции будет часто переходить из союза в союз, увлекая за собою и Польшу то в ту, то в другую сторону, что́ никак не согласно с независимою северною системою, однажды навсегда принятою ее и. величеством.

Письма Панина не подействовали на короля; Волконский не нашел в нем ни малейшей перемены после их прочтения; Станислав-Август твердил, что должность требовала от него показать нации свое попечение об ней и что надобно ему также нажить и хорошее имя на свете. Когда Волконский

спросил, надеется ли он остаться на престоле хотя недолго, если императрица отнимет от него свою руку, то он на это ничего не сказал, а только *пожалсг*. Каждый день король держал у себя совет, состоявший из дядей Чарторыйских и наперсников, т. е. маршала Любомирского, бывшего канцлера Замойского и вице-канцлера Пршездецкого и Борха. В конце ноября Волконский ездил к королю с требованием, чтоб отстал от своих советников, окружал бы себя добрыми патриотами и людьми беспристрастными, каковы, например, граф Флемминг, Браницкий, которые отечество любят, ему, королю, преданы и фамильных интересов не имеют, не похожи в этом отношении на Чарторыйских, которые имеют причину усиливать замешательства, ибо если бы они довели его до того, что императрица отняла бы от него руку помощи и он лишился короны, то они нисколько не замедлили бы пожертвовать им в пользу князя Адама и маршала Любомирского. «Они мне родня, — отвечал король, — отстать от них я не могу, а буду поступать по желанию вашему». Волконский стал выговаривать королю за недостаток откровенности, за скрытие от него намерения созвать Сенат и постановить известное решение. Король сказал на это: «Мы тогда на нитке висели, и слава богу, что война приняла такой благоприятный оборот». — «Но разве вы бы спаслись, — возразил Волконский, — если бы турки нас побили, и какую бы пользу принесло вам решение вашего Совета? Вам известно, что нация вас ненавидит и держитесь вы на престоле одними нашими войсками». — «Предпочитая всему обязанности патриота, — отвечал король, — я обязан был сделать что-нибудь в пользу нации». — «Кого вы под нацией разумеете, — спросил Волконский, — не тех ли, которые против вас взбунтовались под предлогом веры и вольности и от которых императрица вас защищает? У них ваш поступок не возбудил ни малейшей благодарности; да если бы и возбудил, если бы возмутители к вам пристали, то неужели бы вы взяли вместе с ними оружие против своей благодетельницы?» — «Оружия не взял бы, — отвечал король, — а стал бы их уговаривать и склонять к успокоению». На другой день Волконский отправился к Понятовскому вместе с Бенуа, который именем своего государя советовал не терять дружбы русской императрицы, ибо от нее одной зависит его королевское благополучие. Станислав-Август отвечал и Бенуа, что он ничего противного императрице не делает, а поступает, как велит ему долг, который он всему предпочитает.

Волконский переслал в Петербург на одобрение планы новой конфедерации; но Панин известил его в начале декабря, что надобно подождать, тем более что Молдавия завоевана без поляков. Относительно королевского поведения надобно также подождать, посмотреть, какое впечатление на

зыбкий дух Станислава-Августа произведет непринятие императрицею посольства Огинского. Еще до получения этого ответа от Панина Волконский 13 декабря был приглашен королем, который начал ему говорить: «Бенуа именем своего государя предлагает дружеский совет, чтобы я искал прибежища только у одной императрицы. Я не желаю сделать что-либо противное; но, не зная, о чем идет дело, не могу слепо вам в руки отдаться». — «Дело идет о том, — отвечал Волконский, — чтоб удержать вас на престоле и успокоить Польшу. Ее и. в-ство, видя неожиданное ваше поведение и зная, что вы принуждены так поступать своими хитрыми советниками, по своему великодушию не отреклась еще от забот о вашем избавлении, а исключила только советников ваших из своего покровительства. Вашему величеству надобно этим воспользоваться и, не теряя времени, подумать о себе, оставя злых советников; я не могу с вами изъясняться о мерах, которые мы предпринимаем для вашего избавления, пока не увижу, что вы отстали от этих советников и только в покровительстве императрицы ищете себе спасения, ибо иначе советники ваши об этих мерах знали бы и препятствовали им». — «Чарторыйские, — отвечал король, — мне родня, и отстать от них я не могу; я не могу также обещать исполнять во всем вашу волю; вы, может быть, захотите уничтожить все полезные постановления, сделанные для Польши в мое царствование?» — «Дядей своих вы можете почитать как родственников и в делах советов их не слушать и не спрашиваться с ними, — отвечал Волконский. — Императрица от договора своего с Польшей и диссидентского дела не отступит, о гарантии же сделает изъяснение, что она вовсе не опасна для польской самостоятельности; дядей ваших она навсегда лишила своего покровительства». — «Да кто же будут нашими приятелями, — спросил король, — разве Потоцкие, которые оказались против вас такими неблагодарными?» — «Не знаю, — отвечал Волконский, — благодарны Потоцкие или нет; знаю одно, что Чарторыйские неблагодарны и что Потоцкими жертвовали мы несколько раз для возвышения Чарторыйских». — «Что ж вы сделаете с Чарторыйскими, — спросил король с жаром, — неужели и их возьмете как Солтыка?» — «И за это не ручаюсь, — отвечал Волконский, — если они не переменят поведения». — «В таком случае лучше уж и меня самого взять, — сказал король и покончил словами: — Я надеюсь, что императрица по великодушию своему не принудит меня отстать от своей родни». Тут же была речь и о медиации: король предложил взять в посредницы какую-нибудь католическую державу, Францию или Австрию, ибо дело идет о вере. «О вере, — отвечал Волконский, — дело вовсе нейдет, и в медиации нужды нет; между императрицею и вашим величеством посредников не нужно,

потому что вы ею одною возведены на престол и поддерживаетесь на нем; а между Россиею и бунтовщиками, которых вы называете нациею, медиация невозможна».

Между тем польский резидент в Петербурге Псарский дал знать королю, что русский двор намерен совершенно отступиться от гарантии и согласиться на исключение диссидентов из законодательства, если они сами добровольно пришлют о том с просьбою в Петербург. Король показал Волконскому депешу Псарского. Посол отвечал, что об отступлении от гарантии никакого повеления не имеет, гарантию можно только изъяснить чрез декларацию или новый дополнительный трактат; что же касается диссидентов, то думает, что если бы они сами добровольно пожелали отказаться от каких-нибудь прав, то затруднения в этом со стороны русского двора не будет. Король, услыхав о дополнительном трактате, пришел в восторг. «Прекрасно,— сказал он,— надобно работать!». Но Волконский умерил его восторг, заметив, что прежде всего надобно получить удостоверение, что Чарторыйские и прочие советники королевские будут отстранены от содействия и что впредь король будет раздавать награды не по их представлениям, а по совету с ним, послом. «Лучше дам себя в куски изорвать, чем на это соглашусь»,— отвечал король с жаром. «В таком случае,— сказал Волконский,— если нужда дойдет до конфедерации, то мы принуждены будем составить ее и без вашего величества».— «Не лишу я своих советников доверенности,— продолжал король,— потому что если бы я их от себя отдалил, то нация увидела бы, что я их бросил за их враждебность к России».— «Из этого выходит,— сказал Волконский,— что ваше величество и сами стараетесь показать себя врагом России; а по-моему, вы крепче сидели бы на троне, если бы нация уверилась, что вы с нами». Король, увидев, что проговорился, не отвечал ни слова[61].

Вместе с Волконским уговаривал Станислава-Августа держаться России и прусский министр Бенуа; Фридрих II продолжал играть роль верного союзника России. Но мы видели также, что он тяготился иногда этим союзом, смотрел с досадою на действия России в Польше в пользу диссидентов, что могло слишком усилить здесь русское влияние; Фридриха раздражала мысль, что между союзниками нет равенства, что он служит русским целям, не говоря уже о том, как раздражало его желание русского двора навязать ему свою северную систему, в которой он не видел никакого практического смысла, видел одно стеснение для себя. Усиление польских волнений, война конфедератская, наконец, война турецкая увеличивали затруднения прусского короля: по союзному договору надобно было помогать России по крайней мере деньгами; надобно было хлопотать, чтобы

как можно скорее прекратились и польские волнения и турецкая война; последней Фридрих сначала очень боялся, предполагая важные последствия, европейскую войну, из которой выйти подобру-поздорову считал он большим счастием [62]. Но во всяком случае он крепко держался русского союза, который один давал ему обеспечение. Король в письме к Екатерине выразил желание воспользоваться статьею договора 1764 года и возобновить союз до истечения осьмилетнего срока. Императрица отвечала, что очень охотно принимает предложение о возобновлении союза, который «при настоящих обстоятельствах может быть еще полезнее для обеих держав и еще важнее для целой Европы» [63]. В том же письме Екатерина открывалась своему «самому верному союзнику», что оставляет на известное время Польшу в ее политическом усыплении, наблюдая только за тем, чтоб постоянные разбои не превратились в общее восстание.

Несмотря, однако, на то что Екатерина в своих письмах к Фридриху продолжала выражать самое сильное желание насчет возобновления и усиления союза, дело затянулось от января до октября 1769 года. В Петербурге между некоторыми значительными лицами существовало убеждение, что настоящая система прусского союза вовсе не так выгодна, как прежняя система австрийского, основанного на отношениях обеих империй к Турции. Настоящая турецкая война доказывала это очевидным образом: при австрийском союзе ее или бы не было, или турецкие силы были бы отвлечены австрийскими войсками. Фридрих знал хорошо о существовании в Петербурге приверженцев австрийского союза, боялся свержения Панина и перемены политики, поэтому предложил возобновление или, собственно, продление союза, и в то же время в Берлине приготовлена была записка, в которой доказывалось, что для России прусский союз выгоднее австрийского: союз России с Австриею поведет к союзу Пруссии с Франциею; но при этом Россия не может получить деятельной помощи от Австрии, которая будет бояться нападения Франции в Италии и Нидерландах; напротив, прусский союз очень выгоден, ибо Пруссия и Дания будут сдерживать Швецию [64]. Существование сильных возражений против прусского союза, естественно, заставляло приверженцев его и саму императрицу быть требовательными, заставляло их желать получить от Пруссии как можно более выгод и обеспечений, чтоб иметь возможность выставить всю пользу союза с нею; Панин поэтому требовал от Фридриха больших обязательств, особенно в случае общей войны. Эти требования раздражали Фридриха: он опять увидал нарушение равенства, стремление русского двора получить от Пруссии больше, чем сколько он мог ей дать. Наконец 12 октября возобновлен был союзный договор на 8 лет, счи-

тая этот срок с 31 марта 1772 года. Вторая секретная статья договора была дополнена условием, что, если саксонский двор отправит войско в Польшу для достижения своих видов, русская императрица будет вправе потребовать от прусского короля, чтоб он противопоставил свое войско саксонскому или вступил бы с войском в Саксонию, смотря по обстоятельствам. Третья секретная статья была выражена так, что в случае нападения шведов на Россию и в случае ниспровержения конституции 1720 года прусский король обязывается сделать диверсию на шведскую Померанию. По поводу этой статьи сохранилась любопытная записка императрицы гр. Панину: «Не лучше ли бы было не называть шведской Померании, потому что приобретение последней даст прусскому королю гавани столь же удобные, как и Данциг, следовательно, даст возможность завести флот на Балтийском море. Прошу вас наставить меня, если я ошибаюсь. Но я не раз от вас слыхала, что Данциг или равный ему пост, как, например, Стральзунд, в прусских руках нам будет вреден. Можно было бы сказать о диверсии, не называя шведскую Померанию»[65]. Разумеется, Екатерина не ошибалась; но Панину было легко доказать, что, хотя бы и не упоминалась шведская Померания, диверсия могла быть сделана только в эту область. Беспокоились относительно Померании и перестали беспокоиться о Саксонии, выговорили право требовать, чтоб Фридрих вступил с войском в Саксонию. Фридрих торжествовал: его не будут больше раздражать заступничеством за Саксонию; северная система исчезла при первом обнаружении реальных отношений, хотя в Петербурге продолжали думать, что она существует.

Только русский союз мог дать Фридриху твердую опору, обеспечение, и потому понятно, что все старания Франции и Австрии отвлечь его от этого союза остались тщетными. С Францией вследствие ее заискивания он возобновил дипломатические сношения, но постоянно относился к ней с холодным презрением, как относятся к постаревшей красавице, которая потеряла прелести и сохранила смешные претензии. С Австрией он сближался охотно, ибо прежде всего желал предупредить сближение ее с Россией; он хотел Австриею стращать Россию, сдерживать последнюю, становиться посредником между двумя империями и употреблять обе орудиями для достижения собственных целей, что ему вполне и удалось.

В половине 1768 года Франция завязала дипломатические сношения с Пруссией под предлогом заключения торгового договора. Чтоб привлечь Фридриха на свою сторону, Шуазель дал ему знать, что Франция не будет против присоединения к Пруссии Данцига и Гамбурга. В начале 1769 года приехал в Берлин французский посланник герцог де Гинь;

прусским посланником в Париж отправился полковник Гольц и дал знать своему королю, что Шуазель предлагает Пруссии Вармию и Курляндию[66]. Но Фридрих смеялся над этими предложениями, зная, что он может получить хорошую добычу из Польши, только не посредством Франции; и ее посланник в то же время доносил своему двору, что прусский король замышляет великое предприятие относительно польских дел[67].

Еще прежде, чем во Франции, в Австрии почувствовали потребность сблизиться с Пруссиею в видах сдержания России. В самом начале 1768 года Кауниц подал Марии-Терезии записку, в которой говорил, что Австрия могла не вмешиваться в польские дела, пока они не затрагивали политической системы Европы вообще или соседних с республикою держав в особенности. Теперь этот случай настоит: Россия посредством гарантии будет располагать исключительно всеми делами Польши и сделает ее, подобно Курляндии, русскою провинциею. Для Австрии опасно возбудить войну, в которой она должна будет принять участие, или сделать какой-нибудь шаг, могущий унизить ее достоинство; но опасности не было бы, если б можно было получить уверенность в короле прусском. Есть возможность думать, что прусский король не только не воспротивится никакому предприятию, имеющему целью сдержать Россию, но еще будет рад, если другие сделают то, чего он сам по обстоятельствам сделать не может. Кауниц советовал обратиться к прусскому королю, не согласится ли он вместе с Австриею предложить польскому сейму также и свои гарантии свободных учреждений Польши: это сдержит Россию, ибо не ей одной будет принадлежать ручательство, она должна будет поделиться своим влиянием с двумя другими соседними державами[68]. Таким образом, Россия одна не могла покончить своих вековых распрей с Польшею; в Вене составлен был план раздела влияния между тремя соседними державами; план раздела территории не заставил себя дожидаться и приведен был в исполнение непосредственно благодаря турецкой войне. «Война между Россиею и Турциею, — говорит Фридрих II, — переменила всю политическую систему Европы; открылось новое поле для деятельности; надобно было не иметь вовсе никакой ловкости или находиться в бессмысленном оцепенении, чтоб не воспользоваться таким выгодным случаем. Я читал прекрасную аллегорию Боярдо; я схватил за волосы представившийся случай и с помощью переговоров достиг того, что вознаградил свою монархию за прошлые потери, включивши польскую Пруссию в число моих старинных областей»[69].

Таким образом, Фридрих, оправившись от первого впечатления, произведенного на него известием о войне между

Россиею и Турциею, увидал в ней *выгодный случай* для распространения своих владений. Кауниц увидал в ней также выгодный случай, который может «переменить политическую систему Европы», разумеется к выгоде Австрии. Австрийскому канцлеру раз удалось уже переменить эту политическую систему, удалось соединить два искони враждебных государства, Австрию и Францию; отчего же теперь не удастся соединить Австрию и Пруссию и достигнуть того, к чему не привела Семилетняя война вследствие смерти Елисаветы русской, — возвратить Силезию! Тройной союз между Австриею, Пруссиею и Турциею сдержит Россию, причем для скрепления этого союза Фридрих уступит Силезию Австрии, а сам за это возьмет Курляндию и часть Польши да может еще получить деньги от Порты; Фридрих должен на это согласиться, ибо при своем уме не может же он не видать, как вредно для него содействовать усилению России[70]. Итак, в конце концов должна поплатиться Польша, ничья вещь (res nullius), запасный магазин Восточной Европы. Император Иосиф II не разделял с Кауницом надежды относительно успешного исполнения этого плана: он не думал, чтоб Фридрих предпочел союз с Австриею и Турциею русскому союзу; не думал, чтоб прусский король променял Силезию на Курляндию и часть Польши; по мнению Иосифа, Фридрих мог променять Силезию только на Саксонию. Но император также признавал необходимость попытки сблизиться с Пруссиею, и эта попытка могла скорее всего произойти посредством личного свидания Иосифа с Фридрихом. Последний охотно соглашался на это свидание. «Пруссия, — говорит он в своих записках, — должна была бояться, чтоб ее союзница (Россия), ставши слишком могущественною, не захотела со временем предписать ей законы, как Польше. Венский двор должен был опасаться почти того же самого. Эта общая опасность заставила на время забыть прежнюю вражду». Свидание Иосифа с Фридрихом последовало в силезском городе Нейссе в августе 1769 года. «Король, — писал Иосиф матери, — осыпал нас учтивостями и выражениями дружбы; это гений, говорит он чудесно, но в каждом слове проглядывает плут. В разговорах его высказывался страх пред русским могуществом, страх, который ему хотелось внушить и нам. Он мне говорил о наших греках в Венгрии (православных славянах), сказал, что наши купцы этой религии в Бреславле задали публичный праздник в честь русских побед; говорил, что надобно с ними хорошо обходиться, обнаруживать терпимость, чтоб они не привязались еще больше к России и не завели смуты. Он мне сказал: чтоб сдержать Россию, вся Европа принуждена будет вооружиться, ибо Россия овладеет всем. Государь, отвечал я ему, в случае всеобщей войны вы в авангарде и

потому нам можно спать спокойно. Будучи безопасны с нашей стороны, вы сделаете с русскими все, что вам угодно. Он с этим не согласился, признался, что боится русских и союз с ними ему необходим, хотя и тяжел»[71].

По словам Фридриха, Иосиф дал ему ловко заметить, что он не имеет столько влияния над матерью, чтоб мог исполнять свои желания, но не скроет, что при настоящем положении дел в Европе ни он, ни Мария-Терезия никогда не позволят, чтоб русские удержали за собою Молдавию и Валахию. В Петербург Сольмсу Фридрих писал о свидании: «Император очень любезен и необыкновенно учтив. Он меня уверял в самых сильных выражениях, что забыл навсегда о Силезии. Я принял уверения, как они того заслуживают. Я обратил его внимание на Россию; он мне признался, что русская императрица — великая женщина, gran cervello di regina, по его собственному выражению. Это человек, пожираемый честолюбием; он питает какое-нибудь великое намерение; теперь он сдерживается матерью и с нетерпением сносит иго; как скоро он от него освободится, то сделает какой-нибудь важный шаг. Мне было невозможно проникнуть, что он именно имеет в виду: Венецию, Баварию, Силезию или Лотарингию. Но можно безошибочно положить, что Европа будет в огне, как скоро он сделается независимым государем». Фридрих велел Сольмсу сообщить свое письмо Екатерине.

Австрию Фридрих стращал Россиею, Россию — Австриею, писал Екатерине, что венский двор не вмешается в польские дела, пока русские войска будут действовать удачно против турок, но при первой неудаче Австрия будет стараться посадить на польский престол одного из саксонских принцев, именно герцога Альберта тешенского. Легко понять, с каким вниманием следил Фридрих за военными действиями. 30 августа (н. с.) он писал Сольмсу: «Хотя надобно было постоянно предполагать, что турки употребят усилия для спасения Хотина, признаюсь, однако, что я не ожидал такого скорого снятия осады. Как бы то ни было, теперь надобно смотреть на следствия этого отступления, будет ли решительная битва между русскими и турками. Я этого желаю для блага русского дела; мне кажется даже, что этого надобно желать тем более, что от дальнейшей отсрочки сражения русские могут потерпеть недостаток в продовольствии. Не скрою от вас, что, по моему мнению, кн. Голицын слишком медлил взятием этой крепости, и если случится несчастие с его войсками, то он должен будет винить в этом одного себя и недостаток живости в преследовании выгод, которые он получил над турками в последнее время»[72].

Австрия объявила петербургскому двору, что будет соблюдать нейтралитет в войне между Россиею и Турциею.

Франция ничего не объявляла и продолжала употреблять все средства вредить России, избегая, впрочем, огласки и явного разрыва. Она хотела пользоваться тем, что считала ошибкою России; последняя, видя сопротивление своим планам в короле и Чарторыйских, образовала Радомскую конфедерацию; но конфедераты соглашались действовать в видах России только в надежде, что она позволит им свергнуть Станислава-Августа; когда же увидали, что Россия непременно хочет удержать на престоле Понятовского, то обратились против нее; и во Франции смотрели на Барскую конфедерацию, как на Радомскую же, только обороченную в противную сторону вследствие объявления России, что будет поддерживать Понятовского. Шуазель считал этот оборот дела благоприятным для Франции и полагал необходимым поддерживать Барскую конфедерацию, но, мало надеясь на поляков, он поднял Турцию против России и старался затянуть войну, помогая Порте разными средствами. Он отправил в Константинополь драгунского полковника Валькруассана и написал ему в инструкции: «Нужда, какую имеют турки в советах для направления их деятельности, внушила королю желание, чтоб г. Валькруассан нашел какое-нибудь средство получить влияние на их решения. Если предрассудки и гордость турок сделают этот план невозможным, то пусть г. Валькруассан станет в челе барских конфедератов или одного из их отрядов. Намерение короля состоит в том, чтоб г. Валькруассан оказал всевозможные услуги делу турок против России». В депеше Шуазеля к Жерару, французскому поверенному в делах в Данциге, говорилось (19 и 28 февраля): «Король истинно интересуется судьбою Польши, и вы в этом отношении не можете ничего преувеличить в разговорах своих с патриотами, лишь бы вы ограничивались общими местами, которые не обязывают вас ни к чему, и лишь бы только вы всегда давали им чувствовать, что жалкие и бессвязные действия польской нации, которая сама не умеет помочь себе, не дают и друзьям ее средств помочь ей. Вы должны говорить, что полякам надобно согласиться между собою, уговориться с татарами и турками, которые взялись за оружие в интересах республики. Патриоты должны чувствовать, что с этих пор только от оружия должны зависеть спасение, независимость, самое существование республики. В настоящих обстоятельствах самый главный предмет — это делать всевозможное зло русским, не стесняясь каким-нибудь временным неудобством, могущим от этого произойти. Эта политика составляет часть великих видов, входящих в настоящую систему короля... Легкомыслие поляков, их несогласие между собою, их народный характер не позволяют надеяться с их стороны никакого усилия против России, сколько-нибудь значительного; мы можем полагаться только на

турок и татар, и все наши советы и виды должны иметь целию облегчение успеха последних».

И явные отношения петербургского и версальского дворов не отличались дружелюбием. Русский поверенный в делах Хотинский по предписанию Панина должен был сделать любопытное объявление герцогу Шуазелю, что русский двор чувствует большую неприятность от постоянного перехватывания депеш из Петербурга к русскому поверенному в делах при версальском дворе и обратно; перехватываются даже частные письма и заказы двора. Хотинский должен был спросить Шуазеля, какая же польза после того от пребывания русского поверенного в делах во Франции и французского — в России: Россия и Франция не в таком положении, чтоб нуждались в сохранении только внешнего приличия. Шуазель дал честное слово, что депеши перехватывались не во Франции: если бы они даже вскрывались во Франции, то зачем же их удерживать? В то же время пришло известие, что французский посланник в Лондоне Шателэ самым неприличным образом перехватил место у русского посланника графа Чернышева. Когда Хотинский жаловался на это Шуазелю, тот отвечал: «Не понимаю, с чего Россия вздумала теперь оспаривать у Франции первенство. Не по слухам, но по собственному опыту я знаю, что послы императрицы Елисаветы уступали место послам французским, я сам был послом в Вене, когда там был покойный Кейзерлинг, который никогда не спорил со мною за место и садился ниже меня. Франция уже занимала важное место в Европе, когда Россия была вовсе не известна, и было бы несправедливо, если б теперь Россия отняла у нее это место. Когда русские государи назывались только царями, то не имели притязаний на первенство, и только с тех пор, как им уступили императорский титул, явились затруднения, вероятно, потому, что под императором разумеют главу государей. Но Франция не имеет обязанности уступать, потому что она не нуждается в России, и если последняя будет упорствовать в своих претензиях, то мы разом покончим с этими спорами, отнявши у русской государыни императорский титул: король объявит об этом манифестом, Испания последует нашему примеру. Мы сделали глупость, уступивши титул; но мы поправим дело однажды навсегда». Хотинский отвечал, что Россия не претендует на первенство и в то же время не уступает его, требует только равенства. «Такое равенство невозможно, — возразил Шуазель, — где есть первый, там непременно должен быть второй»[73].

Франция находилась в тесном союзе с Австриею, и Шуазель счел нужным высказать свои взгляды в мемуаре, который он передал австрийскому послу при французском дворе графу Мерси: «Франция не из фантазии какой-нибудь нахо-

дится во враждебном отношении к России Государыня, царствующая в Петербурге, с первых месяцев своего правления обнаружила свою честолюбивую систему; нельзя было не увидать ее намерения вооружить Север против Юга. Одно из оснований нашего союза с Австриею состоит в избежании по возможности континентальной войны; но если б состоялся северный союз, руководимый Россиею и Пруссиею и оплачиваемый Англиею, то Австрия и Франция необходимо были бы затруднены и должны были бы вести значительную сухопутную войну. Итак, надобно было стараться всеми средствами остановить такой опасный союз, а для этого надобно было занять скорее Россию, чем Англию, которая жила смирно. Русская императрица услужила нам, завлекшись в предприятия не по силам. Швеция не вступит в союз против Франции и венского двора, Швеция будет сдерживать Данию. Несчастная Польша терзает сама себя; русские заняты Портою и Польшею и могут быть только в тягость своим союзникам; король прусский, который, конечно, хочет войны, чтоб ловить рыбу в мутной воде, не посмеет тронуться, сдерживаемый Австриею. Итак, лучше всего для нашего союза, чтоб турецкая война продолжалась еще несколько лет с ровным успехом для обеих сторон, пусть ослабляют друг друга, и если мы выиграем время, то все будет в нашу пользу».

В Вене не разделяли этого взгляда. Кауниц отвечал: «Турецкая война, к несчастию, взяла такой дурной оборот и так мало надежды на лучшее будущее, что лекарство не уменьшило, а значительно увеличило болезнь и опасность, ибо по всему видно, что будущая кампания не будет благоприятнее для турок и они будут принуждены заключить поспешный мир, поплатившись Азовом, Таганрогом, даже Очаковом и Крымом: если это случится, то могущество Турции рушится, а Россия, наоборот, поднимется на степень державы, самой страшной для всех других континентальных держав. Следовательно, страшный риск заключается в продолжении войны между Россиею и Турциею. Честолюбивая душа русской императрицы может быть сдержана только страхом опасности, которой она подвергается, если не положит пределов своим обширным планам; для этого мы собрали в Венгрии и Трансильвании войско, которое сначала не было значительно и представляло только меру чисто охранительную; но потом мы его достаточно пополнили, чтоб заставить Россию подумать, а в случае нужды и употребить его более серьезным образом»[74].

В конце августа в Версали получено было известие, что русские корабли, назначенные в архипелаг, прошли Ламанш. Когда после этого Хотинский приехал к Шуазелю, тот встретил его с обычною своею живостию, с веселым

лицом и сказал с улыбкою: «Ну, вы можете сесть на ваш флот». Хотинский сказал, что в случае подлинности слуха о проходе эскадры чрез Ламанш он надеется, что в опасных и нужных обстоятельствах русским кораблям не будет отказано убежище во французских гаванях. «Я доложу об этом королю, — отвечал Шуазель, — и надеюсь, что в помощи флоту в здешних гаванях отказа не будет». По поводу этого разговора Хотинский писал Панину: «Признаюсь, что такое скромное поведение и отзывы дюка Шуазеля меня удивили, да и во всем нашел я в нем нового человека, вид его был тихий, ласковый, смирный и больше обыкновенного учтивый. Он показался мне как будто устрашенным, и чаятельно реченная новость так его ошибла, что он еще не опомнился, когда со мною о ней говорил. Здешнее министерство постоянно думало, что снаряжение наших эскадр останется столь же бесплодным, как и датских кораблей: погулявши по Балтийскому морю и давши этим сильную острастку шведам, возвратятся домой». Шуазель был, по-видимому, очень учтив и спокоен; но Хотинский узнал, что немедленно по получении известия о проходе эскадр отправился из Версали курьер в Константинополь. Прусский посланник барон Гольц пересказал свой разговор с Шуазелем. «Слышали вы о новом феномене, о русском флоте? — спросил его министр. — Вот и новая морская держава появилась!» Между членами дипломатического корпуса только и было речей, что о русской эскадре; удивлялись, как в такое короткое время Россия могла изготовить 20 кораблей, что и Франции было бы трудно. Хотинскому пересказали следующий отзыв Шуазеля: «Это предприятие романично, но нельзя не признать, что оно имеет основание и на него хорошо смотрят; дорого оно, и не думаю, чтоб много этим было сделано, но все-таки это блестящая экспедиция».

Хотинский сообщал также в Петербург и о поляках, находившихся в Париже, их надеждах, замыслах и разговорах. В Париже в это время находился эмиссар конфедератов Гамолинский, который подносил от них принцу Карлу саксонскому польскую корону, но тот отказался от опасного подарка и только выразил желание получить обратно герцогство Курляндское, почему конфедераты и решились избрать себе в короли герцога тешенского. В Париже говорили, что конфедераты намерены провозгласить междуцарствие и прислать во Францию послом от генеральной конфедерации Вельгурского, который был в России, и будто король французский обещал принять его со всеми почестями. Виды конфедератов не ограничивались одною Польшею: им хотелось возмутить Лифляндию; возможность этого они основывали на сильном неудовольствии тамошнего дворян-

ства по причине потребованного русским правительством на время войны денежного вспоможения.

Наконец Шуазель объявил Хотинскому решение короля насчет русской эскадры: в случае нужных и опасных приключений Франция не откажет в должной по-человечеству помощи и не запретит входа русским кораблям в свои гавани, так как находится с Россиею в согласии; но корабли должны входить в гавани по одному, а не целою эскадрою, потому что Франция, имея значительную торговлю с Турциею, должна ее щадить. Хотинский представил, что этого недостаточно: если целая эскадра, настигнутая бурею, будет искать спасения в гавани, то неужели примут только один корабль и дадут погибнуть другим? Герцог отвечал, что переменить решения нельзя, таковы морские законы; можно позволить войти в гавань целой эскадре только той державы, которая находится в союзе с Франциею. То же будет с русским флотом и в Испании; впрочем, он может найти убежище от ветров в рейдах, исключая Корсику.

От 1 ноября Хотинский сообщил любопытное известие: приехал в Париж итальянец граф Томатис, служивший у польского короля распорядителем придворных зрелищ, и рассказывал, что русские на основании успехов своих в Турции поговаривают уже о разделе завоеваний, а именно: за собою оставляют Азов, Таганрог и право свободной торговли по Черному морю; король польский получит Молдавию и Валахию; но так как венский и берлинский дворы могли бы этому воспротивиться, то первый получит часть Валахии, которую потерял в прошедшую войну с турками, а за вторым останется епископство Вармийское. Томатис уверял, что оба двора уже согласны на это и между Россиею, Австриею и Пруссиею уже заключен дружественный договор[75].

Мы видели, что Шуазель считал Данию потерянною для французского влияния и думал сдерживать ее Швециею; но Дания хотела сдерживать Швецию, и этого Шуазель не мог сносить равнодушно. Бернсторф дал знать Философову, что Дания готова принять самые крайние меры для противодействия французским замыслам в Швеции. Дания обязывалась переслать для этого в Стокгольм от 100 до 160 000 талеров; но Философов хлопотал, чтоб кроме денег Дания вооружила также флот свой для устрашения Швеции. Узнавши об этом, герцог Шуазель внушил датскому посланнику при французском дворе, что хотя Франция не может запретить датскому королю употреблять деньги и угрозы в настоящих шведских обстоятельствах, однако заблаговременно объявляет, что если с датской стороны дойдет до прямых действий с Швециею, то как французский, так и испанский короли спокойно смотреть на это не будут, а примут это за

полный разрыв дружбы и прежде всего займут датские колонии в Америке. В ответ на это в совете датского короля было решено немедленно же вооружить флот и приготовить к походу сухопутное войско. Шуазель сделал датскому посланнику формальный запрос, по каким побуждениям Дания вооружается. «Король, мой государь, — писал Шуазель, — смотрит на Шведское королевство как на государство независимое, и никакое другое государство не имеет права стеснять силою шведскую нацию; так, например, король не думает, чтоб какое-нибудь государство могло действовать в Швеции, как Россия действовала в Польше». Бернсторф поручил датскому посланнику отвечать на это, что датский король далек от желания стеснять или беспокоить Швецию и надеется, что чрезвычайный шведский сейм не будет иметь последствиями предприятий, которые нарушат спокойствие и самые дорогие интересы Севера и заставят датского короля исполнить старые обязательства и позаботиться о безопасности собственных государств. Король в то же время не колеблется дать его христианнейшему величеству самые положительные уверения, что скромное вооружение Дании не грозит никакою опасностию ни одному государству в мире, и всего менее Франции. Датский двор в случае войны с Швециею боялся не столько враждебных государств — Франции и Испании, сколько союзной Пруссии. От 4 июля Философов писал Панину: «Совершенное приступление к равномерной нашим обеим операции в Швеции прусского двора в настоящем времени подачею декларации здесь не почитается еще нужным, и хотя притом здешний двор, конечно, почитает, что на случай войны согласие прусского короля с нашим и здешним дворами наисовершеннейшей важности есть, однако, зная притом, что король прусский без приобретения выгодных для себя аквизиций на сие не поступит, считает для безопасности и спокойствия своего и всего Севера на будущие времена весьма важным к усилению сего государя, а особливо размножением его посессий на берегах Балтийского моря или размножением его властительства в коммерции Польши, осмотрительными быть и требующими уважения, что не полезнее ли, когда б и необходимо нужно было к таким договорам с ним поступить, изыскивать ему удовлетворение хотя бы и от Польши, но не внутрь земли». Таким образом, в Версали, в Вене, в Копенгагене толковали как о деле естественном и необходимом о вознаграждении прусского короля на счет Польши. За что? Это определялось интересами каждого из дворов.

Философов был доволен Бернсторфом, но извещал о неудовлетворительном положении дел при дворе. «Внутреннее состояние здешнего двора, — писал он, — начинает несколько

мятежнее становиться. Придворные интриги час от часу размножаются. Главные интриганы: прежний фаворит граф Гольк, мальчик 19 лет; Варнстьет, которого влияние все более и более усиливается; госпожи Габель и Билоу, две живущие при дворе дамы, из которых каждая стремится быть королевскою метрессою. К несчастью, король, окруженный такими презренными людьми, молод и доступен всяким внушениям, а к большему несчастию, министерство робко: видя, что все упомянутые лица, стремящиеся овладеть королевскою волею, не мешаются много в государственные дела, министры довольны, что правление в их руках, и оставляют придворные каверзы без сопротивления. Моя цель состоит в том, чтоб не допускать французского и шведского министров в придворные интриги, ибо эти министры стараются привлечь на свою сторону графа Голька»[76].

Но главная борьба у русского министра с французским по-прежнему происходила в Швеции. 8 января французская партия распустила в Стокгольме слух, что в России произошла революция. «Злая шайка, — писал Остерман, — этим своих сообщников так сильно ободряет, что они все больше и больше выходят из всякой меры; из всего видно, что они начинают играть в самую отчаянную игру: полковник барон Горн, ездя к сенаторам, с великими угрозами и нахальством попрекал им их поведение и прославлял поведение королевское». Сенат, опасаясь отчаянной игры противников во время сейма в Стокгольме, определил созвать сейм в Норкепинге; тогда из противной партии раздались угрозы, что Норкепинг, состоящий большею частию из деревянных домов, будет сожжен. Король объявил, что он не намерен разлучаться с своим семейством и потому сенаторы должны уступить в Норкепинге приличные помещения для двора и назначить необходимые для того суммы. Остерман с благодарностию отзывался о дружеском содействии ему министров английского и датского; но прусский министр Кокцей на приглашение действовать вместе холодно отвечал, что, быть может, скоро заключен будет мир между Россиею и Портою, и члены французской партии в Швеции будут обмануты в своих надеждах.

21 февраля Остерман потребовал от Панина на сеймовые расходы 207 250 рублей, сумму, высчитанную вместе с датским посланником и благонамеренными шефами. «Все отзывы шефов французской партии, — писал Остерман, — достоверно доказывают, что их и любезного им двора покушение на этом сейме есть последнее и самое отчаянное, и если им не удастся достигнуть своей цели, то благонамеренные останутся надолго в покое, и потому если их игра отважна, то и с нашей стороны нужна равная оборона. По известному испорченному здешнему национальному духу трудно заранее ручаться, что мы приобретем поверхность при начале сейма, но смею удостоверить

в одном, что соперники наши за свою поверхность очень дорого заплатят». В конце марта король, присутствуя в Сенате, требовал, чтоб по случаю вооружения датского флота отправлено было в Карлскрону приказание оснастить известное число кораблей и фрегатов; но сенаторы, кроме двоих, не согласились, представляя, что датское правительство на запрос шведского дало дружеский успокоительный ответ насчет своего вооружения, и потому опасно вплетать Швецию во вражду с Данией; притом же скоро соберется сейм, и потому всякие меры со стороны Сената излишни. Сенатор барон Фризендорф прямо сказал, что, по его мнению, датские вооружения не имеют в виду ничего другого, как заступление в случае опасности за шведские вольности или собственную защиту в случае нападения со стороны Швеции, и так как он не может приписывать будущему сейму ни одного из тех намерений, то и не видит, чтоб со стороны Дании могла угрожать какая-нибудь опасность. Это рассуждение так раздражило короля, что он встал и ушел, не поклонясь сенаторам.

Со стороны Франции предложен был королю следующий план: 1) король должен опираться на флот; 2) послать секретного эмиссара в Константинополь с предложением Порте денежной ссуды; 3) окончить сейм в три или четыре месяца для предупреждения мира России с Турциею; 4) Порта в своем мирном договоре с Россиею должна поставить в условия шведскую независимость и принять на себя гарантию новой формы шведского правления.

Чрезвычайный сейм в Норкепинге начался под самыми неблагоприятными предзнаменованиями для русской партии: ораторы духовного и крестьянского чина избраны были из приверженцев Франции, ландмаршалом, или президентом сейма, был избран генерал граф Ферзен большинством 604 голосов против 372. Первым следствием торжества французской партии было, разумеется, отнять у русских приверженцев большинство в Сенате. Остерман виновницей зла ставил Англию, которая не прислала в Стокгольм денег, необходимых для поддержания русской стороны на сейме. Получив известия о норкепингских происшествиях, императрица написала Панину: «Прикажите Остерману объявлять всем и каждому, что если останется хотя один швед для защиты свободы, то я его буду поддерживать. Кроме того, велите сочинить небольшую статью, как бы идущую от постороннего человека, велите ее напечатать и отослать туда поскорее для объявления того же самого».

В мае месяце секретная комиссия отрешила от должности всех сенаторов (за исключением одного), обвиняя их в том, что они стремились не советовать, а царствовать в противность основным законам. Главным двигателем в этом деле

был наследный принц Густав, который каждый день публично на площади толковал с крестьянами, внушая им, кого они предпочитают спасти — короля или Сенат. Сейм из Норкепинга был переведен в Стокгольм. Остерман должен был признаться, что его денежные приманки остаются бесплодными. Самый видный из русской партии — Пехлин объявил посланнику, что он ручается только за сохранение конституции и тишины. Остерман, не вполне доверявший Пехлину за его двойную роль, писал, однако, что, по всем вероятностям, Швеция не начнет войны с Россиею, боясь тесной связи последней с Даниею и Пруссиею. Относительно перемен в конституции французская партия видела в этом щекотливом деле большие затруднения. Королева требовала, чтоб королю дана была полная власть в раздаче чинов; но король и наследный принц довольствовались восстановлением в полной силе конституции 1719 года с исключением навеки статьи, дозволявшей государственным чинам истолковывать основные законы. Положено было за дело конституции приняться после решения дела о финансах, и если нельзя будет его решить, то дополнить Сенату в секретных инструкциях и окончить сейм в конце октября, потому что французский министр объявил своим приятелям, что его государь далее этого срока не намерен поддерживать свою партию деньгами.

Остерману предписано было от своего двора по последней мере удерживать конституцию 1720 года. В сентябре посланник доносил, что бургомистр Кернинг приводит к королеве депутатов мещанского сословия и она сама склоняет их к своим видам; наследный принц с этою же целью приглашает к себе к обеду мелкое офицерство; все отсутствующие члены французской партии созваны к 30 сентября (с. с.) и все известия согласны в том, что около этого времени положено решить дело о конституции по сильному настоянию королевы и требованию французского министра. Офицерство приманивалось обещанием по тысяче плотов за каждый голос и выдачею письменного за королевскою рукою уверения в повышении каждого одним чином. В начале октября французская партия была смущена известиями о победе русских над турками, но скоро оправилась и начала разглашать, что русские победы выгодны для Швеции, ибо отдаляют срок заключения мира и тем дают шведам больше свободы покончить беспрепятственно свои внутренние дела. Так говорила сама королева, прибавляя, что в наступающее зимнее время Россия с своими союзниками не будет в состоянии воспрепятствовать этому вооруженною рукою, а между тем можно будет принять лучшие оборонительные меры.

Но дело о перемене конституции встретило сильное сопротивление, так что французская партия сочла нужным войти в сделку с членами русской, предложив последним ввести

некоторое число из них в Сенат и Секретную комиссию, лишь бы согласились на усиление королевской власти. Все старание Остермана, разумеется, состояло в том, чтоб уничтожить эту сделку. Ему это удалось: русская партия взяла верх в дворянском сословии и привела дело к тому, что запрещено было поднимать вопрос о перемене конституции; то же решение последовало в мещанском и крестьянском сословии. *Операция* стоила Остерману 450 000 талеров медною монетою; благонамеренные получали по 300 талеров в месяц, *операторы* же двойной оклад; чтоб воспользоваться благополучным переломом и окончить сейм согласно с желанием русского двора, Остерман требовал еще 150 000 рублей[77].

Мы видели, что благодаря статье о шведских субсидиях не мог состояться союзный договор между Россиею и Англиею Россия хотела, чтоб Англия, если не желает помогать ей в войне турецкой, помогла по крайней мере деньгами для предотвращения войны шведской. Императрица писала Чернышеву: «Если бы Англия, давая Швеции субсидии, могла освободить Россию от второй войны, поджигаемой Франциею, то сделает ли она это? Случай существует, французская партия ведет к созванию чрезвычайного сейма и к отречению королевскому; если Англия не даст Швеции субсидий, то можно биться об заклад, десять против одного, что Швеция будет иметь глупость объявить войну России и Англия своею несвоевременною бережливостию подвергнет войне империю, которую по стольким причинам должна считать единственным теперь своим другом и подпорою. Я думаю, что если мой аргумент будет внесен в парламент, то, несмотря на сопротивление Нижней палаты, не найдется ни одного доброго англичанина, который бы не подал голоса за субсидии, и если нация решит не давать, то частные люди дадут, а если и они не дадут, то с этой минуты я буду думать, что дружба и вражда Англии — слова бесполезные и лишенные смысла, потому что от них нет никаких последствий». Но из Англии был один ответ, что парламент не согласится платить субсидий в мирное время. Екатерина сердилась и в марте 1769 года писала Чернышеву: «Послушай, барин! Когда ты узнаешь все, что я сделала и затеяла противу Российской империи неприятеля, тогда ты скажешь, что после Ивана Чернышева никто более Катерины не любит шум, гром и громаду; не изволь сие принять за бредню; даром, что меня третью неделю мучит простудная лихорадка и все на свете флусы, однако я в здоровом уме и твердой памяти и, если нужда потребует, и с шведами управлюсь, как с клопами, кои кусают с опасностию быть раздавленными. Твои же англичане уж ужесть радость как неважны и, я чаю, таковы будут до тех пор, пока французы с гишпанцами на них нападут, чего дай боже хотя на завтра получения сего письма».

Оставалось склонить Англию к выдаче хотя какой-нибудь суммы для противодействия французской партии в Швеции.

Когда граф Иван Чернышев представил Рошфору, что для поправления шведских дел Англия не может послать в Швецию менее сорока или пятидесяти тысяч фунтов стерлингов, тот отвечал в секретнейшей конфиденции: «Я еще не знаю, согласятся ли у нас на выдачу такой или какой бы то ни было суммы, только должен вам открыть одному, что великое затруднение может произойти в королевском совете по вопросу, кому поверить деньги; Гудрику поверить не захотят, всем известно, что на руку нечист; он лучший у нас из всех министров, находящихся при иностранных дворах, ему все поверить можно, кроме денег» Чрез несколько времени Рошфор объявил Чернышеву, что решено послать приказание Гудрику израсходовать известную сумму денег для подкрепления благонамеренной партии в Швеции, но, какую именно сумму, не сказал, из чего Чернышев догадался, что сумма невелика; Рошфор уверял при этом, что и Франция переслала в Стокгольм к своему посланнику Модэну только 100 000 ливров.

В марте месяце Чернышев сообщил Панину любопытное заявление Рошфора. «Я знаю подлинно, — говорил Рошфор, — что король прусский хотя и принял прямое намерение не допускать шведов до войны с Россиею, но что касается перемены их правления, то не только не вмешивается в это дело, но, может быть, и жалеть не будет, если в том успеют». В то же время Чернышев писал: «Зачинаю и я сумневаться, что есть какое-нибудь кокетство между здешним двором и венским, ибо, читая Рошфору, чтоб его испугать, окончание последнего Остерманова письма, где упоминается о могущем сделаться предложении относительно заключения союза между французским, гишпанским и австрийским дворами с Швециею, он мне на то вдруг индискретным образом болтнул: так австрийцы бы нас обмануть хотели? Сколь я потом ни старался, чтоб его паки привесть о сем что-нибудь более сказать, но того сделать не мог».

Чернышев приписывал английскому министерству неуспех в заключении союзного договора между Россиею и Англиею; он писал Панину: «Примите за несомненную правду, что, как долго сие министерство на своем месте пробудет, не должно ожидать никакого твердого предприятия, которое бы хотя мало Францию раздражить могло, ибо, если до того доходить будет, не удержит оно своих мест, для сохранения которых все сделать готовы». А Рошфор прямо объявил Чернышеву, что он считает прусского короля виновником того, что союзный договор между Россиею и Англиею не был заключен: Фридрих II чрез своего министра старался всюду разглашать

в Лондоне, что было бы безрассудно с английской стороны давать какие-нибудь субсидии Швеции.

В конце августа Чернышев объявил Рошфору об отправлении русской эскадры в архипелаг. Рошфор не мог удержаться, чтоб не сказать: «Какое смелое предприятие! Как бы я желал, чтоб мы были теперь в войне с Франциею: два соединенных флота наделали бы прекрасных вещей!» Чернышев также не удержался, чтобы не поразгорячить англичанина. «Если бы здешнее министерство было поспокойнее дома, — сказал он, — то англичанам можно было бы приобрести теперь какое-нибудь владение в архипелаге, как французы овладели Корсикою, и, утвердившись в архипелаге, англичанам можно было бы уничтожить выгодную французскую торговлю в Леванте; Англия может иметь в России сильную помощницу не только на твердой земле, но и на море, когда русский флот попривыкнет быть и в здешних морях». — «Как ошибаются те, — отвечал Рошфор, — которые думают, что русский флот не может оказать нам помощи в случае нужды!» Но когда английский посол при русском дворе лорд Каткарт сообщил своему министерству о существовании в Петербурге проекта образования из Крыма, Молдавии и Валахии независимых государств для ограждения от Турции, равно как из Финляндии независимого великого герцогства для ограждения от Швеции, то Рошфор отвечал ему, что такой план не вполне соответствует умеренности петербургского двора, нежеланию расширять свои границы; легко усмотреть, что такие независимые государства в сущности будут в полной зависимости от России. Рошфор сделал Каткарту замечание, чтоб он не очень увлекался удивлением к высокому характеру русской императрицы и некоторых ее министров, а предполагал бы в них известную долю честолюбия[78].

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

1770 год

Действия против турок в дунайских княжествах. — Движения генерала Штофельна. — Жалоба Румянцева на недостаток войска; ободрительное письмо к нему императрицы. — Негодование Екатерины на генерала Штофельна за сожжение городов и деревень. — Объяснения Румянцева относительно Штофельна, состояния Молдавии и Валахии и состояния русского войска. — Движение Румянцева из Подолии в дунайские княжества. — Чума. — Смерть Штофельна. — Записка гр. Григория Орлова о движении к Варне и Константинополю. — Осторожность Румянцева и переписка его с императрицею. — Победы Румянцева при Ларге и Кагуле. — Торжество в Петербурге. — Осада и взятие Бендер гр. П. И. Паниным. — Переговоры его с татарами о восстановлении их независимости. — Ногайские орды отказываются от турецкого подданства. — Состояние русского флота, прошедшего в Средиземное море. — Неудача Морейской экспедиции. — Истребление турецкого флота при Чесме. — Восторг Екатерины. — Переписка Орлова с европейскими консулами в Смирне.—Дальнейшие движения русского флота. — Странности на Кавказе; Тотлебен и Чоглоков. — Желание мира в Петербурге. — Политика Фридриха II.— Вопрос о разделе Польши.— Так называемый проект Линара. — История вопроса о разделе Польши. — Иосиф II, Кауниц и Мария-Терезия. — Второе свидание Фридриха II с императором Иосифом и Кауницем в Нейштадте. — Политический катехизис. — Захват Австриею польских земель. — План Иосифа относительно России и Турции. — Письмо Фридриха Екатерине с предложением посредничества. — Отстранение Россиею посредничества и принятие добрых услуг. — Русские условия мира — Приезд в Петербург принца Генриха прусского; впечатление, произведенное им здесь. — Негодование Фридриха на отстранение Россиею посредничества. — Разговоры принца Генриха с Екатериною, Паниным и Сальдерном; переписка его с братом. — Письмо Екатерины к Фридриху с сообщением мирных условий. — Притворный ужас прусского короля по прочтении этих условий. — Вести из Польши о планах раздела. — Разговор принца Генриха с императрицею и гр. Чернышевым об австрийском захвате. — Письмо Генриха к брату, что тот может безопасно занять в Польше Вармийское епископство. — Дела польские; помощь Франции конфедератам. — Мнение Дюмурье о последних. — Станислав-Август поднимает голову; его переписка с Екатериною и разговоры с кн. Волконским. — Старания Волконского о реконфедерации; в Петербурге не соглашаются на эту меру. — Отношения России к Швеции, Дании и Англии.

В Петербурге толковали об условиях мира, которого сильно желали; но турки не были доведены до крайности

прошлогоднею кампаниею, не просили мира, который следовало купить новыми тяжкими усилиями, новыми победами. «Победа — враг войны и начало мира; победою истребляется война и прокладывается путь к миру», — записала Екатерина [79]. «Повторяю, — писала она Вольтеру, — мудрая Европа одобрит мои планы только в случае их удачи. Вы сравниваете план экспедиции в Средиземное море, который несправедливо мне приписывают (я предоставляю себе назвать автора плана *, когда последний удастся), с предприятием Аннибала; но карфагеняне имели дело с колоссом, бывшим во всей своей силе, тогда как мы имеем пред собою слабый призрак, все части которого разваливаются при первом прикосновении» [80]. Видя, что Порта не намерена делать мирных предложений, Екатерина надеялась, что народ может побудить к этому султана, и писала Румянцеву: «В Леванте, сказывают, все готово к свержению ига нечестивого. Я чаю, поумножится еще у турок сумятица, если вы распустите неприметно слух до них, что их бешеный султан не хочет миру, которого бы он получить мог, если бы хотел; ибо вам известно, что Россия никогда не желала войны, но всеми силами всегда обороняться будет, как самый опыт доказывает, из чего последовать может легко и падение турецкой империи» [81].

Мы видели, что в 1769 году русские войска заняли оба дунайских княжества с их главными городами; но невыгода положения заключалась в том, что русские силы были разбросаны на большом пространстве, тогда как у турок оставались две крепости — Журжа и Браилов. Еще в конце 1769 года генерал-поручик Штофельн начал делать приготовления ко взятию Браилова, что очень занимало Екатерину, которая по карте видела важность места и не могла скрыть от Румянцева своего беспокойства, почему Браилов так долго не в русских руках, неужели главнокомандующий не считает его необходимым для обеспечения пребывания русской армии летом в Молдавии [82]. В самом начале года турки предупредили Штофельна: значительный отряд их двинулся из Рущука на Фокшаны, чтоб разрезать русские силы между двумя главными городами княжеств — Бухарестом и Яссами; генерал-майоры Подгоричанин и Потемкин с незначительными сравнительно силами разбили неприятеля после чрезвычайно упорного сражения. Но еще прежде донесения о победе при Фокшанах имя этого местечка было упомянуто в другом печальном донесении: в его окрестностях появилась моровая язва, и враждебные к России газеты уже толковали, что русское войско будет ею истреблено. «Весною, — писала Екатерина Вольтеру, — чумные воскреснут для битв» [83].

---

* Т. е. Орлова.

Нападение неприятеля на Бухарест было отбито; но Штофельн после удачной битвы с турками принужден был отступить от Браилова, найдя укрепления его слишком сильными; при отступлении он выжег 260 селений с целию отнять у неприятеля возможность опять напасть на Фокшаны. По известию, что снова опасность грозит Бухаресту от Журжи, Штофельн перешел сюда, поразил турок под Журжею, сжег этот город и 143 селения; пространство по Дунаю на 250 верст, от Прута до Ольты, было совершенно опустошено опять с целию предохранить Бухарест от нового нападения.

В этих движениях прошли два первых месяца 1770 года. Румянцев все стоял в Подолии и писал императрице, что давно перешел бы в Молдавию, если бы там не было недостатка в провианте и фураже, которые надобно было отправлять туда из Подолии и для небольших отрядов, там действовавших. Румянцев сильно жаловался, что Браилов остался в турецких руках, что у турок много и войска, и запасов, а у русских мало и того и другого. Екатерина ободряла главнокомандующего. «Как теперь Журжа взята, — писала она, — то не сомневаюсь, что сие вам подаст средства обратить в пользу новое истребление неприятельской толпы. Браильской же замок уже, кажется, не стал важен, быв, так сказать, окружен нашими войсками и постами. Более всего меня беспокоят трудности в заведении магазинов в покоренных землях; бога для употребите всевозможные способы, чтобы вам ни в чем недостатка не было; кажется, в Валахии несколько хлеба еще быть может; у молдавцев же, когда они из гор и закрытых мест возвратились и в домах живут спокойно, а наши войска дисциплину содержат, то по крайней мере у них лошади и волы, быть может, способны к возке провианта, кои с нашим обыкновенным хорошим распорядком к тому не бесполезны будут; они же то, спасая себя, делать обязаны, ибо турки грозят их истребить; и вы не оставите им о том растолковать. Бесчисленные силы турецкие в будущей кампании весьма щотны будут, потому что разбежавшиеся прошлою кампаниею войска казаться не будут. Азиатцы остаются дома против грузинцев; с визирем же теперь не более было, по известиям, как тысяч до сорока, кои уже частию разбиты под Фокшанами, Браилом и Журжею. Магазейны же их, не подумайте, чтобы также чрезвычайно знатны были; у них беспорядок во всем дошел до высшей степени; прошлого года они много хлеба имели из Валахии, которого вы им ныне не дадите».

Донесение Румянцева о действиях Штофельна сильно возмутило Екатерину. «Упражнения господина Штофельна в выжигании города за городом и деревень сотнями, признаюсь, что мне весьма неприятны, — писала она Румянцеву. — Мне кажется, что без крайности на такое варварство поступать не

должно; когда же без нужды то делается, то становится подобно тем делам, кои у нас исстари бывали на Волге и на Суре. Я ведаю, что вы, так как и я, не находите удовольствия в подобных происшествиях. Пожалуй, уймите Штофельна: истребления всех тамошних мест ни ему лавры не нанесут, ни нам барыша, наипаче если то суть христианские жилища. Я опасаюсь, чтоб подобный же жребий не пал на Букарест и пр.: предлог, что держаться нельзя, и там быть может. Вы видите из всего сего, что я вам чистосердечно отсылаю свои мысли, оставляя, впрочем, вам сделать не более не меньше как благоразумная осторожность, и лучшее ваше военное искусство и знание вам на ум положат, имея к вам совершенную доверенность, что вы все то сделаете, что к пользе службы и дел, вам вверенных, служить будет. Статься может, что по моей природной склонности более к созиданию, нежели к истреблению, я сии неприятные происшествия слишком горячо принимаю; однако я почла за нужное, чтоб вы совершенно знали образ моих мыслей».

Румянцев действительно дал знать императрице, что «не находит удовольствия в подобных происшествиях», но старался оправдать Штофельна, которым он очень дорожил. С этой целию он еще прежде писал графу Григ. Григ. Орлову: «Благодарю наипризнательнее за советы, которые преподаете мне в своих примечаниях. Отложите, милостивый граф, и мысли, чтоб наши изъяснения были мне не инако как милостивым руководством Прошу дать мне опыт своего чистосердечия, т. е. уведомить меня в дружескую конфиденцию, как наши нынешние победы приемлются не в рассуждении меча, но в рассуждении огня. Я по вашим словам заключаю, да и сам, конечно, того мнения, что пожигать селения, а паче здания великолепные есть обычай воюющих варваров, а не европейцев. Но с другой стороны, надобно представить ту особливость, что настоящая война в себе имеет, в которой иные меры и иной образ, как во брани в других частях Европы. Те ли обычаи свойственны нашему неприятелю, что европейцам? Он дышит зверством во всех делах; селения, что в иной войне пользовали бы, ради таких выгод здесь на тот конец нельзя никак обратить, потому что неприятель ежели не успеет со всеми своими пожитками убраться, то сам оные истребляет, чтоб нам ничто не доставалось. А ежели оставлять в целости селения хоть пустые, то должно в опасности быть, чтоб оные не заразил неприятель, не знающий человечества, лютою язвою, что он нередко предпринимал на гибель рода человеческого». Получив приведенное письмо Екатерины, Румянцев писал ей: «Поистине настоящая война имеет вид того же варварства, каково обычайно было и нашим предкам, и всем диким народам, почему и трудно соблюдать меры благости против такого неприятеля, которого поступки

есть одна лютость и бесчеловечие. В продолжение прусской войны скоро мы узнали, сколь были вредны для нас самих производимые пожоги и истощения края, в коем войну вели, и потому, подражая противным, переменили мы свои старые обычаи на лучшее; а против турок воюя, примеры их варварства столь ожесточают и наши войска, что выходят сии из всякой против них пощады. Ген.-поручик фон Штофельн, сколько мне самому свойства его известны, конечно бы, не предал огню неприятельские обиталища, если б был в состоянии обратить оные в свою пользу или же бы мог инако обессилить против себя неприятеля. Целость сих селений послужила бы утвердиться наилучше туркам на сем берегу Дуная и производить с помощию того на разорение Валахии и к утомлению наших войск непрестанные предприятия; но теперь отняты способы их армии перебраться на сию сторону Дуная, поелику в опустошенных местах на сем берегу ничего они не отыщут потребного для движения, что самое и приносит доселе спокойство границам обоих покоренных княжений и нашим в оных пребывающим войскам. Военный сей резон меньше отяготил жителей, которые по объявлению завременно все свои перенесли с собою пожитки в Валахию и Молдавию и при сожжении утратили только одни стены своих жилищ, нежели то тиранство, коими удручали их турки; а притом жилища сожженные по большей части населяли магометане, кои в приближении наших войск перебрались за Дунай. При всем том я ген.-поручику фон Штофельну примечу высочайшее и человеколюбивое соизволение в. в.-ства, дабы впредь сообразоваться оному».

В Совете 11 марта были предложены два соизволения императрицы: 1) Молдавия и невыжженная малая часть Валахии уже несколько месяцев в наших руках, но о их правлении, сборах и прочее еще ничего не положено, и все люди, кои там в диване (правительственном совете), или инако губернаторами, или и другие, дела отправляют по турецкой аукторизации, а не по нашей. Если сие не противно порядку, то по крайней мере не сходно с благопристойностью. Итак, надлежит рассуждать и самым делом положить, как бы там от сего времени, чего я от Совета требую. 2) Чтоб предписано было главнокомандующему генералу, дабы молдавцы и волохи разоряемы не были; чтоб чинено было им как подданным здешним правосудие и вспоможение и чтоб распределены были там по провинциям генералы для управления оных. Совет рассудил, что рассмотрение этих дел должно оставить до тех пор, пока все этих провинций депутаты приедут в Петербург; тогда, выслушавши их, сделать распоряжения; кроме того, надобно прежде приискать людей, способных занять там правительственные должности.

Но Екатерина, требуя установления русского управления в дунайских княжествах, имела в виду правильный сбор податей, которые хотя сколько-нибудь могли бы облегчить тягость военных издержек для России. Она писала Румянцеву: «Прошу мне сказать, неможно ли молдавские или валахские доходы употребить в число экстраординарных расходов, ибо сказывают, что более трех миллионов туркам было дохода с сих княжений; и хотя я и ведаю, что ныне столько быть не может, однако думаю, что хотя б и один миллион бы был, то бы оный заменил несколько забот князю Вяземскому». Ответом было любопытное письмо Румянцева от 25 марта (из Лятычова): «Радел я всегда о получении и умножении доходов в облегчение казне в. и. в-ства с княжений Молдавского и Валахского. Молдавия чрез долгое пребывание великого числа турок и татар, которые в ней ничего не щадили, истощена или выжата со всех своих достатков. Народ не только в нищете, но и питаться чем не имеет. Когда войска наши туда вступили, коих необходимость заставила брать и последнее, то крайность сия заставила меня обнадежить молдаван, что подати денежные, т. е. поголовная с земледельцев, им оставляются, а только бы провиант и фураж, лошадей и волов давали. Постановление это отменить нельзя; генерал фон Штофельн пишет: «Ежели на обывателей денежные подати наложить, чрез то оные и пуще расходиться станут. Город Яссы и прочие места пусты останутся. Валахия также истощила все свои достатки на содержание турецкой армии. Земли по Дунаю, где больше всего хлебопашество происходило, турками все выжжены, жители забраны в плен или скрылись в горы. В молдавский и волошский диваны посадил я членов по избранию от депутатов и по удостоению от генерала ф. Штофельна; надзирание за делами в первом генерал-майору Черниевичу, а во втором ген.-майору Замятину вверил; и последний означает по февраль сборов в приходе 62 759 левов, из коих за расходом на наши войска и жалованье волонтерам остается 9269 левов. Для надзирания за сборами приставлены офицеры, ибо казначеи земские, следуя своему обыкновению, а особливо пользуясь нынешним замешательством, корысть, как видно, предпочитают всякому будущему блаженству. Молдавия и Валахия снабдевать нас провиантом отнюдь не в состоянии, и доселе все содержание войска получали чрез подвоз из здешних магазинов. Но и польский сей край испражнен до основания: не расходами пропитание вычерпано, но непорядком, что в прошедшую кампанию трава и хлеб истреблены наибольше на корне, лошади и скот гибнут без корму. Вступя в Молдавию, буду я, наверно, иметь на три месяца пропитания, а в течение того времени не перестанут подвозы следовать из вновь наполняющихся магазинов. Эти неудобства еще станет у меня спосо-

бов преодолевать, но следующим недостаткам я помогать не в силах. Армия поднесь не имеет рекрут, требуемых на укомплектование полков, поднесь не доставлены в великом количестве потребные ей вещи. С моей стороны в подлежащие места внесены требования, посланы офицеры к принятию, но ничто не предуспело. От вашей прозорливости не может быть скрыто, что у нас иной вид и счет на бумаге, а иной на деле и служивым людям, и всему им подобному. В минувшую войну пехотные полки редко более 1000 людей под ружьем имели, а теперь едва половину против того. Иные армии, познавши, сколь удобнее для службы вообще и в вооружении и содержании дешевле легкий всадник, пересадили часть большую своей кавалерии на легких лошадей. Мы, проводя войну противу немецкой кавалерии на самых малых русских лошадках и употребляя противу их одних казаков, подражать взялись тому, что другие оставили, и к отягощению службы и великому казне убытку почти всю свою кавалерию на тяжелых лошадей и с тяжелою и дорогою амуницией посадили. И сколь мало имеет оная способности действовать против настоящего нашего неприятеля, в прошедшую кампанию явными опытами доказалось. Где больше рекрут, там, конечно, больше больных. В чужих армиях больным служат особливого звания люди, а не солдаты, а без всякого на сие счету и примечания определяя людей военных, остается половина оных в ружье, а другой половине ружья только в тягость. Не могу молчать, но решусь сказать следующее: вам потребен комиссариат, который бы все, что только в войске вашем надобно, приготовлял с выгодою, исподволь, все бы делал хорошо, прочно и в свое время к полкам доставлял. А полкам строить себе одеяние и всем снабдеваться некогда, им во время военное должно быть одетым и снабженным летом и зимою, ибо время не удерживает военных действий. Потребны в войска инспекторы, чтоб надзирали и над прочностию вещей, приготовляемых от комиссариата, и на весь порядок. Вследствие новых штатов для армии войско в. и. в-ства знатным числом умалено, а казны ни в комисариате, ни в полках не сбережено; ниже служба ощущает возвышение, как и полки, паче кавалерийские, при украшениях своих, даже до излишества, не делаются от того исправнее для прямой службы, поелику полковники больше стали пещись о прикрасах их, чем о пользе оной» [84].

Тяжелое впечатление производило письмо Румянцева: главнокомандующий мрачно смотрит на свое положение, будет медлить, дожидаться подкреплений, улучшений; если и выступит, то не с таким духом идут на победы; Фабии нужны против Аннибалов, а не против турецкого визиря и крымского хана с их нестройными толпами; против варваров нужно смелое, стремительное движение, только оно одно

даст победу, а победа необходима: она даст мир, в котором Россия очень нуждается. Несмотря, однако, на недостатки своей армии, на необходимость оставить часть войска в польских владениях для безопасности тыла и магазинов от конфедератов, Румянцев выступил с зимних квартир 23 апреля к Хотину, где устроен был мост для переправы через Днестр. Вследствие сильных дождей русское войско пришло к Хотину только 12 мая и 15 перешло Днестр в числе около 39 000 человек, считая с больными, тогда как турки выставляли 200 000 войска. «Иду с армиею за Днестр, — писал Румянцев, — и походом моим прямым по сей стороне Прута стараюсь в неприятеля вложить больше мыслей, чем суть прямые мои силы, и прикрывать недостаток оным видом наступательных действий». Непроходимые от дождей дороги представляли страшные препятствия, так что Румянцев мог двинуться из-под Хотина только 25 мая. Поход был тяжелый. «Здешний климат, — писал Румянцев, — попеременно то дождями обильными, то зноем чрезмерным нас тяготит, ибо в ясные дни, коих и немного было, при самом почти солнечном всходе уже жар величайший настает, которого на походе солдаты, паче из новобранных рекрут, снести не могут, а ночи, напротив, холодом не похожи на летние». Поход тяжкий, а впереди солдата ждала не славная смерть на поле битвы, а смерть в госпитале от чумы. Поэтому Румянцев решился идти по сей стороне Прута, местами малообитаемыми, где не было еще опасности от чумы. В Яссах от чумы умер в конце мая генерал Штофельн, и место его занял хорошо известный нам князь Ник. Васил. Репнин. Румянцев доносил о смерти Штофельна в таких выражениях: «Сие приключение смущает меня несказанно, как потеря благоразумного полководца из рабов в. и. в., который из усердия наивеличайшего к службе вашей пожертвовал собою, держась тех мест, от коих я ему многократно и для собственной его безопасности приказывал удалиться, однако ж считал я на несколько нужным его там бытие по снисхождению на просьбы жителей и для ободрения их упования на покровительство в. и. в.».

Отошедши 131 версту от Хотина, Румянцев встретил новое препятствие: местность явилась несходною с описанием, сделанным зимою генерал-квартермистром Медером. «Зимою клали их (местности) на план, видно, понаслышке, а не по очевидному примечанию, — писал Румянцев, — и теперь во извинение тому представляют, что им нельзя было со всякою точностию сию страну осмотреть по нападкам, в оной происходившим тогда от татар». Главнокомандующий решил дожидаться, пока новый генерал-квартермистр Баур, на которого он вполне полагался, узнает местности обстоятельнее и укажет самые удобные дороги, «ибо натура столько необы-

чайных высот с глубинами здесь поместила, что нет удобности к извороту, а способы отовсюду предстоят быть заперту». Кроме того, Румянцев отошел на слишком большое расстояние от Второй армии и тем открывал неприятелю свою левую сторону. Главнокомандующий Второю армиею гр. Панин остановился пред чумою. В начале мая он прислал в Петербург спросить, переходить ли ему с армиею за Днестр, если Румянцев не будет в состоянии стать не только у Дуная, но и пред Яссами для воспрепятствования туркам подать помощь Бендерам, и даже в случае желаемого движения Первой армии переводить ли Вторую за Днестр и начинать ли осаду Бендер прежде минования жаров, если чума усилится. Совет решил предписать Панину идти к Бендерам, потому что об этом походе уже разнеслись слухи и отложить его будет бесславно. Как в Петербурге были смелее, чем на Днестре, и требовали самых энергичных мер для скорейшего достижения мира, видно из записки графа Гр. Орлова, которую он читал в Совете 17 мая: по мнению Орлова, после взятия Бендер нужно было отправить корпус пехоты к Варне, чтоб овладеть этим городом, и потом морем переехать к самому Константинополю, чтоб получить скорый и славный мир. Менее пылкие члены Совета отвечали, что с этим надобно погодить, прежде надобно отобрать сведения о судах, какие можно достать на Днестре, о запорожских лодках, называемых дубами, как далеко они ходят в Черное море и можно ли им пройти безопасно мимо Очакова; кроме того, прежде посылки пехотного корпуса к Варне надо, чтоб Румянцев утвердился на Дунае и заложил в нем магазины.

А Румянцев находил страну, занятую в прошлом году русским войском, слишком обширною и решил очистить Бухарест. Екатерина, уведомляя его о движении Панина, писала: «Я уповаю, что и вы не только не замедлите своим походом и прибытием к тому месту, которое вы предограждением быть почитаете произведению предприятия на Бендеры, но и в случае всякое вспомоществование в том чинить не оставите. Ваше усердие и ревность меня в том удостоверяет не меньше, как и в том, что вы, конечно, такие меры примете, чтобы оказавшееся в некоторых местах поветрие со всевозможною предосторожностью пресечено было и войско бы никакого вреда от того не чувствовало. Вы сами довольно знаете, сколько нужно распространение оружия нашего над вероломным неприятелем, чтобы поражением его с вашей стороны все в разных местах мною на него предприятия с пользою облегчить можно было и всеми образы принудить его к постановлению желаемого мира. Сожалительно, что вы прежде времени оставляете Букарешт; но я надеюсь на помощь божескую и искусство ваше в военном деле, что не оставите сего наилучшим образом удовлетворить и произвести такие дела,

которые приобретут вам славу и докажут, сколь великое усердие ваше к отечеству и ко мне. Не спрашивали римляне, когда, где было их два или три легиона, в коликом числе против их неприятель, но где он; наступали на него и поражали, и немногочислием своего войска побеждали многособранные противу их толпы; а мы русские; милости божеские за правость нашу в сей войне с нами. Я *вас* имею над войском командиром; храбрость войска известна; итак о благополучнейших успехах моля всевышнего, надеюсь на его покровительство»[85].

«Я осмеливаюсь,—отвечал Румянцев,—и теперь, и вперед отвечать не словами, но делом, что я всегда поспею и ничего не упущу в предположениях, что сопряжены с возложенною на меня должностию. Труды настоящие и действия, что производят войска в. и. в., мне вверенные, собою дали бы примеры мужества самим римлянам, если бы тех веки позже нашего наступили». Ответ был действительно дан делом.

В первых числах июля Румянцев встретил большое турецко-татарское войско при впадении реки Ларги в Прут; неприятелей было тысяч до 80; но главнокомандующий объявил, что «слава и достоинство наше не терпят, чтоб сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него». Наступление произошло 7 июля, и неприятель потерпел полное поражение, оставивши на месте битвы более 1000 тел, тогда как у русских было убито только 29 человек и ранено 61. «Вы займете в моем веке несумненно превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного,— писала Екатерина Румянцеву,— за долг почитаю вам отдать сию справедливость и, дабы всем известен сделался мой образ мысли об вас и мое удовольствие об успехах ваших, посылаю к вам орден св. Георгия I класса. При сем прилагаю реестр тех деревень, кои немедленно Сенату указом повелено будет вам отдать вечно и потомственно»[86].

Уже два великих визиря было сменено; теперь начальствовал войском третий, Халил-бей. Узнавши о малочисленности ларгинских победителей, Халил-бей переправился через Дунай и шел к ним навстречу, в полной надежде, что своим стопятидесятитысячным войском задавит врага, у которого было не больше 17 000. На берегах реки Кагула у Траянова вала 21 июля произошла встреча, и здесь повторилось явление, которое было известно из древней истории, из рассказов о борьбе греков с персами, о борьбе европейского качества с азиатским количеством. Была минута, когда многочисленные янычары смели русских солдат; но тут раздался голос самого главнокомандующего: «Ребята, стой!»— и бегущие остановились, окружили вождя, видя его в страшной опасности. Артиллерия и гренадерский штык решили дело. Турки побежали к Дунаю, бросив пушки и весь лагерь в добычу

победителям; потеря их убитыми простиралась до 20 000; у русских было убито 353 человека и ранено 550. Кагульская победа дала Румянцеву право припомнить Екатерине ее внушения насчет римлян. «Да позволено мне будет, — писал он ей, — настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим ваше величество мне велели подражать: не так ли армия в. и. в теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он».

Восторг Екатерины выразился в письме к новому римлянину: «За первый долг я почла принесть всемогущему богу за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопреклоненное благодарение, что сего утра (2 августа) со всем народом при пушечной пальбе в церкви Казанской исполнено было, и весь город зело обрадован. Потом, возвратясь во дворец, сев за стол и вспомня подающего нам причины радости и веселия своим искусством, усердием и разумом, при пушечной пальбе пила я здоровье г. фельдмаршала графа Румянцева, с которым вам новопожалованным и весьма вам заслуженным чином вас поздравляю и должна вам засвидетельствовать, что у меня за столом не было человека, который бы не был тронут до слез от удовольствия, видя, что я справедливость показала их достойному согражданину. Несравненной армии моей успехи и победы, кто с толиким удовольствием видеть может, как я? Но коль велика радость моя, сие легче чувствовать можно, нежели описать. Благодарю я вас и за то, что вы то самым делом исполняете, что про римлян говорят, и не спрашиваете, многочислен ли неприятель, но где он. Я уверена, что вы не оставите мне тех назвать, кои себя отличили, дабы я могла им воздать справедливость» [87]. Отличившиеся были: генерал-майор Олиц, генерал-поручики Племянников, граф Брюс, граф Салтыков, кн. Репнин; генерал-квартирмейстер Баур; генерал-майоры кн. Долгорукий, гр. Солтыков, артиллерии генерал-майор Мелиссино, Глебов, Подгоричани, Потемкин, бригадир Гудович; подполковники гр. Воронцов (Семен Романович), Елчанинов.

Разбитый визирь бежал к Дунаю, через который переправился на судах при Исакче; но часть его войска, прикрывавшая обоз, не успела переправиться, как подоспел генерал Баур и заставил ее положить оружие, причем русским досталось еще 127 пушек в придачу к 140, взятым при Кагуле. Измаил, тогда еще слабо укрепленный, сдался ген. Потемкину; кн. Репнин взял Килию. Аккерман сдался бригадиру Игельстрому. Но Браилов упорно защищался и отбил приступ. Об этой неудаче Румянцев писал императрице (3 ноября): «Я избрал к осаде сего города ген.-майора Глебова как способнейшего из резону, что он служил в артиллерии. Я его снабдевал ежедневно новыми наставлениями, которые мне казались быть нужны по его известиям и планам, мне сооб-

щаемым. Но дела его при сей осаде не отвечали оным. Штурм, кроме того, что рано начат, веден был необозренными местами, и, так сказать, один бок города только был осажден, ибо о лагере неприятельском, между Дуная, крепости и предместья бывшем, познали, токмо пришедши на него. Неоспоримо, что усердие и ревность, кои ему по справедливости отдать должно, были побуждением на сие предприятие отважное, и как все, хотя, впрочем, несогласные, вестники, в том, однако ж, единогласно уверяют, что все дело имело бы наилучший успех, ежели бы недостойные звания последнего солдата 4-го гренадерского полка гренадеры, в непослушании и малодушии неоднократно примеченные, сами пошли и другим идти не задержали». Затем Румянцев повторяет свою обычную жалобу, что войска мало сравнительно с пространством занимаемых областей: «Весьма трудно с немногим числом войска, каково у меня есть ныне налицо, обнять все пространство завоеванных земель. Квартиры для армии расположу я сколь можно будет теснее в здешнем краю и к пребыванию моему места не возьму далее города Ясс. Все почти генералы по болезням своим отъехали из армии. Я Храповицкого и Хераскова только уговорить мог остаться, а и они подали просьбы об увольнении. Проникнуть нельзя каждого в сердце; примечаю, однако ж, что иные считают себя упослежденными в награждении пред своими сверстниками и потому удаляются; а другие, находя опасность в сих местах остаться, где армия располагается». Наконец, в ноябре же турки очистили Браилов. Бухарест был занят в другой раз. В то время как многочисленные толпы турок в чистом поле при Ларге и Кагуле не могли выдерживать пред сравнительно малочисленною Первою русскою армиею, Вторая армия в числе 34 000 человек была задержана упорным, отчаянным сопротивлением турок в Бендерах. Осада этой крепости шла с начала июля; в ночь с 15 на 16 сентября гр. Панин решился вести свои войска на приступ, и после бою, длившегося всю ночь, после пожара, истребившего крепость, гарнизон положил оружие; победители во время осады и приступа потеряли более одной пятой всей армии. Такая потеря произвела неблагоприятное впечатление в Петербурге и сильно уменьшила значение приобретения, купленного так дорого. Тон донесения Панина мог быть найден несоответственным и неуместным. «L'ours est mort (медведь издох), — писал главнокомандующий Второю армиею, — и сколь он бендерскую мерлогу ни крепку, а ногтей почти больше егерей имел, и сколь ни беспримерно свиреп и отчаян был, но великой Екатерины отправленных на него егерей стремление соблюсти достоинство славы оружия ее со врожденными в них верностию, с усердием к своему государю, храбрость с бодрствием нашли способ по лестницам перелезть чрез стены его мерлоги и совершенно сокру-

шить все его челюсти, вследствие чего непростительно бы я согрешил пред моею государынею, если б этого не сказал, что предведенные мною на сию охоту ее егери справедливо достойны высочайшей милости великой Екатерины, в которую дерзаю совокупно с ними и себя повергнуть». Панину послан был военный орден первой степени; но рескрипт был краток и сух: «Сие происшествие (взятие Бендер) тем важнее, что оно соответствует славе оружия и дел наших. В знак же моего удовольствия за оказанную вами в сем случае мне и государству услугу и усердие, и твердость сходственно установленным штатутам военного ордена» и проч. Взятием Бендер действия Второй армии за поздним временем года должны были ограничиться.

Но мы видели, что гр. Панину поручено было попытаться, нельзя ли отвлечь татар от турок. 4 марта Панин уведомил императрицу, что дело обещает успех, и приложил донесение секунд-майора Бастевика, употребленного для первых сношений. 15 марта было об этом рассуждение в Совете, и пришли к тому заключению, что «крымские и другие соединенные с ними татары по их свойству и положению никогда не будут полезными подданными ее и. в-ства, никакие с них порядочные подати собираемы быть не могут и для защиты русских границ служить не будут, ибо без них никто не нападет на эти границы; наконец, принятием их под свое непосредственное подданство Россия возбудит против себя общую и основательную зависть и подозрение в стремлении бесконечно увеличивать свои владения; благоразумие требует остерегаться от возбуждения таких чувств, особенно когда нельзя себе обещать никакой важной и существенной пользы, ибо татарские народы под именем подданства разумеют право требовать всего в свою пользу, службу же свою и пользу для других поставляют только в том, что живут спокойно и не разбойничают. Но если мало для России пользы от подданства Крыма с принадлежащими ему другими татарскими ордами, то, наоборот, велико может быть приращение ее сил, если татары отторгнутся от Турции и составят независимое владение, ибо одним этим Порта относительно России и ее соседства перестанет морально существовать, потому что ей некем будет беспокоить русские границы, да и трудно ей будет переводить войска свои через Дунай, имея на правой стороне независимых татар. Чтоб можно было получить эту пользу при настоящей войне, надобно обратить наш постоянный предмет — свободное мореплавание по Черному морю — к ободрению и вспомоществованию татарам, и потому прежде всего надобно принять непременное решение не полагать оружия, хотя бы это стоило лишней кампании, пока Порта не признает торжественно независимость Крыма с принадлежащими к нему ордами; вследствие этого надобно вести

переговоры с татарами таким образом, чтобы граф Панин склонял их не к нашему подданству, но к независимости от Турции, чтоб обещал наше ручательство, покровительство и защиту с твердым обнадеживанием, что если они теперь подпишут с нами договор о своем отложении от Турции, то мы не заключим с последнею мира, не утвердив договором независимости Крымской области. Наконец, чтоб граф Панин взаимно потребовал от татар, чтобы они для доставления нам возможности защищать их от турок приняли наш гарнизон в некоторые свои крепости и отдали бы нам одну гавань на крымском берегу, где бы наш флот мог препятствовать турецкой высадке. (Против этих слов в протоколе Екатерина приписала: «Не менее нам необходимо нужно иметь в своих руках проход из Азовского в Черное море; и для того об нем домогаться надлежит».) При таком соглашении, естественно, должно быть поставлено условие о свободной сухопутной и водяной торговле. Если эти важные переговоры в настоящую кампанию уже с пользою совершатся, то, не теряя ни малейшего времени, надобно будет занять нашею азовскою флотилиею тот порт, который на крымском берегу нами выговорен будет, чтоб при начатии с турками мирных переговоров уже можно было прелиминарными пунктами выговорить и одержать проход нескольким нашим кораблям из Средиземного моря в Черное, именно в ту гавань, которая уже будет нам принадлежать, чем и может быть утверждено действительное основание нашего флота, следовательно, и всего мореплавания на Черном море»[88].

Императрица утвердила это решение Совета, и Панину был отправлен соответственный рескрипт, в котором вследствие дополнения, сделанного Екатериною, уже прямо определено, какие места требовать у крымцев для обеспечения прохода из Азовского моря в Черное: на крымском берегу — Еникале и на кубанском — Тамань[89]. Понятно, что в начале переговоров эти требования земельных уступок не могли еще предъявляться: и без того дело было нелегкое. Слова «свобода и независимость» могут легко поднять народы, для которых зависимость тяжела, у которых в продолжение веков независимость была постоянною любимою мечтою, которые нетерпеливо дожидались первого случая превратить мечту в действительность. Но не таково было положение крымских татар: зависимость их от Порты была нечувствительна и в единоверии имела крепкое основание. Зависимость от Турции при легкости была очень выгодна для татар: под щитом Порты они сначала могли безнаказанно разбойничать; усиление России отнимало у них эту возможность, они перестали получать поминки или дань из Москвы, но это усиливало только их ненависть к России, страх перед нею и, наоборот, расположение к единоверной Турции, потребность ее покро-

вительства. Отношения татар к ханам, к этому многочисленному роду Гиреев, были самые свободные, как обыкновенно бывают отношения государственно неразвитых народов к большим правительственным родам; хана свергали при первом неудовольствии, не боясь препятствий со стороны Порты; с своей стороны Гиреи тянули к Порте: по свержении в Крыму они находили у нее убежище, у них были владения в Румилии и лестное для их честолюбия предание, что в случае прекращения турецкой династии достоинство падишаха должно перейти к ним. Им предлагали независимость, но тут была явная неточность. В Петербурге, решаясь во что бы то ни стало добиваться независимости Крыма, выставляли на вид одну сторону дела, полезную для России, не входя в подробное рассматривание затруднений, вытекавших из неточности определения цели. Если татары будут вполне независимы, то, естественно, они должны получить право свободно определять свои отношения к другим державам, входить в союзы с тою или другою из них, как им заблагорассудится, и в случае войны России с Турциею вступать в союз с последнею против первой. Таким образом, принимая независимость в таком точном смысле, нельзя было рассуждать, что вследствие независимости Крыма Порта относительно России превратится в моральное небытие, что у нее отнимется возможность делать важные предприятия против русских границ и что трудно ей будет переводить свои войска через Дунай, имея в правом боку независимых татар. Для получения предполагавшихся выгод надобно было эту независимость ограничить, т. е. обязать татар тесным, постоянным союзом с Россиею, обязать отступлением навсегда от Турции; на договор о таком союзе, разумеется, положиться было нельзя; надобно было обеспечить союз гарнизонами по крепостям, гаванью на Черном море, приобретением мест, защищавших вход в пролив между Азовским и Черным морями. При таких отношениях естественно и необходимо является новое слово *покровительство:* Россия будет покровительницею татар; но в таком случае турецкие отношения сменялись только русскими и нельзя было рассуждать о том, что иностранные державы не увидят здесь властолюбивых стремлений и останутся покойны, не поймут, что значение Турции на северном берегу Черного моря перейдет к России. Татары понимали очень хорошо, что им предлагают из турецкой зависимости перейти в русскую; но отторгнуться от своих единоверцев и отдаться под покровительство христианской державы являлось делом греховным. В крайности они готовы были сделать это, но только в крайности и единственно для того, чтоб выиграть время, выйти из затруднительного положения, не подвергнуться разорению, а потом при первой перемене обстоятельств снова перейти к Турции, освободиться от свободы. Христиан-

ские народы страшно страдали под турецким игом, подвергались всем последствиям фанатизма и презрения магометан к иноверцам, они жаждали свободы, тогда как татары находились в положении обратном, и соединение их с христианами в одном акте освобождения от турецкого ига было ошибкою.

Весною 1770 года татарам крайности еще не было; и на предложение Панина преемник умершего Крым-Гирея хан Каплан-Гирей отвечал (15 марта): «Объясняешь, что твоя королева желает прежние вольности татарские доставить, но подобные слова тебе писать не должно. Мы сами себя знаем. Мы Портою совершенно во всем довольны и благоденствием наслаждаемся. А в прежние времена, когда мы еще независимы от Порты Оттоманской были, какие междоусобные брани и внутри Крымской области беспокойства происходили, все это пред светом явно; и потому прежние наши обыкновения за лучшие нам представлять какая тебе нужда? В этом твоем намерении, кроме пустословия и безрассудства, ничего не заключается». Панин дал себе напрасный труд возражать хану. Гораздо сильнее, впечатлительнее возразил Румянцев Ларгою и Кагулом: татары зашатались, и раздвоение между ними ускорило желанное в Петербурге дело.

Татары, о которых идет речь, делились на собственно крымских, оседлых, и ногайских, которые под разными названиями кочевали на пустынных тогда берегах Азовского и Черного морей, от Кубани до Днестра. Ногайцы не имели тех побуждений держаться Турции, какие имели собственно крымские татары, или имели их гораздо в слабейшей степени; магометанский интерес, как вообще у кочевых среднеазиатцев, не преобладал между ними; при неразвитости, крайней узкости сферы господствовали мелкие частные интересы. Мы хорошо знакомы с ними по русской истории XVI века. Тогда, будучи господствующим народом на нижней Волге, служа для магометанского мира связью между Казанью, Астраханью и Крымом, обязанные защищать бусурманские юрты от напора европейско-христианского мира в лице России, они вследствие своих усобиц и корыстных стремлений выдали белому царю и Казань, и Астрахань. Когда один из их князей, державшийся Крыма и Турции, враждовал с Москвою, другой говорил ему: «Твои люди ходят торговать в Бухару, а мои ходят к Москве; и только мне завоеваться с Москвою, то и самому мне ходить нагому, да и мертвым не на что будет саванов шить», — и вследствие этого сам предлагал Иоанну IV овладеть Астраханью [90]. В описываемое время, прельщенные надеждою легкой добычи, они поднялись с Крым-Гиреем на Россию; но потом под Хотином дела пошли дурно; они принуждены были отступить к Пруту, нашлись в условиях необычных и истосковались по своим степям. В это

время стали приходить к ним предложения от панинских агентов и производили сильное впечатление: до независимости, русского или турецкого покровительства им было мало дела: отчего не принять и русских предложений, если русское войско пропустит их назад на родные степи; предки их дружили же с Россиею, кормясь тем, что посылали табуны лошадей своих на продажу в Москву! Но пока они еще не двигались, боясь хана и турок; после же Ларги и Кагула медлить было нечего; и 25 июля, в тот самый день, когда Панин под Бендерами получил известие о кагульской победе, пришла к нему грамота от четырех едисанских и одного белгородского (аккерманского) мурзы с просьбою о дозволении пройти на крымскую сторону. Панин отвечал, что для получения этого дозволения татары должны объявить себя в протекции российской, отречься от подданства турецкого и прислать аманатов. 9 августа Панин донес в Петербург, что Едисанская, Буджацкая и Белгородская орды отступили от турецкого подданства, вследствие чего их перепустили в степь между Днестром, Бугом и Синюхою. Вслед за тем завели переговоры с Паниным и крымские мурзы; но эти переговоры не повели ни к чему; хану, несмотря на сопротивление русских отрядов, удалось пробраться в Крым, где, впрочем, остававшиеся там ногаи, едичкулы и джамбулуки решили последовать примеру своих родичей, едисанцев: многие из них вопреки ханскому приказанию вырывались из Крыма для соединения со своими.

В первых числах октября канцелярии советник Веселицкий отправился для окончательного улажения дела в Едисанскую орду, которой начальные люди стояли у реки Березани. Главный из едисанских мурз Джан-Мамбет-бей сообщил Веселицкому, что едичкулы и джамбулуки согласны отдаться в покровительство императрицы и уже отправили знатных мурз с письмами к Панину. «Мы, — говорил Джан-Мамбет-бей, — слово свое и ручательство в присоединении едичкулов и джамбулуков теперь исполнили, да и не поручились бы в том, если бы по родству с этими ордами не были удостоверены в их единомыслии с нами; что же касается крымцев, то не худо бы его сиятельство (Панин) сделал, если б крымского мурзу несколько холоднее принял и приказал отвечать им, чтоб они свое письмо таким точно образом написали, как от них уже потребовано и как ногайцы в присяжном письме изъяснились, что в противном случае поступлено будет с ними как с неприятелями, без пощады; надобно пригрозить им огнем и мечом, потому что когда едичкулы и джамбулуки с едисанскими и буджакскими татарами согласились соединиться, то крымцы принуждены будут на все требования согласиться; и хана Каплан-Гирея почитать не следует». Подобные же вести привез толмач Кутлубицкий, который в конце

года отправлен был в самый Крым Приехав в Бакчисарай, Куглубицкий обратился к жившему там едисанскому мурзе Темир-султану, Темир-султан был в единомыслии со своими, и когда Кутлубицкий спросил его, нет ли между крымцами злого умысла против России, то мурза отвечал «Можно ли крымцам помышлять о чем-нибудь вредном против России, когда по уходе Едичкульской и Джамбулуцкой орд из Крыма остались они такими слабосильными? Я за тем единственно и живу в Бакчисарае, чтоб склонить крымцев к принятию тех же условий, на каких прочие орды вступили в дружбу и союз с Россиею» Но старания Темир-султана оказались напрасными Порта и преданные ей крымцы приняли свои меры не надеясь, чтобы хан Каплан-Гирей имел достаточно энергии, необходимой в таких опасных обстоятельствах, султан сменил его и прислал на его место Селим-Гирея Россия должна была оружием принудить крымцев к тому, на что ногайцы так легко согласились добровольно [91]

Но в то время как победы Румянцева произвели этот раскол между татарами и заставили хана очистить главную сцену военных действий и спешить в Крым, приходили известия о блистательных успехах русского флота, отправленного с целию помогать восстанию турецких христиан Мы видели, с какими затруднениями было сопряжено плавание эскадры Спиридова Из семи кораблей и осьми разных других судов, вышедших из Кронштадта 26 июля, в конце декабря 1769 года у острова Минорки собралось только четыре корабля и четыре мелких судна Болезни продолжали свирепствовать и похищать значительное число людей Граф Алексей Орлов с нетерпением дожидался в Ливорно прибытия эскадры и отправил к ней навстречу в Порт Магон брата своего Федора Григорьевича, но только в начале февраля 1770 года явились в Ливорно один корабль, один фрегат и один пакетбот, выдержавшие сильную бурю [92] Из этих судов пакетбот «Почтальон» сел на мель, и по этому поводу граф Орлов писал императрице ««Почтальон» сел на мель, и тому уже недели две, и по сековое время стащить не можем, употребляя всевозможные средства Признаюсь чистосердечно, увидя столь много дурных обстоятельств в оной службе, так великое упущение, незнание и нерадение офицерское и лень, неопрятность всех людей морских, волосы дыбом поднялись, а сердце кровью облилось Командиры не устыдились укрывать недостатки и замазывать гнилое красками Дошли до того, что ни провианту, ни денег у себя, ничего не имеют Признаться должно, что есть ли бы все службы были в таком порядке и незнании, как и эта морская, то беднейшее было (бы) наше отечество, но скажу и то, надеемся теперь уже крепко, что дурноты все уже миновались и все теперь пойдет Таковы то наши суда, есть ли б мы не с турками имели дело, всех бы легко переда-

вили, не нужно б было много с ними драться, а только за ними гнаться, они бы из гавани не выходили по незнанию офицеров Я расспрашивал офицеров о барбареиских, не имели ли они случая где ни на есть с ними свидеться? Со вздохом отвечали благодарим господа, что они в таковую погоду не ходят! Я от сердца смеялся и, рассказав им допрямо обо всем, притом стыдя их — так низко мыслить не годится россииским офицерам и воинам, говорил Недостаток есть велик в лекарях и их помощниках, я стараюсь их приискивать Я намерен всеми способами домогаться, чтоб все морские убытки возвратить»[93]

Возможность успеха заключалась именно в том, что главные деятели не приходили в отчаяние от неудачи, от затруднений «Надеемся крепко, что дурноты все уже миновались и все теперь поидет», — писал Орлов, и в ответах Екатерины выражалась та же уверенность, что «все пойдет» «Что же делать, — писала она, — впредь умнее будут Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет со временем круглехонько обточен» Кроме отправленной еще осенью 1769 года эскадры под начальством контр адмирала Эльфинстона, состоявшей из трех кораблей, двух фрегатов и трех разных судов, Екатерина в январе 1770 писала Орлову, что на весну готовит еще несколько кораблей «Одним словом, что могу, то и сделаю Мне ныне тем легче сделать помощь кораблями и людьми, потому что у наших белобрысых соседей (шведов) орудия осеклись» Неудача кн Долгорукова в Черногории также не смутила Екатерины «Происшествие черногорское с нашим ген майором кн Долгоруковым, повидимому, недостойно большого уважения, ибо главные действия должны произойтить от христиан собственных подданных нашего вероломного неприятеля Да пускай бы и тут веками порабощения и коварства развращенные греки изменили своему собственному благополучию одна наша морская диверсия с подкреплением оной маинскими портами или занятием другого какого надежного места для морского прибежища уже довольны привести в потрясение и в ужас все турецкие в Европе области и тем самым прославить и возвести еще на высшую ступень почтения к силам и могуществу нашей империи» Екатерина исполнила свое обещание в июле отправилась из Ревеля эскадра под начальством контр-адмирала Арфа, призванного из датской службы «по отличному его искусству и практике в военной морской службе» На этой эскадре отправили с лишком 2 500 человек пехоты, в том числе 500 человек гвардии Преображенского полка Денег не жалели архипелажская экспедиция в 1769 и 1770 годах стоила около 1 900 000 рублей[94]

В половине февраля русские корабли пришли к Морее и стали на якорь в порте Витула на полуострове Майна, жители которого уже давно с нетерпением ждали их прихода и приветствовали по-своему, стреляя целый день из ружей и пистолетов. Положено было составить из жителей Мореи два отряда или легиона, восточный и западный: первый должен был набрать и начальствовать им капитан Барков, второй — майор кн. Петр Долгорукий. Барков скоро набрал до 1000 майнотов, и двинулся с ними к Мизитре (Спарте), и разбил под ее стенами трехтысячный отряд турок. 8 марта Мизитра сдалась на условии свободного выхода для гарнизона. Но как только турки сдали оружие, майноты бросились на них и перерезали больше 1000 человек; Барков с опасностию собственной жизни едва спас остальных. Успех увеличил отряд Баркова до 8000 человек, и он пошел к Триполице; но когда отряд вошел в предместие города, многочисленные турки напали на него со всех сторон; греки не выдержали, покидали оружие и обратились в бегство, покинув русских, которых было ничтожное количество. Горсть храбрецов начала отступать, обороняясь; большая часть была перебита, спаслись только четыре человека, которые принесли в Мизитру тяжелораненого Баркова; спасено было и знамя, потому что Барков велел снять его с древка и опоясал им себя. Между тем кн. Долгорукий овладел всею Аркадиею и потом пришел к Наварину, который был осажден русским отрядом, подвезенным на двух кораблях и фрегате; отряд этот находился под начальством бригадира Ганнибала. 10 апреля Наварин сдался, и в его гавани как лучшей собрался весь русский флот, здесь же собрались и почти все наличные сухопутные русские силы с главным распорядителем похода Орловым[95]. Екатерина писала ему: «Моя мысль есть, чтоб вы старались получить порт на острове или на твердой земле и, поколику возможно, удержать оный. Сказав вам сие, признаюсь, что имею два вида: один тот, чтоб вас, пока ваша куча незнатно умножится, с малым числом не подвергнуть опасности, второй, что хотя б и ничего иного не сделали, то бы тем самым мы много для переду предуспели, если б доставили России в руки порт в тамошнем море, который стараться будем при мире удержать. Под видом же коммерции он всегда будет иметь сообщение с нужными народами во время мира, и тем, конечно, сила наша не умалится в тамошнем краю. Если же дела ваши так обратятся, что вы в состоянии будете замыслить и более сего, то тогда и сей порт вам всегда служить может, не быв ни в каком случае вреден. На сие же едва не удобнее ли остров, нежели твердая земля, и то еще остров не самый большой; но, однако, порт на твердой земле будет же иметь и свои особые выгоды». Теперь Орлов признал, что Наварин представляет именно такой порт на твер-

дой земле, имеющий особые выгоды; он не мог не признать и мудрой осторожности, заключавшейся в словах императрицы: «Порт нужен, чтоб вас, пока ваша куча незнатно умножится, с малым числом не подвергнуть опасности». Уже один отряд подвергся опасности, был почти весь истреблен, потому что, не укрепившись на берегу, не дожидаясь «знатного умножения кучи», послали ничтожный отряд внутрь страны, понадеявшись на местных жителей. Весть об участи барковского отряда, о поведении греков в Мизитре и Триполице, коварная свирепость в одном месте, позорная трусость и бесчестность в отношении к русским в другом, разумеется, прежде всего возбудили в Орлове страшное раздражение против греков. «Кроме крепостей и больших городов — Триполицы, Коринфа, Патраса, хотя вся Морея и очищена от турок, — писал он, — но силы мои так слабы, что я не надеюсь не только завладеть всею, но и удержать завоеванные места. Робость греков и майнотов лишает меня совсем надежды, а беспорядок, происходящий от неразумения языка, еще более меня в том утверждает. Лучшее из всего, что мне можно будет сделать, — укрепить себя сухим путем и морем, зажечь огонь во всех местах, как в Морее, пресечь весь подвоз провианта в Царьград и делать нападения морскою силою. Трудно будет и сие произвесть в действо, если скоро не придет Эльфинстон. Здешние народы льстивы, обманчивы, непостоянны, дерзки и трусливы, лакомы к деньгам и добыче, так что ничто удержать не может их к сему стремлению. Легковерие и ветренность, трепет от имени турок суть не из последних также качеств наших единоверцев. Закон исповедуют едиными только устами, не имея ни слабого начертания в сердце добродетели христианские. Привыкши жизнь вести в распутстве (т. е. распущенности), ненавидящие всякого порядка и не зная, каким способом приступить к оному, пребывают ежеминутно в смятении духа. Рабство и узы правления турецкого, на них наложенные, в которых они родились и выросли, также и грубое невежество обладает ими. Сии-то суть причины, которые отнимают надежду произвесть какое-нибудь в них к их общему благу на твердом основании сооруженное положение»[96].

Вся вина сложена на греков; но историк должен разделить ее и отдать известную долю обвиняющим В Петербурге была сделана ошибка, очень естественная впрочем. Для развлечения турецких сил, для нанесения сильнейшего, потрясающего удара врагу, для обеспечения себя от него на будущее время, для приобретения славы освобождения христиан и потомства героев, имена которых были на языке каждого образованного человека, задумали смелое предприятие — возбудить христианское народонаселение Турции к восстанию против Порты. Предприятие было задумано не без основа-

тельной надежды на успех: Каразин с товарищами говорили правду, объявляя о готовности христиан свергнуть тяжелое, ненавистное иго; но надобно было изучить с большею подробностию и точностию средства христиан, нравственные и материальные. Как обыкновенно бывает, когда дело обсуживается издали, подробности исчезают, сливаются, видны только одни наиболее выдающиеся общие черты: стремление к свержению тяжелого, варварского ига, единоверие и т. д.; и вследствие преобладания этих общих черт дело идеализуется, является в розовом свете: стоит только явиться, и народ примет освободителей по-братски, с распростертыми объятиями, окажет чудеса храбрости и принесет всевозможные жертвы для освобождения отечества. При этом исчезла маленькая подробность, мелкий вопрос: как братья по вере будут объясняться друг с другом? Екатерина советовала Орлову поступать осторожно, сначала укрепиться на берегу и не подвергать опасности своих ничтожных сухопутных сил, пока не образуется масса туземного ополчения. Екатерина требовала общего дружного движения, запрещала действовать клочками, в одиночку. Но прежде надобно было узнать, способно ли народонаселение Греции действовать сообща. Природа раздробила Грецию на мелкие области, резко отделенные друг от друга, с средствами, недостаточными для пропитания, и потому заставляющие народонаселение смотреть вон, искать деятельности, средств жизни на море; древняя история Греции подчинилась этим природным условиям; должна была подчиниться им и новая: на суше слабость, разбросанность, особность областей, размельченность интересов, неспособность создать твердое центральное правительство, узкость государственных взглядов; сила народа — в «деревянных стенах» оракула, спасших древние Афины в борьбе с персами, сила — в кораблях, в морской деятельности, которая заставляет греческое народонаселение тянуться узкою полосою по берегам. Помогать какому-нибудь народу в беде, помогать в приобретении независимости — дело чрезвычайно трудное; столкновение неминуемо вследствие различия ступеней развития, различия в силе; народ помогающий есть более развитой, более сильный, потому, естественно, принимает значение руководителя, опекуна, требует от слабейшего, руководимого, подчинения своему «умоначертанию»; но слабейший по развитию народ этого умоначертания не понимает, у него свои понятия, свои взгляды, очень узкие, иногда неприятные, но что же делать? Греки надеялись на русскую помощь, немедленно сгруппировались около ничтожных русских отрядов; но когда турки начали наступать с превосходными силами, они обратились в бегство, ибо известных понятий о военной чести они не имели, а руководились взглядом, что русские должны им помогать, а не они должны давать себя резать туркам: это они

могли сделать и без русских. Тут прежде всего вредит различие в понятии о помощи у сильного и слабого, потому что оба требуют обыкновенно друг от друга больше, чем сколько могут и хотят дать. Греки, с которыми имел дело Орлов, не были трусами, но при условиях своего быта они не были способны к наступательному движению, к битвам в чистом поле; они были храбры, неодолимы в войне оборонительной, при защите искусственных или природных укреплений; и это важное обстоятельство не было принято в соображение. Орлов пишет, что турецкое рабство оставило печальные следы на характере греков, но для убеждения в этом не нужно было ехать в Морею, можно было и в Ливорно, и в Петербурге заключать от причины к следствию. Греки печально удивили русских тем, что бросились резать сдавшихся турок; но разве при известных взглядах турка на христианина, а христианина на турка между ними могли образоваться отношения и установиться правила, выработанные образованными христианскими народами между собою? При виде заклятого врага, притеснителя, грек забывал все. Главное затруднение между русскими и греками заключалось не в том только, что они не понимали языка друг друга, но в том, что не понимали «умоначертания» друг друга. При таком различии между народами оказывать помощь чрезвычайно трудно, надобно быть готову на все, вооружиться педагогическим терпением и спокойствием. Но из этого не следует, что надобно робко отступать пред трудными задачами, которых решения требуют высшие народные интересы; из этого следует только, что пред их решением надобно приготовиться глубоким изучением прошедшего и настоящего и вследствие этого не смущаться ничем. Но не будем слишком строги к русским людям XVII века: они делали первый опыт.

Орлов хотел утвердиться в Наварине, но для этого счел необходимым овладеть крепостью Модоном. К ней отправился с ничтожными силами кн. Юрий Долгорукий, известный нам своими похождениями в Черногории. На помощь осажденным явилось турецкое войско, Долгорукий вступил в бой с далеко не равными силами и потерпел поражение, потеряв артиллерию. «Сей неблагополучный день, — писал Орлов императрице, — превратил все обстоятельства и отнял всю надежду иметь успехи на земле». Начались действия на море, потому что эскадра Эльфинстона наконец явилась, потерпевши на пути те же неприятности и задержки, как и эскадра Спиридова, в доказательство, что все равно, как бы ни назывался командир, русским или английским именем. В мае месяце действия ограничивались гоньбою за турецким флотом. Несколько судов оставалось в Наварине с графом Алексеем Орловым, который нашел невозможным долее держаться здесь и отплыл для соединения с обеими эскадрами, взор-

вавши Наваринскую крепость. 11 июня Орлов соединился с эскадрами и нашел, что «командиры между собой в великой ссоре, а подкомандные в унынии и неудовольствии». Больных на обеих эскадрах было до 500 человек. Для пресечения споров между командирами, причем Эльфинстон не хотел подчиниться Спиридову, Орлов, не будучи моряком, принял сам начальство над флотом, как уполномоченный императрицею, и повел флот к острову Паросу с намерением во что бы то ни стало изгнать турецкий флот и разбить его, ибо только этим можно было уничтожить впечатление, произведенное морейскою неудачею. «Ежели богу угодно будет сокрушить флот неприятельский, — писал Орлов императрице, — тогда стараться станем и употребим всю возможность опять союзно действовать с обитающими народами под державою турецкою в той стороне, где будет способнее... Если флот победит, тогда и денег не надобно будет, ибо будем господами всего архипелага и постараемся оголодить и Константинополь... В случае же несчастного сражения морского или пребывания турецкого флота в благополучном состоянии в тех морях надежды не имею остаться зимовать в островах архипелагских и думаю, что принужден буду возвратиться в Средиземное море»[97]. Екатерина одобряла все решения Орлова; в ее письмах он не мог найти ни малейшего выражения неудовольствия вследствие неудачи морейского похода. «Хотя мы и видим теперь, — писала она, — что морейская экспедиция не соответствовала своими следствиями мужественному от вас предпринятому ее отверстию по причине сродной грекам трусости, легкомыслия и предательства, кои особливо под Модоном толико пакости причинили, однако ж тем не меньше и тут служит нам к особливому удовольствию слышать от вас, что все под предводительством вашим бывшие чины от мала до велика мужественно, ревностно и с крайнею охотою исполняли долг истинных сынов отечества, в котором качестве будем мы отныне на них наипаче взирать с особливым вниманием. Когда морейские греки столь худо подражали примеру храбрости, мужества и твердости, коими вы обще руководились, и не хотели извлечь себя из под ига порабощения, их собственным духом робости, неверности и обмана над ними сохраняемого, то вы весьма благоразумно и прозорливо сделали, что, оставя их собственному жребию, обратили соединенные наши морские силы на преследование морем неприятеля. Кн. Юрию Долгорукому скажите, что день под Модоном хотя и неудачен был, но, однако, его искусство и храбрость не оставили ничего того, что только можно было делать, и, следовательно, сей день приобрел ему славу»[98].

Эти письма отправлены были в начале сентября, когда уже флот восстановил славу русского оружия, помраченную морейскими неудачами. 24 июня на рассвете, при входе в

Хиосский пролив русский флот увидал турецкий, стоявший на якоре вдоль анатолийского берега, близ небольшой крепости Чесме. Орлов спешил нагнать неприятельский флот, чтобы воспрепятствовать соединению его с эскадрою, шедшею из Константинополя; но соединение уже последовало: перед русскими стояло 16 линейных кораблей (шесть имели от 90 до 80, прочие от 70 до 60 пушек), шесть фрегатов и много разных мелких судов. Орлов в донесении своем императрице откровенно признается, что при первом взгляде на такую силу им овладел страх: «Увидя оное сооружение, ужаснулся я и был в неведении, что мне предпринять должно; но храбрость войск в. и. в-ства, рвение всех быть достойными рабами великой Екатерины принудили меня решиться и, несмотря на превосходные силы, отважиться атаковать, пасть или истребить неприятеля». Битва, начавшаяся в одиннадцатом часу утра, длилась почти четыре часа, и не было еще ничего решительного. Русский корабль «Евстафий», на котором был Спиридов и граф Федор Орлов, сцепился с турецким адмиральским кораблем, и начался отчаянный рукопашный бой; наконец турецкий корабль загорелся; Спиридов и Федор Орлов успели уехать с своего корабля, которому грозила страшная опасность. Действительно, подгоревшая гротмачта турецкого корабля упала на русский корабль, искры, посыпавшиеся от нее, зажгли порох, и «Евстафий» взлетел на воздух, за ним взлетел и турецкий корабль. Тогда все другие неприятельские корабли поспешно бежали в Чесменскую бухту. Победа стоила русскому флоту корабля и на нем 628 человек, в том числе 30 офицеров. Но победу надобно было довершить. Вечером у графа Алексея Орлова собрались флагманы и офицеры, и решено сжечь неприятельский флот в Чесменской бухте. «Наше дело, — говорилось в приказе Орлова, — должно быть решительное, чтобы оный флот победить и разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в архипелаге, не можем мы иметь к дальним победам свободные руки». 25 июня приготовили брандеры, и в лунную, тихую ночь на 26 число корабли, назначенные к атаке, двинулись. В начале второго часа от стрельбы с русских кораблей загорелся один турецкий корабль, за ним другой; тут на русских кораблях раздалось «ура!» и взвились три ракеты — это был знак отправляться на работу брандерам. Работа, несмотря на дурное начало, пошла удачно благодаря смелости и ловкости лейтенанта Ильина: он сцепился с большим турецким кораблем, зажег брандер и, отъехав на шлюпке, еще остановился посмотреть, что выйдет. Вышло то, что стали раздаваться оглушительные удары взрывов; обширное зарево осветило страшную картину: видны были только трупы и обломки судов, вода покрылась золою и кровью. На рассвете турец-

кого флота уже не существовало: сгорело 15 кораблей, 6 фрегатов и до 50 мелких судов; русские успели взять только один корабль и шесть галер.

Спиридов под впечатлением первой минуты писал графу Ивану Чернышеву: «Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили и оставили на том месте престрашное позорище, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими». Спокойно и скромно донес Орлов императрице о знаменитом событии, вовсе не стараясь усилить его значение. «Прискорбно мне, — писал он, — что я не могу и впредь надежды не имею поздравить в. в-ство с сухопутною, равною морской, победою; ежели бы был так счастлив, желания бы мои совершенно были удовольствованы, мог бы тогда надеяться заслужить ваше благоволение. Ныне же не остается мне другого, кроме как стараться запереть подвоз в Царьград и стараться еще, если можно, возвратить государству издержки, употребленные на сию экспедицию». Но впечатление, произведенное этим донесением в Петербурге, было чрезвычайное. Чем более были огорчены и унижены известиями о печальном положении русского флота, чем менее ожидали от него самостоятельных подвигов, чем более были огорчены известиями о неудаче морейской экспедиции, для вспомоществования которой флот, собственно, и был назначен, тем в большой восторг пришли, узнав о неожиданном торжестве этого самого флота, истребившего флот неприятельский, о торжестве небывалом, показавшем новую сторону русского могущества. Легко представить восторг Екатерины, что в ее царствование совершилось то, о чем не мечтал великий основатель русского флота, совершилось после долгих лет упадка морского дела в России и совершилось человеком из фамилии, возвышенной Екатериною, за что так давно и постоянно раздавались ей упреки. «Ничего знаменитее, кажется, в той стороне быть не может. Дивен бог в чудесах своих! — писала Екатерина Румянцеву. — Мало в свете слыхано подобного было. Мы 14 числа сего месяца (сентября) богу приносили благодарение, а на другой день была соборная панихида Петру Великому, основателю флота и первому виновнику сей новой для России славы. Мы плодом его трудов пользуемся; наш флот подобен Исааку, который, женясь 70 лет, оставил потомство, кое ведется и до сего дня; и наш флот после семидесяти лет его основания покрылся славою, коя, дай боже, да продлится долее, нежели потомство Исааково». В рескрипте Орлову говорилось: «Сие в редких веках едва случившееся происшествие служит новым доказательством, что побеждает не число, но единственно мужество и храбрость. Где же тому более искать очевидных примеров, как не в нынешнем году, которые российскими войсками оказаны: 21 июля наш фельдмаршал

граф Румянцев при реке Кагуле с 17 000 разбил и в совершенный бег обратил за берега дунайские 150 000 турецкой сволочи; ваша победа с девятью кораблями над великим множеством неприятельских при Чесме 24 июня возбуждает страх, равномерный неприятелям и ненавистникам нашим и от морских российских сил, кои по сю пору еще удержаны были наказать врагов империи. Но, блистая в свете немнимым блеском, флот наш под разумным и смелым предводительством вашим нанес сей раз наичувствительный удар оттоманской гордости. Весь свет отдаст вам справедливость, что сия победа вам приобрела отменную славу и честь; лаврами покрыты вы; лаврами покрыта и вся при вас находящаяся эскадра». Орлову пожалован был военный орден первой степени и право оставить при себе на всю жизнь кейзерфлаг и внести его в свой герб; Спиридову — Андреевский орден и деревни; графу Федору Орлову и контр-адмиралу Грейгу, которого особенно рекомендовал граф Алексей Орлов, — военный орден второй степени [99].

Известный французский агент барон Тотт, который подобно Валькруассану был отправлен в Турцию, чтоб подавать всевозможную помощь туркам и делать всевозможный вред русским, представляет в своих мемуарах дарданелльские укрепления в самом печальном виде, вследствие чего, естественно, рождается сожаление, что чесменский победитель по незнанию положения дел не решился прорваться чрез Дарданеллы и появлением своим пред Константинополем не принудил султана к миру, которого так желала Россия. Но прежде надобно бы было решить вопрос, действительно ли справедливы показания Тотта, которому было поручено укрепить Дарданеллы и которому, следовательно, было выгодно представить прежние оборонительные средства в самом жалком виде

Чесменский бой прежде всего поразил ужасом богатую торговую Смирну, и тут русские люди в первый раз услыхали об *европейских интересах,* с которыми они должны были потом постоянно встречаться и считаться на Востоке. От 21 июля Орлов получил письмо от находившихся в Смирне европейских консулов, в котором говорилось, что 8 июля народ и войско в Смирне, будучи приведены в бешенство и отчаяние вестию о чесменском деле, бросились на греков и побили их великое множество; два европейца были также убиты. Возмущение это навело ужас на всех европейцев; большая часть франков искали убежища на кораблях, иные заперлись в своих домах; торговля прекратилась. По прошествии нескольких дней тишина, кажется, восстановилась, торговля начала опять приходить в движение; но страх приближения русского флота несказанно тревожит души европейцев, ибо этот ужасный час будет началом убийства и грабежа подданных европейских государей и конечного разру-

шения их торговли. «Эта грозная крайность, — писали консулы, — побудила нас уполномочить и послать к в. с-ству депутатов с изъяснением такого опаснейшего нашего состояния и с просьбою не обращать победоносное оружие ее и. в-ства на этот торговый город, на который дóлжно смотреть не как на неприятельское место, а скорее как на колонию, основанную разными нейтральными государствами; разрушать их торговлю и приносить их подданных в жертву великая российская императрица, конечно, не пожелает. Городовое управление ожидает освобождения и тех пленных, которых в. с-ство еще удержали у себя. Если в. с-ство великодушие свое увенчает освобождением этих пленников, то новый этот луч милости принесет вам столько же чести, сколько и победа, а нам у турок будет заслугою, которая совершенно может утвердить наше спокойствие». Орлов отвечал: «Последуя высочайшему благоволению, исполняю закон, мною никогда не нарушаемый, чтоб подавать во всякое время всевозможное вспоможение народам, не только с нами союзным, но и неутральным. Сии суть и всегда будут непременные правила моего поведения. Как скоро я услышал о возмущении, приключившемся в Смирне, отложил намерение идти на оный город для сей одной причины, чтоб приближение нашего флота не распространило более еще распутства и беспорядков. Для сего я тотчас освободил янычар-агу со многими другими турками и поручил ему объявить правительству города вашего, чтоб как возможно скорее прекратить тамо своевольное убийство и особливо, чтобы в безопасность привести ваши особы. Я также весьма рад был бы согласиться на все то, что вы от меня требуете, если б не препятствовали тому разные причины: могу ли я безо всякого с другой стороны договорного со мною согласия ответствовать за то, на что неизвестные обстоятельства впредь меня побудят? Что же вы хотите меня уверить против принятых всеми понятий, что город Смирну должно почитать больше селением, основанным разными европейскими народами, нежели местом неприятельским, сие мне кажется непонятно. Сему вашему правилу последуя, дóлжно бы мне и самый Царьград почитать таковым же, а по нем и все прочие приморские города, под владением турецким находящиеся, в которых есть несколько жительств народов европейских. Что касается торговли, будьте совершенно уверены: доколе флаг ее и. в-ства будет в сих морях владычествовать, вы должны совершенно надеяться на защищение ее, чему вы уже ясно видели доказательства, лишь бы только в торговле сей ничего противного не было законам войны. Если бы приближение мое к городу вашему причинило в оном некоторое смятение, то я в сем случае столько же буду виновен, сколько был и при конечном истреблении оттоманского флота. Освобождение некото-

рых военнопленных и снисходительное обхождение с прочими остающимися при мне не преклонили сердец турецких к тому признанию, которого я от них должен был ожидать после сего поступка; но в рассуждении просьбы вашей дам я еще некоторым из них свободу единственно для удовольствия вашего и для приведения вас в безопасность»[100]. Екатерина была очень довольна этим ответом, в котором нашла «отменное блистание великодушия и человеколюбия». «Начертали вы здесь душу свою, — писала она Орлову, — мы ее давно знали, но теперь весь свет ее видит и ей справедливость отдает»[101].

Чрез несколько времени в Петербурге распространился слух о новых успехах русского флота. «Сказывают одни, — писала Екатерина Панину, — что взяты Дарданеллы, а другие, что флот турецкий паки сожжен. Но если мне выбрать, то Дарданеллы лучше возму, ибо сие нас приближает к месту ближайшему *мирного конгресса*»[102]. Но ожидания не оправдались: попытка занять ближайший к Дарданеллам остров Лемнос не удалась, причем разбился корабль «Святослав». Для зимовки флота был выбран остров Парос, и в ноябре оба Орловы, Алексей и Федор, уехали в Италию. Спиридов остался единственным начальником флота, потому что Эльфинстон должен был выйти в отставку. Уже в донесении о Чесменской битве Орлов писал императрице: «Наперед прошу прощения: ежели контр-адмирал Эльфинстон не переменит своего поведения, я принужденным найдуся для пользы службы в. в-ства отнять у него команду и поручить оную флота капитану-бригадиру Грейгу, которого достоинство, верность, усердие, прилежание и благоразумие уверяют меня, что под его предводительством дела пойдут гораздо успешнее». Потом Эльфинстон был обвинен комиссиею военного суда в потере корабля «Святослав». Эльфинстон в свое оправдание написал мемуар, по поводу которого остались замечания Екатерины: «Нет ничего легче, как опровергнуть этот мемуар, и особенно статью о Чесменском бое, потом о прибытии его в Лемнос, куда его никогда не призывали, и он был даже обвинен в том, что покинул свой пост пред Дарданеллами; наконец, он принудил капитана идти по тому пути, на котором «Святослав» погиб. Можно сказать одно, что Эльфинстон принадлежит к разряду людей сумасшедших, которые увлекаются первым движением и не соблюдают никакой последовательности; и я не знаю, сумеет ли он очистить себя от подозрений в злоупотреблениях, если б его заставили отдать отчет в сумме на чрезвычайные расходы, ему вверенной, ибо из нее он сдал адмиралу Спиридову только 3000 червонных; но справедливо, что лучше затушить это дело 5000 рублями, чем заявлять его пред Европою и причинять неудовольствие английскому двору, выставляя его

потачку нам, всю помощь, которую он нам оказал и которая была нам очень полезна; опубликование всего этого подняло бы против английского правительства внутренние неудовольствия и могло бы иметь неприятные последствия для английской торговли в Леванте» [103].

Морейская экспедиция, поднятие христианского народонаселения Европейской Турции не удались по вине этого народонаселения, как утверждал Орлов в своих донесениях. Точно так же неудачно шли дела и за Кавказом, и также по вине тамошних христианских грузинских владетелей, как утверждал начальствовавший там русским войском граф Тотлебен. Поход Тотлебена с царем Ираклием к Ахалциху не достиг цели, возвратились назад в Тифлис, потому что грузины по донесению Тотлебена нисколько не помогали, стояли спокойно во время битвы русских с турками и только грабили. Царь Соломон объявил Тотлебену, чтоб он не позволял своим солдатам есть турецкий хлеб, потому что он отравлен; но этот самый хлеб грузины отобрали, сами ели и продавали русским дорогою ценою, а под конец и вовсе оставили их без хлеба, так что русские на возвратном пути должны были питаться кониною. Тотлебен жаловался на Соломона, что тот ежедневно переменял свои предложения, обещания и требования, сам не знал, что начать; а Соломон жаловался на Тотлебена, что тот по многим его призывам нейдет к нему, тогда как он, Соломон, действует удачно, разбил турецкое войско и разорил крепость Дуки, бывшую в турецких руках.

Тотлебен просил об отозвании из его армии всех офицеров грузинского происхождения, потому что их сообщения и виды отнюдь не соответствуют должной верности. Но скоро он должен был жаловаться на русского офицера, подполковника Наума Чоглокова, сына известных нам Чоглоковых, игравших такую роль в истории молодого двора при императрице Елисавете. Чоглоков отправился волонтером в Кавказскую армию. В Моздоке нагнал его отправлявшийся туда же волонтером поручик Львов, которого поразило то, что у Чоглокова был превеликий штат и обоз; Чоглоков объяснял, что иначе ему нельзя, потому что он близкий родственник государыни (его мать, урожденная Гендрикова, была двоюродная сестра императрицы Елисаветы) Однажды он открыл перед Львовым сундучок, наполненный золотыми табакерками и часами, всего вещей до 50 ценою на 7000 рублей. Когда Львов спросил его, на что ему в Грузии такие вещи, то Чоглоков отвечал· «Я и последнюю в России деревню продать велел и ожидаю денег в самой скорости». Из всех его слов Львов заметил сильное раздражение. «Я еду или на эшафоте умереть или быть царем», — говорил он. Когда приехали в Грузию, то царь Ираклий и весь двор приняли Чоглокова как двоюродного брата императрицы и после великого князя

ближайшего наследника престола Тотлебен начал говорить ему, чтоб он не ездил в грузинский лагерь, но Чоглоков не слушался и кричал: «Я здесь вольный человек и до Тотлебена мне нужды нет; может быть, у меня есть именной указ и я совсем с особливою комиссиею сюда прислан, а не к Тотлебену!» Последний, узнавши об этом, говорил Чоглокову: «О вас ко мне указ прислан, что вы у меня волонтером, и вот рекомендация от графа Никиты Ив. (Панина); перемените свои поступки относительно знакомства с грузинами, я их довольно знаю, все их партии против царя Ираклия мне известны, и как им весело было, что царь был принят в русскую защиту». Львов писал в Петербург, что в Грузии еще более партий, чем в России в старину было; нет почти трех фамилий, которые были бы согласны; главная причина тому та, что немало претендентов на грузинский престол, имеющих более прав, чем Ираклий, и потому большая часть вельмож его не терпит.

В страстную субботу вечером Чоглоков стал говорить Львову, с которым жил в одной палатке: «Знаешь ли, что я скоро буду у царя сердарем, т е. воеводою? Твой граф сегодня же будет арестован, а по нем я здесь старший; я с майором Ременниковым и несколькими офицерами уже согласился». Когда Львов пересказал об этом Тотлебену, тот отвечал, что все знает, и в ту же ночь приказал арестовать Ременникова и Чоглокова, причем последний вызвал его на дуэль. Когда на другой день Тотлебен поехал к царю Ираклию поздравить его с праздником и объявил ему об арестах, то царь сказал· «Чоглоков странный человек! Много раз он мне говорил, что имеет от государыни повеление ехать в Армению, и для того просил у меня 3000 грузинцев, утверждая, что он в Армении все сделать может, что захочет». Но скоро сам Ираклий объявил себя против Тотлебена по поводу подполковника Ратиева (грузинского происхождения). Ратиев, который должен был доставить артиллерию в Кавказский корпус, медлил в Моздоке, не слушаясь никаких предписаний Тотлебена. Последний, видя тут злой умысел, послал к нему навстречу арестовать его; но Ратиев арестовал посланных и прошел прямо в Тифлис к царю Ираклию, к которому убежал также и Чоглоков из-под ареста; и когда Тотлебен послал к Ираклию с требованием выдачи Ратиева и Чоглокова, то посланные были задержаны в Тифлисе. После этого Тотлебен узнал, что всех курьеров, едущих к нему, перехватывают и отвозят в Тифлис, хотят не допускать идущий к нему Томский полк и отрезать сообщение с Моздоком; тут он решился предупредить врагов, выступил из лагеря, ускоренным походом в двое суток пришел к городу Дюшету, занял его, овладел также крепостью Ананурами От 12 мая Тотлебен писал, что по соединении с Томским полком намерен идти немедленно

к Тифлису, чтоб отмстить противникам, возвратить похищенную Ратиевым артиллерию, войско и припасы, подчинить всю Грузию русской власти, лишить Ираклия пожалованной ему перед тем Андреевской ленты и отправить его в Петербург или вогнать в Черное море. А Чоглоков писал из Тифлиса, что Тотлебен возненавидел его за предпочтение, какое было оказано ему со стороны царя Ираклия; по его, Чоглокова, приметам, Тотлебен или с ума сошел, или какую-нибудь измену замышляет, поступая во всем против интересов русского двора: тамошних царей между собою ссорил, с князьями обходился дурно, многих из них бил, других в оковах держал, деревни разорял, безнадежно брал скот и хлеб, вступал в переписку с ахалцихским пашою, назначил для отсылки в Россию 12 лучших русских офицеров, не оставляя никого, кроме немцев и самых негодных по поведению русских [104].

Прочтя донесение Тотлебена, императрица написала Панину: «Я, пробежав только Тотлебеновы письма, из которых усмотрела непослушание к нему Чоглокова и вранье сего необузданного и безмозглого молодца; да притом не хвалю же и неслыханные подозрительности Тотлебеновы. Я думаю, что он способнее в Грузии дела наши испортить, нежели оные привести в полезное состояние, надлежит определить кого другого» [105]. Для точнейшего разузнания дела и прекращения смут отправлен был в Грузию гвардейский капитан Языков.

Но эти смуты в отдаленном Закавказье не могли производить сильного впечатления: о них мало знали в России, вовсе не знали в Западной Европе, где хорошо знали о кагульском и чесменском боях. Екатерина спешила пользоваться этими успехами для скорейшего заключения мира. 12 августа граф Григ. Григ. Орлов предложил Совету по приказанию императрицы, что, кажется, надобно отправить в армию человека, который должен внимательно наблюдать, не откроется ли каких-нибудь средств к начатию мирных переговоров. Этот человек сам непосредственно может обратиться к визирю или кому-нибудь другому с объявлением о желании мира с нашей стороны или дать знать, что в случае мирных переговоров в русской армии находится уже уполномоченное на это лицо. При рассуждении об издержках, производимых государством, и человек малосведущий ясно видит, что эти издержки велики, а впредь должны еще увеличиться. Хотя бог и благословляет наше оружие, но безмерное отдаление действующей армии, затруднительность провоза необходимых для нее вещей, военные действия, начатые в разных частях света, — все это страшно отягощает государство. По этим причинам мира желать, кажется, должно, а для достижения его предлагаемый способ есть кратчайший. Если он не будет удачен, то по крайней мере узнаем, каким образом нам готовиться к будущей кампании и как действовать для достиже-

ния мира. Если же удастся этим способом войти в мирные переговоры, то мы избегаем препятствий, бывающих при мирных договорах, которые производятся посредством посторонних держав, и Порта вперед будет уверена, что Россия не происками какими-нибудь приведена к желанию мира, но «истинным подвигом любомирных качеств», и тем более докажется наше беспристрастное миролюбие, если мы теперь в нашем счастливом положении будем наблюдать умеренность. Совет нашел нужным отправить в армию способного человека для переговоров с турками о мире, но полагал, что надобно дать графу Румянцеву повеление, чтоб он от себя отозвался к побежденному визирю письмом, что если Порта желает мира, то, освободя из неволи русского министра Обрезкова, прислала бы в назначенное место своих полномочных, а его великая самодержица при всех богом дарованных ей победах, милосердствуя о крови человеческой, охотно тогда вступить изволит в мирные договоры и своих полномочных туда отправит. Такой отзыв граф Румянцев должен сделать не прежде взятия Бендер. Совет полагал также, что, хотя бы мирные соглашения и начались, все же надобно стараться о приготовлении себя к третьей кампании и заботиться о снабжении армии, чтоб ей ни в чем не было недостатка.

Мысль о третьей кампании была тяжела для Екатерины, и 9 сентября Совету была представлена собственноручная ее записка: «1) Как ныне гр. Румянцев имеет в своих руках крепость Килию и город Измаил, обе на Дунае, то, кажется, время настоит, чтоб к нему писать, дабы он все приуготовления делал, чтоб можно было, как скоро время к тому удобно будет, переправлять корпус или чрез Дунай к Варне, или из Дуная морем для нанесения в самом сердце Оттоманской империи страх и трепет и чрез то ускорить восстановление мира, а между тем, что сие приготовляться будет; 2) отправить наискорее к графу Румянцеву тот рескрипт, который изготовляется для начинания внушений о мирных директных переговорах между визиря и наших к тому уполномоченных; 3) гр. Румянцева надобно уведомить, в каком точном положении флотилия г. Синявина, коему предписать надлежит, чтоб он согласно поступал с гр. Румянцевым; 4) графу П. И. Панину вновь рекомендовать, чтоб он, как возможно, старался достать в переговорах с крымскими татарами Керчь и Тамань, дабы облегчить проход Синявину»[106]. Но как ни спешили мирными переговорами, *друзья* предупредили.

Фридрих II продолжал свою систему застращивания России Австриею. Весною 1770 года он указывал на скрепление австро-французского союза брачным союзом дофина Франции с дочерью императрицы Марии-Терезии Мариею-Антуанетою: Фридрих внушал, что Шуазель побуждает к войне венский двор, внушая, что если русские намерены стать сосе-

дями австрийцев в Молдавии и Валахии, то это непременно поведет к войне. В то же время Фридрих сообщал, что Порта просит его посредничества и потому он желает знать, на каких условиях императрица думает заключить мир, особенно желает знать, что решено относительно Молдавии и Валахии. Ответ был учтивый и уклончивый: императрица будет очень рада, если король склонит Порту к начатию переговоров; первым необходимым условием должно быть освобождение Обрезкова; императрица не ищет приобретений, она начала войну не с целию распространения своих границ. Честь и долг понуждают ее вступиться за тех, которые приняли ее сторону в борьбе, особенно она не может отдать греков на жертву мщению турок: их безопасность должна быть обеспечена. В таком положении находилось дело, когда последовало второе свидание Фридриха с Иосифом.

Мы видели, с какими намерениями в прошлом году произошло сближение между Австриею и Пруссиею, обозначившееся в первом свидании Иосифа II с Фридрихом II. Описавши это свидание, Фридрих говорит в своих мемуарах: «В политике было бы непростительною ошибкою слепо положиться на добросовестность австрийцев; но при тогдашних обстоятельствах, когда перевес России становился слишком значителен и когда нельзя было предвидеть, какие границы она положит своим завоеваниям, было очень кстати сблизиться с венским двором. Пруссия не забыла еще ударов, которые Россия нанесла ей в последнюю войну; вовсе не было в интересах короля самому содействовать усилению государства, столь страшного и опасного. Предстояло на выбор: или остановить Россию на поприще ее громадных завоеваний, или, что было всего благоразумнее, попробовать ловкостию извлечь из ее упехов пользу для себя. Король ничем не пренебрег в этом отношении. он отослал в Петербург политический проект, приписанный им графу Линару, устроившему в последнюю войну Клостерсевенское соглашение между ганноверцами и французами. (Проект состоял в том, что Австрия и Пруссия должны принять участие в войне России с Турцией· Австрия получает за это польский округ Ципс и город Лемберг с его областью, а Фридрих — польскую Пруссию с Вармиею и право покровительства над городом Данцигом. Россия в вознаграждение за военные издержки может взять себе часть Польши, какая ей пригодна.) Но, продолжает Фридрих, великие успехи русских в Молдавии и Валахии и победы, одержанные флотом в архипелаге, так отуманили петербургский двор, что он не обратил никакого внимания на самозванный мемуар графа Линара. После этой неудачи король счел необходимым прибегнуть к другим средствам». Относительно подробности этого дела известно, что так называемый проект Линара был отправлен королем

Сольмсу в начале 1769 года с большим прикрытием; король отзывался о проекте как о более блестящем, чем основательном, и отдавал на волю посланника показывать проект гр. Панину или не показывать. Сольмс отвечал, что признал за лучшее не сообщать проекта Панину: сомнительно, чтоб он пришелся ему по вкусу; приверженцы настоящей системы в России не захотели бы никаких сношений с Австриею, которые предполагают взаимное доверие; они стали бы бояться, что Австрия употребит во зло предложение, от которого прежние меры относительно Польши получат такое освещение, как будто бы их целию было изначала ограбление Польши; русские не рассчитывают на продолжительность турецкой войны, надеются, что Польша будет успокоена, и полагаются на Пруссию, что она сдержит Австрию; кроме того, хотят показаться бескорыстными и укрепить доверие к своим словам; Панин хочет действительно сохранить Польшу, чтоб после употребить ее против турок. Король отвечал, что считает проект Линара химерическим и предоставляет посланнику на волю, сделать из него употребление или нет. Ловкая настойчивость под видом полного равнодушия и даже презрения! Сольмс объявил Панину о проекте, скрывши, что он прислан королем; Панин отвечал, что Ципс можно было бы уступить австрийцам, но не Лемберг, лежащий среди Польши, далеко от австрийских границ. Стоит ли труда, продолжал Панин, таким трем великим государствам соединяться только для того, чтоб отбросить турок за Днестр! Уж если соединяться, то с тем, чтоб выгнать турок из Европы и значительной части Азии, что нетрудно исполнить. Во всяком случае союз трех дворов есть лучшее средство для обеспечения спокойствия христианства. Единственное препятствие тому лежит в соперничестве Австрии и Пруссии. Австрия должна вместе с Россиею обратиться против Турции; здесь она найдет себе полное вознаграждение за Силезию. Пруссия чрез это приобретет безопасность, и владения ее должны увеличиться польскою Пруссиею и Вармиею. Тогда нетрудно будет положить конец владычеству турок в Европе; Константинополь и области, которые остались бы за османами, могли бы образовать республику. «А что же возьмет себе Россия?» — спросил Сольмс. «У России и без того уже столько земли, что трудно справиться; ей нужно только несколько пограничных областей», — отвечал Панин. План Панина, разумеется, мог только раздражать Фридриха, которому он должен был показаться новою фантазиею вроде Северного союза; главною целию прусского короля было приобретение новых владений без войны. В политическом завещании, написанном в конце 1768 года, Фридрих говорит, что польскую Пруссию лучше приобрести по частям путем переговоров, чем по праву завоевания; в случае когда Россия

почувствует сильную нужду в прусской помощи, было бы возможно выговорить Торн и Эльбинг с окрестностями [107]. Не должно забывать, что теперь Фридрих был другой человек, чем прежде. Как до Семилетней войны он был смел, предприимчив, всегда готов наступательным движением предупредить противника, так после этой войны он стал необыкновенно осторожен, начал страдать войнобоязнию. Мы видели, какое впечатление было произведено на него известием о войне между Россиею и Турциею; и после он не хотел слышать о войне; в этом отношении он стал совершенно походить на своих обоих предшественников: подобно им он поставил главною целию своей политики увеличение Пруссии, но без войны, ничем не рискуя. Мы привели слова Фридриха из «Политического завещания», что лучше приобретать понемногу путем переговоров; но при этом нельзя не вспомнить слов его отца Фридриха-Вильгельма относительно приобретений немецких земель: «Я первый ставлю ногу в Берг, сын мой приобретет другие места, а сын моего сына — Дюссельдорф и так далее».

Все это вполне уясняет намерения и средства Фридриха, вполне уясняет его значение в решении польского вопроса так называемым первым разделом. Но из этого не следует, чтобы Фридрих первый придумал такой способ решения вопроса, ибо давно уже этот способ был, так сказать, в воздухе, давно уже Польша вследствие своей слабости и необходимо происходившей отсюда борьбы сильных на ее почве пришла в страдательное положение, стала ничьей и потому добычею каждого; предложения раздела Польши между несколькими и отчуждения части ее владений в пользу одного из соседей, особенно в пользу Пруссии, делались давно, к ним совершенно привыкли, никто им не удивлялся, всякий считал их в порядке вещей; при каждом поднятии польского вопроса мысль о разделе или отчуждении части польской территории приходила каждому в голову, и если раздел не осуществлялся до сих пор, то потому только, что не все сильнейшие соседи были согласны в одинаковой выгоде и необходимости его для каждого из них.

Мы видели между восточными германскими государствами стремления увеличивать свои владения за счет соседних славянских стран. Примеру Австрии в этом отношении следовали Саксония и Пруссия, стремившиеся усилиться за счет Польши и вступившие по этому поводу в соперничество; а это соперничество, естественно, вызывало стремление к дележу Польши. В то время как саксонскому курфюрсту Августу удалось сделаться королем польским, причем он вовсе не хотел ограничиваться одним пустым титулом, курфюрст бранденбургский Фридрих, ставший королем также на счет Польши чрез отнятие у нее Восточной Пруссии, не доволь-

ствуется этою последнею и при каждом удобном случае предлагает раздел Польши между соседними государствами, преимущественно с целию приобрести и другую, так называемую королевскую, или польскую (Западную), Пруссию. Фридрих предлагает дележ Польши Карлу XII шведскому; Паткуль, с другой стороны, предлагает Фридриху именем русского царя вознаграждение в польской Пруссии, в Курляндии или где угодно, если Пруссия вступит в союз с Россиею. После Полтавы сверженный Карлом XII польский король Август II посылает в Берлин справиться, склонна ли Пруссия помочь ему снова сделаться польским королем; Фридрих показывает посланным план раздела Польши и Швеции: Лифляндия отдается Станиславу Лещинскому; польская Пруссия и Вармия отходят к Пруссии, которая приобретает также покровительство над Курляндиею; Польша, лежащая около Варшавы, и Литва достаются Августу II; из шведских областей Шония отходит к Дании, Верден — к Ганноверу, Петербург остается за царем. Но царь является сам для свидания с Фридрихом и заключения союза; Фридрих предлагает ему план раздела; но Петр находит дело неудобоисполнимым (nicht practicabel), обещает Пруссии только Эльбинг с округом, если Фридрих не пропустит шведов из Померании в Польшу. В другой раз Фридрих с Августом предлагают царю план раздела Польши, более для него выгодный: кроме шведской Ливонии часть Литвы получает Россия; польскую Пруссию, Самогитию и Курляндию — Пруссия; остальные польские области предоставляются Августу в наследственное владение. И на этот раз со стороны России ответ отрицательный. «Если уже делить, — объявил Петр, — то надобно составить совершенно другой план дележа, и тут первое условие, чтоб Пруссия вступила со мною в наступательный союз против Швеции и двинула свои войска в Померанию». Но Фридрих I всю свою жизнь страдал войнобоязнию, как Фридрих II после Семилетней войны. При короле Фридрихе-Вильгельме I дело о разделе Польши было возобновлено польским королем Августом II, который все более и более убеждался, что гораздо выгоднее владеть самодержавно и наследственно частию Польши, чем всею страною при тех условиях, в каких находился король в Польской республике. По его новому плану Пруссия получала польскую Пруссию и Вармию, Австрия — польские земли, пограничные с Венгриею и Силезиею, Россия — всю Литву, но план не удался, Петр Великий был против него[108]. Когда по смерти Августа II поднялся вопрос о том, кому быть королем польским, сыну ли покойного, курфюрсту саксонскому, или Станиславу Лещинскому, и когда Россия и Австрия были согласны в пользу первого и была несогласна Пруссия по своему соперничеству с Саксониею в стремлении усилиться, и именно усилиться на счет Польши,

то Пруссия с обеих сторон получала предложение взять за свое содействие часть польских владений [109].

Умирает Август III, и раздел Польши снова у всех на языке. Французское правительство, чувствуя свою слабость, невозможность бороться с Россиею в Польше, утешает себя надеждою, что раздел *пока* невозможен вследствие соперничества соседей Польши. «Раздел, — говорилось в королевском совете, — должен произойти только вследствие особенных событий. Наконец, если даже предположить против всякого вероятия, что эти четыре державы (Австрия, Пруссия, Россия и *Турция*) согласятся разделить Польшу или вследствие каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств одна из них овладеет какою-нибудь польскою областью, то еще сомнительно, чтоб это событие могло интересовать Францию» [110]. Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже в самом конце 1763 года уведомил свой двор, что *нет больше* вопроса о разделе Польши, что он разговаривал с вице-канцлером и тот объявил ему, что интерес России требует поддержания польских владений во всей целости, что со стороны прусского короля возможны менее бескорыстные виды, но что Россия будет им противодействовать, как только они обнаружатся. «Нет *больше* вопроса о разделе»; вероятно, до Беранже дошел слух о предложении графа Чернышева в конференции, учтиво отстраненном вследствие неудобоисполнимости [111].

В Вене по смерти Августа III точно так же толковали о разделе, но вообще признавали его неудобным для Австрии; подозревали прусского короля в намерении приобрести часть польских владений вместе с Россиею и Австриею, но думали, что для Австрии нет выгоды перейти естественные границы — Карпатские горы; другое дело, если бы Пруссия согласилась уступить Силезию Австрии, в таком случае пусть берет, что хочет, у Польши; но трудно предположить, чтобы Фридрих согласился на уступку Силезии [112]. В Дрездене не умирала мысль Августа II, чтобы в случае соглашения сильнейших соседей на раздел Польши удержать за саксонским курфюршеским домом хотя часть ее с королевским титулом и наследственностию. Саксонская курфюрстина Мария-Антония писала императрице Марии-Терезии: «Верно, что существует договор между Россиею и Пруссиею о разделе Польши, и не только Англия не будет этому противиться, но надеются склонить к участию и в. в-ство. В таком случае чтоб и нам уступили кусочек, сделавши его наследственным и придавши ему титул королевства» [113]. Мария-Терезия отозвалась неблагосклонно о разделе, советуя курфюрстине добиваться целой Польши.

Избрание Станислава Понятовского на этот раз не прекратило толков о разделе между многими или об отчуждении польских областей в пользу одного из соседей Польши. Фран-

ция предлагает Фридриху II часть польских владений; и французский посланник в Берлине доносит своему правительству, что Фридрих и мимо французского предложения занимается планом относительно Польши, что подтверждается и признанием самого короля в его мемуарах. С другой стороны, Кауниц составляет план возвращения Силезии, за которую Пруссия должна быть вознаграждена польскими областями! Наконец, война России с Турциею заставляет Австрию и Пруссию сблизиться, и начало этого сближения выражается в свидании Иосифа II и Фридриха II в Нейссе. Но это только первое знакомство; надобно его продолжать. После свидания в Нейссе Фридрих пишет брату принцу Генриху, что предположено второе свидание: свидания эти необходимы для приготовления умов к более тесному союзу, к которому со временем могут подать повод русские честолюбивые намерения. Еще прежде Фридрих писал брату: «Россия — это страшное могущество, от которого через полвека будет трепетать вся Европа. Происходя от этих гуннов и гепидов, которые сокрушили Восточную империю, русские могут очень скоро напасть на Запад и заставят австрийцев страдать и раскаиваться в том, что по своей ложной политике они призвали этот варварский народ в Германию и научили его военному искусству. Но ослепление страстями, эта ядовитая ненависть, питаемая австрийцами к нам, отуманили им глаза насчет последствий их поведения, и теперь для предохранения себя от этого опасного потока я не вижу другого средства, кроме союза между сильными государями». — «Проект войти в соглашение с императором велик, полезен, благодетелен, — отвечал Генрих. — Две державы, как Пруссия и Австрия, могут провести всевозможные предприятия, если раз согласятся относительно взаимного возвышения. Это единение будет верно и действительно, если доверие утвердится до такой степени, что вы с императором разделите империю по примеру Октавия и Антония». Фридрих сдерживал восторги брата, указывал, что дело трудное, требует продолжительного времени, а он, Фридрих, уже смотрит в гроб: «Мария-Терезия должна отвыкнуть меня ненавидеть, к чему она привыкла в продолжение 30 лет. Сюда надобно присоединить еще другие соображения: для Австрии к сближению с нами не служит ли единственным побуждением союз наш с Россиею? Пока он существует, она не может ничего предпринять». Но Генрих не покидал мысли о пользе и возможности скорого сближения между Пруссиею и Австриею. «Нет держав, — писал он, — которые бы не подружились при заключении договора, имеющего целию увеличение обеих. Могут возразить, что сила Австрии, увеличенная новыми владениями, станет еще опаснее; но можно отвечать, что во время союза силы остаются в равновесии, а в случае разрыва

зависть остальных держав обратит их против сильнейшего, и ты найдешь более союзников, чем Австрия. Если соглашение между тобою и императрицею Мариею-Терезиею должно состояться, то я бы желал, чтоб это случилось во время войны между русскими и турками и в то время, когда Франция и Англия заняты финансовыми затруднениями и домашними распрями»[114]. Справедливо видят указание на раздел Польши и в выражении Генриха: «Нет держав, которые бы не подружились при заключении договора, имеющего целию увеличение обеих».

Но еще перед первым свиданием в Нейссе Шуазель, извещенный об этом свидании и опасаясь последствий его для франко-австрийского союза, догадываясь, что между Фридрихом и Иосифом пойдет дело о Польше и желая предупредить его своим добрым желанием или по крайней мере выведать намерения Австрии, начал говорить австрийскому посланнику при французском дворе Мерси д'Аржантону: «С некоторого времени мне пришли в голову важные политические мысли в отношении к Польскому королевству. Они состоят преимущественно в том, что, быть может, для общего блага было бы выгоднее, если бы австрийский двор воспользовался настоящим смутным положением королевства и овладел лучшею его частию»[115]. Мы видели, что во Франции считали возможным раздел Польши между четырьмя соседними государствами — Россиею, Пруссиею, Австриею и Турциею — и последняя не замедлила заявить свою готовность участвовать в разделе вместе с доброю союзницею Австриею. В марте 1770 года австрийский министр в Константинополе, знаменитый впоследствии Тугут доносил своему двору, что рейс-Эфенди спрашивал его, не соединятся ли Австрия с Портою против России, причем открыл ему, что пред самым объявлением настоящей войны Россия вместе с Пруссиею большою суммою денег склоняли Порту обратить свое оружие против Австрии. Порта, говорил рейс-Эфенди, готова принять какие угодно союзные условия; этим союзом можно предписать законы всем державам; по изгнании русских из Польши от Австрии будет зависеть, дать ли Польше нового короля или разделить ее пополам между собою и Портою[116].

Австрия готова была делить все со всеми. Не нужно было проницательности Фридриха II, чтоб подметить в молодом императоре Иосифе страшное честолюбие, стремление во что бы то ни стало выдвинуться на первый план, увеличить свое государство, вознаградить потери, понесенные в последние войны. Не будучи ни в чем самостоятелен, Иосиф в своем честолюбии распалялся примером Фридриха II: удача прусского короля, который успел приобрести такое важное значение, не разбирая средств при усилении своего государства, эта удача не давала спать Иосифу. Но трудно сказать, кто был

честолюбивее, молодой ли император или старый канцлер князь Кауниц: последний также думал об одном, чтоб Австрия, пользуясь благоприятными обстоятельствами, вознаградила себя за уступки, которые принуждена была сделать при заключении последнего мира, несмотря на блестящее дело канцлера, перемену вековой политической системы Европы, несмотря на союз Австрии с Франциею. Силезия потеряна; молодые государства — Россия и Пруссия — берут явный верх, союз старых государств — Австрии, Франции, Испании — едва ли в состоянии противиться молодым. Но не надобно унывать; надобно дождаться благоприятных обстоятельств и воспользоваться ими для увеличения Австрии, для поднятия ее значения на прежнюю высоту, чтоб не говорили, что время Кауница было время несчастное, бесславное для Австрии, время земельных утрат, потери незабвенной Силезии; быть может, удастся и Силезию возвратить не путем войны, а посредством дипломатических сделок; если же не удастся возвратить Силезию, то можно сделать другие приобретения, равносильные. Что выбрать, что взять? Глаза разбегаются. Поделить Польшу легче всего. Прусский король будет непременно в мутной воде рыбу ловить, но всю не выловит, поделится. А с другой стороны, Турция: последний мир с нею был постыдный, сделаны были Порте важные земельные уступки; надобно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, мутною водою и возвратить потерянное. Так что же, Польша или Турция? Выбор труден; лучше всего и то и другое. А тут прусский король нарочно раздражает эту страсть к чужому добру, выставляя со всех сторон приманки с целию увидать, за что Австрия охотнее всего схватится. На прощальной аудиенции австрийского посланника Нюгента Фридрих указывал на Баварию, которая отлично может округлить Австрию, указывал на Лотарингию и Эльзас, которые в две кампании можно отнять у Франции; указывал на очень удобное для Австрии округление в Италии, и, между прочим, посредством венецианских владений; захват областей у этих одряхлевших республик подразумевался как дело самое естественное. За доброжелательство надобно было заплатить таким же доброжелательством; добрый человек так бескорыстно отдает все Австрии; учтивость требовала и с австрийской стороны предложить что-нибудь доброму человеку. Нюгент говорил Фридриху, что и ему нетрудно округлить свои владения, протянувши линию от прусских границ чрез Грауденц, Торн, Познань до Глогау: «Все, что найдется между этою линиею и морем, будет очень пригодно в. в-ству; а если возьмете еще епископство Вармийское, то округление будет полное». Король не отвечал ни слова и задумался. Нюгент зашел слишком далеко; его пред-

ложение было так важно, что не могло быть предметом простого разговора.

Два страстных охотника до приобретений: кипучий, беспокойный молодой человек и осторожный, спокойный, педантливый старик подле Марии-Терезии, знаменитой императрицы-королевы, которая взяла в соправители по наследственным австрийским землям сына своего германского императора Иосифа II и удержала старого канцлера князя Кауница; последний как олицетворенная опытность, практическая мудрость должен сдерживать кипучего Иосифа, руководить им согласно с ее видами, ведь Кауниц совершенно согласен с нею! Это была уже не прежняя Мария-Терезия, которая заставила венгерцев кричать: «Умрем за нашего короля Марию-Терезию!» Царствование, протекшее в тяжелой борьбе, когда нужно было отбиваться от врагов, нападавших отовсюду, когда нужно было с страшными усилиями спасать наследие предков от бесцеремонных хищников, такое царствование истомило Марию-Терезию. «Я прихожу в ужас при мысли, сколько крови пролито в мое царствование, — говорила она, — только крайняя необходимость может заставить меня быть виновницею пролития хотя одной капли еще». Кроме того, Мария-Терезия была религиозная, совестливая старушка: заступиться за Турцию и воевать с Россиею — об этом она и слышать не хотела, во-первых, потому, что это значило бы воевать с христианами за неверных; во-вторых, Россия вела справедливую войну, ибо ее вовсе не хотела, турки были зачинщиками. Одинаково Мария-Терезия не хотела и воевать с турками и отнимать у них земли, потому что считала себя обязанною Порте, которая не трогала Австрии во все время тяжелой борьбы ее с врагами; тем менее императрица-королева хотела делить Польшу, обижать страну, нисколько не враждебную, христианскую и, главное, католическую. И, несмотря, однако, на все свое отвращение к войне, на религиозность и совестливость, Мария-Терезия не выдерживала до конца, каждый план, противоречивший ее взглядам и желаниям, она встречала с отвращением, с протестами и воплями, затягивала дело своею нерешительностью, которою выводила из терпения своего пылкого сына, но наконец уступала, не переставая протестовать и жаловаться. Екатерина, не любившая Марию-Терезию, писала о ней: «Когда я прочла, что Мария-Терезия по кончине мужа ее уехала в монастырь, я заключила, что она постричься намерена, однако же по прошествии 24 часов она опять приехала. Бецкой говорит, знать она с Кауницем конферировала, а мне кажется, что у нас на Москве много есть подобных барынь». Но относительно политической невыдержанности нельзя смотреть очень строго на поведение Марии-Терезии: время ее царствования до окончания Семилетней войны, несмотря на всю свою тяжесть, отли-

чалось простотою задачи; Мария Терезия привыкла считать себя обиженною, ограбленною, жертвою величайшей несправедливости; и вся ее деятельность имела целию возвратить похищенное, охранить отцовское наследство от дальнейших расхищений. Борьба кончилась; утомленная ею, Мария-Терезия хочет спокойно провести остальную жизнь, сохраняя славу честной, безукоризненной деятельности. Но тут, с одной стороны, сын-соправитель, с другой — канцлер твердят постоянно: нельзя сохранять спокойного, страдательного положения; Россия усиливается, Пруссия усиливается, Австрия, если не хочет быть ими задавленною, также должна усиливаться, брать, что только попадется под руки; дело идет о целости монархии, о благе подданных; что станется с ними, если Австрия окажется слабее своих соседей? И Мария-Терезия с горькими жалобами соглашается на меры, которые считает незаконными, которые отнимут у нее репутацию честности.

Мария-Терезия сначала не хотела и слышать о свидании Иосифа с заклятым врагом своим Фридрихом II, но потом согласилась; согласилась на первое свидание, согласилась и на второе, при котором должен был присутствовать сам Кауниц, ибо дело шло уже не о первом знакомстве только, не о размене взаимными комплиментами и уверениями, что старая вражда забыта и готовы жить в дружбе, теперь Россия одержала блистательные победы над турками на суше и на море; надобно было принять общие меры, как бы остановить эти успехи, как бы помешать, чтоб мир не был очень выгоден для России, не дать ей решительного преобладания в Восточной Европе. Турция, которая в начале года не хотела мира, приглашала Австрию выгнать русских из Польши и поделить последнюю, теперь Турция, испуганная Кагулом и Чесмою, обратилась к Австрии с просьбою о посредничестве, не отказываясь просить о том же и Пруссию. «В этом случае, — писал Кауниц Иосифу, — несчастие послужило к добру: турки наконец захотели мира и нашего посредничества. Теперь надобно заставить Россию захотеть того и другого — в этом-то все и дело, тут-то и весь труд (hoc opus, hic labor). Это нелегко в настоящую минуту энтузиазма; однако я думаю, что это не невозможно, если король прусский этого искренне захочет, а хотеть этого требует его интерес» [117].

В начале сентября (н. с.) в Нейштадте моравском последовало второе свидание Иосифа и Кауница с Фридрихом. «В прусском короле я не нашел ни всего хорошего, ни всего дурного, что об нем мне наговорили, — писал Кауниц Марии-Терезии. — Фридрих начал разговор со мною с того, что сильно желает скорейшего заключения мира между Россиею и Портою; он хотел меня уверить, что это гораздо нужнее для нас, чем для него, ибо при несомненных успехах своего ору-

жия русские перейдут Дунай, чего мы позволить не можем, и таким образом будем вовлечены в прямую войну с русскими, которая мало-помалу может произвести всеобщую войну, а это до́лжно предупредить в интересе человечества и в интересе прусском и австрийском. Заключение мира, по его мнению, не может представлять больших затруднений, ибо, вероятно, русские удовольствуются Азовом; относительно же Молдавии и Валахии удовольствуются тем, что там будут владетели, независимые от Порты; турки по печальному положению своих дел, конечно, не отвергнут таких умеренных условий; и надобно стараться, чтоб мир был заключен нынешнею же зимою. Я, — продолжает Кауниц, — услыхав такие необдуманные мысли, отвечал, что на подобных условиях мир заключить нелегко: турки могут выдерживать войну долее, чем Россия, да и перемена военного счастия не невозможна; кроме того, русская армия подвержена чуме, которая в короткое время может сделать столько зла русской империи, что самые большие военные успехи будут не в состоянии ее вознаградить; Россия не может иметь химерических идей разрушить Оттоманскую империю или отнять у нее сколько-нибудь значительные области, зная, что мы, Австрия и Пруссия, не можем этого позволить. Король мне возразил, что я ошибаюсь насчет средств России продолжать войну, сухопутная война стоит ей очень дешево: до сих пор она обошлась ей в 200 000 рублей; морская стоит немного дороже, но Россия сделала иностранный заем в 7 000 000 флоринов; русская императрица со времени вступления своего на престол значительно увеличила свои доходы, средства у ней для войны есть, и потому мы должны употребить все старания уговорить Порту и Россию к миру. Я отвечал, что мы готовы ускорить момент заключения мира, но без него все наши усилия останутся тщетны, особенно относительно России».

Во втором разговоре с Кауницем Фридрих, по словам австрийского канцлера, изменил предполагаемые условия мира. «Устроим мир как можно скорее, — сказал он, — русские, вероятно, будут требовать Азова и Крыма, но я надеюсь, что они отстанут от своих претензий на Молдавию и Валахию, быть может, даже не станут требовать, чтоб эти княжества имели владетелей, независимых от Порты». Кауниц повторял, что ускорение мира зависит от Фридриха, который должен употребить все свое влияние на русскую императрицу. «Вы не знаете русской императрицы, — отвечал король, — она очень горда, очень честолюбива, очень тщеславна, и поэтому ладить с нею трудно; так как она женщина, то с нею нельзя говорить, как мы говорим с министром; с нею надобно поступать осторожно, чтоб не раздражить ее. Впрочем, я последую вашим советам, только дайте мне оружие в руки, чтоб мне можно было ее напугать. Не можете ли вы написать Ру-

мянцеву, что вы надеетесь, что он не станет переходить Дунай; или не можете ли вы уговорить Францию объявить вам, что если русские перейдут Дунай, и вы за это объявите войну России, то она пришлет вам на помощь 100 000 войска; вы мне сообщите это известие, и я употреблю его в дело». Кауниц писал Марии-Терезии, что он изумился, услыхав от такого умного государя такие детские идеи, и поспешил отвечать, что оба средства не годятся: первое, потому что нельзя грозить, не решившись заранее исполнить угрозу, и что один переход русского войска через Дунай не может служить достаточной причиною разрыва Австрии с Россиею; второе, потому что Россия сочтет подобное объявление Франции шуткой и не обратит на него никакого внимания.

Напрасно австрийский канцлер поспешил назвать идеи Фридриха II детскими. Прусский король достиг своей цели: ему было нужно знать, в какой степени Австрия вместе с Францией своим вмешательством в русско-турецкие отношения могли препятствовать его собственным планам; и Кауниц проговорился, что Австрия не решилась на войну и, конечно, не решится, не станет грозить, ибо не имеет средств привести угрозу в исполнение, даже переход Румянцева через Дунай не вызовет с ее стороны никакого движения; что, наконец, связь Австрии с Францией, по-видимому столь внушительная, в сущности не представляет ничего важного. Фридрих увидал, что дело в его руках, что Австрия без него не двинется и будет служить для него орудием.

В Нейштадте было решено, что Фридрих передаст в Петербург желание Порты вступить в мирные переговоры при посредстве Австрии и Пруссии. Кроме того, были приняты условия дальнейших отношений Пруссии к Австрии не в виде договора, но письменно, и эта записка названа «Политическим катехизисом»; из нее для нас замечательны следующие статьи: «Ни один из двух дворов во всем том, что не будет прямо противно его интересам, не воспротивится выгоде другого, если дело не будет чрезвычайной важности. Если же дело будет идти о приобретениях значительных или очень важных, то об этом дружески предупредят друг друга и заблаговременно условятся о взаимной и пропорциональной выгоде, на которую один из двух дворов не только согласится, но в получении которой будет добросовестно содействовать другому, если нужда того потребует» [118]. Эти статьи важны для нас по отношению к захвату австрийцами польских областей Ципса, Новитарга, Чорстына и богатых соляными копями местностей Велички и Бохни под предлогом, что эти земли до 1412 года принадлежали Венгрии, а в это время были заложены Польше. Занятие войсками этих земель произошло прежде нейштадтского свидания, но объявление со стороны Австрии, что она вспомнила то, о чем забыла с

1412 года, и присоединяет к Венгрии принадлежащие ей когда-то земли, произошло гораздо позднее свидания, именно в конце ноября 1770 года [119]. Мы не станем утверждать, что насчет этого занятия было соглашение в Нейштадте, что тут же была речь вообще о разделе Польши; очевидно одно, что «Политический катехизис» был предложен в объяснение захвата означенных польских областей, который подходил под первую часть катехизиса как приобретение нечрезвычайной важности. Когда катехизис был принят Фридрихом, то венский двор и объявил, что удерживает за собою занятые земли, как прежде принадлежавшие Венгрии. Понятно, что если Австрия первая воспользовалась катехизисом, то надобно было ждать, что воспользуется им и Фридрих. По возвращении из Нейштадта Иосиф и Кауниц один сильнее другого внушали Марии-Терезии, что с содействием прусского короля все пойдет хорошо, а без него нельзя ничего предпринимать, и Кауниц прямо представлял, что Фридриха за войну против России надобно вознаградить Курляндиею и Семигалиею. «Конечно, — замечал Кауниц, — королю гораздо было бы приятнее получить польскую Пруссию и епископство Вармийское, но такие приобретения были бы очень значительны, и Австрия не могла бы никак согласиться на них без соответственного увеличения своих владений; это увеличение должно произойти вследствие присоединения земель от Польши и от Турции по соглашению с обеими державами». — «План раздела, — отвечала Мария-Терезия, — широко задуман; но он выше моих понятий». Иосифа не останавливали эти замечания матери; после свидания с Фридрихом политика захвата взяла верх в Вене, здесь уже не боялись более русских успехов в войне с турками. По мнению Иосифа, Тугут должен был уговаривать Порту, чтоб она не заключала слишком невыгодного для себя мира с Россиею, должен был уверить ее, что сохранение Турции и ее благосостояния Австрия принимает горячо к сердцу и окажет ей сильную помощь по требованию обстоятельств и в надлежащее время. «Образ наших действий определен, — писал Иосиф брату Леопольду, — он состоит в том, чтоб представлять королю прусскому все опасности от усиления России и предложить ему действовать вместе всеми средствами для воспрепятствования этому; если он не предложит ничего, то мы по крайней мере будем препятствовать скорому и постыдному миру, какой может заключить Порта. Другая кампания ослабит обе воюющие стороны и может или уменьшить выгоды России, или увеличить их в такой степени, что мы должны будем действовать. Это может произойти двояким образом: 1) если русские прорвутся через Дунай и пойдут к Адрианополю, то для нас наступит время двинуть войска на Дунай для отрезания им обратного перехода, что принудит их к поспешному отступлению, во вре-

мя которого армия их может быть уничтожена; и турки, спасенные от погибели, легче согласятся на вознаграждение наших издержек, т. е. на уступки части Валахии, отданной по Белградскому миру и лежащей между Банатом, Трансильваниею, Дунаем и рекою Алтою; 2) если русские будут угрожать Константинополю и всей империи нападением со стороны моря, прорвавшись чрез Дарданеллы, тогда нам необходимо будет занять ближайшие к нам провинции прежде, чем займут их русские. Для этих двух случаев императрица решилась приготовить 50 000 войска и велела сделать заем в четыре миллиона» [120].

Фридрих II исполнил принятое им на себя поручение: 14 сентября (н. с.) он написал русской императрице письмо с увещанием к миру и с предложением своего посредничества, которого просила Порта: «Если в качестве доброго и верного союзника я могу сообщить вам свои мысли, то мне кажется, что в настоящую минуту мир необходим для избежания всеобщей войны, которую Франция старается воспламенить в Европе; мне известны ее движения в Вене с целию ожесточить и возбудить зависть во всех сердцах. Ваше и. в-ство уничтожите эти пагубные намерения, прекратив войну, столь славную для вашего оружия, для ваших обширных планов, для блеска вашего царствования, и показавши при заключении мира знаки умеренности». Распространяясь о значении умеренности и милосердия для великих земли, Фридрих обращал внимание Екатерины на польские смуты, на необходимость их окончания прочным, а не временным только примирением, а для этого указывал на необходимость диссидентам умерить свои требования, о чем они сами должны просить императрицу. Он выражал уверенность, что австрийцы соединятся с ним и заставят конфедератов подписать новые условия [121]. 16 сентября это письмо Фридриха было представлено Совету, после чего гр. Панин предложил отвечать прусскому королю: 1) что прежде начатия каких-либо переговоров с турками надобно стараться об освобождении Обрезкова и после освобождения никак не оставлять его в Константинополе, ибо и теперь может случиться то же, что в 1714 году, когда турки русского министра в тюрьму сажали и выпускали, смотря по обстоятельствам; 2) что относительно посредничества особа прусского короля, как искреннего нашего союзника, нам очень приятна, когда турки сами выбрали его посредником; но при этом надобно признаться, что нас приводят в беспокойство деликатные отношения к английскому двору, который с начала войны употребил все средства для восстановления спокойствия и оказывал нам всевозможные услуги при проходе наших эскадр, почему мы обещались признать его посредником в случае надобности; посредничество венского двора приводит нас еще в большее беспокойство;

опасно, чтоб Франция по примеру англичан не вмешалась в посредничество, чего мы отнюдь допустить не намерены. На основании всего этого просить короля, чтоб он вместе с венским двором уклонился от имени посредника; а мы с своей стороны будем производить переговоры с полною откровенностию и принимать всякие представления берлинского и венского дворов. Если же необходимо надобно будет принять медиацию, продолжал Панин, то надобно будет стараться призвать к ней Англию, а Францию не допустить, и предложил свое мнение, на каких условиях может быть заключен мир с турками. Эти условия были: 1) удержать за собою Азов и Таганрог и требовать свободы для наших купеческих судов проезжать из Азовского в Черное море; 2) истребовать генеральную амнистию всем тем, которые для своей защиты подняли против Порты оружие; если же между тем наш флот овладеет каким-нибудь островом в архипелаге, то и его надобно выговорить; 3) татарам, если они отторгнутся от власти турецкой, оставаться в независимости; 4) справедливость требовала бы удержать княжества Молдавское и Валашское для вознаграждения военных убытков, которые простираются до 25 миллионов; но так как ее и. в-ство с самого восшествия своего на престол своею политическою системою изволила доказать всем чужестранным дворам, что она не ищет распространения своей империи приобретением земель, то требовать, чтоб в вознаграждение военных убытков княжества эти были нам оставлены на столько лет, во сколько уплата за военные издержки быть может выбрана из годовых их доходов; но императрица пожертвует и этим вознаграждением, если Молдавия и Валахия объявлены будут независимыми и Дунай будет поставлен турецкою границею [122]. Мнение Панина относительно ответа прусскому королю было принято, и в этом смысле было написано письмо императрицы к Фридриху II [123], где отклонялось посредничество и принимались с благодарностию добрые услуги верного союзника; добрые услуги могли начаться только по получении визирского ответа на предложение графа Румянцева. В своем письме к Фридриху по поводу необходимости отклонить французское посредничество Екатерина называет герцога Шуазеля «заклятым врагом своего государства и своей особы».

Посредничество было отклонено, но 1 октября приехал в Петербург особого рода посредник. Летом, когда Фридрих сбирался на свидание с императором Иосифом, брат его принц Генрих отправился в Стокгольм для свидания с сестрою, королевою шведскою. Естественно, что сближение Пруссии с Австриею, выражавшееся в повторительном свидании их государей, не могло производить в Петербурге благоприятного впечатления уже и потому, что такое сближение могло

в разных странах, особенно враждебных к России, радовать мыслию о соответственном ослаблении русско-прусского союза. Для противодействия такому мнению Екатерине естественно было желать, чтоб принц Генрих из Стокгольма заехал в Петербург, ибо это свидание по значению принца, по его дружбе и влиянию на брата могло заменять свидание с самим Фридрихом. Свидание с принцем Генрихом было желательно особенно потому, что он возвращался из Швеции, а шведские дела очень беспокоили; от родного брата враждебной королевы шведской можно было узнать то, о чем не могли сообщить Остерман и Стахиев; ему можно было сделать важные внушения, могшие иметь влияние на дальнейшее поведение королевы. Екатерина написала Фридриху письмо, в котором изъявляла желание видеть принца Генриха в Петербурге [124]. Фридрих немедленно дал знать брату, что он должен согласиться на желание русской императрицы; для его пребывания в России король ставил две цели: установить благоприятные отношения между императрицею Екатериною и сестрою их шведскою королевою и содействовать ускорению мира.

Чтоб понять поведение принца Генриха в Петербурге и смысл переписки с ним Фридриха II, мы должны припомнить основания политики последнего, как она выяснилась до сих пор из его поступков и слов. Ему прежде всего нужен был мир, который бы остановил успехи России в Турции и усиление влияния ее в Польше. Если бы Россия, напуганная им относительно вооружений Австрии, всеобщей войны, согласилась на мир с Турциею с приобретением каких-нибудь ничтожных выгод, согласилась и на окончание польских дел с уступкою в диссидентском вопросе, то Фридрих мог и на этом успокоиться: он освобождался от неприятной уплаты субсидий по союзному договору, он останавливал усиление России, давал выгодный мир Турции, успокоивал Австрию, всю Европу, в Польше отстранял русское влияние на второй план, заставляя Россию уступить в своих требованиях, — одним словом, являлся с главным, решающим значением в делах Европы, приобретал первенствующее положение, тогда как до сих пор его раздражала мысль, что на него смотрят как на сателлита России, покорное орудие ее государыни. Перед свиданием с Иосифом, в июне, Фридрих писал брату Генриху: «Мое маленькое путешествие в Моравию расположит к миру русскую императрицу более, чем все войска и смотры в мире. Австрийцы устраивают магазины на венгерских границах; сказать правду, я их не считаю значительными, но я преувеличу дело в Петербурге до последней крайности и надеюсь, что мир будет заключен будущею зимою или в будущем году война может стать всеобщею». Потом события в Дании еще более усилили в нем надежду на мирное располо-

жение русской императрицы. «Французы изловчились в Дании свергнуть Бернсторфа, — писал он тому же принцу Генриху, — это событие, наверное, отторгнет Данию от русского союза, что может быть только выгодно для нас, ибо мы останемся единственным союзником России, и датские перемены должны заставить императрицу желать мира». Но конечно, Россия не согласится заключить мира с Портою на умеренных, по понятиям других держав, условиях; и Фридрих решил воспользоваться рождавшимися отсюда осложнениями для известных земельных приобретений; при этом главным для Фридриха условием было, чтоб эти приобретения достались путем мирных переговоров, чтоб для них ему не нужно было вовлекаться в войну; кроме того, для Фридриха было чрезвычайно важно не допустить Россию до сближения с Австриею по делам турецким, что повело бы к восстановлению елисаветинской политики и поставило бы его в одиночное положение.

Мы видели, что Фридрих в своих мемуарах, признаваясь в посылке так называемого Линарова проекта в Петербург с целию испробовать почву, скрыл при этом очень важные, существенные обстоятельства. По его словам выходит, что в Петербурге не обратили на проект внимания вследствие обаяния военных успехов, тогда как Панин принял проект очень сериозно и немедленно представил свой, так сказать, контрпроект, приглашая Пруссию и Австрию соединиться с Россиею для изгнания турок из Европы, после чего Австрия получит вознаграждение из областей Порты, а Пруссия — из польских. Но этот русский проект не мог понравиться Фридриху, которому хотелось сделать Россию и Австрию соучастницами раздела Польши, и принц Генрих мог настаивать в Петербурге только на принятии этого проекта.

Принц Генрих вначале произвел на императрицу и ее двор самое неблагоприятное впечатление. Он был вовсе не похож на брата своего, короля. Сколько последний отличался любезностию, умением вести неистощимые разговоры обо всем, говорить необыкновенно живо и остроумно, настолько принц Генрих был сериозен, молчалив, тяжел в обществе; насколько Фридрих на письме и в разговоре умел забрасывать, утомлять собеседника, перебегая от предмета к предмету (что так не нравилось Кауницу), нападать врасплох, выведывать, что ему было нужно, тогда как сам был чрезвычайно осторожен, не позволял себе высказываться до последнего предела, таил, прикрывал самые заветные свои желания, заставляя других людей или обстоятельства вести к их осуществлению, настолько у Генриха недоставало этой, так называемой дипломатической, ловкости: он или упорно отмалчивался, или говорил только о том, чего хотел достигнуть, и

говорил прямо, без обходов и был для Фридриха драгоценным человеком, когда в конце 1770 года надобно было во что бы то ни стало порешить дело тем или другим из означенных способов. Наружность принца Генриха также не могла уменьшать неблагоприятного впечатления, производимого холодностию его обращения, в ней не было ничего, что бы заставляло предугадывать человека, знаменитого талантами и происхождением. Он был ниже среднего роста, очень сух, что представляло поразительную несоразмерность с необыкновенно густыми и вьющимися волосами, которые были зачесаны в огромный тупей; у него был высокий лоб и большие глаза; взгляд его отличался проницательностию и наблюдательностию; но во всей наружности не было ничего приятного; ходил он переваливаясь [125]. Под первым впечатлением Екатерина писала Алексею Орлову: «Вчерась (2 октября) был впервой во дворце прусский принц Генрих, и он при первом свидании так был нам легок на руке, как свинцовая птица, а что умен, то уж очень умен, и сказывают, что как приглядится, то он будет обходителен и ласков; но первый раз он был так штейф, что он мне наипаче надоел, но притом должно ему ту справедливость отдать, что штейф — одна фигура его, а впрочем, он все то делал, что надлежало, с большой ко всем атенциею, только наружность его такова холодна, что на крещенские морозы похожа» [126]. Но придворных заняла преимущественно эта непривлекательная наружность, и особенно доставлял им большое удовольствие тупей принца. Начались шутки, остроты; говорили, что Генрих похож на Самсона, что вся его сила в волосах, что, зная это и помня о судьбе израильского богатыря, принц не подпускает к себе никакой Далилы; говорили, что он похож на комету, являвшуюся в прошлом году и напугавшую северных и восточных государей страхом важных перемен: у нее было небольшое ядро и огромный хвост [127].

Комета действительно предвещала важные перемены. Фридрих II был рассержен уклонением русского двора от его посредничества в мире с Портою: он терял важное значение примирителя и мог опасаться, что в переговорах один на один Россия может выговорить у турок больше, чем сколько, по его мнению, было нужно приобресть ей. Получивши письмо Екатерины с отстранением посредничества, Фридрих писал Генриху: «Я решил не вмешиваться ни в мирные переговоры с Турциею, ни в польские дела, оставаться простым зрителем событий. В Петербурге могут принимать наше посредничество или нет, но не надобно позволять, чтоб они открыто смеялись над нами» [128]. Через пять дней по приезде принца Генриха императрица объявила, что она желает мира и рада положиться на посредничество короля в Константинополе, но надобно подождать ответа визиря на письмо

Румянцева и освобождения Обрезкова. Генрих заметил потом Панину, что двойные переговоры чрез Румянцева и чрез Пруссию только повредят делу; Панин отвечал, что посредством сношений Румянцева желают только удостовериться, думает ли Порта вообще вступить в переговоры. Союзники расходились: для Пруссии было важно овладеть мирными переговорами, привести к миру сообразно с своими интересами; для России было важно знать в случае неудачи мирных переговоров, в какой степени она может рассчитывать на своего союзника — короля прусского, в какой степени могли измениться его отношения к России вследствие сближения с Австриею. В половине октября императрица, отведя принца Генриха в сторону, спросила его: если мир не состоится, то присоветует ли он ей переводить армию через Рубикон (так она называла Дунай). Принц, которому брат твердил в своих письмах, что никак не должно переходить чрез Рубикон, принц отвечал, что это в высшей степени взволнует австрийцев, французы станут толкать их вперед, и возгорится всеобщая война; хотя прусский король и не допустит, чтоб предприятия России были остановлены, однако Пруссия должна будет управляться с французами. «Так мы должны заключить мир, — сказала Екатерина, *смеясь*. — Я хочу мира, — продолжала она, — но султан человек дикий, и французские подущения не позволят ему быть благоразумным». — «Король, мой брат, образумит его, если в. величество вверите ему свои интересы», — сказал принц. «Прежде января дело не уяснится», — отвечала императрица.

Принц Генрих сильно настаивал также на составлении умиротворительного плана для Польши и привлечения Австрии к этому делу, но встречал большое недоверие к австрийцам. Принц уведомлял брата о разногласии между Орловым и Паниным: первый хотел заключения мира безо всякого посредничества; Панин желал вести дело сообща с Пруссиею и Австриею. Но мы уже видели, как Панин при этом расходился с желаниями Фридриха II, требуя, чтоб Австрия и Пруссия объявили войну Порте, за что Австрия получит вознаграждение в Турции, а Пруссия — в Польше. Панин в разговоре с принцем упомянул о выгодах, которые венский двор мог бы получить, если б вступил в войну против Порты вместе с Россиею. Принц, по его словам, отвечал лаконически. Продолжать разговор, прерванный этим лаконическим ответом, явился к принцу Сальдерн. Он начал вопросом: разве Панин не говорил о выгодах, которые может требовать Австрия? «Да, говорил, — отвечал принц, — и если хотят заниматься *политическими мечтами*, то в случае невозможности заключения мира с турками можно было бы подумать о том, чтобы заключить тройной союз между Пруссиею, Россиею и Австриею, в котором установить взаимные выгоды трех госу-

дарств, а затем турки скоро были бы принуждены к миру». Здесь выражение «политические мечты» не должно смущать нас, ибо и Фридрих II в переписке с Сольмсом называл линаровский план мечтою. Сальдерн также не принял предложение Генриха за мечту и спросил, может ли он эти идеи сообщить графу Панину. Принц отвечал, что не желает быть впутанным в дело из боязни новых на себя порицаний короля. А в письме к королю Генрих писал: «Ты этим разговором нисколько не компрометирован, и если мир с турками в этом году не состоится, то для меня открывается возможность оказать тебе услугу в предположении, что ты можешь уговорить венский двор вступить в те же самые интересы и содействовать твоим интересам, как я этого желаю» [129]. Фридрих отвечал, что внушение Панина и Сальдерна о тройном союзе против Турции не имеет смысла, потому что турки настойчиво требуют мира. Если русские воспротивятся миру, то добровольно устремятся в новую войну, и в таком случае он, прусский король, будет иметь право отказаться от платежа субсидий; венский двор никогда не отделится от Франции; Кауниц сказал ему достаточно ясно, что его двор будет поддерживать равновесие на Востоке и не допустит, чтоб Россия перешла Дунай и утвердилась в соседстве Австрии. Поэтому в Петербурге должны покинуть всякую надежду привлечь Австрию разделом турецких завоеваний. «Я, — писал король, — не пожертвую ни за что благом и выгодами своей страны завоевательным намерениям другой державы. И какую там конвенцию хотят они заключить со мною? Какую землю они мне обещают? Для приобретения этой земли я должен навязать себе на шею все военные силы Австрии и Франции, не имея ни одного союзника, который бы меня поддержал! Это не соответствует ни нашим истощенным в последнюю войну силам, ни настоящему положению Европы. Итак, чтоб там не переходили Рубикона, и не нужно мне никакой конвенции. Будем стараться заставить их как можно скорее заключить мир, или пусть ведут войну одни с кем угодно. Я заключил союз с Россиею для своих выгод, как Австрия заключила союз с Франциею, а не для того, чтоб под русскими знаменами вести пагубную войну, от которой мне ни тепло ни холодно [130]. Жду известия, хотят ли русские продолжать войну. Ты им напомнишь, что мои обязательства не простираются так далеко, я не могу вовлечься в предприятие, где весь риск на моей стороне, ибо я рискую потерять все мои прирейнские владения» [131]. Письма эти очень любопытны, но, разумеется, историк должен пользоваться ими осторожно. Так, Фридрих пишет, будто Кауниц сказал ему, что Австрия не допустит перехода русских войск через Дунай, тогда как австрийский канцлер прямо сказал, что переход через Дунай не может

служить достаточною причиною для явного разрыва Австрии с Россиею.

В России хотели тройного союза против Турции; а в Пруссии хотели его для раздела Польши. Панин говорил принцу Генриху, что по секрету хочет ему открыть, какая это прекраснейшая и счастливейшая идея, идея тройного союза между Пруссиею, Россиею и Австриею, другие европейские державы не осмелятся препятствовать мероприятиям и планам такого могущественного союза. Принц Генрих уведомлял брата, что в случае неудачи тройного союза в Петербурге думают, какие бы выгоды предоставить Пруссии, чтобы она одна приняла участие в войне: будут согласнее на вознаграждение в Германии, чем в Польше. Но Фридрих по-прежнему не хотел слышать об участии Пруссии в войне и твердил, что Австрия для Франции никогда не вооружится против турок для раздела пирога с Россиею, нечего об этом и думать! «Мир, мир как можно скорее, не предлагая невыносимых и слишком унизительных условий туркам. Если начнется всеобщая война, то на меня обрушится вся тяжесть. Предполагая счастливый исход, я при заключении мира сохраняю свои настоящие владения, но области и армия будут разгромлены и государственные доходы пойдут в пользу России, за что мне заплатят изящным комплиментом и собольей шубой. Боюсь, чтоб меня не стали доить, как корову» [132]. Цель всех этих настаиваний на мире ясна: только вынудив Россию высказаться решительно и точно насчет условий мира, Фридрих мог приступить к делу с той или другой стороны; только при объявлении Россиею условий определялись бы и намерения Австрии. Проволочка дела тяготила Фридриха, он спешил к развязке, к развязке мирной, без «прекраснейших и счастливейших идей», о которых толковали в Петербурге.

Наконец из Константинополя пришел ответ на письмо Румянцева к визирю; ответ состоял в том, что султан уже известил Австрию и Пруссию о своем желании мира и ждет от этих держав первых сообщений. Тогда императрица 9 декабря отправила Фридриху письмо, начинавшееся так: «Я не полагаю границ моему доверию к в. в-ству как моему лучшему другу и вернейшему союзнику, сообщая в величайшем секрете мой план и мои самые тайные мысли относительно мира с Портою. Делая в. в-ство хранителем всех моих намерений, я нахожусь в полном убеждении, что вы сделаете из них лучшее употребление, какого я могу ожидать от вашей дружбы и от вашей скромности, в то время и при тех обстоятельствах, какие вы сами сочтете удобнейшими для защиты оснований моего справедливого дела, для оправдания правоты моих намерений, для обнаружения моего действительного бескорыстия и, наконец, для ускорения мира; во всем этом я вполне полагаюсь на мудрость, знание и великую

проницательность в. в-ства. Я должна здесь обратить особенное внимание в. в-ства на то, что возвращение моего министра Обрезкова должно последовать прежде открытия переговоров, даже прежде всякого приступа к делу. Давши мне это удовлетворение, необходимое для моей личной славы и для блага моей страны, если турки захотят отправить своих уполномоченных в какую-нибудь местность Молдавии или Польши, то я отправлю туда своих и буду смотреть как на добрую услугу со стороны в. в-ства, если вы прикажете вашему министру в Константинополе расположить Порту к этому. Относительно тех внушений, какие в. в-ство сочтете нужным ей сделать, ваше благоразумие скажет вам, что мой план в том виде, как я его вам сообщаю, составлен только для доверия и дружбы и нельзя его сообщать неприятелю. Это было бы слишком рано, и, когда время для этого наступит, надобно будет обработать его в другой форме и в других выражениях». Точно так же и относительно Австрии, полагаясь во всем на Фридриха, императрица писала, что, по ее мнению, нельзя сообщать венскому двору копию с ее плана, разве будет твердая уверенность, что этот двор обратится к лучшим взглядам относительно России и не руководится уже прежним пристрастием. Но императрица замечала, что, с другой стороны, слишком большою сдержанностию и холодностию относительно венского двора она не желает противодействовать той пользе, какая может произойти от сближения с ним для русско-прусского союза: «Если б вследствие такого сближения можно было отвлечь Австрию от настоящей ее нелепой системы и заставить войти в наши виды, то Германии было бы возвращено ее естественное состояние и австрийский дом посредством другой перспективы был бы отвлечен от своих видов на владения в. в-ства, а виды эти поддерживаются его настоящими связями» [133]. К письму были приложены условия мира с турками. Это были известные уже нам условия, предложенные Паниным Совету в заседании 16 сентября, с прибавкою одного условия, что обе Кабарды отходят к России.

Эти условия, по словам Фридриха, произвели на него самое неприятное впечатление, отнявши всякую надежду на мир. «У меня волосы стали дыбом, когда я получил русские мирные предложения, — писал он брату Генриху в Петербург. — Никогда не решусь я предложить их ни туркам, ни австрийцам, ибо поистине их принять нельзя. Условие о Валахии никоим образом не может приладиться к австрийской системе; во-первых, Австрия никогда не покинет французского союза; во-вторых, она никогда не потерпит русских в своем соседстве. Вы можете смотреть на эти условия как на объявление войны. Над нами смеются. Я не могу компрометировать себя в угоду России; я им сделаю несколько заме-

чаний насчет последствий их предложений, и если они их не изменят, то я их попрошу поручить дело какому-нибудь другому государству, а я выхожу из игры, ибо вы можете рассчитывать, что австрийцы объявят им войну: это слишком, это невыносимо для всех европейских государств! Государства управляются своими собственными интересами; можно делать угодное союзникам, но всему есть границы. Этого проекта я не сообщу ни в Вену, ни в Константинополь, ибо это все равно что послать объявление войны. Итак, если не умерят проекта во многом, то я отказываюсь от всякого посредничества и предоставляю этих господ собственной судьбе; вам больше ничего не остается, как удалиться приличным образом, ибо нечего больше делать, нечего даже больше надеяться от этих людей»[134].

Предположим, что мирные условия могли показаться Фридриху очень тяжелыми, но все же не было причины приходить от этого одного в такое раздражение и волосам становиться дыбом. Во-первых, зачем было повторять, что он не может сообщить условий ни в Вену, ни в Константинополь, когда сама Екатерина просила его именно не сообщать их ни австрийцам, ни туркам, делала из них еще тайну, которую открывала ему одному, следовательно, это вовсе не был ультиматум. Во-вторых, Фридрих гораздо прежде знал об этих мирных условиях, и волосы не становились у него дыбом на голове; мы видели, что он говорил об этих условиях Кауницу в Нейштадте, говорил, что, по всем вероятностям, русские будут настаивать на удержании Азова и Крыма, но он надеется, что они отстанут от своих претензий насчет Молдавии и Валахии, *быть может, даже* от требования независимости от Порты для тамошних владетелей. Мало того, в письме к принцу Генриху от 1 октября (н. с.) Фридрих пишет: «Императрица, впрочем, умеренна в своих требованиях, так что все заставляет меня надеяться окончания этой несчастной войны». В письме от 8 октября пишет: «Императрица сообщила мне условия, на которых она рассчитывает заключить мир; я их нахожу столь умеренными, что не сомневаюсь в их принятии». Наконец, в письме от 12 ноября Фридрих пишет: «Умеренность, с какою эта государыня постановляет мирные условия с турками, венчает картину стольких ее великих дел и прибавляет в нее последний блеск, ибо прекрасно прощать врагам своим и еще прекраснее не утеснять их, когда их можно сокрушить». Что условия, сообщенные в сентябре в главных пунктах, были те же, какие были сообщены и в декабре, доказывают разговоры Фридриха с Кауницем, где он выставляет Азов, Крым и дунайские княжества, причем последние или остаются за Россиею на известный срок, или объявляются независимыми; и любопытно, что Фридрих не говорит Кауницу о независимости татар, а прямо

о присоединении Крыма к России, следовательно, первоначальные требования были обширнее последующих, а Фридрих называл их умеренными. Наконец, нам известны разговоры, происходившие в конце года между Фридрихом и новым австрийским посланником при его дворе фан-Свитеном. *Король:* Надобно заключить мир, поверьте мне, надобно заключить мир! *Фан-Свитен:* Мы не желаем ничего более, как видеть заключение мира, но на условиях сносных. *Король:* Что вы называете условиями сносными? *Фан-Свитен:* Такие, которые не будут содействовать усилению России, настоящему или будущему и не ослабят Турцию в такой степени, что ее существование сделается ненадежным. Тут посланник заметил, что присоединение Крыма к России по своим последствиям не может принадлежать к числу сносных условий. *Король:* Ах да, Крым! Я об нем и забыл; они (русские) хотят, чтоб он получил независимость; это можно им уступить. *Фан-Свитен:* Эта независимость Крыма — пустое слово; рано или поздно страна эта, населенная народом воинственным и обладающая гаванями на Черном море, сделается русскою провинциею и усилит могущество России в очень значительной степени *Король:* Да нет, дело идет только о буджакских татарах, у которых столица Бакчисарай. *Фан-Свитен:* Этот город, государь, есть столица Крыма; буджакские татары, сколько мне известно, живут между Бендерами и Дунаем. *Король:* Пожалуй, так, признаюсь, что я не очень хорошо знаком с этою страною; я лучше знаю другие страны Европы; но во всяком случае можно сделать так, как князь Кауниц говорил мне в Нейштадте: позволить установить независимость татар, какие бы они ни были, а потом посредством интриг побудить их снова подчиниться Порте. *Фан-Свитен:* Это средство не верно и не соответствует вовсе явной опасности, когда будет позволено русским утвердиться в Крыму и на Черном море: благодаря средствам, которые доставит им это положение для распространения торговли и построения флота, они увидят возможность делать самые смелые предприятия. *Король:* Торговля — это средство медленное; поверьте мне, у них есть лучшие Русская императрица значительно улучшила свое государство. Она поставила образцом себе Петра I, она следует планам этого государя; меня уверяли, что проект морской экспедиции в Левант найден между его бумагами.

Этот разговор происходил до получения письма Екатерины и условий мира с турками. После их получения Фридрих отозвался фан-Свитену об условиях в тех же выражениях, в каких он писал принцу Генриху, называл их чрезмерными, невыносимыми, на которые Австрия может отвечать только объявлением войны, но не открыл этих страшных условий; и фан-Свитен никак не мог догадаться, что в этих условиях

не было ничего нового для его двора, кроме разве архипелажского острова [135].

Итак, в раздражении Фридриха мы имеем право видеть раздражение притворное, с целью напугать русский двор и заставить его принять скорее другие меры для улажения дела, более согласные с интересами прусского короля, напугать точно так же и австрийцев могуществом России, ее непомерными требованиями, не говоря ни слова, согласна ли Пруссия действовать заодно с Австриею для сокращения этих требований, все опять с тою же целью, чтоб Иосиф и Кауниц скорее склонили Марию-Терезию войти в соглашение относительно Польши. Если допустить в прусском короле истинное раздражение, то причины его должно искать не в мирных условиях. Фридриха могло сильно раздражить то место в письме Екатерины, где она говорила об открытии для Австрии других видов, которые бы заставили ее забыть о Силезии. Опять это невыносимое для Фридриха стремление России сблизиться с Австриею, открывши ей виды на турецкие владения; а Пруссия выиграет от этого только то, что Австрия позабудет о Силезии; даже о вознаграждении Пруссии за счет Польши ни слова! Кроме того, принц Генрих уведомил брата о своем разговоре с Паниным относительно мирных условий. Когда принц сказал, что Австрия сочтет вредною для своих интересов уступку России дунайских княжеств, то Панин отвечал: «Тогда эти земли можно сделать независимыми». — «Но кому в таком случае они будут принадлежать?» — спросил опять принц. «Это для императрицы все равно, — отвечал Панин, — лишь бы не туркам». — «Но если Австрия их потребует себе?» — спросил Генрих. «Почему же нет, — отвечал Панин, — если Австрия станет поступать прямо и захочет быть другом с нами и с вами?» Потом Генрих писал брату: «Если бы венский двор не так крепко держался Франции, то был бы в состоянии выгодно обделать свои дела. Генерал Бибиков, друг Панина и в милости у императрицы, говорил мне о выгодах, какие венский кабинет может получить при заключении мира, и прибавил, что тогда было бы справедливо, чтоб и Пруссия также получила выгоду. В Вене имеют неправильное понятие о здешнем образе мыслей. Здесь согласились бы на все, лишь бы только вознаграждения были на счет Турции, здесь были бы довольны меньшею частью добычи» [136].

Но к счастию для Фридриха, Австрия уже сделала шаг, который должен был повести к развязке, согласной с интересами Пруссии, захватив польские земли и распоряжаясь ими, как своими. Но прежде чем рассказывать, какие следствия это известие имело в Петербурге, посмотрим, какое впечатление произвело оно в Польше. Уже в июне носились здесь крепкие слухи о разделе, который приписывали самому поль-

скому королю. Французский резидент в Данциге Жерар писал своему двору: «Меня уверяют, что Станислав-Август предлагает берлинскому двору польскую Пруссию, а венскому — Краковский палатинат с условием, чтоб оба этих двора не только поддерживали его на престоле, но и обеспечили ему наследственность; как на основание известия указывают на письмо курфюрстины саксонской». В ноябре, когда узнали, что австрийцы захватили польские староства, тот же Жерар писал: «Из занятия австрийцами известных польских земель заключают, что раздел есть дело решенное. Некоторые из землевладельцев занятых округов находятся в Данциге, и я утешаю их, говоря, что, положим, будет раздел и он будет на основании каких-нибудь подлинных и признанных прав, и в таком случае австрийское правительство не ограбит настоящих владельцев». Наконец, в декабре Жерар писал: «Два прусских полка вошли в Великую Польшу и расположились вдоль по Варте; трудно, чтобы поляки не смотрели на это как на предвестие раздела республики» [137]. Так была укоренена везде мысль о разделе, так ждали его с часа на час и были уверены, что между обоими дворами было на этот счет соглашение. В Петербурге в самом конце декабря у императрицы вечер, принц Генрих тут. Екатерина шутя (en badinant) говорит ему, что австрийцы овладели в Польше двумя старостами и водрузили на их границах императорские орлы. Она прибавила: «Но почему же и все не будут брать таким образом?» Генрих отвечал, что король, его брат, хотя и оцепил войсками польские границы, однако не занял староств. Императрица продолжала смеяться и сказала: «Но отчего же и не занять?» Нас не может не остановить этот смех Екатерины; мы видели, что на застращивание австрийцами и всеобщею войною она отвечала также со смехом: «Итак, мы должны заключить мир». Этим смехом она заявляла, что очень хорошо понимает, к чему ведет дело ее верный союзник, понимает, что австрийцы одни нисколько не опасны и до свидания Иосифа и Кауница с Фридрихом никогда не посмели бы распорядиться в польских владениях так, как распорядились теперь. После разговора с императрицею подошел к принцу Генриху граф Захар Чернышев и стал говорить о том же предмете. «Зачем, — сказал он, — вы не займете епископства Вармийского; надобно, чтоб каждый получил что-нибудь». Эти слова Чернышева не могут нас удивить: он понимал, что благодаря австрийскому движению проект его, положенный под сукно, может быть оттуда вынут. Уведомивши об этих речах брата, Генрих писал: «Хотя все это говорилось в шутку, однако видно, что разговоры эти имеют значение, и я не сомневаюсь, что для тебя открывается большая возможность воспользоваться этим случаем. Граф Панин недоволен поступками австрийцев, овладевших

польскими землями. Он мне ни слова не сказал об епископстве Вармийском. Все это происходит от разделения мнений между членами Совета; те из них, которые желают увеличения русских владений, хотят, чтоб все взяли, а вместе со всеми и Россия, тогда как граф Панин стоит за спокойствие и мир. Однако я постараюсь еще уяснить это дело и остаюсь при том мнении, что ты не рискуешь ничем, если овладеешь под каким-нибудь предлогом Вармийским епископством, в случае если действительно справедливо, что австрийцы овладели двумя староствами» [138].

Таким образом, в конце 1770 года польский вопрос опять выдвигается с важным, решающим значением. Но что же в этом году делалось в Польше?

Конфедератская война продолжалась с прежним характером. Суворов, который в этой войне начал выдаваться вперед сперва в чине бригадира, а с 1770 года в чине генерал-майора, Суворов был истомлен этою войною и жаждал перевода в армию, действовавшую против турок, он писал: «Здоровьем поослаб; хлопот пропасть, почти непреодолеваемых; трудности в их будущем умножаются; во все стороны наблюдение дистанции почти безмерной; неуспеваемый перелет с одного места на другое; неожидаемое в необходимой нужде подкрепление; слабость сил; горы, Висла, Варшава. Коликая бы то мне была милость, если бы дали отдохнуть хотя на один месяц, то есть выпустили бы в поле. С божьею помощью на свою бы руку я охулки не положил» [139]. Но и конфедераты, представляя нестройные шайки, по недостатку единства в своих действиях, по отсутствию даровитых вождей, по долговременной отвычке народа от войны не могли воспользоваться малочисленностию русских. Они ждали помощи извне, от католических держав, от Австрии, особенно от Франции. Австрия на словах была очень любезна, а на деле позволила только конфедерации иметь главную квартиру в венгерском городе Эпериеше. В мае месяце император Иосиф во время путешествия по Венгрии принял конфедератских вождей, говорил с ними очень ласково, обещал для них свои добрые услуги у русского и прусского дворов, но прибавил: «Вот до чего довели вас обещания и внушения Франции, вот плоды вашего доверия к ней!» Незадолго перед тем Людовик XV писал относительно Польши: «Помощь людьми невозможна. Помогать деньгами очень трудно, и употребление их несколько сомнительно» [140]. Несмотря на то, Шуазель нашел возможным помочь конфедератам деньгами, а для установления между ними порядка и единства в действии отправил знаменитого впоследствии Дюмурье, тогда еще бывшего только капитаном. Впечатление, произведенное на Дюмурье конфедератами, описано им самим в своих записках [141]. Нравы вождей конфедерации показались ему азиатскими. Изу-

мительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды и пляска — вот их занятие! Они думали, что Дюмурье привез им сокровища, и пришли в отчаяние, когда он им объявил, что приехал без денег и что, судя по их образу жизни, они ни в чем не нуждаются. Войско конфедератов простиралось от 16 до 17 000 человек; но войско это было под начальством осьми или десяти независимых вождей, несогласных между собою; они подозревали друг друга, иногда дрались между собою и переманивали друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей, равных между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях; шляхта эта не могла сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и козакам. Ни одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, били крестьян, набранных в войско. Вместо того чтоб поручить управление соляными копями двоим членам совета финансов, вожди разделили по себе соль и продали дешевою ценою силезским жидам, чтоб поскорее взять себе деньги. *Товарищи* (шляхта) не соглашались стоять на часах; они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах; офицеры в это время играли и плясали в соседних замках.

Что касается характера отдельных вождей, то генеральный маршал Пац, по отзыву Дюмурье, был человек преданный удовольствиям, очень любезный и очень ветреный, у него было больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем мужества. Он был красноречив — качество, распространенное между поляками благодаря сеймам. Единственный человек с головою был литвин Богуш, генеральный секретарь конфедерации, деспотически управлявший делами ее. Князь Радзивил — совершенное животное; но это самый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр, очень предприимчив, но любит независимость, ветрен, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый своими небольшими успехами, которые поляки по своей склонности к преувеличениям ставят выше подвигов Собеского. Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу, они охотно жертвуют этой страсти имуществом и жизнию, но их социальная система, их конституция противятся их усилиям. Польская конституция есть чистая аристократия, но в которой у благородных нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. Польское социальное тело — это чудовище, составленное из голов и желудков, без рук и ног. Польское управление похоже на управление сахарных плантаций, которые не могут быть независимы Умственные способности, таланты, энергия в Польше от мужчин перешли к

женщинам. Женщины ведут дела, а мужчины наслаждаются чувственною жизнию. Дюмурье говорит в своих записках и о русских: «Это превосходные солдаты, — по его словам, — но у них мало хороших офицеров, исключая вождей. Лучших не послали против поляков, которых презирают».

Шуазелю трудно было иметь какой-нибудь точно определенный план относительно Польши; он имел в виду одно — всеми средствами вредить России — и потому поддерживал конфедератов в их борьбе с русским войском; готов был поддерживать и короля Станислава в его судорожных попытках сопротивления России. Так, Шуазель уверял эмиссара польского короля во Франции графа Хрептовича, что Людовик XV, довольный твердым поведением Станислава, будет помогать конфедератам только с условием, чтоб они соединились для поддержания его, Станислава, на престоле. Ободренный этим, Станислав поднял тон относительно России.

В письме своем от 21 февраля он изложил императрице Екатерине свои желания: «Я желаю, чтобы Польша была умиротворена скоро и прочно; но этого не может произойти, если нация не будет довольна, а нация не будет довольна, если она не действует сама собою, целым корпусом и законным образом. Для этого нужен сейм, которому должны предшествовать сеймики. Сеймики не могут состояться, если большинство нации не будет благоприятно расположено к делу. Это расположение может явиться только вследствие надежды получить то, чего нация желает более всего. Она может основать свои надежды только на прямом заявлении вашего величества. Нельзя повторять нации слов вашего посла; наученная опытом, она на них не полагается и не желает доверяться никому, кроме особы вашего величества. Чтоб я или кто другой мог успеть относительно предполагаемой конфедерации, надобно иметь возможность сказать приглашаемым принять в ней участие; вот куда именно я вас веду, вот основания моей уверенности в этом и вот чем вы можете быть удовольствованы. Я бы не стал торопить ваше величество, если б крайность наших бедствий не заставляла меня умолять ваше сострадание: голод грозит нас покончить. Треть наших полей в областях самых плодородных не засеяна, потому что весь хлеб захвачен; рабочий скот или съеден войсками, или погиб при постоянной перевозке магазинов. Я уже не говорю об уменьшении числа жителей, из которых одни погибли от оружия, другие, избегая бедствий, покинули отечество. Быть может, вам говорят, что все это должно ускорить покорность поляков, что принудить их отложить свое упорство — значит сделать им добро. Я должен уведомить ваше и величество об общем расположении умов здесь: оно таково, что скорее согласятся терпеть и погибать, чем связать себя каким бы то ни было образом, прежде чем ваше величество

удостоите возвестить прямо от себя, как вам угодно снизойти на желания поляков. Ваше величество, припомните, когда столько знатных людей посредством друзей своих действовали в пользу конфедерации 1767 года во всех областях, сколько, однако, надобно было войска, чтоб заставлять жителей подписываться, и сколько все же не подписалось по незнанию целей конфедерации. Сколько же понадобится теперь войска для дела, для которого не найдется нигде ни вождей, ни охотников национальных, не говоря уже о величайших насилиях, которые, конечно, не в видах вашего величества; если сила заставит поляков принять участие в этой конфедерации, то они получат только новые основания для будущего протеста, ссылаясь на то, что все сделано против их воли. Я друг вашего величества, всю мою жизнь я буду славиться этим титулом, но закон искренности обязывает меня сказать вам, что независимо от всех других условий нация всегда будет смотреть на мир как на дело насильственное, если он будет ей дан без содействия держав католических, она будет постоянно надеяться получить большее с их помощию, как только ваши войска удалятся из страны. На мне первом нация отомстит за принуждения, которым она подвергалась. В этом уверяют меня со всех сторон, и это-то дает мне новое право просить вас самым настойчивым образом согласиться на вмешательство католических держав в дело нашего усмирения»,

«Из вашего письма, — отвечала Екатерина, — я с сожалением увидала, что вы все еще продолжаете доверяться людям коварным и скрывающим честолюбивые замыслы. Я не могу себе вообразить, чтоб ваше величество сами собою нашли возможным и благодетельным посредничество католических держав в настоящих делах Польши. Что до меня, то я так тверда в моих принципах и так предусмотрительна относительно последствий, что никогда не поддамся внушению, где хитрость и злоба обнаруживаются так ясно. Привыкши говорить откровенно и вам говорить правду, я прошу ваше величество обратиться исключительно к вашему собственному рассудку. Какие державы призовутся к посредничеству и кто их призовет? Я так расхожусь в видах с этими людьми, что не может произойти никакого согласия между их средствами и моими. Я хочу умирения Польши, удержания нации при ее правах и спокойствия короля на престоле, и я хочу всего этого безо всякого личного интереса и не руководясь интересом какой бы то ни было религии. Я не меняюсь по обстоятельствам, не хватаюсь за благоприятные события, чтоб поднять мои требования. У меня нет никаких претензий, мои первые слова суть священные обязательства. В заботы свои об умирении, которого никто не может желать более меня, я внесу такое же усердие и бескорыстие, и я покраснела бы

от стыда, если б эти стремления мои имели надобность в иностранной помощи. Но чего хотят те, которые имеют такую нужду в ней и которые так сильно убедили в этой нужде ваше величество? Усилить настоящую смуту столкновением интересов, которого отечество их должно быть ареною, и посредством окончательной смуты уничтожить все сделанное до сих пор. Только в беспорядках и крайностях, которые должны быть их следствием, они могут найти благоприятное время для исполнения своих планов произвольного владычества».

Волконскому отправлен был рескрипт: «Упорство и легкомыслие короля польского ставят успеху дел наших немалые препятствия. Он, как видно, забыв благодеяния наши и собственную безопасность, не только вовсе ослабевает в преданности своей к интересам российским, но даже явно против них действует по руководству коварных своих дядей, которые его употребляют простым орудием для собственного властолюбия, внушив ему мечту о возвращении народной любви и доверия и о большей свободе быть впредь полезным своему отечеству Но и то, с другой стороны, неоспоримая же истина, что такая ухватка стариков Чарторыйских приводить короля с нами в разногласие и с мятежниками польскими в некоторое видимое согласие, не может ни для него, ни для них самих произвести никакого полезного действия, кроме того, что погрузить обе стороны в большее еще недоумение. Думаем, что временным и неестественным сближением разнообразных мыслей исполняется мера и дела мало-помалу склоняются к тому кризису, где им конечный перелом последовать имеет. Возможно ли себе представить, чтоб виды короля польского, дядей его, саксонского двора, польских возмутителей, которые все этому двору преданны, и враждебной нам Франции, все порознь направленные каждый к своей цели, могли теперь вдруг сосредоточиться в особе короля, последним троим равно ненавистного? Сколько бы король по лукавым советам дядей своих ни старался о примирении с мятущеюся частию народа, это примирение никогда достигнуто быть не может, и потому в ожидании перелома в делах, который из этих тщетных стараний скорее должен произойти, и надобно нам соблюдать в рассуждении короля некоторую умеренность, чтоб не отнимать у него всей надежды на будущее время, а в рассуждении возмутителей действовать всеми силами и бить их, где только удобность представится, не давая им нигде утвердиться и составить нечто целое и казистое, корпус республики представляющее, чтоб они по наущению Франции и Саксонии не могли объявить престол вакантным. Низвержение ныне царствующего короля, как ни мало надежен он для империи нашей по своему характеру, не может, однако, никоим образом согласоваться ни со славою, ни с интересами нашими, потому что допущением этого

низвержения в пользу ли курфюрста саксонского или другого кого подверглись бы мы пред светом ложному мнению, что либо северная наша система сама по себе несостоятельна, или же что влияние наше в Польше против французского устоять не могло по недостатку естественных сил России, следовательно, и по невозможности уделить из них во время войны с турками столько сил, чтоб они первое одною Россиею воздвигнутое здание могли охранять от падения. Но положим, что мы сами по неблагодарности короля польского решились лишить его короны; кого же бы избрать такого, чтоб нации вообще был угоден, и интересам нашим не противен, и мог помочь нам в примирении Польши? Курфюрста саксонского исключает наша северная система, а всякий другой Пяст соединял бы в себе все те же, а может быть, и большие неудобства, какие мы с нынешним королем встретили». Панин прибавил от себя: «По моему мнению, мы ничего не потеряем, оставляя еще на некоторое время польские дела их собственному беспутному течению, которое, истощаясь само собою, приблизится к пункту того перелома, которым в. с-тво с лучшим успехом воспользоваться можете».

Между тем в начале января приезжали к кн. Волконскому один за другим приятели граф Гуровский, кухмистр Понинский, кастелян мазовецкий Шидловский и Гольц, и все рассказывали одно, что Станислав-Август получил письмо из Франции от самого ли короля или только от находившихся там поляков Макрановского и Ржевуского; содержание письма состоит в том, что Франция одобряет поведение польского короля, сенатский совет считает его геройским делом: будучи в руках России, он так отважно поступил против нее; в письме же находилось и обещание помощи. Король по получении этого письма стал очень весел и публично говорил, что почитает этот день счастливейшим в своей жизни. Волконский *поехал к королю и прямо спросил* его, *правда ли, что он получил* такие письма. Король отвечал сухо, что не получал. Волконский заметил, что если такие письма есть, то они заключают в себе обман, потому что принц Карл саксонский полагается на французский двор. Король и на это отвечал сухо: «Я знаю, чего принц Карл там ищет» — и начал разговаривать о посторонних делах, спрашивал, что делается с камнем, который должен служить подножием для статуи Петра Великого. Волконский писал Панину, что король действительно очень весел и, как видно, совершенно предался Франции. Станислав-Август сохранял вполне известную черту польского характера, необыкновенную впечатлительность, заставляющую быстро переменять поведение, возвышать и понижать тон, смотря по обстоятельствам. Жалуясь епископу куявскому на Волконского, что тот не хочет сноситься с его министерством, король сказал: «Волконский поступает точно

так же, как и Репнин, с тою только разницей, что Репнин обманывал меня нагло, а Волконский обманывает под рукою, скрытно». Но в чем состоял обман, этого король не объяснил. Волконский говорил, что Россия возвела Понятовского на престол, — это была правда, а не обман; Волконский говорил, что Россия хочет поддержать его на престоле, — и это была правда; король верил этому и как этим пользовался! Станислав-Август забыл, что Репниным и Волконским нет нужды обманывать Понятовских; Понятовских обманывают Млодзеевские: великий канцлер коронный Млодзеевский взял у Волконского 1000 червонных и рассказал ему, что происходит у короля на тайных конференциях.

В мае Волконский услыхал, что король разослал письма сенаторам по поводу сейма, который дóлжно было созвать в этом году. Волконский отправился к королю и выразил ему свое удивление, что делаются приготовления к сейму, которого, кажется, ни начать без согласия, ни привести к концу без русского содействия нельзя. «Не думал я, — прибавил Волконский, — что советники в. в-ства и тут принудят вас от нас скрываться». — «Я это сделал, — отвечал король, — не по принуждению от советников, но чтоб узнать мнение сенаторов по поводу сейма; всякий хозяин волен в своем доме, хотя и случается, что у него солдаты стоят постоем; делать все с вашего согласия, значит, быть у вас в подданстве». — «Подданства тут нет никакого, — сказал Волконский, — намерение ее и. в-ства состоит в том, чтоб удержать вас на троне и успокоить Польшу, для этого и войска ее здесь находятся; следовательно, и о мерах, служащих к достижению этой цели, нам дóлжно условливаться: если солдаты стоят на квартире для безопасности хозяина, то благоразумие требует от него предупреждать их о своих распоряжениях в доме, чтоб не произошло какого вреда по незнанию солдат, и такие сношения хозяина с солдатами нисколько не показывают его подданнической зависимости от них». — «Я должен с вами сноситься, — сказал король, — а вы со мной не сноситесь, когда распоряжаетесь движениями своих войск!» — «Очень естественно, — отвечал Волконский, — потому что в. в-ство поверяете все своим советникам, а из них некоторые сносятся с мятежниками». (Волконский разумел здесь Любомирского, который переписывался с конфедератами.) — «Для чего же, — спросил король, — вы не укажете этих мятежничьих сообщников?» — «Если их указать, — отвечал Волконский, — то надобно и наказать, для чего, впрочем, время еще не ушло».

Лето кн. Волконский провел на водах в Карлсбаде, а возвратившись в сентябре, он должен был привести в исполнение меру против канцлера литовского, кн. Чарторыйского, маршала коронного кн. Любомирского, вице-канцлера корон-

ного Борха и литовского Пршездецкого: войска должны были брать из их деревень провиант и фураж безденежно; управителям деревень запрещено доставлять господам какие-либо доходы; оружие, военные припасы и господские лошади были забраны. Прошел слух, что Пулавский, Заремба и другие начальники конфедератов намерены соединенными силами сделать покушение на Варшаву. Волконский воспользовался этим, чтоб поговорить с королем, и спросил его, какие он примет предосторожности в случае такого нападения. Ответ был, по выражению Волконского, ничего не значащий и нерешительный, после чего зашла речь о польских беспокойствах. «Этих беспокойств усмирить нельзя, — сказал король, — если вы всего сделанного на последнем сейме не уничтожите; отступите ли вы от диссидентов и от гарантии?» — «Это один раз навсегда из головы выложить надобно и никогда не льститься такою химерическою мыслию!», — отвечал Волконский. «А без того вы никогда Польши не успокоите», — возразил король. «Неправда, — сказал Волконский, — успокоим, если вы с своими советниками портить не станете». Король запел старую песню: «Советники мои — люди добродетельные, разумные, патриоты» и проч. Волконский писал Панину, что Чарторыйские внушают своим приятелям, что они никогда еще в такой милости у русского двора не были и что все разглашаемое и делаемое против них послом есть одна маска.

В конце сентября преданные России люди съехались у примаса, чтоб посоветоваться, как бы спасти Польшу. Король, узнав об этом совещании, с сердцем спрашивал у калишского воеводы, который участвовал в собрании, что́ они за советы держат, ибо он слышал, что между ними первым условием постановлено свержение его с престола. Воевода отвечал, что неправда, что они, видя отечество гибнущим и короля в опасности, намерены искать способов, как бы под покровительством России успокоить Польшу и короля утвердить на престоле. На это Станислав-Август с презрением сказал: «Для своей безопасности я сам уже принял меры; думали бы вы о себе». С тем же вопросом король обратился к другому вельможе, участвовавшему в собрании у примаса, графу Флеммингу; тот дал ему ответ в другой форме: «Видя ваше нерадение об отечестве и заблуждение, в какое введены вы своими советниками, мы вознамерились искать средств спасти Польшу с помощию России».

Волконский со своими приятелями совещался о том, как бы устроить генеральную конфедерацию для окончания польских смут; но, в то время как русский посол хлопотал о средствах успокоения Польши, прусский посланник Бенуа старался ему внушать, что полезнее было бы оставить Польшу в теперешнем ее положении до будущей турецкой кампании или

до мира, если он прежде будет заключен. А тут еще смутили Волконского письма от Панина. Последний извещал, что имел разговор о Польше с принцем Генрихом прусским. Принц на основании письма от брата объявил Панину, что при успокоении Польши может много принести пользы содействие венского двора, который, будучи католическим, не может быть подозрителен суеверным полякам, причем король прусский при настоящих отношениях своих к этому двору, и особенно к самому императору, надеется склонить его ко всякой справедливости и ее имп. величеству угодной податливости, а потому в союзнической доверенности требует изъяснения, согласится ли государыня императрица допустить венский двор до непосредственного, однако единодушного с нею соучастия в скорейшем и надежнейшем окончании польских дел. Принц Генрих препроводил этот отзыв из собственного своего побуждения вопросом: не противно ли будет ее величеству, чтоб венский двор, когда примет участие в примирительных переговорах и они обоими императорскими дворами при пособии прусского к желаемому концу приведены будут, принял на себя в то же время и гарантию договора вместе с Россиею, дабы тем и Польшу, и публику всю на будущее время совершенно успокоить? Вслед за тем другое письмо от Панина, в котором говорилось, что императрица не одобряет примирения способом генеральной конфедерации. В записке Екатерины к Панину по этому поводу читаем следующее: «Читав ваше письмо о польском примирении к кн. Волконскому, следующие во мне родились рассуждения: 1) несомненная правда, что новая реконфедерация или дела приведет в наивящшую конфузию, или их поправит; но в том и в другом случае она нам недешево станет. Я бы денег не жалела, если бы заверно можно было полагать, что из того добро выйдет; 2) если деньгами утушат теперешний огонь, неможно ли отторгнуть ими от теперешней конфедерации главные boute-feux (зажигатели); или 3) объявя, что для сбережения рода человеческого я им приказала объявить, что я за ними не велю гнаться, если разойдутся по домам и будут жить спокойно, и что целый год им амнистия дастся только с тем, чтоб нигде кучи не было и чтоб прислали между тем трактовать об пацификации с послом. К сим переговорам можно легче всего употребить Мнишека или кого иного из сильнейших и чрез него трактовать. Нельзя, чтоб всем не надоели мор, голод, разоренье и разбой, и опять нельзя же, чтоб не было способов к примирению. Не так иногда черт страшен, как кажется. Если же неминуемая конфедерация, то, чаю, об ней согласиться надобно с королем прусским».

В то же время в Варшаве было получено известие с венгерской границы, что рекомендовано от тамошних австрийских командиров польским обывателям тотчас давать знать

кордону австрийских войск, протянутому по причине моровой язвы в Польше, если сведают о приближении русских войск или конфедератов за две мили до этого кордона. Еще любопытнее было известие, что для занятых в кордоне польских земель учрежден австрийским правительством комиссар, который называет себя Commissarius provinciae reintegratae (комиссар возвращенной провинции). Под тем же предлогом моровой язвы прусский король протянул кордон по реке Нетце. Станислав-Август был очень встревожен этим распоряжением, подозревая, что пруссаки останутся навсегда в занятой ими местности. Несмотря, однако, на все эти страхи, несмотря на то что конфедераты провозгласили, что он свергнут с престола, и объявили междуцарствие, король не думал переменять своего поведения относительно России. Волконский счел нужным поговорить еще с ним и, чтоб придать больше силы своим представлениям и умножить страх в короле, пригласил и Бенуа ехать вместе с ним. Посол начал разговор вопросом, будет ли король содействовать русскому и прусскому дворам относительно умирения Польши. *Король:* Мне надобно знать наперед, на каких условиях начнется это успокоение. *Волконский:* Эти условия: 1) удержание основных законов; 2) гарантия, которую и король прусский также даст; не противно будет России, если венский двор захочет то же сделать по окончании всего; 3) если диссиденты вследствие переговоров своих с республикою добровольно захотят уступить что-нибудь из своих преимуществ, то Россия препятствовать им в этом не будет. *Король*: Этого недостаточно; надобно мне прежде войти в бóльшие подробности. *Волконский:* Странно, что, когда дело идет об удержании и утверждении вашего величества на престоле и об успокоении целого государства, хотите еще предписывать какие-нибудь условия; нужно одно, чтоб пред началом дела вы удалили своих советников. *Король:* Стыдно бы мне было отнять свою доверенность у таких людей, на которых во всем полагаться я имею многие причины. *Волконский:* Если ваше величество от них не отстанете, то мы без вас и одни начнем, а вы можете присоединиться после. *Король* (с жаром): В каком утеснении и несчастии я ни нахожусь, но лучше сам пропаду, чем позволю себе предписывать, кого я должен иметь в доверенности. *Волконский:* Эти люди виновники всех ваших несчастий; они втянули вас в поступки, несогласные с дружбою к ее импер. величеству, их промыслом и последний сенатский совет сделан. *Король:* Что ж было дурного в сенатском совете, когда мы хотели просить императрицу об отмене сделанного насилием чрез Репнина? *Волконский:* Никакого насилия не было, да и можно ли было ему быть, когда все делалось торжественно с таким множеством людей и отправлено было к императрице посольство с торжественною просьбою. *Ко-*

роль: Это посольство было отправлено без моей воли; а между тем нация меня ненавидит, думая, что я во всем, и особенно в захвате Солтыка с товарищами, был согласен с Репниным. *Волконский:* Без нашего согласия и королем бы вы не были. Когда кн. Репнин находился здесь, то жалоб на него не было, а стали говорить после его отъезда. После этого можно говорить о всяких договорах, если не полюбятся, что заключены по принуждению. Советники вашего величества это говорят теперь потому, что сделанное на последнем сейме им не полюбилось, но если они вскоре не переменят своего поведения, то с ними поступлено будет еще строже, чем с Солтыком. *Король* (с сердцем): А там очередь и до меня дойдет! *Волконский:* Напрасно ваше величество себя с ними смешиваете; дружба всемилостивейшей государыни довольно вам доказана, ибо она возвела вас на престол и удерживает на нем, а если б отняла свою руку помощи, то уже давно произошли из этого дурные для вас последствия, как то доказывают последние универсалы о междуцарствии. *Бенуа:* Чарторыйские хорошо бы сделали, если б сложили чины и удалились отсюда; этим оказали бы они и вашему величеству услугу, и отечеству принесли бы пользу. *Король:* Если б они и захотели это сделать, то на их места других без сейма определить нельзя. Я не знаю, в чем их обвиняют. *Волконский:* Вину их доказывают все их против нас поступки. *Король* (с жаром по-немецки): Если хотели отомстить, то уже отомстили. *Волконский:* Это не мщение, а наказание. *Король* (с запальчивостию): Как чужих подданных можно наказывать? *Волконский* (вставши со стула): Никогда я не думал, чтоб ваше величество такое слово могли выговорить, донесу обо всем своему двору. *Король* (также вставши): Я никак министров своих оставить не могу. *Волконский:* Они не ваши министры, а республики. Сказавши это, он откланялся королю; то же сделал и Бенуа. На другой день вечером к Волконскому приехал граф Флемминг от короля с объявлением, что он, король, к русской конфедерации пристанет, когда она состоится, а советников своих от себя не удалит. «Обо всем напишу ко двору», — велел отвечать Волконский.

Так как императрица не соглашалась на реконфедерацию, то Волконский начал стараться об усилении своей партии, которую он назвал *патриотическою* Он объявил членам этой партии главные пункты, на которых должно последовать успокоение Польши. Когда Волконский показал эти пункты Бенуа, тот объявил, что желал бы сделать в них некоторую перемену. Перемена состояла в том, что он вычеркнул место, где говорилось, что Россия и Пруссия гарантируют владения Польской республики. «Мы, — сказал Бенуа, — такой гарантии на себя не возьмем, ибо тогда по малейшему поводу нам надо было бы начинать войну за Польшу». — «Сей поступок

г. Бенуа показался мне довольно важным, — писал Волконский Панину. — Мне неизвестны секреты кабинетов, но я осмелюсь представить мое сомнение, которое происходит только от наружностей и другого основания не имеет, как выше писанный поступок и кордон прусский, по реке Нетц протянутый, а теперь вновь и чрез Жмудь до Курляндии продолженный, что нет ли у его прусского величества намерения, пользуясь обстоятельствами, и совсем к рукам прибрать сию захваченную часть Польши?» А Бенуа еще в марте месяце доносил своему государю: «Волконский того мнения, чтоб вывести русские войска из Польши и предоставить поляков самим себе, а если они нарушат Оливский мир, т. е. запретят диссидентам свободное отправление их религии, то Россия и Пруссия должны отобрать у них ближайшие провинции и позволить австрийцам сделать то же». Извещая Фридриха II об австрийском захвате польских земель, Бенуа доносил, что Волконский настоятельно советует последовать примеру венского двора[142].

Над Турциею торжествовали блестящие победы, поражение Турции было вместе и поражение Франции, а между тем в соседней державе, которой границы были так близки к Петербургу, утверждалось правилом, что самые естественные ее союзницы суть Франция и Турция. В Швеции Франция брала перевес, а по недавнему опыту было известно, к чему ведет такой перевес в соседних с Россиею странах.

От 20 января Остерман дал знать своему двору, что накануне *заботливый* сейм кончился с довольною *конфузиею:* против прежнего сейма число недовольных если не утроилось, то по крайней мере удвоилось. Остерман хвалился, что самые вредные замыслы противной партии не удались. Первое покушение этой партии состояло в том, чтоб ее приверженцам, бывшим во французской службе и впредь в нее поступающим, выхлопотать повышение чина против офицеров, остающихся в Швеции, что дало бы французскому двору свободное поле для умножения своих креатур и господство в офицерском производстве, но это не удалось. Потом старались отсрочить будущий сейм на шесть лет и постановить, что сейм не должен быть созван прежде этого срока даже и в случае неприятельского нападения. «Мы, — писал Остерман, — употребили все силы, чтоб и это не прошло, ибо в противном случае враждебная партия пустым предлогом опасности с нашей стороны могла привести в движение целую армию. Не меньше чувствительна ей была неудача предложения отправить в Финляндию войска для крепостных работ, ибо этою неудачею пресеклись ее замыслы произвести на наших границах движения, хвастаться в Константинополе, получить выгоды от Франции, заставить наш двор требовать объяснения и превратить это объяснение в угрозы. Злоба графа Ферзена

дошла до того, что он сказал двоим благонамеренным: «Ваше требование, чтоб не посылать войск в Финляндию, есть требование русское». Те отвечали: «А ваше упорство в поддержке предложения есть французское; государство по милости Франции уже дважды было вплетено в войну и потому не может терпеть, чтоб это случилось и в третий раз». Благонамеренным удалось удержать одного из своих прежних депутатов в банке, этим выиграно по крайней мере то, что можно знать, как там будут идти дела. Одним словом, в течение этого месяца сила наших соперников была очень ослаблена и они принуждены были во многом уступить, чему доказательством служит назначение пенсии всем отрешенным сенаторам и недопущение дальнейшего гонения благонамеренных. Наша партия совершенно бы разрушилась, если б я не успел после праздников возвратить сюда благонамеренных и содержать их, занявши денег у банкира, в ежедневном ожидании обещанных мне 50 000 рублей. Выведите меня из наисильнейшего беспокойства высылкою этой обещанной суммы. Я бы не отчаялся выполнить и другого вашего предписания ввести благонамеренных сенаторов опять в Сенат, если б не было недостатка в деньгах и мог я отважиться на продление сейма; но от английского двора требуемые 18 000 фунтов вовсе не были присланы, и от датского не было ничего получено. Также если двор выхлопотал уплату своих долгов, то и это произошло от невозможности продлить сейм, не имея денег, тогда как со стороны короля и королевы розданы были знатные подарки; не говорю уже о содействии кронпринца, который унизился до того, что пригласил к своему партикулярному столу бургомистра Шанца и призвал к себе оратора крестьянского чина, которого уговаривал более двух часов».

Остерман был выведен из наисильнейшего беспокойства: 50 000 рублей были ему посланы. Вслед за тем он сообщил своему двору программу, или завещание, секретной комиссии, как должно было поступать до будущего сейма. Прежде всего предписывалось сохранение мира, почему запрещалось вступать с другими державами в оборонительные союзы, равно как приступать к северной системе, ибо это приступление не только не сходно с шведским интересом, но и странно, несообразительно. Естественно, дружественными Швеции державами обозначены Франция и Турция, потом Испания и Австрия. Теснейшее соединение с Англиею должно быть отклонено, потому что эта держава самая завистливая относительно шведской торговли и промышленности. Русский двор — самый опасный для Швеции сосед, и потому теснейшее соединение с ним неестественно и невозможно, но должно отстранять все, что бы могло повести к нарушению доброго согласия. Императрица написала на этом донесении Остермана: «Что б в своем тестаменте государственные чины

ни говорили, однако всякий швед, любящий свою вольность, признать должен, что Россия есть твердейшая подпора их вольности, что графу Остерману надлежит предписать твердить почаще шведам, привязанным к вольности своей».

В феврале прусский посланник при шведском дворе Кокцей объявил Остерману именем своего государя, что брат королевский принц Генрих намерен летом посетить сестру свою королеву шведскую и что Фридрих II даст ему наставление склонить королеву «на лучшие против настоящих мысли». А между тем Синклер с сообщниками твердил, что, пока королю не дана будет полная власть, до тех пор никакого порядка в делах не будет, и этим господам тем легче было действовать, что большая часть градоначальников принадлежала к их партии. Английский посланник объявил Остерману, что по окончании сейма уже два раза получил от своего министерства уведомление о французском замысле произвести внезапный переворот в шведской конституции и что дело будет окончательно улажено, когда наследный шведский принц приедет во Францию, чего герцог Шуазель с нетерпением требует. Злонамеренные уже составили в глубочайшей тайне план новой формы правления и старались преклонить к своим видам и благонамеренных. Те волновались, но Остерман писал Панину зловещие слова: «Вашему сиятельству самим по бытности вашей здесь обыкновенная робость благонамеренных известна». В конце концов для их поддержки Остерман требовал денег.

Принц Генрих приехал в Швецию. Как видно, действительно, целию поездки было склонить шведскую королеву «на лучшие против настоящих мысли», что видно из следующего письма принца Генриха к брату королю: «Кажется, интригам Шуазеля посчастливилось только в Швеции; Франция постоянно поддерживала свою партию в этом королевстве со времени Густава-Адольфа; теперь она совершенно взяла верх. К такому счастию сестра не привыкла; боюсь заодно с вами, любезнейший брат, чтоб она не дала благополучию увлечь себя. Трудно уметь остановиться, когда счастие благоприятствует». Это было писано еще летом 1769 года. Когда принц Генрих был уже в Швеции, то Фридрих писал ему: «Я восхищен, что у сестры такие хорошие мысли. Пусть она остается с своими французами, сколько хочет, лишь бы сохраняла необходимую умеренность с русскими, чтоб вражда между Россиею и Швециею не усиливалась» [143].

В письме к Панину от 14 сентября Остерман описывал разговор свой с принцем Генрихом. Принц начал с того, что по приказанию государя, своего брата, он не оставил своей сестре и королю внушить о необходимости сохранить дружбу с русскою императрицею и уклоняться от всех поступков,

которые могли бы повести к холодности. Король и королева отвечали, что они никогда не удалялись от дружбы с императрицею и, не имея никакой причины к неудовольствию, будут стараться всячески сохранить эту дружбу и на будущее время. Что же касается причины их удаления от людей, бывших прежде им преданными, то она заключается в намерении этих людей отрубить головы своим соперникам в отмщение за события 1756 года; король и королева не могли их до этого допустить, а, напротив, желали согласить обе партии, чему были рады и самые вожди благонамеренных. Остерман отвечал, что ему лучше всех известны желания благонамеренных и он может честию уверить принца, что никогда и в ум не приходило мстить противной партии, да и не могло придти в ум вследствие точного приказания императрицы ему, Остерману, отклонять благонамеренных от всякого гонения. Принц сказал на это, что король и королева уверены в этом приказании императрицы и против него, Остермана, не имеют никакого личного неудовольствия, но некоторые из благонамеренных своими частными внушениями русскому двору старались поссорить императрицу с королем и королевою. Остерман отвечал, что все это выдумано; что же касается покровительства, оказываемого королем и королевою людям, враждебным России, то принц сам легко поймет, как это несходно с русским интересом по различию этого интереса с французским. «Я говорил об этом с королем и королевою, — отвечал принц, — и они мне отвечали уверением, что никогда не слыхали о намерении людей, о которых идет речь, начать войну с Россиею и что они, король и королева, только теперь отдохнули, получивши Сенат, согласный с ними». — «Такое же спокойствие, — сказал Остерман, — их величества могли бы получить, если бы одинаковую милость оказывали и к прежнему Сенату». Принц заключил разговор тем, что королева, его сестра, обещала ему вести себя спокойнее. «Я, — писал Остерман Панину, — за верно ведаю, что он (принц) и действительно в перемене своей сестры поведения всеми образы стараться изволил, и, может быть, и не без некоторого успеха, ежели б тому много не воспрепятствовали потаенные и от него знатно скрываемые с французским двором условления, и шведский кронпринц, который с божбою главнейших французских креатур уверил, что он никогда во всю свою жизнь от них не отстанет. Сие, без сумнения, есть причиною, что те французские креатуры давно уже, а особливо после прибытия сюда прусского принца, публично королеву порочат и, напротиву того, всеми образы прославляют означенного ее сына особливые качества».

В Петербурге очень беспокоились насчет исхода шведских движений, что видно из рескрипта императрицы к Остерману от 19 июля: «Время изо дня в день нас более удостоверяет,

что злонамеренная в Швеции партия из дворовых и французских креатур нимало не отстает от своего намерения потрясти и ниспровергнуть вконец законную форму правления, даже всеми силами и способами стремятся ускорить еще событие, определив бытность кронпринца во Франции временем решительного установления своего плана и принятия последних и крайних мер к первому сейму». Императрица объявляла в рескрипте, что для противодействия злонамеренных приказала перевести Остерману 30 000 рублей и что Дания и Англия согласились помогать России в этих расходах [144].

Отношения к Дании в начале года благодаря Бернсторфу были такие, каких лучше нельзя было желать. Так, когда Философов представил, что датский посланник во Франции Глейхен вреден для общих интересов России и Дании, то Глейхен был перемещен из Франции в Неаполь. Шуазель сильно рассердился и позволил себе написать Бернсторфу, что тот действует по приказанию русского двора, для слепого угождения которому забывает интересы собственного государя. В мае король согласился давать третью часть издержек по делам шведским. Но в то же время Философов присылал известия, что при датском дворе большая смута, король находится под сильным влиянием жены своей (Каролины-Матильды, сестры английского короля) и фаворитов, а королева явно показывает свое отвращение к графу Бернсторфу. Она овладела королем с помощию двух приближенных к нему и к ней людей: бывшего лейб-медика, а теперь конференции советника Струензе, человека «весьма дерзких мыслей и своевольного поведения», и камергера Варнстета, человека крайне молодого. Министры бурбонских дворов и шведский стараются сблизиться с партиею королевы и ввести к ней в милость людей, преданных французским интересам; королева же, женщина вспыльчивая и преданная сластолюбивой жизни, принимает советы одних тех, которые угождают ее страстям. К несчастию, здоровье Философова расстроилось и заставило его летом уехать на пирмонтские воды, что лишило Бернсторфа совета и помощи. По возвращении из Пирмонта в августе месяце Философов писал Панину, что смутное положение должно скоро рушиться и принять какой-нибудь основательный вид: всеобщее негодование народное и неудовольствие благоразумных, крайнее расстройство короля в поведении и здоровье, которое, очевидно, ослабевает от страшно беспорядочной жизни, не могут позволить долго устоять «тленному и на тленных основаниях устроенному настоящему положению сего двора».

5 сентября Философов уведомил императрицу, что накануне Бернсторф лишился места, а известный враждою к России граф Ранцау сделан министром.

Христиан VII счел нужным собственноручным письмом уведомить императрицу об отставке Бернсторфа. «Бывают случаи, — писал король от 16 сентября, — когда государи облегчают тяжесть дел, сообщая непосредственно друг другу свои чувства. Такой случай настает теперь. Побуждения, относящиеся единственно к внутреннему управлению государством, заставили меня удалить от дел графа Бернсторфа, и так как он главным образом принимал участие в переговорах между нами, то я спешу уверить в. и. величество, что эта перемена не произведет никакого уклонения в наших делах и что я желаю всего более поддержать постоянное доброе согласие, установленное между нами». Императрица отвечала ему (18 октября): «Мне уже за 40 лет, у меня, быть может, есть некоторая опытность, у меня много постоянства и великое уважение к истине. Как ваша союзница, родственница, как друг ваш, я считаю своею обязанностию сказать в. величеству все, что я думаю. Я не жду большого успеха от своего поступка. Я не сомневаюсь, что найдутся люди неблагонамеренные, которые объяснят его по-своему. Они скажут, что я хочу управлять волею в. в-ства, что я вам даю уроки. Они внушат вам недоверие и этим укрепят свои дела и достигнут своей цели, т. е. уничтожат взаимное доверие, которое, по счастию, существовало между нами. Ваше в-ство употребите свою власть, как вам будет угодно; я исполню то, что внушает мне долг. Вот что я вам скажу. Перемена старых слуг, ревностных, искусных и разумных, есть всегда великое зло для государства, потому что, по моему мнению, всякая перемена сама по себе есть уже зло, если общее благо не требует ее непременно. На этот раз наши общие враги (надобно ли их называть?) — французы сумеют воспользоваться опалою министра, который любил великий Северный союз, на руках которого союз этот образовался, и дадут многим и многим делам не только в Дании, но и повсюду такой ход, какой надобен для их отдаленных видов. Ваше в-ство против воли своей дадите начало бесчисленному множеству интриг, движений и гадостей. Мое пророчество начнет сбываться с Швеции. Там французская партия уже торжествует при одном слухе об этом событии. Моя откровенность обязывает меня сказать в. в-ству, что люди, присоветовавшие вам такой поспешный поступок, не обратили никакого внимания на вашу собственную славу. Слава государя требует великого постоянства в его планах, но какое может быть постоянство, когда люди, которые исполняют эти планы, знают дело и руководящие начала, часто переменяются или постоянно боятся перемены, когда люди самые опытные заменяются людьми, имеющими меньшую опытность. Только время дает опытность, никакие качества, никакой ум ее не восполнят. Доверие народов к государям не подчинено акту власти, оно

составляет награду за мудрое царствование. То же служит основанием и взаимной доверенности между дворами. Оно много зависит также и от людей, которым государь поручает свои дела. Признаюсь, что относительно нашей системы я питала полное доверие к графу Бернсторфу, которого великие достоинства и способность мне известны: я за ним следила, изучала его двадцать лет. Я на него смотрю как на второй экземпляр графа Панина, которого я давно уже подарила моим доверием вследствие важности его заслуг и неизменной дружбы моей к нему». Король отвечал благодарностию за дружбу, доказательство которой видел в письме Екатерины, и продолжал уверять, что отставка Бернсторфа произошла не вследствие интриг, а по собственному его королевскому побуждению. Между тем 14 сентября Философов отправил королю письмо, в котором говорил, что назначение Ранцау министром находится в полном противоречии тесному союзу, существующему между Россиею и Даниею, ибо Ранцау известен своею враждебностию к России; в конце письма Философов выражал надежду, что Ранцау будет удален от дел и двора. Король велел отвечать, что он с великим удовольствием принимает заключающиеся в начале письма уверения в доверии и дружбе императрицы и с своей стороны будет пользоваться всяким случаем для доказательства, как искренне старается он поддержать согласие, существующее между Даниею и Россиею. Что же касается дальнейшего содержания письма, то его величество не считает нужным отвечать на него, ибо не может себе представить, чтоб императрица поручила своему посланнику делать такие внушения, и вообще поведение Философова слишком удаляется от формы, которая обыкновенно соблюдается между дружественными и союзными дворами. Тогда императрица приказала Философову выехать из Копенгагена в Петербург под предлогом расстроенного здоровья, а поверенным в делах был назначен секретарь посольства Местмахер, как человек, способный «для примечания тамошнего колобродства», по выражению Панина.

Король собственноручным письмом уведомил императрицу, что министром иностранных дел назначил Остена именно потому, что он был посланником в Петербурге и лично известен ее величеству. Местмахер уведомил Панина, что отрешенные благонамеренные министры передали ему, будто Остен прямо объявил королю, что не может принять министерского места, если король не предпишет ему стараться всеми средствами распространять и укреплять дружбу с русским двором и будто король с радостию на это согласился. В конце года Местмахер писал Панину, что Остен, «как проницательный интриган», сохраняя тесную связь с господствующею при дворе «развратною шайкою», под рукою старается всеми

средствами приобрести себе доверие разумных и влиятельных в народе людей, выказывает пред ними сожаление о настоящем положении дел при дворе, клянется в своей ревности к сохранению и утверждению тесной дружбы между Даниею и Россиею. Остен подослал доверенного человека к Местмахеру, чтоб заявить ему свою непоколебимую преданность русскому двору. Когда Местмахер приехал к нему в первый раз, то Остен встретил его словами: «Я принял настоящую должность в единственном твердом намерении посвятить свою деятельность большему утверждению связи между Россиею и Даниею, так как сам я вечно и нелицемерно предан ее величеству. Правда, я имел несчастие, что неприятели мои успели навлечь на меня немилость вашей великой и премудрой государыни и ее просвещенного министра, но клянусь честию, что это обстоятельство нисколько не уменьшило моего благоговения к ее императ. величеству и нелицемерного высокопочитания к графу Панину. Я чувствую и всегда чувствовал великую пользу для всего Севера от тесной связи между Россиею и Даниею, и хотя бы я и не претерпел от французского двора таких частых гонений, то одно убеждение в пользе русского союза достаточно для отклонения меня от всякого сношения с гордо-лукавою Франциею». Местмахер отвечал: «Оставляя все на собственное решение императрицы, я со своей стороны не могу скрыть, как меня сокрушает здешнее поведение в последнее время, тем более что, как кажется, оно продиктовано французским двором; но, видя такую вашу благонамеренность, ожидаю, что вы не оставите поправить дела». Остен пожал плечами и сказал: «Время теперь к этому еще неудобно, но употреблю все силы и поручаю вам просить всенижайше графа Панина еще теперь не очень строго поступать по этому делу». Конференции советник Шумахер, с которым Местмахер имел тайное свидание, просил о том же, говоря, что настоящее положение двора не может быть продолжительно, ибо Остен постарается скинуть с себя несносное иго молодых и безрассудных фаворитов, чего нельзя сделать без низвержения их самих, и если теперь русский двор потребует строгого и справедливого удовлетворения, то король по советам беспутных фаворитов может слепо отдаться во французские руки [145]

Об этих датских событиях мы находим отзывы Екатерины в письмах ее к госпоже Бельке. «Граф Ранцау, — писала императрица, — разогнал людей достойных и министров искусных, в числе которых, разумеется, стоит достойный граф Бернсторф; другие употребляют все усилия для отыскания подобных людей, а этот ребенок-король от них отделывается, но тем хуже для него. Если граф Ранцау произведет перемену системы, как вы пишете, то это будет мастерское произведение глупости и мы увидим, кто от этого сильнее будет ку-

сать себе пальцы. К графу Бернсторфу я питаю величайшее уважение, его уважение для меня лестно. Я была истинно огорчена его опалою, его заслуга и достоинство во всяком случае заслуживали лучшей участи. Господин Остен, думаю, так умен, что не позволит себе участвовать в нелепостях графа Ранцау; он может меня знать, и если действительно знает, то должен быть уверен, что интригами против людей, получивших от меня свои места, нельзя приобрести моего доверия, только сумасшедшие, молокососы и дети могут судить о других по себе и жестоко ошибаться. Это в порядке вещей, но если г Остен не потерял в Неаполе здравого смысла, то я должна предполагать, что он никак не решится на такие странности, а если решится, то даю вам слово, что промахнется и только получит репутацию интригана, потерявшего понапрасну свои труды При виде постоянной суеты в Дании можно сказать, что эта страна кишит людьми, способными занимать важные места; каждую минуту происходят там перемещения; переменяют людей с такою же легкостию, с какою королева переменяет юпки, если только она их еще носит. Я бы хотела, чтоб Ранцау сделали поскорее великим визирем Дании, если он причиною всего зла, ибо тогда с ним случилось бы то же, что случается обыкновенно с визирями по прошествии некоторого времени Визири такие же льстецы, как и он; это они выдумали все нелепые титулы, употребляемые султаном; а Ранцау сказал своему государю, что он служит удивлением всей Европы Чем больше королева даст помощников Струензе, тем более надежды, что он ей опротивеет. Все это и королевские оргии приводят в ужас: вот ребятишки, которых бы надобно было посечь. Только бог может спасти эту несчастную страну» [146].

В Швеции было решено не приступать к русской северной системе, события при копенгагенском дворе грозили возможностию подобного решения и здесь, что производило очень неприятное впечатление в Петербурге. Англия по-прежнему хлопотала о союзе, и по-прежнему дело не улаживалось. Английский посланник лорд Каткарт приписал эту неудачу несогласию между двумя самыми влиятельными лицами при русском дворе, графами Паниным и Орловым, и решился помирить их «Когда граф Панин и граф Орлов сходятся во мнениях, то дело идет очень легко, — писал Каткарт своему министерству, — но когда графу Орлову можно внушить другие идеи, то выдвигается граф Чернышев и его друзья Голицыны, особенно первый, и это обстоятельство кроме всех других неудобств как следствий несогласия проволакивает время, пока императрица не помирит обоих графов». Теперь вместо императрицы Каткарт взялся за это примирение и обратился к Сальдерну с похвалами графу Орлову· и граф Орлов прекрасныи человек, а о графе Панине и говорить нечего,

неужели же трудно таким достойным людям помириться, а если бы и была трудность, то ее должно отстранить, ибо этого требуют их собственные интересы, интересы императорской фамилии и государства. «Совершенно справедливо,—отвечал Сальдерн, — я и сам часто говорил об этом графу Панину. но дело чрезвычайно трудное, деликатное. Оба они очень застенчивы; я не раз сводил их и оставлял одних, но я уверен, что никто из них первый не решится начать объяснение». Когда Каткарт предложил свое посредничество, то Сальдерн отвечал, что это принесет ему большую честь и пользу, но опасается, что с обеих сторон будет получен один ответ: «Мы находимся друг с другом в наилучших отношениях».

Несмотря на это, Каткарт принялся за дело при первом удобном случае. Панин хвалил Орлова, Орлов — Панина. Орлов был разговорчивее, выразил сожаление, что незнаком с Паниным ближе, что между ними разница в летах, занятиях, удовольствиях, редко встречаются, кроме совещаний по особенным делам, а тут обыкновенно он, Орлов, по своей живости перебивает методическое изложение Панина, как скоро ему покажется, что понял, к чему тот клонил речь, Панин хмурится, а он умолкает, и, таким образом, дело останавливается и мешает ходу других, что он, Орлов, желал бы встречаться с Паниным чаще без определенного занятия и что в общем свободном разговоре они сделали бы гораздо больше. Он всю вину складывал на собственную нетерпеливость и недостаток методы и отдавал полную справедливость знаниям и способности Панина. Каткарт передал свой разговор с Орловым Панину, и тот очень благодарил его. Хотя после этого не было ни с чьей стороны ни малейшей речи о чем-нибудь подобном, однако Каткарт дал знать в Лондон, что заметил очевидную перемену, которая заключалась в том, что императрица гораздо ласковее стала обращаться с великим князем и публично обращать на него бóльшее внимание; граф Орлов стал относиться к нему с особенным уважением; обращение его с Паниным начало отличаться большою приязнию; они стали сговариваться между собою о делах, прежде чем идти в Совет. Все этим довольны, кроме Захара Чернышева.

Когда таким образом в Англии могли думать, что ее министр при петербургском дворе оказанием важной услуги последнему должен был приобресть большое значение и, следовательно, может успешнее своих предшественников устроить заключение союза между Россиею и Англиею, в августе месяце граф Рошфор сообщил лорду Каткарту королевское повеление воспользоваться первым удобным случаем и предложить графу Панину союз, по-видимому, с отстранением камня преткновения, который мешал прежде его заключению; по-видимому, Англия соглашалась включить и

Турцию в случай союза (casus foederis), обязываясь выставлять известное количество военных кораблей на всех европейских морях, а не на одном Балтийском. Но на самом деле Англия отстраняла возможность столкновения своего с Портою, представляя свое посредничество для заключения мира между Россиею и Турциею, причем английский король гарантирует мирный договор; посредничая при заключении мира, король будет настаивать, чтоб Турция уступила России Азов, кубанскую Татарию и все русские завоевания, сделанные на этой стороне, также право мореплавания по Черному морю. Но эта гарантия не может составить статьи в союзном договоре между Россиею и Англиею, чтобы не возбудить в Порте подозрения относительно благоприятных для России видов короля, и потому до удобного времени Россия должна положиться в этом на честь великобританского государя Прежние проекты союзного договора существенно изменялись также в том, что в случае нападения на Англию Россия обязывалась выставлять ей на помощь не сухопутное войско, а 14 военных кораблей, признавая случаем союза нападение какой бы то ни было европейской державы на Англию в Америке или Ост-Индии

Еще до получения этой бумаги Каткарт должен был уведомить Рошфора, что дело примирения между Орловым и Паниным рушилось будто бы потому, что императрица жила на даче, а граф Панин в городе Хитрые люди (т. е. Захар Чернышев) убедили Орлова взять на себя ведение турецких и польских дел, что повело к сильному столкновению между ним и Паниным, так что последний стал просить императрицу уволить его от управления иностранными делами, но Екатерина, разумеется, удержала его Между тем в Англии получено было тревожное известие, что Порта просила соединенного посредничества Австрии и Пруссии, присоединяя в случае их согласия и Англию. Рошфор писал Каткарту, что если бы союзный договор между Россиею и Англиею был подписан и если бы Россия поставила посредничество Англии при мирных переговорах между нею и Портою непременным условием (sine qua non), то король мог бы принять это посредничество; но если союз будет по-прежнему отклонен, посредничество Австрии принято и Россия пригласит английского короля к посредничеству в таком тоне, что это будет похоже на пустой комплимент, то Каткарт должен выразить русскому министерству опасение, что такое посредничество может быть сочтено неприличным достоинству английского короля Панин объяснил Каткарту с полною откровенностию весь ход дела по мирным переговорам, сообщил вполне содержание письма императрицы к прусскому королю в ответ на предложение посредничества, сообщил прежде, чем оно было известно Совету и графу Сольмсу, «в доказательство

безграничного доверия и внимательности императрицы». Учтивостям не было конца, но проект союзного договора, предложенный Каткартом, имел участь предшествовавших. По заключении мира с турками не предвиделось новой войны, в которой понадобилась бы морская помощь Англии, а между тем столкновения Англии с Испаниею в Южной Америке легко могли повести к войне между ними, в которую вовлечена была бы и Россия, если бы заключила с Англиею союзный договор. Понятно, что это заключение встретило в Петербурге сильнейшие возражения. Говорили, что Россия блистательным образом вела войну одна, без союзников и не должна делать новые усилия и издержки прежде, чем отдохнет; другое дело, если б предлагаемый договор заключал в себе все желаемые выгоды, но этого нет. Английская гарантия мирного договора с Портою обусловлена была посредничеством, а посредничества не желали, тем более что условия турецкого мира, предлагаемые Англиею, не могли казаться удовлетворительными. Как видно, громче всех против договора говорил граф Орлов, действовавший и тут по внушениям Чернышева, как уверял Каткарт; граф Орлов, писал последний, — честный человек и горячий друг Англии, но он считает себя русским патриотом. Его устами в Совете говорит оппозиция графу Панину в этом вопросе, Орлова подзадоривает и одобряет немое большинство, кроме старшего члена Совета графа Разумовского. Каткарт неуспех своего дела объяснял также внушениями гостя императрицы принца Генриха. В ноябре Каткарт имел с принцем продолжительный разговор и очень жалел, что императрица не могла его подслушать: по мнению Генриха, можно было сказать многое в оправдание турок по поводу задержания Обрезкова и что его освобождение составляет большую жертву для Порты, что в случае, если бы мир не состоялся, очевидный и неопровержимый интерес Англии требует взять сторону Порты против России для предупреждения окончательной гибели Оттоманской империи и что возрастающая морская сила России должна обратить на себя внимание, если не возбудит зависть в морских державах. Впрочем, Каткарт выражал сомнение, высказывал ли принц свои настоящие убеждения или говорил нарочно, чтоб выведать мнения английского посла.

Год проходил, а решительного ответа со стороны русского двора на предложение союза не было; и вот Каткарт, по обычаю посольскому, изображает состояние России в самом мрачном виде: императрица, по-видимому, не сознает настоящего положения и опасности своих дел; успехи сделали ее гордою и самонадеянною; министры недостаточно ей помогают, и она берет слишком много дел на себя и по разным причинам часто прерывается в своих занятиях. Граф

Панин от природы ленив, а в настоящую минуту раздражен и показывает вид, будто относится ко всему равнодушно, и так как это обстоятельство совпадает с его природным расположением, усиленным привычками, ненавистию и, быть может, отчаянием к возможности возвратить прошедшее, несмотря ни на какую деятельность, то это производит полный застой в делах. Три года назад он в высочайшей степени обладал доверием императрицы. Влияние это постепенно ослабевало и особенно упало в последнее время вследствие недостатка деятельности с его стороны; и я опасаюсь, что он не пользуется больше уважением. Граф Григорий Орлов ленив и чистосердечен, но доступен ловким и предприимчивым людям; его время проходит в рассеянии; несмотря на то что он чужд честолюбивых стремлений, его значение растет по мере упадка значения министров; и так как он ходатайствует у императрицы за своих друзей, то приобрел славу хорошего покровителя. Захар и Иван Чернышевы (Иван возвратился из Англии и занимал место вице-президента Адмиралтейской коллегии) деятельны, ловки, предприимчивы, способны запутать дело, но не руководить им; они стараются подняться падением министра. Прочие члены Совета не имеют значения. Вследствие таких отношений никакое дело не приводится к концу; императрица недовольна, хотя обстоятельства не дают средств помочь положению; внешние и внутренние дела пренебрежены, и не принимаются никакие предосторожности против событий, какие могут быть вызваны временем и будут гибельны или благоприятны, смотря по степени предвидения их. Императрица стареет; великий князь приближается к совершеннолетию; и не предпринимается ничего на тот случай, когда он из ребенка сделается наследником престола, тогда как было раз объявлено, что мать сохраняет корону только до его совершеннолетия; теперь он по летам почти способен носить корону, по уму он способен оценить, а по характеру чувствовать и помнить то, что теперь делается. Ничего не сделано относительно беспорядочного датского двора, ничего относительно жалкой республики Польской, мало относительно Швеции, не дается решительного ответа на ясный вопрос Англии относительно союза, вопрос, сделанный в начале сентября. Мирные переговоры с Портою остановились; ожидается третья кампания; и кто поручится, что вследствие такого поведения не потребуется и четвертая? Никто не доверяет главнокомандующему Первою армиею; генерал-квартирмейстер Баур находится в открытой вражде с ним и пользуется доверием и милостями императрицы; граф Орлов ненавидим генералами и обожаем солдатами. Обе армии раздражены; офицеры всех чинов выходят в отставку; люди измучены болезнями, усталостью и

дурным управлением, более разрушительным, чем неприятельское оружие, рекрутские наборы пагубны для огромной, но малозаселенной страны. Флот в архипелаге дурно построен, дурно управляется и дурно уплачивается. Между офицерами раздоры, а между матросами — болезни; Дарданеллы неприступны; блокада Константинополя бесполезна. Бесконечные расходы, насилия в Польше; ни одного верного шага к умиротворению; большие расходы и потери от отлива монеты в Польшу и на флот; никаких средств занять денег в чужих странах, никаких средств собрать их внутри государства новыми налогами. Казна еще не истощена, но очень оскудела. Средства банка пересилены, и дела пойдут еще хуже, так как все подати скоро будут выплачиваться ассигнациями: звонкая монета истрачена и становится очень редкою. Ввоз монеты из-за границы совершенно запрещен для избежания чекана короля прусского и других государей, которые воспользовались бы понижением достоинства русской монеты В Польше ее берут по действительной ценности, и потому приходится вывозить ее туда в полтора раза больше Россия страдает недостатком людей способных, сведущих и честных, завистию и ненавистию к иностранцам и неспособностию своих ко всем делам, гражданским и военным. Между русскими нет согласия, любви, доверия; между ними господствует недостаток деятельности и одушевления, которые в других странах побуждают людей недовольных объявлять себя такими, противодействовать мерам, ими осуждаемым, и не иметь ничего общего с людьми, которых они считают врагами отечества [147].

А Екатерина писала Вольтеру как будто в ответ на депешу Каткарта: «Забавно, что турки уверяют, будто мы не можем долго вести войну. Если бы страсть не обладала этими людьми, то как могли они забыть, что Петр Великий вел войну в продолжение 30 лет то с этими самыми турками, то со шведами, то с поляками, то с персами, а империя не была доведена до крайности; напротив, Россия из каждой войны выходила более цветущею, чем была прежде; войны возбуждали промышленность; каждая из них порождала какой-нибудь новый источник, который давал новую жизнь торговле и оборотам Если так называемые государи христианские, держащие сторону мусульман, завидуют успехам этой войны, то должны винить самих себя: кто им велел возбуждать ее против меня, не предвидя последствий? В России все идет своим порядком; есть области, где почти не знают, что у нас два года война. Нигде нет ни в чем недостатка; поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся» [148]. Гораздо опаснее, по мнению Екатерины, было положение Австрии, что видно из секретной записки камер-юнкеру Але-

ксею Нарышкину, отправлявшемуся в Турин: «Венский двор оказывает, по-видимому, больше доброжелательности к туркам, смотря завистливым оком на успехи здешнего оружия и опасаясь, дабы Россия, удержав за собою Молдавию и Валахию, не сделалась чрез то непосредственным его соседом, отчего могли бы произойти со временем многие ему заботы в рассуждении живущих в близости его подданных единыя с валахами веры, ибо венский двор причину имеет опасаться больше здешнего соседства и инфлюенции в европейских делах, нежели турецкой» [149].

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

1771 год

Письмо Фридриха II к императрице Екатерине по поводу мирных условий с Турциею — Замечания Екатерины на это письмо — План кампании 1771 года — Постройка судов в дунайских княжествах — Жалобы Румянцева на неудовлетворительное состояние армии — Мелкая война на Дунае — Князь В М Долгорукий — начальник Второй армии на место графа П И Панина — Сношения с татарами — Необходимость военных действий против Крыма — Занятие полуострова русскими войсками — Бегство хана Селим Гирея — Новый хан Сагиб-Гирей — Избавление пленных христиан — Переговоры с ханом о независимости Крыма и об уступке крепостей России — Посольство в Петербург брата ханского калги Шагин-Гирея и поведение его здесь — Отношения к ногаям, кабардинцам и кумыкам — Окончание Кавказской экспедиции — Гр Алексей Орлов в Петербурге — Его возражения против приобретения Россиею острова на архипелаге — Противное мнение адмирала Спиридова — Орлов удаляет иностранцев из русской морской службы — Действия флота в 1771 году — Ответное письмо Екатерины Фридриху II относительно мирных условий с Портою — Виды Фридриха II на польскую Пруссию — Роль принца Генриха в разделе Польши — Отъезд принца Генриха из Петербурга — Настаивания Фридриха II на разделе Польши — Отношения России к этому вопросу — Отношения Австрии к нему — Разговор Фридриха II с австрийским послом о разделе Польши и мире России с Портою — Сношения России с Австриею по поводу турецкого мира — Дело о разделе Польши в Императорском совете — Австрия отвергает русские мирные условия — Возражения Екатерины на австрийские объяснения — Мнение Панина об уступке Молдавии и Валахии — Императрица не соглашается с этим мнением — Тревожное состояние императора Иосифа — Отношение венского двора к вопросу о разделе Польши — Тугутовский договор между Австриею и Турциею — Переговоры между Австриею и Пруссиею — Решения Совета вследствие враждебности Австрии — Фридрих требует, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, и внушает, что прусская доля из Польши должна быть увеличена — Постановка прусским королем условий мира между Россиею и Турциею — Возобновление переговоров между Россиею и Австриею — Австрийские условия мира между Россиею и Портою — Россия уступает требованиям Фридриха II и отказывается от дунайских княжеств — Фридрих торопит разделом Польши — Смена русского посла в Варшаве кн Волконского Сальдерном — Действия последнего — Отношения России к Швеции, Дании и Англии.

Если раздражение, обнаруженное Фридрихом II по прочтении русских мирных условий, было неискреннее, то, наоборот, вполне искренне было неудовольствие Екатерины, высказавшееся по прочтении письма прусского короля от 4 января (н. с) 1771 года «Если б зависело от меня, — писал Фридрих, — я без труда подписал бы мирные условия, требуемые от Порты в и в-ством В приобретениях ваших я видел бы усиление первого и самого дорогого из моих союзников, и приятна была бы мне возможность дать ему этот новый знак моей преданности Но надобно обращать внимание на множество различных интересов в таком сложном деле, как мирные переговоры, и потому не всегда можно позволять себе то, чего желаешь В этом положении нахожусь и я теперь Ваше и в-ство увидите из нового объявления Порты, сделанного мне и венскому двору, что г Обрезков будет освобожден немедленно, как только будет принята статья о посредничестве В. и в-ство спрашиваете меня, каково мое мнение насчет образа мыслей венского двора Я имею право думать, что он искренне желает возобновления мира в своем соседстве и в случае посредничества будет действовать беспристрастно, однако не согласится на мирные условия, прямо противоположные его интересам Внушения Франции до сих пор не поколебали его системы нейтралитета, но я не поручусь за его поведение в случае продолжения войны» В мемуаре, приложенном к письму, король заявлял, что он не может сделать никакого употребления из русских мирных условий ни в Константинополе, ни в Вене из боязни повредить русским интересам С одной стороны, новая декларация Порты доказывает неизменное решение вести переговоры только путем посредничества, до которого допускаются только Пруссия и Австрия; с другой — король видит невозможность заставить венский двор принять все русские мирные условия, король опасается, что сообщение условий побудит Австрию вооружиться против России. Турки ни за что не согласятся уступить Валахии и Молдавии, не согласятся также, чтоб чужая держава утвердилась в архипелаге, независимость крымских татар, которых хан может быть наследником оттоманского престола, встретит величайшее затруднение с турецкой стороны, и надобно бояться, чтобы Порта, доведенная до крайности, не бросилась в объятия венского двора и не уступила ему Белград и все свои завоевания в последнюю войну для приобретения его покровительства и помощи против России Австрия скорее решится на войну, чем позволит какое-нибудь изменение в положении Молдавии и Валахии; наконец, приобретение Россиею острова на архипелаге возбудит подозрение как в Вене, так и во всех итальянских государствах Напрасно было бы надеяться посредством самых обольстительных предложении заставить Австрию переменить свои взгляды на этот

предмет. Все, что русская императрица может получить, — это две Кабарды, Азов с округом и свободное плавание по Черному морю [150].

Прочтя письмо и мемуар, Екатерина написала Панину: «Моим первым условием было освобождение моего министра. Я думала, что совершаю великий подвиг умеренности, предлагая план, на основании которого я хотела вести мирные переговоры, и не думала я найти в прусском короле адвоката турок. Я не говорю о венском дворе; я не могу думать, чтоб ему приятнее было иметь соседями турок в Молдавии и Валахии, чем видеть эти области в руках государя, независимого от трех империй. Было бы желательно, чтоб перестали нам постоянно показывать вооруженную или поднятую руку Австрии, ибо Россия, подвергшись нападению, сумеет защититься, она не боится никого. С другой стороны, мы ведем мирные переговоры с турками, а не с венским двором, с которым у нас нет войны. Крым дальше от Вены, чем Молдавия и Валахия, а потому о нем не может быть и речи в переговорах с Австриею, для которой, может быть, выгоднее, чтобы он не возвращался под власть турок и имел независимого владетеля. Во всех этих бумагах (письмо и мемуар Фридриха) видно большое неудовольствие, мелкая зависть и угрозы; но эти угрозы не прямо от него, а все положено насчет венского двора, но когда увидят, что угрозами ничего не выиграют, то остальное найдется само собою. Держитесь крепко и ни шага назад; все обделается как нельзя лучше, а, если увидят, что мы гонимся за миром, получим мир дурной». Относительно турецкой декларации о посредничестве Австрии и Пруссии Екатерина заметила: «Правда, Порта может объявлять все, что хочет; правда и то, что ее объявление не может и не должно предписывать законов русскому двору. Порта, например, обнаруживает высокомерие невыносимое, требуя, чтоб Россия приняла посредников именно тех, которых она, Порта, выбрала, и желает сложить вину удаления от мира на Россию, если та не примет навязанных ей посредников. Но Россия не может их принять, потому что навлечет на себя большое порицание, если не сдержит слово пред дружественным государством, пред Англиею, которая дала столько доказательств дружбы, помогая ее флотом. Однако, чтоб с русской стороны сделать еще шаг к миру, можно предложить Порте после освобождения Обрезкова условиться о месте собрания конгресса» [151].

Такое положение дел, разумеется, должно было иметь сильное влияние на военные действия 1771 года. Ставился вопрос: мир или война? Дунай уже слыл Рубиконом, толковали, что переход чрез него поведет к продолжению и усложнению войны, и потом для перехода большого войска через Дунай нужны были средства, которых под руками не име-

лось; нужно было построить суда, на что требовалось время, следовательно, этим годом нечего было думать о переходе через Дунай. Еще 11 октября 1770 года в заседании Совета императрица объявила, что надобно помышлять о составлении плана для будущей кампании, и генерал-фельдцейгмейстер граф Орлов вызвался сочинить план. План был представлен Совету ровно через месяц, 11 ноября, и состоял в том, чтобы производить строение судов в обширных размерах, ограничивая военные действия одною обороною занятых областей; Орлов имел в виду употребить суда не для перехода только через Дунай, но для нападения на Константинополь, чтоб этим смелым действием принудить Порту заключить мир на всей воле победителей. Совет одобрил план и рассуждал, что «потребные по тому приготовления служат на все обороты, какие бы ни случились, и не токмо не произведут никакого препятства нынешнему состоянию дел, хотя б начались и мирные соглашения, но и могут еще способствовать ускорению оных и что по сему полезно произвесть их в действо, усилить притом армии и поставить их в лучшее пред нынешним состояние. Но чтоб не оставались оные в совершенном недействии будущего лета, Совет признавал за нужно учинить сильное предприятие на Крым, если обитающие на сем полуострове татары еще останутся в упорстве и не пристанут к отложившимся уже от Порты Оттоманской ордам». Но для похода на Крым должны были употребить Вторую армию, Первой же довольно было охранять Молдавию, Валахию и Бессарабию. Румянцеву Совет решил предписать, что действия Первой армии предоставляются его собственному усмотрению: пользуясь временем, он должен снабдить войска всем потребным и привести их в состояние действовать с твердостию на будущее время; не должен допускать неприятеля переходить на левую сторону Дуная; наступательные же действия должны ограничиться посылкою за Дунай некоторых отрядов, если главнокомандующий признает иногда это нужным. Впрочем, фельдмаршалу оставляли свободные руки пользоваться всем возможным при удобном времени и случае [152].

Главною заботою было строение судов. Еще в конце 1770 года флота капитан Ногаткин осмотрел в Молдавии леса, годные для этого дела, и начал их рубку. Императрица писала Румянцеву в марте 1771: «Российская есть пословица: на бога надейся, да сам не плошай. Весьма, конечно, желателен мир, но, не видав сему желанию начала, не то чтобы конец, нужно, несомненно, думать о будущем; в том разуме отправлены к вам морские офицеры для вымерения рек и осмотра лесов; но то и другое бесконечно будет, если вы да я не примемся прямо за дело. Построение судов и какие суда строить, в том большая нужда, если в 1772 году поспешить смелым предприятием конец бед рода человеческого; и для

того прошу вас приказать поскорее сделать какое ни на есть положение, что строить, где, кем и из чего, — одним словом, разбудить нерасторопность господ морских, и дайте жизни и живости сему предприятию, дабы время не ушло понапрасну и чрез то мы бы не были принуждены нести еще несколько лет тягостное бремя военного пламени». В апреле Екатерина уведомляла фельдмаршала, что она советовалась насчет постройки судов с искусным человеком, который в продолжение 53 лет своей морской службы перебывал на всех морях во всякое время года с английским адмиралом Ноллисом. Искусный человек сделал чертеж нового рода судов, которые по простоте своей оснастки могут управляться почти не знающими морского искусства людьми, способны ходить на гребле и на парусах и могут поднять от 3 до 4 сот человек с провиантом и пушками. «Прошу теперь всячески стараться, — писала императрица, — чтоб к построению сих судов, коих, что более, то лучше будет, хотя б несколько десятков, или, лучше сказать, как успеют, все надобное, как леса, так и работники, доставлены были к верфям. Что же до такелажа и прочих припасов касается, то они из Тулы и Брянска доставлены будут до Киева» [153].

А Румянцев жаловался на затруднительность своего положения, поправить которое блестящими победами вроде Кагульской не было надежды. Мы видели, что в Совете было решено поставить армию в лучшее пред прежним положение; и, действительно, вице-президент Военной коллегии граф Захар Чернышев представил, что рекрут назначено почти вдвое больше, чем сколько требовалось, именно в Первую армию — более 20 000 и во Вторую — с лишком 10 000 человек, что провианту заготовлено на весь 1771 год, что магазины мундирными и амуничными вещами наполнены для Первой армии в Киеве, а для Второй — в Севске. Все это было прекрасно в докладах Совету, но дело было в исполнении, нужно было скорее доставить на место и рекрут, и провиант, и амуничные вещи. В апреле Екатерина писала Румянцеву: «Что еще до вас не доставлены ни амуниция, ни рекруты, о том весьма тужу. Амуниция в Киеве осенью уже была; чаю, что чума много перевозу препятствовала, а о рекрутах слышу, что их внутри нашей границы обучали и обмундировывали. К будущему году амуницию теперь уже отправляют в Киев. Я ни единого вашего письма мимо ушей не пропускаю и всякий раз, что вижу какое ни на есть от вас требование, всячески стараюсь словом и делом, чтоб вы всем удовольствованы были и все препятствия отдалены и преодолены бы были, чего и впредь не упущу продолжать» [154]. Это не были милостивые фразы с целью отделаться от докук фельдмаршала; Екатерина по своей природе не могла не стараться всячески, словом и делом, удалять препятствия; но ее воле и власти были

пределы. Молдавия и Валахия не могли доставить надлежащего количества продовольствия для войска; находившиеся при русской армии отряды из турецких христиан, или так называемые арнауты, опустошали страну не менее турок, так что жители разбежались по лесам, и выманить их оттуда не было никакой возможности. Надобно было привозить запас из Польши, что сопряжено было с крайними затруднениями по недостатку перевозочных средств вследствие того же обнищания стран, занятых русским войском. Отсюда запоздалость в доставлении необходимых вещей, особенно для самого отдаленного отряда, действовавшего за рекою Ольтою; здесь генералы жаловались, что солдаты ходят без сапог, зимою в одних камзолах, им принуждены были давать половинное количество хлеба, вместо хлеба давали просо, кукурузу, часто испорченные вследствие долгого лежания в ямах. Для обоза и артиллерии недоставало лошадей; веревочная упряжь до того перегнила, что на каждых ста саженях надобно было останавливаться для исправления порвавшихся постромок. Также в печальном положении находились госпитали: здесь больные страдали от голоду и холоду вследствие дурного помещения, недостатка дров и необходимой для приготовления кушанья посуды [155].

Рекруты подходили медленно, у Румянцева было с небольшим 50 000 войска для защиты Бессарабии, Молдавии и Валахии. Его беспокоило стягивание австрийских войск к южным границам, хотя сама императрица старалась рассеять его опасения с этой стороны [156]. Беспокоили Румянцева слухи об уступке Молдавии и Валахии Порте при будущем мире, что ставило его в самые неприятные отношения к народонаселению этих стран. В апреле он писал Панину: «Удержание доброй к нам надежды народов, с нами единоверных, и избавление их, по-христиански разумея, должны нас влекти (влечь) больше, нежели все другие с сим несвойственные пользы» В августе он просил удаления из Ясс господаря Гики, который отвращал жителей от русских, представляя, что они скоро опять подпадут власти турок [157].

В 1770 году левый берег Дуная от Килии до Виддина был очищен от неприятеля; за турками оставались здесь только две крепости — Журжу и Турно. В 1771 году русская армия была расположена тремя отделами: правое крыло под начальством генерал-аншефа Олица оберегало страну между реками Серетом и Ольтою; левое крыло под начальством генерал-майора Вейсмана охраняло течение Дуная от Прута до Черного моря; наконец, центр под начальством самого главнокомандующего с главною квартирою в Максименах на Серете мог двинуться на помощь правому или левому крылу, смотря по тому, откуда явится сильное турецкое войско. Но турки не имели возможности явиться на левом берегу Дуная

с сильным войском; да если бы и была возможность, то воспоминание о Кагуле отнимало охоту у визиря предпринять наступление. Понятно, что австрийский и французский посланники передавали Порте убеждения своих правительств, что успех будет на той стороне, которая долее выдержит войну, и что для этого у Турции более средств, чем у России, что не должно давать русским войскам легких побед, а надобно истомить их продолжительностию борьбы. Таким образом, Румянцев не имел средств перейти со всем войском Дунай, турки также этого остерегались, и весь 1771 год прошел в мелкой войне, в которой участвовали только оба крыла русской армии. Понятно, что правое крыло должно было прежде всего направить свои движения на Журжу, чтоб отнять у турок последнее крепкое место на левом берегу Дуная, лишить их возможности вторгаться отсюда в Валахию. В феврале Журжа была взята, но в конце мая была обратно сдана туркам по малодушию коменданта майора Гензеля, артиллерийского офицера Колюбакина и инженера Ушакова. Получив известие о потере Журжи, Екатерина провела «не весьма веселые дни» [158]. Фельдмаршал предал военному суду офицеров журжинского гарнизона, подавших мнение о необходимости сдать крепость. По этому поводу Екатерина писала ему: «В рескрипте к вам написано, чтобы вы поступали с журжинским комендантом и с ним бывшими по всей строгости законов; но сим имею вам сказать, чтоб вы их смертию не казнили; а впрочем, накажите их так строго и с таким посрамлением, как вы заблагорассудите; они всего достойны, но в смерти их обществу нужды нет, ибо поносная жизнь гораздо более наказания чувствительной душе или душам, нежели смерть» [159]. В это время вследствие смерти генерала Олица правым крылом начальствовал князь Репнин. Турки, ободренные взятием Журжи, пошли было к Бухаресту, но под этим городом потерпели от Репнина поражение и принуждены бежать к Дунаю. По этому поводу Румянцев написал Репнину (14 июня): «С приношением моего поздравления в. с-ству о победе над гордым сераскером должен я вам из обязательств человека, и премного вам преданного, изъяснить: во всякое другое время сие бы происшествие могло знаменитым быть, но теперь всяк, кто вам нелицемерно усерден, скажет, что оно подвержено критике. Случай такой редок в войнах, чтоб неприятеля заманить в непроходные пропасти, вам не только то совершенно удалось учинить по своему желанию (чем одним может только изъясняемо быть выше отступление), но еще опрокинуть и гнать. Но если вы не пользовались в уготовленной пасти заноженного неприятеля гнать прямо, если все трудные проходы пробежал он без преследования, не потеряв ни людей, ни пушек, ни тягостей своих, то вы сами вообразить можете, как должно судить такое дело со стороны рас-

поряжения и следствий. Все будут думать, как и я мню, что, если бы в своей одержанной поверхности вы обратили войска далее вслед за опрокинутым неприятелем, он бы не только претерпел уголовную погибель, да еще в своем первом страхе оставил бы нам и Журжу. Еще я не переменяю лучших мыслей и надежды, что в. с-ство на прогнание неприятеля обратите свои действия».

Репнин отвечал письмом, в котором выражалось сильное оскорбление, уведомлял о своей болезни, заставившей его сдать команду и просить увольнения для пользования заграничными водами. На это Румянцев писал ему (21 июня): «С прискорбностию я получаю ваше уведомление о приключившейся вам болезни, и не без сожаления я был тогда, как необходимость службы и долг моего к вам усердия принудили меня сказать вам истину, которая из письма вашего, я вижу, что вас так властно огорчает, как бы нанесенное в чем-либо от меня насилие. На многие случаи и на многих приятелей моих я могу послаться, пред которыми я был иногда в подобном, как и с вами, положении, что они видели напоследок мои заключения справдившимися, которые сперва почитали себе за нападок. Трудно всякого убедить на способ, какой каждый человек свой особенный имеет рассуждать о делах, например в. с-ство изъемлете себя отвечать за происшествие, а я, напротив, ожидать повинен, что все у вас происходящее придет на мой ответ; да если бы не долженствовать никому ответом за следствия, которые происходят от наших дел, то все бы полководцы воевали беспечно и какая нужда была бы тогда заботиться кому-нибудь о своих упражнениях? Мне чувствительно, когда я должен ваши рапорты так, как они есть, представлять двору, ибо увидят из оных, что в. с-ство в одном описываете своих войск недостатки в амуниции и провианте, в другом говорите, что в городе Бухаресте сложенная амуниция и пропитание вас отягощают».

Репнин получил увольнение за границу для излечения от болезни. Занявший его место генерал Эссен в августе подступил к Журже, но потерпел неудачу, причем почти все офицеры были убиты или ранены, нижних чинов выбыло из строя около 2000. Екатерина писала Румянцеву: «В удачных предприятиях я вас поздравляла; ныне в неудачном случае, когда генерал-поручик Эссен не успел взять Журжу, но сам с большою потерею остался, я вам также скажу свое мнение: я о том хотя весьма сожалею, но что же делать? Где вода была, опять вода быть может. Бог много милует нас, но иногда и наказует, дабы мы не возгордились. Но как мы в счастии не были горды, то надеюсь, что и неудачу снесем с бодрым духом. Сие же несчастие, я надежна, что вы не оставите поправить, где случай будет. Более всего мне прискорбна великая потеря храбрых людей: еще ни одна баталия во всю войну

нам так много людей не стоила. Впрочем, стараться буду оную наградить и привести армию в наипочтительнейшее состояние, нежели еще была»[160]. Вода действительно явилась там, где была прежде: Эссен взял наконец Журжу.

Блистательнее шли дела при наступательных движениях за Дунай левого крыла. В марте генералы Вейсман и Озеров сделали очень удачный поиск на Тульчу, овладели всеми ее батареями, заклепали 23 пушки, сожгли 8 судов, убили у турок больше 500 человек, не имея при себе ни одного орудия, и с торжеством отплыли назад в Измаил на своих очень ненадежных судах. В апреле Вейсман и Озеров сделали поиск на Исакчи, также овладели батареями и сожгли большие магазины, наполненные хлебом. В мае Потемкин сжег город Цыбры, магазины, взял 14 больших и 100 малых судов. В июне Вейсман и Озеров опять отправились к Тульче, овладели всем городом, кроме зáмка, истребили до 2000 неприятелей В октябре Вейсман и Озеров в третий раз приступили к Тульче и заняли зáмок, брошенный гарнизоном, который бежал к Бабадагу; русские пошли по его следам и, не доходя четырех верст от Бабадага, открыли обширный лагерь самого великого визиря. Удачное действие русской артиллерии заставило визиря отступить от Бабадага, который достался победителям с большими запасами и был сожжен. В то же время Милорадович взял Мачин, Якубович — Гирсово. Вейсман кончил поход взятием Исакчи. В конце октября Первая армия уже была расположена на зимних квартирах; главная квартира была перенесена в Яссы.

Мы видели, что по петербургскому плану Вторая армия должна была в этом году предпринять наступательное движение на Крым; чтобы выговорить важное условие независимости татар, нужно было принудить их отторгнуться от Порты. Еще в конце 1770 года Вторая армия переменила своего начальника. Граф Петр Панин не мог равнодушно снести неравенства славы и наград, которые выпали на его долю в сравнении с главнокомандующим Первою армиею и с начальником морской экспедиции. Имена кагульского и чесменского победителей гремели по всей России и Европе; взятие Бендер прошло сравнительно незаметно. Разумеется, Панин и друзья его считали себя вправе жаловаться, что, в то время когда главнокомандующему Первою армиею открыта была возможность переведываться в чистом поле с толпами татар и турок, причем успех европейского качества над азиатским количеством был обеспечен, главнокомандующий Второю армиею должен был осаждать сильную крепость, а было известно, как турки, не выдерживая в чистом поле против европейских войск, упорно защищаются за стенами крепостей. Но эта жалоба, на которую обращает внимание история, не имела значения для большинства современников, которые никак не мог-

ли приравнивать взятие Бендер с кагульскою или чесменскою победою, тем более что взятие Бендер дорого стоило и это производило печальное впечатление. Панин был заслонен Румянцевым и Алексеем Орловым, подвиг его не был оценен, в его глазах, по достоинству: его не сделали фельдмаршалом, рескрипт ему был краток и сух; Панин жаловался, что и сподвижники его не были награждены, как следовало. Панич стал толковать о своей болезни, наконец подал в отставку; если при этом он надеялся на влияние брата, на свою незаменимость, то обманулся в надежде: императрицу раздражали претензии на сравнение с Румянцевым и Орловым; у Паниных были сильные враги, которые поспешили уверить, что незаменимости нет, и просьба Панина об отставке была принята; на его место назначен князь Василий Михайлович Долгорукий. Английский посланник лорд Каткарт, надеявшийся в проведении своего дела преимущественно на графа Никиту Панина, является органом панинской партии, и потому донесения его для нас любопытны. «Ее и. в-ство и граф Панин (Никита) в настоящую минуту до некоторой степени избегают друг друга, — писал Каткарт, — так как генерал Панин по причине нездоровья подал в отставку. Генерала не произвели в фельдмаршалы. Он думает, что с армиею его дурно поступали, на его рекомендации не обращено внимания, его успехи унижены. Он горяч, враги раздражали его и достигли своей цели». Князя Долгорукого Каткарт называет неспособнейшим человеком, которого выдвинул Чернышев, чтоб поставить Вторую армию в такую же зависимость от себя, в какой была Первая, когда находилась под начальством князя Голицына [161]; о Панине же отзывается так: «Генерал Панин, уважаемый, любимый офицерами и солдатами, по взятии Бендер, составлявшем цель похода, принужден был выйти в отставку, потому что не отдали справедливости достойным людям, которых он рекомендовал». Здесь любопытно выражение, что взятие Бендер составляло цель кампании: так обыкновенно партии не церемонятся с правдою, когда им надобно возвысить своего и унизить противника.

Новый главнокомандующий Второю армиею должен был исключительно иметь в виду Крым; но еще при Панине сношения с татарами были поручены управляющему Слободскою губерниею ген.-майору Щербинину. Для Панина, занятого под Бендерами, это было большое облегчение; но Долгорукий взглянул на дело иначе. Еще в декабре 1770 года, будучи в Совете, он заявил ему о неудобстве, какое может произойти от того, что переговоры с татарами независимо от него поручены Щербинину. Совет долго улаживал это дело, наконец решил, чтобы Щербинин производил сношения с татарами непосредственно, но, в то время когда начнутся военные действия, должен зависеть от Долгорукого [162]. Последний не был и

этим доволен, он писал Панину: «К крайнему моему сожалению, из высочайшего рескрипта усмотрел я, что сия негоциация в производство вверена Евдокиму Алексеевичу (Щербинину), и как сие почитаю я за крайнейшую немилость, и сколь много сие нечаянное приключение повергает меня в несносную печаль, что не удостоился получить от ее в-ства сей доверенности. Всепокорнейше и нижайше ваше сиятельство как моего отменного благодетеля и патрона прошу показать мне ваше в моей горести к утишению одолжение, чтоб сия негоциация была препоручена мне и избегнул бы я тем не только от собственных своих подкомандных, но и от целого свету нарекания; если только буду счастлив получить оное, то за верх моего благополучия поставлю и буду считать, что я получаю руководством вашего сиятельства» [163]. Об этом же писал Долгорукий и самой императрице, которая решила, чтоб Долгорукий сносился с крымцами, а Щербинин — с отложившимися от Порты ногаями, но чтоб первый имел и здесь начальническое значение. Долгорукий успокоился и писал, что сам находит нужду и пользу, чтобы Щербинин был при татарской комиссии.

Новый главнокомандующий хотел попытаться уладить дело переговорами. В январе отправился в Крым переводчик Мавроев и за отсутствием хана Селим-Гирея был принят родным братом его калгою, но потом посажен под стражу и сидел 22 дня. В советах с вельможами калга объявил свое намерение и повеление, чтоб впредь не принимать русских посланцев, которые приезжают для возмущения крымского народа, если кто будет прислан, то брать под караул и вешать на позор России, что́ надобно исполнить и над Мавроевым, а Джанмамбетбеева двоюродного брата Мелиса-мурзу и Алиагу, которые приехали вместе с Мавроевым, сжечь живых. Но один из султанов, Шагин-Гирей, потомок Хаджи-Гирей-хана, и главный из духовных Казаскер-эфенди подали голос против, говоря, что если калга своего повеления не отменит, то знал бы, что от гибели одного человека России и двоих Едисанской орде никакого ущерба не последует, но когда Крым от Турции помощи не получит, то от России нечего будет ждать милости. В случае если бы калга не отменил своего намерения, Шагин-Гирей обещал сам освободить Мавроева из-под караула и в целости препроводить до русских границ. 15 февраля Казаскер-эфенди ночью призвал к себе Мелиса-мурзу и Али-агу и объявил им, что калга приказал написать в Россию письмо, которое и написано, содержание его двоякое, т. е. чтоб России не досадить и не навести на себя подозрения Порты; но он, эфенди, не будет смотреть на такие аллегории и, как писал к Джан-Мамбет-бею, так и сделает: при наступлении весны выедет в степь и соединится с Едисанскою

ордою. Через два дня после этого Мавроева выслали из Бакчисарая.

Едисанская орда весною кочевала у Конских вод; при переходе через Днепр запорожцы не преминули ее пограбить; и, чтоб успокоить ногаев, русское правительство должно было заплатить им за пограбленное до 14 000 рублей. К Джан-Мамбет-бею приехал старый знакомый Веселицкий, к которому немедленно явился приятель Абдул-Керим-эфенди и клятвенно уверял в верности и твердости всех едисанцев, буджаков и джамбулуков; объявил, что Джан-Мамбет-бей и все благонамеренное общество очень желает выбрать в ханы, если императрице угодно, Шагин-Гирея, который перед этим был воеводою, или сераскир-султаном, над едисанцами; этот султан не только предан России и навсегда останется ей верным, но и человек он очень разумный и праводушный. Эфенди прибавил, что мурзы с крымскими татарами охотно вышли бы к благонамеренным ордам под покровительство Российской империи, но некоторые из Ширинов, прельщенные подарками и увещаниями калги, согласились с некоторыми муллами и с Джалим-беем, старшим над Ширинами, зятем нынешнего хана, чтоб перечить другим; они упирают на одну статью Алкорана, которая говорит: если мусульманский народ, не видя никакой опасности от меча и огня, осмелится нарушить свою присягу отступлением от единоверного государя и передаться иноверной державе, то навеки должен быть проклят; если же предвидится неминуемая гибель, то нужда закон переменяет и нарушить присягу позволяется. Поэтому между ними и постановлено до тех пор не отступать от Порты, пока не увидят крайней опасности от русского войска. Пришел сам Джан-Мамбет-бей и говорил то же самое о Шагин-Гирее: «Хочу к нему писать, чтобы выехал к нам из Крыму, потому что с его выездом между крымцами последует великая перемена: из всех Гиреев один этот султан всем народом любим».

Таким образом, для отторжения крымцев от Порты нужно было показать им опасность от меча и огня, нужно было предпринять поход во внутренность их полуострова. 25 мая Вторая армия собралась при речке Маячке и 14 июня овладела перекопскою линиею, которую защищали 50 000 татар и 7000 турок под начальством самого хана Селим-Гирея. Хан ушел, и крепость Перекоп сдалась. По словам Долгорукого, русские овладели линиею почти без урона. Кн. Щербатов взял приступом крепость Арабат; Козлов был занят без сопротивления. К крымцам был отослан знатный пленник Эмир-хан-ага с увещательным письмом. 22 июня, когда Долгорукий стоял уже на Салгире, Эмир-хан возвратился вместе с двумя крымскими вельможами ширинского поколения и привез ответное письмо за рукою и печатью пяти ширинских князей, 14 знаменитой породы дворян и троих главных духовных

лиц. Они просили пятидневного перемирия; Долгорукий согласился. В четвертый день срока под вечер приехал от дворянства Азамет-ага с просьбою, чтоб позволено было им выслать турок из Кафы без всякого для них вреда от русского войска, чтоб настоящий хан остался в своем достоинстве и чтоб русские войска после подписания татарами акта о вступлении в дружбу с Российскою империею выступили из Крыма; но Долгорукий, приметя, что эти их новые затеи употребляются только для выиграния времени, чтобы дождаться из Анатолии вспомогательного войска, отвечал, что от данного слова не отступает и что если завтра сановники не приедут с подписанным актом, то он ударит на турецкое войско при Кафе, а с татарами будет поступать без пощады как с неприятелями. Сановники в срок не приехали; приехали два простых татарина с письмом от ширинских князей и духовенства, которые объявляли готовность вступить под покровительство императрицы. На вопрос, для чего к сроку не присланы сановники, посланцы отвечали, что опасались турок и хана, который с небольшим числом преданных ему татар и Ширин стоит у реки Меньшой Карасу Долгорукий велел их спросить: какую надежду полагают они на хана Селим-Гирея, который старается повергнуть их в крайнее несчастие, советуя не вступать в союз с Россиею, и может ли он им благодетельствовать по освобождении из турецкого подданства, когда все его семейство и имение находятся в Румелии? Не могут ли они из Гиреев найти другого достойного? На это посланцы отвечали, что часто по году и больше Крым управляется Ширинами и прочими чинами до утверждения Портою нового хана, следовательно, и теперь на первый случай они могут обойтись без хана. Долгорукий дал еще 4 дня срока для приезда депутатов и аманатов с подписанным актом союза.

Но в это время главнокомандующему донесли, что к туркам под Кафою прибывают подкрепления; Долгорукий при таких обстоятельствах не счел возможным дожидаться татар: 29 июня он пошел на турецкий лагерь и овладел им, после чего город Кафа сдался; турки при этом потеряли более 3500 человек. Турки, находившиеся в Керчи, узнав об этих событиях, поспешили отплыть на судах; и русские заняли Керчь беспрепятственно; то же случилось и с Еникале. Тут явились крымские посланцы и были приняты холодно. Они наведывались: если изберут хана, то может ли он сменяться или останется ханом на всю жизнь, и когда все крепости и пристани заняты будут русскими гарнизонами, то остальная русская армия останется ли в Крыму? Им отвечали, что хан будет бессменный, что же касается армии, то это зависит от императрицы. 7 июля приехал к Долгорукому в лагерь под Кафою знатный татарин Мустафа-ага с письмом от ширин-

ского князя Джахан-Гирея и Богадырь-аги, которые уведомляли, что крымское начальство, видя несклонность хана Селим-Гирея к их доброму намерению, по общему рассуждению и согласию избрало их обоих главными начальниками во всем крымском правлении до возведения нового хана по высочайшему одобрению императрицы. Мустафа-ага, который был сын Богадырь-аги, оставался заложником до прибытия послов и аманатов. 9 июля эти послы и аманаты приехали, приехали и двое депутатов от владетеля Таманского острова Ахмет-бея, который также отдавался в покровительство императрицы. Хан Селим-Гирей прислал также письмо с объявлением, что намерен вступить в дружбу с Россиею; князья, аги и духовенство прислали письмо, в котором уведомляли, что положили иметь ханом того же Селим-Гирея, который желает союза и дружбы с Россиею; что же касается бывших при нем султанов, то они, не соглашаясь на русский союз, сели на суда и отправились в Царьград. Но хан Селим-Гирей не дождался ответа на свое письмо: сведав о приближении к Бакчисараю русских войск, назначенных для занятия гаваней Балаклавы, Бельбека и Ялты, и вообразив, что под видом этого занятия скрывается намерение схватить его, побежал из деревни Альмы к Ялте, где стояли заготовленные для него суда, сел на них со всеми своими и отплыл в Румелию. Этот отъезд хана дал возможность Джахан-Гирею и Богадырь-аге отправиться в Карасу-Базар, созвать всех Ширин, чиновников, дворянство и духовенство для подписания и утверждения печатями присяжного листа и для совещания об избрании хана. 27 июля приехал к Долгорукому из Карасу-Базара ширинский мурза Измаил, объявил об утверждении вечной дружбы и неразрывного союза с Россиею и подал подписанный 110 именами присяжный лист; а на другой день приехали два знатных татарина и объявили об избрании в ханы Сагиб-Гирея, а брата его, известного Шагин-Гирея, — в калги, племянника их, Батырь-Гирея, — в нурадин-султаны; посланные от имени всего общества ручались за верность избранных, как не имеющих никакой привязанности к Порте, от которой вовсе отторглись, что подтвердили клятвою пред целым обществом, с Русскою же империею вступили в вечную дружбу и неразрывный союз под высочайшую протекцию и ручательство императрицы. Посланные при этом объявили Долгорукому: на кубанской стороне есть 12 разных родов татарских между черкесами, абазинцами и ногаями, которые роды издавна зависели от крымских ханов и теперь обещали остаться нераздельными собратиями, почему крымское правительство намерено отправить послов для склонения их к вечной дружбе с Россиею. Некрасовцев, которые, без сомнения, не откажутся соединиться с ними же, просили оставить в прежних местах и под крымскою властию Долгорукий обещал [164].

Екатерина была очень довольна действиями Второй армии, которые напоминали прошлогодние блестящие действия Первой армии и флота. Радость императрицы видна в письме ее к Долгорукову. «Вчерашний день (17 июля) обрадована я была вашими вестниками, кои приехали друг за другом следующим порядком: на рассвете — конной гвардии секунд-ротмистр кн. Иван Одоевский со взятием Кафы, в полдень — гвардии подпоручик Щербинин с занятием Керчи и Еникале и пред захождением солнца — артиллерии поручик Семенов с ключами всех сих мест и с вашими письмами. Признаюсь, что хотя Кафа и велик город, и путь морской, но Еникале и Керчь огкрывают вход г. Синявину водой в тот порт, и для того они много меня обрадовали. Благодарствую вам и за то, что вы не оставили мне дать знать, что вы уже подняли русский флаг на Черном море, где давно не казался, а ныне веет на тех судах, кои противу нас неприятель употребить хотел и трудами вашими от рук его исторгнуты». Долгорукий получил Георгиевский орден первой степени, 60 000 рублей денег, табакерку с портретом императрицы; сын его произведен в полковники [165].

Легкое дело — покорение Крыма — было кончено, начиналось самое трудное — утверждение так называемой независимости его. Несмотря на то что хищнические набеги крымцев на русские и польские, т. е. тоже русские окраины, по-видимому, прекратились, в Крыму томилось в неволе немало русских людей, число их увеличилось после татарского нашествия в начале войны; кроме русских были христианские рабы из других народов. Торжество русского оружия в Крыму, разумеется, должно было сопровождаться немедленным освобождением русских и вообще христианских рабов. Князь Долгорукий потребовал этого освобождения; но, чтоб не возбудить негодования черни, общество главнейших ширин, знатное дворянство и духовенство взялись из общих земельных доходов заплатить за пленных христиан; за мужчин — по 100, а за женщин — по 150 левков. Посредством такого выкупа в армию приведено было мужчин и женщин 1200 человек; многие солдаты, особенно из поселенных гусарских и пикинерных полков, нашли между ними своих жен и детей. Но как скоро между рабами пронеслась весть, что их освобождают, то не стали дожидаться определенного для выкупа срока и бросились бежать к войску; таких беглецов в августе месяце при армии было уже до 9000 душ. По уговору с крымцами русский главнокомандующий велел поднять кресты на 12 греческих церквах в Кафе и снабдить их колоколами; также по всем городам и селам начали поправлять греческие церкви. Но легко понять, какими глазами должен был смотреть на все это татарин.

Немедленно же начались столкновения и с новым ханом. Князь Долгорукий уведомил Сагиб-Гирея, что в крымских крепостях останутся русские гарнизоны для защиты от турок и что крымцы должны доставлять этим гарнизонам топливо. Хан отвечал, что Крым от Порты отторгся, следовательно, сам должен защищаться от нападения и притом в нынешнем году никакой опасности от турок ожидать нельзя, потому что время корабельного хода миновалось; Крыму без русского войска была бы лучшая вольность, а на будущий год, если станет грозить опасность, хан даст знать о ней главнокомандующему; крымский народ и без того разорен и безденежно не может давать русскому войску отопления. Долгорукий отвечал: «Хотя до апреля месяца никакой опасности с турецкой стороны ожидать нельзя, однако я гарнизоны вывести власти не имею, ибо оные введены в силу повеления моей государыни, а вашей великодушнейшей покровительницы и щедрейшей благодетельницы». Относительно отопления главнокомандующий распорядился, чтоб солдаты были размещены в христианских домах, где будут пользоваться теплом сообща с хозяевами; где же нет христианских домов, то в порожних магометанских, и только в этом случае татары должны доставлять им топливо.

Русским поверенным в делах при хане назначен был известный нам канцелярии советник Веселицкий. Он должен был вручить Сагиб-Гирею акт, в котором говорилось, что Крымская область учреждается вольною и ни от кого не зависимою, и так как это сокровище получено единственно от человеколюбия и милосердия ее и. в-ства Великой Екатерины, то Крымская область вступала в вечную дружбу и неразрывный союз с Русскою империею под сильным покровительством и ручательством ее самодержицы. Хан обязывается не вступать с Портою ни в какое соглашение. Веселицкий должен был требовать подписания этого акта и также требовать просительного к императрице письма, чтоб приняла под свою власть города Керчь, Еникале и Кафу. Назначенные для переговоров с Веселицким вельможи отвечали на последнее требование: «Какая же будет свобода и независимость, когда в трех главных местах будет находиться русское войско? Народ наш всегда будет беспокоиться насчет следствий этой уступки, опасаясь такого же угнетения, какое мы терпели во время турецкого владычества в этих городах». Веселицкий представлял, что это делается для их благоденствия, что от Порты надобно всегда и всего опасаться и будут они подвержены гибели вследствие отдаленности своей от русских пределов; спрашивал, могут ли они защищаться собственным войском. Татары все это выслушивали без возражений, но отвечали просьбою, нельзя ли их избавить от этой новости, как они выражались. Тогда Веселицкий объявил им, что если они

этого требования не исполнят, то он не приступит ни к чему другому. Хан созвал всех старшин для совета об уступке Керчи, Еникале и Кафы. Совет продолжался пять дней сряду, и 7 ноября присланы были знатные люди к Веселицкому с объявлением, что духовенство находит эту уступку противною их вере, и так как русское правительство объявило, что оно не будет требовать ничего противного мусульманской религии, то они на отдачу городов согласиться не могут. Веселицкий отвечал, чтоб они пункты веры оставили, потому что содержание Алкорана и христианам известно: избавители от порабощения, доставившие совершенную вольность и спокойствие целому обществу и земле и остающиеся их защитниками, признаются и по Алкорану действительными благодетелями. Татары по обстоятельствам не могли возражать, но тем более раздражались напоминаниями о непрошенных благодеяниях, они упорно оставались при своем; и Веселицкий должен был уступить, согласился, чтоб они отправили к императрице просьбу о нетребовании у них городов, заметил, однако, при этом, чтоб они пеняли на себя, если разгневают государыню, которая может сделать ногаев вольными и независимыми и дозволит им выбрать себе особого хана. «Если б, — писал Веселицкий Долгорукому, — у меня знатная денежная сумма была, то все бы затруднения, преткновения, и упорства, и самый пункт веры был бы преодолен и попран, ибо этот народ по корыстолюбию своему в пословицу ввел, что деньги суть вещи, дела совершающие, а без денег трудно обходиться с ними, особенно с духовными их чинами, которые к деньгам более других падки и лакомы. Хан, все старшины и большая часть чиновных людей благонамеренны и весьма преданны в нашу сторону, но за духовенство я не ручаюсь, которое разве подарками денежными может быть преклонено».

Но еще прежде отсылки этой просьбы о нетребовании городов в Петербург отправился из Крыма послом калга Шагин-Гирей. Его приняли очень любезно, как человека, известного своею преданностию к России, назначили по 100 рублей в день на содержание. Но и с этим преданным татарином не замедлили обнаружиться столкновения. Шагин потребовал, чтоб граф Панин, *первенствующий* министр, как он назывался, первый сделал ему визит. На это не соглашались, видя в Шагине посла от татарского улуса; но калга не считал себя простым послом. Любопытен разговор, происходивший по этому случаю между Шагин-Гиреем и приставленным к нему чиновником Иностранной коллегии Пинием. *Шагин:* Действительно, Всероссийская империя сделала вольным народ татарский, бывший в зависимости от Порты Оттоманской по причине Мекки и Медины; и народ татарский надеется от Всероссийской империи, что она его возвысит, а не унизит, не сделает презренным. Чтоб не сравнивали меня с министрами

других держав, я не министр и не отправлен ни от хана, ни от народа татарского, но приехал добровольно, чтоб наиболее распространить и крепче утвердить дружбу. *Пиний:* Пример других министров представляется единственно в доказательство наблюдаемого в империи правила; оно наблюдается с министрами, представляющими персоны государей их и потому не может нанести чести вашей ни малейшего повреждения. *Шагин:* В воле вашей делать то, что за благо признаете; я не что иное, как глыба земли; однако я древнего поколения Али Чингис-хана, а при Порте Оттоманской верховный визирь ханам делает первое посещение. *Пиний:* Ханам так, но не султанам; это я наверное знаю, живши столько лет в Константинополе. *Шагин:* Так, визирь не делает первого визита султанам, но трехбунчужные паши делают. *Пиний:* Большая разница между трехбунчужным пашою и верховным визирем, с которым совершенно в одном положении находится граф Панин, первенствующий ее и. в-ства министр. *Шагин*: Хорошо, я с этим согласен, однако прошу, чтоб мне уступлены были эти два пункта: один, чтоб мне сделан был визит, а другой, чтоб не принуждали снять шапку, когда буду иметь аудиенцию у ее и. в-ства. *Пиний:* Первенствующий министр велел мне решительно дать знать, что это невозможно. *Шагин:* Очень хорошо, в воле их делать, что хотят; я прошу, чтобы эта честь мне была оказана; в моем кармане лежит и в моей силе состоит все то, что касается татарского народа.

После этого разговора калге было прислано письменное объявление: «Российский императорский двор с удивлением примечает упрямство калги-султана в исполнении обязанностей характера его по церемониалу и обрядам, всегда и непременно наблюдаемым при высочайшем дворе. Гость по справедливости и по пристойности обязан больше применяться и следовать обыкновениям двора, при котором он находится, а не двор его желаниям или прихотям. Все делаемое министром и послом других держав относится к их государям, лицо которых они представляют. Калга-султан принимается в таком же характере и получит честь быть допущенным на аудиенцию ее и. в-ства как посланник брата своего, хана крымского, т. к. верховного правителя татарской области, имеющий от его имени просить о подтверждении в этом достоинстве, которое он получил хотя и по добровольному всего татарского общества избранию, однако пособием ее и. в-ства. Итак, он, калга-султан, может почитать себя только посланником хана, своего брата; а если бы не так было и приехал он не в таком значении, то здешний двор не мог бы его иначе принять как частного человека с уважением только к его происхождению».

Шагин-Гирей отстал от своего требования относительно визита гр. Панина, но по-прежнему не соглашался снимать

шапки; он говорит, что этого не позволяет магометанский закон; он умолял пощадить его от поступка, который нанесет крайнее бесславие на все остальные дни жизни его, и если будет приневолен снять шапку, то просил пожаловать ему пропитание и позволение остаться навсегда в России, ибо нельзя ему будет возвратиться в отечество, не подвергаясь всеобщему порицанию, а может быть, и ругательству. Тут должны были ему уступить. Совет решил позволить калге не снимать шапки и послать ему шапку в подарок с таким объявлением: ее и. в-ство, освободя татарские народы от зависимости Порты Оттоманской и признавая их вольными и ни от кого, кроме единого бога, не зависимыми, изволит жаловать им при дворе своем, по особливому своему благоволению и милости тот самый церемониал, который употребителен относительно других магометанских областей, то есть Порты Оттоманской и Персидского государства, и по этой причине жалует калге шапку, позволяя в то же время и всем вообще татарам являться отныне везде с покрытыми головами, дабы они в новом своем состоянии с другими магометанскими нациями пользовались совершенным равенством, тогда как прежде турками только унижаемы были.

Мы видели, что о Шагин-Гирее отзывались очень хорошо ногаи, и потому естественно было иметь его в виду как будущего, независимого от Крыма ногайского хана. Кн. Долгорукий, познакомившись с ногаями, писал о них императрице: «О Едисанских и Буджакских ордах осмеливаюсь доложить: они в таком положении, а особливо знатные мурзы, что с крымцами никакой почти разности я не почитаю, и, чтоб они прежде данную присягу, пока всевышний не увенчает армию в и. в-ства победою над Крымом, вспомнили, того я от них не ожидаю; и когда крымское войско против меня будет сопротивляться, то не сомневаюсь я, чтоб и они в том им не участвовали». Потому в Совете была предложена мера отделить ногаев от крымцев под особое управление: пусть ногайцы изберут себе другого хана или останутся под властию настоящего своего правителя Джан-Мамбет-бея. «Хотя будет хлопотливее иметь дело с двумя такими соседями, — говорилось в Совете, — однако все же спокойнее вследствие слабости их, происходящей от разделения; можно бы постараться также, не удастся ли отделить еще часть от ногаев и поселить на пустых местах». Но гр. Панин был против этой меры: он боялся и огорчить крымского хана, и встревожить европейские дворы, как будто последние можно было успокоить, не отделяя ногаев от крымцев. «Неизвестно, — говорил он, — пожелает ли хан лишиться ногаев, составляющих большинство подвластного ему народонаселения; теперь нужно в этом деле сообразоваться с обстоятельствами и сделать, что можно будет; таким поведением можем привязать татар к себе и успо-

коить дворы, встревоженные нашими приобретениями». Совет согласился с первенствующим министром.

Еще в феврале кн. Долгорукий и Щербинин доносили императрице, что Джан-Мамбет-бей неотступно просит позволить ему с своими ногаями перейти на Кубанскую степь, когда уже несколько единомышленных с ним едичкулов перешло из Крыма чрез Еникале; он обещал переманить к себе и остальных едичкулов и даже некоторых из крымцев. В Петербурге нашли возможным дать это позволение, и провожать ногаев назначен был подполковник Стремоухов, который писал Щербинину: «В Джан-Мамбет-бее замечается колебание, где расположиться. Некоторые из стариков влекут его в соседство к Дону, ибо в тех местах удобнее могут они голь свою в продолжение зимы пропитать; а ему самому и другим сильно хочется на Кубань как место своего воспитания, но боится горцев, чтоб не стали по прежнему обыкновению похищать у них скот и даже людей и продавать последних кабардинцам. Я остаюсь при прежних своих похвалах усердию и доброму сердцу Джан-Мамбет-бея; я и теперь вредных для нас мыслей явно в нем еще не примечаю и утверждаю, что он человек не коварный, но слабость его безмерна, тупость же и безрассудное ко всем и всякому из своих легковерие, ежечасно обращающие его на все стороны, дают мне основание сомневаться в нем при всяком и малейшем искушении. До Миуса, когда все шли розно по своей воле и он не имел от меня никакой, кроме потчивания, докуки, он был человек бесценный, а как я стал от него требовать нужных распорядков, то и открылась вся его слабость». Одною из главных причин неудовольствия ногаев было лишение христианских рабов, которые бежали теперь от них к русским и находили безопасное убежище. Джан-Мамбет-бей стал требовать возвращения беглецов, на что, разумеется, русское правительство согласиться не могло, но, не желая раздражать ногаев, определило давать им деньги за всех убегающих от них христиан, кроме русских подданных, которых они должны были освободить всех без выкупа [166].

То же требование относительно работ предъявили и кабардинцы. В Петербург приехали два их владельца для засвидетельствования подданства своего народа императрице и с просьбою, чтоб город Моздок был уничтожен, а бегающие от них природные уздени и рабы возвращались, несмотря на то что будут изъявлять желание креститься; а за освобождение христианских рабов давать господам их деньги. Иностранная коллегия подала императрице доклад, что Моздок уничтожить нельзя: чем населеннее будет Кизлярский край, тем удобнее не только кабардинцы, но и другие соседние варвары будут удерживаться в повиновении. Что же касается рабов, то вышедшие до сих пор в Моздок из Кабарды тамошние

уроженцы и крестившиеся — по большей части люди подлые и ненадежные, не имевшие никогда случая получить понятие о законе христианском и употребившие его только средством к освобождению своему от природного рабства или от надлежащего по своим продерзостям наказания; а многие из них по соглашению со своими прежними господами, обокрав моздокских жителей, назад уже сбежали. Успокоение народа, в своей стороне довольно значительного, кажется, достойно того, чтоб и навсегда решиться бегающих от кабардинских владельцев рабов не принимать при здешних границах, а возвращать обратно как не могущих желать принятия христианского закона по внутреннему убеждению, а единственно из посторонних и по большей части с святостию закона несовместимых побуждений; а предоставить только свободу самим владельцам и узденям выходить в Моздок и Кизляр для житья и крещения; за освобождение же христианских невольников платить по 50 рублей, так же поступать и относительно кумыков. Императрица утвердила доклад [167].

Мы видели странные явления в русском войске за Кавказом, видели также, что императрица решилась отозвать оттуда графа Тотлебена, считая его неспособным к главному начальству при тамошних условиях. Ему на смену отправлен был генерал-майор Сухотин, который сначала писал о склонности царей Ираклия и Соломона исполнить волю императрицы, но в конце года писал, наоборот, о противном поведении царей и князей грузинских и о своем неудачном покушении овладеть крепостью Поти по причине усиления в его войске болезней, в заключение и сам просил позволения ехать лечиться на воды. Тогда Совет признал бесполезным держать долее русское войско за Кавказом. Императрица согласилась, но прежде увольнения Сухотина вовсе от службы велела рассмотреть его поведение во время начальствования закавказским войском. Царь Соломон прислал письмо с жалобами на Сухотина и с просьбою дать ему пороху и пушек; Совет решил, что так как русское войско возвратится из-за Кавказа, го можно оставить Соломону лишний порох и ядра, но пушки надобны будут войскам и при их возвращении [168].

12 ноября 1770 года граф Алексей Орлов сдал команду над флотом адмиралу Спиридову и отправился в Ливорно, но там не остался, а отправился в Петербург. 8 марта 1771 года он приехал в заседание Совета вместе с императрицею. «Генерал граф Орлов, — сказала Екатерина, — сделал нам о всем том, что происходило после чесменской победы, обстоятельное описание, о осаде лемносской и о снятии осады по причине турецкого сикурса, пришедшего к осажденному городу из Дарданелл, после самовольного оставления контр-адмиралом Елфинстоном блокады сего прохода. Елфинстон посадил на мель на лемносских мелях и потерял тут же свой

восьмидесятный корабль. Генерал граф Орлов, видев, что большая часть кораблей без починки не могут выдержать зиму на море, почитая же за нужное, чтоб нас уведомить о всех бывших происшествиях и требовать дальнего повеления, а притом был болен сильною лихорадкою и имев многих больных на своем борте, пошел к Паросу, где и ныне еще находится адмирал Спиридов, из Пароса же в Ливорну, откуда намерен был отправить генерал-поручика графа Федора Орлова, при котором вся канцелярия находится, сюда с рапортом и с требованием повеления; но долговременный карантин и болезнь задержали в Мессине генерал-поручика графа Орлова, что видя, генерал граф Орлов, и опасаясь, чтобы по причине приближающейся весны не опоздать, взял намерение и сам поехал сюда, дабы за неимением при себе письменных дел сделать обо всем словесное объяснение; сделав же оное, требует повеления на будущую кампанию и колико ему надобно будет соображать его предприятия с прочими поступлениями к сокрушению силы Оттоманской империи. Совет имеет, обслушав наперед генерала графа Орлова, постановить общий с ним план действиям Средиземного моря экспедиции на будущую кампанию и представить нам оный на утверждение».

Когда Екатерина перестала говорить, начал свою речь Алексей Орлов, объявил, что флот находится теперь у острова Пароса и может в будущем мае начать кампанию, что ни малейшего недостатка в пропитании не предвидится; потом Орлов рассказал прошлогоднюю кампанию и покинутие Лемноса, описывал нравы архипелажских жителей и как мало на них можно полагаться, описывал выгодное положение островов, с которых можно получать все пропитание, и заключил представлением, что надобно проучить рагузинцев за то, что суда их были в турецком флоте во время Чесменского боя.

14 марта в Совете в присутствии Орлова читали изготовленные к нему рескрипты: один о действиях флота в будущую кампанию, а другой о заключении мира с Портою, если случай представится. Первый заключался в следующем: 1) держаться, сколько возможно, пред Дарданеллами и запирать тамошний канал, чтоб не допускать подвоза съестных припасов в Константинополь «и тем самым умножать в тамошнем народе разврат, волнение и огорчение противу правительства за продолжение ненавистной ему войны»; 2) когда русский флот будет держать таким образом все острова архипелага позади себя, то Константинополь будет считать их для себя потерянными, по крайней мере на все время продолжения войны, и лишится собираемых с них податей и других поборов. Относительно мира говорилось, что Орлов при первом удобном случае может внушать туркам, с которыми

ему приведется иметь сношение, что он, зная человеколюбивые чувства и сильное желание императрицы видеть конец пролитию крови человеческой, охотно взялся бы положить начало мирному делу. Тут Орлов потребовал, чтоб ему предписаны были необходимые условия мира, и, зная, что в условиях, принятых Советом, заключается требование уступки одного из архипелажских островов, вооружился против этого требования, представляя, что из-за него продолжится война с турками и Россия вовлечется в распри с христианскими государствами; притом в архипелаге нет острова, которого бы гавань не требовала сильных укреплений и средств для его удержания; укрепления эти будут стоить больших денег, которые не вознаградятся торговлею, ибо торговля также выгодно может производиться Черным морем в Константинополь. После долгих споров Панин написал последние условия мира: независимость татар; независимость Молдавии и Валахии; или в случае их возвращения Порте последняя должна вознаградить Россию деньгами за военные убытки; свободное плавание по Черному морю; Кабарда по-прежнему остается независимою от обеих империй.

В заседании Совета 17 марта Орлов в присутствии императрицы повторил свои возражения против приобретения архипелажского острова. Екатерина отвечала, что приобрести остров она желает более для того, чтоб турки имели всегда перед глазами доказательство полученных Россиею над ними преимуществ и потому были бы умереннее в своем поведении относительно ее; с другой стороны, для установления нашей торговли там и также для доставления пользы нашим мореплавателям, однако она не хочет, чтоб эти ее желания были препятствием к заключению мира. Стали перечитывать сообщенные берлинскому двору условия мира и примечания на них, также последние условия, написанные Паниным в заседании 14 марта, причем императрица заявила, что лучше желает избавить христианские княжества Молдавию и Валахию от ига, нежели, возвратив их, получить от турок денежное вознаграждение за военные убытки. Наконец постановлено: непременно добиваться признания независимости от Порты татар, Молдавии и Валахии, свободного плавания по Черному морю, острова в архипелаге, если это не встретит больших препятствий, Кабарда же остается по-прежнему независимою, если турки признают Очаков вольным городом [169].

Адмирал Спиридов не разделял мнения Орлова насчет невыгодности приобретения острова на архипелаге. Уведомляя Орлова о принятии в подданство более 20 архипелажских островов, Спиридов писал: «От нынешнего подданства оных греков, кажется, нам пользы никакой нет, а состоят еще и убытки в прокормлении бедных, но польза выйдет сия, ежели мы острова за собою до мира удержим: за нынешний год мы

получим от них добровольно десятую часть всех их продуктов, в натуре или за оные деньгами, также исподволь и за прошедший год, чего они туркам не заплатили». По мнению Спиридова, при заключении мира надобно было выговорить уступку острова Пароса. «Ежели бы, — писал адмирал, — англичанам или французам сей остров с портом Аузою и Антипаросом продать, то б, хотя и имеют они у себя в Медитерании свои порты, не один миллион червонных с радостию бы дали». В конце июня приехали на флот оба брата Орловы, Алексей и Федор, и первым делом графа Алексея было избавиться от приведшего новую эскадру контр-адмирала Арфа, датчанина, как избавился от Эльфинстона. По поводу увольнения Арфа Орлов писал императрице: «Если в. и. в-ству благоугодно будет повелеть отправить сюда из России новую эскадру на место обветшалых кораблей, приемлю смелость всеподданнейше просить от в.-ства ту высочайшую милость, дабы таковая эскадра состояла из российских матросов и офицеров и не иностранцам, но российским была поручена командирам, ибо от своих единоземцев не только с лучшею надеждою всего того ожидать можно, чего от них долг усердия и любви к отечеству требует, но еще и в понесении трудов, беспокойств и военных трудностей довольно уж усмотрено между российскими людьми и иностранцами великое различие, а притом и неразумение иностранного языка делает невинное несогласие и затруднение».

В июле граф Орлов созвал военный совет, которому предложил для отвлечения турецких сил от Дуная, чем облегчится положение гр. Румянцева, пройти со всем флотом около морских берегов, потревожить и разорить жителей. Военный совет определил начать военные действия от острова Негропонта вдоль всего румелийского берега до Дарданелл, а потом вдоль азиатского берега, проходя Тенедосским, Мителинским и Хиосским каналами; а чтоб не оставить неприятеля безопасным и в южной части, то отправить особую эскадру под начальством гр. Федора Орлова к острову Родосу и вдоль кораманского берега. Предприятие было приведено в исполнение: русские высаживались на берега, овладевали хлебными и лесными магазинами, жгли деревни, брали маленькие крепости, бросали бомбы в большие, составляли карты и планы местностей, на острове Мителине сожгли адмиралтейство с строившимися там кораблями. В конце ноября по окончании похода гр. Алексей Орлов уехал опять в Ливорно [170].

Ему не представлялось случая сделать туркам мирные внушения. Мы видели, какое неприятное впечатление произвело на Екатерину письмо Фридриха II о ее мирных условиях с Турциею. Австрии эти условия могли не понравиться; но Екатерина очень хорошо знала, что Австрия без Пруссии не

в состоянии упорствовать, очень хорошо знала, что Пруссии надобно заплатить за союз с Россиею, уславливающий бездействие Австрии, знала, в чем может состоять вознаграждение для Пруссии, готова была на это вознаграждение, готова была вознаградить и Австрию за согласие на русские мирные условия с Портою, но при оставлении этих мирных условий в целости. 19 января 1771 года она написала ответное письмо Фридриху, указывая прямо, что при заключении мира на его интересы будет обращено надлежащее внимание, но за это он не должен быть адвокатом турок и находить тяжкими для них условия, которые она находила очень умеренными: «Я начну, — говорилось в письме, — с объявления Порты. В. в-ство знаете закон, который я себе предписала, — не выслушивать никакого мирного предложения, прежде чем мой министр не будет освобожден и ко мне не явится. Вверяю в. в-ству мое решение, что никогда я не буду вести переговоров в Константинополе и даже нигде, прежде чем Обрезков ко мне не возвратится; его освобождения я требую безусловно, а после этого освобождения, если они предложат конгресс, я буду согласна. Что касается мирных условий, то я не требую никаких приобретений собственно для своей империи. Обе Кабарды и Азовский округ принадлежат, бесспорно, России; они так же мало увеличат ее могущество, как мало уменьшили его, когда из них сделали границу; Россия чрез возвращение своей собственности выигрывает только то, что пограничные подданные ее не будут подвергаться воровству и разбоям, что стада их будут пастись спокойно. Свободное плавание по Черному морю есть такое условие, которое необходимо при существовании мира между народами. Россия согласилась на ограничение этой свободы, уступая из любви к миру варварским предрассудкам Порты, но мир нарушен с презрением всех обязательств. Если я имею право на какое-нибудь вознаграждение за войну, столь несправедливую, то, конечно, не здесь я могу и должна его найти. Я могла бы быть вознаграждена уступкою Молдавии и Валахии, но я откажусь и от этого вознаграждения, если предпочтут сделать эти два княжества независимыми. Этим я доказываю свою умеренность и свое бескорыстие; этим я объявляю, что ищу только удаления всякой причины к возбуждению войны с Портою. Венский двор не понимает своего прямого интереса, позволяя себе так живо обнаруживать зависть относительно этой статьи. Я не отодвигаю своих границ ни на одну линию; я остаюсь в прежнем расстоянии от его владений; если венский двор доволен тем, что имеет в турке такого слабого соседа, то должен быть еще довольнее соседством маленького Молдо-влахийского государства, несравненно более слабого и равно независимого от трех империй. Если положение турок таково, что они должны получить мир только

с уступками, то они поступят очень странно, если уступят Белград, которым спокойно владеют, а не уступят княжеств, которые уже более не их и возвращение которых будет всегда зависеть от жребия войны. Притом это еще вопрос, чьи владения им желательно увеличить, русские или австрийские. Но установление независимого княжества вопрос решает. Я знаю, что венское министерство по нынешней своей системе много настаивает на равновесии Востока, которое до сих пор не являлось еще с таким блеском в интересах западных государей и выдумкою которого мы, быть может, обязаны союзу Австрии с Франциею; я, впрочем, готова уступить этому политическому равновесию; но кто определит, что баланс верен, когда границы турецких владений простираются до Днестра, и что баланс нарушен, если эти границы находятся на Дунае? Жалко положение Востока, если от такой разницы в расстоянии может зависеть его разрушение! Дело освобождения татар есть право человечества, которого требует целая нация; я ей не могу отказать в помощи. Восстановление независимости татар не уменьшает ни в чем могущества Порты и не увеличивает ни в чем могущества России, но отстраняет только пограничные неудобства последней. Венский двор не имеет татар своими соседями и потому не имеет никакой причины беспокоиться. Остров, требуемый мною в архипелаге, будет только складочным местом для русской торговли. Я вовсе не требую такого острова, который бы один мог равняться целому государству, как, например, Кипр или Кандия, ни даже столь значительного, как Родос. Я думаю, что архипелаг, Италия и Константинополь даже выиграют от этого склада северных произведений, которые они могут получить из первых рук и, следовательно, дешевле. Надеюсь, в. в-ство согласитесь наконец, что если Молдавия и Валахия будут провозглашены независимыми, то в этом одном острове будет заключаться все мое вознаграждение, и что, отказываясь от него, я откажусь решительно от всего». Защитив таким образом свои мирные условия, Екатерина в заключении письма дает знать, что входит в непосредственные объяснения с венским двором из боязни, что его предубеждения против России еще более усилятся вследствие молчания последней. Показав издали эту грозу, Екатерина оканчивает письмо ласковыми внушениями, чтобы Фридрих содействовал делу мира, и намекает, что за содействие будет вознаграждение: «Прошу в. в-ство содействовать мне к устранению всех препятствий; я не получу доброго мира, если не вооружусь против гордости турок и пристрастий, которые их поддерживают. Но я льщу себя успехом, если в. в-ство будете смотреть на мои дела с тою же дружбою и с тем же интересом, и, будучи убеждена, что по требованию обстоятельств я не пренебрегу ничем для успеха ваших интересов, я с тем же

доверием обещаю себе, что никто не поколеблет вашей доброй воли и не замедлит ваших добрых услуг»[171].

Написание этого письма совпадало с отъездом принца Генриха из Петербурга. Но Фридрих на другой день его отъезда отправил к нему письмо в ответ на известие о готовности некоторых русских вельмож разделить польские земли и что в Совете по этому поводу несогласие, а впрочем, король не рискует ничем, если захватит Вармийское епископство. Так как Фридриха сильно раздражало мнение Панина, что можно легко уладить дело с Австриею посредством вознаграждения ей из турецких земель, то король прежде всего и вооружается против этого мнения, желает показать, что сближение между Россиею и Австриею невозможно. «Смею вас уверить, — писал Фридрих, — что решительно невозможно осуществить идеи графа Панина относительно Австрии; тайная ненависть, которую питают в этой стране против русских, превосходит всякое вероятие, и смею сказать, что только я стараюсь препятствовать взрыву этой ненависти. Что касается занятия Вармийского герцогства, то я от этого дела удержался, потому что игра не стоит свеч. Доля так ничтожна, что не вознаградит за крики, которые возбудит; но польская Пруссия стоит труда, даже если Данциг не будет в нее включен, ибо у нас будет Висла и свободное сообщение с королевством, что очень важно. Если потребуются деньги, то стоит их потратить, и даже много потратить. Но когда очень охотно хватаются за пустяки, то это имеет вид жадности и ненасытности, а я бы не хотел, чтоб мне приписывали в Европе эти качества больше, чем сколько уже приписывают»[172].

Очень может быть, что в последнее время пребывания своего в Петербурге принц Генрих говорил и с самою императрицею и с влиятельными членами Совета о том, что ввиду новой войны с Австриею союзную Пруссию надобно вознаградить чем-нибудь побольше Вармийского епископства, а для избежания войны всего легче было бы оставить и за Австриею захваченные уже ею польские области, даже прибавить к ним что-нибудь еще, причем и Россия может взять у Польши, что ей удобно; очень может быть, что Генрих сильно старался убедить в необходимости такого дела и повез с собою уверенность, что в Петербурге будут согласны вести переговоры с Пруссиею на этом основании. После, когда все было кончено, Генрих писал Сольмсу: «Я имею право говорить, что пребывание мое в Петербурге ознаменовано началом сношений, поведших к теснейшему союзу между королем и Россией. Я имею доказательства более чем в 20 собственноручных письмах короля, что я поставил вопрос, который повел к соглашению. Но я не требую за это вознаграждения; я ищу только славы и признаюсь вам, что буду счастлив, получа эту славу из рук ее величества императрицы русской;

желание мое исполнится, если она удостоит по случаю принятия во владение земель от Польши почтить меня письмом, которое будет служить доказательством, что я содействовал этому великому делу. Повторяю вам откровенно, что я буду смотреть на это письмо как на величайший монумент моей славы». Желание принца было исполнено, императрица написала ему: «По принятии во владение губернии Белорусской считаю справедливым засвидетельствовать вашему королевскому высочеству, сколь чувствую себя ему обязанною за все заботы, употребленные им при совершении этого великого дела, которого ваше высочество можете считаться первым виновником»[173]. Но во всяком случае вопрос мог быть только поставлен, безо всяких подробностей; Генрих мог сообщить брату только о возможности вести дело с успехом, ибо в противном случае Фридриху не нужно было бы первому делать прямые предложения и так настойчиво требовать их принятия. Очевидно, что Екатерина отделяла польский вопрос или вопрос о вознаграждении Пруссии и даже Австрии от вопроса турецкого: Пруссия и Австрия, получив вознаграждение из польских земель, должны успокоиться и не препятствовать России предписать султану мир на каких ей угодно условиях; если же Австрия станет противиться, то Фридрих должен сдержать ее или вступить с нею в войну вместе с Россиею, чего, впрочем, нельзя было предполагать. Но Фридрих смотрел на дело иначе. Прежде всего он хотел воспользоваться обстоятельствами и сделать важные приобретения для своего государства; но при этом он не хотел ни под каким видом воевать ни против кого, ни за кого, не хотел раздражать против себя Австрии и в то же время усиливать России отторжением от Порты дунайских княжеств, ибо во всяком случае, становились ли они самостоятельными или отдавались Польше, они увеличивали силу и влияние России, без покровительства которой обойтись не могли, и в этом отношении Фридрих высказался ясно в письме к брату Генриху: «Я бы сделал непростительную в политике ошибку, если б стал стараться об увеличении государства, которое может сделаться опасным соседом для Пруссии и страшным для целой Европы»[174]. Что касается условия о независимости Крыма, то Фридрих о нем мало беспокоился, предвидя в нем только затруднения для России. Наконец, Фридриху не хотелось одному получить польские области: из приведенного уже письма его к принцу Генриху мы видели, что он был готов на бесцеремонный захват польских земель, как захватил прежде Силезию, но все же он не был нечувствителен к крикам, которые раздавались против этой его бесцеремонности, и тяжесть упреков становилась сноснее, когда разделялась с другими, притом же дело было легче в настоящем и безопаснее в будущем, когда три державы вместе

должны были принудить поляков к земельным уступкам и когда общий интерес заставлял их действовать сообща для сохранения своих приобретений.

Фридрих с нетерпением дожидался приезда принца Генриха, «который должен был рассказать ему многое, что нельзя было написать, должен был представить дело гораздо яснее» [175]. 17 февраля (н. с.) Генрих приехал в Потсдам, и в то же самое время, если не из рук Генриха, король получил ответное письмо Екатерины на письмо о мирных условиях с Портою. Рассказы Генриха о возможности повести дело насчет лестной добычи не позволили теперь Фридриху делать сильных возражений на объяснения русской императрицы; но, с другой стороны, он не мог смотреть равнодушно на упорство петербургского двора оставаться при прежних мирных условиях с Портою, и потому Фридриху оставалось одно старое средство — склонять Екатерину к смягчению условий напугиванием Австриею, ее вооружениями. Не касаясь нисколько русских условий, Фридрих писал, что венский двор собирает две армии в Венгрии и что работают над экипажами императора: «Ваше в-ство увидите из этого, что положение дел критическое, что горючие магериалы все приготовлены и что одна искра может воспламенить пожар позначительнее настоящего. Ваша слава может только увеличиться от вашей умеренности» [176].

Это было приготовление; потом должно было идти прямое предложение за умеренность относительно Турции вознаградить себя на счет Польши. 20 февраля (н. с.) в Потсдаме приготовлена была депеша Сольмсу; принц Генрих ее одобрил; в депеше говорилось, что австрийцы заняли польские земли на пространстве 20 миль; о целости владений республики не может быть более речи, а надобно хлопотать о том, чтобы ее нарушение не повредило равновесию между Австриею и Пруссиею. Для этого нет другого средства, как подражать примеру Австрии. Это не может возбудить никакого противодействия: поляки, которые одни имели бы право восстать против этого, не заслуживают никакого внимания, и, если государства будут согласны друг с другом, мирное дело не встретит никаких препятствий. Чрез несколько дней новая депеша: опять указание, что Австрия смотрит на занятые ею польские земли как на свою собственность; это заставляет короля думать, что он и Россия должны воспользоваться благоприятным случаем и позаботиться о собственных интересах. Для России все равно, откуда она получит вознаграждение, на которое имеет право за военные убытки, и так как война началась единственно из-за Польши, то Россия имеет право взять себе вознаграждение из пограничных областей этой республики. Король также никак не может обойтись, чтоб не приобресть себе часть Польши. Это послужит ему вознагра-

дением за субсидии и за другие потери, которые потерпел он во время войны; король будет очень рад возможности говорить, что новым приобретением он обязан России, а это еще более укрепит союз его с нею и даст ему возможность быть полезным для России в другом случае.

Внушения принца Генриха в Петербурге не остались без действия. Вспомним слова принца, что в Совете разногласие: партия, противоположная Панину, желает, чтоб Россия взяла свою долю из Польши вместе с другими; но видимый глава этой партии был граф Григ. Орлов, хотя бы за кулисами и двигал машину Чернышев. В заседании Совета 7 февраля генерал-фельдцейгмейстер предлагал, что весьма было бы полезно, если б границу нашу с Польшей составляли протекающие близ нее реки. В Совете по этому поводу были многие политические рассуждения. Но если нравилась мысль Генриха о разделе, то не могли не быть удивлены предложением, что этот раздел, в котором Пруссия и Австрия будут участвовать даром, без пожертвований с своей стороны, для России должен заменить выгоды мира с Турциею, купленные тяжелою во всех отношениях войною. Панин, которому Сольмс сообщил королевские депеши, сказал прусскому послу, что план раздела Польши не встретит в Совете большого противоречия, ибо часть его членов давно уже смотрит на него благоприятно, но для осуществления его находятся большие затруднения. Императрица так часто давала торжественные обещания сохранить целость Польши, что нарушение этого принципа произведет повсюду самое неблагоприятное впечатление. Панин настаивал, чтоб дело велось сообща с венским двором [177]. Это настаивание понятно, ибо тогда являлась возможность соединить польское дело с турецким, которое для русского двора стояло на первом плане, являлась возможность уладиться с Австриею насчет Турции, с которою Россия заключит мир на всей своей воле при помощи Австрии, последняя получит вознаграждение из турецких владений. Но Фридрих этого не хотел, и гр. Сольмс передал Панину объяснительную записку, в которой говорилось: «Прусский король думает, что австрийцы вооружились для придания вида своим переговорам. Он думает, что они никогда не согласятся на отторжение Молдавии и Валахии от Порты. Он думает, что приобретение Азова и торговые выгоды, выговоренные Россиею для себя, не встретят никакого затруднения. Он думает, что татарское дело может еще уладиться согласно желанию России. Вот почему король предлагает, что для вознаграждения России за военные издержки она должна получить кусок Польши по своему выбору; быть может, можно будет заставить турок прибавить еще некоторую сумму денег. Если Россия хочет получить вознаграждение в Польше, то

король ручается, что это приобретение будет сделано без пролития крови».

Записка не могла ускорить дела. Тяжело, оскорбительно было предложение прусского короля — взять вознаграждение в Польше для удовлетворения чужим интересам и возвратить туркам Молдавию и Валахию, где жители уверены, что этого возвращения не будет; на независимость татар еще подается надежда; но христианские княжества должны снова подвергнуться варварскому игу, ибо так хочет Австрия. Понятно, что на прусское предложение не могло быть скорого ответа. Прошел март, апрель, наступил май. Сольмс пишет Панину: «Осмеливаюсь напомнить о деле, которое касается особенных интересов короля, моего государя, равно как и особенных интересов России. Король горячо заинтересован этим делом, не отступится от него, и если я не буду в состоянии дать ему скоро положительных удостоверений, то навлеку на себя жестокие выговоры и, сверх того, не ручаюсь за решение, которое его величество примет по собственному усмотрению. Он руководится следующим: так как в этом деле будет только подражание примеру другого, то этот другой не может вооружиться против нас, дело идет о приведении в исполнение уже решенного. Умоляю в. с-ство не отлагать решения здешнего двора». Отлагать было нельзя. Для петербургского Кабинета дело состояло в том, чтоб войти с Пруссиею в переговоры о польских землях, удовлетворить Фридриха в этом отношении и отделить это польское дело от турецкого. В конце мая Панин объявил Сольмсу, что императрица поручила ему покончить дело; и немедленно начались рассуждения о том, какие земли брать у Польши. Фридрих был в восторге, когда получил от Сольмса известие, что желанное дело началось; он отправил ему свои требования относительно польских земель, что же касается русской доли, то объявил, что предоставляет России самой назначить и соответственно своим интересам и своему желанию. По-видимому, согласием удовлетворить желанию прусского короля относительно приобретения польских земель Россия достигла своей цели; Фридрих писал Сольмсу, что нечего опасаться Австрии, писал, что гр. Панин отлично поступил, сообщивши австрийцам свои мирные предложения и не упомянув при этом ни слова о Польше и ее разделе, ибо, прежде чем давать венскому двору новые предложения, надобно подождать его отзывов насчет мира. Фридрих теперь находил, что после таких успехов в войне с турками русские условия умеренны и, поступая с твердостию, императрица вообще может выйти с успехом из дела, но надо приготовиться к затруднениям. Австрия не может рассчитывать на помощь Франции, которая находится в страшном истощении; если бы даже венский двор и хотел войны, то захочет ли он ее объявить России и Пруссии вместе без надежды иметь какого-

нибудь союзника. Это дело невероятное, и потому России и Пруссии нечего бояться за проект приобретения польских земель. Они взаимно гарантируют свои новые владения, и если австрийцы найдут свою долю в Польше малою сравнительно с русскою и прусскою, то стоит только предложить им часть венецианских владений, отрезывающую Триест, и они успокоятся, а если бы и стали сердиться, то тесный союз между Россиею и Пруссиею заставит их делать все, что угодно этим державам. В том же тоне писал Фридрих брату Генриху: «Если соглашение с Россией состоится, то нечего обращать внимание на австрийцев, которые, не имея помощи от своих союзников, будут принуждены делать все по-нашему». Взгляд был совершенно верен, и, начавши противоречить ему, начавши опять требовать от России, чтоб она отказалась от своего условия относительно Молдавии и Валахии, грозя в противном случае войною с Австрией, Фридрих прямо заявлял, что это требование делается в его собственных интересах. Бывают минуты, когда самый хитрый и осторожный человек не выдерживает; не выдержал Фридрих в минуту восторга при виде исполнения пламенного желания, проговорился насчет истинного положения дел, но скоро одумался и заговорил другое, не заботясь о противоречии.

В Вене гакже верно смотрели на свое положение, т. е. что одной Австрии нельзя вооруженною рукою препятствовать успехам России в Турции. Если Фридриху II для исполнения своих замыслов нужно было тесным союзом своим с Россиею ободиночить Австрию и заставить ее соглашаться на все распоряжения Пруссии и России, то венский двор точно так же хотел ободиночить Россию соглашением своим с Пруссиею, заставить эту союзницу России вырвать у последней плоды побед, как бы это мог сделать только злой враг. В Вене очень хорошо понимали, что Фридриха II заставить сделать это нельзя даром, одним внушением, что могущество России так же опасно и ему, как Австрии, если еще не больше; Фридриху надобно было заплатить, и дорого заплатить. Но разумеется, Австрия из своего не намерена была произвести этой уплаты, не намерена была и усиливать страшной Пруссии, не усиливая в то же время и саму себя для поддержания равновесия; заплатить должна была Польша; и мы видели, как старый Кауниц строил план уступкою Пруссии польских земель возвратить Австрии Силезию. Но если бы даже эта заветная мечта и не осуществилась, Австрия готова была делить Польшу с Пруссиею, с Россиею, лишь бы только последняя не посягала на целость Турции, особенно не приобретала земель и даже влияния на Дунае, по соседству с монархиею Габсбургов, по соседству с православным народонаселением ее. Повторяя упрек прусскому королю, что он хочет ловить рыбу в мутной воде, венский двор спешил в этом отношении

предупредить, превзойти своего соперника, ставшего образцом. Он прежде всего воспользовался смутными обстоятельствами и выловил несколько польских земель, но этого было мало; на отношениях турецких построен был другой план земельного приобретения в важной области Дуная. Решено было вступить в соглашение с Портою, предложить ей помощь или войском, или доставлением выгодного мира и за это вытребовать земельную уступку. Помощь в войне должна была ограничиться одним обещанием, разве Пруссия также объявит войну России, но этого ожидать было трудно; гораздо скорее Пруссия, не могшая сочувствовать усилению России, убедит последнюю ограничиться ничтожными выгодами при замирении с Портою; Австрия будет помогать здесь Пруссии, упорно отвергая русские условия, грозя своими вооружениями, и таким образом приобретет себе право потребовать от Турции вознаграждение за помощь.

Интересы Австрии и Пруссии расходились в том отношении, что для Австрии на первом плане были русско-турецкие отношения, ей прежде всего нужно, чтобы Россия не могла заключить выгодного мира с Турциею, тогда как для прусского короля на первом плане был раздел Польши, а помеха выгодному миру России с Портою — на втором; да и тут Фридрих не считал возможным отвергать почти все русские требования, как то делала Австрия. «Наши интересы, — говорил он австрийскому послу фан-Свитену, — не совсем одинаковы. Видите ли, я союзник России и много ей обязан, она первая покинула страшный союз против меня, и я должен ее щадить. Притом для меня не так важно, как для вас, что Россия будет делать завоевания на вашей стороне; если турок перестанет быть для нее страшным соседом, она найдет других, которые ее сдержат». — «Государь, — отвечал фан-Свитен, — на какой бы стороне Россия ни делала завоеваний, верно одно, что ее сила увеличивается, и если она их делает и сохраняет по своим широким планам, то станет страшною поочередно всем своим соседям со всех сторон, а ваше величество один из этих соседей, и самых близких. Общее правило между нами то, чтоб не допускать усиления России ни с какой стороны. Вы союзник России, и мы не хотим отторгнуть вас от этого союза; но этот союз не должен увлекать вас к излишнему угодничеству, пагубные последствия которого вы почувствуете, без сомнения, прежде всех». — «Справедливо, — сказал король, — у меня нет на это возражений; но постараемся же заключить мир по крайней мере на сносных условиях, например на уступке России Азова и свободы мореплавания и торговли на Черном море. Я велел попытать турок насчет мирных условий вообще; кажется, они могут согласиться на уступку Азова и плавание по Черному морю, но они и слышать не хотят о независимости татар... Надобно об-

ходиться умеренно с Россиею, надобно помогать мирным расположениям министра (Панина) и его партии. Три самые тяжелые из своих мирных условий русские оставляют (?!), но еще остается одно — независимость татар, на которой они настаивают; они выставляют, что татары требуют освобождения из-под турецкого ига; но я с трудом этому верю и брат мой также, он думает, что только две или три орды заявили подобное требование. Я хорошо понимаю, что на это условие трудно согласиться, но надобно его смягчить, равно как и другие, посредством переговоров; не надобно забывать, что эти люди * — победители и нельзя не уступить им некоторых выгод; думаю, что если бы они захотели удовольствоваться Азовом и торговлею на Черном море, то надобно на это согласиться; надобно соблюсти справедливость: разве можно требовать, чтоб они помирились безо всякой выгоды?.. Я вам говорю прямо, что хочу мира. Ваши военные приготовления — дело хорошее: они заставят призадуматься русских, которые не могут воевать в одно время и с турками, и с вами; однако ведь это одна демонстрация, и мы должны хлопотать о мире. Разумеется, ваше решение быть в готовности на всякий случай благоразумно, я не могу его не одобрить. Если бы *эти люди* перешли Дунай, то вы не могли бы этого потерпеть». Тут фан-Свитен схватился за последние слова и попытался в исполнение своих инструкций вырвать у Фридриха обещание оставаться спокойным зрителем, если Австрия начнет войну с Россиею. «Государь! — сказал он, — предположим, что Россия заставит нас вступить с нею в войну в каком бы то ни было месте, лишь бы только не в Польше; дадите ли ваше в-ство честное слово, что не вмешаетесь в эту войну ни прямо, ни косвенно и не нарушите с нами мира и доброй дружбы?» — «Такого случая еще нет, — отвечал король, — вы увидите, что *эти люди* подольют воды в свое вино, и я доставлю им воды для этого в изобилии; я уверен, что они потребуют вашего посредничества, и тогда дело пойдет иным путем».

В разговоре с фан-Свитеном 27 апреля (н. с.) Фридрих высказался о разделе Польши. Повторив о возможности скорого мира между Россиею и Портою, король прибавил, что Россия всего бы лучше нашла себе удовлетворение и вознаграждение на счет Польши; что для вознаграждения Польши петербургский двор предлагает отдать ей Молдавию и Валахию, которые, впрочем, будут иметь особого князя подобно Курляндии; но что он, король, не считает этого предложения удобоисполнимым, и было бы лучше, если б Россия получила часть Польши, Австрия удержала бы за собою те земли,

* Ces gens — так обыкновенно выражался Фридрих, говоря о русских с фан-Свитеном.

которыми уже овладела, причем и Пруссия будет также искать своих выгод. Когда фан-Свитен заметил, что Австрия имела старые права на занятые ею польские земли, то король сказал: «Велите-ка поискать в своих архивах, не найдется ли там еще каких-нибудь прав на другие польские области; надобно пользоваться случаем, я также возьму свою долю, а Россия свою. Наши государства от этого значительно не увеличатся, но это нас уладит; и так как ваш двор и я хотим успокоить Польшу, то эти новые приобретения дадут нам возможность наблюдать за спокойствием республики и содействовать ему». Фан-Свитен обещал донести об этом своему двору, но не удержался, чтоб не заметить: неужели король смотрит равнодушно на увеличение России в такой близости от него? Фридрих отвечал, что требования России не могут возбудить в нем слишком большого беспокойства: она желает получить маленькую частицу Ливонии, которая еще остается за Польшею. Чтоб покончить преждевременное разглагольствие, Фридрих сказал посланнику: «Прошу вас донести об этом своему двору; у меня здесь одна цель — соблюсти в точности катехизис, данный мне кн. Кауницем». Как скоро король упомянул о знаменитом катехизисе, где различались большие приобретения от малых, то фан-Свитен счел совершенно удобным осведомиться, как велика будет доля Пруссии при разделе Польши. «Я возьму часть Померании или польской Пруссии, — отвечал король, — это дурная область; но она даст мне сообщение с моим прусским королевством и доступ к Висле; впрочем, Данциг не отойдет к моим владениям» [178].

Между тем русский двор вошел в непосредственные сношения с венским по поводу мира с Турциею; русские условия были сообщены. До получения ответа из Вены в апреле гр. Панин попытался выведать у австрийского посла в Петербурге князя Лобковича, знает ли его двор о плане раздела Польши, как смотрит на него и нельзя ли склонить венский двор к соглашению насчет Турции. Для России так же, как для Пруссии и Австрии, были возможны только два пути: или тесным союзом с Пруссиею, удовлетворяя требованиям последней, ободиночить Австрию и заставить ее согласиться на русские распоряжения относительно Турции, или, наоборот, войти в тесный союз с Австриею, ободиночить этим Пруссию и заставить ее согласиться на все распоряжения императорских дворов относительно Турции. Мы увидим, как впоследствии вторая система сменит первую; но теперь до этого было еще далеко, и прежде всего по вине Австрии, которая не хотела обратить должного внимания на русские предложения. Панин в разговоре с Лобковичем обратил внимание на вооружения венского двора. «Настоящее положение трех дворов, — сказал он, — образует для меня лабиринт комбина-

ций, откуда я не вижу выхода, не могу я поверить, чтоб цель вашего двора состояла в поддержании Турции, которая всегда будет самой опасною вашею соседкою, неизменное правило вашего интереса этому препятствует; и кн. Кауниц так ясно понимает выгоды австрийской монархии, что не может присоветовать этого. С другой стороны, прусский король также вооружается; и я не могу себе представить, чтоб он это делал в качестве нашего союзника из опасения вашего двора, ибо все доказывает добрые отношения между ним и их император. в-ствами, все обнаруживает полную безопасность. Не видя в деле нашего примирения с турками причин вооружения соседей, я необходимо должен обратить внимание на дела польские. Если мое предположение сколько-нибудь основательно, то я бы просил доставить мне от кн. Кауница этот знак доверия, чтоб он открылся мне относительно своих видов на Польшу, заставивших его как министра присоветовать своему двору вооружения. Вероятно, здесь не пойдет речи об отдаче христианских областей под магометанское господство, но о распределении между государствами христианскими некоторых областей христианских в пользу политического равновесия для соединения интересов всех соседей и для упрочения их спокойствия. Думая таким образом об округлении границ для соседей Польши, нельзя сомневаться, что эта республика может еще существовать как государство значительное, и что касается отторгнутых от нее частей, то они, конечно, ничего не потеряют от того, что не будут более подчинены правительству, представляющему один беспорядок и смуту». Кн. Лобкович уверил Панина, что не имеет никакого понятия о видах своего двора, но что находит выслушанное мнение основательным и передаст его конфиденциально кн. Кауницу, причем будет его просить отвечать на доверие и откровенность русского первенствующего министра и надеется, что гр. Панин останется доволен его ответом. Лобкович дал также знать своему двору о внушениях Панина, что русский двор дружбе венского двора готов пожертвовать дружбою короля прусского, которым в Петербурге недовольны, находят его поведение двоедушным и подозревают в намерении взять что-нибудь у Польши, а это здесь считают для себя невыгодным. Иосиф II в восторге писал брату: «Обнаружилось, что прусский король нам солгал, представляя предложение о разделе Польши идущим из Петербурга». Но в Вене отвечали на эти внушения вовсе не так, как могли ожидать в Петербурге. Лобкович передал Панину депешу Кауница, в которой надворный австрийский канцлер уведомлял, что освобождение Обрезкова истребовано у Порты и султан соглашается вступить в мирные переговоры с добрыми услугами Австрии и Пруссии; но русские мирные условия о независимости Молдавии, Валахии и татар он, Кауниц, находит

невозможными: султан на это не согласится, потому что фамилия крымских ханов должна наследовать турецкий престол в случае пресечения оттоманской фамилии; кроме того, независимые татары могут быть опасны австрийским землям. Панин возразил, что большая часть татар были сначала вольные и уловлены в подданство только надеждою оттоманского наследства; что остальные татары были русские подданные и по временам крымские ханы переманивали их с кубанской на крымскую сторону; что Россия доставлением им прежней вольности хочет положить только преграду между собою и турками; что многие из Гиреев живут в Турции, и если их не довольно для наследства, то Порта может для этого оставить у себя всю ханскую фамилию; что татары вовсе не так близки к Австрии, и если бывали они в прежние войны на ее границах, то не иначе как по приказанию Порты. В заседании Совета 9 мая Панин, рассказавши о депеше Кауница, объявил, что дело очень важно, и высказал наивное мнение, что одно средство к исполнению русских желаний и к соглашению венского двора — это убедить последний собственною его честию и славою у потомства, надобно растолковать ему бескорыстие русских намерений, растолковать, что турки сами никогда не могут возвратить себе отнятые у них русскими земли, и если другие европейские державы станут им при этом помогать, то уже сами христиане будут виноваты в том, что повергнут снова в рабство других христиан; но Россия и тогда, не будучи в состоянии исполнить своего человеколюбивого намерения, не отдаст их туркам, а отдаст венскому двору с тем, что если он не захочет спасти угнетенных христиан от порабощения, то пусть отдаст их туркам сам и тем останется в ответе перед богом, светом и потомством. Совет одобрил мнение Панина, но некоторые члены заметили, что сходство ответов венского и берлинского дворов доказывает давнее знакомство прусского короля со взглядами венского двора.

В заседании 16 мая Панин в первый раз сообщил Совету о предложении Фридриха II приобрести польские области. Когда в Совете заметили, что хотя и невероятно, чтоб искренние и справедливые требования ее в-ства не произвели у венского двора желаемого действия, однако в противном случае военный пламень может распространиться по всей Европе, императрица вышла из Совета и граф Панин начал говорить: «По случаю известного захвата венским двором пограничных с Венгриею польских староств король прусский отозвался здешнему двору, что он не намерен быть спокойным зрителем такого поступка со стороны соседей, что имеет и он также права на смежные с его владениями польские земли и намерен взять их себе; что и Россия, если имеет такие же требования и хочет пользоваться удобным случаем, сделала бы с ним общее дело. Это представляет мне, — продолжал Па-

нин, — такой случай, о котором всегда помышляли для исполнения всеми желаемого: теперь удобно отделить себя от Польши реками. Хотя Россия и не имеет никакого права на польскую Лифляндию, однако я намерен вывести права на оставленные за Польшею 10 заднепровских полков и требовать их возвращения, тем более что Польша не исполнила обещаний, данных за оставление ей этих полков. Согласившись на уступку присвоенных австрийцами и требуемых королем прусским польских земель, исключая Данцига, можем мы получить польскую Лифляндию и желаемое разграничение реками, а Польше отдать взамен отбираемых от нее земель княжества Молдавское и Валашское; удовлетворив таким образом венский и берлинский дворы, скорее можно будет заключить предполагаемый мир с турками и успокоить польские замешательства; и если Совет на все это согласен, то я стану над этим трудиться и, отозвавшись слегка князю Лобковичу, приготовлю двор его к такой сделке». Совет согласился. Но когда Совет таким образом соглашался отдать Молдавию и Валахию Польше, иначе решали дело представители Австрии и Пруссии в Петербурге. Сольмс препроводил к Панину записку, в которой излагал разговор свой с Лобковичем. Последний спросил его, не считает ли он удобным отдать Молдавию и Валахию принцу Генриху прусскому. Сольмс отвечал отрицательно. Лобкович заметил, что и Австрии нельзя взять себе что-нибудь из этих земель, хотя бы ей и выгодно было занять часть Валахии до реки Алуты. «Я, — продолжал австрийский посол, — понимаю, что неловко возвращать этих земель Порте, но, мне кажется, трудно решить, кому их отдать, потому что такими большими владениями нельзя увеличивать Польское королевство». Мы видели, что и Фридрих II в разговоре с фан-Свитеном находил неудобным отдать дунайские княжества Польше, а в Петербург писал, что лучшее средство решить трудный вопрос о Молдавии и Валахии — это отдать их Польше [179].

В июне от русского посланника в Вене кн. Дмитр. Мих. Голицына пришли подробные известия о том, как там смотрели на русские условия. Кауниц говорил Голицыну, что, рассуждая беспристрастно, не может он себе вообразить, чтобы русское министерство по просвещению своему не предвидело затруднения, которого в Вене надлежало ожидать в принятии такого проекта. Этот проект основан на одних для русского императорского двора выгодах. Голицын заметил, что и для венского двора может некоторым образом последовать польза от освобождения Молдавии и Валахии и от их независимости. Кауниц отвечал, что не предвидит от этого никакой пользы для своего двора, который, впрочем, не желает и намерения не имеет что-либо для себя при этом случае приобрести с нарушением чести и верности своих обязательств.

Порта никогда не согласится на предосудительный и бесславный для себя мир, она еще может продолжать войну; и венский двор должен употребить надлежащие предосторожности для сохранения благосостояния собственных земель и равновесия европейской политической системы. Возражения против русских мирных условий были развиты Кауницем со всею подробностию в записке, носившей название «Словесный ответ на конфиденциальное изложение русской императрицы о мире с турками и на дальнейшие сообщения, сделанные князю Лобковичу». Надобно, говорилось в записке, прежде всего исследовать: 1) вероятно ли, чтоб Порта могла согласиться на мир, который повлечет за собою ее неизбежную погибель или по крайней мере отсрочит эту погибель только на короткое время? 2) План примирения поэтому может ли ускорить мир или, наоборот, должен удалить его на много лет? 3) Согласен ли он с будущим спокойствием и безопасностию австрийских владений? Их императорские и королевские величества не могут скрыть, что видят величайшие затруднения при его исполнении. Хотят, чтоб Порта уступила все завоеванное у нее Россиею и то, что будет завоевано в настоящую кампанию; предполагают открыть переговоры на основании «кто чем владеет» (uti possidetis), чему не было примера в истории, разве когда одна из воюющих сторон находилась совершенно без средств и не могла избежать гибели иначе, как помирившись во что бы то ни стало. Отдается на собственное рассуждение императрицы вопрос: в таком ли положении находится Порта, или, напротив, она в состоянии сделать еще много кампаний, не претерпевая более существенных потерь, чем те, которые она уже претерпела? Разве Порта может не чувствовать, что независимость татар необходимо поведет к их зависимости от России; что с потерею берегов Черного моря в Европе она потеряет и отдаст России выгоду драгоценную, обладание устьями значительных рек, по которым приходят из отдаленных стран все материалы, необходимые для постройки страшного флота и снабжения армий; что Константинополь чрез это будет постоянно подвергаться опасности голода и истребления; что мир на таком основании даст Русской империи громадное могущество, а империи Оттоманской падение в перспективе более или менее отдаленное, но неизбежное. Что касается Австрии, то независимость татар совершенно несовместима с безопасностию и спокойствием ее владений; то же значение имеет переход Молдавии и Валахии под другое владычество, какое бы ни было. Венгрия будет подвержена татарским нападениям, тем более что татары могут рассчитывать на безнаказанность по местным условиям. Если Молдавия и Валахия перейдут под власть могущественного государя, то они, увеличив его силу, нарушат европейское равновесие. Если же подпадут под

власть слабого государя, то не будут служить оплотом против татарских нашествий на австрийскую монархию.

Екатерина сама написала возражения на этот ответ: «Если относительно независимости татар как от меня, так и от Порты надобны другие ручательства кроме обязательств обеих договаривающихся сторон, то я готова допустить их. Свобода торговли и мореплавания на Черном море поставит обе империи в равное положение относительно выгод, и Порта будет иметь преимущество, ибо у нее уже есть флот на Черном море, а Россия, заводя его очень медленно, может только со временем войти в соперничество. Если рассмотреть положение земель, требуемых Россиею для установления мореплавания, и сравнить их с бесчисленными удобствами Порты для военного флота на Черном море, то никто не подумает, что Россия когда-либо может принять наступательное движение. Мои мирные условия ограничиваются уменьшением способов врага к новым нападениям. Когда я предлагаю открыть переговоры на основании *uti possidetis,* то не думаю, чтоб я была обязана более щадить врага имени христианского, тогда как я имею перед глазами недавний пример великих государств христианских*: одно из них, сделавши мирные предложения на этом основании (т. е. uti possidetis), не было в более невыгодном положении, чем теперь Порта. Что касается Австрии, то очевидно, что Турция в равной степени враждебна и ей, как России; что незначительный государь, который будет царствовать в Молдавии и Валахии, может сделаться врагом Австрии, что то же самое может случиться и с независимыми татарами, — это напрасно я буду стараться опровергать. Пока не будет доказано, что силы увеличиваются разделением, я не могу предвидеть большого беспокойства для австрийских областей в новом положении Молдавии, Валахии и татар. Молдавия и Валахия, ставши независимыми, для сохранения этой независимости не могут оставаться в открытом и беззащитном положении, они должны иметь войско, крепости со стороны Турции и татар, следовательно, должны сделаться оградою австрийских владений. Что же касается того, что ими будет владеть могущественный государь, то очевидно, что об этом не может быть и речи. *Я не буду оскорблять своего государства и никакого другого христианского государства, сравнивая их с Турциею относительно значения последней для равновесия между христианскими державами: политика Порты совершенно исключительная; принципы чести и достоинства не позволят никогда христианским державам допустить Порту в систему союзов (dans un corps d'alliance), и если бы, по несчастию, она была принята, то ознаменовала бы свое вступление в систему христианских*

* Австрию и Пруссию при заключении последнего мира.

государств вероломством и гибельными ударами, которым одинаково подверглись бы и друзья и враги. Неужели хотят сделать положение Порты неслыханно выгодным? В то время как ее собственная система, не соединимая ни с какою другою системою, стремится только к истреблению христианских государей по мере возможности, со стороны христианских государей будет существовать система твердая и постоянная, в которой сохранение Порты будет служить основанием, связанным с их собственным сохранением! И каково будет положение государства, которое, как моя империя, будет вести с нею войну победоносную и справедливую? Довольное пустым блеском триумфов, оно возвратит свои войска, ограничиваясь честию, что побило и низложило врага, не смея дотронуться до его владений, потому что этот враг есть Турция Христиане в своих войнах обходятся друг с другом менее великодушно, ибо, будучи соединены религиею, считаются всегда братьями, и только относительно вечного врага христиан должны обнаруживать все величие чувства».

Система, против которой Екатерина протестовала и за будущие поколения русских людей, утвердилась, и никакой протест против нее не может иметь силы в глазах европейских государей и министров. Возражения императрицы были переданы Лобковичу, отправлены им в Вену, но не произвели здесь никакого действия. Кауниц говорил Голицыну: «Я уверен, что Порта лучше захочет продолжать войну еще десять лет, нежели согласится на такие мирные условия; для венского двора не все равно, будут ли Молдавия и Валахия управляться господарями, зависящими от Порты, или князьями, назначаемыми Россиею по меньшей мере с ее согласия; в этом последнем случае интересы нашего двора подверглись бы важному ущербу; требуемая с русской стороны независимость татар легко может со временем обратиться в совершенное подданство и сделаться весьма предосудительною не только интересам Австрии, но и вообще равновесию Европы. Хотя изъяснения императрицы и не возбуждают сомнения в искренности и непорочности ее намерений, но императрица сама не может ручаться за преемников своих. История представляет не один пример, как народы из покровительства были приведены в подданство. Я не хочу от вас скрыть, что есть много людей, которые уверены, что прусский король от вашего примирения с турками ожидает для себя некоторого приобретения и что, по мнению тех же людей, назначена ему часть Польши». Потом Кауниц сказал с некоторым жаром: «Пора вам прекратить войну; дела ваши становятся очень сериозными для венского двора, который не может долго оставаться спокойным зрителем».

Панина встревожила резкость выражений Кауница, и он написал мнение об уступке Молдавии и Валахии: «Теперь,

когда кн. Кауниц, предубедя себя и двор своей нуждою равновесия между Россиею и Портою Оттоманскою, доводит дело до крайности и до явного почти разрыва с нами, благоразумие требует уступить несколько обстоятельствам и удовольствоваться тем, что способнее одержать можно, дабы инако, гоняясь за всем, всего же и не упустить. Для этого нужно прежде всего покончить с независимостию Крыма, постановить и подписать публичный акт между Россиею и ханом, который татары должны утвердить присягою. Хотя австрийский дом все наши требования без исключения отмещет, но неможно, однако ж, думать, чтоб для него в существе равно важным была независимость татарская и отторжение Молдавии и Валахии. В первом пункте зависть против славы империи нашей остается ему одним истинным побуждением, второй же, конечно, может иметь и самый его интерес, когда взять в уважение многое число земель, с нами так, как молдавцы и валахи, единоверных, состоящих под владением его; а из сего и может сей высокомерный дом поставить себе и прямым политическим правилом, чтобы не попускать Россию освобождать своих единоверных от власти над ними, подобной турецкому насилию, ибо в самом деле и католики не лучше турков над ними владычествуют да и поставляют сие равно с теми правилом своего закона. Посему можно, кажется, полагать, что отступление наше от требования завоеванных княжеств послужит взаимно к облегчению других наших видов» [180]. Но императрица не приняла мнения первенствующего министра; положено действовать через Пруссию. Таким образом, венский двор сам оттолкнул возможность русского союза, восстановления прежних отношений, какие были при Елисавете. Решительным и жестким тоном Кауниц хотел или напугать Россию, заставить ее смягчить мирные условия, или заставить ее решительнее высказаться насчет союза с Австриею, с исключением прусского союза, но австрийский канцлер ошибся в своем расчете.

Между тем император Иосиф находился в тревожном состоянии: он боялся пропустить удобный случай для увеличения своих владений, боялся, чтоб Россия и Пруссия не сделали приобретений, обойдя Австрию, боялся успехов России, не верил Фридриху II; требовал принятия решительных мер, больших вооружений, но не с целию вступить прямо в войну с Россиею, ибо не надеялся на успех, а с целию напугать Россию или по крайней мере иметь наготове средства, смотря по обстоятельствам, или броситься на Россию, когда она ослабнет, или схватить что-нибудь и тем привести себя в равновесие с нею. «Я считаю прусского короля неизменным в своем желании скрываться и ловить рыбу в мутной воде, — писал Иосиф своему брату Леопольду. — Никогда мы не убедим этого человека, чтоб он имел к нам доверие, и никогда не

побудим его к поступкам, которые поссорили бы его с русскими». Императрица Мария-Терезия имела свое мнение, что не должно никогда вести войны с Россиею, потому что турки напали на нее; русские оказывали всевозможное внимание к Австрии, притом они христиане; странно, что им позволили в Польше притеснять свободный народ, а теперь хотят помогать туркам! Иосиф был в отчаянии и писал брату: «Предоставляю вам оценить по достоинству такое рассуждение (материнское)! Каждый день промедления имеет великую важность; мы потеряем, наконец, столько времени, что волею-неволею нужно будет позволить русским делать все, что им угодно. Вы можете судить, как страдает моя ревность к государственному благу. Я не могу отказаться от своей системы; она, по-моему, хороша и верна; я или заставлю действовать прусского короля, или по крайней мере уничтожу весь его кредит при Порте. Если решатся на прямую войну, то я ее поведу, но подам письменный протест, сниму с себя ответственность за все несчастные последствия, которые, по-моему, неизбежны. Если же решатся ничего не делать, предоставив все случаю, и обнаружить свою великую слабость, то я буду вынужден засвидетельствовать перед публикою, что в том неповинен». Наконец Мария-Терезия согласилась на приготовление от 50 до 60 000 войска в Венгрии, приказав фан-Свитену спросить прусского короля, даст ли он письменное обещание не препятствовать Австрии в случае разрыва ее с Россиею, а Тугуту велено войти в переговоры с сановниками Порты насчет союза и вознаграждения за него.

Но мы видели, как Фридрих отвечал фан-Свитену на предложение дать упомянутое письменное обязательство; Фридрих вместо этого предлагал делить Польшу. Совесть Марии-Терезии, по обычаю, взволновалась: она объявила, что для сохранения целости польских владений готова отказаться и от прав своих на занятые польские земли. Иосиф писал брату: «Не знаю, что выйдет из этого великодушного объявления; в крайности надобно подумать, как бы сделать наименее дурной выбор. Мне не нужно вам говорить, в какой тайне надобно держать это дело (раздел Польши), потому что разглашение его произведет страшное впечатление, особенно во Франции». Иосиф преждевременно обеспокоился великодушием своей матери. Кауниц нисколько не удивился и не огорчился предложением прусского короля, но он не поверил, чтоб Пруссия и Россия ограничились такими ничтожными долями, какие Фридрих означил в разговоре с фан-Свитеном. Впрочем, пусть доли будут и больше, лишь бы Австрия не была в убытке — и Кауниц поднимает свой старый план: за приобретения в Польше Пруссия должна уступить Австрии часть Силезии и графство Глац. Фан-Свитену изготовляется наказ — разведать о величине долей России и Пруссии при разделе Польши и

поднять по возможности самым осторожным образом дело об уступке Силезии. Совестливая Мария-Терезия на докладе Кауница написала: «Placet» (Угодно). Дело шло о возвращении Силезии [181]!

Пред глазами старого канцлера опять является очаровательный призрак; встрепенулось и сердце старой императрицы-королевы. Силезия! Но из-за Силезии нельзя забыть все другое, нельзя позволить русским раздавить Турцию и утвердиться на Дунае. Силезия будет взята от Пруссии, за которую последняя получит богатое вознаграждение в Польше; Россия также хочет иметь свою долю в разделе, так пусть же и будет этим довольна, пусть откажется от своих требований относительно Турции, от которой Австрия получит за это также земли. В Вене с нетерпением ждали известий из Константинополя. Тугут доносил, что турки в восторге от его предложения: султан готов заплатить за драгоценный союз уступкою земли между Дунаем и рекою Алутою. Возражение в диване, что закон запрещает отдавать неверным мусульманские земли, было отстранено замечанием, что в уступаемой стране нет мечетей и магометанского народонаселения. На другое возражение, что во всей истории Турции нет примера такой добровольной уступки, отвечал сам султан Мустафа, что никогда не было также примера такого великодушного соседнего доброжелательства, какое теперь оказывает Порте венский двор. Но кроме земли Австрия хотела также получить от Турции 34 миллиона гульденов. Вытребовать эти деньги Тугуту было несравненно труднее; наконец султан согласился выплатить зараз 10 125 000 гульденов, а остальное в известные сроки. Но что скажут в Берлине? Надобно и туда дать что-нибудь; Тугут должен был вытребовать еще деньги для прусского короля. Турки на все соглашались, но требовали, чтоб Австрия доставила им такой мир с Россиею, при котором они ничего бы не уступили. В конце июня Тугуту удалось заключить конвенцию такого рода, что Австрия обязывалась доставить Турции мир или на основаниях Белградского, или на других, соответствующих обстоятельствам, но с условиями, которые Порта могла бы легко принять. Часть выговоренных Тугутом денег уже была отправлена в Вену [182].

Теперь Австрия должна была хлопотать о выгодном для Турции мире. Относительно России ошиблись в расчете, оттолкнули ее, а не испугали. «Мы не позволим Австрии предписывать себе законы», — сказал Панин Сольмсу [183]. Надобно было действовать на прусского короля; всего легче, разумеется, было действовать отказом принять участие в разделе Польши и обещанием войти в виды Фридриха только тогда, когда он согласится вместе с Австриею принудить Россию заключить с Портою выгодный для последней мир. Но Фридриха нельзя было перехитрить. Он ясно понимал преимущество

своего положения: Россия, оттолкнутая Австриею, угрожаемая ею, теперь крепче будет держаться союза с ним, легче войдет во все его планы, согласится на увеличение его польской доли, умерит и свои мирные условия с турками; войны не будет, потому что Австрия поспорит и все же сдастся, возьмет долю из Польши и отступит от бессмысленного требования, чтоб Россия заключила мир с турками безо всякой для себя выгоды. «Мне очень досадно, — говорил Фридрих фан-Свитену, — что ваш двор решился во всем отказывать, и я боюсь, что это произведет дурное впечатление на русских. Эти люди горды своими успехами и имеют право гордиться; нет ничего похожего, чтоб они могли опасаться неудач. Всего лучше было бы войти немедленно в переговоры, потому что эти люди умерят свои условия, я это знаю, но надобно их щадить, и невозможное дело заставить их отказаться от всякого вознаграждения, этого нельзя требовать». — «Прочность мира, — отвечал фан-Свитен, — будет зависеть исключительно от сохранения равновесия на Востоке, а от сохранения этого равновесия будет зависеть в будущем безопасность нашей и вашей монархии, которых интересы сливаются в этом важном деле». — «Но если Россия откажется предложить другие условия, — сказал король, — если она прекратит дальнейшие объяснения, что вы тогда сделаете? Независимость татар — условие важное, если бы русские добились независимости всех орд, живущих на берегах Черного моря; но если бы дело шло о двух или трех, то мне кажется, что можно на это согласиться, кроме того, можно отдать России Азов, место вовсе не так важное, как вы думаете: это плохая гавань, из которой никогда не может выйти флот. Что же касается Молдавии и Валахии, то петербургский двор не так легко от них откажется: цель его здесь состоит в том, чтоб отнять у турок средство беспокоить русскую империю посредством Польши; для петербургского двора все равно, в чьи руки достанутся эти княжества, лишь бы не оставались у турок; не можете ли вы взять их себе, как вы думаете?» Фан-Свитен сослался на письмо Кауница к Лобковичу, из которого было видно, что венский двор не намерен употребить во зло добрых услуг при мирных переговорах для обнаружения своей алчности. «Правда, — отвечал король, — вы много одолжены турками, имеете обязанности щадить их, но этому нисколько не помешает, если вам дадут Молдавию и Валахию, вы их отдадите туркам, а они за это возвратят вам Белград; эта мысль пришла мне сейчас в голову, как вы об ней думаете?» Фан-Свитен отвечал, что донесет своему двору о предложении королевском.

Когда это донесение было получено в Вене, Кауниц прежде всего не поверил его серьозности. «Король хочет только получше выведать наши намерения, — писал он фан-Свите-

ну. — Благодарить короля, но сказать, что его предложение противоречит принятой их и. величествами системе и повело бы к самым вредным последствиям для соседей России и для европейского равновесия вообще. Мы не хотим менять турецкого соседства ни на какое другое, не хотим давать Порте ни малейшего повода к упреку, что мы явились в отношении к ней неблагодарными или старались извлечь выгоды из ее затруднительного положения. Легко предвидеть, что Порта скорее откажется от Молдавии и Валахии, чем от пограничной дунайской крепости, с потерею которой откроется дорога во внутренность ее империи. Наконец, если наш двор раз позволит себе враждебные действия против Порты, Россия получит возможность без труда осуществить свои страшные завоевательные планы и достигнуть таких преимуществ, сравнительно с которыми приобретение Молдавии и Валахии можно считать ничем, наоборот, можно считать истинною потерею и первым основным камнем для будущего подчинения. Я жестоко ошибся, думая, что прошлый год в Нейштадте осязательно разъяснил королю осн вания нашей политической системы и наших уже тогда принятых окончательно решений. Но он или принял мои слова за обман, или подумал, что мы такие люди, которых легко можно заставить переменить свои систематические решения Иначе он не стал бы нам делать предложений насчет Молдавии и Валахии и не обнаруживал бы неудовольствия на наш последний ответ России, ибо этот ответ вполне согласен с тем, что я ему говорил год тому назад. Наоборот, он должен был бы нам быть благодарен, что мы одни противимся усилению России и отстраняем очевидную опасность не только от самих себя, но в равной по меньшей мере степени и от берлинского двора. Мы вовсе не презираем представляющихся случаев к приобретению существенных выгод. Но безопасность и самосохранение пребудут главным предметом нашей политики, которому жертвуем мы всеми другими соображениями и видимыми выгодами. В этом отношении наши воззрения совершенно отличны от королевских, ибо он обращает свое главное внимание на выгоды, тогда как мы убеждены, что это верное средство потерять и выгоды, и безопасность Мы переживаем критическое мгновение, которое должно решить будущую судьбу не только нашего, но и берлинского двора; итак, было бы непростительно сделать теперь политическую ошибку. Наше решение неизменно: скорей принять самые крайние меры, чем нарушить навсегда свою безопасность. Будем ждать, на что решатся Россия и король прусский, чтоб принять свои дальнейшие меры, смотря по времени и обстоятельствам» [184].

Австрия упорно, долго торговалась, как человек, который, вошедши в лавку и желая повыгоднее купить, начинает нарочно хулить товары: и тот не хорош, и другой ему не по

вкусу. Но этим упорством только давалась Фридриху возможность ускорить решение своего желанного дела в Петербурге, выторговать здесь для себя новые выгоды, застращивая враждебностию Австрии, ее вооружениями, продавая дорого свой союз и в то же время заставляя для ускорения мира отказаться от Молдавии и Валахии. 2 августа в заседании Совета граф Панин читал о притязаниях короля прусского на разные польские земли, сообщил все предложения Сольмса по этому предмету, присланный из Берлина проект секретной конвенции о приобретении пограничных польских земель; Панин прочел и свой контрпроект этой конвенции с прибавлением секретнейшего артикула, заключавшего в себе обязательства против венского двора в случае, если он станет препятствовать намерению союзных дворов. Оказывалось, что прусский король желает приобресть всю польскую Пруссию, исключая Данциг с его уездом; потом часть Великой Польши, лежащую по ту сторону реки Неца, также Кульм, Мариенбург и Вармию. Видя такую значительную долю, которую назначил себе прусский король, Совет постановил внести в конвенцию, что Россия должна получить остаток польской Лифляндии, часть Полоцкого и все Витебское воеводство, лежащие по сю сторону Двины, чтобы эта река была естественною границею между Россиею и Польшею до частной границы между Витебским и Полоцким воеводствами; следуя по ней оттуда до пункта, где соединяются границы трех воеводств, Полоцкого, Витебского и Минского, русская граница должна быть продолжена прямою линиею до вершины реки Дружек, или Друец, к месту, носящему название Ордва, и оттуда, спускаясь по этой реке до ее устья в Днепр, так, чтоб все воеводство Мстиславское по сю и по ту сторону Днепра и оба края воеводства Минского выше и ниже воеводства Мстиславского принадлежали России, чтоб с устья реки Дружек Днепр служил России границею с Польшею, сохраняя для Киева и его округа нынешнюю его границу по ту сторону Днепра. В заседании Совета 22 августа Панин сообщил депешу прусского короля к Сольмсу: Фридрих писал, что он сделал венскому двору внушение насчет приобретения Молдавии и Валахии, но получил ответ, что Австрия из признательности своей к Порте никогда не согласится на ее разрушение, напротив, сколько достанет силы, будет сохранять ее и равновесие на Востоке; что теперь должен решиться жребий австрийской и *русской** монархий. Король заключил депешу рассуждением, что если не сыщутся способы к соглашению, то он предвидит общую войну. По мнению Панина, надобно было подождать от прусского короля ответа на посланный к нему контрпроект секретной конвенции; что как ни

* В депеше Кауница фан-Свитену: прусской, а не русской.

велика к нам вражда венского двора, однако нельзя думать, чтобы действительно захотел он воевать с нами; видя, что наши войска всюду заняты, быть может, хочет он нас принудить к исполнению своих желаний одними только угрозами, поэтому нам нужно приготовиться таким образом, чтоб сдержать его одними оказательствами (демонстрациями) или же и самым делом. Граф Захар Чернышев говорил, что надобно усилить средства борьбы и по другой еще причине: прусский король, представляя себе нас не в состоянии противиться австрийским предприятиям, опасается в объяснениях с венским двором решительно держать нашу сторону, чтоб в случае разрыва не навлечь на себя всю его силу; если же увидит нас готовыми к войне, то можно думать, что исполнит все от него зависящее по своим с нами обязательствам, поэтому необходимо иметь в Польше значительный корпус войск. Чернышев объявил, что по его распоряжениям в Польше может быть 50 000 войска, на которые в первый год нужно 560 000 рублей, а на следующие — по 374 000. Эту новую армию думает он расположить в Литве около Бреста, чтоб можно было ее обратить по обстоятельствам или на помощь Первой армии, или против австрийцев. Совет согласился и постановил сделать рекрутский набор со ста душ. Генерал-прокурор объявил, что требуемые суммы может доставить без затруднения [185].

Хотели сделать большие военные приготовления, чтоб внушить бодрость союзнику, заставить его решительнее держать русскую сторону в объяснениях с венским двором. Но верный союзник стал решительнее настаивать в Петербурге на уступку Молдавии и Валахии, начал выставлять свою слабость в войне против Австрии и ее союзников; а впрочем, эта слабость исчезнет, он станет силен, будет воевать, если Россия согласится увеличить его долю в польском разделе! На основании депеши королевской Сольмс говорил Панину, что выпуск венским двором новых банковых билетов на 12 миллионов доказывает какое-нибудь важное намерение; если произойдет новая война, то она будет соединена с великими опасностями как для Пруссии, так и для России; что прусский король для избежания новой войны, а может быть, и для достижения мира видит одно средство, чтоб Россия оставила мысль об отторжении Молдавии и Валахии от Порты; Россия этим ничего бы не потеряла, объявив уже, что не для себя желает она этого отторжения, да еще и выиграла бы, обнаружив этим неправду венского двора; потому было бы очень желательно, чтоб Россия об этом зрело подумала, ибо в случае разрыва нести всю военную тягость досталось бы ей одной с ним же одним, так как с надежной стороны известно уже сделанное Англиею объявление, что она ни во что не вступится, если только Франция ограничится дачею

Австрии договорных 24 000 вспомогательного войска; равным образом и на Данию полагаться нельзя, нельзя и наперед отгадать, не успеет ли венский двор добыть вспомогательное войско от имперских князей. Вслед за тем новая депеша от Фридриха Сольмсу (от 10 сентября н. с.). «Надобно думать, — писал король, — что венский двор согласно с турками будет действовать в Молдавии и Валахии для вытеснения оттуда гр. Румянцева; сверх того, составлена будет в Польше генеральная конфедерация против России, будет выбран новый король и поляки станут делать набеги в русские пределы. На это можно сказать, что при диверсии с моей стороны Россия может легко со всем этим справиться; но в таком случае обращу я на себя все силы австрийского дома *, вспомогательный корпус Франции и все те войска, которые венский двор может получить для себя у мелких князей, следовательно, 200 000 неприятелей. Если присовокупить к этому двухлетний сряду недород хлеба, который теперь уже не позволяет привести в движение 10 000 человек, то спрашивается, при таких обстоятельствах не требует ли благоразумие испытать примирительные средства, прежде чем пуститься на крайности? Порта достаточно унижена будет другими потерями, хотя бы Молдавия и Валахия и были ей оставлены. Поэтому было бы нужно испытать противников наших, обращая всю неправду на их сторону, согласятся ли они с уступкою Молдавии и Валахии на все прочие русские требования; этою попыткою ничего не будет упущено по причине наступающей уже зимы. До сих пор нет еще у венского двора с Портою подписанного договора, но вероятно, что зимою он состоится. Если после такого с русской стороны поступка венский двор не войдет в соглашение, то надобно будет воевать. Впрочем, входя в положение венского двора, надобно признаться, что он имеет причину не желать, чтоб Молдавия и Валахия были в руках зависимого от России господаря; но, с другой стороны, нет основания для венского двора тревожиться независимостью Крыма и другими русскими условиями; это заставляет думать, не для того ли кн. Кауниц и решился во всем отказывать, чтоб только отстранить особенно противное ему условие. Так как война, — продолжал король, — заведет меня в большие расходы, то надеюсь, что в вознаграждение за них и в соответствии всем предстоящим опасностям для клевских моих земель Россия согласится придать к моей доле в Польше город Данциг, который без великих неудобств не может быть отторгнут от той земли, к которой принадлежит. Если бы не нужно было воевать, то моя доля превышала бы мои ожидания; но так как я ви-

* Где же все, когда австрийцы будут действовать в Молдавии и Валахии для вытеснения оттуда Румянцева?

жу, что дело дойдет до важной развязки, то не думаю, чтоб требование мое было чрезмерно. Если и Россия в соответствии приобретения мною города Данцига рассудит увеличить и свою долю, то я признаю справедливость этого и буду ей все без затруднения гарантировать. Главная моя теперь забота происходит от общего в Германии хлебного недостатка, который равномерно и австрийцев может заставить ждать будущего урожая для действительного ополчения. Несмотря на это, послал я в Польшу купить 7200 лошадей для ремонтирования конницы моей, да и, сверх того, буду принужден сделать еще многие другие пополнения, так что я едва ли буду в состоянии вступить в дело прежде июля или августа будущего года. Я думаю, однако, что это не будет поздно, ибо австрийцы, если бы и хотели, не могут ничего предпринять в Валахии прежде этого времени».

В октябре Фридрих дал знать в Петербург о разговоре своего министра при венском дворе Роде с Кауницем. Австрийский канцлер говорил о равновесии, которое было бы нарушено Россиею, если б ей дать волю, и наконец сказал: «Если б Россия не иначе захотела кончить войну как с великими выгодами, то было бы справедливо, чтоб императрица-королева и прусский король получили столько же на свою долю для сохранения равновесия между тремя державами». Вслед за тем от Фридриха пришли новые увещания России отступиться от Молдавии и Валахии; а если бы венский двор захотел требования свои распространить, независимость Крыма и свободное плавание по Черному морю взять предлогом разрыва своего с Россиею, в таком случае король без затруднения войдет во все виды России по точной силе и содержанию сепаратного секретнейшего артикула русского контрпроекта, принимает в полном составе секретную конвенцию, определяющую взаимные приобретения в Польше и взаимную их гарантию, готов еще определить особым артикулом помощь, подаваемую друг другу в случае нападения Австрии из ненависти за приобретения в Польше. Но город Данциг с округом должен быть причислен к прусским приобретениям, причем король вполне согласен и на то, чтоб русский двор увеличил и свою долю. Фридрих давал знать, что прежним союзным договором он не обязан давать помощь России против Австрии, ибо если венский двор теперь вооружится, то не за Польшу, а за Молдавию и Валахию; он, однако, не отказывается помогать России и в этом случае даст 20 000 войска, но с тем, что может его отозвать, как скоро австрийцы объявят ему войну; тогда Россия посылает ему на помощь шесть тысяч пехоты и 4000 козаков, а по окончании турецкой войны помогает и всеми силами; но Данциг должен принадлежать ему. Фридрих сообщил также донесение своего министра из Константинополя о требовании Порты, чтоб

Австрия и Пруссия подали ей помощь в случае несогласия России заключить с нею непостыдный для нее мир; по крайней мере пусть Пруссия останется спокойною зрительницею; прусский министр открыл, что это требование сделано было по наущению венского двора. При рассуждении об этих прусских предложениях в Совете граф Панин говорил, что так как польза России не позволяет уступать Данциг Пруссии, то, по его мнению, надобно предложить прусскому королю, чтоб он в случае войны с венским двором вознаградил себя за военные издержки австрийскими землями, которые Россия ему гарантирует [186]; как будто Фридриху II можно было делать подобные предложения!

Условия мира между Россиею и Портою были давно уже постановлены прусским королем: Россия должна отступиться от Молдавии и Валахии, сохраняя остальные условия, на которые должна согласиться Австрия. Условие об архипелажном острове Фридрих отверг с самого начала, и об нем не было речи, особенно после возражений гр. Алексея Орлова. Кроме нежелания усиливать Россию Фридрих имел и другую причину настаивать, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, ибо этот отказ прямо вел к участию ее в разделе Польши, к приобретению вознаграждения здесь. Фридрих должен был рассчитывать, что заключение мира с Портою на всей воле России может сильно охладить последнюю к соучастию в его планах относительно Польши, и ему было важно иметь Россию и Австрию соучастницами раздела, особенно первую: при таком соучастии он не боялся неудовольствия других держав и не боялся сопротивления внутри Польши, не боялся, наконец, все же неприятных, если и не опасных, криков против прусского хищничества: увидят, что не одна Пруссия поступает бесцеремонно с чужими владениями. Поэтому Фридриху надобно было уладить польское дело как можно скорее прежде турецкого, чтоб последнее не затянуло первого и не повело к перемене отношений; Фридрих желал только, чтоб Австрия явно не мешала переговорам между Россиею и Портою, чтоб эти переговоры начались для успокоения России. В Петербург он давал знать, что Австрия только тогда согласится на выгодный для России мир с Турциею, когда сама вместе с Пруссиею получит такие же выгоды для сохранения равновесия; а в Вену давал знать, что Россия может отказаться от Молдавии и Валахии не иначе, как получив себе вознаграждение в Польше; что же касается независимости татар, то Россия от этого условия не отступит, потому что от него зависит будущая безопасность ее границ. «Это их государственный интерес, — говорил король фан-Свитену, — и очень возражать против него нельзя; я знаю, что вы мне станете говорить, знаю, что у вас есть свой интерес, противный русскому, я вижу ясно, к чему это поведет; это

меня очень затрудняет; но эти люди не отступятся от независимости Крыма; и что тогда делать? Какая вам опасность от независимости татар или от их подчинения России, ибо я хорошо понимаю, что это одно и то же? Крымские гавани неудобны для постройки кораблей, они будут служить только для торговли; русские будут строить только торговые суда».— «Кто поручится за это, — возразил фан-Свитен, — впрочем, свободная торговля по Черному морю уже одна равняется Перу». — «Вы говорите, — продолжал Фридрих, — что Константинополь будет подвергаться постоянной опасности, но русские не начнут войны тотчас после мира». — «Годы, государь, — это минуты в политике, и, когда хотят рассчитывать верно в этой науке, надобно считать веками», — возразил фан-Свитен. «Ну что же? — продолжал король, — пусть они рано или поздно нападут на Константинополь, вы тогда и будете вести с ними войну». — «Неблагоразумно позволить России увеличить свое могущество и тогда уже противиться ее намерениям», — отвечал фан-Свитен. Но Фридрих не отставал от своего. Он упрекал фан-Свитена в том, что венский двор так резко отозвался на русские предложения. «Надобно принять другой тон, — говорил король, — не думайте, чтоб эти люди побоялись вступить с вами в войну, они к ней готовы, и, скажу откровенно, если вы вооружитесь против них, то поставите меня в затруднительное положение: с одной стороны, у меня будет примирившийся враг (Австрия), с другой — союзник. Я от вас не скрою, я поручил Зегелину выведать в Константинополе, что там думают о русских условиях. Он мне отвечал, что на условие о Молдавии и Валахии турки никогда не согласятся по важности этих областей, но что касается Крыма, то Зегелин думает, что Россия не найдет выгоды в татарской независимости; что татары, как магометане, будут всегда привязаны к Порте, станут по-прежнему делать набеги на Россию, а когда их захотят за это наказать, то они бросятся в объятия Порты, сделают это также при первом разрыве между нею и Россиею. Взгляд Зегелина совершенно справедлив, русские составили насчет Крыма совершенно химерический план. Притом я знаю, что татары вовсе не хотят независимости, и только палочными ударами заставили их принять дорогу в Петербург».

Итак, из двух самых важных условий одно прусский король совершенно отстранял, приводя это отстранение в связь с разделом Польши, другое представлял как невыгодное для России. Оставалась свобода плавания по Черному морю. «Что русские повезут в Константинополь?» — спрашивал он фан-Свитена; и когда тот отвечал, что повезут разные товары, между прочим меха, и распространят свою торговлю до Левантских островов, то Фридрих сказал ему: «О, это не ваше дело, англичане и французы этим распорядятся; я знаю, что

первые вовсе не равнодушно смотрят на успехи русских; нам за этим нечего останавливаться, это интересует гораздо более англичан и французов, предоставим это им» [187].

Фридрих брал верх в споре, противник явно ослабевал. Король видел приближение решительной минуты и был доволен. «Я сделал попытку, нельзя ли включить Данциг в нашу долю, — писал он брату Генриху 2 октября (н. с.). — Верно, что если мы не добудем этого города при настоящих обстоятельствах, то после нечего об этом и думать; теперь удобная минута окончить наши переговоры с русскими, потому что теперь очень сильны в Петербурге впечатления австрийских вооружений, да и приход 50 000 русских в Польшу, вероятно, сделает австрийцев поосторожнее. Я прибавил к проекту конвенции, что каждая из договаривающихся сторон овладеет своею долею непосредственно по подписании договора, так что мы не рискуем ничем впоследствии, овладение обыкновенно решает судьбу подобных приобретений. Я думаю, Чернышев мог бы приехать сам сюда, чтоб сговориться насчет плана кампании, если австрийцы вздумают шевелиться. Я этому очень рад, тем более что это нисколько не испортит дела, хотя я и не могу вообразить, чтобы, узнав о прибытии новой русской армии в Польшу, венский двор захотел подвергаться страшным случайностям разрыва с Россиею» [188].

В Пруссии были довольны; в Австрии, понятно, не могли быть очень довольны. Здесь видели, что не достигли своей цели, отнесшись так резко к русским предложениям. Россия, вместо того чтоб испугаться, уступить, справедливо оскорбилась и замолчала; дело перешло в руки прусского короля, а у того свои виды. Правда, он приглашает Австрию делить Польшу; но что это будет за дележ? Как будет соблюдено равновесие? Возвратить при этом Силезию — это несбыточная мечта, по убеждению Иосифа, да и Кауниц не мог много надеяться на осуществление своего плана. Пруссия непременно будет всегда в выигрыше; да и хлопотать из одного равновесия неприятно; а тут еще посыплются упреки за раздел Польши. Разумеется, надобно будет взять как можно больше, когда Пруссия и Россия возьмут; но главное, чтоб Россия не взяла еще от Турции; войну вести с нею нет никакой возможности, да и грозить долее вооружением нельзя: она не пугается, а собирает войско; Лобкович давал знать, что Екатерина решилась скорее употребить самые крайние меры, чем возвратить Молдавию и Валахию Турции, что в Петербурге не сомневаются в помощи Пруссии, если действительно дело дойдет до войны между Россиею и Австриею. Надобно войти с Россиею в непосредственные сношения, принять участие в переговорах ее с Турциею, чтоб ей дать как можно меньше, а себе приобрести и от Турции добычу. Императрица-королева Мария-Терезия ускорила дело. Вот что писал сын ее

император Иосиф брату Леопольду 25 сентября (н. с.): «Что касается политических дел, то они находятся теперь в необыкновенном кризисе. Нам должно отвечать России, и этот ответ будет решительный. Кн. Кауниц не подал еще своего мнения; а между тем ее величество сыграла с нами хорошую штуку. В разговоре с прусским министром Роде она разрушила всю нашу систему застращивания России и турок, она уверила его, что не хочет войны и никогда не позволит ее начать, что обладание Крымом она считает делом очень неважным, что ей мало заботы, оставит ли его Россия за собою или нет. Хороши же мы теперь вышли! Но надобно думать о том, что предпринять, чтоб выйти из этого положения; по-моему, надобно действовать с твердостию: или восстановить все, как было до войны, или, если одна из сторон выиграет, надобно и нам с королем прусским сделать также соответственное приобретение». Для первого, разумеется, надобно было решиться на войну с Россиею, но вот что писал Иосиф о войне: «Чтоб говорить о войне, не надобно быть в таких печальных обстоятельствах, в каких находятся наши области Богемия и Моравия. Прусский король может завоевать их без сражения с 20 000 войска, и вся наша армия по недостатку продовольствия и по невозможности собрать его будет принуждена спасаться на Дунай; в таком положении не время громко разговаривать. Этот один риск стоит вреда, какой принесет нам приобретение Россиею Крыма. Таким образом, должен быть мир, если он возможен, и особенно, чтоб нам не воевать». По мнению Иосифа, было три исхода из настоящего положения дел: или Россия и Турция заключают такой мир, который не доставляет ни одной из них существенных выгод. Как бы это ни было желательно, однако невероятно, можно сказать невозможно, ибо Россия никогда добровольно не откажется от сделанных ею завоеваний и не останется при опасности новых нападений со стороны Порты. Второй и самый естественный способ, чтоб Россия приобрела некоторые умеренные выгоды, а Порта, спасенная единственно Австриею от погибели, получила сносный мир. Она должна исполнить свою конвенцию с Австриею, но в Польше все должно остаться по-старому; Ципс должен отойти к Австрии. Хотя таким образом Россия и приобретет некоторое приращение, но Порта подвергается исключительному влиянию Австрии и навсегда рассорится с Пруссиею. Австрия не только увеличит свое политическое значение, но получит Малую Валахию и другие выговоренные турецкою конвенциею выгоды; Польша возвратится в прежнее состояние; прусскому королю Россия не даст более увеличивать своих владений, и он один останется с пустыми руками. Третий выход состоит в том, чтоб при окончании войны все соседние государства получили одинакие выгоды. Если Россия получит значительное приращение,

то Австрия и Пруссия должны получить такое же. Тут рождается вопрос, что для Австрии выгоднее: увеличить свои владения на счет Турции или на счет Польши. Если решиться на последнее, то нет другого средства, как прямо объясниться с Пруссиею и Россиею, вместе с ними составить формальный раздельный договор и соединенно предложить его полякам и туркам [189].

Мария-Терезия была в восторге от второго, *самого естественного способа* и потребовала немедленного его исполнения. Как ни тяжело было для Кауница первому начинать говорить с Голицыным о мире, медлить было больше нельзя. «Порта, — начал австрийский канцлер, — узнавши о русских условиях, призвала нашего посланника и объявила, что никогда не вступит в переговоры на основании подобного плана, и упрекала посланника за то, что по его внушениям она освободила Обрезкова. Но если бы даже удалены были затруднения со стороны Порты, все же русские условия не станут от этого удобнее к принятию. Независимость татар не может существовать в действительности. Со временем эти народы подпадут под власть России, ибо нация слабая, находясь между двумя сильными государствами, необходимо должна искать покровительства и убежища у одного из них. То же самое случится с Молдавиею и Валахиею; Австрия во внимание собственных интересов и для сохранения политического равновесия принуждена препятствовать прямо и косвенно, всеми возможными средствами этой независимости, этому раздроблению Турции и потому не может содействовать ускорению мира, а Порта объявила, что без участия нашего двора никогда не вступит в переговоры». — «Я знаю, — отвечал Голицын, — какую неограниченную власть справедливость всегда имела над вами, князь. Будьте судьею нашего дела. Вы видите наши выгоды, наши успехи; разве они не дают нам права на мир полезный и славный? Какое вознаграждение вы дадите нам за то, что хотите вычеркнуть из наших условий? Мне кажется, что такого вознаграждения нет». Кауниц пожал руку Голицына и сказал с веселым и ласковым видом: «Я вам откроюсь под условием глубочайшей тайны. Их императорские величества, проникнутые удивлением к необыкновенным достоинствам русской императрицы и желая жить в добром согласии с государынею, высказывающею столько человеколюбия и величия души, постарались сами найти средний термин для соглашения интересов обоих дворов. Вот условия мира: 1) уступка России города Азова с округом; 2) обеих Кабард; 3) свободная торговля и мореплавание по Черному морю и 4) денежное вознаграждение за военные издержки. Если Россия примет эти условия, то наш двор употребит добрые услуги для ускорения мира». Голицын заметил, что в этих условиях нет главного, о чем

всего больше заботится русский двор, т. е. прикрытия границ, столько пострадавших от татарских нашествий. «Вы можете, — отвечал Кауниц, — построить крепости. Впрочем, я должен вам заметить, что Австрия не возьмется содействовать миру, прежде чем петербургский двор не даст ему заверения, что не желает и не будет никогда желать раздробления Польши ни для себя, ни для кого бы то ни было; при этом, однако, их и. в-ства рассчитывают удержать 13 городов комитата Ципс как принадлежавших Венгерскому королевству; за них выплатится Польше та сумма денег, в которой они некогда были ей заложены. Что касается окончательного умиротворения Польши, то венский двор согласен, чтоб царствующий король остался на престоле и старая конституция была бы сохранена с теми изменениями, которые будут сходны с политическими интересами России и других соседних дворов» [190].

В Вене опоздали; хотя, разумеется, если б и не опоздали с таким объяснением, то оно способно было только снова еще сильнее оттолкнуть Петербург от Вены и сблизить с Берлином. Пруссия не раздражала таким резким предписыванием мирных условий, как позволил себе теперь венский двор, прямо выставляя свои интересы и намерение препятствовать всеми средствами исполнению русских условий. И прусский король неуклонно настаивал на то, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, но он не настаивал на другое важное условие — независимость Крыма, не приводил вознаграждения за тяжелую войну почти к нулю, а предлагал еще вознаграждение на другой стороне. Несмотря на вооружения и высокомерный тон венского двора, в Петербурге не раз убеждались, что дело не в Австрии, а в Пруссии. Но прусский король требовал настойчиво, чтоб Россия отказалась от дунайских княжеств и в вознаграждение взяла себе часть польских владений. Такая связь между турецким и польским делом не нравилась в Петербурге: отдать назад в турецкие руки две христианские области, жители которых были уверены, что такого возвращения не будет, проиграть, таким образом, во мнении христианского народонаселения турецких областей было очень тяжело. На это можно было решиться только в крайности; и осенью 1771 года эта крайность, по мнению многих, настояла. Двойная война вообще была тяжка, тем более что не были уверены в безопасности относительно Швеции. Для продолжения войны требовалось усиление средств со стороны России, а возможность усиления средств именно теперь ослабевала. Мы видели, что русское войско встретило в областях Порты врага более страшного, чем турецкое и татарское войско, встретило чуму. Но болезнь не ограничилась одним войском; она пошла дальше, распространилась по внутренним областям России, свирепствовала в Москве, где

благодаря опять войне, недостатку внутренней стражи вспыхнул бунт, умерщвление архиепископа. Надобно было освободить зараженные области от рекрутского набора, и Чернышев в октябре объявил Совету, что набор может уменьшиться до 20 000. С другой стороны, вследствие чумы же уменьшились казенные доходы. При таких обстоятельствах трудно было возражать людям, которые говорили: благоразумно ли отказываться от непосредственного приобретения ближайших к России областей, населенных русским народом, из-за независимости далекой Молдавии и Валахии, продолжать из-за этой независимости тяжкую войну, которая может еще усложниться, стать еще труднее?

24 октября Панин прочитал в Совете мнение свое, что при настоящем положении политических и военных дел нужно стараться о примирении с турками и для облегчения этого утвердить скорее независимость татар, чтобы это дело прежде мира всеми и самими турками сочтено было оконченным и непоправимым, а потом внушить Порте о склонности нашей возвратить ей Молдавию и Валахию; удерживая во время переговоров Бендеры как место, приобретенное великими трудами, стараться выменять его на Очаков и Кинбурн или же по крайней мере на один Кинбурн. Совет, признавши это мнение основательным и полезным, согласился поднести его императрице [191]. Сольмс еще прежде имел возможность дать знать своему государю об этой готовности русского двора отказаться от дунайских княжеств, потому что 4 ноября (н. с.) Фридрих II говорил фан-Свитену: «Я могу вам объявить, что относительно Молдавии и Валахии дело решенное: Россия согласится возвратить их туркам; я готов за это поручиться; что же касается Крыма, то еще посмотрим. Но русские будут искать себе вознаграждения на счет Польши и потом станут требовать денег». Донося об этих словах, фан-Свитен писал Кауницу: «Из того, что король сказал мне о Крыме, я имею право выводить, что и по этому пункту может быть уступлено, как уже сделана уступка относительно Молдавии и Валахии. Итак, по турецкому делу все будет улажено; но боюсь, что потом дело пойдет о Польше; думаю, что король и русская императрица согласились взять из нее себе по хорошей доле; они не замедлят предложить и нам долю; но мне кажется, что эта доля, какова бы она ни была, по своей полезности никогда не может быть сравнена с их долями; думаю, что настоящее время может быть благоприятно для осуществления идеи возвратить графство Глац и часть Силезии» [192].

Между тем Лобкович передал Панину записку такого же содержания, как и приведенный разговор Кауница с Голицыным, и названную в соответствии прежнему объяснению Екатерины мнением императора Иосифа и императрицы

Марии-Терезии; предложено было также заключить перемирие для удобнейшего ведения переговоров. На мнение их величеств отвечала императрица, что из уважения к ним она готова отступить от требования независимости Молдавии и Валахии, но не может этого сделать в рассуждении татар, которым уже даны торжественные обещания. Относительно перемирия Лобковичу передана была записка, что Россия согласна на перемирие, если турки уполномочат кого-нибудь из своей армии для соглашения о том с фельдмаршалом Румянцевым. Это требовалось для того, чтобы, договариваясь о перемирии, иметь средство вступить с турками в непосредственные переговоры и о самом мире и по возможности заключить его поскорее. К кн. Голицыну в Вену Панин отправил письмо с приказанием объявить Кауницу, что если его двор представляет права на занятые им польские земли и намерен удержать их, то равномерно и Россия, и союзник ее, король прусский, могут сыскать такие же права на земли республики [193].

В это самое время пришло в Петербург известие о тугутовском договоре между Австриею и Турциею. Какое впечатление произвело оно здесь, видно из письма Панина к кн. Голицыну в Вену: «Независимо от вкоренившегося в князе Каунице высокомерного желания дать России восчувствовать потерю австрийского союза из ненависти к принятой ее и. в-ством политической системе имеем мы здесь вероятные и едва ли не самые подлинные сведения, что он в коварном своем кове попустился уже заключить с Портою субсидный трактат в течение минувшего июля. Как здравая политика велит заранее готовиться на все возможные случаи, то начали уже мы здесь принимать все к первой встрече нужные меры как внутри, так и вне государства. К первым принадлежат заготовление магазинов в Литве и знатное умножение польского корпуса. Во второй класс следует распространение союза нашего с королем прусским. Сей новый в делах вынужденный оборот сделался причиною и отмены прежних ее и. в-ства намерений в рассуждении Польши и усмирения ее. Всемилостивейшая государыня изволила решиться согласно с королем прусским обратить на поляков собственную их неблагодарность и сделать на счет их пристойные приобретения как границам империи своей, так и границам союзника своего короля прусского, следуя в том примеру венского двора, который забрал в свои руки старостве Ципское с окружностями его по некоторым старым притязаниям. Российский и берлинский дворы имеют довольно сим подобных притязаний, кои и они намерены употребить себе в пользу; а сверх того, мы получили еще неоспоримое право требовать себе удовлетворения и за то, что поляки подняли против нас оружие и воспричинствовали

войну нашу с Портою Оттоманскою». Вместе с этим русским письмом посылалось к Голицыну письмо французское, которое он должен был показать Кауницу и в котором заключалось решение России относительно Польши; по поводу этого письма Панин писал Голицыну: «Открываюсь я во французском моем письме по пункту новых ее и. в-ства положений о Польше, дабы из того кн. Кауниц как бы неумышленно понять мог, что мы на все уже решились и что потому не лучше ли будет и для венского двора сделать из нужды добродетель и, вместо того чтоб заводить оный в неизвестную и опасную войну, увеличить без всяких дальностей часть свою на счет Польши, в чем ни мы, ни король прусский ему верно препятствовать не будем, если только он благовременно с нами и с ним снесется»[194].

Таким образом, Австрия торопила раздел Польши обнаружением своей враждебности к России по турецким отношениям. Россия пожертвовала Молдавиею и Валахиею, чтоб не встретить препятствий к миру со стороны Австрии и не отказываться от независимости Крыма, сочла себя вынужденною приглашать венский кабинет к осуществлению плана прусского короля; но последний, видя, что польское дело задерживается турецким, что Россия хочет сопоставить участие Австрии в разделе Польши с согласием на русские мирные условия с Портою, внушал в Петербурге, что дел этих не должно смешивать, что Австрия не может помешать разделу Польши, да и сама будет согласна принять в нем участие, что польское дело надобно кончить прежде турецкого, что в Константинополе по стараниям Пруссии готовы вступить в переговоры; в то же время озабоченный мыслию, что Россия не поддастся на эти внушения, что для нее на первом плане почетное окончание турецкой войны, для чего раздел Польши служит только средством, Фридрих, с другой стороны, *страстно* требовал от Австрии, чтоб она не делала препятствия начатию мирных переговоров между Россиею и Турциею. Это страстное отношение Фридриха к вопросу свидетельствуется словами фан-Свитена: «Живость короля и его страстное желание мира были чрезвычайны; мои плечи и руки часто чувствовали последствия его жестов»[195].

В Петербурге он затрагивал все струны; затрагивал гордость тамошнего правительства. «Думаю, — писал он, — что надобно бросить всякую мысль о соглашении с венским двором насчет приобретений в Польше, потому что этот двор дурно расположен к русскому; кн. Кауницу, горделивейшему из людей, считающему себя не без некоторого основания распорядителем дел Севера и Востока, нравится унижать тех, которые делают ему предложения, и решать их участь. Моя гордость не позволяет мне подчиняться суду этого министра, и не думаю, чтоб кто-нибудь в России посоветовал импера-

рице сообразовать свое поведение с фантазиями кн. Кауница, как будто мы не можем завладеть тем, что нам удобно, без его инвеституры и одобрения. Чтоб не запутывать дел, гораздо проще овладеть нашими условленными долями, как скоро русские войска будут на Висле: 1) мы последуем только примеру австрийцев; 2) эта самая армия на Висле, произведя сильное впечатление на австрийцев, сдержит их; 3) если наши министры в Вене объявят тогда этому двору о причинах, побудивших нас к этому разделу, он принужден будет согласиться, и если он не будет доволен своею долею, то может вознаградить себя или Белградом, или какими-нибудь польскими староствами по своему благоусмотрению; 4) что касается турок, то лучше, чтоб это завладение произошло перед началом переговоров с ними, потому что в таком случае они проглотят пилюли потихоньку: им объяснят, что это вознаграждение за возвращение им Молдавии и Валахии, им укажут, что австрийцы подали пример. Что же касается поляков, то надобно ждать с их стороны громких криков во всякое время, когда бы ни случилось занятие их областей, ибо эта нация, пустая, преданная интригам, кричит всегда, но армия на Висле скоро прекратит крики». Но здесь интересы расходились: для Фридриха важно было прежде всего овладеть частию Польши, для России же прежде всего нужно было заключить мир с Портою, после чего она готова была войти в соглашение с Пруссиею и Австриею насчет Польши, и потому в заседании Совета 22 ноября по прочтении приведенной депеши прусского короля члены Совета находили удобным приступить к польскому делу после мира с турками; турки, говорилось в Совете, наскучив нынешнею неудачною войною, не захотят начать новой из-за Польши; да и австрийцы в то время, когда все наши войска будут иметь свободные руки, скорее согласятся участвовать в разделе, чем препятствовать ему. Фридрих, однако, не переставал стыдить петербургский Кабинет унижением его пред австрийским канцлером. «Князь Кауниц, — писал король, — хочет сделаться хозяином переговоров, уверенный, что превосходством гения, который он в себе предполагает, заставит русских сделать все, что ему угодно. Итак, отделим пока турецкий мир от польского дела и посмотрим, прилично ли такому государству, как Россия, защищать свои права на Польшу пред враждебным трибуналом венского двора. По-моему, надобно вступить во владение польскими областями и потом ограничиться простым объявлением, что сделано это по таким-то и таким причинам. Будет гораздо больше достоинства в таком поведении, и эта твердость тона произведет хорошее впечатление на венский двор; я прозакладываю свою голову, что из-за Польши войны не будет. Что касается перемирия с турками на эту зиму, то я не вижу в этом ничего дурного; не надобно только

убаюкиваться надеждами, ибо единственная цель кн. Кауница — повелительно продиктовать условия мира; наши труды для достижения непосредственных переговоров будут потеряны, и по истечении перемирного срока надобно будет начинать новую кампанию» [196].

Эта последняя депеша была прочитана в заседании Совета 15 декабря вместе с полученною от Сольмса депешею Зегелина из Константинополя о согласии турок послать уполномоченных на конгресс, если императрица наперед обнадежит относительно возвращения завоеванных земель, и что местом конгресса назначается город Яссы. Понятно, что депеша Зегелина, как затрагивавшая главный интерес, поглотила все внимание. Екатерина спросила: «Подлинно ли турки желают послать полномочных на конгресс?» Панин отвечал, что сомневаться в этом нельзя и надобно спешить ответом через того же Зегелина.

Таким образом, для будущего 1772 года приготовились два дела: конгресс уполномоченных для мира между Россиею и Портою и раздел Польши. Мы видели, что в последней стране слухи о разделе пошли еще в 1770 году вследствие захвата австрийцами Ципса. В самом начале 1771 года французский агент в Данциге Жерар сообщал своему двору, что когда примас, ведший переговоры с послами русским и прусским о средствах успокоения Польши, потребовал, чтоб оба двора гарантировали владения республики, то оба посла не хотели слышать о гарантии и Бенуа сказал: «Думают, что император хочет оставить за собою староство Ципс, но мой государь не станет воевать с ним из-за этого». — «Всякий поймет, — прибавляет Жерар, — что прусский король оставит также за собою, что ему надобно». От 12 января Волконский уведомлял Панина, что примас с приверженными к России людьми продолжал стараться об усилении новой, русской, или патриотической, партии; но король и его советники стараются всячески этому препятствовать. Недавно к новой партии приступили великий канцлер коронный Млодзеевский, епископ куявский Островский, маршал надворный литовский Рогалинский. Узнав об этом, король призвал к себе Рогалинского и с сердцем спрашивал, что у них за советы держатся. «И вы, — говорил Станислав-Август, — будете так же обмануты русскими, как и члены Радомской конфедерации, потому что Волконский никакого письменного обязательства вам не дал. Русские намерены уступить в диссидентском деле, я у них выхлопотал эту уступку». Примас с согласия всей русской партии хотел войти в сношения с конфедератами, потребовать у них присылки депутатов с объяснениями, чего они хотят и на какой конец продолжают изнурять отечество. Король узнал и об этом и, призвавши к себе того же Рогалинского, спрашивал: «К кому вы сбираетесь писать и что вы

будете делать, если конфедераты ответят вам, что не хотят видеть меня на престоле? Вы входите в соглашения с людьми, ищущими моей погибели». — «Мы, — отвечал Рогалинский, — стараемся, напротив, о вашем утверждении на престоле, о спасении отечества и не примем несогласных с этим конфедератских предложений».

Такое противодействие со стороны короля, неодобрение плана реконфедерации, полученное из Петербурга, требование бездействия, полученное оттуда же и совпадавшее с требованиями прусского министра в Варшаве, нерешительность, неясность положения — все это было очень тяжело для Волконского; он не переставал просить об отозвании, и наконец просьба его была исполнена в начале года. Преемником ему был назначен известный Сальдерн. Эта перемена должна была произвести тревогу в Польше. Было известно, что к Сальдерну имел постоянное прибежище польский резидент в Петербурге Псарский, поручая ему интересы короля и его партии. Сальдерн осуждал поведение Волконского, рассорившегося с королем и враждебно поступившего с Чарторыйскими. В этом смысле Сальдерн представил записку императрице, доказывая, что успокоить Польшу можно только противоположным способом, привлекши на свою сторону короля и Чарторыйских. Императрица, прочитав записку, осталась довольна ею и пожелала, чтобы автор сам в качестве русского посла привел в исполнение свой план. Таким образом, Сальдерн был пойман, потому что ему вовсе не хотелось ехать в Варшаву на такой трудный и неприятный пост. Он стал отговариваться; но Панин представил ему, что если он откажется от места посла в Варшаве, то может быть отправлен на турецкий конгресс в качестве младшего уполномоченного при гр. Григор. Орлове, и если откажется от обоих назначений, то навлечет на себя гнев императрицы, вследствие чего должен будет оставить русскую службу. Сальдерн принял место посла в Варшаве; но легко понять, как испугались его назначения люди, которые в последнее время окружали Волконского как члены новой, русско-патриотической партии, враждебные королю и Чарторыйским, и во главе их примас Подоский, который сохранил во всей силе саксонские привязанности и жил мечтою о низвержении Станислава-Августа и восстановлении саксонской династии Они вспомнили о Репнине, который оставил Польшу во враждебном расположении к королю и Чарторыйским, и эта вражда еще более теперь усилилась вследствие последней выходки Станислава-Августа и *фамилии,* когда Сенат определил жаловаться на распоряжения Репнина и требовать их отмены. Патриоты хотели противопоставить Репнина Сальдерну и с этою целию 13 марта написали письмо императрице, где говорили, что с сожалением расстаются с Волконским, привлекшим сердца

многих кротостию и честностию, примут с удовольствием Сальдерна, заслужившего своими способностями доверие императрицы, но просят присоединить к нему кн. Репнина в каком угодно характере: он заслужил нерасположение врагов императрицы и полное доверие людей, ей преданных, доверие, которое было плодом долгого пребывания в Польше и совершенного знания страны, фамилий, их отношений, характера и свойств отдельных лиц. Письмо было подписано примасом Подоским, виленским епископом Мосальским, канцлером коронным Млодзеевским, кухмистром коронным Понинским и другими. Просьба не была исполнена, и письмо могло только послужить к ожесточению Сальдерна против патриотов.

Сальдерн приехал в Варшаву в самых первых числах апреля. Патриоты встретили его при выходе из кареты и присутствовали при его разувании; министры прусский, английский, датский и саксонский первые сделали ему визиты. Новый посол обошелся очень холодно с патриотами, дал им тотчас же почувствовать, что считает их людьми подозрительными, с которыми не намерен сближаться. В Петербург Сальдерн отправил очерки характеров друзей России, с помощью которых его предшественник хотел восстановить спокойствие в Польше: 1) примас Подоский, не терпящий короля саксонец, непримиримый враг Чарторыйских, имеющий нужду в наших деньгах, есть первый из друзей наших. У него нет ни закона, ни веры, ни кредита, его не уважает народ, его презирают сильные, его ненавидят слабые. В нем есть одна хорошая черта: он имеет честность объявлять: «Если я не могу иметь короля из саксонского дома, то всегда из благодарности буду повиноваться воле ее и. в-ства». Впрочем, он такой человек, которому никогда никакой тайны вверить нельзя, которого действующим лицом употребить нельзя и с которым ни один честный человек здесь действовать вместе не согласится; 2) епископ виленский Мосальский — человек тонкого и хитрого разума, но так ветрен, как французский аббат-петиметр, надутый в то же время своими достоинствами и дарованиями, стремящийся к приобретению важного значения в стране, желающий возвыситься с падением Чарторыйских. Надежда собрать сильную партию привлекла его к нашей стороне. Это человек лукавый, ненадежный; он имеет некоторый кредит в Литве, но и то у мелких людей. Более его кредита в Литве имеет 3) граф Флеминг, воевода померанский, единственный твердый и надежный человек; он друг России по внутреннему убеждению; 4) воевода подляшский получает от нас пенсию; деньги — единственное божество его; за деньги нам верен и добрый крикун, если нужда потребует; 5) воевода калишский, вполне предавшийся графу Мнишку, без системы и трус преестественный; 6) зять его граф Рогалинский похож на тестя и для дел наших совершенно беспо-

лезен; 7) великий канцлер коронный епископ познанский Млодзеевский — Макиавель Польши, продающий себя тому, кто даст дороже, без уважения и кредита в государстве; 8) епископ куявский, брат познанского, во всем подобен ему, только не так умен; 9) великий кухмистр коронный Понинский получает пенсию, легкомыслен и любит играть важную роль, для вестей способен, проворен; 10) маршал литовский Гуровский — хитрый человек с разумом, но без искры честности. Я буду иметь в нем нужду для разведывания чужих тайн и мыслей.

Мнимые друзья королевские: 1) воевода русский князь Чарторыйский. Он перед всеми отличается великими качествами души. Кажется мне, что он сильно начинает упадать; несмотря на то, он управляет всеми движениями государства; это человек просвещенный, проницательный, умный, знающий совершенно Польшу, уважаемый одинаково друзьями и врагами; будучи тверд в намерениях и осторожен, он с беспримерным искусством приобретает себе сердца человеческие, хитростью разделяет, красноречием соединяет, проникает других, а сам непроницаем. Воевода русский умел заставить короля удалиться от России; король делает все, что он захочет; 2) брат воеводы русского — канцлер, человек разумный, в коварствах весьма много обращавшийся, теперь уже престарелый и служащий только орудием своему брату, впрочем, любимый народом и умевший найти себе друзей в государстве, особливо в Литве; 3) кн. Любомирский — великий маршал коронный, зять воеводы русского, человек проворный, предприимчивый, но среднего разума, действующий только тогда, когда старики его заводят, ненавидит короля, невзирая на родство, не любит России. Есть еще два человека, которых можно назвать спутниками кн. Чарторыйского, Борх и Пршездецкий: один — вице-канцлер коронный, а другой — литовский, оба ябедники, оба жалкие политики, оба без уважения и кредита. Граф Браницкий — один из друзей королевских, который говорит Станиславу-Августу правду твердо и не обинуясь. Он один, на которого я могу положиться.

Из этого очень нелестного изображения *друзей России* и очень лестного изображения главы *фамилии* уже можно было легко заключить, что Сальдерн круто повернет на дорогу, противоположную той, по которой шел его предшественник. Французский агент в Варшаве дал знать своему двору, что новый русский посол сблизился с Чарторыйскими, имел тайное свидание с воеводою русским в третьем доме. В Сальдерне с изумлением начали замечать все более и более умеренности и кротости. «Сердце короля, — писал Сальдерн Панину, — есть сердце хорошего человека, но голова его, к несчастию, испорчена; увижу, могу ли я ее поправить; трудно излечить радикально мозг, поврежденный постоянными иллюзиями. Мой план состоит в том, чтоб примирить

короля и его предполагаемых друзей с императрицею и с Россиею прежде, чем думать о примирении поляков между собою Я сделаю половину дороги, если этот план мне удастся. Королю нечего есть и нечем платить своим служителям, он живет в долг день за день. Он задолжал почти каждому жителю города, и нищета его окружает. На второй же аудиенции он меня спросил, не имею ли я позволения дать ему денег, ибо он убежден, что императрица не может оставить его при такой крайности. Я пожал плечами и скрыл свою жестокую скорбь при виде короля, который со слезами просит милостыни; я был сильно тронут, но не обещал ничего. Утром в день королевских именин граф Браницкий явился ко мне и мучил меня до тех пор, пока я не дал ему пяти тысяч червонных Для меня необходимо такими поступками приобресть доверие короля».

10 мая Сальдерн уведомил Панина, что план его относительно короля удался. Он постарался представить Станиславу-Августу весь ужас его положения: ненависть к нему народа, отсутствие всякой помощи извне, ибо и русская императрица готова лишить его своего покровительства, если он будет поступать по-прежнему Сальдерн объявил, что немедленно выедет в Гродно, забрав с собою войско и всех тех, кто захочет за ним следовать, и в Гродно будет дожидаться дальнейших приказаний императрицы. Испуганный король дал запись: «Вследствие уверения посла ее в-ства и-цы всероссийской в том, что августейшая государыня его намерена поддерживать меня на троне польском и готова употребить все необходимые средства для успокоения моего государства; вследствие изъяснения средств, какие, по словам посла, императрица намерена употребить для достижения этой цели; вследствие обещания, что она будет считать моих друзей своими, если только они будут вести себя как искренние мои приверженцы, и что она будет обращать внимание на представления мои относительно средств успокоить Польшу, — вследствие всего этого я обязуюсь совещаться с ее величеством обо всем и действовать согласно с нею, не награждать без ее согласия наших общих друзей, не раздавать вакантных должностей и староств в полной уверенности, что ее в-ство будет поступать со мною дружественно и с уважением, на что я вправе рассчитывать после всего сказанного ее послом» Подписано 16 мая 1771 года. Станислав-Август, король Сальдерн с своей стороны дал королю запись: 1) кроме императрицы только два человека будут знать о записи королевской. графы Панин и Орлов; 2) Россия не сообщит об этом ни одному двору иностранному и ни одному поляку; 3) запись будет возвращена королю по восстановлении спокойствия в Польше; 4) посол будет обходиться с королевскими друзьями, которые станут на сторону России, как с

друзьями искренне примирившимися; 5) посол в течение трех дней распорядится освобождением из-под секвестра имений тех лиц, список которых представит король. Уладившись с королем, Сальдерн начал думать о реконфедерации. «Поверьте мне, — писал он Панину, — что время составить реконфедерацию. Невероятно, как увеличивается число конфедератов со дня на день. Большая часть наших военных командиров заботятся об этом очень мало или вовсе не заботятся. Они хотят продолжения этой малой войны, чтоб нагревать руки грабежом, притеснениями, злоупотреблениями. Наши офицеры успеют сделать Польшу пустынею, но именно чрез это самое число конфедератов увеличится и Польша не будет умиротворена». Больше всего Сальдерн обвинял генерала Веймарна, который должен был получить теперь значение главного военного начальника, ибо Сальдерн, как человек невоенный, не мог распоряжаться военными действиями подобно своим предшественникам-генералам. Отправляясь в Варшаву, Сальдерн представил императрице свои опасения насчет Веймарна, обвиняя его в недостатке твердости и быстроты исполнения, и Екатерина согласилась с ним. Находясь в Варшаве, Сальдерн не прекращал своих обвинений. «Веймарн столько же огорчен дурным поведением русских войск, как и я, — писал он императрице, — но что толку в его бесплодном сожалении? Он стал желчен, нерешителен, робок, мелочен. Я не смею надеяться на успех, если здесь не будет другого генерала». Сальдерн просил прислать или Бибикова, или кн. Репнина; относительно последнего он писал: «Смею уверить, что здесь мнения переменились на его счет; предубеждение исчезло и уступило место уважению, какое действительно заслуживают его честность и достоинство. Здесь начинают даже ждать его возвращения; все, кого только я видел, только от его присутствия ждут улучшения своего положения относительно русского войска». Трудно предположить, чтоб Сальдерн действительно желал присылки Репнина и считал возможным, ибо мог ли Репнин согласиться играть в Польше роль второстепенную или по крайней мере половинную? Мог ли возвратиться в Польшу после того, как недавно ее правительство отправило ко всем дворам на него жалобу? Гораздо скорее Сальдерн приведенными словами только хотел угодить Панину и уколоть врагов последнего, которые жаловались на крутость мер Репнина и требовали его отозвания, хотел уколоть преимущественно Волконского. Русского войска было тогда в Польше 12 169 человек, да в Литве 3818, 74 пушки и при них 316 артиллеристов. Волконский и Веймарн разделили все войско по постам неподвижным и подвижным Под первыми разумелись городские гарнизоны и посты, необходимые для поддержки сообщений. Подвижными назывались летучие отряды, назначенные действовать против

конфедератов всюду по мере надобности. Сальдерн никак не мог согласиться, чтоб было полезно ограничиться одною оборонительною войною, как было в последнее время, и употреблять на борьбу с конфедератами только четвертую часть войска, оставляя другие три части в гарнизонах. Войска, по мнению Сальдерна, портились от постоянного пребывания в гарнизонах, приучались к неряшеству, солдаты начинали заниматься мелкою торговлею, как жиды. «Я, — писал Сальдерн, — займусь сериозно установлением лучшего порядка и лучшей полиции в Варшаве и ее окрестностях, нимало не беспокоясь, будет ли это нравиться его польскому величеству или магнатам. Я выгоню из Варшавы конфедератских вербовщиков; дело неслыханное, которое уже два года сряду здесь делается! Я не позволю, чтоб бросали каменьями и черепицею в патрули русских солдат; дерзость доходит до того, что в них стреляют из ружей и пистолетов. Я не буду терять времени в жалобах на эти преступления великому маршалу, который находит всегда тысячу уверток, чтоб уклониться от предания виновных в руки правосудия. Образ ведения войны в Польше мне не нравится Первая наша забота должна состоять в том, чтоб овладеть большими реками. Недостаток в офицерах, способных командовать отрядами или маленькими летучими корпусами, невероятен Есть храбрые воины, но неспособные управлять ни другими, ни самими собою. Другие думают только о том, как бы нажиться. На способность и благоразумие офицеров генерального штаба положиться нельзя. Все, что делается здесь хорошего, делается только благодаря доблести и неустрашимости солдат. Исключая генерал-майора Суворова и полковника Лопухина, деятельность других начальников ограничивается тем, чтоб давать от времени до времени щелчки конфедератским шайкам. Давши один, другой щелчок, наши командиры ретируются с добычею, собранною по дороге в имениях мелкой шляхты, и, расположившись на квартирах, едят, пьют до тех пор, пока конфедераты не начнут снова собираться. Бывали примеры, что наши начальники отрядов съезжались с конфедератскими и вместе пировали». Сальдерн как будто предчувствовал, что в искусных вождях будет скоро нужда.

Сам Сальдерн скоро заметил следствия своего поведения и 19 мая писал Панину: «Мне кажется, что твердость моих речей и тайна всех моих поступков и намерений приобрели мне уважение и доверие; но меня не любят, меня боятся, и пройдет немного времени, как при моем дворе станут работать против меня внушениями непосредственными и посредственными».

Браницкий уведомил его об опасных движениях великого гетмана литовского, и посол написал последнему: «Ничто на свете не могло меня поразить так сильно, как известие, что человек, которого я люблю и уважаю более всего на свете,

подозревается в желании зла своему отечеству, в желании поддержать и усилить смуты, его терзающие. Нельзя больше притворяться с вами, время скинуть маску. Если вы не скрываете в груди своей планов, недостойных вас, планов преступных, клонящихся только к бедствию вашего отечества, то я требую от вас именем моей государыни, чтоб вы приехали не колеблясь в столицу для выслушания от меня распоряжений ее и. в-ства, имеющих целию благо вашего отечества и ваше собственное». Огинский отвечал отказом приехать. Умеренность и кротость Сальдерна должны были исчезнуть и вследствие препятствия его планам от людей, с которыми он не хотел ни минуты сдерживаться.

Еще 13 мая Сальдерн выдал печатную декларацию: «Ее и в-ство, искренне тронутая бедствиями, удручающими польский народ, решилась употребить последние усилия, внушенные ее великодушием и твердостию, для примирения умов, для прекращения смут. Императрица приглашает народ соединиться, оставя всякую частную ненависть, обеспечив себя против корыстных видов отдельных людей, и серьезно заняться средствами, как бы положить конец бедствиям отечества. Императрица дала самые точные приказания своему послу стараться об уяснении для каждого истинных ее намерений и совещаться с самим народом о средствах успокоить его относительно всех его прав. Для этой цели необходимо, чтоб все люди, благонамеренные, истинно любящие отечество, согласились с послом насчет средств умиротворить республику, искоренить все смуты мерами самыми законными. Посол употребит все, что может убедить нацию в бескорыстии ее в-ства, в том, что она никогда ничего не делала и не желала, что бы могло повредить независимости республики. Те, которые до того были обмануты насчет чувств и действий императрицы, что взялись за оружие для предохранения себя от мнимых опасностей, равно приглашаются к примирению. Кто из них возвратится в свой дом и удержится от всякого неприятельского действия, не будет нисколько обеспокоен русскими войсками». Оказалось, что декларация была написана слишком мягко: нас зовут, значит, в нас имеют нужду, значит, мы сильны и можем поднять головы, можем не пойти на зов; делай, что хочешь, что возьмешь. Сальдерн начал хлопотать, как бы поправить дело, стал повторять всем, что приехал вовсе не с тем, чтобы выпрашивать Христа ради или покупать успокоение Польши. Потом посол стал избегать разговоров с глазу на глаз с кем бы то ни было, давая чувствовать, что он сделал свое дело, перед всею Европою сказал свое слово королю и нации, теперь их черед отвечать ему. 27 мая явилась к послу торжественная депутация от имени королевского; оба великих канцлера, коронный и литовский, рассыпались в похвалах, в выражении удовольствия и глубо-

чайшего уважения к императрице по поводу декларации Посол отвечал, что если король хочет воспользоваться декларациею, то должен созвать всех епископов, сенаторов, сановников и шляхту, находящуюся в Варшаве, и представить им печальное состояние государства.

Король исполнил желание Сальдерна и к первому обратился к примасу Подоскому, которого спросил, что, конечно, по его мнению, реконфедерация была бы единственным средством достигнуть законной деятельности. Примас отвечал: «Не сенаторы и епископы, находящиеся в Варшаве, должны решить насчет этого дела; надобно подождать, какое впечатление декларация произведет в стране, и особенно среди конфедератов». Король сказал ему на это: «Так вы думаете, что надобно еще ждать?» Примас сделал низкий поклон и удалился. Сальдерн, узнав об этом разговоре, накинулся на Подоского, стал упрекать его в злонамеренности, в иезуитском «себе на уме», в измене своим обязательствам, в неблагодарности; объявил ему, что его интриги с саксонским министерством и со всеми конфедератами известны, а интриги эти имели одну цель — продолжение беспокойств с тем, чтоб низвергнуть короля; но как скоро интриги открыты, то пусть он, примас, не льстит себя более надеждою довести дело до того, что сама императрица увидит себя вынужденною покинуть короля. «Вы меня больше не проведете, — говорил Сальдерн, — меня не обманут ваши уверения в искренности, которой только одно имя вам известно». «Наконец, — писал сам Сальдерн Панину, — я упрекнул его во множестве маленьких мошенничеств, которые он употреблял, чтоб водить за нос этого достойного старика — князя Волконского». На все эти упреки Подоский с сердцем отвечал, что желает удалиться из Варшавы. На это Сальдерн сказал очень сухо, что даст ему ескорту, подобающую его сану, которая может заменить саксонскую гвардию, охраняющую его в столице. Надобно заметить, что прелат жил в саксонском дворце, прислуга его состояла частию из саксонцев и гвардиею служили ему два отряда саксонских войск.

Оправдывая свой поступок с примасом, выставляя его человеком самым негодным, постоянно обманывавшим русский двор, Сальдерн приводит следующий поступок Подоского. Когда написана была известная декларация, то Сальдерн показал ее прежде других примасу, и тот вызвался перевести ее на польский язык, но в переводе исказил некоторые выражения, например, в подлиннике было: «Польша, прежде этого печального времени цветущая», а Подоский перевел: «Польша при государях из саксонского дома цветущая». В подлиннике при изображении печального состояния Польши во время конфедерации говорилось: «...граждане добродетельные стенают в молчании», а Подоский вместо «в молча-

нии» поставил «в Сибири». Когда Сальдерн показал ему эти перемены, Подоский сделал отчаянный вид и всю вину сложил на переписчика. «Из этого вы видите, — писал Сальдерн Панину, — с какими людьми я имею дело в этой стране, куда бог перенес меня в своем величайшем гневе». После приведенного разговора своего с Сальдерном примас позвал его на обед; тот не поехал и написал, что поведение Подоского мешает ему, Сальдерну, бывать у него. Примас был так поражен этим письмом, что занемог и разослал копию письма по всем иностранным министрам, прося сообщить ее своим дворам и рекомендовать его их покровительству. Подоский хотел уехать в Эльбинг, но Сальдерну дали знать, что на дороге он будет перехвачен конфедератами; и отряд русского войска, посланный Сальдерном, задержал примаса, который поселился в своем загородном доме под надзором русского офицера. Потом примас просил посла, чтоб этого офицера от него вывели; Сальдерн согласился, взяв с него честное слово не уезжать. Наконец примас уехал, ибо в Петербурге не разделяли мнения Сальдерна, что надобно его удержать.

Король дал знать Сальдерну, что и другой сановник сказал ему относительно декларации. Большинство объявило почти единогласно, что смотрит на декларацию как на отворенную дверь для умиротворения королевства и считает необходимым, чтоб король снесся с русским послом насчет средств привести нацию в законную деятельность. Король отвечал, что очень обрадован их словами, и советовал отправиться к русскому послу и сказать ему то же самое. Но епископ виленский представил королю, что прежде всего необходимо отправить доверенных людей в Епериес и пригласить конфедератов соединиться с остальною нациею и тогда только созвать нацию в представительный корпус для договоров с русским двором. Тщетно король указывал ему на несостоятельность его мнения, на невозможность предписать законы России — епископ остался при своем мнении. Кухмистр Понинский высказал подобное же мнение, и король, отпуская его, сказал: «Вы третий из тех, которые сняли маску, и я предоставляю русскому послу дать вам урок, который вы заслужили». Сальдерн исполнил это относительно обоих сильно и бесцеремонно, по его собственному выражению. Виленский епископ, уходя, пригрозил послу, что в Литве 52 000 шляхты, тайно сконфедерованной. Сальдерн отвечал на это: «Жаль, что не вы ими командуете, ибо наш шеститысячный отряд в Литве расчесал бы вас в пух и прах». Отсылая этот разговор Панину, Сальдерн не упустил случая задеть своего предшественника: «Вы видите характер виленского епископа, который так долго заставлял верить моего предшественника, что он один из друзей России». С Понинским Сальдерн церемонился всего меньше: указав на 2000 червонных, которые

кухмистр выманил у Волконского обещанием соблюдать русские интересы, Сальдерн прямо назвал его негодяем, который от него не получит ни копейки пенсии. «Он ушел от меня настоящим поляком, которому можно дать одной рукой пощечину, а другой деньги», — писал Сальдерн.

Скоро дело дошло и до прусского министра Бенуа. Сальдерн нашел, и совершенно справедливо, что Бенуа не желает успокоения Польши, интригует против того, чтобы Сальдерн не заставил Станислава-Августа действовать в пользу реконфедерации вместе с Россиею. Сальдерн прямо объявил Бенуа дни и места, когда и где он внушал, что не нужно спешить с формированием национального корпуса; Сальдерн прямо спросил прусского министра, в интересах ли его короля удалить успокоение и продолжать без конца польские смуты, прямо потребовал, чтоб министр или переменил поведение, или начисто объявил, что таковы приказания, полученные им от своего правительства. Бенуа, прижатый к стене, должен был прибегнуть к извинениям и уверениям, что впредь будет следовать за русским послом шаг за шагом; Бенуа обещал также не бывать больше у примаса. Но на прощанье Бенуа отвел Сальдерна к окну и сказал ему по-немецки: «Я хорошо знаю, что вы друг моего короля; ради бога сделаем так, чтоб он мог получить приличную часть Польши. Этот неблагодарный народ заслуживает такого наказания, я вам отвечаю за благодарность моего государя». Сальдерн притворился изумленным и холодно отвечал: «Не нам с вами делить Польшу».

Сальдерна раздражило также то, что поляк Сульковский, отъявленный враг короля и Чарторыйских, приехавший в Петербург еще до отъезда оттуда Сальдерна (как видно, не без связи с движениями людей, подписавших известное письмо) и нашедший доступ к Орлову, жил в Петербурге и писал оттуда в Варшаву ложные вести, которые мешали действиям посла. 4 июня Сальдерн написал Панину отчаянное письмо: «Мое здоровье так расстроено, как никогда прежде не бывало. Я страдаю от беспрерывных интриг; я окружен людьми, которые подставляют мне ногу; ни дух, ни тело мое не знают ни минуты покоя. Единственное утешение доставляли мне ваши письма, но я их не получаю. К довершению моих бедствий вы соглашаетесь не сдержать обещания, данного мне вами и императрицею, держа так долго в Петербурге Сульковского. Я вас умоляю освободить меня от этого человека; если он останется в Петербурге еще четыре недели, то я подам в отставку. Я готов ко всему, будьте уверены, что я человек твердый. Делайте, что хотите; но тяжко видеть, что мой друг готов вонзить кинжал в мое сердце».

Спустя несколько времени Бенуа сообщил Сальдерну письмо Фридриха II. «Что касается приобретений в Польше, — писал прусский король своему министру, — то я нахо-

жусь в полном соглашении с русским двором. Тут нет более ни малейшего неудобства. Россия выставит притязания на известные области этого государства, до которых никому нет дела. Поэтому вы можете смело внушить г. Сальдерну, что мы не имеем нужды передавать венскому двору решение вопроса о наших правах, ибо этот двор уже овладел областями, на которые он имел претензии. Россия единственно для Австрии жертвует завоеванными ею Молдавиею и Валахиею. Во всяком случае я не намерен слепо исполнять желание венского двора и буквально исполнять то, что он сочтет нужным устроить по этому делу. Я поручаю вам просить посла моим именем, чтоб он не торопился в польских делах и дожидался приказаний императрицы, которые будут даны соответственно сделанным мною там предложениям».

«Итак, — писал Сальдерн Панину (15 июля), — раздел Польши — дело решенное в Петербурге и Берлине! Это не все: прусский король не хочет знать о распоряжениях Австрии в таком важном деле. Но я скажу с моею обычною откровенностию, что предприятие опасно, если не будет соглашения с венским двором». При последнем условии Сальдерн был доволен разделом Польши и только торопил свое правительство прислать ему инструкции действовать соответственно этому плану. «Что лучше, — спрашивал он у Панина, — поддерживать ли договор 1768 года, стоивший столько денег и крови для России, заключить прочный мир и предписать законы буйной республике с оружием в руках в соединении с другими державами или лучше, действуя примирительно, добиваться умиротворения, употребляя все-таки силу и тратя множество денег, добиваться умиротворения, которое все же не будет прочно и постоянно и будет гибельно для диссидентов: последние сделаются жертвой республики, не знающей ни чести, ни совести в исполнении своих торжественных обязательств? Я очень хорошо понимаю, что ни вы и никто, имеющий правила чести и добродетели, не может себе представить, до какой степени поляки вздорны и развращенны. Король есть и останется всю свою жизнь слабым, пустым и глупым человеком (imbécile); он презираем народом, и даже своими родственниками. Несмотря на то что он видит это собственными глазами, несмотря на то что я ему это повторяю беспрестанно, не раз он принужден был соглашаться со мною, что его побьют камнями, как только я удалюсь с горстью русского войска, находящеюся в Варшаве, и, несмотря на то, он, как истый Дон-Кихот, серьезно убежден, что должен искать главной поддержки своего трона среди своей нации. Можно ли представить себе подобную нелепость? Прибавьте еще, что этот государь неправдив, позволяет себе мелочности, увертки, перетолковывания. Без употребления силы нет твердой надежды на будущее; середина между мягкостию

и силою решительно вредна; мягкость портит головы в Польше и несовместна с достоинством и превосходством России».

24 июня у Сальдерна была конференция с канцлерами коронным и литовским в доме великого маршала кн. Любомирского, который также принимал в ней участие. Дело шло об умиротворении Польши по поводу последней русской декларации. Поляки заявили, что, прежде чем вступить в реконфедерацию, им надобно взвесить все последствия предприятия, которое может сделаться еще более пагубным для их отечества. Поэтому им необходимо иметь в руках что-нибудь, чем бы можно было подвинуть большинство нации сконфедерованной и несконфедерованной, необходима с русской стороны новая публичная декларация, которая бы произвела большее впечатление на нацию относительно вопросов о русской гарантии и диссидентах, возбудивших в ней такой ужас. Сальдерн отвечал, что он не откажется дать письменные объяснения и декларацию, когда они дадут ему манифест в ясных и приличных выражениях, подписанный достаточно значительным числом для приступления к реконфедерации, с предложением трудиться вместе с нами для умножения этого числа. На этом конференция и кончилась и не возобновлялась более; судьба Польши решилась иначе.

Сальдерн получил от Панина письмо (от 11 июня), в котором излагался ход дела о разделе Польши. «Еще при вас, — писал Панин, — получили мы конфиденциальное сообщение первых идей берлинского двора, и вы знаете мой ответ графу Сольмсу. Потом король прусский подвинулся дальше и оказался решительнее в своих видах. Он чрез своего министра внушил, что собственный интерес союзников не позволяет им пренебречь случаем, быть может единственным, округлить свои границы со стороны Польши и твердо установить их, что они могут войти в соглашение для определения своих притязаний, причем он уверен, что исполнение этого не встретит больших препятствий со стороны венского двора. Такие расположения и требования от союзника и важность дела заставили меня поднести его на самое сериозное обсуждение ее и. в-ства. Взвесивши, с одной стороны, принципы справедливости, которыми обязано великое государство относительно своего соседа, и обязательства договоров древних и новых Российской империи с республикою Польскою, а с другой — то, что императрица обязана наблюдать относительно прав и интересов своей империи; принимая в соображение значительный убыток, проистекающий от бесполезной помощи, подаваемой соседнему государству для доставления ему благосостояния, им отвергаемого; принимая в соображение, что гарантия польских владений, которую императрице угодно было на себя наложить, была принята не

как важное благодеяние, а была встречена с отвращением государством и каждым отдельным поляком; что упорствовать в навязывании Польше этого благодеяния значило бы жертвовать правами своей империи, продлить и увеличить бедствия собственных подданных; что все, что Польша по справедливости может требовать от нее, — это окончание смуты, поддержание царствующего короля на троне и сохранение внутренней формы правительства, — принимая все это в соображение и предпочитая то, что государь — отец своего народа — обязан прежде всего соблюдать в рассуждении его интереса, безопасности, спокойствия и выгод, императрица постановила войти в соглашение, предложенное королем прусским. Вследствие этого я запросил у графа Сольмса изложение видов и требований его двора, дабы, сообщив ему и с нашей стороны права и требования России, мы могли составить соглашение, где бы мы постановили насчет средств упрочения успеха дела, ибо, каковы бы ни были уверения насчет расположений венского двора, все же надобно приготовиться на случай сопротивления с его стороны или с какой-нибудь другой. Вот новая система, на основании которой вы должны соображать план ваших действий».

Летом известие о разделе, напечатанное в утрехтской газете, распространилось по всей Польше в копиях; в польской Пруссии говорили о разделе как о деле решенном; но король Станислав и все знатные поляки явно смеялись над этими предсказаниями. «Поляки думают, — писал Сальдерн, — что не только Европа, но и три другие части света заинтересованы в их усобицах. Вот почему предложение и исполнение договора трех дворов должны быть сделаны разом. Надобно захватить поляков врасплох, надобно их оглушить в первую минуту, и ничего не будет легче, как потом их раздавить и воспользоваться их частными ненавистями, их корыстными видами и их слабостию. Каждый поляк сдастся в ту минуту, как он признал превосходство силы противника, и никак иначе. Я вижу в самом короле заметное удаление от наших интересов; он воображает, что мы нуждаемся всего более в успокоении Польши. Я вижу и слышу, что король и по его примеру князь Любомирский внушают придворным и молодежи, что их твердость в последние два или три года положила границу русским стремлениям к господству в Польше и что только эта твердость заставила Россию отступить от пунктов гарантии и диссидентов. Эти мысли вонзают кинжал в мою грудь. Примите за истину неоспоримую, что большое число польских магнатов, несмотря на то что чувствуют бедствия войны, препятствуют нашим видам успокоения по двум причинам: они ненавидят короля столько же, как и Россию, и думают вредить последней, продолжая смуты своего отечества».

13 июля Сальдерн сообщил Панину содержание письма, присланного к королю из Вены братом его, генералом австрийской службы. Кауниц советовал не спешить умиротворением, которого Россия пламенно желает; король не должен бояться ничего худшего и должен проволакивать дело до получения дальнейших уведомлений из Вены; мир между Россиею и Турциею еще очень далек, венский двор находит русские требования чрезмерными. Прусский министр Бенуа показал Сальдерну собственноручное письмо Фридриха II, в котором сам Сальдерн прочел следующие строки: «Верно то, что Австрия под рукою покровительствует конфедератам, что и поддерживает упорство польских магнатов; раньше мира между Россиею и Портою соседние державы не будут в состоянии образумить поляков». 30 июля Сальдерн писал Панину: «Через канал, который у меня есть в кабинете польского короля, я знаю, что князь Понятовский писал ему с последнею почтою о неверности заключения мира между Россиею и Портою этою зимою и война, быть может общая, неизбежна. Из разговоров короля, большого болтуна князя Чарторыйского, канцлера литовского, князя Любомирского и вице-канцлера Борха очевидно, что они рассчитывают на какое-нибудь событие, для нас вредное, и, хотя я по возможности избегаю входить с ними в разговоры, им нравится делать предсказания о будущем и уменьшать языком наши выгоды в Крыму и на Дунае. Если они не имеют случая говорить этого при мне, то говорят при людях, которые, по их мнению, способны пересказать мне их речи. Мои ответы и мое поведение вообще таково, что в них выражается полное презрение к их особам и к их разговорам; я ограничиваюсь тем, что бросаю им от времени до времени едкие фразы, из которых видно, что смотрю на них как на людей неблагонамеренных относительно собственного отечества. Неуверенность в почве, на которой я стою, и страх сделать что-нибудь слишком меня убивают. Клянусь вам, что эти люди заслуживают высылки из Варшавы, ибо все зло, которое мы терпим в Польше, идет от двух негодяев — Любомирского и Борха; я буду писать императрице, чтоб мне было позволено снова наложить самый строгий секвестр на их земли, если у ее величества есть причины не желать их высылки из Варшавы».

Панин, уведомляя Сальдерна о неудовлетворительности австрийского ответа, неудовлетворительности совершенно неожиданной, писал ему от 28 августа: «Решится ли венский двор приступить к нашему соглашению с королем прусским, будет ли держать себя в стороне или формально воспротивится нашему плану, решено, что мы будем исполнять этот план. Он будет центром, к которому необходимо должны тяготеть все наши дела и меры в Польше. Ясно, что для успеха

в достижении наших видов смута в Польше может быть только благоприятна для нас; мы можем оставить дела в том положении, в каком они теперь находятся, и откладывать умиротворение до тех пор, пока оно будет в состоянии нам служить или по крайней мере не будет в состоянии нам вредить. Оставляя все в настоящей запутанности, искусно проволакивая дела, вы должны успешно стараться увеличивать нашу партию как для того, чтоб произвести разделение в умах, так и для сохранения вида законности в минуту осуществления нашего проекта. По нашему соглашению с королем прусским он начнет забирать земли, которые имеет в виду, и мы со своей стороны этою осенью отделим от Второй армии значительный корпус для занятия земель, которые должны отойти к нам. Тогда вы получите декларацию, оправдывающую это занятие. Вы очень хорошо сделали, что отказали польским министрам в декларации с определением наших уступок, пока они не доставят желаемого вами манифеста. Это укрепление долго должно служить вам защитою, и если бы они его перешли, то вы должны уклониться от всякого объяснения, которое бы нас к чему-нибудь обязывало, ускоряло бы развязку дела и содействовало образованию национального представительного корпуса. До решительной минуты ваше поведение должно быть совершенно страдательное; но это не снимает с вас обязанности трудиться постоянно для поддержания в короле и в главных ваших деятелях мнения, что у вас в голове нет другого предмета, кроме умиротворения, чтоб сосредоточить в этой сфере все интриги и происки. Но главное ваше старание должно состоять в том, чтоб овладеть известным числом людей, которых бы мы могли заставить действовать, когда придет время. Свойство поляка — предпочитать свой личный интерес всякому другому, и это свойство надобно обратить в нашу пользу. Вся эта громадная издержка на конфедерации с целью умиротворения Польши должна быть употреблена на такую конфедерацию, которая согласится на все наши требования и требования нашего союзника. Вы думаете совершенно справедливо, что многие затруднения сократятся, если венский двор будет участвовать в соглашении; мы этого желали бы и не отчаиваемся еще в исполнении нашего желания. Но если его упорство непобедимо, у нас решено обойтись и без него и ни на минуту не уклоняться от плана соображением того, что Австрия может или не может сделать. Наши интересы так тесно связаны с интересами короля прусского, что, кто нападет на того или другого, непременно будет иметь войну с обоими; и прусский король, который знает лучше всякого другого сильную и слабую сторону дела, вовсе не думает, чтоб венский двор, который по обстоятельствам Франции необходимо очутится в одиночестве, начал в таком положении войну против России

и Пруссии. Разумеется, в Вене не желают нам добра, — это по всему видно, и это-то наполняет химерами польские головы, но, по всем вероятностям, одни поляки и будут здесь обмануты».

Сентябрь начал Сальдерн очень печальными известиями. Литва выставляла против русских свою конфедерацию; ее вождь литовский гетман Огинский разбил два русских отряда, почтовые сообщения были пресечены. «Не теряя головы, — писал Сальдерн, — я не знаю, однако, на что ее употребить. Большинство пробуждается от своей летаргии, нация начинает приходить в чувство, ее поджигают со всех сторон. Австрия не хочет вывести ее из заблуждения и, что еще хуже, пускает ей блоху в ухо. Она дразнит нацию тем, что горсть русских держит поляков в рабстве. Франция объявляет, что принимает более сериозное участие в польских интересах. Правда, она обманывает нацию, но иллюзия так же опасна, как и факт. Посылка офицеров и денег из Франции питает несчастных поляков пустыми мечтами. Все это увеличивает наши затруднения; прибавьте к этому восстание Огинского в Литве. Если этот огонь усилится, то мы потеряем свое превосходство. Конфедераты в окрестностях Кракова возьмут верх; Краков не продержится шести недель; прибавьте, что мы будем принуждены очистить Познань, и если весь огонь, который скрывается под пеплом, необходимо вспыхнет, то, клянусь богом, нам останется только стыд и смущение. Время не терпит, надобно взять другие меры, меры сильные, которых никто не ожидает. Нельзя ли подвинуть прусского короля? Пусть он только отпустит несколько гусарских полков к литовским границам, пусть только он сделает вид, что хочет напасть на Литву, — это испугает. Не мое дело описывать вам жалкое положение наших военных сил. Это обязанность Бибикова сделать, когда он сюда приедет. *Легион* * — это жалкое войско, по отзыву всех, кто его видел. Полковник Чернышев — человек без головы. Несчастие, что этот корпус был в Литве: его там презирали до последней степени. Военный дух вообще погас, исключая очень небольшое число. Оружие у наших солдат негодное, лошади у кавалеристов отвратительные, наша артиллерия плоха. Скупость, дурно понимаемая экономия — причина этого».

Успех Огинского отозвался немедленно в Варшаве: все подняли головы; Сальдерн усилил меры предосторожности. Король сначала был рад литовским событиям, но радость переменилась в печаль и сильное раздражение, когда Огинский вовсе не уведомил его о своих движениях и когда издал манифест, что присоединяется к Барской конфедерации. Сальдерн нашел короля в сильном унынии и негодовании

* Так называлось войско, сформированное для Литвы.

против Огинского. Станислав-Август начал обычный разговор о шаткости своего положения, о своем окончательном разорении, ибо Литва оставалась для него единственным источником доходов; король закончил требованием от посла самых сильных мер. Сальдерн, давши ему полную свободу высказаться, запел свою песню о непоследовательности его поведения и злонамеренности его фамилии, о бессвязности всех поступков, которые король без фамилии, а фамилия без короля позволяли себе в продолжение нескольких лет. «Я, — говорит Сальдерн, — показал в настоящем свете все тайные и явные коварства, которые они себе позволяли. Я его прижал к стене, я довел его до отчаяния, заставил его повторять: «Ради бога, что ж мне было делать? Не моя же это вина! Мое сердце было всегда за Россию. Я не мог заставить должностных лиц делать, что хочу. Я не могу ничего сделать без них». — «Единственный совет, который я могу вам дать, — сказал Сальдерн, — это успокоиться и не предпринимать решительно ничего до тех пор, пока литовский огонь не погаснет и я не получу дальнейших приказаний от моего двора». — «Как! — закричал король, — возможно ли ничего не делать в такую критическую минуту, когда дело идет о моем уничтожении? Необходимо поднять небо и землю, чтоб устроить реконфедерацию». Сальдерн, разумеется, употребил все свое красноречие, чтоб заставить короля по крайней мере на это время отказаться от плана реконфедерации; и Станислав-Август поклялся оставаться спокойным, а Сальдерн обещал ему за это употребить все усилия для потушения литовского восстания, после чего, принимая все более и более нежный тон, согласился с королем, что надобно увеличить число русского войска в Польше и что надобно протянуть несколько месяцев, чтоб дать императрице время убедиться в необходимости этого увеличения. Этим кончился трехчасовой разговор.

Опасения Сальдерна и короля относительно Огинского скоро рассеялись. Суворов, уже знаменитый победою, одержанною в июне над Дюмурье, теперь шел против литовского гетмана. С 22 на 23 сентября он напал на Огинского и уничтожил его войско, так что гетман только сам-третей убежал в Белосток. Эта победа произвела такое впечатление в Варшаве, что Сальдерн почел себя перенесенным в другую страну. Дом его наполнился самыми знатными людьми, которые приезжали с поздравлениями; являлись и люди с предложениями устроить реконфедерацию против воли министерства. Сальдерн им отвечал, что надобно подождать несколько недель, чтоб уяснить себе положение Литвы.

Между тем в Петербурге, где хотели, чтоб Сальдерн собирал как можно больше людей, которыми Россия могла бы располагать в нужном случае, в Петербурге не могли быть

довольны известиями, что посол своим обхождением отогнал от себя всех, которые до тех пор считались приверженцами России. В Петербурге знали, как в Версали восхищались тем, что поведение Сальдерна в Варшаве портит русское дело между поляками, и не могли не сделать замечаний послу. 25 сентября Сальдерн отвечал Панину на эти замечания: «Я могу и хочу претерпеть все, но я никогда не позволю, чтоб Россия была унижена в то время, как я нахожусь ее представителем. Негодяи имели здесь намерение сделать из меня второго Кейзерлинга; они употребили столько средств, чтоб вовлечь меня в свои сети. К несчастию, судьба хотела, чтоб я был непосредственным преемником старой бабы, который, будучи природным русским, сносил жестокие оскорбления, хотя был не только послом, но и командиром целого корпуса русской армии. Для чести нации я буду сообразоваться с поведением покойного генерала Кейта во время пребывания его в Швеции. Твердость, сила, поведение сериозное были необходимы, чтоб заставить уважать мое звание со дня моего приезда сюда, уважать мои ответы утвердительные и отрицательные. Необходимо было приучить поляков к порядку вещей, совершенно пренебреженному моим предшественником, отучить от хаоса, намеренно произведенного известным вам интриганом. Будьте уверены, что это сочинение моих врагов, будто мое поведение отличается жестокостию. Сила великого моего врага заставила меня решиться непременно покинуть свой пост. Но теперь мне нельзя объяснить все подробности этого дела... Генерал Бибиков приехал. Вы знаете, что это не князь Репнин. Вы знаете мое мнение о нем. Я вполне убежден, что он будет добросовестно содействовать видам, касающимся личной славы императрицы, интересов и достоинства России. Я знаю, что он не принадлежит к классу плутов, гипокритов и негодяев, которые подчиняются совершенно видам адских душ. Знаю, что с ним я достигну цели всех операций, относящихся к нашей настоящей системе, во сколько это будет зависеть от него. Но в Петербурге, в Военной коллегии, сделают все, чтоб его обманывать и мешать ему. Прибавьте к этому, что я знаю отвращение Бибикова к работе и к таким делам запутанным. Он страшно ленив. Он уже скучает гнусным положением, в котором находит дела. Я знакомлю его с успешным способом ведения мелкой войны, которая страшно трудна в стране, где ее должно вести проклятою политикою, где теряют дорогу и обманываются на каждом шагу и где тяжело соединять политику с чисто военными операциями. Совершенно прерванная корреспонденция удручает нашего друга Бибикова: этот достойный человек не может приноровиться к движению ощупью, когда все зависит от дурного или хорошего поведения самого незначительного офицера».

Решение, принятое в Петербурге, — в случае нужды достигнуть своей цели в Польше и без Австрии, не смотреть на ее угрозы, не бояться и войны с нею даже и при войне польско-турецкой — это решение казалось Сальдерну безрассудным, и он всеми средствами старался убедить Панина переменить его. «Есть ли возможность, — писал Сальдерн, — начинать новую войну, не кончивши первой? Хорошо, не будем бояться Австрии и будем презирать Польшу; но в каком положении находится внутренность нашей империи? Я боюсь, что средства ее истощены. К умножению затруднений моровая язва опустошает даже столицу. Есть ли у нас войско? Можем ли мы надеяться иметь его, пока президент Военной коллегии Чернышев, ныне царствующий, повелевает как деспот, образует войско на бумаге и громоздит иллюзию на иллюзии, чтобы заставить государыню верить, что крестьяне, нынче поставленные в рекруты, завтра будут обучены и наполнятся воинственным духом. Что, наконец, подумает народ, видя, как его братьев поведут на убой? Неужели вы думаете, что офицер и солдат еще не устали от настоящей войны, что она им еще не опротивела? Я знаю столько насчет этого, что никак уже сомневаться не могу. Я не говорю о грубости и жестокости, которыми наши генералы возбуждают к себе ненависть от первого до последнего офицера. От усталости и унижения всякое честолюбие исчезает в офицере; он оставляет службу и замещается таким, который принужден служить и все сносить по неимению других средств к существованию. Солдат устал и упал духом. Все это здесь точно так же, как и на Дунае. Охотничья собака не подвергается такой усталости. Истомленные долгою гоньбою, едва дышащие, они настигают наконец неприятеля и дерутся, и такая война продолжается четыре года, теперь следствия ее сказываются, войско не может более ее выносить. Я готов верить, что новая война необходима для окончания старой. Я бы в душе одобрил ваше намерение, если бы области, которые хочет приобресть себе король прусский, были менее важны, если бы он домогался только Вармии и участка на реке Нетце, но вся польская Пруссия — это смертельный удар для Польши, да и не для одной Польши, а для всего балтийского поморья. Округление такого рода способно потрясти политическое равновесие Европы. Исполненный глубочайшего уважения и нежности к вам, я не могу от вас скрыть, что прусский король, обуянный желанием новых приобретений, видит дурно, рассчитывает еще хуже и делает ложные силлогизмы. Голова его занята одним этим приобретением, и, не имея еще на руках прямого неприятеля, он пренебрегает затруднениями, которые последуют для нас. Если этот план должен быть исполнен, то король прусский никогда не увидит ему конца. Эта война будет самая упорная в XVIII веке».

Бибиков приехал, но Веймарн не торопился уехать, и Сальдерн видел в этом интригу с его стороны. «Я знаю наверное, — писал Сальдерн, — что он с некоторыми офицерами содействовал тайно усилению конфедератов. Боюсь, что гнусная политика Веймарна удержит Бибикова еще несколько недель в Варшаве. Мне кажется, он делает это нарочно, чтоб удобное время прошло, затруднения увеличились и новые меры Бибикова не могли быть приведены в исполнение».

Положение дел в Польше, сознание, что он приехал повернуть дело к лучшему и ничего не сделал, беспокойство насчет усложнения дел по поводу раздела Польши, невозможность выполнить панинские инструкции — ничего не делать и в то же время приобретать преданных России людей, страх пред новою войною, которую, по его мнению, Россия не имела средств вести с успехом, — все это привело Сальдерна в такое состояние, что он стал требовать увольнения из Варшавы. «Я не могу долее здесь оставаться, — писал он к Панину 8 октября, — умоляю вас как друга подумать серьезно о моем отозвании. Я готов принести вам жертву, остаться здесь зиму до первого апреля, когда я могу прямо отправиться на воды. Обещаю вам в это время наставлять Бибикова относительно наших дел в Польше, укажу ему все опасности, все подводные камни, которых он обязан будет избегать; я буду смотреть на него, как на брата, и сделаю все, чтоб наставления были для него приятны». Досада и раздражение Сальдерна будут еще более понятны, если мы обратим внимание на известия, что на Сальдерна при его отъезде из Петербурга возлагались большие надежды относительно умиротворения Польши, рассчитывали, что он успеет удовлетворить всех, и католиков, и диссидентов.

15 октября Сальдерн счел необходимым дать знать Панину о поступках папского нунция Дурини. «Нунций, — писал Сальдерн, — есть самый опасный наш неприятель в Польше как по своим личным действиям, так и по характеру представителя власти светской и духовной вместе; его злоба к нам выразится во всей силе и выразится с успехом в минуту обнаружения наших замыслов. Он способнее всех произвести народное объединение, которое мы должны предотвращать. Неблагонамеренные поляки всегда будут употреблять его для достижения своих целей. Это крепость, за стенами которой они давно скрывают свои замыслы и интриги. Необходимо удалить нунция из Варшавы. Я знаю, что это не обойдется без шума; я бы желал пощадить себя и вас от употребления этого рода насилия, которое взволнует публику; но если он останется здесь, то чего можно ожидать от человека грубого, безумного и пьяного? Наши друзья в Польше очень удивлены, что папский нунций наносит, так сказать, публичные оскорбления польскому королю, находящемуся под покровительст-

вом России, и действует против ее войск, ибо он публично проповедует, что истреблять их есть богоугодное дело. Часто они упрекают меня за равнодушие, с каким я смотрю на безрассудство нунция». Прочтя это письмо, императрица написала Панину: «Прикажите адресоваться нашему какому-то министру к сардинскому, дабы чрез сей двор папу склонить к отзыву своего бешеного нунциюса из Варшавы и напомнить папе, что в нашей воле убавить его впредь власть в близ нас лежащих местах, и для того, чтоб все осталось в статукво; чтоб он изволил нунциюса сменить, пока время есть, и графу Орлову еще остается папские порты посетить. Только напишите к Сальдерну, чтоб нунциюса сам не выслал или не арестовал, дабы нас с турками не сравняли, а требование смены нунциюса можно чрез куриера послать; сверх того, и Шувалов в Риме, то чаю, что если ему велите о сем папе говорить, то не сумневаюсь, что сделано будет, да и сардинский двор поможет».

На другие письма Сальдерна Панин отвечал по-прежнему наставлениями держать все и всех в бездейственном и нерешительном положении. Умер старик великий гетман коронный Браницкий; в Петербурге было решено оставить его место незанятым до поры до времени; король писал к императрице, прося согласиться на назначение гетманом Ржевуского; последний далеко не был приятен петербургскому двору, и на королевское письмо сочли за лучшее вовсе не отвечать. Но Екатерина отвечала на письмо Понятовского, которым он уведомлял ее о покушении на его жизнь. Сальдерну и Бибикову было приказано: не раздражая по возможности польское правительство участием в полицейских мерах относительно безопасности столицы, принять, однако, меры, необходимые для безопасности короля, собственной и войска русского, доискиваться также источников заговора, стараться открыть все пружины его и соучастников, чтоб никто из виновных не избежал кары правосудия. Эти виновники были двадцать человек конфедератов, которые в конце октября поодиночке пробрались в Варшаву с намерением похитить или убить короля. Они напали на него ночью, когда он возвращался от своего дяди кн. Чарторыйского (канцлера), ранили ружейными выстрелами несколько человек королевской свиты и самого Станислава-Августа, вытащили его из кареты, посадили верхом на лошадь и поскакали со своим пленником за город. Но, выехавши из Варшавы, похитители заблудились и наткнулись на русский пикет; они хотели убить короля и бежать; но один из них, Кузминский, уговорил их оставить Станислава-Августа на его попечение, поклявшись, что доставит его живого или мертвого к Пулавскому; тронутый просьбами Станислава-Августа, Кузминский отвел его на ближнюю мельницу, откуда дали знать в город, и гвардия

прискакала для препровождения короля в Варшаву. После этого события Станислав-Август писал Жоффрэн: «Теперь я чаще повторяю слова *терпение и бодрость!* Если богу было угодно спасти меня каким-то чудом, то ясно, что ему угодно употребить меня на что-нибудь в этом дольнем мире».

Это писалось тогда, когда по всей Польше раздавались громкие вопли против притеснений прусских войск, вошедших уже в польские области. Французский агент писал своему двору из Варшавы: «Прусские войска вошли в Польшу и возбудили своим поведением жалобы гораздо сильнее тех, которые раздавались против русских и конфедератов. Русские также недовольны поведением пруссаков, потому что последние захватывают припасы, приготовленные для русских войск, ничто не ускользает от прусского хищничества. Пруссаки берут с одной стороны, а конфедераты — с другой, и, по-видимому, между ними нет никакого несогласия». Французский поверенный в делах в Данциге писал в Версаль: «Верно, что прусский король с некоторого времени делает полякам зла более, чем русские сделали в четыре года».

По поводу этих прусских насилий Сальдерн имел любопытный разговор с Бенуа. Когда Сальдерн представлял ему впечатление, производимое на поляков поведением пруссаков, и следствия таких слишком ускоренных мер, то Бенуа, пожав плечами, отвечал: «Надеюсь, что король, мой государь, приготовился ко всем могущим произойти следствиям». Но, описывая этот разговор Панину, Сальдерн бессознательно обнаруживает, что прусскому королю нечего было бояться последствий впечатления, производимого на поляков поведением его войска: «Поляки, где бы ни собрались, ни о чем больше не говорят, как о реконфедерации. Я хлопочу одинаково об успокоении умов и разделении мнений. Счастье, что, за исключением господствующей фамилии (Чарторыйских), нет троих людей с одинаковым образом мыслей». Относительно поступков Фридриха II Сальдерн писал: «Непонятно, каким образом этот государь так спешит обнаружением своих намерений. Я не стану обвинять его в злонамеренности; но верно то, что он не соблюдает ни малейшего благоразумия и не знает меры. Теперь он занял город Познань баталионом пехоты и гусарским полком, и его офицеры живут по-братски с конфедератами. Пруссаки употребляют конфедератов, чтоб силою брать на землях наших друзей все запасы. Я говорю об этом Бенуа, а он только пожимает плечами и обещает писать своему королю. Сам я больше не буду говорить, а буду заставлять говорить Бибикова всякий раз, как наши солдаты в Торне или Петрокове будут голодать благодаря пруссакам, которые даром забирают все съестное» 3 декабря Сальдерн писал: «Пруссаки забирают припасы в 10 милях от Варшавы, а нам недостанет продовольствия здесь, как недостает уже

нашим отрядам, находящимся в Ловиче и Торне. Бедствия увеличивают число конфедератов со дня на день; наши друзья разорены, они вопиют, приходят, пишут ко мне, вопиют к небу; но небо так же глухо, как и я. Прусский министр так же глух к этим воплям, как и я, король не пишет ему ни строки об этом. К увеличению бедствий прусский король прислал сюда с жидами два миллиона дурных талеров с изображением ныне царствующего короля».

Но Бибиков, которого Сальдерн хотел заставить объясняться с Бенуа, смотрел гораздо спокойнее на дело. «Не заботьтесь о конфедератах, — писал он Панину, — они так ничтожны, что если не помешает что-нибудь особенное, то будущею весною выживу их из тех гнезд, где они теперь величаются со всеми французскими вертопрахами, и разве одно им будет убежище — австрийские земли. Да беда моя — общий наш друг посол: такая горячка и такая нетерпеливость, что с ног сбивает. При самой пустой и неосновательной от поляков вести (а их, по несчастию, здесь много) зашумит и заворчит: вот конфедераты усиливаются, вот уже они там и сям, а мы ничего не делаем, мы пропадем, они у нас отнимут все продовольствие! Нужны бывают все мое хладнокровие и все почтение к старику, чтоб удержать в пределах его запальчивость и напуски. Но будьте уверены, что сохраню эти качества, несмотря на странность его свойств. Часто мне кажется, что он совсем не тот, которого мы прежде знали; примечаю в нем странные подозрения: между прочим, кажется ему, что я с поляками очень вежлив и на его счет хочу приобресть любовь; иногда кажется ему, что не довольно бедного посла почитаю. Нередко уж и объяснялись, и я не раз от него слышал: «Помните, мой дорогой и достойный друг, что я представитель России и ваш бедный посол». Я его иногда смехом, иногда серьезно переуверяю, что у меня и в голове нет его унижать и что я и без посольства привык его почитать, да и теперь он дороже мне как мой друг Сальдерн, нежели посол. И после этого опять хорошо идет. А когда придет подозрение на мою вежливость, то начнет говорить: «Вы меня выдаете, своего друга и посла, вы так учтивы с этими мошенниками-поляками, надобно обходиться с ними, как с канальями: они этого заслуживают». В этом случае я прибегаю к своему красноречию и шутке: со смехом стану ему говорить, что не могу так грубиянить, как он, ему, как старому человеку, больше простят, а про меня скажут: русский невежа, жить не умеет Клянусь вам богом, что по временам причиняет он мне больше заботы, чем все вместе конфедераты. Если здешние наши политические дела имеют по желанию нашему какой успех, то извольте почитать единственным основанием этому глупость, трусость и нерешительность

поляков. Ненависть их к нашему другу невыразима, а боятся его, как пугала какого-нибудь» [197].

Бибиков успокаивал насчет Польши; но Остерман не мог этого делать относительно Швеции и, главное, тяготил беспрестанными требованиями денег для поддержания русской партии.

1 февраля Остерман прислал из Стокгольма известие о внезапной кончине короля. Необходимым дополнением к этому известию было требование денег для поддержания «благонамеренных патриотов, устремляющихся на сохранение национальной вольности». Относительно нового короля, Густава III, Остерман писал Панину: «О вступившем на престол короле за действительным ныне его в Париже прибытием, кажется, и никакого сумнения не остается, чтоб он теперь уже сам для себя у французского двора все то не выходил, чего когда-либо от него ожидать было можно, и, судя по веселым лицам господ шляп, довольно их полагаемую на то надежду приметить можно. Которая партия на будущем сейме поверхность получит, о том еще теперь судить нельзя; верно одно, что противною партиею все удобовозможные меры к приобретению поверхности приняты, к чему здешние их креатуры банкиры и потребные первые деньги знатными суммами выдали, и всякая вероподобность есть, что фельдмаршал граф Ферзен будет молодому государю наиглавнейшим ментором». Вожди благонамеренных представили Остерману смету, во что обойдется первое составление сейма в их пользу: для этого надобно было более 250 000 рублей, потому что деньги должны быть истрачены в пяти провинциях и ста шести городах кроме издержек на приезд дворянства, покупку полномочий и прочего, причем Стокгольм не шел в расчет. Остерман сильно жаловался на вздорожание дворянских полномочий: прежде платили от двух до трех тысяч, а теперь и за десять тысяч талеров едва можно было достать. Но можно было рассчитывать на то, что в королевском семействе не будет единства: вдовствующая королева объявляла постоянно, что не намерена более вмешиваться в политические дела, а брат королевский, принц Карл, приобретая час от часу больше популярности, обнадеживал благонамеренных в своей милости, говоря, что ему не меньше их нужно сохранение вольности.

Благонамеренные взяли верх при выборах в мещанском сословии, причем Остерманом и английским посланником истрачена была немалая сумма денег. Победа обошлась так дорого, что в апреле Остерман послал в Петербург нарочного курьера с требованием новой присылки денег, объявляя, что у него осталось не более 9000 рублей. Екатерина написала Панину: «Лучше дать денег, нежели видеть в Швеции самодержавство и с ним войну посредством французских денег и

интриг; итак, старайтесь, чтоб Остерман снабден был нужным и в пору». Это нужное состояло в 337 900 рублях.

В апреле Остерман извещал о стокгольмских толках по поводу австрийского вооружения: одни говорили, что вооружения эти производятся с согласия прусского короля, чтобы заставить Россию принять предложенные мирные условия; другие, что Австрия вооружается вследствие договора с Россиею и Пруссиею для раздела Польши и завоеванных турецких областей; иные выставляли намерения венского двора принудить русские войска выступить из Молдавии и Валахии, воспрепятствовать их переходу через Дунай, вытеснить их из Польши, с тайною помощию Франции низвергнуть с престола нынешнего польского короля и возвести на его место одного из принцев австрийского дома. Разумеется, последнее толкование принадлежало так называемым неблагонамеренным. Неблагонамеренные этим не довольствовались. В издании королевского библиотекаря Гервеля «Политические рассуждения» в статье о Польше описывалась древняя история русских князей и доказывалось, что после свержения татарского ига Россия постоянно стремилась к унижению Польской республики, употребляя для этого самих польских магнатов, которые, подчиняясь русскому влиянию, сами были причиною своих настоящих бедствий. Почти не было, по словам Остермана, ни одного печатного политического сочинения, где бы не говорилось о Польше, где бы не доказывалось, что и Швеция подвергнется одинаковой участи, причем Англия будет помогать России разорением всех шведских фабрик, следовательно, необходимо держаться Франции.

Англия поспешила показать, как она будет помогать России в самую критическую минуту: незадолго до начала сейма британский министр в Стокгольме Гудрик объявил Остерману, что Англия отказывается участвовать в общих издержках для противодействия французской партии, и, как нарочно, в то же время объявил, что французский двор назначил на сеймовые подкупы в Швеции три миллиона талеров медною монетою. Остерман был в страшном затруднении, ибо на присланные Даниею 10 000 талеров нельзя было много сделать Несколько утешили Остермана заявления нового прусского посланника графа Денгофа, что Фридрих II приказал ему сообразовать свои поступки с поступками русского посланника и что новый шведский король в бытность свою в Берлине дал дяде своему, прусскому королю, обещание не подкреплять прежнюю свою партию, а соединиться с русскою партиею. В конце мая Остерман получил из Петербурга 100 000 рублей, но при этом Панин писал: «По моей беспредельной откровенности, которую я к вашему в-ству персонально как друг иметь привык, не могу не сделать некоторых замечаний. Военные наши издержки становятся изо дня в день тягостнее

и потому заставляют желать, чтоб внешние издержки, сколько можно, были сокращаемы. Вы, конечно, сами постигаете всю нужду такого сокращения и, конечно, сами собою как отлично искусный министр и как истинный сын отечества будете по крайней возможности и лучшему своему уразумению стараться ограничивать денежные расходы, дабы иначе нам вдруг не остановиться на средине дороги. Не подумайте, чтоб мысли мои имели в виду неуместную экономию; отнюдь нет, ибо я весьма понимаю, да и по опыту знаю, что она, когда дело, люди и умы раз в движение и ферментацию приведены, может быть и вреднее, и бесславнее самого безмолвия и бездействия; но я хочу только дать выразуметь, что нам в рассуждении собственных наших теперь забот и упражнений в толь жестокой и обширной войне должно довольствоваться при будущем в Швеции сейме одержанием и обеспечением одних главных наших видов коренной нашей политики и настоящего времени. Ее и. в-ство изволит под сими двумя именованиями полагать: 1) удержание в целости шведской фундаментальной формы правительства; 2) отвращение короля и нации шведских от предприятия и учинения нам диверсии в продолжение войны нашей с Портою Оттоманскою. Для первого из сих двух пунктов надобно весьма, чтоб новый король дал при коронации своей такой обнадеживающий акт, какой покойным его родителем дан был, и, когда оный в начале сейма одержан будет без всяких отмен и изъятий против старого акта, тогда и можно уже нам будет в рассуждении существа формы правления оставаться до времени покойными зрителями, а между тем с большою свободою и силою обратить главное внимание на интерес времени, т. е. на удержание шведов не только от действительной войны, но и от наружных оной оказательств, дабы иначе не могло родиться в публике сомнение и пустой страх».

С приездом нового короля началось новое движение. Сенатор граф Герне вдруг обратился к отставному сенатору барону Функу с предложением изыскать средство к прекращению раздоров между двумя партиями и к избавлению себя от подкупов иностранных дворов, прибавляя, что при известном беспристрастии нового короля можно предоставить ему посредничество в этом деле. Функ отвечал в общих выражениях, что готов содействовать такому полезному делу; но Герне этим не удовольствовался, а настоял, чтоб он на другой день дал формальный ответ, который бы он мог передать королю. Функ обещал это сделать и прежде всего отправился к Остерману за советом, как быть. Остерман отвечал, что благонамеренные должны в этом случае оказать со своей стороны всякую податливость, получивши необходимые обеспечения, именно в том, что конституция останется нетронутою, французское влияние отстранится и в Сенат будет вве-

дено некоторое число членов из отрешенных на последнем сейме, чтоб уравновесить обе партии. Когда Функ на другой день передал это Герне, то получил чрез него королевское приказание явиться во дворец. Король при этом свидании дал ему точное обещание не требовать на предстоящем сейме ни малейшего усиления своей власти, ни уплаты своих долгов и вообще никакого преимущества, ограничивая себя единственным желанием видеть прекращение междоусобия; после этого король потребовал, чтоб в тот же день после обеда назначены были от обеих партий по три особы для переговоров и соглашения в присутствии его самого. Функ представил, что нельзя сделать так скоро, но Густав (и здесь высказался вполне его характер) настаивал и согласился отсрочить начало переговоров только до другого дня. В то же самое утро, как шли у короля переговоры с Функом, генерал-фельдмаршал граф Ферзен прислал записку к русскому резиденту Стахиеву с требованием свидания в королевском саду; при этом свидании Ферзен, давая именем короля Стахиеву обещание не трогать конституции и сохранять дружбу с Россиею, требовал, чтоб Остерман и английский министр Гудрик склонили вождей благонамеренной партии к переговорам с противниками. Это требование в тот же вечер было исполнено, и со стороны колпаков были назначены губернатор барон Риддерстолпе, камергер Эссен и генерал-майор Пехлин.

Переговоры кончились только видимым соглашением, ибо французская партия и король в ее челе явно нарушили условие равенства между партиями как в Сенате, так и в сеймовых учреждениях. Остерман, предугадывая с самого начала, что предложение соглашения имело целию только помешать успеху русской партии на сейме, действовал неослабно для доставления своей партии большинства, для чего выпросил в Петербурге еще 100 000 рублей. 1 июля он писал Панину: «Теперь с приобретением большинства в трех чинах вся по здешним законам сила осталась в руках нашей партии, и, сколько по человеческому гаданию предусмотреть можно, кажется, не только отвращена всякая опасность начатия с здешней стороны против нас войны, но и от ее и. в-ства зависит определение начал теснейшей связи России с Швециею».

Скоро оказалось, как искренне было хваленое королевское беспристрастие: в секретном королевском предложении государственным чинам, в статье о России, эта держава была представлена в крайнем изнеможении, следовательно, совершенно безопасною для Швеции; великие похвалы расточены были дружественным отношениям Франции к Швеции, выставлено было обещание французского правительства заплатить доимочные субсидии, и это обещание было приписано пребыванию самого короля при французском дворе. А между

тем Густав поручил прусскому посланнику Денгофу уверять Остермана, что он, король, никак не отступит от своего плана в соблюдении беспристрастия и чтоб Остерман не верил никаким противоположным внушениям. Остерман просил Денгофа изъявить Густаву глубокое его уважение к святости королевских уверений и в то же время переслал своему двору реляцию шведского посланника при венском дворе графа Борка от 20 июня. Борк описывал разговор свой с императором Иосифом II. «Швеция, — говорил Иосиф, — должна почитать себя чрезвычайно счастливою, получивши короля, одаренного столь великими качествами, как природными, так и приобретенными от внушений воспитателя его, знаменитого мужа графа Тессина. Жаль только, что Швеция, будучи прежде столь сильною державою, так ослабила себя внутренними партиями; надобно, впрочем, надеяться, что король успеет восстановить единодушие и открыть партиям глаза относительно опасности, какою угрожает им русская сила; надобно надеяться, что Швеция станет думать о том, как бы воспользоваться стесненными обстоятельствами России по причине настоящей разорительной ее войны с Турциею. Обратив внимание на то, что делают русские в Польше, как угнетают ее под предлогом успокоения, Швеция увидит, что и ей предстоит одинакая судьба, если заблаговременно не предотвратит опасности. Уже не говорю об известных замыслах России возвеличить себя над всеми своими соседями, которые должны противиться осуществлению ее намерений. Потому жалко видеть ослепление Дании относительно русских ласкательств и обещаний в голштинском деле. Дания имеет больше побуждений соединиться со Швецией для унижения России, нежели полагаться на пустые ласкательства последней и забавляться беспрестанными переменами в министерстве». Мария-Терезия, присутствовавшая при этом разговоре, вторила сыну, и так громко, что Борк боялся, чтоб не услыхал голландский министр, находившийся неподалеку; а голландский министр непременно передал бы слова императрицы русскому министру кн. Голицыну, находясь с ним в тесном согласии.

Сильным средством против этих внушений послужило известие из Петербурга, что там решено этим же летом отправить в Швецию хлеба на 50 000 рублей. Русская партия поднялась, противники ее должны были замолкнуть, и бургомистр Сорбон подал в секретный комитет мемориал с требованием, чтоб немедленно возобновлен был союзный договор с Россиею, ибо после, когда заключен будет мир между нею и Турциею, уже нельзя будет Швеции надеяться получить от нее таких выгодных условий Екатерина написала по этому случаю: «Я думаю, что обновление трактата служило бы много показать свету, что суперники наши не столь сильны, как об них думают, и турки наипаче увидят, коль мало они

надеяться могут на басни ненавистников наших, англичанам же и датчанам приметно будет, что и без их содействований дела текут».

В сентябре русская партия получила перевес в крестьянском чину, но эта победа стоила Остерману 62 000 талеров, которые он занял. В Стокгольм отправлено было еще 100 000 рублей. Но в половине октября Остерман писал, что этих денег недостаточно, и Екатерина отправила Панину записку: «Если последние переведенные графу Остерману деньги недостаточны и вы думаете, что его снова снабдить нужно, то перешлите к нему столько, чтоб его труды, поныне употребленные, не остались бы втуне». Эти посылки денег в Стокгольм тем более считались нужными, что главы французской партии ободряли своих, представляя совершенное истощение средств России. Для доказательства они имели в руках письма шведских министров: из Данцига и Гамбурга писали об умножающейся с часу на час силе конфедератов и о самом дурном состоянии русской армии, претерпевающей недостаток в провианте, писали, что Россия принуждена оставить польские дела их собственному течению. Граф Борк из Вены в двух письмах точно так же описывал печальное состояние русской армии и флота, причем уверял, что венский двор, зная такое изнурение России, отнюдь не допустит, чтоб все ее требования были удовлетворены турками, что непременно будущей весною военное пламя разгорится еще с большею силою и Франция пришлет на помощь Австрии и Турции 24 000 войска; шведский двор, писал Борк, должен воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами для избавления себя от вредного влияния России.

В конце ноября Остерман получил еще 100 000 рублей с увещанием от Панина содействовать скорейшему окончанию сейма. Но скоро после этого французский посол объявил вождям своей партии письменно, что по желанию короля обязывается не выдавать более денег на содержание сеймовых депутатов под каким бы то ни было предлогом. Это поставило в тупик Остермана. Сам французский посол вместе с испанским и саксонским предложили ему сделать то же самое с своею партиею, но Остерман отвечал, что подождет, как это решение будет исполнено на самом деле, ибо опыт научил его не полагаться на словесные или письменные заявления только [198].

Бедная средствами Дания продолжала давать кой-что на шведские издержки, имея тут одинакие интересы с Россиею. Мы видели, как в 1770 году произошел в Копенгагене министерский переворот, удаление Бернсторфа Переворот произошел вследствие подчинения слабого короля влиянию жены королевы Матильды, которая возвысила фаворита своего придворного медика Струензе до степени первенствующего

министра. В стремлении к господству Струензе не мог не столкнуться с главным авторитетом, самым видным правительственным лицом — Бернсторфом. Падение последнего, как мы видели, сильно огорчило и встревожило русский двор; это событие действительно ослабило непосредственное влияние России, ее посланника в Копенгагене, но не повело к перемене датской политики, ибо интересы Дании были тесно связаны с русскими по отношению к Швеции; кроме того, Дания была привязана к России чрезвычайно выгодным для нее улажением голштинского дела; утверждение договора относительно Голштинии согласно с приведенным выше мнением Панина должно было последовать при совершеннолетии великого князя Павла Петровича, и в ожидании этого утверждения Дании нельзя было ссориться с Россиею. По свидетельству иностранных дипломатов, королева Матильда питала личную ненависть к Философову за то, что тот как-то неумышленно оскорбил Струензе; при таких личных отношениях, разумеется, королеве и ее любимцу было приятно слышать возгласы врагов Бернсторфа, что этот министр рабствует пред Россиею и что для чести датского двора надобно положить конец таким отношениям. Преемнику Философова поэтому предстояла задача не давать чувствовать слишком резко влияния своего двора на отношения между правительственными лицами, избегать личных столкновений и, таким образом, не вредить союзу, крепко коренившемуся на единстве интересов русских и датских. Какое впечатление в Петербурге произведено было поведением Местмахера, можно видеть из письма Панина к нему. «Я отдаю вам справедливость, — писал Панин, — что вы умели в поведении вашем найти средину между сохранением благопристойности и твердым настоянием о всем том, что касается наших интересов. Все ваши отзывы к графу Остену так благоразумны, что, не раздражая ими этого министра, вы держите его в почтении ко двору нашему. Мне остается только сказать вам, чтоб вы при таких отзывах, наблюдая и впредь так разумно найденную вами средину между формальным требованием и снисходительным домогательством, имели в виду то, чтоб прежний совет был восстановлен и чтоб господин Шак, как нам доброжелательный и достойный человек, имел место в совете. При этом, однако, самое главное желание наше и польза дел состоит в том, чтоб видеть опять графа Бернсторфа в управлении делами. Но так как этот министр и очень стар, и очень знаменит во всей Европе, то простое его возвращение к делам не может быть ни для кого удовлетворительно и для самых дел полезно Поэтому вы должны стараться, чтоб граф Бернсторф был призван к делам не иначе как с повышением в чин великого канцлера Если граф Остен тут будет прямодушен и препятствовать не захочет, то и он может найти в

этом свою пользу: департамент иностранных дел может остаться в его руках с его присутствием в совете, и, конечно, из кого бы королевский совет составлен ни был, но, будучи всегда окружен фаворитами, соответствующими государям своим нравами, малодушием и своевольством, не получит важного значения для сдержки их колобродства без графа Бернсторфа».

Местмахер доносил, что молодой датский король, проводя время в одних забавах и удовольствиях, передал, особенно с некоторого времени, все правление в руки рекетмейстера Струензе, который, присоединив к себе генералов графа Ранцау и Гелера, преследует прежних министров и семейства их. О своих отношениях к этим любимцам Местмахер писал: «Стараюсь в своем поведении наблюдать строжайшую скромность, убегая всякого партикулярного с фаворитами обхождения, при всех случаях, однако, оказываю им пристойные учтивости, чтоб оставить себе на будущее время свободу или ближе к ним подойти, или совсем отстать». Местмахер доносил, что не сомневается в преданности графа Остена России; что же касается его кредита при короле, то он совершенно зависит от большей или меньшей к нему благосклонности рекетмейстера Струензе, с которым он предварительно должен соглашаться по всем предлагаемым королю делам. При дворе Остен играет очень незначительную роль, боясь вступать в интриги между фаворитами, чтоб, как сам говорил, не подвергнуться когда-нибудь одинакой с ними участи.

Местмахеру поручено было объявить Остену, что императрица довольна его назначением в министры иностранных дел. Остен отвечал на это, что никогда не взял бы на себя этой должности, если б имел хотя малейшее сомнение насчет королевского желания сохранять тесный союз с Россиею. Когда Местмахер указал ему на сильных при дворе людей генерала Гелера и графа Ранцау как приверженцев Франции, то Остен отвечал на это: «Вы сами знаете хитрость и трусость первого и беспутство второго. Они не имеют участия теперь в политических делах, потому что при распоряжении военными и другими делами находятся в беспрестанных между собою ссорах, занимая Струензе нареканиями друг на друга, почему он и не может обращать большого внимания на мои дела, которые я свободно исправляю с нужным ему сообщением». — «Но каков сам Струензе?» — спросил Местмахер. «Я уверен, — отвечал Остен, — что он королю и государству добра желает; но за неимением сведений в министериальных делах ни одному двору до сих пор предпочтения не отдает и, сверх того, зависит от королевы, которая, конечно, не может забыть, что она английская принцесса».

Но дела переменились к худшему по случаю смерти короля шведского. «Эта внезапная кончина, — говорил Остен, —

переломила у меня и руки и ноги, ибо теперь я принужден делать пред королем по шведским делам частые и сильные представления и этим подаю графу Ранцау частые случаи истолковывать их по-своему во зло Искренне желаю, чтоб императрица о такой нашей смуте великодушно жалела, ибо справедливый с ее стороны гнев или уничтожение голштинского дела служили бы только в пользу негодяя Ранцау, который, кроме того, что французская креатура, имеет земли в Голштинии и лучше хочет находиться под общею, чем единственною властию королевско-датского дома». В марте Местмахер писал Панину: «Продолжая со всевозможною осторожностию тайное сношение то с тем, то с другим фаворитом, стараюсь внушать, какие бедствия проистекут для Дании, если граф Ранцау долго будет делать, что хочет». 12 апреля Остену удалось настоять на решении короля, что ввиду страшного расстройства датских финансов надобно удовольствоваться переводом в Швецию задержанных за прошлый год 10 000 талеров, которые и вручить в Стокгольме русскому посланнику графу Остерману. Сумма была ничтожная, но Остен радовался тому, что Ранцау не успел помешать королевскому решению. Радость, впрочем, была непродолжительна: к инструкции отправлявшемуся в Стокгольм министром Гильденкрону король собственноручно приписал продиктованную Струензе заметку, что хотя сохранение шведской вольности будет всегда существенным датским интересом, однако его величество считает для себя неприличным вмешиваться в распри и интриги между тамошними партиями, почему и повелевает Гильденкрону наблюдать совершенное бездействие (инактивность). Остен увидал здесь сильно действующие французские пружины Местмахер увидал гораздо сильнейшее действие этих причин в следующем: датский посланник в Париже Блюм доносил о получении графом С. Жермэном собственноручного письма от датского короля с приглашением возвратиться в Данию. Местмахер, сильно встревоженный этим известием, заметил Остену, что возвращение С Жермэна равно прямому объявлению, что в Дании положено настоящую политическую систему переменить и опять слепо отдаться в французские руки. Остен отвечал, что и он сильно встревожен, но думает, что фавориты сильно ошибутся, если надеются чрез С. Жермэна утвердить свою власть: С. Жермэн не станет повиноваться Струензе, но будет стараться его низвергнуть. На это Местмахер заметил, что не стоит для низвержения Струензе, в политических началах еще не утвердившегося, жертвовать всею северною системою, разрушить которую С. Жермэн поставит для себя первым своим долгом. Граф Остен сказал на это, что С. Жермэн не противник русской системы, ибо еще во время своего выезда из Дании он писал ему, что изгнан не за то, что будто проти-

вился русскому союзу, но за то, что советовал королю не повиноваться повелениям русских посланников; притом из письма Блюма видно, что во Франции не очень довольны возвращением С. Жермэна в Данию, из чего можно заключить о не очень большой его преданности Франции. Такое объяснение графа Остена показалось Местмахеру очень странно. Заметив это, Остен потом старался успокоить Местмахера, что Струензе объясняет дело иначе: король действительно писал С. Жермэну письмо, где высказывал желание свое видеть его в Дании, но из этого не следует, чтоб он опять вступил в службу; приглашение сделано только для того, чтоб С. Жермэн проживал свой пансион (14 000 рейхсталеров) внутри, а не вне государства. Но Местмахер остался при своем подозрении, что это интриги Остена, который, тяготясь влиянием Струензе на иностранные дела и явным нерасположением к себе королевы, хлопочет о вызове С. Жермэна, чтоб посредством него свергнуть Струензе; а потом самого С. Жермэна свергнуть будет уже легко как ненавидимого всем народом иностранца. Впрочем, С. Жермэн просил позволения отсрочить свой приезд.

Между тем народное неудовольствие на королеву и ее любимца день ото дня усиливалось и выражалось в печатных сочинениях и рукописных пасквилях. Сначала правительство смотрело на это равнодушно, но когда 12 сентября на большой площади в полдень выставлен был лист, в котором горожане и матросы призывались к спасению отечества от тиранства королевы и ее фаворита, то королева и фаворит приняли меры: для матросов за городом была устроена пирушка, кроме жареного быка каждому матросу было роздано по полбутылки рому да по две бутылки пива. На пирушке обещали быть и король с королевою, но не приехали, почему и пронесся слух, что побоялись приехать будто потому, что накануне народ уговорился по уничтожении быка просить короля выдать и фаворита. 19 сентября Остен начал говорить Местмахеру на конференции: «По своей доверенности к вам не скрою, что я сделал смелый поступок, потребовав от короля восстановления совета; настоящее здешнее положение не может более продолжаться, и потому я для спасения своего государя и отечества сделал начало». — «Какой же вы получили ответ?» — спросил Местмахер. — «Никакого, — отвечал Остен, — и потому завтра намерен прямо отписать Струензе, чтоб он для успокоения народного негодования потребовал увольнения от дел, и, чтоб подать ему пример, сам требую отставки». Местмахер хотя и догадывался, что этот поступок Остена сделан по какому-нибудь предварительному соглашению, однако, чтоб дать Остену побольше высказаться, выразил беспокойство, что он может получить отставку и таким образом сделается напрасною жертвою. Остен отвечал: «Я на все го-

тов, однако не думаю, что получу отставку, ибо в прошлое воскресенье ночью я имел тайное свидание с графом Брантом и обо всем условился». — «Кого же вы назначаете в совет?» — спросил Местмахер. «Графа Тота и Шака», — отвечал Остен. «Но без сомнения, будет третий?» — спросил опять Местмахер. «Нет, не будет, — отвечал Остен, — я сам намерен остаться при своем настоящем департаменте». Тут Местмахер назвал графа Бернсторфа. Остен отвечал уверениями, что всячески старается о его назначении членом совета; но Местмахер писал Панину, что Остен неохотно увидел бы возвращение Бернсторфа.

Но дело приближалось к другой развязке. Струензе совершенно растерялся. Чем несноснее прежде была его гордость, тем презреннее становилось теперь его малодушие. На последнем собрании при дворе все с изумлением увидели при всех входах расставленных часовых, по два человека драгун. Во время оперы Струензе сидел с убитым и задумчивым видом, обращался с разговором к иностранным министрам, к простым гражданам и в первый раз заговорил с Местмахером, и заговорил с величайшею учтивостию. Такое поведение Струензе ободряло против него самых боязливых придворных, а в народе усиливало выходки против него и пасквили; в одном из этих пасквилей обещали 5000 талеров тому, кто решится убить фаворита. Королева с фаворитом собиралась бежать в Норвегию, куда хотели увлечь и мужа.

От 29 ноября Местмахер уведомил Панина, что обыкновенная датского двора во всем безмерность вдруг теперь оказывается в горячем желании подласкаться к русскому двору. Граф Струензе уступил Остену всю власть по иностранным делам и сильно стал отличать Местмахера, которому Остен объявил с улыбкою, что теперь в Копенгагене все думают по-русски, и если бы петербургский Кабинет заблагорассудил оказать Струензе малейшее внимание, то мог бы иметь его совершенно в своих руках [199].

Дания, несмотря на все свои внутренние смуты, не отставала от союза и платила деньги на шведские издержки; но Англия, хлопоча о союзе, отказалась участвовать в шведских издержках. Это сильно раздражило императрицу; она велела Панину сказать Каткарту, что намерение английского короля ограничить свои издержки в Стокгольме принуждает ее ограничить и свои издержки, следовательно, и операционный план там. Если бы оба двора действовали согласно, с одинаковыми усилиями, то цель была бы достигнута, Швеция была бы на нашей стороне и средство обеспечить это положение дел составило бы основание союзного договора между Россиею и Англиею; а теперь ни к чему приступить нельзя, надобно дожидаться окончания шведского сейма. Со стороны Англии был представлен новый проект союза, где лондонский каби-

нет выговаривал себе русскую помощь в Америке и отказывался помогать России против Турции, ограничивая свою помощь только европейскими морями. Екатерина написала на этот проект следующие замечания: «Что они разумеют под европейским морем? Они не хотят давать помощи против турок и татар, хотя гарантируют мир, который мы заключим. Это противоречие. Они хотят, чтоб мы посылали свои войска и корабли в Америку, хотя прямо и не обозначают (quoiquils пе l'articule pas); но они освобождают нас от Португалии и Испании. Средиземное море европейское или нет? Также архипелаг? Первое находится между Африкою и Европою, другое — между Азиею и Европою. Они оставляют Испанию и Португалию для себя — это удобно и близко, но заставляют нас защищать английские колонии. Кроме того, с кем бы они ни вели войну, требуют от нас полмиллиона; но, когда мы будем в войне с единственным государством, могущим быть для нас страшным, — с турками, они нам не дадут ничего. Потом, я должна давать 14 кораблей, а они будут давать только 12. Думаю, что мы должны избегать случая быть вовлеченными в какие бы то ни было войны, которые нас не касаются, ибо неприятно тащиться хвостом за кем бы то ни было, как мы уже имели печальный опыт относительно венского двора».

И лорд Каткарт, не успевший заключить союзного договора, был отозван, тем более что граф Иван Чернышев, отозванный гораздо прежде, был заменен Мусиным-Пушкиным, далеко не соответствующим Каткарту по своему положению.

Если Англия ни под каким видом не соглашалась включить в союзном договоре Турцию в случай союза, то легко понять, что она должна была отказаться от предложения, сделанного графом Алексеем Орловым английскому консулу в Ливорне Дику; предложение состояло в том, что императрица согласна уступить Англии какой угодно остров в архипелаге [200].

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II АЛЕКСЕЕВНЫ

1772 год

Тревога по поводу неблагоприятных известий из Вены. — Меры на случай новой войны. — Борьба мнений в Вене относительно приобретений. — Австрия решается содействовать начатию мирных переговоров между Россиею и Турциею. — Назначение русских уполномоченных на Фокшанский конгресс. — Гр. Григорий Орлов и Обрезков. — Инструкция им — Отзыв Екатерины об Орлове. — Донесение Обрезкова о ходе конгресса. — Разрыв Фокшанского конгресса. — Новый конгресс в Бухареште. — Несправедливые обвинения Орлову. — Состояние Первой армии. — Затруднения в Крыму. — Отъезд Шагин-Гирея из Петербурга — Мнение Фридриха II о крымских отношениях. — Австрия изъявляет желание приобрести турецкие области. — Россия соглашается на это. — Австрия переменяет намерение, желая приобресть и польские и турецкие земли. — Кауниц отвергает тройной союз между Россиею, Австриею и Пруссиею. — Австрия требует себе слишком большой доли из польских владений. — Движение Фридриха II по этому поводу. — Улажение дела насчет австрийской доли. — Положение дел в Польше. — Последнее объяснение Сальдерна с польскими вельможами. — Отзывы Сальдерна о Бибикове. — Перемена в отношениях между Сальдерном и Паниным. — Преемник Сальдерна в Варшаве барон Штакельберг — Инструкция ему — Объявление о разделе. — Объяснения Штакельберга с королем. — Отношения России к Франции. — Шуазёль и Эгильон. — Объяснения русского поверенного в делах Хотинского с последним. — Шведский переворот. — Меры России по этому поводу — Отношения прусского короля к шведской революции. — Объяснение Панина с французским поверенным в делах Дюраном. — Датская революция и отношения к ней русского двора. — Сношения с Англиею — Общий взгляд на события описанного года.

Надежды на мир, с какими встречали 1772 год, казалось, должны были исчезнуть в самом начале года. 21 января гр. Панин сообщил Совету известия из Берлина, что Кауниц выражает сомнения насчет принятия Портою последних русских условий; Фридрих II давал знать также, что в подлинности известного союзного договора между Австриею и Турциею не может быть никакого сомнения. Совет постановил до окончательного уяснения этого дела скрывать о том, что договор известен в России. Через день, 23 числа, гр. Орлов объявил Совету желание императрицы, чтоб окончательно

было решено, полезна ли будет для достижения мира экспедиция на Константинополь в этом году, удобоисполнима ли эта экспедиция и кому надобно поручить распоряжение ею, графу ли Румянцеву или кому-нибудь из находящихся в Петербурге лиц. (Члены Совета должны были догадаться, что это назначение желал получить сам Орлов.) Екатерина требовала, чтоб Совет назначил для рассуждения об этом особый день в ее присутствии. Медлить не захотели и назначили собраться на завтра, 24 января. Тут гр. Захар Чернышев прочел свое мнение, что предпринять посылку войска к Константинополю нельзя раньше июня месяца; хотя от Дуная до Константинополя только 350 верст, однако поход не кончится раньше трех месяцев, потому что надобно будет везти с собою пропитание и все нужное; переправа через Балканы, по мнению Чернышева, не представляла непреодолимой трудности, и по неустройству турецкого войска можно было надеяться, что при каждой встрече оно будет терпеть поражение. По выслушании этого мнения императрица поставила пред Советом прежние два вопроса: посылка войска к Константинополю может ли содействовать заключению мира и удобоисполнимо ли это предприятие? Члены Совета отвечали утвердительно, прибавив, однако, что успех будет зависеть и от обстоятельств, которых заранее предвидеть нельзя. Гр. Орлов высказал мнение, что для большей безопасности и облегчения назначаемого в константинопольский поход войска лучше отправить его на Варну и часть полков посадить на суда на Дунае; для этого к находящимся там транспортным судам надобно построить еще как можно больше и употребить часть азовской флотилии; что приготовляющиеся на Дону два фрегата могут служить для прикрытия транспорта и для очищения Черного моря от неприятельских судов и, кроме того, надобно сделать напоказ сильные морские вооружения. Совет решил и третий вопрос о распоряжении экспедициею таким образом, что императрица может назначить для нее командира, но главное распоряжение должно быть поручено генерал-фельдмаршалу. После решения этих вопросов Екатерина высказала желание, чтоб австрийцы скорее открыли свои планы, соответственно которым можно было бы принять свои меры. На это гр. Панин объявил, что в случае вступления австрийцев в Валахию надобно поскорее разорить эту страну и тем пресечь движение австрийского войска; так как с турками твердого мира никогда иметь нельзя, то в случае вступления австрийцев в Польшу можно самим устроить этот мир, разорив Молдавию и Валахию и забравши всех их жителей; этим средством Россия может остаться спокойною от турок столько же времени, сколько и самый мир с ними может продлиться. Крымская область может быть обеспечена от них одною азовскою флотилиею;

таким образом, безопасная от турок Россия может употребить все войско для вытеснения австрийцев из Польши и восстановления там тишины; но все это должно сделать в крайности, если Порта не согласится выслать уполномоченных для заключения мира [201].

Эта тревога стихла вследствие благоприятных известий из Вены, когда и там стихла тревога, возбужденная разногласием между императором Иосифом и Кауницем.

Канцлер поставил вопрос, взять свою долю от одной Турции, или от одной Польши, или от обеих вместе. Кауниц смотрит на карту и опять приходит к мысли, что приобретение польских областей, как бы ни были они обширны, невыгодно, ибо эти области не будут в естественной связи с остальными частями монархии, будут отделены от них Карпатами, доли Пруссии и России будут в этом самом важном отношении гораздо выгоднее. Кауниц возвращается к своей любимой мысли: пусть прусский король возьмет, что хочет, у Польши, только должен возвратить Австрии Силезию. Но если Фридрих II не отдаст Силезию, то не выгоднее ли потребовать от него немецких земель, маркграфств Аншпаха и Байрейта? Наконец, если Пруссия и на это не согласится, то естественнее, выгоднее для Австрии искать распространения своих владений вниз по главной реке империи, по Дунаю к Черному морю, взять Валахию и приморскую часть Бессарабии, остальную же часть последней и Молдавию отдать Польше в вознаграждение за те земли, которые она уступит России и Пруссии. Такое распоряжение казалось Кауницу особенно желательным, потому что Турция могла на него согласиться и без войны; можно было войти в виды России и захватить гораздо больше турецких земель; но в таком случае надобно было вместе с Россиею вступить в войну с Турциею, чего никак не хотели в Вене; кроме того, надобно было делиться с Россиею, усиливать могущество последней.

Император Иосиф, читая мнение Кауница, был поражен мыслию, что Австрия должна получить земли здесь или там только для поддержания равновесия, собственно же не приобретет ничего, а еще рискует приобрести гораздо менее России и Пруссии если не по количеству приобретенной земли, то по значению ее в общем составе империи. Иосиф объявил себя против канцлерских предложений, объявил себя против дележа, а за чистое приобретение, которое может сделать одна Австрия. Для этого, по мнению Иосифа, надобно было стараться о продолжении войны между Россиею и Турциею: с одной стороны, было невероятно, чтобы военное счастие обратилось на сторону турок, чтоб им удалось вытеснить русское войско из завоеванных им областей; с другой стороны, нельзя опасаться, чтоб Россия в следующую кампанию нанесла Турции еще более чувствительный вред, могла по-

трясти ее в основах. Австрия ничего не теряет от продолжения войны, напротив, много выигрывает: не только можно извлекать пользу из всех случайностей войны, но одновременное ослабление обеих воюющих сторон даст Австрии возможность требовать большие выгоды, чем какие она могла требовать до сих пор. Наконец, король прусский будет продолжать тратить свои деньги на субсидии сзоей союзнице; быть может, он рассорится с Россиею, которая будет обманута в ожидании от него большей помощи; и эта ссора заставит его броситься в объятия Австрии, чтоб с ее помощью легче осуществить свои намерения. Теперь Австрия не может принять участия в войне, но в 1773 году будет в состоянии оказать давление на слабейшее и более нуждающееся в мире государство. Порта или верно соблюдет свою конвенцию с Австриею, или нет. В первом случае Австрия будет богато вознаграждена за военные издержки, во втором будет иметь свободные руки действовать против нее и взять у нее такие земли, какие всего больше желает. Поэтому надобно всеми силами стараться, чтоб Порта отвергла русские предложения и перемирие. Королю прусскому надобно объявить, что Австрия твердо решилась действовать в Польше точно так же, как и он. Надобно теперь же занять Краков, Сендомир и Лемберг, с другой стороны, Ченстохово; в то же время объявить, что намерены польского короля удержать на троне и покинуть все польские области, занятые австрийскими войсками, если Россия и Пруссия сделают то же самое. Таким образом, если даже нельзя будет побудить Турцию к продолжению войны, то в руках Австрии будет хороший залог относительно приобретений в Польше.

Старый канцлер победоносно опроверг мнение императора: странно было бы ожидать, что Россия при дальнейшей войне не получит никаких значительных выгод и что Австрия от этого не потерпит больших потерь. Россия, Пруссия и Порта сильно желают мира; упорство последней основывалось исключительно на надежде, что вмешательство Австрии доставит ей выгодные условия. Если теперь венский двор станет противодействовать миру, то последний будет заключен с полным исключением Австрии. Австрия своими военными демонстрациями и решительным тоном достигла того, что Россия и Пруссия принуждены считаться с нею и пригласить к участию в приобретаемых ими выгодах. Но теперь этими демонстрациями нельзя уже более ничего достигнуть, когда Порта еще более стеснена, а Россия и Пруссия во всем согласны. Военные приготовления кроме бесполезной траты больших денег поведут только к тому, что Турция и Пруссия выиграют на счет Австрии: туркам Россия предложит выгоднейшие условия, лишь бы воспрепятствовать австрийским намерениям, и в то же время она будет принуждена

еще более сблизиться с прусским королем и уступить ему такие выгоднейшие условия К этому клонится все отлично обдуманное поведение Фридриха II, и Австрия привела бы его в восторг, если б без соглашения с тою или другою стороною стала продолжать демонстрации вовсе уже не своевременные. Препятствуя заключению мира, Австрия навлечет на себя ненависть остальных держав и будет простою зрительницею, в то время как Россия и Пруссия извлекут из своего соглашения всевозможные выгоды; содействуя же заключению перемирия, можно надеяться на участие в конгрессе и дать мирным переговорам благоприятный для Австрии оборот [202].

Иосиф признал себя побежденным *математическими* доказательствами канцлера. «Остается вопрос, — писал он матери, — какое из многих предложений кн. Кауница надобно выбрать. В военном, политическом и камеральном отношениях выгоднее всего для нас силезские земли, а Байрейт и Аншпах вовсе не выгодны. Но если возвращение силезских областей невозможно, в чем я, к несчастию, не сомневаюсь, то самым выгодным приобретением был бы Белград с частию Боснии до Дринского залива: удаленная от неприятеля, эта область прикрывала бы карлстадтскую и внутренние австрийские области от всевозможных турецких нападений» [203].

Мария-Терезия была рада, что Иосиф и Кауниц сошлись на мысли о необходимости содействовать начатию мирных переговоров между Россиею и Турциею; но императрица-королева видела, что дело этим одним не кончится, и потому не отказала себе в удовольствии отвести душу сильным протестом против всего того, что было сделано вопреки ее желанию. «Теперь уже нельзя, — писала она сыну, — возвратиться назад после ложных шагов, сделанных с ноября 1770 года, когда было решено движение войск из Италии и Нидерландов, и после несчастной конвенции с турками. Слишком грозный тон с Россиею, наше таинственное поведение с союзниками и противниками — все это произошло от того, что поставили правилом воспользоваться войною между Россиею и Портою для распространения наших границ, для приобретения выгод, о которых мы не думали перед войною. Хотели действовать по-прусски и в то же время удерживать вид честности. Может быть, я обманываюсь и эти события более благоприятны, чем я думаю; но хотя бы они нам доставили Валахию и самый Белград, по-моему, все эти приобретения будут дорого куплены на счет чести, славы монархии, доброй веры и религии нашей. С начала нашего несчастного царствования мы старались по крайней мере держаться во всем справедливости, соблюдать в своих обязательствах умеренность и верность. Это доставило нам доверие, смею сказать, удивление Европы, уважение врагов; но в один год все это

потеряно. Ни о чем на свете я так не жалею, как о потере нашей репутации. Мы это заслужили, и я желаю, чтоб дело было поправлено покинутием принципа пользоваться этими смутами; надобно думать, как бы выйти поскорей из этого несчастного положения, не думая о приобретениях, но о восстановлении нашего кредита и доброй веры и по возможности о сохранении политического равновесия» [204].

Тугуту отправлено было в Константинополь приказание содействовать начатию мирных переговоров. Он должен был прямо объявить турецкому министерству, что дурное ведение войны турками есть главная причина тому, почему Австрия требует теперь открытия мирных переговоров. Кроме того, теперь стало известно, что король прусский обязался в Петербурге напасть на Австрию, если она поднимется против России. Правда, Австрия заключила с Портою конвенцию, но она обязалась только или путем мирных переговоров, или силою оружия доставить султану приличный мир и старалась верно исполнить это обязательство: с большими издержками войска были двинуты из Италии и Нидерландов, полки поставлены на военную ногу; с Пруссиею и Россиею говорили грозным языком и достигли того, что Россия отказалась от дунайских княжеств. Невозможно было вести дело далее, не подвергая австрийский дом величайшей опасности. Все средства были употреблены для убеждения прусского короля, что чрезмерное усиление России опасно также и для него. Если б было можно уговорить его оставаться спокойным зрителем, то Австрия не усумнилась бы поднять оружие против России для доставления Порте честного мира; но никогда в Вене и не помышляли о том, чтоб из-за Турции ринуться в войну не только с Россиею, но и с Пруссиею. Если бы при настоящих обстоятельствах Австрия объявила войну России, то это не послужило бы к выгоде и облегчению Порты. Только в конце мая Порта дала Тугуту ответ на эти сообщения: султан услыхал об них с тяжкою грустию, ибо до сих пор помощь Австрии была основанием всех его надежд. Но он не желает требовать невозможного от венского двора и потому добровольно отказывается от всех выгод, обещанных ему конвенциею. Если благодаря содействию Австрии на конгрессе получится мир, по которому дунайские княжества и татары возвратятся под власть султана и Порта получит выговоренное пятою статьею тайной конвенции, то султан будет считать себя обязанным выполнить все условия конвенции; если же Россия не склонится к такому миру, то конвенция рушится сама собою, только султан не будет требовать назад заплаченных уже Австрии трех миллионов пиастров.

1 февраля гр. Панин сообщил Совету приятные новости из Вены: австрийский двор с удовольствием узнал о согласии русской императрицы на возвращение Порте Молдавии и

Валахии и велел своему министру в Константинополе, сообща с прусским министром, склонять Порту к скорейшему отправлению уполномоченных на конгресс и заключению перемирия. Гр. Орлов заметил, что при такой перемене в Вене можно было бы настоять на независимости Молдавии и Валахии. Панин возразил, что, согласившись на отдачу этих княжеств, неприлично уже возобновлять прежнее требование их независимости, но под гарантиею венского и берлинского дворов можно восстановить их права, нарушенные турками. Только 12 марта гр. Панин мог сообщить Совету полученные из Вены известия, что Порта согласна на заключение перемирия и высылку уполномоченных на конгресс, который должен быть в Бухаресте. Тут императрица прочла следующее свое «соизволение»: «Я желаю, чтоб действия будущей кампании были взяты в уважение, ибо хотя теперь надежда к миру более прежнего есть, но последние цареградские известия гласят, что турки сильно к четвертой кампании готовятся [205], что и весьма вероятно есть; и для того надлежит и нам, не пропуская уже более время, теперь тем наипаче в зрелое уважение брать, что надлежит делать и что мы три кампании делали и войну вели с немалым успехом, следовательно же, сутенировать и в сей, чаятельно последней, имя российского оружия; и для того прошу, чтоб кампания сия соображаема была с пользою и славою империи; весна же близко, а во многих местах уже началась». Гр. Панин заметил, что надобно подождать ответов из Вены и Константинополя, чтоб можно было принять полезнейшее решение, узнав прямые намерения венского двора. Императрица отвечала, что если б у австрийцев произошел разрыв с турками, то она не желает, чтоб австрийцы действовали вместе с нами, пусть каждый ведет войну особливо. Чернышев заметил, что армия к будущей кампании будет снабжена всем нужным и теперь расположена таким образом, что может исполнить все, что бы ей ни предписали. Но императрица спросила: «Почитает ли Совет полезным построение ныне судов на Дунае и посылку за ту реку корпуса, если мир скоро заключен не будет?» Совет признал это весьма нужным, а гр. Орлов прибавил, что эту посылку корпуса считает единым и последним средством к получению скорого и прочного мира.

А между тем Румянцев писал Панину (22 марта): «В. с-ство знаете, сколь великое число требуется рекрут, ибо некоторые полки дóлжно снабдить по тысяче оными, а в половину того почти всякий полк требует. Но сии люди, коими пополнить дóлжно знатную в войске убыль, еще далеко и по сию пору от своих мест; представьте, когда же есть время делать их солдатами? Частицы некоторые рекрут, в дальние полки назначенные, до здешнего места дошедши, уже видятся в крайнейшем истощении своих сил. Не инако и от прошедшего

набора осталось таковых, что окрепчали к службе. Кавалерия при всем рачительном от своих полковников старании и способах, пользующих внутреннюю экономию, не может наградить посюдова закупками в ближайших и дальних местах лошадей великого недостатка в оных. Я вместо усиливания своей части прибавочными войсками, как нынешний год учинить обещано, вижу, напротив того, что оная прямыми силами не сравнится и против прошлогоднего».

В конце марта получено было известие, что Порта уже назначила уполномоченных на конгресс. С русской стороны не хотели, чтоб конгресс собрался в Бухаресте, ибо здесь, как в главном городе Валахии, было бы много интриг, и указывали на Измаил; но турки не согласились на Измаил, выставляя сырость тамошнего воздуха и множество комаров, в самом же деле потому, что тамошние мечети заняты были под русские церкви и магазины. Наконец согласились собраться в Фокшанах и начать заседания в июне месяце. Уполномоченными на конгресс с русской стороны были назначены граф Григ. Григор. Орлов и освобожденный из турецкого заточения бывший посланник в Константинополе Обрезков [206].

В данной им инструкции говорилось: «Объявление наше, что мы оставляем всякие требования относительно княжеств Молдавского и Валашского, уничтожа сомнения и колебания венского двора, доставило нам полное его согласие на положенные нами основания мирных переговоров и на все другие наши требования, доставило нам в то же время и добрые услуги Австрии при Порте с склонению ее на конгресс; это будет нам полезно и в будущих переговорах, ибо турки испугаются, увидя, что австрийцы в рассуждении Польши и раздела некоторых ее провинций составили общее дело с нами и союзником нашим королем прусским. Основания переговоров состоят в следующих трех статьях: 1) в уменьшении способности для Порты нападать вперед на Россию; 2) в доставлении себе справедливого удовлетворения за убытки, понесенные в войне, объявленной со стороны Турции без всякой законной причины; 3) в освобождении торговли и мореплавания. По первой статье наши требования состоят в том, чтоб 1) были уступлены нам обе Кабарды, Большая и Малая; 2) оставлена была граница от Кабарды чрез кубанские степи до Азовского уезда на прежнем основании; 3) уступлен был нам город Азов с уездом; 4) чтоб все татарские орды, обитающие на Крымском полуострове и вне его, признаны были вольными и независимыми; 5) чтобы уступлены были грузинским владельцам все места, взятые русским оружием; чтоб как грузинцам, так и всем другим христианским народам, принимавшим участие в войне, была дана полная амнистия и впредь оказывалось большее покровительство христианским церквам в областях Порты. Самое большое затруд-

нение со стороны турок должно быть встречено относительно четвертого требования, и потому для склонения их к уступке кроме отказа от Молдавии и Валахии вы можете еще уступить статью, касающуюся грузинских владельцев, согласиться на восстановление с ними границ, как они до войны были, только бы избавлены они были навсегда от бесчеловечной подати христианскими девицами, взимаемой с них турецкими пашами; потом еще вы можете согласиться на оставление Большой и Малой Кабарды в том состоянии, в каком они должны были находиться по договору 1739 года, выговорив только для России свободу строить и заводить в соседстве их всякие города и селения на собственных наших землях.

Под второю статьею разумели мы требования денежного вознаграждения за военные убытки, но и это требование вы можете оставить вполне или отчасти для получения свободы татарам. Третьею статьею мы требуем свободной торговли и плавания по Черному морю, и от этого требования мы отступить не можем». Инструкция была подписана 21 апреля, и 25 Орлов выехал из Царского Села В письме Екатерины к Бельке от 25 июня находим о нем следующее любопытное место: «Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами. Гр. Орлов, который без преувеличения самый красивый человек своего времени, должен казаться действительно ангелом перед этим мужичьем; у него свита блестящая и отборная; и мой посол не презирает великолепия и блеска. Я готова, однако, биться об заклад, что он наружностью своею уничтожает всех окружающих. Это удивительный человек; природа была к нему необыкновенно щедра относительно наружности, ума, сердца, души. Во всем этом у него нет ничего приобретенного, все природное и, что очень важно, все хорошо, но госпожа натура также его и избаловала, потому что прилежно чем-нибудь заняться для него труднее всего, и до тридцати лет ничто не могло его к этому принудить. А между тем удивительно, сколько он знает; и его природная острота простирается так далеко, что, слыша о каком-нибудь предмете в первый раз, он в минуту подмечает сильную и слабую его сторону и далеко оставляет за собою того, кто сообщил ему об этом предмете».

Конгресс в Фокшанах начался не ранее конца июля по причине медленности турецких уполномоченных Османа-эфенди и Яссина-заде-эфенди, с которыми приехали из Константинополя и министры австрийский и прусский. О поведении этих министров Обрезков писал Панину от 6 августа: «Берлинский поступает во всем, как кажется, чистосердечно и поддерживает наши настроения относительно начального

пункта, т. е независимости татарской; венский же, напротив, оказывается в этом пункте не только холоден, но едва ли до сих пор и не поощряет турок к неподатливости. Может быть, он делает это в ожидании разрешения польских дел. Но, как бы то ни было, переводчик его ежедневно, а иногда и сам он бывает у турецких министров и долго у них сидит; нам ничего не сообщает, а если что и говорит, то больше в подкрепление турецкого упрямства в татарском деле. Дело это до сих пор нисколько не подвигается вперед; мы не можем его отменить и даже смягчить, а турки по обыкновению связывают его с магометанским законом, утверждая, что один султан не может его решать. Нет той тонкости, по их мнению, а по-нашему — подлости и гнусности, которую бы они ни употребили в действие; но мы на все это смотрим с презрением и держимся нам предписанного». 19 августа Обрезков писал, что дело о татарской независимости встречает непреоборимые затруднения и что турецкие уполномоченные готовятся к отъезду; они соглашались, чтоб крымские ханы избирались своим народом, но требовали, чтоб новоизбранный хан получал утверждение от султана. Так как русские уполномоченные на это не согласились, то конгресс рушился 28 августа. Но 7 сентября Румянцев получил от великого визиря письмо, в котором тот предлагал возобновить конгресс в Бухаресте и продолжить перемирие на шесть месяцев, выставляя причиною разрыва Фокшанского конгресса отъезд графа Орлова. Румянцев, принимая в соображение настоящие обстоятельства, и особенно переворот в Швеции, признал согласным с русскими интересами не выпускать из рук этого случая для возобновления переговоров, только вместо шести месяцев изъявил готовность продлить перемирие до 20 октября, чтобы в это время успеть снестись с Петербургом.

В Петербурге были сильно встревожены разрывом Фокшанского конгресса: к сильному желанию мира вообще теперь присоединялись еще опасения шведской войны вследствие правительственной перемены, произведенной королем Густавом III. В заседании Совета 27 августа Панин читал письмо свое к Орлову и Обрезкову, где советовал им не останавливаться долго на одном пункте о татарах и приступить к другим. В заседании 1 сентября, когда прочтено было донесение Орлова и Обрезкова от 18 августа, что турецкие уполномоченные приняли намерение уехать из Фокшан, Панин предложил отправить приказание Румянцеву, чтоб тот написал великому визирю, изъявил сожаление о разрыве турецкими уполномоченными конгресса и предложил возобновление переговоров, но чтобы в то же время постарался нанести неприятелю новый удар утверждением хотя небольшого корпуса войск на правом берегу Дуная. «Если бы, — предлагал

Панин, — все это не повело к миру, а началась еще шведская война, то надобно прибегнуть к прежде предложенной мною крайней мере, то есть, опустошив Молдавию и Валахию, забрать оттуда всех жителей в русские границы». Совет согласился.

Гр. Орлову был отправлен рескрипт, в котором оставлялось ему на волю, если он находится еще в Яссах при фельдмаршале, продолжать порученные ему переговоры по их возобновлении, а между тем употребить себя в армии под предводительством Румянцева. Здесь, конечно, разумелся «новый удар» туркам переходом через Дунай. Но Орлов уехал в Петербург. После императрица писала, что неуспех конгресса *отнюдь* не приписывает гр. Орлову; но Панину было приятно повторять турецкое обвинение. Так, он писал Обрезкову 4 сентября: «Сердечно сожалею, мой любезный друг, о настоящем вашем положении, видя из последних депешей ваших, что новозародившееся бешенство и колоброд-ство первого товарища вашего испортили все дело. В сих прискорбных и досадных обстоятельствах могу я вам по крайней мере принести утешение, побожась вам честию моею и уверя вас как истинного друга, что ни малейшим образом и ничто в сем несчастном происшествии насчет вашей особы отнюдь не упало, а, напротив того, ее импер. в-ство внутренне удостоверена, что вам невозможно было ничего иного сделать в положении вашем, как то, что вы сделали. Поверьте, мой друг, что вам вся справедливость отдается и ваши прежние заслуги не помрачаются, конечно, от необузданности товарища вашего. И в самом деле, всякому постороннему человеку нельзя тому не удивиться, как первые люди в обоих государствах, посланные для толь великого дела, съехались за одним будто словом и, сказав его друг другу, разъехались ни с чем. Но меня сие нимало не удивляет, зная совершенно те обстоятельства, которые вам известны, и те, которые вам еще не известны. Сколько же сей разрыв конгресса, следственно, и уничтожение надежды общей достигнуть мира терзает сердце мое и оскорбляет меня как министра и как человека, любящего всею душою свое отечество, то вы сами легко себе представить можете и по тому уже одному, когда вообразите себе, что мы поставлены теперь в наикритическое положение чрез сей разрыв, возобновляющий войну старую и ускоряющий новую, которая нам угрожать стала. Вам препоручается извлечь отечество из такого жестокого кризиса. Хотя по рескрипту к вам вы можете счесть, что прежний ваш товарищ и теперь с вами действительно будет, однако же я уповаю, что вы одни останетесь в деле, а он сюда прискачет. Да пускай бы против моего чаяния он еще там остался, то и в таком случае, конечно, вам не будет больше нужды его мечтательные мысли столь уважать, как прежде, ибо его

прежний случай совсем миновался; а потому и вы нужды более иметь не будете сокращаться вашим в делах просвещением и искусством в единых соображениях и расположениях его необузданных мнений и рассуждений, а можете надежно с большей твердостию держаться ваших собственных и его к оным обращать. В противных же случаях и когда, где в чем его не согласите, извольте откровенно ко мне писать».

Обрезкову предписано было не начинать, как в Фокшанах, с самого трудного пункта о татарской независимости, но пройти порознь одно по другом все частные требования России, дабы уступкою в одном облегчить одержание другого! Предписывалось в случае нужды согласиться на султанскую инвеституру новоизбираемому хану, но за то потребовать уступки Керчи и Еникале. Разумеется, только страшная вражда к Орлову заставила Панина обвинять последнего в разрыве Фокшанского конгресса, и было слишком наивно думать, что, переставивши порядок статей, можно было достигнуть успеха в переговорах, когда Порта, поддерживаемая Австриею, решилась ни за что не соглашаться на свободу татар. Лучшим оправданием Орлову служил неуспех и Бухарестского конгресса, где вел переговоры один Обрезков, и непрочность Кучук-Кайнарджийского мира — все благодаря статье о независимости татар, которую в Константинополе никак не могли переварить.

Несмотря на то что дело Обрезкова было облегчено согласием на инвеституру, он, уезжая в Бухарест, писал Панину: «Беру смелость донести, что, по скудоумному моему мнению и известному турецкому неограниченному отвращению видеть какие-нибудь крепости, на Черном море лежащие, в руках нашего двора, удержание Яникеля и Керчи, кажется, встретит непреодолимое затруднение, тем более ежели Порте не дозволится держать свои гарнизоны в прочих крепостях, в Крыму лежащих; да и кораблеплавание на Черном море по тому же турецкому предубеждению к желаемому концу привести не так-то легко, как иногда заочно полагается; я сие различными опытами знаю, да и многие, коль только не все, интересованы сему препятствовать». По этому случаю Екатерина написала: «Если при мирном договоре не будет одержано — независимость татар, не кораблеплавание на Черном море, не крепости в заливе из Азовского в Черное море, то за верно сказать можно, что со всеми победами мы над турками не выиграли ни гроша, и я первая скажу, что таковой мир будет столь же стыдной, как Прутской и Белградской в рассуждении обстоятельства». Записка была прочтена в Совете 25 октября.

29 октября начался конгресс в Бухаресте, причем перемирие было продолжено до 9 марта будущего года. В конце года дело остановилось на условии о крымских городах,

которых Россия требовала для себя[207]. В Петербурге боялись постыдного мира вроде Прутского и Белградского, боялись и продолжения войны, желали иметь свободные руки на юге, будучи встревожены шведскими событиями, грозившими северною войною; а Румянцев пел старую песню о печальном состоянии Первой армии и, следовательно, о необходимости покончить войну, «которая не страшна и не тягостна подлинно по свойствам и силе неприятеля, но по неразрывно с оною совокупленным болезням прямо пагубна. Неложность сего заключения, — продолжал фельдмаршал, — испытали мы, когда моровая язва достигла в самое сердце отчизны нашей. Она в лежащих позади польских местах яд свой отрыгать и паки начала. Бывшая в Фокшанах команда, заразившись оною, и поныне ее претерпевает, а сие наибольшее мне смущение наносит. Другие прилипчивые болезни, и особливо странных родов лихорадки, сделались при истощении наших сил яко следствия неминуемые долговременного здесь пребывания, так общими и всеместными, что редко кто из генералов и полковников не приведен в сущее и крайнейшее изнеможение, страдая долговременно самыми мучительными припадками. Из сего можете судить о числе больных офицеров и рядовых и что все предпринимаемые к выгоде и лечению способы бессильны отвратить, чтоб мы не теряли великого количества людей умирающими. В самых врачах мы терпим толикий недостаток, что к осмотрению и пользованию болящих недостает почти сил их, поелику большая часть их тем же самым немощам жизнью своею пожертвовали».

Но в то самое время, как Румянцев жаловался на недостаток людей в Первой армии, вдруг он получает из Петербурга приказание отправить восемь пехотных полков ко Пскову на случай войны со Швециею. Это предписание было тем оскорбительнее для фельдмаршала, что он получил его не в высочайшем рескрипте, как обыкновенно прежде бывало. Румянцев выразил Панину свое удивление, что в то самое время, когда дела на Бухарестском конгрессе начали приближаться к некоторому соглашению, предпринято уменьшить действующую армию, что должно повести не только к упорству со стороны турок, но и побудить их разорвать конгресс. Румянцев высказывал Панину свое прискорбие и смущение, что в случае крайности в Петербурге решено подорвать крепости и очистить Молдавию и Валахию; фельдмаршал жаловался на это решение, не зная, что оно состоялось по представлению Панина, и приписывая его гр. Орлову[208].

Определение крымских отношений встречало сильные затруднения на конгрессе; такие же затруднения оно встречало и в самом Крыму. Окончательное улажение дел с ханом Сагиб-Гиреем поручено было генералу Щербинину, который для этого должен был ехать в Бакчисарай. Но перед выездом по-

пались ему в руки копии с писем крымцев к Порте и к очаковскому паше. Из этих писем он увидал, как татары неверны России, как нельзя ни в чем полагаться на их обещания, как они делают все коварно для одного только вида и обмана. Получив еще новые известия о злых умыслах татар, Щербинин счел необходимым отправиться в Крым не иначе как в сопровождении 1500 человек. Когда он расположился лагерем под Бакчисараем, то приехали к нему ханские чиновники, которым он стал объяснять намерения императрицы относительно утверждения навек их вольности и благоденствия под покровительством ее в-ства. Крымцы спросили: «Когда заключено с турками перемирие и мы стали уже вашими союзниками, то для чего вступил в Крым с войском генерал-майор кн. Прозоровский?» — «Вступил он до перемирия, — отвечал Щербинин, — нужно было умножить русское войско для вашей собственной безопасности, да и для того, мне известно, что от вашего правительства писано ко всем здешним мурзам о сборе войска и расположении его в тайных местах с дурным умыслом». Крымцы просили указать им тех татар, которые это ему насказали; Щербинин, не желая им этого объявлять, отвечал, что копии писем получены прямо из Константинополя. Потом татары спрашивали, зачем кн. Прозоровский придвигается все ближе к Бакчисараю, и просили остановить его; Щербинин отвечал, что это делается вследствие оскудения провианта и подножного корма, но что он, Щербинин, дал знать Прозоровскому, чтоб остановился и не притеснял жителей. Спросили, зачем при самом Щербинине такая большая свита. Для достоинства торжественного посольства — был ответ. Новый вопрос: выведены ли будут из Крыма русские войска? Ответ: объяснится после.

Когда дело дошло до церемоний аудиенции у хана, то один из чиновников предложил Щербинину, чтоб хан не принимал явно подарков императрицы и не стоял во время поднесения высочайшей грамоты; Щербинин отвечал, что это несходно будет с тою благодарностию, какою они обязаны своей великой благодетельнице, и эти требования наводят на себя только сомнение. «Видно по всему, — писал Щербинин, — что отнюдь не хотят иметь в Крыму русских гарнизонов и не желают быть под покровительством ее в-ства, ибо когда я между разговорами внушал им об опасностях для них с турецкой стороны и по заключении мира, то они отвечали, что ничего от турок не опасаются, почему и кажется, что когда заключен будет мир и русское войско от них уйдет, то опять впустят в Крым турок, к которым по закону, нравам и обычаям имеют полную привязанность и преданность, в чем не только здешние все стоят упорно, но и бывшие в Петербурге посланцы, приемом, содержанием и награждением так щедро облагодетельствованные, теперь обратились

к противной стороне. Хан — человек молодой, робкий, весь в руках правителей-стариков, которые во всем указывают на свой закон». Наступало 28 июня, день восшествия на престол императрицы; в отряде у Щербинина должна была происходить пальба, и генерал послал предуведомить об этом крымское правительство, чтоб оно объявило всем жителям для их успокоения. Объявление было сделано в таких выражениях: «У неверных завтра будет скверный праздник с пальбою, о чем всем жителям объявляется».

Генерал кн. Щербинин еще 12 мая доносил, что повсюду татары тайком вооружаются и из побережных мест выходят со всем имением в горы, ни за какую цену русским лошадей не продают. В перехваченных письмах татары просили, чтоб к ним на помощь пришел турецкий флот, писали: «Мы денно и нощно проливаем слезы, ожидая того вожделенного времени, когда придет помощь. Хотя простой наш народ собран и вооружен, но он ни к чему не способен; простой народ, если бы не боялся нас, то уже принял бы подданство». Русскому поверенному в делах Веселицкому один приятель говорил: «Здесь все рассуждают, что как скоро генерал Щербинин приедет и его домогательствам воспротивимся, то вдруг нашей страны разорить он не может, потому что мало войска имеет, а пока большое войско вступит, пройдет немало времени и между тем с Портою заключен будет мир; раскаиваются и в прежнем, что, не вступя в сражение, дошли до такого состояния».

В споре о церемониале аудиенции Щербинин должен был уступить, согласился, чтоб хан не принимал тут подарков — пера и сабли, в чем Сагиб-Гирей видел знаки подчиненности и повиновения, которыми он обязывался императрице; хан не согласился и целовать высочайшей грамоты. Аудиенция происходила 4 июля, после чего Щербинин имел с ханом разговор, и когда коснулся пункта охранения Россиею татарской вольности, то Сагиб-Гирей сказал: «На что вольного человека охранять?» — «Вольность без охранения не есть вольность, потому что она всегда подвержена похищению», — возразил Щербинин. Когда речь зашла об оставлении русских гарнизонов и флота в некоторых крымских городах, то Щербинин внушил хану, что если турки поведут интригу для его свержения, то он найдет убежище в этих городах; стращал, что хан без русского покровительства и трех дней не пробудет на престоле. Но Сагиб-Гирей не трогался и говорил: «Когда в городах будут стоять гарнизоны и произойдет между гарнизонами и крымским народом несогласие и ссора, то хотя бы и гарнизонное войско было причиною этой ссоры, а виноват все же будет оставаться крымский народ, и в этой ссоре кто будет посредником, кто разберет, от русского ли гарнизона произошла обида или от крымского народа? Когда между

нами не будет посредника, то разорение наше так же явно, как что есть день и ночь». При переговорах о союзном трактате между Россиею и Крымом татарские уполномоченные оказывали во всем упорство, говоря: «Ведь мы вольные, следовательно, можем соглашаться и не соглашаться». Для продления времени уполномоченные говорили, что требуемые Россиею крепости состоят под властию хана, и потому они договариваться о них не могут, это дело ханское, а хан говорил, что без стариков сам собою ничего сделать не может. Но хан с этими упрямыми стариками был в меньшинстве. Кроме того, что и между самою крымскою знатью была русская партия, депутаты от ногаев согласились на все русские требования, согласились подать императрице прошение, чтоб Россия взяла крепости Керчь и Еникале для охранения татарской вольности. Сагиб-Гирей подписал акт, в котором клялся, что со всем крымским народом отторгается на вечные времена от Порты Оттоманской и будет состоять под покровительством всепресветлейшей государыни Великой Екатерины и ее наследников.

В продолжение всех этих переговоров брат ханский калга Шагин-Гирей жил в Петербурге и умел приобрести расположение императрицы, как видно из ее писем к Бельке и Вольтеру: «У нас теперь здесь калга-султан, брат независимого крымского хана; это молодой человек 25 лет, чрезвычайно умный и желающий образовать себя. Этот крымский дофэн — самый любезный татарин; он хорош собою, умен, образован не по-татарски, пишет стихи, хочет все видеть и все знать; все полюбили его. Он не пропускает ни одного спектакля; по воскресеньям после обеда бывает в (Смольном) монастыре и смотрит, как танцуют воспитанницы. Вы скажете, что это пускать волка в овчарню; не пугайтесь, дело делается вот как: в большой зале находится двойная балюстрада; дети танцуют внутри, а зрители помещаются около балюстрад; это единственный случай, когда родные могут видеть наших барышень, которых не пускают из монастыря». В ноябре Шагин-Гирей был отпущен в Крым, куда должен был ехать через Москву. По этому случаю г. Панин писал туда к главнокомандующему кн. Волконскому, получившему это место по возвращении из Варшавы: «Что касается до персонального в. с-ства с сим знатным татарином свидания, он сколько одарен природною остротою и рассудком, только горд, надменен и высокомерен во внутренности, блазнясь древностию своего рода, от Чингис-хана происходящего; он не хотел здесь никому первый визит сделать, надобно было с ним формальное изъяснение, чтоб он был и у меня. Я все сие изъясняю в. с-ству для того, что, коль свойственно и прилично со стороны вашей оказать к нему уважение обсылкою и приветствием, толь желательно и нужно, соображаясь

опять с их же татарским невежеством и грубостию и основываясь на их к туркам раболепстве и трусости, чтоб он сделал первую в. с-ству визиту по важности вашего поста, чина и достоинства, а затем если бы вы ему воздали, но меньше, однако ж, вследствие обязанности и взаимства, а больше по вашей персональной вежливости и привычке к обхождению без всяких обрядов». Но когда сопровождавший Шагин-Гирея князь Путятин стал говорить калге, чтоб сделал первый визит в Москве кн. Волконскому, то Шагин никак не согласился; и, когда Путятин настаивал, калга начал просить, чтоб его в Москву не завозили, а провезли по той же дороге, по какой он в Петербург приехал, ибо слабость его здоровья едва дозволит ему и сидя в карете обозреть такой обширный город, как Москва. «Я, — говорил калга, — человек степной, воспитанный в горах между скотами, не ведущий человеческого обхождения, я не в состоянии буду обходиться с такими знатными особами». Но его требование не заезжать в Москву не было исполнено. Когда Путятин по приезде в этот город поехал к Волконскому и объявил ему, что Шагин-Гирей не хочет сделать ему первого визита, то Волконский решил послать к калге своего адъютанта, который должен был показать ему все любопытное в городе, начиная с Оружейной палаты. Пребывание Шагин-Гирея в России обошлось недешево императорской казне. Не считая содержания на каждый день по 100 руб., получил он тотчас после приезда сверх богатой шубы и прочего платья и шапки 5000 рублей и столовый серебряный сервиз; потом вскоре еще 10 000 рублей, а при отпуске 20 000 с саблею, оправленною золотом и дорогими каменьями, для свиты своей получил 10 000; по случаю бытности его в Царском Селе пожалован ему перстень и табакерка немалой цены, и, наконец, когда он стал говорить, что наделал долгов, которых не в состоянии заплатить, то ему выдали еще 12 000 рублей. Гр. Панин, жалуясь кн. Долгорукову, что Шагин-Гирей жил в Петербурге самым расточительным образом, не соблюдая никакого порядка в хозяйстве, писал: «Хотя он здесь предъявлял все знаки глубочайшей благодарности, но неизлишне, однако, будет, когда в. с-ство при приличном случае искусным образом изволите дать ему выразуметь, что он по персональному уважению больше награжден, нежели крымцы со всем своим начальством заслуживали по бывшим пред сим происшествиям. Желательно, чтоб он по приезде своем в ваше место (в Полтаву) учинил вам первую визиту». Шагин-Гирей сделал эту учтивость в отношении к покорителю Крыма: татарин понимал важность значения главнокомандующего Второю армиею для будущности Крыма [209].

Итак, в Петербурге не были довольны «бывшими пред сим происшествиями» в Крыму. Мы видели, что Фридрих II

давно уже предсказывал эти происшествия; в начале 1772 года он повторил свои предсказания, убеждая фан-Свитена не беспокоиться условием о независимости татарской. «В этом условии вся трудность, — говорил Фридрих, — ибо с ним русская императрица соединяет идею славы, от которой чрезвычайно трудно будет заставить ее отказаться. Торжествуя повсюду, она требует от униженного неприятеля освобождения рабствовавшего ему народа, и, видя в этом только благо человечества, она не понимает, чтоб можно было препятствовать исполнению такого великодушного намерения. Так заставляет ее смотреть на дело ее воспламененное воображение. Но станем рассуждать хладнокровно и найдем, что эта мнимая независимость есть химера, пустое слово. Предположим, что татары будут объявлены независимыми; может ли Россия надеяться привязать их к себе? Нельзя предположить, чтоб этот народ чувствовал какую-нибудь благодарность к России за освобождение от турецкого ига, потому что ига не существует. Порта возводит и низвергает ханов; но хан не имеет другой власти, кроме предводительства на войне; доходы его состоят в сотне или в 150 тысячах червонных, которые он получает из Константинополя. Каждая орда представляет отдельную маленькую республику, которой мало нужды, кто им назначает начальника для войны и кто его содержит; я вам могу говорить так наверное по точным и подробным сведениям, доставленным моими эмиссарами, которых я там держал в последнюю войну; неужели вы действительно думаете, что эта татарская независимость так опасна?» «Эти соображения, — отвечал фан-Свитен, — так очевидны, что не могут укрыться ни от кого, кто внимательно отнесется к делу, следов., не могли они укрыться от внимания и русского двора; и так как в Петербурге настаивают на это условие, то я принужден заключить, что там оно вовсе не химера, что там имеются виды очень опасные, что независимость есть только слово, прикрывающее план действительного владычества». — «Но, — возразил король, — в случае если Россия захочет потом подчинить себе татар, Порта будет всегда иметь время этому воспротивиться». — «Будет поздно, государь, — отвечал фан-Свитен. — Порта долго не будет в состоянии сопротивляться, и потому необходимо заключить такой мир, чтоб равновесие на Востоке было восстановлено и поддержано и чтоб Оттоманской империи не было оставлено неверное существование». Фридрих повторял, что необходимо воспользоваться настоящею минутою для начатия мирных переговоров, ибо от продолжения войны нельзя ожидать ничего хорошего [210].

Переговоры с Турциею были начаты и не кончились в 1772 году; но кончились переговоры о разделе Польши. 1 февраля, уведомляя Совет о согласии венского двора

содействовать начатию мирных переговоров между Россиею и Турциею, гр. Панин сообщил также донесение кн. Голицына, что хотя венский двор, по словам Кауница, и не желал бы раздела Польши, но так как уже сделано об этом соглашение между Россиею и Пруссиею, то и он присоединяется к ним, но предпочел бы получить свою долю лучше из турецких, чем из польских земель; венский двор хочет окончить это дело как можно скорее и утвердить его установлением союза с Россиею и Пруссиею. По донесении Голицына Кауниц говорил ему: «Я думаю, от проницательности гр. Панина не ускользнуло то обстоятельство, что, принимая систему раздела с целию сохранить равновесие государств, может быть, не предстоит необходимости брать доли от одной Польши; что, в случае если Польша не сможет доставить достаточно материала для ровного раздела между тремя государствами, найдется средство отобрать еще несколько земли у другого государства, которое должно согласиться на это поневоле ввиду соглашения между тремя дворами. Впрочем, я предоставляю русскому двору поразмыслить еще об этом средстве». — «Тут можно разуметь одну только Турцию», — заметил Голицын. «Конечно!» — отвечал Кауниц. Потом австрийский канцлер стал внушать, что в новом деле надобно поступать с полною искренностию и сохранять величайший секрет насчет раздела Польши, особенно чтоб не узнали об этом Франция и Англия, которые могут взглянуть на раздел как на дело, противное их интересам, и воспрепятствовать ему всеми средствами [211].

В то же время Кауниц написал фан-Свитену в Берлин, чтоб предложил Фридриху II прежде всего взять себе австрийскую долю в Польше в обмен на Силезию; если король на это не согласится, требовать для Австрии по желанию императора Иосифа Белграда с частию Сербии и Боснии; если и на это не согласится, то требовать Аншпаха и Байрейта; наконец, в последнем случае согласиться и на соответствующую долю в Польше. Первое предложение, как следовало ожидать, было отвергнуто Фридрихом. «Нет, — сказал он фан-Свитену, — это невозможно; я требую только польской Пруссии, берите свои доли, где найдете для себя лучше, но чтоб это не было на мой счет; император сам мне обещал никогда не думать о возвращении Силезии, и кн. Кауниц формально и торжественно повторил то же самое; не могу и не хочу согласиться ни на какой раздел того, чем владею теперь». Тогда фан-Свитен начал говорить о вознаграждении на счет Турции, и король немедленно согласился. Так описывает разговор фан-Свитен в донесении своему двору [212]. Но сам Фридрих в депеше Сольмсу писал, что он на первое предложение отвечал фан-Свитену: «У меня подагра только в ногах; а такие предложения можно было бы мне делать,

если б подагра была у меня в голове; дело идет о Польше, а не о моих владениях». Фан-Свитен говорил: «Карпатские горы отделяют Венгрию от Польши, и все приобретения, какие мы можем сделать за горами, нам невыгодны». На это король отвечал: «Альпы отделяют вас от Италии, однако вы вовсе не равнодушны к обладанию Миланом и Мантуею». Фан-Свитен продолжал: «Нам было бы гораздо выгоднее приобрести от турок Белград и Сербию». На это Фридрих сказал: «Мне очень приятно слышать, что австрийцы не подверглись еще обряду обрезания, в чем их обвиняют; мне приятно слышать, что они хотят получить свою долю от своих приятелей-турок» [213].

Панин 9 февраля читал в Совете письмо свое к кн. Голицыну, где последнему предписывалось засвидетельствовать венскому двору удовольствие императрицы по поводу его последнего объявления, сообщить ему план соглашения петербургского двора с берлинским о Польше и выведать, что именно венский двор желает получить, уверяя наперед, что на приобретения его от Турции Россия так же будет согласна, как и на приобретения от Польши. Действительно, в Петербурге были чрезвычайно довольны последними известиями из Вены; дело казалось решенным, думали, что Австрия, вступая в соглашение с Россиею и Пруссиею, в союз с ними, будет содействовать заключению выгодного мира с Турциею, тем более что сама заявляет теперь желание получить добычу из областей Порты, а это давно уже предлагалось ей Россиею и было отвергнуто. Воображению Екатерины уже представлялось скорое и блистательное окончание польско-турецкой войны, заключение тройного союза между Россиею, Австриею и Пруссиею, который обеспечит мир и даст возможность поправить финансы и провести важные внутренние преобразования. Конвенция с Пруссиею о Польше была подписана (6 февраля) [214], и Екатерина благодарила Фридриха, приписывая ему перемену в политике венского двора [215]. Принц Генрих поздравлял брата с успехом, поставляя на вид, что в случае продолжительности союза между тремя государствами они будут предписывать законы Европе. Но Фридрих был проницательнее брата: он указывал на необходимость борьбы между Австриею и Пруссиею за влияние в Петербурге [216].

Но Австрия еще раз переменила свой план. Совесть начала мучить Марию-Терезию, которая объявила: «Мы в союзе с Портою, мы взяли у нее деньги; никогда я не решусь ее обобрать, и потому не может быть речи о Сербии и Боснии, единственных областях, нам годных. Остаются Молдавия и Валахия, страны нездоровые, опустошенные, открытые нападениям турок, татар, русских, без крепостей; чтоб удержаться в них, надобно потратить много миллионов и народу». Мол-

давия и Валахия не годятся для Австрии, так отдать их Польше в вознаграждение за богатые области, которые у нее возьмутся; этого совесть не запрещала Марии-Терезии, которая никак не соглашалась на раздел Польши без вознаграждения последней. Но жестокий Кауниц напал на совесть Марии-Терезии с другой стороны. «Разве позволительно императрице подвергать миллионы собственных подданных всем ужасам войны, которые будут следствием нарушенного равновесия между государствами?» — спрашивал канцлер. Для успокоения императрицы он отказывался от Боснии и Сербии; действительно, взять эти области нехорошо, обидно для турок; он, Кауниц, никогда этого не советовал, на это настаивал император Иосиф; он, Кауниц, советовал и теперь советует взять земли по нижнему Дунаю вплоть до устья, а Молдавию и остальную Бессарабию отдать Польше; несправедливости тут нет никакой, потому что Турция уже потеряла эти земли. Мария-Терезия соглашалась, но объявила, что не намерена брать что-нибудь у Польши. Тут вооружился против канцлерова плана император Иосиф и представил свой новый план: «Каким образом, — спрашивал Иосиф, — можно будет защищать границы, которые растянутся от Адриатического моря до Черного? По какому праву Польша будет чего-нибудь требовать от Австрии, когда та ничего у нее не возьмет? Неужели Австрия обязана вознаграждать Польшу за несправедливости России и Пруссии в отношении к ней? Нам надобно всю Молдавию и Валахию, а Бессарабию кому угодно, лишь бы не русским. Нашею границею должен быть Прут до Дуная, и, отдавая Бессарабию и остальную Молдавию и Валахию туркам, надобно получить от них за это Оршову и Белград. Надобно, чтоб Россия сделала вид, что хочет все удержать за собою, и уступила нам Молдавию и Валахию, а за Бессарабию турки отдадут нам означенные два города». Мария-Терезия была в отчаянии и объявила, что надобно прекратить такое ужасное положение, что она не хочет ничего брать ни у поляков, ни у турок. Кауниц возражал, что между Россиею и Пруссиею уже состоялось соглашение насчет раздела Польши, и потому Австрии надобно сделать одно из двух: или вооруженною рукою воспротивиться разделу, или спокойно смотреть, как вследствие усиления Пруссии и России австрийский дом подвергнется страшной опасности; так как нельзя советовать выбрать ни то ни другое, то остается заявить собственные требования. Мария-Терезия согласилась наконец, что остается одно это средство. Но любопытно то, что после этого согласия фан-Свитену была отправлена депеша, где австрийский двор отвергал сделанное им послом предложение получить вознаграждение на счет Турции, так как предложение это фан-Свитен сделал от себя лично, а не по инструкциям правительства;

что же касается до приобретений в Польше, то венский двор не может определить своей доли прежде, чем Россия объявит, что она хочет взять себе. У австрийских историков мы не найдем объяснения этой перемены [217], но объяснения есть. По донесению кн. Голицына, 10 февраля (с. с.) он был приглашен к Кауницу, который встретил его с бумагою в руках — то была депеша фан-Свитена из Берлина (от 5 февраля н. с.). Кауниц прочитал ее Голицыну и прибавил, что уже отправлен в Берлин курьер с ответом, где выражено фан-Свитену неодобрение за то, что он предложил вознаградить Австрию на счет Турции. Голицын удивился такому противоречию, ибо незадолго перед этим ему самому сделано было подобное же предложение; он попросил объяснения у Кауница. «Здесь противоречие только видимое, — отвечал тот, — наш двор серьезно расположен сделать некоторые приобретения на счет Порты, не оскорбляя ее открыто; от России, которая по праву завоевания уже владеет обширными турецкими областями, от России зависит удержать часть этих земель и променять другую, уступивши ее потом кому-нибудь третьему» [218].

Оказывается, что молодой император с старым канцлером решили взять свои доли и от Польши, и от Турции, с Пруссиею вести дело об одной Польше, где доля Австрии должна быть равна долям России и Пруссии, а с Россиею вести дело еще о приобретениях от Турции; Россия, нуждаясь в мире с Турциею, согласится на все, лишь бы получить выгодный мир, лишь бы Австрия ему не препятствовала, а содействовала; наконец, этою сделкою можно будет отвлечь Россию от Пруссии и привязать к себе; дружественный тон, в каком говорили в Петербурге с Лобковичем, намеки на восстановление прежнего союза и доверие утверждали эти надежды. Император Иосиф писал брату Леопольду: «Прусский король очень ревниво смотрит на наши непосредственные связи с Россиею, и кто знает, Порта своим неблагоразумным поведением не даст ли нам законной причины вмешаться в ее дела и будущим годом не положим ли мы в карман Белград и часть Боснии, как этим годом польские воеводства» [219].

Но прусский король был тут с своим ревнивым и внимательным взглядом. Приказывая Сольмсу сообщить русскому двору о своем разговоре с фан-Свитеном насчет Силезии и потом турецких областей, Фридрих писал: «Нерасположение венского двора делить с нами Польшу происходит от желания приобрести любовь поляков, которые всю свою ненависть должны обратить на русских и на нас. Что касается приобретения Белграда и Сербии, я сказал фан-Свитену, что два года тому назад русские предлагали им всевозможные выгоды на счет турок, но они отвергли эти предложения. Признаюсь, что после такого поведения венского двора он не очень заслуживает, чтоб хлопотали в его пользу, и, по-

моему, надобно ограничить их куском Польши, чтоб наказать их за их прошлое поведение». Внушение подействовало: по выслушании этой депеши прусского короля Совет в заседании 11 февраля решил, что «так как Австрия, избегая получить равную часть в Польше, хочет обратить все негодование за раздел последней на Россию и короля прусского, то нужно стараться привести венский двор к получению равной части в Польше». Таким образом, вызов Кауница Голицыну остался без ответа, что условило известное поведение Австрии во время Фокшанского и Бухарестского конгрессов.

Для Австрии было важно сближение с Россиею, если б последняя для этого отказалась от союза с Пруссиею, восстановила бы прежние отношения, бывшие до 1762 года; но обстоятельства были еще не такие, чтоб могли побудить Россию к этому. Прежние елизаветинские отношения были возможны и необходимы, когда со стороны Пруссии обнаруживались беспокойные, завоевательные, опасные для всех соседей стремления, когда Австрию, доведенную до крайности, нужно было поддержать для противовеса Пруссии, когда даже Франция для этой цели изменила свою вековую политику. Но теперь интересы России и Австрии соприкасались в турецком вопросе; Австрия могла бы привлечь Россию на свою сторону, если бы решилась действовать прямо, объясниться откровенно, но она не хотела этого сделать прежде всего из опасения Пруссии, ее влияния на Россию, объяснялась или резко, враждебно, или загадочно. Таким образом, теперь не столько по искусству прусского короля, сколько по вине Австрии перемена русской политики, замена прусского союза австрийским были невозможны, а польское дело могло только возбудить мысль о тройном союзе между Россиею, Пруссиею и Австриею, связанными единством интересов по отношению к Польше. В Петербурге должна была очень нравиться мысль об этом тройном союзе, в котором Россия при известном соперничестве между Австриею и Пруссиею, естественно, должна была получить высшее, примиряющее значение. Но план тройного союза оказывался таким же неудобоисполнимым, как и прежний план Северного союза: соперничество между Австриею и Пруссиею, совершенная разрозненность их интересов не могли допустить союза между ними. Это резко обнаружилось при первой попытке.

6 июня Панин написал Голицыну в Вену: «Я с удовольствием примечаю, что венский и берлинский дворы начинают разуметь друг друга гораздо с меньшею претительностию, нежели до сего было, и вижу из всего этого, в чем они предо мною открываются, что сами они не признают уже невозможным теснейшее соединение и тройной союз наш относительно до сохранения и утверждения общей тишины и покоя в Европе. За какое же себе благодеяние почтет Европа, а особ-

ливо Германия, сию нашу систему? И можно ли предполагать рассудительно, чтоб какая-нибудь держава захотела восстать и воспротивиться оной? Да и не каждое ли замешательство между посторонними державами зависеть будет от большего или меньшего наклонения нашей системы в ту или другую сторону, так что по справедливости мир и тишина всей Европы в наших руках будет. По откровенному вашему обращению с кн. Кауницем изволите представить ему без формалитета и аффектации все оное в истинном разуме, так как и в самом существе есть оно собственным моим размышлением. Правда, мне представляются тут объекты, требующие великого уважения и встречающие сильные затруднения; но я признаюсь и в том, что не нахожу совсем неудобовозможным приведение оных в общую связь согласия. Между прочими германскими интересами особливо разумею я предстоящую большую в оных революцию по разрешению наследства курфюршеств Пфальцского и Баварского. Но неужели то, что в намерении, простирающемся до цели или конца какого-либо нового устройства, предприемлется действием оружия, не может никогда средством негоциации до того же приводимо быть? А ежели и не всегда такая невозможность настоит, то и в том предмете не может ли примирено быть противоборствование интересов венского и берлинского дворов? Но когда еще с обеих сторон взаимное истинное желание и добрая вера в том действовать будут, то и не представятся ли выгоднейшие для австрийского дома средства к распоряжению себя с берлинским двором, нежели с версальским, ибо невозможно, кажется, чтоб, не согласуясь ни с тем, ни с другим, отважиться против зависти и помешательств от обоих. Я, будучи уверен о благородном образе мыслей и честности сердца кн. Кауница, нимало не сумневаюсь, что он почтет сам за верх удовольствия и славы своей такое здание, в котором я по склонности моей и по великодушным сентиментам нашей государыни почел бы за особливое счастие быть соучастником, и если кн. Кауниц заблагорассудит сделать мне об оном отзыв для открытия мною к тому первого пути, то покорно прошу уверить его, что я мнение и предложение его о том приму с истинным удовольствием и поступлю так, что, конечно, кн. Кауниц не будет сожалеть об учиненной мне в том доверенности». Кауниц отвечал Голицыну с полною откровенностию: «По моему мнению, — сказал он, — все договоры о союзе и теснейшей дружбе тогда только бывают действительны и полезны, когда договаривающиеся державы совершенно уверены взаимно в добрых и искренних намерениях друг друга. Следуя этому началу, я с своей стороны не желаю никогда удаляться от союза с российским двором, ибо уверен не только в великой пользе от этого союза для обоих дворов, но и в праводушии российского двора, на который не

отрекусь полагаться во всех случаях. Но иначе рассуждаю я о берлинском дворе, которого скрытная и корыстолюбивая политика мне уже довольно известна, и думаю безошибочно, что этот двор по нынешним тесным связям своим с российским всегда будет стараться не допускать обоих императорских дворов к ближайшему соединению. Впрочем, мне кажется, что бесполезно начинать вдруг разные дела и что по окончании нынешнего польского дела будет больше удобства решить и другие».

Вслед за этим ответом Голицын получил известие о разговоре императора Иосифа с одним доверенным лицом: «Чем более я думаю о польском деле, тем менее могу утаить от себя, что два императорские двора не обратили должного внимания на свои истинные политические интересы, когда решились на раздел Польши. Самую большую выгоду получит от этого, очевидно, король прусский: соединение двух главных частей Прусского государства, большие средства распространить торговлю, качество областей, достающихся ему на долю, — все это даст ему перевес. Поэтому я думаю, что оба двора лучше бы сделали, если б никогда не дотрагивались до Польши, но согласили бы свои взаимные интересы приобретениями от Турции». Пересылая это известие, Голицын писал: «Императрица-королева оказывает решительное отвращение от польского дела и не принимает в нем никакого участия». Последнее известие мы имеем право принять как вполне справедливое; что же касается до первого, то очевидно, что оно было внушено Голицыну нарочно, чтоб поддерживать у русского двора память о возможности и необходимости новых соглашений и новых связей по турецким делам. Что взгляд Иосифа не расходился со взглядом Кауница, что оба сначала хотели сделать хорошие приобретения на счет Польши, а потом обратиться к Турции, ясно видно из вышеприведенного письма Иосифа к Леопольду: в 1772 году взять польские воеводства, а в следующем — Белград и Боснию. Для последнего нужно было продлить войну России с Турциею, истомить обе державы, заставить Россию обратиться к Австрии. Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Фокшанского конгресса, то не приметил «в духе его надлежащей чувствительности, а только просто отозвался, что удивляется, как русские уполномоченные начали переговоры таким предложением, каким следовало кончить» [220]. Кауниц должен был так говорить, чтоб показать несостоятельность русских людей, чтоб показать, какую ошибку сделал русский двор, не приняв помощи, посредничества Австрии, поручив ведение дела неопытному Орлову, а не искуснейшему дипломату Тугуту.

Фокшанский конгресс рушился, начался Бухарестский, Россия испугалась шведской революции, уступает туркам —

все это очень выгодно для Австрии, все это усиливает надежду, что второе дело не уйдет, а между тем надобно покончить как можно выгоднее первое — польское.

После того как Австрия объявила о своем желании участвовать в разделе Польши и Россия подписала свою конвенцию с Пруссиею об этом разделе, Фридрих II был очень доволен, был доволен Россиею, даже был доволен Австриею. «Подписание нашего соглашения, — писал он Сольмсу 1 марта н. с., — доставило мне бесконечное удовольствие. Я всегда смотрел на это соглашение как на новую связь, которая должна сделать неразрывную дружбу между двумя дворами, и мне трудно было бы выразить вам, как я доволен завершением дела, столь благодетельного для обоих дворов. Риск, которому подвергается австрийский двор, если обманет нас, утверждает меня во мнении, что теперь он действует добросовестно. Другое дело с Франциею. В положении, в каком находится это государство в настоящую минуту, венский двор может обманывать его безнаказанно. На что можно положиться — это взаимная гарантия наших приобретений в Польше, торжественно обещанная венским двором; и дело возможное, что со временем из этого произойдет союз между тремя дворами, против которого я, конечно, не скажу ни слова; напротив, я буду этому очень рад, ибо ничто не в состоянии так утвердить навсегда спокойствие Европы. В самом деле, пока столь могущественные три двора, как наши, будут в дружбе и союзе, никакой другой двор не посмеет ничего предпринять для его нарушения. Таким образом, во всех отношениях я не могу достаточно выразить вам свою радость, что дела приняли самый выгодный и благоприятный оборот».

От 6 марта он писал: «С удовольствием увидал я дружественный тон, с каким граф Панин начал переговоры с Австриею. Нет никакого сомнения, что соглашение последует скоро. Князь Кауниц боится, чтоб французы или англичане не помешали этому делу, и потому он поспешит кончить его как можно скорее. Вы меня спрашиваете, как изложить наши права на Польшу. Думаю, что краткий и простой манифест будет самый приличный. Я посылаю вам проект, который можете показать графу Панину; и он может сделать поправки, как ему заблагорассудится. Думаю, что, передавши его полякам, неприлично было бы превратить дело в адвокатскую речь: три двора должны объявить сообща, что они сами удовлетворили своим требованиям, чего никогда не сделала бы Польша, в которой нет никакого правосудия. Теперь ничто не заставляет спешить взятием во владение польских областей; и граф Панин не должен бояться, что мое нетерпение повредит делу. Впрочем, я того мнения, что надобно кончить польские дела прежде открытия конгресса в Турции.

Что касается турок, то их легко заставить переварить раздел Польши, внушая, что благодаря ему русские возвращают им Валахию и Молдавию» [221].

Но Фридрих недолго находился в таком приятном расположении духа. 21 апреля н. с. фан-Свитен объявил ему долю, которую назначил себе венский двор из польских владений: то была вся Галиция, вся Червонная Русь, по которой польские короли величали себя русскими государями. «Черт возьми, господа, у вас, я вижу, отличный аппетит, — сказал Фридрих, взглянувши на карту, — ваша доля так же велика, как моя и русская вместе; поистине у вас отличный аппетит!» Фан-Свитен начал подробно объяснять, что равенство долей не состоит в величине их по ландкарте, но преимущественно в политическом значении, а в этом отношении прусская и русская доли гораздо важнее австрийской; положение польской Пруссии несравненно по удобству округления и свободных сообщений, которые она даст Прусскому государству; Австрия приобретает только земли, а Пруссия — целое королевство. «Правда, — сказал король, — приобретение польской Пруссии мне выгодно; но, с другой стороны, ведь это песок; мне кажется, надобно обращать внимание на плодородие страны и количество народонаселения. Ну, вы определили свою долю немного больше, немного меньше; я не стану придираться, но позвольте вам сказать, что у вас отличный аппетит» [222]. Но Фридрих еще прежде знал об австрийской доле и 18 апреля писал Сольмсу: «Доля из раздела, которую австрийцы предоставляют себе, вовсе не меньше польской Пруссии вместе с остальными приобретениями русскими и прусскими, кроме того, она заключает в себе соляные копи польского короля, которые одни приносят дохода миллион талеров. Так особенно постарайтесь обратить внимание графа Панина на алчность, обнаруживаемую в этих претензиях, чтоб он не сделался игрушкою ловкости князя Кауница. Я вам объяснил вред, который последует для моих собственных соляных промыслов, если австрийский двор получит польские промыслы. Из последнего письма русской императрицы я вижу, что спешат окончанием дела с венским двором; я вовсе не намерен этому препятствовать; я хотел бы только уговорить русский двор, чтоб он убавил что-нибудь из австрийских требований, по крайней мере урезал бы те дистрикты, обладание которыми может мне вредить». 22 апреля новая депеша: «Всего важнее теперь определение доли венского двора в разделе Польши. С нетерпением жду известий, как австрийские требования приняты в России. Если венский двор получит все, то не будет никакого равновесия между нашими приобретениями и весы покачнутся на его сторону, тем более что он уже и теперь сильнее меня. Чтоб восстановить равновесие, надобно и наши доли сделать значительнее.

Но если Россия не слишком поторопится во всем этом, то я надеюсь, что еще все может уладиться дружелюбно в Петербурге». В Берлине, впрочем, скоро успокоились, нашедши средство примирить австрийские требования с прусскими выгодами. Английский посланник в Берлине дал знать своему двору о письме принца Генриха одному доверенному лицу; в этом письме говорилось: «Требования Австрии чрезмерны; мы должны торговаться с венским двором, как с купцом, и покончить торг, как только можно. Если он не спустит свои требования, то мы поднимем свои. Боятся разрыва, но этого никогда не будет. Участники могут найти выгоду только в соглашении».

В Петербурге 13 апреля в присутствии императрицы в Совете читалось объявление венского двора о польских землях, которые он определил себе. Совет решил, что надобно стараться исключить из австрийской доли соляные копи и город Львов: первые в уважение причин, представленных королем прусским, и также, чтоб не лишить польского короля главного дохода, который идет с этих копей; а Львов нельзя отнять у Польши потому, что там составляются и хранятся все акты польского шляхетства. На основании этого решения было сделано венскому двору представление о необходимости ограничить его долю. В этом представлении было вычислено, что Россия получает 550 600 душ народонаселения, Австрия — 816 800, а Пруссия — 378 750.

Сольмс уведомил короля, что Панин уже говорил с кн. Лобковичем о невозможности согласиться на австрийские требования. Фридрих, выражая надежду, что внушения Панина произведут надлежащее действие, писал Сольмсу (17 мая), что надобно желать скорого окончания дела, тем более что Франция не пренебрегает ничем, чтоб поссорить Австрию с Пруссиею. По известиям, полученным в Берлине, Франция надеется успеть в своем намерении, возбуждая Порту к продолжению войны, и вполне убеждена, что ее внушения и убеждения получили полное торжество в Константинополе. Французское министерство воображает также подействовать на императора внушениями, что ему выгоднее действовать слабо в примирении России с Портою, выгоднее для него, чтоб эти государства взаимно истощали друг друга, причем Австрия будет продолжать получать турецкие субсидии. По мнению французских министров, военного и морского, Франция должна предложить Порте выгнать русский флот из Средиземного моря: тогда Порта, ободренная этою диверсиею, будет продолжать войну и вознаградит свои потери, а венский двор, возбужденный таким отважным действием со стороны Франции, возвратится к союзу с нею, чтоб освободиться от соглашения с Россиею и Пруссиею, к которому приступил поневоле. «Планы эти действительно были

предложены, — писал король, — но так как у Франции совершенно недостает главных средств — системы, твердости и денег, то, наверное, от них откажутся. Граф Вельгурский (польский уполномоченный во Франции), получивши известие о вступлении австрийских и новых русских войск в Польшу, тотчас поехал в Версаль для сообщения этих известий герцогу Эгильону. Последний выслушал его с неудовольствием и нетерпением, как человек, знающий гораздо более. Когда Вельгурский спросил, что же Франция, неужели покинет Польшу в беде и даст ее в раздел соседям, то герцог отвечал ему: «Как пособить делу? Ваша слабость чрезвычайная, и наши усилия будут бесполезны. Это событие есть следствие вашего разъединения и гадких интриг моего предшественника». Фридрих писал далее: «Гнев польского короля и его фамилии преимущественно направлен против меня; они бы желали, чтоб Россия и Австрия взяли втрое больше, чем я. Они надеются, что Порта не помирится, узнавши о проекте раздела Польши; надеются также поднять раздор между ними, надеются, наконец, что отдаленные державы поднимутся против наших приобретений» [223].

Дело затянулось, что сильно раздражало Фридриха. «Посылаю к тебе письмо русской императрицы, — писал он брату Генриху, — из него я вижу, что она уже не так довольна австрийцами, как прежде; кн. Кауниц влагает в эти переговоры весь дух шиканства, какой только они допускают. Это меня бесит, ибо замедляет вступление в обладание нашею долею и причиняет всякого рода неприятности как относительно поляков, так и других иностранных держав, которым при таком нерешительном положении не знаешь, что отвечать. Я видел большую часть куска, который выпадает на нашу долю; мы всего больше выигрываем относительно торговли; мы становимся хозяевами всех произведений и всего ввоза Польши; а самая главная наша выгода состоит в том, что, становясь господами хлебной торговли, мы не будем никогда терпеть голода» [224].

Молодой подражатель старого Фридриха император Иосиф также сгорал нетерпением и сильно жаловался брату Леопольду на медленность, с какою велось дело в Вене. Он писал, что никак нельзя уступать требованиям России, что Австрии необходимо иметь часть Краковского воеводства для сообщения с Силезиею и Моравиею; необходимо иметь соляные копи, ибо это почти единственная доходная статья во всей Галиции; необходимо иметь Львов, ибо это единственное место, способное быть правительственным центром. От 17 июня Иосиф уведомлял брата, что генерал Дальтон уже занял соляные копи и привел к присяге чиновников. 9 июля Иосиф писал брату, что дела в Польше идут порядочно, австрийские войска выхватили из-под носа (soufflé) у русских

Тынец [225]. Крепкий монастырь Тынец, в котором засели конфедераты, был обложен Суворовым, когда к нему приблизились австрийцы под начальством генерала Дальтона. Последний начал беспрестанно присылать к Суворову с предложениями передать Тынец австрийцам, которым конфедераты охотно отдаются, и напрасно употреблять тут силу и губить людей, где без того обойтись можно. Суворов постоянно отвечал, что конфедераты должны положиться на милость императрицы и сдаться, что он никаких условий с ними постановлять не будет и, сверх того, не может оставить осаду Тынца без приказания главного начальника Бибикова. Тогда Дальтон еще ближе придвинул свой лагерь к войскам Суворова, и многие австрийские офицеры без спросу начали перебегать в Тынец к осажденным. Суворов послал сказать Дальтону, что если кто из австрийцев осмелится пробираться в Тынец, то с ним будет поступлено, как с неприятелем. Дальтон после этого отодвинулся от монастыря и дал Суворову обещание никого более из своих не пускать в Тынец. Но 23 июня ночью по его приказанию 20 человек пехоты и 10 пеших гусар поодиночке пробрались сквозь русские посты в Тынец; но другая команда была окликнута русскими часовыми, спряталась в рожь и взята русским пикетом. На другой же день Дальтон прислал объявить Суворову, что в Тынце уже более не конфедераты, но австрийское войско и потому он, Суворов, не должен не только стрелять в монастырь, но обязан снять осаду. Суворов отвечал, что он этому верить не может, ибо никакой отряд австрийцев в монастырь не проходил, и сам Дальтон обещал никого не пропускать, и действительно прошлую ночь пробежало в Тынец несколько дезертеров; он, Суворов, уверяет ген. Дальтона, что эти дезертеры по взятии Тынца возвращены будут в австрийское войско, осада же монастыря и стрельба будут продолжаться по-прежнему. Но Дальтон прислал с требованием, чтоб позволено было провозить в Тынец съестные припасы для пропитания его людей, в противном же случае он окружит Величковский замок, где находился русский отряд, и запретит пропускать туда съестные припасы. Суворов опять отвечал, что так как в Тынце одни возмутители, австрийских войск там быть не может, то и он не может позволить провоза туда съестных припасов. Бибиков, получа эти донесения от Суворова, испугался, чтоб дело не дошло до вооруженного столкновения, и послал приказание в Люблин к ген.-поручику Романиусу ехать под Тынец и постараться прекратить вражду между Суворовым и Дальтоном, а если последний будет продолжать враждебное поведение, то дать знать об этом ему, Бибикову, которого находившийся в Варшаве австрийский генерал граф Ришкур уверил, что Дальтон будет сменен за свои поступки, в то же время Суворову было послано прика-

зание уклоняться от крайностей Как видно, тот же Ришкур дал знать Дальтону, что может действовать безопасно, ибо у Суворова руки связаны приказанием Бибикова, и Дальтон еще до приезда Романиуса прорвался чрез русский кордон и занял Тынец, а потом, когда приехал Романиус, начал оказывать ему всевозможные учтивости [226].

Между тем Фридрих II обратился в Петербург с советом согласиться на австрийские требования с тем, чтоб и прусская доля была увеличена городами Данцигом и Торном. 10 июня Сольмс прислал Панину письмо: «Из затруднений, противопоставляемых Австриею для успешного окончания дела, два выхода: первый состоит в том, чтоб открыто воспротивиться намерениям венского двора. Но это поведет далеко, удалит умиротворение Польши, усилит смуту; Россия и Пруссия не смогут привлечь поляков на свою сторону против Австрии, которая обратится к своим старым связям; в Европе возгорится общая война, за что? В этом не легко будет признаться, и, если бы даже война кончилась в нашу пользу, она бросит семена другой войны вследствие вражды, которая возникнет между различными дворами, которые примут в ней участие. Другой выход состоит в применении к обстоятельствам, в удовлетворении австрийским требованиям. Но в таком случае будет несправедливо, чтоб прусский король, который не переставал давать существенные доказательства своей дружбы к России и который, вняв дружественным представлениям императрицы, отказался от приобретения таких частей Польши, которые гораздо важнее для Пруссии, чем краковские соляные промыслы и Львов для Австрии, остался без вознаграждения. Если русский двор, чтоб не погрузить Европу в новую войну, предпочитает уступить требованиям Австрии, то смею ласкать себя надеждою, что он не будет в этом случае противоречить и тому, чтоб прусский король прибавил еще к своей доле города Данциг и Торн, которые и без того уже окружены его новыми владениями и без которых главная выгода приобретения от Польши, состоящая в округлении прусских владений, не будет никогда полною В этом будет состоять единственная возможность для Пруссии согласиться без труда и отвращения на то, чтоб могущественный и опасный сосед захватил себе такие обширные и важные земли. В этом же заключается единственное средство покончить дело скоро и спокойно. Опасаюсь и того, что если продлятся споры о равенстве долей, то между дворами венским и берлинским произойдет гибельное столкновение». Сольмс обратился к кн. Лобковичу с внушением, чтоб Австрия не препятствовала присоединению Данцига и Торна к Пруссии; Лобкович дал знать об этом Панину и получил от него успокоительный ответ, что Россия никогда не согласится

на уступку Пруссии упомянутых городов [227] Но для этого и Австрия должна была уступить.

12 июля Фридрих писал Сольмсу, что Австрия отказывается от воеводств Люблинского и Хельмского, но никак не хочет отказаться от соляных копей и города Львова и что это последнее слово венского двора. «Зрело размыслив, — писал король, — я вам признаюсь, что, по-моему, если хотят кончить это дело добром, надобно принять австрийские условия. Впрочем, я не предписываю России, как она должна поступить в этом случае, я просто объявляю вам мое мнение». В другой депеше (от 5 августа) король изложил причины, заставлявшие его уступить Австрии· «Переговоры с Портою не привели еще ни к чему; Франция и Англия дурно смотрят на раздел Польши. Быть может, оба эти двора употребляют все усилия, чтоб оттянуть венский двор от русско-прусской системы и заставить его скорей войти в соглашения с Турциею. Если эта интрига им удастся, то мирный конгресс рушится, дела запутаются снова гораздо сильней, чем прежде, и для распутания их встретятся непреодолимые трудности». Депеша Фридриха от 12 июля (н. с.) была прочтена Совету 16 июля (с. с.) вместе с ответом венского двора на русские возражения относительно соляных копей и Львова. Кауниц писал, что его двор соглашается исключить из своих требований воеводства Люблинское и Хельмское, но не может уступить соляных копей и Львова; вместо соляных копей можно отдать польскому королю означенные воеводства, согласиться с Польскою республикою о цене соли при постановлении договора и перевезть шляхетские акты из Львова в Люблин. Решено было согласиться на это и заключить и с венским двором конвенцию о разделе [228].

31 июля Фридрих писал Сольмсу: «Барон фан-Свитен только что вышел от меня Он мне сообщил новый проект манифеста о занятии польских областей, который кн. Кауниц сам написал и который в сущности не отличается от манифеста графа Панина. Австрийский министр того мнения, что так как есть разница в положении его двора и русского, то должна быть разница и в манифесте. Я прочел проект внимательно и не нашел ничего сказать против. В политике общее правило· если неопровержимых доказательств нет, то лучше выражаться лаконически и не очень вдаваться в подробности. Я знаю хорошо, что у России много прав поступить так с Польшею, но нельзя того же сказать об нас с Австриею, так что, по моему мнению, лучше сообразоваться с идеями князя Кауница».

Когда все было кончено относительно Польши, то в Вене решили дать знать и Фридриху о своих видах на Турцию. 30 августа Фридрих писал Сольмсу· «Несколько дней тому назад я виделся в Нейссе с графом Дидрихштейном, который,

как я думаю, был туда отправлен, чтоб попытать меня. Из его разговоров я вижу ясно, что император и Ласси недовольны приобретениями от Польши. Им бы хотелось выгнать турок из Европы и овладеть всею венгерскою землею, находящеюся на левом берегу Дуная. Они были бы довольны, если б фокшанские конференции прекратились, чтоб помочь русским выгнать турок из Европы, и в таком случае они, пожалуй, согласятся, чтоб Россия взяла себе Молдавию и Валахию. Я думаю, что им очень хочется заключить для этого союз с Россиею, но они боятся, чтоб французы и испанцы не сделали им диверсии в Италии и Фландрии, и потому обращаются ко мне. Для привлечения меня на свою сторону они откажутся от всех приобретений в Польше с тем, чтоб я мог получить для себя течение Варты и все, что пожелаю, в соседстве Силезии. Я хотел узнать, что они намерены сделать с Грециею, но они об этом еще не думали. Я желаю, чтоб граф Орлов заключил мир с турками; но если этого не случится, то мы увидим новую сцену, дело пойдет о союзном договоре, которым венский двор, вероятно, предполагает все определить с своими новыми союзниками. Я отвечал спокойно, что все это дело возможное, успеть в нем нетрудно, если согласиться и действовать искренне, но что должно сначала посоветоваться обо всем с русскою императрицею. Что меня больше всего порадовало в этих откровениях, так это то, что граф Дитрихштейн вовсе не скрывал дурных отношений, господствующих теперь между его двором и версальским». Сольмс должен был сообщить об этом Панину in extenso.

Прусский посланник в Вене Эдельгейм уведомил своего государя, что Мария-Терезия в большой нерешительности относительно польских дел. Она выставляет угрызение совести, которое причиняет ей соглашение о разделе Польши, и в минуты дурного расположения духа сильно упрекает императора, своего сына, за то, что его свидания с королем прусским послужили первым источником затруднений, в каких она теперь находится. Император очень на это досадует, и утверждают, что ежедневные ссоры между матерью и сыном стали теперь чаще и сильней. Кн. Кауниц, имея большое участие в том, что произвело эти сцены, становится на сторону императора. Сообщая эти известия Сольмсу, Фридрих писал ему (15 ноября): «Гр. Панину нечего этого бояться. Надобно дать свободу действия кн. Кауницу, который, как ловкий министр, знающий расположение духа и характер своей государыни, найдет средство успокоить ее боязливую совесть». В другой депеше (21 ноября) Фридрих уведомлял Сольмса, что Мария-Терезия продолжает терзаться угрызениями совести и прибегла к казуистам. Духовник отвечал, что, не зная законных прав ее на взятые польские области,

он не может смотреть на ее предприятие как на большой грех. Другие духовные лица отвечали, что законы, которыми руководятся государства и государи, отличны от законов, которыми руководятся частные лица, и что есть случаи, где императрица может руководствоваться только политическим интересом. Последнее решение приписывают иезуитам [229].

13 августа в Совете Екатерина подписала рескрипт графу Захару Чернышеву о вступлении между 1 и 7 числами будущего сентября во владение присоединяемых от Польши земель. Чернышев, который первый высказался в пользу этого присоединения, назначен был генерал-губернатором Белоруссии. Прусский король 27 сентября (н. с.) принял присягу от жителей польской Пруссии и в тот же день написал Сольмсу: «Вы скажете гр. Панину, что он может уверить императрицу моим именем, что нынче, в день присяги от Пруссии, я ее уверяю, что она обязала не неблагодарного человека; я не упущу ни одного случая засвидетельствовать ей и России мою признательность не на словах, а на деле» [230].

Что же делалось в Польше в 1772 году, когда судьба ее окончательно решалась между тремя соседними дворами?

В начале года главным предметом разговоров, главным интересом были по-прежнему притеснения от прусских войск. Французский агент доносил своему двору: «В то время как прусский король становится все более и более ненавистен, кажется, Россия хочет смягчить прежнее обращение с поляками, чему служит доказательством приказ Бибикова, требующий от войск строгой дисциплины. Только и разговоров, что о прусских притеснениях, которым особенно подвергается духовенство, и Бенуа объясняет это дело тем, что духовенство главным образом виновато в смуте, и, стесняя духовенство, король вместе с Россиею содействует умиротворению Польши». Только от 29 февраля (н. с.) агент пишет: «В поступках прусского короля обнаруживаются стремления приобресть выгоды постоянные: он хочет овладеть Вармийскою провинциею, потому что его генералы вытребовали у епископа архив». Жерар в Данциге знал дело лучше и 5 марта уведомил свой двор о заключении договора относительно раздела Польши, тогда как товарищ его в Варшаве только 25 марта писал: Сальдерн говорит, что дело кончится плохо для Польши, прусский король непременно получит польскую Пруссию. С другой стороны, видно, что дворы русский и австрийский сближаются; быть может, венский двор согласится на усиление Пруссии, если ему возвратят Силезию или оставят в его власти польские области, которыми он овладел; Россия также будет стараться вознаградить себя на счет Польши. Итак, по-видимому, Польша накануне того дня, в который станет добычею своих соседей. 16 мая агент из Варшавы доносил: «Хотя общее мнение считает раздел Польши

делом решенным, но Чарторыйские утверждают, что это вздор».

В самом начале года коронный канцлер Млодзеевский приехал к Сальдерну с жалобами на прусские притеснения. «Не считаете ли вы приличным, — говорил он, — чтобы король обратился к ее и. в-ству, отправил к ней министра для уведомления о поступках и притеснениях прусского короля?» Сальдерн воспользовался случаем, чтоб высказаться. «Я думаю, — отвечал он, — что императрица не примет никакого посла от Польши, пока смута продолжается. Ее и. в-ство очень хорошо помнит все происшедшее здесь в продолжение многих лет; она замечает не только равнодушие польского двора относительно ее, но и явное сопротивление всем ее добрым намерениям. Как вы хотите, чтоб императрица заступилась за Польшу перед прусским королем, когда это единственный государь, который действует единодушно с нею в настоящих делах, и как вы можете думать, чтоб моя государыня захотела сделать неприятность другу, заступаясь за поляков, которые ни теплы, ни холодны и на которых можно смотреть как на врагов России? Я говорю не об одних конфедератах, но обо всех тех, которые хотя не замешаны открыто в настоящие смуты, но действуют под рукою и наполняют Варшаву, я не исключаю даже и двора. Ее и. в-ство не забудет холодности, невнимания, непоследовательности и неправильности в поступках, какие король и его фамилия позволили себе, покровительствуя части народа, возмутившейся против своего короля, поддерживаемого моей государыней. После моей декларации я несколько раз имел разговоры с дядьми короля и вице-канцлерами и объявил им о намерениях ее и. в-ства успокоить Польшу, излагая им, что императрица согласна на изменения в самых существенных пунктах последнего договора, именно даст объяснения относительно гарантии и не откажется ограничить права диссидентов в том случае, если они согласятся сами пожертвовать частью своих прав для отнятия предлога у злонамеренных людей продолжать разбойничества под религиозным знаменем. Что же касается внутренних дел, то императрица требовала только сохранения liberum veto для всей шляхты. Они были очень довольны; но захотели ли воспользоваться добрыми намерениями ее и. в-ства, приступили ли к делу? Князь воевода русский сказал, что у нас мало войска в Польше для поддержания этого дела, что республика находится в кризисе и положение ее таково, что не может ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смысл этих слов: воевода хотел сказать, что у нас на плечах война, которая может пойти для нас неудачно, ибо он не мог не знать, что у нас в Польше 12 000 войска — число очень достаточное для их поддержания, если б они захотели серьезно воспользоваться нашим добрым рас-

положением, вместо того чтоб увеличивать смуту своим бездействием. Короля и республику никто не поддерживает, кроме императрицы; но оказывается ли к ней доверие? Король обращается в другую сторону, обольщаясь надеждою, что может найти подпору в соседе, который до сих пор не оказал ему ни малейших знаков дружбы и пользы, наоборот, покровительствует людям, посягающим на власть и жизнь короля. Венский двор знает и видит все, что король прусский делает в Польше. В другое время он не смотрел бы на это равнодушно. Теперь Австрия не только овладела польскими землями, но, быть может, имеет еще какие-нибудь скрытые виды. Императрица требует у короля и республики благоразумной дружбы, основанной на поддержании естественной польской конституции. Если король и его друзья предпочитают оставаться в бездействии и упорствовать в своем равнодушии, то не ее вина, если она примет меры, соответствующие ее достоинству и интересам ее империи. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней смуты. Не раз я давал вам чувствовать, что прошлое лето вы упустили самую благоприятную минуту успокоить Польшу вашими собственными силами при поддержке России; я давал вам чувствовать, что по упущении этой благоприятной минуты успокоение Польши уже не будет более зависеть от свободной нации, но что вы получите законы и мир из рук ваших соседей. Когда начались жалобы на поведение короля прусского, то никогда не скрывал я ни от короля, ни от вас, что прусский король будет для вас еще тягостнее и что он более всех пользуется смутою польскою».

Обвинительная речь и приговор по ней были произнесены. Это было последнее объяснение Сальдерна, после чего посол еще настойчивее стал просить об увольнении. В письме от 24 января он умолял императрицу отозвать его из Варшавы или по крайней мере не оставлять его там долее сентября, представляя совершенное расстройство здоровья. Панину Сальдерн писал: «Я не сплю больше, желудок у меня уже больше не варит». Но его оставили до сентября, и поведение его определялось в письме Панина от 28 февраля· «Настоящее положение наших дел с венским двором изменяет совершенно сущность комбинаций, движений и интриг во всем касающемся вашего поста. Вдруг теряет значение множество дел, которые иначе заслуживали бы некоторого внимания с нашей стороны, как, например: 1) тонкая штука Чарторыйских выслужиться своим посредничеством при сближении двух дворов. Это сближение уже произошло, и мы можем поблагодарить Чарторыйских за их услугу только доставлением им удовольствия нечаянности, представляя им узнать об этом соглашении из его последствий В ожидании развязки они могут вести свою секретную переписку, которой придают

такую важность. 2) Равным образом мы должны отвечать молчанием на жалобы поляков против Пруссии. Наше соглашение с прусским королем подписано, после чего было бы противоречием с нашей стороны обращать внимание на жалобы против войск этого государя; наш интерес требует, чтоб он теснил все сильнее и сильнее поляков и был бы в состоянии помочь нам при окончательных объяснениях с Польшею».

В конце мая в Мариенбурге прусский офицер объявил польскому чиновнику, что присоединение польской Пруссии не есть секрет, что это последует по договору с Австриею и Россиею. Польское министерство тотчас же дало знать об этом иностранным министрам в следующих выражениях: «Несчастная Польша, опустошаемая 5 лет собственными жителями и соседями, будет лишена лучших провинций державами, с которыми у нее не было никакого столкновения, которым она не подала никакого законного предлога к жалобе, а на одну из них имела право возлагать надежду и доверие. Как бы жестоко и насильственно ни было поведение России относительно Польши, как бы ни было несправедливо предприятие прусского короля, поступок венского двора, нося тот же характер насилия и несправедливости, является еще более ненавистным, ибо соединен с хитростию и двоедушием».

Сальдерн в глубоком официальном молчании доживал последние дни в Варшаве. Поляки видели в нем падшее величие и потому обратили все свое внимание на Бибикова. Сальдерн не утерпел и послал к Панину донос на главного военного начальника. «Поведение Бибикова, — писал он, — вовсе не соответствует русской системе. Король, его братья и дядья поймали его за слабую сторону: им управляют женщины, жена маршала Любомирского, гетмана Огинского и другие подставленные королем, чтоб не дать ему прийти в себя. Чарторыйский канцлер, эта старая лисица, вызвал с тою же целию из Литвы дочь Пршездецкого. Бибиков делает все, что эти люди внушают ему посредством женщин; ему не дают ни одного дня отдыха, чтоб он мог опомниться: то охота, то загородная прогулка, то бал, развлечения всякого рода, сопровождаемые самою низкою лестью и угодничеством со стороны поляков, держат его в цепях. Он не пропускает ни одного вечера у госпожи Огинской, бывать у которой генерал Веймарн запретил русским офицерам по причине поведения ее мужа и фамилии и по причине азартной игры. Но теперь все позволено. Бибиков забывается до такой степени, что преследует всех тех, которых ненавидят Чарторыйские и брат короля. Судите, сколько случаев имеет войсковой начальник притеснять, кого захочет. Я употреблял все средства для удержания его от этого и иногда успевал, особенно когда обращался к нему письменно: он боялся, что отошлю копии ко двору. У него нет секрета, как скоро найдено средство возбудить его тще-

славие. Лень, которая берет начало в образе его жизни, останавливает движение дел; часто случается, что более 60 приказов по осьми дней лежат без подписи»[231].

Но подобные донесения теперь вредили только самому Сальдерну. Он отправился в Польшу, по крайней мере по общему мнению, как друг, как самый близкий человек к первенствующему министру графу Панину, а возвращался в Петербург далеко не с таким значением. Недаром ему не хотелось ехать в Варшаву. Он имел славу искуснейшего дельца, и, чем сильнее были возбуждены надежды отправлением его в Польшу, надежды, что он успеет уладить тамошние дела, тем опаснее было потерять прежнюю репутацию неуспехом действий; а неуспех должен был казаться Сальдерну очень и очень возможным, особенно когда дело уже делалось с другого конца и делал его король прусский. Мы видели столкновение Фридриха II с Сальдерном по поводу северной системы, после чего прусский король почтил русско-голштинского министра своею ненавистию, которая не могла уменьшиться от борьбы Сальдерна в Копенгагене против прусского влияния. Сальдерн, разумеется, платил Фридриху тем же чувством. Когда он был назначен в Варшаву, то прусский король выразился о нем так в разговоре с фан-Свитеном: «Это человек заносчивый, упрямый, самолюбивый, думающий о себе бог знает что»[232]. Но если Фридриху могло не нравиться присутствие Сальдерна в Варшаве, то еще более не должно было ему нравиться присутствие его в Петербурге в самое важное время, когда решался польский вопрос; понятно, как выгодно было для прусского короля, чтоб в это время при первенствующем русском министре не было человека, враждебного Пруссии, твердившего, что ввиду сдержания последней необходимо сближение с Австриею. Действительно, нельзя не заметить, что с отъездом Сальдерна Панин все более и более уступает прусскому влиянию; и есть известия, что отсутствием Сальдерна искусно воспользовались в Берлине. Английский посланник в Петербурге Гуннинг доносил своему двору, что прусский король, давно заметив в графе Панине сильнейшее тщеславие, постарался питать эту страсть так искусно, что сделал первенствующего министра полным своим приверженцем. Подарки хотя и незначительной ценности, но частые и всегда сопровождаемые собственноручными письмами, наполненными самыми лестными выражениями, достигли цели, заставили Панина смотреть на каждое дело согласно с видами его прусского величества; Панин чуть не обожает Фридриха II[233]. Но если так, то легко понять, как Панин должен был смотреть на своего старого друга Сальдерна, который остался при прежних своих чувствах к прусскому королю и не упускал случая высказывать эти чувства, что было хорошо известно Панину

явными и тайными путями Мы видели, что Сальдерн сам передал Панину разговор свой с Млодзеевским, где выставил Фридриха II как государя, более всех пользующегося польскою смутою. Но в других случаях он выражался еще яснее и сильнее. Жерар доносил из Данцига от 6 мая: «Царица чувствует неловкость своего положения и желает, чтоб другие государства восполнили ее бессилие, разрушивши проекты прусского короля. Этот образ мыслей Екатерины II подтверждается словами Сальдерна, которые он с некоторого времени повторяет, именно что король прусский обманул его государыню». Сальдерн позволил себе сказать городовому секретарю Данцига: «Императрица вовсе не одобряет видов короля прусского, но великая нужда в мире заставляет ее закрыть глаза и согласиться на исполнение плана этого государя». Мало того, Сальдерн поручил секретарю предложить магистру присоединиться к городам Торну и Эльбингу и просить или совершенной независимости, или возможности оставаться под покровительством польского короля. Австрийский уполномоченный в Варшаве барон Ревицкий доносил своему двору, что Сальдерн решительно порицает действия первенствующего русского министра. «Без самого тесного союза между Россиею и Австриею, — говорил Сальдерн Ревицкому, — прусский король удалит оба императорские двора на задний план и сам получит важнейшие выгоды». По свидетельству того же Ревицкого, Сальдерн хотел сломить значение магнатов в Польше и некоторым образом уравнять имущественные отношения между частными лицами: он думал помирить народное большинство с разделом Польши надеждою освобождения от притеснений, какие оно терпело от своих соотечественников Но Панин не согласился на это.

Преемником Сальдерна в Варшаву назначен был действительный камергер барон Штакельберг. По поводу этого назначения английский посланник писал своему министерству: «Так как здесь ничего не делается без совета короля прусского, то лицо, назначенное на место г. Сальдерна, было избрано согласно с его мнением, ибо его гибкий и применяющийся к обстоятельствам характер, по словам его прусского величества, идет к этому посту более, чем характер его предшественника»[234]. Мы знаем одно, что Штакельберг поехал с сильными предубеждениями против своего непосредственного предшественника.

В инструкции Штакельбергу, подписанной 11 августа, так объяснялись побуждения, заставившие Россию приступить к разделу польских владений: «Небезызвестно вам, что на польские дела и вследствие их происшедшую войну между Россиею и Турциею совершенно разно смотрели два двора — венский и берлинский. Первый находился в тесном союзе с Франциею, которой политика, всегда противоборствующая

политике русской при всех дворах, усиливала и подкрепляла польские мятежи людьми, и деньгами, и воплями своими, и интригами, при помощи больших денег заставила Порту объявить России войну. Подчиняясь влиянию такого союзника, венский двор и сам благоприятствовал конфедератам, давая им убежище в своих землях; не меньше доброжелательства оказывал он Порте. Прусский король, напротив, верно исполнял обязательства союзных договоров, платил субсидии, удерживал на границах шайки конфедератов, внимательно наблюдал за поступками австрийского дома, показывая всегда готовность уведомлять о них своего союзника. Среди двойных забот России в войне с Портою и польскими мятежниками венский двор признал, что нашел удобный случай заплатить себе собственными руками за доброжелательство, оказанное им как Порте, так и конфедератам, и, не прикрывая своих поступков никаким правом или предлогом (?), овладел землями Ципса. Чем меньше русский и берлинский дворы оказали явного внимания к этому движению, тем более подвергли они его обсуждению во внутренности Кабинета, совещаясь друг с другом, как приспособить к этому явлению собственные меры. Надобно было признать одну из мер: или явно протестовать против поступка Австрии, завести переговоры, чтоб принудить венский двор отступиться от захваченной им земли, в случае неуспеха переговоров воспротивиться вооруженною рукою, вступить в войну с Австриею, или поступить одинаково с венским двором, предъявить и с своей стороны претензии на известные польские земли. Так как для равновесия, наблюдаемого между тремя дворами, требовалось, чтоб они или ничего не приобретали от Польши, или чтоб каждый получил одинаковое приращение, то здравая политика предоставляла на выбор одну из двух мер; и ее в-ству осталось принять в уважение, которая из них более может подать способов к скорейшему успокоению Польши и сходнее с правосудием. Императрица не должна была долго колебаться в своем решении. Новая война с державою, граничащею с Польшею на таком большом протяжении земли, служила новою пищею для польских возмущений, и, таким образом, успокоение Польши отдалялось на все время этой новой войны. Императрица подвергала государство свое убыткам и опасности, и за кого? За нацию, для которой она в продолжение стольких лет понапрасну жертвовала величайшим числом людей и денег! За нацию, которая за услуги, благодеяния и бескорыстие платит самою явною неблагодарностию, которая не только вела против нее открытую войну, но еще возбудила против нее неприятеля, опаснейшего для ее государства! Другая сторона дела, наоборот, представляла дружественное содействие трех держав для умиротворения Польши, для решения всех вопросов,

которые рано или поздно могли возжечь войну между тою или другою из них и республикою, для сокращения границ последней, чтоб дать ей положение более сообразное с ее конституциею и с интересами ее соседей, наконец, для самого главного, для сохранения мира в этой части Европы. Взвесивши все эти соображения и принявши решение, императрица занялась средствами для приведения его в исполнение.

7 сентября вместе с прусским министром Бенуа (австрийский, барон Ревицкий, еще не приезжал) Штакельберг передал министерству Польской республики объявление о разделе. Начались частые совещания между королем и его приближенными; следствием было решение сносить все терпеливо, ничего не уступать добровольно, пусть берут все силою, и требовать помощи у дворов европейских, при этом проволакивать время, противопоставляя требованиям трех держав целый лабиринт привязок и формальностей. Король перед одними гремел против России, другим внушал, что русская императрица согласна вместе с ним на образование конфедерации против раздела; он даже дал знать об этом австрийскому послу, чтоб поссорить три державы. Штакельберг вследствие этого старался внушить полякам, что Россия не покровительствует королю, и так как Чарторыйские более не монополисты русских сношений с Польшею, то нация не подвергается опасности быть обманутою. В конце октября Штакельберг имел объяснение с королем. Станислав-Август приготовился и дал полную свободу своему красноречию: «Претерпев столько страданий за отечество, запечатлев своею кровью дружбу и приверженность к императрице и видя, что государство мое обирают самым несправедливым образом, а меня самого доводят до нищеты, я понимаю, что меня могут постигнуть еще большие бедствия, но я их уже не боюсь. Убитый, умирающий почти с голоду, я научился — погибнуть». Штакельберг отвечал спокойно: «Красноречие в. в-ства и сила вашего воображения перенесла вас к лучшим страницам Плутарха и древней истории; но все это не может служить предметом нашего разговора; удостойте снизойти к истории Польши и к истории графа Понятовского». За этим посол изложил ход событий, поведших к несчастию, которое оплакивал король, от прошедшего Штакельберг перешел к настоящему и предложил вопрос: что станется с ним, королем, если 100 000 войска наводнят Польшу, возьмут контрибуцию, заставят сейм подписать все, что угодно соседним державам, уйдут, оставя его в жертву злобы врагов его? Король побледнел. Штакельберг воспользовался этим и начал доказывать ему, что его существование зависит от двух условий: от немедленного созвания сейма и отречения от всякой интриги, которая имела бы целию ожесточать

поляков и вводить их в заблуждение. Король обещал делать все по желанию посла.

Штакельберг еще не привык к варшавским нечаянностям и потому не верил своим ушам, когда через два дня после приведенного разговора король призвал его опять к себе и объявил, что считает своею обязанностию отправить Браницкого в Париж с протестом против раздела. «Мне ничего больше не остается, — отвечал Штакельберг, — как жалеть о вашем величестве и уведомить свой двор о вашем поступке. Чего вы ожидаете от Франции против трех держав, способных сокрушить всю Европу?» — «Ничего, — отвечал король, — но я исполнил свою обязанность». 23 ноября Штакельберг послал декларацию: «Есть предел умеренности, который предписывают правосудие и достоинство дворов. Ее величество императрица надеется, что король не захочет подвергать Польшу бедствиям, необходимому результату медленности, с какою его в-ство приступает к созванию сейма и переговорам, которые одни могут спасти его отечество». Но в то время как Штакельберг принимал меры, чтоб заставить короля переменить свое несчастное поведение, Бенуа твердил ему: «Оставьте его, тем лучше для нас: мы больше возьмем»[235].

Станислав-Август счел своею обязанностью отправить во Францию протест против раздела, объявивши Штакельбергу, что не ждет от этого никаких благоприятных для Польши последствий. Слова его заключали в себе полную правду, хотя, вероятно, короля не оставляла еще надежда, что Западная Европа не останется равнодушною к смелому делу Восточной. Печальное царствование Людовика XV спешило к концу своему истратить все еще оставшиеся материальные и нравственные средства французского правительства. Это правительство объявило, что новая война из-за кого и из-за чего бы то ни было невозможна для него; у Франции оставалось одно средство заявлять свое значение, свою силу — искусная дипломатическая интрига; и действительно, Франция славилась своею школою дипломатов, бороться с которыми было очень трудно дипломатам других стран; знаменитая школа вела свое происхождение от времен кардинала Ришелье. Но этому сильному, блестящему войску, какое представлял корпус французских министров при иностранных дворах, нужен был искусный полководец, который бы из Версаля направлял его движения к общей цели по одной системе. Таким искусным полководцем был заведовавший иностранными делами Франции герцог Шуазель. Как только Россия появилась на сцене общеевропейского действия при Петре Великом, французские государственные люди поняли ее значение и, когда им не удалось втянуть это новое могущество в свои виды, когда Россия по единству тогдашних

интересов вступила в союз с враждебною им Австриею, стали вести против России ожесточенную дипломатическую борьбу в Турции, Швеции и Польше. Мастерская перемена политического фронта, союз с Австриею вследствие сознания, что Пруссия Фридриха II гораздо опаснее для Франции, чем монархия Габсбургов, сблизили Францию с Россиею в общем действии, в Семилетней войне. Но перемена русской политики по смерти Елисаветы возобновила прежние неприязненные отношения между Францией и Россиею, и герцог Шуазель, как истый француз, с знаменитым французским увлечением (furia francese) повел дипломатическую борьбу против петербургского Кабинета, ибо видел ясно, что после Семилетней войны Россия сильнее всех государств в Европе, и, главное, видел, что русская государыня хочет и может пользоваться этою силою для утверждения своего влияния в Европе. Этого не мог сносить Шуазель, хотевший, чтоб при нем Франция, как прежде, имела господствующее влияние на европейские дела; он оскорблялся величием России, как представитель древней, но расстроенной в своих делах фамилии, оскорбляется успехами молодого, способного и богатого новичка. Для противодействия России он хотел затянуть еще сильнее узел дружбы с Австриею, устроил союз фамильный посредством брака наследника французского престола с эрцгерцогинею Мариею-Антуанеттою. В России, следя за движениями противника, хотели идти одинаким с ним ходом. Как Шуазель устроил Южный католический союз из Франции, Испании и Австрии, так и в России придумали Северный союз. Этот северный концерт не удался по несходству интересов трех держав, имевших быть главными его членами, — России, Пруссии и Англии; но самое принятие вызова, вступление в открытую дипломатическую борьбу в самых обширных размерах, подражание ходу противника, ведение контрмин раздражало Шуазеля. Попытка отвлечь Пруссию от России оказалась напрасною; в Польше нельзя было воспрепятствовать России возвести на престол Понятовского и проводить известные требования; но Шуазель дождался взрыва неудовольствия, дождался Барской конфедерации и начал помогать конфедератам людьми и деньгами, причем главною целию Шуазеля было продление борьбы, истомление России; цель эта достигалась как нельзя лучше поднятием Турции; и Шуазель успел поднять ее, а между тем неутомимо работал в Швеции в пользу усиления королевской власти. Одним словом, во всех важнейших политических вопросах Россия встречала главным врагом своим Шуазеля; Екатерина имела полное право ненавидеть этого «кучера Европы», как она называла Шуазеля.

Но Фридрих II давно уже начал утешать свою союзницу насчет «кучера Европы». Прусский король знал, что Людовик XV женщине, не скажу любимой (это было бы слишком чисто), женщине, умевшей угодить ему, готов пожертвовать министром, как бы тот ни был полезен для Франции; прусский король, зная это, считал падение Шуазеля очень возможным и в начале 1769 года писал Екатерине, что в Версале идет сильное движение против Шуазеля, стараются его свергнуть посредством графини Дюбарри, ставшей королевскою любовницею; с Шуазелем, писал Фридрих, падут все его проекты, потому что новые министры обыкновенно ведут дела наоборот, чем как они шли при их предшественниках[236]. Через два года предсказание оправдалось. В конце 1770 года Шуазель, не могший унизиться до раболепства пред Дюбарри, был низвержен и сослан; его место занял герцог Эгильон из партии Дюбарри. Удалением Шуазеля значению Франции в делах Европы нанесен был решительный удар. Эгильона нельзя было назвать человеком неспособным, не понимавшим интересов Франции; но прежде всего это был человек партий; и главное внимание его было обращено не на внешние дела, а на придворные интриги, на борьбу партий, от исхода которой зависела его судьба; с другой стороны, ему было очень приятно, когда дела Шуазеля разделывались, когда можно было упрекнуть ненавистного предшественника в ошибочности его замысла или распоряжений. Но Эгильон ограничивался упреками на словах; он был рад, когда предприятия Шуазеля не удавались, но самому разделать дела предшественника, вдруг переменить старую систему и создать новую — для этого у него недоставало ни времени, ни энергии, ни способностей. Какое из Шуазелевых дел шло успешно, тому Эгильон не мешал доделываться, например, шведскому делу; начать же что-нибудь новое было для него тяжело; так, ему хотелось сближения с Россиею, он был бы рад действовать тут совершенно вопреки поведению Шуазеля, но он начал поздно и вел дело чрезвычайно медленно. Не было общего плана действия, не было ничего выясненного.

В начале 1772 года русский поверенный в делах Хотинский имел разговор с герцогом Эгильоном по поводу мирных условий, предложенных Россиею Турции. Когда Хотинский заметил, что пожертвование Молдавиею и Валахиею с русской стороны должно вести к миру, то Эгильон выразил сомнение во всей своей наружности и вскрикнул: «А Крым к чему? — потом, немного помолчав, прибавил: — Вы знаете, что турки не хотят ничего уступить». Хотинский заметил: «Какое же будет вознаграждение за полученные нашим оружием успехи и понесенные убытки?» Герцог отвечал с холодным видом и вполголоса: «Думаю, что вознаграждение

это будет состоять в деньгах. По турецким приготовлениям видно, что Порта вовсе не отказывается от четвертой кампании. Турки знают, что ваши эскадры не в состоянии больше держаться в море, чему и дивиться нечего, когда принуждены десять месяцев в году отправлять службу; от этого корабли испортились и люди гибнут. Турки знают, что пополнение армии рекрутами становится вам трудно по причине мора; остававшиеся в государстве полки истощены; в деньгах также большой недостаток, так что самим министрам вашим платится жалованье бумагою». — «Уже с самого начала войны, — сказал Хотинский, — слыхал я такие рассуждения; давно ждут, что мы истощимся. Правда, война нам тяжела; но так как у нас нет государственного долга и содержание войска стóит дешевле, чем в других странах, то и можем мы вынести военные издержки долее других государств, которые и побогаче нас. Что касается флота, то возвращавшиеся с него чрез Францию переводчик Лизакевич и поручик Прощин сказывали мне, что на эскадрах все благополучно». — «Набор страшно тягостен для дворянства, — возразил Эгильон, — теперь принуждены давать осьмого человека». — «Вам сообщено ложное известие, — сказал Хотинский, — набирают 80 000 человек, следовательно, жребий падает с лишком на сотого человека, ибо в подушном окладе записано более 9 миллионов душ». — «У нас есть обстоятельные известия, — продолжал герцог, — вычтя детей, стариков и вольных людей, немного останется годных в службу. План вашей государыни содержать армию в Крыму, другую на Дунае и флот в архипелаге, бесспорно, хорош, славен и велик, но такие планы должны быть маскированы, иначе в случае продолжительности войны не имеют ожидаемого успеха; примером служит наш поход в Баварию: первая кампания была блестяща, а после армия исчезла от болезней и недостатка в рекрутах». Когда Хотинский распространился о пользе бумажных денег, то Эгильон отвечал: «Вообще этот легкий способ приобретать деньги вреден, потому что обыкновенно ведет к злоупотреблениям. Мне нечего вам говорить, какие от того у нас родились беды, вы сами их видите».

В марте был другой любопытный разговор. *Эгильон:* Равновесие в Европе нарушится, если вы успеете предписать туркам мир на трех условиях: свободное мореплавание по Черному морю, гавань на нем и независимость татар. С такими выгодами вы скоро будете и в Константинополе, и тогда кто вас оттуда выживет? *Хотинский:* Кто захочет. *Эгильон:* Кто же это? *Хотинский* с улыбкою: Вы первые, потом австрийцы и англичане. *Эгильон:* Тогда уже будет поздно. *Хотинский:* Неужели вы серьезно так думаете? *Эгильон:* Совершенно серьезно. *Хотинский:* В таком случае и я вам

признаюсь, что выгоды, которые мы себе выговариваем, более славны для нас, чем полезны, ибо что касается мореплавания, то представляю вам в пример, какой успех имеем мы на Балтийском море, которое нам открыто. Вы знаете, что нашу торговлю производят чужие народы, и несмотря на все старания поощрять наш народ к морской торговле, он на это не поддается, из чего ясно видно, что нет в нем к этому промыслу склонности. Крымские татары останутся независимыми. *Эгильон:* Какая может быть их независимость? Вы уже выбрали им и хана, который будет вам предан. Когда вам понадобится, нашлете вы их на Венгрию и другие австрийские земли, которые они разорят прежде, чем венский двор успеет оглянуться и собрать рассеянные по Италии и Фландрии свои войска. Можно ли вам предписать, чтоб вы имели на Черном море только десять, двадцать или тридцать кораблей и о скольких пушках? Вы и так уже сильны с королем прусским; вы теперь дружны с ним, и он все вам позволяет, но со временем и с ним вы справитесь. Вы безопасны по своему положению: кто пойдет нападать на вас в такую даль? Впрочем, вы делаете хорошо, настаивая на получении этих выгод. Я бы то же на вашем месте сделал, но сомневаюсь, чтоб турки вам уступили.

11 марта Хотинский в первый раз сообщил своему двору о парижских слухах, что Россия, Пруссия и Австрия сговариваются насчет раздела Польши. 27 марта Хотинский был у Эгильона, который повторил ему прежнее: «Если турки отступятся от Крыма, то чрез два года он будет в ваших руках, а Константинополь — чрез четыре». Но многозначительнее было восклицание герцога в конце разговора: «Венский двор сделал великую ошибку!» В разговоре, происходившем в апреле, Хотинский, между прочим, сказал Эгильону: «Право, герцог, надобно бы вам оказать услугу и туркам, и нам, и всему человечеству, уговорив Порту быть посговорчивее». — «Как, вы хотите, — отвечал Эгильон, — чтоб мы подали такой совет, когда мы же и побудили турок к войне? Сверх того, наш кредит не очень велик. Сделали глупость, что позволили пройти вашему флоту». От 26 апреля Хотинский писал Панину: «Здесь совершенно уверены, что должен последовать раздел некоторой части Польши между Россиею, Австриею и Пруссиею. Как на нас сердятся и попрекают нам по этому делу, можете себе вообразить Не думали здесь, чтоб когда-либо венский двор согласился на раздробление Польши, способствующее усилению нашему, а больше всего короля прусского, государя предприимчивого и без того уже опасного австрийскому дому»[237].

«Что скажет Франция, что скажет Испания, Англия, когда мы теперь вдруг так тесно соединимся с теми, которых мы так сильно желали сдерживать и которых поведение

объявляли несправедливым?» — писала Мария-Терезия, противясь приступлению Австрии к разделу Польши [238]. Кауницу, разумеется, не было дела до того, что скажут Испания и Англия; но он долго бы думал о том, что скажет Франция, если б ее внешними сношениями управлял Шуазель. Но с Эгильоном он не считал нужным церемониться. Знаменитый Южный союз — австро-франко-испанский, созданный Шуазелем, который один мог его поддерживать, без Шуазеля ослабел, оставался недеятельным; Австрия перестала надеяться на помощь Франции, на ее влияние и потому перестала и бояться ее; Иосиф и Кауниц не заботились более о том, что скажет Эгильон или Людовик XV. Еще в июне 1771 года граф Брольи писал королю по поводу неудач Дюмурье: «Найти средство против всего этого не было бы очень трудно, если бы венский двор желал добра этой несчастной нации, но я подозреваю, что он не желает видеть ее победоносною; пораженная, она скорее подчинится законам, которые хотят ей предписать, и честолюбивые соседи именно желают видеть ее в этом положении. Только в. в-ство может ей помочь. Новое министерство (Эгильона) не сумеет еще понять, как судьба этой республики политически должна интересовать Францию; новый посол, которого назначают в Вену (принц Роган), поймет это еще менее. Таким образом, провидение соединяет все обстоятельства для разрушения наших интересов и нашей системы в этой части Европы». Но эти внушения не производили никакого действия. Людовик XV раньше и определеннее знал о плане раздела Польши. Французский посланник в Берлине доносил еще в марте 1771 года о словах, сказанных ему шведским министром при прусском дворе: «Все кончено; прусский король все обделал и мир (России с Турциею) будет подписан до истечения четырех месяцев. Польша заплатит за все». В самом начале 1772 года Людовик XV писал графу Брольи, что герцог Эгильон обратился к австрийскому послу графу Мерси д'Аржанто, чтоб выведать от него, не желает ли Австрия «получить свою долю в польском пироге, как все заставляет думать». Мерси наконец объяснился с Эгильоном о разделе Польши: он представил, что опасность, какою грозили Австрии соединенные силы России и Пруссии, заставила императора и императрицу принять участие в разделе, которому они не могли помешать. Венский двор сознает несправедливость дела, но именно для уменьшения несправедливости он счел своею обязанностью принять в ней участие, думая, что это было единственным средством положить ей границы, при этом доля, достающаяся его государям, так мала в сравнении с приобретениями других держав, что венский двор только с прискорбием может смотреть на событие, наклоняющее весы далеко не в его пользу. Что касается мол-

чания, которое соблюдал венский двор о своих сношениях по этому предмету с Россиею и Пруссиею, то такое же молчание наблюдало и правительство французское: венскому двору известно, что герцог Эгильон сносился с прусскими эмиссарами и объявил одному из них, что Франция будет смотреть равнодушно на то, что станут делать с Польшею. Прусский король дал знать в Вену о желании Франции сблизиться с ним. Таким образом, венский двор, видя, что не может полагаться вполне на Францию, должен был принять предосторожности против бури, которой один он не мог противиться.

Это объяснение сильно рассердило Эгильона. Он отвечал, что недостаток доверия, обнаруженный венским двором, может произвести охлаждение между ним и Франциею, которое, постоянно усиливаясь, может повести к полному разрыву союза [239]. Но эти угрозы не могли испугать венский двор. Мерси доносил: «Так как интриги поглощают здесь внимание всех и отвлекают от внешних дел, то нечего много бояться. Что герцог Эгильон говорил мне до сих пор по поводу Польши, очень мало меня затрудняет. Этот министр ведет дело без энергии, без системы; характер его требует употребления мелких средств лживости; но эта метода никогда не может быть очень страшна и побуждает только к небольшой бдительности и наблюдательности. Я вижу ясно, что распоряжения относительно Польши лично не затронули короля». Несмотря на то, Мария-Терезия писала Мерси: «Как бы я ни была уверена в чувствах короля, я не решусь сама писать ему об этом предмете; говорите, что хотите, ему от меня». Людовик XV в разговоре с Мерси отзывался с глубоким уважением о Марии-Терезии, а об Иосифе спросил со смехом, как он поживает с своим другом, королем прусским. Тут фаворитка, заметив, что веселость короля грозит перейти известные границы, начала говорить: «Я уверена, что император вполне знает короля прусского, и потому легко судить о характере дружбы его к человеку, привыкшему обманывать весь свет и на слово которого никогда нельзя положиться». Мерси говорил в том же духе, и король сказал: «Надеюсь, что все эти затруднения кончатся по возможности с наименьшим вредом» [240].

Людовик XV успокоился на этой надежде, и герцогу Эгильону осталось говорить проповеди вроде той, какую он сказал Хотинскому по поводу раздела Польши: «А королю прусскому достанется лучшая часть. Мы не досадуем, что он усиливается, но вы будете о том когда-нибудь жалеть. Вот до чего довели поступки герцога Шуазеля, тогда как по положению обоих наших государств должны были бы мы жить в дружбе со взаимною выгодою».

Летом отозван был из Петербурга французский поверенный в делах Сабатье и заменен Дюраном, переведенным из

Вены. Это назначение встревожило венский и особенно берлинский двор по дознанной ловкости Дюрана, дипломата старой школы. По поводу его Эгильон сказал Хотинскому: «Я открою вам одним, что попытаюсь сделать первый шаг к сближению с вашим двором; но если он не будет отвечать тем же, то я отступлю. Вам довольно известен образ моих мыслей, и мне кажется, что злоба и происки одного частного человека (Шуазеля) должны быть презираемы великими государствами». В сентябре по поводу известия о разрыве Фокшанского конгресса Эгильон сказал Хотинскому: «Удивляюсь, как ваши союзники, и особенно король прусский, не склонили или не принудили турок к миру; но я думаю, ваш двор не так добр, чтоб поверил, что они действительно хлопотали о примирении. Признаюсь, что и я на их месте не желал бы ничего более, как чтоб моим соседям выели белки из глаз. Быть может, мы могли бы вам больше их услужить, но вы нас в сторону отложили». Хотинский заметил на это, что Россия обязана Франции турецкою войною. «Но вы знаете, — сказал герцог, — что мы ищем только одного — жить с вами в дружбе». — «Вы должны прибавить, — заметил Хотинский, — что такое искание началось разве с тех пор, как вы на месте герцога Шуазеля». На это Эгильон отвечал: «Тому уже около двух лет, как предместник мой удален». — «А все-таки, — заметил Хотинский,— нам не по чему было догадаться, что с Шуазелем переменились и мысли здешнего двора». — «Увидим, что Дюран сделает», — сказал Эгильон и кончил этим разговор.

Хотинский получил от своего двора приказание писать, как относится французская публика к разделу Польши. Хотинский писал, что, по мнению французских политиков, раздел последовал по давнему желанию прусского короля приобресть польскую Пруссию, удивляются одному, как венский двор до этого допустил; что же касается России, то говорят, что она, не имея нужды в приобретении новых земель, никак не желала раздела Польши, но, будучи занята войною, не могла одна воспротивиться желанию короля прусского.

8 ноября Хотинский описывал разговор свой с Эгильоном по поводу известий о ласковом приеме Дюрана в Петербурге. *Хотинский:* Теперь уже около года, как дела могли бы быть в настоящем положении, если бы по тогдашним моим внушениям вы послали в Россию от себя человека. *Эгильон:* Вы знаете, что я делал то, что мне было возможно. Мы сделали первый шаг, но я этого не стыжусь; я сообщил об этом нашим друзьям в Испании, которая согласна с нами; благоразумнейшие должны первые уступить. *Хотинский:* По совести, не могли мы первые уступить; но так как дела дошли уже до желанного конца, то для чего людям, враждебным восстановлению согласия между Россиею и Франциею, даны способы

к отдалению такого доброго дела противоречиями с здешней стороны между словами и делами. *Эгильон:* В чем состоит это противоречие? *Хотинский:* Перемирие продолжено, и конгресс будет восстановлен вследствие повторительных прошений турок; а в парижской газете напечатано, что турки по нашему прошению на это согласились; из таких заявлений, по-видимому, можно заключить, что вы продолжаете нам недоброхотствовать. *Эгильон:* Я этого не заметил в газете, но помню, что такое известие прислано было из Вены и, верно, с прочими известиями не нарочно напечатано; а для доказательства, что это делается без всякого намерения, хотите, я велю вам присылать корректуры газет, и вы можете вычеркивать из них все, что вам не понравится. *Хотинский:* Очень благодарен, я этого не желаю, прошу об одном — приказать, чтоб вперед или умалчивали, или поскромнее упоминали о вещах, к которым двор мой не может быть равнодушен. *Эгильон:* Обещаю. На другой день опять разговор. *Эгильон:* Дюран был милостиво принят императрицею, и все придворные обошлись с ним очень учтиво; он особенно хвалился ласковостию графа Панина, который сказал ему: «Вы можете донести своему двору, что мы не имеем обязательств, которые запрещали бы нам быть в союзе с Франциею». Увидим, что будет дальше. *Хотинский:* Надобно теперь ожидать, что нежелающие восстановления между обоими дворами дружбы станут всеми средствами этому препятствовать и стараться продлить бывшее недоверие, и потому было бы лучше на первый раз усиливать дружбу, не показывая этого явно. *Эгильон:* Больше не от кого ждать этих раздоров, как от пруссаков. *Хотинский:* И от англичан надобно также остерегаться, ибо хотя Франция теперь с ними и в дружбе, не надобно, однако, забывать, что они естественные ее неприятели. *Эгильон:* Прусский министр, конечно, на вас нападет, чтоб что-нибудь узнать; но я надеюсь, что вы ему не перескажете нашего разговора. Венский и сардинский послы мне жаловались, что он не дает им покоя своими расспросами о новостях. Екатерина написала на этом письме Хотинского: «Эта депеша показывает ясно в господине Эгильоне интригантский дух и желание замутить»[241].

Эта заметка была следствием нового сильного раздражения против Франции, которое было произведено шведскою революциею.

23 марта Остерман уведомил Панина, что приезжал к нему прусский посланник граф Денгоф с просьбою, чтоб русский посланник употребил свое влияние между государственными чинами и уговорил их дать позволение Густаву III во время его финляндской поездки посетить Петербург. Екатерина написала Панину по этому случаю: «В ответ графу Остерману о приезде сюда короля шведского дайте ему

знать, что приезд его величества, если на то его решительное желание есть, мне не противен будет; но что в нынешнем году я сумневаюсь, чтоб оный место имел, если мне сравнять сей поступок со взятыми мерами генерала Эреншверта и его кордон, ибо его величество имеет опасаться, что сей генерал, знав столь утвердительно, что у нас язва, из усердия сего государя к нам не пропустит. И для того предпишите графу Остерману, чтоб он сюда прислал, и то как можно скорее, точное уведомление, в каком году и в каком месяце точно король быть думает, дабы по крайней мере не двойные были нам издержки, ибо летние приготовления к тому приезду весьма разнствуют от зимних. В самом деле и сам король шведский еще не показывал графу Остерману свое к сему посещению желание, но только прусский посланник отзывался именем своего короля; итак, прикажите нам прислать что ни на есть точнее, не придавая и не отнимая у моего братца охоты ехать или дома остаться. Мне кажется, однако, весьма ветрено, имев дома хлопоты и голод, государю рыскать по чужим краям». Это намерение посетить Екатерину было придумано, как видно, для того только, чтоб ослабить внимание русского двора к замышляемому изменению конституции.

Мы видели, что главным старанием Остермана и русской партии было уравнение этой партии в Сенате, для чего некоторые из противной партии должны были выйти из Сената, на что и последовало соглашение между обеими сторонами. Но когда дошла очередь до сенатора графа Шефера, очень дорогого для французской партии, то, по выражению Остермана, «все пружины к спасению его поднялись» и фельдмаршал граф Ферзен обратился к одному из вождей русской партии с предложением, чтоб его партия удовольствовалась выходом только двоих сенаторов. Остерман предложил сделку, чтоб два сенатора уже подали просьбу об увольнении, чтоб Шефер отказался от вице-президентского места в канцелярии иностранных дел, чтоб сенатор барон Дюбен был выбран единогласно президентом канцелярии с согласия короля, чтоб место вице-президента отдано было члену русской партии барону Риддерстолпе, чтоб все вожди французской партии обязались честным словом впредь никогда не думать о низвержении Сената и чтоб король дал также свое обнадеживание, чтоб вице-адмирала Фалькенгрена ввести в Сенат сверх комплекта и чтоб французская партия в течение сейма не причиняла никакого помешательства и затруднения. Ферзен не противоречил этим требованиям; но когда дело дошло до исполнения, то Остерман должен был уступить и рад был, что вице-президентское место было занято хотя членом французской партии, но не так опасным. Сейм тянулся, тянулись поэтому и русские деньги из Пе-

тербурга, хотя оттуда и повторяли Остерману, чтоб он старался об окончании сейма, что посылать по 50 000 рублей в Стокгольм тяжело для России при тогдашних обстоятельствах. Но Остерман стал уведомлять не о сеймовых затруднениях, причиняемых противною партиею, стал уведомлять о замыслах более важных. К депеше от 11 июля он приложил документ, сообщенный ему в величайшем секрете английским посланником и полученный последним с нарочным курьером. В документе говорилось, что, по самым верным известиям, 20 мая было тайное свидание у короля с французским посланником Верженем, причем король объявил, что не может более переносить бесчисленных оскорблений, которые наносят ему постоянно государственные чины, что истощенное терпение не позволяет ему более выбора средств для спасения независимости своей короны, что его непременно хотят подвести под русское иго, но что он скорее умрет, чем подвергнется такому бесчестию. После этого вступления король открыл посланнику план своего освобождения. В финляндской крепости Свеаборг, лежащей среди моря, находится склад оружия, назначенного для предприятия; гарнизон крепости состоит из иностранцев, боящихся, что скупость государственных чинов убавит их содержание, и потому недовольных и готовых на все. Они-то должны внезапно явиться пред Стокгольмом. Пользуясь переполохом, который произведет их появление, король соберет четыре чина и предложит им конституцию справедливую и умеренную; предоставляя им гражданскую свободу и все их права, она отнимет у них только свободу делать зло и изменять интересам отечества. Надобно ожидать, что страх заставит их на все согласиться. Если же свеаборжцы будут задержаны в шкерах морскими препятствиями или пригнаны ветром к стороне Норкепинга, то король пойдет против них в челе своей гвардии будто с целию воспрепятствовать их высадке, а между тем постарается соединить оба войска и возвратиться в столицу для нанесения последнего удара. На замечание посланника, что в этом предприятии ставится на карту все с небольшой вероятностию успеха, король отвечал, что он все предусмотрел, что он не скрывает от себя опасности предприятия, но, каков бы ни был исход последнего, он менее боится безуспешности дела и крайностей еще более тяжких, чем позора, которым покрывается его царствование, что кротость, какою он до сих пор руководствовался в своем поведении, сочтена была за слабость, русская партия пользуется ею с величайшею наглостию, время ему оправдаться в глазах Европы, и, будь что ни будет, он решился попытать счастия. Вержень уступил и согласился дать королю денег на предприятие. Это известие вполне подтверждается доне-

сением Верженя своему двору — так умели англичане доставать верные сведения! «Вам, — писал Остерман Панину, — известно все мое постоянное бодрствование при всех бывших покушениях, но против такой внезапности силы мои недостаточны; я могу употреблять только поощрение к предосторожности, что, конечно, мною упущено не будет». Против подозрительности Остермана и его поощрений к предосторожностям король выдвинул опять намерение посетить Россию. Он дал знать Остерману, что 22 июля желает иметь с ним свидание в так называемом Хмельном саду, и действительно приехал туда в 9 часу вечера, когда почти все гуляющие уже оставили сад. Густав III после обычных извинений, что заставил посла ждать, начал разговор тем, что завтра объявит Сенату о своем намерении воспользоваться своею финляндскою поездкою и посетить русскую императрицу, чего давно жаждет по родству и уважению к ее блистательным качествам. Остерман отвечал уверениями, что государыне его чрезвычайно будет приятно видеть у себя такого дорогого гостя, любезного соседа и близкого родственника, прибавив, что такие уверения он делает по приказанию ее величества, которой известно уже намерение королевское. Остерман выразил и собственную радость, что король получит самый удобный случай удостовериться в правде его обнадеживаний относительно доброжелательства императрицы к Швеции, и если это доброжелательство не высказалось во всей силе, то не от нее это зависело. На это король сказал: «Не сомневаюсь, что многим шляпам и колпакам наше свидание с императрицею будет очень неприятно; по своей алчности к господству они не желают личных свиданий между государями». Остерман спросил, когда королю будет угодно предпринять путешествие, в настоящем или будущем году. «Это будет от вас зависеть, — отвечал Густав III, — когда вы сейм окончите». — «Если б это от меня зависело, — сказал Остерман, — то я бы нынче же прекратил сейм; но вашему величеству лучше меня известны обстоятельства, препятствующие его окончанию». — «Я знаю здешний фанатизм, — сказал король, — но, думая, что вы окончите сейм, когда об этом всего меньше будут думать, я решился заранее исходатайствовать у государственных чинов позволение путешествовать и, когда получу позволение, отпишу сам к ее императ. величеству». Этим разговор и кончился; а на другой день король действительно объявил Сенату о своей поездке, прибавив, что так как нельзя предвидеть окончания сейма, то поездка не может состояться ранее мая месяца будущего года. Остерман не был обманут и писал Панину, что все это выдумано нарочно для отвращения внимания от предпринятых королем намерений.

Намерения были приведены в исполнение. Известия о соглашении между Россиею, Пруссиею и Австриею насчет раздела Польши заставляли Густава спешить делом как из страха, чтоб того же не случилось с Швециею при ее сеймовых неурядицах, так и из страха, что Россия, развязавши себе руки относительно Польши и, по всем вероятностям, относительно Турции, обратит все усилия к упрочению своего влияния в Швеции. Еще в 1768 году молодой Густав записал в своем журнале: «В Варшаве держали два совета, и результатом совещаний было то, что король и Сенат обратятся за покровительством к русской императрице. Это позор!.. Ах, Станислав-Август! Ты не король и даже не гражданин! Умри для спасения независимости отечества, а не принимай недостойного ига в пустой надежде сохранить тень могущества, которую указ из Москвы заставит исчезнуть!» Потом записано: «Польские известия все те же: анархия и подкуп! То же будет и с нами, если не поможем себе сильными мерами». Этот взгляд был заявлен и в публике. В начале 1772 года читали в одном очень распространенном стокгольмском журнале: «Время обратит внимание на наше *завтра*. Нам угрожает та же участь, что и полякам, но мы еще можем найти Густава-Адольфа. Отчего происходит несчастие Польши? От нетвердости законов, от постоянного унижения королевской власти, и отсюда неизбежное вмешательство соседних держав во внутренние дела».

Вместе с восстанием в Свеаборге должно было вспыхнуть восстание на юго-западе королевства, в Христианштадте, и оно-то началось первое; оба брата королевские должны были его поддерживать. Чины, собранные в Стокгольме, встревожились, зная цель движения и участие в нем короля. Против войска чины могли защищаться только войском же, преданным конституции, и с нетерпением ждали прибытия в Стокгольм Упландского полка; но Густав III предупредил. 19 августа (н. с.) он обратился с горячей речью к офицерам и солдатам; и те, за немногими исключениями, приняли его сторону; стража была приставлена к дверям Сената, самые опасные, самые видные члены противной партии были схвачены; члены Секретного комитета разбежались; в несколько часов весь Стокгольм находился во власти короля. На третий день Густав прочел сейму новую конституцию, которая была принята среди рукоплесканий.

10 августа (с. с.) Остерман донес, что не только гвардия, артиллерия, мещанство, все коллежские департаменты, но и собрание государственных чинов, принужденные силою, обязались присягою повиноваться всем повелениям короля и признать ту форму правления, которую он им представит. «Вот все, что я мог узнать, — писал Остерман, — потому что я лишился всех своих друзей, которые так оробели, что ни

один не смеет ко мне прийти. Сенат и вожди благонамеренных, не хотевшие присяги, арестованы, равно как оратор мещанского чина, секретарь поселянского и нотариусы». Вслед за тем Остерман описывал свой разговор с главным зачинщиком переворота графом Карлом Шефером. В собрании при дворе Шефер подошел к нему с комплиментом его поведению во время переворота. «Король, — говорил Шефер, — очень доволен вашим поведением и приказал вас уверить, что приобретенная им теперь власть вместо умаления согласия между Россиею и Швециею будет служить к его утверждению. Хотя бы его государство стало еще сильнее, чем теперь, отнюдь не намерен он прямо или косвенно препятствовать предприятиям и завоеваниям императрицы». Остерман отвечал, что не преминет передать своему двору эти уверения, но при этом нашел нужным заметить, что, вероятно, есть державы, которые не будут равнодушно смотреть на тесную связь между Россиею и Швециею; что же касается завоеваний, то известна обширность России, не требующая дальнейшего распространения. Шефер, понявши, что Остерман намекает на Францию, отвечал: «Правда, что наш король находится в теснейшей дружбе с французским двором; однако в угодность ему не предпримет никогда ничего противного русскому двору. Да, не скрою от вас, что и сам французский двор при нынешнем министре герцоге Эгильоне переменил прежнюю широкую политику герцога Шуазеля, принял те же миролюбивые правила, какие и наш король соблюдать намерен». Остерман, рассмеявшись, отвечал: «Если это правда, то жаль, что Эгильон не вступил ранее в министерство: тогда не было бы и войны у нас с турками». Шефер согласился с послом. Сообщая этот разговор, Остерман писал, что участники в перевороте твердят о согласии прусского короля на их дело; сам Густав III уверял каждого, что ни прусский король, ни русская императрица не будут спорить против установленной формы правления. Радость сестры Фридриха II, вдовствующей королевы шведской, была неописанно велика, по выражению Остермана; она приписывала себе начало событий и, узнав о его совершении, сказала: «Теперь узнаю в Густаве свою кровь»[242].

Можно утвердительно сказать, что известие о шведских событиях было самое неприятное по внешним делам, какое до сих пор получала Екатерина. Она видела в перевороте победу Франции, которая воспользуется ею, чтоб возбудить войну между Швециею и Россиею, войну опасную по близкому соседству с Петербургом и открытости границ; кроме того, эта война поддержит войну турецкую, может поддержать и поляков в их сопротивлении разделу. В апреле 1771 года Екатерина писала Румянцеву: «Король шведский

получил в Париже известие о кончине его родителя, чем наши искони ненавистники-французы и воспользовались дачею некоторой недоимочной субсидии; но в Швеции, кажется, шапки имеют также некоторые поверхности; итак, в надежде на милость всевышнего будем спокойно зреть на сеймическое окончание; если б же дерзнули (шведы) на злое предприятие, то я персонально готова оборонять и умереть на обороне той части границы нашей, честь коей никому уже уступлю, но полагаю, кажется, безошибочно, что в том нужды не будет»[243]. Но теперь, чего больше всего опасались, то случилось. Еще прежде получения депеши от Остермана, 16 августа, в присутствии императрицы Чернышев читал в Совете рапорты выборгского обер-коменданта, где заключались показания выехавшего из Швеции офицера, что у них города принуждаются к присяге одному королю, с исключением государственных чинов. Панин сообщил, что полученные им рапорты от выборгского губернатора содержат те же известия и что по приказанию императрицы уже послано к губернатору письмо, чтоб беспрепятственно принимал выезжих шведов, противников этой перемены. В Совете рассуждали, что нельзя еще полагать, чтоб предприятие удалось шведскому королю; что удача и неудача одинаково могут произвести много смуты в Швеции; что в первом случае прусский и датский дворы обязаны договорами препятствовать тому сообща с нами; что так как Россия находится еще в войне с турками, то и не может теперь вооружиться против Швеции; в надежде, что в этом году опасности от шведов еще не будет, надобно остаться в оборонительном положении и, не выдавая никаких деклараций против шведских событий, сделать только «оказательство» движением к шведской границе находящегося в русской Финляндии войска и петербургской легкой полевой команды, посылкою знатного генерала, также вооружением нескольких кораблей и галер; что можно также вызвать несколько полков из Польши и отправить их в Финляндию. Императрица одобрила все эти меры. Решено было отправить на шведскую границу генерал-майора графа Апраксина, но и сам Чернышев должен был отправиться туда для необходимых распоряжений. Когда стали рассуждать о содействии других держав, то Екатерина сказала: «Держась всегда правила, что соединенные силы более вредны, нежели полезны, не должно нам на других полагаться, а надлежит, оставляя их помогать нам порознь, привесть самим себя в такое состояние, как бы мы одни принуждены были вести войну».

В заседании Совета 23 августа сообщены были депеши Остермана, после чего Панин прочел письмо Густава III императрице, привезенное камергером Таубе: король, извещая о перевороте, уверял, что он послужит к большему

утверждению доброго согласия между Швециею и Россиею Чернышев, возвратившийся из своей поездки в Финляндию, показывал новую карту этой страны, причем объявил, что нашел крепости Фридрихсгам и Вильманстранд в очень дурном состоянии; и так как одни эти крепости не могут удержать шведов, то предлагал, укрепя их, построить между ними еще новую крепость Эти известия побудили Совет прийти к решению, что в настоящих обстоятельствах, когда в Швеции переворот произведен окончательно и русские войска заняты в отдаленных местах, надобно оставаться в покое и только в оборонительном положении. В заключение гр. Панин сообщил, что он объяснил шведскому и прусскому министрам необходимость наших приготовлений, потому что переворот в Швеции произведен не одним королем, но с помощью иностранной, к нам враждебной державы (Франции); графу Сольмсу поручил он донести своему государю, чтоб его величество приказал также сделать «оказательства» вооружениями [244].

Но прусский король не хотел делать «оказательств» против племянника. Он вовсе не был против переворота в Швеции, ибо не считал для себя выгодным утверждение здесь русского влияния, но он больше всего боялся войны, которую по обязательствам с Россиею должен был начать. Поэтому он начал искать способа, как бы уладить дело без войны. Он писал Густаву III (6 сентября): «По письму в в-ства я вижу успех, полученный вами в перемене формы шведского правления. Не думаете ли вы, что это событие ограничивается успехом революции внутри вашего королевства? Не приходит ли вам на память, что Россия, Дания и я сам — мы все гарантировали прежнюю форму правления? Вспомните, что я говорил вам в Берлине во время вашего пребывания там. Боюсь, чтоб последствия этого дела не привели в. в-ство в положение худшее, чем то, из которого вы вышли, и чтоб с этой революции не началась эпоха величайших бедствий для Швеции. Вы знаете, что у меня обязательства с Россиею. Я их заключил гораздо прежде предприятия, приведенного вами в исполнение. Честь и добросовестность одинаково препятствуют мне их нарушить, и, признаюсь, я в отчаянии, что вы сами заставляете меня действовать против вас, меня, который вас любит и желает вам всех выгод, совместимых с моими обязательствами. Вы мне вонзаете кинжал в сердце, повергая меня в жестокое затруднение, из которого я не вижу выхода. Я то же самое написал королеве, вашей матери, изложил ей дело по сущей правде. Но дело сделано, и затруднение состоит в отыскании лекарства. Я буду считать лучшим днем моей жизни тот, в который я буду иметь возможность поправить случившееся». Густав отвечал дяде (22 сентября), что он полагает

надежду на правоту своего дела, на любовь к себе народа и хочет последовать примеру своего любезного дяди, как тот вел себя, когда вся Европа поклялась погубить его. «Надеюсь, — писал Густав, — что вы признаете во мне свою кровь». На это Фридрих писал ему (5 октября), что не желает видеть его в том положении, в каком он сам находился в Семилетнюю войну. «В Швеции, — писал Фридрих, — две партии, враждебные друг другу; король должен начать с их примирения и этим утвердить свой престол; но такое предприятие требует спокойствия, и потому я уверен, что ваше в-ство не будете слушать злых внушений, которые вам будут делаться с целию поссорить вас с соседями».

Фридрих был действительно в большом затруднении: что, если Россия потребует от него исполнения обязательств? Он составил план по крайней мере протянуть время посредством переговоров и добиться какой-нибудь сделки, уступки со стороны Густава III, которому русский, прусский и датский министры должны были представить, что их государи гарантировали шведскую конституцию 1720 года, так, чтоб он не ставил их в необходимость исполнить свои обязательства. Предложение этой меры было отправлено русскому двору в депеше гр. Сольмсу 4 сентября [245]. Уведомляя об этом принца Генриха, король писал ему: «Шведская королева уведомляет меня об успехе революции; я ее поздравил с одним, что сын ее избег большой опасности, и описал все предвидимые мною несчастия, если король не ограничит свою власть. Я не вижу другого средства спасти Швецию, как завести переговоры и чтоб король, уступая с своей стороны, согласился принять проект графа Горна. Я написал в этом смысле в Россию; но если это не удастся, то мы будем вовлечены в войну против родного племянника; одна мысль об этой войне, признаюсь, мне противна». Генрих, который гораздо откровеннее высказывал свое сочувствие племяннику, просил брата убедить русскую императрицу не очень волноваться шведскими событиями, убедить, что главное внимание ее должно быть обращено на турецкую войну. Если она для шведской войны поспешит заключением мира с Портою, то потеряет существенные выгоды и подвергнется большим затруднениям: венский двор может снова броситься на сторону Франции, которая обязана поддержать Швецию «Я согласен, — писал Генрих, — что трудно найти средину между интересами императрицы и шведского короля, но, лишь бы протянуть время, можно всего надеяться» [246].

Принц Генрих переслал Екатерине письмо шведского короля, в котором тот, оправдывая свой поступок, писал, что если б он не предупредил, то сам немедленно был бы заключен или убит. Екатерина отвечала Генриху: «Все это

было бы для нас фамильным делом, мы погоревали бы, побеспокоились. Но к несчастию, шведская революция имела другие причины. Ваше королевское высочество хорошо это знаете. Переворот произведен интригою и деньгами Франции, а не опасностию, которой подвергался король, ни желанием возвратить свободу нации. Будучи уверена, что переворот произведен державою, самою враждебною моим делам, и что государь, связанный со мною самыми близкими кровными узами, обманут ею, будучи проникнута горестию как родственница, что я должна чувствовать как русская императрица, обязанная заботиться о безопасности своего народа?»[247] Раздражение Екатерины усиливалось известиями, что в Швеции правительство рассеивает в народе слухи о враждебных намерениях России. По этому поводу она написала заметку для Остермана: «Я думаю, что вы у места и, кстати, не упустите сделать употребление из того, что ныне в Швеции нигде не оставляется жало противу соседей в нации поощрять. Надобно, чтоб и они знали, что соседи на это рефлекцию делают и что они пустым комплиментом вероломного короля не обмануты. Знатно для отвращенья нации от собственного состояния ей дают другой объект»[248].

В своем беспокойстве насчет беспокойства русской императрицы прусский король и его брат были утешены известием о разрыве Фокшанского конгресса, что должно было отвлечь внимание России от Швеции. 20 сентября Фридрих писал Сольмсу: «Узнавши о прекращении Фокшанского конгресса, я не могу дать России лучшего совета, как скрыть свой гнев относительно шведской революции; это нетрудно, ибо Швеция не в состоянии на первый год предпринять что-либо враждебное против нее». Получивши известие о решении Совета 23 августа оставаться относительно Швеции только в оборонительном положении, Фридрих был в восторге[249].

Вследствие этого решения Совета Панин писал Остерману: «Разные части политических наших дел и расположений не достигли еще той зрелости, чтоб отныне уже можно было определить и умерить те точные поступки, каковыми для славы ее импер. в-ства и для существительной государственной пользы удобнее, выгоднее и приличнее нам будет ополчиться и действовать противу захваченного королем шведским самовластия; но столько, однако ж, могу я с подлинностию сказать, что меры наши будут наперед соглашаемы с союзными и дружественными дворами и, что когда время раскроет завесу для явных деяний, мы на театре не одни явимся, а всемерно с добрыми и надежными помощниками. До сих пор требует от нас благоразумие оставаться в пассивном примечании и бдением за всеми намерениями

и шагами короля шведского, довольствуясь между тем мало-помалу, и под рукою заготовлять собственную свою оборону и ополчение. Правда, разрушение шведской формы правления составляет для нас случай самой величайшей важности и особливо в следствиях своих для переду опасным быть могущий; но и то опять истинно, что легче и способнее есть стрещи, блюсти и охранять нечто законом, присягою, и временем, и привычкою сооруженное и национальным благом освященное, нежели после, когда все сии коренные основания вконец уже опровержены, восстановлять опроверженное и дело, совсем сделанное, возвращать в небытие. В настоящем случае надобно будет нам не о том помышлять и целью себе ставить, чтоб прежнюю форму правления во всем ее пространстве и во всех частях нераздробительно восстановить, но чтоб по крайней мере, заимствуя из оной коренные основания как существительной вольности для нации шведской, так и прочной впредь безопасности для окрестных держав, нынешнюю новую таким образом распорядить и учредить, дабы и тот и другой пункт из старой признаны и утверждены были фундаментальными законами без всякого тут подчинения произволу и своенравию королей. По всей вероятности, судить можно, что сия посредственная дорога встретит в свое время меньше затруднения и препон, ибо в ней и король, и нация нечто для себя выигранного находить будут; первый, сохраняя по меньшей мере некоторую часть похищения своего, а последняя, возвращая себе то, что для истинного ее блага и безопасности государственной всего драгоценнее было в прежней форме правления. Между тем, дабы к будущему нашему тем или другим образом действованию в пользу шведской национальной вольности иметь нам в самой Швеции некоторое способствование, нужно весьма, чтоб вы без подания и малейшего на себя вида к сумнению или же и действительному подозрению, а паче без всякой огласки и аффектации старались по крайней возможности не только сохранять, но и умножить еще дружбу и доверенность к себе некоторых из надежнейших и в твердости испытанных шефов прежней благонамеренной партии, ободряя их несомненною надеждою скорой и действительной перемены в настоящем порабощении отечества их, а потому и обязывая их самих заготовлять мало-помалу, искусным образом и без компрометирования себя без нужды дух друзей своих к надлежащему впредь за общее благо поборствованию. Зная состояние нравов шведских, сужу и согласно с учиненным уже от вас примечанием, что есть теперь, конечно, и между шляпами много таких, кои опровержение прежней формы правления чистосердечно оплакивают и рады будут содействовать всеми своими силами восстановлению ее. Пожалуйста, не оставьте обращать бдительное око

и на сих последних, приласкивая к себе доверенность их и взаимно опять им открываясь по мере усматриваемого в них жара и соединенной с оным надежности. Между именитейшими шляпами не могу я вообразить себе, чтоб нынешний сенатор граф Ферзен внутри сердца своего мог быть равнодушен в рассуждении похищенного королем беспредельного самовластия. Он умеет и обык уже править духом знатной части сограждан своих, почему непритворное его к нашей стороне приобретение и могло бы в свое время немалую принести пользу. Приготовление людей в актеры для Шонской провинции свойственнее датскому двору, нежели нам, почему оное и можно предоставить собственному его попечению; но тем не меньше не оставляйте иметь в виду и тамошний край, ибо совокупное и одновременное действование в обеих сторонах, т. е. в Шонии и Финляндии, будет гораздо сильнее и прочнее, служа одно другому опорою. Ежели по сему и для Шонской провинции вам актеры надежные и полезные попадаться будут, не упускайте и тех из рук, но паче старайтесь приобретать их беспосредственно себе для сохранения до пункта решения всего нужного секрета, ибо после ничто уже не помешает уступить их Дании и употребить под ее дирекциею там, где для нее одной вся способность. Что до Померании касается, в рассуждении ее обстоятельства совсем другие, ибо там все дело будет от скорости в военных движениях союзника нашего короля прусского, на которую, конечно, с полною надеждою положиться можно, и от той импрессии, с каковою вся Германская империя на оные взирать может и будет по времени и по политическим расположениям главных ее членов, а особливо австрийского дома. Все сие соображая к тому пункту, когда собственные наши государственные расположения зрелости своей достигнут, а особливо мир с Портою действительно заключен, следовательно же, и главные наши военные силы и ресурсы от тамошней заботы совершенно освобождены будут, прошу я вас сообщить мне предварительно для донесения ее импер. в-ству в полном пространстве и со всеми наперед удобь определяемыми подробностями ближайшие ваши мысли об образе действительного открытия внутренних операций в Финляндии и Шонской провинции, дабы сим способом и здешние и датские меры и содействования на одинаковых правилах основать, обращая все части огромного плана к одной цели, т. е. к лучшему и сильнейшему подкреплению взаимно одной другою. Для сего же самого нужно весьма заранее и с достоверностию знать точное расположение духов шведской нации в разных ее состояниях, а особливо в армии и во всех военных людях. Неоспоримо то, что король умел приобресть себе для произведения революции большую часть войска; кажется, что оное и теперь еще на его стороне; во-

прошается только: дух энтузиазма, которым армия и войско наполнены, какого прямо свойства, истинного ли военного и стремящегося к возобновлению прежней славы шведского имени, следовательно же сумнительного и опасного для соседей, или же, напротив, только честолюбивого, льстящегося скорейшим получением чинов и других отличностей при молодом и самовластном государе?» [250]

В Петербурге опасались нападения шведского короля, заявившего свою отвагу в перевороте, опасались, что Франция побудит Густава III к войне с Россиею, чтоб помешать последней в Польше и Турции; а во Франции, довольные успехом переворота, хотели спокойного утверждения в Швеции нового порядка и опасались, что Россия своим нападением помешает этому утверждению, Швеция не в состоянии еще будет отразить удар и Франция для ее поддержки вовлечена будет в войну, а войны в Версали боялись больше всего. Затруднительно было положение нового французского министра в Петербурге Дюрана при том сильном раздражении, какое господствовало теперь здесь против Франции, на которую смотрели как на виновницу *несчастной* шведской революции, по выражению Панина. Дюран обратился к первенствующему министру с уверениями, что двор его всегда желал и желает быть в добром согласии и дружбе с ее и. в-ством; перемену в Швеции произвел он вовсе не в намерении нанести этим вред России; что Франция еще прежде советовала шведскому двору возобновить союз с Россиею да и после внушала то же самое; английский двор на вопрос французского признал шведскую перемену домашним распоряжением и не находит нужды вмешиваться в это дело; король, государь его, весьма сожалел бы, если б в России думали, что он старается причинять ей новые заботы или распространить военное пламя в Европе. Панин отвечал, что ее и. в-ство совершенно уверена в личной склонности Людовика XV к сохранению доброго с нею согласия; но политика французского двора с самого вступления ее в-ства на престол препятствовала этому. Целые десять лет французский двор не переставал действовать против России в Польше, Швеции, Турции и ввел ее в настоящую войну с последнею, как это все ему, Дюрану, самому известно вследствие постоянного его обращения в делах; тогда как Россия вовсе не подражала такому поведению Франции, не имела против нее ни с кем договоров и соглашений. Самый внезапный приезд его, Дюрана, в Россию подал причину думать, что он послан помешать или уничтожить соглашенное между тремя дворами раздробление Польши возбуждением между ними зависти и недоверия или же и заведением в России какой-нибудь смуты. Если эта догадка имеет некоторое основание, то он может быть наперед уверен в неуспехах

того и другого намерения Россия не может быть покойна со стороны Швеции, не может полагаться на ее союз, как зависящий теперь не от государственных чинов, а единственно от молодого, предприимчивого и нарушившего свою присягу государя, и потому Россия предпринимает все возможное для своего обеспечения. Панин в заключении позолотил пилюлю, распространившись о своем уважении лично к Дюрану как человеку, состарившемуся в делах и приобретшему славу своим искусством в их ведении; заявил надежду, что французский министр будет вести дело с чистосердечием и доставлять своему двору верные донесения, не подражая своим предшественникам, которые, побуждаемые злобою, наполняли свои донесения одною ложью; Дюран был смущен таким неожиданным объяснением и проговорил в ответ, что он отправлен в Россию вовсе не по поводу Польши: двор его считает дело о разделе конченным и не намерен вмешиваться в то, что сделано тремя великими державами[251]. Панин имел и личные побуждения быть чистосердечным с Дюраном; прусский король писал гр. Сольмсу: «Я буду все-таки повторять гр. Панину, чтоб он был осторожен с Дюраном. По всем известиям, мною полученным, цель его посольства — перемешать карты и низвергнуть гр. Панина; для этой цели избран министр — мастер в интригах»[252]

В Дании произошла также революция особого рода. Первое письмо, полученное Паниным в этом году от Местмахера, заключало в себе следующее известие: 5 января (с. с.) король и королева были вместе на придворном маскараде; король оставил маскарад около полуночи, королева с своим наперсником Струензе — в третьем часу, а в пятом часу король был разбужен неожиданным посещением: в его спальню вошла вдовствующая королева Юлиана-Мария втроем с наследным принцем Фридрихом и графом Ранцау. Юлиана стала говорить о бедственном положении государя и государства вследствие постыдной слабости королевы и непростительных насилий графа Струензе и успела убедить короля в необходимости арестовать королеву, фаворита ее и всех сообщников; написаны были об этом указы и подписаны королем. Граф Ранцау пошел арестовывать королеву, которую нашел в постели; после некоторого сопротивления и требования свидания с королем королева Матильда сдалась. Струензе и сообщники его были также арестованы беспрепятственно и отправлены в крепость. Народ, узнавши о событии, собрался на площади перед дворцом в бесчисленном множестве, и не было конца его радостным крикам; с теми же криками толпа провожала короля, когда он вместе с принцем Фридрихом разъезжал по улицам в парадной карете; женщины из окон домов махали белыми платками; вечером все дома были иллюминованы. Как скоро Местмахер

проведал о событии, то первою его мыслию было воспользоваться им для возвращения к делам Бернсторфа. Он сговорился с английским посланником Кейтом, и отправились к графу Остену, который принял их поодиночке, сперва Кейта. Когда последний выразил желание своего двора видеть по-прежнему у дел графа Бернсторфа и надежду, что Остен будет этому содействовать, тем более что и русский двор желает того же, то Остен разгорячился и отвечал: «Я не думаю, чтоб иностранные державы хотели королю предписать, кого он должен брать в министры». За Кейтом вошел Местмахер, поздравил Остена с радостным событием и прибавил, что для полной радости недостает одного: зачем он, Остен, уступил Ранцау всю честь такого важного предприятия? Остен отвечал, что не может долго говорить с Местмахером, торопится ехать во дворец и что он сам узнал о событии только в 8 часов утра, когда его позвали к королю, впрочем, он уже успел представить его величеству, что из уважения к русской императрице не следует употреблять к делам графа Ранцау, а, наградя, надобно отправить его в Голштинию, на что король и согласился. После этого и Местмахер дал Остену «восчувствовать», какой ему предстоит теперь благоприятный случай подать самый сильный опыт своей благонамеренности возвращением графа Бернсторфа, чем вместе и докажет свою преданность ее импер. величеству, а за это без воздаяния не останется; он, Остен, будет заведовать департаментом иностранных дел и заседать в королевском совете, а Бернсторф получит звание великого канцлера. «Великого канцлера давно уже у нас не бывало, и теперь не о том надобно думать, — отвечал Остен и, приблизясь к дверям кабинета, сказал· — Здесь иностранцев не любят». Местмахер дал ему «восчувствовать», что великие заслуги, оказанные Дании графом Бернсторфом, известны всей Европе и не позволяют смотреть на него как на иностранца, а еще более теперь, когда арест его гонителей вполне оправдывает его поведение. Появление третьего лица прервало разговор

«Мы имеем причину думать, — писал Панин Местмахеру, — что произведенная в Копенгагене революция весьма нужна была для блага и спасения Дании от совершенного развращения и впредь полезна будет возвращением всех дел в естественный их порядок и течение. Не меньше ласкаю себя надеждою, что сей перелом способен и к утверждению взаимных интересов России и Дании, если только в правлении последней истребится вся прежняя необузданная ветреность». Панин, выражая мнение, что Остен вовсе не расположен в пользу графа Бернсторфа, предписывал Местмахеру мимо его и тайно от него обратиться к вдовствующей королеве, которая теперь, как главная виновница перево-

рота, должна быть в большой силе и не может сама по себе не доброхотствовать старику Бернсторфу, оказавшему ей прежде большие услуги. Что касалось участи арестованных, то Панин писал, что нет нужды и пристойности поступать с виноватыми очень строго, особливо осуждать их на смертную казнь, и что милосердием своим в этом случае король приблизится к образу мыслей и великодушных действий императрицы, своей натуральнейшей союзницы и друга.

Остен объявил Местмахеру, что король единственно из уважения к императрице не дал места в совете графу Ранцау и отправляет его в Голштинию для начальства над войском; также в угоду императрице и граф С. Жермэн будет удален от всех дел и отправлен в Голштинию для проживания там своей пенсии. Так как Остен не промолвил ни слова о Бернсторфе, то Местмахер почел неприличным начинать о нем разговор и обратил все свое старание к тому, чтоб чрез некоторых благонамеренных действовать на вдовствующую королеву. Один из таких благонамеренных, граф Гакстгаузен, представил королеве, что без возвращения графа Бернсторфа столь полезное для Дании дело, как голштинское, никогда не будет приведено к окончанию и, таким образом, Дания лишится и таких знатных приобретений и такого заслуженного мужа, как граф Бернсторф. Королева уверяла, что возвращение Бернсторфа было ее всегдашним желанием, но опасается она, возможно ли это или по крайней мере не сопряжено ли с большими трудностями и приятно ли будет для народа, потому что у Бернсторфа множество врагов. Местмахер приписал такой ответ королевы внушениям Остена, который и английскому посланнику толковал, что в Дании не любят Бернсторфа, приписывая ему обременение государства долгами.

Смерть Бернсторфа прекратила все эти движения и за и против него. Какое значение придавали Бернсторфу в России, видно из письма Екатерины к госпоже Бельке: «Я почувствовала бесконечную скорбь от смерти Бернсторфа. Думаю, что с ним надолго погребены порядок и благоденствие Дании, ибо, что бы ни говорили, я внутренне убеждена, что во всем сделанном нет никакой прочности. Я не буду удивлена, если королева Матильда опять появится на сцене. Признаюсь, что я с трудом верю всему, что рассказывают о проектах этой королевы и ее г. Пилюля (Струензе — бывший медик)». Собственные воспоминания и ребяческий характер датского короля были причиною такого взгляда Екатерины на датские события. Между тем работала следственная комиссия над Струензе с товарищами; и Местмахер писал своему двору, что вряд ли Струензе избежит смертной казни: говорят, что если оставить его только в заточении, то королева, освободившись, вследствие слабости королев-

ской освободит и своего любимца, к которому питает еще страсть, и тогда надобно будет ожидать с их стороны кровавого мщения, а со стороны народа, ненавидящего Струензе, возмущения. Екатерина по прочтении письма Местмахера написала Панину: «Если опасаются королевина мщения, то более еще оного опасаться имеют, если она найдет своих фаворитов умерщвленными, нежели их в живых увидит, то не в сем дело состоит. Мое мнение есть, что если датчане дозволят своему слабому государю разговеться и кровь проливать единожды, то он им всем, а по крайней мере многим, головы пересечет. Напишите сие с первой почтой Местмахеру». Но все представления Местмахера не повели ни к чему: Струензе и граф Брант были казнены. «Датские дела внушают ужас, — писала Екатерина Бельке, — как можно было отрубить головы этим несчастным? Их казнили за то, что их государь не умеет быть государем. Если б он был другим человеком, то как бы все это могло случиться? Стороны являются судьями; от этого волосы становятся дыбом; тут нет здравого смысла, как нет его ни в одном из виновных. Страшно иметь дело с тронутыми мозгами; я знаю, чем за это можно заплатить, сама была в таком же положении. Если датчане дали себе слово развивать естественное расположение своего молодого короля к жестокости, то поступили как нельзя лучше. Я питаю отвращение к юридическим убийствам, сопровождаемым самыми бесчеловечными подробностями, как это там делалось. Только самая ужасная мстительность могла вести дело так далеко. Теперь датчане должны беречь свои головы; или я очень ошибаюсь, или подо всем этим кроется замысел лишить короля свободы. У него отняли жену против его воли, и бог знает, что еще сделают и что заставят его сделать. Мое сердце вооружено против бесчеловечий и людей бесчеловечных. Знаю, они говорят в свое оправдание, что боялись народного возмущения, если б поступили милостиво, но это дурное оправдание: у них было бы много дела, если б они захотели всегда сообразоваться с чувствами и вкусами толпы; это самая несчастная и самая презренная из ролей, какую только можно выбрать».

Оказано было и другое невнимание к России: несмотря на обещание удалить Ранцау в Голштинию, этот известный приверженец Франции получил место в королевском совете. Впрочем, он держался здесь недолго; ему дано было знать, что государственное благо и обязательства Дании с Россиею требуют удаления его от всех дел; Ранцау подал в отставку и уволен с большою пенсиею.

Осенью дело дошло и до Остена, к которому, однако, русский двор отнесся совершенно иначе, чем к Ранцау. Остен сам под условием величайшего секрета открыл Местмахеру, как он с самого начала приезда в Копенгаген принца

Карла гессенского приметил сильную к себе холодность при дворе; он надеялся со временем преодолеть это нерасположение, но недавно он не был впущен к принцу Фридриху, у которого был собран военный совет; Остен заявил свое неудовольствие и был успокоен; но созван был в другой раз военный совет, и его опять не пригласили, хотя другие сановники, не имевшие больше его понятия в военных делах, были приглашены. Тогда он послал к королю прошение об отставке, но еще не получил ответа. Местмахер сильно встревожился этим известием и начал хлопотать, как бы отсрочить отставку Остена и в это время переписаться с своим двором. В совете королевском был приверженный к русскому двору член Шак; Местмахер стал ему внушать свое крайнее удивление насчет такого внезапного поступка с министром иностранных дел; известны следствия подобных важных перемен, особенно при нынешних критических внешних обстоятельствах по отношению к Швеции. Как посмотрят на это другие дворы, особенно русский? Может ли императрица и вся Европа, зная слабое здоровье короля и малое участие его в делах, полагать надежду на твердость здешнего правления, когда без всякой или по крайней мере по неизвестной ее величеству причине министр иностранных дел вдруг лишится своего места? Внушение подействовало, принц Фридрих согласился на возвращение Остену его просьбы об отставке, причем, однако, Шак уведомил Местмахера, что отставка Остена только отсрочена; не может он считаться полезным министром, ибо, с одной стороны, беспрестанные его интриги послужили только к тому, что лишили его кредита у двора и у публики, а с другой — трусость его дает над ним влияние французскому и испанскому посланникам; так и теперь по их внушениям он противился в совете вооружениям, предпринимаемым ввиду шведских событий. Местмахер спросил, кого же думают определить на место Остена. Шак назвал двоих: конференции советника Шумахера и бывшего в Швеции посланником барона Юля.

В Петербурге были очень довольны поступком Местмахера, Панин писал ему: «Ничто не может быть благоразумнее вашего поведения в деле графа Остена. Правда, характер этого министра имеет важные недостатки, но, с другой стороны, привязанность его к нашей системе несомненна, а потому отрешение его от должности нельзя почитать полезным, разве бы преемник его был больших достоинств и более тверд в пользу нашу, каким я из всех датчан теперь почитаю одного Шака и потому поручаю вам изъясниться с этим достойным министром, что если он сам согласится заступить место графа Остена, то я об удалении последнего отнюдь сожалеть не буду; в противном случае желал бы я, чтоб Остен продолжал оставаться в своей должности, особ-

ливо при настоящих критических для Дании обстоятельствах Огрешение министра иностранных дел без всякой видимой, известной его вины, по крайней мере без всякого приготовления публики, не может быть почтено ею и всеми иностранными дворами иначе как следствием какой-либо мрачной интриги к еще большему повреждению значения и кредита датского двора, которые и без того уже в крайнем упадке и для восстановления своего требуют весьма умеренного и осторожного впредь поведения»[253]

Обвинение королевы Матильды в связи с Струензе, расторжение ее брака, удаление из Дании должно было сильно огорчить ее брата английского короля Георга III; но это фамильное дело не могло повести к столкновению между Англиею и Даниею; протеста Англии, более или менее сильного, можно было ожидать против раздела Польши и шведского переворота. Мы видели, что английский посланник при русском дворе лорд Каткарт был отозван вследствие неудачи переговоров его о союзе и вследствие несоответственной замены с русской стороны графа Ив. Чернышева Мусиным-Пушкиным. Английское министерство имело право подозревать Каткарта в неискусном ведении дела, потому что этот посланник в другом случае обнаружил недостаток проницательности или неумение добывать нужные сведения; уже в апреле 1772 года он все еще писал своему двору, что не может верить разделу Польши. «Насколько мне известно, — доносил Каткарт, — прусский король не сообщал об этом ничего достоверного ни русскому, ни венскому двору и не получал от них никакого вопроса по поводу настоящих обстоятельств; оба эти двора не изменяют своего языка. Я давно убежден и давно предупреждал русское министерство относительно того, что прусский король имеет в виду собственные интересы и, наверное, употребит все средства приобрести польскую Пруссию при окончании войны».

Преемнику Каткарта Роберту Гуннингу подписана была королем инструкция в мае 1772 года. В ней говорилось, что он должен узнать обстоятельно мысли императрицы и ее министров о союзе России с Англиею, которая готова к составлению обширного Северного союза, готова вступить в переговоры о трактате с Швециею Если с русской стороны будет потребована субсидия, Гуннинг должен был писать об этом в Англию, не подавая русскому министерству надежды на ее согласие; если в проекте союзного договора турецкая война будет поставлена в виде casus foederis, то он не должен был принимать этой статьи. Если в России пожелают посредничества Англии для окончания турецкой войны, то согласиться с условием, чтоб Англия явилась главной стороной в посредничестве. Гуннинг должен был уничтожать в уме императрицы и ее министров подозрение, что

Англия смотрит неблагоприятно на сухопутные или морские приобретения, какие Россия может сделать на Черном море, кроме прохода русских кораблей из этого моря в Средиземное.

6 июля Гуннинг сделал Панину решительный вопрос: какая будет участь Польши? Помолчав довольно долго, Панин отвечал, что окончательно ничего еще не определено относительно этой страны, но он может его уверить, что нет никакой опасности, чтоб общественное спокойствие было там нарушено. На вопрос, каких пожертвований требуют от Польши соседи и правда ли, что венский и берлинский дворы согласились относительно их, Панин отвечал, что нет, сколько он знает, и с видимым желанием покончить разговор сказал: нет ни малейшей опасности, что возгорится новая война. От 10 июля Гуннинг доносил, что русский двор намерен получить себе долю при разделе Польши.

Протеста со стороны Англии против раздела Польши не было, несмотря на попытки Франции сделать этот протест сообща с нею. Когда посланники трех дворов подали английскому министру иностранных дел декларацию своих государей относительно раздела Польши, тот отвечал: «Король желает предположить, что три двора убеждены в справедливости своих претензий, хотя его величеству неизвестны побуждения, заставившие их действовать таким образом». Этим ответом все и кончилось. Что касается шведского переворота, то сначала английское министерство дало знать Гуннингу, что его британское величество чувствует себя заинтересованным в этом событии и будет готов действовать вместе с русскою императрицею для сохранения шведской конституции, даже готов дать для этого деньги, если только уже не поздно; но Гуннинг никак не должен был соглашаться на какую-нибудь определенную денежную сумму и вообще ни на какие определенные меры и не обещать ничего, кроме пламенного желания своего короля сохранить шведскую конституцию и готовности на такие действия, которые окажутся удобными для достижения этой цели. Вслед за этим Гуннинг получил другое, более откровенное внушение, что король интересовался шведскими делами, только имея в виду заключение союза с Россиею, и не двинется ни на шаг, пока вопрос о союзе не будет решен. Но Гуннинг увидал, что этого решения ждать долго. На его речи о добрых отношениях Англии к России Панин отвечал большою в глазах английского дипломата неучтивостию: первенствующий министр сказал ему, что будет готов заключить с Англиею теснейший союз, как скоро убедится в прочности настоящего британского министерства и в доверии к нему короля. Гуннинг сказал на это, что ему очень прискорбно видеть, как легко Панин, при всей своей проницательности и чистоте,

отнесся к корыстным и лживым сообщениям. Гуннинг должен был донести своему министерству, что его слова не произвели на Панина сильного впечатления — так успел прусский король отравить его взгляды на этот предмет.

Несмотря, однако, на приведенный ответ Панина, Гуннинг писал своему министерству, что будет усердно стараться, чтоб как-нибудь не оттолкнуть от себя Панина, потому что характер последнего, несмотря на все его недостатки, бесконечно предпочтительнее характера Чернышевых, хотя по деятельности и быстроте графа Захара с ним в один час можно сделать больше, чем с Паниным в год. Менее чем чрез полтора месяца после приведенного отзыва об английском министерстве, 14 сентября, Панин в доказательство полного доверия к английскому двору и Гуннингу открыл последнему под условием величайшей тайны намерение русского двора относительно Швеции: зимою Россия будет относиться равнодушно к перевороту, но к началу весны в Финляндии будет такая армия, которая придаст вес речам России, в каком бы смысле она ни заговорила. К тому же времени будут вооружены 20 военных кораблей; Дания двинет к шведской границе пятнадцатитысячный корпус, у нее будет также флот из 12 кораблей. Король прусский овладеет шведской Померанией. Если бы король английский поддержал Данию деньгами или выставил флот, который бы дал ей безопасность, то это было бы очень приятно императрице. Когда все будет таким образом приготовлено, он, Панин, предложит четырем дворам сделать шведскому королю соединенную декларацию, выражающую желание их видеть восстановление конституции 1720 года; по его мнению, такой соединенной декларации было бы достаточно для достижения цели, в противном случае легко будет вынудить согласие. После этого Панин показал Гуннингу известную нам переписку шведского короля с дядею его королем прусским. Письмо последнего, по замечанию Гуннинга, не допускало в Панине никакого сомнения насчет искренности его прусского величества.

Откровенность Панина произвела в Англии вовсе не то впечатление, какого он надеялся. Убежденное в том, что русский двор руководится внушениями прусского короля, английское министерство в плане Панина увидало прусский план и при известных отношениях Пруссии к Англии, разумеется, было далеко от мысли хотя сколько-нибудь содействовать выполнению этого плана. Благодаря прусскому королю только что разделили Польшу; теперь Фридрих II хочет получить шведскую Померанию. Английский министр иностранных дел отвечал Гуннингу, что Панину следовало бы дважды подумать и очень серьезно взвесить все последствия составленного им плана, прежде чем приступить к его

выполнению: последствиями могут быть возвращение Австрии снова к тесному союзу с Франциею; последняя вместе с Испаниею должна заступиться за Швецию, и последует общеевропейская война в то время, когда Россия истощена не оконченной еще войною с Турциею. План Панина похож на прусский план, и шведская Померания, очевидно, составляет награду за помощь его прусского величества. По модным теперь идеям раздробления стран это представляется безделицей. Но английский король смотрит на это иначе и при всем желании сохранить свободную конституцию Швеции нисколько не желает уменьшения ее владений. После невнимания, оказанного русским двором Англии, последняя не желает быть вовлеченною в войну, от которой она может много потерять и ничего не выиграть, и потому Гуннинг должен по возможности отвлекать Панина от этих вопросов [254].

1772 год не оправдал всех надежд, которые на него возлагались в России. Польское дело можно было считать оконченным по соглашению между тремя дворами; но чего особенно желали — мир с Турциею не состоялся; наконец, шведский переворот мог повести к войне более опасной и тяжелой, чем была война с польскими конфедератами.

Польские события и тесно связанная с ними турецкая война привели к последствиям неожиданным — присоединению Белоруссии к Великой и Малой России. Нет никаких свидетельств, чтоб кто-нибудь из русских современников смотрел неблагоприятно на это дело с политической или нравственной точки зрения; если между современниками Екатерины II мы и встретим осуждения этому событию, то они появились позднее вследствие систематической враждебности к екатерининской политике вообще, к деятельности Панина в особенности, враждебности к прусскому союзу и его следствиям; потом эти осуждения появились под влиянием мнений, высказывавшихся на Крайнем Западе, влиянием, которому с таким трудом противится русский человек. Русские, современники присоединения Белоруссии, были очень близки к историческому ходу событий, необходимо ведших к этому присоединению, охвачены были духом этих событий, жили свежими преданиями о начале дела и потому должны были ему вполне сочувствовать; они были действователями, а не праздными судьями. Только век прошел с тех пор, как Малороссия, отторгнувшаяся от Польши и готовая скорее поддаться султану, чем панам и ксендзам польским, обратилась к царю Великой России с просьбою принять ее во имя единоверия Просьба была исполнена, началась борьба, готовая, по-видимому, скоро окончиться разложением Польши и полным собранием русской земли; царь Алексей уже принял титул «всея Великия и Малыя и *Белыя* России».

Но великие дела совершаются в истории медленно, как в природе медленно развивается, растет все великое, и только слабое поднимается быстро, чтоб так же быстро и разрушиться. Одна Малороссия, да и то не вся, была присоединена при царе Алексее после долгой и тяжкой борьбы. Но дело только началось, и великий вопрос, несмотря на все препятствия и отсрочки, стоял, дожидаясь очереди и постоянно напоминая о себе; поляк-католик не мог ужиться вместе с русским-православным и теснил его, сколько было возможности, а возможность была большая. Понятно, с каким сочувствием русские люди должны были встретить явления, показывавшие, что очередь для решения русского вопроса в Польше наступила; сочувственно должны были встретить это явление даже и те, которые заразились равнодушием к вере отцовской, вере русской: они желали успеха русскому делу, желая торжества веротерпимости над фанатизмом. Сочувствуя поднятию и твердому ведению вероисповедного или диссидентского вопроса, не могли не сочувствовать его последствию, присоединению Белоруссии; никто не мог считать этого присоединения несправедливым. Поляки вооруженною рукою воспротивились решению вероисповедного дела, добытому Россиею, которая поэтому должна была вступить с ними в войну, вызвавшую другую войну, более опасную и тяжелую; польское правительство, не смея враждовать явно, враждовало тайно, оскорбляло своим поведением Россию больше, чем конфедераты, прямо дравшиеся с русским войском; никакие соглашения, никакое улажение дел не могло состояться, несмотря на уступки, которые ошибочно позволила себе Россия; дело предано было решению оружия; русские были победителями и в Польше, и в Турции, что имело тесную связь, а известно, как война оканчивается для победителя и побежденных; Белоруссия была приобретена по праву войны, по праву победы. Вопроса о справедливости или несправедливости с русской стороны и быть не могло.

Екатерина не могла не радоваться приобретению Белоруссии; она не могла не понимать, что здесь сделалось русское дело, что здесь была заслуга ее для России, заслуга, которая вводила ее в русскую историю, в самую суть этой истории, давала ей место в знаменитом ряду собирателей русской земли; и нельзя не прибавить, что для нее это было очень важно к сроку совершеннолетия ее сына Но радость не могла быть полною; дело отзывалось горечью; здесь было блестящее завоевание, собирание русской земли, с одной стороны, а с другой — раздел!

Нельзя было не чувствовать горечи при мысли, что две соседние державы, не участвовавшие нисколько в борьбе, не потерявшие ни одного из своих подданных ни на Висле, ни

на Днестре или Дунае, даром взяли из Польши равные с Россиею доли, и при этом доля короля прусского была гораздо важнее по выгоде положения, по видам округления, о котором так хлопотали все государи, и вполне основательно; Пруссия, бесспорно, не расширялась только, а усиливалась, приобретала еще большее значение; французский министр с насмешкою указывал на это России, и насмешку эту надобно было стерпеть безответно. Но кроме невыгоды политической, кроме неравенства долей, кроме усиления Пруссии, из-за которого Россия не имела побуждений хлопотать, кроме того, что нарушалось равновесие, во имя которого произведен был раздел, была невыгода другого рода. Против присоединения Белоруссии по праву войны не могло быть никакого нравственного возражения, но вместо этого явился раздел: Пруссия и Австрия захватили владения Польши безо всякого права, т. е. по праву сильного; и Россия, вошедши с ними в договоры по этому предмету, тем самым являлась как будто равною в нем участницею и принимала ответственность за него; ее бесспорное право было затемнено их бесправием, сглаживалось, исчезало в нем. Фридрих проговорился о праве России и о своем и австрийском бесправии, но эта проговорка надолго погреблась в архивах, а между тем люди, чувствовавшие слабое место, всеми неправдами старались, да и теперь еще стараются, укрепить его, выгородить Фридриха и приписать почин дела Екатерине. Русская императрица хорошо знала, что прусского короля надобно вознаградить за союз, за субсидии, за содействие заключению выгодного мира с Турциею; и так как его нельзя было вознаградить иначе как из польских владений, то она имела для этого в виду епископство Вармийское, за которое Польша могла получить из завоеванных у Турции областей. Но Фридрих объявил, что из-за Вармии не стоит хлопотать, и потребовал польской Пруссии, втягивая в участницы раздела Россию и Австрию. Для Екатерины на первом плане было скорейшее заключение мира с Турциею на поставленных ею условиях Союзник, прусский король, должен был этому содействовать за известное вознаграждение Но Фридрих, вместо того чтоб содействовать видам Екатерины, поставил на первый план свой интерес и заставил Россию служить своим целям. Он должен был сдерживать Австрию, которая не могла двинуться без него и особенно против него, — это очень хорошо знали в Петербурге; но вместо того он только стращал Россию Австриею, повторяя, как трудно, невозможно будет ему помогать России в войне; вытребовал этим средством не только для себя такую важную долю из польских областей, но и прямо настоял, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, возвратила их туркам, не сдержав обещания, данного их народонаселению.

Оскорбительно было для самолюбия Екатерины видеть себя орудием для достижения чужих целей, целей государя, которого считала своим верным союзником; видеть, как этот верный союзник не только заставил ее служить своим интересам, но и прямо шел против ее интересов в вопросе о Молдавии и Валахии; она не могла забыть, как он отнесся к ее условиям мира, смягчился только, когда стали соглашаться, что он взял то, что хотел, но и тут постарался вычеркнуть одно из самых существенных мирных условий о дунайских княжествах; Екатерина не могла забыть, как невнимательно отнесся он к переговорам с Портою, как советовал равнодушие к шведскому перевороту. Оскорбительно было для Екатерины видеть, как результаты тяжкой войны, результаты Ларги, Кагула, Чесмы, завоевания Крыма, побед Суворова в Польше ослаблены равнодушием и даже явным противодействием союзника, который заботился только о собственных интересах, воспользовался русскими победами, русскою кровью для выгодного округления своего государства Французский поверенный в делах Дюран доносил своему двору, что русские люди особенно упрекают гр. Панина за усиление Пруссии; Григорий Орлов говорил публично, что люди, составлявшие раздельный договор, заслуживают смертную казнь; Панин сам признавался, что обстоятельства завели его далеко против желания[255].

Таким образом, в то время когда союз между Россиею и Пруссиею, по-видимому, скреплялся окончательно польскими отношениями, в сущности он был подорван, и прежде всего он был подорван во взгляде Екатерины на прусские отношения Уверения Фридриха в своей благодарности, в готовности отслужить России за содействие в приобретении такой выгодной доли при разделе Польши теперь должны были казаться насмешкою. Екатерина молчала и долго еще должна была молчать; долго обстоятельства, политические *конъюнктуры* будут заставлять ее продолжать старую систему, не позволят выразить своих настоящих чувств к прусскому королю; но эта необходимость долго скрывать свои настоящие чувства не могла ослабить их, особенно когда впоследствии присоединились сюда и другие еще побуждения. Нам, удаленным от событии на целое столетие, могущим, следовательно, смотреть на них совершенно спокойно, представляется естественный вопрос: за что же было сердиться на государя, который предпочитал свои интересы чужим, который не хотел усиливать соседей, и без того уже, по его мнению, сильных и опасных? Надобно было заранее предположить такое поведение как необходимое и поступать с величайшею осторожностию, особенно имея дело с Фридрихом II. Но легко так рассуждать нам по прошествии века; очень трудно достигнуть такого спокойного взгляда деятелям

в пылу их деятельности, в пылу страстей, возбужденных этою деятельностию. Изменена была старая система: союз с Австриею и Франциею был нарушен в пользу Пруссии. Перемену системы старались оправдать тем, будто бы при старой системе были прикованы к Австрии, служили ее интересам. Теперь чувствовалась возможность взгляда, что при новой системе эта зависимость от чужих интересов гораздо явственнее. Человек обыкновенно сердится на других, когда должен сердиться на самого себя.

Фридрих II, по-видимому, укрепил себя в Петербурге хорошо: в Чернышеве не замечалось колебаний относительно прусского союза, колебания могли произойти разве по отношениям к Панину; последний, никем не сдерживаемый вроде Сальдерна, окончательно поддался прусскому влиянию; Григ. Орлов потерял фавор. «Вот граф Орлов в формальной немилости, — писал принц Генрих брату, — этот человек только мутил делами, и я в восторге от его удаления по интересу, какой принимаю в союзе между вами и Россиею»[256]. Фридрих, однако, не успокаивался; он боялся интриг Франции, боялся сближения Австрии с Россиею и вел в Петербурге борьбу против этих опасностей. Но, несмотря на всю свою проницательность, он не обратил должного внимания на пункт соединения русских интересов с австрийскими, на основании которого рано или поздно должен был произойти союз между Россиею и Австриею. Мы видели, как Фридрих спокойно смотрел на условие о независимости Крыма и старался на его счет успокоить Австрию. Он предвидел и, с одной стороны, нисколько не ошибался, что татарская независимость вовлечет Россию в большие хлопоты; но Фридрих не вывел заключения, что эти хлопоты отвлекут внимание русского правительства от севера и северо-запада на юг и юго-запад, а это, естественно, уже ослабит значение прусского союза; польские отношения удалятся на задний план, и на первый выступят турецкие; для избавления себя от хлопот, вызванных крымскою независимостию, для окончательного решения вопроса в свою пользу присоединением Крыма Россия должна была обратить все свое внимание на Австрию, обеспечить себя от ее противодействия, заручиться ее помощию и для этого вступить с нею в союз, войти в ее интересы, причем прусский союз был уже невозможен. Таким образом, то из екатерининских условий турецкого мира, которое нисколько не беспокоило Фридриха, ибо он видел в нем только источник затруднений для России, и, наоборот, чрезвычайно беспокоило венский кабинет своими результатами, — это условие повело Россию к разрыву прусского и заключению австрийского союза; личные отношения Екатерины могли только этому способствовать, ибо для нее прусский союз рушился в 1772 году.

ПРИМЕЧАНИЯ к 28 тому

[1] Сборн. Русск. Истор. Общ., II, 295; X, 302, 307; XX, 246 [1].

[2] Прибавление к № 1 Москов. Ведомостей 1769 года [2].

[3] Петербургские Ведомости № 3, 1769 года [3]. — Об Оспенном Екатерина писала Ив. Григ. Чернышеву: «Моя же ныне есть забава тот самый мальчик, от которого ко мне привита оспа; все признают, что от роду не видывали повесы, подобной Александр Данилова сына Оспина: резов до бешенства, умен и хитер не по летам, смел до неслыханной дерзости; никогда не короток, ни в ответах, ни в выдумках, ему же шестой год, и мальчик клоп; Брат ваш, гр. Зах. Григор., гр. Гр. Григорьевич (Орлов) и самый Кирилла Григорьевич (Разумовский) часа по три, так как и мы все, по земли с ним катаемся и смеемся до устали. Если вы хотите знать, кому он принадлежит, то брат ваш говорит, что со временем он займет место Бецкого, и не спрашивайте меня больше». Русск. архив, 1871 года, № 9 [4].

[4] Знаменитого фельдмаршала князя Михайла Михайловича.

[5] Письма к Солтыкову в Москов. архиве мин. ин. д., [5]; к Чернышеву Русск. арх. 1871 г. № 9 [6].

[6] Сборник русск. истор. общ., X, 302 [7].

[7] Москов. архив мин. ин. д. [8]

[8] Архив Госуд. совета, I, год 1768 [9]. — Русск. Архив 1871, № 9 [10]. Сборн. Русск. истор. общ., II, 284; XII, 461 [11].

— Дело о Саро в Госуд. архиве [12].

[9] Письмо в Госуд. архиве [13].

[10] Сборн. Русск. истор. общ., X, 323 [14].

[11] Полн. собр. зак , № 13195 [15].

---

[1] Сб. РИО, т. 2, СПб., 1868, стр 295—322; т. 10, СПб., 1872, стр. 302—303, 306—310; т. 20, СПб., 1877, стр. 246—248.

[2] «Московские ведомости» № 1, 1769 г.

[3] «Санкт-Петербургские ведомости» № 3, 1769 г.

[4] «Русский архив» № 9, М., 1871, стр. 1321.

[5] Архив внешней политики России (далее — АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1863, л. 1. См также «Письма .. Екатерины Великой к фельдмаршалу графу П. С Салтыкову», М., 1886, стр. 73—74.

[6] «Русский архив» № 9, М., 1871, стр. 1322—1326.

[7] Сб. РИО, т. 10, стр. 302.

[8] Не найдено.

[9] Архив Государственного совета, т. I, СПб., 1869, стр. 1—18.

[10] «Русский архив» № 9, М., 1871, стр. 1320, 1322.

[11] Сб. РИО, т. 2, стр. 284—286; т. 12, СПб., 1873, стр. 461—463.

[12] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XV, д 146, л. 10—11 об.

[13] Там же, разряд XVI, д. 562, л. 93—94 об.

[14] Сб. РИО, т. 10, стр. 323.

[15] Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ), собрание 1-е, т. XVIII, СПб., 1830, № 13195, стр. 768.

[12] Журналы Сената, 9 декабря 1768 [1].

[13] Полн. собр. зак., № 13219.

[14] Там же, № 13222, 13223 [2].

[15] Журналы Сената, 19 ноября 1768 [3].

[16] Донесение кн. Вяземского о расходах на первую турецкую войну в Москов. архиве мин. ин. д. [4]

[17] Относительно подробностей военных действий во все продолжение войны см. Geschichte des gegenwertigen Krieges zwischen Russland, Polen und Ottomanischen Pforte 1771—1774 [5]. Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie, 1773 [6]. — Петрова — Война России с Турцией и польск. конфедератами [7].

[18] Сборн. Русск. истор. общ., X, 335 [8].

[19] Москов. архив мин. ин. д.

[20] Там же, рескрипт от 26 мая [9].

[21] Сборн. Русск. истор. общ., X, 350 [10].

[22] Москов. архив мин. ин. д. Письмо из лагеря близ Буга, 11 июля [11].

[23] Архив Госуд. совета, I, 31 [12]. — Сборник Русск. истор. общ., XII, 466.

[24] Сборн. Русск. истор. общ., X, 354 [13] — Неудовольствие на неудачу Голицына высказалось в политической сатире, которая ходила в обществе: «По отступлении от Хотина Голицын был так встревожен, что не мог спать по ночам. В одну из таких бессонных ночей он услыхал при дверях своей палатки следующий разговор. Старый солдат рассказывал караульному свой сон. Мне снилось, говорил он, что я убит в сражении и явился у небесных врат. Апостол Петр пришел с ключами, разбудил господа бога и объявил ему, что на земле идет большая война между русскими и турками. «А кто начальствует русскими?» — спросил бог. «Граф Миних», — отвечал св. Петр. «В таком случае, — сказал господь, — я могу идти спать». Я проснулся, продолжал солдат, но заснул снова и вижу другой сон, снова, будто я убит и стою при вратах небесных, но война не старая, Минихова, а настоящая. Опять господь спрашивает апостола Петра, кто начальствует русскими, и когда тот отвечал, что кн. Голицын, то господь сказал: «Дайте мне сапоги, потому что теперь без меня дело не обойдется». И скоро после того турецкий мост на Днестре был снесен рекою. Anecdotes of the Russian empire, 110 [14].

[25] Сборн. Русск. истор. общ., X, стр. 389.

[26] Там же, стр. 360 [15].

[27] См. письма, напечат. в собрании сочин. Екатерины II, изд. Смирдина, III, стр. 200 и след.

[28] Там же [16].

[29] Грузинские дела в Москов. архиве мин. ин. д. 1768 и 1769 годов [17]. — Буткова — Материалы для новой истории Кавказа, 1,275 и след [18].

---

[1] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3810, л. 151.

[2] ПСЗ, т. XVIII, № 13219, стр. 787—792; № 13222, 13223, стр. 794—796.

[3] ЦГАДА, ф. 248, Сенат, кн. 3810, л. 70.

[4] Не найдено.

[5] Geschichte des gegenwärtigen Kriegs zwischen Rußland, Polen und Ottomanischen Pforte, Th. I—XXXVI, Frankfurt und Leipzig, 1771—1775.

[6] Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie, St.-Petersbourg, 1773.

[7] *А. Н. Петров.* Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769—1774 год, т. I—V, СПб., 1866—1874.

[8] Сб. РИО, т. 10, стр. 335.

[9] АВПР. Сношения России с Турцией, оп. 8 а, д. 1868, л. 7—9, 14, 18; см. также Сб. РИО, т. 87, СПб., 1893, стр. 439—445.

[10] Сб. РИО, т. 10, стр. 349—350.

[11] Не найдено.

[12] Архив Государственного совета, т. I, стр. 31.

[13] Сб. РИО, т. 12, стр. 466; т. 10, стр. 354—355.

[14] Anecdotes of the Russian empire in a series of letters, London, 1784, p. 110—111.

[15] Сб. РИО, т. 10, стр. 389, 360.

[16] Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения императрицы Екатерины II (далее — Сочинения Екатерины II), т. III, СПб., 1850, стр. 200—205.

[17] АВПР, Сношения России с Грузией, оп. 1, 1768 г., д. 2; 1769 г., д. 3; 1770 г., д. 2.

[18] *П. Г. Бутков.* Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год, ч. 1, СПб., 1869, стр. 275 и след.

[30] Москов. архив мин. ин. д. [1]

[31] Донесение в Госуд. архиве [2].

[32] См. об этом в Истор. России, XXVII, 160 [3].

[33] Сборн. Русск. истор. общ., X, 356 [4].

[34] Архив Госуд. совета, 1, 7 [5].

[35] Письмо от 3 декабря 1768 года, в Москов. архиве мин. ин. д. [6]

[36] Там же [7].

[37] История России, XXVI, 127 [8].

[38] Москов. архив мин. ин. д. [9] — Русск. арх. 1871 год, № 9 [10].

[39] Москов. архив мин. ин. д. [11]

[40] Там же, дела датские [12] и английские 1769 года [13].

[41] Сборн. Русск. истор. общ., X, 390 [14].

[42] История России, XXVII, 278 [15].

[43] Москов. архив мин. ин. д. [16] — Сборн. Русск. истор. общ., 1, 2 и след. [17] — Памятники новой русск. истор. 1, 142 [18].

[44] Рассказ архимандрита Аввакума в Вене кн. Дмитр. Мих. Голицыну; рассказ Софрония; известие графа Cattaneo из Венеции; реляция Антония Ренье, генерального провизора Далмации — в Москов. архиве мин. ин. д.[19] — Сборн. Русск. истор. общ., 1, 16 [20].

[45] Москов. архив мин. ин. д. [21] — Сборн. Русск. истор. общ., 11, 15 [22].

[46] Москов. архив мин. ин. д. [23]

[47] Дела венецианские 1769 года [24].

[48] Рукопись И. Публичн. Библиот. № 40, Q, IV [25]. — Сказание о роде кн. Долгоруковых.

[49] Дела венецианские 1769 года [26]. — Между бумагами Екатерины находится собственноручное французское письмо ее, адресованное: «Храбрым корсиканцам, защитникам отечества и свободы, и особенно генералу Паскалю Паоли». Письмо подписано: «Ваши искренние друзья, жители Северного Полюса». Как видно, при письме посылались деньги. Сборн. Русск. истор. общ., X, 342 [27].

[50] Письмо от 4 апреля. См. дела венецианские 1769 года [28].

[51] Сборн. Русск. истор. общ., X, 1769 год [29]. Газеты выводили иногда Екатерину совершенно из терпения; доказательством служит следующая записка ее Панину: «Vous ferez fort bien d'ordonner ou à Gross ou à Simolin de faire promettre au gazettier de Cologne, cent coup de baton s'il continuera

---

[1] АВПР, Кабардинские дела, оп. 1, 1770 г., д. 1—3.

[2] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XXIV, д. 35, л. 181—185.

[3] См. стр. 131—132 настоящего тома.

[4] Сб. РИО, т. 10, стр. 356.

[5] Архив Государственного совета, т. I, стр. 7.

[6] Не найдено.

[7] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1876, л. 10—12.

[8] См. кн. XIII, стр. 410, 411 настоящего издания.

[9] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1878, л. 5—16.

[10] «Русский архив» № 9, М., 1871, стр. 1327—1329.

[11] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 8а, д. 1867, л. 16—20.

[12] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 5, д. 230, л. 40—41.

[13] АВПР, Сношения России с Англией, оп. 6, д. 221, л. 90—96.

[14] Сб. РИО, т. 10, стр. 390—391.

[15] См. стр. 224 настоящего тома.

[16] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1867, л. 11—15 об.; д. 1869; см. также Сб. РИО, т. 87, стр. 322—326.

[17] Сб. РИО, т. 1, СПб., 1867, стр. 1—7.

[18] Памятники новой русской истории. Сборник исторических статей и материалов, издаваемых В. Кашпиревым, т. 1, СПб., 1871, стр. 139—145.

[19] ЦГАДА, ф. 149, Дела о самозванцах, д. 78, л. 1—26, 104—119.

[20] Сб. РИО, т. 1, стр. 16—17.

[21] ЦГАДА, ф. 149, Дела о самозванцах, д. 78, л. 122.

[22] Сб. РИО, т. 1, стр. 15—16.

[23] ЦГАДА, ф. 149, Дела о самозванцах, д. 78, л. 127—145; см. также л. 27—103.

[24] АВПР, Сношения России с Венецией, оп. 3, д. 40, 41.

[25] Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей, Q, IV, 40.

[26] АВПР, Сношения России с Венецией, оп. 3, д. 38, 40, 41, 43.

[27] Сб. РИО, т. 10, стр. 342—343.

[28] АВПР, Сношения России с Венецией, оп. 3, д. 40, л. 21—25.

[29] Сб. РИО, т. 10, стр. 344—349, 338—340.

à écrire sur le ton qu'il a pris, car il se pique de ne dire que des impertinences sur notre compte et cela va toujours en angmentant».

[52] Известие от 21 июня в Москов. архиве мин. ин. д. [1] — Договор конфедератов с Портою был переслан во Францию Жераром из Данцига.

[53] Beer — Die erste Theilung Polens, I, 238, 239 [2].

[54] Сборн. Русск. истор. общ., XII, 411, 412 [3].

[55] Архив. Госуд. совета, I, 11 [4].

[56] История России, XXVII, 298 [5].

[57] Москов. архив мин. ин. д. [6]

[58] Дела польские конца 1768 и начала 1769 года [7]. — Бумаги Огинского в Госуд. архиве [8].

[59] Beer, I, 243 [9].

[60] Намек на примаса.

[61] Дела польские 1769 года [10].

[62] Письмо Фридриха к брату принцу Генриху. Oeuvres, XXVI, 312 [11].

[63] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 253 [12].

[64] Beer, I, 269 [13].

[65] Дела прусские 1769 [14].

[66] Max Duncker — Aus der Zeit Friedrich's des Grossen 167, 168 [15].

[67] Raumer, Beiträge, IV, 230 [16].

[68] Beer, Documenta, № 1 [17].

[69] Mémoires de Frédéric II, 314 [18].

[70] Beer, I, 293 [19].

[71] Arneth, Maria-Theresia und Joseph II, I, 300 [20].

[72] Дела прусские 1769 года [21]. — Когда турки бежали от Хотина и русские заняли дунайские княжества, Фридрих поместил в своих записках такой отзыв о кампании: «Генералы Екатерины не имели никакого понятия о кастрометрии и тактике, генералы султана имели еще меньше познаний; чтобы получить правильное понятие об этой войне, надобно представить себе кривых, которые, поколотивши слепых, берут над ними решительный верх».

[73] Дела французские 1769 года [22]. — Бумаги, доставл. Тургеневым в Госуд. архиве [23].

[74] Beer — Documenta, № 11, III [24].

[75] Дела французские 1769 года [25].

[76] Дела датские 1769 года [26].

---

[1] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 584, л. 59—62.
[2] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. I, Wien, 1873, S. 238, 239.
[3] Сб. РИО, т. 12, стр. 411, 412.
[4] Архив Государственного совета, т. I, стр. 11.
[5] См. стр. 240—241 настоящего тома.
[6] См. Сб. РИО, т. 87, стр. 267.
[7] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 940, 953—957, 970.
[8] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XII, д. 138, 150, 152—155.
[9] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. I, S. 243.
[10] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 79, 80, 960, 962—970.
[11] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, Berlin, 1855, p. 312.
[12] Сб. РИО, т. 20, стр. 252—253.
[13] *A. Beer* Die erste Theilung Polens, Bd. I, S. 269.
[14] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 584, л. 6—11.
[15] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich's der Großen und Friedrich Wilhelm's III. Leipzig, 1876, S. 167—168.
[16] *F. Raumer.* Beiträge zur neueren Geschichte aus dem britischen und franzosischen Reichsarchive, Th. IV, Europa vom Ende des siebenjährigen bis zum Ende amerikanischen Krieges (далее — *F. Raumer*, Beiträge zur neueren Geschichte). Leipzig, 1839, S. 230.
[17] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens. Documente, Wien, 1873, S. 1—5.
[18] Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse, écrits en français par lui-même, t. II, Paris, 1866, p. 314.
[19] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. V, S. 293.
[20] *A. R. Arneth.* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, Wien, 1867, S. 300—308.
[21] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 584.
[22] АВПР, Сношения России с Францией, оп. 6, д. 250, л. 13—15, 18—26 и др.
[23] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XV, д. 190, ч. I—IV.
[24] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens. Documente, S. 5—11.
[25] АВПР, Сношения России с Францией, оп. 6, д. 250.
[26] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 5, д. 229, 230.

[77] Дела шведские того же года [1].

[78] Дела английские того же года [2]. — Сборн. Русск. истор. общ., XII, 460 [3]. — Русск. архив 1871 год, № 9 [4].

[79] Собственноручная заметка императрицы в Госуд. архиве [5].

[80] Сборн. Русск. истор. общ., X, 401 [6].

[81] Сочинения Екатер. II, т. III, стр. 207.

[82] Там же, стр. 206 [7].

[83] Архив государ. Совета, 1, 39 [8]. — Сборн. Русск. истор. общ., X, 407 [9].

[84] Москов. архив мин. ин. д. [10] — Чтения в Москов. истор. общ., год 1865, кн. II [11].

[85] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 215 [12].

[86] Сборн. Русск. истор. общ., X, 425.

[87] Там же, стр. 427 [13].

[88] Архив Госуд. совета, I, 43 [14].

[89] Москов. архив мин. ин. д. [15]

[90] История России, VI, стр. 105 и след [16].

[91] Крымские дела в Москов. архиве мин. ин. д. [17]

[92] Записки Гидрографического департамента, VII, 248 [18].

[93] Сборн. Русск. истор. общ., X, 413.

[94] Там же, I, 29 и след. [19].

[95] Записки гидрограф. департ., VII, 249—254.

[96] Там же, стр. 255.

[97] Там же, стр. 281 [20].

[98] Сборн. русск. истор. общ., I, 50.

[99] Там же, стр. 54 и след [21]; Сочинения и. Екатерины II, т. III, стр. 220 [22].

[100] Госуд. архив [23].

[101] Сборн. Русск. истор. общ., I, 61.

[102] Там же [24]. Письмо помещено не на месте. Выражение *«паки* сожжен» показывает, что письмо написано после известия о чесменском происшествии, а упоминование в конце о московских событиях заставляет относить письмо еще к более позднему времени.

[103] Госуд. архив [25]. — В протоколах Совета за 1773 год, 28 февраля, читаем: «Читано: из Лондона о требованиях бывшего в здешней службе

---

[1] АВПР, Сношения России со Швецией, дела 1769 года.

[2] АВПР, Сношения России с Англией, оп. 6, д. 219, л. 5 об. — 6 об., 18 — 18 об., 73—75 и др.

[3] Сб. РИО, т. 12, стр. 459—461.

[4] «Русский архив» № 9, М., 1871, стр. 1322—1327.

[5] ЦГАДА, Гос. архив, разряд X, д. 55, л. 6.

[6] Сб. РИО, т. 10, стр. 400—403.

[7] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 206—208.

[8] Архив Государственного совета, т. I, стр. 39—40.

[9] Сб. РИО, т. 10, стр. 407—411.

[10] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1877, 1890, 1891; см. также материалы по истории русской армии. Русские полководцы. П. А. Румянцев (далее — П. А. Румянцев), т. II, М., 1953, стр. 228; см. также Сб. РИО, т. 97, М., 1896, стр. 30—31, 36.

[11] Чтения в Обществе истории и древностей российских (далее — Чтения ОИДР), М., 1865, кн. II, стр. 2—23, 33—35, 37—43; см. также П. А. Румянцев, т. II, стр. 220—225, 260—263.

[12] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 215—216.

[13] Сб. РИО, т. 10, стр. 425—428.

[14] Архив Государственного совета, т. I, стр. 43—46.

[15] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1890, л. 7—10.

[16] См. кн. III, стр. 455—496 настоящего издания.

[17] АВПР, Крымские дела, оп. 2, 1769—1770 гг., д. 215, л. 175—192.

[18] Записки Гидрографического департамента Морского министерства, ч. VII, СПб., 1849, стр. 247—249.

[19] Сб. РИО, т. 10, стр. 413—414; т. 1, стр. 29—35.

[20] Записки Гидрографического департамента ..., ч. VII, стр. 249—256, 280—281.

[21] Сб. РИО, т. 1, стр. 50—52, 54—59.

[22] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 220—222.

[23] См. АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1898, 1899; см. также Сб. РИО, т. 1, стр. 61.

[24] Сб. РИО, т. 1, стр. 61; т. 10, стр. 463.

[25] См. Сб. РИО, т. 1, стр. 54—58.

контр-адмирала Ельфинстона и о его угрозах открыть в свое оправдание все даванные ему наставления. Совет признавал за нужно, чтоб сей беспокойный человек скорее удовольствован был» [1].

[104] Москов. архив мин. ин. д. [2]

[105] Сборн. Русск. истор. общ., X, 441 [3].

[106] Архив Госуд. совета, I, 52 и след. [4]

[107] Mémoires de Frédéric II, 335 [5]. Max Duncker, 176 [6].

[108] История России, XVII, 378; XVIII, 109 [7]. — Droysen — Friedrich, I, 287—350 [8].

[109] История России, XX, 32.

[110] Там же, XXV, 334.

[111] Там же, стр. 314 [9].

[112] Arneth — Maria Theresia's letzte Rerierungszeit, II, 33.

[113] Там же, стр. 37 [10].

[114] Duncker — Aus der Zeit Friedr. des Gross. 188 [11]. Oenvres, XXVI, 313 [12].

[115] Arneth, 570 [13].

[116] Beer — Die erste Theilung Polens, I, 311 [14].

[117] Beer — Die zusammenkünfte Josefs II und Friedrichs II, 115.

[118] Там же [15].

[119] Beer — Die erste Theilung, II, 49 [16].

[120] Arneth — Maria Theresia und Joseph II, I, 316 [17].

[121] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 274 [18].

[122] Архив Госуд. Совета, I, 59 [19].

[123] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 277.

[124] Там же, 271 [20].

[125] Anecdotes of the russian empire, 326 [21].

[126] Сборн. Русск. истор. общ., I, 62 [22].

[127] Anecdotes of the russian empire, 327 [23].

[128] Oeuvres de Frédéric le Grand, XXVI, 320, 326, 330 [24].

[129] Эта переписка принца Генриха приведена у Дункера, 211, 212.

[130] Там же, 213, 214 [25].

[131] Oeuvres, XXVI, 337 [26].

[132] Duncker, 218 [27].

[133] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 284 [28]. — Относительно последних слов Екатерины, указывающих на Силезию, любопытно следующее известие.

---

[1] Архив Государственного совета, т. I, стр. 236.

[2] АВПР, Сношения России с Грузией, оп. 1, 1771 г., д. 1.

[3] Сб. РИО, т. 10, стр. 441.

[4] Архив Государственного совета, т. I, стр. 52—57.

[5] Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse.., t. II, p. 335.

[6] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 176.

[7] См. кн. IX, стр. 311, 431 настоящего издания.

[8] *J. G. Drohsen.* Geschichte der preußischen Politik, Th. V, Friedrich der Große, Bd. I, Leipzig, 1874, S. 287—350.

[9] См. кн. X, стр. 353; кн. XIII, стр. 270, 253—255 настоящего издания.

[10] *A. R. Arneth.* Geschichte Maria Theresia's. Bd. VIII. Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II (далее — Maria Theresia's letzte Regierungszeit), Wien, 1877, S. 33, 37.

[11] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 188.

[12] Oeuvres de Frédéric le Grand, Bd. XXVI, S. 313.

[13] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 570—571.

[14] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. I, S. 311.

[15] *A. Beer.* Die Zusammenkünfte Joseph's II und Friedrich's II, Wien, 1871, S. 114—116.

[16] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. II, Wien, 1873, S. 49.

[17] *A. R. Arneth.* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, S. 316—319.

[18] Сб. РИО, т. 20, стр. 274—277.

[19] Архив Государственного совета, т. I, стр. 59.

[20] Сб. РИО, т. 20, стр. 277—281, 271—273.

[21] Anecdotes of the Russian empire, p. 326.

[22] Сб. РИО, т. 1, стр. 62.

[23] Anecdotes of the Russian empire, p. 326—327.

[24] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 320—330.

[25] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 210—214.

[26] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 320—330.

[27] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 218.

[28] Сб РИО, т. 20, стр. 284—288.

Еще весною 1768 года, когда пошли слухи о возможности разрыва между Россией и Портою, саксонский министр при петербургском дворе Сакен доносил своему правительству, будто гр. Чернышев внушает кн. Лобковичу, как приобретение Белграда с округом выгоднее для Австрии, чем приобретение Силезии, отошедшей к Пруссии. Из ответов Лобковича можно было догадываться, что его двор почти одинакового мнения. Депеша Сакена у Германа Gesch des russ. Staats V, 694 [1].

[134] Oeuvres, XXVI, 344.

[135] Там же, 326, 327, 335 [2]. — Beer — Friedrich II und van Swieten 1—9 [3].

[136] Duncker, 220, 228 [4].

[137] Тургеневские выписки в Госуд. архиве [5].

[138] Oeuvres, XXVI, 345, 346 [6].

[139] Русск. Архив, 1867 года, № 4 [7].

[140] Correspondance secrète de Lonis XV, I, 154 [8].

[141] Кн. I, гл. VII и VIII.

[142] Дела польские 1770 года [9]. — Duncker, 226 [10]. — Французский агент в Варшаве писал Шуазелю, что Волконский лично сердит на Чарторыйских, ибо ему передали, что канцлер литовский назвал его ограниченным человеком. Волконский не скрывал желания покинуть Польшу. Панин против воли отозвал Репнина, своего племянника, и принужденный заменить его Волконским, другом Орлова, давал новому послу указы неопределенные, на основании которых нельзя было ничего сделать, чтоб бесполезностию его посольства доказать превосходство Репнина, которого Панин опять хотел послать в Польшу. В этом известии нельзя отрицать известной доли правды, известного освещения петербургских отношений.

[143] Oeuvres, XXVI, 315, 323 [11].

[144] Дела шведские 1770 года [12].

[145] Дела датские 1770 года [13].

[146] Сборн. Русск. истор. общ., XIII, 43, 44, 56.

[147] Там же, XIX, 20—167.

[148] Там же, XIII, год 1770 [14].

[149] Москов. арх. мин. ин. д. Записка 7 июня 1770 года [15].

[150] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 288 [16].

[151] Госуд. архив [17].

[152] Архив Госуд. совета, I, конец 1770 года [18].

[153] Сочинения Екатерины II, том III, стр. 224 и след. [19]

[154] Архив Госуд. совета, I, 68 [20]; Соч. Екат. II, III, 226 [21].

[155] Петрова — Война России с Турцией, III, гл. 3, 4 [22].

---

[1] *Ernst Herrmann.* Geschichte der europäischen Staaten. Geschichte des russischen Staats, Bd. V, Hamburg, 1853, S. 694—695.

[2] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 326, 327, 335, 344.

[3] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, Leipzig, 1874, S. 1—9.

[4] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 220, 228.

[5] ЦГАДА, Гос. архив, разряд XV, д. 190, ч. I—IV.

[6] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 345, 346.

[7] «Русский архив» № 4, М., 1867, стр. 487—488.

[8] *M. E. Boutaric.* Correspondance secrète inédite de Louis XV, t. I, Paris, 1866, p. 154.

[9] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 82, 83, 972, 976—985, 992.

[10] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 226.

[11] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 315, 323.

[12] АВПР, Сношения России со Швецией, дела 1770 года.

[13] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 5, д. 19, 22, 237 (л. 21—34), 240.

[14] Сб. РИО, т. 13, СПб., 1874, стр. 43—46, 56—58; т. 19, СПб., 1876, стр. 20—167; т. 13, стр. 27—31.

[15] Не найдено.

[16] Сб. РИО, т. 20, стр. 288—290.

[17] Не найдено.

[18] Архив Государственного совета, т. I, стр. 63, 67.

[19] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 224.

[20] Архив Государственного совета, т. I, стр. 68

[21] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 226—227

[22] *А. Н. Петров.* Война России с Турцией и польскими конфедератами с 1769—1774 год, т. III, СПб., 1874, стр. 24—173.

[156] Сочин. Екатер. II, III, 228 [1].

[157] Чтения Москов. общ. истории 1865 года, кн. II [2].

[158] Сборн. Русск. истор. общ., XIII, 116 [3].

[159] Сочин. Екатер. II, т. III, стр. 231 [4].

[160] Сборн. Русск. истор. общ., V, 145; XIII, 159 [5].

[161] В другом донесении Каткарт выражается еще резче: The command of the second army given to pr. Dolgorоucky, a man called a beast by all parties. Сборн. Русск. истор. общ., XIX, 160 [6].

[162] Архив Госуд. совета, год 1771 [7].

[163] Дела крымские 1771 года.

[164] Там же [8].

[165] Сборн. Русск. истор. общ., XIII, 128 [9].

[166] Дела крымские 1771 года [10]. — Архив Госуд. совета того же года [11].

[167] Москов. архив мин. ин. д. [12]

[168] Архив Госуд. совета, II, стр. 773 и след.

[169] Там же, I, стр. 368 и след. [13] — Сборн. Русск. истор. общ., I, 65 [14].

[170] Записки Гидрограф. Департамента, VII, 228—346 [15].

[171] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 297 [16].

[172] Oeuvres, XXVI, 349 [17].

[173] Москов. арх. мин. ин. д. [18] — Ср. мою «Историю падения Польши», стр. 148 [19].

[174] Oeuvres, XXVI, 349 [20].

[175] Friedrich II und van Swieten, 21 [21].

[176] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 307 [22].

[177] Oeuvres, XXVI, 350 [23]. — Beer — Die erste Theilung, II, 58—62 [24].

[178] Москов. архив мин. ин. д. — Ср. Историю падения Польши, стр. 132 и след. [25] — Так же: Smitt. Frédéric II, Catherine et la partage de la Pologne, II, 12 et squi [26]. Oeuvres, XXVI, 351 [27]. Friedrich II und vau Swieten 9—25 [28].

[179] Дела польские 1771 года: письмо Панина к Сальдерну от 11 июня [29]. — Архив Госуд. совета под означенными числами [30].

[180] Москов. арх. мин. ин. д. [31]

---

[1] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 228.
[2] Чтения ОИДР, М., 1865, кн. II, стр. 129, 131—132.
[3] Сб. РИО, т. XIII, стр. 115—116.
[4] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 231.
[5] Сб. РИО, т. 5, СПб., 1870, стр. 145; т. 13, стр. 159.
[6] Сб. РИО, т. 19, стр. 160, 166.
[7] Архив Государственного совета, т. I, стр. 70—72.
[8] АВПР, Крымские дела, оп. 2, 1771 г., д. 220—221.
[9] Сб. РИО, т. 13, стр. 128—129.
[10] АВПР, Крымские дела, оп. 2, 1771—1772 гг., д. 222—223.
[11] Архив Государственного совета, т. I, стр. 97—98.
[12] АВПР, Кабардинские дела, оп. 1, 1771 г., д. 1; см. также Сб. РИО, т. 97, стр. 258—372.
[13] Архив Государственного совета, т. I, стр. 368—373.
[14] Сб. РИО, т. I, стр. 65—74.
[15] Записки Гидрографического департамента.., ч. VII, стр. 228—346.
[16] Сб. РИО, т. 20, стр. 297—304.
[17] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 349.
[18] ЦГАДА, Гос. архив, разряд IV, д. 134, 135.
[19] *С. М. Соловьев.* История падения Польши, М., 1863, стр. 148.
[20] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 349.
[21] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 21.
[22] Сб. РИО, т. 20, стр. 306—308.
[23] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 350.
[24] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. II, S. 58—62.
[25] *С. М. Соловьев.* История падения Польши, стр. 132—149.
[26] *F. Smitt.* Frédéric II, Catherine et la portage de la Pologne, Paris, 1861, Collection de documents, p. 12 et squi.
[27] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 351.
[28] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 9—25.
[29] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 1005.
[30] Архив Государственного совета, т. I, стр. 79—84.
[31] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 6, д. 293—296, 517, 518; см. также Сб. РИО, т. 97, стр. 382—394.

[181] Arneth — Maria Theresia's letzte Regierungszeit, II 307 [1]. Maria Theresia und Joseph II, I, год 1771 [2].

[182] Arneth — Maria Theresia's letzte Regierungszeit, II, Capit. X [3].

[183] Депеша Сольмса 19—31 июня (Beer — Die erste Theilung Pol., II, 85) [4].

[184] Friedrich II und van Swieten, 25—28 [5]. Maria Ther. letzte Regierungszeit, II, 314 [6].

[185] Архив Госуд. Совета [7].

[186] Москов. архив мин. ин. д. [8] Архив Госуд. Совета, I, 112 [9].

[187] Friedrich II und van Swieten 30—42 [10].

[188] Oeuvres, XXVI, 354 [11].

[189] Maria Theresia und Joseph II, I, 344—346 [12]. Arneth-Mar. Ther. letzte Regier., II, 319, 328 [13].

[190] Письмо Голицына к Панину 14—25 октября в Москов. архиве мин. ин. д. [14]

[191] Архив Госуд. совета, I, 115 [15].

[192] Friedrich II und van Swieten, 43—52 [16].

[193] Архив Госуд. совета, I, 120, 126 [17].

[194] Москов. архив мин. ин. д. Письмо от 5 декабря [18].

[195] Friedrich II und van Swieten, 52 [19].

[196] Smitt— Frédéric II etc, 80, 85 [20].

[197] Дела польские 1771 года [21]. — Сборн. Русск. истор. общ., XIX, 176 [22].

[198] Дела шведские того же года [23].

[199] Дела датские того же года [24]. — Raumer-Beiträge, III, 157 [25].

[200] Дела английские того же года [26]. — Сборн. Русск. истор. общ., XIX, год 1771 [27].

[201] Архив Госуд. совета под означ. числами [28].

[202] Arneth — Mar. Ther. letzte Regierungszeit, II, 338—350 [29].

[203] Maria Ther. und Joseph II, I, 361.

[204] Там же, 362 [30].

[205] Эти приготовления делались по совету Кауница. Mar. Ther. letzte Regierungszeit, II, 439, 442, 444—455 [31].

[206] Архив Госуд. совета [32].

---

[1] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 307, 591.
[2] *A. R. Arneth.* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, S. 321—358.
[3] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 270—292.
[4] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. II, S. 85.
[5] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 85.
[6] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 314.
[7] Архив Государственного совета, т. I, стр. 99—101, 104—106.
[8] АВПР, Сношения России с Прусснеи, оп. 6, д. 589.
[9] Архив Государственного совета, т. I, стр. 112—114.
[10] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 30—42.
[11] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 354.
[12] *A. R. Arneth.* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, S. 344—346.
[13] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 319, 328
[14] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 6, д. 518.
[15] Архив Государственного совета, т. I, стр. 115—116.
[16] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 43—52.
[17] Архив Государственного совета, т. I, стр. 120, 126.
[18] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 6, д. 520, л. 34—41.
[19] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 52.
[20] *F. Smitt.* Frédéric II, Catherine et la partage de la Pologne, Collection de documents, p. 80—89.
[21] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 996—1004.
[22] Сб. РИО, т. 19, стр. 176.
[23] АВПР, Сношения России со Швецией, дела 1771 года.
[24] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 5, д. 248—252.
[25] *F. Raumer.* Beiträge zur neueren Geschichte, Bd. III, S. 157.
[26] АВПР, Сношения России с Англией, д. 239—241.
[27] Сб. РИО, т. 19, стр. 169—246.
[28] Архив Государственного совета, т. I, стр. 140—144.
[29] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 338—350.
[30] *A R. Arneth* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, S. 361—363.
[31] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 439—455.
[32] Архив Государственного совета, т. I, стр. 145—146, 154—156.

[207] Дела турецкие 1772 года [1]. — Сбор. Русск. истор. общ., XIII, 528, 271 [2]. Гр. Дмитриев-Мамонов в замечаниях своих на книгу Кастера (Русск. Арх., 1877, № 12) [3] рассказывает, будто Румянцев сказал Орлову, что почитает себя вправе продолжать переговоры и запрещает ему воздвигать препятствия, несогласные с выгодами и достоинством империи. В ответ на это Орлов будто грозил Румянцеву, что он велит его повесить, и хотел отнять у Румянцева команду, а тот объявлял, что вышлет его из Фокшан и из армии. Стоило будто необыкновенных усилий, чтоб дело не дошло до крайности, и случай вышел неслыханный: Осман-эфенди, неприятельский уполномоченный, употребил свое посредничество, чтоб восстановить согласие между Румянцевым и Орловым. Но прежде всего заметим, что Румянцева в Фокшанах во время переговоров не было, и потому Османа-эфенди с его посредничеством надобно оставить совершенно в покое. Мы отвергли бы известия о столкновении Орлова с Румянцевым, если бы оно было показано в Яссах, куда Орлов уехал из Фокшан и где был Румянцев. Действительно, последний желал мира и был против «нового удара», т. е. перехода через Дунай; тогда как Орлов был постоянно за «удар», который мог бы повести к заключению мира на всей воле России.

[208] Чтения Москов. истор. общ., год 1865, кн. II [4].

[209] Дела крымские 1772 года [5]. — Сборн. Русск. истор. общ., XIII, 190, 201, 227 [6].

[210] Friedr. II, und v. Swieten, 55 [7].

[211] Дела австрийские 1772 года [8].

[212] Friedr. II und v. Swieten, 66 [9].

[213] Дела прусские 1772 года [10].

[214] Bibliotèque des archives diplomatiques. Pologne, 97 [11].

[215] Сборн. Русск. истор общ., XX, 315 и след. [12]

[216] Duncker — Aus der Zeit Friedr. des Gross. 255 [13].

[217] Beer — Die erste Theilung Polens, II, 164; [14] Arneth Mar. Ther. letzte Regierungszeit, II, 369 [15].

[218] Дела австрийские 1772 года [16].

[219] Maria Theresia und Joseph II, I, 367 [17].

[220] Дела австрийские 1772 года [18].

[221] Дела прусские 1772 года [19].

[222] Friedr. II und van Swiet. 71 [20].

[223] Дела прусские 1772 года [21]. — Raumer — Beitrage, IV, 493 [22].

[224] Oeuvres, XXVI, 359 [23].

[225] Maria Theres. und Joseph II, I, 369—373 [24].

[226] Донесение Бибикова и. Екатерине в Москов. архиве мин. ин. д.[25]

---

[1] АВПР, Сношения России с Турцией, оп. 8а, д. 1671, 1680, 1684, 1685, 1687, 1711, 1712.

[2] Сб. РИО, т. 13, стр. 258—260, 271.

[3] «Русский архив» № 12, М., 1877, стр. 395—396.

[4] Чтения ОИДР, М., 1865, кн. II, стр. 189—191.

[5] АВПР, Крымские дела, оп. 2, 1772 г., д. 233—235.

[6] Сб. РИО, т. 13, стр. 189—190, 200—201, 227.

[7] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 55.

[8] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 6, д. 530, л. 13—16.

[9] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 66.

[10] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596

[11] Не найдено.

[12] Сб. РИО, т. 20, стр. 315—317.

[13] *M. Duncker.* Aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Wilhelm's III, S. 255.

[14] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. II, S. 164.

[15] *A. R. Arneth.* Maria Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 369.

[16] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 6, д. 531, л. 5—16.

[17] *A. R. Arneth.* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, S. 367—368.

[18] АВПР, Сношения России с Австрией, оп. 6, д, 532—534.

[19] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.

[20] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 71.

[21] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.

[22] *F. Raumer.* Beiträge zur neueren Geschichte, Th. IV, S. 493.

[23] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 359.

[24] *A. R. Arneth.* Maria Theresia und Joseph II, Bd. I, S. 369—373.

[25] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 1014.

[227] Дела прусские 1772 года [1]. — Beer — Die erste Theil II, 182[2].
[228] Мартенс — Собрание трактатов и конвенций, 24 [3].
[229] Дела прусские 1772 года.
[230] Там же [4].
[231] Дела польские 1772 года [5].
[232] Friedr. II und v Swiet., 21 [6].
[233] Сборн. Русск. истор. общ., XIX, 326.
[234] Там же, 292 [7].
[235] Дела польские 1772 года [8]. — Beer — Die erste Theil. II, 202 [9].
[236] Сборн. Русск. истор. общ., XX, 256 [10].
[237] Дела французские 1772 года [11].
[238] Arneth — Mar. Theres. letzte Regierungszeit, II, 360 [12].
[239] Correspond. secrète de Louis XV, I, 160, 425, 430, 436 [13].
[240] Arneth et Geffroy — Marie Antoinette, Correspond. secrete et. c. I, 298, 305, 307, 352 [14].
[241] Дела французские 1772 года [15].
[242] Дела шведские 1772 года [16]. — Geffroy—Gustave III et la cour de France, I, 154 et squ [17].
[243] Сочинения Екат. II, III, 229 [18].
[244] Архив Госуд. совета под означенными числами [19].
[245] Дела прусские 1772 года [20].
[246] Oeuvres, XXVI, 359, 360 [21].
[247] Письмо в Госуд. архиве [22].
[248] Москов. архив мин. ин. д. [23]
[249] Дела прусские 1772 года [24].
[250] Дела шведские 1772 года [25].
[251] Архив. Госуд. совета, I, 209 [26].
[252] Дела прусские 1772 года [27].
[253] Дела датские 1772 года [28]. — Сборн. Русск. истор. общ., XIII, 220, 237, 239.
[254] Сборн. Русск. истор. общ., XIX, 264—334 [29].
[255] Raumer — Beiträge, IV, 515 [30].
[256] Oeuvres, XXVI, 361 [31].

---

[1] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.
[2] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. II, S. 182.
[3] *Ф. Ф. Мартенс.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами, т. II, СПб., 1875, стр. 24—29.
[4] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.
[5] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 1007, 1008, 1010—1016.
[6] *A. Beer.* Friedrich II und van Swieten, S. 21.
[7] Сб. РИО, т. 19, стр. 326, 292.
[8] АВПР, Сношения России с Польшей, оп. 6, д. 1018, 1022, 1024—1026.
[9] *A. Beer.* Die erste Theilung Polens, Bd. II, S. 202.
[10] Сб. РИО, т. 20, стр. 255—258.
[11] АВПР, Сношения России с Францией, оп. 6, д. 267.
[12] *A. R. Arneth.* Maria-Theresia's letzte Regierungszeit, Bd. II, S. 360.
[13] *M. E. Boutaric.* Correspondance secrète inédite de Louis XV, t. I, p. 160, 425, 430, 436.
[14] *A. R. Arneth* et *A. Geffroy.* Marie-Antoinette. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et de Mercy-Argenteau, t. I, Paris, 1784, p. 298, 305, 307, 352.
[15] АВПР, Сношения России с Францией, оп. 6, д. 267, 268.
[16] АВПР, Сношения России со Швецией, дела 1772 года.
[17] *A. Geffroy.* Gustave III et la cour de France suivi d'une étude critique sur Marie-Antoinette et Louis XVI apocryphes, t. I, Paris, 1867, p. 154—168.
[18] Сочинения Екатерины II, т. III, стр. 229.
[19] Архив Государственного совета, т. I, стр. 191—195.
[20] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.
[21] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 359—360.
[22] ЦГАДА, Гос. архив, разряд IV, д. 134, 135.
[23] Не найдено.
[24] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.
[25] АВПР, Сношения России со Швецией, дела 1772 года.
[26] Архив Государственного совета, т. I, стр. 209.
[27] АВПР, Сношения России с Пруссией, оп. 6, д. 592, 596.
[28] АВПР, Сношения России с Данией, оп. 5, д. 259, л. 1—7 и след.; д. 260; д. 265, л. 1—2 и след.
[29] Сб. РИО, т. 13, стр. 220—221, 237—241; т. 19, стр. 264—334.
[30] *F. Raumer.* Beiträge zur neueren Geschichte. Th. IV, S. 515.
[31] Oeuvres de Frédéric le Grand, t. XXVI, p. 361.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарии к 27 и 28 томам
«Истории России с древнейших времен» написаны
кандидатом исторических наук
И. А. БУЛЫГИНЫМ

*

Указатели составлены
Н В СИНИЦЫНОЙ
и *М Ф. КИШКИНОЙ-ИВАНЕНКО*

КОММЕНТАРИИ

к двадцать седьмому и двадцать восьмому томам «Истории России с древнейших времен»

Комментируемые тома труда С. М Соловьева написаны и изданы им в 1877—1878 гг [1] Они охватывают сравнительно небольшой отрезок времени — семь лет (1766—1772 гг) и посвящены первым годам царствования Екатерины II В 27-м томе рассматриваются внутриполитическая история и внешняя политика России за 1766—1768 гг В 28-м томе, охватывающем 1769—1772 гг., освещаются главным образом первый период русско-турецкой войны, начавшейся в конце 1768 г, и связанные с ней проблемы международных отношений.

При описании событий внутриполитической жизни России С. М Соловьев сосредотачивает внимание на следующих вопросах подготовка и работа Комиссии по составлению проекта нового Уложения, крестьянское движение и состояние государственного аппарата власти Как известно, одной из характерных черт, присущих труду С. М Соловьева в целом, является слабое освещение социально-экономического развития страны Этот недостаток мы видим и в рассматриваемых томах. По истории экономики и социальных отношений мы наидем в них лишь отдельные, разрозненные факты, которые, естественно, не могут удовлетворить интерес читателя к этой важнейшей стороне жизни общества Выпали здесь из поля зрения С. М. Соловьева и вопросы развития культуры. Последнее, очевидно, объясняется тем, что труд его остался незаконченным и освещение культуры последней трети XVIII в он предполагал, вероятно, дать в последующих томах.

Особенностью 27-го и 28-го томов является и то, что они в значительной степени носят фактографический характер, представляют собой как бы хронику исторических событий С М. Соловьев нередко, особенно при изложении внутриполитической истории, ограничивается простым перечислением фактов, внешним описанием событий и не дает их анализа, не высказывает к ним своего отношения, а если и делает это, то в одной-двух фразах Поэтому о его оценках изображаемых явлений часто при-

[1] Второе издание настоящих томов относится к 1884—1885 гг третье — к 1888—1892 гг Помимо этого они трижды переиздавались издательством «Общественная польза»

ходится только догадываться. Более исследовательский характер носит освещение внешней политики и международных отношений России, хотя и здесь изложение нередко перегружено фактическим материалом, длинными выписками из документов.

Вместе с тем следует сказать, что, написанные на большом и, как правило, новом, не использованном ранее архивном материале, настоящие тома являлись для своего времени по существу первым исследованием данной эпохи и в известной мере не потеряли своего значения до сих пор.

Остановимся на наиболее крупных вопросах, поставленных и затронутых в комментируемых томах.

Внутренняя политика правительства Как уже было сказано, С М Соловьев много внимания уделил событиям, связанным с подготовкой и ходом работы Комиссии по составлению проекта нового Уложения Вопрос о пересмотре законодательства страны был в это время одним из самых важных и злободневных. Соборное Уложение 1649 г., которое считалось действующим сводом законов, безнадежно устарело. Попытки его пересмотра и выработки нового законодательного кодекса предпринимались и раньше, в частности в царствование Елизаветы Петровны Однако они не дали результатов Екатерина II вновь подняла этот вопрос, издав 14 декабря 1766 г манифест о созыве Комиссии по составлению проекта нового Уложения Но отношение Екатерины II к работе Комиссии заставляет серьезно усомниться в искренности ее намерений решить этот давно наболевший вопрос

Немецкая принцесса, не имевшая никаких законных прав на русский престол и захватившая его с помощью дворцового переворота, став русской императрицей, чувствовала себя на троне еще довольно неуверенно. Это обстоятельство оказало сильное влияние на всю внутреннюю политику Екатерины II в первые годы ее царствования. Эта политика отличалась большой осмотрительностью, стремлением избежать таких шагов, которые могли бы поколебать и без того непрочное положение новой императрицы Екатерина всячески старалась поднять авторитет своего правительства, показать как внутри страны, так и за границей, что она заботится о благе своих подданных Одновременно Екатерина хотела по возможности лучше узнать настроения и желания различных слоев и групп общества, узнать, как она потом выразилась, «с кем дело имеем и о ком пещись должно» (стр 119) Особенно ее волновали настроения широких масс дворянства, поскольку она понимала, что только оно могло служить ей прочной опорой Одним из наиболее крупных мероприятий, проведенных Екатериной II с этой целью, и был созыв Комиссии по составлению проекта нового Уложения. Однако С М Соловьев по существу не сумел понять истинных намерений Екатерины и считал, что она действительно хотела переработать устаревшее законодательство и решить другие назревшие проблемы, в частности вопрос о крепостном праве, и не ее вина, что ей не удалось достичь этих целей

Согласно положению, приложенному к манифесту 14 декабря 1766 г., выборы в Комиссию носили сословный характер Дворяне посылали по одному депутату от каждого уезда, горожане — по одному депутату от каждого города независимо от количества городского населения. Большое

число депутатов посылало чиновничество центральных учреждений — по одному от каждого учреждения Духовенство представлял один депутат от Синода. Однодворцы, пахотные солдаты и «старых служб» служилые люди выбирали одного депутата от каждой провинции. Такое же представительство имели черносошные и ясачные крестьяне. Посылали своих депутатов казачьи войска. Но большая часть населения страны — помещичьи крестьяне — была лишена права посылать своих представителей в Комиссию С М Соловьев отмечает этот момент (стр 95), но не дает ему оценки, не высказывает к нему своего отношения, хотя уже один этот факт весьма красноречиво характеризует дворянскую политику Екатерины и разоблачает ее демагогические заявления о том, что она печется о благе всех подданных.

Описывая выборы депутатов в Комиссию, С. М. Соловьев справедливо замечает, что в большинстве районов они проходили спокойно, с соблюдением установленных норм и порядка. Исключение составили Украина и Прибалтика, где определенная часть дворянства и зажиточного городского населения вообще не хотела принимать участия в работе Комиссии, рассматривая ее созыв как попытку лишить их старых привилегий и вольностей. Известны случаи, когда эти группы нарушали правила выборов и давали своим депутатам такие наказы, которые шли вразрез с политикой царизма в этих районах. Например, в наказе шляхетства Нежинского и Батуринского поветов было выставлено требование о восстановлении недавно ликвидированного гетманства (стр 44—46). Тогда представители местной администрации, в частности генерал-губернаторы, не останавливались перед отменой выборов и назначением новых (стр 37—47)

Много места отводит С. М. Соловьев рассмотрению «Наказа», написанного Екатериной II для депутатов Комиссии Составлен он был в основном в 1766 г. и опубликован в печатном виде 30 июля 1767 г, т. е. в день открытия заседаний Комиссии. «Наказ» должен был служить своеобразной инструкцией, определяющей характер работы Комиссии, ее цели и принципы Он представлял собой компилятивное сочинение, составленное Екатериной из различных произведений философов-просветителей XVIII в. (Монтескье, Беккариа и др.). Вместе с тем в нем нашли отражение взгляды Екатерины II на характер внутренней политики, которую она намерена была проводить в будущем. С. М. Соловьев касается главным образом трех важных вопросов, поставленных в «Наказе». Это вопросы о крепостном праве, форме государственной власти и правосудии

Перед опубликованием «Наказа», когда большинство депутатов Комиссии съехалось в Москву, Екатерина выбрала из них «разных персон, вельми разномыслящих», и предложила им выслушать содержание «Наказа», предоставив право вычеркнуть из него все, что они найдут нужным. В результате первоначальный текст «Наказа» был сокращен и в таком виде напечатан. В первую очередь сокращению подверглись те места, в которых Екатерина II развивала свои мысли о крестьянах и крепостном праве. В частности, она предлагала различать крепостное состояние крестьян, зависимых от владельца по земле, и холопство, которое являлось личной зависимостью. Екатерина выступала против того, чтобы одно

и то же лицо находилось как в личной, так и в земельной зависимости, потому что это было бы «великое злоупотребление» (стр. 67). Использование помещиком своих прав по наказанию крестьян Екатерина рассматривала как государственное поручение, причем помещик якобы выступал «как судья, а не как господин» (там же) Она предлагала также установить для крепостных крестьян выборный суд равных, т. е. из крестьян, признать за ними право выкупа на свободу, требовала выполнения указа Петра I о назначении опеки над бесчеловечными и жестокими владельцами (стр. 67—68)

Все эти положения носили в известной мере прогрессивный характер, и проведение их в жизнь несомненно облегчило бы состояние крепостного крестьянства. Однако «вельми разномыслящие персоны» не согласились с ними, и они не вошли в окончательную редакцию «Наказа». Но нельзя не видеть, что дело было не столько в «персонах», сколько в отношении самой Екатерины к своим предложениям. Легкость, с которой она отказалась от них, свидетельствует о том, что Екатерина не стремилась к действительному улучшению положения крестьян, что ее предложения были продиктованы лишь желанием прослыть просвещенной правительницей. С. М. Соловьев прямо не высказывает своего отношения к произведенным сокращениям, но весь тон, которым он излагает этот эпизод, не оставляет сомнения в том, что вину за них он возлагает отнюдь не на автора «Наказа» (стр 66—69).

В дальнейшем, при описании заседаний Комиссии, С. М. Соловьев вновь возвращается к вопросу о крепостном праве. Обсуждение его в Комиссии вызвало, по словам С. М. Соловьева, со стороны дворянства, купечества и духовенства «дружный и страшно-печальный крик: «рабов!» (стр 100). Давая объяснение, почему все требовали права иметь крепостных, он видит причины этого в нравственной, политической и экономической неразвитости Русского государства второй половины XVIII в.

Нравственная и политическая неразвитость, по мнению С. М. Соловьева, состояла в том, что право владеть крепостными считалось еще «высшим правом, считалось царственным положением». Научные представления о государстве и высшей власти, о чести и славе народной, которые подрывали ценность этого права и положения, только еще, по его словам, начинали проникать в сознание общества. Должен был пройти еще целый век, прежде чем в результате распространения просвещения и европейского образа жизни новые представления окончательно вытеснили прежние взгляды (стр. 98—100) Под экономической неразвитостью России С. М. Соловьев понимал обширность ее территорий и слабую их заселенность, в результате чего ощущалась постоянная нехватка рабочей силы Эта черта, считал он, была искони присуща России и явилась главной причиной возникновения крепостного строя. Дворянство, занятое военной службой и обороной страны от внешних врагов, не могло само обрабатывать земли, и поэтому государство с целью обеспечения помещиков рабочими руками вынуждено было прикрепить крестьян к земле. Эти условия сохранились и в XVIII в , когда в России начала развиваться промышленность. Поэтому, считает С М. Соловьев, купечество было

право, когда требовало в Комиссии крепостных работников для обеспечения своих фабрик и заводов, потому что вольнонаемных рабочих не хватало (стр. 98—100).

Естественно, что с таким идеалистическим объяснением причин возникновения крепостного права нельзя согласиться. Крепостное право, юридически оформленное в конце XVI в., явилось результатом длительного и сложного социально-экономического развития феодального общества, резкого обострения классовой борьбы и усиления эксплуатации крестьян феодалами Попытка же С. М. Соловьева обосновать необходимость сохранения крепостного права во второй половине XVIII в. носит реакционный характер, поскольку в этот период, когда в стране уже сформировался капиталистический уклад, именно крепостное право являлось главным тормозом для дальнейшего социально-экономического развития, именно оно препятствовало росту вольнонаемной рабочей силы. Сохранение же его в рассматриваемое время объяснялось позицией господствующего класса дворянства, выразителем интересов которого и выступала Екатерина II.

В этой связи нельзя не обратить внимание на стремление С. М. Соловьева представить взгляды Екатерины на данный вопрос более передовыми и прогрессивными, чем они были на самом деле. Он пишет, что общий крик. «рабов» должен был прежде всего смутить автора «Наказа», и приводит несколько замечаний Екатерины, в которых она выражала свое неудовольствие по поводу взглядов членов Комиссии на крепостное право. С. М. Соловьев не хочет видеть, что это было деланное, наигранное неудовольствие.

В положениях «Наказа», продолжает он, были заложены добрые семена, но почва для освобождения крестьян оказалась «совершенно неудобной», и поэтому Екатерина «предоставила времени удобрение почвы посредством нравственно-политического развития народа» (стр. 100).

Приукрашивая позицию Екатерины II, С. М. Соловьев в то же время по существу проходит мимо взглядов тех, кто действительно отстаивал в Комиссии интересы закрепощенного крестьянства. Одним из них был депутат от козловского дворянства Г. С. Коробьин, который предложил ограничить власть помещиков над крестьянами, а также регламентировать крестьянские повинности (стр 96) С. М. Соловьев приводит его выступление, но не комментирует его, отмечая лишь, что оно не было принято большинством депутатов Он совсем не упомянул о выступлении дворянского депутата Я. И. Козельского, защищавшего те же взгляды, что и Г. С. Коробьин, опустил наиболее существенную часть в выступлении представителя архангельских черносошных крестьян И. Чупрова, осуждавшего крепостнические порядки.

С. М. Соловьев, как сторонник либерально-буржуазной монархии, полностью солидаризируется с точкой зрения Екатерины II на форму государственной власти в России, высказанной ею в «Наказе». Екатерина считала, что единственной формой государственного правления в такой большой по территории стране, как Россия, может быть только самодержавие, ибо только оно обеспечивало скорое решение дел и смягчало тем самым «медление, отдаленностью мест причиняемое». Вслед за Ека-

териной С. М. Соловьев утверждает, что «первое условие страны — ее чрезвычайная обширность — требовало самодержавия» (стр. 61).

Историк приводит многочисленные выдержки из «Наказа», в которых Екатерина II излагала свои взгляды на судоустройство и судопроизводство. Она выступала против пыток, заявляя, что применение их «противно здравому рассуждению», высказывалась против смертной казни, считала необходимым проявлять большую осторожность при аресте подозреваемых в преступлениях лиц (стр. 63—64). Все эти положения находят явное одобрение С. М. Соловьева. Однако и здесь он не хочет видеть, что все они были только либеральной фразой, что для проведения их в жизнь Екатерина ровным счетом ничего не сделала. Более того, именно по ее распоряжениям для усмирения восставших крестьян посылались военные команды, под пулями и картечью которых гибли десятки и сотни невинных людей. Не говорит С. М. Соловьев и о том, что крепостные полностью находились во власти помещиков, которые могли делать с ними все, что угодно, подвергали самым изощренным истязаниям вплоть до убийства и оставались безнаказанными. Фактов о вооруженном подавлении крестьянских восстаний и зверствах помещиков немало приводит и сам С. М. Соловьев, но не привлекает их для оценки лицемерных заявлений Екатерины II. Кстати, и сама Екатерина вовсе не была против жестоких наказаний, включая смертную казнь, за «преступления» против государя, за «возмущение народного спокойствия», т. е. за выступления против помещиков (стр. 65—66).

Никак не комментирует С. М. Соловьев заявление Екатерины II о равенстве всех граждан перед законом (стр. 61), солидаризируясь, видимо, и здесь с ней. На самом деле ни о каком равенстве в феодальном обществе не могло быть и речи, поскольку, не говоря уже о фактически существовавшем хозяйственном неравенстве, было неравенство юридическое, обусловленное самим сословным строем государства, в котором крепостной крестьянин и его владелец имели совершенно разные права.

Необходимо отметить, что при рассмотрении «Наказа» из поля зрения С. М. Соловьева совершенно выпала та его часть, в которой Екатерина излагала программу своей экономической политики. Это не должно нас удивлять, так как уже отмечалось, что проблемы экономического развития его вообще мало интересовали. Между тем именно в этой части, где Екатерина II выступала за развитие производительных сил страны, за свободу торговли и промышленности, против сохранения монополий, идеи «Наказа» в меньшей степени носили декларативный характер и нашли в дальнейшем известное практическое осуществление.

Какова же общая оценка «Наказа», данная С. М. Соловьевым? Он писал, что посредством его Екатерина «хотела перенести в Россию просветительские идеи, выработанные европейскою наукой» (стр. 32). Была ли достигнута эта цель? Екатерина считала, что да. Она писала, что «Наказ Комиссии ввел единство в правило и в рассуждения, не в пример более прежнего. Стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере стали знать волю законодавца и по оной поступать» (стр. 119). Приведя это высказывание, С. М. Соловьев замечает, что Екатерина имела право приписывать своему «Наказу»

«такое просветительское и воспитательное значение для народа» (стр 119). Необходимо отметить, что когда С. М Соловьев говорит о просветительских идеях «Наказа», то он имеет в виду вообще идеи просвещения, образования и т. п. Поэтому нельзя смешивать просветительство в понимании С. М. Соловьева ни с просветительством как передовой общественной идеологией XVIII в., выступавшей против крепостнических порядков, ни с так называемым «просвещенным абсолютизмом».

Политика «просвещенного абсолютизма» была характерна для многих европейских стран того времени. В России она проводилась во время царствования Екатерины II. Эта политика порождалась стремлением приспособиться к новым нарождавшимся буржуазным отношениям. Развитие капиталистического уклада, формирование буржуазии, нарастание антикрепостнической борьбы крестьян — все это заставляло Екатерину II, как и других самодержавных правителей Европы, искать новые пути в проведении своей внутренней политики, направленной на сохранение и укрепление феодального строя. Отсюда стремление использовать идеи просветителей XVIII в., провозглашавших необходимость личной свободы граждан, улучшения их благосостояния, равенства, с тем чтобы сохранить основы абсолютной монархии, устранив лишь ее наиболее одиозные и отжившие институты. Такое противоречивое сочетание передовых, буржуазных идей с отсталыми, крепостническими взглядами мы и находим в «Наказе» Екатерины II. Чего как раз и не понял С. М. Соловьев, подчеркивавший только просветительскую сторону его содержания, причем «просветительскую» в своем понимании. Если некоторые из прогрессивных идей «Наказа» и нашли в дальнейшем практическое осуществление в политике правительства, например в области экономики, то другие положения (о крепостном праве, судоустройстве и пр.) носили откровенно демагогический характер, и Екатерина не думала проводить их в жизнь.

Явно переоценивает ученый и просветительское значение «Наказа» для «народа» хотя бы потому, что широким народным массам он просто был не известен, что признает и сам С. М. Соловьев. «Наказ» знали лишь депутаты Комиссии и высшие чиновники центральных учреждений. В местные учреждения, в том числе в губернские канцелярии, «Наказ» вообще не посылался, а в центральных учреждениях низшим канцелярским служителям его не давали читать, он был для них «запрещенной книгой» (стр. 119). Переходя к описанию работы самой Комиссии по составлению проекта нового Уложения, С. М. Соловьев дает сравнительно полную картину той борьбы интересов и мнений, которая развернулась на ее заседаниях и нашла отражение как в выступлениях депутатов, так и в наказах, привезенных ими с мест.

При обсуждении «прав благородных» вскрылись известные противоречия внутри самого дворянства. Представители аристократической знати выступили против «Табели о рангах», дававшей возможность проникновения в ряды дворянства представителям других сословий. Однако их притязания не встретили поддержки у депутатов рядового дворянства и были отвергнуты. В целом же дворянство как класс, несмотря на отдельные разногласия, выступало сплоченно и требовало сохранения всех имевшихся у него прав и привилегий, в первую очередь исключительного

права владеть крестьянами и землей, решительно протестовало против какой-либо регламентации крестьянских повинностей, настаивало на усилении борьбы с побегами крестьян. Одновременно оно стремилось к созданию органов дворянского самоуправления, к расширению своих привилегий в области торговли и промышленности. В последнем вопросе дворянские депутаты встретили сильное противодействие представителей городов, которые добивались того, чтобы занятия торговлей и промышленностью стали исключительной привилегией купечества.

Купеческие депутаты настаивали также на ограничении крестьянской торговли, требовали права иметь крепостных людей, просили об укреплении городского самоуправления. Выступления представителей купечества, в полный голос заявивших о своих требованиях, свидетельствовали о том, что значение купечества в экономической и политической жизни страны сильно возросло, с чем нельзя было в дальнейшем не считаться правительству.

Депутаты государственных крестьян жаловались на малоземелье, тяжелое налоговое бремя, произвол местной администрации, просили больше прав для ведения торговли. Их голос, несомненно, отражал настроения не только одних государственных крестьян, но и всей крестьянской массы, задавленной крепостническим гнетом. Отражением этих настроений явились и выступления некоторых дворянских депутатов, о которых мы говорили выше. Работа Комиссии, наказы депутатам и их выступления на заседаниях в труде С. М. Соловьева впервые были освещены с такой полнотой, и в этом была его ценность для своего времени.

Давая оценку результатов деятельности Комиссии, С. М. Соловьев считает вслед за Екатериной II, что общая цель, с какой она созывалась, была достигнута. Как писала потом Екатерина, она «подала мне свет и мнение о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно» (стр. 119). Тут, конечно, нельзя не согласиться с ней. Действительно, Екатерина выяснила положение и настроения различных классов русского общества, убедилась в том, что дворянство не только не угрожает ей, но является ее главной социальной опорой, а олигархические стремления определенной части аристократии не находят поддержки среди широких слоев дворянства. Материалы Комиссии, в которых нашли отражения требования этих слоев, легли потом в основу законодательства Екатерины II о дворянских правах и привилегиях. Была достигнута и другая политическая задача — укрепление авторитета нового правительства и самой Екатерины. Но С. М. Соловьев обходит вопрос о том, что Комиссия не выполнила своей прямой, непосредственной задачи, поставленной перед ней, — не выработала нового кодекса законов вместо устаревшего Уложения 1649 г. Она не только ничего не утвердила, но даже и не закончила рассмотрения поднятых вопросов. Поэтому не может быть принята всерьез и причина роспуска Комиссии в конце 1768 г., выдвинутая Екатериной II, — начавшаяся война с Турцией, которая потребовала возвращения в армию части депутатов Комиссии (стр. 119). Однако С. М. Соловьева вполне удовлетворяет такое объяснение. На самом деле это был лишь повод, использованный Екатериной. Настоящие же причины роспуска заключались в том, что негласные, но подлинные цели

созыва Комиссии действительно были достигнуты и она стала просто не нужна. Нельзя не учитывать и того, что на заседаниях Комиссии выявились острые классовые противоречия и Екатерина, естественно, не хотела, чтобы она стала ареной социальных столкновений и борьбы [1].

Нельзя не остановиться на одном важном эпизоде, нашедшем сравнительно широкое освещение в работе С. М. Соловьева и в известной мере связанном с Комиссией по составлению проекта нового Уложения. Речь идет о путешествии Екатерины II по Волге от Твери до Симбирска, предпринятом ею в мае — июне 1767 г., т. е. накануне открытия Комиссии. С. М. Соловьев приводит многочисленные выдержки из писем Екатерины, в которых она делилась своими впечатлениями о поездке. Так, говоря о состоянии жителей между Казанью и Симбирском, она писала, что «здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт... и никто не жалуется и нужду не терпит» (стр. 53). Екатерина явно приукрашивает действительное положение вещей, но С. М. Соловьев словно не замечает этого. О том, что состояние крестьян было далеко не таким, каким его изобразила Екатерина, говорит хотя бы тот факт, что во время путешествия ей было подано огромное количество челобитий, в которых помещичьи крестьяне жаловались на тяжесть крепостнической эксплуатации. Об этом же свидетельствует и тот большой материал, который приводит С. М. Соловьев о крестьянском движении в Поволжье Встречаются в труде С. М. Соловьева и другие высказывания Екатерины о положении народа, которые он оставляет без комментариев. Так, в июле 1769 г. она писала Вольтеру, что «наши подати вообще так умеренны, что в России нет крестьянина, который бы не ел курицы, когда захочет, и что с некоторого времени он предпочитает индеек курам» (стр. 317). Трудно даже сказать, что это было — просто хвастовство или сознательная ложь для достижения определенных политических целей.

Лицемерным было и удовольствие, выраженное Екатериной по поводу того, что во время путешествия ей не было подано ни единой жалобы на администрацию и что, следовательно, правосудие находится в хорошем состоянии, а правители и судьи ведут дела бескорыстно (стр 54). С. М. Соловьев замечает тут, что Екатерина неправа, поскольку одна такая жалоба все же была (стр. 269). Но ведь дело не в этой маленькой неточности, а в том, что весь характер ее заявления, тон его не соответствовали действительности, явно приукрашивая ее. Ведь сам С. М. Соловьев приводит массу данных о казнокрадстве, взяточничестве и произволе местной администрации.

Во время путешествия Екатерине II было подано более 600 крестьянских жалоб на тяжесть помещичьих поборов. Все они были возвращены челобитчикам с указанием, чтобы впредь таких жалоб не подавали (стр. 54). С. М. Соловьев упоминает об этом факте, но почему-то не сообщает о том, что сразу же по возвращении в Москву Екатерина изда-

---

[1] См. о «Наказе» и Комиссии по сочинению проекта нового Уложения современную литературу: *Н. М. Дружинин*, Просвещенный абсолютизм в России. В сборнике статей «Абсолютизм в России» (к 70-летию Б. Б. Кафенгауза). М., 1964; «Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в.», М., 1956; *П. В. Иванов.* К вопросу о социально-политической направленности «Наказа» Екатерины II. — «Ученые записки Курского государственного педагогического института», т. 3, 1954.

ла специальный указ, которым под страхом жестокого наказания крестьянам запрещалось подавать жалобы императрице на своих владельцев. Между тем именно этот указ 1767 г., а также ранее изданный указ 1765 г. о праве помещиков ссылать крестьян на каторгу характеризуют подлинное отношение Екатерины к крепостному крестьянству, а не те сладкие, либеральные фразы, которые содержатся в «Наказе». Именно в царствование Екатерины II крепостное право достигло своего апогея, а крепостной крестьянин был низведен до положения раба.

Классовая борьба. При описании внутриполитической жизни страны С. М. Соловьев не мог пройти мимо крестьянского движения, которое в 1766—1768 гг., т. е. в канун крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева, приняло особенно широкий размах. Антикрепостнические выступления крестьян в это время проходили в разных формах: бегство крестьян, действия отрядов беглых, громивших помещичьи усадьбы, крестьянские восстания. В движении участвовали все слои крепостного населения, в особенности же активно выступали помещичьи крестьяне и так называемые заводские, т. е. государственные крестьяне, приписанные к дворянским и купеческим мануфактурам. Движение развертывалось как в центральных уездах, так и на окраинах: в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири [1].

Здесь нет необходимости еще раз излагать общие взгляды С. М. Соловьева на борьбу крестьян против помещичьего гнета, о чем достаточно говорилось в комментариях к предшествующим томам. Отметим лишь, что в исторической концепции С. М. Соловьева ей не могло быть найдено места как закономерному явлению, обусловленному классово антагонистической природой феодального строя. Поэтому классовая борьба крестьян рассматривается им как антиобщественное, реакционное движение, нарушающее естественный ход истории, а причины ее, по мнению С. М. Соловьева, носили не объективный, а случайный, временный, субъективный характер. Эта точка зрения проводится и в настоящих томах.

Отношение С. М. Соловьева к крестьянскому движению находит свое выражение прежде всего в общей отрицательной оценке, которую он дает ему. В его глазах это серьезная «опасность», угрожавшая государству (стр. 16, 20). Действия вооруженных крестьянских отрядов, расправлявшихся с помещиками, он называет «разбойничьими» (стр. 19), восстание гайдамаков против польских панов — это «бунт» (стр. 247). Как видим, характеристики С. М. Соловьева ничем не отличаются от оценок, которые давались крестьянскому движению представителями царской администрации.

В чем же С. М. Соловьев видел причины, поднимавшие на борьбу крестьян? Новгородский губернатор Я. Сиверс, которого он считал одним из лучших администраторов того времени, писал Екатерине II, что число беглых крестьян увеличивается «как вследствие тиранства господ, так и вследствие малого наказания за побег» (стр. 18). С. М. Соловьев разделяет мнение Сиверса, но добавляет, что тот пропустил еще одну причи-

[1] См. *В. В. Мавродин.* Крестьянская война в России в 1773—1775 годах. Восстание Пугачева, т. I, Л., 1961; «Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в.».

ну — «недостаток хлеба» (стр 18). Однако недостаток хлеба он объясняет только неурожаем, а не тем, что крестьянин отдавал его в виде оброка своему господину. Можно думать, что С. М. Соловьев вообще склонен был недооценивать тяжесть крестьянских повинностей. Так, восставшие крестьяне помещика Еникеева (с. Архангельское, Темниковского уезда) в челобитной писали, что от тяжких оброков они пришли в «убожество». Но С. М. Соловьев поверил не им, а администрации, производившей расследование и утверждавшей, что оброк и работы вовсе были не тяжелы (стр. 17).

С. М. Соловьев не скрывает тех зверств, которые творили помещики над своими крестьянами, в частности жестокостей знаменитой Салтычихи, от рук которой погибли десятки людей. Сознает он и то, что все эти факты были следствием крепостного права и порожденной им безнаказанности (стр. 124). Но вместе с тем он считает их по существу случайными явлениями, лишь проявлением необузданности и жестокости характера отдельных помещиков, следствием их нравственного несовершенства.

С. М. Соловьев верно подметил, что нередко поводом к волнениям являлись слухи о каком-то освободительном указе, который скрывается от крестьян (стр. 18 и др.). Однако он не анализирует этого явления, не делает отсюда вывода, что такие слухи были отражением самых сокровенных чаяний крестьянства об освобождении от крепостного гнета.

Пожалуй, ближе всего к объяснению настоящих причин антифеодальной борьбы С. М. Соловьев подошел при рассмотрении движения заводских крестьян. Он пишет, что отдельные меры, предпринимаемые правительством для урегулирования отношений приписных крестьян и владельцев мануфактур, не могли удовлетворить крестьян, потому что они хотели полного освобождения от заводских работ, ибо «их положение было самым тяжким видом крепостного права» (стр. 122). Сделав это правильное наблюдение, С. М. Соловьев тут же замечает, что удовлетворить требование заводских крестьян было невозможно. При этом он не хочет видеть, что помещичьи крестьяне тоже хотели не отдельных улучшений своего положения, а полной ликвидации крепостного права.

Можно отметить определенную тенденцию С. М. Соловьева оправдать и обелить лиц, производивших расследование крестьянских возмущений. Мы, пишет он, не имеем оснований обвинять их «в решении неправильном, в потачке притеснителям» (стр. 121), поскольку подобные расследования крайне затруднительны, показания крестьян, жаловавшихся на притеснения и произвол, были противоречивы и средства удостовериться в их правдивости были ограничены (стр. 121—122).

Небезынтересно выяснить, как же представлял себе С. М. Соловьев меры по предотвращению крестьянского движения и борьбе с ним в тех условиях. Прямых высказываний на этот счет мы не найдем у него. Но, судя по тому, как он понимал причины этого движения, они должны были сводиться прежде всего к нравственному воспитанию, самоусовершенствованию общества, что привело бы к более гуманному обращению владельцев с крепостными. С другой стороны, С. М. Соловьев, видимо, не был против и чисто насильственных, административных методов подавления крестьянских выступлений. Во всяком случае мы нигде не найдем

у него слов, которые бы осуждали их. Показательно его отношение к мнению Я. Сиверса о борьбе с побегами крестьян. «Если бы их (беглых. — *И. Б.*), — писал Сиверс, — брать в рекруты, то и барин и слуга испугались бы: первый стал бы человеколюбивее, а другой — послушнее» (стр. 18). С. М. Соловьев не комментирует предложения Сиверса, очевидно соглашаясь с ним.

Состояние государственного управления. С. М. Соловьева, как одного из самых крупных представителей «государственного» направления в русской историографии, естественно, не могли не привлекать проблемы государственного управления, состояния аппарата государственной власти и т. п. Много внимания этим вопросам уделил он и в настоящих томах.

В рассматриваемый период в системе органов государственного управления страной не произошло сколько-нибудь существенных изменений, если не считать создания Императорского совета, или, как он официально назывался, «Совета при высочайшем дворе». Однако это был совсем не тот Императорский совет, который предлагал образовать Н. И. Панин в начале царствования Екатерины II с целью ограничения ее власти. И хотя, выполняя волю императрицы, именно Н. И. Панин должен был назвать кандидатуры в первый состав Совета, внутренне он, как правильно отмечает С. М. Соловьев, был против его создания (стр. 280—281), поскольку понимал, что теперь его влияние на ход государственных дел заметно уменьшится. Императорский совет стал играть большую роль в управлении страной, так как все важнейшие решения, например в области внешней политики, в частности ведения войны с Турцией, в этот период принимались на нем. И все-таки это был лишь совещательный орган при Екатерине II, и все его постановления принимались только с ее согласия. С. М. Соловьев сообщает о наиболее важных заседаниях Совета, рисует борьбу двух основных группировок внутри него, возглавляемых Н. И. Паниным и Г. Г. Орловым, за власть и влияние на Екатерину II, а также отмечает их вынужденные компромиссы, когда речь шла о вопросах, затрагивавших коренные, национальные интересы России.

Довольно объективно и правдиво изображает С. М. Соловьев состояние и работу центральных и местных органов власти. Страшная волокита и медлительность в решении дел, казнокрадство и взяточничество, произвол — вот что было наиболее характерным для их деятельности. С. М. Соловьев приводит немало тому примеров. Единодушным было требование депутатов Комиссии по составлению проекта нового Уложения об улучшении организации и работы административного и судебного аппарата. Екатерина II стремилась бороться с этими недостатками, издавала новые указы о наказаниях за взяточничество и лихоимство и т. п. Однако предпринимаемые ею меры не достигали цели, да и не могли достичь, потому что государственный аппарат власти не только был оторван от народа, но и противостоял ему, проводя и защищая классовые интересы дворянства. Очень показательно в этом смысле отношение Екатерины к делам о злоупотреблениях администрации, которые нередко выносились на ее утверждение.

С одной стороны, как мы говорили, она пыталась бороться со злом, а, с другой, когда дело доходило до принятия конкретных решений о

наказании преступников, особенно высокопоставленных, она, как правило, ограничивалась весьма легкими мерами. Так, когда белгородский губернатор кн. Г. Шаховской был уличен во взятках, то, по признанию самой Екатерины, он был достоин самого «образцового» наказания — лишения чинов и пр. Но, сославшись на заслуги и ревностную службу его дяди, она просто отрешила Шаховского от дел и сослала в его деревню (стр. 12). С. М. Соловьев описывает немало таких случаев. В то же время, когда некоторые из губернаторов, например упоминавшийся уже Я. Сиверс и сибирский губернатор Д. Чичерин, пытались более решительно пресекать злоупотребления и взыскивать с провинившихся чиновников, то они не получали поддержки в Петербурге (стр. 12—13, 23). Таким образом, как в своих имениях в обращении с крепостными дворяне оставались безнаказанными, так и на службе им можно было не очень-то бояться: императрица была милостива.

Такая противоречивость политики Екатерины II в данном вопросе, не замеченная, кстати, С. М. Соловьевым, объяснялась не только ее стремлением не наживать себе лишних врагов, особенно среди высокопоставленной знати, но прежде всего классовой природой крепостнического государства и его органов власти.

Внешняя политика и русско-турецкая война 1768—1774 гг. Как и обычно в труде С. М. Соловьева, одно из центральных мест в настоящих томах занимают вопросы внешней политики. Перед Россией во второй половине XVIII в. стояли две основные внешнеполитические задачи, которые необходимо было решить: во-первых, задача обеспечения безопасности южных границ и выхода к Черному морю, связанная главным образом с отношениями России и Турции, и, во-вторых, задача воссоединения украинских и белорусских земель, затрагивавшая прежде всего отношения с Польшей. Начало практическому осуществлению их было положено в конце 60-х — начале 70-х годов XVIII в. Этот период и рассматривается в 27—28 томах.

Здесь нет необходимости подробно останавливаться на том, каковы были расстановка международных сил на европейской арене, ход и перипетии внешнеполитической борьбы, течение русско-турецкой войны — все эти вопросы нашли в основном правильное освещение у С. М. Соловьева. Коснемся лишь некоторых проблем, толкование которых им вызывает возражение.

Одной из таких проблем являются отношения России с Польшей. С. М. Соловьев полностью одобряет политику царизма в польском вопросе и тем самым скатывается на шовинистические позиции, не вскрывает классовых корней этой политики. Конечно, требование России о возвращении белорусских и украинских земель было справедливо. Однако нельзя забывать, что, выдвигая это требование, царское правительство заботилось не столько о национальных интересах украинского и белорусского народов, сколько прежде всего о классовых интересах русского дворянства, стремившегося к расширению своей империи.

С. М. Соловьев оправдывает политику беззастенчивого вмешательства царизма в чисто внутренние дела Польши: стремление оправдать решение

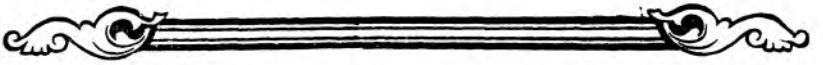
диссидентского вопроса, сохранить «либерум вето» и др., что также не может не вызвать нашего возражения

Наконец, нельзя снимать с России и ответственности за первый раздел Польши. С. М. Соловьев верно подчеркивает, что инициаторами раздела были Пруссия и Австрия, а не Россия, и только осложнившаяся международная обстановка заставили ее пойти на такой шаг. Ведь в результате раздела Пруссия и Австрия захватили никогда не принадлежавшие им исконные польские земли, что явилось прологом к ликвидации в дальнейшем Польши как самостоятельного государства. С М Соловьев хотя и пишет, что радость по поводу возвращения части белорусских земель омрачалась мыслью о разделе, о незаконности захвата Пруссией и Австрией польских земель, тем не менее по существу оправдывает позицию Екатерины II (стр. 608—610)

Нельзя согласиться и с рассуждениями С. М. Соловьева о правах победителей и побежденных, в которых он пытается доказать справедливость военных захватов чужих территорий. Он заявляет, что «Белоруссия была приобретена по праву войны, по праву победы. Вопроса о справедливости или несправедливости с русской стороны и быть не могло». И далее: «Против присоединения Белоруссии по праву войны не могло быть никакого нравственного возражения» (стр. 609—610). Но присоединение части белорусских земель к России было справедливо не потому, что оно было осуществлено в результате военной победы, а потому, что белорусский народ издревле входил в состав Русского государства и в данном случае Россия лишь возвращала отторгнутые у нее в свое время Польшей земли.

Вряд ли прав С. М. Соловьев, когда пишет, что Россия была совсем не подготовлена к войне с Турцией (стр. 280). Верно то, что Россия не готовилась к нападению на Турцию, которая сама развязала войну. Но русская армия и флот, прошедшие хорошую выучку в недавно закончившейся Семилетней войне и опиравшиеся на хорошо развитую военную экономику, были, несомненно, готовы как к отражению турецкого нападения, так и к нанесению ответного удара. Блестящие победы при Ларге, Кагуле и Чесме, одержанные над превосходящими турецкими силами, вполне доказывают это. Не могла и Екатерина II, если бы Россия не была подготовлена к войне, писать в таком уверенном тоне И. Г. Чернышеву в начале войны: «Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором (с Турцией. — *И. Б*) .. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства не маленькие.. » (стр. 280).

В настоящих томах С. М. Соловьев доводит историю русско-турецкой войны до 1772 г., когда было заключено перемирие и начались переговоры о мире. Окончание войны, а также внутриполитическое состояние России в период войны С. М Соловьев рассматривает в последнем, 29 м томе своего труда.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абдул-Керим-эфенди 453
Аввакум, архимандрит 615
Август II, курфюрст саксонский, король польский 392—394
Август III, король польский 217, 274, 394
Августин 78
Авсеенко В. Г. 269, 270
Азамет-ага 454
Азанчевский, поручик 201
Акинфиев, помещик 19
Аксаков, уфимский вице-губернатор 110
Алексей Михайлович, царь 14, 609
Али-ага 452
Али Молдаванджи-паша 290, 292
Али Чингис-хан См Чингис-хан
Алоэ, саксонский агент в Польше 187, 188
Алфимов, депутат в Комиссии об Уложении 101
Альберт, принц саксонский, герцог тешенский 258, 344
Андриевский, камердинер великого князя 26
Анна Ивановна (Иоанновна), императрица 25, 183, 281, 282
Аннибал (Ганнибал), карфагенский полководец 358, 363
Анреп, капитан 239
Антиох, царь сирийский 168
Антоний Марк, римский политический деятель 395
Антонов, депутат в Комиссии об Уложении 93, 94, 96
Апраксин Петр, граф, генерал-майор 198, 236, 238, 329, 593
Апраксин Степан Федорович, генерал-фельдмаршал 303
Арф, контр-адмирал 375, 465
Ассебург, датский посланник в России 223
Аттик, римский писатель 189
Ахмет-бей, владетель Таманского полуострова 455

Барков, капитан 376
Бартенев Петр 269
Барышников, купец 312
Баскаков Михаил 32, 33, 64
Бастевик, секунд-майор 369
Батурин Иоасаф Андреевич, полковник 132, 133
Батырь-Гирей, крымский султан 455
Батюшков, корнет 133
Баур, генерал-квартирмейстер 364, 367, 439
Бахметьев, вахмистр 22
Беарде де Лабей, член Дижонской академии 102, 103
Безбородко, предводитель дворянства 41, 43, 44
Безобразов, губернаторский товарищ 12
Бекария, маркиз 266
Бекетов, астраханский губернатор 14, 15
Бекович, обер-офицер 297
Белич Ефим, поручик 304, 305, 312
Бельке 277, 317, 434, 546, 553, 602, 603
Белянин Конон, казак 22

Бенуа, прусский резидент в Польше 152, 159, 160, 168, 200, 201, 208, 324, 334, 337—339, 423, 425—427, 502, 512, 516, 524, 525, 571, 578, 579
Беранже, французский поверенный в делах в России 394
Бернсторф, граф, министр иностранных дел Дании 179, 219—223, 257, 258, 349, 350, 406, 431—435, 531—533, 536, 601, 602
Бестужев-Рюмин (Бестужев) Алексей Петрович, граф, канцлер 10, 11, 183
Бестужев-Рюмин (Бестужев) Андрей Алексеевич, граф 7, 11, 12
Бецкий (Бецкой) Иван Иванович, генерал-поручик, деятель просвещения 30, 36, 224, 398, 613
Бибиков Александр Ильич, маршал Уложенной комиссии 73, 75, 120—122, 237, 292, 414, 507, 518, 520, 522—526, 538, 567, 568, 571, 574, 622
Билоу 351
Бинаки, грек 284
Биржинский, начальник конфедератов 330
Блумен фон, депутат в Комиссии об Уложении 116
Блюм, датский посланник во Франции 534, 535
Бобровский, польский шляхтич 245—247
Бовар Марко Вукович 309, 310
Богадырь ага 455
Богдан Хмельницкий. См. Хмельницкий Богдан
Богуш, генеральный секретарь конфедерации 417
Бодо, аббат, польский эмиссар в Петербурге 331
Болонкин Михаил Алексеевич, крестьянин 122
Борис Годунов, царь 48
Борк, граф, шведский посланник в Австрии 530, 531
Боркен, прусский посланник в Дании 220—222
Борх, вице-канцлер польский коронный 335, 337, 423, 505, 516
Боярдо Маттео, итальянский поэт 342
Браницкий, граф 322, 323, 330—332, 337, 505, 506, 508, 579
Браницкий Ян, граф, великий гетман коронный 159, 198, 523
Брант, граф датский 536, 603
Бретейль, барон, французский посланник в Швеции 173, 174, 218, 219, 256
Брольи, граф, французский посланник при польско-саксонском дворе 584
Бростовский, граф 190, 208
Броун, лифляндский генерал-губернатор 29, 37
Брюс Яков, граф 86, 103, 367
Брюс, графиня 291
Буквин, асессор 16
Буковал, албанский старшина 305
Букувало, грек, капитан 284
Бурман, полковник 233, 236
Бутков П. Г. 614
Бутурлин Александр Борисович, граф, фельдмаршал 17

Вадбольский, князь, полковник, губернаторский товарищ 13
Валькруассан, драгунский полковник, французский агент 345, 383
Вандини, итальянец 311
Варнстет (Варнстьет), камергер датского двора 351, 431
Варрон Марк Теренций, римский ученый, писатель, поэт 78
Василий Петрович, черногорский митрополит 307—309
Васютинский, казак 24
Веймарн, генерал-поручик 264, 507, 522, 574
Вейсман, полковник, потом генерал-майор 234, 447, 450
Велепольский, краковский земский посол 209
Вельгурский, кухмистр литовский 188, 197, 200, 201, 203, 348, 566
Вержень, французский посланник в Швеции 589, 590
Веселицкий, канцелярии советник, русский поверенный в делах при хане 373, 453, 457, 458, 552
Вессель, граф, великий казначей коронный 135, 136, 190, 201
Вильбоа (Вильбуа), депутат в Комиссии об Уложении 114, 115
Виргилий, римский поэт 262
Владимир Святославич, великий князь киевский 82, 243
Воейков Федор, генерал-аншеф, киевский губернатор 26, 299
Войнич, войт 25

Волков Дмитрий Васильевич, бывший оренбургский губернатор 22, 32
Волковойнов, бургомистр 14
Волконские 11
Волконский Михаил Никитич, князь, сенатор, посол в Польше 56, 73, 277, 281, 291, 320, 326—339, 357, 420—427, 442, 502, 503, 507, 510, 512, 553, 554, 619
Волынецкий, шляхтич 245—247
Волынский, воевода 190
Волынский Артемий Петрович, государственный деятель 65
Вольтер Франсуа Мари, выдающийся французский мыслитель 52, 277, 317, 318, 358, 440, 553
Вонж, управляющий имением 246
Вонифатьев, депутат в Комиссии об Уложении 91
Воронцов Михаил Ларионович, граф, канцлер 123, 183
Воронцов Роман Ларионович, граф, сенатор 17, 57, 103
Воронцов Семен Романович, граф, подполковник 367
Вяземский Александр Алексеевич, князь, генерал-прокурор 57, 63, 71, 103, 120—122, 281, 282, 362, 614

Габель 351
Габсбурги 473, 580
Гавриил, тверской епископ 8, 279
Гагарин, князь, президент Коллегии экономии 8
Гакстгаузен, датский граф 602
Гамолинский, эмиссар конфедератов 348
Ганнибал, бригадир 376
Гелер, датский генерал 533
Гендрикова 386
Гензель, майор 448
Генрих, принц прусский, брат Фридриха II 265, 357, 395, 396, 404—415, 424, 429, 438, 442, 468—471, 473, 479, 494, 557, 565, 566, 595, 612, 616, 618
Генрих VIII, король английский 196
Георг III, король английский 605
Георгий Конисский, белорусский епископ 136, 206, 242—245
Гераклий, грузинский полководец 293
Гервасий, переяславский епископ 244, 245, 247, 248, 263
Гервель, шведский королевский библиотекарь 527
Геркулес, мифологический герой 166
Германсон 174
Герне, граф, шведский сенатор 528, 529
Герц, граф, датский полковник 221, 222
Гика Григорий, молдавский господарь 447
Гильденкрон, датский посланник в Швеции 534
Гинь де, герцог, французский посланник в Берлине 341
Гиреи 371, 453, 454, 478
Глазов Михаил, депутат в Комиссии об Уложении 80, 117, 118
Глебов, генерал-майор 367
Глебов, киевский генерал-губернатор 26
Глейхен, датский посланник во Франции, затем в Неаполе 431
Глинков, депутат в Комиссии об Уложении 91, 94, 96
Годунов Борис. См. Борис Годунов
Голицын, князь, полковник 330
Голицын Александр Михайлович, князь, вице-канцлер 72, 103, 281, 320
Голицын Александр Михайлович, князь, генерал-аншеф 277, 280, 281, 283, 284, 288—292, 316, 320, 344, 451, 614
Голицын Дмитрий Михайлович, князь, посланник в Австрии 214, 215, 254, 255, 479, 482, 496, 498—500, 530, 556, 557, 559—562, 615, 621
Голицын Михаил Михайлович, князь, фельдмаршал 613
Голицына, княгиня 19
Голицыны 435
Голохвастов, депутат в Комиссии об Уложении 85
Гольк, датский граф 257, 351
Гольц фон, граф 145, 187, 421
Гольц, барон, полковник, прусский посланник в Париже 342, 348
Гольцы 151
Гольштейн-Бек, принц, генерал-фельдмаршал, эстляндский генерал-губернатор 37
Гонта Иван, казацкий сотник, руководитель крестьянского

восстания на Правобережной Украине 248—250
Горн, барон, шведский полковник 351, 595
Горн, фрейлина шведской королевы 219
Гофман, шведский крестьянин 173
Грабовский, генерал 187
Грейг, контр-адмирал 383, 385
Гросс, русский полномочный министр в Англии 179, 615
Гросс, русский советник посольства в Англии 179
Гротенгельм, полковник 239
Гроций Гуго, голландский юрист, философ, государственный деятель 182
Гудович, бригадир 367
Гудрик, английский посланник в Швеции 355, 527, 529
Гуннинг Роберт, английский посланник в России 575, 605—608
Гуровский, граф, маршал литовский 198, 421, 505
Гурьев, полковник 251
Густав, наследный шведский принц 171, 353
Густав III, король шведский 526, 529, 530, 547, 587, 590—595, 599, 623
Густав-Адольф, король шведский 429, 591

Давид, архимандрит Гамалеевского монастыря 25
Давыдов Михаил, депутат в Комиссии об Уложении 118
Давыдовский, писарь 26
Д'Аламбер (Даламбер) Жан Лерон, французский философ 66
Далила 407
Дальтон, австрийский генерал 566—568
Делагарди, граф, шведский камергер 219
Демидов 20, 21
Демидов, депутат в Комиссии об Уложении 116
Демидовы 21
Денгоф, граф, прусский посланник в Швеции 527, 530, 587
Дервецкий, премьер-майор 123
Держановский, предводитель конфедератов 238
Джалим-бей 453
Джан-Мамбет-бей, мурза 373, 452, 453, 460, 461
Джахан-Гирей, ширинский князь 455
Джури 47
Дидона 262
Дик, английский консул в Ливорно 537
Димитрий Сеченов, новгородский митрополит 8, 50, 72, 131
Димсдаль, английский доктор 278, 279
Дитрихштейн, граф, австрийский дипломат 569, 570
Дмитриев, купец 14
Дмитриев Иван, капитан 58
Дмитриев-Мамонов 622
Дмитрович, медовый шафар Киевского магистрата 26
Дмитряки, грек, капитан 284
Долгорукий Василий Владимирович, князь 183
Долгорукий Василий Михайлович, князь, генерал 442, 451—458, 460, 461, 554, 620
Долгорукий Владимир, князь, русский посланник в Пруссии 254, 265
Долгорукий Петр, князь, майор 376
Долгорукий Юрий Владимирович, князь, генерал-майор 237, 277, 292, 312—315, 367, 375, 379, 380
Долгоруковы 615
Долинский Григорий, подкормий 44, 46
Дон-Кихот 513
Древиц, майор 238, 240
Дубровин Андрей, купец 15
Дубровин Дмитрий, купец 15
Дубровин Михаил, купец 15
Дубровины, купцы 15
Дулов, подьячий провинциальной канцелярии 55
Дурини, папский нунций 200, 522
Дуска, казацкий сотник 249
Дюбарри, графиня 581
Дюбен, барон, шведский сенатор 588
Дюмурье, французский капитан 357, 416—418, 519, 584
Дюран, французский поверенный в делах в России 538, 585—587, 599, 600, 611
Дюрас, французский герцог 258

Евгений, принц 252
Екатерина II Алексеевна, императрица 7, 8, 10, 11, 18, 24—26, 30—36, 38, 39, 44, 48—56,

60, 62—66, 71—74, 100, 102, 110, 114, 116, 117, 119, 122, 125, 132—134, 140, 145, 148, 152, 157, 158, 169, 171—173, 175, 176, 178, 181, 189, 200, 211, 213, 216, 224, 225, 233—235, 238, 242, 254, 255, 262, 265, 269, 270, 277—280, 282—286, 288—290, 292—301, 303—306, 308, 310—312, 316—318, 321, 326, 331, 340, 341, 344, 354, 357—360, 362, 365—370, 375, 376, 378, 380—382, 385, 388, 389, 398, 403—405, 407, 408, 412—415, 418, 419, 424, 433, 434, 437, 440, 442—444, 446, 448, 449, 456, 457, 462—465, 467, 469, 470, 481, 482, 494, 498, 502, 507, 523, 526, 530, 531, 537—539, 546, 549, 553, 557, 571, 576, 580, 581, 587, 588, 592, 593, 595, 596, 602, 603, 608—623
Елагин Иван Перфильевич 51
Елена 243
Елизавета (Елисавета) Петровна, императрица 8—10, 25, 36, 53, 63, 65, 123, 132, 133, 176, 183, 286, 307, 343, 346, 386, 483, 580
Елчанинов (Ельчанинов), киевский обер-комендант 26
Елчанинов, подполковник 367
Ельфинстон. См. Эльфинстон
Еникеев, помещик 17
Енин, однодворец 126
Ермаков, депутат в Комиссии об Уложении 119
Ермолаев, обер-секретарь Сената 19
Ефремова Мария, вдова тайного советника 126

Железняк Максим, предводитель крестьянского восстания на Правобережной Украине 247, 249, 250
Жерар, французский резидент в Данциге 345, 415, 502, 571, 576, 616
Жеребцов, олонецкий воевода 13
Жеребцов, бывший московский губернатор 13
Жермэн С., граф, датский фельдмаршал 221, 222, 534, 535, 602
Жерноклев, однодворец 57
Жилин, тамбовский прокурор 16
Жиляев, однодворец 126
Жоффрэн Мария-Терезия 189, 197, 235, 248, 335, 524
Жудро, грек, капитан 284
Жуков, пензенский воевода 8
Жуков Алексей, каптенармус 9, 10
Жукова (урожденная Полтевых) Варвара Николаевна 9
Жуковы 7—9

Залуский, киевский епископ 209, 210
Замойский, граф, канцлер 321—323, 337
Замятин, генерал-майор 362
Заремба, начальник конфедератов 423
Зарудный, депутат в Комиссии об Уложении 80
Зегелин, прусский посланник в Турции 253, 493, 502

Иван, поп 182
Иван (Иоанн) Алексеевич, царь 298
Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный, царь 372
Иван VI Антонович, император 309
Иван Петрович, черногорец 308
Иванов, депутат в Комиссии об Уложении 95
Игнатьев, депутат в Комиссии об Уложении 79
Игельстром, полковник 209, 225, 236, 237, 367
Измаил, ширинский мурза 455
Измайлов, генерал-майор 237, 239
Ильин, лейтенант 381
Иннокентий, псковский епископ 8, 131
Иоанн. См. Иван
Иосиф II, император 277, 310, 343, 344, 357, 390, 395, 396, 398, 399, 402, 404, 405, 414—416, 442, 477, 483, 484, 494, 495, 498, 530, 540, 542, 556, 558, 559, 562, 566, 584, 585, 616, 618, 621, 622
Ираклий, грузинский царь 295, 386—388, 462
Ирман, генерал-майор 123, 124
Исаак 382
Искрицкий, земский судья 41
Иуст, архимандрит Пыскорского монастыря 57, 58

Казаскер-эфенди 452
Калинг, шведский сенатор 172

Кальнишевский, кошевой атаман 47
Каменьщиков, казак 7, 20—22
Кантакузин, валашский вельможа 293
Каплан-Гирей, крымский хан 372—374
Кар, полковник 190, 194, 195, 233, 236, 237
Каразин Назар, болгарин, подполковник 285, 293, 305, 378
Карл, принц гессенский 604
Карл, принц саксонский 188, 348, 421
Карл, принц шведский 526
Карл XII, король шведский 393
Каролина-Матильда, датская королева 431, 531, 532, 600, 602, 605
Карташов, депутат в Комиссии об Уложении 95
Кастера 622
Катанео, венецианский граф 615
Каткарт, лорд, английский посланник в России 262, 285, 320, 356, 435—438, 440, 451, 536, 537, 605, 620
Кауниц, князь, австрийский канцлер 254, 261, 314, 342, 343, 347, 357, 395, 397—402, 406, 409, 412—415, 473, 476—480, 482—486, 488, 490, 491, 494—502, 516, 538, 540, 542, 556, 558—564, 566, 569, 570, 584, 621
Качалов Василий, крестьянин 21
Кашпирев В. 615
Кашталинский, белевский воевода 16
Квашнин-Самарин, казанский губернатор 19
Кейзерлинг, граф 154, 226, 346, 520
Кейт, английский посланник в Дании 601
Кейт, генерал 520
Кернинг, шведский бургомистр 353
Килдишев, князь, бригадир 123
Кларк 182
Клерон, французская актриса 186
Климент XIII, папа 200
Климов, купец 15
Кожин, депутат в Комиссии об Уложении 88
Кожуховский, шляхтич 206—209
Козельский Я. И., депутат в Комиссии об Уложении 81
Козицкий Григорий, секретарь графа Гр Орлова 26
Козлов, генерал-рекетмейстер 49
Кокцей, барон, прусский посланник в Швеции 173, 351, 429
Кологривов, асессор 55
Колюбакин, офицер 448
Конашевич см. Лука Конашевич
Конде, принц 258
Конисский Георгий См. Георгий Конисский
Константин 243
Коробьин Григорий Степанович, депутат в Комиссии об Уложении 96
Корф Николай, барон, русский посланник в Дании 178, 179
Косаковский, начальник конфедератов 239
Косач, полковой писарь 47
Кочетов, ярославский воевода 50
Кочубеи 28
Кочубей, генеральный обозный 42
Красинский, каменецкий епископ 144, 186, 191, 201, 216, 217, 258
Красинский, подкоморий розанский 232
Красовский Антон, полковник 48
Кречетников, генерал-майор 201, 233—238, 250
Кропотова 133
Кругликов, управитель заводами 22, 23
Крым-Гирей, крымский хан 288, 372
Кудрявцев, галицкий воевода, статский советник 13
Кузминский, поляк 523
Кузнецовы, купцы 15
Кулалеев, прапорщик, приказчик Демидовых 121, 122
Кумудуро, грек, капитан 284
Куприанов, мастеровой 54, 55
Кутлубицкий, толмач 373, 374

Лазарев, казак 24
Ландингсгаузен 174
Ларионов, депутат в Комиссии об Уложении 94
Ларош, агент молдавского господаря 168
Ласси. См. Леси
Лебедев, лекарь 133
Ленарт, уманьский комендант 249, 250
Леонтьев, помещик, генерал-аншеф 56, 57, 120
Леопольд, австрийский принц, брат императора Иосифа II 165, 402, 483, 495, 559, 562, 566

Лермонтов, депутат в Комиссии об Уложении 105
Леси (Ласси), граф, австрийский генерал 570
Летков, крестьянин 122
Лё С., полковник, польский эмиссар в Петербурге 331
Ливен, подполковник 233
Лизакевич, переводчик 582
Линар, граф, саксонский посланник в России 357, 390, 391
Литвинов, секретарь воеводской канцелярии 13
Лобкович, князь, австрийский посланник в России 476, 477, 479, 480, 482, 486, 494, 498, 499, 559, 565, 568, 619
Лопухин, подполковник 120
Лопухин, полковник 508
Лопухин Абрам, полковник 57
Лопухин Степан, поручик 57
Лопухины, помещики 56
Лука Конашевич, казанский епископ 53
Львов, поручик 386, 387
Львов Михаил, генерал-майор 237
Любомирская, княгиня 245
Любомирские, князья 245
Любомирский, князь, великий маршалок коронный 157, 208, 245, 322, 323, 337, 422, 505, 514—516, 574
Любомирский, князь, воевода любельский 245
Любомирский, князь, подстолий литовский 232, 245, 246
Людовик XV, король французский 416, 418, 579, 581, 584, 585, 599, 619, 623
Людовик XVI, король французский 623

Мавроев, переводчик 452, 453
Мавромихали, грек, капитан 284
Мавромихали, маинский старшина 305
Магомет Эмин-паша, великий визирь 290
Макартней, лорд, английский посланник в России 159, 180, 182—184, 218, 223, 262
Макиавелли (Макиавель), итальянский писатель и политический деятель 505
Макрановский, поляк 235, 421
Макрипули, грек, капитан 284
Максим, кутаисский митрополит 295
Макулов, асессор 55
Малчевский 240
Мамыкин, беглый солдат 132
Марк, монах-кармелит 232, 236
Мария-Антония, саксонская курфюрстина 394
Мария-Антуанетта, эрцгерцогиня 389, 580, 623
Мария-Терезия, императрица 169, 261, 342, 344, 357, 389, 394—396, 398, 399, 401, 402, 414, 484, 485, 494, 496, 499, 530, 542, 557, 558, 570, 584, 585, 616, 618, 621—623
Маркок Александр Данилович 279, 613
Мартенс Ф. Ф. 623
Маруцци, маркиз, русский поверенный в делах в Венецианской республике 312—314, 316
Масальские 140, 141, 144, 157
Масальский, виленский епископ 157, 329—331, 504
Маслов, воронежский губернатор 17, 54
Маслов, генерал-майор 15
Матильда. См. Каролина-Матильда
Медведев, солдат 126
Медекша, начальник конфедератов 239
Медем, генерал-майор 7, 15, 296
Медер, генерал-квартирмейстер 364
Медер, купец 31
Меженинов, депутат в Комиссии об Уложении 92, 93
Мелехов, асессор 55
Мелис-мурза 452
Мелиссино, генерал-майор 367
Мелиссино, обер-прокурор Синода 25
Мелхиседек, игумен Мотренинского монастыря 244, 247, 248, 263
Мельгунов, сенатор, депутат в Комиссии об Уложении 85
Мельников, управитель заводов 22, 23
Мерзляков Кузьма, крестьянин 20
Мерк, советник русского посольства в Вене 312
Мерси д'Аржанто, граф, австрийский посол во Франции 346, 396, 584, 585, 623
Местмахер, секретарь русского посольства в Дании 433, 434, 532—536, 600—604
Метлин, кадомский воевода 58

Мещерский, князь, член Малороссийской коллегии 47
Милорадович, полковник 42, 47 450
Миних, граф, корнет 288, 289, 614
Миронов, депутат в Комиссии об Уложении 81
Митчел (Митчель), английский посланник в Пруссии 220
Михаил Федорович, царь 14
Мишков, помещик, поручик 126
Младанович, главный управитель киевского воеводы Потоцкого 248—250
Млодзеевские 422
Млодзеевский, великий канцлер коронный, познаньский епископ 322, 422, 502, 504, 505, 572, 576
Мнишек, граф, маршалок надворный 186, 191, 194, 198, 201, 209, 336, 424, 504
Модэн де, граф, французский посол в Швеции 256, 355
Моисей 243
Мокрановский см. Макрановский
Мольтке (Молтке), граф, датский обер-маршал 179
Монтескье (Монтескиу) Шарль Луи, французский просветитель 33, 266, 288
Мордвинов, адмирал 301
Мосальский см. Масальский
Мощинский, люблинский кастелян 234
Муравьев, оренбургский губернаторский товарищ 58
Мусин-Пушкин Алексей, граф, статский советник, полномочный министр в Англии 179, 258, 259, 537, 605
Мустафа, султан 485
Мустафа-ага, татарин 454, 455

Нарышкин Алексей, камер-юнкер 440, 441
Нарышкин Семен, депутат в Комиссии об Уложении 83
Натальин, депутат в Комиссии об Уложении 105
Некрасов, купец 15
Неплюев Иван Иванович, сенатор 110
Никифоров, крестьянин 126
Никифоров, русский консул в Крыму 170
Николай, папа 115
Николай Петрович, черногорец 308
Ногаткин, капитан 445
Ноллис, английский адмирал 446
Нумерс, генерал-поручик 210, 238
Нюгент, австрийский посланник в Пруссии 397

Обрезков Алексей Михайлович, русский резидент в Турции 170, 215—218, 226, 227, 235, 241, 242, 251—254, 261, 280, 389, 390, 403, 408, 411, 438, 443, 444, 466, 477, 496, 538, 545—549
Обух, полковник 249
Обухова, жена полковника 249
Огинская, княгиня 574
Огинский, князь, великий гетман литовский 509, 518, 519, 574, 616
Огинский, князь 336, 338
Огродский, управляющий кабинетом Станислава-Августа 190, 191
Одоевский Иван, князь, секунд-ротмистр 456
Озеров, генерал 450
Октавий (Октавиан-Август), римский император 395
Олиц, генерал-аншеф 367, 447, 448
Олсуфьев, полковник 16
Олсуфьев, помещик, бригадир 120
Олсуфьев, Адам Васильевич, сенатор 23, 29
Олсуфьевы, помещики 56
Опочинин, адъютант 133
Опухтин, поручик, помещик 16
Орлов Алексей Григорьевич, граф 224, 277, 292, 303—305, 307, 311, 313, 314, 357, 374—386, 407, 439, 442, 451, 462—465, 492, 537
Орлов Владимир Григорьевич, граф 103
Орлов Григорий Григорьевич, граф, генерал-фельдцейгмейстер 26, 71, 73, 100, 103, 145, 154, 224, 277, 278, 281—285, 303, 311, 320, 321, 357, 358, 360, 365, 388, 408, 435—439, 445, 471, 503, 506, 512, 523, 538, 539, 544—550, 562, 570, 611—613, 619, 622
Орлов Иван Григорьевич, граф, депутат в Комиссии об Уложении 73
Орлов Федор Григорьевич, граф, генерал-поручик 73, 103, 104, 303, 374, 381, 383, 385, 463, 465
Орловы 103, 133, 183, 224, 303

Осман-эфенди, турецкий уполномоченный на конгрессе 546, 622
Осокин Петр, заводчик 130
Оспенный. См. Маркок
Оссолинский, сендомирский староста 186, 188, 197
Остен, барон, министр иностранных дел Дании 433—435, 532—536, 601—604
Остерман Иван Андреевич, граф, русский посланник в Швеции 171—176, 219, 220, 255—257, 351—355, 405, 427—431, 526—531, 534, 587—593, 596
Острововы. См. Орловы
Островский, куявский епископ 502

Павел, тобольский митрополит 131
Павел Петрович, великий князь 71, 133, 176, 310, 532
Павлуцкий, шихмейстер 55
Панас, войт 46, 47
Панин Никита Иванович, граф, дипломат, государственный деятель 49—51, 53, 54, 120, 133, 134, 136—143, 145, 146, 148, 151, 152, 155—159, 161, 168—172, 174, 175, 179—181, 183—185, 188, 190, 195, 197, 198, 200—206, 210, 211, 213, 215, 218—231, 233—236, 240, 241, 244, 252—254, 257, 259, 262—265, 280—283, 289, 292, 295, 297, 302, 313, 316, 320, 321, 330, 331, 334, 336—338, 340, 341, 346, 348, 350—352, 355, 357, 385, 387, 388, 391, 403, 404, 406, 408—411, 414—416, 421, 423, 424, 427, 429—431, 433—439, 442, 444, 447, 451, 452, 458—460, 464, 468, 471, 472, 475—479, 485, 488, 489, 492, 498—500, 502, 503, 505—508, 510—514, 516, 520—527, 529, 531, 532, 534, 536, 538, 539, 543, 544, 546—550, 553, 554, 556, 557, 560, 563—565, 568—571, 573—576, 583, 587, 590, 593, 594, 596, 599, 600—604, 606—608, 611, 612, 615, 619—621
Панин Петр Иванович, граф, генерал, сенатор 29, 57, 73, 85, 277, 281, 284, 291, 292, 299, 321, 357, 365, 368—370, 372, 373, 389, 442, 450, 451
Панины 291, 451
Паоли Паскаль, предводитель восстания на Корсике 277, 316, 615
Папазули, грек, офицер 284, 285
Паткуль 393
Патрикеев, майор 133
Пахомий, тамбовский, потом устюжский епископ 129
Пац, генеральный маршал конфедерации 417
Песоцкий, бывший войт 47
Петр, апостол 614
Петр I Алексеевич, император 7, 28, 35, 36, 45, 53, 61, 68, 77, 78, 81, 83, 84, 89, 94, 101, 113, 133, 177, 183, 217, 294, 298, 304, 307, 318, 382, 393, 413, 421, 440, 579
Петр II Алексеевич, император 183
Петр III Федорович, император 22, 132, 133, 137, 161, 176, 286, 308—310, 315
Петров А. Н 614, 619
Петров Кирилл, церковник 57
Петровичи, черногорцы 308
Петушин, венецианский грек 305, 312
Пехлин, шведский генерал-майор 353, 529
Пивоваров, прокурор Киевской губернской канцелярии 26
Пилюля. См. Струензе
Пиний, чиновник Иностранной коллегии 458, 459
Писарев, однодворец 126
Питт, английский министр 180
Плевкович Софроний. См. Софроний Плевкович
Племянников, генерал-поручик 367
Плохово Алексей, помещик 17
Плутарх, древнегреческий писатель 578
Победоносцев К П 267
Побирахин, однодворец 57
Подгоричани, генерал-майор 233, 234, 236, 311, 358, 367
Подоский, референдарий коронный, потом примас 186, 188, 193—197, 201, 202, 204, 336, 503, 504, 510, 511
Позняков, член Коллегии экономии 8
Поленов 103
Поленов Д 270
Полтевых См. Жукова
Поль С, француз, агент польского короля 336

Понинский, граф, кухмистр коронный 198, 330—332, 421, 504, 505, 511
Понятовские 422
Понятовский, аббат 193
Понятовский, граф 578
Понятовский, князь 516
Понятовский, обер-камергер 321
Понятовский Станислав См Станислав Понятовский
Попилий, претор 168
Попов Александр, купец 129
Попов Алексей, депутат в Комиссии об Уложении 89
Порошин, главный командир Колывано-Воскресенских «заводов» 22, 23
Посошков Иван Тихонович, публицист 62
Потемкин, генерал-майор 358, 367, 450
Потоцкие 137, 140, 336, 338
Потоцкий, воевода киевский 186, 188, 191, 194, 198, 201, 216, 217, 248
Потоцкий, коронный кравчий 190, 197
Потоцкий Иоахим, подчаший литовский 232, 234, 318, 319
Похвиснев, депутат в Комиссии об Уложении 116
Походяшин, заводчик 123
Поцей, литовский стражник 197
Пребышевская Анна 133
Преженцов, купец, староста 15
Привалов Денис, городской голова 46, 47
Прозоровский, князь, генерал-майор 236, 238, 240, 290, 321, 551
Протасов, депутат в Комиссии об Уложении 105
Прощин, поручик 582
Пршездецкий, вице-канцлер литовский 337, 423, 505, 574
Псарский, польский поверенный в России 234, 237, 331, 339, 503
Пулавский Иосиф, адвокат, маршалок конфедерации 232, 246, 248, 417, 423, 523
Путятин, князь, оренбургский губернатор 12, 48, 109
Путятин, князь 554
Пуффендорф Самуил, юрист и историк 79, 182
Пучков, коллежский советник 307, 308
Пыхтин, однодворец 126
Пясты, династия польских королей 329, 336, 421
Равальяк, убийца короля Франции Генриха IV 141
Радзивилл (Радзивил), князь, воевода виленский 186—188, 190, 192, 194, 195, 206—209, 239, 417
Разумовский, нежинский полковник 45
Разумовский Алексей Григорьевич, граф, фельдмаршал 281
Разумовский Кирилл Григорьевич, граф, сенатор 279, 320, 438, 613
Ранцау, граф, датский министр, генерал 431, 433—435, 533, 534, 600—603
Расторгуев, купец 130
Ратиев, подполковник 387, 388
Рашкович, депутат в Комиссии об Уложении 105
Ревентлау, датский граф 223
Ревицкий, барон, австрийский уполномоченный в Польше 576, 578
Резцов Михаил, сенатский курьер 21
Ременников, майор 387
Ренненкампф, депутат в Комиссии об Уложении 114
Ренье Антоний, генеральный провизор Далмации 615
Репнин Николай Васильевич, князь, русский посланник в Польше 134—137, 139—159, 184—198, 200—213, 217, 225—227, 229—231, 233—241, 244, 247, 248, 264, 277, 321—325, 327, 328, 331, 333, 334, 336, 364, 367, 422, 425, 426, 448, 449, 503, 504, 507, 520, 619
Репнин Петр Иванович, князь, обер шталмейстер 17, 124
Ржевуский 421
Ржевуский, граф, гетман польный коронный 135, 227
Ржевуский, граф, писарь коронный 139—141, 145—147, 153, 157, 523
Ржевуский Вацлав (Венцеслав), воевода краковский 209, 210
Ржевуский Северин, староста долинский 201, 210, 227
Риддерстолп, шведский барон 529, 588
Ришелье, французский государственный деятель, кардинал 579
Ришкур, граф, австрийский генерал 567, 568

Рогалинский, граф, маршал надворный литовский 502—504
Роган, принц, французский посол в Австрии 584
Рогашевский, кассир у воеводы Потоцкого 248, 250
Роде, прусский посол в Австрии 491, 495
Рожевский, глава люблинской конфедерации 232
Рокингам, лорд, первый министр 180
Романиус, генерал поручик 567, 568
Рошфор, лорд, управляющий северным департаментом 260, 261, 355, 356, 436, 437
Руденшильд, шведский сенатор 171
Румянцев Петр Александрович, граф, председатель Малороссийской коллегии, генерал-фельдмаршал 28, 38—40, 42—45, 47, 114, 116, 231, 238, 277, 280, 284, 289, 291—293, 299, 317, 357—360, 362—368, 372, 374, 382, 383, 389, 400, 401, 404, 408, 410, 442, 445—449, 451, 465, 490, 499, 539, 544, 547, 548, 550, 592, 617, 622
Румянцева, графиня 291
Рыбников, депутат в Комиссии об Уложении 94
Рыдзинский, предводитель великопольской конфедерации 236
Рычков, статский советник 58
Рюмин, владелец игольной «фабрики» 123, 124
Рюрик, князь 82

Сабатье, французский поверенный в делах в России 585
Савва Петрович, черногорский митрополит 307—310, 313
Савицкий Павел, полковой старшина 47, 48
Сагиб Гирей, хан 442, 455, 457, 550, 552, 553
Сакен, саксонский посланник в России 619
Салтыков, граф, генерал-майор 150, 367
Салтыков, генерал-поручик 237, 240, 321
Салтыков Глеб, ротмистр 124
Салтыков Петр Семенович, граф, генерал фельдмаршал 14, 127, 277, 280, 286, 613
Салтыкова, графиня 19
Салтыкова Дарья Николаевна 124—126, 273
Салтычиха См Салтыкова Д Н.
Сальдерн, голштинец, русский посланник в Польше 137—140, 161—169, 178, 179, 183, 220, 221, 223, 262, 265, 357, 408, 409, 435, 436, 442, 503—516, 518—525, 538, 571—576, 612, 620
Самсон, библейский персонаж 407
Саро Мануил, грек 284, 285, 613
Сафонов, генерал-поручик 17
Свешников Николай 104
Свитен фан, барон, австрийский посланник в Пруссии 413, 474—476, 479, 484, 486—488, 492, 493, 498, 500, 555—559, 564, 569, 575, 619—623
Северин. См. Ржевуский Северин
Селецкий Лаврентий, земский судья 45, 46
Селим-Гирей, хан 374, 442, 452—455
Семенов, поручик 456
Семыкин, купец 15
Сеченов Димитрий См. Димитрий Сеченов
Сиверс Яков, новгородский губернатор 7, 13, 18, 30, 31, 59, 60, 103, 127—129
Сильвестр, архиепископ 115
Симолин 615
Синклер, шведский полковник 172—174, 429
Синявин Алексей Наумович, контр-адмирал 293, 294, 389, 456
Скворцов, бургомистр 14
Скоропадский Иван Михайлович, генеральный есаул 43, 44, 114
Смирдин А 269, 614
Смирнов, депутат в Комиссии об Уложении 83
Собакин, сержант 55
Собеский 417
Соболевский, земский писарь, войтовскии товарищ 47
Солеман, ротмистр 201
Соловьев С М 268, 270, 620
Соломон, имеретинский царь 293, 295, 386, 462
Солтык, краковский епископ 140, 141, 145, 153, 154, 157, 186, 188, 198, 200—204, 209, 210, 216, 217, 226, 338, 426
Солтыков См Салтыков
Солтыкова. См. Салтыкова

Сольмс, граф, прусский посланник в России 160, 165, 169, 214, 225, 265, 320, 344, 391, 409, 437, 468, 470—472, 479, 485, 488—490, 498, 502, 514, 515, 556, 559, 563—565, 568—571, 594—596, 600, 621
Сорбон, шведский бургомистр 530
Сорока, сын священника 47
Сорокин, солдат 132, 133
Сосновский, писарь литовский 245
Софроний Плевкович, черногорский монах 310—312, 615
Спиридов Григорий Андреевич, адмирал 300, 301, 303, 311, 316, 374, 379—383, 385, 442, 462—465
Станислав-Август. См. Станислав Понятовский
Станислав Лещинский, король польский 393
Станислав Понятовский, король польский 137, 141, 145, 148, 154, 156, 157, 186, 189, 192, 193, 195, 196, 205, 211, 212, 225, 234, 235, 237, 239, 248, 258, 261, 274, 319, 322, 324, 329, 331, 332, 335—339, 345, 357, 394, 415, 418, 421—423, 425, 502, 503, 505, 506, 512, 515, 519, 523, 524, 578—580, 591
Станишич, воевода 310
Стафа, грек, капитан 284
Стахиев, русский резидент в Швеции 405, 529
Степан Малый, черногорец 277, 305, 308—316
Стокенстрем, шведский канцлер юстиции 175
Стормонт, лорд, английский посланник в Австрии 261
Стремоухов, подполковник 461
Стремоухов, премьер-майор 42
Строганов Александр, граф, депутат в Комиссии об Уложении 88
Строганова, графиня 183
Струензе (Пилюля), датский лейб-медик, конференц-советник, рекетмейстер 431, 435, 531—536, 600, 602, 603, 605
Студенкин Г. И 271
Ступишин, генерал, депутат в Комиссии об Уложении 85
Суворов Александр Васильевич, генерал-майор 416, 508, 519, 567, 568, 611
Суворов Василий Иванович, сенатор 19
Сульковский, поляк 512
Сумароков Александр Петрович, писатель 32—34, 102
Сухотин, генерал-майор 462
Сычевский, войт 25, 26

Таланов, крестьянин 122
Тамович Марко, черногорец 309
Тарнавиот, отставной полковник 44—46
Таскаев Иван, крестьянин 21
Таубе, шведский камергер 593
Тевкелев, генерал 297
Теймураз, имеретинский царь 295
Телемак, персонаж поэмы Гомера 189
Телепнев Иван Большой, старшина первостатейного купечества 14, 15
Телминов Семен, крестьянин 20
Телминовы, крестьяне 21
Темир-султан, мурза 374
Теплов Григорий Николаевич, государственный деятель 103, 111, 131
Тессин, граф, шведский сенатор 530
Тиллотсон 182
Толмачов, депутат в Комиссии об Уложении 114, 115
Толстая Анна, помещица, генеральша 56, 57, 120
Толстых, купец, сборщик ясака 24
Томатис, итальянский граф 349
Тотлебен, граф, генерал-майор 295, 357, 386—388, 462
Тотт, французский консул в Крыму 242, 252, 383, 536
Трубецкой, князь, полковник 17
Трупаки, грек, старшина 284
Тугут, австрийский посланник в Турции 396, 484, 485, 543, 562
Тургенев 616
Тымберский, предводитель казаков 246, 247

Убаша, наместник Калмыцкого ханства 296
Ульрих, ландрат 37
Ульрих фон, риттершафт-гауптман 37
Унгерн-Штернберг, барон, генерал 104
Уразметев, казанский татарин 53
Ушаков, инженер 448
Ушаков, солдат 132

Фабий, римский полководец 363
Фалкенштейн 161
Фалькенгрен, шведский вице-адмирал 588
Федор, «человек» помещика 22
Феодосий, тамбовский епископ 129, 130
Ферзен, барон, секретарь русского посольства в Дании 179
Ферзен, граф, шведский генерал-фельдмаршал, сенатор 172—174, 352, 427, 526, 529, 588, 598
Философов, генерал-майор, посланник в Дании 178, 179, 219—223, 257, 301, 302, 349, 350, 431, 433, 532
Финкенштейн, граф, прусский министр иностранных дел 214, 254, 260
Флеминг, граф, воевода померанский 329, 330, 337, 423, 426, 504
Фока, грек, старшина 284
Фридрих I, курфюрст бранденбургский, король прусский 392, 393
Фридрих II, король прусский 159—164, 166—169, 214, 220, 223, 224, 253, 254, 259, 260, 265, 273, 274, 277, 278, 339—344, 355, 357, 389—397, 399—415, 427, 429, 442—444, 465—476, 478, 479, 483—486, 488, 490—494, 498, 500, 501, 512, 516, 524, 527, 538, 540, 542, 554—557, 559, 563—566, 568—570, 575, 576, 580, 581, 592, 595, 596, 607, 610—612, 616, 618—623
Фридрих V, король датский 178
Фридрих, датский кронпринц 600, 604
Фридрих-Вильгельм I, король прусский 392, 393
Фридрих-Вильгельм III, король прусский 274, 616, 618, 622
Фризендорф, барон, шведский сенатор 256, 352
Фролов-Багреев, помещик 18, 55
Функ, барон, отставной шведский сенатор 528, 529

Хаджи-Гирей, хан 452
Халил бей 366
Херасков, генерал 368
Хитрово Федор, офицер 133
Хлебовский, ротмистр 232
Хмельницкий Богдан, гетман 27, 28, 41, 45, 111, 113, 249
Хотинский, русский поверенный во Франции 255, 346—349, 538, 581—583, 585—587
Храповицкий, генерал 368
Хрептович, граф, эмиссар польского короля во Франции 418
Христиан VII, король датский 178, 179, 432

Целсинг, шведский посланник в Турции 256
Цесельский, пан 248, 249
Цицерон, римский оратор 189

Чамов, купец 15
Чарторыйские, князья 134—146, 149—152, 154—159, 168, 185, 186, 188—191, 193, 195, 197, 203, 208, 210, 212, 225, 226, 238, 322, 323, 329, 330, 333—339, 345, 420, 423, 426, 503—505, 512, 524, 572—574, 578, 619
Чарторыйский Август, князь, воевода русский 144, 192, 193, 209, 329, 330, 332, 505
Чарторыйский Адам, князь 157, 158, 197, 203, 208, 210, 337
Чарторыйский Михаил, князь, литовский канцлер 136, 139, 146, 152, 225, 226, 330, 422, 516, 523, 574
Чатам. См. Питт
Чацкий, шляхтич 201, 202, 209
Черкасов, барон 63, 103
Черниевич, генерал-майор 362
Чернышев, полковник 518
Чернышев Григорий Петрович 133
Чернышев Захар Григорьевич, граф, вице-президент Военной коллегии, генерал-губернатор Белоруссии 26, 73, 103, 133, 168, 234, 264, 281, 282, 357, 394, 415, 435—439, 446, 451, 471, 489, 494, 498, 521, 539, 544, 571, 593, 594, 607, 612, 613, 619
Чернышев Иван Григорьевич, граф, генерал-поручик, посол в Англии, вице-президент Адмиралтейской коллегии 50, 103, 123, 258—262, 277, 280, 284, 285, 291, 301, 302, 316, 320, 346, 354—356, 382, 439, 537, 605, 613
Чернышевы 183, 607
Чингис-хан 459, 553

Чичерин Денис, сибирский губернатор 7, 22—24, 48, 130, 297, 298
Чичерин Николай Иванович, генерал-полицмейстер 13, 14, 48, 50, 267
Чоглоков Наум, подполковник 357, 386—388
Чоглоковы 386
Чупров, депутат в Комиссии об Уложении 95

Шагин-Гирей, калга 442, 455, 458—460, 538, 553, 554
Шагин-Гирей, султан 452, 453
Шак, датский посол в Швеции 171, 173, 219, 220, 532, 536, 604
Шанц, бургомистр 428
Шателэ, французский посланник в Лондоне 346
Шаховской Григорий, князь 7, 12
Шаховской Михаил Иванович, князь, сенатор 29
Шаховской Яков Петрович, князь 12
Швейковский, начальник конфедератов 239
Швейковский, опекун князя Любомирского 245
Шеншин, гвардии поручик, помещик 127
Шерлей Генрих, заведующий делами английского посольства в России 223, 224
Шефер Карл, граф, шведский сенатор 588, 592
Шидловский, кастелян мазовецкий 421
Шила, казацкий сотник 250
Шиловский, коллежский советник 16
Шимельман, шведский барон 258
Шишкин, писарь 21
Шишков, депутат в Комиссии об Уложении 115
Штакельберг, барон, русский посланник в Варшаве 538, 576, 578, 579
Штакельберг, подполковник 210
Штейгерс, берейтор 133
Штофельн фон, генерал-поручик 15, 357—362, 364
Шуазель, герцог, французский министр 252, 254, 255, 258, 260, 316, 336, 341, 342, 345—350, 389, 396, 464, 416, 418, 429, 431, 538, 579—581, 584—586, 592, 619
Шувалов 523
Шувалов Андрей, граф 19
Шувалов Иван Иванович, государственный деятель 224
Шумахер, датский конференции советник 222, 434, 604

Щербатов, князь, генерал 453, 552
Щербатов Михаил Михайлович, князь, писатель, историк 77, 82, 84, 90, 94, 97, 98, 101, 109
Щербинин, подпоручик 456
Щербинин Евдоким Алексеевич, генерал-майор, слободской губернатор 29, 451, 452, 461, 550—552
Щулепников, геодезист 10
Щулепникова 7, 10

Эгильон, герцог, французский министр 538, 566, 581—587, 592
Эдельгейм, прусский посланник в Австрии 570
Эздемирович, полковник 304, 312
Эйлер Леонард, знаменитый математик 169
Эльмпт, генерал-поручик 292
Эльфинстон, контр-адмирал 301, 375, 377, 379, 380, 385, 462, 465, 618
Эмир-хан-ага 453
Эриншверт, шведский генерал 588
Эссен, генерал-поручик 449, 450
Эссен, шведский камергер 529

Юлиана-Мария, датская королева 600
Юль, датский барон, посланник в Швеции 604
Юстиниан, римский император 72
Юшков, московский губернатор 13, 267

Языков, депутат в Комиссии об Уложении 105
Языков, капитан 388
Якуб, балтский начальник 252
Якубович 450
Ярема, казацкий сотник 249
Ясинов, депутат в Комиссии об Уложении 116
Ясси-заде-эфенди, турецкий уполномоченный 546

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ [1]

Абазинцы 455
Австрийцы (аустрийцы) 164, 230, 261, 355, 390, 391, 395, 401, 403, 405, 411, 412, 414—416, 427, 471—473, 479, 489, 491, 494, 501, 502, 539, 540, 544, 545, 557, 564, 566, 567, 582
Австрия (Аустрия, Австрийская империя, монархия, государство) 151, 160, 163—170, 176, 184, 214, 215, 224, 254, 285, 312, 314, 319, 320, 325, 335, 336, 338, 340—344, 346, 347, 349, 389—402, 404—406, 408—411, 413, 414, 428, 437, 440, 443, 444, 465—497, 499—501, 513, 516—518, 521, 527, 531, 538, 540—543, 545, 549, 556—560, 562—566, 568, 569, 573—577, 580, 583, 584, 591, 608, 610, 612, 619. См. также Германия
Адрианополь, г. 402
Адриатическое море 558
Азиаты, азиатцы 32, 359
Азия 36, 49, 52, 391, 537
Азов, г. 286, 294, 317, 318, 347, 349, 400, 404, 412, 437, 444, 471, 474, 475, 486, 496, 545
Азовет. См. Азов
Азовский окр. 466
Азовский у. 545
Азовское море 27, 294, 370—372, 404, 549
Аккерман (Белгород), г. 367
Алатырская пров. 54
Алатырь, г. 54
Албания 285, 305
Алеутские о-ва 24, 25
Алешинский стан Козловского у. 57
Алта, Алута. См. Ольта
Альма, д. близ Ялты 455
Альпы 557
Америка 350, 437, 537
Америка Южная 438
Амстердам, г. 160
Анануры, крепость 387
Анатолия 454
Англичане (английская нация, народ, великобритане) 129, 161, 165, 166, 180, 218, 260, 300, 303, 354, 356, 404, 465, 493, 494, 582, 587
Англия (Английское государство, Британия, Великобритания) 105, 160—163, 166, 168, 171, 172, 174, 179—184, 218, 220, 224, 257, 258, 260—262, 278, 300, 302, 333, 347, 352, 354—356, 394, 396, 404, 428, 431, 435—439, 444, 489, 527, 536, 537, 556, 583, 584, 605—608
Анкона, г. 314
Аннинский «завод» Чернышева 123
Антипарос, порт 465
Аншпах, маркграфство 540, 542, 556
Арабат, крепость 453

[1] В указателе приняты следующие сокращения: вол. — волость, г. — город, губ. — губерния, д. — деревня, зал. — залив, м. — местечко, о. — остров, обл. — область, оз. — озеро, окр. — округ, п-в — полуостров, пров. — провинция, пр. — пролив, р. — река, с. — село, у. — уезд.

Арагва, р 295
Арзамас, г. 54
Аркадия, пров. 376
Армения 387
Армяне 250, 296
Архангельск, г. 60, 302
Архангельская губ. 71, 95
Архангельская дорога 59
Архангельское с. Темниковского у. 17
Астраханская губ 31, 71
Астраханская дорога 132
Астрахань, г. 10, 14, 19, 36, 132, 372
Ауза, порт 465
Аустрийцы, Аустрия. См. австрийцы, Австрия
Афины, г. 378
Африка 537
Ахалцих (Ахалцихе), г. 386
Ахен, г. 257

Бабадаг, г. 450
Бавария, Баварское курфюршество 160, 165, 344, 397, 561, 582
Байрейт, маркграфство 540, 542, 556
Бакчисарай. См. Бахчисарай
Балаклава, г. 455
Балканский п-в, Балканы 304, 307, 539
Балта, м., с. 242, 250—252
Балтийские провинции 17
Балтийский порт 288
Балтийское море 60, 341, 348, 350, 437, 583
Балтийское поморье. См. Прибалтика
Банат, обл. 403
Бар, г. и староство в Польше 230—233, 236, 246—248, 250
Баренцево (Ледяное) море 94
Барнаул, г. 22, 23
Батуринский повет 45, 629
Бахмут, г. 288
Бахмутская пров. 28
Бахчисарай (Бакчисарай), г. 374, 413, 455, 550, 551
Башкиры, башкирцы 110
Бежецкий у. 18
Белая Русь. См. Белоруссия
Белгород. См. Аккерман
Белгородская губ. 12, 17, 31, 59, 71
Белгородская орда 373
Белград, г. 467, 486, 501, 542, 556—559, 562, 619
Белев, г. 15, 16
Белое море 59, 60
Белозерск, г. 129
Белоруссия (Белая Русь) 571, 608—610
Белорусская губ. 469
Белосток, г. 519
Белый город в Москве 126
Бельбек, г. 455
Бендеры, крепость 241, 293, 365, 369, 373, 389, 413, 450, 451, 498
Бердичев, г. 236
Березань, р 373
Березовское ведомство 48
Берлин, г. 161, 168, 340, 341, 393, 395, 485, 488, 497, 513, 527, 538, 556, 559, 565, 575, 584, 594
Бессарабия 330, 445, 447, 540, 558
Богемия 495
Богородицк, г. 59
Богородицкая слобода 28
Бокка да Катарро 309
Боренские «железные заводы» 17
Борисов, г, потом слобода 59
Боровский у. 85
Босния 308, 315, 542, 556—558, 562
Босфорский (Цареградский) пр. 294
Браилов, г. и крепость 358, 359, 367, 368
Браильский замок 359
Брауншвейг, герцогство 163
Бреславль, г. 128, 343
Брест (Литовский), г. 239, 330, 489
Британская нация. См англичане
Броды, г. 236
Брянск, г. 446
Буг (Западный), р. 28, 203
Буг (Южный), р. 251, 373
Буджакская орда 373, 460. См. татары буджакские
Буджакские татары См. татары буджакские
Бурдаково, д. 124
Буткинская д. 20
Бухара 372
Бухарест (Букарест, Букарешт, Бухарешт), г. 292, 293, 358, 360, 365, 368, 448, 449, 545, 547, 549
Бухарцы 298

Валахи (волохи) 361, 441, 483
Валахия (Валахское, Валашское княжество) 344, 349, 356, 359, 361, 362, 390, 400, 403, 404, 411, 412, 441, 443—445, 447, 448,

464, 466, 467, 471—473, 475, 477, 479—483, 486—501, 513, 539, 540, 542, 544—546, 548, 550, 557, 558, 564, 570, 581
Валахия Малая 495
Валдай, с., потом г. 59
Вармия, Вармийское герцогство, епископство, пров. 342, 349, 390, 391, 393, 397, 402, 415, 416, 468, 488, 521, 571, 610
Варна, г. 365, 389, 539
Варта, р. 570
Варшава, г. 136, 138, 139, 141, 147, 158, 168, 188—191, 194, 195, 201, 203, 206, 216—218, 225, 226, 234, 236, 238, 241, 244, 245, 322, 326, 328—330, 332—334, 393, 416, 424, 503—505, 507, 508, 510, 512, 513, 516, 518—520, 522—524, 553, 567, 571—576, 591, 619
Васильевское (Русская Поляна), с. Воронежской губ. 18, 55
Великая Польша См. Польша
Великая Россия, Великороссия. См *повсюду*
Великобритания, великобританская нация. См Англия, англичане
Великолуцкая пров. 59
Великороссияне, великороссы. См русские
Велички 401
Вена, г 168, 200, 214, 254, 261, 311, 312, 342, 346, 347, 350, 394, 402, 403, 412, 414, 443, 444, 473, 476, 479, 482, 485, 486, 492, 497, 499, 501, 516, 518, 531, 540, 543, 544, 557, 560, 566, 569, 570, 584—587
Венгрия, Венгерское королевство, земля 67, 170, 232, 343, 347, 393, 401, 402, 416, 470, 478, 480, 484, 497, 557, 583
Венгры (венгерцы) 398
Венеция, Венецианская республика 293, 304, 308, 312, 313, 344, 615
Верден, г. 393
Верейский у. 105
Версаль 258, 347, 348, 350, 520, 524, 566, 579, 581, 599
Вестерготская пров. 173
Виддин (Видин), г. 447
Вильманстранде, крепость 594
Винница, г. 235
Висла, р 203, 416, 468, 476, 501, 609
Витебское воеводство 488
Витула, порт 376
Владимирская пров. 31
Войско Запорожское. См. казаки запорожские
Волга, р. 36, 49, 53, 130, 132, 360, 372
Волохи. См. валахи
Воронеж, г. 57, 294
Воронежская губ. 17, 18, 31, 59, 71
Воротынский у. 87
Восток (Восток Европы и страны Азии) 72, 343, 383, 399, 409, 467, 486, 488, 500, 555, 579
Восточная Европа. См. Восток
Восточная Пруссия. См. Пруссия Восточная
Восточная Россия. См. Россия — *повсюду*
Восточный океан См Тихий океан
Вотяки (удмурты) 95
Всероссийская империя. См. Россия — *повсюду*
Выборгская губ. 71
Вытегра, р. 59
Вязьма, г. 59

Галиция 190, 232, 236, 564, 566
Галицкая пров. 13
Галта, м., д. 250, 251
Гамбург, г. 341, 531
Гамбургцы 94
Ганновер, курфюршество 393
Ганноверцы 390
Генуэзцы 316
Гепиды 395
Германия (Германская, Немецкая империя) 161, 163, 177, 178, 259, 395, 410, 411, 491, 561, 598. См. также Австрия
Германцы (древние) 67
Гессен, герцогство, земля 163
Гессенцы 160
Гирсово, г. 450
Гишпанцы. См. испанцы
Глац, Глацкое графство 311, 484, 498
Глогау, г. 397
Глухов, г. 44
Гнезно, г. 233
Голландия, Голландская республика 105, 160, 165, 300. См. также Нидерланды
Голландцы 94
Голштиния, Голстинское княжество 137, 176—178, 256, 532, 534, 601—603
Гора Черная. См Черногория
Горелое, с. Тамбовского у. 57
Гороблагодатские заводы 119, 123

Городец, дворцовое с 51
Гороховецкий у. 105
Гостинцы 238
Готланд, о. 301
Грауденц, г. 397
Греки, греческий народ 250, 284, 285, 307, 311, 313, 316, 375—380, 383, 390
Греки (в значении православные) 151, 230, 245, 248
Гремячий, Гремячев, г. 59
Греция 297, 304, 378, 570
Греция Древняя, греки древние 68, 72
Гродно, г. 506
Грузины (грузинцы) 293—296, 359, 386, 387, 545
Грузия 284, 295, 297, 386—388
Гулль (Халл), г. 302
Гумбер (Хамбер), р. 302
Гунны 395
Гура (Гуры), м. 203

Далматы 284
Далмация 615
Дания 161, 163, 165, 166, 168, 171, 172, 174, 176—178, 219—222, 224, 257, 258, 300, 319, 340, 347, 349, 350, 352, 353, 393, 405, 406, 431—435, 490, 527, 530—532, 534—536, 594, 598, 600—603, 605, 607
Данциг (Гданск), г. 128, 341, 345, 390, 415, 468, 476, 479, 488, 490—492, 494, 502, 524, 531, 568, 571, 576, 616
Дарданеллы, пр. 285, 383, 385, 403, 440, 462, 463, 465
Датчане 160, 166, 258, 603
Двина (Западная) 488
Дедилов, г. 59
Дельменгорстское герцогство 178
Дерпт (Тарту), г. 38
Джамбулуки. См. татары джамбулукские
Джамбулукская орда 374. См. также татары джамбулукские
Днепр, р. 26—28, 243, 244, 247, 453, 488
Днестр, р. 234, 252, 288—293, 316, 364, 365, 372, 391, 467, 610
Добрый, г. 59
Дон, р. 294, 461, 539
Древняя Греция. См. Греция Древняя
Древний Израиль. См. Израиль Древний
Дрезден, г. 187, 394
Дринский зал. 542
Дружек, Друец. См. Друть
Друть, р. 488
Дубоссары, г. 242, 251, 252
Дуброво 122
Дунай, р. 290, 292, 293, 359, 361, 362, 365—369, 371, 389, 400—404, 408, 409, 413, 444, 445, 447, 448, 450, 465, 473—475, 485, 495, 516, 521, 527, 539, 540, 544, 547, 548, 558, 570, 582, 610, 622
Дунайские владения, княжества, обл. 285, 305, 358, 362, 412, 414, 469, 497, 498, 543, 616
Дуки, крепость 386
Дюссельдорф, г. 392
Дюшет, г. 387

Евреи 108, 247—250, 508
Европа 33, 36, 52, 62, 98, 160, 162, 163, 165, 176—178, 181, 182, 217, 257, 259, 267, 292, 293, 303, 335, 340, 342—344, 346, 358, 360, 375, 385, 391, 395, 397, 403, 405, 406, 409, 413, 435, 450, 468, 469, 478, 480, 482, 509, 515, 521, 532, 537, 542, 557, 560, 561, 568, 570, 578—582, 584, 589, 595, 599, 601, 604
Европейская Россия, Россия. См. *повсюду*
Европейцы, европейские народы 24, 60, 61, 360, 383, 384
Египет 244, 316
Едисанцы. См татары едисанские
Едисанская орда 373, 460. См. также татары едисанские
Едичкулы. См. татары едичкульские
Едичкульская орда 374. См. также татары едичкульские
Елисаветград, г. 288
Елисаветградская пров. 28, 288
Еникале (Яникель), г. и крепость 370, 454, 456—458, 461, 549, 553
Епериес. См. Эпериеш

Жидиловка, с. Козловского у. 57
Жмудь, обл. в Литве 239, 427
Журжа (Журжу), турецкая крепость 358, 359, 447—450

Заволочье, г. 59
Закавказье 295, 388
Закамская линия 110
Закрочим, г. 203
Замосць (Замосьц), г. и крепость 321, 322

Занте 285
Запад (Западная Европа) 76, 111, 388, 395, 579, 608
Западная Россия. См. Россия — *повсюду*
Западная Сибирь. См Сибирь
Западная Украина. См. Украина
Запорожье, Запорожская земля, Сечь 25, 27, 42, 44—47, 112, 243. См. также казаки запорожские
Запорожские казаки, запорожцы. См. казаки запорожские
Запорожское Войско. См. казаки запорожские
Звенигород, г. 59
Зимний дворец в Петербурге 36
Зубцов, г. 59

Измаил, крепость 367, 389, 450, 545
Израиль Древний 242
Изюмская пров. 80
Имеретинцы 295
Иркутская губ. 71
Исакча, крепость 367, 450
Исецкая пров. 20, 22
Испания 160, 164, 165, 300, 349, 350, 428, 438, 537, 580, 583, 584, 586, 608.
Испанцы (гишпанцы) 161, 354, 570
Италия 303, 340, 385, 397, 467, 542, 543, 557, 570, 583

Кабарда 295, 297, 411, 444, 461, 464, 466, 496
Кабарда Большая 545, 546
Кабарда Малая 545, 546
Кабардинцы 296, 461
Кавказ, Кавказские горы 295, 386, 462
Кагул, р. 366, 368, 373, 383, 399, 448, 611
Казаки волжские 19
Казаки запорожские, украинские, запорожцы, Войско Запорожское 26—28, 36, 41—43, 47, 111, 112, 170, 171, 242, 243, 246—250, 290, 299, 363, 417, 453, 491
Казаки черниговские 112
Казаки чугуевские 151
Казаки яицкие, яицкое войско 20, 132
Казанская губ. 31, 54, 71, 297
Казанская дорога 21
Казанский у. 21, 95
Казань, г. 13, 52—55, 110, 372
Калишское воеводство 191
Калмыки 132, 296, 297
Калужская губ. 31
Калужская пров. 59
Калус, р. 289
Кама, р. 122
Каменец (Каменец-Подольский), г. и крепость 201, 283, 292, 321—324, 328, 332
Каменка, р. 27
Камчатка 133
Кандия, греческая обл. 285, 467
Карасу-Базар, г. 455
Карасу Меньшая. См. Меньшая Карасу
Карлсбад, г. 422
Карлскрона, г. 352
Карлстадская обл. 542
Каромиро, греческая обл. 284
Карпаты, Карпатские горы 394, 540, 557
Карпов, г. 59
Карфагеняне 358
Каспийское море 60, 295
Каттарский канал 313
Кафа, г. 454, 456—458
Кашинский у. 56
Кенигсберг, г. 128
Керчь, г. и крепость 294, 389, 454, 456—4[illegible], 549, 553
Кефалония (Кефаллиния), о. 285
Киев, г. 25, 132, 236, 240, 299, 310, 446, 488
Киевская губ. 71
Киевская обл. 318
Кизляр, Кизлярский край 461, 462
Килия, г. и крепость 367, 389, 447
Кинбурн, г. 498
Кинешма, г. 59
Кипр, о. 467
Киргиз-кайсаки 297. См. также киргизы
Киргизы 132, 297
Ковжа, р. 59
Ковно, г. 239
Кодыма, р. 250
Коевское, с. 20
Козлов, г. 453
Козловский у. 57
Козминские «железные заводы» 17
Кола (Кольский п-в) 94
Коломенский дворец 67
Колывано-Воскресенские «заводы» 22
Конские воды, р 453
Константинов (Староконстантинов), г. 233, 234

Константинополь (Стамбул, Царьград), г. 218, 224, 226, 235, 252—254, 256, 261, 280, 285, 288, 294, 304, 316, 317, 345, 348, 352, 365, 377, 380—384, 391, 396, 403, 407, 410—412, 427, 440, 443, 445, 455, 463, 464, 466, 467, 480, 491, 493, 500, 502, 539, 543—546, 549, 551, 555, 582, 583
Копенгаген, г. 167, 179, 219, 220, 292, 301, 433, 531, 532, 536, 575, 601, 604
Коринф, г 377
Коринфский перешеек (зал.) 285
Короча, г. 59
Корсика, о. 260, 316, 349, 356
Кострома, г. 50
Костромская пров. 31, 59
Котловка, с. 122
Краков, г. 236, 254, 518, 541
Краковское воеводство 566
Крапивенский у. 104
Красная площадь в Москве 126
Кремлевский дворец, Кремль в Москве 71
Кронштадт, г. 94, 301, 374
Крым 170, 242, 299, 347, 356, 369, 371—374, 400, 412, 413, 444, 445, 450—452, 454, 456—458, 460, 461, 469, 483, 490, 491, 493, 495, 497, 498, 500, 516, 549—551, 553, 554, 581—583, 611, 612
Крымская обл. 370, 372, 457, 539
Крымцы, крымский народ, крымские татары 27, 170, 231, 234, 235, 242, 250, 288, 290, 299, 300, 317, 345, 346, 362, 369—374, 389, 404, 412, 450—453, 455—460, 464, 467, 472, 474, 475, 477, 478, 480—483, 486, 492, 493, 496, 498, 499, 543, 547, 551—553, 555, 557, 582, 583
Кубанская степь 461
Кубанская Татария 437
Кубанцы 296
Кубань, р. 295—297, 301, 372, 461
Кузнецк, г. 22
Кульм 488
Курляндия, герцогство Курляндское 342, 343, 348, 393, 402, 427, 475
Курмышский у. 101
Кутино Зимовье, с. Пензенского у. 19

Лакедемоны (лакодемоняне) 284
Ламанш, пр. 347, 348
Ларга, р 366 368. 373, 611
Левант 356, 358, 386, 413
Левантские о-ва 493
Ледяное море. См. Баренцево море
Лейпциг, г. 128
Лемберг, г. 390, 391, 541
Лемнос, о. 385, 463
Лешино, с. Московского у. 16
Ливония 318, 393, 476. См. также Лифляндия
Ливорно, г. 313, 374, 379, 462, 463, 465, 537
Липские «железные заводы» 17, 54
Литва 140, 141, 148, 151, 157, 190, 194, 236, 239, 260, 265, 331, 393, 489, 499, 504, 505, 507, 511, 518, 519, 574
Лифляндия 16, 30, 37, 108, 116, 117, 127, 288, 348, 393, 479, 488
Лифляндская губ 71
Лифляндцы 114—117
Лович, м. 330, 525
Лондон, г. 179, 262, 302, 346, 356, 436
Лотарингия 344, 397
Лубны, г. 45
Луганчик, р. 27
Лух, г. в Суздальской пров 59
Лысые Горы, с. 57
Львов, г. 245, 565, 566, 568, 569
Люблин, г. 232, 233, 567, 569
Люблинское воеводство 569
Лятычов, г. 362

Майна, м. в Черногории 309, 310
Майна, п-в 376
Майноты 376, 377
Максимены, г. 447
Малая Валахия. См. Валахия
Малая Польша. См. Польша
Малая Россия, Малороссия См. Украина
Малая Эльбания См. Химара
Малороссийская губ. 71. См. также Украина
Малороссийцы, малороссияне, малороссийский народ. См. украинцы
Малороссия. См. Украина
Мангазея, г. 133
Мантуя, г. 557
Мариенбург, г. 488, 574
Мачин (Мэчин), г. 450
Маячка, р 453
Медина, г. 458
Мединерания 465
Мекка, г. 458

Меньшая Карасу, р. 454
Мессина, г. 463
Мещовск, г. 31
Мизитра (Спарта) 376, 377
Милан, г. 557
Минорка, о. 374
Минское воеводство 488
Мирополье, г. 59
Мителин (Митилини, Лесбос), о. 465
Мителинский (Митилинский) канал 465
Миус, Миюс, р. 294, 461
Михайлов (рязанский), г. 59
Михайловский у. 85
Миюс. См. Миус
Модон, крепость 379, 380
Можайский у. 18
Моздок, г. 170, 295, 296, 386, 387, 461, 462
Молдаване, молдаванцы 242, 359, 361, 362, 483
Молдавия, Молдавское княжество 288, 290, 292, 330, 332, 337, 344, 349, 356, 359, 361, 362, 390, 400, 411, 412, 441, 443—445, 447, 464, 466, 467, 471—473, 475, 477, 479—483, 486—494, 496—500, 513, 527, 539, 540, 543—546, 548, 550, 557, 558, 564, 570, 581, 610, 611
Молога, р. 49

Монастыри
Александро-Невский, Невский (лавра) в Петербурге 22
Бердичевский 232, 236
Бурчеле в Черногории 314
Гамалеевский в Киеве 25
Далматов, Далматский в Сибири 10, 20
Ивановский в Москве 126
Мотренинский на Украине 244
Невский. См. Александро-Невский
Печерский в Киеве (лавра) 25
Печерский Казанский 52
Свирский на р. Свирь 11
Соловки, Соловецкий 10
Тынец в Польше 567
Федоровский Нижегородской епархии 51
Чудов в Москве 71
Цетинский в Цетинье 314
Моравия 314, 405, 495, 566
Морейские греки. См. греки
Морея (Пелопоннес), п-в 284, 285, 303, 376, 377, 379
Москва, г. 9, 13, 14, 18, 31, 35—37, 44, 49, 50, 54, 56, 66, 67, 71, 75, 87—89, 91, 109, 117, 126, 127, 129, 203, 212, 225, 280, 282, 286, 287, 302, 370, 372, 373, 398, 497, 553, 554, 591
Московская губ. 13, 31, 59, 71
Московская дорога 110
Московская пров. 31
Московский у. 16
Мстиславское воеводство 488
Муром, г. 54

Наварин, мыс и бухта 376, 379
Наваринская крепость 380
Нарев, р. 203
Неаполь, г. 300, 431, 435
Негропонт 465
Нежинский повет 45, 629
Нейс (Нейсс), г. 257, 343, 395, 396, 569
Нейштадт, г. 399, 401, 402, 412, 487
Некрасовцы 455
Немцы, германцы 94, 388
Нерчинск, г. 132
Нерчинские «железные заводы» 17, 22
Нерчинские «серебряные заводы» 55
Несвиж, Несвижский замок 239
Нетц (Нец, Нотец), р. 425, 427, 488, 521
Нидерланды 340, 542, 543. См. также Голландия
Нижегородская губ. 54, 71
Нижегородская епархия 51
Нижняя Германия. См. Германия
Нижний Новгород, Нижний, г. 50—52
Новая Россия См Новороссия и Новосербия
Новая Сербия. См Новосербия и Новороссия
Новая Слободская губ. 29
Новгород Великий, г. 31, 60, 128
Новгород Северский, г. 40
Новгородская губ. 16, 59, 60, 71, 127, 128
Новгородская пров. 31
Новитарг (Новы Тарг), г. 401
Новогрудок, г. 187
Новороссийская губ. 26—28, 71
Новороссия, Новая Россия 290, 312
Новосербия, Новая Сербия 26—28, 304, 317
Новый Оскол. См. Оскол Новый

Ногаи, ногайцы 372, 373, 452, 453, 455, 458, 460, 461
Норвегия 94, 536
Норкепинг, г. 351—353

Обь, р. 48
Одоев, г. 59
Окуневская слобода 20
Олонец, г. 13, 59
Ольденбургское герцогство 178
Ольта (Алта, Алута, Олт), р. 359, 403, 447, 479, 485
Онежское оз. 59
Ордва, м. 488
Орел, г. 15
Орел, м. 288
Орель, Орел, р. 26—28
Оренбург, г. 15, 18, 32, 58, 110, 282, 297
Оренбургская губ. 31, 71, 109, 297
Орлов (воронежский), г. 59
Орловский форпост 251
Орльчик, р. 28
Оршова, г. 558
Оскол Новый, г. 59
Османы. См. турки
Ост-Индия 437
Осташковская слобода, потом г. Осташков 59
Остзейский край 117
Остров, г. 128
Охлупневское, с. 20
Очаков, г. 241, 347, 365, 464, 498
Ошмянский повет 239

Павловск, г. 59
Париж, г. 255, 257, 260, 342, 348, 349, 526, 534, 579, 593
Парос, о. 380, 385, 463, 465
Патрас, г. и крепость 377
Пензенский у. 19
Перекоп, г. и крепость 453
Перекопская линия 453
Перемышльский у. 87
Переяславль-Залесский, г. 56, 59, 85
Переяславль (южный, украинский), г. 111, 245, 247
Переяславская (Переяславля южного) епископия 244
Переяславская пров. 31
Пернау, г. 38
Персия, Персидское государство 460
Персы 378, 440
Перу 493
Петербург, Питер, Санкт-Петербург, г. 13, 20—23, 26, 36, 37, 41, 60, 88, 109, 117, 128, 132, 136, 139, 141, 145—147, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 161, 172, 174, 182, 186, 225, 234—237, 240, 244, 248, 255, 258, 261, 262, 277, 278, 287, 288, 290, 295, 299, 301, 303, 305, 307—309, 311, 319, 321, 324, 331, 332, 336, 337, 339—341, 344, 346—348, 357, 361, 365, 368, 371—373, 377, 379, 382, 385, 387, 388, 390, 393, 394, 401, 404—407, 409—411, 414, 415, 427, 430, 433, 435, 458, 461, 462, 468, 471, 476, 477, 479, 488, 489, 491, 492, 494, 497, 499, 500, 503, 504, 511—513, 519—523, 526, 527, 529, 530, 532, 539, 543, 547, 548, 550, 551, 553—555, 557, 559, 560, 565, 568, 575, 585—587, 589, 592, 599, 604, 610, 612
Петербургская губ. 71
Петрозаводск, г. 59
Петроков, г. 524
Печерники, г. 59
Пиза, г. 314
Пирмонт 431
Побережье, имение кн. Любомирского 245
Поволжье 282, 286, 635, 636
Погар, г. 47
Подолия 216, 235, 240, 251, 318, 359
Подольское воеводство 234
Познань, г. 329, 397, 518, 524
Познаньское воеводство 191
Покровская слобода, Покровское (Рубцово), с. 14
Половцы 243
Полонный, г. 240
Полоцкое воеводство 488
Полтава, г. 42, 393, 554
Польская Лифляндия. См. Лифляндия
Польская Пруссия. См. Пруссия
Польша, Великая Польша, Польская республика, государство Польское 18, 27, 30, 43, 107, 108, 112, 134, 135, 140—145, 149—151, 154, 156, 157, 159—161, 166, 167, 169, 184, 186, 188, 190, 195—197, 199, 200, 205, 209, 211, 212, 214—218, 224—226, 228—230, 233, 235—244, 247, 251—254, 258—262, 264, 272, 283, 288, 289, 306, 316, 318, 319, 321—336, 338—343, 345, 347, 348, 350, 390—392,

394—399, 401, 402, 405, 406, 408, 410, 411, 414—419, 421—427, 439, 440, 447, 468—477, 479, 482, 484—486, 488—510, 512—517, 519, 521, 522, 524, 526, 527, 530, 539—541, 545, 555—560, 562—566, 568—580, 583—586, 591, 593, 599, 600, 605, 606, 608—611, 619. См. также Речь Посполитая
Поляки, польский народ 28, 152, 156, 160, 162, 166, 167, 185, 190, 199, 201, 206, 215, 217, 228, 232—234, 236, 237, 250, 251, 254, 301, 319, 321, 323, 337, 345, 348, 415, 417, 421, 424, 440, 470, 490, 499, 501, 506, 509, 512, 514—516, 518, 520, 522, 524, 525, 558, 566, 568, 571, 572, 574, 578, 579, 593, 609
Поляна Русская, с. 18
Померания 341, 393, 598, 607, 608
Поромзино-Городище, с. 19
Порта, Оттоманская Порта. См. Турция
Порт-Магон 374
Портсмут, г. 302
Португалия 537
Поти, крепость 462
Потсдам, г. 259, 470
Починки, д. Казанского у. 21
Преображенская слобода, Преображенское, с. 14
Прибалтика, Прибалтийские обл., Балтийское поморье 36, 37, 110, 521
Прилуки, г. 42, 45
Прилуки, м. в Киевской губ. 235
Прирейнские владения 409
Пронск, г. 59
Пруссаки 425, 524
Пруссия, Прусское государство, монархия 137, 151, 152, 156, 159—166, 168, 214, 215, 220, 250, 254, 259, 319, 320, 336, 340—343, 347, 349, 350, 353, 390—397, 399—401, 402, 404, 406, 408, 410, 414, 415, 426, 427, 437, 443, 444, 465, 466, 468—474, 476, 481, 483—485, 488, 489, 492, 494—497, 501, 518, 521, 527, 540—543, 556—560, 562, 564, 565, 568, 569, 571, 574, 575, 580, 583, 586, 591, 605, 607, 610—612, 619
Прут, р. 359, 364, 366, 372, 447, 558
Псков, г. 128, 550
Псковская пров. 31, 59, 127
Путивль, г. 59
Пыскорский завод на р. Пыскоре 124
Пфальцское курфюршество 561

Рава, м. 203
Рагуза, г. 313
Радом, г. 194, 195
Ревель, г. 301, 375
Речь Посполитая. См. Польша
Ржева (Володимирова), Ржев Володимиров, г. 129
Ржева (Новгородская) Пустая, г. 59
Ржевитяне 129
Рига, г. 117, 172, 265
Рим, г. 67, 68, 72, 196, 523
Римляне (древние) 78, 278, 367
Римская империя (древняя) 114
Родос, о. 465
Романов, г. 55, 59, 116
Россия, Российское государство, империя, Великая Россия, Великороссия. См. *повсюду*
Россия Белая. См. Белоруссия
Россия Малая, Малороссия. См. Украина
Россия Новая. См. Новороссия
Русь, р. 243
Рубцово. См. Покровское
Руза, г. 83
Румелия, Румилия 371, 454, 455
Русская Поляна. См. Поляна Русская
Русская Финляндия. См. Финляндия
Русские, русская нация, народ. великороссы 60, 62, 75, 92, 94, 110, 121, 127, 159, 160, 232, 236, 239, 250, 258, 285, 292, 319, 324, 330, 332, 335, 344, 345, 349, 366, 367, 376, 379, 382, 383, 386—391, 395, 396, 399—401, 403, 409, 413, 416, 440, 453, 454, 456, 461, 465, 475, 482, 484, 486, 493, 494, 498, 501, 502, 518, 520, 524, 557, 558, 562, 564, 566, 570, 611, 614, 616
Ращук, м. 358
Рыбинск (Рыбная Слобода), г. 89, 90
Рязанская пров. 31, 59

Сакмара, Сакмарский г-к 110
Саксония 160, 163, 167—169, 250, 258, 319, 336, 341, 343, 392, 393, 420

Саксонцы 163, 510
Салгир, р. 453
Салтов, г. 59
Салтовский у. 59
Самара (Самарь), р., приток р. Днепра 26—28
Самогития. См. Семигалия
Сандомир (Сендомир), г. 159, 541
Сандомирское (Сендомирское) воеводство 236
Санкт-Петербург. См. Петербург
Санок, г. 236
Сапожок, г. Рязанской пров. 59
Саранский у. 19
Саратов, г. 10, 19
Сардиния, о. 312
Свеаборг, крепость 589, 591
Свеаборжцы 589, 591
Свияжская пров. Казанской губ. 31
Север (Северная Европа, север России) 163, 165, 176, 177, 180—182, 220, 347, 350, 434, 500
Северный Ледовитый океан 48
Северный полюс 615
Севск, г. 446
Севская пров. 59
Семигалия (Самогития), обл. 393, 402
Сендомир. См. Сандомир.
Серадское воеводство 238
Сербия 556—559
Сербы, сербины 250, 311
Серет, р. 447
Серпейск, г. 91, 94
Сечь. См. Запорожская Сечь, Запорожье
Сибирская губ. 71, 297
Сибирь 10, 22, 23, 48, 109, 145, 200, 203, 239, 511
Силезия 164, 232, 343, 344, 391, 393—395, 397, 414, 469, 473, 484, 485, 494, 498, 540, 556, 559, 566, 570, 571, 618, 619
Симбирск, г. 53, 54, 282
Симбирская пров. 54
Симбирский у. 127
Синюха, р., приток р. Южного Буга 248, 249, 373
Скутари, г. 313
Славяне, славянские народы 303, 307, 313, 343
Слободская губ. 25, 28, 71, 451
Слуцк, г. 159, 187
Смила, за́мок кн. Любомирского 246
Смиляньщизна, имение кн. Любомирского 246—248
Смирна, г. 383, 384
Смоленск, г. 265, 318
Смоленская губ. 31, 59, 71, 108
Смольный монастырь (училище) в Петербурге 553
Смольняне 110
Сокольск, г. 54, 55, 59
Соликамский у. 123
Соловки. См. монастыри
Средиземное море 283—285, 292, 300, 301, 311, 316, 357, 370, 380, 463, 537, 565, 606
Средняя Азия 32
Стародуб, г. 40—42, 318
Стародубский (Стародубовский) у. 44
Степановское, с. 19
Стокгольм, г. 171, 173, 174, 219, 256, 261, 349, 351—353, 355, 404, 405, 526, 527, 531, 534, 536, 589, 591
Стральзунд. См. Штральзунд
Суджа, г. 59
Суздальская пров. 31
Сура, р. 19, 360
Сызранский у. 58

Таганрог, г. 294, 317, 318, 347, 349, 404
Таганрогская гавань 294
Таманский п-в 455
Тамань, г. и крепость 294, 370, 389, 455
Тамбов, г. 16, 129
Тамбовский у. 18, 57
Таское, с. Пензенского у. 19
Татары, крымские татары, татарский народ. См. крымцы
Татары буджакские, Буджакская орда 373, 413, 460
Татары джамбулукские, джамбулуки 373. См. Джамбулукская орда
Татары едисанские, едисанцы, Едисанская орда 373, 452, 453, 460
Татары едичкульские, едичкулы, Едичкульская орда 373, 374
Татары казанские 53, 109
Татары ногайские. См. ногайцы
Ташкентцы 298
Тверская епархия 51
Тверская пров. 59
Тверь, г. 49, 635
Темниковский у. 17
Телешово, с. Шуйского у. 55
Тенедосский канал 465
Терек, р. 295
Тибетское государство 182

Тильзит, г. 239
Тифлис (Тбилиси), г. 295, 386, 387
Торец, р. 27
Торжок, г. 129
Торн, г. 159, 187, 329, 392, 397, 524, 525, 568, 576
Торопец, г. 128, 129
Тоскана, г. 163
Троянов вал на р. Кагул 366
Трансильвания 347, 403
Триест, г. 473
Триполица, Триполис, г. 377
Троицк, г. 32
Троицкая крепость 20—22
Троицкое с. близ Таганрога 294
Трубчевск, г. 59
Трухменцы. См. туркмены
Тула, г. 446
Тульская пров. 31, 59
Тульча (Тулча), г. 450
Турин, г. 441
Турки 26, 27, 169—171, 224, 231, 234, 235, 240, 242, 250—253, 258, 260, 261, 280, 283—285, 288, 290, 292—295, 301, 304—306, 308, 309, 311, 313, 316—323, 328, 329, 332, 335, 344—347, 349, 353, 357—359, 361, 362, 364—366, 368—370, 373, 374, 376—379, 383, 384, 386, 389—391, 396, 400, 402—404, 406—414, 416, 440, 444, 447, 448, 453, 454, 457, 460, 463—467, 471, 472, 477—480, 482—486, 493, 495, 498, 499, 501, 502, 523, 530, 531, 537, 539—545, 547, 551, 552, 554, 557—559, 562, 563, 570, 581—583, 586, 587, 592, 593, 614, 616
Туркмены (трухменцы) 132
Турно (Турну-Северин), крепость 447
Турция (Турецкая империя, Порта, Оттоманская Порта) 166, 170, 184, 200, 215—218, 224, 226, 227, 231, 235, 241—243, 251, 253—256, 261, 262, 272, 282, 284, 285, 288, 292, 295, 297—300, 303, 304, 306, 308, 312, 313, 316—321, 323, 330, 333, 340, 342—345, 347, 349, 351, 352, 356, 358, 369—372, 374, 377, 383, 386, 389—392, 394—413, 427, 428, 437—439, 443, 445, 447, 448, 450, 452—455, 457—460, 463—466, 470, 471, 473, 474, 476—478, 480—485, 487—491, 493—496, 498, 502, 516, 528, 530, 531, 537, 538, 540—545, 549, 551, 552, 555—559, 562, 563, 569, 576, 577, 580—584, 591, 595, 598, 599, 608—611, 616, 619
Тясмина, р. 243

Углицкая пров. 31
Украина (Малая Россия, Малороссия) 28, 29, 37, 38, 43—45, 110—114, 206, 272, 609, 629
Украинцы (украинское народонаселение, малороссы, малороссияне, черкесы) 17, 28, 34, 113, 244, 272
Украйна (восточная, западная, южная) 18, 20, 29, 37, 231, 243—245, 248, 318
Умань, г. 248—250
Уманьский замок 249
Урал, Уральские горы 109
Урахчи, с. Казанского у. 21
Устюг, г. 129
Устюжно-Железнопольская пров. 31

Финляндия 67, 356, 427, 428, 593, 594, 598, 607
Фландрия 570, 583
Фокшаны, м. 358, 359, 545—547, 549, 550, 622
Фонтенэ (Фонтенебло) 165
Франки 383
Франция 32, 70, 151, 160, 164, 165, 174—176, 184, 217, 224, 254, 255, 257, 258, 260—262, 285, 300, 317, 319, 320, 323, 325, 331, 336, 338, 340—343, 345—350, 352, 355, 356, 389, 394—397, 401, 403, 404, 409, 410, 414, 416, 418, 420, 421, 427—429, 431, 434, 443, 467, 472, 484, 489, 490, 517, 518, 527, 529, 531, 533, 535, 556, 560, 563, 565, 566, 576, 579—587, 592—596, 599, 603, 606, 608, 612, 616
Французы 161, 163, 230, 258, 260, 261, 280, 316, 354, 356, 390, 406, 408, 432, 465, 493, 494, 563, 570, 593
Фридрихсгам, крепость 594
Хельмское воеводство 569
Хива, г. 132
Химара (Малая Эльбания), пров. 285
Хиосский канал, пр. 381, 465
Хмельник, г. 234
Холм, г. 128

Хотин, г. 241, 283, 288—292, 301, 317, 332, 344, 364, 372, 614, 616
Христианштадт, г. 591

Цареград, Царьград. См. Константинополь
Цареградский канал. См. Босфорский пр.
Царское Село 280, 546, 554
Церкви
Казанский собор (Рождества Богородицы) в Москве 278, 367
Николы Явленного в Москве 9
Никольская в Тамбове 16
Параскевы св. в Москве 9
Петра и Павла в Москве 9
Успенский собор в Москве 9, 71
Цыгане 18, 108
Цетинское поле 315
Цетинье, Цетине, г. 314
Ципс, польский округ, староство 391, 495, 497, 499, 502, 577
Цыбры, г. 450

Чебаркульская дорога 20
Чебаркульская крепость 20, 21
Чебоксары, г. 51
Челябинская крепость 20
Ченстохово, г. 541
Червонная Русь 564
Чердынский у. 123
Черемисы (мари) 109
Черкесы 455
Черкесы (малороссы). См. украинцы
Черная Гора. См. Черногория
Чернигов, г. 40—43, 240, 318
Черногория, Черная Гора 292, 304, 307—309, 311—316, 375, 379
Черногорцы 307, 308, 310—315
Черное море 283, 294, 295, 349, 365, 369—372, 388, 413, 437, 444, 447, 456, 464, 466, 474, 475, 480, 481, 486, 493, 496, 539, 540, 546, 549, 558, 582, 583, 606
Чесма, крепость 381, 383, 399, 611
Чесменская бухта 381
Чехия, Чешская земля 67
Чуваши 109, 110
Чугуев, г. 59
Чугуевские казаки. См. казаки чугуевские
Чухонщина 108

Шадринск, г. 21
Шарлотенбург, г. 161, 163
Шведы, шведская нация 160, 166, 261, 350, 354, 375, 393, 429, 440, 593, 594, 597, 598
Швеция, Шведское государство, королевство 60, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174—176, 218, 219, 254—256, 261, 262, 282, 301, 319, 340, 347, 349—356, 393, 405, 427—429, 431, 432, 435, 439, 497, 520, 526—530, 532, 534, 536, 547, 550, 580, 590—597, 599, 600, 604, 605, 607, 608
Шлезвиг, герцогство, 221
Шлюссельбург (Шлюшин), г. и крепость 132
Шония, Шонская пров. 393, 598
Штральзунд (Стральзунд), г. 341
Шуйский у. 55
Шукша, с. 19
Шуя, г. 59

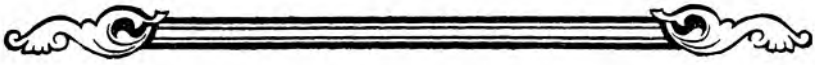
Эзель, о. 288
Эльбинг, г. 392, 511, 576
Эльзас, обл. 397
Эпериеш (Епериес), г. 416, 511
Эпир, обл. 285
Эстляндия, герцогство 16, 116, 127, 288. См. Эстляндская губ.
Эстляндская губ. 71
Эстнинский у. 114

Юг (юг Европы) 347
Юго-Западная Украйна. См. Украина
Югорские «горные заводы» 123
Южная Америка. См. Америка Южная
Южная Украйна. См. Украина
Южный Буг. См. Буг Южный
Юрьев Польский, г. 59
Юрьевская пров. 31, 59

Яблонов, г. 59
Яицкое войско. См. казаки яицкие
Ялта, г. 455
Яникель. См. Еникале
Яранск, г. 93, 96
Ярославль, г. 49, 50
Ярославская пров. 54
Яссы, г. 292, 362, 364, 365, 368, 447, 450, 502, 548, 622

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ИЗДАТЕЛЯМИ В ПРИМЕЧАНИЯХ К 27—28 томам «ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН» С. М. СОЛОВЬЕВА

АВПР — Архив внешней политики России.
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи.
Сб. РИО — Сборник Русского исторического общества.
Чтения ОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов



ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Глава I. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** 1766 и первая половина 1767 года.

Меры против медленного исполнения указов. — Беспорядки в новой коллегии Экономики. — Медленное решение дел в Юстиц-коллегии. — Дело Жуковых, Щулепниковой, Бестужева-Рюмина, кн. Григория Шаховского. — Губернаторские распоряжения. — Волнение в Москве. — Губернатор и купцы в Астрахани. — Брянские купцы и генерал Медем. — Окончание дубровинского дела в Орле. — Нравы на окраинах. — Крестьянские побеги и возмущения. — Бродяжничество и разбои. — Похождения Каменьщикова. — Сибирские инородцы. — Сибирский губернатор Чичерин и магистрат. — Присоединение Алеутских островов. — Церковные имения в Малороссии. — Выбор киевского войта. — Спор запорожцев с Военною коллегиею. — Слободская губерния. — Сопротивление лифляндского рыцарства в доставлении ведомостей о хлебном урожае. — Затруднения по поводу немецких колонистов. — Финансовые меры. — Среднеазиатская торговля. — Содержание Московского университета. — Окончание «Наказа»; мнения о нем, собираемые императрицею. — Манифест о комиссии для сочинения проекта нового Уложения. — Переезд двора в Москву. — Движение в прибалтийских областях и Малороссии по поводу выбора депутатов в комиссию. — Путешествие Екатерины. — Отзыв ее в Сенате об этом путешествии. — Продолжение крестьянских волнений. — Секта между однодворцами. — Перемены в областях. — Деятельность новгородского губернатора Сиверса. — Приближение времени открытия комиссии. — Обзор «Наказа». — Изменения в нем. 7

Глава II. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** Комиссия об Уложении. 1767—1768 годы 71

Глава III. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** 1766, 1767, 1768 годы.

Борьба с Польшею за диссидентов. — Разрыв с Турциею. — Сношения с европейскими державами во время этих событий 134

Дополнения 263

Примечания к 27 тому 267

ТОМ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Глава I. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** Конец 1768 и 1769 год.

Привитие оспы императрице и наследнику престола; торжество по этому случаю. — Известие о разрыве мира турками; письма Екатерины по этому случаю к Солтыкову и И. Г. Чернышеву. — Учреждение Совета. — Приготовления к войне. — Назначение кн. А. М. Голицына и гр. Румянцева главнокомандующими двух дей-

ствующих армий. — Предложение Орлова об экспедиции в Средиземное море. — Эмиссары к христианскому народонаселению Балканского полуострова. — Усиленный набор. — Учреждение ассигнационного банка. — Учреждение ордена св. Георгия. — Нападение крымских татар. — Действия Первой армии. — Отозвание кн. Голицына и назначение на его место Румянцева, а главнокомандующим Второю армиею — гр. П. И. Панина. — Занятие Хотина и дунайских княжеств. — Утверждение на берегах Азовского моря. — Строение кораблей там. — Помощь грузинским владельцам. — Действия на Кубани. — Весть о движении магометанского народонаселения в России и меры для его предупреждения. — Порта старается склонить запорожцев к измене. — План отвлечения татар от Порты, составленный в Петербурге. — Морская экспедиция к берегам Греции. — Гр. Алексею Орлову поручено руководить восстанием турецких христиан. — Воззвание к ним. — Отношение к Черной Горе. — Степан Малый. — Сношения с Венециею. — Пребывание кн. Юрия Долгорукого на Черной Горе. — Сношения с Паоли. — Переписка Екатерины с Бельке и Вольтером по поводу войны. — Отношение к Польше; смена Репнина Волконским. — Продление союза между Россиею и Пруссиею. — Намерение Австрии сблизиться с Пруссиею, чтобы сдержать Россию. — Свидание императора Иосифа с Фридрихом II в Нейссе. — Отношения к Франции, Дании, Швеции и Англии 277

Глава II. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** 1770 год.

Действия против турок в дунайских княжествах. — Движения генерала Штофельна. — Жалоба Румянцева на недостаток войска; ободрительное письмо к нему императрицы. — Негодование Екатерины на генерала Штофельна за сожжение городов и деревень. — Объяснения Румянцева относительно Штофельна, состояния Молдавии и Валахии и состояния русского войска. — Движение Румянцева из Подолии в дунайские княжества. — Чума. — Смерть Штофельна. — Записка гр. Григория Орлова о движении к Варне и Константинополю. — Осторожность Румянцева и переписка его с императрицею. — Победы Румянцева при Ларге и Кагуле. — Торжество в Петербурге. — Осада и взятие Бендер гр. П. И. Паниным. — Переговоры его с татарами о восстановлении их независимости. — Ногайские орды отказываются от турецкого подданства. — Состояние русского флота, прошедшего в Средиземное море. — Неудача Морейской экспедиции. — Истребление турецкого флота при Чесме. — Восторг Екатерины. — Переписка Орлова с европейскими консулами в Смирне. — Дальнейшие движения русского флота. — Странности на Кавказе; Тотлебен и Чоглоков. — Желание мира в Петербурге. — Политика Фридриха II. — Вопрос о разделе Польши. — Так называемый проект Линара. — История вопроса о разделе Польши. — Иосиф II, Кауниц и Мария-Терезия. — Второе свидание Фридриха II с императором Иосифом и Кауницом в Нейштадте. — Политический катехизис. — Захват Австриею польских земель. — План Иосифа относительно России и Турции. — Письмо Фридриха Екатерине с предложением посредничества. — Отстранение Россиею посредничества и принятие добрых услуг. — Русские условия мира. — Приезд в Петербург принца Генриха прусского; впечатление, произведенное им здесь. — Негодование Фридриха на отстранение Россиею посредничества. — Разговоры принца Генриха с Екатериною, Паниным и Сальдерном; переписка его с братом. — Письмо Екатерины к Фридриху с сообщением мирных условий. — Притворный ужас прусского короля по прочтении этих условий. — Вести из Польши о планах раздела. — Разговор принца Генриха с императрицею и гр. Чернышевым об австрийском захвате. — Письмо Генриха к брату, что тот может безопасно занять в Польше Вармийское епископство. — Дела польские; помощь Франции конфедератам. — Мнение Дюмурье о последних. — Станислав-Август поднимает голову; его переписка с Екатериною и разговоры с кн. Волконским. — Старания Волконского о реконфедерации; в Петербурге не соглашаются на эту меру. — Отношения России к Швеции, Дании и Англии. 357

Глава III. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** 1771 год.

Письмо Фридриха II к императрице Екатерине по поводу мирных условий с Турциею. — Замечания Екатерины на это письмо. — План кампании 1771 года. — Постройка судов в дунайских княжествах. — Жалобы Румянцева на неудовлетворительное состояние армии. — Мелкая война на Дунае. — Князь В. М. Долгорукий — начальник Второй армии на место графа П. И. Панина. — Сношения с татарами — Необходимость военных действий против Крыма. — Занятие полуострова русскими войсками. — Бегство хана Селим-Гирея. —

Новый хан Сегиб-Гирей. — Избавление пленных христиан. — Переговоры с ханом о независимости Крыма и об уступке крепостей России. — Посольство в Петербурге брата ханского калги Шагин-Гирея и поведение его здесь. — Отношения к ногаям, кабардинцам и кумыкам. — Окончание Кавказской экспедиции. — Гр. Алексей Орлов в Петербурге. — Его возражения против приобретения Россиею острова на архипелаге. — Противное мнение адмирала Спиридова. — Орлов удаляет иностранцев из русской морской службы. — Действия флота в 1771 году. — Ответное письмо Екатерины Фридриху II относительно мирных условий с Портою. — Виды Фридриха II на польскую Пруссию. — Роль принца Генриха в разделе Польши. — Отъезд принца Генриха из Петербурга. — Настаивания Фридриха II на разделе Польши. — Отношения России к этому вопросу. — Отношения Австрии к нему. — Разговор Фридриха II с австрийским послом о разделе Польши и мире России с Портою. — Сношения России с Австриею по поводу турецкого мира. — Дело о разделе Польши в Императорском совете. — Австрия отвергает русские мирные условия. — Возражения Екатерины на австрийские объяснения. — Мнение Панина об уступке Молдавии и Валахии. — Императрица не соглашается с этим мнением. — Тревожное состояние императора Иосифа. — Отношение венского двора к вопросу о разделе Польши. — Тугутовский договор между Австриею и Турциею. — Переговоры между Австриею и Пруссиею. — Решения Совета вследствие враждебности Австрии. — Фридрих требует, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, и внушает, что прусская доля из Польши должна быть увеличена. — Постановка прусским королем условий мира между Россиею и Турциею. — Возобновление переговоров между Россиею и Австриею. — Австрийские условия мира между Россиею и Портою. — Россия уступает требованиям Фридриха II и отказывается от дунайских княжеств. — Фридрих торопит разделом Польши. — Смена русского посла в Варшаве кн. Волконского Сальдерном. — Действия последнего. — Отношения России к Швеции, Дании и Англии. 442

Глава IV. **Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны.** 1772 год.

Тревога по поводу неблагоприятных известий из Вены. — Меры на случай новой войны. — Борьба мнений в Вене относительно приобретений. — Австрия решается содействовать начатию мирных переговоров между Россиею и Турциею. — Назначение русских уполномоченных на Фокшанский конгресс. — Гр. Григорий Орлов и Обрезков. — Инструкция им. — Отзыв Екатерины об Орлове. — Донесение Обрезкова о ходе конгресса. — Разрыв Фокшанского конгресса. — Новый конгресс в Бухареште. — Несправедливые обвинения Орлову. — Состояние Первой армии. — Затруднения в Крыму. — Отъезд Шагин-Гирея из Петербурга. — Мнение Фридриха II о крымских отношениях. — Австрия изъявляет желание приобрести турецкие области. — Россия соглашается на это. — Австрия переменяет намерение, желая приобресть и польские и турецкие земли. — Кауниц отвергает тройной союз между Россиею, Австриею и Пруссиею. — Австрия требует себе слишком большой доли из польских владений. — Движение Фридриха II по этому поводу. — Улажение дела насчет австрийской доли. — Положение дел в Польше. — Последнее объяснение Сальдерна с польскими вельможами. — Отзывы Сальдерна о Бибикове. — Перемена в отношениях между Сальдерном и Паниным. — Преемник Сальдерна в Варшаве барон Штакельберг. — Инструкция ему. — Объявление о разделе. — Шуазель и Эгильон. — Объяснения русского поверенного в делах Хотинского с последним. — Шведский переворот. — Меры России по этому поводу. — Отношения прусского короля к шведской революции. — Объяснение Панина с французским поверенным в делах Дюраном. — Датская революция и отношения к ней русского двора. — Сношения с Англиею. — Общий взгляд на события описанного года. 538

Примечания к 28 тому 613

ПРИЛОЖЕНИЯ

Комментарии к двадцать седьмому и двадцать восьмому томам «Истории России с древнейших времен» 627

Указатель имен 641

Указатель географических и этнических названий 655

Список сокращений 667

Соловьев, Сергей Михайлович

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН в 15-ти кн. [Отв. ред. д-р ист. наук Л. В. Черепнин]. М., «Мысль», 1965.
(Акад. наук СССР. Ин-т истории)
Кн. XIV (Т. 27—28). 1965. 670 с.

9(С)1

Редактор *О. П. Бочкова*

Мл. редактор *Г. И. Пылаева*

Оформление художника *С. И. Сергеева*

Технический редактор *Л. К. Уланова*

Корректоры *Л. Г. Севастьянова, Л. Ф. Кирилина*

Сдано в набор 10 марта 1965 г. Подписано в печать 1 июля 1965 г. Формат бумаги 60×92¹/₁₆. Бумажных листов 21. Печатных листов 42. Учетно-издательских листов 45,126. Тираж 47 000 экз. Цена 1 р. 70 к.

Подписное издание

Издательство «Мысль»
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького «Главполиграфпрома» Государственного комитета Совета Министров СССР по печати, Гатчинская, 26.
Заказ № 1605

ПОПРАВКИ К ТРИНАДЦАТОЙ КНИГЕ «ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
28	17 сверху	якоже	даже
37	2 сверху	войскам	войском
43	20 сверху	может	можем
85	16 сверху	имевшие	имели
100	5 сверху	Российским	Российском
614	3 сверху	порозжих	порожних
616	13 снизу	духовенству	населению

1р. 70к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»